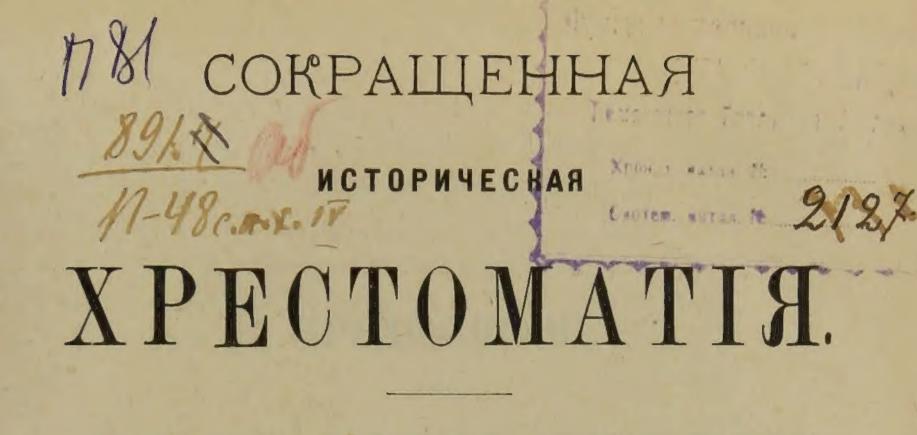
тать воком себя подавляющее большинст орган и в самое короткое время сгруппир ловить организацию, наладить собственнь тельным элементам ее удалось однако воссти печение почти полутора года. Более реш стерявшаяся партия была парализован ала войны в «патриотическом» лагере, наманом во главе, оказались с самаго ж воположники английского социализма тоявшие во главе ее старые вожди о Партию постигло то несчастве, чт . Клайнса. Британскую Социалисти ластров, в том числе Джораж правое крыло ее дал военно-граждан

уимя сво



пособіє при изученій русской словесности для учениковъ старшихъ классовъ среднеучебныхъ заведеній.

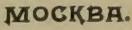
Часть IV.

Изданіе второе, дополненное

составилъ

В. Покровскій.

Въ первомъ изданіи одобрена Уч. Ком. Мин. Нар. Просв'єщенія,

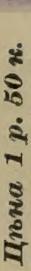


Типографія Г. Лисснера и Д. Совко, Воздвиженка, Крестовоздвиж. пер., д. Лиссвера. 1905.



艾勒姆医别岛





27558

COKPAILLEHHAR

MCTOPKYECKAR

BITAMOTOMY

THE THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA

e t

Ладание второр, дополиениев.

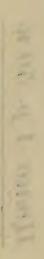
В. Покронскій.

the manual engineer and even see surry square remains and

MINDUMBA.

The state of the s





ПРЕДИСЛОВІЕ.

a real of the rest of a supplier of the suppli

SHARRINGTH CARRIEDAN - LOUGERDHERRE PER HA THE

oppresenting from the symposis. Correspond. "Humaningo

STREET, NO. ADDRESS - BORROW FORSTRONG - ARCHITECTS

Въ IV части "Сокращенной исторической хрестоматіи" составитель поставиль себъ задачею дать біографію Пушкина, останавливаясь преимущественно на такихъ моментахъ его жизни, которые имъютъ связь съ его духовнымъ развитіемъ и творчествомъ, опредълить сущность и значеніе его поэзіи, указать на его отношеніе къ писателямъ русскимъ и иностраннымъ и установить нравственный его обликъ, раскрывъ особенности его духовной организаціи.

Во второмъ изданіи помѣщены слѣдующія новыя статьи:

Петербургскій періодъ жизни и дѣятелность Пушкина, Морозова. — Пушкинъ на югѣ, его же. — Пушкинъ и Новороссійскій край, Маркевича. — Пушкинъ, какъ основатель художественнаго воспроизведенія дѣйствительности, Итирина. — Пушкинъ—выразитель народнаго духа, отражающагося въ словѣ, его же. — Народныя черты и симпатіи въ поэзіи Пушкина, Петрова. — "Русланъ и Людмила", Бѣлинскаго. — "Бахчисарайскій фонтанъ", Бѣлинскаго. — Происхожденіе, лирико-эпическій характеръ поэмы "Бахчисарайскій фонтанъ" и вліяніе Байрона, сказавшееся въ созданіи ея, Поливанова. — Происхожденіе "Полтавы" и ея по-

строеніе, его же. — Поэтическій образь Ленскаго и его жизненность, Сиповскаго. — Допетровская Русь въ изображеніи "Бориса Годунова", Каткова. — Развитіе дѣйствія въ драмѣ "Борисъ Годуновъ", Аверкіева. — Борисъ Годуновъ, какъ трагическій характеръ, его же. — Идея "Бориса Годунова" и художественный реализмъ драмы, Кудрявцева. — Пушкинъ по его письмамъ Сиповскаго.

(въ 17 части "Сокращениой исторической хрестоматін" соотавитель поставиль себь задачею дать біографіло Пушкина, остававливансь преимущественно на гамихь моментахъ его жизни, которые имфють связь съ его духовнымъ развитіемъ в творчествомъ, опредългъ сущность и значеніе его нозвів, указать на его отношеніе къ нисателять рукскимъ и ниостралвілять и установать правственный его облить, раскрывъ особенности его духовной органазаців.

Во второмъ изданіи помѣщены слѣдующія невыя статья:

Петербургскій періодъ мазав и дъяголность Пушкана. Морозова. — Пушкинъ на югѣ, его же. — Пушкинъ канъ основатель художественнаго восироваеденія дѣйотвительности, Итирина. — Пушкинъ — выразитель народнаго духа, отражающагося въ словѣ, его же. — Народныя черты и симпатіи въ позвій Пуйкини, Петрова. — Русланъ и Людмина", Вълинскаго. — "Вихтасарайскій фонтанъ"; Вълинскаго. — Пропехожденіе, сирико-випческій харамтерь позмы "Вахчисарайскій фонтанъ" и вліяніе Вайропа, сказавшееся въ оседалів вя, Поливанова. — Пропехожденіе "Полгавы" и сы по-

examender of the Act o

подата иментельной русской инсата-странатичест на запайскихи стехо-

LAPONEMEN SUPPLY IN CHEMICALE BY DOUBLE A. (Hydrigans, II literagener los

-va ore anymented discovering Hymnes, seen analysis of managers of av-

NOBBOE NOBE. Haymered don-Suse

Lannie Avgen no vargiveryne Hymnen, Passesson

. Industry of the consequence of

Assessed.

Companies Hyansana, Inganasance	ран.
Первоначальныя вліянія, подъ которыми вырастала геніальная личность	1881
Пушкина, Анненкова и Булича.	7.4
Пушкинъ въ Царскосельскомъ лицев, Бартенева	14
Воспитательное и образовательное значение Царскосельскаго лицея,	mail.
Грота, Стоюнина и Гаевскаю.	23
Лицейскіе наставники Пушкина: Галичь и Мерзляковь, Майкова	51
"Арзамасъ" и его вліяніе на Пушкина, Анненкова	58
Петербургскій періодъ жизни и дъятельности Пушкина, Морозова	68
	77
Пушкинъ и Новороссійскій край, Маркевича	106
Вліяніе юга на поэтическую д'вятельность Пушкина, Петрова и Булича.	17.3
The boundary of the first the state of the s	135
Поэтическая деятельность Пушкина въ Михайловскомъ, Пътухова.	143
Пушкинъ среди интеллигентнаго общества въ Москвъ, Венкстерна.	
Пушкинъ въ Петербургъ, Ефремова	
Литературная діятельность Пушкина въ послідніе годы его жизни,	KER.
Стоюнина	161
Последнія минуты жизни Пушкина, Жуковскаго	163
Самобытность и оригинальность поэзіи Пушкина, Варнгагена фон-Энзе.	
Пушкинъ — національный поэть, Веселовскаго, Булича, Григорьева,	
FORTH OR CORDERSES STREET AMERICAN STREET STORY STREET	- 445
Народность, гуманность и художественный такть, какъ отличительныя	
черты поэзіи Пушкина, Бълинскаго	
Пушкинъ, какъ основатель художестненнаго воспроизведенія действи-	TOIL"
тельности, Истрина од однострои до и падатали.	205
Источники вдохновенія Пушкина и высоконравственное значеніе его	ner
поэзін, Сухомлинова	
Пушкинъ, какъ проповъдникъ гуманности, Яковлева	
Пушкинъ — пъвецъ изящнаго, Незеленова	
Пушкинъ какъ поэтъ-этнографъ, В. Миллера	
Естественность и правдивость поэзіи Пушкина, Страхова	229
Способность перевоплощенія Пушкина въ чужія національности, До-	
emoescrato. Il ingentatament, disponenti di disponenti di disponenti di disponenti di	
Общечеловъческое значение Пушкина, Булича	
Пушкинь, какъ художникъ, его же	
Значеніе Пушкина въ исторіи литературнаго языка, Некрасова	250

$\circ m_j$	pau.
Пушкинъ — выразитель народнаго духа, отражающагося въ словъ,	
Истрина	264
Народныя черты и симпатіи въ поэзіи А. С. Пушкина, Н. Петрова	268
Лирическія произведенія Пушкина, какъ наилучшій показатель его ду-	
ховной мощи, Варнгагена фон-Энзе	
Вліяніе Лицея на творчество Пушкина, Гаевскаго	
Лицейскія стихотворенія Пушкина, Бартенева	
Следы вліянія французскихъ поэтовъ на лицейскихъ стихотвореніяхъ	
Пушкина, Стоюнина	
Вліяніе писателей русской школы, отразившееся на лицейскихъ стихо-	
твореніяхъ Пушкина, Бълинскаго	
Значеніе лицейскихъ стихотвореній Пушкина, Майкова	339
Переходныя стихотворенія Пушкина, Билинскаго	344
Антологическія стихотворенія Пушкина, его же	352
Лирическія произведенія Пушкина въ ихъ отдичіи отъ произведеній	
предшественниковъ, его же	
Идея поэта въ произведеніяхъ Пушкина, Аверкіева	
The state of the s	
Стихотвореніе Пушкина "Чернь", Билинскаго, Каткова	
"Поэтъ" Пушкина, Поливанова	
"Разговоръ книгопродавца съ поэтомъ" Пушкина, его же	
"Пророкъ" Пушкина, Черняева, Сумцова	
"Поэтъ" Пушкина, Сумцова	
"Русланъ и Людмила", Пушкина, Бълинскаго	
Природа и люди въ "Кавказскомъ пленнике", Плетнева и Бълинскаго.	404
"Кавказскій пленникъ, какъ отпечатокъ индивидуальныхъ душевныхъ	0141
состояній самого поэта, Дашкевича	421
"Бахчисарайскій фонтанъ", Бълинскаго	426
Происхожденіе, лирико-эпическій характеръ поэмы "Бахчисарайскій	
Фонтанъ" и вліяніе Байрона, сказавшееся въ созданіи ея, По-	Consti
ливанова	431.
Идея повиы "Цыганы", Бълинскаго	
Вліяніе Руссо и личныя состоянія поэта, сказавшіяся въ поэмъ "Цы-	-
	115
ганы", Дашкевича	Management of the Park
Алеко — скиталецъ по родной земль, Достоевскаго	
"Подтава", Билинскаго	
Происхождение "Полтавы" и ея построение, Поливанова	460
Историческое и общественое значеніе романа "Евгеній Онтгинъ", Бъ-	TIT!
линскаго	
Онъгинъ, какъ общественный типъ, Поливанова	526
Религіозность, нравственная чистота, нъжность, наивность и мечтатель-	EN 17
ность, какъ отличительныя свойства Татьяны, Дашкевича и До-	
стоевскаго	542
Поэтическій образь Ленскаго и его жизненность, Сиповскаго	
Общее содержание и построение "Капитанской дочки", Н. Черилева	
Герои и героини "Капитанской дочки", его жее	
Значеніе Пушкина въ исторіи развитія русскаго романа, Малиновскаго	10.11
и Веселовского	593
AN ACCUSATION OF THE PARTY OF T	202023

	Стран.
Источники "Бориса Годунова", Жданова	602
Содержаніе и планъ "Бориса Годунова", Варигатена фон-Энзе	621
Особенности отдъльныхъ сценъ въ "Борисъ Годуновъ", Бълинскате	. 628
Личностъ Бориса Годунова, Филонова	636
Языкъ "Бориса Годунова", его же	642
Допетровская Русь въ изображеніи "Бориса Годунова", Каткова	648
Развитіе д'ысвія въ драм'ь "Борись Годуновь", Аверкіева	651
"Борисъ Годуновъ" какъ трагическій характерь, его же	658
Идея "Бориса Годунова" и художественный реализмъ драмы, Кудряви	eea 661
Характерные черты "Моцарта и Сальери", какъ драматического оче	рка
Яковлева	664
Идея "Моцарта и Сальери", Бълинскаго	
"Скупой рыцарь", его же	670
Отношение Пушкина къ античному міру, П. Черняева	672
Отношение Пушкина къ иностранной словесности, Стороженка.	691
Вліяніе Байрона на европейскую литературу, его же	
Пушкинъ и Байронъ, Стороженка и Пыпина	
Пушкинъ и Шатобріанъ, Сиповскаго	718
Пушкинъ, его предшественники и историческая ихъ связь, Бълинска	
Отношеніе Пушкина къ писателямъ старшаго поколінія, Пыпина.	
Отношеніе Пушкина къ предшествующему литературному направлен	
Арханиельскаго	
Духовная организація Пушкина, Будде и Стоюнина	
Нравственный обликъ Пушкина, Кони	
Личность Пушкина, какъ человъка, Грота	
А. С. Пушкинъ по его письмамъ, Сиповскаго	785

- 11/

. 1914	
34.15	Levolunce
	Districted a master Bounce Posserme. //ngmuserm dure men.
	Construction of the second of
	Anthorna Espain Politican, Diesement,
	Romes . Ropaiss Congainment, our see
423	Tournessen Pro es aposparense Course Possanous. Arresen-
	Pasharia Canonia an apara liopace logymous. Assenses
HER	- Corpros Cortros vales received antestable and one
13400	Tana Basica Tanyadan w syadandanahan Bandanahan bandaya w "nadaya" saidad saafi
	parametrical solution and a comment and analysis of the section of
	Francisco
7000	answerment 'agent' a ergspoll, Reth
1/5/1	Capacid premare, and see
950	Franciscie Tymenes er generaling mat. D. Brymeen
TOP	Этеотове Путаней из пространеой оконеовости. (эконе примен.
	intante Bakoran sa esponeitosyn zereparen, em me
	Trumber a Rabyons, Omonoscoura a December.
	Symmetry of Mary-Colomb, Camountage
USE	Пусткеции окразивающимиям и меторическия уст свиза. Видименты
300	Overments Dynamics we decembers computer computer (become
	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O
100	Treesan optaminante Uringala, Sande e mesembre.
	. STURESON O SOURCE SERVICE STREET, STURESON TO
QC)	Homeoweening objects Dynamics, Konsi.
	CHARLESTON OF THE PROPERTY OF

St. I. Hymothers do seld mechanism. Cheremannia

Нервоначальныя вліянія, подъ которыми вырастала геніальная личность Нушкина.

Александръ Сергъевичъ Пушкинъ родился въ Москвъ въ 1799 году, мая 26. Отецъ поэта, Сергън Львовичъ, до 1798 года служилъ въ Измайловскомъ полку. Свадьба его и Надежды Осиповны Ганинбалъ, въроятно, происходила въ Петербургъ, потому что первенецъ ихъ — дочь Ольга Сергъевна родилась въ 1798 году, именно въ то время, какъ Сергъй Львовичъ состоядъ еще на сдужбъ въ Петербургъ. Въ 1798 г. Сергый Львовичь вышель въ отставку; въ следующемъ 1799 г. Марья Алексвевна (мать Надежды Осиповны) продала село Кобрино (родовое село своего мужа), и все семейство Пущкиныхъ перевхало въ Москву, гдв на депьги, вырученныя отъ продажи имънія, Марія Алексъевна пріобръда сельцо Захарово, верстахъ въ сорока отъ Москвы. При продажъ нетербургскаго имфиія, общая няня всёхъ молодыхъ Пушкиныхъ, знаменитая Арппа Родіоновна, записанная по Кобрину, получила отпускцую, вмъстъ съ двумя сыновьями и двумя дочерьми, но никакъ не хотела воспользоваться вольною. Приставленная сперва къ сестръ поэта, потомъ къ пему и, наконецъ, къ брату его, Родіоновна вынянчила все новое поколфпіе этой семьи. Въ какихъ трогательныхъ отношеніяхъ съ нею находился второй изъ ел питомцевъ, прославившій ел имя на Руси, — извъстно всякому.

Родіоновна принадлежала къ типическимъ и благородивишимъ лицамъ русскаго міра. Соединеніе добродушія и ворчливости, нѣжнаго расположенія къ молодости съ притворной строгостью оставили въ сердцѣ Пушкина неизгладимое воспоминаніе. Онъ любилъ ее родственною, неизмѣнною любовью и, въ годы возмужалости и славы, бесѣдовалъ съ нею по цѣлымъ часамъ. Это объясняется еще и другимъ важнымъ достоинствомъ Арины Родіоновны: весь сказочный русскій міръ былъ ен извѣстенъ какъ нельзя короче, и передавала она его чрезвычанно оригинально. Поговорки, пословицы, присказки не сходили у ней съ языка. Большую часть народныхъ былить и пъсенъ, которыхъ Пушкинъ такъ много зналъ, — слыналъ опъ отъ Арины Родіоновны. Можно сказать съ увъренностію, что онъ обязанъ своей нянъ нервымъ знакомствомъ съ источниками народной поэзи и впечатлъніями ея, которыя, однакожъ, были замътно ослаблены послъдующимъ воспоминаніемъ.

Въ числъ писемъ къ Пушкину, почти отъ всѣхъ знаменитостей русскаго общества, находятся и записки отъ старой няни, которыя онъ берегъ наравнъ съ первыми. Вотъ что писала она около 1826 года. Мыслъ и самая форма мысли видимо принадлежатъ Аринъ Родіоновнъ, хотя она и позаимствовала руку для ихъ изложенія.

"Любезный мой другъ Александръ Сергъевичъ, я получила письмо и деньги, которыя вы мит прислади. За всъ ваши милости я вамъ всъмъ сердцемъ благодарна — вы у меня безпрестанно въ сердцъ и на умъ, и только когда засну, забуду васъ. Прітзжай, мой ангелъ, къ намъ въ Михайловское — всъхъ лошадей на дорогу выставлю. Я васъ буду ожидать и молить Бога, чтобы Онъ далъ намъ свидъться. Прощай мой, батюшка, Александръ Сергъевичъ. За ваше здоровье я просвиру вынула и молебенъ отслужила — поживи, дружечекъ, хорошенъко, — сомому слюбится. Я, слава Богу, здорова — цълую ваши руки и остаюсь васъ многолюбящая имия ваша Арина Родіоновна. (Тригорское, марта 6.)"

Какимъ чуднымъ отвътомъ на это письмо служить отрывокъ Пушкина, который мы здёсь приводимъ:

Подруга дней моихъ суровыхъ, Голубка дряхлая моя!
Одна въ глуши лѣсовъ сосновыхъ Давно, давно ты ждешь меня.
Ты подъ окномъ своей свѣтлицы Горюешь, будто на часахъ, И медлятъ поминутно спицы Въ твоихъ наморщенныхъ рукахъ. Глядишь въ забытыя ворота, На черный отдаленный путь: Тоска, предчувствіе, заботы Тѣснятъ твою всечасно грудь...
То чудится тебѣ...

Почтенная старушка умерла въ 1828 году 70 лѣтъ въ домѣ интомицы своен, Ольги Сергъевны Павлищевон.

Другимъ путемъ къ раннему сближению съ народными обычаями и пріемами могло служить само сельцо Захарово, проданное въ 1811 году, когда молодой Пушкинъ увезенъ былъ въ С.-Петербургъ для опредъленія въ Лицей. Семейство его. постоянно жившее въ Москвъ съ 1798 г., проводило лъто въ повой деревив Марыи Алексвевны. Зажиточные крестьяне Захарова не боялись веселиться: пѣсни, хороводы и пляски пълись и плясались тамъ часто. Въ двухъ верстахъ отъ Захарова находится богатое село Вязёма. По неимънію церкви, жители Захарова считаются прихожанами села Вязёмы, гдъ похороненъ братъ Пушкина, Николай, умершій въ 1807 году (род. въ 1802) и куда Александръ Сергъевичъ самъ часто вздиль къ объдит. Село Вязёма принадлежало Борису Годунову и сохраняется доселъ память о немъ. Тамъ указываютъ еще на пруды, будто бы вырытые по его повелънію, и на церковную колокольню, имъ построенную. Вфроятно, молодому Пушкину часто говорили о прежнемъ царъ — владътелъ села. Такимъ образомъ мы встръчаемся, еще въ дътствъ Пупикина, съ предметами, которые впослъдствін оживлены были его геніемъ.

Пушкинъ вспоминалъ о Захаровъ на скамьяхъ Лицея и въ одномъ изъ многочисленныхъ легкихъ посланій, тамъ на-лисанныхъ, говоритъ:

Мить видится мое селенье, Мое Захарово; оно Съ заборами, въ ръкъ волнистой Съ мостомъ и рощею тънистой, Зерцаломъ водъ отражено. На холмъ домикъ мой; съ балкона Могу сойти въ веселый садъ, Гдъ вмъстъ Флора и Помона Цвъты съ плодами мить дарять, Гдъ старыхъ кленовъ темный рядъ Возносится до небосклона, И глухо тополи шумять.

Гораздо позже, въ 1831 году, передъ женпть бою своей, Александръ Сергъевичъ побывалъ въ Захаровъ, и, покуда Марья, дочь няни его, готовила ему сельскій завтракъ изъ янчницы. онъ объгалъ рощицу возлъ дома и всъ мъста, напоминавшія ему дътство его: "Все наше рушилось, Марья, сказалъ онъ но возвращеніи: все поломали, все заросло..." Черезъ два часа онъ уъхалъ. Дъйствительно, флигель, гдъ жили дъти прежняго номъщика, уже былъ тогда за ветхостію разобранъ, и оставался одинъ большой домъ. Многія березки на берегу пруда порублены. Впрочемъ, еще недавно одинъ путешественникъ видълъ тамъ старую липу Пушкина; съ этого пункта можно было наслаждаться прекраснымъ видомъ на прудъ и на противоположный берегъ его, покрытый зеленымъ еловымъ лъсомъ.

Отець его, Сергвй Львовичъ Пушкинъ, былъ человъкъ отъ природы добрын, но вспыльчивый. При малъйшей жалобъ гувериеровъ или гувериантокъ онъ сердился, выходилъ изъ себя, но гивъъ его проистекалъ отъ врожденнаго отвращенія ко всему, что нарушало его спокойствіе, и скоро проходилъ. Вообще, Сергъй Львовичъ не любилъ заниматься серіозными дълами но дому, воспитацію и хозяйству, предоставивъ все это супругъ своей, Надеждъ Осиповиъ; никогда не бывалъ онъ въ дальнихъ своихъ деревияхъ, какъ, напримъръ, Болдинъ (Нижегородской губ.), предоставивъ имъніе въ полное распоряженіе управляющему, своему кръпостному человъку, и отдавалъ все свое время только удовольствіямъ общества и наслажденіямъ городской жизни.

Съ другой стороны, Сергви Львовичъ, какъ и братъ его, поэтъ Василій Львовичъ, были душою общества, неистощимы въ каламбурахъ, остротахъ и топкихъ шуткахъ. Онъ любилъ многолюдныя собранія. Связи Сергвя Львовича были довольно общирны. Черезъ Пушкиныхъ онъ былъ въ родствѣ со всею этою фамиліею, а чрезъ Ганнибаловъ съ Ржевскимъ и ихъ своиственниками — Бутурлипами. Черкасскими и проч. Онъ даже жилъ домъ-о-домъ съ графомъ Дмитріемъ Петровичемъ Бутурлинымъ, и гости послѣдияго были его гостями. Въ числѣ посѣтителей его были: Карамзинъ, Батюшковъ, Дмитріевъ и молодон Пушкинъ, который всегда внимательно прислушивался къ ихъ сужденіямъ и разговорамъ, — зналъ корифеевъ пашен словесности не по однимъ произведениямъ ихъ, но и по живому слову, выражающему характеръ человѣка и западающему часто въ юный умъ невольно и неизгладимо.

Вибств со всемь лучшимь обществомъ Москвы, домъ Сергвя Львовича, какъ вст избранные дома тогдашняго времени,

былъ открыть для французскихъ эмигрантовъ: повое средство развлеченія, котораго всв искали. Между этими эмигрантами отличалось лицо графа Ксавье де-Мэстра. Онъ уже напечагалъ тогда свое "Voyage autour de ma chambre", и, въ промежуткахъ между литературными занятіями, любилъ посвящать свои досуги друзьямъ. Самъ Сергъй Львовичъ былъ извъстенъ, какъ острякъ и человъкъ необыкновенно находчивый въ разговорахъ. Владъя въ совершенствъ французскимъ языкомъ, онъ писалъ на немъ стихи такъ легко, какъ французъ, и дорожилъ этою способностью. Много альбомовъ въроятно, сохранили его произведенія; и есть слухи, что въ это время онъ написаль даже цблую кинжку, въ которой разсуждаль по-французски — стихами и прозой — о современной ему русской литературъ. Чрезвычайно любезный въ обществъ. онъ торжествовалъ особенно въ играхъ (jeux de société), требующихъ бъглости ума и остроты, и былъ необходимымъ человъкомъ при устройствъ праздниковъ, собраній и, особенно, домашнихъ театровъ, на которыхъ, какъ онъ, такъ и братъ, Василій Львовичъ, отличались искусствомъ игры и декламацін. Вь обществъ Сергъя Львовича находились также и двъ извыстныя піанистки, блиставшія вмысты съ тымь и талантомы остроумной бесъды.

Памятникомъ веселости, оживлявшей это общество, осталась даже печатная книжка. Извъстио, что когда дядя нашего поэта. Василій Львовичъ Пушкинъ, собирался вхать за границу, то II. II. Дмитріевъ предупредилъ, такъ сказать, весь будущій разсказъ путешественника въ стихотворной шуткъ, подъ названіемъ: "Путешествіе NN въ Парижъ и Лондонъ, писанное за три дня до путешествія". Книжка эта, напечатавная только для друзей, въ ивсколькихъ экземплярахъ, сдвлалась теперь библіографическою рѣдкостью. Шутка И.И. Дмитріева особенно поражаеть соединеніемь веселости, міткости и вмісті благородства, что очень ръдко встръчаемъ въ нашихъ печатныхъ произведеніяхъ этого рода. За три дня до отъвзда своего за границу Василій Львовичь оббщаль, на дружескомь ужинь, върно передать свои внечатлънія пріятелямъ. И. И. Дмитріевъ возразилъ, что письма его всегда будутъ драгоцвины для нихъ. но что содержаніе корреспонденцій почти уже извѣстно. Въ подтверждение своихъ словъ, онъ сочинилъ "Путешествие", къ которому приложилъ еще картинку, изображавшую будущаго туриста въ Парижъ, за урокомъ декламаціи у Тальмы. Чрезвычайно остроумно и върно изображенъ тамъ авторъ "Опаснаго сосъда", съ его жаждой новостей, слъпымъ поклоненіемъ иностраннымъ диковинкамъ, усвоеніемъ всъхъ возможныхъ модъ и вмъстъ неизмъннымъ добродушіемъ и прямотою сердца. Вотъ начало этой книжки, которая можетъ дать понятіе о всемъ ея тонъ:

Друзья! сестрицы! я въ Парижѣ, Я началъ жить, а не дышать! Садитесь вы другъ къ другу ближе Мой маленькій журналъ читать. Я быль въ музеѣ, Пантсонѣ, У Бонапарте на поклоиѣ, Стоялъ близехонько къ нему, Не вѣря счастью своему. Вчера меня князь Долгоруковъ Представилъ милой Рекамье, Я видѣлъ корпусъ мамелюковъ, Сіеса, Вестриса, Мерсье, и т. д.

Воспитаніе дѣтей въ семействѣ Пушкиныхъ пичѣмъ не отличалось отъ общепринятой тогда системы. Какъ во всѣхъ хорошихъ домахъ того времени, имъ наияли гувернантокъ, учителей и подчинили ихъ совершенно этимъ воспитателямъ съ разныхъ концовъ свѣта.

До семилътняго возраста Александръ Сергъевичъ Пушкинъ не предвъщалъ инчего особеннаго; напротивъ, своею неповоротливостью, своею тучностью, робостью и отвращениемъ къ движенію, онъ приводилъ въ отчаяніе Надежду Осиповну, женщину умную, прекрасную собой, страстную къ удовольствіямъ и разсъяніямъ общества, какъ и всъ окружающіе ее, но имфвицю въ характерф тф черты, которыя заставляютъ дътей повиноваться и върнъе дъйствують на нихъ, чъмъ мгновенный гифвъ и вспышки. Впрочемъ, она не могла скрыть предпочтительной любви сперва къ дочери, а потомъ къ меньшому сыну, да и на самое воспитаніе дътей, кромъ ся, гуверперовъ и гувернантокъ, имъли вліяніе еще и двъ тетки Александра Сергъевича — Анна Львовна Пушкина и Елизавета Львовна, по мужъ Солицева. Анна Львовна собирала въ домъ своемъ часто всъхъ родныхъ и умъла вселять искрений привязанности къ себъ.

Мужъ Елизавсты Львовны, Матвъй Михаиловичъ Солицевъ, быль искреннимь другомь Сергья Львовича, съ которымъ могь состязаться въ любезпости, тонкихъ шуткахъ и французскихъ каламбурахъ. Правильной системы воспитація тутъ уже не могло быть, и если существовало какое-либо единство, то развъ въ общемъ недовърін къ характеру и способности молодого Александра Пушкина. Это обстоятельство, однакожъ, имъло впослъдствіи благод втельное вліяніе на последняго. Не избалованный въ дътствъ излишими угожденіями, опъ легко перепосидъ лишенія и рано привыкъ къ мысли — искать опоры въ самомъ себъ. Надежда Осиновна заставляла маленькаго Пушкина бъгать и играть съ сверстинками, съ трудомъ побъждая и лъность его и молчаливость. Разъ на прогулкъ онъ, не замъченный пикъмъ, отсталь отъ общества и преспокойно усълся посреди улицы. Сидъль онъ такъ до тъхъ поръ, пока не замътилъ, что изъ одного дома кто-то смотритъ на него и смъется. "Ну, печего скалить зубы!" сказаль опъ съ досадой и отправился домой. Когда настойчивыя требованія быть поживъе превосходили мъру терпънія ребенка, онъ убъгаль къ бабушкъ, Марьъ Алексъевиъ Ганнибалъ, залъзалъ въ ел корзинку и долго смотрълъ на ел работу. Въ этомъ убъжищъ уже никто не тревожиль его. Марья Алексвевна была женщина замъчательная, столько же по приключеніямъ своей жизии, сколько по здравому смыслу и опытности. Она была первой наставницей въ русскомъ языкъ. Баронъ Дельвигъ еще въ Лицев приходиль въ восторгъ отъ ея письменнаго слога, отъ ся сильной, простой русской рачи. Къ несчастио, мы не могли отыскать ни малъйшаго образчика того безыскусственнаго и мужественнаго выраженія, которымь отличались ея письма и разговоры. Вторымъ русскимъ учителемъ Пушкина, нъсколько позже, былъ, по странному случаю, нъкто г. Шиллеръ. Впрочемъ, труды г. Шиллера не могли принести особенныхъ плодовъ въ это время, потому что маленькій Пушкинъ и сестра его, восинтывавниеся вмъстъ, говорили, писали и твердили уроки изъ всъхъ предметовъ по-Французски.

Главнымъ руководителемъ дътей былъ сперва графъ Монфоръ, образованный эмигрантъ, бывшій въ то же время музыкантомъ и живописцемъ; за нимъ г. Русло, писавшій французскіе стихи; потомъ г. Шедель и другіе. Пастоящимъ,

двльнымъ наставникомъ въ русскомъ языкъ, ариометикъ и въ Законъ Божіемъ былъ у нихъ почтенный священникъ Марінискаго института Александръ Пвановичъ Бъликовъ, извъстный своими проповъдями и изданіемъ: "Духа Массильона" 1806). Когда наняли англичанку (миссъ Бели) для Ольги Сергъевны, Пушкинъ учился по-англійски, но плохо, а по-иъмецки и вовсе не учился. Была у нихъ гувернантка иъмка. да и та почти никогда не говорила на своемъ родномъ языкъ. Вообще ученье подвигалось медленно.

Возлагая всё свои надежды на память, молодой Пушкинъ повторялъ уроки за сестрой, когда ее спрашивали; инчего не зналъ, когда начинали экзаменъ съ него; заливался слезами падъ четырьмя правилами ариеметики, которую вообще плохо понималъ. Особенио дёленіе, говорятъ, стоило ему многихъ слезъ и трудовъ.

Но съ 9-го года начала развиваться у него страсть къ чтенію, которая и не покидала его во всю жизнь. Онъ прочель, какъ водится, сперва Плутарха, потомъ Иліаду и Одиссею. въ переводъ Битобе, потомъ приступилъ къ библіотекъ своего отца, которая наполнена была французскими классиками XVII въка и произведеніями философовъ послъдующаго стольтія. Сергый Львовичь поддерживаль въ дытяхъ это расподоженіе къ чтенію и вместь съ пими читываль избранныя сочиненія. Говорять, опь особенно мастерски передаваль Мольера, котораго зналь почти наизусть, но еще и этого было недостаточно для Александра Пушкина. Опъ проводилъ безсонныя ночи, тайкомъ забирался въ кабинетъ отца и безъ разбора пожираль всъ книги, попадавшіяся ему подъ-руку. Вотъ почему замъчание Льва Сергъевича, что на 11-мъ году, при необычайной памяти своей. Пушкинь уже зналь наизусть вею французскую литературу, можетъ быть принято съ ифкоторымъ ограниченіемъ.

Первыя попытки авторства, вообще рапо проявляющіяся у дѣтен, пристрастившихся къ чтенію, обнаружились у Пушкина, разумѣется, на французскомъ языкѣ и отзывались вліяніемъ знаменитаго комическаго писателя Франціи. Пушкинъ побилъ импровизировать комедійки и, по общему согласію съ сестрой, устроилъ пѣчто въ родѣ театра, гдѣ авторомъ и актеромъ быль братъ, а публикои — сестра. Разъ какъ-го публика освистала его пьесу L'Escamoteur. Авторъ отдѣлался

отъ оскорбленій эпиграммон, сохранившенся доселѣ въ намяти гогдашняго судьи:

Dis moi, pourquoi l'Escamoteur Est-il sifflé par la parterre? Hélas — c'est que le pauvre auteur L'escamota de Molière.

Стишки гладенькіе и легкіе. Они были предшественниками такихъ же русскихъ стиховъ, которые Пушкинъ началъ писать уже въ Лицев. Авторство шло параллельно съ его чтеніемъ. Ознакомившись съ Лафонтеномъ, Пушкинъ сталъ писать басни. Начитавшись Гепріады, онъ задумалъ поэму въ 6 пѣсняхъ, по здѣсь останавливаетъ насъ одна характеристическая особенность. Это была не героическая поэма, какъ слѣдовало бы ожидать, а шуточная. Содержаніемъ послужила война между карлами и карлицами во времена Дагоберта. Карло послѣдняго, по ямени Тоlу, былъ героемъ ея, почему и вся поэма называется La Tolyade. Стихотворная шутка начинается такъ:

Je chante ce combat, que Toly remporta, Où main guerrier périt, où Paul se signala, Nicolas Maturin et la belle Nitouche, Dont la main fut le prix d'une horrible escarmouche.

Все это было во вкуст того, что слышаль Пушкинь вокругь себя и чему онъ довольно долго подражаль. Гувернантка похитила тетрадку поэта и отдала Шеделю, жалуясь, что М-г Alexandre за подобными вздорами забываеть о своихъ урокахъ. Шедель расхохотался при первыхъ стихахъ. Раздраженный авторъ тутъ же бросилъ въ печку свое произведеніе. Анненковъ.

Царствованіе Екатерины, при всемогущемъ вліяній у насъ власти, ивсколько упорядочило русскую дворянскую семью, внесла въ нее чужія, господствовавшія тогда формы общежитія, смягчило нравы. То было время торжества французской общественности, знакомства съ языкомъ и литературою французовъ. Идейное вліяніе Франціи сказывалось въ господствѣ французскаго литературнаго вкуса. Ему подчинялась только что начавшая жить наша словесность. Немудрено поэтому, что отецъ и дядя Пункина стали не только русскими, но и французскими стихотворцами, въ томъ дегкомъ родѣ, какой господствоваль въ обществѣ, въ салонахъ. Серіозная сторона французской дитературы, ея философская мысль, ея скептицизмъ были недоступны и по недостатку уметвеннаго развитія и по недостатку для пониманія ея элементовъ въ русскомъ обществѣ. Въ этихъ литературныхъ занятіяхъ не было цичего серіознаго; въ нихъ была та же пустога, что и въ жизни; это была мода, но мальчикъ Пушкинъ росъ посреди литературныхъ привычекъ близкой родни, усвоилъ ихъ и невольно, безсознательно съ дѣтства сталъ писать стихи. "Если ты къ родню", говорилъ онъ впослѣдствіи меньшому своему брату Льву, "такъ ты литераторъ".

Но французскіе стихи, остроты и каламбуры были чёмъ-то вившнимъ въ семейной жизни Пушкина. Она была такъ же нелфиа и пошла, какъ и у множества полубогатыхъ дворянскихъ семей, проживавшихъ въ Москвъ не только доходы съ кръпостныхъ, но и ихъ самихъ, искавшихъ лишь пустыхъ удовольствій. Семейный гисть быль попрежнему тяжель, несмотря на то, что гиввъ владыки дома выражался, можетъбыть, совершенно правильно на языкъ Корнеля и Расина. Единственная сестра поэта, съ дътства имъ страстно любимая, съ которой, по всей въроятности, рисовалъ онъ первоначальную Татьяну, даже на тридцатомъ году жизни, должна была бъжать изъ родительскаго дома, чтобъ тайно обвънчаться съ тъмъ, кого она выбрала. Такимъ образомъ "сопротивление злу" становилось необходимымъ для личнаго счастія, и недовольство родною обстановкою, борьба Пушкина съ нею развивала въ немъ самостоятельность характера и чувство независимости.

Намъ, къ сожальнію, вовсе неизвъстно дътство поэта; это — пора самыхъ живыхъ и прочныхъ впечатльній, остающихся болье или менье навсегда. Біографы Пушкина, обыкновенно, фантазируютъ объ этомъ времени на основаніи позднихъ соображеній. Такъ, говорятъ они о развращающемъ дъйствін на геніальнаго мальчика многихъ французскихъ писателей прошлаго въка. Съ къмъ изъ нихъ онъ былъ знакомъ въ отцовскомъ домъ — мы не знаемъ, по ни Мольеръ, ни Генріада, ни Лафонтенъ, о знакомствъ съ которыми есть свъдънія, никакъ не могли дъиствовать развращающимъ образомъ. Читали ихъ гогда всъ русскіе люди, воспитываемые

французскими гувернерами. Эти французскіе гуверперы, безъвсякаго сомивнія, имѣли весьма существенное вліяніе на развитіе ума, иден и на складъ характера поэта: не даромъвъ Лицев его называли французомъ.

Со временъ Фонвизина и сатирическихъ журналовъ Екатерининской эпохи сложилось въ литературъ убъждение, что французскіе гувернеры у насъ были насадителями какой-то особенной нелюбви и даже презранія ко всему родному, русскому. Извъстны и типы русскихъ людей, воспитанныхъ иностранцами въ обличительной литературъ прошлаго въка н начала нынфиняго. Мы вполнф увфрены, что эти типы вообще преувеличены и карикатурны. Нелюбовь и презръніе къ родному совершенно несвойственны человъческой природъ; никакое иностранное воспитаніе, особенно посреди своей же, родной обстановки, не въ состояніи ихъ породить и развить. Толки объ этомъ доказывають, какъ намъ кажется, тенденціозность. Напротивъ, столкиовеніе перазвитого и непосредственнаго ума съ развитою и сознательною чужою мыслію можетъ развить только двятельную любовь къ родному и ненависть развъ къ историческимъ его недостаткамъ. Сколько сильныхъ умовъ и хорошихъ душою и сердцемъ, даже дъятельною любовью къ родинъ людей вышло изъ рукъ французскихъ гувернеровъ! Впрочемъ, говорить о вліянін ихъ на Пушкина въ дътствъ можно лишь гадательно. Мы знаемъ только имена ихъ, но, во всякомъ случав, они стояли выше тогдашнихъ русскихъ учителей и по знаніямъ и по идеямъ. Сама Франція переживала въ то время такой глубокій историческій переворотъ, что мысль каждаго француза невольно становилась напряжените. Замтчательно, что только приговоръ француза Жиле, гувернера въ домъ графа Бутурлина, сохранился для насъ о Пушкинъ изъ его ранняго дътства. "Чудное дитя", говориль онъ писателю Карамзинской школы М. Макарову, "какъ онъ рано началъ все понимать".

Арина Родіоновна играла не послѣднюю роль въ жизни Пушкина. Она была ему сердечно дорога, она внушила ему чудиые, полные глубокаго чувства стихи, свидѣтельствующіе о томъ, какъ много иѣжности заключалось въ его сердцъ. Употребляя собственныя выраженія поэта, мы можемъ сказать о неи, что она была "подругою его юности", "подругою его суровыхъ дней", его "голубкою". Нельзя не поблагодарить

поэта, что онь въ стихахъ своихъ сохранилъ для насъ въ образѣ, напримъръ, Татьяниной пяни, и въ задушевныхъ строфахъ, обращенныхъ къ своей собственной, этотъ уже исчезнувшій, но необходимый типъ старой дворянской семьи. Тѣмъ болѣе мы должны быть благодарны Пушкину, что въ отношеніяхъ его къ этому типу незамѣтно той разлагающей рефлексіи, которая, естественно, пришла вмѣстѣ съ развитіемъ жизни и ея историческимъ скептицизмомъ. Другой русскій поэтъ, въ позднѣйшихъ условіяхъ жизни, уже совершенно иначе выражался о своей нянѣ, когда, не находя любви къ семьѣ, онъ съ оскорбленнымъ чувствомъ убѣгалъ къ ней:

"Ахъ, няня! сколько разъ
Я слезы лилъ о ней въ тяжелый сердцу часъ,
При имени ея впадая въ умиленье,
Давно не чувствовалъ я къ ней благоговънья!
Ея безсмысленной и вредной доброты
На память миъ пришли немногія черты,
И грудь моя полна враждой и злостью новой».

На долю ияни въ русскихъ дворянскихъ семьяхъ до времени освобожденія выпадала нерфдко завидная миссія развивать въ дътяхъ чувство любви и и вжной привязавности, просыпающееся рано въ ребенкъ и не находившее отголоска въ лицахъ, гораздо болъе близкихъ къ пему по кровному родству. Изучая старую русскую жизнь (теперь слагаются новые типы, но они еще не успъли опредълиться), нельзя не притти къ убъжденію, что вь жизни русской семьи стараго времени, въ прежнихъ, кръпостныхъ ел условіяхъ, очень ръдко найдемъ мы и сердечность и ту ибжность отношеній между двумя покольніями, которыя, связуя ихъ въ одно целое, являются въ жизни неточникомъ развитія человфиности. Дфти росли, чуждаясь родителен; между тъми и другими не было откровенности. Возраставшая съ лътами въ сердцъ ребенка потребность привязанности и любви сердечной не находила отзвука ни въ отцъ, занятомъ хозяйствомъ, охотою, картами, свътомъ, и полагавшаго, что онъ исполнилъ обязанности, сдавъ дътей на руки гувернеровъ, ни у матери, погруженной съ утра до вечера въ свътскую болтовию, въ романы, воображаемые и дъиствительные, и въ постоянную погощо за удовольствіями, считавпинмися единственною цълью пустой жизни. И ребеновъ, дъйствительно, убъгалъ къ пянъ, ища въ ея ласкахъ, простыхъ

и чуждыхъ эгонзма, отвъта на неудовлетворяемую потребность любви. И на долю Пушкина вынали эти обычныя условія русской дворянской семьи. У каждаго почти стариннаго помъщичьяго домашняго очага стояла эта непосредственная, глубокодъятельная, чуждая личныхъ привязанностей фигура (обыкновенно, къ няни брали или одинокую или покончившую съ собственными интересами женщину). Она вся уходила въ старческую привязанность, глубокую, безсознательную и безкорыстную. Понятно, что только отъ пея первой русскій ребенокъ могъ слышать и родныя сказки и заунывныя пъсши родины. Инчего особеннаго не представляють поэтому отношенія Пушкина къ его нянъ (они были общими для всъхъ, но его могучій талантъ умълъ облечь ихъ прелестью поэтическаго творчества.

Изъ всей родной семьи, окружавшей Пушкина въ дътствъ, гораздо съ большимъ правомъ, чѣмъ на нянѣ Родіоновиѣ, мы должны остановиться на его бабкѣ по матери — Марьѣ Алексъевиѣ Ганиибалъ, по роду тоже Пушкиной.

Почти одинаковое съ няней положение въ жизни, пеимъние прямыхъ домашнихъ обязанностей часто дълали этихъ бабокъ въ старыхъ семьяхъ первыми воспитательницами ребенка. Старуха Ганнибалъ умерла въ 1817 году. Она переписывалась съ внукомъ, когда тотъ учился въ Лицев, по письма ел. къ сожальнію, не сохранились. Эта бабка была хранительницею семейныхъ преданій, старыхъ разсказовъ, которые передавала внуку. Она была и его первой наставницей въ русскомъ языкъ. Сохраняя живую связь съ прошедшимъ, эта именно бабка, какъ мы въ томъ увърены, больше всего способствовала тому непосредственному чувству старины, похожее на свъжее чувство современника, какимъ проникнуты историческія повъсти Пушкина. О пей, по всей въроятности, вспоминаеть и самъ поэтъ въ стихахъ:

"Но каюсь, новый Ходаковскій, Люблю отъ бабушки московской Я толки слушать о родит, О толстобрюхой старинт...

Эта бабка Пушкина и видъла много на своемъ въку и испытала многое. Она выходила замужъ за Осипа Абрамовича Ганнибала въ самын разгаръ пугачевщины и при томъ въ мѣст-

ности, непосредственно охваченной пламенемъ бунта. Эта кровавая и жестокая историческая драма съ ея потрясающими эпизодами, сохранившимися въ семейной памяти дворянскихъ тамилій, преимущественно, восточной полосы Россіи, по всей въроятности, въ ижкоторыхъ ужасающихъ подробностяхъ своихъ, съ дътства была знакома Пушкину изъ разсказовъ бабки. Они запечатаблись въ его памяти, и по инмъ задумалъ онъ паписать и "Капитанскую дочку" и "Исторію Пугачевскаго бунта". Какъ для француза разсказы и мемуары изъ эпохи великой революціи составляють полное интереса и драматизма чтеніе, такъ и въ пашихъ дворянскихъ семьяхъ, въ началъ нынфшняго въка и даже въ 30-хъ его годахъ эпизоды пугачевщины, особенно на востокъ Россіи, передавались и воспринимались съ потрясающимъ интересомъ. Няня Пушкина была родомъ изъ новгородской деревни; она не знала, не испытала этой бури: бабка же была свидътельницей событіи, сама пережила многое. Ел процессъ съ мужемъ, тайно женившимся на своей кръпостной, дошелъ до евъдънія императрицы Екатерины, и вызваль ея личное участіе въ последніе годы ея царствованія. По всей въроятности, Марья Алексвевна лично просила императрицу, и извъстная сцена въ "Капитанской дочкъ" (гл. XIV), гдъ героиня повъсти встръчается съ государыней въ царскосельскихъ аллеяхъ, кажется, была написана по разсказамъ бабушки.

Эти старые семенные разсказы и дворянскія преданія имъли прежде оригинальную прелесть. Пушкинъ любилъ ихъ записывать, пользовался ими для высокихъ художественныхъ образовъ. У него, кромѣ другихъ источниковъ, какъ у художника, было непосредственное историческое чутье.

Буличъ.

Пушкинъ въ Царскосельскомъ лицев.

Родители Пушкина нарочно побхали въ Петербургъ, чтобы развъдать, куда бы лучше помъстить сына. Въ Петербургъ уже въсколько лътъ пользовался извъстностью благородный ісзунтскій институтъ: но въ высшемъ обществъ, къ коему принадлежалъ Сергъй Львовичъ, особенно славился одинъ частный пансіонъ, учрежденный и прекрасно устроенный аббатомъ Николемъ, впослъдствій устроителемъ Ришельевскаго лицея,

н въ то время находившінся въ въдънін аббата Макара. Тамъ воспитывались дъти изъ лучнихъ семенствъ. Туда же намъревались отдать и Пушкина. Невольно подумаець о томъ, что стало бы съ нимъ, какое бы получилъ онъ направленіе подъ руководствомъ аббата! Кажется, не ошибемся, если скажемъ, что, къ счастію его, въ то время открывался Лицей въ Царскомъ Селъ.

Лицей, прекрасный памятникъ заботливости государя Александра Павловича о просвъщении России, имълъ на Пушкина вліяніе ръшительное. Не говоримъ уже о томъ, что постоянная жизнь въ царскосельскомъ уединеніи, посреди прекрасныхъ тамошнихъ садовъ, питала въ немъ чувство изящнаго и любовь къ природъ, — Лицей подъйствовалъ и на умъ его, сообщивъ его мыслямъ опредъленное направленіе, и на сердце, давъ возможность рано развиться нѣжнымъ склонностямъ дружбы, чувствамъ чести и товарищества, однимъ словомъ, онъ вполит раскрылъ вст его способности. Пушкинъ вспоминалъ о Лицет, какъ объ отеческомъ кровъ, какъ о родимой обители.

12-го августа 1810 года постановленіе о Лицев было Высочайше утверждено. Изъ этого постановленія, излагающаго въ 149 параграфахъ всв подробности административной и учебной части заведенія, узнаемъ, что "учрежденіе лицея имъло цълью образованіе юношества, особенно предназначеннаго къ важнымъ частямъ службы государственной", что въ немъ "преподавались предметы ученія, важнымъ частямъ государственной службы приличные и для благовоспитаннаго юноши необходимо нужные", что "лицей и члены его приняты подъ особенное Его Императорскаго Величества покровительство и состоятъ подъ непосредственнымъ въдвијемъ министра народнаго просвъщенія", который въ концѣ каждой недѣли получаль отъ директора подробную вѣдомость о состояніи Лицея.

Августа 19-го, именнымъ указомъ, даннымъ министру народнаго просвъщенія, предписано было привести въ дъйствіе постановленіе о Лицев. Въ концъ этого указа читаемъ: "Я питаю твердое упованіе, что заведеніе сіе вскоръ процвътетъ подъ управленіемъ начальства, коему оное ввъряется".

Государь подарилъ Лицею собственную библютеку, въ которой ивкоторыя книги находились прежде въ личномъ его употреблении и сохранили драгоцвиныя собственноручныя его

замвчанія и отметки. Но высокое покровительство августьйшаго учредителя выразилось особенно въ томъ, что для помъщенія Лицея отведена была часть Царскосельскаго дворца. Невозможно было едълать лучшаго выбора. Лицей такимъ образомъ пользовался и необходимымъ въ теченіе большей части года уединеніемъ, и близостью столицы, открывавшею доступъ ко всѣмъ учебнымъ средствамъ и пособіямъ. Дворцовыя зданія Царскаго Села, построенныя еще при Елизаветъ Петровиъ (1744) славнымъ художникомъ Растрелли, особенно украшены и возвеличены были въ дни Екатерины, коей память еще такъ свѣжо сохранялась въ то время. Слава ея имени и царствованія одушевляла лицеистовъ. Какъ сильны были эти впечатлѣнія, видно изъ стихотворенія Пушкина: Воспоминанія єї Царскомъ Сель, и особенно изъ слѣдующихъ:

> И славныхъ лътъ передо мною Являлись вѣчные слѣды: Еще исполнены великою Женою, Ея любимые сады Стоять населены чертогами, столпами, Гробницами друзей, кумпрами боговъ, II славой мраморной, и м'єдными хвалами Екатериннискихъ гербовъ!... Садятся призраки героевъ У посвященныхъ имъ столновъ; Глядите: вотъ герой, ственитель ратных в строевь, Перунъ Кагульскихъ береговъ! Воть, воть могучій вождь полуночнаго флага, Предъ къмъ морей пожаръ и плавалъ и леталъ! Воть, втрный брать его, герой архипелага, Воть наваринскій Ганнибаль!

2-го іюня 1811 года именнымъ указомъ, даннымъ сенату, статскій совътникъ Малиновскій, находившійся при государственной коллегій иностранныхъ дълъ, назначенъ былъ директоромъ Лицея. Василій Өедоровичъ Малиновскій, братъ извъстнаго Алексъя Өедоровича, управлявшаго Московскимъ архивомъ иностранныхъ дълъ, издавна былъ пріятелемъ Пушкиныхъ. Уже это одно должно было расположить Сергъя Львовича къ номъщенію сына въ Лицей. Сверхъ того, Лицей, какъ заведеніе вновь открываемое и при такой благопріятной обстановкъ, внушалъ родителямъ довъріе. Наконецъ нельзя упустить изъ виду и того обстоятельства, что лицейсты восинтывались безплатно.

Автомъ 1811 года молодон Пушкинъ въ первый разъ оставилъ родиой свой городъ, Москву. Дядя, Василій Львовичъ, повезъ его въ Петербургъ.

доступъ въ Лицей былъ довольно затруднительному экзамену. Доступъ въ Лицей былъ довольно затруднителенъ: въ постановленіи сказано, что "на первый случай полагалось принять въ лицей не менъе 20 и не болье 30 воспитанниковъ, а впослъдствіи времени по соображенію съ хозяйственнымъ состояніемъ лицея". Многіе родители прівхали въ Петербургъ для опредъленія дътей своихъ; но только 38 человъкъ были допущены къ экзамену, и въ это число Василью Львовичу удалось включить племянника своего, благодаря совътамъ и ходатайству Александра Ивановича Тургенева, въ то время служившаго при министръ духовныхъ дълъ, князъ А. Н. Голицынъ. Могъ ли Тургеневъ думать, что этотъ мальчикъ, которому по добротъ своей онъ открывалъ доступъ въ Лицей, сдълаетси знаменитымъ поэтомъ, и что чрезъ 26 лътъ онъ окажетъ ему другую услугу: отвезетъ его тъло на послъднее жилище!

Августа 12-го 38 мальчиковъ были подвергнуты предварительному испытанію, и 30 изъ нихъ, въ томъ числѣ Пушкинъ, удостоены принятія въ Лицей, на что и послѣдовало Высочайшее утвержденіе, испрошенное директоромъ Лицея.

Лицей торжественно открылся 19 октября 1811 г.,—день, незабвенный для Пушкина и его товарищей, день, который они потомъ ежегодно праздновали, и памяти которато дарискинъ посвятилъ нъсколько дучшихъ стихотворений своихъ.

Вы помните: когда возникъ Лицей, Какъ Царь для васъ открылъ чертогъ Игрицыйъ Привътствіемъ межъ царственныхъ гостей.

Съ утра всё члены августейшей фамилін, первые чины двора, министры, члены государственнаго совета и проч. собрались въ придворную царкосельскую церковь, которая вмёсте была и лицейскою церковью, находясь въ середине зданія и соединяя комнаты лишь съ государевыми покоями Директоръ Лицея привелъ въ церковь всёхъ воспитанниковъ, профессоровъ и чиновниковъ открываемаго заведенія. Отслущана была личтургія, и потомъ все собраніе прошло поркомнатамъ Лицея, въ предшествіи придворныхъ певчихъ и духовенства, которое освятили ихъ кропленіемъ святой воды. Затемъ всё собрались

r. TIOMEHb.

въ залу, гдв прочитаны были некоторыя места изъ Высочайше пожалованной Лицею грамоты. Министръ просвъщенія передаль эту грамоту директору для храненія. За річью, которую произнесъ директоръ, профессоръ Кошанскій прочелъ списокъ чиновниковъ Лицея и принятыхъ въ оный воспитанниковъ. Наконецъ къ симъ послъднимъ обратился съ ръчью профессоръ Куницынъ. Впечатлъпіе, произведенное этою ръчью, сохранилось въ памяти Пушкина черезъ 25 лътъ, какъ видно изъ вышеприведенныхъ стиховъ, написанныхъ въ 1836 году. Въ этой ръчи, между прочимъ, читаемъ: "Познанія ваши должны быть общирны, ибо вы будете имъть непосредственвліяніе на благо цълаго общества. Государственный человъкъ долженъ знать все, что только прикасается къ кругу его дъйствія... Государственный человъкъ, будучи возвышенъ надъ прочими, обращаетъ на себя взоры своихъ согражданъ; его слова и поступки служать для нихъ примъромъ. Если правы его безпорочны, то онъ можетъ образовать народную правственность болъе собственнымъ примъромъ, нежели властію... Благорастворенный воздухъ, безмольное уединеніе, воспоминание о великой въ женахъ и о воспитании въ семъ мъстъ августъйшаго внука ся, воскриляетъ младые таланты... Вы ли не устрашитесь быть последними въ вашемъ роде? Вы ли захотите смъщаться съ толпою людей обыкновенныхъ, пресмыкающихся въ неизвъстности и каждый день поглощаемыхъ волнами забвенія? Нѣтъ! да не развратитъ мысль сія вашего воображенія. Любовь къ славъ и отечеству должна быть вашимъ руководителемъ!" По окончаніи ръчи, государь осмотрълъ помъщение воспитанниковъ и удостоилъ своего присутствія объденный столь ихъ. Торжество заключилось иллюминаціею.

Это происходило въ четвергъ. Черезъ четыре дня, въ понедъльникъ 23-го октября, началось въ Лицев ученье. Преподаваніе наукъ въ Лицев, какъ и все внутрение устройство
его, имъло особенный характеръ. Уравненный въ правахъ
съ русскими университетами, онъ не походитъ на сін послъдніе уже по самому возрасту своихъ пито цевъ, которые
при поступленіи имъли отъ 10 до 12 лътъ; но, съ другон
стороны, въ высшемъ, четвертомъ курев Лицея преподавалось
ученіе, обыкновенно излагаемое только съ университетскихъ
кафедръ. Такимъ образомъ онъ соединялъ въ себъ характеры
называемыхъ высшихъ и среднихъ учебныхъ заведеній. Ли-

цеисть, въ теченіе шести лѣть, узнаваль науки оть нервыхъ начатковъ до философическихъ обозрѣній.

Въ "постановленіи о лицев" подробно изложены предметы, способъ и распредъленіе преподаванія. Тамъ сказано, что "самое большое число часовъ въ недълю должно посвящать обученію грамматикъ, наукъ историческихъ и словесности, особливо языкамъ иностраннымъ, которые должны быть преподаваемы ежедневно не менфе 4 часовъ". Директору вмфнялось въ обязанность стараться о томъ, чтобы воспитанники разговаривали между собой на французскомъ и нъмецкомъ языкахъ поденно. Языкамъ греческому, англійскому и итальянскому вовсе не учили. Латинскому было дано второстепенное мъсто; его причислили къ канедръ русской словесности, которую занималъ профессоръ Николай Өедөрөвичъ Кошанскій. Онъ училъ также и языку церковно-славянскому. Въ § 45 постановленія читаемъ: "Ученіе славянской грамматики для коренного познанія россійскаго слова необходимо; а потому и должно быть обращено на часть сію особенное вниманіе". На последнемъ курсе лиценсты слушали исторію изящныхъ искусствъ по Винкельману. Вообще въ преподаваніи словесности или "изящныхъ письменъ", какъ названа она въ постановленін, главнымъ почиталось чтеніе образцовъ. Рядомъ съ нимъ дъятельно шли практическія упражненія, и ученики подавали Кошанскому свои сочиненія не только въ прозъ, но и въ стихахъ, обычай, можетъ-быть, перенесенный изъ Московскаго университетскаго пансіона, въ которомъ Кошанскій учился. Объ этихъ стихотворныхъ упражненіяхъ въ классъ, сохранился забавный анекдотъ. Профессоръ задалъ въ классъ написать сочинение ва тему: восходь солица. Всв ученики написали, кто какъ умълъ и подали профессору свои листки и тетрадки. Остановка была за однимъ ученикомъ, который никакъ не могь совладать съ трудною темою; у него была написана только одна фраза: "Грядетъ съ заката царь природы". Онъ сталъ просить Пушкина помочь ему. "Изволь", отвъчалъ Пушкинъ, и въ одну минуту прибавивъ къ приведенному началу следующие три стиха:

> И изумленные народы Не знають, что начать, Ложиться спать или вставать,—

подаль листокъ профессору.

Объ исторіи, которую преподаваль столь извѣстный впослѣдствіп профессоръ Иванъ Козьмичь Кайдановъ, сказано въ постановленіи: "Во второмъ курсѣ исторія должна быть дѣломъ разума. Предметъ ея есть представить въ разныхъ превращеніяхъ государствъ шествіе нравственности, успѣхи разума и паденіе его въ разныхъ гражданскихъ постановленіяхъ". На четвертомъ курсѣ лицеисты слушали филосовское обозрѣніе знатиѣйшихъ эпохъ всемірной исторіи по Боссюэту и Феррану. Кайдановъ преподаваль также и географію.

Что касается до способа преподаванія, то профессорамъ вмѣнялось въ обязанность "не затемнять умъ дѣтей пространнымъ изъясненіемъ, но возбуждать собственное его дѣйствіе*, "не диктовать уроковъ" и "избѣгать высокопарности". "Все пышное, высокопарное, школьное, совершенно удаляемо было отъ понятія и слуха воспитанниковъ".

Въ какой степени и какимъ образомъ все это примънялось къ самому двлу, остается пензвъстнымъ. Но нътъ сомнънія въ томъ, что лицейское преподаваніе было плодотворно. Лицейское получили и многіе изъ нихъ навсегда сохранили любовь къ наукъ и просвъщенію.

Выше назвали мы двухъ профессоровъ Лицея. Слъдуетъ упомянуть и объ остальныхъ. Законоучителемъ сначала былъ священникъ Николай Васильевичъ Музовскои, мъсто его въ Лицев заступилъ священникъ Гавріилъ Полянскій, а потомъ одинъ изъ ученъйшихъ членовъ нашего духовенства Герасимъ Петровичъ Павскій. Психологію, логику, правственпую философію, науки политическія преподавалъ Александръ Петровичь Куницыпъ, самый замътный изъ всъхъ лицейскихъ профессоровъ по талантамъ, дару слова и по новости идей, которыя онъ издагаль въ статьяхъ и, безъ сомивия, въ лекціяхъ своихъ. Онъ получилъ образованіе въ Геттингенскомъ университетъ и быль въ близкихъ отношеніяхъ къ А. И. Тургеневу. О лекціяхъ Куницына Пушкинъ вспоминалъ всегда съ восхищеніемъ и лично къ нему до смерти своей сохрапилъ неизмънное уважение. Мы увърены, что въ утраченныхъ запискахъ Пушкина много о немъ говорилось. Каоедру философіи и эстегики занималь Александръ Ивановичь Галичъ; объ отношеніяхъ къ нему лицеистовъ можно судить по двумъ посланіямъ Пушкина. Преподавателемъ наукъ математическихъ былъ Яковъ Ивановичъ Карповъ.

Большое вліяніе, уже вслъдствіе частаго обращенія, въроятно, имъли на лицеистовъ преподаватели обоихъ иностранныхъ языковъ. Ифмецкому языку училъ директоръ лицейскаго пансіона, Өедоръ Матвъевичъ фонъ-Гауэншильдъ, который по смерти Малиновскаго, последовавшей въ началъ 1814 года, около двухъ лътъ исправлялъ должность директора Лицея. Онъ хорошо зналъ по-русски и впослъдствіи по желанію государственнаго канцлера, графа Н. И. Румянцева, перевель на ивмецкій языкъ первые 6 томовъ исторіи Карамзина. Но итмецкій языкъ не полюбился Пушкину. Несмотря на то, что лицеистовъ обязывали говорить по-ивмецки, несмотря на примъръ и внушенія Дельвига, онъ почти вовсе не зналъ этого языка. Всвхъ занимательнве и веселве были уроки профессора французскаго языка, человъка пожилыхъ лътъ, эмигранта, уже давно жившаго въ Россіи, оставившаго, съ изволенія Екатерины II, свое настоящее имя Марата, столь страшно прославленное роднымъ его братомъ, и назвавшагося Бури, по мъсту своего рожденія во Франція. Давыдъ Ивановичь де-Бури училь во всвхъ женскихъ заведеніяхъ Петербурга и всюду быль любимь за живой и веселый характеръ. Онъ, между прочимъ, переводилъ съ лицеистами на французскій языкъ "Недоросля" Фонвизина.

При исчисленій людей, имфанихъ вліяніе на лиценстовъ, нельзя пройти молчаніемъ ихъ неразлучнаго собесёдника, учителя рисованія и гувернера, Сергѣя Гавриловича Чирикова, который занималъ эту должность въ теченіе многихъ лѣтъ. Лиценсты любили его. У него бывали литературныя собранія. Въ его гостинной, надъ диваномъ, долго сохранялось нѣсколько шуточныхъ стиховъ, написанныхъ на стѣнѣ Пушкинымъ. — Чистописанію училъ Фотій Петровичъ Калинычъ.

Всѣ эти люди, посреди которыхъ протекло отрочество Пушкина, имѣли или, по крайней мѣрѣ, могли имѣть на него всякаго рода вліяніе. Прямыхъ, положительныхъ свѣдѣній о пребываніи его въ Лицеѣ, несмотря на все наше стараніе, мы не могли собрать много. Собственныя его записки, въ которыхъ, безъ сомнѣнія, онъ говорить подробно о лицейской своей жизни, сожжены; изъ его товарищей до сихъ поръ еще только нѣкоторые подѣлились съ публикою воспоминаніями о томъ времени. Мы принуждены довольствоваться и указа-

ніями, разсъяшными въ сочиненіяхъ Пушкина и немногими собранными свъдъніями.

Едва только возникъ Лицей, едва устроилось въ немъ правильное преподаваніе (затрудняемое спачала неравенствомъ въ познаніяхъ воспитанниковъ), какъ вифшнія политическія событія отвлекли отъ него вниманіе высшаго правительства. Но гроза двфнадцатаго года илодотворно подфиствовала и на молодыхъ лиценстовъ. Она оживляла и питала въ нихъ высокое чувство патріотизма, и, конечно, въ это время пробудилась въ душф Пушкина его горячая любовь къ родивф.

Вы помните, текла за ратью рать, Со старшими мы братьями прощались И въ сѣнь наукъ съ досадой возвращались, Завидуя тому, кто умирать Шелъ мимо насъ...

Съ какимъ чувствомъ говоритъ пятнацатилѣтній поэтъ о пожарѣ Москвы:

Края Москвы, края родные,
Гдѣ на зарѣ цвѣтущихъ лѣтъ
Часы безпечности я тратилъ золотые,
На зная горестей и бѣдъ,
И вы ихъ видѣли, враговъ моей отчизны,
И васъ багрила кровь, и пламень пожиралъ!
И въ жертву не принесъ я мщепья вамъ и жизни...
Вотще лишь гнѣвомъ духъ пылалъ!

Блистательный конецъ отечественной войны, кровавыя славныя битвы 1813 года, наконецъ, взятіе Парижа, — всё эти чудныя событія подымали духъ пародный, волновали всёхъ и каждаго. Въ 1814 году лиценсты были ближайшими свидътелями народнаго торжества. Въ 20-хъ числахъ іюля государь возвратился изъ-за границы. Въ Павловскъ устроенъ былъ праздникъ въ честь гвардіи. Въ Царскомъ Селъ воздвигались тріумфальныя ворота.

Вы помните, какъ пашъ Агамемнонъ
Изъ плъннаго Парижа къ намъ примчался.
Какой восторгъ тогда предъ нимъ раздался!
Какъ былъ великъ, какъ былъ прекрасенъ онъ.
Пародовъ другъ, спаситель ихъ свободы!
Вы помните, какъ оживились вдругъ
Сін сады, сін живыя воды,
Гдъ проводилъ онъ славный свой досугъ!

То было время всеобщаго одушевленія. Такое время, плодотворное для всёхъ, пробуждаеть въ отдёльныхъ лицахъ душевныя силы, вызываетъ къ дёятельности природою данныя способности. Мы, не обинуясь, приписываемъ вліянію тогдашнихъ славныхъ событій быстрое развитіе поэтическаго таланта Пушкина; конечно, вмёстё съ тёмъ признавая, что вліяніе это не было единственнымъ, что сему развитію способствовали и лицейское уединеніе, и счастливое дружество даровитыхъ отроковъ, и поощренія просв'єщенныхъ наставниковъ. Муза, любившая Пушкина въ младенчествъ, не забыла его и въ отрочествъ.

Воспитательное и образовательное значение Царскосельскаго лицея.

Велико значеніе поэта, который проводить въ сознаніе народа жизнь его и изъ тайниковъ родного слова вызываетъ новый міръ пдей, образовъ и звуковъ. Царскосельскій лицей давшій Россіи нъсколько замъчательных в людей на разныхъ поприщахъ, болъе всего однакожъ привлекаетъ внимание потомства тъмъ, что въ немъ началъ свое развитіе геніальный русскій поэть. Лицей быль назначень для приготовленія молодыхъ людей "къ важнымъ частямъ государственной службы", но пронія судьбы устропла, что первымъ блестящимъ плодомъ его воспитанія быль юноша, вовсе не годившійся для службы и однакоже болве всвуг прославившій это заведеніе. Еще прежде нежели произносились имена знаменитыхъ въ наше время питомцевъ первоначальнаго Лицея, Пушкинъ былъ извъстенъ всей Россіи, какъ воспитанникъ перваго выпуска его. Въ поздивишее время нашлись люди, которые стали собирать подробности пребыванія въ немъ нашего поэта и его товарищей. И не мудрено: цълый отдъль стихотвореній Пушкина, отдъль, исполненный блеска и игривости молодой жизни, отмъченъ именемъ Лицея; всякая черта, служащая къ разъясненію этого періода пушкинской поэзій, становится драгоцвина.

Имена Лицея и Пушкина перазрывно связаны между собою въ культурной исторіи Россіи, и трудно сказать, кто кому болъе обязань: Пушкинъ Лицею или Лицей Пушкину.

Вся обстановка новаго училища была необыкновенно благопріятна для развитія поэтическаго таланта. Царское Село соединяло въ себъ двойное обаяніе свъжихъ историческихъ воспоминаній и живописныхъ красотъ мъстности, хотя и созданныхъ болъе чудесами искусства, чъмъ природой. Съ одной стороны сады и рощи, очаровательно-тихое уединеніе, величавые памятники военной славы; съ другой — невидимый, но присущій, исполинскій и прекрасный образъ геніальной Екатерины. Понятно, какъ сильно это двойное обаяніе должно было действовать на воспріимчивую душу одного изъ первенцевъ Лицея. Удивительно ли, что объ стороны такой обстановки ярко отразились въ творчествъ молодого поэта? Онъ и впослъдствін не утратили своего живительнаго вліянія на его фантазію. Лицейскія воспоминанія до конца жизни съ неизмънною силою возвращаются въ его стихотвореніяхъ. Сущность его отношеній къ Лицею и Царскому Селу прекрасно выражена въ стихахъ, написанныхъ имъ при возвращении послѣ многихъ лѣтъ къ дорогимъ мѣстамъ:

Воспоминаньями смущенный, Исполненъ сладкою тоской, Сады прекрасные, подъ сумракъ вашъ священный Вхожу съ поникшею главой! Такъ отрокъ Библіп, безумный расточитель, До капли истощивъ раскаянья фіалъ, Увидъвъ, наконецъ, родимую обитель, Главой поникъ и зарыдалъ...

Среди суетныхъ увлеченій и въ тяжелыя минуты поэтъ обращался къ святынъ своихъ воспоминаній:

И славныхъ лѣтъ передо мною Являлись вѣчные слѣды: Еще исполнены великою женою, Ея любимые сады Стоятъ населены чертогами, столпами... и проч.

Пушкинъ не остался въ долгу у заведенія, въ которомъ видълъ колыбель своей славы. Значеніе поэта для позднъйшаго Царскосельскаго лицея заключалось не въ одномъ блескъ его имени, которымъ это учрежденіе гордилось, не въ одной любви, съ какою онъ прославлялъ Лицей въ стихахъ своихъ: воспоминаніе о Пушкинъ дало основной тонъ и цвътъ всей

внутренней жизни Лицея. Копечно, и послъ него, какъ при немъ, строго-научное направленіе не пустило корня въ стънахъ этого разсадника министерствъ и гвардін. Лицей по ученію оставался далекъ даже отъ того идеала высшаго учебпаго заведенія, который имъли въ виду при его основаніи. Но преданіе о Пушкинъ и его товарищахъ удержало Лицей на томъ пути, на который онъ твердо сталъ съ самаго начала. Имя Пушкина было для Лицея палладіумомъ и спасло его отъ духовнаго паденія въ ту нерадостную пору, когда жельзная рука Аракчеева исторгла Лицей изъ подъ вліянія князя Голицына и отдала его подъ военную опеку. Несмотря на измънившійся духъ управленія, чтеніе и авторство остались любимыми занятіями лиценстовъ. Правда, что это мъшало пріобрътенію основательныхъ школьныхъ познаній, но такая самодъятельность неоспоримо имъла все-таки свою полезную сторопу, изощряя умственныя способности, развивая и питая любознательность; изъ чтенія также почерпались свъдънія, хотя и не систематическія; стремленіе же къ авторству заставляло юношей работать и прилагать знанія на практикъ. А это также не маловажные элементы умственнаго воспитанія.

Впрочемъ и ученіе шло не дурно по тъмъ предметамъ, которые были въ рукахъ способныхъ и дъятельныхъ преподавателей. Но, къ сожалвнію, таковы были далеко не всв представители наукъ въ Лицев, хотя онъ и считался лучшимъ изъ закрытыхъ учебныхъ заведеній въ Россіи. При качественной скудости педагогическихъ силъ, дицепсты охотно обращались къ такимъ самостоятельнымъ занятіямъ, которыя наиболье соотвытствовали духовнымь потребностямь ихъ возраста. Бывали, конечно, и примъры прискорбныхъ увлеченій, когда бездарность тратила время на безплодное риемоплетство, пли когда чтеніе не шло далже романовъ, вичего не дававишихъ взамънъ упущенныхъ уроковъ. Но это только частные случан. При такомъ направленін Царскосельскій лицей никогда не доходиль до той пустоты и суетности, до той любви къ праздности, къ наслажденіямъ и разгулу, которыя могуть овладьть закрытымь заведеніемь, когда оно лишится благотворной силы преданія и умственныхъ интересовъ, когда всякая духовная жизнь въ немъ подавлена преобладаніемъ грубыхъ страстей и цинизма. Такому печальному паденію Царскосельскаго лицея всегда противодъйствовало жившее въ немъ, благодаря хранительнымъ традиціямъ, уваженіе къ умственному превосходству, къ литературному таланту и труду.

Но какимъ образомъ, съ самыхъ первыхъ мъсяцевъ существованія Лицея, въ немъ пробудилась та замѣчательная самодългельность, о которой единогласно говорять всъ свидътельства? Вотъ вопросъ чрезвычайно дюбопытный и до сихъ поръ почти еще не затронутый. Предположение Анненкова, что воспитанники, скучая отъ бездълья, искали въ занятіяхъ спасенія отъ скуки, еще не разрѣшаеть этого вопроса: отъ скуки охотнъе прибъгаютъ къ другимъ развлеченіямъ. Собираться для того, чтобы вмъстъ сочинить пъсню или чтобъ общими силами разсказать повъсть, которую всякій продолжаеть развивать по-своему съ того мъста, гдъ другой остановился, это значило любить умственныя забавы, чувствовать потребность въ упражненін ума и воображенія. Было ли это следствіемъ присутствія одного необыкновеннаго таланта, или соединенія нъсколькихъ даровитыхъ юношей, или возбуждение исходило извет отъ кого-нибудь изъ наставниковъ? Талантливые восинтанники, страстно любившіе литературу, бывали въ Лицев и послъ, однакожъ явленіе подобной авторской производительности въ такой степени никогда болъе въ немъ не повторилось. Въ рукахъ моихъ находится начало самаго ранняго сборинка лиценстовъ перваго курса, подъ заглавіемъ Въстникт: тамъ упомянуто, что "Инспекторъ лицея Мартынъ Ст. Пилецкій предложиль учредить собраніе всьхъ молодыхъ людей, которыхъ общество найдетъ довольно способными къ исполненію должности сочинителя, и чтобы всякій членъ сочиниль что-нибудь въ продолжение по крайней мъръ двухъ недъль, безъ чего его выключатъ". Трудно однакожъ вывести отсюда заключеніе, чтобы главнымъ виновникомъ литературнаго движенія въ кругу первыхъ лиценстовъ былъ Пилецкій, человъкъ съ весьма плохимъ образованіемъ и до того нелюбимый ими, что они, паконецъ, вступили съ нимъ въ открытую борьбу и принудили его удалиться.

Выли, кажется, два обстоятельства, которыми, кром'в даровитости воспитанниковь, объясняется ихъ оживленная литературная дъятельность. Отець Пушкина былъ знакомъ съ извъстнъйшими московскими писателями; этимъ путемъ тамопшій

литературный міръ сдълался легко доступень для лицейскихъ поэтовъ, и съ 1814 г. ихъ опыты начинаютъ являться въ печати: понятно, какъ переспектива такой чести должна была возбуждать молодые умы и перья. Другимъ важнымъ обстоятельствомъ было то, что семеро изъ товарищей Пушкина до поступленія въ Лицей были въ Московскомъ университетскомъ пансіонь: двое (Масловъ и Яковлевъ) были доставлены прямо оттуда, вследствіе распоряженія министра; остальные пятеро (Вальховскій, Данзасъ, Ломоносовъ, Матюшкинъ и Ржевскій) прибыли въ Лицей частнымъ образомъ изъ родительскихъ домовъ. Извъстно, что въ Московскомъ университетскомъ пансіонъ было сильно развито литературное направленіе. Еще въ 1780-хъ годахъ труды его воспитанниковъ печатались въ сборникахъ, носившихъ разныя заглавія; а въ последніе годы прошлаго стольтія, когда въ этомъ заведенін воспитывался Жуковскій, между пансіонерами образовалось даже литературное общество, пли "собраніе" для чтенія и разбора ихъ сочиненій и переводовъ. Оно имѣло свой особенный уставъ. Основателемъ и первымъ предевдателемъ этого общества быль Жуковскій. Ученическіе труды его и и которыхъ изъ его товарищей, напримъръ Грамматина и Петина (прославленнаго Батюшковымъ), были впоследствіи изданы въ виде сборника, состоявшаго изъ нъсколькихъ томовъ, подъ заглавіемъ Утренняя Заря.

Случайно ли было сходство между литературными собравіями Московскаго пансіона и Лицея? Тогдашній профессоръ русской словесности въ новомъ царскосельскомъ заведеніи, Кошанскій, былъ самъ питомецъ Московскаго университета и преподаватель при его пансіонъ; онъ придавалъ особенную важность письменнымъ упражненіямъ, и по его желанію книга "Утренияя Заря", при самомъ открытіи Лицея, была пріобрътена какъ одно изъ пособій по русской каоедръ. Наконецъ, и первый директоръ Лицея, В. Ө. Малиновскій, также воспигывался нъкогда въ Московскомъ университетъ. Происходя изъ духовнаго сословія, онъ получиль основательное образованіе, для котораго важными средствами служили ему смолоду, подъ руководствомъ профессора Барсова, практическія упражненія прозой и стихами, такъ что в онъ рано привыкъ съ самодъятельности. Онъ обладаль замъчательною способностію къ языкамъ и въ зръломъ возраств постоянно продолжаль распространять свои свёдёнія: читаль, авторствоваль и переводиль. Такимь образомь при основаніи Лицея мы видимь и въ начальствё его, и на одной изъ главныхъ кафедръ, и между воспитанниками элементы, перенесенные изъ Московскаго университетскаго пансіона, и трудно не предложить нёкоторой взаимной связи въ быту того и другого заведенія. Все соединилось, чтобы въ новомъ разсадникѣ наукъ приготовить самую благодарную почву для занятій литературою. Удивительно ли, что первые плоды этого разсадника были взлельяны порзіей, а не наукой?

Внутренняя жизнь перваго курса Лицея хорошо отражается въ письмахъ воспитанника Илличевскаго, писанныхъ во время самаго пребыванія его въ заведенін и потому составляющихъ драгоцівнный источникъ для занимающаго насъ предмета.

Илличевскій, сынъ томскаго губернатора, попавъ въ Лицей изъ петербургской гимназіи (тогда единственной, нынъ 2-й), переписывался съ оставщимся тамъ бывщимъ товарищемъ своимъ Фуссомъ, впоследствии непременнымъ секретаремъ Академін Наукъ. Въ литературъ Плличевскій оставиль послъ себя только небольшой томикъ "Опытовъ въ антологическомъ родъ", изданный въ 1827 г.; но, находясь въ Лицев, онъ быль однимь изъ самыхъ дъятельныхъ его литераторовъ. Онъ писаль басни, эпиграммы, посланія и, кромф того, отличался искусствомъ рисовать карикатуры. При журналъ "Лицейскій Мудрецъ" сохранились его акварельныя иллюстраціи, которыя и теперь не потеряли своего относительнаго достоинства. Илличевскій, уже въ первые мъсяцы посль поступленія въ Лицей, сознавался, что много быль обязавъ Пушкину, который уже тогда заявиль свое значение и вліяние въ кругу товарищей. Кратковременное запрещение сочинять, о которомъ Пличевскій вследь затемь сообщаеть, было, конечно, вызвано тъмъ, что молодые люди, увлекаясь примъромъ своего даровитаго собрата, слишкомъ неумъренно предавились страсти къ авторству во вредъ урокамъ. Безъ этого предположенія трудно допустить, чтобы такой просвъщенный начальникъ, какъ Малиновскій, сталь запрещать своимъ питомцамъ подобныя занятія. Да и Кошанскій всегда считаль умънье писать самой существенной стороной литературнаго образованія. Въ своей "Общей Риторикъ" Кошанскій считаеть пужнымъ пачинать сочиненія съ періодовъ, которые и называетъ "началами прозы". Вотъ чъмъ объясияется, что Илличевскій, извъстивъ своего друга о снятін помянутаго запрещенія, прибавляеть: "и мы начали періоды!"

Вотъ въ какихъ строкахъ Илличевскій изображаетъ учебный быть поваго заведенія: "въ праздное время гуляемъ, а нынче жъ начинается лѣто: сиѣтъ высохъ, трава показывается, и мы съ утра до вечера въ саду, который лучше всѣхъ лѣтнихъ петербургскихъ". Чтобы понять эти слова, надобно всномнить, что тогда при Лицев еще не было своего сада (который устроенъ былъ позже, по старанію Энгельгардта): воспитанники въ свободные часы ходили въ большой царскосельскій садъ и тамъ располагались особенно на такъ называемомъ розовомъ полю — вправо отъ мраморнаго мостика, гдъ въ царствованіе Екатерины II дъйствительно сажали розы, но при первомъ курсъ Лицея ихъ уже не было; тамъ лиценсты гуляли, ръзвились, играли въ ланту и пр.

То же положеніе учебной части въ Лицев продолжалось и посль. По смерти перваго директора Лицея, Малиновскаго, долго не было настоящаго начальства. Профессора, исправлявшіе эту должность, не умьли пріобрьсти авторитета. Притомъ воспитанники были какъ свои во многихъ царскосельскихъ домахъ и видьли профессоровъ на равной съ собою ногь, и потому ть являлись передъ ними безъ всякаго ореола величія. Таковъ былъ, напримъръ, домъ управляющаго Царскимъ Селомъ графа Ожаровскаго, жившаго очень открыто: тамъ воспитанники часто встръчались съ Кошанскимъ.

Употребляя мало времени на уроки, лиценсты зато много читали. Фуссъ въ одномъ письмъ спрашивалъ Илличевскаго, доходятъ ли до Лицея новыя книги. На это тотъ отвъчаетъ размышленіями о пользъ чтенія и прибавляетъ: "Мы стараемся имъть всъ журналы, и впрямь получаемъ: "Пантеонъ", "Въстникъ Европы", "Русскій Въстникъ" и пр.". Далъе онъ говоритъ, что они наслаждаются не только современными поэтами: Жуковскимъ, Батюнковымъ, Крыловымъ, Гнъдичемъ, но заглядываютъ также въ сочиненія Ломоносова, Хераскова, Державина, Дмитріева, а ипогда бесъдуетъ и съ иностранными пъвцами: Расиномъ, Вольтеромъ, Делилемъ. "Не худо", заключаетъ онъ, "заимствуя отъ нихъ красоты неподражаемыя, переносить ихъ въ свои стихотворенія". Здъсь Илличевскій слегка намъчаетъ то, что такъ поэтически и прелестно раз-

вито въ "Городкъ" Пушкина. Понятіе о пользъ чтенія было твердо усвоено лицеистами. Еще въ 1822 г. Пушкинъ писалъ изъ Кишинева брату: "Чтеніе — вотъ лучшее ученіе". Но къ этому слъдовало бы прибавить, что чтеніе должно производиться не такъ, какъ оно производилось въ Лицев. О томъ, что въ немъ необходима система, что оно должно быть въ связи съ ученіемъ и имъть какой-нибудь заранте опредъленный господствующій характеръ, лиценсты не думали и никто имъ этого не объяснялъ. Впрочемъ, и разпообразное чтеніе безъ плана можеть, конечно, имъть образовательное дъйствіе. Это направленіе продолжалось въ Лицев, и послъ воспитаниики читали русскіе журналы, читали поэтовъ, историческія сочиненія, книги по политической экономіи, путешествія, романы, драмы и пріобрътали довольно обширное знакомство съ литературой главныхъ европейскихъ народовъ. Нехорошо только то, что многіе исподтишка читали во время декцій даже хорошихъ профессоровъ, плохо готовили уроки н охладъвали къ ученію.

Вся формальная и офиціальная часть при первомъ курсть шла очень плохо, но зато бойко работали внутреннія силы и пружины, приводимыя въ движеніе духомъ времени, исключительными обстоятельствами и присутствіемъ итеколькихъ недюжинныхъ личностей. Вотъ разгадка той странности, на которую указываетъ графъ Корфъ, говоря: "Нашъ курсъ, болте встать запущенный, вышелъ едва ли не лучше встать другихъ, по крайней мтрт несравненно лучше встать современныхъ ему училищъ... Какъ это сдълалось, трудно дать ясный отчетъ: по крайней мтрт ни наставникамъ нашимъ ни надзирателямъ не можетъ быть приписана слава такого результата".

Изъ писемъ Илличевскаго мы видимъ далѣе, что посылать свои произведенія въ московскіе и петербургскіе журналы, даже еще во время пребыванія въ младшемъ курсѣ, было между леценстами перваго пріема дѣломъ обыкновеннымъ Кромѣ сочиненій Пушкина, уже печатались также труды Дельвига, Кюхельбекера, Яковлева, Пущина и самого Илличевскаго. Послѣдній пытался даже поставить въ Петербургѣ на сцену своей переводъ какой-то оперы и затѣвалъ большія литературныя предпріятія, какъ, напримѣръ, изданіе "Новаго Плутарха для юношества" и составленіе біографіи матема-

тика Эйлера. По всему видно, что стремленіе создать чтонибудь крупное, капитальное было общею чертою молодыхъ
лицейскихъ авторовъ. Пушкинъ также за полтора года до
выпуска, затъваетъ большое сочиненіе. 16 января 1816 г.
Илличевскій сообщаетъ: "Онъ пишетъ теперь комедію въ пяти
дъйствіяхъ, въ стихахъ, подъ названіемъ "Философъ". Планъ
довольно удаченъ, и начало, т.-е. первое дъйствіе, до спхъ
поръ только написанное, объщаетъ нъчто хорошее; стихи —
и говорить нечего, а острыхъ словъ сколько хочешь!" Отъ
этого, только начатаго Пушкинымъ труда, не осталось никакихъ
слъдовъ; конечно онъ, будучи недоволенъ своимъ планомъ,
скоро бросилъ работу и принялся за поэму "Русланъ и Людмила", первыя пъсни которой были, какъ извъстно, написаны
еще въ Лицеъ.

Журналь "Лицейскій Мудрець" долго считали потеряннымъ вмѣстѣ съ бумагами, оставшимися послѣ умершаго въ Италін Корсакова, къ которому относится мѣсто "19-го октября", начинающееся словами:

Онъ не пришель, кудрявый нашь пъвецъ Съ огнемъ въ очахъ, съ гитарой сладкогласной.

Сохранившійся "Лицейскій Мудрець" составляєть небольпіую тетрадь или книжку, въ формѣ продолговатаго альбома, въ красномъ сафьянномъ переплетѣ. На лицевой сторонѣ переплета, въ золотомъ вѣнкѣ, читается заглавіе и подъ нимъ означенъ годъ: "1815".

Въ январъ этого года воспитанники перешли въ старпий курсъ, а возобновленный журналъ сталъ выходить осенью и продолжался еще въ началъ 1816 года. Въ этотъ періодъ явилось четыре номера, которые всъ и содержатся въ описанной книжгъ. Въ концъ каждаго раскрашенные рисунки работы Илличевскаго, представляющіе то воспитанниковъ, то наставниковъ въ разныхъ сценахъ, отчасти описанныхъ въ статьяхъ журнала. Издателями, по словамъ Матюшкина, были: Данзасъ (будущій секундантъ Пушкина) и Корсаковъ. Статьи по большей части, писаны красивымъ почеркомъ перваго, почему въ началъ книжки и означено: "Въ типографіи Данзаса". Изъ прибавленной къ этому шутки: "Печатать позволяется. Цензоръ баронъ Дельвигъ", можно заключить, что этотъ товарищъ, всъми уважаемый за свою основательность, про-

сматривалъ статьи до переписки ихъ начисто. Почти вся проза принадлежить, кажется, самому Даизасу; по крайней мъръ, въ 2-мъ уже померъ онъ бранитъ своихъ читателей за то, что они ничего не даютъ въ журналъ, и грозитъ имъ что если это будетъ продолжаться, "если, говорить онъ, ваши Карамзины не развернутся и не дадутъ мив какихънибудь смешныхъ разговоровъ, то я сделаю вамъ такую штуку, отъ которой вы не скоро отдълаетесь. Подумайте. -Онъ не будетъ издавать журнала? — Хуже. — Онъ натретъ идомъ листочки "Лицейскаго Мудреца". — Вы почти угадали: я подарю васъ усынительною балладою г. Гензеля" (т.-е. Кюхельбекера). Посъдній, то подъ приведеннымъ именемъ, то съ намекомъ на пристрастіе къ дерптскимъ студентамъ или на дурное произношение русскаго языка, служить постояннымъ предметомъ насмъшекъ на страницахъ "Лицейскаго Мудреца". Одна изъ статей любопытна, какъ современное свидътельство о толкахъ, которые возбуждало недавнее паденіе Наполеона. Она имъетъ форму письма къ издателю, подъ заглавіемъ: "Занятіе Наполеона Буонапарте на Нортумберландъ". Авторъ воображаетъ, что онъ, плывя на одномъ корабль съ эксъ-императоромъ, отдъленъ только перегородкою отъ его каюты и видитъ сквозь щелку все, что онъ дълаеть: "властелинъ Франціи, бичъ вселенной, родоначальникъ великой династін Наполеонидовъ... поймалъ двѣ крысы и, броспвъ межъ ними кусокъ сахару, занимался тъмъ, что эти твари ссорились и дрались за него съ остервененіемъ!... Порадовавшись удали французской крысы, онъ ихъ опять запираетъ въ своей ящикъ и, гуляя по компатъ, говоритъ: "Oh, le maudit vieillard de Blücher! il m'a fait bien du mal... Bien mal fait d'avoir quitté Elbe. J'avais tout ce que je voulais. Mon unique plaisir à présent composent ces deux rats, que je fais combattre; aujourd'hui c'est le Français qui a le dessus, j'en suis bien aise... Бъдный монархъ: тебя разбили, посадили на корабль и везутъ въ въчную тюрьму, а твое утвшеніе въ двухъ крысахъ!"

Стоить также упомянуть объ одной мысли въ статьв "Апологія". Авторъ защищаєть следущимь образомъ вызовъ въ Россію иностранныхъ преподавателей: "Стояль я столбиякомъ въ лесу и думаль, помнится мив, о томъ, какъ бы выгнать всехъ профессоровъ и чужестранцевъ изъ матушки Русской земли, а на мѣсто ихъ поставить въ университеты самоѣдовъ и чукчей. Ахъ, постойте, любезные чтецы, я перерву мой разсказъ коротенькимъ размышленіемъ. Какую пользу это принесетъ Россіи, а особенно намъ, школьникамъ? Теперь въ классахъ говорятъ о правахъ естественныхъ, а преподаютъ только теорію; а подъ профессорствомъ г. Чукчи мы, раздирая ногтями мясо кобылье, повторяли бы естественное право на самой лучшей практикъ".

Стихотворная часть "Лицейскаго Мудреца" принадлежить, по преданію, Корсакову, Илличевскому и др. Всего любо-пытнѣе переписанныя въ этомъ журналѣ "національныя пѣсни" (замѣчательное для того времени названіе) перваго курса, до сихъ поръ еще остающіяся не напечатанными въ цѣлости. По свидѣтельству Пущина, знаменитый поэтъ принималъ участіе въ сочиненіи національныхъ пѣсенъ, которыя, какъ извѣстно, сочинялись сообща.

Въ следующемъ куплете:

Но кто нъмецкихъ бредней томъ Покроетъ въчной пылью? Пилецкій, пастырь душъ съ крестомъ, Иконниковъ съ бутылью...

покойный Матюшкинъ призналъ себя авторомъ послъдняго стиха. О дицахъ, къ которымъ относится это мъсто, было уже не разъ упоминаемо въ печати. Выраженіе "нъмецкія бредни" намекаетъ на героя пъсни Гауэншильда, профессора нъмецкой литературы, который одно время исправляль должность директора. О Гауэншильдъ Илличевскій писалъ Фуссу: "Попечитель вашъ Уваровъ нарочно призвалъ его изъ Вѣвы въ Россію и доставиль ему мѣсто въ Лицеѣ". Мы можемъ пояснить теперь, что этотъ вызовъ быль не во благо русскому юношеству. Чуждый новому поприщу своей деятельности, этотъ австріецъ думалъ только о личной своей выгодъ и, успѣвъ снискать довѣренность графа Разумовскаго, достигъ такого положенія, въ которомъ ничего не было легче, какъ употребить ее во зло. Ранняя смерть перваго директора, уже въ мартъ 1814 года, была истиннымъ несчастіемъ для новаго заведенія, хотя, можетъ-быть, онъ и не вполиъ соотвъствовалъ своему назначенію. "В. Ө. Малиновскій, пишетъ графъ Корфъ, "былъ человъкъ добрый и съ образованіемъ,

хотя несколько семпнарскимъ, но слишкомъ простодущный, безъ всякой людкости, слабый и вообще не созданный для управленія какою-нибудь частію, тёмъ болье высшимъ учебнымъ заведеніемъ. Значеніе свое онъ получилъ, кажется, оттого, что быль женать на дочери извъстнаго протојерея Андрея Аванасьевича Самборскаго, сперва священника при церкви нашего посольства въ Лондопъ, потомъ законоучителя и духовника великихъ князей Александра и Константина Навловичей, и, наконецъ, духовника великой княгини Александры Павловны по вступленію ея въ бракъ съ эрцгерцогомъ палатипомъ Венгерскимъ. Есть, впрочемъ, вся вфроятность думать, что и въ выборъ Малиновскаго не обощлось безъ участія тогдашияго государственнаго секретаря (Сперанскаго), который издавна быль очень близокъ къ Самборскимъ и въ ихъ домѣ впервые познакомился съ тою, которая послъ сдълалась его женою, сиротою бъднаго англійскаго пастора Стивенса".

Несмотря на пъкоторые недостатки, Малиновскій былъ человъкъ просвъщенный и честный: потерявъ его черезъ два съ небольшимъ года послъ своего основанія, Лицей вдругъ оспротълъ, и начались его невзгоды. Двухлътнее "междуцарствіе", о которомъ долго жила память въ Лицев, отозвалось на пемъ весьма печальными послъдствіями. Графъ Разумовскій, при всёхъ своихъ добрыхъ намъреніяхъ, впаль въ непростительную ошибку, не прінскавъ тотчасъ же способнаго преемника Малиновскому; но онъ сдълалъ еще большую ошибку, когда, видя плоды анархін, ввёриль судьбу двухъ высшихъ заведеній своекорыстному иностранцу, не знавшему порядочно русскаго языка. Новообразованный лицейскій папсіонъ, возникъ (1814 г.) изъ частнаго приготовительнаго училища, устроеннаго первоначально на собственныя средства этимъ находчивымъ прищельцемъ. Кандидатомъ на должность директора пансіона, преобразованнаго въ казенное заведеніс, явился было Кошанскій; но связи и привилегія иноземнаго происхожденія заставили предпочесть Гауэншильда, преподававшаго въ Лицев ивмецкую литературу по-французски. Результатомъ его управленія пансіономъ быль черезъ нісколько лътъ долгъ въ 10.000 руб. По словамъ графа Корфа, "Гауэншильдъ, при довольно заносчивомъ правъ, былъ человъкъ скрытный, хитрый, даже коварный".

Къ счастію, бразды лицейского правленія не долго были въ рукахъ Гауэншильда; въ началъ 1816 года директоромъ Лицея назначенъ былъ Е. А. Энгельгардтъ. При разстройствъ, до котораго дошли дъла въ періодъ междуцарстія, при совершенномъ упадкъ дисциплины, нужно было необывновенное умъніе, чтобы возстановить правильный ходъ жизни и порядокъ во всъхъ ея отправленіяхъ. Будучи лично извъстевъ государю и пользуясь его довъріемъ, бывшій директоръ Педагогическаго института находился, конечно, въ особенно благопріятныхъ обстоятельствахъ для выполненія трудной задачи; но къ тому присоединялись и ръдкія способности его къ административному и педагогическому дѣлу. Напечатанная въ "Русскомъ Архивъ" записка его объ обязанностяхъ воспитателя показываеть, какъ разумно онъ смотръль на предстоящій ему трудъ въ последнемъ отношеніи. Действуя въ этомъ смысле, Энгельгардъ успълъ вскоръ спискать въ такой степени любовь н уваженіе воспитанниковъ, что имя его сділалось навсегда дорого Лицею, и вокругъ этого имени впоследствии сгруппировались вст самыя свттыя воспоминанія лиценстрвъ. Хотя бы въ дъйствіяхъ Энгельгардта и было нъкоторое суетное стремленіе къ эффекту, хотя бы въ нихъ и можно было указать на кое-какія промахи и увлеченія, пногда и ошибки въ частныхъ отношеніяхъ къ тому или другому воспитаннику (напримъръ къ Пушкину, котораго онъ не понималъ и который ему не сочувствоваль), все же нельзя отказать "Егору Антоновичу" въ върномъ пониманіи молодежи и средствъ вести ее. Одинъ годъ управленія его при первомъ курст заслонилъ собою прежнія замѣшательства, и для послѣдующихъ поколѣній лицеистовъ имя его знаменательно слидось со всею первою эпохою существованія Лицея.

Понятно, что для нихъ этотъ періодъ, озаренный и славою историческихъ событій, и блестящею извѣстностью нѣкоторыхъ изъ первенцевъ Лицея, являлся въ поэтическомъ свѣтѣ, и преданія о первомъ курсѣ переходили "изъ рода въ родъ" не безъ прикрасъ воображенія. Они пріобрѣли еще болѣе значенія послѣ того какъ Лицей въ 1822 году былъ причисленъ къ военно-учебнымъ заведеніямъ.

 Γ pomz.

Воспитание въ Лицев было вполив закрытое: воспитанники не отпускались къ родителямъ ни на праздники ни на каникулы. Ихъ міръ ограничивался царскосельскими садами, гдѣ, по выраженію нашего поэта, онъ и "расцвъталь безмятежно". Эти сады имъють особенное значение въ развитии его генія. Въ нихъ, на пространствъ нъсколькихъ верстъ, соединилась природа и искусство: въковыя рощи, луга, пруды, длинныя, прямыя и широкія аллен, которыя пересъкаются въ различныхъ направленіяхъ, сходятся и расходятся, узкія извилистыя дорожки и тропинки, мосты и мостики черезъ ручейки, живописные берега огромнаго пруда, похожаго на озеро. бесъдки, шалаши, гроты, искусственныя развалины, съ высоты которыхъ представляются пустынныя окрестности, цвътники со множествомъ разнообразныхъ цвътовъ, китайская деревня съ театромъ, собачье кладбище съ шутливыми затвйливыми эпитафіями на могильныхъ камияхъ, наконецъ, два огромныхъ дворца, изъ которыхъ одинъ съ большими и роскошными залами, бывшее жилище Елизаветы и Екатерины II, свидътель шумной, веселой, богатой жизни дворовъ прошедшаго стольтія, свидътель великолъпныхъ праздниковъ, пиршествъ, побъдныхъ торжествъ дъятельной и умной императрицы. Надо всъмъ этимъ потрудились и руки садовника, и искусственный умъ архитектора, и талантъ художника.

Вотъ что представляли царскосельскіе сады:

Въ сѣдомъ туманѣ дальній лѣсъ; Чуть слышится ручей, бѣгущій въ сѣнь дубравы, Чуть дышитъ вѣтерокъ, уснувшій на листахъ, И тихая луна, какъ лебедь величавый,

Плыветь въ сребристыхъ облакахъ. Плыветь и блъдными лучами Предметы освътила вкругъ;

Аллен древнихъ лѣть открылись предъ очами, Проглянули и холмъ и лугъ... Съ холмовъ креминстыхъ водопады Стекають бисерной рѣкой;

Тамъ въ тихомъ озеръ плескаются Наяды Его лънивою волной;

А тамъ въ безмолвін огромные чертоги, На своды опершись, несутся къ облакамъ. Не здѣсь ли мирны дни вели земные боги?...

Такъ представляль царскосельскіе сады нашъ шестнадцатилътній поэтъ передъ другимъ поэтомъ Державинымъ, уже готовымъ сойти въ могилу; а спустя много лѣтъ, онъ всноминалъ:

Въ тъ дии, въ таинственныхъ долинахъ, Весной, при кликахъ лебединыхъ, Близъ водъ, сіявшихъ въ тишинѣ, Являться муза стала миѣ.

Эти мраморная слава и мъдныя хвалы даютъ особенное значение царскосельскимъ садамъ. Памятники русскихъ побъдъ, которыя одерживали надъ врагами екатерининскіе полководцы, дъйствовали на юное воображеніе, и вызывали чувство народной славы, связывая настоящее съ историческими фактами недавняго прошлаго, о которомъ еще слышались живые разсказы, едва успъвшіе перейти въ преданія. Для пылкой фантазін такія впечатлінія также иміноть воспитательное значеніе. За неимфиіемъ исторіи, они только и могли пробуждать патріотическое чувство въ молодомъ поколтніц; а въ тъ времена оно питалось лишь военною славою Россіи. Такимъ именно характеромъ отличалось наше патріотическое чувство еще въ XVIII стольтін. Оно было одностороние, чуждое всей массъ народа, хотя военная слава и покупалась ея силами и жертвами; но пользоваться ея выгодами могло только одно сословіе, которое еще съ XVII стольтія удержало за собою значеніе военно-служилое. Этотъ патріотизмъ возбуждался только въ столкновенін съ внѣшними врагами Россіи, связывался только съ идеей ея матеріальной силы и государственнаго могущества, и потому долженъ назваться патріотизмомъ государственнымъ или политическимъ. Ему недоставало той правственной силы, которая связываеть всѣ сословія въ одинъ народъ общими интересами. Но тогда вся масса народа была безправною, въ унизительномъ рабскомъ состоянін. Къ ней служилое, оно же п помъщичье, сословіе относилось такъ, какъ обыкновенно господа относятся къ рабамъ,съ полнымъ презрѣніемъ. Какими же особенными выгодами могла она пользоваться отъ военной славы, добытой ея силами: отъ нея никакого облегченія она не получала, и, конечно, никакого патріотизма въ ней не могло и быть. Настоящая любовь къ отечеству можетъ развиться только въ сердцъ человъка свободнаго и въ средъ свободной, зато и лучшій плодъ отъ нея - любовь ко всему народу, а не барское высокомъріе.

За непивніемъ такой любви въ то время патріотизмомъ называлось государственное чувство, вызываемое побъдами и дворянскими стремленіями къ военной славѣ, вмѣстѣ съ оскорбительными отзывами о своихъ врагахъ. Но и этотъ патріотизмъ, по крайней мѣрѣ, хоть нѣсколько, возвышалъ духъ человѣка и наводилъ на мысль, что можно гордиться народнымъ именемъ передъ иностранцами, онъ все же связывалъ иѣкоторыхъ хоть какими-нибудь связями, если не съ народомъ, то хоть съ страной и государственной исторіей.

Въ этомъ духѣ воспитывали царскосельскіе сады и фонтаны Пушкина:

Протекшіе ліса мелькають предь очами, И віз тихомъ восхищеньи духъ. Онъ видить: окруженъ волнами, Надъ твердой минстою скалой Вознесся памятникъ. Шпряяся крылами, Надъ нимъ спдитъ орелъ младой. И ціпи тяжкія, и стрілы громовыя

И цепи тяжкія, и стрелы громовыя Вкругь грознаго столпа трикраты обвились, Кругомъ подножія, шумя, валы седые

Въ блестящей пѣнѣ улеглись. Въ тѣни густой угрюмыхъ сосенъ Воздвигся памятникъ простой.

О, сколь онъ для тебя, Кагульскій брегь, поносенъ

И славенъ родинѣ драгой! Безсмертны вы вовѣкъ, о росски исполнны, Въ бояхъ воспитаны средь бурныхъ непогодъ; О васъ, сподвижники, друзья Екатерины,

Пройдеть молва изъ рода въ родъ. О, громкій вѣкъ военныхъ споровъ, Свидѣтель славы россіянъ!

Ты видълъ, какъ Орловъ, Румянцовъ и Суворовъ,

Потомки грозные славянъ, Перуномъ Зевсовымъ побъду похищали. Ихъ смълымъ подвигомъ, страшась, дивился міръ; Державинъ и Петровъ героямъ пъснь бряцали Струнами громозвучныхъ лиръ.

Стоюнинг.

Чрезъ итсколько дней послт начала курса неожиданно объявлено запрещение вытажать изъ Лицея. Это распоряжение, неудобство котораго вполит уже сознано въ наше время, отнимая возможность развлечений вит Царскаго Села и разобщая лиценстовъ съ остальнымъ міромъ, который, по выраженію

Пушкина, дъйствительно быль для шихъ "чужбиною", связало ихъ неразрывною дружбою и заставило искать въ своемъ кругу средствъ къ наполненію досуговъ п развлеченію. Дътскія игры, преимущественно военныя, въ которыхъ первенствоваль Илличевскій, командовавшій маленькимъ войскомъ въ качествъ генерала отъ инфантеріи, смъпялись забавами ума и воображенія, и мало-по-малу устроились домашніе спектакли. Первою исполненною пьесою была вызванная тогдашними обстоятельствами комедія "Ополченіе". Представленіе это происходило безъ особенныхъ приготовленій, въ незатъйливой костюмировкъ шинелями, вывороченными на изнанку. Потомъ пгради "Новаго Стёрна", комедію князя Шаховского, при исполненіи которой служили, вмісто декорацій, разноцвітныя ширмы. Для этого же театра было написано ифсколько пьест гувернеромъ Иконниковымъ, внукомъ знаменитаго актера Дмитревскаго. Но домашніе спектакли скоро прекратились: министръ народнаго просвъщенія, графъ А. К. Разумовскій, узнавъ стороною о драматическомъ представленіи, 30-го августа, въ присутствін постороннихъ лицъ, выразилъ директору Лицея Малиновскому крайнее свое неудовольствіе, находя, что безъ въдома его не слъдовало дълать распоряженій, имфвинхъ связь съ правственнымъ воспитаніемъ. Въ концф того же года гувернеръ Чирпковъ, который сочинилъ трагедію въ стихахъ "Герой съвера", ходившую тогда въ рукописи, и у котораго собирались иногда воспитанники, передалъ директору просьбу ихъ о дозволенін имъ въ свободное время сочинять и представлять театральныя пьесы, но министръ не согласился, опасаясь, чтобъ это не отвлекло отъ уроковъ. Однакожъ, спустя нъкоторое время, спектакли возобновились, и въ 1815 г. представленія давались съ декораціями, писанными придворнымъ живописцемъ Бруни. На этомъ театръ были представлены: передфланиая изъ старинной французской пьесы Patelin комедія "Стряпчій Щетило", комедія "Ссора или два сосъда" князя Шаховского, старинныя драмы "Le juge bienfaisant" и "L'abbé de l'Epée" (знаменитый воспитатель глухонъмыхъ и изобрътатель ихъ языка). О представленіи последней драмы находимъ следующія подробности въ "Заметкахъ" барона Корфа: "Въ послъдніе уже годы намъ вздумалось сыграть предлинную и довольно скучную драму "L'Abbé de l'Epée", въ которой де Будри передълалъ всъ женскія роли въ мужскія и любовниковъ превратиль въ друзей. Бодрый старичокъ цълый мѣсяцъ мучилъ насъ, по этому случаю, репетиціями и быль для насъ, поддѣльныхъ актеровъ, совершенно тѣмъ же, что князь Шаховской для настоящихъ. И декламація обоихъ, какъ поклонниковъ старой школы, была въ одномъ родѣ: и слишкомъ высокопарна и на ходуляхъ".

Въ то же время, т.-е. до 1815 г., у одного изъ царскосельскихъ жителей, графа В.В.Толстого, былъ домашній театръ, на которомъ играла труппа, составленная изъ крѣпостныхъ людей. Подобныя затъи, дли которыхъ сгоняли

Отъ матерей, отцовъ отторженныхъ дътей,

были тогда не рѣдкость, и царскосельскій любитель театра не представляль въ этомъ случаѣ исключенія. Лиценсты посѣщали его спектакли.

Но первое мѣсто между развлеченіями занимали общія бесѣды, устроенныя воспитанниками въ самомъ началѣ курса. Эти бесѣды, на которыхъ каждый обязанъ былъ разсказать что-нибудь, выдуманное или прочитанное, развивали воображеніе и наклонность къ литературѣ. Запасъ разсказовъ, анеклотовъ и стиховъ, читанныхъ въ дружескомъ кругу, мало-помалу увеличивался; пѣкоторые изъ нихъ записывались и переходили изъ рукъ въ руки, и такимъ образовъ 3 декабря 1811 г. явился первый листъ перваго лицейскаго журнала подъ названіемъ "Вѣстникъ", издателемъ котораго былъ Корсаковъ. Есть поводъ думать, что еще до изданія этого листка, хотя и выставленъ на немъ № 1, существовали другіе, потому что въ немъ дважды упоминается о "лицейскихъ газетахъ", которыя издавалъ тотъ же Корсаковъ.

Хотя первый опыть журналистики ограничился однимъ листомъ, да и тотъ остался педописаннымъ, но образовавшесся, по предложенію Пилецкаго, литературное общество горячо припялось за свое дѣло, и въ слѣдующемъ (1812) году
явилось уже два журнала: "Для удовольствія и пользы" и
"Неопытное перо". Пздателями перваго, продолжавшагося и
въ 1813 году и вышедшаго въ числѣ 12 нумеровъ, были:
Вольховскій, Есаковъ, Плличевскій, Кюхельбекеръ, Масловъ
и Яковлевъ; второй же, въ которомъ помѣщено стихотвореніе
Пушкина: "Роза", издавался Пушкинымъ, Дельвигомъ и Корсаковымъ и вышелъ въ нѣсколькихъ нумерахъ. По прекраще-

нін упомянутыхъ журналовъ, въ 1813 г. явился новый, "Юные Пловцы", издателями котораго были Пушкинъ, Дельвигъ, Иллическін, Кюхельбекеръ и Яковлевъ. Вышло только два нумера. О содержаніи "Юныхъ Пловцовъ" даеть ифкоторое понятіе найденная въ сообщенныхъ намъ бумагахъ записка Иконинкова, который уже быль уволень оть должности гувернера, но, несмотря на это, не охладель къ литературнымъ затеямъ своихъ бывшихъ воспитавниковъ. Иконинковъ пишетъ, что опъ "съ сердечнымъ удовольствіемъ" видълъ успъхи ихъ въ изданіи журнала, "сочиненія, въ ономъ помъщаемыя, читалъ съ равномфрнымъ удовольствіемъ" и сохранилъ въ памяти "баллады: "Громобой или Буревой", "Галебъ и Кантемпра", прозаическія сочиненія: "Изяславъ" кн. Горчакова, "Полордъ" г. Есакова, "Освобожденіе Полоцка, Бълграда, Кіева", писанныя участвующими или сотрудниками обществъ, такъ и "Гренобль" г. Маслова, басни гг. Яковлева и Дельвига". Желая участвовать въ этихъ занятіяхъ, Иконниковъ просидъ принять его въ корреспонденты. Въ томъ же году изданіе журналовъ, какъ отвлекавшее воспитанниковъ отъ ученья, было запрещено. Ученье однакожъ не выиграло отъ этого, а запрещеніе издавать журналы не только не достигло цъли, но вызвало противодъйствіе. Съ 1813 г., немедленно по прекращении "Юныхъ Пловцовъ", являются всевозможные сборники. Нъкоторые члены общества "издали" свои сочиненія отдёльными тщательно переписанными тетрадями. Одинъ изъ нихъ переписалъ свои басни въ особую тетрадь съ эпиграфомъ: "Хоть худо, но свое". Илличевскій, изливавшій эпиграммы

На недруга и друга,

написаль по этому случаю следующую:

Ты выбраль къ басенкамъ заглавіе простое: "Хоть худо, но свое".

И этакъ хорошо, но этакъ лучше вдвое:
Что худо, то твое,
Что хорошо — чужое

Баснописецъ, желая видъть свои произведенія въ печати, посылаль ихъ, для помъщенія въ "Россійскомъ музеумъ", В. Измайлову, котораго просилъ скрыть его имя; но басни не явились въ журналъ. Обстоятельство это вызвало новую эпи-

грамму Плличевскаго, напечатанную въ его "Опытахъ въ антологическомъ родъ", изданныхъ въ 1827 г.:

УВАЖЕННАЯ СКРОМНОСТЬ.

Нагромоздивши басенъ томъ, Клеонъ давай пускать въ журналъ свои тетради, Прося изъ скромности издателя о томъ, Чтобъ имени его не выставлялъ въ печати; Издатель скромностью такою тронутъ былъ: И имя онъ и басни— скрылъ.

Отъ одного изъ подобныхъ сборниковъ, подъ заглавіемъ "Лицейская антологія, собранная трудами пресловутаго ійшій", съ эпиграфомъ: Genus irritabile vatum, уцѣлѣло нѣсколько листковъ. Подъ всевдонимомъ ійшій скрывался тотъ же Илличевскій, напечатавшій въ "Вѣстникѣ Европы" 1814 г. эпиграмму съ этою подписью. Эта тетрадь заключала 111 мелкихъ стихотвореній, остальныя — эпиграммы, не напечатанныя и весьма слабыя. Вотъ двѣ изъ нихъ, сравнительно лучшія:

I.

"Больны вы, дядюшка?" — Нѣть мочи, Какъ безпокоюсь я! три ночи, Повѣрьте, глазъ я не смыкалъ. — Да слышалъ, слышалъ: въ банкъ игралъ.

II.

завъщаніе.

Друзья, простите! завѣщаю Вамъ все, чѣмъ радъ и чѣмъ богатъ: Обиды, пѣсни — все прощаю, А мнѣ пускай долги простятъ.

Вопреки запрещенію издавать журналы, въ томъ же (1813) г. Данзасъ, Корсаковъ, Мартыновъ и Ржевскій начали новый журналъ "Лицейскій Мудрецъ", который выходилъ неправильно: то прекращался, то возобновлялся, но существовалъ съ небольшими промежутками въ теченіе трехъ лѣтъ, т.-е. до конца 1816 года. Частое прекращеніе журнала вызывало многочисленныя эпиграммы и, между прочимъ, помѣщенную въ немъ пародію на "Пѣвца" Жуковскаго:

На печкъ дудка и вънецъ. Восплачемте, друзья! Могила Прахъ мудреца навъкъ сокрыла. Бъдный мудрецъ! Содержаніе уцълъвшихъ четырехъ пумеровъ "Лицейскаго Мудреца" незанимательно, потому что они имъютъ совершенно мъстный и слишкомъ личный характеръ. Въ составъ журнала входили такъ называемая "изящная словесность", иногда критика и смъсь съ карикатурами. Пушкинъ, по истеченіи десяти лътъ, въ одной изъ зачеркнутыхъ строфъ стихотворенія "19 октября 1825 г." вспоминаетъ:

Златые дни, уроки и забавы, И черный столь, и бунты вечеровь, И нашь словарь, и плески мирной славы, И критики лицейскихь мудрецовь.

Предметами карикатуръ были преимущественно товарици, въ особенности Кюхельбекеръ и возбуждавшій безпощадныя насмъшки своею анекдотическою ограниченностью М—въ, которому Дельвигъ совътовалъ по этой причинъ праздновать свои именины въ день "усъкновенія главы". Большая часть журнала занята шуточными стихотвореніями и "національными пъснями", заключающими намеки, имъющіе значеніе лишь для кружка, въ которомъ составились. Изъ множества эпиграммъ приводимъ лучшую, написанную Илличевскимъ на одного изъ товарищей, сочинившаго басню "Ослы":

О чемъ ни сочинить, бывало,
Марушкинъ, борзый стихотворъ,
То вѣрь, что ни солжешь нимало,
Когда заранѣ скажешь: вздоръ!
Марушкинъ объ ослахъ вдругъ басню сочиняетъ,
II басня — хоть куда! Но страненъ ли успѣхъ?
Свой своего всѣхъ лучше знаетъ
II, слѣдственно, опишетъ лучше всѣхъ.

Кромѣ упомянутыхъ журналовъ издавался еще карикатурный, въ которомъ, подъ руководствомъ гувернера и учителя рисованія Чирикова, участвовали Илличевскій, Мартыновъ и Пушкинъ.

Главнымъ дѣятелемъ всѣхъ этихъ журналовъ былъ Планчевскій, который, въ началѣ курса, по легкости писать стихи превосходилъ всѣхъ своихъ товарищей и считался въ ихъ кружкѣ первымъ поэтомъ. Они называли его Державинымъ, а Пушкина — Дмитріевымъ и раздѣлились на двѣ партіи, спорившія о томъ, которому изъ нихъ отдать преимущество. Вопреки однакожъ похваламъ, которыя вызвало раннее его

развитіе, Плличевскій пикогда не обнаруживаль ни мальишаго поэтическаго таланта и, не подвинувшись ии на одинъ шагъ далье первыхъ своихъ опытовъ, былъ до конца жизни только острякомъ, и притомъ довольно пошлымъ.

Несравненно трудиве давались стихи Дельвигу и Кюхельбекеру, принимавшимъ, послъ Пушкина и Илличевскаго, самое дъятельное участіе въ описываемомъ литературномъ обществъ.

Къ числу ревностныхъ дъятелей описываемаго общества принадлежаль Вильгельмъ Кюхельбекеръ. Знакомый съ германскою литературою, онъ старался распространять въ своемъ кружкъ классическія ся произведенія и читаль ихъ съ своими товарищами. Дельвига онъ познакомилъ съ антологическими стихотвореніями Гёльти и съ идплліями Геспера, давшими болъе опредъленное настроение его музъ, блуждавшей во мракъ. Съ нимъ же читалъ онъ Клопштока; но чтеніе "Мессіады", требующее извъстнаго настроенія, внъ котораго она невыносима, шло вяло, потому что Дельвигъ, любившій только языческую минологію, быль не охотникь до мистической поэзін, замічая, что "чтмь ближе къ небу, тімь холодиве". Удивленіе Кюхельбекера Клопштоку дало поводъ къ довольно забавной карикатуръ, бойко нарисованной Илличевскимъ. Кюхельбекеръ началъ поздно учиться по-русски, и хоть изучилъ этотъ языкъ въ совершенствъ, но въ выговоръ навсегда сохранилъ признаки нъмецкаго происхожденія. Русскіе стихи, при слабомъ знанін языка, давались ему съ величайшимъ тру омъ до конца лицейскаго воспитанія. Пушкинъ, постоянно смъявшійся надъ его безплодными успліями, совътоваль ему писать по-ифмецки, но Кюхельбекеръ возражаль, что въ Германін уже много поэтовъ, а въ Россін такъ еще мало, что н онъ будетъ нелишнимъ. Изъ лицейскихъ стихотвореній Кюхельбекера уцълъли весьма немногія. О его страсти къ стихотворству гораздо болбе говорять эпиграммы, которыми осыпали его товарищи, въ особенности Пушкивъ и Илличевскій. Передъ нами цълая тетрадь стихотвореній, написанныхъ преимущественно на Кюхельбекера. Сборникъ этотъ: "Жертва Мому, или Лицейская Антологія" переписанъ въ 1814 году Пущинымъ. Большая часть этихъ стихотвореній принадлежить Пушкину, но они не имфютъ никакого достоинства, и потому не приводимъ ихъ. Не только литературныя неудачи, но даже

наружность біднаго метромана, худого, высокаго и довольно неуклюжаго, навлекала на него эпиграммы. Воть одна изънихъ, написанная Илличевскимъ:

опровержение.

Нѣть, полно, мудрецы, обманывать вамъ свѣть И утверждать свое, — что совершенства нѣть На свѣтѣ въ твари тлѣнной. Явися, Вилинька, и докажи собой, Что ты и тѣломъ и душой Уродъ пресовершенный.

Въ 1814 году произошли перемѣны въ Лицеъ: 23 марта скончался Малиновскій, а исправленіе должности директора было поручено Кошанскому; по "трезвый Аристархъ", какъ назваль его Пушкинъ, въ май забольлъ бълою горячкою, и обязанности по управленію Лицеемъ возложены были на кон-Ференцію. Члены ея, изъ которыхъ многіе жили въ Петербургъ, не имъли ни возможности, ни охоты, ни умънья исполнять эти обязанности, старались сваливать ихъ другъ на друга, перессорились между собою и привели заведение въ крайнее разстройство. Поэтому, въ сентябръ того же года, министръ назначилъ къ исправленію должности директора лицея Гауеншильда, который, сверхъ обязанностей преподавателя, состоялъ директоромъ открытаго въ январъ того же года благороднаго лицейскаго пансіона. Порученіе одному лицу, и притомъ неспособному, управленія двуми заведеніями повлекло безпорядки въ обоихъ, и "по необходимой надобности имъть безпрерывный надзоръ въ пансіонъ", Гауеншильдъ 11 января 1816 г. уволенъ отъ исправленія должности директора Лицея, которое было поручено отставному подполковнику С. С. Фролову, опредъленному въ Лицей незадолго передъ тъмъ, по мощному слову Аракчеева, надзирателемъ по учебной и нравственной части. Черезъ двъ недъли послъ своего назначенія, Фроловъ быль освобождень оть обязанностей директора, а въ началъ 1817 г. совершенно уволенъ изъ Лицея.

Неурядица въ управленіи Лицеемъ продолжалась до назначенія директоромъ Энгельгардта, 27 января 1816 г. По поводу этихъ безпрестанныхъ перемѣнъ, Пушкинъ написалъ басню о душѣ, которая вслѣдствіе излишняго усердія заботившихся о ней, пошла по рукамъ всѣхъ чертей...

Въ этотъ промежутокъ времени литературная дъятельность лицейскаго кружка получила большій просторъ: журналы, имъя цълью только препровождение времени и забаву, не были полнымъ выраженіемъ литературной деятельности описываемаго общества, и въ особенности Пушкина, который, съ самаго начала курса, уже сознательно попималъ свое призваніе. Въ 1814 году явились въ печати стихотворенія Пушкина, Дельвига, Илличевскаго и Яковлева. Патріотическое настроеніе, возбужденное въ литературъ тогдашиними событіями, выразившееся въ стихотвореніяхъ Карамзина, Жуковскаго и многихъ другихъ писателей, отразилось и въ Лицеъ. Воспитанники его, съ самаго начала войны 1812 года, съ волнепіемъ слъдили за всеми ея случайностями, жадно перечитывали каждую реляцію и проливали горячія слезы при въсти о Бородинской битвъ, выдававшейся тогда за побъду, по въ которой они инстинктивно видели другое... Стихъ Пушкива:

Вы помните: текла за ратью рать,

не быль поэтическою прикрасою: весною и лѣтомъ 1812 года почти ежедневно шли черезъ Царское Село войска, между которыми особенно поражалъ видъ ополченцевъ съ крестами на шапкахъ и пррегулярныхъ казачьихъ полковъ съ бородами. Юноши прощались съ отправлявшимися на войну, дъйствительно "завидуя тому", кто умирать шелъ мимо ихъ.

Подъ осень стали ихъ самихъ собирать въ походъ. Предполагалось, въ опасеніи непріятельскаго нашествія на Петербургъ, перевезти Лицей куда-то дальше на съверъ, кажется, въ Архангельскую губ. или въ Петрозаводскъ. Явился портной Мальгинъ примърять имъ китайчатые тулупы на овечьемъ мѣху; но побъды Витгенштейна скоро возвратили воинственную молодежь къ форменнымъ шинелямъ, и походъ, къ сожальнію патріотовь, не состоялся. Успыхи русскаго оружія, прославленіемъ которыхъ занималась почти вся тогдашняя наша литература, дали толчокъ и лицейской музъ, которая, разумъется, инчего не выиграла отъ этого искусственнаго возбужденія. До насъ дошли двъ оды на взятіе Парижа, сочиненныя Плличевскимъ и Дельвигомъ. Первая изъ нихъ, написациая по рецепту домоносовскихъ и державинскихъ одъ и сохранившаяся въ рукописи съ замъчаніями и поправками Кошанскаго, весьма, однакожъ, умфренными, можетъ-быть, и

не дурна въ своемъ родъ, но только родъ самъ по себъ невыносимъ. Вторая, написанная бълыми стихами и весьма слабая, напечатана въ іюльской кинжкъ "Въстинка Европы" 1814 г. (М 12, стр. 272), съ подписью Русскій. Въ слъдующей, іюльской кинжкъ, напечатано стихотвореніе Пункина "Къ другому стихотворцу", съ подписью Александръ П. к. ш. п. Оба стихотворенія были посланы редактору "Въстника Европы", В. Измайлову, одновременно, и первое изъ пихъ, какъ патріотическое и имъвшее современный интересъ, было немедленно напечатано. Такимъ образомъ, Дельвисъ раньше всъхъ своихъ товарищей явился въ печати.

Съ назначеніемъ въ директоры Энгельгардта все измѣнилось въ лицев. Онъ горячо принялся за дёло и, поддерживаемый расположеніемъ государя, который иногда съ нимъ разговариваль, встрвчаясь въ саду, могь действовать довольно самостоятельно, не опасаясь интригь и непріятностей. Весьма естественное разъединеніе между юношествомъ и тупымъ, невъжественнымъ начальствомъ, которому оно до тъхъ поръ было вфроятно, мало-по-малу псчезло по мфрф того, какъ Энгельгардть пріобръталь довъріе. Посвятивь себя совершенно дълу воспитанія, онъ въ самое короткое время успъль близко ознакомиться съ порученными его надзору юношами и въ сохранившейся въ его бумагахъ рукописи Etwas über die Zöglinge der höheren Abtheilung des Lyceums, написанной 22 марта 1816 г., следовательно менее чемъ черезъ два месяца после опредъленія Энгельгардта, находимь довольно върную характеристику каждаго изъ нихъ. Представляемъ въ переводъ пъсколько выдержекъ изъ нея, не лишенныхъ интереса, какъ наблюденія опытнаго педагога надъ внутреннихъ міромъ замъчательныхь личностей. Самое строгое осуждение выпало на долю Пушкина, въ которомъ Энгельгардтъ видълъ только дурныя стороны, и котораго охарактеризоваль следующимъ образомъ: "Его высшая и конечная цёль — блестёть, и именно поэзіею; но едва ли найдетъ она у него прочное основаніе, потому что онъ боится всякаго серіознаго чтенія, и его умъ, не имъя ни проницательности ни глубины, совершенно поверхностный, французскій умъ. Это еще самое лучшее, что можно сказать о Пушкинъ. Его сердце холодно и пусто; въ немъ нътъ ни любви ни религіп; можетъ-быть, оно такъ пусто, какъ никогда еще не бывало юношеское сердце. Нъжныя п

юношескія чувствованія унижены въ немъ воображеніемъ, оскверненнымъ всёми эротическими произведеніями французской литературы, которыя онъ при поступлении въ Лицей зналъ почти наизусть, какъ достойное пріобрътеніе первоначальнаго воспитанія". Энгельгардть, конечно, смотръль на Пушкина слишкомъ одностороние, только съ педагогической точки зрвнія, и къ этому взгляду примвинвалась еще совершенная дистармонія между ними, вследствіе противоположности религіозныхъ воззрѣній; но при всемъ томъ въ проведенной характеристикъ есть значительная доля правды, и если Энгельгардтъ не распозналъ въ поэтъ проникнутаго гуманностью артистического чувства, управлявшого каждымь внутреннимъ его движеніемъ, то былъ правъ касательно недостаточности серіознаго его образованія. Пушкинъ съ своей стороны, чувствуя нерасположение къ нему Энгельгардта, также не любиль его и, вопреки убъжденіямь своихь товарищей, постоянно избъгалъ сближенія съ нимъ. Чтобы возстановить себя въ мижніп Энгельгардта въ религіозномъ отношеніи, онъ написалъ "Безвъріе", холодное дидактическое стихотвореніе, которое читалъ на выпускномъ экзаменъ, и которое Бълинскій справедливо причисляеть къ самымъ слабымъ.

Съ первыхъ же дней директорства Энгельгардта бытъ воспитанинковъ совершенно измънился. Замкнутый кружокъ ихъ, предоставленный собственному развитію, мало-по-малу расширялся въ соприкосновении съ обществомъ, нравственное вліяніе котораго Энгельгардть считаль однимь изъ важныхъ элементовъ въ дълъ образованія. Онъ приглашалъ къ себъ воспитанниковъ, въ увъренности, что домашнее обращение п привычка быть въ кругу семейства принесутъ имъ пользу, тъмъ болъе, что недостатокъ общества и необходимыхъ развлеченій нерѣдко вызываль шгру въ карты и другія запретныя удовольствія. Въ домѣ Энгельгардта, говоритъ Пущинъ въ своихъ "Запискахъ" мы познакомились съ обычаями свъта, ожидавшаго насъ у порога Лицея, находили пріятное женское общество". Въ семействъ Энгельгардта, состоявшемъ изъ жены и пятерыхъдътей, жила овдовъвшая незадолго передъ тъмъ Марія Смить, урожденная Charon-Larose, вышедшая впоследствін замужъ за Паскаля. Весьма миловидная, любезная и остроумная она умъла оживлять и соединять собиравшееся у Энгельгардта общество. "Лътомъ, продолжаетъ Пущинъ, въ вакантный мъ-

сяцъ, директоръ дълалъ съ нами дальнія, иногда двухдневныя, прогудки по окрестностямъ; зимой, для развлеченія, вздили на ивсколькихъ тройкахъ за городъ завтракать или пить чай въ праздничные дни; въ саду, на прудф, катались съ горъ п на конькахъ. Во всёхъ этихъ увеселеніяхъ участвовало его семейство и близкія ему дамы и дівицы, иногда и родные наши"... Въ числъ послъднихъ было и прівзжавшее на короткое время изъ Москвы семейство Дельвига, восьмильтией сестръ котораго, баронессъ Марьъ Антоновиъ, Пушкинъ написаль 22 декабря 1815 г. посланіе: "Вамъ восемь літь, а мив семнадцать было", а въ следующемъ году стихотвореніе "Къ Машъ". "Отъ сближенія нашего съ женскимъ обществомъ, говорить Пущинь, зарождался платонизмь въ чувствахъ. Этотъ платонизмъ не только не мѣшалъ занятіямъ, но придавалъ даже силы въ классныхъ трудахъ, нашептывая, что успъхомъ можно порадовать предметъ воздыханій". Вліяніе женскаго общества, всегда дъйствующаго благотворно и гуманно, особенно въ юношескіе годы, выразплось въ поэзін Пушкина крутымъ поворотомъ отъ безсмысленныхъ пировъ и воинственнаго патріотизма къ художественному и нъсколько элегическому созерцанію жизни, вызванному любовью, въ которой тантся главный источникъ поэзін.

Въ самомъ началъ своего директорства, Энгельгардтъ, сознавая нелъпость совершенинаго разъединенія учащейся молодежи съ дъйствительною жизнью, разръшилъ отпуски изъ Лицея въ предълахъ Царскаго Села, и, по примъру директора, итсколько семейных в домовъ открылись для лиценстовъ, именно: дома Вельо, Севериной и барона Теппера де-Фергюсона, находившихся въ родственныхъ между собою отношеніяхъ и постоянно жившихъ въ Царскомъ Сель. Посльдній, женатый на дочери Севериной, быль сынь богатаго, потомъ разорившагося варшавскаго банкира, и поступиль въ Лицей, по протекціи стариннаго своего пріятеля Энгельгардта, учителемъ музыки и пънія. Онъ, хотя не имълъ голоса, хорошо училь птийо и сочиняль для воспитанниковъ духовные концерты. Въ его классъ соединялись оба курса Лицея, старшій и младшій, не сходившіеся ни на лекціяхъ ни въ рекреаціонное время. Тепперъ былъ большой оригиналъ, но человъкъ образованный, и лицеисты часто заходили въ его домикъ, принадлежащій нынѣ г-жѣ Липранди, возлѣ дачи князя Барятинскаго. У Теппера каждый вечеръ собиралось по нѣскольку человѣкъ, пили чай, болтали, занимались музыкой и пѣніемъ. У него же, по воскресеньямъ, происходили литературныя бесъды, задавались темы, на которыя приготовлялось къ слѣдующему воскресенью нѣсколько сочиненій, и такимъ образомъ совершались литературныя состязанія, на которыхъ Пушкинъ первенствовалъ. Темы представлялись само собою, и на одну изъ такихъ, заданную при прощаньѣ: jusqu'au plaisir de nous revoir, Пушкинъ написалъ въ 1817 г. легкіе и остроумные куплеты, помѣщенные въ послѣднемъ изданіи его сочиненій въ отдѣлѣ стихотвореній неизвѣстныхъ годовъ. Въ отвѣтъ на нихъ Пушкинъ получилъ слѣдующее посланіе, кажется, самого Теппера:

Lorsque je vois de vous, monsieur, Les vers faits avec tant de grâce, Je me résigne, et de bon cœur, A vous céder sitôt la place. Votre talent, sans grand pouvoir, De beaucoup le mien efface. Je n'en ai vu que la surface, Mais c'est pour lui dire à revoir. Est-ce avec vous qu'il me convient, En riman de rompre une lance? Si mon courage me soutient, Phébus me condamne au silence. Il me dit que j'ai beau vouloir, Je risque trop en conscience Et mes couplets, quoique j'en pense, Seront des couplets à revoir. Au revoir est un vieux dicton, Qui jamais ne passe de mode S'il est souvent dit sans raison, Dans bien des cas il est commode. Un parleur au loin se fait voir Dont le jargon peu m'accomode: Pour prévenir sa période Rien de meilleur qu'un au revoir.

Такимъ образомъ темы представлялись сами собою, и иногда самое ничтожное обстоятельство вызывало стихотвореніе.

Литературныя собранія у дарскосельских жителей обыкновенно бывали зимою, а лѣтомъ предпринимались прогулки, или все общество собиралось на музыкъ передъ дворцомъ.

Гаевскій.

Лицейскіе паставники Пуш**кіцка:** Далпат, ц Кошанскій.

Галичь быль молодой человькь, очень умным и прекрасно образованный; незадолго передъ своимъ опредъленіемъ въ Лицей опъ возвратился изъ-за границы, куда былъ посланъ для подготовленія къ занятію кафедры философін въ главномъ педагогическомъ институтъ. Онъ обладалъ несомнънными способностями къ академическому преподаванію, но вовсе не годился для элементарныхъ занятій латинскимъ языкомъ съ учениками, изъ которыхъ не всъ достигли даже юношескаго возраста. Галичъ, "вивсто педагогическихъ способностей, которыхъ ему педоставало, развернулъ въ Лицев свой характеръ, знакомый болбе съ поэтическою, чемъ съ практическою стороною жизни, характеръ общительный, кроткій, въ высшей степени беззаботный, съ значительною долею юмора и пронін и съ полнымъ нерасположениемъ къ школьной дисциплинарпости". Въ Лицев онъ увидель предъ собои толиу юпошей милыхъ, веселыхъ, иткоторыхъ съ замъчательными дарованіями, но вообще не слишкомъ обременившихъ себя механизмомъ науки и тотчасъ понядъ, что ему тутъ трудно будетъ насадить древо познанія латыни. Юноши, въ свою очередь, примътили, что ихъ новый наставникъ болъе философъ, чъмъ сколько нужно было для того, чтобъ занимать ихъ супинами и герундіями, и постарались взамбив ихв, извлечь изв него другое добро, его теплое сочувствее къ юнощескимъ свътлымъ интересамъ жизни. Но какъ они были молодые люди благовоспитанные, то въ отношеніяхъ къ нему не могло быть ничего грубаго, а тъмъ болъе оскорбительнаго для человъка, высокій умъ и неподдъльная доброта котораго не могли не дъйствовать укротительно на пылкія, но еще не успъвшія испортиться молодыя сердца. Какъ бы то ни было, однако Галичь быль плохимь преподавателемь латинского языка въ Лицев, а вмъсто того очень пріятнымъ собесъдникомъ лицейскихъ воспитанниковъ, которые весело проводили съ нимъ время, иногда за чтеніемъ своихъ произведеній, въ свободные часы, нимало не пугаясь его профессорской осанки, которую они умъди щадить, а его также не пугая слишкомъ шумною

и игривою бесъдой*). "Ну, господа, — говориль онъ имъ послъ оживленной, далеко не школьной бесъды, взявъ въ руки Корнелія Пепота, — теперь потреплемъ старика". И юноши, по возможности, спъпили удълить старику малую толику своего вниманія и времени. Пушкинъ, кажется, особенно полюбилъ молодого философа, который не истязалъ ни его ни товарищей склоненіями и спряженіями и былъ уменъ, веселъ, остроуменъ, какъ самъ будущій поэтъ, и притомъ обладалъ многими знаніями, если и недоступными тогдашнему положенію и возрасту автора "Онъгина", то не чуждыми его умственнымъ инстинктамъ. Галичъ прослужилъ въ Лицеъ одинъ годъ (съ 10 мая 1814 по 1 іюня 1815), но оставилъ по себъ самую свътлую память въ сердцъ лицейскихъ учениковъ: этимъ объясняется какъ обращеніе къ нему Пушкина въ "Ппрующихъ студентахъ", такъ и два посланія, написанныя юношей-поэтомъ къ нему въ 1815 году.

Баронъ М. А. Корфъ, въ своихъ лицейскихъ воспоминаніяхъ, даетъ объ А. П. Галичъ слъдующій отзывъ: "Этотъ предобрыи, по презабавный чудакъ преподавалъ въ Лицев русскую и латинскую словесность, и мы очень падъ нимъ посмъпвались, однако и очень его любили за почти младенческое простосердечіе и добродушіе". Это было, такъ сказать, среднее мивніе о Галичъ, принадлежавшее большинству его лицейскихъ учениковъ; но ифкоторые изъ нихъ, болбе одаренные чувствомъ изящнаго, цфиили въ немъ еще ифчто, кромф привлекательныхъ чертъ его права; съ большимъ вфроятіемъ можно предположить, что именно, при содъйствін Галича, который любилъ литературныя бестды, Пушкинъ, даже при ограниченномъ знанін латинскаго языка, научился вфрио понимать духъ древнихъ авторовъ, и что этотъ безпечный, по умный, живой человъкъ являлся въ глазахъ юноши-поэта какъ бы представителемъ того эпикурензма, который такъ усердно воспъвался Пушкинымъ въ лицейскіе годы. Этимъ объясняется какъ происхожденіе посланій Пушкина къ Галичу, такъ и отчасти самый характеръ ихъ.

Галичь участвоваль въ поэтическихъ состязаніяхъ своихъ учениковъ. Дфиствительно Пушкинъ называетъ его "парнас-

^{•)} Галичь, живя въ Петербургѣ, для уроковъ пріѣзжаль въ Царское Село и должень быль, въ промежутокъ времени отъ одинхъ классныхъ часовъ до другихъ, оставаться въ Лицеѣ, отчего у него была возможность особенно сближаться съ воспитанниками и внѣ классовъ.

скимъ бродягою", своимъ "сосъдомъ въ Пиидъ" и, наконецъ, прямо "поэтомъ"; на самомъ дълъ цензвъстно никакихъ поэтическихъ произведеній Галича, и весьма вфроятно, что словамъ Пушкина следуеть придавать исколько иной смысль. Дело въ томъ, что Галичъ, кромъ развитого эстетическаго чувства, обладаль еще даромъ оригинальнаго изложенія, обнаруживавинимся какъ въ его оживленной беседь, такъ и въ его печатныхъ сочиненіяхъ. Одно изъ нихъ, психологическая монографія подъ заглавіемъ "Картина человъка", было представлено авторомъ на Демидовскую премію, и Академія паукъ цризнала его за плодъ многолътнихъ трудовъ и изысканій и заявила, что "во уваженіе большой общеполезности сочиненія Галича и удачно во вевхъ отношеніяхъ избранной и обработанной имъ матеріи она не приминула бы опредълить автору полную премію, если бы онъ умълъ только лучше согласовать внъшнюю форму съ достоинствомъ своего предмета. Только по этой причинъ авторъ получилъ премію въ половинномъ размъръ. .. Начертывая картину человъка, Галичъ, какъ и въ другихъ случаяхъ, не могъ преодольть своей врожденной наклонности къ проніи и юмору. Что опъ способень быль и умѣль поставить себя въ приличное и благоговъвное отношение ко всъмъ великимь предметамъ и изображать ихъ съ одушевленіемъ глубокаго поэтическаго чувства, это доказывають уже тв мвста въ "Картинъ человъка", гдъ онъ, напримъръ, говоритъ о нравственной свободъ, о геніи, о характеръ, объ эстетическомъ п религіозномъ чувствѣ и проч. Но, спускаясь въ низменную сферу текущихъ дълъ человъческихъ, онъ не могъ воздержаться отъ насмъщливой улыбки при видъ зрълища, гдъ человъкъ дъйствилельно бываетъ очень забавенъ и впадаетъ истинно въ комическія положенія, то играя въ маленькія страсти, то гоняясь на шумной ловлъ за житейскими благами... Академія поступила даже снисходительно, простивъ Галичу частыя нарушенія строгихъ дидактическихъ обычаевъ и наклонность къ поэтическимъ образамъ". Нътъ сомивнія, что именно эта присущая Галичу способность живого пониманія и нагляднаго изображенія самыхъ отвлеченныхъ предметовъ, способность, столь ръдкая въ тъ времена педантическаго знанія, особенно правилась Пушкину, и за то-то онъ и породнилъ Галича съ поэтами.

Профессоромъ русскаго и датинскаго языка и словесности

въ Лицев быль Николай Өедөрөвичь Кошанскій. Въ памяти поздивнимъ покольній сохранилось его имя, главнымъ образомъ, какъ составителя учебниковъ по датинскому языку, классическимъ древностямъ и словесности; учебники эти очепь уважались въ свое время, и ифкоторые изъ нихъ выдержали много изданій, пока не были замфнены новыми, и пока не было отвергнуто самое преподавание реторики. Въ тридцатыхъ годахъ уже много потъщались надъ учебникомъ реторики Кошанскаго, а въ 1845 году Бълинскій напечаталь разборъ этой кинги, окончательно уронившій ея авторитеть. Но изъ этого не слъдуетъ заключать ни о полной несостоятель ности автора, какъ преподавателя, ни о совершенномъ ни чтожествь составленныхъ имъ учебныхъ книгъ для своего времени. Кошанскій быль хорошій классикь, основательно знакомый съ древними языками, литературами и вообще всемъ тьмъ кругомъ знаній, который встарину разумьлся подъ названіемъ humaniora и полагался въ основу всякаго ученія. Чтобы служить двлу классического образованія, котораго онъ быль энтузіастомъ, Кошанскій быль подготовлень не только усиленнымъ трудомъ на школьной скамьъ, но и усердными самостоятельными занятіями въ молодые годы. Питомецъ Московскаго университета, онъ пользовался особымъ покровительствомъ его попечителя, М. Н. Муравьава, одного изъ просвъщеннъйшихъ люден своего времени, и былъ имъ предназначенъ къ посылкъ за границу, главнымъ образомъ, въ Италію, для приготовленія себя къ кафедръ археологін и изящимхъ искусствъ; но война 1805 года помфшала этой пофздкъ, и взамънъ ея Кошанскій былъ оставленъ на годъ въ Петербургъ, чтобы изучать древности Эртимажа и заниматься въ Академін художествъ. Этимъ временемъ онъ воспользовался также для составленія докторской диссертаціи, темою которой онъ избрадъ мноъ о Пандоръ. Въ началъ 1807 года онъ защитилъ ее въ Москвъ, но послъдовавшая за тъмъ смерть Муравьева остановила назначение Кошанскаго на университетскую каведру и ему пришлось ограничиться преподаваніемъ въ московскихъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ до тфхъ поръ, пока онъ не получилъ профессорской должности въ Царскосельскомъ лицев.

Согласно постановленію о вновь основываемомъ заведеніи питомцамъ его предполагалось давать по преимуществу гу-

манное образованіе, особливо въ младшемъ курст, все лицейское ученіе было раздълено на два курса, по три года каждый). Кошанскій быль какь нельзя болфе подходящимъ человъкомъ для такого дъла: по-латыни онъ занималъ учениковъ младшаго курса грамматикой и легкими переводами, а по русскому языку и словесности изученіемъ отрывковъ изъ образцовыхъ писателей и ихъ разборомъ, началами реторики и упражненіями въ сочиненій прозы и даже стиховъ. Въ то время Кошанскій еще не составилъ своего учебника реторики, и его преподавание имъло по преимуществу практическій характеръ. По замъчанію Я. К Грота "Кошанскій всегда считалъ умънье писать самою существенной стороной литературнаго образованія". Онъ умъль возбуждать вниманіе и самодъятельность своихъ учениковъ, то задавая темы для ихъ сочиненій, то представляя самимъ учащимся придумывать ихъ и всегда требуя изобрътательности въ сюжетъ и изящества въ изложеніи. "По временамъ, разсказываетъ Гротъ, онъ поощряль насъ пробовать свои силы въ стихотворствъ и потомъ читалъ наши опыты вслухъ передъ всемъ классомъ. Правило, которому опъ следовалъ при ихъ обсуждении, самимъ имъ выражено въ его учебникъ: попытки учащихся, по его словамъ, "не должны охлаждаться порицаніемъ, но согръваться участіемъ друга-наставника, который всегда говорить прежде, что хорошо и почему, а послы показываеть, что должно быть иначе и какимг образомг. Воспоминание Грота относится къ исходу двадцатыхъ годовъ, когда Кошанскій обладаль уже большою педагогическою опытностію; но, очевидно, то же происходило на урокахъ его и за полтора десятка лътъ раньше, во время Пушкина. Кошанскій, въ началъ 1812 года, привътствовалъ первые литературные опыты Пушкина; сохранился и образчикъ тъхъ исправленій, которыя преподаватель дълаль на стихотворныхъ упражненіяхъ своихъ учениковъ. "До насъ дошло, сообщаетъ Гаевскій, одно непзданное стихотвореніе Илличевскаго "Освобожденіе Бълграда", съ отмътками и поправками Кошанскаго. Онъ показываютъ, какъ, сообразно съ духомъ времени, поощрядась напыщенность и ходульность и поридалась простота, считавшаяся низкою, и свидътельствують, между прочимь, съ какою ревностію на первыхъ порахъ Кошанскій запимался своимъ дъломъ. Жаль, что вкусъ педагога не равнялся его усердію.

Въруя въ непогръщимость правиль, предписывавшихъ поэту парить, а прозаику течь, Кошанский требовалъ того же отъ своихъ учениковъ, и въ одъ Илличевскаго замънилъ выражения: двънадцать дней, колодцы выкопавъ, напрасно, площади, говорить, по его мнънію болье, эпическими: дванадцать кратъ, изрывши кладези, тщетно, шумпые стоины, въщать и т. д. Кошанскому особенно понравилась слъдующая строфа, возлъ которой онъ приписалъ: "Вотъ поэзія! Прекрасно!"

Спускалось солице; день ужъ къ вечеру клонился. Въ Бѣлградѣ жители въ одинъ толпились сонмъ; Глухой, на площади, печальный шумъ носился, Подобный вечера осення шуму волнъ.

О томъ, какъ исправлялъ Кощанскій стихи, можно судить по слъдующей строфъ:

Уныло граждане другь на друга смотрѣли, Что въ крайности такой имъ было предпринять; Въ отчаяньи врата отверзть хотѣли И, преклоня главу, о жизни умолять.

Противъ послъдняго стиха Кошанскій отмътилъ: "Le plus beau vers, а остальное исправилъ такъ:

Уныло граждане съ высоких стыт взирали Колсблясь мыслями, что въ быдствах предпринять Уже врагу отверзть врата они желали II, прекловя главу о жизни умолять.

Эти исправленія наглядно представляють намь, какъ учебные пріемы Кошанскаго, такъ и слабыя стороны въ его литературныхъ понятіяхъ и преподаваніи. Вирочемъ, изданная имъ книга "Цвѣты греческой поэзіи" (1811 г.), въ которой помѣщены, въ подлинникѣ съ коментаріемъ и въ переводѣ, произведенія Біона и Мосха и переводы отрывка изъ Софокловой трагедіи "Клитемнестра" и эпизода о Навзикаѣ изъ VI пѣсни "Одиссен", — можетъ служить доказательствомъ, что ему не совсѣмъ чуждо было пониманіе красотъ античнаго творчества. Но Кошанскій не въ состояніи былъ возвыситься надъ устарѣлыми школьными привычками и предразсудками, надъ тѣми натянутыми и некусственными толкованіями, какимъ подвергалась древность въ періодъ псевдоклассицизма, и переносилъ ихъ въ собственное преподаваніе. А между тѣмъ онъ не желалъ, чтобы его считали старомоднымъ пе-

дантомъ и, изъ опасенія прослыть имъ, старался даже усвоить себъ тонъ и привычки свътскаго человъка.

Не подлежить сомивнію, что Кошанскій поощряль первые опыты какъ Пушкина, такъ и другихъ лицейскихъ стихотворцевъ: это входило въ его учебную программу. По словамъ лиценста Комовскаго, Кошанскін, предвидя необыкновенный успъхъ поэтическаго таланта Пушкина, старался все достоинство онаго приписать отчасти себъ и для того употреблялъ вев средства, чтобы какъ можно болве познакомить его съ теоріей отечественнаго языка и съ классическою словесностью древнихъ, но къ последней не успель возбудить въ немъ такой страсти, какъ въ Дельвигъ. Въ ноябръ 1812 г. Кошанскій даль следующій отзывь о своемь геніальномь ученике: "Больше имъетъ понятливости, чъмъ памяти; больше вкуса къ изящному, нежели прилежанія къ основательному, почему малое затрудненіе можеть остановить его, но не удержать: нбо онъ, побуждаемый соревнованіемъ и чувствомъ собственной пользы, желаетъ сравниться съ первыми воспитанниками; успъхи его въ латинскомъ языкъ довольно хорони, въ русскомъ не столько тверды, сколько блистательны". "Если исключить первое замъчание о недостаткъ памяти у Пушкина", говорить Гроть сообщая вышеприведенныя строки, "то нельзя не признать этого свидътельства справедливымъ". Прибавимъ съ своей стороны, что отзывъ Кошанскаго не только справедливъ, но очень благопріятенъ для Пушкина. Такъ, однако, было до поры, до времени. Мало-по-малу между профессоромъ и его способивншими учениками стали возникать недоразумънія, и въ концъ концовъ сложились отношенія педружелюбныя.

Едва ли мы ошибемся сказавъ, что на измъненіе отношеній лицеистовъ къ Кошанскому повліяло, между прочимъ, временное появленіе Галича на его кафедръ въ 1814—1815 годахъ. Конечно, преподаваніе Галича на его кафедръ было небрежное и распущенное, ученики мало успъвали у него въ фактическихъ занятіяхъ, но лучшіе, болье даровитые почерпали изъ разговоровъ съ нимъ много поучительнаго для своего развитія. Такъ, напримъръ, если въ посланіи "Моему Аристарху" Пушкинъ говорить о "непринужденномъ упоеньи" творчества, то можно съ большимъ въроятіемъ утверждать, что подобная мысль явилась у него вслъдствіе бесьдъ съ щеллингистомъ

Галичемъ о свободъ искусства. Правда, поэты, послъдователемъ которыхъ заявляетъ себя Пушкивъ въ посланіи "Моему Аристарху", поэты беззаботнаго наслажденія жизнью—

любезные пѣвцы Сыны безпечности лѣнивой—

издавна пользовались его предпочтеніемъ; но теперь ихъ произведенія могли получить въ его глазахъ болье глубокій смысль, какъ правдивое искрениее выражение ихъ душевнаго настроенія и міросозерцанія, а вмѣстѣ съ тѣмъ лучше осмыслились и собственныя влеченія нашего автора къ этому роду лирики. А между тъмъ возвратившійся на канедру Кошанскій продолжалъ держать лицейскихъ стихотворцевъ въ строгой школъ и попрежнему требоваль отъ нихъ вниманія преимущественно къ слогу, къ вившией отдълкъ стиховъ. Безъ сомивиія, онъ быль до ивкоторой степени правъ; но все же понятно, что его требованія возмущали молодежь, и ея пегодованіе Пушкинъ выразилъ въ посланін "Моему Аристраху". Я. К. Гротъ, нъкогда самъ слушавшій уроки Кошанскаго, береть въ данномъ случав его сторону противъ Пушкина. "Изъ многихъ мъстъ посланія", говоритъ опъ, "видно, что Кошанскій, между прочимъ, упрекалъ Пушкина за излипиною поспъшность въ сочинении стиховъ. Ради необыкновеннаго таланта, выразившагося и въ этой пьесъ, можно, конечно, простить ее молодому поэту, но надо сознаться, что она вовсе не бросаетъ тънн на профессора, заботнвшагося о болъе серіозномъ направленін и совершенствованін юнаго дарованія. Добрыя намфренія Кошанскаго не подлежать сомнінію; но очевидно, что то покольніе лиценстовъ, къ которому привадлежалъ Пушкинъ, скоро обогнало наставника въ художественномъ развитін, и вслъдствіе того разладъ между методическимъ преподавателемъ и нетерпъливыми учениками сдълался неизбъкнымъ. Манковъ.

"Арзамасъ" и его вліяніе на Пушкина.

Съ 1820 года Пушкинъ повлекъ за собою блестящими и быстро смъняющимися своими произведеніями, изъ которыхъ каждое открывало новые источники поэзіи и неожиданныя соображенія эстетическаго, моральнаго и частію даже поли-

тическаго характера, — повлекъ, говоримъ, за собой такъ же точно читающую нублику, какъ и дитературныя общества, и инсателей, и во многихъ случаяхъ противъ воли и желанія поелъднихъ, уже свыкшихся съ покоемъ литературныхъ собраній. Гораздо позже описываемаго нами времени, и уже домогаясь позволенія на изданіе политической газеты (1833 г.), Пушкинъ въ проектъ своей офиціальной просьбы по этому новоду чертилъ о себъ слъдующія строки, которыя онъ имълъ, но нашему митнію, полное право сказать, но которыя онъ однако же вымаралъ, какъ, въроятно, отзывающіяся отчасти хвастливостью: "Могу сказать, что въ послъднее пятильтіе царствованія покойнаго государя (Александра I), я имълъ на все сословіе литераторовъ гораздо болье вліянія, чъмъ министерство (т.-е. м-во просвъщенія), несмотря на неизмъримое неравенство средствъ".

Исключеніе составляло одно только литературное общество, именно "Арзамасъ". Значеніе этого знаменитаго общества не только пе разъяснено у насъ вполив, по врядъ ли еще и понято достаточно яспо и правильно, благодаря тому, что историки и судьи "Арзамаса" видвли въ немъ одну только шутливую сторону, и сочли его на этомъ основаніи за сборище веселыхъ и праздныхъ собестдниковъ. Шутливость "Арзамаса" прикрывала однакоже очень серіозную мысль, что именно и даетъ ему право на вниманіе въ исторіи нашего просвъщенія.

Извѣстно, что "Арзамасъ" основанъ былъ для противодѣйствія Державинско-Шишковской "Бесѣдѣ Любителей Русскаго Слова" и для поддержанія не только переворота въ языкѣ и литературѣ, произведеннаго Карамзинымъ, который поэтому и считался какъ бы певидимой главой "Арзамаса", но и для защиты правъ русскихъ писателей на свободную, независимую дѣятельность. Пушкинъ былъ членомъ "Арзамаса" еще съ лицейской скамьи; но ко времени появленія его въ свѣтъ "Арзамасъ" и "Бесѣда" существовали только поминально, и на литературной аренѣ уже болѣе не встрѣчались. Время уничтожило между ними яблоко раздора. Большая часть нововводителей въ сферѣ русской мысли и слова успѣли уничтожить предубѣжденіе своихъ враговъ и побѣдоносно выйти изъ смуты и наговоровъ, которые вызваны были ихъ появленіемъ.

Много разъ приводился въ литературт нашей доносъ куратора московскаго университета Голенищева-Кутузова, въ которомъ онъ указывалъ на Карамзина, какъ на заговорщика, помышляющаго о ниспровержении законной власти и присвоенін ея себъ, съ помощью многочисленныхъ своихъ поклонниковъ. Поводы къ такого рода чудовищностямъ крылись столько же въ личныхъ вопросахъ, сколько и въ условіяхъ тогдашняго быта. Неизбъжная связь всякой литературы съ внутреннею политикою, т -е. съ состояніемъ умовъ и жизнію страны вообще, какъ бы ни старались мъщать образованию этой связи, давала поводъ ужасаться всякій разъ, какъ эта связь обнаруживалась сама собою. Тогда поднимались вопли и жалобы съ двухъ сторонъ: со стороны слепыхъ, боязливыхъ умовъ, и со стороны смълыхъ пройдохъ, имъвшихъ своекорыстныя цъли. И тъ и другіе разръшались одинаково нелъпъншими подозръніями и обвиненіями. Нъчто подобное доносу Кутузова повторалось и позже, въ эпоху появленія романтизма "Въстинкъ Европы" Каченовскаго, человъка вполнъ честнаго и благороднаго, видълъ въ попыткъ уничтоженія пінтическихъ правилъ, пропов'ядываемой новой школой романтиковъ, затаенное ея намфреніе высвободиться изъ-подъ власти іерархическихъ и всякихъ другихъ авторитетовъ. Это было только заблужденіе; по еще позже, извъстный Булгаринъ уже пользовался страхомъ администраціи передъ твиью политической литературы, просто выдумывая силетии и разоблачая пебывалые политические замыслы, для погубления своихъ критиковъ и недоброжелателей, и усибвалъ въ томъ не разъ, какъ показываетъ исторія его съ Дельвигомъ (1831 г.), бывшая одной изъ причинъ преждевременной смерти послъдняго.

Карамзинъ уже перевхаль въ Петербургъ и пользовался высокимъ уваженіемъ государя; Жуковскій, пенсіонеръ двора съ 1816 г., уже приготовлялся къ занятію поста воспитателя въ царской семьв; друзья и ревнители ихъ славы — Уваровъ Блудовъ, Дашковъ и друг. — уже стояли на дорогѣ, которая повела ихъ на высокія ступени въ государствѣ. Въ виду все болѣе усиливающаго ихъ вліянія и значенія, "Бесѣда" потеряла часть своей энергіи въ преслѣдованіи поваторовъ, ту энергію, которой обнаружила такъ много еще не очень давно, именно въ 1815 г., когда "Липецкія воды" кн. Шаховскаго, ея сторонника, съ своимъ пѣсколько топорнымъ обличіемъ

балладистовъ и сентименталовь, двлили публику на два лагеря. "Бестда", въ лицт Шишкова, обнаружила даже попытки ити наветрвчу прежнимъ врагамъ, а съ другой стороны, "Арзамасъ" совсъмъ замолкъ и не собирался болъе съ 1817 г. столько же потому, что прямый цели его основанія были достигнуты, сколько и по другому обстоятельству. Въ итдра его внесена была рознь съ прибытіемъ новыхъ членовъ яркой современной политической окраски (М. Ө. Орлова, Н. М. Муравьева, Н. И. Тургенева), членовъ, которые не хотъли ограничиться узкой, либерально-литературной задачей "Арзамаса", упрекали его въ безцвътности, пустотъ и праздности и указывали политическія и соціальныя цели для деятельности. По "Арзамасъ" именно и занимался ими, стоя на почвъ литературныхъ, ученыхъ и художническихъ вопросовъ, и не уступиль намъренію втянуть его въ колею тайныхъ обществъ. Опъ предпочелъ дучше не собираться вовсе, чъмъ собираться для скорыхъ приговоровъ и рѣшеній, которые неспособны были измънить строя нашей жизни ни на одну іоту къ лучшему, и Д. И. Блудовъ, отстравившій предложеніе М. Ө. Орлова — обратиться къ вопросамъ политическаго содержанія, конечно, не измъиялъ дълу прогресса и развитія въ отечествъ, выразивъ въ долгой ръчи по этому поводу желаніе остаться на почвъ критики, изученія русскаго слова и литературы.

Какъ бы то ни было, но духъ этихъ двухъ знаменитыхъ литературныхъ центровъ не исчезъ вмѣсть съ ними. Главнѣйшіе представители обоихъ направленій, выражаемыхъ этими
центрами, не измѣнили своихъ убѣжденій, и борьба между
ними продолжалась и тогда, когда знаменъ, подъ которыми
они сражались прежде, не было уже видно на литературной
аренѣ; только споръ былъ перенесенъ теперь изъ области
теоретическихъ разсужденій и словесности вообще, гдѣ все
смолкло, благодаря особеннымъ обстоятельствамъ времени, на
служебную и дѣловую арену.

Прежде всего слъдуетъ сказать, что "Арзамасъ" не имълъ собственно никакой, ни эстетической ни политической, теоріи, чъмъ и отличался отъ своего соперника, "Бесъды Любителей". Послъдняя, благодаря А.С. Шишкову, обладала полнымъ кодексомъ воззръній на лучшія формы языка, на предметы, которыми должно заниматься искусство, и на пути, которыми слъдуетъ вести и русскую жизнь и русскую словесность къ ихъ

пящшему преуспъянію въ духъ благочестія, народности и правственности. Каковы были требованія и опредвленія этого кодекса — теперь уже разобрано и оцфиено по достоинству; но онъ, по всемъ веролтіямъ, имелъ некоторую обольстительную сторону для своего времени, потому что мы встръчаемъ въ числъ преверженцевъ "Бесъды" и враговъ "Арзамаса" такихъ людей, какъ А. И. Катенинъ и А. С. Грибовдовъ, не говоря уже объ А. Н. Оленинъ и т. д. Можетъ-быть, это зависьло отъ полноты и цълостности системы Шишкина, которая давала готовые отвъты на самые трудные вопросы русскаго просвъщенія и быта. Какъ бы то ни было, но Катенинъ при всъхъ называлъ книгу Шишкова "О старомъ и новомъ слогъ" своимъ литературнымъ евангеліемъ, а модно-арханческія, славянофильскія тенденцін Грибойдова достаточно обнаруживаются въ нъкоторыхъ выходкахъ "Чацкаго", что и объясилеть холодность, съ которой встрътили и вкоторые истые арзамасы, какъ напр. князь Вяземскій, его безсмертную камедію. Чъмъ же былъ собственно "Арзамасъ", не имъвшій противопоставить "Бесфдъ" никакой равносильной эстетической и фидосовской теоріи, а тайнымъ обществамъ никакой не только выработанной, по и намвченной политической темы?

"Арзамасъ" представлялъ собственно партію молодыхъ людей, которые, опираясь на примъръ Карамзина, отстаивали право каждаго человъка, сознающаго въ себъ правственныя силы, открывать для себя новыя дороги въ жизни и литературъ. "Арзамасъ" ставилъ ни во что напыщенность и торжественность выраженія, которыми многіе тогда удовлетворялись, и ненавидълъ пустую, трескучую фразу во всякомъ ея видь — либеральномъ пли консервативномъ. Болѣе всего сопротивлялся онъ намфренію водворить обязательныя правида для умственной и общественной дъятельности своего времени, подозръвая тутъ замыселъ управлять правственными стремленіями эпохи, не справляясь съ ней, и утвердить за ивсколькими дичностями право безаппеляціоннаго суда надъ встми митиями и начинаніями ея. Воть почему "Арзамасъ" неукосиптельно принималь подъ свое покровительство все, что появлялось съ ясными задатками развитія, съ несомифиными признаками способности завоевать себъ будущиость. Онъ очень любилъ противопоставлять новыя имена и таланты старымъ извъстностямъ, да не отступалъ и передъ разобла-

ченіемъ упроченныхъ, по все-таки фальшивыхъ репутацій, обнаруживая при этомъ, сколько кумовства, дружескихъ подкуповъ и самохваленія издержано было для составленія ихъ. Въ лицъ Жуковскаго "Арзамасъ" привътствовалъ и романпизма въ нашей литературъ, а когда возвигнуто было гоненіе на самую пдею романтизма — "Арзамасъ", уже явно не существовавшій, выслаль, однако же, горячаго защитника повому виду творчества, киязя Вяземскаго, и поддерживаль его своимъ согласіемъ. Вотъ въ чемъ заключались вст теоріи "Арзамаса". Къ этому надо прибавить, что орудіемъ борьбы служили для него, когда онъ собирался еще въ свои засъданія, острота, насмінка, проническое восхваленіе въ стихахъ и въ прозъ, при чемъ, заставляя хохотать до упаду и такихъ людей, какъ Карамзинъ, "Арзамасъ" самъ пазывалъ "галиматьей" свои произведенія. Ничто не могло быть болѣе по вкусу Пушкину, тоже расположенному отмщать мфткимъ эпптетомъ, эпиграммой или пародіей безсильныя или отсталыя претензін: "Арзамасъ" шутилъ, но по тогдашнему времени воспитывающими и обнаруживающими шутками.

Въ области пониманія и представленія гражданскихъ обязапностей, вліяніе "Арзамаса" на людей обнаружилось не менње сильно. Тутъ опять мы не находимъ ничего похожаго на систему или ученіе, съ точностью опредъляющее всъ свои основы. Подобно тому, какъ на литературной почвъ чувство изящнаго, понимание талатна и силы въ изображенияхъ замѣняло "Арзамасу" эстетическія теоріп, такъ на политической, вмъсто обдуманной программы, онъ обладалъ только живыми инстинктами свободы, стремленіями къ образованію и кръпкими надеждами на общечеловъческую, европейскую науку, какъ на дучшую исправительницу пародныхъ п государственныхъ недостатковъ, а главное - онъ отличался непоколебимой върой въ возможность соединенія коренныхъ основъ русской жизни и русскаго законодательства --- монархизма и православія съ свободой лицъ, сословій и учрежденій. Проводя эти убъжденія, "Арзамасъ" выражаль пстинную мысль своей эпохи или, по крайней мъръ, огромнаго большинства ея людей, между которыми были и руководители ея судебъ.

Конечно, песправедливо было бы смѣшивать характеръ и убѣжденія честнаго, прямодушнаго, хотя и упорнаго А.С. Шишкова съ характеромъ и проповѣдями такихъ честолюбцевъ и

проходимцевъ, какъ Магинцкій и Руничъ: но оба эти рефор. матора все-таки прикрывали свои мрачныя цъли началами, сходными съ возръніями Шишковской "Бесъды". "Арзамасъ", можно сказать, цъликомъ вступиль въ борьбу съ старымъ своимъ врагомъ, очутившимся уже на административной почвъ. Педавно опубликовано было письмо къ государю бывшаго попечителя с.-петербургскаго округа С. С. Уварова (отъ 17 поября 1821 г.), смъло объяснявшее средства, употребляемыя Рупичемъ для возведенія простыхъ ученыхъ и учебныхъ положеній въ преступныя заявленія и въ уголовные проступки, письмо, не оставшееся безъ непріятныхъ последствій для его автора. Позже, когда съ пазначеніемъ министромъ самаго А. С. Шишкова (1824 г.), пресловутая "Бесъда" очутилась, такъ сказать, во главъ управленія въдомствомъ народнаго просвъщенія — она нашла всъхъ старыхъ своихъ противниковъ на своихъ мъстахъ. Новый министръ, какъ видно изъ его записокъ, до конца своей жизни сохранилъ убъжденіе, что шаткость общественнаго порядка въ Россіи находится въ зависимости отъ ослабленія основъ старой русской жизни, стараго русскаго воспитанія и образованія, потрясенныхъ литературной реформой последняго времени, которая открыла будто бы двери всяческому легкомыслію и вольнодумству. Слъдствіемъ этихъ убъжденій было появленіе цензурнаго устава 1826 г., съ его извъстнымъ, крайне притъснительнымъ характеромъ. Въ особенной смъшанной комиссін, которая была поставлена для просмотра иностранцаго цензурнаго устава, тогда же выработаннаго министромъ, засъдали два арзамасца, Уваровъ и Дашковъ. Подъ ихъ вліяніемъ комиссія занялась пе только иностраннымъ пензурнымъ уставомъ, но подняла вопросъ и о русскомъ педавно вышедшемъ, и строго разобраза его положенія и основанія. Комиссія подготовила, такимъ образомъ, возможность новаго проекта съ болбе благопріятными условіями для русской ученой и художественной дъятельности, который действительно вскоре и появился. Это быль тоть знаменитый цензурный уставь 1828 г., который стояль такъ выше дюдей своего времени и укоренившійся цензурной практики, что никогда не быль вполив примвненъ къ дълу и, большею частью, оставался мертвой буквой вплоть до своего уничтожения въ 1865 г.

Вообще, "Арзамасъ" представляетъ въ исторіи нашей об-

щественности поучительный примъръ собранія съ одивми правственными и образовательными цѣлями, формально просуществовавшаго менѣе трехъ лѣтъ, но оставившаго послѣ себя долгій слѣдъ и живую мысль, которая питала людей его, когда они уже были разсѣяны по свѣту. Долго сохранили они свою либеральную окраску, одинаковое пониманіе европейскихъ идей и неотлагательныхъ нуждъ русскаго общества. Только гораздо позже, въ половнић слѣдующаго царствованія, начинаетъ тускиѣть и загрубѣвать между ними единившая ихъ мысль; люди "Арзамаса" наживаютъ себѣ противоположныя цѣли, расходятся въ разныя стороны и даже становятся отъявленными врагами другъ друга. Что касается Пушкина, онъ остался ему вѣренъ всю жизнь.

Первые примъры свътлыхъ общественныхъ стремленій, полученные имъ въ общеніи съ Жуковскимъ, Карамзинымъ, Блудовымъ, Дашковымъ и другими членами "Арзамаса", залегли глубоко въ его душв, вмъств съ твердымъ пониманіемъ исторической почвы, на которой стремленія эти могутъ быть осуществляемы. Еслп это созерцание не тотчасъ же выразилось на первыхъ порахъ въ его сужденіяхъ и поступкахъ, то причиною были непреодолимые соблазны жизни, вмъстъ съ порывами и увлеченіями молодости; но оно пустило корни въ его мысль, въ нравственную его природу, и при первой возможности, дало свои отпрыски. Можно полагать, какъ уже было сказано нами, что атмосфера тайныхъ обществъ, окружавшая ивкогда его существованіе, сообщила впоследствін его слову ту прямоту, смелость и откровенность, съ какими онъ отвъчаль на всякій вопросъ, откуда бы онъ ни исходилъ. "Арзамасъ" далъ ему нъчто другое. Опъ научилъ его свободно, самостоятельно и независимо подчиняться условіямь русскаго быта, желать имъ наиболье разумнаго содержанія, искать для этихъ условій основъ въ мысли, филосовской поддержки, теорического оправданія, и въ то же время сохранять за собой право судить отдъльныя явленія самаго быта по своему разумбнію. Никогда онъ не быль болве смълъ и независимъ, какъ въ то время, когда добровольно признаваль необходимость покориться тому или другому требованию установленнаго порядка, потому что основываль эти уступки на представленіяхъ и мотивахъ, еще казавшихся многимъ ересями и опасными идеями.

Но до всего этого еще было далеко, а теперь покамъстъ невидимо копились только и отлагались въ душв Пушкина всь ть начала, которыя составляли его последующій характеръ. Онъ продолжалъ пробовать людей, искать впечатленій, либеральничать и потъшаться жизнію. Даже В. А. Жуковскій терпълъ большія выходки молодого человъка и баловаль его; можетъ-быть, пуще всъхъ. Онъ, между прочимъ, первый смъялся его пародіямъ и эпиграммамъ на себя. П. А. Катенинъ разсказываетъ въ своихъ (неизданныхъ) "Воспоминапіяхъ" о Пушкинъ, что Александру Сергьевичу очень правилось, когда его сравнивали съ Вольтеромъ, и особенно доволенъ онь быль каламбуромъ, который выходиль изъ шуточнаго прозвища, даннаго переводчикомъ "Андромахи" своему молодому другу. Катенинъ часто называлъ ero: un monsieur à rouer (Arouet), и Пушкинъ всякій разъ заливался при этомъ веселымъ смъхомъ, но собственно ин на какого, даже микроскопическаго Аруэта ни тогда ни послъ поэтъ нашъ не походилъ. Въ описываемую эпоху онъ представляется намъ веселымъ молодымъ человъкомъ, у котораго было гораздо болъе своевольства, чёмъ нажитыхъ принциповъ, и гораздо болве наклонности къ задирающей шуткъ или къ производству эффектныхъ либеральныхъ гимновъ, чёмъ революціопнаго одушевленія или двиствительной ненависти къ людямъ и установленіямъ.

Уваженіе къ самостоятельному сужденію и независимымъ мивніямъ Катенина пережило у Пушкина эпоху молодости и продолжалось въ зрълые годы его, по критическія воззрънія Катенина не имъли большого вліянія на Пушкина, какъ на поэта, потому что ственяли его свободу творчества и фантазін. Одинъ примъръ такихъ воззрѣній находится и въ "Воспоминаніяхъ" П. А. Катенина. Такъ, упоминая о пьесъ "Моцартъ и Сальери", критикъ осуждаетъ Пушкина за то, что построилъ свой драматическій этюдъ на сомнительномъ анекдотъ и оклеветалъ Сальери. Другой учитель Пушкина отъ этой эпохи, Чаадаевъ, кажется, дъйствительно имълъ нъкоторыя права на это званіе, признанныя за нимъ и нашимъ поэтомъ, какъ извъстно, но, конечно, не въ той степени, въ какой обыкновенно провозглашалъ ихъ самъ наставникъ. П. Я. Чаадаевъ уже тогда читалъ въ подлининкъ Локка, и могъ указать Пушкину, воспитанному на французскихъ сепсуалистахъ и на Руссо, — какъ извратили первые философскую

систему англійскаго мыслителя своимъ упрощеніемъ ея, и какъ мало научнаго опыта и изследованія лежить у второго въ его теоріяхъ происхожденія обществъ и государствъ. Выводы и соображеніе, которыя рождались изъ апализа этихъ предметовъ, конечно, должны были поражать Пушкина повостью и сдълать въ глазахъ его "мудрецомъ" самого ихъ проповъдника. Въ перечив людей, у которыхъ Пушкинъ искалъ тогда наставленій, пельзя забыть объ А. Н. Оленинъ. Почтенный предсъдатель академіи художествъ, будучи родственникомъ н почитателемъ Г. Р. Державина, разумъется, склонялся на сторону "Бесъды" и не совсъмъ одобрительно смотрълъ на полемическія замашки "Арзамаса", но онъ имълъ важное качество. По знанію артиста и по прямому знакомству съ классическимъ искусствомъ, онъ понималъ эстетическіе законы, которые лежать въ основаніи художническаго производства вообще, а потому могь уразумьть изящество произведенія, если бы даже оно явилось и не съ той стороны, откуда онъ привыкъ его ожидать. Такъ, онъ былъ одинъ изъ первыхъ, которые признали поэтическое достоинство "Руслана и Людмилы". Качество это сдълало самый домъ его нейтральной почвой, на которой сходились люди противоположныхъ воззръній, что облегчалось еще необычайной любезностью хозянки, урожденной Полторацкой, а потомъ черезъ нѣсколько льть привътливостью красавицы, — дочери, воспътой Пупикинымъ. Поэтъ нашъ былъ у нихъ, какъ свой человѣкъ, н по семейнымъ ихъ преданіямъ, часто бесъдовалъ съ А. Н. Оленинымъ объ искусствъ. Впрочемъ ни одно изъ этихъ лицъ не провело никакой глубокой черты на его характеръ или на его таланть, по которой можно было бы судить о родь и степени ихъ вліянія. Одинъ "Армазасъ" оставилъ только на немъ неизгладимые слъды своего политическаго и литературнаго направленія, а все прочее сгладилось или пропало въ его дальнъйшемъ, самостоятельномъ развитін.

Несчастіе Пушкина состояло въ томъ, что современная литература не отвъчала ни на одинъ вопросъ, существовавшій уже въ обществъ: читать было печего, а еще менъе чему-либо учиться у нея.

Нѣтъ сомнѣнія, что періодъ петербургскаго броженія, который можно пазвать "искусомъ", пережитымъ мыслію Пушкпна, ранѣе бы кончился для него, если бы тогда существовало

какое-либо серіозное дитературное паправленіе, которое обыкновенно попуждаетъ людей собирать свои силы и ставить задачи для ихъ дѣятельности. Но эпоха живыхъ, горячихъ литературныхъ споровъ, мы уже сказали, кончилась, и на аренѣ русской печати не стояло никакого вопроса. Мѣсто Карамзина, какъ основателя школы, оставалось пусто съ 1815 г., когда онъ покинулъ его для главнаго своего труда, и было пусто лѣтъ десять, когда его занялъ самъ Пушкинъ.

Анненковъ.

Истербургскій періодъ жизни и д'ятельности Иушкина.

Воспитанный въ семьъ, которой были близки умственные и литературные интересы своего времени, съ дътства знакомый съ Дмитріевымъ, Карамзинымъ, Жуковскимъ, какъ друзьями своего отца и поэта-дяди, еще ранве поступленія въ Царскосельскій лицей уже успъвній съ жадностью перечитать почти всъхъ старыхъ французскихъ поэтовъ, начиная съ Мольера и продолжая Вольтеромъ, Шенье, Грессе и Парии, Пушкинъ въ отроческіе годы, на школьной скамью, пробусть писать стихотворенія, которыя по своему содержанію представляють подражанія названнымъ поэтамъ, а по формѣ — отголоски стиховъ Батюшкова, Жуковскаго, Державина. Дмитріева и даже Карамзина. Стихъ его мало-по-малу вырабатывается, пріобрътаетъ гладкость и звучность; это еще "перепъвы", но уже такіе, въ которыхъ иногда слышатся самостоятельныя, своеобразныя нотки; игривыя эротическія темы Парши и Батюшкова обрабатываются Пушкинымъ легко и оригинально; томная мечтательность Жуковскаго и напыщенная реторика Державина воспроизводятся имъ одинаково върно и выдержанно, - хотя, въ сущности, уже на та ни другая не привлекаютъ его сочувствін. Окруженный въ Лицев даровитыми товарищами, изъ которыхъ многіе также очень рано начали пробовать свои литературныя силы и въ прозъ, и въ стихахъ. посреди постоянныхъ споровъ и разсужденій о современнов литературъ, - юноша Пушкинъ сразу всъми своими симпатіями становится на сторону того литературнаго лагеря, во главъ котораго стояди тогда Карамзинъ и его сподвижники, того новаго литературнаго движенія, къ которому примкнули

Жуковскій и князь Вяземскій. Это движеніе было направлено противъ стараго классицизма, котораго рутинность и бездарное педантство усивли уже всвмъ надовсть; но и оно само заключало въ себъ прогрессивные элементы лишь чисто-формальнаго характера: покуда это быль только еще споръ "о старомъ и новомъ слогъ"; старинный узкій взглядъ на поэзію оставался еще неприкосновеннымъ; понятія о литературномъ вкусъ все еще вырабатывались на основании Лагарпа и Батте; даже старыя "правила стихотворства" еще не утратили своей обязательности, хотя ихъ фальшивость уже чувствовалась; лицейскія стихотворенія Пушкина полны минологических именъ и сравненій совершенно во вкуст анакреонтическихъ пьесъ Державина; но въ то же время онъ уже подсмъивается надъ похвальными одами и "бъщеными" трагедіями отечественныхъ риомачей. Насмъшки надъ бездарными стихотворцами, которыхъ классическая манера окрестила Бавіями и Мевіями, надъ литературными старовърами, Шишковымъ и его "Бесъдой", и съ другой стороны – преклонение передъ литературнымъ авторитетомъ Карамзина и Жуковскаго и прямо заявленное желаніе идти по ихъ следамъ. — таковы характерныя черты литературныхъ взглядовъ лиценста-Пушкина. Въ этомъ признанін передовыхъ дъятелей пашей литературы того времени своими руководителями заключалось, вмёстё съ тёмъ, и признаніе впервые ими провозглашеннаго принципа свободы, знамя которой было поднято извъстнымъ "арзамасскимъ" кружкомъ молодыхъ писателей. Будущій литературный путь Пушкина былъ, такимъ образомъ, уже намъченъ въ то время, когда юный поэтъ еще "безмятежно расцевталь въ садахъ Лицея".

Кромф поэтовъ-руководителей, произведеніями которыхъ вдохновлялся молодой Пушкинъ, кромф чуткихъ и даровитыхъ товарищей, съ которыми дѣлилъ онъ свои поэтическіе досуги, кромф лицейскихъ преподавателей, которые умфли зажигать пламя въ сердцахъ своихъ юныхъ учениковъ, немалое вліяніе на Пушкина имфлъ и тотъ кругъ военной молодежи, съ которымъ онъ близко сошелся въ Царскомъ Селф. Военное сословіе того времени, безспорно было самымъ передовымъ въ нашемъ обществф. Военная служба, еще педавно обязательная для всфхъ дворянъ, считалась единственно-возможною для порядочнаго человъка, такъ что лицейскому другу Пушкина,

Пв. Пв. Пущину. дъйствительно, было нужно немало самоотверженія, чтобы, отказавинсь отъ мундира, занять приказную должность надворнаго судьи. Молодые гвардейцы, аристократы не только по рожденію, но и по воспитанію, выросшіе среди либеральныхъ въяній первыхъ лътъ александровскаго царствованія, затъмъ близко и непосредственно познакомившіеся съ европейскимъ обществомъ и его идеями во время памятнаго похода Россін въ Европу, - вернулись на родину съ готовымъ запасомъ новыхъ возарфий, совершенно чуждыхъ и враждебныхъ старинному складу нашего общества. То было время политического романтизма, юношески-пылкихъ, но смутныхъ и черезчуръ отвлеченныхъ мечтаній о всеобщей свободъ и братствъ народовъ, когда пизвержение наполеоновской тиранін казалось только прологомъ къ окончательному разрушенію среднев вковых в традицій въ политической жизни европейскаго общества. Друзья Пушкина, царскосельскіе лейбъгусары, также съ увлеченіемъ предавались этимъ вольнолюбивымъ мечтамъ и надеждамъ, и бесъды съ ними оставили глубокій сладъ въ воспрінмчивой душа молодого поэта. Въ числъ этихъ офицеровъ находился одинъ изъ образованиъйшихъ люден своего времени, П. Я. Чаадаевъ, къ которому Пушкинъ навсегда сохранилъ дружеское чувство и искреинее уваженіе, какъ къ своему "учителю". Чаадаевъ былъ всего на три года старше Пушкина; но его блестящій умъ, общирная начитанность, бдкое, парадоксальное остроуміе, не могли не дъйствовать на его младшаго друга обаятельнымъ и подчиняющимъ образомъ. Въ политическомъ воспитании Пушкина, ему, конечно, принадлежитъ видная роль. Юношеская въра въ возможность осуществленія свободныхъ идеаловъ на русской почвъ была темою безконечныхъ бесъдъ объ этомъ предметь среди людей, осужденныхъ тогдашнимъ строемъ русскаго общества на безплодную праздность, людей, которые, получивъ возможность общественной дъятельности, дъйствительно, могли бы проявить богатыя умственныя и нравственныя силы. Чаадаевъ, который, по словамъ Пушкина, "въ Римъ былъ бы Бруть, въ Авинахъ — Периклесъ", въ тогдашией Россіи должень быль оставаться только гусарскимь офицеромъ; геттингенскій студенть Каверинь, который, подобно Ленскому, также "изъ Германін туманной привезъ вольнолюбивыя мечты", тратилъ свои силы на гомерическіе кутежи; другіе, болъе энергич-

ные, вродъ М. Ө. Ордова, Инкиты Муравьева, Н. И. Тургенева, пытались поставить политическіе и общественные вопросы па практическую почву и уже задумывали "Союзъ Благоденствія". Между тъмъ, новое время становилось все менъе и менъе похожимъ на недавнее прошлое. "Дней Александровыхъ прекрасное начало" быстро приближалось къ концу; вопреки убъжденію поэта, что "на поприць ума нельзя намъ отступать", — мы усиленно отступали, и изъ въка свободы и просвъщенія уже готовы были переселиться въ средніе въка. Принципы "Священнаго Союза", послужившіе фундаментомъ для общей европейской реакціи, получали широкое примізненіе и на русской почвъ; вліяніе ханжей и обскурантовъ усиливалось, Аракчеевъ стоялъ уже очень высоко... Въ такую-то пору Пушкинъ. 18-лътнимъ юношей, вышелъ изъ ствиъ Лицея. Въ обществъ онъ сразу занялъ мъсто въ кругу тогдашней "золотой молодежи", которая единственною цълью жизни ставила безшабашное ея прожиганіе. Разсвянная свътская жизнь, такъ живо описанная въ первой главъ "Онъгина", холостыя пирушки, театральныя похожденія, дружескій кружокъ "Зеленой Лампы", съ его вычурными затъями по части веселаго препровожденія времени, — все это поглотило значительную часть первыхъ трехъ льтъ петербургской жизни поэта. Но, несмотря на такую обстановку, талаптъ его росъ и развивался, быстро освобождаясь отъ постороннихъ вдіяній и приводя въ изумленіе прежнихъ его руководителей. "Стихи чертенка-племянника чудесно-хороши", — писалъ въ 1818 году ки. Вяземскій къ Жуковскому. "Этотъ бішеный сорванецъ насъ всъхъ завстъ, насъ и отцовъ нашихъ". Безъ преувеличенія можно сказать, что пушкинскіе стихи, появляясь въ журналахъ того времени, — въ этихъ тощихъ книжечкахъ, напоминающихъ ученическія тетрадки, - одни давали имъ гораздо больше содержанія, чемь все остальныя статьи, которыя едва ли къмъ и читались. Вмъстъ съ тъмъ Пушкинъ былъ близокъ и къ "обществу умпыхъ" или, какъ опъ ихъ пазываль, "молодыхъ якобинцевъ", — будущихъ декабристовъ, и сохраняль прежнюю тъсную связь съ Жуковскимъ и Карамзинымъ, какъ своими литературными руководителями. Среди эротическихъ стихотвореній этой эпохи поражають изяществомъ мысли и формы поэтическія обращенія къ Жуковскому, этому "глубоко вдохновенному пъвцу всего прекраснаго"; наряду съ ними стоитъ знаменитое стихотвореніе "Деревия", въ которомъ такъ ярко выразился благородный образъ мыслей поэта и его политическій идеалъ:

Увижу-ль я, друзья, народъ неугнетенный И рабство, падшее по манію царя, И надъ отечествомъ свободы просвѣщенной Взойдетъ ли, наконецъ, прекрасная заря?

Въ этихъ словахъ заключается, можно сказать, программа, которой Пушкинъ не измънялъ во всю свою жизнь: уничтоженіе кръпостного рабства царскою властью и установленіе тою же властью гражданской свободы, основанной на просвъщеніи. Прочитавъ эти стихи, императоръ Александръ сказалъ: "Поблагодарите Пушкина за добрыя чувства, внушаемыя его поэзіей" (І, 306), слова, о которыхъ поэтъ всиомнилъ семнадцать лътъ спустя, говоря о своихъ заслугахъ передъ родиной:

И долго буду тѣмъ любезенъ я народу, Что *чувства добрыя* я лирой пробуждалъ, Что въ мой жестокій вѣкъ возславиль я свободу И милость къ падшимъ призывалъ.

"Вольнолюбивыя" мечты и надежды, вмѣстѣ съ вѣрою въ лучшее будущее, жили въ душѣ поэта и разгорались тѣмъ сильнѣе, чѣмъ болѣе сгущался мракъ, нависшій надъ умственною жизнью русскаго общества. Въ 1818 г. опъ писалъ Чаадаеву:

Мы ждемъ, съ волненьемъ упованья, Минуты вольности святой, Какъ ждеть любовникъ молодой Минуты сладкаго свиданья...

а въ 1820 г., въ то самое время, когда Магинцкій, Рувичъ и ихъ достойные сотрудники уже совсѣмъ приготовились погасить русское просвѣщеніе и настойчиво совѣтовали такъ "оградить Россію отъ Европы, чтобы и слухъ происходящихъ тамъ неистовствъ не достигалъ до нея", — изъ-подъ пера Пушкина выливается восторженный гимнъ свободѣ. Въ эпоху общей реакціи, которая особенно тяжело отозвалась у насъ, въ такую эпоху, когда поэтъ повсюду видитъ "бичи, желѣзы, законовъ гибельный позоръ, неволи немощныя слезы", — онъ смѣло возвышаетъ голосъ въ защиту законности (I, 220):

Лишь тамъ
Не слышится людей стенанье,
Гдѣ крѣпко съ вольностью святой
Законовъ мощныхъ сочетанье,
Гдѣ всѣмъ простертъ ихъ крѣпкій щить...

Онъ не лукавитъ самъ съ собой и не боится бросать убійственныя эпиграммы въ лицо властнаго временщика и ханжей-гасильниковъ просвъщенія. Извъстно, что эти эпиграммы и вольнолюбивыя стихотворенія Пушкина, столь же ръзко противоръчившія тогдашиему настроенію, сколько они были согласны съ идеалами первыхъ лътъ александровскаго царствованія, навлекли на него тяжелую кару. О немъ стали говорить, будто онъ "наводниль всю Россію возмутительными стихами", и ему уже грозила ссылка въ Сибирь, или даже заточеніе въ Соловецкомъ монастыръ, отъ котораго онъ быль спасенъ только клопотами Чаадаева и заступничествомъ Карамзина и благороднаго графа Каподистріи. Карамзинъ, говоря его собственными словами, "спасъ несчастнаго, обреченнаго Року и Пемезидамъ", — и грозившее поэту наказаніе было замънено ссылкой въ далекій, дикій Кишиневъ.

Такъ закончился первый періодъ жизни и д'ятельности Пушкива.

Въ числъ людей, имъвшихъ несомильное вліяніе на Пушкина въ первомъ періодъ его петербургской жизни, мы назвали два имени — Чаадаева и Карамзива. Отношенія поэта къ этимъ людямъ, столь непохожимъ одинъ на другого, заслуживаютъ вниманія. При тъхъ особенныхъ, своеобразныхъ условіяхъ, въ какія было поставлено развитіе нашей литературы въ первой половинъ минувшаго столътія, въ русскомъ обществъ никогда не переводились люди, которые своею высокою личностью имъли на современниковъ чрезвычайно спльное и благотворное вліяніе, а между тъмъ въ литературт оставляли по себъ лишь весьма скромный и невыразительный следь. Это, говоря словами Некрасова, тъ два-три человъка, которые выносять на своихъ плечахъ все поколвніе. Таковъ быль Н.В. Станкевичъ; таковъ былъ Т. Н. Грановскій; первымъ по времени въ ряду этихъ людей стоитъ П.Я. Чаадаевъ. Просвъщенный умъ, художественное чувство, благородное сердце, открытое для всего высокаго, — вотъ тъ качества, которыя всъхъ къ нему привлекали; по словамъ писателя совершенно иной школы, --

по словамъ Хомякова*). Чаадаевъ былъ особенно дорогъ тъмъ. что въ "такое время, когда мысль, повидимому, погружалась въ тяжкій и невольный сонъ, онъ и самъ бодретвовалъ, и другихъ пробуждалъ, — темъ, что въ сгущающемся сумраке того времени онъ не давалъ потухать лампадъ и игралъ въ ту игру. которая извъстна подъ именемъ "живъ курилка". Есть эпохи, въ которыя такая игра есть уже большая заслуга... "Съ Чаадаевымъ Пунікинъ близко сощелся еще въ бытность свою въ Лицев, и съ тъхъ поръ на всю жизпь сохранилъ къ нему чувство самаго искренняго дружескаго расположенія. Продолжительныя и горячія бесёды, несомнённо оставившія слёдъ въ душъ Пушкина, романтическія мечты о свободъ и о служенін благу родины, одинаковые литературные вкусы — вотъ что соединяло обоихъ друзей, и вотъ какъ самъ Пушкинъ говорить о значенін этой дружбы въ знаменитомъ посланіи къ Чаадаеву изъ Кишинева, 1821 г. (І, 242).

Во глубину души вникая строгимъ взоромъ, Ты оживлялъ ее совътомъ иль укоромъ; Твой жаръ воспламенялъ къ высокому любовь; Терпънье смълое во мнъ рождалось вновь; Ужъ голосъ клеветы не могь меня обидъть: Умълъ я презирать, умъя ненавидъть.

Во время узнавъ объ угрожавшей Пушкину опасности, Чаадаевъ бросился къ Карамзину и успълъ уговорить его вступить я за поэта. Воспоминание объ этой дружеской услугъ
также, конечно, было дорого Пушкину:

Въ минуту гибели, надъ бездной потаенной Ты поддержалъ меня недремлющей рукой...

На листкъ, случайно сохранившемся отъ дневника, который Пушкинъ велъ въ Кишиневъ, набросаны слъдующия строки: "Получилъ письмо отъ Чаадаева. Другъ мой, упреки твои жестоки и несправедливы; никогда я тебя не забуду. Твоя дружба миъ замънила счастье, — одного тебя можетъ любить холодная душа моя". По всей въроятности, дъло идетъ объ отвътъ Чаадаева на одно изъ писемъ Пушкина, который именно въ это время жаловался, что петербургскіе друзья относятся къ пему слишкомъ невнимательно. Изъ дальнъйшаго

^{*)} Сочиненія, 1, 720.

видно, что Чаадаевъ не получиль ивсколькихъ писемъ Пушкина; подобные случаи первдко бывали въ это время въ почтовой перепискъ поэта, и однажды даже вызвали у него энергическое восклицаніе по адресу любопытныхъ читателей чужой переписки (VII, 28). Весьма ввроятно, что именно къ Чаадаеву относится и отрывокъ письма, сохранившійся на томъ же листкъ кишпиевскаго дневника: "Мой достойный наставникъ, смълый, вдкій, злой, — но этого еще недостаточно: нужно быть жестокимъ, тираномъ, мстительнымъ; къ этому-то я и прошу васъ привести меня", и т. д. (VII, 25).

Съ своей стороны и Чаадаевъ, уже долгое время спустя посль смерти поэта, съ теплымъ чувствомъ вспоминалъ о дружбь Пушкина. "Эта дружба, говорилъ онъ, принадлежитъ къ лучшимъ годамъ жизни моей, къ тому счастливому времени, когда каждый мыслящій человъкъ питалъ живое сочувствіе ко всему доброму, какого бы цвъта оно ни было, когда каждая разумная, безкорыстная мысль чтилась выше самаго безкорыстнаго поклоненія прошедшему и будущему"*).

Инымъ характеромъ отличались отношенія Пушкина къ Карамзину и Жуковскому. Молодой поэть съ дътства привыкъ уважать этихъ людей, какъ друзей своего отца и какъ даровитыхъ писателей, внесшихъ новое слово въ русскую литературу. Въ Карамзинъ онъ видълъ прежде всего — преобразователя русскаго языка и слога и, вмъстъ съ другими членами "Арзамаса", ратовалъ противъ его литературныхъ антагонистовъ; затъмъ, когда въ 1818 году появились первые восемь томовъ "Исторін государства россійскаго", Пушкинъ высоко оцфииль въ этомъ трудф "не только создание великаго писателя, но и подвигъ честнаго человъка, уединившагося въ ученый кабинетъ во время самыхъ лестныхъ успъховъ и посвятившаго цълыхъ 12 лътъ жизни безмолвнымъ и неутомимымъ трудамъ" (V, 41). Впослъдствін Пушкинъ горячо отстанваль Исторію Карамзина противъ нападокъ Полевого и посвятилъ памяти исторіографа свою "Комедію о царѣ Борисъ", — "трудъ, геніемъ его вдохновленный". Озлобленіе противъ редактора "Въстника Европы", Каченовскаго, вызвавшее у Пушкина столько різких эпиграммь, въ значительной

^{*)} Нисьмо къ С. П. Шевыреву, "Въстн. Евр.", 1871, XI, 343.

степени объясняется нападками придирчиваго критика на псторію Карамзина.

Впрочемъ, уже при появленіи "Исторін" Пушкинъ видълъ ея слабыя стороны и далеко не безусловно передъ нею преклонялся. Въ отрывкахъ изъ своей автобіографіи, говоря о толкахъ, вызванныхъ появленіемъ "Исторіи", Пушкинъ вспоминаетъ, что основная мысль карамзинскаго труда возбудила негодованіе среди "молодыхъ якобинцевъ" — будущихъ декабристовъ, которые пародировали Тита Ливія слогомъ Карамзина. Конечно, подъ вліяніемъ этихъ якобинцевъ Пушкинъ написаль извъстную свою эппграмму: "Въ его исторіи взящность, простота", о которой онъ замъчаеть: "Миъ приписали одну изъ лучшихъ русскихъ эпиграммъ". Впрочемъ, онъ тутъ же и сознается, что эта эпиграмма — не лучшая черта его жизни: конечно, потому, что она была написана въ минуту личнаго неудовольствія противъ исторіографа. "Карамзинъ меня отстраниль отъ себя, глубоко оскорбивъ и мое честолюбіе (самолюбіе?), и мою сердечную къ нему привязанность", - писалъ Пушкинъ по этому поводу, много лътъ спустя: "до сихъ поръ не могу объ этомъ хладнокровно вспомнить" (VII, 182). Размолвка, можетъ быть, была вызвана однимъ изь тёхъ споровъ, о которыхъ Пушкинъ разсказывалъ въ своихъ запискахъ: Карамзинъ защищалъ "свои любимые парадоксы" о русской государственности, противъ которыхъ Пушкинъ горячо возражалъ...

Вообще, Карамзинъ отпосился къ молодому Пушкину благосклонно и снисходительно, смотрѣлъ на него какъ на увлекающагося юношу, въ шутку называлъ либераломъ, но при случав не прочь былъ "отечески" пожурить его за ту пли другую выходку, показавшуюся слишкомъ неумѣстной. Большая разница въ годахъ и въ общественномъ положеніи не могла не сказываться, не смотря на добродушіе и сдержанность Карамзина. Заступаясь за Пушкина по просьбъ Чаадаева, Карамзинъ объявилъ, что дѣлаетъ это "въ послѣдній разъ", и взялъ съ поэта слово — по краиней мѣрѣ два года ничего не писать противъ правительства. Этимъ и закончились личныя сношенія Пушкина съ Карамзинымъ, который, по словамъ Пушкина, въ послѣдніе годы былъ ему уже совершенно чуждъ (VI. 258). Высоко уважая его какъ писателя, Пушкинъ все болѣе и болѣе отдалялся отъ него какъ отъ человѣка.

Обстоятельства, непосредственно предшествовавшія ссылкв Пушкина, довольно извъстны; мы напомнимъ здъсь только то, что говориль объ этомъ времени, пять льть спустя, онъ самъ, въ черновомъ наброскъ прошенія къ Государю (VII, 131—132). Въ обществъ распространился слухъ, приведщій поэта въ крайнее отчаяніе. "Я считаль себя погибшимь въ глазахъ общества, — говоритъ онъ, — я готовъ былъ на все, и думалъ, не должень ли я убить себя"... Чаадаевь совътоваль своему молодому другу оправдаться передъ правительствомъ; но Пушкинъ, сознавая безполезность оправданій, ръшилъ, напротивъ, поступать такъ, чтобы вызвать со стороны правительства суровыя мфры: "я жаждаль Сибири или крфпости, какъ возстановленія чести", — говориль онь, объясняя свое тогдашнее поведеніе. Благодаря Карамзину и Жуковскому, дъло кончилось иначе: Пушкина отправили на югъ, къ генералу Инзову, причемъ даже въ оффиціальной, Высочайше утвержденной бумагъ похвалили "величайщія красоты концепціи и слога" въ той самой "Одъ на вольность", которая была одной изъ причинъ ссылки поэта!... Морозовъ.

Пушкинъ на югѣ.

Первое время ссылки было для Пушкина вовсе не тягостно. Случайная встръча съ семействомъ Раевскихъ, путешествіе съ пими на Кавказъ, жизнь въ Крыму и у Давыдовыхъ въ Каменкъ, все это дало поэту много новыхъ впечатлъній, а новые люди, встръченные имъ здъсь, скоро заставили его позабыть своихъ петербургскихъ пріятелей изъ "золотой молодежи" — добрыхъ малыхъ, но совершенно беззаботныхъ по части литературныхъ и умственныхъ интересовъ; къ тому же, и сами эти пріятели не особенно старались напоминать о себъ: "преданный мгновенью, мало заботился я о толкахъ петербургскихъ", писалъ Пушкинъ объ этомъ времени. "Общество наше — разнообразная и веселая смъсь умовъ оригинальныхъ, людей, извъстныхъ въ нашей Россіи, любопытныхъ для незнакомаго наблюдателя. Женщинъ мало, много шампанскаго, много острыхъ словъ, много книгъ, немного стиховъ"... Но послъ этого оживленнаго интермеццо еще болъе мрачною и душною должна была показаться юношф-поэту жизнь въ пустынной для него Бессарабіи, гдт онъ скоро почувствоваль всю тяжесть одиночества. Единственнымъ развлеченіемъ становятся для него шутки надъ полуазіатами, молдавскими "куконами", и разныя шалости, за которыя Инзовъ такъ часто сажаль его подъ арестъ; единственною отрадою — переписка съ петербургскими друзьями изъ круга литературнаго, съ братомъ, съ княземъ Вяземскимъ, Гифдичемъ, Дельвигомъ, Плетневымъ. Литературные интересы пробуждаются въ немъ съ новою силою; онъ начинаетъ внимательно слъдить за журналами и вообще много читаетъ, стараясь

вознаградить въ объятіяхъ свободы Мятежной младостью утраченные годы, И въ просвъщеніи стать съ въкомъ наравиъ.

Онъ перечитываетъ критическія статьи, вызванныя появленіемъ "Руслана и Людмилы", пишетъ па нихъ замѣчанія, задаеть вопросы, освѣдомляется о судьбѣ своихъ стихотвореній, посланныхъ въ Петербургъ, безпокоится насчетъ цензуры, проситъ высылать ему журналы, книги, стихи. Грустное чувство одиночества, горькое разочарованіе въ людяхъ, для которыхъ поэтъ пѣлъ свои вольнолюбивыя пѣспи, и которые съ такимъ робкимъ эгонзмомъ отвернулись отъ него, когда "средь оргій жизни шумной" его постигнулъ остракизмъ, презрѣніе къ этому пустому обществу, связанному предразсудками, состоящему изъ людей корыстныхъ или самодовольныхъ глупцовъ — вотъ преобладающій мотивъ душевнаго пастроенія Пушкина въ годы его кишеневской жизни:

Пиры, любовницы, друзья Исчезли съ милыми мечтами; Одинъ, одинъ остался я! Померкла молодость моя Съ ея невърными дарами...

Я говориль предъ хладною толной; Но для толны ничтожной и глухой Смѣшонъ гласъ сердца благородный, — Я замолчалъ...

Вездѣ яремъ, сѣкира, иль вѣнецъ, Вездѣ злобный иль малодушный, Предразсужденья—
Тиранъ, — льстецъ, — Предразсужденій рабъ послушный... (1, 287).

Этому настроенію вполив соответствоваль мрачный, разочарованный тонъ поэзін Байрона, съ которою Пушкинъ познакомился въ это время и которая слишкомъ сильно задъвала струны его собственнаго сердца, чтобы не отразиться въ его произведеніяхъ. Въ эту пору быль паписанъ "Кавказскій Плънникъ", первая поэма Пушкина, въ которой замътно сказалось бапроновское влінніе и, вмісті съ тімь, выразились личныя чувства самого автора. Пушкинъ самъ указываетъ на эту личную сторону поэмы. "Харектеръ Плъншка неудаченъ, — говоритъ онъ въ письмѣ В. П. Горчакову (VII, 25): это доказываеть, что я не гожусь въ герои романтическаго стихотворенія. Я въ немъ хотвлъ изобразить равнодушіе къ жизни и ея наслажденіямъ, эту преждевременную старость души"... Признавая всв недостатки своего произведенія, поэтъ всетаки прибавляетъ: "люблю его, самъ не зная за что; въ немъ есть стихи моего сердца". И дъйствительно, нельзя не признать именно такими стихами, напримъръ, слъдующіе:

> Въ сердцахъ друзей пашедъ измѣну, Въ мечтахъ любви — безумный сонъ, Наскучивъ жертвой быть привычной Давно презрънной суеты, II непріязни двуязычной, II простодушной клеветы, Отступникъ свъта, другъ природы, Покинуль онъ родной предълъ И въ край далекій полетыль Съ веселымъ призракомъ свободы. Свобода! онъ одной тебя Еще искаль въ подлупномъ мірѣ; Страстями сердце погубя, Охолодывь къ мечтамъ и къ лиры, Съ волненьемъ пѣсни онъ внималъ, Одушевленныя тобою, И съ върой, съ пламенной мольбою Твой гордый идолъ обнималъ. (II, 280).

Байропизмъ и романтическія мечты о свободѣ отразились также и въ отношеніяхъ Пушкина къ греческому возстацію, въ то время только что начавшемуся, и къ карбонарскому движенію птальянцевъ. Восторженно привѣтствуя эти политическія движенія, Пушкинъ готовъ былъ видѣть въ нихъ, по примѣру Байрона, зарю повой жизпи для Европы, воскресеніе свободы, повсюду подавленной реакціси Священнаго Союза:

Ужель надежды лучь исчезъ? Но нѣть, — мы счастьемъ насладимся, Кровавой чашей причастимся, И я скажу: Христосъ Воскресъ! (VII, 21).

Скоро, однако же, присмотръвшись поближе къ греческому возстанію и его вождямъ, Пушкинъ сталъ разочаровываться. "Дъло Греціи меня живо трогаеть, писаль онь въ 1623 году: вотъ почему я и негодую, видя, что на долю этихъ мизераблей выпала священная обязанность быть защитниками свободы" (VII, 67). А еще годъ спустя, онъ отзывался о грекахъ еще ръзче: "Греція мив огадила... Іезунты натолковали намъ о Өемистокив и Перикив, и мы вообразили, что пакостный народъ, состоящій изъ разбойниковъ и лавочниковъ, есть законнорожденный ихъ потомокъ и наслъдникъ ихъ школьной славы"... (VII, 80). Съ отъвздомъ изъ Одессы, Пушкинъ, какъ будто бы, совству пересталь интересоваться греческимъ возстаніемъ; по крайней мъръ, ни въ его сочиненіяхъ, ни въ перепискъ мы не встръчаемъ уже ни слова о Греціи, даже и тогда, когда она завоевала себъ свободу и политическую самостоятельность. Такимъ образомъ, мы едва ли ошибемся, если скажемъ, что увлечение Греціей было только подсказано Пушкину Байрономъ, отъ котораго онъ, по собственному его выраженію, въ то время "съ ума сходилъ" (V, 121), и прошло безследно, когда Пушкинъ пережилъ свой байронизмъ.

Годы кишиневской и затъмъ одесской жизни поэта были для него вообще эпохою "бурныхъ стремленій", своего рода Sturm-und Drang Periode противоръчій и разочарованій. Сближеніе съ Александромъ Раевскимъ, который своимъ холоднымъ, скептическимъ умомъ напоминалъ Чаадаева, конечно, немало содъйствовало развитію въ Пушкинъ отрицательнаго взгляда на жизнь; недаромъ же поэтъ посвятилъ своему другу стихотвореніе "Демонъ":

Онъ звалъ прекрасное мечтою, Онъ вдохновенье презиралъ, Не върилъ онъ любви, свободъ, На жизнь насмъшливо глядълъ....

Въ объяснения къ этому стихотворению онъ говоритъ, что "въ дучшее время жизни сердце, не охлажденное опытомъ, доступно для прекраснаго, легковърно и цъжно; мало-по-малу

въчныя противоръчія существенности (т. е. противоръчія дъбствительности съ идеаломъ) рождаютъ въ немъ сомивніе, чувство мучительное, но не продолжительное. Опо исчезаеть, упичтоживъ наши лучшіе и поэтическіе предразсудки души"... (П, 292). Неудовлетворенность окружающею жизнью ц, вмѣстѣ съ тъмъ, псканіе какихъ-пибудь положительныхъ правственныхъ основъ для дальнейшаго существованія — вотъ сущность того душевнаго процесса, какой переживалъ въ то время Пушкинъ на переходъ отъ юношества къ болъе зрълому возрасту, - сущность этого "логическаго романа", который неизбъжно переживается каждымъ мыслящимъ человъкомъ. Эти блужданія оставили яркій свёть въ литературной деятельности поэта. Онъ то увлекается байроновскими героями и рисуетъ Гирея, надъ которымъ такъ ядовито смъялся А. Раевскій (V, 121), то возвращается къ темъ "Руслана" и создаетъ планъ фантастической поэмы изъ древне-русскаго міра, на манеръ Аріосто (дъйствующія лица — Илья Муромецъ, Мстиславъ и косожская царевна-амазонка Армида), то мечтаеть о поэмъ или драмъ "Вадимъ", — на этотъ разъ, конечно, подъ вліяніемъ своихъ друзей, будущихъ декабристовъ (и въ особенности — Рылъева), которые идеализировали легендарнаго представителя древне-славянской вольности; задумываетъ другую поэму (а можетъ быть — драму) изъ эпохи стрълецкаго бунта, но вовсе не политическаго содержанія (П, 320-321); издіваясь надъ вошедшимъ въ моду ханжествомъ, пишетъ поэму въ стилъ Вольтера и Парии, полную крайняго религіознаго вольнодумства и въ то же время обаятельную по прелести стиха (II, 342); наконецъ опять возвращается къ Байрону и сначала въ лицъ Онъгина изображаетъ "москвича въ гарольдовомъ плащь", а затымъ даетъ, въ лиць Алеко, типъ, въ которомъ съ особенною рельефностью отразились наиболте характерныя черты байроновскихъ героевъ — презръще къ людямъ съ пхъ рабскою и безправственною цивилизаціей и стремленіе къ простой, безыскусственной природъ. Припомнимъ монологъ Алеко, его обращение къ сыну:

> Расти на волѣ, безъ уроковъ, Не знай стѣснительныхъ палатъ И не мѣняй простыхъ пороковъ На образованный развратъ...

Поэтъ не пожалълъ мрачныхъ красокъ для этой ничтожной

и пустои толпы, называющейся "обществомъ", для этихъ людей, которые "любви стыдятся, мысли гонять — и просятъ денегъ да цѣпей": это — не болѣе, какъ стадо, не нужны дары свободы котораго не пробудить призывъ чести, и среди котораго "сѣятель свободы" только напрасно сталъ бы терять время, благія мысли и труды. Если и уцѣлѣла гдѣ-нибудь, случайно, "капля блага", то она все-таки недоступна: "тамъ настражѣ—иль просвѣщеніе (т.-е. образованный развратъ), иль тиранъ"...

Тотъ же безотрадный взглядъ высказывается и въ наставленіяхъ Пушкина своему младшему брату: "будь о людяхъ самаго худшаго мивнія; не суди о нихъ по внушеніямъ своего добраго и благороднаго сердца, которое еще очень молодо; презирай ихъ какъ можно въжливъе... Со всъми будь холоденъ", и пр. (VII, 43).

Впрочемъ, поэтъ уже сознавалъ, что въ этомъ отчужденіи отъ людей главная роль принадлежитъ эгоизму, и высказалъ это въ поучительномъ обращеніи стараго цыгана къ Алеко.

Ты для себя лишь хочешь воли...

Отрицательное міровоззрѣніе не удовлетворяло Пушкина; онъ чувствовалъ, что оно оставляетъ пустоту въ сердцъ, и что жизнь безъ положительныхъ цёлей и стремленій не имъеть цъны; что если человъкъ дъйствительно хочетъ воли, то долженъ хотъть ея не для себя только, но и для другихъ. Но что значить хотъть воли, и что можеть дать ее? Воть основной вопросъ, отъ ръшенія котораго зависить вся дальнъйшая дъятельность на поприщъ общественномъ, — а поэтъ уже совнаваль себя общественнымъ дъятелемъ, и во время своихъ вольныхъ и невольныхъ скитаній по Россіи могъ воочію убъдиться, какъ высоко его ценять и какъ много отъ него ждутъ вст грамотные люди. Идеалъ "просвъщенной свободы", о которомъ онъ мечталъ въ юности, подсказывалъ ему средство для достиженія этой высокой ціли — въ просвіщеніи, въ "пробужденін добрыхъ чувствъ"; работать въ этомъ направленін на поприщъ, на которое онъ былъ призванъ, на поприщъ литературы, — Пушкинъ и считалъ нравственною обязанностью писателя, который, по его словамъ, долженъ быть всегда впереди, и не впадать въ малодушіе при неудачахъ. Этому идеалу онъ и остался въренъ въ продолжение всей своей жизни. Но по свойствамъ своего характера онъ далеко не

быль тымь, что называется "цёльной патурой": русская жизнь вообще, а въ его время въ особенности, вовсе не благопріятствовала выработкё такихъ цёльныхъ натуръ, людей aus einem Guss (много ли подобныхъ типовъ представляеть и теперь наша литература?). Оттого-то, въ минуты вдохновеннаго творчества, въ немъ часто пробуждались прежнія сомнёнія, вносили въ его душу разладъ, приводили къ разочарованію, заставляли замыкаться въ самомъ себѣ, и съ презрѣніемъ, подобно Алеко, отвертываться отъ толпы, равнодушной къ усиліямъ литературы.

Затьмъ въ поэть снова воскресала въра и снова звала его "въ набъти просвъщенія, на приступы образованности", къ борьбъ на литературной аренъ, которую онъ такъ сильно желалъ и такъ тщетно старался расширить. Такихъ противоръчій, приливовъ и отливовъ, у Пушкина было немало. Чтобы правильно понять и оцънить ихъ, необходимо имъть въ виду характеръ поэта, событія его личной жизни и общій духъ того времени, въ особенности же — тъ условія, въ какія было поставлено тогда развитіе нашей литературы. Постараемся же взглянуть на тогдашнюю литературу съ точки зрънія Пушкина.

Тяжелымъ временемъ для русскихъ писателей была первая половина двадцатыхъ годовъ. "Литераторы", — говоритъ Пушкинъ, вспоминая объ этой эпохѣ, — "были оставлены на произволъ цензурѣ своенравной и притѣснительной; рюдкос сочиненіе доходило до печати. Весь классъ писателей (классъ важный у насъ, ибо, по крайней мѣрѣ, составленъ онъ изъ грамотныхъ людей) перешелъ на сторону недовольныхъ. Правительство его не хотѣло замѣчать, отчасти изъ великодушія, отчасти изъ непростительнаго небреженія"... (VII, 278). Между тѣмъ, въ обществѣ "либеральныя идеи сдѣлались необходимой вывѣской хорошаго воспитанія; подавленная литература превратилась въ рукописные пасквили на правительство и въ возмутительныя пѣсни" (V, 43). Подобно тому, какъ университетская наука связана была изумительными требованіями обскурантовъ, — и печати старались указать самые тѣсные предѣлы

и подчинить ее самой тягостной опекъ. По мъткому выраженію поэта, литературу обратили въ гаремъ, а цензора — въ докучнаго евнуха. Извъстный Магницкій ревностно сочиняль и проводиль въ практику свои проекты "борьбы съ лжеумствованіями", — проекты, благодаря которымъ изъ скуднаго умственнаго обихода русскаго общества безпощадно вычеркивались цълыя области знанія. Сатиру, какъ говорить поэть, называли пасквилемъ, поэзію — развратомъ, гласъ правды — мятежомъ, Куницына — Маратомъ... Понятно, что при такихъ условіяхъ печатная литература не могла имъть значенія просвътительной общественной силы; тъмъ большее значеніе получала литература рукописная, въ которой самое видное мъсто занимали произведенія Пушкина:

...Пушкина стихи въ печати не бывали, — Что нужды? ихъ и такъ иные прочитали!

Любопытно, что рядомъ съ этими словами Пушкинъ поставиль имя писателя, который впервые въ нашей литературъ выступилъ съ горячимъ протестомъ противъ кръпостного права:

Радищевъ, рабства врагь, цензуры избъжалъ.

То же имя вспоминлось ему двънадцать лътъ спустя, когда онъ говорилъ о своихъ заслугахъ передъ русскимъ обществомъ,

Вслъдъ Радищеву возславилъ я свободу.

Дъйствительно, идеалы обоихъ писателей были одинаковы. Какъ въ свое время книга Радищева жадио читалась въ рукописи, такъ и теперь стихи Пушкина въ сотияхъ и тысячахъ списковъ расходились по всъмъ уголкамъ грамотной Россіи и, по свидътельству современниковъ, не было въ арміи прапорщика, который бы не зналъ ихъ наизусть. Увлекательные по формѣ, эти гармоническіе звуки, неслыханные до тѣхъ поръ на русскомъ языкѣ, содержаніемъ своимъ отвѣчали завѣтнымъ мечтамъ русскаго общества, и поэтъ едва ли много преувеличивалъ, говоря, что въ послѣднія 5 или 10 лѣтъ александровскаго царствованія онъ имѣлъ на все сословіе литераторовъ гораздо болѣе вліянія, чѣмъ министерство народнаго просвѣщенія, несмотря на неизмѣримое неравенство средствъ. Цензура — это больное мѣсто литературы того времени —

составляеть предметь постояннаго, хоть иногда и невольнаго, вниманія Пушкина. Еще въ самомъ раннемъ изъ напечатанныхъ его стихотвореній, въ посланіи "Къ другу стихотворцу" (1814 г.), поэтъ, предостерегая своего друга отъ литературныхъ увлеченій, совътуетъ ему брать примъръ съ человъка, не чувствующаго охоты къ стихамъ и не гуляющаго "по высотамъ Парнасса": такой человъкъ счастливъ, между прочимъ, уже и потому, что "его съ перомъ въ рукахъ Рамаковъ не страшитъ". Въ имени Рамакова слъдуетъ кажется, видътъ анаграмму: "Мараковъ" и намекъ на марающую цензуру. Въ пъсенкъ "Noel", въ числъ сказокъ, которыя разсказываетъ "отецъ", есть объщанія и насчетъ цензоровъ:

Лаврову дамъ отставку, А Соца — въ желтый домъ...

Имена Бирукова "Грознаго", Тимковскаго, впослъдствін Красовскаго, имъвшія роковое значеніе для нашихъ писателей 20-хъ годовъ, можно сказать, не сходятъ у Пушкина съ языка:

> Поклонникъ правды и свободы, Бывало, что ни напишу, Все для иныхъ, "не Русью пахнетъ", — О чемъ цензуру ни прошу, Ото всего Тимковскій ахнетъ...

"Пишу теперь новую поэму... Бируковъ ея не увидитъ, за то, что онъ фи — дитя, блажной дитя" (VII, 59). "Цензура наша такъ своенравна, что съ нею невозможно и размърить круга своего дъйствія. Лучше объ ней и не думать" (VII, 56). "Богатая мысль — напечатать "Наполеона": да цензора... лучшія строфы потонутъ" (VII, 122). "Vale sed delenda est censura" (VII, 31).

Мелочныя придирки причиняли много непріятностей всёмъ писателямъ, по Пушкину въ особенности, потому что за нимъ, какъ за человѣкомъ, явно неблагонадежнымъ, цензура считала нужнымъ смотрѣть внимательнѣе, чѣмъ за другими. Подозрительность ея простиралась даже на отдѣльныя слова: такъ, напримѣръ, ей не нравилось слово "вольнолюбивый", несмотря на то, что, по замѣчанію Пушкина, "оно такъ хоропю выражаетъ ныпѣшнее libéral, и притомъ слово прямо русское" (VII, 24); не допускалось, въ стихотвореніи о земной

любви, выраженіе: "небесный пламень" (VII, 33). "Въ Кавказскомъ Плѣнникъ" Бируковъ ни за что не соглашался пропустить два стиха о черкешенкъ:

> Не много радостныхъ ночей Судьба на долю ей послала.

находя ихъ крайне неприличными и требуя, чтобы было напечатано: "Немного радостныхъ ей дней судьба на долю ниспослала". Такъ и напечатали въ первомъ изданіи поэмы, несмотря на возраженія Пушкина, что нельзя сказать ей дней въ концъ стиха, и что днемъ черкешенка не видалась съ плънникомъ. И чъмъ же ночь неблагопристойнъе дня -- спрашивалъ поэтъ. — Которые изъ 24 часовъ именно противны духу нашей цензуры?" (VII, 53). Эти и другія подобныя придирки перъдко вызывали у Пушкина очень энергическія выраженія и заставляли его даже скрывать отъ цензуры свое имя; стихи его часто представлялись въ цензуру его друзьями, выдававшими за свои, и печатались безъ подписи: "старушку можно и обмануть, — писалъ поэтъ Бестужеву (VII, 32): не называйте меня, а поднесите ей мои стихи подъ именемъ кого угодно; главное дъло въ томъ, чтобы имя мое до нея не дошло, и все будетъ слажено". Такимъ образомъ, поэтъ въ самомъ дёлё былъ "послёднихъ жалкихъ правъ безъ милости лишенъ", если для того, чтобы сберечь нъсколько лишнихъ строчекъ въ томъ или другомъ стихотвореніи, ему приходилось отказываться даже отъ своего имени. Припомнимъ наконецъ, его знаменитое "Первое посланіе къ цензору", въ которомъ онъ такъ ярко изобразилъ печальное положение литературы и такъ энергично заявилъ требование просвъщеннаго писателя (І, 365):

На поприщъ ума нельзя намъ отступать.

Но вотъ, въ 1824 году, во главъ министерства народнаго просвъщенія становится человъкъ, который хотя и слыветъ старовъромъ, но высказываетъ ръшимость разорвать съ прошедшимъ и энергически приняться за новое дъло. При всей исключительности взглядовъ и понятій Шишкова, опъ отличался неподкупною честностью своихъ убъжденій и, несмотря на крайнее, зловъщее раздраженіе обскурантовъ противъ пишущей братіи, требовалъ огражденія литературы отъ не-

въжественнаго произвола ея суровыхъ опекуновъ. "Необходимо нужно, — говорилъ онъ, чтобы цензура составлена была изъ немалаго круга людей ученыхъ, честныхъ, благоразумныхъ, отъ которыхъ бы никакіе цвъты не закрыли змѣю и, напротивъ, простая травка не казалась бы имъ змѣнными жалами... Слабая цензура будетъ пропускатъ вредныя внушенія, а строгая — не дастъ говорить ни уму ни правдѣ. Не довольно имѣть строгую цензуру, но надобно, чтобы она была умная и осторожная".

Подобныя мысли, естественно, располагали представителей тогдашней литературы въ пользу ветерана-писателя, которому было ввърено главное управленіе цензурою. Пушкинъ, во второмъ посланіи къ цензору, указывая на "Наказъ" Екатерпны, какъ на лучшій законь для цензуры, горячо привътствоваль Шишкова именно какъ уцълъвшаго свидътеля екатерининскаго времени, и вследь за нимъ повторялъ своему оффиціальному цінителю: "Будь строгъ, но будь умент". Но, соглашаясь, что Шишковъ оживилъ нашу литературу, Пушкинъ, въ то же время, не могъ скрыть своего недовърія къ ея силамъ. "Жаль, - говоритъ онъ: la coupe était pleine. Бируковъ и Красовскій невтерпежъ были глупы, своенравны и притъснительны. Это долго не могло продолжаться... Я и радъ, и нътъ. Давно девизъ всякаго русскаго есть: чюмо хуже, тюмо лучше. Оппозиція русская, составившаяся изъ нашихъ писателей, какихъ бы то ни было, приходила уже въ какое-то нетерпъніе, которое я исподтишка поддразниваль, ожидая чего-нибудь. А теперь какъ позволять NN говорить своей любовницъ, что она божествениа, что у ней очи небесныя и что любовь есть священное чувство, - вся эта сволочь опять утомится, журналы пойдуть врать своимъ чередомъ, чины своимъ чередомъ, Русь своимъ чередомъ"... (VII, 79, 81).

Въ самомъ дълъ, трудно было надъяться на силы этой литературы, въ которой еще все нужно было творить, начиная съ языка и слога, и которой еще не доставало самосознанія въ видъ критики.

"Мы не имфемъ ни единаго комментарія ии единой критической книги", — писалъ Пушкинъ въ 1825 году. "Литература кой-какая у насъ есть, а критики — нфтъ". Эти слова въ примъненіи къ тфмъ жидкимъ и безсодержательнымъ обзорамъ проссійской словесности", какіе появлялись въ журналахъ двад-

цатыхъ годовъ, были совершенно справедливы, такъ какъ авторы этихъ обзоровъ стояли очень далеко позади летературнаго движенія. Представители стариннаго классицизма, строгіе литературные формалисты, оподчались на Пушкина за то, что онъ сразу и такъ ръшительно отказался отъ преданій школьной пінтики: они видели въ немъ главу новаго литературнаго направленія, — того нечестиваго "романтизма", отрицающаго пригодность тъсныхъ рамокъ творчества, который казался имъ порожденіемъ сатанинскаго, революціоннаго духа. Нежеланіе подчинять поэтическое вдохновеніе мелочнымъ правиламъ допотопной "науки стихотворства" было въ глазахъ многихъ людей едва ли не равносильно отрицанію всякихъ правилъ общественнаго порядка, т.-е. — полной нравственной распущенности, при которой, говоря словами одного изълитературныхъ старовъровъ, поэзія обращается въ вертепъ разбойниковъ. Упорно замыкаясь въ тъсномъ кругу отжившихъ теорій, критика 20-хъ годовъ, закоситлая въ сухомъ школьномъ педантизмъ, продолжала твердить литературные зады и послъдовательно договаривалась до положеній самыхъ комическихъ. Дальше чисто-формальной, внишней точки зрвнія она и не хотъла пичего видъть, да и не могла ничего разглядъть, и молодыя литературныя силы, сплотившіяся вокругь Пушкина (князь Вяземскій, А. Бестужевъ и др.), только напрасно тратили свое остроуміе на полемику въ защиту новаго литературнаго направленія въ защиту свободы поэтическаго творчества. Литературные "отцы и дъти" говорили на разныхъ языкахъ; они слишкомъ далеко расходились между собою въ воззрѣніяхъ на литературу — и какое бы то ни было соглашеніе представлялось, очевидно, невозможнымъ. Высокое художественное значеніе поэзін Пушкина, точно такъ же какъ и его идеи, оставалось пепонятнымъ и неоцененнымъ; поэтъ быль совершенно правъ, говоря, что "у насъ критика не имъетъ никакой самостоятельности, и почти никакого вліянія на судьбу литературныхъ произведеній"; она "можеть представить нъсколько отдельныхъ статей, исполненныхъ светлыхъ мыслеи и важнаго остроумія"; но эти статьи "являлись отдёльно, на разстояніи одна отъ другой, и не получили еще въса и постояннаго вліянія. Время ихъ еще не приспъло". Какъ на характерную особенность литературныхъ сужденій своего времени. Пушкинъ указываетъ на отсутствіе общихъ руководящихъ началъ и на бездоказательность: "Критики паши говерятъ обыкновенно: это хорошо, потому что прекрасно; а это дурно, потому что скверно. Отселъ ихъ никакъ не выманишь" (V, 108—112). Нътъ сомития, что русскіе читатели того времени въ отношеніи къ литературъ стояли далеко впереди критики, и своимъ непосредственнымъ чутьемъ умъли цънить выдающіяся произведенія гораздо върнте своихъ журнальныхъ руководителей. То же явленіе повторилось, какъ мы увидимъ впослъдствіи, и въ 30-хъ годахъ, когда Пушкинъ выступилъ уже во всей силъ и зрълости своего генія, когда онъ явился, во главъ блестящей плеяды молодыхъ писателей, творцомъ нашей новой литературы, и когда остатки прежнихъ отжившихъ теорій были практически уже совершенно упразднены изъ литературнаго обихода.

При такомъ положеніи нашей критики, Пушкинъ, конечно, имълъ право не считаться съ ея миъніями и требованіями, не обращать на нихъ серіознаго вниманія, и если отвѣчалъ своимъ "журнальнымъ пріятелямъ", то только эпиграммами. Гораздо внимательные относится онъ къ русской литературы, никогда не теряя въры въ ея будущее. Однимъ изъ важныхъ залоговъ будущаго развитія считаль онь отсутствіе въ нашей литературъ той приниженности и лести, какою характеризуется, напримъръ, литература французская, про которую Пушкинъ говориль, что она "родилась въ передней". — "Мы можемъ праведно гордиться, — писаль онъ Бестужеву: наша словесность, уступая другимъ въ роскоши талантовъ, тъмъ передъ ними отдичается, что не носить на себъ печати рабскаго униженія... Наши таланты благородны, независимы... О нашей лиръ можно сказать, что Мирабо сказаль о Ciecъ: son silence est une calamité publique (VII, 127).

Независимость — вотъ что больше всего цѣнилъ Пушкинъ въ писателѣ и чего онъ требовалъ отъ литературы вмѣстѣ съ признаніемъ свободы поэтическаго творчества. Но для того, чтобы писатель могъ быть свободенъ и независимъ въ своей дъятельности, необходимо, чтобы литература пріобрѣла самостоятельное положеніе, чтобы она перестала быть пріятнымъ препровожденіемъ времени "въ досужные отъ занятій часы", и сдѣлалась бы жизненнымъ дѣломъ и источникомъ существованія для цѣлаго класса людей, всецѣло отдающихъ ей свои силы.

Наша литература 20-хъ годовъ еще очень далека была отъ такой самостоятельности. "Не должно русскихъ писателей судить какъ иноземныхъ, — говоритъ Пушкинъ: тамъ пишутъ для денегъ, а у насъ, кромъ меня, — изъ тщеславія. Тамъ ъсть нечего, такъ служи, да не сочиняй (VII, 171). Расширить кругь читателей, вызвать въ обществъ интересъ къ литературъ, поставить ее, какъ службу общественную, наряду съ службой государственной, которая одна только и признавалась въ то время серіознымъ дѣломъ, — вотъ въ чемъ видълъ Пушкинъ ближайшую цъль литератора и, высоко цъня это званіе, самъ прежде другихъ и больше другихъ старался содъйствовать возвышенію дитературы. Изъ всѣхъ нашихъ писателей до Пушкина одинъ только Карамзинъ можетъ быть пазванъ литераторомъ въ нынфинемъ значении слова, потому что онъ посвятилъ себя исключительно литературному и научному труду, отъ котораго и получалъ средства къ жизни; онъ первый высказаль мысль, что литература есть такое же серіозное и полезное занятіе, какъ и служба государственная, и вмъстъ съ тъмъ, по выраженію Пушкина, "показаль опыть торговыхъ оборотовъ въ литературъ". Пушкинъ въ этомъ отношеній явился прямымъ продолжателемъ Карамзина: подобно Карамзину, онъ считалъ авторство единственнымъ своимъ занятіемъ, своими произведеніями значительно увеличиль число читателей и, смотря на литературу, какъ на великую силу образовательную, въ то же время видель въ ней и "видъ частной промышленности, покровительствуемой законами" (VII, 279). Это покровительство законовъ должно прежде всего выражаться въ огражденіи права литературной собственности, которое, по отношенію къ Пушкину, очень часто и самымъ безцеремоннымъ образомъ нарушалось. Не говоря уже о мелкихъ стихотвореніяхъ, которыя безнаказанно перепечатывались "альманашниками" со списковъ, часто искаженныхъ. одинъ чиновникъ III Отдъленія преспокойно перепечаталъ всего "Кавказскаго Плфиника", прибавивъ къ поэмф ифмецкій переводъ; Пушкинъ лишился такимъ образомъ трехъ тысячъ рублей, и нигдъ не могъ найти управы на своевольнаго контрафактора. "Это быль, — говорить поэть — первый примфръ плутовства". За исключеніемъ "Исторін" Карамзина, которой 3000 экземпляровъ было раскуплено въ одинъ мфсяцъ, ни одно сочинение не вызвало на нашемъ книжномъ рынкъ такого

спроса, какъ произведенія Пушкина; такимъ образомъ, онъ практически содъйствовалъ и оживлению книжной торговли, и установленію понятія о литературной собственности. "Ради Бога, не думайте, - говориль онъ, - чтобъ я сталъ смотръть на стихотворство съ дътскимъ тщеславіемъ риемача или какъ на отдохновеніе чувствительнаго человѣка; оно — просто мое ремесло, отрасль честной промышленности, составляющая мив пропитаніе и домашнюю независимость... Кромв незавпсимости, я ничего не желаю, и увъревъ, что, при помощи мужества и терпфиія, въ концф концовъ добьюсь ея. Я побороль въ сеоъ неохоту писать стихи для, продажи; самый важвый шагь, такимъ образомъ, уже сдъланъ. Правда, я пишу подъ капризнымъ вліяніемъ вдохновенія; но разъ стихи написаны, — я смотрю на нихъ уже только какъ на товаръ, по стольку-то за штуку, и не понимаю, отчего друзья мои этимъ смущаются... Мнъ надовло зависъть отъ хорошаго или дурного пищеваренія того или другого начальника, — я хочу принадлежать (самому себъ..." (VII, 77). "Смущеніе" друзей Пушкина объясняется необычностью высказаннаго имъ взгляда на литературный трудъ, какъ на серіозную работу, которая должна быть оплачиваема. Они не могли понять, отчего Пушкинъ сердится на распространение его поэмъ въ рукописи раньше ихъ появленія въ печати; имъ казался страннымъ тонъ, какимъ дълалъ поэтъ свои предложенія журналистамъ: "Хотите зи вы у меня купить весь кусокъ поэмы ("Кавказскій Плфивикъ")? Длиною въ 800 стиховъ, стихъ шириною — четыре стопы; разръзано на двъ пъсни. Дешево отдамъ, чтобы товаръ не залежался" (VII, 25). Въ то время писатели почти не знали гонорара, да и заводить о немъ ржчь считали неприличнымъ, говоря, что цънить вдохновение на деньги значитъ унижать драгоцфиный даръ божества. Пушкинъ первый посмотрълъ на дъло съ практической точки зрънія и прямо указаль, что вдохновенное творчество — само по себъ, а печать и книжная торговля — сами по себъ: и не только можно,

> Не продается вдохновенье, Но можно рукопись продать, —

но и должно, потому что писатель такимъ образомъ удовлетворяетъ спросу публики, даетъ доходъ книгопродавцу и прі-

обрътаетъ средства, доставляющія ему независимость. Всв эти положенія, теперь уже для всякаго азбучныя, въ то время нужно было еще серіозно доказывать и отстанвать, — и заслуга Пушкина въ этомъ отношеніи не подлежитъ спору. Онъ практически показалъ, что русскій писатель имѣетъ возможность добиться независимаго и почетнаго положенія въ обществъ внѣ той узкой служебной сферы, которая въ тѣ времена считалась единственно возможнымъ поприщемъ дъятельности. Онъ сознаваль, что для того, чтобы представители литературы могли упрочить за собою такое положеніе, необходимо прежде всего подпять уровень самой литературы и усилить интересъ къ ней въ обществъ, а слѣдовательно, — сдѣлать это общество болъе просвъщеннымъ, развить въ немъ умственныя потребности. Въ этомъ и видълъ Пушкинъ ближайшую задачу русскаго писателя.

Такимъ образомъ, прежній романтически-мечтательный идеалъ "просвъщенной свободы" мало-по-малу принимаетъ для поэта опредъленныя очертанія, осязательную форму, соотвътствующую насущнымъ, жизненнымъ потребностямъ русской дъйствительности; п высокая цъль, и средства для ея достиженія все болье и болье выясняются.

При такомъ взглядъ на положение и значение поэта, Пушкинъ, конечно, не могъ ужиться съ графомъ Воронцовымъ, который не хотълъ видъть въ немъ ничего другого, кромъ коллежскаго секретаря, своего подчиненнаго, присланнаго на югъ для исправленія, и нерадиваго къ служебнымъ обязанностямъ. Положение Пушкина въ Одессъ становилось все болье и болье тяжелымъ. Онъ, по собственнымъ его словамъ, "карабкался", просился хоть на несколько месяцевъ въ Петербургъ, – но получилъ ръшительный отказъ. "О, други, Августу мольбы мон несите!" говорить онъ въ письмъ къ брату, повторяя свой стихъ изъ посланія къ Овидію, — и туть же прибавляеть: "но августь смотрить сентябремь" (VII, 43). "Ты не приказываешь жаловаться на погоду — въ авпусти мъсяцъ, — такъ и быть; а въдь непріятно сидъть взаперти, когда гулять хочется" (VII, 48). Въ началъ 1824 года у поэта явилась даже мысль о побъгъ за границу: "Осталось одно, говорить онъ: писать прямо на его имя - такому-то въ З. Дв., что напротивъ П. Кр., не то — взять тихонько трость и шляпу и пофхать посмотръть Константинополь. Святая Русь мит становится невтернежъ"... То же мы видимъ и въ строфахъ первой главы "Онътина".

Придеть ли часъ моей свободы? Пора, пора! взываю къ ней... Пора покинуть скучный брегь Миъ непріязненной стихін, И средь полуденныхъ зыбей, Подъ небомъ Африки моей, Вздыхать о сумрачной Россіи...

Но исполненію этого плана пом'єщала — любовь:

Могучей страстью очаровань, У береговь остался я...

Эта же могучая страсть, недолго оставившая слёдь въ душё поэта, повидимому, ускорила и перемёну въ его судьбв. Личныя отношенія Пушкина къ графу Воронцову сдёлались совсёмъ невозможными, и поэть долженъ былъ отправиться "въ далекій сёверный уёздъ".

Морозовъ.

Въ сопровождени своего върнаго Никиты, въ русской рубашкъ и поярковой шляпъ, имъя въ карманъ видъ на свободный проъздъ и рекомендательное письмо гр. Каподистріи къ Инзову, мчался Пушкинъ на перекладныхъ по Бълорусскому тракту. Дорога длилась около десяти дней, и 16-го или 17-го мая онъ прибылъ къ мъсту своего назначенія, въ городъ Екатеринославъ, гдъ находился новый его начальникъ, генералъ-лейтенантъ Иванъ Никитичъ Инзовъ. Сердечная доброта и дружеское участіе, съ какими принялъ этотъ достойный человъкъ молодого изгнанника, въ значительной мъръ облегчили послъднему первыя тяжелыя минуты ссылки въ бъдномъ городкъ, какимъ былъ Екатеринославъ.

Счастливое стеченіе обстоятельствъ избавило Пушкина отъ долгаго пребыванія въ уныломъ провинціальномъ захолустьть: черезъ нтоколько дней по прітудь, катаясь въ лодкт по Дитиру, онъ выкупался и схватиль горячку. Одинокій, забытый встин, кромт старика Никиты, въ бреду, безъ лткаря, за кружкой оледянтлаго лимонада лежалъ больной поэтъ въ грязной жидовской хатт, гдт пріютился на время, прітуавъ въ Екатеринославъ. Въ такомъ положеніи нашель его молодой Раевскій, знавшій его еще въ то время, когда онъ изъ Лицея хаживалъ на пирушки гусарскихъ офицеровъ, стоявшихъ въ Царскомъ Сель, и уже имъвшій случай оказать ему какія-то важныя услуги. Этотъ Расвскій быль младшимь сыномь знаменитаго героя отечественной войны, генерала Николая Николаевича Раевскаго, извъстнаго тъмъ, что въ сраженін при Салтановкъ онъ вывелъ на поле битвы двухъ малолетнихъ сыновей своихъ, Александра и Николая, того самаго, о которомъ идетъ ръчь. Генералъ Раевскій, проъзжая съ семействомъ на Кавказъ, остановился на нъсколько дней въ Екатеринославъ, и тутъ-то сынъ его и разыскалъ больного пріятеля. Старикъ Раевскій быль человъкъ образованный; онъ быль хорошо знакомъ съ отечественною словесностью, чемъ более всего обязанъ своимъ сношеніямъ съ поэтами Давыдовымъ и Батюшковымъ, и умълъ цънить литературныя заслуги. Онъ былъ радъ оказать помощь больному поэту и съ удовольствіемъ согласился на предложение сына взять Пушкина съ собою на Кавказъ. Со стороны Инзова препятствій не встрътилось. Добрый старикъ, не колеблясь, далъ своему чиновнику отпускъ и приняль за себя отвътственность за такое потворство, которое могло весьма не понравиться въ Петербургъ. Сборы были не долги, и путешественники тропулись въ путь.

Общество, къ которому присоединился Пушкинъ, состояло, кромъ самого генерала и его сына, о которыхъ уже говорено, еще изъ двухъ сестеръ послъдняго, четырнадцатилътней Марын Николаевны и Софын Николаевны, бывшей еще ребенкомъ, и медика Рудыковскаго. При дъвочкахъ находилась гувернантка-англичанка и компаньонка. Перемъна мъста, разнообразіе впечатлъній и заботы доктора благопріятно отразились на здоровьъ Пушкина: въ теченіе недъли онъ оправился совершенно, и единственнымъ слъдомъ перенесенной горячки осталась обритая голова, для прикрытія которой онъ носилъ ермолку или молдаванскую феску.

Въ началъ іюня, въ Пятигорскъ къ путешествующему обществу присоединился старшій сынъ Раевскаго, Александръ Николаевичь, отставной гвардейскій полковникъ. Знакомство съ отою выдающеюся личностью произвело на Пушкина сильное впечатльніе. Оригинальный, скептическій умъ, безпощадность сарказма и кажущаяся цъльность и законченность міровоззрынія придавали Александру Раевскому какое-то обаяніе,

противъ котораго не могли устоять даже люди, менъе Пушкина склонные подчиняться чужому вліянію. О направленіи ума его дучше всего можно судить по тому, что многіе изъ современниковъ думали узнать портретъ Раевскго въ пушкинскомъ "Демонъ". Слъдуетъ замътить, что Раевскому обязанъ Пушкинъ ближайшимъ знакомствомъ съ Байрономъ, котораго до тёхъ поръ зналъ только понаслышкъ. Нътъ инчего удивительнаго, что самая личность Раевскаго, при эффектномъ освъщени Байроновой поэзін, производила на нашего поэта какое-то подавляющее дъйствіе. Онъ считаль своего друга человъкомъ недюжиннымъ, предсказывалъ ему будущность, выходящую изъ ряда обыкновенныхъ, и безпрекословно покорялся его вліянію. Два місяца, проведенные на Кавказі, въ постоянныхъ бесъдахъ съ Александромъ Раевскимъ, въ обществъ его брата и отца, въ которомъ Пушкинъ не только чтилъ героя, славу русскаго войска, но и любиль человъка безъ предразсудковъ, съ сильнымъ характеромъ, яснымъ умомъ и простою прекрасною душой, - эти два мъсяца навсегда остались для Пушкина однимъ изъ самыхъ поэтическихъ воспоминаній его жизни. Новизна обстаповки увеличивала прелесть путешествія; величавая красота Кавказа, своеобычная жизнь полудикихъ народовъ, постоянный отголосокъ недалекой войны, многочисленные конвон, свидътельствующие о близкой опасности, - все нравилось мечтательному воображенію поэта н давало ему массу впечатлъній, которыя до поры до времени укладывались въ его памяти.

Окончивъ курсъ лѣченія у подножія Бештау, Раевскіе, кромъ Александра, оставшагося на Кавказѣ, отправились на южный берегъ Крыма, и поэтъ нашъ послѣдовалъ за ними. Дорогой посѣтилъ онъ развалины Митридатова гроба и видѣлъ остатки Пантикапен. Изъ Керчи путешественники наши поѣхали моремъ вдоль южнаго роскошнаго берега Крыма въ Гурзуфъ, гдѣ находилось семейство Раевскаго. Корабль плылъ въ виду горъ, покрытыхъ тополями, виноградомъ, лаврами и кипарисами; вездѣ мелькали татарскія селенія. Наконецъ, показался Гурзуфъ. "Гурзуфъ есть очаровательный уголокъ южнаго крымскаго берега, иынѣ извѣстный богатыми виноградниками. Онъ лежитъ на восточной оконечности южнаго берега, на пути между Яйлою и Ялтою. Горы небольшимъ полукругомъ облегаютъ тамошнее море. Съ сѣвера его

загораживаеть Чатырдагь; съ востока Аюдагь заслоняеть отъ палящихъ лучей солнца; оттого въ Гурзуфъ такой превосходный, умъренный климатъ и такая роскошь растительности... Гурзуфъ расположенъ на скатъ. Лучшая дача принадлежала тогда бывшему одесскому генералъ-губернатору герцогу Ришелье, который и предложилъ ее на лътнее житье своему товарищу по военной службъ, генералу Раевскому. Это былъ довольно большой двухъэтажный домъ, съ двумя балконами, однимъ на море, другимъ въ горы, и съ обширнымъ садомъ. Кругомъ и ближе къ морю разбросана татарская деревушка".

Въ Гурзуфъ нашихъ путниковъ ожидали остальные члены семейства Раевскаго: супруга јего, Софья Алексфевна, и двъ дочери — Екатерина Николаевна, о которой Пушкинъ писалъ брату, что опа женщина необыкновениая, и скромная, серіозная пиестнадцатильтняя красавица, Елена Николаевна. Въ Гурзуфъ Пушкинъ провелъ три недъли. Дружеское отношеніе къ нему всъхъ спутниковъ и спутницъ, серіозныя бесфды съ Екатериной Николаевной о литературъ, съ самимъ генераломъ, живымъ памятникомъ Екатерининскаго въка, — объ отечественной исторіи, изученіе англійскаго языка съ помощью младшаго Раевскаго, прогулки, катанья и другія развлеченія въ веселомъ и умномъ обществъ — все это навсегда оставило въ Пушкинъ самое отрадное воспоминаніе.

Въ Гурзуфъ же его посътила любовь. Имя той, которая возбудила это чувство, осталось неназваннымъ; поэтъ сумълъ сберечь любовь свою отъ постороннихъ взоровъ, и о предметь ея можно только догадываться. Любовь эта идеальная и чистая, безъ надежды, безъ бурныхъ порывовъ, ясная и спокойная, не помрачала того безмятежнаго счастія, которымъ наслаждался Пушкинъ въ Гурзуфъ. "Суди, былъ ли я счастливъ", пишетъ онъ брату изъ Кишинева отъ 24-го сентября: "свободная, безпечная жизнь въ кругу милаго семейства; жизнь, которую я такъ люблю и которою никогда не наслаждался; счастливое полуденное небо; прелестный край: природа, удовлетворяющая воображеніе, - горы, сады, море; другь мой, любимая моя надежда — увидъть опять полуденный берегъ и семейство Раевскаго"... То же настроение звучить и въ письмъ къ Дельвигу: "Я тотчасъ привыкъ къ полуденной природъ", пишетъ онъ, "и наслаждался сю со всъмъ равнодушіемъ и безпечностью неаполитанскаго lazzaroni. Я любиль, проснувшись ночью, слушать шумъ моря и заслушивался цёлые часы. Въ двухъ шагахъ отъ дома росъ кипарисъ; каждое утро я посбидалъ его и къ нему привязался чувствомъ, похожимъ на дружество".

Кипарисъ этотъ пережилъ Пушкина. Онъ существуетъ до сихъ поръ, и жители Гурзуфа почтили память поэта трогательнымъ преданіемъ, донынъ переходящимъ изъ устъ въ уста. Они разсказываютъ, что когда поэтъ приходилъ посидѣть подъ тѣнью любимаго дерева, то прилеталъ соловей и пѣлъ ему свои пѣсни. Поэтъ уѣхалъ, но соловей продолжалъ ежегодно прилетать на прежнее мѣсто. Когда же Пушкина не стало,—умолкъ и соловей на вѣтвяхъ кипариса.

Изъ Гурзуфа старикъ Раевскій съ сыномъ уѣхалъ раньше жены и дочерей. Пушкинъ тоже присоединился къ нимъ. Остальные члены семьи Раевскаго, остававшіеся на время въ Гурзуфъ, нагнали ихъ на пути. Проѣзжая Бахчисарай, вновь соединившееся общество осматривало остатки ханскаго дворца, гдъ испорченный фонтанъ и развалины гарема особенно привлекли вииманіе поэта; затѣмъ всѣ вмѣстѣ тропулись въ обратный путь. Пушкинъ проводилъ своихъ друзей до с. Каменки, Кіевской губ., гдѣ жила мать генерала Раевскаго, по второму мужу Давыдова, съ двумя сыновьями своими отъ второго брака, Александромъ и Василіемъ Львовичами.

Въ Каменкъ Пушкинъ долго оставаться не могъ; пора было возвратиться къ Инзову. Онъ распростился съ милымъ семействомъ, къ которому успълъ всею душой привязаться, и отправился къ мъсту своего служенія, увозя тоску разлуки въ сердцъ, а въ головъ — богатый запасъ поэтическаго матеріала.

Покуда Пушкинъ странствовалъ по Кавказу и Крыму, имя его гремъло въ объихъ столицахъ. Причиной этого было появленіе въ свътъ "Руслана и Людмилы". Уъзжая изъ Петербурга, онъ не успълъ окончить печатаніе своей поэмы и оставилъ ее на попеченіе своего брата Льва, который въ то время былъ еще въ благородномъ пансіонъ при педагогическомъ институтъ, и его товарища С. А. Соболевскаго. Въ хлопотахъ по изданію юношамъ помогали А. Н. Оленинъ и И. И. Гиъдичъ. Общими стараніями поэма была издана, и появилась въ свътъ во второй половинъ мая 1820 года, когда авторъ ея уже былъ далеко. Публика приняла "Руслана и Людмилу"

съ восторгомъ; очарованная роскошью фантазін и живою прелестью разсказа, она упивалась дивною причудой молодого генія, не мудрствуя дукаво о томъ, къ какому роду произведеній слёдуетъ причислить эту литературную новость. Не такъ отнеслась критика. Поклонники старины пришли въ ужасъ и разразились негодованіемъ; горячіе нападки вызвали не менёе горячую защиту; завязалась ожесточенная борьба, до виновника которой долетали только слабые ея отголоски.

А онъ, между тъмъ, изъ Каменки проъхалъ въ Кишиневъ; во время его отсутствія былъ переведенъ и Попечительный комитетъ о колонистахъ южнаго края. Причиной этого перевода 'было назначеніе Инзова намѣстникомъ Бессарабской области, что и побудило его переселиться на жительство въ Кишиневъ. Пушкинъ былъ очень доволенъ этою перемѣной, такъ какъ Кишиневъ съ его многочисленнымъ пестрымъ населеніемъ и своебразною жизнью въ сравненіи съ безлюднымъ Екатеринославомъ представлялъ несравненно болѣе интереса для молодого человѣка, привыкшаго къ обществу.

Двадцать перваго сентлбря прибылъ Пушкинъ въ Кишиневъ и пріютился въ мазанкъ русскаго переселенца, Ивана Николаева. По прівздв въ Кишиневъ Пушкинъ сразу очутился въ кругу совершенно незнакомыхъ личностей. Но природная общительность характера вывела его изъ этого затрудпенія, и онъ очень скоро перезнакомплся и освоился съ окружающими. Первымъ поводомъ къ сближенію были служебныя отношенія. Съ непосредственнымъ начальникомъ своимъ, Пваномъ Никитичемъ Инзовымъ, Пушкинъ познакомился еще въ Екатеринославъ и, несмотря на кратковременность этого знакомства, имълъ уже случай испытать на себъ его доброту и чисто отеческую заботливость. Теперь онъ узналь его еще ближе и могъ оцфиить эту достойную личность. Инзовъ былъ человъкъ образованный и начитанный; разговоръ его не былъ блестящь, но зато отличался привътливостью, привлекавшею къ нему всёхъ. Неподкупная честность, прямота характера, простота и мягкость въ обращени, соединявшаяся съ прекрасною душой, всегда готовою на всякое доброе дъло, заслужили ему всеобщую любовь и уваженіе. Пушкинъ нашелъ въ Инзовъ не строгаго начальника, но заботливаго друга, который, понявъ добрымъ сердцемъ своимъ всю тягость несо-

размърнаго вишь наказація, всьми силами старался облегчить участь молодого изгнанника. Онъ номъстиль его въ одномъ домъ съ собою, ходагайствоваль за него передъ начальствомъ, дозволяль ему на свой страхъ отлучки изъ Кишинева и всегда старался затущить въ самомъ началъ многочисленныя исторіи, которыя безъ его вмъшательства могли бы сильно повредить опальному поэту. Благодаря Инзову, много проказъ и шалостей Пушкина сходило ему съ рукъ безъ всякихъ последствій, кромъ списходительныхъ выговоровъ добраго старика, который при этомъ часто говариваль: "свернуть тебъ голову, Александръ Сергьевичъ!" Трогательнымъ памятникомъ отеческаго къ Пушкину отношенія Инзова осталось письмо его къ Константину Яковлевичу Булгакову, писанное еще изъ Екатеринослава по поводу пофадки Пушкина на Кавказъ: "Милостивый государь мой, Константинъ Яковлевичъ", пишеть онь: "доставленныя оть вась тысячу рублей для г. Пушкина я получиль, которыя къ нему отправлю на кавказскія воды. Разстроенное его здоровье въ столь молодыя лъта и непріятное положеніе, въ коемъ онъ по молодости находится, требовали, съ одной стороны, помощи, а съ другой, безвредной разсъявности, а потому отпустиль я его съ генераломъ Раевскимъ, который въ провздъ свой туда чрезъ Екатериславъ охотно взялъ его съ собою. При оказін прошу сказать объ ономъ графу Ивану Антоновичу Каподистрін. Я падъюсь, что за сіе меня не побранить и не назоветь баловствомъ; онъ малый, право, добрый, жаль тольке, что скоро кончилъ курсъ наукъ; одна ученая скорлупа останется навсегда скорлупою..." Не меньшимъ доброжелательствомъ дышитъ письмо Инзова, ваписанное ифсколько позже (28 апръля 1821 г.) въ отвътъ на запросъ гр. Каподистріи о поведеніи Пушкина: "Милостивый государь, графъ Иванъ Антоновичъ! На почтеннъйшій отзывъ вашего сіятельства отъ (14) 26 апрфля, я пріемлю честь увъдомить васъ, милостивый государь, что присланный ко мив изъ С.-Петербурга коллежскій секретарь Пушкциъ, живя въ одномъ со мною домъ, ведетъ себя хорошо и, при настоящихъ смутныхъ обстоятельствахъ, не оказываетъ никакого участія въ сихъ дълахъ. Я занялъ его переводомъ на русскій языкъ составленныхъ по-французски молдавскихъ законовъ, и тъмъ, равно другими упражненіями по служот, отнимаю способы къ праздности... Въ бытность его въ столицъ онъ поль-

зовался отъ казны 700 рублями на годъ; но теперь, не получая сего содержанія и не имъя пособій отъ родителя, при всемъ возможномъ отъ меня вспомоществованіи, терпитъ, однакожъ, иногда педостатокъ въ приличномъ одъяніи. По сему уваженію я долгомъ считаю покоривище просить распоряжения вашего, милостивый государь, къ назначенію ему отпуска здёсь того жалованья, какое опъ получалъ въ С.-Петербургъ"... Пушкинъ съ своей стороны платилъ Инзову самою искрениею привязанностью и уваженіемъ. Въ запискахъ его находимъ нъсколько строкъ, посвященныхъ благодарному воспоминанію о добромъ начальникъ: "Инзовъ меня очень любилъ", пишетъ онъ, "и за всякую ссору съ молдаванами объявляль мив компатный аресть и присылаль мит — скуки ради — французскіе журналы... Генералъ Инзовъ — добрый, почтенный... Онъ русскій въ душъ. Онъ не предпочитаетъ перваго англійскаго шелопая своимъ соотечественникамъ. Онъ довъряетъ благородству чувствъ, потому что самъ имфетъ ихъ; не боится насмъщекъ, потому что выше ихъ, и никогда не подвергается заслуженной колкости, потому что онъ со всеми вежливъ"...

Знакомство Пушкина съ кишиневскимъ обществомъ началось съ его сослуживцевъ — чиновниковъ канцеляріи Инзова.

Кишиневское общество, столь разнообразное по своему составу и столь оригинальное по образу своей жизни, нравилось молодому поэту.

Противовѣсомъ пошлости и пустотѣ кишиневской жизни является для Пушкина военный кружокъ, состоявщій изъ людей образованныхъ и умныхъ, изъ которыхъ многіе имѣли весьма серіозное вліяніе на нашего поэта.

Общество этихъ образованныхъ и серіозныхъ людей имѣло на Пушкина благотворное вліяніе. Здѣсь затѣвались горячіе споры и затрогивались серіозные вопросы. Слѣдствіемъ постояннаго общенія съ людьми образованными было то, что Пушкинъ ясиѣе сознавалъ всю несостоятельность своего собственнаго образованія и, движимый отчасти самолюбіемъ, отчасти природною любознательностью, усиленно старался пополнить пробѣлы своихъ знаній. По свидѣтельству офицера Липранди, для этой цѣли онъ прибѣгалъ даже къ хитрости: если разговоръ касался предмета, мало ему извѣстнаго, онъ тотчасъ же вмѣшивался въ споръ и искусно поставленными вопросами заставлялъ своего собесѣдника высказываться о

томъ, что его интересовало. Помимо этой уловки, онъ обращался и къ книгамъ. Послъ всякаго интереснаго спора, онъ доставаль себъ сочинение, трактующее о затронутомъ вопросъ, и прочитываль его самымь внимательнымь образомь. Въ этомъ стремленін къ самообразованію особенно поддерживали Пушкина А. Ө. Вельтманъ и В. Ө. Раевскій, преимущественно посавдній. Ни съ квиъ не спориль Пушкинь такъ горячо, какъ съ нимъ, и никто дучше его не умълъ натолкнуть поэта на глубокіе вопросы жизня, политики и искусства. Следствіемъ всего этого было то, что Пушкинъ сталъ смотрѣть серіознъе и на себя и на свое призваніе. Онъ принялся читать внимательно и много. Для этого онъ бралъ кинги у Инзова, у Орлова, главнымъ же образомъ у Липравди, обладавшаго довольно обширною библіотекой, по преимуществу этнографическаго и историческаго содержанія. Но, помимо всёхъ этихъ научныхъ сочиненій, настольною кингой Пушкина быль Байронъ.

Пустота и безсодержательность кишиневской жизии нерѣдко тяготили Пушкина, и тогда онъ запирадся дома и искалъ спасенія въ своихъ кабинетныхъ трудахъ. Онъ жилъ въ это время въ нижнемъ этажъ дома, занимаемаго Инзовымъ. Ему отведены были двъ небольшія комнаты съ ръшетчатыми окнами, выходившими въ садъ. Видъ изъ оконъ былъ прекрасный. Обстановку одной изъ комнатъ составляли: столъ у окна, нъсколько стульевъ, кровать и голубыя стъны, облъпленныя восковыми пулями — следы упражненій хозянна въ стрельбе пзъ пистолета. Въ другой комнатъ жилъ Пикита. Таково было жилище Пушкина, куда спасался онъ отъ праздной суеты общественной жизин. Здёсь предавался онъ чтенію или писаль. Поэтическаго матеріала у него накопилось много. Не говоря уже о впечатлъніяхъ, вывезенныхъ съ Кавказа и Крыма, которымъ онъ далъ мъсто въ своихъ поэмахъ, въ самомъ Кишиневъ было много такого, что говорило воображенію. Пъсни, преданія и разсказы бессарабских туземцевъ и разныхъ выходцевъ, въ особенности сербовъ, которыхъ во вторую половину пребыванія поэта въ Кишиневъ появилось множество, живо интересовали Пушкина. Онъ собиралъ и записывалъ все, что ему казалось достойнымъ вниманія. Но, къ сожальнію, изъ этой богатой коллекціи сохранилось весьма немного: остальное онъ все растерялъ, не успъвъ воспользоваться. Извъстно, что многія его произведенія, какъ напр., "Черная шаль", пъсня "Ръжь меня, жги меня" въ "Цыганахъ", отчасти "Кирджали" и многія другія обязаны своимъ происхожденіемъ именно этимъ кишиневскимъ впечатлъніямъ.

Но къ усидчивому труду Пушкинъ еще мало былъ способенъ. Ненадолго удавалось ему запереться въ своемъ кабинетѣ, — и онъ возвращался къ шумной общественной жизни, съ ея страстями и треволненіями. Когда же общество ему снова наскучивало, онъ выпрашивалъ у Инзова отпуски и уѣзжалъ на время изъ Кишинева или въ Одессу — подышать европейскимъ воздухомъ, — или въ Аккерманскія степи. Въ одну изъ такихъ поѣздокъ Пушкинъ посѣтилъ устье Днѣпра, Аккерманъ и противолежащій ему Овидіополь; въ другую поѣздку, въ Измаилъ, онъ видѣлъ цыганское кочевье. Охотнѣе же всего бывалъ онъ у Давыдовыхъ въ Каменкѣ. Сюда влекли его радушный пріемъ хозяевъ, умное, просвѣщенное общество и дружба Раевскихъ.

Отлучки изъ Кишинева не могли повторяться очень часто, а между тъмъ Пушкинъ начиналъ все болъе и болъе тяготиться кишиневскою жизнью. Многочисленныя его ссоры и столкновенія съ людьми различныхъ слоевъ общества не прошли безследно, и онъ не могъ не замечать непріязненнаго къ нему отношенія многихъ изъ окружающихъ. Это его тяготило. Враговъ было много, а друзей — ин одного. Были, правда, пріятели изъ числа военныхъ, но ни съ однимъ изъ нихъ Пушкинъ не могъ сблизиться до настоящей дружбы, а между тъмъ потребность въ ней ощущалась. Не съ къмъ было ему подълиться задушевными мыслями, некому открыть свою душу съ ея наболфвшею тоской; не было такихъ друзей, какъ Кюхельбекеръ, Дельвигъ, Пущинъ, а ихъ-то именно и нужно было Пушкину. Все это томило бъднаго изгнанника и порождало въ немъ душевный разладъ и недовольство собою и другими. Къ этому присоединялись и другія, чисто витшнія, причины, какъ напр., постоянное безденежье. Въ письмахъ его къ брату то и дело встречаемъ жалобы на стесненныя обстоятельства и просьбы о высылкъ денегъ.

Двадцать восьмого іюля 1823 года Инзовъ сдаль свою должность графу М. С. Воронцову, и Пушкинъ, зачисленный въ канцелярію генералъ-губернатора, перефхалъ въ Одессу.

Переходъ изъ Кишинева въ Одессу былъ сдъланъ Пушкииымъ добровольно, но опъ скоро долженъ былъ убъдиться,
что положение его перемвинлось къ худшему. Надо было быть
сердечнымъ и гуманнымъ Инзовымъ, чтобы ладить съ такимъ
чинонинкомъ, какъ Пушкинъ. Новый начальникъ его, графъ
Воронцовъ, сразу поставилъ себя въ строго офиціадьныя отношенія съ своими подчиненными. Для Пушкина не было сдълано исключенія. Высокомърный начальническій топъ "милорда", какъ прозвалъ Пушкинъ Воронцова, оскорблялъ
самолюбиваго поэта, претендовавшаго на привилегированное
положеніе. Избалованный натріархальными отношеніями, царившими въ канцеляріи Инзова, опъ не могъ мириться съ повыми порядками: все его раздражало и приводило въ мрачное
настроеніе духа. Не разъ пришлось пожальть о покинутомъ
Кишиневъ.

Одесское высшее общество не могло развлечь поэта въ его уныніп. Онъ уже отвыкъ отъ чопорности свътскихъ собраній, и ему трудно было отказаться отъ свободы обращенія, усвоенной въ Кишиневъ. Поэтому въ обществъ онъ показывался ръдко, а если показывался, то бывалъ мраченъ и золъ. Веселость возвращалась къ нему только тогда, когда онъ бывалъ съ своимъ новымъ знакомцемъ, мавромъ Али, или же когда встръчался съ къмъ-нибудь изъ старыхъ кишеневскихъ знакомыхъ. Изъ новыхъ знакомствъ, ожидавшихъ Пушкина въ Одессъ, нельзя не упомянуть о г-жъ Ризничъ. Встръча съ этой женщиною оставила въ душъ Пушкина глубокое чувство, которое выразилось въ четырехъ чудныхъ стихотвореніяхъ.

Стихотворенія "Иностранкъ", "Заклипаніе", "Для береговъ отчизны дальней", "Простишь ли мнъ" служать выраженіемъ чувства, внушеннаго Пушкину красавицей-иностранкой. Таковы были сердечныя отношенія Пушкина къ Одессъ.

А между тъмъ отношенія его къ начальству становились все хуже и хуже. Презрительныя отзывы графа Воронцова о поэтическихъ занятіяхъ Пушкина подливали масла въ огонь. Плодомъ его озлобленнаго чувства было нъсколько злыхъ эпиграммъ, изъ которыхъ едва ли не большая часть была имъ только сказана, по попала на бумагу и стала извъстною. "Эпиграммы эти касались многихъ и изъ канцеляріи графа; такъ, напр., эпиграмма на начальника отдъленія, Артемьева, особенно отличалась своими убійственными, но върными вы-

раженіями. Стихи Пушкина на ивкоторых дамь, бывшихь на балу у графа, своимь содержаніемь раздражали всвхъ. Начались силетни, интриги, которыя еще болве тревожили поэта. Говорили, что будто бы графь чрезъ кого-то изъявиль Пушкину свое неудовольствіе, и что это было поводомь злыхъ стиховь о самомъ графь. Услужливость ивкоторыхъ тотчасъ распространила ихъ. Не нужно было искать, къ чьему портрету они мътили. Графъ не показаль вида какого-либо негодованія: попрежнему приглашаль Пушкина къ объду, попрежнему обмънивался съ нимъ нъсколькими словами"... Но во взаимныхъ отношеніяхъ ихъ слышалось уже скрытое раздраженіе.

Поводомъ къ взрыву послужило появление въ области саранчи. Для борьбы съ этимъ врагомъ понадобилась особая комиссія, и Воронцовъ предложилъ Пушкину принять въ ней участіе. Этого было достаточно. Поэтъ почелъ предложеніе графа за обидную насмъшку и отвътилъ дерзкимъ письмомъ. Раздосадованный "милордъ" тотчасъ же послалъ въ Петербургъ на имя графа Нессельроде слъдующее письмо:

"Графъ! Вашему сіятельству извѣстны причины, по которымъ нъсколько времени тому назадъ молодой Пушкинъ былъ посланъ съ письмомъ отъ графа Каподистріи къ генералу Инзову. Во время моего прівзда сюда генералъ Инзовъ предоставилъ его въ мое распоряжение, и съ тъхъ поръ онъ живетъ въ Одессв, гдв находился еще до моего прівзда, когда генераль Инзовъ быль въ Кишиневъ. Я не могу пожаловаться на Пушкина за что-либо; напротивъ, казалось, онъ сталъ гораздо сдержаните и умтрените прежняго, но собственный интересъ молодого человъка, не лишениаго дарованій, и котораго недостатки происходять скорве оть ума, нежели оть сердца, заставляетъ меня желать его удаленія изъ Одессы. Главный 'педостатокъ Пушкина — честолюбіе. Онъ прожилъ здёсь сезонъ морскихъ купаній и имъетъ уже множество льстецовъ, хвалящихъ его произведенія; это поддерживаетъ въ немъ вредное заблуждение и кружить его голову тымь, что онъ замъчательный писатель, въ то время, какъ онъ только слабый подражатель писателя, въ пользу котораго можно сказать очень мало (лорда Байрона). Это обстоятельство отдаляеть его отъ основательнаго изученія великихъ классическихъ поэтовъ, которые вліяніе на его таланть, въ чемъ

ему нельзя отказать, и сдёлали бы изъ него со временемъ замъчательнаго писателя.

"Удаленіе его отсюда будеть лучшая услуга для него. Я не думаю, что служба при генераль Пизовь поведеть къ чемунибудь, потому что, хотя онь и не будеть въ Одессь, но Кишиневь такъ близко отсюда, что ничто не помьшаеть его почитателямь повхать туда; да и, наконець, въ самомъ Кишиневь онъ пайдеть въ молодыхъ боярахъ и въ молодыхъ грекахъ дурное общество.

"По вевмъ этимъ причинамъ я прошу ваше сіятельство довести объ этомъ дълъ до свъдънія государя и испросить его ръшенія по оному.

"Ежели Пушкинъ будетъ жить въ другой губернін, онъ найдетъ болѣе поощрителей къ занятіямъ и избѣжитъ здѣшняго опаснаго общества. Повторяю, графъ, что я прошу это только ради его самого; надѣюсь, моя просьба не будетъ истолкована ему во вредъ, и вполнѣ убѣжденъ, что только, согласившись со мною, ему можно будетъ дать болѣе средствъ обработать его рождающійся талантъ, удаливъ его въ то же время отъ того, что ему такъ вредно, отъ ласки и столкновенія съ заблужденіями и опасными идеями. Имѣю честь пребыть и проч. Графъ Михаилъ Воронцовъ. Одесса 28 марта 1824 года".

Тринадцатаго іюля 1824 года выёхалъ Пушкинъ изъ Одессы въ Михайловское, давъ подписку нигдё не останавливаться на пути и по пріёздё во Псковъ явиться къ мёстному начальству, которому былъ порученъ бдительный надзоръ за изгнанникомъ.

Пельзя не согласится съ Липранди въ томъ, что удаленіе Пушкина изъ Одессы было для него большимъ счастіемъ, ибо вслъдъ за его вывздомъ поселился въ Одессъ князь С. Т. Волконскій, женившійся на Раевской; прівхали оба графа Булгари, Поджіо и другіе; изъ Петербурга изъ гвардейскаго генеральнаго штаба штабсъ-капитанъ Корниловичъ делегатомъ Съвернаго общества; изъ армін являлись: генераль-лейтенантъ Юшневскій, полковники Пестель, Абрамовъ, Бурцевъ и другіе. Всъ они посъщали князя Волконскаго, и Пушкинъ, съ его мрачно-ожесточеннымъ духомъ, легко могъ быть свидътелемъ революціонныхъ замысловъ и невинно сдълаться жертвой общаго увлеченія. Судьба до времени хранила поэта.

Венкстериъ.

Пушкинъ и Новороссійскій край.

Моя задача въ дъятельности Пушкина найти моменты, о которыхъ умъстно было бы напомиить во время празднованія памяти его здъсь, въ Одессъ, культурномъ центръ Новороссій, а именно — хотя бы въ краткихъ чертахъ указать значеніе, какое имълъ Новороссійскій край въ жизни нашего величайшаго поэта, и, насколько это доступно, выяснить вліяніе, какое онъ оказаль на Новороссію.

Недобровольный прівздъ Пушкина на югъ Россіи состоялся весною 1820 года. Въ это время Пушкинъ уже былъ высоко ценимь въ кружкахъ нашихъ вліятельныхъ тогда литераторовъ; замътили его, къ сожалънію, и еще болъе важныя сферы; но большой публикъ онъ въ сущности былъ мало извъстенъ; довольно напомнить, что первое доставившее ему крупную популярность произведение — "Русланъ и Людмила" — окончено было имъ уже на Кавказъ, а папечатано въ бытность Пушкина въ Кишиневъ. Бойкія эпиграммы и нецензурныя произведенія и не могли получить въ то время очень широкаго распространенія; и Пушкинъ, кажется, раньше сталъ извъстенъ крупными шалостями, нежели мелкими стихотвореніями. Между тъмъ, уъзжая изъ Одессы (тоже недобровольно) лътомъ 1824 г. на съверъ, Пушкинъ былъ уже знаменитымъ поэтомъ, даже болве популярнымъ, чемъ впоследствін. На юге созданы лучнія его поэмы и лирическія произведенія, и матеріаль для нихъ былъ доставленъ Пушкину главнымъ образомъ этимъ же югомъ, т.-е. Новороссіей. На это, разумъется, имълись свои причины, для выясненія которыхъ я и позволю себѣ сдѣлать краткій абрись того, чёмь быль въ это время югь Россіи, гдъ Пушкину довелось прожить четыре года, самыхъ поэтичныхъ въ его жизни. Новороссійскій край такъ сравнительно недавно вошелъ въ составъ Россіи, что во времена Пушкина въ немъ еще сохранялось очень много чертъ, ръзко выдълявшихъ его изо всего государства; именно эти-то черты и отразились лучше всего въ поэзін Пушкина. На югъ отъ предъловъ Малороссіи, въ то время уже достаточно населенной и не бъдной культурнымъ обществомъ (припомнимъ, папр., Каменку Раевскихъ, находившуюся почти на границъ Новороссін), лежали широкія, почти безлюдныя Повороссійскія степи, такъ недавно еще бывшія мъстомъ борьбы Запорожья и татаръ. Теперь объ этомъ не было и ръчи; но въ степяхъ Новороссіи все же было далеко небезопасно: здёсь укрывались бъглецы и формировались шайки разбойниковъ, дълавшія проъздъ пли пребываніе здъсь довольно рискованными. По стенямъ были кое-гдъ разбросаны города и села, но большинство городовъ тоже напоминало села, какъ напоминаетъ ихъ и въ настоящее время. Екатеринославъ, ивкогда предназначенный служить столицею обширнаго Новороссійскаго края и своими памятниками затмить самый Римъ, не вышелъ изъ положенія маленькаго и неблагоустроеннаго городка, въ которомъ среди бълаго дня могли убъжать скованные парами разбойники; немногимъ отдичались отъ него и другіе города Новороссіи кромъ Одессы, о которой мив предстоитъ говорить особо. Тъмъ не менъе край этотъ уже былъ русскимъ, порядки въ немъ вообще были русскіе, и особенности его не могли такъ ръзко бросаться въ глаза, какъ особенности тъхъ мъстностей, которыя вошли въ составъ государства значительно позже, чѣмъ Новороссія, и строй которыхъ во многомъ еще не былъ русскимъ. Мфстности эти: Кавказъ, Крымъ и Бессарабія. О Кавказъ мнъ не приходится очень распространяться; въ сущпости, во время перваго пребыванія на югь Россін, Пушкинъ на Кавказъ не былъ; онъ остановился въ Предкавказъъ, на группъ минеральныхъ водъ. Величественныя кавказскія горы видълъ онъ лишь издали. А то, что нынъ придаетъ особую красоту этой группъ, сдълано было уже во времена гр. Воронцова. Но все же на путника, явившагося сюда съ съвера, могли произвести впечатлъніе и такія горы, какъ Бештау. Предкавказье могло представить своимъ климатомъ значительный контрасть съ петербургскимъ, а, главное, въ окрестностяхъ Пятигорска путешественникъ могъ еще основательно познакомиться съ бытомъ черкесовъ, столь отличнымъ отъ русскаго, могъ видъть борьбу ихъ съ нами, могъ даже лично испытать опасность пребыванія въ этой містности. Извістень случай, когда, спустя свыше 20 льть посль пребыванія Пушкина въ Предкавказіи, гр. Воронцовъ со всъмъ выспимъ кавказскимъ обществомъ чуть не сталъ во время бала въ Кисловодскъ добычею неожиданно набъжавшихъ черкесовъ. Во всякомъ случат страна эта была еще мало похожею на Россію, и вольный образъ жизни здёшняго населенія могъ дать достаточно матеріала для поэтическихъ произведеній.

Крымъ присоединенъ былъ къ Россін лишь за 37 лѣтъ до прівзда сюда Пушкина. Хотя великольный киязь Тавриды и его сотрудники ввели здъсь русскіе порядки, по они были, если можно такъ выразиться, поверхностными, пбо управляемое населеніе было нерусское. Главную массу составляли татары, ръзко отличавшіеся образомъ жизип отъ русскихъ, а обширныя, розданныя въ Крыму высокопоставленнымъ лицамъ имънія или лежали пустыми, или колонизованы были людьми самыхъ разнообразныхъ національностей и меньше всего русскими. Адмицистративный центръ Крыма — Симферополь былъ небольшой грязноватый городокъ; Севастополь и не думалъ о своемъ последующемъ значенін; правда, Өсодосія была немаловажнымъ торговымъ пунктомъ, мечтавшимъ даже о конкурренцін съ Одессой, но на вившнемъ видъ ея это отражалось весьма мало; въ еще большей степени то же можно сказать о Керчи. Казалось бы, что Крымъ тогда былъ мъстностью мало интересною, темъ более, что не были еще приложены труды гр. Воронцова къ благоустройству южнаго берега; не было ни его прекраснаго шоссе, ни многочисленныхъ красивыхъ дачъ.

Но мы, одессисты, смотрящіе ныив на южный берегь Крыма, какъ на наши дачныя мъста, и легко совершающіе туда экскурсін, хорошо знаемъ поэзію Крыма, и притомъ поэзію вѣчную. Его омываетъ море, одинаково чудное и въ тихую и въ бурную погоду и незнакомое съверянамъ. Море это необыкновенно гармонируетъ и съ южнымъ небомъ, и съ невысокими малолъсистыми горами. Горы даютъ возможность развиться на южномъ берегу поэтичной растительности кипарисовъ и магнодій, совершенно необычной для сфвернаго жителя, который найдетъ здъсь въ изобилін и янтарный виноградъ, еще такъ недавно, на моей памяти, представлявшій величайшую ръдкость даже въ Малороссіи, куда его привозили изъ Крыма въ арбахъ на верблюдахъ въ очень помятомъ видъ и продавали по баснословно дорогой цънъ. На дикомъ южномъ берегу уже были построены кое-гдф въ живописныхъ мфстностихъ дачи, напр. дюкомъ де-Ришелье возлѣ Гургуфа, а между дачами, часто надъ морскимъ берегомъ, вились тропинки, приводившія путника то къ глубокимъ тапиственнымъ ущельямъ, то къ веселымъ полянамъ, то къ кипарисовымъ рощамъ. Прітажій въ Крымъ могь любоваться поразительною по красоть панорамою, открывающеюся изъ Георгіевскаго монастыря, могь пробхать въ глубь полуострова и посътить своеобразный татарскій Бахчисарай съ пустыннымъ, но полнымъ поэзін дворцомъ, могь дивиться загадочнымъ памятникамъ Чуфутъ-Кале или Мангупа, а на другой сторонъ Крыма развалинами Судака или керченскими курганами.

Совершенно другую картину представляла въ то время Бессарабія. Она была присоединена къ Россіи лишь за 8 лътъ до прівзда сюда Пушкина, почему не могла не имъть обособленнаго характера. Правда, она и до формальнаго присоединенія къ Россін находилась въ нашихъ рукахъ лътъ шесть; но и это немного, да мы и не предпринимали тогда ничего для ея реорганизацін. Несмотря на то, что въ Бессарабін было не болье 40.000 семействъ, она, послъ присоединенія къ Россіи, не превратилась въ обыкновенную губернію, а, по благосклонному отношенію къ извёстнымъ политическимъ порядкамъ Императора Александра I, управлялась сходно съ Финляндіей или Польшей. Небольшая гористая часть стверной Бессарабіи населена была малороссами; но затъмъ вся остальная область, какъ центральная — волнистая, такъ и южная, равнины которой представляють продолжение Новороссійскихь, населена была молдаванами, образъ жизни которыхъ хотя и болъе схожъ съ русскимъ (точнъе съ малорусскимъ), нежели черкескій или татарскій, но все же имфеть и значительныя отличія. Сверхъ того въ Бессарабін, преимущественно южной, какъ и во всей Новороссіи, посслено было множество разнообразныхъ колонистовъ, особенно болгаръ; оставались отъ турецкихъ временъ греки и армяне, а по степямъ Бессарабін часто кочевали цыганскіе таборы; словомъ, и эта страна была для коренного русскаго совершенно необычная.

Бессарабія, можетъ быть, не столь поэтична, какъ южный берегъ Крыма. Поэзія Новороссійскихъ степей (впрочемъ. вдохновившихъ Мицкевича) требуетъ большой къ нимъ привычки, тогда какъ море, горы, роскошная растительность чаруютъ сразу. Но Бессарабія имѣла еще одиу особенность: среди ея небольшихъ городовъ, зачастую сохранившихся еще въ турецкомъ видъ, былъ Кишиневъ — городъ тоже небольшой и грязноватый, но не лишенный характера столицы. Здѣсь былъ довольно самостоятельный Верховный Совѣть, крупныя административныя власти съ цѣлой свитой чиновниковъ, боль-

шею частью молодыхъ и образованныхъ; здёсь находилось управленіе расположенными въ Бессарабін войсками, съ весьма образованными же офицерами генеральнаго штаба. Воглавъкрая стоялъ генераль Инзовъ, извъстный своимъ гуманнымъ отношеніемъ къ людямъ, и въ томъ числъ къ Пушкину; у Инзова и у другихъ офицеровъ были прекрасныя библютеки. Въ Кишиневъ же быль значительный слой молдавской знати, можеть быть, и недостаточно культурной въ дъйствительности, но не лишенной того внъшняго налета, которой дается заграничнымъ воспитаніемъ и политическимъ значеніемъ. Здёсь дамы держали себя аристократками. Все это окрашивало кишпневскую жизнь какою-то необычною для русской провинціи свътскостью: жизнь била ключомъ, процвъталь флиртъ, затъвались интриги, доводившія до дуэлей, велась крупная игра; но зато здёсь жили и политическими интересами, устраивались не только масонскія ложи, но даже прямые заговоры: начиналось возстаніе угиетенныхъ балканскихъ народностей противъ турокъ. Здёсь зорко следили за темъ, что делалось въ западной Европе, и не могли помириться съ фактомъ, что за Прутомъ уже иное государство, темъ более, что народъ быль одинь и тотъ же; многіе помъщики владъли и тамъ и здъсь имъніями. Кишиневъ и Яссы казались двумя половинами одного целаго.

Наконецъ, на самой окраинъ государства и Новороссіи находилась еще одна точка, которая по характеру жизни довольно ръзко отличалась отъ остальной Россіи. Это была паша Одесса. Когда культурные и преимущественно коммерческіе интересы государства потребовали, чтобы на южной окраинъ его было прорублено новое окно за границу, менње тусклое, чъмъ Петербургъ, выборъ нъсколькихъ разумныхъ администраторовъ палъ на Гаджибей — Одессу, которая, особенно благодаря заботамъ приснопамятнаго дюка де-Ришелье, стала центромъ Новороссіи. Обладая великими организаторскими способностями, де-Ришелье развиль въ бывшей очаковской степи широкую иностранную колонизацію и въ молодую Одессу привлекъ массу иностранцевъ же, трудами которыхъ она естественно приняла видъ обычнаго для нихъ западно-европейскаго города, и притомъ, по желанію герцога, очень веселаго. Развитію Одессы помогли и политическія обстоятельства, сдълавшія изъ пея единственныя ворота для торговыхъ спошеній Россін съ западной Европой. Преемникъ и последователь де-Ри-

шелье гр. Ланжеронъ, осуществляя его предначертанія, сдълалъ Одессу какъ умственнымъ центромъ Новороссін, устроивъ здъсь Ришельевскій лицей, такъ и "дешевымъ городомъ"вслъдствіе учрежденія порто-франко. Съ того времени значеніе Одессы, какъ культурнаго центра Новороссін, и притомъ очень своеобразнаго, не похожаго на другіе крупные центры Россін, было надолго обезпечено. Что же однако представляла собою Одесса ко времени пребыванія въ ней Пушкина? Городъ былъ еще весьма невеликъ. Хотя онъ занималъ мѣсто нынъшнихъ лучшихъ его частей, въ предълахъ вившняго бульвара, но сохранившіеся рисунки 20-хъ годовъ показывають, что дома, даже на главной тогда улиць Одессы — Ришельевской, были небольшіе и ръдкіе и перемежались съ хлъбными магазинами, особенно частыми и большими на окраинахъ города. Предмъстья Одессы — Пересынь и Молдаванка, отдълялись отъ нея пустырями и, хотя тоже были частью застроены, но скоръе походили на села, нежели на отдълы города. За Преображенскою улицею, отъ такъ называемаго "Чудного дома", уже начинались пустыри, среди которыхъ построены были дома ивсколькихъ польскихъ магнатовъ, напр. гр. Потодкаго (нынъ архіерейскій), а еще далье — обширная усадьба Нарышкиныхъ. На Херсонской улицъ было пъсколько недурныхъ домовъ, напр. негоціанта Ризнича; но далже шли хлъбные магазины, и расположены были большія зданія городской больницы. Соборъ уже существоваль, и была застроена мъстность по Дворянскую улицу, а затъмъ шли плохіе домики п пустыри, среди которыхъ начиналась постройка института. Дерибасовская улица, хоть и существовала, но пріобръла нъкоторе значеніе лишь съ того времени, когда на углу ея п Преображенской улицы поселился начальникъ края гр. Воронцовъ. Дерибасовскій городской садъ, примыкавшій къ зданіямъ генералъ-губернаторской канцелярін, и въ то время не быль особенино посъщаемь. На той же улиць были расположены зданія Ришельевскаго лицея, сохранившіяся до ныив среди дома Вагнера. Бульвара еще не было, но мъсто подъ него, занятое растительностью, гдв еще педавно можно было охотиться, уже начали расчищать для чего сломаны были остатки турецкой крвпости; не было ни памятника де-Ришелье, пи гранитной лъстиицы къ морю, ни ряда домовъ на бульваръ, ни дворца гр. Воронцова, ни зданія городской думы, ни прежняго зданія музея Императорскаго одесскаго общества исторіи и древностей. Вмісто этого были зданія одесской таможни и карантина и казармы. Внизу бульвара быль порть, представлявшій, конечно, только слабый очеркь нынішняго; зато море въ то время было для одесситовь гораздо доступніве. На нынішней Театральной площади стояль театрь, містность вокругь котораго была завалена камнями оть развалинь бывшаго дома де-Ришелье, а въ началів Ришельевской улицы находилась популярная кофейня.

Улицы въ Одессъ были еще немощеныя; поэтому осенью она тонула въ грязи, а лътомъ купалась въ облакахъ пыли. Правда, въ 20-хъ годахъ начали ее замащивать по модной тогда системъ Макъ-Адама, но, какъ матеріалъ для мостовой, употребляли мъстный камень — и результаты оказались чрезвычайно плачевными. На моей еще памяти экипажи, загрузшіе въ грязи на Преображенской улиць, противъ зданія университета, вытаскивалась волами; обыватели незамощенныхъ частей города во время грязи перевзжали на жительство въ теченіе нѣсколькихъ недѣль въ гостиницы или къ знакомымъ въ болъе благоустроенныя части города. Вспоминалось тогда, какъ запиралась цъпями Почтовая улица, ибо проъздъ по ней во время грязи могъ грозпть гибелью; да и Дерпбасовская улица была въ этомъ отношеніи небезопасною. Овраги. пересъкающіе Одессу, были особенно грязными, и черезъ нихъ проложены были жалкіе мостики. Въ довершеніе всего Одесса страдала отъ безводья и, хотя городское управление изыскивало уже разные способы, чтобы обезопасить населеніе отъ недостатка въ водъ, но изъ этого выходило мало проку. Я опять-таки могу припомнить, какъ во времена продолжительнаго бездождія вода доставлялась въ Одессу съ Дибпра въ бочкахъ и продавалась по 1 рублю за бочку, а щедрые домовладъльцы отпускали квартирантамъ по ведру въ день на семейство. Растительность Одессы, хоть и воспътая Туманскимъ, въ сущности была жалкою (такою она была и на моей памяти); даже акацій на улицахъ еще не было. Недуренъ быль Ботаническій садь, теперь, къ сожальнію, погибшій, по п въ немъ господствовала акація. За предълами Одессы было нъсколько оазисовъ — дачъ: де-Ришелье — на Водяной Балкъ и на Мало-Фонтанской дорогъ, гр. Ланжерона (мъстность сохранила до ныив это названіе), нескольких богатых негоціантовъ (также по Мало-Фонтанской дорогѣ), напр. Рено. гдѣ Пушкинъ будто бы прощался съ Чернымъ моремъ. Но все это было, можно сказать, въ самомъ примитивномъ видѣ, и по Мало-Фонтанской же дорогѣ были лужи, похожія на озера. гдѣ лиценсты охотились за дичью; поздно вечеромъ здѣсь проходить было далеко небезопасно, какъ и вообще въ окрестностяхъ Одессы — впрочемъ, даже и не въ столь отдаленное время.

Итакъ, Одесса 20-хъ годовъ была городомъ сравнительно еще не очень благоустроеннымъ; но, во-первыхъ, таковы были въ то время и другіе города Россіи, а во-вторыхъ, жизнь въ Одессъ представляла многія привлекательныя стороны, почему о пребываніи здѣсь съ восторгомъ вспоминали люди самыхъ разнообразныхъ общественныхъ положеній, и нашъ городъ имѣлъ счастье быть воспѣтымъ стихами Туманскаго. Пушкина, Воейкова, Бороздны и др.

Что же было въ Одессъ привлекательнаго?

Прежде всего, разумѣется, ея море. Хотя крымское приморье еще красивѣе, но, какъ я сказалъ, Крымъ въ то время представлялъ большую глушь, и люди, не искавшіе сильныхъ ощущеній, всегда могли предпочесть ему болѣе культурную Одессу. Намъ, одесситамъ, хорошо знакомо наслажденіе любоваться своимъ моремъ, при самыхъ разнообразныхъ условіяхъ, бродить по этому еще довольно пустынному берегу. испытывая чувства, трудно поддающіяся анализу. Но море давало и болѣе конкретное наслажденіе: въ то время въ Одессѣ можно было еще пользоваться морскими купаньями; они славились на всю Россію и привлекли въ Одессу массы пріѣзжающихъ; поставляла ихъ даже и западная Европа.

Лиманы тоже функціонировали, хотя не столь замѣтио, частью вслѣдствіе малаго развитія въ то время вообще лѣченія лиманами, частью же изъ-за труднаго къ нимъ доступа, ибо на моей памяти низина у Пересыпи постоянно была залита водою, не просыхавшею ц лѣтомъ, и приходилось объѣзжать ее черезъ гору по весьма сквернымъ дорогамъ, доставившимъ ей не даромъ названіе Шкодовой. Лѣчились въ Одессѣ и фруктами.

Другую силу Одессы составляло ея географическое положение: здъсь все дышало югомъ, пестръло разнообразными красотами. И въ этомъ отношении Одесса тогда была тоже внъ

конкурренцін, хотя и претендоваль нѣсколько на это Таганрогь, куда такъ неудачно была въ половинѣ 20-хъ годовъ отправлена царская семья ради климатическаго лѣченія.

Затьмъ Одесса была веселымъ городомъ. Здъсь былъ театръ съ модною итальянскою оперой, пъвцы которой распъвали сладкіе мотивы любимца европейской публики Россини; у театра было кафе, откуда въ антрактахъ приносили къ театру мороженое, и публика вла его, располагаясь на разбросан-ныхъ вокругъ театра камняхъ. Другое кафе Оттона, на углу Дерибасовской и Екатерининской улицъ, пользовалось еще большею популярностью и, повидимому, было очень хорошее; имъ восхищались люди, знакомые не только съ петербургскими, по и съ заграничными ресторанами. Въ Одессъ неръдко бывали балы и маскарады, устранваемые какъ ел администраторами, такъ и публичные; до насъ дошли, напр., описанія празднованія масляницы при гр. Ланжеронв и костюмированнаго бала у гр. Воронцова, и видно, что жилось тогда въ Одессъ весело. У Оттона шла подъ сурдинкой крупная пгра, да п пообще въ Одессъ были для нея соотвътственные притоны. Легкостью же нравовъ нашъ городъ особенно славился издавна и недаромъ былъ центромъ "невънчаннаго" края; деньги здъсь зарабатывались легко, а потому и тратились съ легкимъ сердцемъ, въ особенности на то, "чъмъ жизнь красна". Наконецъ, Одесса была и дешевымъ городомъ веледствіе порто-франко. Сюда прівзжали для закупокъ дешевыхъ, преимущественно модныхъ, товаровъ, окрестные въ широкомъ смыслѣ помѣщики и безъ труда провозили ихъ къ себъ; сюда переселялись на зиму помъщики и изъ болъе отдаленныхъ мъстностей, привлекаемые и сравнительною культурностью города, и его дешевизною; иные пріфажали въ Одессу ради воспитанія д'ятей въ лицев и въ многочисленныхъ и разпообразныхъ пансіонахъ, другіе черезъ Одетру выбажали заграницу, особенно на востокъ, въ святыя маста, и подолгу жили въ Одессв въ ожиданіи удобной пого, ы или подходящаго корабля, — извъстны случаи, что пзнутри Россіи вхали за границу черезъ Одессу на Радзивиловъ и Броды.

Самое одесское общество въ 20-хъ годахъ представляло для Россіп совершенно необычное и своеобразное; въ среднемъ, оно было культурнъе и образованнъе общества любого русскаго города, не исключая Петербурга или Москвы; хотя

въ то же время верхній слой одесскаго населенія быль менфе образовань, нежели таковой даже въ иныхъ провинціальныхъ городахъ, напр. въ Харьковъ. На культурность коммерческаго класса въ Одессъ, самого въ ней замътнаго, вліяло и господствующее занятіе торговлею, преимущественно заграничною. Тогда какъ громадное большинство населенія русскихъ городовъ занято было примитивнымъ земледъліемъ, а главная торговля въ нихъ производилась "распивочно и на выносъ", посътители Одессы не могли удивляться, встръчая въ одесскомъ коммерсантъ не знакомаго имъ купца Абдулина, а джентльмена западно-европейской складки, съ изящными манерами, съ знаніемъ пностранныхъ языковъ, съ извъстнымъ политическимъ развитіемъ, воспитаннымъ на чтеніи иностранныхъ газетъ, столь далеко опередившихъ нашу "Ичелку" или ея сверстниковъ. Такой характеръ одесскихъ коммерсантовъ почти сливалъ ихъ въ одну группу съ жившею въ Одессв "аристократіей", что и дълало такъ называемое одесское "общество" широкимъ и при общемъ типическомъ сходствъ въ частностяхъ достаточно разнообразнымъ.

Въ Одессъ жилъ и начальникъ всего Новороссійскаго края. Дюкъ де-Ришелье давно уже покинулъ Одессу и умеръ вдали отъ нея, все мечтая сюда возвратиться. Гр. Ланжеронъ тоже пересталъ быть генералъ-губернаторомъ, хотя и прододжалъ жить въ Одессъ, составляя, такъ сказать, одну изъ ея достопримъчательностей. Временное управленіе ген. Инзова прошло въ Одессъ безслъдно, а затъмъ сюда назначенъ былъ графъ Воронцовъ.

Время генералт-губернаторства гр. Воронцова до высылки отсюда Пушкина было слишкомъ непродолжительно, чтобы по этому поводу рисовать характеристику его управленія красмъ; тогда мало было и сдёлано; поэтому я ограничусь лишь немногими замічаніями, необходимыми для пониманія отношенії гр. Воронцова къ Пушкину.

Гр. Воронцовъ былъ дъйствительно полу-милордъ, и не по одному только происхожденію. Это былъ человъкъ образованный, съ широкимъ взглядомъ на общественную самодъятельность, понимавшій значеніе торговли и промышленности, всегда и во всемъ гуманный, желавшій освобожденія крестьянъ, другъ образованія, даже среди солдатъ; но въ то же время это былъ прежде всего придворный, поэтому иногда видъвшій предме ты

въ искусственномъ освъщении. Затъмъ, русскій по самосознанію, гр. Воронцовъ вовсе не былъ таковымъ по образованію; онъ недостаточно хорошо зналъ русскую жизнь и не могъ понять многаго въ исторіи умственнаго развитія нашего общества, мъряя все на западно-европейскую мърку, да еще и на такую, которая видъла въ провозглашенныхъ французскою революціей принципахъ однъ лишь утопистическія бредни, въ Наполеонъ — исчадіе революціи и въ священномъ союзъ — оплотъ отъ величайшихъ бъдъ. При такихъ условіяхъ онъ и не могъ отнестись къ Пушкину иначе, нежели отнесся.

Хотя къ половинъ 20-хъ годовъ гр. Воронцовъ еще не создалъ возлъ себя дворцовой атмосферы, которая окружала его въ последующіе годы, но частью около него, частью около гр. Е. К. Воронцовой складывался уже кружокъ образованныхъ людей, по, преимуществу изъ числа чиновниковъ канцеляріи гр. Воронцова, или изъ богатой фланировавшей въ Одессъ молодежи. Настоящей родовитой аристократіи въ Одессь было немного: нъсколько польскихъ семействъ (Потоцкіе, Понятовскіе, Сабанскіе и др.), да полу-польская семья Нарышкиныхъ. Они имъли огромныя помъстья или возлъ Одессы, или въ югозападномъ крат, т.-е. были связаны съ нею экономическими интересами. Многихъ подяковъ привлекли въ Одессу и тъ ея преимущества, о которыхъ было сказано выше. При гр. Воронцовъ же число жившихъ здъсь подяковъ еще болъе увеличилось. Изъ русскихъ баръ отмътимъ семью гр. В. П. Кочубел, загостившуюся въ Одессъ въ 1824 г., да извъстную ки. Зинанду Волконскую, поселившуюся въ Одессъ ради воспитанія дътей. Было и мъстное русское дворянство, хоть и не очень обильное.

Гораздо многочисленные была здысь коммерческая аристократія, составившаяся изъ иностранныхъ негоціантовъ, преимущественно грековъ, частью далматинцевъ, къ числу которыхъ принадлежалъ и Ризничъ, такъ неожиданно для себя попавшій въ исторію русской литературы. Впрочемъ, онъ былъ человыкъ образованный, и на его средства была издана въ 1826 году извыстная "Сербіанка" С. Милутиновича вмысты съ первою книжкою его стихотвореній. Да и греческое общество жило въ Одессы не одними коммерческими интересами: какъ разъ въ это время здысь сформировалась знаменитая гетерія; иностранная, а частью и русская интелегенція участвовала въ ма-

соиской ложь (находившейся въ такъ наз. "Чудномъ" домь), а среди офицеровъ, жившихъ въ Одессв или педалеко отъ нел, было не мало членовъ тайныхъ обществъ. Появились въ Одессъ и такія исключительныя достоприм'вчательности, какъ авей Гутчинсонъ, или корсаръ въ оставкъ мавръ Али, тоже увъковъченные памятью о Пушкинъ. Разумъется, было въ Одессъ п мелкое чиновничество, мало отличавшееся отъ обычнаго русскаго, и русское купечество, и, наконецъ, простонародье, очень разнообразное по племенному составу; но для біографін Пушкипа эти элементы имбють мало значенія. Жила Одесса, главнымъ образомъ, вывозною торговлею. Здёсь были самые существенные ея интересы, и сношенія ея съ заграницей настолько окрашивали общій характеръ ея жизни, что на улицахъ италіанскій, греческій пли французскій языкъ слышался чаще, нежели русскій. Въ ея учебныхъ заведеніяхъ, не исключая и Лицея, ученье шло на французскомъ языкъ; на этомъ же языкъ издавались у насъ и первая газета и первый журналъ; были магазины, гдф продавались пностранныя книги, тогда какъ русскія приходилось пріобрътать въ посудныхъ лавкахъ. Я могъ-бы значительно распространить свой разсказъ объ Одесст 20-хъ годовъ, имтя для этого немало собранныхъ даже мною самимъ матеріаловъ, -- но, полагаю, сказаннаго совершенно достаточно для выясненія, что могъ Пушкинъ найти въ Одессъ. Какъ же однако нашъ югъ встрътилъ Пушкина? Говорить подробно о пребываніи его въ Новороссійскомъ крат, и въ частности въ нашемъ городъ, я тоже считаю излишнимъ, нбо предметь этотъ, можно сказать, исчерпанъ въ печатныхъ трудахъ Анпенкова, Бартенева и Яковлева; я только напомню объ этомъ въ самыхъ краткихъ словахъ.

Въ мат 1820 г. Пушкинъ прітхаль въ Екатеринославъ и пробыль тамь неділи дві, заболівь при этомь; объ отношеніяхь его къ містному обществу сохранилось развіз нісколько анекдотовь изъ ряда такихь, какіе вообще разсказывають о Пушкинів. Въ Екатеринославіз онъ почти не работаль: очевидно, свіжи были еще впечатлівнія постигшаго его ударавпрочемь, изъ здішнихъ впечатлівній позже явилась поэма "Братья-Разбойники". Въ посліднихъ числахь мая Пушкинъ убхаль съ семьею Раевскихъ на Кавказъ, гді пробыль до начала августа; на Кавказів онъ какъ-бы сталь оживать; здісь жанисань имь эпилогь къ "Руслану и Людмилів" и начать "Кав-

казскій плівникъ", по мівстнымъ впечатлівніямъ. Августь — сентябрь 1820 г. Пушкинъ проводить въ Крыму, главнымъ образомъ, въ Гурзуфі, съ Раевскими же, и здісь начинается расцвіть его поэтическаго творчества. Съ одной стороны чудная природа Крыма и его оригинальность, разсінвають дотолів мрачное настроеніе поэта; съ другой — онъ испытываеть увлеченіе, далеко не похожее на ті, какія иміли місто раньше въ Петербургів. Подъ вліяніемъ любви и Крыма Пушкинъ создаеть цілый рядъ прелестныхъ стихотвореній; другія, того же характера и внушенныя тою же любовью, написаны имъ въ Каменкъ.

Вліяніе кружка Раевскихъ сказалось въ Пушкинѣ и созрѣваніемъ его политическихъ взглядовъ, которые однако не привели его къ участію въ серіозныхъ тайныхъ обществахъ; на это были свои причины, на которыхъ нътъ цъли здъсь останавливаться. Въ сентябръ 1820 г. Пушкинъ уфхалъ въ Кишиневъ, гдъ прожилъ до лъта 1823 г. Это время, несмотря на бурный образъ жизни Пушкина и на мучительный процессъ, совершавшійся въ его душт, было особенно благопріятно для его поэтическаго творчества; здёсь созданы Пушкинымъ едва-ли не лучшія его лирическія произведенія, оконченъ "Кавказскій плънникъ", написаны "Братья-Разбойники" и "Бахчисарайскій фонтанъ", начатъ "Евгеній Онфгинъ", задуманы "Цыганы". Чъмъ обусловлена была такая дъятельность? Очевидио, только что пережитыми впечатленіями, возбудившими въ душе Пушкина творческій процессь, кототому не было основанія прекратиться въ городъ, жившемъ столь бойкою политическою и общественною жизнью; скорфе всего, именно здфсь созрфвають политическія воззрѣнія Пушкина. Не думаю, впрочемь, чтобы молдаванская или даже греческая аристократія того времени могла оцфинть въ Пушкинф великаго поэта; скорфе въ немъ видъли правительственную жертву, по "несчастному случаю" заброшеннаго въ 'Кишиневъ молодого аристократа, очень интереснаго въ обществъ по своему остроумію, волокиту, игрока; съ нимъ не церемонились выходить на дуэль; но русское общество въ Кишппевъ, начиная съ Инзова и не исключая дамъ, стало уже понимать значеніе Пушкина и дёлало, что могло, чтобы облегчить ему териистый путь его изгнанія и неудобства пребыванія въ отдаленныхъ мъстахъ. Затьмъ изъ Кишинева Пушкинъ постоянно вывзжалъ то въ Кіевъ.

то въ Каменку, то — три раза — въ Одессу, то въ Южную Бессарабію, и всякая подздка его порождаетъ какія-либо чудныя произведенія. Наконецъ, въ началь 1823 г. Пушкинъ переселяется въ Одессу, гдъ остается свыше года; здъсь имъ создано ивсколько главъ "Онвгина" и опять-таки много прекрасныхъ стихотвореній мъстнаго содержанія, заканчивающихся знаменитыма прощаніемъ Пушкина съ Чернымъ моремъ. Этотъ бъглый перечень достаточно убъдителенъ для отвъта: насколько было благопріятно для Пушкина вообще пребываніе на югъ Россіи? Здъсь подъ вліяніемъ поэтическаго и своеобразнаго характера посъщенныхъ Пушкинымъ мъстностей окръпло и развилось его творчество, а вслъдствіе политической жизни края укръпились идеалы, хоть и навъянные ему раньше и вкоторыми лицейскими профессорами, напр., Куницынымъ, а потомъ близкими людьми, въ родъ Чаадаева, и даже общею атмосферою того времени; тъмъ не менъе до переселенія Пушкина на югъ они были еще въ немъ очень неустойчивыми. Только на югъ Россін окончательно опредълилась личность Пушкина въ томъ видъ, въ какомъ она всъмъ намъ дорога; только послъ этого періода творчества могь сказать о себъ Пушкинъ, что

> Чувства добрын я лирой пробуждаль, Что въ мой жестокій вѣкъ восславиль я свободу И милость къ падшимъ призываль.

Вскорт послт этого въ поэзіи Пушкина, при всей ся геніальности, зазвучать другія ноты, утратится присущая ему и развитая югомъ жизнерадостность, почувствуется сложная и тяжелая душевная драма; но анализъ всего этого вывелъ-бы меня изъ предтловъ моей задачи.

Теперь для меня представляеть спеціальный интересь вопрось с томъ, какъ принять быль Пушкинъ въ Одессв, или, точнве, какъ на него здъсь смотрвли?

Графъ Воронцовъ сперва отнесся къ поэту [чрезвычайно любезно; въ сущности, онъ перезвалъ его въ Одессу изъ Кишинева; но вскорѣ между ними пошли нелады, обнаружившіе, что гр. Воронцовъ тоже видѣлъ въ Пушкинѣ скорѣе свѣтскаго юношу, случайно наказаннаго за шалости, нежели великаго поэта. Дивиться тутъ нечему: какъ и уже сказалъ, гр. Воронцовъ имѣлъ тѣ взгляды на литературу, какіе вообще господствовали въ правительственныхъ сферахъ въ эпоху Свя-

щеннаго союза. Исходя изъ такихъ взглядовъ, онъ могъ лишь враждебно отнестись къ поэзіп Байрона и тімь болье не въ состоянін быль оцфинть значеніе поэтической дфятельности его последователя, и притомъ такого, за которымъ еще не было полнаго "Онъгина". Хотя гр. Воронцовъ и признавалъ счастливыя дарованія Пушкина и надъялся, что изученіе имъ истивно ведикихъ классическихъ поэтовъ можетъ сдълать его выдающимся писателемъ. Между тъмъ поведение Пушкина не могдо не шокировать гр. Воронцова, не говоря уже о столкновеніяхъ чисто личнаго свойства, обиднымъ отношенін къ гр. Воронцову самого Пушкина (у котораго, кстати сказать, встръчаются и похвалы ему) и нежеланін его хоть сколько-нибудь войти въ извъстныя служебныя рамки, что очень цънилось въ свое время, и несмотря на то, что онъ широко раздвигались для него гр. Воронцовымъ¹). Вопреки общепринятымъ мивніямъ, выскажусь, что гр. Воронцовъ съ точки зрвнія начальника края и западно-европейского вельможи отнесся къ Пушкину довольно снисходительно, и постигшая поэта кара была по тому времени сравнительно не строгою. Приведемъ въ параллель, во-первыхъ, что англійское общество и досихъ поръ не можетъ простить Байрону пи его біографіи ни его произведеній; что къ поэзін Байрона отрицательно относился Жуковскій (хотя сперва я переводившій его); что не только Императоръ Александръ 1, совершенный западно-европецъ по воспитанию и образованию, совстмъ не знавший ни русской жизни ни русской литературы (хотя сперва и благосклонный къ Пушкину изъ-за нъсколькихъ доведенныхъ до его свъдънія стиховъ), но и многіе тогдашніе русскіе литераторы относились къ произведеніямъ Нушкина отрицательно, какъ напр., И. И. Дмитріевъ къ "Руслану и Людмиль", Рыльевъ къ "Опьгину", Н. Полевой къ "Борису Годунову". Императоръ Николай І, видъвшій въ Пушкинъ хоть и своеобразнаго, не укладывающагося въ точно определенныя рамки, но очень умнаго человъка и выдающагося поэта, совершенно искречно находиль, что ему слъдовало-бы заняться болье серіознымь дьломъ, нежели стихотворство, напр. написать трактакъ о вос-

¹⁾ Псужели можно сочувствовать Пушкину въ его поведеніи въ дѣлѣ о саранчѣ только потому, что онъ написаль остроумный рапортъ? Вѣдь саранча на югѣ Россін страшное общественное бѣдствіе, и къ нему нельзя не относиться серіозно.

питаніи, — несмотря на то, что поэтъ въ то время женать не быль, ни своихъ ни чужихъ дѣтей никогда не воспитываль, и вся предшествующая біографія мало подготовляла его къ этому, почтенному, конечно, занятію. Очень расположенный къ Пушкину Инзовъ требоваль отъ него перевода на русскій языкъ молдавскихъ законовъ и пр. Собственный отецъ Пушкина поступаль съ нимъ гораздо хуже, нежели гр. Воронцовъ, а какъ потомъ отнеслась къ поэту высшее петербургское общество, атмосфера котораго такъ систематически послъдовательно привела Пушкина къ роковой дуэли, это не нуждается въ напоминаніи.

Съ другой стороны слъдуетъ вспомнить и то, что Пушкину уже раньше грозило наказаніе, гораздо болье суровое, нежели водвореніе на жительство въ собственную деревню, а онъ (предполагается) не исправился; что за одесскія выходки осуждали его такія близкія къ нему лица, какъ ки. П. А. Вяземскій и А. П. Тургеневъ, причемъ послъдній уже не разъ отклоняль отъ него высылку изъ Одессы, которой сперва только и добивался гр. Воронцовъ; что ссылка Пушкина въ Псковскую губернію тоже придумана была А. П. Тургеневымь; что Карамзинъ пострадаль въ то же самое время гораздо сильнъе, скоръе за докучливость, чъмъ за предположительно приписанный ему проступокъ, въ которомъ онъ былъ невиноватъ, и что вообще подобныхъ примъровъ для 20-хъ годовъ можно бы привести не мадо.

Графиня Воронцова болье благоволила къ Пушкину, нежели ел мужъ: она сумъла оцънить поэта, и ел вліяніе на него сказалось добрыми послъдствіями. Въ ел кружкъ былъ молодой Раевскій — близкій къ Пушкину человъкъ, даже сильно вліявшій на его умственное развитіе; близки къ Пушкину были и служившіе при канцеляріи гр. Воронцова два поэта Туманскіе, Казначеевъ, Синявинъ и др. Къ сожальнію, никто изъ этого кружка не оставилъ намъ о Пушкинъ воспоминаній; мнъ выпало на долю застать въ Одессъ въ живыхъ лишь одного изъ такихъ чиновниковъ — г. Пикулова; но онъ былъ очень старъ и притомъ человъкъ не пушкинскаго покрол. Г. Пикуловъ разсказывалъ мнъ, что гр. Воронцовъ сперва очень благоволилъ къ Пушкину и прощалъ ему чиновничьи гръхи, что Пушкинъ былъ очень неаккуратнымъ служащимъ, наконецъ, что причиною неудовольствія гр. Воронцова на Пушкина была

ревность, — словомъ, то, что и безъ этого хорошо из-

Немногимъ полнъе и воспоминанія о Пушкинъ гр. М. Д. Бутурлина, который въ то время жилъ безъ всякаго дъла въ Одессъ; онъ былъ даже дальній родственникъ Пушкина, но мало имъ интересовался, случайно узналъ о пребыванін его въ Одессъ, случайно видълся съ вимъ и не попытался даже стать съ нимъ въ болъе близкія отношенія. Если присоединить къ этому извъстное свидътельство А. А. Скальковскаго, прибывшаго въ Одессу вскоръ послъ выъзда отсюда Пушкина и почти (по его словамъ) не заставшаго уже здёсь людей, которые хранили бы память о немъ, то можно бы подумать, что дъйствительно въ Одессъ посмотрфли на Пушкина только какъ на свътскаго человъка, съ которымъ интересно встръчаться въ обществъ, а не какъ на поэта. Тъмъ менъе могла понять его, напр., г-жа Ризничъ, которую онъ такъ любилъ и поэтически воспълъ и которая - увы! даже не могла прочесть посвящевныхъ ей стихотворевій. Не думаю также, чтобы семья Кочубеевъ, гдъ, можетъ быть, слъдовало бы искать первообразъ Татьяны, или гр. Потоцкая могли оцфиить Пушкина, какъ поэта: свътскія дамы того времени были на счетъ русской литературы почти невмъняемы.

Къ счастью, имфются твердыя доказательства, что въ Одессъ 20-хъ годовъ уже было кому оценить Пушкина, какъ поэта, и главитынее изъ нихъ принадлежитъ самому гр. Воронцову. Въ роковомъ письмъ къ гр. Нессельроде онъ такъ мотивируетъ необходимость высылки Пушкина изъ Одессы: "Здъсь проживаетъ множество людей, и количество ихъ еще увеличится во время сезона купанья; они, будучи экзальтированными поклонниками его (Пушкина) поэзіи, думають зему выразить этимъ свою дружбу и оказываютъ услугу непріятеля, способствуя его самоувлеченію п убъждая его, что онъ выдающійся писатель". Что гр. Воронцовъ былъ правъ, подтверждается и воспоминаніями бывшихъ лиценстовъ Сумарокова и Н. Г. Тройницкаго. Первый сообщаеть, что о Пушкинь много говорили въ городъ и зачитывались его "Русланомъ и Людмилою"; поэтому, увидя Пушкина, Сумароковъ испыталъ особенное волненіе. Второй разсказываеть, что во время его отрочества въ Одессъ имя Пушкина произносилось, какъ имя прославленнаго поэта; его читали, перечитывали, переписывали, затверживали на память; некоторые изъ его ненапечатанныхъ стиховъ ходили по рукамъ въ рукописи, какъ запрещенные; особенно же зачитывались "Онфгинымъ", надъ чемъ смеялся самъ авторъ его. Когда Тройницкій былъ въ младшемъ отделеніи лицея и сиделъ въ классе, кто-то крикнулъ: "Пушкинъ идеть!" и все малыши кинулись къ окошку. Такія показанія объясняютъ намъ, въ комъ въ Одессе Пушкинъ нашелъ себе поклонниковъ: это была учащаяся, преимущественно русская молодежь, а также и русскія семьи въ роде Тройницкихъ, Кирьяковыхъ, Бларамберговъ и, наконецъ, личныя друзья Пушкина: Раевскій, Туманскіе, Пущинъ и др., о которыхъ было сказано выше.

Образъ жизни Пушкина въ Одессъ лучше всего обрисованъ имъ самимъ въ знаменитыхъ строфахъ "Онъгина". Его страстная любовь къ г-жъ Ризничъ и отношенія къ гр. Воронцовой и къ инымъ одессисткамъ также давно стали литературнымъ достояніемъ. Поэтому я перехожу къ вопросу, какія воспоминанія нашъ край оставилъ въ Пушкинъ?

Крымъ и общество Раевскихъ заставили Пушкина немедленно по разставаніи съ ними уже вспоминать о нихъ въ такихъ чудныхъ стихотвореніяхъ, какъ "Ръдъетъ облаковъ летучая гряда" или "Неренда"; затъмъ онъ вспоминаеть о Крымъ и въ періодъ кишиневской и одесской жизни; такъ въ 1820 г. имъ написано стихотвореніе "Фонтану Бахчисарайскаго дворца", въ 1821 г. - "Желанье", въ 1822 г. - тъ мъста субъективнаго характера, которыя находятся въ поэмъ "Бахчисарайскій фонтанъ"; въ 1823 г. (?) нъкоторые стихи въ первой пъснъ "Онъгина", напр.: "Я видълъ море предъ грозою"; къ этому же году относится и отзывъ о Крымъ въ письмъ къ кн. Вяземскому; въ 1824 г. — такой же въ письмъ къ бар. Дельвигу; въ 1825 г. стихотвореніе "Ты видёль дёву на скаль" (я не упоминаю объ отрывкахъ и наброскахъ). Воспоминанія эти заканчиваются отрывками изъ путешествія Онфгина, посфтившаго между прочимъ Тавриду. Отыскать хоть одинъ неблагосклонный отзывъ Пушкина о Крымъ мнъ не удалось.

Иное дѣло Бессарабія и Кишиневъ; они вызвали въ Пушкинѣ довольно сложныя впечатлѣнія. Сначала Бессарабія напоминаетъ ему объ Овидіи, и онъ рисуетъ нашъ югъ съ симпатіей; потомъ онъ пишетъ сатиры на кишиневскихъ дамъ — и въ то же время въ посланіи къ Баратынскому называетъ

пустынную Бессарабію страной, священной для души поэта: "Она Державинымъ воспъта и славой русскою полна". Переселившись въ Одессу, Пушкинъ то вздыхаетъ о Кишиневъ (въ письмъ къ брату), то посыдаетъ Вигелю извъстную сатиру на этотъ городъ, вирочемъ въ такой инструкціи, которая не позволяеть серіозно относиться къ этому стихотворенію. Изъ Михайловскаго въ 1826 г. Пушкинъ пишетъ къ Н. С. Алексвеву: "Не могу изъяснить тебв мои чувства при полученін твоего письма... Кишиневскіе звуки, берегъ Быка... Милый мой, ты возвратиль меня Бессарабін. Я опять въ монхъ развалинахъ, въ моей темной комнатъ, передъ ръшотчатымъ окномъ, или у тебя, мой милый, въ свътлой твоей избушкъ... я за новости кишиневскія стану тебя потчивать новостями московскими". Оканчивая "Цыганъ", Пушкинъ въ эпилогъ съ большимъ чувствомъ говоритъ о Бессарабіи и о своемъ пребываніи въ цыганскомъ таборъ. Еще позже онъ вспоминаеть о цыганахь въ VIII главъ "Онъгина" и пишеть стихотвореніе "Цыгане", гдё опять съ удовольствіемъ вспомпнаетъ о похожденіяхъ въ цыганскомъ таборъ.

Столь измѣнчивое отношеніе Пушкина къ одному и тому же предмету вовсе не представляєть исключенія. Извѣстно, какъ онъ любиль Петербургъ (см. хотя бы "Люблю тебя, Петра творенье" и т. д.); но можно подобрать немало мѣстъ, гдѣ онъ осыпаеть его жесточайшею бранью. (Проклятый Петербургъ... Я золь на Петербургъ и радуюсь каждой его гадости... свинскій Петербургъ); Пушкинъ не долюбливаль Москвы, но случалось ему хвалить ее (напр. въ "Онѣгинѣ"); онъ любиль Россію — и жаловался, что родился русскимъ.

Одесса во всякомъ случат пользовалась у Пушкина большею благосклонностью, нежели Кишеневъ. Тотчасъ по переселеніп въ Одессу Пушкинъ сообщаетъ брату, что Инзовъ отпустилъ его въ Одессу: "Я оставилъ мою Молдавію и явился въ Европу. Ресторація и итальянская опера напомнили мит старину и, ей-Богу, обновили мит душу... Теперь я опять въ Одесст и все еще не могу привыкнуть къ европейскому образу жизни". Немедленно по прітздт въ Михайловское, онъ проситъ Д.М. Княжевича писать ему изъ Одессы: "Объ Одесст ни слуху ни духу. Сердце втсти проситъ... Ради Бога, слово живое объ Одесст; скажите мит, что у Васъ дтается; скажите, во-первыхъ, выздоровъла ли Катенька (Гика)".

Вскоръ Пушкинъ сталъ получать изъ Одессы письма отъ гр. Воронцовой, украшенныя печатью съ кабалистическими знаками (т.-е. въ дъйствительности съ караимскими письменами); тогда Пушкинъ запирался въ своей комнать, никуда не выходилъ и никого не принималъ къ себъ. Письма эти онъ сжигаль, о чемь онь и говорить въ стихотвореніи "Сожженное письмо", а о гр. Воронцовой вспоминаетъ въ двухъ стихотвореніяхъ: "Ангелъ" и "Талисманъ". Двумя еще болѣе поэтическими произведеніями: "Подъ небомъ голубымъ страны своей родной" и "Для береговъ отчизны дельней", почтилъ онъ память скончавшейся одесситки, г-жи Ризничъ. Но самое подробное воспоминание объ Одессв находится въ извъстныхъ строфахъ "Евгенія Онфгина", посвященныхъ его путешествію. Приводить ихъ не рѣшаюсь, такъ какъ онѣ слишкомъ извъстны одесситамъ, а замъчу липь, что въ нихъ господствуеть самое свътлое воспоминание объ одесской жизни, не омрачаемое и нъкоторыми недостатками Одессы: пылью, грязью, отсутствіемъ растительности, безводіемъ, — тімь болъе, что можно было тогда ожидать и скораго избавленія ея отъ этихъ бъдъ. Впрочемъ одесская грязь настолько поразила Пушкина, что онъ припомнилъ ее гораздо позже, во время втораго путешествія на Кавказъ, провзжая между Орломъ н Ельцомъ: "Нъсколько разъ коляска моя вязла въ грязи, достойной грязи одесской". Затъмъ одинъ изъ варіантовъ путешествія Онъгина указываеть, что еще у Пушкина оставило объ Одессъ хорошую и плохую память:

А л отъ милыхъ южныхъ дамъ, Отъ жирныхъ устрицъ черноморскихъ, Отъ оперы, отъ темныхъ ложъ И, слава Богу, отъ вельможъ Уъхалъ въ тънь лъсовъ тригорскихъ.

Въ 30-хъ годахъ воспоминанія Пушкина о посъщенныхъ имъ мъстахъ юга Россіи тускньють; но все же и въ это время можно найти у него стихи, гдь онъ говорить о югь съ большимъ чувствомъ и, посътивъ Михайловское незадолго до смерти, онъ на берегу озера вспоминаетъ съ грустью иные берега, иныя волны. И немудрено: тамъ протекла свътлая пора его юности, тамъ онъ жилъ болье естественною жизнью, тамъ, наконецъ, онъ былъ счастливье, нежели въ это время.

Но помнилъ ли югъ великаго поэта, такъ неожиданно сюда

залетъвшаго? И если помниль, то какъ относился къ его памяти? Я остановлюсь главнымъ образомъ на Одессъ, такъ какъ относительно другихъ, упомянутыхъ мною выше, мъстностей располагаю лишь позднъйшими данными.

Гр. Воронцовъ продолжалъ относиться къ Пушкину недоброжелательно, что особенно сказалось по случаю его смерти. Извъстенъ разсказъ бывшаго редактора газеты "Одесскій Въстникъ" Н. Г. Тройницкаго (записанный мною съ его словъ) о томъ, какъ онъ принесъ на просмотръ гр. Воронцову некрологъ Пушкина, заключавшій глубоко прочувствованныя похвалы ему и скорбь по поводу его безвременной кончины; гр. Воронцовъ разрѣшилъ печатать некрологъ, по выразилъ недоумъніе, заслужиль ли Пушкинь этоть некрологь, — тъмъ болве, что подобнаго не было, напр., по смерти Державина или Хераскова. Несмотря на данное разръшеніе, редакція газеты опасалась, не будеть ли нахлобучки за некрологь изъ Петербурга, и, можетъ быть, не безъ основанія, такъ какъ тамъ дъйствительно по поводу смерти Пушкина происходили, какъ извъстно, такія событія, которыя были бы черезъ-чуръ смѣшны, если бы не были столь грустными. Отпосительно же гр. Воронцовой мит неоднократно передавали близкія къ ней лица, напр. протојерей М. К. Павловскій, что сочиненія Пушкина навсегда остались ея любимымъ чтеніемъ.

Враждебное отношеніе аристократа-западноевропейца гр. Воронцова къ памяти Пушкина въ сущности не было псключительнымъ: на глазахъ одесситовъ прошелъ и другой примъръ въ лицъ гр. А. Г. Строгонова. Были ли у него съ Пушкинымъ какіе-либо личные счеты, положительно сказать не умъю, хотя указанія на это есть; но извъстно, что еще незадолго до смерти гр. Строгоновъ продолжалъ видъть въ Пушкинъ революціонера, автора стихотворенія "Кинжалъ" и проч.; онъ грубо обощелся съ уважаемыми одесситами, явившимися къ нему съ подписнымъ листомъ на памятникъ Пушкину, и съ крикомъ удивлялся, чего же смотритъ полиція на постановку памятника такому "кинжальщику". Отзывы о Пушкинъ лицъ, весьма близкихъ къ гр. Строгонову, были ръзки до нельзя, и въ нихъ сквозила месть за Дантеса.

Но возвращаюсь къ Одессъ того времени, когда ее покинулъ Пушкинъ. Помиило-ли его мъстное общество? А. А. Скальковскій говоритъ, что, кромъ одного-двухъ, иъкогда лично

близкихъ къ Пушкину людей, его уже забыли въ Одессъ въ концъ 20-хъ годовъ. Объясняю такое показание оффиціальнымъ положеніемъ А. А. Скальковскаго, до котораго изъ среды лицъ, окружавшихъ гр. Воронцова, дъйствительно отзывы о Пушкинъ могли и не дойти; не даромъ-же онъ ни однимъ словомъ не упомянулъ о пребываніи Пушкина въ Одессъ въ своей исторіи ея; но воспоминанія Н. Г. Тройницкаго доказывають, что въ русскомъ обществъ Одессы и хорошо помнили Пушкина, и восхищались его произведеніями. Затъмъ въ "Одесскомъ Въстникъ" 1827 г. въ № 30 отъ 20-го апръля перепечатано было стихотвореніе Пушкина "Одесса" изъ "Онъгина", которое могло напомнить многимъ одесситамъ о своемъ авторъ. Наконецъ, въ 1828-1830 гг. ришельевскіе лиценсты издавали рукописный журналъ "Ареопагъ" (хранящійся нынъ въ одесской публичной библіотекъ). По словамъ одного изъ его редакторовъ, Н. Г. Тройницкаго, журналъ этотъ былъ вызванъ къ жизни именно вліяніемъ Пушкина; и точно, въ немъ перепечатывались его стихотворенія, разбирались его произведенія и т. д. Въ послъднихъ книжкахъ "Ареопага" о Пушкинъ говорится ръдко: но въ то время и вообще въ русскихъ журналахъ видно оскудъніе статей о Пушкинъ — до тъхъ поръ, пока смерть снова не привлекла къ нему общаго вниманія; извъстіе-же о смерти Пушкина, напечатанное въ "Одесскомъ Въстникъ" (1837 г. № 13), отличается высокимъ лиризмомъ; для обращика привожу окончаніе статьи, какъ имъющее для моей темы спеціальный интересъ: "Съ ранняго возраста прислушивались мы къ этимъ очаровательнымъ пъснопъніямъ, къ этимъ незнаемымъ дотолъ оборотамъ русской ръчи, къ этой неслыханной у насъ гармоніи языка. Съ любовью слъдили мы каждый шагъ поэтическаго поприща его жизни, дорожили его славою, потому что видъли въ ней нату собственную славу, - славу Россіи. Мы привыкли считать эту славную жизнь неотъемлемымъ безсмертнымъ достояніемъ русской литературы; мы никогда не думали, мы пе постигали возможности лишиться нашего незабвеннаго... Пушкинъ! Пушкинъ! Зачъмъ-же такъ рано, такъ нежданно! II нътъ преемника тебъ въщій пъвецъ нашего времени". Послъ смерти Пушкина наступило время изученія его біографін и оцвики его литературной двятельности, стали пояляться статьи о немъ и воспоминанія; не осталась чуждою къ этому и Одесса, гдѣ еще до 50-хъ годовъ было напечатано о Пушкинѣ нѣсколько статей, и въ сущности начало серіозному изученію біографіи Пушкина положено было одесситомъ. Питомецъ Ришельевскаго лицея, затѣмъ профессоръ въ немъ русской словесности, К. П. Зеленецкій (теперь, кстати сказать, незаслуженно забытый и неудостоныпійся обстоятельной біографіи, хотя по его учебникамъ нѣкогда училась вся Россія) былъ величайшимъ поклониикомъ Пушкина. Уже въ 1838 г. онъ напечаталъ въ "Современникъ" воспоминанія о немъ нѣкоего А. Грена и затѣмъ надолго посвятилъ себя изученію біографіи великаго поэта, усиленно разыскивая даже принадлежавшую ему извѣстную оригинальную палку, которая однако попала къ другому одесскому почитателю Пушкина Н. Г. Тройницкому, а нынѣ находится въ музеѣ Императорскаго одесскаго общества исторіи и древностей.

Переселеніе въ Одессу на службу брата поэта, Л. С. Пушкина, побудило К. П. Зеленецкаго особенно усердно заняться выясненіемъ обстоятельствъ пребыванія поэта въ Новороссіи, результатомъ чего былъ рядъ прекрасныхъ статей его о Пушкинъ, опередившихъ капитальный трудъ Анненкова. Не называю ихъ, равно и дальнъйшихъ статей, написанныхъ у пасъ о Пушкинъ, такъ какъ перечисление ихъ частью есть уже въ извъстныхъ книжкахъ Межова и проф. В. А. Яковлева (одессита-же), частью, какъ миъ извъстно, приготовляется къ печати одесскою публичною библіотекою. Число ихъ, особенно во время пушкинскихъ торжествъ 1880 и 1887 гг., прямо таки колоссально, и авторами какъ воспоминаній о Пушкинь, такъ и посвященныхъ ему статей являются всъ безъ исключенія сколько-пибудь замфтные наши литераторы и публицисты, какъ уже покойные (А. А. Скальковскій, Н. Н. Мурзакевичъ, М. Ф. Дерибасъ, О. О. Чижовичъ, проф. В. А. Яковлевъ и др.), такъ и тъ, которые еще продолжають свою дъятельность. Такое же одушевленіе господствуетъ въ крымской и бессарабской прессъ; отсюда тоже доходить къ намъ рядъ воспоминаній о Пушкинъ, иногда поэтическихъ, какъ напр., разсказъ о кипарисъ и соловьъ въ Гурзуфъ, иногда баснословныхъ, какъ напр. большинство новыхъ кищинецскихъ воспоминаній, даже съ массою неизвъстныхъ стиховъ, будто-бы пушкинскихъ. Появляются переводы сочиненій Пушкина на всфхъ имфющихся на югф Россіи иностранныхъ языкахъ, до эксперанто включительно; въ честь Пушкина обильно пинутся стихотворенія и создаются памятники искусства, напр. музыкальныя произведенія; словомь, совершаются всевозможные способы чествованія его памяти Я позволю себъ (по весьма понятной причинъ) остановиться лишь на дъятельности въ этомъ отношеніи одесскаго славянскаго благотворительнаго общества, черезъ просвътительный трудъ котораго красной нитью проходить популяризація сочиненій Пушкина въ средъ одесскаго простопародья. Это-же общество организовало постановку въ Одессъ одного изъ первыхъ намятниковъ Пушкину въ Россін (впрочемъ, Кишиневъ сдълалъ это раньше) и отмътило на основаніи вполить авторитетныхъ показаній тотъ домъ, гдъ остановился Пушкинъ, по протядь въ Одессу въ 1823 г.

Немало сдълало для прославленія памяти Пушкина и наше городское общественное управленіе. Достаточно указать, что въ настоящее время имъ связано съ именемъ Пушкина едва-ли не самое симпатичное учреждение, вызванное его юбилеемъ. Но, кому въ исторіи распространенія любви къ Пушкниу и памяти о немъ на югъ Россіи (и конечно по всей Россіи) принадлежить главное мъсто — это нашимъ педагогамъ. Буду говорить объ Одессъ, такъ какъ я располагаю лишь здъшними данными. Въ нашемъ университетъ читались систематические курсы о Пушкинъ (проф. И. С. Некрасовымъ) раньше, нежели гдъ-либо. Совътъ университета неоднократно принималъ мъры, чгобы направить студентовъ къ спеціальному изученію сочиненій великаго поэта. Какое значеніе имъютъ сочиненія Пушкина въ нашей средней школъ — общензвъстно; я готовъ даже сдълать упрекъ ей, что Пушкинъ здъсь слишкомъ уже заслоняетъ нашихъ послъдующихъ выдающихся писателей. Стоя въ последнее время близко къ нашимъ низшимъ учебнымъ заведеніямъ, могу засвидътельствовать, что и здъсь Пушкинъ является любимъйшимь и популярнъйшимъ писателемъ. И если, оправдается когда-либо упованіе Пушкина:

Слухъ обо мив пройдеть по всей Руси великой И назоветь меня всякъ сущій въ ней языкъ,

— этимъ Россія и Пушкинъ болѣе всего обязаны будуть учителямъ народныхъ училищъ. Путемъ какъ бы волосныхъ сосудовъ происходитъ, благодаря имъ, проникиовеніе въ народъ сочиненій великаго поэта. Если имя его еще педостаточно извъстно его народу — что дълать: это недостатокъ не одного юга. Полтора мъсяца назадъ я съ однимъ знакомымъ отправился въ Петербургъ искать мъсто роковой дуэли Пушкина. Не зная этого мъста, мы разспрашивали о немъ и полицію, и мъстныхъ сторожей, и вообще всякаго встръчнаго, по крайней мъръ человъкъ 20, и могли убъдиться, что ни для одного изъ нихъ слово "Пушкинъ" не зазвучало чъмъ-то знакомымъ, близкимъ. И лишь культурный прохожій вывелъ насъ изъ затрудненія, указавъ намъ дорогу къ болоту, гдъ стоитъ маленькій столбикъ съ плохимъ гипсовымъ бюстикомъ Пушкина, смотрящаго на скачки и на тотализаторъ! Миъ не было стыдно за Одессу!

Будемъ надъяться, что празднества, подобныя нынъшнему, тоже явятся прекраснымъ средствомъ привлечь народъ къ имени Пушкина, а послъ того и къ его сочиненіямъ.

Нашъ югъ все еще принято почему-то считать не вподив Россіей. Отъ Одессы не отстаеть репутація нерусскаго города. Но, если принадлежность къ націи опредвляется самосознаніемъ, то Одесса какъ и весь югъ, давно доказали свою русскую національность, и рядъ пушкинскихъ празднествъ явился лучшимъ показателемъ этого. Если-же этого мало и для нашего юга, съ Одессою включительно, еще предстоитъ работа, чтобы примкнуть къ русской національности, то единственнымъ способомъ явится распространеніе здвсь великихъ произведеній русскаго національнаго генія и, можетъ быть, всего раньше Пушкина. Какъ ни громадно уже его значеніе, въ настоящее время, но истинная миссія его выполнится лишь тогда, когда всв многочисленные жители Россіи сознательно и свободно признаютъ Пушкина своимъ великимъ поэтомъ.

Маркевичъ.

Вліяніе юга на поэтическую дѣятельность Пушкина.

Александръ Сергъевичъ Пушкинъ прожилъ на югъ Россіи — на Кавказъ, въ Крыму и Бессарабіи — болъе трехъ лътъ, именно съ мая мъсяца 1820 года по іюнь 1823 года. Эти мъста имъли особенно важное значеніе для развитія его

тенія. Кавказъ и Крымъ воспитали въ немъ чувство любви къ природъ, обогативъ его душу великольпными образами вившняго міра; Кишиневъ, этотъ пограничный городъ съ разноплеменнымъ населеніемъ, представлялъ пестрый и разнообразный міръ людскихъ отношеній и связей. Здёсь, по преимуществу, познакомился онъ съ жизнію и пріобраль познаніе человическаго сердца, такъ необходимое для писателя. На этихъ окраинахъ Россіп зародились всѣ важнѣйшія произведенія второго періода поэтической д'вятельности Александра Сергъевича, запечатлънныя вліяніемъ на него Байрона. Но, кромъ Кавказа, Крыма и Бессарабін, въ воспитанін пушкинскаго генія принимала въ эту пору участіе и Украйна, или Малороссія. Пушкинъ прожилъ нѣсколько времени въ Екатеринославъ и отсюда вынесъ поэтическій образъ бъгства двухъ скованныхъ разбойниковъ, представленный имъ въ поэмъ "Братья разбойники". По пути съ Кавказа на южный берегъ Крыма, онъ видълъ берега Кубанп, любовался черноморскими казаками, этими выходцами изъ Запорожской съчи, и воспълъ ихъ въ "Черкесской пъснъ" въ своей поэмъ "Кавказскій пленникъ". Въ Кишиневъ, въ этой смъси племенъ, наръчій. покольній, нашъ поэтъ встрвчался и съ малороссами, а въ Бендерахъ бесъдоваль о дълахъ давно минувшихъ дней Малороссін со старикомъ Миколой Искрой, которому было тогда около 135 лътъ. Но что всего интереснъе для насъ, А. С. Пушкинъ имълъ тогда близкія связи съ Кіевской губерніей и съ геродомъ Кіевомъ. Въ Кіевъ находилась тогда главная квартира командира 4-го корпуса первой армін Николая Ивановича Раєвскаго, съ сыномъ котораго Николаемъ Пушкинъ находился въ дружескихъ отношеніяхъ. Въ сель Каменкь, Чигиринскаго повъта, жила мать старика Раевскаго, урожденная графиня Самойлова, во второмъ бракъ Давыдова. Въ эти-то два пункта Украйны часто удалялся Александръ Сергъевичъ изъ Кишинева въ гости къ Раевскимъ и Давыдовымъ, какъ бы отдыхаль здёсь отъ напора сильныхъ впечатлёній, только что имъ полученныхъ на Кавказъ, въ Крыму и Бессарабін, сосредоточивался въ себъ и очищаль эти впечатлънія въ горниль художественнаго творчества. Въ теченін трехъ дътъ своей кишиневской жизни А. С. Пушкинъ каждый годъ навъдывался въ Каменку и въ Кіевъ. Въ Каменкъ написано имъ стихотвореніе "Я пережиль свои желанья" и окончень "Кавказскій

плънникъ". Въ Кіевъ, въ февралъ 1821 года, написаны имъ стихи: "Земля и море", "Муза" и "Желаніе". Всъ почти эти произведенія имъютъ отношеніе къ прошлой жизни поэта и частію выражаютъ временную усталость его послъ тяжелой жизненной дороги ("Я пережилъ свои желанья"), частію воспроизводять въ художественныхъ образахъ воспоминанія о Кавказъ и Крымъ.

Вмъсть съ тъмъ Пушкинъ, сводя въ Кіевъ и Каменкъ счеты съ прежнею жизнію, съ прежними впечатлівніями, не могъ не воспринимать здёсь новыхъ впечатлёній отъ окружавшей его украинской жизни и не питать новыхъ поэтическихъ замысловъ. Его ласковая муза часто оживляла ему "путь нъмой волшебствомъ тайнаго разсказа". А о Кіевъ его муза могла поразсказать ему многое изъ того, о чемъ меч-таль опъ еще раньше въ "Русланъ и Людмилъ", т.-е. о первыхъ кіевскихъ князьяхъ, и указать ему новые предметы и планы. Ко времени пребыванія Пушкина на югь Россіи и повздокъ его въ Кіевъ и Каменку относится его "Пъснь о івщемъ Олегь", написанная если не въ Кіевъ, то подъ свъжимъ его впечатлъніемъ. Эта пъснь написана въ 1822 году и довольно ясно указываетъ на Щекавицу, гдв прежде искали могилу Олега. Пушкинъ, конечно, на этой горъ — и въ его поэтическомъ воображении развернулась величественная картина тризны по умершемъ Олегъ, совершенно паглядная для кіевлянъ:

> Ковши круговые запѣнясь шипятъ На тризнѣ плачевной Олега: Князь Игорь и Ольга на холмъ сидять, Дружина пируетт у брега.

Непосредственное отношеніе къ Кіеву имъетъ и баллада Пушкина "Гусаръ", воспроизводящая украинское преданіе о кіевскихъ въдьмахъ и Лысой горъ.

На югъ Россін зародилась у Пушкина и мысль написать поэму "Полтава", съ которой обыкновенно начинаютъ третій періодъ поэтической дъятельности Пушкина въ самобытномъ направленіи. Мысль поэмы навъяна была "Мазепой" Байрона и явилась у Пушкина, по всей въроятности, еще въ Кишиневъ. По крайней мъръ, будучи еще въ Бендерахъ, такъ сказать, на самомъ мъстъ развязки полтавской драмы, нашъ поэтъ посътилъ бывшее Варницкое укръпленіе Карла XII,

слушаль разсказь старика Искры объ этомъ король и особенно 'добивался отъ Искры узнать что-либо о Мазепъ. Но чего Пушкинъ не добился отъ старика Искры, то могъ узнать онъ въ центръ самой Украйны, въ Кіевъ или Каменкъ, недалеко отъ мъста дъйствія. Съ увеличеніемъ матеріала, планъ поэмы расширяется, захватываетъ одинъ изъ важибищихъ моментовъ борьбы Петра Великаго съ Карломъ XII и представляеть широкую картину напряженной жизни Маллороссіи за это время. Мъстами встръчаются въ поэмъ върныя изображенія украинской природы, необозримыхъ луговъ п широкихъ степей, спияго Дивпра и тихой украпиской ночи, п замътны даже слъды мъстнаго наръчія (стило, хутора, ката). Впоследствін, къ личнымъ наблюденіямъ и впечатленіямъ, вынесеннымъ поэтомъ изъ Украйны, присоединились и печатные источники украинскаго происхожденія. Въ 1827 году М. А. Максимовичъ издалъ въ Москвъ сборникъ "Малорусскихъ народныхъ пъсенъ", которыя произвели благотворное вліяніе на тогдашнюю литературу и сділали издателя однимъ изъ видиыхъ литературныхъ дъятелей Жуковско-Пушкинской и Гоголевской эпохи. Самъ Максимовичъ разсказывалъ, что въ одно изъ посъщеній своихъ Пушкина онъ засталь поэта за своимъ сборникомъ: "А я обираю ваши пъсни", сказалъ Пушкинъ. Онъ писалъ въ это время Полтаву. "Полтава, говорить одинъ писатель, - одно изъ первыхъ у насъ поэтическихъ произведеній съ чертами народности въ сюжетъ и характерахъ. Марія Кочубеевна, при всей своей относительной, по теперешнимъ понятіямъ, бъдности изображенія, одно изъ первыхъ живыхъ русскихъ женскихъ лицъ въ нашей литературъ. Нельзя не видъть, что черты ея у Пушкина навъяны женскими украинскими пъснями, столь полными пъжности и страсти". Петровъ.

Впечатлънія новой для него, но могущественно дъйствующей природы юга, которая вдругь раскрылась передъ Пушкинымъ какъ бы навстръчу его желаніямъ, отразилась во многомъ, что было написано имъ на югъ Россіи. Ссылка, вырвавшая его изъ безумнаго омута петербургской жизни, утомившей Пушкина, подъйствовала на него благотворно: она освъжила его. Попасть вдругъ съ пьяной оргіи петербург-

ской золотой молодежи на дъвственно-чистые снъга кавказскихъ горъ и при томъ въ той благопріятной обстановкъ, въ какой находился Пушкинъ, было для него величайшимъ счастіемъ. Съ прівзда въ Крымъ, съ первыхъ уже написанныхъ стихотвореній, сказывается вдіяніе природы южнаго берега и той идиллически-страстной обстановки, которую Пушкинъ нашелъ въ гостепріниномъ семействъ Раевскихъ. Стихъ его твердъетъ, въ немъ видно больше отдълки, форманапоминаетъ спокойную и ясную древнюю форму. Не безъ вліянія изученія въ это время французскаго поэта А. Шенье совершилось это развитіе къ лучшему, но явленіе Шенье было непродолжительно. То, что составляло главныя свойства этого предшественника французскихъ романтиковъ, по опредъленію современнаго критика Брандеса, благородная простота языка, опредъленность и точность рисунка, красивыя линін барельефа, цёльныя краски и строгая форма сдёлались легко достояніемъ Пушкина. Но содержаніе поэзін Шенье было не глубоко; онъ не могъ надолго удовлетворить развивающійся духъ нашего поэта, и Шенье былъ скоро забытъ для Байрона, съ произведеніями котораго Пушкинъ въ первый разъ познакомился въ Крыму, въ семействъ генерала Раевскаго, гдъ знали англійскій языкъ.

Вся поэтическая дъятельность Пушкина на югъ Россіи, начиная съ извъстной его элегія "Погасло дневное свътило", въ которой уже слышатся отзвуки поэзін Байрона, происходила болъе или менъе подъ вліяніемъ этого "властителя нашихъ думъ" — по его выраженію. Такимъ властителемъ Байронъ остался для Пушкина до самаго того времени, когда замыселъ "Евгенія Онъгина" не увлекъ его въ русскую деревню, въ издра родной семейной и общественной жизни. Байронъ на русской почвъ долженъ былъ получить однако своеобразныя черты, зависъвшія уже отъ нашихъ условій. Горькая пронія и отчанніе Байрона, его типы и героп, воплотившіе въ себъ собственную душу англійскаго поэта, его скептицизмъ вытекали изъ отношеній къ современной исторіи такой глубокой личности, какою быль Байронъ. Опъ быль продуктомъ современной исторіи, какъ всякій поэтъ. Въ его духъ, въ его міросозерцанін происходить тоть историческій разладъ, которымъ страдали его современники. Не мъсто говорить здёсь о глубокомъ историческомъ содержании поэзіп Вайрона, которая неизбъжно должна была увлечь его младшаго современника, стремившагося тогда "стать съ въкомъ наравнъ" и переживавшаго, подобно всему тогдашиему русскому молодому и мыслящему поколънію, отраженія у насъ духовной и политической жизни Европы, но должны сказать вообще, что поэзія Байрона выражала вполив современность. "Безнадежный эгоизмъ" и "унылый романтизмъ" Байрона, какъ опредъляетъ его поэзію Пушкинъ, не быль удачною прихотью поэта, по его же выраженію, а имъль свой корень въ духъ времени.

Совершенно понятно, почему Байронъ во все время жизни Пушкина на русскомъ югъ былъ "властителемъ его думъ". Поэзія Байрона, если она была выраженіемъ его могучей и гордой личности, то вмъстъ съ тъмъ она была также и выраженіемъ свободнаго европейскаго духа въ эпоху самовластнаго могущества Наполеона и начавшейся послъ его паденія всеобщей европейской реакціп. Духъ Руссо и его боязливое недовъріе къ людямъ ожили въ англійскомъ поэтъ, но получили гораздо сильнъйшее и полнъйшее выраженіе. Для страстнаго пессимизма и скептицизма Байрона было много и общихъ и европейскихъ, и національно англійскихъ и, наконецъ, личныхъ причинъ. Чайльдъ-Гарольдъ и Лара, какъ высшія выраженія и самого Байрона, и цълаго типа, съ глубокою тоскою, грызущею ихъ сердце и съ гордою мукою, не находящею нигдъ успокоенія, для людей того времени были откровеніемъ. Это была исповъдь въка, внутренняя исторія его. Въ страсти, въ мукахъ байроновскихъ героевъ современники находили свои собственныя, переживаемыя ими страданія и ощущенія. Буличг.

Пушкинь въ Михайловскомъ.

Въ жизни и творчествъ Пушкина пребываніе его въ сель Михайловскомъ съ августа 1824 г. по сентябрь 1826 г. имъетъ особое значеніе и привлекаетъ вниманіе изслъдователя. Это періодъ небольшой по времени, бъдный внъшними событіями, но богатый по внутреннему содержанію и очень важный для душевнаго развитія поэта. Всего два года прожилъ Пушкинъ въ уединеніи с. Михайловскаго — и въ немъ произошло то "возрожденіе", котораго онъ жаждалъ уже давно, о которомъ

мечталь въ водоворотъ петербургской жизни и подъ знойнымъ небомъ юга. Нашъ поэтъ испыталь передомъ въ душевной жизни; отшумъли и замолкли грезы юности, періоды бури и натиска, — наступаетъ пора самосознанія, спокойнаго и опредъленнаго взгляда на цъль жизни и литературной дъятельности. Правда, спокойствіе это неръдко нарушается, страсти вспыхиваютъ въ душъ поэта, но въ общемъ его жизнь течетъ уже по одному руслу: у нея есть цъль, есть содержаніе.

Оставляя шумную одесскую жизнь и роскошную южную природу для уединенія въ сѣверной деревнѣ, Пушкинъ надѣялся найти отдыхъ и безъ озлобленія отнесся къ постигшей его немилости. Такимъ настроеніемъ проникнуто первое стихотвореніе, написанное въ селѣ Михайловскомъ.

Аквилонъ.

Зачьмъ ты, грозный аквилонъ, Тростинкъ болотный долу клонишь? Зачемъ на дальній небосклонъ Ты облака столь гнѣвно гонишь? Недавно черныхъ тучъ грядой Сводъ неба глухо облекался, Недавно дубъ надъ высотой Въ красъ надменной величался. Но ты поднялся, ты взыграль, Ты прошумъль грозой и славой --И бурны тучи разогналь, II дубъ низвергнуль величавый. Пускай же солица ясный ликъ Отнынъ радостью блистаеть, И облакомъ зефиръ играетъ, И тихо зыблется тростникъ.

Въ этомъ художественномъ стихотвореніи поэть сплетаетъ образы природы, мысли о политическихъ событіяхъ и личные мотивы. Дубъ, какъ говорять нѣкоторые критики, изображаетъ Наполеона, котораго политическая гроза вырвала изъ Европы и унесладна островъ св. Елены. Тростникъ — самъ Пушкинъ. Въ одномъ изъ черновыхъ набросковъ "Евгенія Онѣгина" поэтъ замѣчаетъ о своемъ невольномъ переселеніи съ юга на сѣверъ:

... Я отъ милыхъ южныхъ дамъ, Отъ жирныхъ устрицъ черноморскихъ, Отъ оперы, отъ темныхъ ложъ, И, слава Богу, отъ вельможъ Утхалъ въ тънь лъсовъ тригорскихъ Въ далекій съверный утздъ— И былъ печаленъ мой прітздъ.

О мысляхъ и чувствахъ, съ которыми онъ явился въ село Михайловское, Пушкинъ вспоминаетъ въ стихотвореніи "Опять на родинъ", написанномъ значительно позже, въ 1835 году.

... Въ разны годы Подъ вашу сънь, Михайловскія рощи, Являлся я. Когда вы въ первый разъ Увидъли меня, тогда я былъ Веселымъ юношей. Безпечно, жадно Я приступаль лишь только къ жизни. Годы Промчалися — и вы во мнѣ пріяли Усталаго пришельца. Я еще Быль молодъ, но уже судьба Меня борьбой неравной истомила; Я быль ожесточень. Въ уныны часто Я помышляль о юности моей Утраченной въ безплодныхъ испытаньяхъ, О строгости заслуженныхъ упрековъ, О дружбъ, заплатившей мнъ обидой — За жаръ души довърчивой и нъжной — И горькія кип'вли въ сердці чувства...

Къ печальнымъ и горькимъ воспоминаніямъ о прошломъ присоединились невзгоды настоящаго, встрътившія поэта на родинъ, въ кругу семьи. По донесению исковской полиции, Пушкинъ прибылъ въ село Михайловское 9 августа 1824 года, а 31 октября онъ уже пишеть Жуковскому письмо, живо и върно рисующее отношение къ нему отца. "Милый, прибъгаю къ тебъ. Посуди о моемъ положени! Прівхалъ сюда, быль я встрвчень всеми какъ нельзя лучше, но скоро все перемънплось. Отецъ, испуганный моею ссылкою, безпрестанно твердить, что и его ждеть та же участь. Пещуровь, назначенный за мною смотръть, имълъ безстыдство предложить отцу моему должность распечатывать мою переписку; короче, быть моимъ шпіономъ. Вспыльчивость и раздражительная чувствительность отца не позволили мив съ нимъ объясниться; я решился молчать. Отецъ началь упрекать брата въ томъ, что я преподаю ему безбожіе. Я все молчалъ. Получають бумагу, до меня касающуюся. Наконецъ, желая вывести себя изъ тягостнаго положенія, прихожу къ моему отцу и прошу позволенія говорить искренно — болже ни слова... Отецъ осердился. Я поклонился, сълъ верхомъ и ужхалъ".

Отецъ, подъ вліяніемъ Жуковскаго или по собственному побужденію, уѣхалъ со всею семьею изъ Михайловскаго и отказался отъ надзора за сыномъ. Къ ноябрю 1824 г. Пушкинъ зажилъ одиноко съ няней Ариной Родіоновной. "Буря, кажется, успокоилась", пишетъ онъ одиому изъ пріятелей. "Вотъ уже четыре мѣсяца, какъ я нахожусь въ глухой деревнѣ, — скучно, да нечего дѣлать. Здѣсь нѣтъ ни моря, ни итальянской оперы, ни васъ, друзья мои. Но зато нѣтъ ни саранчи ни милордовъ Воронцовыхъ. Уединеніе мое совершенно, праздность торжественна. Сосѣдей около меня мало, я знакомъ только съ однимъ семействомъ, да и то вижу довольно рѣдко, — совершенный Онѣгинъ; цѣлый день верхомъ; вечеромъ слушаю сказки моей няни, оригинала Татьяны; она — единственная моя подруга, и съ нею миѣ не скучно".

Въ IV главъ "Евгенія Онъгина" Пушкинъ изображаетъ свой скромный образъ жизни въ селъ Михайловскомъ. По утрамъ льтомъ онъ купался въ ръкъ Сороти, протекавшей у подошвы холма, на которомъ находился "смиренный домъ", гдъ жилъ поэтъ съ нянею. Зимою бралъ холодную ванну. Носиль простой деревенскій нарядь. "Прогулки, чтенье, сонь глубокій, лісная тінь, журчанье струй, узді послушный конь ретивый, объдъ довольно прихотливый, бутылка свътлаго вина, уединенье, тишина" — вотъ содержаніе жизни пашего поэта. Одна комната съ ширмами служила Пушкину спальней, столовой, рабочимъ кабинетомъ. На другой поло винъ дома находилась просторная комната, гдъ жила няня Арина Родіоновна, которая туть же наблюдала за толпой кръпостныхъ швей и ткачихъ, работавшихъ для господъ. Съ няней поэтъ короталъ длинные зимніе вечера, объ одномъ изъ которыхъ говоритъ въ знаменитомъ стихотворении "Зимий вечеръ".

Уединенная жизнь благотворно дъйствовала на Пушкина. Она подходила къ его характеру, который къ тому времени уже успъль опредълиться въ главныхъ своихъ чертахъ. Это не быль одинъ изъ тъхъ характеровъ, о которыхъ говорятъ: "а онъ, мятежный, ищетъ бури, какъ будто въ буряхъ есть покой". Никогда Пушкинъ не пскалъ жизненныхъ бурь

они сами приходили, или, върпъе, были вызываемы его пылкимъ воображеніемъ. Покой и уединеніе всегда были желанны для него. Еще въ Лицев въ стихотвореніи "Городокъ" Пушкинъ радуется уединенію:

> Блаженъ, кто веселится Въ покоѣ, безъ заботъ...

Тотъ же мотивъ слышится и въ лицейскомъ посланіи къ Юдину:

Не лучше ли въ деревнѣ дальной Или въ смиренномъ городкѣ Вдали столицъ, заботъ и грома Укрыться въ мирномъ уголкѣ?

О, если бы когда-нибудь Сбылись поэта сновидѣнья! Ужель отрадъ уединенья Ему вкусить не суждено!

По выходъ изъ Лицея онъ привътствовалъ прелести скромной деревенской жизни въ стихотвореніи "Уединеніе". Мы подчеркиваемъ стремленіе Пушкина къ покою и уединенію, потому что видимъ въ этомъ важную черту его внутренняго міра. Душевная жизнь Пушкина отличалась раздвоеніемъ чувства и води. Дъятельность не охватывала поэта цъликомъ. Житейскія водненія, битвы не удовлетворяли его. Онъ жаждаль вдохновеній и молитвъ вдали отъ толпы. Пора покоя — ночь особенно привлекала его. Въ одномъ изъ стихотвореній онъ признается, что по ночамъ давалъ себъ отчетъ о прожитомъ днъ, о всей прожитой жизни. Напболъе плодотворнымъ было творчество Пушкина въ деревнъ въ уединеніи, куда онъ увзжаль почти каждый годь съ наступленіемь осени. Все это подтверждаетъ ту мысль, что какъ ни скучно, какъ ни тяжело было Пушкину въ селъ Михайловскомъ, уединенная жизнь соотвътствовала складу его души, укръпляла ее, помогла выработать міросозерцаніе въ главныхъ его чертахъ. А въ связи съ этимъ зръло и приносило драгоцънные плоды поэтическое творчество поэта. Кстати сказать, критика, которая позже доводила Пушкина до крайностей, заставляя его говорить въ знаменитомъ стихотвореніи "Поэтъ и чернь": "молчи, безсмысленный народъ", пока не нарушала его душевнаго равновъсія.

Но я плоды своихъ мечтаній И гармоническихъ затьй Читаю только старой нянь Подругь юности моей.

Или:

Тоской и риемами томимъ, Бродя надъ озеромъ моимъ, Пугаю стадо дикихъ утокъ: Внявъ пѣнью сладкозвучныхъ строфъ, Онѣ слетаютъ съ береговъ.

Тоскливое настроеніе и скуку разгоняли у Пушкина не одиъ только прогулки и старая няня, но и близкіе сосъди, и посъщенія друзей и лицейскихъ товарищей. Впрочемъ, только съ ближайшими сосъдями Михайловскаго, семействомъ Прасковы Александровны Оспповой, близко сощелся Пушкинъ. Много пріятныхъ часовъ провель онъ въ сель Тригорскомъ, въ 2-3 верстахъ отъ Михайловскаго, на холмистомъ берегу ръки Сороти. Прасковья Александровна Осипова высоко цънила Пушкина, и онъ имълъ на нее большое вліяніе. Съ своей стороны и Пушкинъ отвъчалъ ей безграничной дружбой, посвящаль ей стихотворенія, даже выражаль наміреніе купить подлі Тригорскаго клочокъ земли и поселиться на пемъ. Не одна хозяйка Тригорскаго была искренно привязана къ Пушкину. "Съ живописной площадки одного изъ горныхъ выступовъ, на которомъ было расположено помъстье, много глазъ еще устремлялось на дорогу въ Михайловское, видную съ этого пункта, и много сердецъ билось трепетио, когда по ней, огибая извивы Сороти, показывался Пушкинъ или пъшкомъ, въ шляпь съ большими полями и съ толстой палкой въ рукъ, или верхомъ на аргамакъ, а то и просто на крестьянской лошаденкъ". Кромъ двухъ дочерей г-жи Оспповой, Анны и Евпраксіи Николаевны Вульфъ (отъ перваго брака) въ домъ ея постоянно гостили молодыя кузины. Все это женское населеніе Тригорскаго увлекалось Пушкинымъ и вызывало увлеченія съ его стороны. Усталый, послѣ усидчивыхъ занятій у себя въ Михайловскомъ, являлся онъ въ Тригорское и оживляль Здеревенскій одноэтажный домъ, наполненный молодежью. Поднимался шумъ, говоръ, смъхъ, начинались интриги, борьба мододыхъ страстей — и нашъ поэтъ всему даваль тонъ. Не обходилось здёсь и безъ семейныхъ драмъ, ревности и невинныхъ катастрофъ.

Кромф тригорскихъ сосфдей, жизнь невольнаго изгнанника оживлялась пріфздами друзей. Чувство дружбы было очень живо у Пушкина. Онъ легко сближался съ людьми, у которыхъ были общіе съ нимъ интересы. Но наиболфе постоянныя и нфжныя чувства питалъ онъ къ своимъ лицейскимъ друзьямъ. День открытія Лицея 19 октября и въ Михайловскомъ былъ для него праздникомъ. Онъ мысленно пировалъ съ друзьями, празднуя лицейскую годовщину, и наединф съ самимъ собою провозглашалъ тостъ за Лицей. Трое изъ старыхъ товарищей, Дельвигъ, Пущинъ и Горчаковъ навфстили михайловскаго изгнанника. Въ полныхъ глубокаго чувства и высоко-художественныхъ строфахъ вспоминаетъ поэтъ о пріфздф друзей.

Изъ края въ край преслѣдуемъ грозой, Запутанный въ сътяхъ судьбы суровой, Я съ трепетомъ на лоно дружбы новой, Уставъ, приникъ ласкающей главой... Съ мольбой моей, печальной и мятежной, Съ довърчивой надеждой первыхъ лътъ, Друзьямъ инымъ душой предался ифжной, — Но горекъ быль небратскій ихъ привѣть. II нынъ здъсь, въ забытой сей глуши, Въ обители пустынныхъ вьюгь и хлада, Мит сладкая готовилась отрада: Троихъ изъ васъ, друзей моей души, Здёсь обняль я. Поэта домь опальный, О, Пущинъ мой, ты первый посттиль, Ты усладиль изгнанья день печальный, Ты въ день его Лицея превратилъ! Ты, Горчаковъ, счастливецъ съ первыхъ дней, Хвала тебъ — фортуны блескъ холодный, Не измънилъ души твоей свободной: Все тоть же ты для чести и друзей. Намъ разный путь судьбой назначенъ строгой; Ступая въ жизнь, мы быстро разошлись, Но невзначай проселочной дорогой Мы встрътились и братски обнялись. Когда постигь меня судьбины гнѣвъ, Для всёхъ чужой, какь спрота бездомный, Подъ бурею главой поникъ я томной И ждаль тебя, въщунъ пермесскинъ дъвъ, И ты пришель, сынь лени вдохновенный, О, Дельвигь мой! твой голосъ пробудиль Сердечный жаръ, такъ долго усыпленный, II бодро я судьбу благословилъ.

Пущинъ пробылъ въ Михайловскомъ всего одинъ день, но отъ него мы знаемъ о жизни Пушкина тамъ чуть ли не болъе, чъмъ отъ кого-либо другого, такъ какъ въ своихъ запискахъ онъ подробно описываетъ это посъщение опальнаго поэта. Встръча была неожиданна для Пушкина и бурно радостна. "Пушкинъ вообще показался мнъ", говоритъ Пущинъ, "нъсколько серіозніве прежняго, сохраняя, однакожъ, ту же веселость... Прежняя его живость во всемъ проявлялась, въ каждомъ словъ, въ каждомъ воспоминаніи: имъ не было конца въ неумолкаемой нашей болтовнъ... Замътно было, что ему нъсколько наскучила прежняя шумная жизнь, въ которой онъ частенько терялся. Онъ сказалъ, что нъсколько примирился въ эти четыре мъсяца съ новымъ своимъ бытомъ, вначалъ очевь для него несчастнымъ; что туть хотя невольно, но все-таки отдыхаеть отъ прежняго шума и волненій, съ музой живеть въ ладу и трудится охотно и усердно". Эти замътки Пущина подтверждаютъ то заключение, которое высказано выше относительно наклонности поэта къ спокойной жизни.

Но иногда, въ первый годъ, мирный кровъ Михайловскаго оживлялся веселой дружеской пирушкой. Поэта посъщали дерптскій студентъ Вульфъ, сынъ Осиповой отъ перваго брака, и молодой поэтъ Языковъ. Ихъ однажды приглашалъ къ себъ Пушкинъ въ слъдующихъ стихахъ:

Здравствуй, Вульфъ, пріятель мой! Прівзжай сюда зимой, Да, Языкова, поэта Затащи ко мив съ собой. Погулять верхомъ порой, Пострълять изъ пистолета. ... Зашируемъ — ужъ молчи! Чудо — жизнь анахорета! Въ Тригорскомъ до ночи, А въ Михайловскомъ до свъта...

Языковъ въ нѣсколькихъ стихотвореніяхъ разсказываетъ о Михайловскомъ, о Пушкинѣ и его нянѣ:

Что восхитительнѣе, краше Свободныхъ дружескихъ бесѣдъ, восклицаетъ онъ,

Когда за пѣнистою чашей Съ поэтомъ говорить поэть? Жрецы высокаго искусства, Пророки воли божества! Какъ независимы ихъ чувства, Какъ полновѣсны ихъ слова!

Рыбинскій.

Поэтическая д'вятельность Пушкина въ Михайловскомъ.

Въ отношеніи поэтическаго творчества Пушкина два года, проведенные имъ въ Михайловскомъ, были весьма счастливы и принесли обильные плоды. Тутъ, въ тиши уединенія, въ глубокомъ сосредоточеніи, на свободѣ, зрѣли творческіе замыслы поэта и облекались въ рядъ поэтическихъ созданій, въ которыхъ впервые обнаружилась настоящая зрѣлость геніальнаго дарованія Пушкина.

На первомъ мъстъ среди произведеній этой эпохи безспорно стоить "Борись Годуновъ". Первое извъстіе объ этой пьесъ находимъ мы въ припискъ къ письму Пушкина къ кн. Вяземскому отъ 13 іюля 1825 года: "Передо мной моя трагедія. Не могу вытерпъть, чтобъ не выписать ея заглавія: Комедія о настоящей бъдъ Московскому государству, о царъ Борисъ Годуновъ и Гришкъ Отрепьевъ. Писалъ рабъ Божій Александръ сынъ Сергњевъ Пушкинъ въ лъто 7333 на городищъ Вороничъ" (VII, 137). Насколько тогда была выполнена эта работа надъ трагедіей, мы не знаемъ, но осенью того же года Пушкинъ писалъ тому же лицу: "Трагедія моя кончена. Я перечель ее вслухъ, одинъ, и билъ въ ладоши и кричалъ: ай да Пушкинъ!... (VII, 160). Въ черновыхъ бумагахъ Пушкина сохранилось нёсколько отрывочныхъ замётокъ позднёйшихъ годовъ, гдъ Пушкинъ касается своей пьесы, которую онъ называетъ то "комедіею", то "трагедіею", то "драмою": "Комедія о царь Борись и Гр. Отрепьевь писана въ 1825 году, и долго не могъ я ръшиться выдать ее въ свътъ. Изученіе Шекспира, Карамзина и старыхъ нашихъ лътописей дало миж мысль облечь въ формы драматическія одну изъ самыхъ драматическихъ эпохъ новъйшей исторіи. Я писалъ

въ строгомъ уединеніи, не смущаемый никакимъ чуждымъ вліяніемъ. Шекспиру подражалъ я въ его вольномъ и широкомъ изображении характеровъ, въ необыкновенномъ составленін типовъ и простоть; Карамзину следоваль я въ свътломъ развитін происшествій; въ льтописяхъ старался угадать образъ мыслей и языкъ тогдашияго времени. Источники богатые! Успълъ ли ими воспользоваться — не знаю. По крайней мфрф, труды мон были ревностны и добросовфстны" (III, 82—83). Указанія — точныя и совершенно опредъленныя; произведенная последней критикой проверка ихъ анализомъ самой драмы вполнъ подтвердила признанія Пушкина п показала вмъсть съ тъмъ вдумчивую самостоятельность п добросовъстность, съ которыми относился Пушкинъ къ своимъ "источникамъ", зависимость отъ которыхъ автора слъдуетъ понимать лишь въ томъ смыслф, что добытыя изъ нихъ данныя онъ претворяль и перерабатываль въ своемъ творческомъ сознаній и представиль въ концъ концовъ трудъ, и въ цъломъ и въ частяхъ совершенно самостоятельный и обладающій высокими поэтическими достоинствами. Напр., даже зависимость отъ Карамзина, о которой говорить самъ Пушкинъ и которая понималась въ свое время даже такими критиками, какъ Полевой и Бълинскій, въ смыслѣ почти простого пересказа Пушкинымъ нъкоторыхъ страницъ X и XI томовъ "Исторіи Государства Россійскаго", теперь, при ближайшемъ разсмотрѣнін, оказывается далеко не столь близкою и обнаруживающею, напротивъ, весьма самостоятельное отношеніе Пушкина къ Карамзину, пзвёстія котораго онъ восполняль другими источниками, иногда шедшими даже въ противоръчіе съ разсказомъ Карамзина. Это конечно свидътельствуеть о самомъ серіозномъ отношенін Пушкина къ своему труду, который быль ему чрезвычайно дорогь и въ который вложиль онь часть своей души: "Хоть я вообще, - говорить Пушкинъ въ тъхъ же своихъ отрывочныхъ замъткахъ, еще до изданія въ свъть драмы, — довольно равнодущень къ успъху или неудачъ своихъ сочиненій, но, признаюсь, неудача "Бориса Годунова" будетъ мив чувствительна, а я въ ней почти увъренъ. Какъ Монтань, я могу сказать о моемъ сочиненіи: c'est une œuvre de bonne foi. Писаниая мною въ строгомъ уединенін, вдали охлаждающаго свёта, плодъ добросовёстныхъ изученій, постояннаго труда, трагедія сія доставила мив все, чъмъ писателю насладиться дозволено: живое занятіе по вдохновенію, внутреннее убъжденіе, что мною употреблены всъ усилія, наконецъ, одобреніе малаго числа избранныхъ". Въ свонхъ опасеніяхъ относительно успъха "Бориса Годунова" Пушкинъ оказался совершенно правъ: претерпъвъ довольно длинную исторію до своего напечатація, драма увидъла свътъ лишь въ началъ 1831 года и при появленіи своемъ нашла далеко не единодушное пониманіе какъ въ критикъ, такъ и среди читающей публики.

Не подлежить никакому сомивнію, что работа надъ "Борисомъ Годуновымъ", въ которомъ такую видную родь играетъ элементъ старинной русской народной жизии, содъйствовала стремленіямъ Пушкина проникнуть въ окружавшую его дъйствительную народную жизнь. По словамъ Анненкова, "время пребыванія въ Псковъ онъ посвятиль тому, что занимало теперь преимущественно его мысли — изученію пародной жизни. Онъ изыскивалъ средства для отысканія живой народной річи въ самомъ ея источникъ; ходилъ по базарамъ, терся, что называется, между людьми, и весьма почтенные люди города видели его переодетымъ въ мещанскій костюмъ, въ которомъ онъ даже разъявился въ одинъ изъ почетныхъ домовъ Пскова"*). Плодомъ такихъ наблюденій явился именно тотъ сборникъ народныхъ пъсенъ, который, по свидътельству В. П. Киръевскаго, передавъ быдъ ему Пушкинымъ и послужилъ къ обогащенію замичательнаго собранія Киржевскаго произведеній народнаго творчества, увидъвшаго свъть гораздо позже, а также и тъхъ "полународныхъ, полувыдуманныхъ произведепій", какъ выражается Анненковъ, въ которомъ мы находимъ "смъщение творчества личнаго и условнаго съ общенароднымъ и непосредственнымъ".

Другимъ обширнымъ поэтическимъ трудомъ, занимавшимъ Пушкина въ Михайловскомъ, былъ "Евгеній Онфгинъ". Какъ извъстно изъ собственныхъ указаній Пушкина, романъ этотъ писался имъ въ продолженіе десяти лътъ: начатъ въ 1822 г. и оконченъ въ 1831-мъ. Изъ восьми главъ, составляющихъ это произведеніе Пушкина, которое является, можно, сказать, центромъ всего его поэтическаго творчества, четыре напи-

^{*)} Матеріалы, 2 изд. стр. 144.

В. Покровскій. А. С. Пушкивъ.

саны въ Михайловскомъ, именно: третья, четвертая, пятая и шестая. Если припомнить содержание этихъ главъ (семья .laриныхъ, посъщение ея въ первый разъ Онъгинымъ, письмо Татьяны къ Онфгину, ея сонъ, балъ, поединокъ Онфгина и Ленскаго), то окажется, что въ нихъ сосредоточивается главное содержаніе романа и главныя его поэтическія красоты описательнаго характера — какъ картины деревенской помъщичьей жизни и сельской природы въ разныя времена года. Едва ли можно сомнъваться въ томъ, что матеріаломъ для этихъ последнихъ являлись живыя наблюденія Пушкина надъ окружавшей его помъщичьей жизнью въ Михайловскомъ и Тригорскомъ. Что касается действующихъ въ романе лицъ, то уже давно извъстно мивніе Анценкова о томъ, что въ Татьянъ и Ольгъ Пушкинымъ изображены, въ поэтическомъ претвореніи, Анна и Евпраксія Николаевны Вульфъ. Это мивніе находить себъ подтверждение въ опубликованномъ въ самое послъднее время дневникъ Алексъя Н. Вульфа, гдъ онъ говоритъ по поводу чтенія "Евгенія Онъгина": "Онъ (романъ) не только почти весь написань въ монхъ глазахъ, но я даже быль дъйствующимъ лицомъ въ описаніяхъ деревенской жизни Онфгина, ибо она вся взята изъ пребыванія Пушкина у насъ, въ губернін Исковской. Такъ я, дерптскій студенть, явился въ видъ гёттингенскаго подъ названіемъ Ленскаго; любезныя мон сестрицы суть образцы его деревенскихъ барышень, и чуть не Татьяна ли одна изъ нихъ. Многія изъ мыслей, прежде чёмъ я прочелъ ихъ въ "Опъгниъ", были часто въ бесъдахъ глазъ на глазъ съ Пушкинымъ въ Михайловскомъ пересуждаемы между нами, а послъ я встръчалъ ихъ, какъ старыхъ знакомыхъ. О иянъ Аринт Родіоновит, какъ оригиналт ияни Татьяны, было засвидътельствовано самимъ Пушкинымъ. Отдъльныя главы "Евгенія Онъгина" выходили въ печати постепенно съ 1825 по 1832 годъ, при чемъ первая вышла въ 1825-мъ, а вторая въ 1826 году; въ неразръзанные листы этой послъдней главы Пушкинъ вложилъ и поднесъ въ Тригорскомъ А. П. Кернъ знаменитое свое поэтическое признание "Я помию чудное мгновенье...", составляющее одно изъ украшеній Пушкинской лирики за время его жизни въ Михайловскомъ.

Дописывая шестую главу "Опѣгина" и уже волнуемый надеждой скоро выйти на свободу, поэть въ послъднихъ строфахъ ея такъ прощается со своей молодостью и посылаеть привътъ своему деревенскому уединенію, которое онъ готовъ былъ покинуть:

> Такъ, полдень мой пасталъ, и — нужно Мнѣ въ томъ сознаться — вижу я. Но, такъ и быть, простимся дружно, О юность легкая моя! Благодарю за наслажденья, За грусть, за милыя мученья, За шумъ, за бури, за пиры, За всѣ, за всѣ твои дары; Благодарю тебя. Тобою Среди тревогь и въ тищинъ Я насладился... и вполнъ. Довольно! Съ ясною душою Пускаюсь нынѣ въ новый путь Отъ жизни прошлой отдохнуть. Дай оглянусь. Простите жъ, съни, Гдѣ дни мон текли въ глуши, Исполнены страстей и лѣни И сновъ задумчивой души. А ты, младое вдохновенье, Волнуй мое воображенье, Дремоту сердца оживляй, Въ мой уголь чаще прилетай, Не дай остыть душт поэта, Ожесточиться, очерствъть, II наконецъ окаменъть...

Изъ менъе значительныхъ произведеній этого времени должны быть названы: "Графъ Нулинъ", "Женихъ", нъсколько экскурсовъ въ область иностранныхъ литературъ въ видъ переводовъ, подражаній или самостоятельныхъ произведеній въ духъ иностранныхъ писателей, наконецъ — лирическія стихотворенія и нъсколько отрывковъ въ прозъ.

"Графъ Нулинъ (1825 г.) представляетъ собою живое, но праткое поэтическое описаніе одного эпизода изъ помѣщичьей жизни въ деревиѣ, при чемъ въ лицо главнаго героя произведенія авторъ вложилъ иѣсколько сатирическихъ чертъ, обличающихъ какъ легкомысліе семейныхъ правовъ, такъ и тогдашнее рабское отношеніе ко всему французскому, начиная съ мыслей и кончая послѣдними подробностями моднаго костюма. О происхожденіи этого произведенія Пушкинъ позже (въ 1833 году) писаль: "Въ концѣ 1825 года находися въ деревиѣ и, перечитывая Лукрецію, довольно слабую поэму Шекъ

спира, подумаль: что если бы Лукреціи пришло въ голову мысль дать пощечину Тарквивію? Быть можеть, это охладило бы его предпріимчивость, и онъ со стыдомъ принуждевъ быль бы отступить. Лукреція бы не зарѣзалась, Публикола не взбѣсился бы — и міръ и исторія міра были бы не тѣ. Мысль пародировать исторію и Шекспира мнѣ представилась. Я не могъ воспротивиться двойному искушенію, и въ два утра написаль эту повѣсть". "Графъ Нулинъ" увидѣлъ свѣтъ нѣсколько позже, сначала въ отрывкахъ, затѣмъ въ цѣломъ видѣ п въ 1527 и 1828 годахъ. Слѣдомъ личныхъ впечатлѣній поэта въ этомъ произведеніи являются стихи:

Кто долго жиль въ глуши печальной, Друзья, тоть върно знаеть самъ, Какъ сильно колокольчикъ дальній Порой волнуеть сердце намъ. Не другь ли ъдеть запоздалый, Товарицъ юности удалой?

Стихотвореніе "Женихъ" (1825 г.) есть поэтическій перссказъ простонародной сказки, быть можетъ, слышанной Пушкинымъ отъ своей няни; по складу своему оно напоминаетъ баллады изъ старинной русской жизни во вкусъ Жуковскаго и среди произведеній Пушкина стоитъ довольно одиноко.

Мы знаемъ уже, что въ Михайловскомъ Пушкинъ усердно читалъ Шекспира и Вальтеръ-Скотта и въ одномъ письмъ къ князю Вяземскому (въ сентябръ 1825 г.) сожальлъ о невозможности основательно заняться въ деревнъ англійскимъ языкомъ. Но не одна англійская литература тогда занимала его. Изъ французской онъ въ особенности увлекался А. Шенье, которому подражаль и переводиль его (1824-1825 гг.) и въ память котораго написаль свое знаменитое стихотвореніе "Андрей Шенье" (1825 г.), благодаря которому онъ нъсколько позже (въ 1827 г.) едва не поплатился серіознымъ наказаніемъ и избътъ его только потому, что стихотворение написано было до всемилостивъйшаго манифеста 22 августа 1826 года. Пытался перелагать въ это время Пушкинъ кое-что съ итальянскаго и португальскаго (1825 г.) и написалъ весьма замъчательпую "Сцену изъ Фауста" (1826 г.), навъянную мыслью о знаменитой поэмъ ведикаго германскаго поэта, о которой въ 1827 г. Пушкинъ выразился, что "Фаустъ есть величайшее создание поэтическаго духа", которое служитъ представителемъ новъйшей поэзін, точно какъ Иліада служить памятникомъ классической древности".

Попытками углубленія въ древнюю жизнь является у Пушкина съ одной стороны подражание "Пъсни пъсней", съ другой — первый набросокъ стихотворенія "Клеопатра" (1825 г.), который онъ имълъ въ виду вставить спачала въ повъсть изъ древне-римской жизни, а потомъ въ повъсть изъ современнаго русскаго великосвътскаго быта; результатомъ этого явились отрывки повъсти "Египетскія вочи", надъ которой Пушкинъ работаль десять лътъ спустя (1835 г.) и которую все-таки оставиль неоконченной. Пушкинь именно хотёль воспользоваться эпизодомъ изъ древне-египетской жизни, какъ средствомъ поэтическаго эффекта, для болъе яркаго изображенія современной ему русской жизии, и хотя по неоконченности произведенія послідняя ціль не была достигнута поэтомъ, однако само по себъ стихотвореніе "Клеопатра" представляетъ собою, по общему признанію, нъчто въ высшей степени совершенное по глубокому вдохновенію, яркости образовъ п исторической върности, переносящей читателя разомъ въ изображаемую обстановку въ такой степени, какая могла быть доступна лишь вполнъ возмужавшему поэтическому генію.

До извъстной степени близко подходять къ этому идеалу поэтическаго проникновенія въ чужую и далекую обстановку и девять стихотвореній Пушкина, объединенныхъ общимъ именемъ "Подражаніе Корану" (1824 г.) и посвященныхъ авторомъ П. А. Осиповой; съ замъчательной върностью и выразительностью передана тутъ своеобразная поэзія священной книги Магомета со всей ея наивной глубиной и реторическимъ павосомъ.

Что касается мелкихъ лирическихъ стихотвореній, писанныхъ Пушкинымъ въ Михайловскомъ, то кромѣ тѣхъ, о которыхъ было уже упомянуто, здѣсь можно указать еще на отголоски завязавшихся на югѣ нѣжныхъ привязанностей поэта и на стихотворенія, въ которыхъ Пушкинъ говоритъ о своемъ поэтическомъ призваніи.

Глубиною искренняго чувства дышатъ стихотворенія "Соженное письмо" и "Желаніе славы" (оба — 1825 г.), въ которыхъ Пушкинъ отдается сладкимъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и грустнымъ воспоминаніямъ чистой любви къ женщинѣ, съ которой силою обстоятельствъ ему пришлось разстаться. Къ этой же

категоріи должна быть отнесена не по лицу, къ которому обращена, но по характеру внушпвшаго ее чувства, элегія "Подъ небомъ голубымъ страны своей родной" (1826 г.), написанная на смерть г-жи Ризничъ, волновавшей воображеніе поэта и до этого и даже послѣ ея смерти. Элегія эта по глубинѣ чувства, по высокому поэтическому стилю и иѣжности колорита безспорно принадлежитъ къ числу перловъ Пушкинской лирики. Нѣсколько пиымъ, менѣе возвышеннымъ и чистымъ характеромъ отличалось увлеченье Пушкина одною изъ пріѣзжихъ обитательницъ Тригорскаго А. П. Кернъ, вызвавшей также изъ-подъ пера Пушкина превосходное стихотвореніе "Я помню чудное мгновенье", о 'которомъ было уже упомятуто выше.

Въ стихотвореніяхъ "Разговоръ книгопродавца съ поэтомъ" (1824 г.) и "Пророкъ" (1826 г.) Пушкинъ раскрываетъ сокровенныя тайны своего поэтическаго сознанія, и если въ первомъ изъ нихъ, сначала ревниво оберегая чистоту и искренность своихъ творческихъ побужденій, поэтъ тъмъ не менте въ концъ какъ бы сдается на доводы практицизма, то во второмъ, далекій отъ всякихъ колебаній, онъ встаетъ передъ нами въ величавой роли вдохновеннаго проповъдника и гланіатая воли самого Бога:

Возстань, пророкъ, и виждь и внемли, Исполнись волею Моей. И, обходя моря и земли, Глаголомъ жги сердца людей!

Наконецъ, въ прозъ, за время пребыванія своего въ Михай ловскомъ, Пушкинъ не представилъ ничего замъчательнаго: это или краткія журнальныя статьи (для "Московскаго Телеграфа" 1825 года), или летучія замътки при чтеніи разныхъ книгъ, или отрывки автобіографіи, не имъющіе особаго интереса. Ясно, что въ Пушкинъ тогда не созрълъ еще прозаикъ, какъ это имъло мъсто позже, и, идя неудержимо впередъ по пути своего литературнаго развитія, онъ еще продолжаль держаться исключительно стихотворной формы, какъ болъе для него привычной и болъе соотвътствующей той ступени своего поэтическаго настроенія, на которой онъ находился въ ту пору.

Оставаясь въ Михайловскомъ, Пушкинъ не терялъ времени напрасно, воснитывая втипи свой творческій геній путемъ

вдумчивости, самообразованія и дізятельнаго труда. Явившись въ Михайловское авторомъ стихотвореній и поэмъ, на которыхъ, при всей ихъ непосредственной поэтической цённости, лежала еще печать неувъренности и очевиднаго вліянія Байрона, онъ оставляетъ его творцомъ "Бориса Годунова", лучшей части "Евгенія Онфгина" и "Пророка". Такимъ образомъ, въ Пушкинъ изъ Михайловскаго выходитъ на литературное поприще уже вполить серіозный художникъ не только во всеоружін природнаго художественнаго дарованія, но и глубокаго сознательнаго пониманія своихъ дальнъйшихъ задачъ и плановъ. Въ этомъ крупномъ шагъ впередъ и заключается именно та историческая важность, которая придается и должна придаваться въ жизни и дъятельности Пушкина изображенной нами поръ его пребыванія въ "уголкъ земли", гдъ по его собственному позднъйшему признанію онъ провелъ "отшельникомъ два года незамътныхъ". Пътуховъ.

Пушкинъ среди интеллигентнаго общества въ Москвъ.

Москва съ искреннею радостью привътствовала прибытіе Пушкина. Въ самый день его пріъзда быль баль у герцога Девонширскаго, гдъ присутствоваль и государь. "Знаешь ли", сказаль онь, обращаясь къ графу Блудову, "что я нынче долго говориль съ умнъйшимь человъкомъ въ Россіи?" На вопросительное недоумънье графа Блудова Николай Павловичь назваль Пушкина. Съ многолюднаго бала въсть о пріъздъ поэта облетъла всю Москву.

Вся читающая публика съ восторгомъ встрътила возвращеніе изгнанника. Старые друзья спъшили повидать его; незнакомые старались съ нимъ познакомиться. Великосвътскіе салоны радушно открыли ему свои двери. Литературныя сборища стали многолюднъе: всякій спъшилъ на нихъ въ надеждъ увидъть Пушкина.

Окруженный многочисленными поклонниками и отуманенный ихъ восторженными похвалами, поэтъ нашъ скоро забылъ всякую осторожность. Жадиое любопытство друзей къ его новымъ, еще неизвъстнымъ произведеніямъ кружило ему голову, и онъ съ удовольствіемъ поддавался ихъ просьбамъ и

дълился съ ними неизданными сокровищами своего портфеля. Такъ, на одномъ изъ вечеровъ С. А. Соболевскаго, въ присутствіи Д. В. Веневитинова, графа М. Ю. Вельегорскаго, П. В. Кирѣевскаго и П. Я. Чаадаева, овъ прочелъ своего "Бориса Годунова". Черезъ нѣсколько дней чтеніе это повторилось въ кружкѣ университетскихъ молодыхъ ученыхъ: Шевырева, Погодина и др., съ которыми Пушкинъ сошелся чрезъ князя Вяземскаго и поэта Веневитинова.

"Октября 12, поутру, — разсказываетъ Погодинъ въ своихъ "Воспоминаніяхъ", — спозаранку мы собрались всѣ къ Веневитинову и съ трепещущимъ сердцемъ ожидали Пушкина. Въ 12 часовъ онъ явился.

..Какое дъйствіе произвело на всъхъ насъ это чтеніе, передать невозможно. До сихъ поръ еще, а этому прошло почти 40 лътъ, кровь приходитъ въ движение при одномъ воспоминанін. Надо припомнить, - мы собрались слушать Пушкина, воспитанные на стихахъ Ломоносова, Державина, Хераскова, Озерова, которыхъ всё мы знали наизусть. Учителемъ нашимъ былъ Мерзляковъ. Надо припомнить и образъ чтенія стиховъ, господствовавшій въ то время. Это быль распивь, завищанный французскою декламаціей, которой мастеромъ считался Кокошкинъ 'н послъднимъ представителемъ былъ въ наше время графъ Блудовъ. Наконецъ, надо представить себъ самую фигуру Пушкина. Ожидаемый нами величавый жрецъ искусства — это былъ средняго роста, почти низенькій человічекъ, вертлявый, съ длинными, ивсколько курчавыми по концамъ волосами, безъ всякихъ притязаній, съ живыми, быстрыми глазами, съ тихимъ, пріятнымъ голосомъ, въ черномъ сюртукъ, въ темномъ жилетъ, застегнутомъ наглухо, въ небрежно подвязанномъ галстукъ. Вмъсто высокопарнаго языка боговъ мы услышали простую, ясную, обыкновенную и, между тъмъ, пінтическую, увлекательную річь!

"Первыя явленія выслушаны тихо и спокойно, или, лучше сказать, въ какомъ-то недоумѣніи. Но чѣмъ дальше, тѣмъ ощущенія усиливались. Сцена лѣтописателя съ Григоріемъ всѣхъ ошеломила. Мнѣ показалось, что мой родной и любезный Несторъ поднялся изъ могилы и говоритъ устами Пимена, мнѣ послышался живой голосъ русскаго древняго лѣтописателя. А когда Пушкинъ дошелъ до разсказа о посѣщеніи Кириллова монастыря Іоанномъ Грознымъ, о молитвѣ иноковъ: "да нис-

пошлеть Господь покой его душь страдающей и бурной, мы просто какъ будто обезпамятьли. Кого бросало въ жаръ, кого въ ознобъ. Волосы становились дыбомъ. Не стало силъ воздерживаться. Кто вдругъ вскочить съ мъста, кто векрикнеть; то молчаніе, то взрывъ восклицаній, напр., при стихахъ Самозванца:

Тънь грознаго меня усыновила Димитріемъ изъ гроба нарекла, Вокругъ меня народы возмутила, И въ жертву миъ Бориса обрекла.

"Копчилось чтеніе. Мы смотрёли другь на друга долго и потомъ бросились къ Пушкину. Начались объятія, поднялся шумъ, раздался смёхъ, полились слезы, поздравленія. Эванъ, эвое, дайте чаши! Явилось шампанское, и Пушкинъ одушевился, видя такое свое дёйствіе на избранную молодежь. Ему было пріятно паше волиеніе. Онъ началъ намъ, поддавая жару, читать пёсни о Стенькѣ Разинѣ, — какъ онъ плавалъ ночью по Волгѣ на востроносой своей лодкѣ, предисловіе къ "Руслану и Людмилѣ":

У лукоморья дубъ зеленый, Златая цёнь на дубѣ томъ; И днемъ и ночью котъ ученый Тамъ ходитъ по цёни кругомъ: Идетъ направо — пёснь заводитъ, Налёво — сказку говоритъ.

"Началь разсказывать о планѣ для "Димитрія Самозванца", о палачѣ, который шутить съ чернью, стоя у плахи на Красной площади, въ ожиданіи Шуйскаго, о Маринѣ Мнишекъ съ Самозванцемъ, — сцену, которую написаль онъ, гуляя верхомъ, и потомъ позабыль вполовину, о чемъ глубоко сожалѣлъ".

Въ Москвъ нашелъ Пушкинъ многихъ изъ старыхъ друзей. Князь П. А. Вяземскій встрътилъ его, какъ родного. Частая переписка, длившаяся все время изгнанія поэта, поддерживала искреннія отношенія двухъ друзей, и встръча ихъ послъ долгой разлуки была радостна для ихъ обоихъ. Князь Вяземскій былъ уже семейнымъ человъкомъ. Жена его, познакомившись съ Пушкинымъ еще въ Одессъ, не меньше мужа обрадовалась его возвращенію, и поэтъ нашъ скоро сталъ совершенно своимъ человъкомъ въ ихъ домъ. Всъ домашніе, даже дъти и

ихъ гувернеры и гуверпантки, всей душой къ нему привязались, и онъ проводилъ у князей Вяземскихъ большую часть своего времени.

Кромъ князей Вяземскихъ, изъ прежнихъ пріятелей Пушкина въ то время, о которомъ идетъ ръчь, въ Москвъ находился еще С. А. Соболевскій. Онъ быль гораздо моложе Пушкина и воспитывался вмъстъ съ его братомъ Львомъ Сергъевичемъ, въ Благородномъ пансіонъ. Когда Пушкинъ быль сослань на югь, Соболевскій разделяль со Львомъ Сергъевичемъ заботы объ изданіи "Руслана и Людмилы", "Разбойниковъ" и другихъ произведеній Александра Сергьевича. Это и послужило началомъ ихъ сношеній, перешедшихъ позже въ прочную дружбу. Соболевскій пережилъ Пушкина и достигъ извъстности какъ библіофиль и библіографъ, по въ то время, когда Пушкинъ былъ возвращенъ изъ ссылки онъ былъ извъстенъ только иъсколькими сентиментальными стихотвореніями и считался однимъ изъ многихъ, такъ называемыхъ, "архивныхъ юношей". Онъ жилъ въ то время на Собачьей площадкъ, и Пушкинъ по пріъздъ въ Москву остановплся у него.

Приблизительно въ это же время перевхалъ въ Москву и П. В. Нащокинъ. Проживъ, а, главнымъ образомъ, проигравъ въ карты все доставшееся ему отъ богатой матери состоя. ніе, онъ вышелъ въ отставку и перебрался на жительство въ Москву, гдѣ имя его вскорѣ сдѣлалось очень популярнымъ.

Нащокинъ привлекалъ къ себъ всъхъ не прежнимъ богатствомъ, не кутежами молодости съ ночлежнымъ пріютомъ и т. п., но умомъ необыкновеннымъ, переполненнымъ не научною, а врожденною, природною логикой и здравымъ смысломъ; а разсудокъ, несмотря на безразсудное увлеченіе или страсть къ игрѣ, обладавшей имъ отъ юности до старости,— во всѣхъ остальныхъ перипетіяхъ жизни разсудокъ царствовалъ въ его умной головѣ и даже былъ полезенъ для другихъ людей, обращавшихся къ его совѣту или суду при крайнихъ столкновеніяхъ въ жизни.

Была въ Москвъ и еще одна личность, близкая Пушкину въ его молодости и имъвшая всегда неотразимое на него вліяніе. Мы говоримъ о Петръ Яковлевичъ Чаадаевъ. Потерпъвъ неудачу на служебномъ поприщъ, Чаадаевъ вышелъ въ отставку и поселился въ Москвъ, гдъ и жилъ безвыъздно до самой своей смерти, пользуясь всеобщимъ уваженіемъ.

Старыя дружескія связи были, конечно, тотчасъ же возобновлены Пушкинымъ, по прівздв его въ Москву. Но опъ этимъ не ограничился. Кругъ знакомства его быстро расширядся. Гостепріниный домъ Авдотьи Петровны Елагиной радушно открылъ ему свои двери. "Умъ, обширная начитаниость и очаровательная привътливость хозяйки привлекали сюда избранное общество. Даровитые юноши, товарищи и сверстники молодыхъ братьевъ Киртевскихъ (сыновей Авдотьи Петровны) встръчали въ ихъ матери самую искреннюю ласку. Тутъ были киязь Одоевскій, В. П. Титовъ, Николай Матвъевичъ Рожалинъ (знатокъ классическихъ языковъ), А. И. Кошелевъ (другъ И.В. Киръевскаго), С. П. Шевыревъ, А. П. Петерсонъ, М. А. Максимовичъ, Д. В. Веневитиновъ, А. О. Армфельдъ, архивные юноши С. А. Соболевскій и С. С. Мальцевъ (свободно писавшій по-латыни). Жуковскій и Языковъ ввели къ Елагиной А. С. Пушкина, который полюбиль старшаго Кирфевскаго и упоминаетъ о немъ въ своихъ отрывочныхъ запискахъ. Домъ А. П. Елагиной сдълался средоточіемъ московской умственной и художественной жизни. Языковъ совмъстничалъ съ "княгинею русскаго стиха" К. К. Павловой... П. Я. Чаадаевъ являлся на воскресные елагинскіе вечера. Возвращенный изъ ссылки Баратынскій жилъ у Елагиныхъ домашнимъ человъкомъ и цълые дни проводилъ въ задушевныхъ бесъдахъ съ другомъ своимъ, старшимъ Кирфевскимъ. Погодинъ сердечно привязался къ Елагинымъ. Молодой Хомяковъ читалъ у нихъ первыя свои произведенія"...

Къ этому же времени относится знакомство Пушкина съ польскимъ поэтомъ Адамомъ Мицкевичемъ, бывшимъ тогда въ Москвѣ и вращавшимся въ кругу молодыхъ московскихъ литераторовъ и ученыхъ. Знакомство это, длившееся около двухъ лѣтъ (до марта 1829 г.), перешло въ концѣ въ дружбу, которою равно гордились и дорожили оба поэта. Разставшись въ 1829 году, Пушкинъ и Мицкевичъ больше не видались и не переписывались, но помнили другъ друга и издалека перекликались поэтическими произведеніями. Мицкевичъ вспомнилъ Пушкина въ своихъ "Дъдахъ", а позже Пушкинъ отозвался на голосъ Мицкевича, славшаго проклятія Россіи, извъстнымъ стихотвореніемъ: "Онъ между нами жилъ"... и т. д.

Сталкиваясь постепенно съ московскою университетскою молодежью, Пушкинъ мало-по-малу втанулся въ ея интересы. Онъ сблизился съ Шевыревскимъ кружкомъ и принялъ живъйшее участіе въ его планахъ и замыслахъ. Съ особеннымъ сочувствіемъ отнесся онъ къ проекту основанія журнала. Мысль эта совпадала съ давнишнею мечтой поэта о періодическомъ изданіи съ дъльнымъ критическимъ отдъломъ, которое могло бы руководить вкусами публики и въ то же время служить противовъсомъ журналамъ Булгарина и Греча, злоупотреблявшимъ своею монополіей.

"Телки о журналь, — разсказываеть г. Погодинь, — начатые еще въ 1824 и 1825 году, въ обществъ Ранча, усилились. Множество деятелей молодыхъ, ретивыхъ было, такъ сказать, на лицо, и сообщили ему (Пушкину) общее желаніе. Онъ выразиль полную готовность принять самое живое участіе. Послъ многихъ переговоровъ редакторомъ назначенъ былъ я. Главнымъ помощникомъ моимъ былъ Шевыревъ. Много толковъ было о заглавін. Рѣшено: "Московскій Вѣствикъ". Рожденіе его положено отпраздновать общимъ объдомъ всъхъ сотрудниковъ. Мы собрались въ домъ бывшемъ Хомякова: Пушкинъ, Мицкевичъ, Баратынскій, два брата Веневитиновыхъ, два брата Хомяковыхъ, два брата Киртевскихъ, Шевыревъ, Титовъ, Мальцовъ, Рожалинъ, Раичъ, Рихтеръ, Оболенскій, Соболевскій... Нечего описывать, какъ веселъ быль этоть объдь, сколько туть было шуму, смъху, сколько разсказано анекдотовъ, плановъ, предположеній!... Надеждамъ. возлагавшимся на "Московскій Въстникъ", не суждено было оправдаться. Неопытность издателей и неумвиье привлечь публику были тому причиной. Но главнымъ ударомъ для новаго журнала была смерть одного изъ главныхъ его двигателей, даровитаго поэта Веневитинова. Онъ умеръ въ мартъ 1827 года. Послъ вего "Московскій Въстникъ" продолжалъ существовать, но уже клонился къ упадку и, наконецъ, прекратился вовсе. Пушкинъ, которому было по душъ чисто художественное направленіе журнала, поддерживаль его всеми силами: 33 стихотворенія его, въ томъ числѣ отрывокъ изъ "Бориса Годунова", отрывокъ изъ "Графа Нулина" и два отрывка изъ "Евгенія Онфгина", появились въ "Московскомъ Вфстникф"; по все это было напрасно, и журналъ погибъ послъ трехлътняго существованія. Этого, конечно, не могли

предвидъть его основатели, и торжествовали его рожденіе, полное самыхъ радужныхъ надеждъ".

"Между тъмъ въ Москвъ наступило самое жаркое литературное время, — продолжаетъ г. Погодинъ. — Всякій день слышалось о чемъ-инбудь новомъ. Языковъ прислалъ изъ Дерпта свои вдохновенные стихи, славившіе любовь, поэзію, молодость, вино; Денисъ Давыдовъ съ Кавказа; Баратынскій выдаваль свои поэмы; "Горе оть ума" Грибовдова только что начало распространяться. Пушкинъ прочедъ "Пророка" (который послъ "Бориса" произвелъ наибольшее дъйствіе) и познакомилъ насъ съ следующими главами "Онегина", котораго до тъхъ поръ напечатана только первая глава. Между тъмъ на сценъ представляли водевили Писарева съ остроумными его куплетами и музыкой Верстовского. Шаховской ставиль свои комедіп вмѣстѣ съ Кокошкинымъ, Щенкинъ работалъ надъ Мольеромъ, и С. Т. Аксаковъ, тогда еще не старикъ, переводилъ ему "Скупого". Загоскинъ писалъ "Юрія Милославскаго". Дмитріевъ выступиль на поприще со своими переводами изъ Шиллера и Гёте. Всв они составляли особый отъ нашего приходъ, который вскоръ соединился съ нами или, върнъе, къ которому мы съ Шевыревымъ присоединились, потому что вев наши товарищи, оставаясь, впрочемъ, въ постоянныхъ сношеніяхъ съ нами, отправились въ Петербургъ. Оппозиція Полевого въ "Телеграфъ", союзъ его съ "Съверною Пчелой" Булгарина, желчныя выходки Каченовскаго, къ которому явился вскоръ на помощь Недоумко (H. II. Надеждинъ), давали новую пищу. А тамъ еще Дельвигъ съ "Съверными Цвътами", Жуковскій съ новыми балладами, Крыловъ съ баснями, которыхъ выходило по одной, по двъ въ годъ, Гнъдичъ съ "Иліадой", Ранчъ съ "Тассомъ" и Павловъ съ лекціями о натуральной философіи, гремфвишми въ университеть, Давыдовъ съ философскими статьями. Вечера, живые и веселые, слёдовали одинъ за другимъ: у Елагиныхъ и Кирфевскихъ за Красными воротами, у Веневитиновыхъ, у меня, у Соболевского въ домъ на Дмитровкъ, у княгини Волконской на Тверской. Въ Мицкевичъ открылся даръ импровизаціп. Прівхаль Глинка, связанный болве другихъ съ Мельгуновымъ, и присоединилась музыка". Таковы были интересы, начавшіе съ зимы 1826-27 года волновать московское интеллигентное общество, а съ нимъ вмъстъ и нашего поэта. Всю эту зиму

онъ прожиль безвывздно въ Москвв, раздвляя свое время между литературными сборищами, картами и ппрушками, охота къ которымъ еще не остыла.

Венкстериъ.

Пушкинь въ Петербургъ.

Пушкинъ со времени женитьбы по самый день несчастнаго своего поединка быль неутомимымь труженикомъ для жены и дътей. Завистники и недоброжелатели обвиняли его въ корыстолюбін, въ алчности къ наживъ, даже въ неблагодарности къ государю, именно въ томъ смыслъ, что, не довольствуясь пожалованнымъ ему окладомъ, Пушкинъ слишкомъ часто прибъгалъ къ своему державному покровителю съ просьбою о пособіяхъ. Память поэта въ оправданіяхъ не нуждается, а обвинители его не ръшались бы на порицанія, если бы безпристрастиве отнеслись къ общественному положению Пушкина. Женитьба на Гончаровой породинла его съ ижкоторыми знатными фамиліями оббихъ столицъ; посвіщеніе большого свъта было насущной потребностью для жены Пушкина, свътски образованной, молодой красавицы... Эти вывзды были сопражены съ немалыми расходами. Хотя простота одежды самого Пушкина доходила почти до небрежности (въ которой иные видъли своего рода оригинальность или желаніе подражать Байрону), но онъ, страстно любя жену, не могъ равнодушно относиться къ ея туалегу. Песомивино, что скромность въ его одеждъ — эта мнимая оригипальность, была ничъмъ другимъ, какъ самопожертвованіемъ съ его сторны. Замътимъ, что люди такого сорта, для которыхъ свъжесть перчатокъ, покрой фрака, или изящно повязанный галстукъ служать мъриломъ достоинства человъческаго, исподтишка глумились надъ Пушкинымъ, по онъ не оставался въ долгу: пустога, фатовство, мишурность свытскаго круга часто вызывали у него цълый рядъ колкостей. Гравъ Соллогубъ въ воспоминаніяхъ своихъ о Пушкинъ весьма върно передаетъ положение поэта въ кругу великосвътских в людей, полагающихъ хорошій тонъ единственно въ соблюдении условий ненарушимаго кодекса общежитія. "Главное несчастіе Пушкина, — говорить онъ, —

заключалось въ томъ, что онъ жилъ въ Петербургъ и жилъ свътскою жизнью, его убившею. Пушкинъ находился въ средъ, въ которой не могъ не чувствовать себя почти постоянно униженнымъ, и по достатку и по значенію, въ этой аристократической сферъ, къ которой онъ имълъ какое-то непостижимое пристрастіе. Наше общество такъ устроено, что величайній художникъ безъ чина становится въ офиціальномъ міръ ниже послъдняго писаря. Когда при разъъздахъ кричали: "Карету Пушкина!" — Какого Пушкина? — "Сочинителя", Пушкинъ обижался, конечно, не за названіе, а за то пренебреженіе, которое оказывалось къ названію.

За это и онъ оказываль наружное будто бы пренебрежение къ нѣкоторымъ свѣтскимъ условіямъ: не слѣдовалъ модѣ и ъздилъ на балы въ черномъ галстукъ, въ двубортномъ жилетъ, съ откидными, ненакрахмаленными воротничками и т. п. Прочимъ же условіямъ онъ подчинялся безусловно. Жена его была красавица, украшеніе всёхъ собраній и, слёдовательно, предметь зависти всъхъ ея сверстипцъ и сопериидъ. Для того, чтобы приглашать ее на балы, Пушкинъ пожалованъ былъ камеръ-юнкеромъ (къ январю 1834 г.). Пѣвецъ свободы, наряженный въ придворный мундиръ для сопутствія жень-красавицъ, пгралъ роль жалкую, если не смъшную. Пушкинъ былъ не Пушкинъ, а царедворецъ и мужъ. Это онъ чувствовалъ. Къ тому же свътская жизнь требовала значительныхъ издержекъ, на которыя у него часто недоставало средствъ. Эти средства онъ хотъль пополнить игрою, но постоянио проигрываль, какъ всв люди, пуждающіеся въ вынгрышв... Въ томъ же большомъ свъть Пушкинъ встръчалъ разныхъ особъ, кичившихся передъ нимъ знатностью происхожденія, тогда какъ родъ Пушкиныхъ принадлежалъ къ одному изъ старинныхъ дворянскихъ родовъ. Тъмъ не менъе, большинство нашей знати относилось къ Пушкину съ оскорбительнымъ высокомъріемъ. Литературныхъ враговъ Пушкина - писателей по ремеслу, это радовало: "ништо ему, говорили они, зачёмъ льнетъ къ аристопратін, зачъмъ садится не въ свои сани". Тапимъ образомъ, Пушкинъ, по общественному своему положенію, находился между двухъ огней: презрительное пренебрежение знати съ одной стороны, ненависть и укоризны литературной мелочи — съ другой.

Къ новому 1832 году Пушкинъ возвратился въ Петербургъ

изъ Москвы, куда фэдилъ для приведенія въ порядокъ своихъ домашнихъ дѣлъ и откуда спѣшилъ возвратомъ для занятій историческими своими трудами, а также для изданія газеты или журнала и послѣдней главы "Евгенія Онѣгина".

Раннею весною 1833 года Александръ Сергвевичъ съ женою и дочерью, младенцемъ первенцемъ, перевхалъ на дачу, на Черную рфчку, гдв въ то время обыкновенно жили многіе представители высшаго круга. Жизнь Пушкина на дачв ничвить не отличалась отъ жизни труженика-чиновника, ежедиевно ходящаго на службу. Александръ Сергвевичъ также ежедиевно пвшкомъ ходилъ съ Черной рфчки въ Государственный архивъ и въ библіотеку Эрмитажа. Купанье поддерживало его силы, а часы досуга онъ посвящалъ бесвдамъ съ наввидавшими его знакомыми, визитамъ съ женою и уединеннымъ прогулкамъ по окрестностямъ, именно: на острова и въ Новую деревню, гдв ему особенно правилось кладбище. Свътлыя лътнія ночи, такъ неподражаемо имъ воспътыя въ "Опъгинъ" и "Мъдномъ Веадникъ", были попрежнему любезны поэту, и въ ночной тиши всего чаще освияло его вдохновеніе.

Въ исходъ лъта, 12-го августа, взявъ формальный отпускъ отъ мъста своего служенія, Пушкинъ отправился въ путешествіе по юго-восточной Россіи. Онъ хотьль забхать предварительно въ Дерптъ, посътить Екатерину Андреевну Карамзину, которая проживала здъсь по случаю нахожденія въ университетъ ел сына Андрея Николаевича. Что-то помъшало, однако, поэту исполнить это намъреніе. Онъ отправился прямо въ Москву и въ концъ августа былъ уже въ своемъ Болдинъ (Нижегородской губ.); 6-го сентября прибыль въ Казань; вздилъ за 10 верстъ отъ города на Тронцкую мельницу, гдъ стоялъ лагеремъ Пугачевъ; посътилъ купца Крупеникова, бывшаго въ плъну у самозванца. На слъдующій день, 5-го септября, Пушкинъ отправился въ Симбирскъ; 12-го посътилъ село Языково, принадлежавшее поэту Николаю Михайловичу Языкову; 14-го числа вывхаль изъ Симбирска къ Оренбургу, но возвратился съ третьей станціи: заяцъ перебъжаль ему дорогу, и Пушкинъ, върный предразсудку, не ръшился продолжать своего пути. 19-го сентября онъ прибылъ въ Оренбургъ. Сопутствуемый Владимиромъ Ивановичемъ Далемъ, обътажалъ Оренбургскую линію крепостей, повсюду отыскивая преданіи и свидътельствъ очевидцевъ о Пугачевъ. 23-го сентября онъ

вывхаль изъ Оренбурга и черезъ Саратовъ и Пензу прибыль въ Болдино 2-го октября. Здвсь провель болве мьсяца и къ 28 числу ноября возвратился въ Петербургъ. Ефремовъ.

. Інтературная дъятельность Пушкина въ послъдніе годы его жизни.

Пушкинъ дорожилъ свободою труда, которую онъ хотълъ отдать литературнымъ работамъ. Пріятели нашли возможнымъ устроить его къ ихъ общему удовольствію. Положили выхлопотать ему позволеніе издавать политическую газету, которая отчасти бы замѣнила недавно запрещенную "Литературную Газету" Дельвига и добиваться званія исторіографа, упраздненнаго со смертію Карамзина. Эти планы пришлись Пушкину по душѣ. Съ ними какъ нельзя лучше согласовались его гражданскія и патріотическія стремленія. Въ это время Пушкинъ жилъ на дачѣ въ Царскомъ Селѣ, куда переселился и дворъ вмѣстѣ съ Жуковскимъ. Въ Петербургѣ свирѣиствовала холера, а въ Польшѣ возстаніе въ полномъ разгарѣ; въ Европѣ разжигалась ненависть противъ Россіи. Эти обстоятельства и вызвали въ бесѣдѣ друзей мысль о необходимости дѣльной политической газеты.

"Пускай позволять намъ, русскимъ писателямъ, отражать безстыдныя и невъжественныя нападки иностранныхъ газетъ". Эта мысль Пушкина вытекала прямо изъчувства патріотическаго негодованія. Съ этимъ вмѣстѣ у него соединилась и мысль служить посредникомъ между правительствомъ и публикой, разъясняя последней политическія иден въ духе техть принциповъ, которые исторически развивались въ русскомъ народъ. Увлекала его мысль заняться исторіей Петра Великаго въ качествъ исторіографа. Пушкинъ просиль дозволенія заняться историческими изысканіями въ архивахъ и библіотекахъ съ цёлію исполнить свое давнишнее желаніе — написать исторію Петра Великаго и его наследниковъ до Петра III: Съ помощію связей и пріятельскихъ просьбъ, Пушкинъ ни въ чемъ не получилъ отказа. Право посъщать государственные архивы (впрочемъ подъ руководствомъ Блудова) было дано ему тогда же, а прочее объщано...

Но Пушкинъ-поэтъ предупредилъ Пушкина-журналиста.

Поэтъ не ждетъ позволенія, а высказывается въ минуту, когда созръла его творческая дума. Въ августъ мъсяць онъ написаль одно за другимъ два политическія стихотворенія: "Клеветникамъ Россіи" и "Бородинская годовщина" на одну и ту же тему, какъ отвътъ на клевету, брань и оскорбленія, вызванныя противъ Россіи стремленіями, возбужденными за границею польскимъ возстаніемъ. При томъ возбужденномъ состояніи, въ которомъ находилось русское общество, стихотворенія Пушкина произвели сильное впечатльніе: они удовлетворяли оскорбленному патріотизму общества и въ то же время облегчали его, выясняя ему настоящее политическое отношеніе Россіи къ Польшъ и западнымъ государствамъ. Не могли не понравиться они и правительству, которое, какъ они выставляли, исполияло историческую задачу русскаго народа.

Въ своихъ архивныхъ разысканіяхъ Пушкинъ напалъ на матеріалы, относящіеся къ пугачевщинь. Обработка ихъ не требовала много времени, а интересъ эпохи объщалъ хорошія деньги за трудъ. Съ этимъ вместе его фантазія находить матеріаль для историческаго романа, которому не могла грозить опасность запрещенія. Но обрабатывать это при тъхъ условіяхъ, въ какихъ приходилось вести жизнь въ Петербургъ, онъ не находилъ возможности. И вотъ, въ августъ 1833 года, онъ проситъ дозволенія събздить въ свое нижегородское имъніе и посттить Оренбургь и Казань, гдт, онъ надъялся, сохранились въ народъ преданія о пугачевщинъ. Побывавъ въ Казани, Симбирскъ, Оренбургъ, гдъ его принимали, какъ отечественную славу, онъ пріфхаль въ Болдино съ цълію заняться обработкою накопившихся матеріаловъ. Изъ Болдина Пушкинъ возвратился съ оконченной исторіей Пугачевскаго бунта. Государь разръшиль цечатать ее въ казенной типографін и даль на изданіе двадцать тысячь рублей.

Зиму, часть весны и лъто 1835 года Пушкинъ провель въ Петербургъ съ тъми же заботами о своихъ дълахъ... Пушкинъ на осень отправился въ свое любимое Михайловское и Тригорское, но и тамъ заботы о семьъ смущали его уединеніе, и работа шла не попрежнему. На этотъ разъмихайловское уединеніе внушило Пушкину не много стихотвореній; но между ними есть одно, въ которомъ идеальный образъ Петра Великаго снова послужилъ къ тому, чтобы

призывать милость къ падшимъ,— стихотвореніе "Пиръ Петра Перваго":

Царь

Съ подданнымъ мирится, Виноватому вину Отпуская, веселится, Чарку пъпитъ съ нимъ одну; И въ чело его цълуетъ, Свътелъ сердцемъ и лицомъ, И прощенье торжествуетъ Какъ побъду надъ врагомъ.

Обдумывая свое затруднительное положеніе, Пушкинъ остановился на мысли поправить свое состояніе изданіемъ литературнаго журнала. Пушкинъ рѣшился противодѣйствовать тогдашней журналистикѣ, отказавшись отъ политическаго отдѣла и обративъ особенное вниманіе на критику. При своихъ связяхъ и при особенномъ вниманіи императора ему не затрудняли разрѣшеніе журнала. Лишь только распространилась вѣсть объ этомъ предпріятіи Пушкина въ литературномъ мірѣ, какъ весь опъ заволновался, въ особенности же тѣ журналисты, которые имѣли причины опасаться такого сильнаго противника. Мы сказали, что Пушкинъ взялся за изданіе "Современника" изъ расчета, но это не значить, что онъ только и руководился такимъ расчетомъ. Поднять литературу, возвысить ея правственную силу, дать критикѣ надлежащее значеніе было его давнишнимъ стремленіемъ.

Стоюнинг.

Последнія минуты жизин Пушкина.

Я не имъль духу писать къ тебъ, мой бъдный Сергъй Львовичь. Что могь я тебъ сказать, угнетенный нашимъ общимъ несчастіемъ, которое упало на насъ, какъ обвалъ, и всъхъ раздавило? Нашего Пушкина нътъ! Это, къ несчастію, върно, но все еще кажется невъроятнымъ. Мысль, что его нътъ, еще не можетъ войти въ порядокъ обыкновенныхъ, ясныхъ ежедневныхъ мыслей; еще по привычкъ продолжаешь искать его; еще такъ естественно ожидать съ нимъ встръчи въ нъкоторые условные часы; еще посреди нашихъ разговоровъ какъ будто отзывается его голосъ, какъ будто раздается его живой, ребячески-веселый смъхъ, и тамъ, гдъ онъ бывалъ

ежедневно, ничто не перемънилось, нътъ и признаковъ бъдственной утраты, все въ обыкновенномъ порядкъ, все на своемъ мъстъ, а онъ пропадъ, и навсегда — непостижимо! Въ одну минуту погибла сильная, кръпкая жизнь, полная генія, свътлая надеждами. Не говорю о тебъ, бъдный и дряхлый отецъ; не говорю о насъ, горюющихъ его друзьяхъ. Россія дишилась своего любимаго, національнаго поэта. Онъ пропаль для нея въ ту минуту, когда его созръвание совершилось; пропалъ, достигнувъ до той поворотной черты, на которой душа наша, прощаясь съ кипучею, иногда съ безпорядочною силою молодости, тревожимой геніемъ, предается болье спокойной, болье образовательной силь зрълаго мужества, столь же свъжей, какъ и первая, можетъ-быть, не столь порывистой, но болбе творческой. У кого изъ русскихъ съ его смертію не оторвалось что-то родное отъ сердца? И между всеми русскими особенную потерю въ немъ сдълалъ самъ государь. При началъ своего царствованія онъ себъ его присвоиль, онъ развязаль руки ему въ то время, когда онъ былъ раздраженъ несчастіемъ, имъ самимъ на себя навлеченнымъ; онъ следилъ за нимъ до последняго часа; бывали минуты, въ которыя, какъ буйный, еще не остепенившійся ребенокъ, онъ навлекалъ на себя неудовольствія своего хранителя; но во всёхъ изъявленіяхъ неудовольствія со стороны государя было что-то нѣжное, отеческое. Послъ каждаго подобнаго случая связь между ними усиливалась: въ одномъ — чувствомъ испытаннаго имъ наслажденія простить, въ другомъ — живымъ движеніемъ благодарности, которая болфе и болфе проникала въ душу Пушкина и, наконецъ, слилось въ ней съ поэзіею. Государь потерялъ въ немъ свое созданіе, своего поэта, который принадлежаль бы славъ его царствованія, какъ Державинъ славъ Екатерины, а Карамзинъ славъ Александра. И государь, до послъдней минуты Пушкина, остался въренъ своему благотворенію. Онъ отозвался умирающему на последній земной крикъ его, и какъ отозвался! Какое русское сердце не затрепетало благодарностію на этоть голось царскій? Въ этомъ голось выразилось не одно личное, трогательное чувство, но вмфстф и любовь къ народной славъ, и высокій приговоръ нравственный, достойный царя, представителя и славы и нравственности народпой.

Первыя минуты ужаснаго горя для тебя прошли; теперь

ты можешь меня слушать и плакать. Я опишу тебф все, что было въ последнія минуты твоего сына, что я видель самъ, что мив разсказывали другіе очевидцы. Въ среду 27 января, въ 10 часовъ вечера, пріъхаль я къ князю Вяземскому. Мнъ сказывають, что и онь и княгиня у Пушкиныхь, а Валуевь, жъ которому я зашелъ, встръчаетъ меня словами: получили ли вы записку княгиии? За вами давно посылали; поъзжайте къ Пушкину: онъ умираетъ. Оглушенный этимъ извъстіемъ, я побъжаль съ лъстницы. Прівзжаю къ Пушкину. Въ его прихожей, передъ дверями его кабинета, нахожу докторовъ, Арендта и Спасскаго, князя Вяземскаго, князя Мещерскаго. На вопросъ: каковъ онъ? Арендтъ отвъчалъ мнъ: очень плохъ; умреть непременно. Воть что разсказывали мив о случившемся: въ шесть часовъ послъ объда Пушкинъ привезенъ былъ въ этомъ отчаянномъ положенін домой подполковникомъ Данзасомъ, его лицейскимъ товарищемъ. Камердинеръ принялъ его изъ кареты на руки и понесъ на лъстницу. "Грустно тебъ нести меня?" спросиль у него Пушкинь. Его внесли въ кабинеть; онь самь вельль подать себь чистое былье; раздылся и легь на дивань. Въ то время, когда его укладывали, жена, ни о чемъ не знавшая, хотъла войти; но онъ громкимъ годосомъ закричалъ: "n'entrez pas, il y a du monde chez moi". Онъ боядся ее испугать. Жена вошла уже тогда, когда онъ лежаль совсьмь раздытый. Послали за докторами. Арендта не нашли; прівхали Шольць и Задлерь. Пушкинь вельль всьмъ выйти (въ это время у него были Данзасъ и Плетневъ). "Плохо со мною", сказалъ онъ, подавая руку Шольцу. Его осмотръли, и Задлеръ увхалъ за нужными инструментами. Оставшись съ Шольцемъ, Пушкинъ спросилъ: "что вы думаете о моемъ положеніи, скажите откровенно?"- Не могу отъ васъ скрыть, вы въ опасности. — "Скажите лучше, умираю". — Считаю долгомъ не скрывать и того. Но услышимъ мивніе Арендта и Соломона, за которыми послано. — "Je vous remercie, vous avez agi en honnête homme envers moi", сказалъ Пушкинъ, замодчалъ, потеръ рукою добъ, потомъ прибавилъ: "il faut que j'arrange ma maison".—Не желаете ли видъть кого изъ вашихъ ближнихъ? спросилъ Шольцъ. "Прощайте, друзья!" сказаль Пушкинь, обративь глаза на свою библіотеку. Съ къмъ онъ прощался въ эту минуту, съ живыми друзьями шли съ мертвыми, не знаю. Онъ немного погодя спросиль:

"Развъ вы думаете что я часу не проживу?"-О нътъ! но я полагалъ, что вамъ будетъ пріятно увидъть кого-нибудь изъ вашихъ. Господинъ Плетневъ здёсь. — "Да, но я желалъ бы и Жуковскаго. Дайте мив воды, тошнить". Шольцъ, тронулъ пульсъ, нашелъ, что рука была холодна, пульсъ слабъ и скоръ; онъ вышелъ за питьемъ, и послали за мною. Меня въ это время не было дома; и не знаю, какъ это случилось, но ко мит не приходилъ никто. Между ттмъ прітхалъ Задлеръ и Соломонъ. Шольцъ оставилъ больного, который добродушно пожалъ ему руку, но не сказалъ ни слова. Скоро потомъ явился Арендтъ. Онъ съ перваго взгляда увърился, что не было никакой надежды. Начали прикладывать холодныя съ льдомъ примочки на животъ и давать прохладительное интье; это произвело желанное дъйствіе: больной успокоплся. Передъ отъёздомъ Арендта, онъ сказалъ ему: "Попросите государя, чтобъ онъ меня простилъ". Арендтъ увхалъ, поручивъ его Спасскому, домовому его доктору, который во всю ту ночь не отходиль отъ его постели. "Плохо мив", сказалъ Пушкинъ, когда подошелъ къ нему Спасскій. Спасскій старался его успоконть; но Пушкинъ махнулъ рукой отрицательно. Съ этой минуты онъ какъ будто пересталъ заботиться о себъ, и всъ его мысли обратились на жену. "Не давайте излишнихъ надеждъ женъ", говорилъ онъ Спасскому, "не скрывайте отъ нея, въ чемъ дѣло, она не притворщица; вы ее хорошо знаете. Впрочемъ, дълайте со мною, что хотите, я на все согласенъ и на все готовъ". Въ это время уже собрались князь Вяземскій, княгиня, Тургеневъ, графъ Віельгорскій и я. Княгиня была съ женою, которой состояніе было невыразимо; какъ привидъніе пногда прокрадывалась она въ ту горницу, гдъ лежалъ ея умирающій мужъ; онъ не могъ ее видъть (онъ лежалъ на диванъ лицомъ отъ оконъ и двери); но всякій разъ, когда она входила или только останавливалась у дверей, онъ чувствоваль ея присутствіе. "Жена здісь?" говорилъ онъ. "Отведите ее". Онъ боялся допустить ее къ себъ, ибо не хотълъ, чтобъ она могла замътить его страданія, кои съ удивительнымъ мужествомъ пересиливалъ. "Что дълаетъ жена?" спросилъ онъ однажды у Спасскаго. "Она, бъдная, безвинно терпитъ! въ свътъ ее заъдятъ". Вообще съ начала до конца своихъ страданій (кромъ двухъ или трехъ часовъ первой ночи, въ которые они превзошли всякую мъру

человъческого терпвнія) онъ быль удивительно твердъ. "Я былъ въ тридцати сраженіяхъ", говориль докторъ Ареидтъ, "я видълъ много умирающихъ, но мало впдълъ подобнаго". II особенно замъчательно то, что въ эти послъдніе часы жизни онъ какъ будто сдълался иной: буря, которая за нъсколько часовъ водновала его душу неодолимою страстію, псчезла, не оставивъ на ней слъда; ни слова ниже воспоминанія о случившемся. Но вотъ черта чрезвычайно трогательная. Наканунъ получилъ онъ пригласительный билетъ на погребеніе Гречева сына. Онъ вспомпиль объ этомъ посреди своего страданія. "Если увидите Греча", сказаль онъ Спасскому, "поклонитесь ему и скажите, что я принимаю душевное участіе въ его потеръ". У него спросили: желаеть ли исповъдаться и причаститься. Онъ согласился охотно, и положено было призвать священника утромъ. Въ полночь докторъ Арендтъ возвратился. Покинувъ Пушкина, онъ отправился во дворецъ, но не засталъ государя, который былъ въ театръ; онъ сказалъ камердинеру, чтобъ, по возвращени его величества, было донесено ему о случившемся. Около полупочи прівзжаеть къ Арендту оть государя фельдъегерь съ повельніемъ немедленно тхать къ Пушкину, прочитать ему письмо, собственноручно государемъ къ нему написанное, и тотчасъ обо всемъ донести. "Я не лягу, я буду ждать", приказываль государь Арендту. Письмо же приказапо было возвратить. И что же стояло въ этомъ письмъ? "Если Богъ не велить намь болве увидеться, посылаю тебв мое прощеніе и вмъстъ мой совътъ: исполни долгъ христіанскій. О женъ и дътяхъ не безпокойся; я ихъ беру на свое попеченіе". Какъ бы я желалъ выразить простыми словами то, что у меня движется въ душъ при перечитываніи этихъ немногихъ строкъ! Какой трогательный конецъ земной связи между царемъ и тъмъ, кого онъ когда-то отечески присвоилъ и кого до последней минуты не покинуль! Какъ много прекраснаго, человъческаго въ этомъ порывъ, въ этой посившиости захватить душу Пушкина на отлеть, очистить ее для будущей жизни и ободрить последнимъ земнымъ утешенемъ. Я не лягу, я буду ждать! О чемъ же онъ думалъ въ эти минуты ожиданія? Гдъ онъ былъ своею мыслію? О, конечно, передъ постелью умирающаго, его добрымъ земнымъ геніемъ, его духовнымъ отцомъ, его примирителемъ съ Небомъ и собою. Умирающій немедленно исполниль уже угаданное желаніе государя. Послали за священникомь въ ближнюю церковь. Пункинъ исповъдался и причастился съ глубокимъ чувствомъ. Когда Арендтъ прочиталъ ему письмо государя, то онъ вмъсто отвъта поцъловалъ его и долго не выпускалъ изъ рукъ; ко Арендтъ не могъ его ему оставить. Иъсколько разъ Пушкинъ повторялъ: "Отдайте мнъ это письмо, я хочу умереть съ нимъ. Письмо! Гдъ письмо?" Арендтъ успокоилъ его объщаніемъ испросить на то позволеніе у государя. Онъ скоро потомъ уъхалъ.

До пяти часовъ утра въ его положеніи не произошло пикакой перемъны. Но около пяти часовъ боль въ животъ сдълалась нестеринмою, и сила ея одольла силу души; онъ началь стонать, послали опять за Арендтомъ. По прівздв его, нашли нужнымъ поставить промывательное; но оно не помогло и только что усилило страданія, которыя, наконецъ, дошли до крайней степени и продолжались до семи часовъ утра. Что было бы съ бъдною женою, если бы она въ теченіе этихъ двухъ вѣковыхъ часовъ могла слышать его стоны? Я увъренъ, что ел разсудокъ не вынесъ бы этой душевной пытки. Но вотъ что случилось: она, въ совершенномъ изнуреніи, лежала въ гостиной, у самыхъ дверей, кои однъ отдъляли ее отъ постели мужа. При первомъ страшномъ крикъ его, княгиня Вяземская, бывшая въ той же горницъ, бросилась къ ней, опасаясь, чтобы съ нею чего не сдълалось. Но она лежала неподвижно (хотя за минуту говорила); тяжелый летаргическій сонъ овладёль ею, и этоть сонъ, какъ будто нарочно посланный свыше, миновался въ ту самую минуту, когда раздалось последнее стенаніе за дверями. Но въ эти минуты жесточайшаго испытанія, по словамъ Спасскаго и Арендта, во всей сплв оказалась твердость души умирающаго: готовый вскрикнуть, онъ только стональ, боясь, какъ онъ говорилъ самъ, чтобы жена не услышала, чтобъ ее не пспугать. Къ семи часамъ боль утихла. Надобно замътить, что во все время и до самаго конца, мысли его были свътлы и память свъжа. Еще до начала сильной боли онъ подозвалъ къ себъ Спасскаго, велълъ подать какую-то бумагу, его рукою написанную, и заставиль ее сжечь. Потомъ призваль Данзаса и продиктоваль ему записку о ивкоторыхъ долгахъ своихъ. Это его однако изнурило, и послъ онъ уже не могъ сдълать никакихъ другихъ распоряженій. Когда поутру кончились его нестерпимыя страданія, онъ сказаль Спасскому: "Жену! позовите жену!" — Этой прощальной минуты я тебъ не стану описывать. Потомъ потребовалъ дътей; они спали; ихъ привели и принесли къ нему полусонныхъ. Онъ на каждаго оборачиваль глаза молча, клаль ему на голову руку, крестиль и потомъ движеніемъ руки отсылаль прочь. "Кто здъсь?" спросиль онъ у Спасскаго и Данзаса. Назвали меня н Вяземскаго. "Позовите", сказаль онь слабымь голосомь. Я подошель, взяль его похолодъвшую, протянутую ко мнъ руку, поцъловалъ ее; сказать ему ничего я не могъ; онъ махнулъ рукою, и я отошелъ, но черезъ минуту я возвратился къ его постели и спросиль у него: можеть-быть, увижу государя; что мив сказать ему отъ тебя? - "Скажи, отвъчалъ онъ, что мив жаль умереть; быль бы весь его!" Эти слова говориль онъ слабо, отрывисто, но явственно. Потомъ простился онъ съ Вяземскимъ. Въ эту минуту прівхаль графъ Віельгорскій и вошель къ нему, и также впоследние подаль ему живому руку. Было очевидно, что онъ спешиль сделать свой последній земной расчеть и какъ будто подслушиваль шаги приближающейся смерти. Взявши себя за пульсъ, онъ сказалъ Спасскому: "Смерть пдетъ". Когда подошелъ къ нему Тургеневъ, онъ посмотрълъ на него два раза пристально, пожалъ ему руку; казалось, хотвль что-то сказать, но махнуль рукою и только промодвиль: "Карамзину!" Ея не было, за нею немедленно послали, и она скоро прівхала. Свиданіе ихъ продолжалось только минуту; но когда Екатерина Андреевна отошла отъ постели, онъ ее кликнулъ и сказалъ: "Перекрестите меня", потомъ поцъловалъ у ней руку. Въ это время прівхаль докторь Арендть. "Жду царскаго слова, чтобы умереть спокойно", сказадъ ему Пушкинъ. Это было для меня указаніемъ, и я ръшился въ ту же минуту тхать къ государю, чтобы извёстить его величество о томъ, что слышаль. Сходя съ крыльца, я встрътился съ фельдъегеремъ, посланнымъ за мною отъ самого государя. "Извини, что я тебя потревожиль", сказаль онь мив при входв моемь въ кабинеть.-"Государь, я самъ спѣшилъ къ вашему величеству въ то время, когда встрътился съ посланнымъ за мною". Разсказавъ о томъ, что говорилъ Пушкинъ, я прибавилъ: "Я счелъ долгомъ сообщить эти слова немедленно вашему Величеству".-

"Скажи ему отъ меня", сказалъ государь, "что я поздравляю его съ исполненіемъ христіанскаго долга; о женъ же и дътяхъ онъ безпокопться не долженъ: они мон. Тебъ же поруручаю, если онъ умретъ, запечатать его бумаги; ты послъ ихъ самъ разсмотришь". Я возвратился къ Пушкину съ утъшительнымъ отвътомъ государя. Выслушавъ меня, онъ подняль руки къ небу съ какимъ-то судорожнымъ движеніемъ. "Вотъ какъ л утвшенъ!" сказалъ онъ. "Скажи государю, что я желаю ему долгаго, долгаго царствованія, что я желаю ему счастія въ его сынъ, что я желаю ему счастія въ его Россіи... "Между тъмъ данный ему пріемъ опіума нъсколько его успокондъ; къ животу вмъсто холодныхъ примочекъ начали прикладывать мягчительныя; это было пріятно страждущему; и онъ началъ безпрекословно исполнять предписанія докторовъ, которыя прежде всв отвергалъ упрямо, будучи испуганъ своими муками и жадно желая смерти для ихъ прекращенія. Но туть онъ сділался послушень, какъ ребенокь; самъ накладывалъ компрессы на животъ и помогалъ тъмъ, кон около него суетились. Словомъ, ему, повидимому, стало гораздо лучше. Такъ нашелъ его докторъ Даль, пришедшій къ нему въ два часа. "Худо мнъ, братъ", сказалъ Пушкинъ съ улыбкою Далю. Но Даль, действительно имевшій боле другихъ надежды, отвъчалъ ему: "Мы всъ надъемся, не отчаивайся и ты". — "Нътъ! — возразилъ онъ, — мить здъсь не житье; я умру; да видно такъ и надо". Въ это время пульсъ его быль поливе и тверже; началь показываться небольшой общій жаръ. Поставили піявки; пульсъ сталъ ровиве, рвже и гораздо легче. "Я ухватился", говоритъ Даль, "какъ утопленникъ за соломинку, робкимъ голосомъ провозгласилъ надежду и обмануль было и себя и другихъ. "Пушкинъ, замътивъ, что Даль быль пободрже, взяль его за руку и спросиль: "Никого тутъ нътъ?"--"Никого".--"Даль, скажи мив правду, скоро ли я умру? -- "Мы за тебя надъемся, Пушкинъ, право надъемся". — "Ну, спасибо!" отвъчалъ онъ. Но, повидимому, только однажды и обольстился онъ утвшеніемъ надежды; ни прежде ни послъ этой минуты онъ ей не върилъ. Почти всю ночь (на 29-е число, эту ночь всю Даль просидълъ у его постели, а я, Вяземскій и Віельгорскій въ ближней горниць) онъ продержалъ Даля за руку; часто бралъ по ложечкъ воды или по крупинкъ льда въ ротъ, и всегда все дълалъ самъ:

снималь стакань съ ближней полки, теръ себв виски льдомъ, самъ накладывалъ на животъ припарки, самъ ихъ перемънялъ и проч. Онъ мучился менъе отъ боли, нежели отъ чрезмърной тоски. "Ахъ! какая тоска!" иногда восклицалъ онъ, закидывая руки на голову: "сердце изнываетъ!" Тогда просилъ онъ, чтобы подняди его или поворотили на бокъ, или поправили ему подушку; и, не давъ кончить этого, останавливалъ обыкновенно словами: "Ну! такъ, такъ — хорошо; вотъ и прекрасно, и довольно; теперь очень хорошо", или: "Постой — не надо - потяни меня только за руку - ну воть и хорошо, прекрасно!" (все это его точныя выраженія). "Вообще говоритъ Даль, въ обращении со мною онъ былъ повадливъ и послушенъ, какъ ребенокъ, и дълалъ все, чего я хотълъ". Однажды онъ спросиль у Даля: "Кто у жены моей?" — Даль отвъчаль: "Много добрыхъ людей принимаютъ въ тебъ участіе; зала и передняя полны съ утра до ночи".-, Ну, спасибо", отвъчалъ онъ, "однако же поди, скажи женъ, что все, слава Богу, легко; а то ей тамъ пожалуй, наговорятъ". — Даль его не обманулъ. Съ утра 28 числа, въ которое разнеслась по городу въсть, что Пушкинъ умираетъ, его передняя была полна приходящихъ; одни освъдомлялись о немъ черезъ посланныхъ; другіе и люди всъхъ состояній, знакомые и незнакомые — приходили сами. Трогательное чувство національной, общей скорби выражалось въ этомъ движеніи. Число приходящихъ сдёлалось, наконецъ, такъ велико, что дверь прихожей (которая была подлъ кабинета, гдъ лежалъ умирающій) безпрестанно отворялась и затворялась; это безпокоило страждущаго; и мы придумали запереть эту дверь, задвинули ее изъ съней залавкомъ и вмъсто ея отворили другую, узенькую, прямо съ лъстницы въ буфетъ, а гостиную, гдъ находилась жена, отгородили отъ столовой ширмами. Съ этой минуты буфетъ былъ безпрестанно набить народомъ; въ столовую же входили только знакомые. На лицахъ выражалось простодушное участіе; очень многіе плакали. Государь императоръ получалъ извъстія отъ доктора Арендта, который разъ по шести въ день и по нъскольку разъ ночью прівзжаль наввстить больного; государыня великая княгиня (Елена Павловна), очень любившая Пушкина, написала ко мит итсколько записокъ, на которыя я отдавалъ подробный отчетъ ея высочеству, согласно съ ходомъ бользни. Такое участіе трогательно, но оно естественно; естественно

и въ государъ, которому дорога народная слава, какого рода она бы ни была (а въ этомъ отличительная черта нынъщняго государя: онъ любитъ все русское, онъ ставитъ новые памятники и бережетъ старые); естественно и въ націи, которая въ этомъ случат не только за одно съ своимъ государемъ, но этою общею любовію къ отечественной славъ укореняется между ними нравственная связь: государю естественно гордиться своимъ народомъ, какъ скоро этотъ народъ понимаетъ его высокое чувство и витстт съ нимъ любитъ то, что славно отличаетъ его отъ другихъ народовъ или ставитъ съ ними на ряду; народу естественно быть благодарнымъ своему государю за любовь къ отечественной славъ и за великое выраженіе сей любви, ибо въ своемъ государъ онъ видитъ представителя своей чести. Однимъ словомъ, сін изъявленія общаго участія нашихъ добрыхъ русскихъ меня глубоко трогали, но не удивляли. Участіе иноземцевъ было для меня усладительною нечаянностію. Мы теряли свое: мудрено ли, что мы горевали? Но ихъ что такъ трогало? Что думалъ этотъ почтенный Барантъ, стоя долго въ уныніи посреди прихожей, гдъ около него шептали съ печальными лицами о томъ, что делалось за дверями. Отгадать не трудно. Геній есть общее добро; въ поклоненін генію — всв народы родня; и когда онъ безвременно покидаетъ землю, всв провожаютъ его съ одинаковою братскою скорбію. Пушкинъ по своему генію былъ собственностію не одной Россіи, но и цълой Европы; потому-то и [посолъ Францін (самъ знаменитый писатель) приходиль къ дверямъ его съ печалію собственною, и о нашемъ Пушкинъ пожальль, какъ будто о своемъ. Потому же и Люцероде, саксонскій посланникъ, сказалъ собравшимся у него гостямъ въ понедъльникъ ввечеру: "Нынче у меня танцовать не будутъ, нынче были похороны Пушкина".

Возвращаюсь къ своему описанію. Пославъ Даля ободрить жену надеждою; Пушкинъ самъ не имѣлъ никакой. Однажды спросилъ онъ: "который часъ?" и на отвѣтъ ¡Даля продолжалъ прерывающимся голосомъ: "Долго ли... мнѣ... такъ мучиться?... Пожалуйста... поскорѣй!..." Это повторялъ онъ нѣсколько разъ послѣ: "скоро ли конецъ?..." и всегда прибавлялъ: "пожалуйста, поскорѣй!..." Но вообще (послѣ мукъ первой ночи, продолжавшихся два часа), онъ былъ удивительно терпѣливъ. Когда тоска и боль его одолѣвали, онъ дѣлалъ дви-

. .

женія руками или отрывисто кряхтоль, но такъ, что почти его не могли слышать. "Терпъть надо, другъ, дъдать нечего", сказаль ему Даль, "но не стыдись боли своей, стонай, тебъ будеть легче". — "Нътъ, — отвъчаль онъ прерывчиво: — нътъ... не надо... стонать... жена... услышить... смъшно же... чтобъ этотъ... вздоръ меня... пересилилъ... не хочу". Я покинулъ его въ 5 часовъ утра и черезъ два часа возвратился. Видъвъ, что ночь была довольно спокойна, я пошель къ себъ почти съ надеждою, но возвратясь, нашель иное. Арендтъ сказалъ мнъ ръшительно, что все кончено, и что ему не пережить дия. Дъйствительно, пульсъ ослабълъ и началъ упадать примътно; руки начали стыть. Онъ лежалъ съ закрытыми глазами; иногда только подымаль руки, чтобы взять льду и потереть имъ лобъ. Ударило два часа пополудни, и въ Пушкинъ осталось жизни только на три четверти часа. Онъ открылъ глаза и попросилъ моченой морошки. Когда ее принесли, онъ сказаль внятно: "Позовите жену, пускай она меня покормить". Она пришла, опустилась на колени у изголовья, поднесла ему ложечку-другую морошки, потомъ прижалась лицомъ къ лицу его; Пушкинъ погладилъ ее по головъ и сказалъ: "Ну, ну ничего; слава Богу, все хорошо; поди". Спокойное выражение лица его и твердость голоса обманули бъдную жену; она вышла какъ будто просіявшая отъ радости. "Вотъ увидите, сказала она доктору Спасскому, — онъ будетъ живъ: онъ не умретъ". А въ эту же минуту уже начался последній процессъ жизни. Я стоялъ вмъстъ сь графомъ Віельгорскимъ у постели въ годовахъ, сбоку стоялъ Тургеневъ. Даль шепнулъ мив: отходить. Но мысли его были свытлы. Изрыдка только полудремотное забытье ихъ отуманивало; разъ онъ подалъ руку Далю и, пожимая ее, проговорилъ: "Ну, подымай же меня, пойдемъ, да выше, выше... ну, пойдемъ!" Но очнувшись, онъ сказалъ: "Мнъ было пригрезилось, что я съ тобой лъзу вверхъ по этимъ книгамъ и полкамъ! высоко... и голова закружилась". Немного погодя, онъ опять, не раскрывая глазъ, сталъ искать Далеву руку и, потянувъ ее, сказалъ: "Ну, пойдемъ же, пожалуйста; да вмъсть". Даль, по просьбъ его, взялъ его подъ мышки и приподнялъ повыше; и вдругъ, какъ будто проснувшись, онъ быстро раскрылъ глаза, лицо его прояснилось, и онъ сказалъ: "Кончена жизнь!" Даль, не разслушавъ, отвъчалъ: да, кончено; мы тебя поворотили. -

"Жизнь кончена!" повториль онъ внятно и положительно "Тижело дышать, давить!" были последнія слова его его. Я не сводиль съ него глазъ и замътиль въ эту минуту, что движеніе груди, доселѣ тихое, сдѣлалось прерывчивымъ. Оно скоро прекратилось. Я смотрёль внимательно, ждаль послёдняго вздоха; но я его не примътилъ. Тишина, его объявшая, показалась мит успокоеніемъ, а его уже не было. Вст надъ нимъ молчали. Минуты черезъ двъ я спросилъ: "что онъ?"-Кончилось! — отвъчалъ мнъ Даль. Такъ тихо, такъ спокойно удалилась душа его. Мы долго стояли надъ нимъ, молча, не шевелясь, не смъя нарушить таинства смерти, которое совершалось передъ нами во всей умилительной святынъ своей. Когда всъ ушли, я сълъ передъ инмъ, и долго одинъ смотрълъ ему въ лицо. Никогда на этомъ лицъ я не видалъ ничего подобнаго тому, что было на немъ въ эту первую минуту смерти. Голова его нъсколько наклонилась; руки, въ которыхъ было за нъсколько минутъ какое-то судорожное движеніе, были спокойно протянуты, какъ будто упавшія для отдыха послъ тяжелаго труда. Но что выражалось на его лицъ, я скасать словами не умъю. Оно было для меня такъ ново и въ то же время такъ знакомо. Это не было ни сонъ ни покой; не было выраженіе ума, столь прежде свойственное этому лицу, не было также и выраженіе доэтпческое; нъть! какая-то важная, удивительная мысль на немъ развивалась; что-то похожее на видъніе, на какое-то полное, глубоко удовлетворяющее знаніе. Всматриваясь въ него, мнѣ все хотвлось спросить: что видишь, другь? II что бы онъ отвъчаль мив, если бы могь на минуту воскреснуть? Вотъ минуты въ жизни нашей, которыя вполнъ достойны названія великихъ. Въ эту минуту, можно сказать, я увидълъ лицо самой смерти, божественно-тайное; лицо смерти безъ покрывала. Какую печать на него наложила она! и какъ удивительно высказала на немъ и свою и его тайну! Я увъряю тебя, что никогда на лицъ его не видаль я выраженія такой глубокой, величественной, торжественной мысли. Она, конечно, таплась въ немъ и прежде, будучи свойственна его высокой природъ; но въ этой чистотъ обнаружилась только тогда, когда все земное отдълились отъ него съ прикосновеніемъ смерти.

Таковъ быль конецъ Пушкина. Опишу въ немногихъ словахъ то, что было послъ. Къ счастію, я вспомниль во-время,

что надобно съ него снять маску; это было исполнено немедленно, черты его еще не успъли измъниться. Конечно, того перваго выраженія, которое дала имъ смерть, въ нихъ не сохранилось; но все мы имфемъ отпечатокъ привлекательный, изображающій не смерть, а тихій, величественный сонъ. Спустя три четверти часа послъ кончины (во все это время я не отходиль отъ мертваго, мнъ хотьлось взглядъться въ прекрасное лицо) тъло вынесли въ ближнюю горницу; а я, исполняя повельніе государя императора, запечаталь кабинеть своею печатью. Не буду разсказывать того, что сдълалось съ бъдною женою: при ней находились неотлучно княгиня Вяземская, Е. И. Загряжская, графъ и графиня Строгоновы. Графъ взялъ на себя всъ распоряженія похоронъ. Побывъ еще ивсколько времени въ домъ, я повхалъ къ Віельгорскому объдать; у него собрались и всъ другіе, видъвшіе послъднюю минуту Пушкина; и онъ самъ былъ приглащенъ за три дня къ этому объду... праздновать день моего рожденія. Въ вечеру, увлеченный необходимостью, пошель я къ государю, чтобы донести ему о томъ, какъ умеръ Пушкинъ; онъ выслушалъ меня насдинъ въ своемъ кабинетъ: этого прекраснаго часа въ моей жизни я никогда не забуду. На другой день, мы, друзья, положили Пушкина своими руками въ гробъ; а на следующій день, ввечеру, перенесли его въ Конюшенную церковь. И въ эти оба дия та горница, гдъ онъ лежалъ во гробъ, была безпрестанно [полна народомъ. Конечно, болъе десяти тысячь человъкъ перебывало въ ней, чтобы взглянуть на него: многіе плакали; иные долго останавливались и какъ будто хотвли всмотрвться въ лицо его; было что-то разительное въ его неподвижности, посреди этого движенія, и что-то умилительно-таинственное въ той молитвъ, которая такъ тихо, такъ однообразно слышалась посреди этого смутнаго говора. II особенно глубоко тронуло миъ душу то, что государь какъ будто соприсутствовалъ посреди своихъ русскихъ, которые такъ просто, такъ смиренно и съ нимъ заодно выражали скорбь свою о утратъ славнаго соотечественника: всъмъ было уже извъстно, какъ государь утъщиль послъдния минуты Пушкина, какое онъ принималь участіе въ его христіанскомъ покаяніи, что онъ сділаль для его спроть, какъ почтиль своего поэта, и что въ то же время (какъ судія, какъ верховный блюститель нравственности) произнесь въ осуждение тому бъдственному дѣлу, которое такъ внезапно лишило насъ Пушкина. Рѣдкій изъ посѣтителей, помолясь предъ гробомъ, не помолился въ то же время за государя, и можно сказать, что это изъявленіе національной печали о поэтѣ было самымъ трогательнымъ прославленіемъ его великодушнаго покровителя.

Отпъваніе происходило 1 февраля. Многіе изъ нашихъ знатныхъ господъ и многіе изъ иностранныхъ министровъ были въ церкви. Мы на рукахъ отнесли гробъ въ подвалъ, гдъ надлежало ему остаться до отправленія изъ города. З февраля, въ 10 час. вечера, собрались мы въ послъдній разъ къ тому, что еще для насъ оставалось отъ Пупікина; отпъли послъднюю панихиду; ящикъ съ гробомъ поставили на сани; въ полночь сани тронулись; при свътъ мъсяца, я провожалъ ихъ нъсколько времени глазами; скоро они поворотили за уголъ дома, и все, что было на землъ отъ Пушкина, навсегда пропало изъ глазъ моихъ.

Жуковскій.

Самобытность и оригинальность поэзін Пушкина.

Изъ многочисленныхъ, разнообразныхъ рядовъ предшественниковъ и последователей, группирующихся вокругъ Пушкина, возвышается его величавая глава; всв они объемляются имъ, всь они находятся въ немъ. Въ самомъ дъль, онъ есть выраженіе всей полноты русской жизни и потому онъ націоналень въ высшемъ смыслѣ этого слова. Если подъ народнымъ разумъть то, что передается изъ въка въ въкъ въ первоначальной непосредственности, безъ всякаго развитія, по на высшей ступени образованія оно не можеть быть названо національнымъ, потому что благородивищая часть народа, въ которой уже пробудился духъ и открылись духовныя очи, не можетъ имъ удовлетворяться. Только удержавъ эту мысль, мы можемъ опредълить значеніе Пушкина и справедливо судить о его произведеніяхъ. Русскіе сами, по скромности или осторожности, нередко называють Пушкина подражателемь. Но опи уже слишкомъ далеко простерли эту скромность или эту осторожность. То же самое было говорено о лордъ Байронъ. Его поэзія часто можетъ показаться подражаніемъ, и однакожъ въ ней нътъ нисколько подражанія, и однакожъ она вся вышла нзъ его собственнаго духа. Какъ океанъ есть общій резервуарь, въ который сливаются рѣки всѣхъ странъ, такъ точно занасъ духовнаго богатства, скопленный вѣками, есть общее достояніе, которымъ всякій можетъ пользоваться, изъ котораго всякій можетъ черпать (и усванвать себѣ все, что ему нужно. Созданія Шексппра п Гёте, напѣвы Байрона, даже усилія Виктора Гюго, однимъ словомъ, вся сокровищища литературныхъ произведеній переходитъ въ общую поэтическую атмосферу и разрѣшается въ ней; мы вдыхаемъ ее, какъ свободный жизпенный элементъ; она становится матеріаломъ и составною частію новыхъ созданій, которыхъ, вслѣдствіе этого, еще писколько пельзя назвать подражаніями. Только духъ, одинъ духъ можетъ здѣсь рѣшить, кто свободный владѣлецъ и кто рабскій подражатель.

Что Пушкинъ есть поэтъ оригинальный, поэтъ самобытный, - это непосредственно явствуеть изъ впечатленія, производимаго его поэзіею. Онъ могъ заимствовать вившнія формы и итти по стезямъ, до него бывшимъ; но жизнь, вызваниая имъ, — жизнь совершенно новая. Если онъ часто напоминаетъ Байрона, Шиллера, даже Виланда, далъе — Шекспира и Аріоста. то это указываетъ только, съ къмъ можно его сравнить, а не отъ кого должно его производить. Съ Байрономъ онъ ръшительно принадлежить къ одной эпохъ, и даже можно сказать — съ Шиллеромъ, сколько позволятъ допустить это нъкоторыя существенныя измъненія, происшедшія со времени Шиллера во вившиемъ состоянін жизни. Самый внутренній міръ, распрывавшійся въ духѣ поэта, зиждется, большею частію, на тъхъ же основаніяхъ, какія мы видимъ у этихъ поэтовъ; въ немъ та же противоположность и раздоръ мечты съ дъйствительностью, та же тоска, то же полное сомнъній уныніе, та же печадь по утраченномъ и грусть по недостижимомъ счастін, та же разорванность и величественная, великодушная предавность, - всв эти качества, особенно преобладающія въ Байронъ. Но главное, существенное свойство Пушкина, отличающее его отъ нихъ, состоитъ въ томъ, что онъ живымъ образомъ слилъ вст исчисленныя нами качества съ ихъ ръшительною противоположностью, именно, со свъжею духовною гармонією, которая, какъ яркое сіяніе солица, просвъчиваетъ сквозь его поэзію и всегда, при самыхъ мрачныхъ ощущеніяхъ, при самомъ страшномъ от-

чаянін, подаетъ утвшеніе и надежду. Въ гармонін, въ этомъ направленін къ мощному и дъйствительному, укръпляющемъ сердце, вселяющемъ мужество въ духъ, мы можемъ сравнить его съ Гёте. Истинная поэзія есть радость и утъшеніе, и для того, чтобы точно быть этимъ, она нисходитъ до всъхъ страданій и горестей. Укръпляющую, живительную сплу Пушкина испытываеть на себъ всякій, кто будеть читать его созданія. Его геній столь же способень къ комическому и шутливому, сколько къ трагическому и патетическому; особенно же склоненъ онъ къ проническому, которое часто переходитъ у пего въ юморъ, въ благороднъйшемъ смыслъ этого слова. Свътлая гармонія, доброе мужество составляють основу его поэзін, основу, по которой всв другія его свойства пробъгають какъ твии, или, лучше, какъ оттвики. Его характеру вполив равновъсно его выражение: вездъ быстрая краткость, вездъ свъжій, совершенно самостоятельный, сосредоточенный образъ. яркая моднія духа, різкій обороть. Мало поэтовь, которые были бы такъ чужды, какъ Пушкинъ, всего изысканнаго. растянутаго, всякаго соп атоге набираемаго хлама. Его естественность, довольствующаяся самымъ простымъ словомъ, быстро схватывающая и быстро отпускающая каждый предметъ; его могучее воображеніе, полное согръвающей теплоты и величія; его то кроткое, то горькое остроуміе, - все соединяется для того, чтобы произвесть самое гармоническое, самое благотворное впечататийе въ духъ безпрерывно-занятаго и безпрерывно-свободнаго, пи минуты немучимаго читателя.

Для русскаго это впечатльніе тымь могущественные, что проникаеть также въ его національное существо и пробуждаєть въ немь всю половину жизни его отечества, его парода. Созданія Пушкина всь полны Россією, Россією во всьхъ ея направленіяхъ и видахъ. Мы ближе разберемъ значеніе того, что сейчасъ нами сказано, и посмотримъ, какъ національность Пушкина была выгодна для его поэзіи. Всякій поэтъ, который не теряется въ идеальныхъ общностяхъ, выговариваетъ болье или менье жизнь своего парода, характеръ своей страны, и во всякомъ случав, качество этой жизни и этого характера имъетъ сильное вліяніе на его поэзію. По почти всегда кругъ, очерчиваемый имъ, тъсенъ; изъ этого круга почти всегда выходитъ только ньчто одностороннее, ньчто однообразное.

Байровь избъжаль этой тьеноты, прибавивь къ англискому испанское, итальянское и греческое; но опъ обогатиль свою поэзію не иначе, какъ безпрерывными своими путешествіями. Если Гете умъль, сверхъ нъмецкихъ элементовъ, включить въ свою поэзію элементы славянскіе и восточные, то это удалось ему только вследствіе некоторыхъ условій его жизни и по собственной могучести его духа. Но русскому поэту все это разнообразіе разрозненныхъ пространствомъ и духовно различныхъ элементовъ дается уже само собою; все это уже онъ находить въ своемъ національномъ кругу. Ему равно доступны, равпо родственны югь и съверъ, Европа и Азія, дикость и утонченность, древнее и новъйшее; изображая самые различные предметы, онъ изображаетъ предметы отечественные. Величина и могущество Россіи, объемъ и содержаніе русской имперін имфютъ въ этомъ отношенін самос благотворное вліяніе; мы можемъ отсюда видъть, въ какомъ впутрениемъ соотпошеніи съ государствомъ живетъ поэзія. Состоя изъ тѣхъ же самыхъ основныхъ стихій, какія содълывають государство могущественнымь, развивается поэзія изпутри наружу (von innen her). Пушкинъ, владъя мощными силами, вподнъ воспользовался выгодою своей національности, вполив осуществиль ее. Созерцая самыя противоположности, изображаемыя имъ состояція, чувствуещь, что они вст равно принадлежать поэту, что оно на встхъ ихъ имъетъ равныя права; они его, они - русскія. Мы можемъ здёсь, выражаясь собственными словами поэта, сказать:

Отъ финскихъ хладныхъ скалъ до пламенной Колхиды, Отъ потрясеннаго Кремля До стънъ недвижнаго Китая,

вездь — въ мірѣ сельскихъ нравовъ и въ блестящемъ модномъ свътѣ, въ великолѣпныхъ палатахъ и подъ сѣнію цыганской кущи, вездѣ опъ на своей родной почвѣ, и вездѣ на этой почвѣ даетъ отпрыски его поэзія. Дѣйствительно, весь этотъ богатый міръ, во всемъ его объемѣ, претворилъ Пушкинъ въ поэтическое созерцаніе.

Варигагенъ фон-Энзе.

Пушкинъ — національный поэтъ.

Сто лѣтъ тому назадъ подился А. С. Пушкинъ, и мы невольно соединяемъ съ этою памятью — память о зарожденіи нашей новой поэзіи, той поэзіи, которую мы считаемъ своею, въ которой чувствуемъ біеніе нашей жизни, въ колеяхъ которой до сихъ поръ идетъ развитіе нашего изящнаго слова. Эта поэзія ввела насъ впервые и прочно въ круговоротъ западно-европейскихъ литературъ; среди нихъ и наша получала свое опредъленное мѣсто и признаніе. Съ такимъ признаніемъ позволено считаться не изъ одного лишь народнаго тщеславія: оно поднимаетъ наше самосознаніе, подтверждая нашу собственную себъ оцѣнку.

Съ XVIII въка мы вступили въ болъе тъсную связь съ Западомъ; къ намъ приходили оттуда науки, нравы и привычки и принимались, какъ могли, на верхахъ общества; переходили идеалы, до которыхъ мы не дожили; переходили формы стиха и литературные роды и типы, выразившіе итоги извъстнаго историческаго развитія и общественныхъ теченій, чему у насъ ни въ жизни ни въ литературъ ничто не отвъчало. Что общаго между западнымъ понятіемъ о геропзмъ и перенесенною къ намъ геропческою одой съ Марсомъ, Беллоной и т. п.? Одна давала поэту возможность высказать въ торжественныхъ стихахъ свой наивный патріотизмъ, но и пріучала къ ненскреннимъ восторгамъ, открывая горизонты фразъ, въ которыхъ могло выразиться, но часто и терялось народное чувство. Трагедія французскаго типа придаживалась къ русскимъ историческимъ именамъ и воспоминаніямъ — безъ пониманія духа нашей исторін; комедія и сатира бичевали нравы, вскрывая темныя стороны нашего быта, создавая отрицательные типы, полные шаржа; положительные типы — не живыя лица, а указки или проповъдники, отъ Стародума до Чацкаго; они не пережиты, не выстраданы поэтически. Идиллія и burlesque дали намъ кадры для изображеній изъ народной жизни: либо ухарства и разгула, либо пастушковъ, выющихъ вѣнки у своего стада, земледъльцевъ, отдыхающихъ отъ своихъ "непорочныхъ" трудовъ. Когда затъмъ насталъ на Западъ періодъ чувствительности, и у насъ растворились сердца для "ифжифишей тоски", "для священной меланхоліп" (Карамзинъ), "царицы превыспренныхъ мыслей" (Иппокрена VI, 433), и мы плакали

надъ "Бъдной Лизой", въ которой инчего пътъ русскаго, кромъ декораціи. Романтизмъ, естественно развивнийся въ условіяхъ западной литературы и жизни, заразилъ насъ любовью къ народнымъ мотивамъ и мъстному колориту, къ сказачно-страшному послѣ трагически-ужаснаго; но народность нашихъ романтиковъ можно было бы встрътить и на берегахъ Рейна, а очертаніе мъстности расплывались въ мистически-дунномъ освъщеніи. "Нынѣ въ какую книжку ни заглянешь, что ни прочитаешь, пъснь или посланіе, вездъ мечтанія, а натуры ни на волосъ", писалъ Грибоъдовъ (1816 г.). Все это изощряло чувство, вело къ выработкъ языка Жуковскаго и Батюшкова; становилась возможнъе лирика непосредственнаго, личнаго настроенія, но мотивамъ общественности въ ней еще нътъ отзыва.

"Есть русскій языкъ, — говориль въ 1823 — 24 годахъ князь Вяземскій, — но нѣть словесности, достойнаго выраженія народа могучаго и могущественнаго"; "мы еще не имѣемъ русскаго покроя въ литературѣ, можетъ-быть и имѣть не будемъ, потому что его нѣтъ".

Когда писались эти строки, новая русская поэзія уже зародилась. Изъ утреннихъ тумановъ, въ которыхъ вьются тѣни классиковъ и романтиковъ, старыхъ западпиковъ и народинковъ, "Арзамаса" и "Бесѣды", выдѣляется образъ юноши Пушкина, и всѣ точно приглядываются къ нему, прислушиваются: его ждали. Онъ только что вышелъ изъ Лицея, а за его игривой музой всѣ волочатся; его стихи, экспромиты попадаютъ въ публику раньше, чѣмъ въ печать, иные потерялись по дорогѣ: "много алмазныхъ искръ Пушкина разсыпалось тутъ и тамъ въ потемкахъ", говорилъ даже Даль. Когда поэтъ окрѣпъ и могъ сказать о себѣ:

Звуки новые для пѣсенъ я обрѣлъ,

къ нему прикованы всъ взгляды, и признаніе общества перевъшпваетъ голосъ школьной хулы. Въ немъ надежда на что-то новое, желаемое, выяснявшееся постепенно, какъ день растеть съ ходомъ солица. "Старшіе богатыри", Карамзинъ, Жуковскій, Батюшковъ, дивуются на его поъздку богатырскую. "Никто изъ русскихъ писателей не поворачивалъ нашими каменными сердцами, какъ ты", пишетъ ему Рылѣевъ. "Имя твое сдълалось народной собственностью", говорить ему

князь Вяземскій. "Возведи русскую поэзію на ту степень между поэзіями всёхъ народовъ, на которую Петръ Великій возвель Россію между державами. Соверши одинъ, что онъ совершилъ одинъ", ободрялъ его Баратынскій (1828 г.). Пушкинъ — "честь нашей народной жизни, нашей души, нашего слова" ("Московскій Наблюдатель" 1837 г.). "Отечества онъ слава и любовь! Онъ избранникъ, увѣнчанный въ народъ" (Подолинскій, "Переѣздъ черезъ Яйлу", 1837 г.). Такъ помянули его въ годъ смерти.

Это — признаніе не только таланта, но и направленія. У Пушкина оно сказалось рано: первое произведеніе, обратившее на него вниманіе, "Русланъ и Людмила"— народная скоръе обрусъвшая сказка въ стилъ Аріосто, но важно то, что еще въ Лицет на юнаго поэта повъяло народною фантастикой, и когда въ 1828 году опъ говорилъ въ прологъ

Тамъ русскій духъ... тамъ Русью пахнетъ;

онъ связывалъ свое настоящее съ прошедшемъ, безсознательный починъ съ жизненной задачей зрѣлаго художника. Протянемъ эту красную нить по біографіи человѣка и поэта, и мы поймемъ, почему при имени Пушкина насъ "тотчасъ осѣняемъ мысль о русскомъ національномъ поэти» (Гоголь), поймемъ и слова, съ которыми Погодинъ обратился къ студентамъ Московскаго университета по полученію извѣстія о кончинѣ Пушкина: его сочипеніями "пачинается новая эпоха въ русской литературѣ, эпоха національности".

Большіе русскіе поэты стояли у его колыбели; иныхъ онъ видѣлъ въ домѣ отца, другихъ въ Лицеѣ; онъ вчитывался въ нихъ и учился, но его первоначальное воспитаніе было иностранное, главнымъ образомъ, французское, какъ въ большинствѣ образцовыхъ дворянскихъ семей того времени. Его французскія письма не лишены стиля, и въ пору своей "національности" онъ не освободился отъ нѣкоторыхъ галлицизмовъ. Такимъ образомъ опъ естественно попалъ въ колею обычныхъ чтеній, отъ французскихъ классиковъ XVII въка до Вольтера и Парии, Иненье, Инатобріана и Жоржъ Занда, отъ Вальтера Скотта и Байрона до Шекспира, и невольно втягивался въ ихъ кругозоръ, въ прелесть формъ и содержаніе настроеній. Но онъ не подражалъ, какъ наши сентименталисты и романтики, а творилъ на новыхъ стезяхъ. "Та-

лантъ неволенъ, говорилъ онъ, а его подражаніе не есть постыдное похищеніе... признакъ умственной скудости, но благородная надежда на свои собственныя силы, надежда открыть новые міры, стремясь по слѣдамъ генія". Какъ Мольеръ онъ у другихъ бралъ свое: формы, отвѣчавшія его поэтическому чутью, будившія въ немъ свои собственные "звуки новые"; типы, которые онъ находилъ и кругомъ себя, стремленія, которыя дѣлилъ съ лучшими людьми своего времени и самъ переживалъ страстно и тревожно. Уже въ этомъ смыслѣ онъ былъ націоналенъ и могъ сказать:

И неподкупный голосъ мой Быль эхо русскаго народа.

(1819 г. Отвѣтъ на вызовъ написать стихи въ честь государыни императрицы Елизаветы Алексѣевны.)

Оттого онъ и сентименталисть, не романтикъ; байронистъ только по совпаденію западныхъ литературныхъ и русскихъ общественныхъ моментовъ. Отъ Алеко до Онфгина совершался въ самосознаніи переходъ отъ безсодержательныхъ грезъ и "безыменныхъ страданій" къ явленіямъ русской дъйствительности; "другіе дии — другіе сны" (Отрывокъ изъ путешествія Онфгина). Онфгины были на Руси выраженіемъ знаменательнаго времени въ жизни пашего просвъщеннаго общества; Татьяна — такое же живое лицо. Далве русская современность распахнула двери въ прошлое, обязывающее всякаго, кто созналъ историческое назначение своего народа. Въ нашихъ дворянскихъ семьяхъ, несмотря на ихъ полуфранцузское воспитаніе, все еще жили родовыя преданія, преданія, не только спеси, но и дъятельнаго участія въ судьбахъ родной земли. Пушкины ей служили, и поэтъ твердо поминять свою родословную. Его тянеть къ русской старинъ по связи съ настоящимъ: объ этомъ онъ толкуетъ, пишетъ про себя, у него слагаются опредъленные, пъсколько пдеальные взгляды на Петровскую реформу, на культурное, въ англійскомъ смыслъ, значеніе нашего дворянства, какъ свободпаго руководителя народныхъ силъ. Исторія Карамзина стала для него откровеніемъ древности, раскрыла ея "очарованіе"; позже архивные источники и поъздки на мъста дъйствій познакомили его съ матеріалами, почти вторгавшимися въ интересы современности. Все это отлилось въ поэтическихъ образахъ: забыты славянскіе барды и призрачные Вадимы, явился "Борисъ Годуновъ" на фонф безмолвствующаго народа, Инменъ въ поэзін своей кельи, "Капитанская дочка" въ смутахъ пугачевщины; надъ всфии Петръ, "Мфдный всадникъ" и кормчій русской земли, русскій и западникъ вмфстф перегюсившій наши старые порядки и выдвинувшій насъ къ просвъщенію, строгій и милостивый, прежде всего работникъ.

И туть идеть ко мнѣ незримый рой гостей — Знакомцы давніе, плоды мечты моей.

Все это очутилось въ русской обстановкъ, реальной и поэтической, выросло изъ нея, одно съ нею; вездъ ощущается
народная подпочва, впервые — "тихая и безпорывная" (Гоголь
о Пушкинъ) прелесть русскаго пейзажа, интимное пониманіе
крестьянскаго быта; то и другое надо было не только передумать, но и прочувствовать. Вмъсто "Развалинъ замка въ
Ивеціи" явились картины русскаго лъта и осени, зимней
бури съ ея народнымъ чудеснымъ; поэзія русской деревни:

Люблю песчаный косогоръ, Передъ избушкой двѣ рябины, Калитку, сломанный заборъ, На небѣ сѣренькія тучи, Передъ гумномъ соломы кучи.

(Отрывки изъ путешествія Онфгина.)

"Блаженное искусство любоваться красотами и пріятностями натуры" (Болотовъ) привилось къ намъ съ Запада, но только Пушкинъ открылъ намъ красоты нашей избушки, гдѣ живетъ мельникъ "Русалки", старикъ со старухой сказки о "Рыбакѣ и рыбкѣ", и теплится и сверкаетъ своя поэзія жизни- Ни Карамзинъ, ни Жуковскій, ни Батюшковъ не были бы способны спуститься къ уровню "Каприза" (1830 г.), гдѣ Пушкинъ показываетъ "румяному" критику, очевидио, любителю веселыхъ видовъ, глумившемуся надъ "темной музой" романтиковъ, картины русской деревенской дѣйствительности: тѣ же убогія избушки, отлогій скатъ, густая полоса сѣрыхъ тучъ. два тощихъ деревца, обпаженныхъ осенью. Образъ, очевидно, запечатлѣлся, сталъ символомъ, и художникъ развиваетъ его бытовой сценой, тусклой, какъ тонъ пеизажа. Мы предчувствуемъ реализмъ Пекрасова.

На дворѣ живой собаки иѣтъ.
Вотъ, правда, мужичокъ; за иимъ двѣ бабы вслѣдъ.
Безъ шапки онъ; несетъ подъ мышкой гробъ ребенка
И кличетѣ издали лѣниваго попенка,
Чтобъ тотъ отца позвалъ да церковь отворилъ:
Скорѣй, ждать некогда, давно бъ ужъ схоронилъ.

Что же ты нахмурился? спрашиваеть поэтъ румянаго критика.

Пушкинъ въ поэзін — нашъ первый народникъ-реалистъ; онъ реалистъ и въ смыслѣ языка: и до него народные элементы проникали въ нашу литературную рѣчь, иногда для рельефа, послѣдовательнѣе у Грибоѣдова и Крылова, у котораго Жуковскій находилъ выраженія не по вкусу людямъ, "привыкнувшимъ къ языку хорошаго общества". Пушкинъ сдѣлалъ народное слово достояніемъ поэзіи. Его критики считали "низкими, бурлацкими" такія слова, какъ "усы", "визжать", "вставай" и т. п., смѣялись надъ стихомъ:

Людскую молвь и конскій топъ.

Онъ защитиль его словоупотребленіемъ сказки, требуя для языка болье воли (письмо къ Погодину), предпочитая простонародность "жеманству и напыщенности". И здъсь у него послышались "звуки новые". Его бабушка, "наперсница волшебной старины", разсказывала ему про былое, и онъ слушаль ее, еще ребенкомъ, пріютясь въ ея рабочей корзинъ; либо его няня нашентывала ему

О мертвецахъ, о подвигахъ Бовы.

(Сонъ 1816 г.).

II позже онъ любилъ ел сказки, просилъ бывало спъть,

какъ синица Тихо за моремъ жила, какъ дѣвица За водой поутру шла.

Онъ охотно прислушивается въ народному говору, въ Михайловскомъ собираетъ народныя пъсни, записываетъ ихъ отъ старухи Ушаковой, записываетъ пъсни о Стенькъ Разинъ. Самъ онъ превосходно читалъ народныя пъсни, пытался подражать имъ, проникался ихъ лирическою раздвоенностію: Что-то слышится родное Въ долгихъ пѣсняхъ ямщика, То разгулье удалое, То сердечная тоска.

Его пересказы изъ Мериме свидътельствуютъ, какъ прочно опъ овладълъ народно-поэтическимъ стилемъ; отъ его сказокъ въ стихахъ прямой переходъ къ Лермонтовскому "Купцу Калашникову". Оттуда обогащение и, вмъстъ съ тъмъ, опрещение нашего художественнаго языка. "Ты довершишь водворение у насъ простой, естественной ръчи, которой наша публика не понимаетъ... ты сведешь наконецъ поэзию съ ея ходуль", писалъ ему въ 1825 году его приятель Н. Н. Раевский. Проза Гоголя и С. Т. Аксакова вышла изъ повъстей Пушкина, и въ то же время чтение Карамзина, лътописей, намятниковъ въ родъ "Слова о полку Игоревъ", отозвалось на золоточеканномъ языкъ "Бориса Годунова. Веселовский.

Пушкинъ является завершителемъ всёхъ прежнихъ стремленій, всьхъ начатыхъ и недоделанныхъ формъ и съ шими, разумъется, русская литература и русская поэзія должны начинать новый періодъ своей исторической жизни. Стоитъ только сравнить съ поэзіей Пушкина поэзію Батюшкова и Жуковскаго, его современниковъ и учителей, чтобъ убъдиться, чъмъ оно выше стоитъ обоихъ ихъ. Пластическая, по недодъланная и несовершенная форма поэзін Батюшкова получаеть у Пушкина такую изящную отделку, такія художественныя достоинства, что сейчась виденъ на ней слъдъ руки великаго мастера, котораго душа полна дивныхъ и совершенныхъ образовъ. Лучше, чище и превосходите этой формы съ поэзін трудно представить критикв. Благоуханное и въжное, но неясное чувство, разлитое въ поэзін Жуковскаго, свътлый порывъ къ далекому небу, составляющій весь пылъ этой поэзіи, сміняется цными, боліве полными и різпительными качествами у Пушкина. Его чувство такъ точно и опредъленно и такъ ясно выражено, что образъ художника, оставляя въ душ в впечатление оконченное, наполняетъ ее совершенно. Кажется, ничего не нужно читателю прибавлять къ тому, что съ такою готовностью даетъ поэтъ. Пушкинъ ингдъ не заставляетъ догадываться читателя, читать между

строчками тайный смысль созданія. Ифть, образь Нушкина доступенъ съ перваго раза душт и весь онъ на лицо передъ нами въ блестящей художественной одеждъ, данной ему поэтомъ. Чувство Пушкина человъчно и просто, а потому поэзія его, выражение этого чувства, производить на душу человъка впечатльніе здоровое и бодрое; она проливаеть свытлый миры въ душу человъка и, подымая ее отъ земли, она учить оставаться на ней же, вызывая вокругъ жизнъ и облекая все прекрасное и благородное на землъ въ совершенную форму поэзін. Пушкинъ принадлежаль къ глубокимъ лирическимъ натурамъ, для которыхъ всякое минутное впечатлёніе облекается въ поэтическій образъ, понятный всякому, потому что на немъ лежитъ печать человъческаго достоинства. Въ этомъ отношенін Пушкинъ много походить на Гёте, поэта-художника, по-преимуществу, который самъ говорилъ про себя, что всв его произведенія писаны на случай, не такъ однакожъ, какъ писались оды XVIII стольтія. Такъ п у Пушкина каждое стихотвореніе вызвано обстоятельствами его жизни, каждое вылилось прямо изъ души поэта и много и долго было перечувствовано. Но эти созданія, чисто личныя по своему происхожденію въ душъ поэта, пмъютъ общій смысль, понятны и доступны каждому. Такое явленіе происходить оттого, что чувство и поэзія Пушкина носять вполнѣ человѣческій характеръ и отзывались на все, что возбуждаетъ сочувствіе въ благородной и развитой душт человъка. Какія громадныя силы должны были заключаться въ личности Пушкина, чтобы каждомъ мимолетномъ впечатленін, одетомъ имъ въ поэтическую форму, въ каждомъ небольшомъ стихотворенін, написанномъ, повидимому, на незначительный и быстро нсчезнувшій случай, могли находить полное удовлетвореніе. Такое явленіе составляеть тайну генія, тайну творца-художника въ міръ искусства и вмъсть съ тьмъ показываетъ намъ, что существуеть таинственная и глубокая связь между геніемъ великаго поэта и духомъ народа, создавшаго его. Оба они дъйствуютъ взаимно другъ на друга и постоянно живутъ въ общении. Вотъ почему въ поэзін Пушкина, едва только коснутся нашего слуха звуки его, мы слышимъ родное и знакомое, свое собственное, что жило въ душъ нашей, но жило не ясно, темнымъ чувствомъ, не умбя найти соотвътственной формы и приличного выраженія. Потому Пушкинъ,

вслъдствіе великаго поэтическаго таланта своего, является типическимъ представителемъ своей родины. Кажется, дучнія свойства народа, кажется, вся душа его, весь его геній заключались въ одномъ человъкъ и съ большимъ блескомъ и въ полной силъ, какъ лучи свъта, сосредоточенные въ одной точкъ и тъмъ дъйствующие ослъпительнъе и ярче. Вотъ почему такая личность, выражающая народъ свой, интересуеть и влечеть насъ къ себъ. Мы стараемся понять и оцънить каждый случай жизни, пробудившій поэзію Пушкина, мы стараемся разгадать жизнь его, каждый темный, неясный намекъ въ его стихотворенін, мы бы дорого дали, чтобъ знать все, что водновало, мучило и утъшало душу поэта и страстно желали бы имъть полную біографію Пушкина, которая дала бы намъ ключъ къ его поэзін и позволила бы внутри насъ пожить блестящею жизнію поэта. Геній его порукою намъ, что въ этой жизни нътъ ничего такого, что бы недойстойно было вниманія людей его родины, что бы бросало тінь на поэта. какъ на человъка, что бы не оправдывалось не зависящими отъ него обстоятельствами. Изученіе жизни и вмісті съ нею созданій Пушкина много вознаградить того, кто посвятить труду этому время свое. И какъ отрадно изучать великаго поэта своего народа и переживать въ его созданіяхъ факты народнаго духа и сознанія въ лучшей, благороднейшей, художественной формъ. Да, личность и поэзія Пушкина достойны подробнаго изученія. Онъ гнался за жизнію, по выраженію поэта, онъ воскрешаль въ ней каждый мигъ и на каждый призывный звукъ ея отвъчалъ отзывной пъснью. Намъ дороги волненія, страданія и радости Пушкина. Они принадлежатъ великому поэту, представителю своего народа и неизмфримо выше стоять тфхъ откровенныхъ изліяній, которыми привыкли такъ нецеремонно дълиться съ публикою мелкіе лирическіе поэты, громко толкующіе о своихъ ненужныхъ никому и смъшныхъ страданіяхъ и волпеніяхъ. Лермонтовъ давно отвъчалъ энергическими стихами поэту подобнаго рода.

> Какое дёло намъ, страдалъ ты или нѣтъ? На что намъ знать твои волненья, Надежды глупыя первоначальныхъ лѣтъ, Разсудка злыя сожалѣнья?

Надобно быть богатымъ внутреннею жизнію, чтобъ имѣть право дълиться со всёми своими впечатлёніями.

Итакъ, въ величіи созданій Пушкина, доступныхъ каждому русскому человъку, мы видимъ типическое воспроизведеніе жизни русской, а потому безспорно можемъ назвать его первымъ народнымъ поэтомъ своей родины. До него не было у русской поэзін въ полной силь и полной мъръ этого свойства, а были только попытки. Но эта народность созданій Пушкина не есть та непосредственная, первоначальная народность, которая проявляется и въ ифсиб народа. Это высшій моменть сознанія, и она могла родиться только въ ту блестящую эпоху развитія народныхъ силъ, которая слёдовала за Двънадцатымъ годомъ. Эта народность, освъщенная заревомъ московскаго пожара, скръпленная общимъ чувствомъ любви къ отечеству и ненависти къ страшному завоевателю. потрясшему міръ въ его основаніяхъ, есть высшее проявленіе народа и можетъ сделаться могучимъ двигателемъ поэзін. Въ образахъ Пушкина народные элементы изображены такъ ясно и съ такою художественною полностью, именно потому, что они сознательно прошли чрезъ духъ поэта, что они выработались народной исторіей. Только при такихъ условіяхъ поэть могь изображать съ теплымъ участіемъ сумрачныя картины родной природы, гдъ все такъ ровно и однообразно, гдъ надобно вырасти и жить, быть связану тайными элементарными силами съ родною почвою, чтобъ находить прелесть въ безграничныхъ и пустыхъ пространствахъ степи, въ разбросанныхъ избахъ жалкой деревушки, въ сфромъ небъ, склонившемся надъ необозримою равниною. И Пушкинъ, въ роскошныхъ поэтическихъ образахъ, вызвалъ передъ нами тайную прелесть этой природы; онъ придаль ей жизнь и значеніе, онъ поймалъ неуловимыя линіи разбъгающихся очерковъ и выразиль непонятную связь русской души съ окружающей ее природой. Картины этой природы дышатъ жизнію и говорять сердцу. Бъдная деревня вдали отъ большой дороги, печальная пъсня подъ звукъ веретена, дождливое утро ненастной осени и великолъпные ковры снъга, и звонъ почтоваго колокольчика, и мутные образы, кружащіеся въ волнахъ метели — все это согрѣто такою теплою любовью, все это одѣто въ такую яркую поэтическую одежду, что невольно манить къ себъ въ душу. Не станемъ говорить о тёхъ вдохновенныхъ изображеніяхъ, которыя подарили поэту горы и равнины южнаго Крыма и громады Кавказа. Тамъ самое величіе и роскошь

явленій природы могли возбудить его геній. Нътъ, его могущество доказывается картинами бъдной съверной природы, которая окружаеть нась, къ которой мы привыкли до того, что не въ состояніи вообразить скрытыхъ въ ней поэтическихъ достоинствъ. Какимъ же волшебствомъ открылъ ихъ Пушкипъ и умълъ сдълать привлекательными для каждаго? Это волшебство принадлежить къ тайнамъ геніальнаго творчества, но оно есть условіе всякаго народнаго поэта, оно есть доказательство глубокаго русскаго чувства и руской души въ Пушкинъ, и только сознаніе, только историческое развитіе народной исторіи могло вызвать въ жизни такія явленія. Но еще выше картинъ природы, народность Пушкинской поэзін проявляется въ созданін характеровъ, поразительно вфриыхъ дъйствительности и русской жизни. Взгляните на русскую женщину, одътую яркимъ свътомъ Пушкинской поэзін, на эту простую, мечтательную, грустную, но съ залогомъ могучихъ силъ душевныхъ, но съ возможностью глубокой страсти въ сердцъ, женщину. Посмотрите на этотъ превосходный образъ Татьяны, выросшей на родныхъ сифгахъ и поляхъ, подъ тфнью березъ родины, съ воображепіемъ, настроеннымъ тайными силами русской природы и пречаніями народа, посмотрите на нее, обвъянную простой поэзіей крещенскихъ вечеровъ, пъсенъ и гаданій, върную жизни н природъ своей. Какъ просто и безхитростно заговорило въ ней чувство, какая глубокая, по естественная скорбь въ этой мечтательной головкъ и какъ она не измъняетъ ни себъ ни чувству, когда жизнь ел измъняется, когда изъ-подъ деревенской кровли отцовскаго дома, отъ могилы своей няни, ова перевосится въ великолъпныя залы столицы. Пушкинъ особенно умълъ сочувствовать простымъ и неиспорченнымъ русскимъ натурамъ, и талантъ его, развиваясь все болфе и болфе, усвоивалъ себъ эпическую простоту и непосредственность въ изложенін и разсказф, останавливался съ любовью на характерахъ, выросшихъ прямо на народной почвъ. Особенно это замътно въ послъднихъ могучихъ созданіяхъ поэта. Мельникъ и его дочь, простая исторія любви последней къ князю, заимствованная Пушкинымъ изъ забытой оперы, въ которой не видно вичего русскаго, заключаетъ въ себъ такое богатое народное содержаніе, какое умъль только постигать Пушкинь. Самая любовь эта, доведенная до драматического движенія страсти, не со-

гласнаго съ эпическимъ характеромъ народа, является намъ до того естественною, до того близко соприкасается она съ стихійнымъ міромъ народныхъ преданій, что даже фантастическій фонъ картины еще больше придаетъ правды и очарованія созданию. Мы не станемъ говорить о томъ, съ какимъ народнымъ тактомъ и глубиною чувства выражался Пушкинъ о великомъ двигателъ нашего образованія, въ какихъ величавыхъ, строгихъ и могущественныхъ очеркахъ является въ разныхъ мъстахъ его поэтическихъ созданій Петръ Великій, этотъ представитель огромныхъ силъ народа, гигантъ, поразившій силою своего генія воображеніе поэта. Когда онъ говорить о немъ, тогда живымъ ключомъ льются волны глубокои поэзін Пушкина, слышится сильно затронутое чувство. Онъ встрвчается здесь съ Ломоносовымъ, перворожденнымъ сыномъ эпохи преобразованія, и подобно ему, Пушкинъ хотълъ посвятить послёдніе годы своей жизпи изображенію великаго государя, и, подобно Ломоносову, судьба не дала ему кончить прекраспаго дъла. Тъ же пародныя силы Пушкинскаго генія являются въ драматической хроникъ его "Борисъ Годуновъ", гдъ отъ царя до отшельника-лътописца все носитъ на себъ печать глубокаго пониманія жизни народа и теплаго сочувствія къ ней. Но еще ярче геній Пушкина проявляется въ созданіи характеровъ "Капитанской дочки". Кажется, все такъ просто въ этомъ произведении, кажется такъ ничтожны выведенные въ этой исторической повъсти характеры, что мы не подозръваемъ глубины народнаго духа, скрытаго въ этихъ, повидимому, мелкихъ личностяхъ. А между темъ посмотрите, какъ умираетъ коменданть жалкой оренбургской кръпостцы и помощникъ его, Иванъ Кузьмичъ, отъ руки мятежника Пугачева. Такъ величаво-просто, безъ парада и шума, можетъ умирать только одинъ простой русскій человѣкъ, неиспорченный посторонней примъсью. И Пушкинъ все дальше и дальше отдаляется отъ лицъ дъйствующихъ въ салонахъ. Его жизнь и странствія по Россіи ставили его въ соприкосновеніе съ различными общественными классами, но его чуткое поэтическое винманіе останавливалось только на томъ, что имѣло право войти и получить гражданство въ царствъ русской поэзін. Въ глубинъ души своей онъ былъ другомъ того народа, которому чужды литературныя стремленія, но который въ жизни своей сохранилъ коренныя народныя начала. Вотъ въ чемъ заключается народность созданій Пушкина и всей его поэзіи. Буличъ.

Пушкинъ — наше все; Пушкинъ представитель — всего нашего душевнаго, особеннаго, такого, что остается нашимъ душевнымъ, особеннымъ послъ всъхъ столкновеній съ чужимъ, съ другими мірами. Пушкинъ пока единственный полный очеркъ вашей народной личности, самородокъ, принимавшій въ себя, при всевозможныхъ столкновеніяхъ съ другими особенностями и организмами, - все то, что принять следуеть, отбрасывающій все, что отбросить следуеть, полный и цельный, но еще не красками, а только контурами набросанный образъ народной нашей сущности, - образъ, который мы долго еще будемъ оттънять красками. Сфера душевныхъ сочувствій Пушкина не исключаетъ ничего, до него бывшаго, и ничего, что послъ него было и будетъ правильнаго и органически нашего. Сочувствія Ломоносовскія, Державинскія, Повиковскія, Карамзинскія, сочувствія старой русской жизни п стремленія новой — все вошло въ его полную патуру, въ той строгой мъръ, въ какой бытіе послепотопное является сравнительно съ бытіемъ допотопнымъ, въ той мъръ, которая опредъляется русскою душою. Когда мы говоримъ здёсь о русской сущности, о русской душь, - мы разумьемь не сущность народную, допетровскую, и не сущность послъпетровскую, а органическую цълость: мы върпмъ въ Русь, какова она есть, какою она оказалась или оказывается послѣ столкновеній съ другими жизиями, съ другими народными организмами, после того, какъ она, воспринимая въ себя различные элементы, — один брала и беретъ какъ родственные, другіе отрицала и отрицаетъ какъ чуждые и враждебные... Пушкинъ-то и есть наша такая, на первый разъ очеркомъ, но полно и цъльно, обозначившаяся душевная физіономія, — физіономія, выдёлившаяся, вырезавшаяся уже яспо изъ круга другихъ народныхъ, типовых физіономій, — обособившаяся сознательно, именно вследствіе того, что уже вступила въ кругъ ихъ. Это нашъ самобытный типъ, уже мфрявшійся съ другими европейскими типами, проходившій сознаніемъ тѣ фазисы развитія, которые они проходили. но боровшійся съ ними сознаніемъ, по вынесшій изъ этого процесса свою физіономическую, типовую самостоятельность.

Показать, какъ изъ всякаго броженія выходило въ Пушкині цъльнымъ это *типовое*, было бы задачей труда огромиаго.

Пушкинъ выносилъ въ себъ все. Опъ долго, напримъръ, носилъ въ себъ въ юпости мутно-чувственную струю ложнаго классицизма (эпоха лицейскихъ и первыхъ послъ-лицейскихъ стихотвореній); изъ нея онъ вышелъ наивенъ и чистъ, да еще съ богатымъ запасомъ живучихъ силъ для противодъйствія романтической туманности, отъ которой ничто не защищало несравненю менѣе цѣльный талантъ Жуковскаго. Эта мутная струя впослѣдствіи очистилась у него до наивнаго пластицизма древности, и, благодаря стройной мърѣ его патуры, ни одна словесность не представитъ такихъ чистыхъ и совершенно ваятельныхъ стихотвореній, какъ пушкинскія. Но и въ этомъ отношеніи какъ онъ самъ, такъ и все, что пошло отъ него по прямой линіи (Майковъ, Фетъ въ ихъ антологическихъ стихотвореніяхъ), умѣли уберечься въ границахъ здраваго, достойнаго разумно-правственнаго существа, сочувствія...

Въ цъльной натуръ Пушкина и въ ен борьбъ съ различными, тревожившими ее и пережитыми ею типами и заключается для насъ слово разгадки... Повторяю еще разъ — Пушкинъ все наше предчувствовалъ (разумфется, только какъ поэтт, въ бдагоуханіи): отъ любви къ загнанной старинт ("Родослоїная моего героя") до сочувствій реформь ("Мыдный всадникь"); отъ нашихъ страстныхъ увлеченій эгонстически обаятельными идеалами до смиреннаго служенія Савелья ("Капитанская дочка"); отъ нашего разума до нашей жажды самоуглубленія, жажды "матери пустыни"; и только смерть помъщала ему воплотить наши высшія стремленія и весь духъ кротости и любви въ просвътленномъ образъ Тазита, — смерть, которая унесла его столь же преждевременно, какъ братьевъ его по духу, такихъ же набрасывателей многообъемлющаго идеала, Рафаэля Санціо и Моцарта. Пбо есть какой-то тайный законъ, по которому недолговъчно все, разметывающееся въ ширину, и коренится, какъ дубъ, односторонняя глубина...

Есть натуры, предназначенныя на то, чтобы намътить грани процессовъ, набросать полные и цъльные, но одними очерками обозначенные пдеалы, и такая-то натура была у Пушкина. Онъ наше все, не устану новторять я, не устану; во-первыхъ, нотому, что находятся въ наше время критики, которые объявляютъ, что Пушкинъ умеръ весьма кстати, нбо иначе не

сталь бы въ уровень съ современными движеніями и пережиль бы самого себя; во-вторыхъ, потому, что многіе блестящіе и проницательные умы, сознавая великое значеніе въ напіей жизни Пушкина, какъ воспитателя художественнаго, не обращають вниманія на его правственное значеніе, на то, что во всей современной литературт нтть ничего истинно замітательнаго, что бы въ зародыщь своемъ ни находилось у Пушкина.

Пушкина.

При имени Пушкина тотчасъ осъняетъ мысль о русскомъ національномъ поэтъ. Въ самомъ дъль, никто изъ поэтовъ нашихъ не выше его и не можетъ болъе назваться національнымъ; это право ръшительно принадлежитъ ему. Въ вемъ, какъ будто въ лексиконъ, заключилось все богатство, сила и гибкость нашего языка. Онъ болъе всъхъ, онъ далъе раздвинулъ ему границы и болъе показалъ все его пространство. Пушкинъ есть явленіе чрезвычайное и, можетъ-быть, единственное явленіе русскаго духа: это русскій человъкъ въ его развитіи, въ какомъ онъ, можетъ-быть, явится чрезъ двъсти лътъ. Въ немъ русская природа, русская душа, русскій языкъ, русскій характеръ отразились въ той же чистотъ, въ такой очищенной красотъ, въ какой отражается ландшафтъ на выпуклой поверхности оптическаго стекла.

Самая его жизнь совершенно русская. Тотъ же разгулъ и раздолье, къ которому, иногда позабывшись, стремится русскій и которое всегда нравится свѣжей русской молодежи, отразилось на его первобытныхъ годахъ вступленія въ свътъ. Судьба, какъ нарочно, забросила его туда, гдъ границы Россіи отличаются ръзкою, величавою характерностью, гдъ гладкая неизмфримость Россін прерывается подоблачными горами и обвъвается югомъ. Исполинскій, покрытый вічнымь сибгомъ Кавказъ, среди знойныхъ долицъ, поразилъ его; онъ, можно сказать, вызвалъ силу души его и разорвалъ последнія цепи, которыя еще тяготъли на свободныхъ мысляхъ. Его плънила вольная поэтическая жизнь дерзкихъ горцевъ, ихъ схватки, ихъ быстрые, неогразимые набъги; и съ этихъ поръ кисть его пріобръда тотъ широкій размахъ, ту быстроту и смелость, которая такъ дивила и поражала только что начинавшую читать Россію. Рисуетъ ли онъ боевую схватку чеченца съ казакомъ, — слогъ его молнія; онъ такъ же блещеть, какъ сверкающія сабли, и летигь быстрве самой битвы. Онь одинь только пввецъ Кавказа; онъ влюбленъ въ него всею душою и чувствами; онъ проникнуть и напитань его чудными окрестностями, южнымъ небомъ, долинами прекрасной Грузіи и великольпными крымскими ночами и садами. Можетъ-быть, оттого и въ своихъ твореніяхъ онъ жарче и пламенные тамъ, гдф душа его коснулась юга. На нихъ онъ невольно означилъ всю силу свою, и оттого произведенія его, напитанныя Кавказомъ, волею черкесской жизни и ночами Крыма, имъли чудную, магическую силу: имъ изумлялись даже тв, которые не имвли столько вкуса и развитія душевныхъ способностей, чтобы быть въ силахъ понимать его. Смедое болье всего доступно, сильные и просторнъе раздвигаетъ дущу, а особливо юности, которая вся еще жаждеть одного необыкновеннаго. Ни одинъ поэтъ въ Россіи не имълъ такой завидной участи, какъ Пушкинъ. Ничья слава не распространялась такъ быстро. Всъ кстати и некстати считали обязанностью проговорить, а иногда исковеркать какіенибудь ярко сверкающіе отрывки его поэмъ. Его имя имъло въ себъ что-то электрическое, и стоило только кому-ипбудь изъ досужихъ марателей выставить его на своемь твореніи, уже оно расходилось повсюду.

Онь при самомъ началь своемъ уже быль націоналенъ, потому что истинная національность состопть не въ описаніп сарафана, но въ самомь духв народа. Поэть даже можетъ быть и тогда націоналенъ, когда описываетъ совершенно сторонній міръ, но глядить на него глазами 'своей національной стихін, глазами всего народа, когда чувствуеть и говорить такъ, что соотечественникамъ его кажется, будто эго чувствуютъ и говорять они сами. Если должно сказать о техъ достоинствахъ, которыя составляютъ принадлежность (Пушкина, отличающую его отъ другихъ поэговъ, то они заключаются въ чрезвычайной бысгроть описанія и въ необыкновенномъ искусствъ немногими чертами означить весь предметь. Его эпитеть такъ отчетисть и смёль, что иногда одинь замфияетъ цфлое описаніе; кисть его летаеть. Его небольшая пьеса всегда стоить цълой нозмы. Врядъ ли о комъ изъ поэтовъ можно сказать, чтобы у него въ коротенькой пьесв вмвщалось столько величія, простоты и силы, сколько у Пушкина.

Но последнія его поэмы, писанныя имь въ то время, когда Кавказъ скрылся отъ него со всёмъ своимъ грознымъ величіемъ и державно-возносящеюся изъ-за облаковъ вершиною, и онъ погрузился въ сердцѣ Россіи, въ ея обыкновенныя равнины, предался глубже изслѣдованію жизни и правовъ сво-ихъ соотечественниковъ и захотѣлъ быть вполиѣ національнымъ поэтомъ, — его поэмы уже не всѣхъ поразили тою яркостью и ослѣпительной смѣлостью, какими дышитъ у него все, гдѣ ни является Эльбрусъ, горцы, Крымъ и Грузія.

Явленіе это, кажется, не такъ трудно разръшить. Будучи поражены смілостью его кисти и волшебствомъ картинъ, всь читатели его, образованные и пеобразованные, требовали наперерывъ, чтобъ отечественныя и историческія происшествія сдълались предметомъ его поэзін, забывая, что пельзя тфми же красками, которыми рисуются горы Кавказа и его вольные обитатели, изобразить болфе спокойный и гораздо менфе исполненный страстей быть русскій. Масса публики, представляющая въ лицъ своемъ націю, очень странна въ своихъ желаніяхъ; она кричитъ: "изобрази насъ такъ, какъ мы есть, въ совершенной истинъ, представь дъла нашихъ предковъ въ такомъ видъ, какъ они были". Но попробуй поэтъ, послушный ея вліянію, изобразить все въ совершенной истинъ и такъ, какъ было, она тотчасъ заговоритъ: "это вяло, это слабо, это нехорошо, это ни мало не похоже на то, что было". Масса народа похожа въ этомъ случав на женщину, приказывающую художнику нарисовать съ себя портретъ, совершенно похожій: но горе ему, если онъ не умълъ скрыть всфхъ ея недостатковъ! Русская исторія только со времени последняго ея напряженія при императорахъ пріобретаетъ яркую живость; до этого, характеръ народа б. ч. былъ безцвътенъ, разнообразіе страстей ему мало было извъстно.

Гоголь.

Народность, гуманность и художественный такть, какъ отличительныя черты поэзіи Пушкина.

Какъ истинный художникъ, Пушкинъ не нуждался въ выборъ поэтическихъ предметовъ для своихъ произведеній, но для него всъ предметы были равно исполнены поэзін. Его "Овъгинъ", напримъръ, есть поэма современной дъйствительной жизни не только со всею ся поэзіею, по и со всею ся

прозою, несмотря на то, что она писана стихами. Туть и благодатная весна, и жаркое лѣто, и гнилая дождливая осень, и морозная зима; туть и столица, и деревня, и жизнь столичнаго денди, и жизнь мириыхъ помѣщиковъ, ведущихъ между собою незанимательный разговоръ

О сънокосъ, о винъ, О псариъ, о своей родиъ;

тутъ и мечтательный поэтъ Ленскій и тривіальный забіака и сплетникъ Зарьцкій; то передъ нами прекрасное ілицо любящей женщины, то сонная рожа трактирнаго слуги, отворяющаго съ метлою въ рукъ, дверь кофейной, — и всв они каждый по-своему, прекрасны и исполнены поэзіи. Пушкину не нужно было вздить въ Италію за картинами прекрасной природы: прекрасная природа была у него подъ рукою здвсь, на Руси, на ея плоскихъ и однообразныхъ степяхъ, подъ ея въчно-сърымъ небомъ, въ ея печальныхъ деревняхъ и ея богатыхъ и бъдныхъ городахъ. Что для прежнихъ поэтовъ было низко, то для Пушкина было благородно; что для нихъ была прэза, то для него была поэзія. Осень для него лучше весны или лъта, и чигая эти стихи, вы не можете не согласиться съ нимъ, по крайней мъръ, на то время, пока не увидите его же картины весны или лъта:

Дни поздней осени бранять обыкновенно; Но мнѣ она мила, читатель дорогой: Красою тихою, блистающей смиренно, Какъ нелюбимое дитя въ семьѣ родной, Къ себѣ меня влечетъ. Сказать вамъ откровенно: Изъ годовыхъ временъ я радъ лишь ей одной. Въ ней мпого добраго, любовинкъ не тщеславный, Умѣлъ я отыскать мечтою своенравной.

Какъ это объяснить? Мнѣ нравится она, Какъ, вѣроятно, вамъ чахоточная дѣва Порою нравится. На смерть осуждена, Бѣдняжка клонится безъ ропота, безъ гнѣва, Улыбка на устахъ увянувшихъ видна: Могильной пропасти она на слышитъ зѣва; Играетъ на лицѣ еще багровый цвѣтъ; Она жива еще сегодня—завтра нѣтъ.

Унылая пора, очей очарованье, Пріятна миѣ твоя прощальная краса! Люблю я пышное природы увяданье, Въ багрецъ и въ золото одътые лъса, Въ ихъ съняхъ вътра шумъ и свъжее дыханье, И мглой волнистою покрыты небеса, И ръдкій солнца лучъ, и первые морозы, И отдаленныя съдой зимы угрозы.

Русская зима лучше русскаго лѣта — этой "карикатуры южныхъ зимъ": она похожа на самоё себя, тогда какъ наше лѣто столько похоже на лѣто, сколько декораціонныя деревья въ театрѣ похожи на настоящія деревья въ лѣсу. Пушкинъ первый понядъ это и первый выразилъ. Его зима облита блескомъ роскошной поэзіи:

Морозъ и солнце — день чудесный! Еще ты дремлешь, другъ прелестный, Пора красавица, проснись: Открой сомкнуты нёгой взоры Навстрёчу сёверной Авроры, Звёздою сёвера явись!

Вечоръ, ты помнишь, выога злилась, На мутномъ небѣ мгла носилась; Луна, какъ блѣдное пятно, Сквозь тучи мрачныя желтѣла, И ты печальная сидѣла— А нынче... погляди въ окно:

Подъ голубыми небесами Великолъпными коврами, Блестя на солнцъ, снъгъ лежитъ; Прозрачный лъсъ одинъ чернъетъ, И ель сквозь иней зеленъетъ, И ръчка подо льдомъ блеститъ.

Вся комната янтарнымъ блескомъ Озарена. Веселымъ трескомъ Трещить затопленная псчь. Пріятно думать о лежанкъ. Но знасшь: не велѣть ли въ санки Кобылку бурую запрячь?

Скользя по утреннему снѣгу, Другъ милый, предадимся бѣгу Нетерпѣливаго коня, И навѣстимъ поля пустыя, Глѣса, недавно столь густые, И берегъ, милый для меня.

Поэзія Пушкина удивительно върпа русской действительности, изображаетъ ли она русскую природу, или русскіе характеры: на этомъ основанін, общій голосъ нарекъ его русскимъ національнымъ, народнымъ поэтомъ. Пушкинъ не могъ не отразить въ себъ географически и физіологически народной жизии, ибо быль не только русскій, по притомъ русскій, надъленный отъ природы геніальными силами; однакожъ въ томъ, что пазываютъ народностью или національностью его поэзін, мы больше видимъ его необыкновенио великій художественный тактъ. Онъ въ высшей степени обладалъ этимъ тактомъ дъйствительности, который составляеть одну изъглавныхъ сторонъ художника. Прочтите его чудную драматическую поэму "Русалка": она вся насквозь проникнута истинностью русской жизин; прочтите его чудную драматическую поэму "Каменный гость": она, и по природъ стороны и по нравамъ своихъ героевъ, такъ и дышитъ воздухомъ Испаніи; прочтите его "Египетскія ночи": вы будете перенесены въ самое сердце жизни издыхающаго древняго міра... Такихъ примфровъ удивительной способности Пушкина быть такъ у себя дома во многихъ и самыхъ противоположныхъ сферахъ жизни мы могли бы привести много, но доводьно и этихъ трехъ. И что же это доказываеть, если не его художническую многосторонность? Если онъ съ такою истиною рисовалъ природу и правы даже никогда невиданныхъ имъ странъ, какъ же бы его изображенія предметовъ русскихъ не отличались върностью природъ? Натура Пушкина (и въ этомъ случав самое върное свидътельство есть его поэзія) была внутренняя, созерцательная, художническая. Пушкинъ не зналъ мукъ и блаженства, какія бывають следствіемь страстно деятельнаго (а не только созерцательнаго) увлеченія живою, могучею мыслію, въ жертву которой приносится жизнь и таланть. Онъ не принадлежаль исключительно ни къ какому ученію ни къ какой доктринь; въ сферъ своего поэтическаго міросозерцанія, онъ, какъ художникъ, по преимуществу, былъ гражданинъ вселенной, и въ самой исторіи, такъ же какъ и природъ, видъль только мотивы для своихъ поэтическихъ вдохновеній, матеріалы для своихъ творческихъ концепцій. Почему это было такъ, а не иначе, и къ достоинству или недостатку Пушкина должно это отнести? Если бъ его натура была другая, и онъ шелъ по этому несвойственному ей пути, то, безъ сомнънія, это было бъ

въ немъ больше, чъмъ недостаткомъ; но какъ онъ въ этомъ отношенін былъ только въренъ своей натуръ, то за это также нельзя хвалить или порицать, какъ одного нельзя хвалить или порицать за то, что у него черные, а не русые волосы, и другого за то, что у нето русые, а не черные.

Лирическія произведенія Пушкина въ особенности подтверждають нашу мысль о его личности. Чувство, лежащее въ ихъ основанін, всегда такъ тпхо и кротко, несмотря на его глубокость, и вмёстё съ тёмъ такъ человёчно, гуманно! И оно всегда проявляется у него въ формъ, столь художнечески спокойной, столь граціозной! Что составляеть содержаніе мелкихъ пьесъ Пушкина? Почти всегда любовь и дружба, какъ чувства, напболье обладавшія поэтомъ и бывшіл непосредственнымъ источникомъ счастія и горя всей его жизни. Онъ ничего не отрицаетъ, ничего не проклинаетъ, на все смотритъ съ любовію и благословеніемъ. Самая грусть его, несмотря на ея глубину, какъ-то необыкновенно свътла и прозрачна; она умиряетъ муки души и цълитъ раны сердца. Общій колоритъ поэзін Пушкина и въ особенности лирической — внутренняя прасота человъка и лелъющая душу гуманность. Къ этому прибавимъ мы, что если всякое человъческое чувство уже прекрасно по тому самому, что оно человъческое (а не животное), то у Пушкина всякое чувство еще прекрасно, какъ чувство изящное. Мы здёсь разумёемъ не поэтическую форму, которая у Пушкина всегда въ высшей степени прекрасна; ивтъ, каждое чувство, лежащее въ основанін каждаго ,его стихотворенія, изящно, граціозно и виртуозно само по себъ: это не просто чувство человъка, но чувство человъка-художпика, человъка-артиста. Есть всегда что-то особенно благородное, кроткое, нъжное, благоуханное и граціозное во всякомъ чувствъ Пушкина: Въ этомъ отношенін, читая его творенія, можно превосходнымъ образомъ воспитать въ себъ человъка, и такое чтеніе особенно полезно для молодыхъ людей обоего пола. Ни одинъ изъ русскихъ поэтовъ не можетъ быть столько, какъ Пушкинъ, воспитателемъ юпошества, образователемъ юнаго чувства. Поэзія его чужда всего фантастическаго, мечтательнаго, ложнаго, призрачно-идеальнаго; она вся проникнута насквозь дъйствительностью; она не кладетъ на лицо жизни бълилъ и румянъ, по показываетъ ее въ ея естественной, истивной красотъ; въ поэзін Пушкина есть небо, но имъ

всегда проникнута земля. Поэтому поэзія Пушкина не опасна юношеству, какъ поэтическая ложь, разгорячающая воображепіе, — ложь, которая ставить человіка во враждебныя отношенія съ дъйствительностью при первомъ столкновеніи съ нею, и заставляеть безвременно и безплодно истощать свои силы на гибельную съ пею борьбу. И при всемъ этомъ, кромѣ высокаго художественнаго достоинства формы, какое артистическое изящество человъческого чувства! Нужны ли доказательства въ подтверждение нашей мысли? Такъ какъ поэзія Пушкина вся заключается, преимущественно, въ поэтическомъ созерцанін міра, и такъ какъ она безусловно признаетъ его настоящее положение если не всегда утвшительнымъ, то всегда необходиморазумнымъ — поэтому она отличается характеромъ болве созерцательнымъ, нежели рефлектирующимъ, высказывается болье какъ чувство или какъ созерцаніе, нежели какъ мысль. Вся насквозь проникнутая гуманностью, муза Пушкина умъетъ глубоко страдать отъ диссонансовъ и противоръчій жизни; но она смотрить на нихъ съ какимъ-то самоотрицаніемъ (resignatio), какъ бы призывая гроковую неизбъжность и не нося въ душъ своей идеала лучшей дъйствительности и мъры въ возможность его осуществленія. Такой взглядъ на міръ вытекаль уже изъ самой натуры Пушкина; этому взгляду обязанъ Пушкинъ изящною елейностью, кротостью, глубиною и возвышенностью своей поэзін, и въ этомъ же взглядъ заключаются недостатки его поэзін. Какъ бы то ни было, но по своему воззрѣнію, Пушкинъ принадлежить къ той школѣ искусства, которой пора уже миновала совершенно въ Европъ и которая даже у насъ не можетъ произвести ни одного великаго поэта. Духъ анализа, неукротимое стремленіе изследованія, страстное, полное вражды и любви мышленіе сделались теперь жизнью всякой истинной поэзін. Вотъ въ чемъ время опередило поэзію Пушкина и большую часть его произведеній лишило того животрепещущаго интереса, который возможенъ только какъ удовлетворительный отвътъ на тревожные, бользненные вопросы настоящаго. Къ особеннымъ чертамъ Пушкинской поэзін принадлежить его художническая добросовъстность. Пушкинь ничего не преувеличиваетъ, ничего не украшаетъ, ничъмъ не эффектируетъ, никогда не взводитъ на себя великолъпныхъ. но не испытанныхъ имъ чувствъ, и вездъ является такимъ, какимъ быдъ дъйствительно. Такъ, напримъръ, онъ узнаетъ о смерти той, любовь къ которой заставила его лиру издать столько гармоническихъ стоновъ: какой прекрасный случай изобразить свое отчаяніе, написать картину страшной скорби, певыносимой муки!... Но сердце наше — въчная тайна для насъ самихъ... И вотъ какъ подъйствовала на Пушкина роковая въсть:

Подъ небомъ голубымъ страны своей родной Она томилась, увядала... Увяла наконецъ, и, върно, надо мной Младая тынь уже летала; Но недоступная черта межъ нами есть. Напрасно чувство возбуждаль я: Изъ равнодушныхъ усть я слышалъ смерти въсть, И равнодушно ей випмаль я. Такъ воть кого любель я пламенной душой Съ такимъ тяжелымъ напряженьемъ, Съ такою нъжною, томительной тоской, Съ такимъ безумствомъ и мученьемъ! Гдт муки, гдт любовь? Увы! въ душт моей Для блідной, легковірной тіни, Для сладкой памяти невозвратимыхъ дней Не нахожу ин слезъ ин пени.

Да, непостижимо сердце человъческое, и, можетъ-быть, тотъ же самый предметъ внушилъ впоследствии Пупкину его дивную "Разлуку" ("Для береговъ отчизны дальной")... Въ отношенін къ художнической добросовъстности Пушкина такова же его превосходная пьеса "Воспоминаніе": въ ней онъ не рисуется въ мантін сатанинскаго величія, какъ это дълаютъ часто мелкодушные талантики, но просто какъ человъкъ оплакиваетъ свои заблужденія. И этимъ доказывается не то, чтобъ у него было больше другихъ заблужденій, но что, какъ душа мощная и благородная, онъ глубоко страдалъ отъ нихъ и свободно сознавался въ нихъ передъ судомъ своей совъсти... Та же художническая добросовъстность видна даже въ его картинахъ природы, которыми особенно любятъ щеголять мелкіе таланты, изукрашивая ихъ небывалыми красками и изъ русской природы смело делая пародію на итальянскую. Въ доказательство приводимъ одну изъ самыхъ превосходиъйшихъ и, въроятно, по этой причинъ, наименъе замъченныхъ п оцъненныхъ пьесъ Пушкина — "Капризъ":

Румяный критикъ мой, насмѣшникъ толстопузый, Готовый вѣкъ трунить надъ нашей томной музой,

Поди-ка ты сюда, присядь-ка ты со мной, Попробуй, сладимъ ли съ проклятою хандрой. Что жъ ты нахмурился? Нельзя ли блажь оставить, II пъсенкою насъ веселой позабавить? Смотри, какой здъсь видъ: избушекъ рядъ убогій, За ними черноземъ; равнины скать отлогій, Надъ ними сфрыхъ тучъ густая полоса. Гдѣ жъ нивы свѣтлыя? гдѣ темные лѣса? Гдѣ рѣчка? На дворѣ, у низкаго забора, Два бъдныхъ деревца стоять въ отраду взора, Два только деревца, и то изъ нихъ одно Дождливой осенью совствы обнажено, А листья на другомъ размокли и, желтья, Чтобъ лужу засорить, ждутъ перваго борея. II только. На дворѣ живой собаки нѣтъ. Воть, правда, мужичокъ; за нимъ двъ бабы вслъдъ; Безъ шапки онъ; несетъ подъ мышкой гробъ ребенка II кличеть издали лѣниваго попенка, Чтобъ тотъ отца позвалъ да церковь отворилъ: Скоръй, ждать некогда, давно бъ ужъ схоронилъ!

Кстати объ изображаемой Пушкинымъ природъ. Онъ созерцалъ ее удивительно върно и живо, но не углублядся въ ея тайный языкъ. Оттого онъ рисуетъ ее, но не мыслить о ней. II это служить новымь доказательствомь того, что павось его поэзін быль чисто артистическій, художническій, и того, что его поэзія должна сильно дъйствовать на воспитаніе и образованіе чувства въ человѣкѣ. Если съ кѣмъ изъ великихъ европейскихъ поэтовъ Пушкинъ имфетъ нфкоторое сходство, такъ болъе всего съ Гёте, и онъ еще болъе, нежели Гёте, можеть действовать на развитие и образование чувства. Это, съ одной стороны, его преимущество передъ Гёте и доказательство, что онъ больше, нежели Гёте, въренъ художническому своему элементу; а съ другой стороны, въ этомъ же самомъ неизмъримое превосходство Гёте передъ Пушкинымъ, нбо Гёте — весь мысль, и онъ не просто изображалъ природу, а заставляль ее раскрывать передь нимь ея завътныя и сокровенныя тайны. Отсюда явилось у Гёте его пантеистическое созерцаніе природы и —

Была ему звъздная книга ясна, И съ нимъ говорила морская волна.

Для Гёте природа была раскрытал книга пдей; для Пушкина она была полная невыразимаго, но безмолвнаго очарованія,

живая картина. Образцомъ Пушкинскиго созерцанія природы могутъ служить пьесы: "Туча" и "Обвалъ". Несмотря на всю разницу въ содержаніи этихъ пьесъ, объ онъ — живопись въ поэзін...

Мы уже говорили о разнообразін поэзін Пушкина, о его удивительной способности легко и свободно переноситься въ самыя противоположныя сферы жизни. Въ этомъ отношенін, независимо отъ мыслительной глубины содержанія, Пушкинъ напоминаетъ Шекспира. Это доказываютъ даже мелкія его пьесы, какъ и поэмы, и драматическіе опыты. Взглянемъ, въ этомъ отношенін, на первыя. Превосходивншія пьесы въ антологическомъ родъ, запечатлънныя духомъ древнеэллинской музы, подражанія Корану, вполит передающія духъ исламизма и красоты арабской поэзін — блестящій алмазъ въ поэтическомъ вънцъ Пушкина! "Въ крови горитъ огонь желанья", "Вертоградъ моей сестры", "Пророкъ" и большое стихотвореніе, родъ поэмы, исполненный глубокаго смысла и названной "Отрывкомъ" представляють красоты восточной поэзіп другого характера и высшаго рода, принадлежатъ къ величайшимъ произведеніямъ Пушкинскаго генія-протея. "Женихъ", "Утопленникъ", "Бъсы" и "Зимній вечеръ", — пьесы, образующія собою отдільный міръ русско-народной поэзін въ художественной формв. "Пвсии западныхъ славянъ" болве чемъ что-нибудь доказывають непостижимый поэтическій такть Пушкина и гибкость его таланта. Извъстно происхождение этихъ пъсенъ и продълка даровитаго француза Меримэ, вздумавшаго посмъяться надъ колоритомъ мъстности. Не знаемъ, каковы вышли на французскомъ языкъ эти поддъльныя пъсни, обманувшія Пушкина; но у Пушкина онъ дышать всею роскошью мъстнаго колорита, и многія изъ нихъ превосходны, несмотря на однообразіе, — неизбъжное, впрочемъ, свойство всъхъ пародныхъ произведеній. "Подражанія Данту" можно счесть за отрывочные переводы изъ "Божественной комедіи", и они дають о ней лучшее и върнъйшее понятіе, чъмъ всъ досель сдъланные по-русски переводы въ стихахъ и прозъ. "Начало поэмы" ("Стамбуль гяуры нынъ славятъ") какъ будто написано туркомъ нашего времени... Какое разнообразіе! Какое богатство! Какъ виденъ въ этомъ талантъ по превосходству артистическій, художественный.

Бюлинскій.

Пушкинъ, какъ основатель художественнаго воспроизведенія д'йствительности.

Пушкинъ есть олицетвореніе всей русской литературы. Естественность, простота и правдивость — эти качества новъйшей литературы, замънившія собой чужія насловнія, и въ поэзін самого Пушкина заступають м'єсто чужихь вліяній и именно тъхъ самыхъ, которыя держали во власти всю русскую литературу. Природный геній поэта не позволиль ему остановиться на избранной разъ дорогъ и чрезъ преграды, поставденныя чуждыми руками, вель его къ художественной правдъ. Чуткость поэта къ правдивости, естественности и простотъ поэтическаго произведенія развивалась у него съ годами. Спустя нъсколько лътъ послъ выхода своихъ первыхъ поэмъ, онъ уже замъчаетъ ихъ недостатки. "Кавказскій Плфиникъ", говорить онъ — первый неудачный опыть характера, съ которымъ я насилу сладилъ... "Бахчисарайскій Фонтанъ" слабъе "Плънника"... Молодые писатели — продолжаетъ онъ — вообще не умьють изображать физическія движенія страстей. Ихъ герон всегда содрагаются, хохочуть дико, скрежещуть зубами и проч. Все это смъшно какъ мелодрама". Отъ этихъ-то недостатковъ и освобождался постепенно Пушкинъ. Освобожденіе отъ нихъ является, следовательно, у Пушкина не только слъдствіемъ одной безсознательной работы поэтическаго таланта, по и плодомъ изученія. И теорія и творчество шли у Пушкина рука объ руку.

Съ какими же новыми факторами въ связи совершалось это освобожденіе поэзін Пушкина отъ наноснаго элемента? Онять мы возвращаемся къ тому же романтизму, хотя и не будемъ признавать за послёднимъ исключительнаго вліянія къ выработкѣ указанныхъ качествъ поэзін Пушкина. Воспитавшись на произведеніяхъ французской литературы и перенесши на себѣ вліяніе байронизма, Пушкинъ тѣмъ не менѣе былъ крѣпко привязанъ ко всему родному русскому. Еще въ дѣтствѣ, онъ становился лицомъ къ лицу съ народной жизнью, и въ своей юности онъ уже вспоминалъ село Захарово, гдѣ часто проводилъ время. Обучаясь въ Лицеѣ, онъ жилъ по лѣтамъ въ Михайловскомъ. Эта близость къ народной жизни наложила свой отпечатокъ на душу Пушкина, и впослѣдствіи, когда кора чужого вліянія съ него спала, тогда эта близость опять ясно

дала себя почувствовать и повела поэта на новый путь. Еще передъ отъвздомъ на югъ онъ поэтически изобразилъ свое возрожденіе. ..Какъ чуждыя краски, говорить онъ, наложенныя на картину генія, со временемъ спадають и созданіе генія выходить предъ нами съ прежней красотой, такъ съ измученной моей души исчезають заблужденья и возникають въ ней видънья первоначальныхъ чистыхъ дней". Полному возрожденію суждено было нісколько повременить, но тімь дівствительнъе оно было. Урокъ, данный старикомъ цыганомъ Алеко, имъетъ для насъ значеніе не только общественнаго явленія, но и чисто литературнаго факта. "Сквозь магическій кристаллъ" Пушкинъ начинаетъ неясно различать "даль свободнаго романа", который надолго сдълался его спутникомъ и который особенно возвель поэта на высоту народности. Съмена, заложенныя въ богато одаренной душъ поэта, быстро возрасли, когда онъ силою обстоятельствъ былъ перенесенъ съ юга Россіи въ свое Михайловское, гдт опять на него пахнуло народностью и простотой. Отнынъ онъ оставляетъ своихъ прежнихъ героевъ, подернутыхъ дымкой таинственности, и показываетъ намъ всю на видъ прозанчиую сторону русской жизни: героемъ его является отнынъ "просто гражданниъ столичный, какихъ встръчаемъ всюду тьму, ни по лицу пи уму отъ нашей братіи не отличный". Простая семья Лариныхъ, простой помъщичій образъ жизни — привлекають его теперь къ себъ. Даже сама природа влечетъ его отнынъ особыми своими прозаичными свойствами. Не великолфпныя вершины Кавказа, не ослъпительный блескъ моря цужны теперь поэту, а совершенно другія картины. "Люблю я песчаный косогоръ" — говоритъ онъ, — "передъ избушкой двъ рябины, калитку, сломанный заборъ". "Теперь мила мив балалайка продолжаеть онъ — "да пьяный говоръ трепака передъ порогомъ кабака". Поэту самому порой представляется странной такая перемъна въ ней и, сказавъ однажды, что "порой дождливою намедни онъ (я) завернулъ на скотный дворъ", поэтъ какъ бы спохватывается и восклицаеть: "Тьфу! прозаическія бредии! Фламандской школы пестрый соръ! Таковъ ли былъ я, разцвътая?" Въ концъ VI пъсни Евгенія Опъгина Пушкинъ поэтически прощался съ юностью и встръчалъ свой полдень. "Съ ясной дущой - говорить опъ - пускаюсь я иыпъ въ новый путь отдохнуть отъ жизни прошлой". "Лъта клоиятъ меня

къ суровой прозъ и гонять шальную риому". Онъ желаетъ только одного — чтобы вдохновеніе прилетало почаще въ его уголъ и не давало его душъ остыть, ожесточиться, очерствъть и окаменъть въ мертвящемъ упоедын свъта. Послъдняго не случилось, а первое исполнилось. Но его проза дала намъ опять таки не какихъ-либо высокихъ героевъ, но - станціоннаго смотрителя, ремесленинка-гробовщика, простого офицера, дочь капитана въ отдалениой глуши и т. п. — Такъ расширялось содержаніе поэзін Пушкина и опредълялось его отношеніе къ современности. Выступало на сцену новое требованіе, которое со времени Пушкина стало уже безошибочно примъняться ко всякому литературному произведенію - народность. Пушкинъ, давая художественные образцы, проникнутые русской народностью, старался и теоретически выяснить сущность ея. Въ своей жизни онъ спускался до простонародности: входилъ въ сношенія съ простымъ народомъ, интересовался его бытомъ, записывалъ его пъсни и любовался, какъ онъ говорить, игрой трепака. Но онъ хорошо понималь, что отъ простонародности до народности большое разстояніе. "Одинъ изъ нашихъ критиковъ, - говоритъ Пушкинъ, - кажется полагаетъ, что народность состоитъ въ выборъ предметовъ изъ отечественной исторін"; "другіе — продолжаеть онь, видять народность въ словахъ, оборотахъ, выраженіяхъ, т.-е. радуются тому, что, объясняясь по-русски, употребляють русскія выраженія". Не въ этомъ, по мнѣнію Пушкина, заключается пародность. "Народность въ писателъ — говоритъ онъ — есть достоинство, которое вполит можеть быть оцтнено одними соотечественниками: для другихъ оно или не существуетъ, или даже можетъ показаться порокомъ... Есть образъ мыслей и чувствованій, есть тьма обычаевь, повірій и привычекь, привадлежащихъ исключительно какому-нибудь народу. Климатъ, образъ жизни, въра — даютъ каждому народу особенную физіономію, которая болье или менье отражается въ поэзіи". Следовательно, быть народнымъ значить изображать окружающую дъйствительность какъ она есть. Современники Пушкина далеко не вет могли понять, что въ произведеніяхъ возмужавшагося таланта изображалась безъ прикрасъ русская пародность, и только Бълинскому Пушкинъ обязанъ тъмъ, что за нимъ усвояется имя народнаго поэта.

Въ этомъ величайшая заслуга Пушкина. Его геній худо-

жественно представиль намъ самыя лучшія внутреннія черты нашей народности и, такимъ образомъ, указалъ послъдующимъ писателямъ тотъ путь, которымъ они должны идти, если желають, чтобы ихъ творенія получили всеобщее значеніе. Русская литература въ настоящее время возвышается падъ другими именно своей индивидуальностью, изображепіемъ тъхъ свойствъ, которыя отличаютъ одну національпость отъ другой. Завътъ Пушкина исполняется тотчасъ же Тургеневымъ, говорящимъ намъ, что "виъ народности ин художества, ни истины, ни жизни, ничего нътъ". Но нужно было въ то время быть геніемъ, чтобы сознаніе народности не перешло въ кичливое національное самомитніе и не выразилось-бы во вижшинхъ только проявленіяхъ. Воспринимая всь данныя европейской культуры, насколько последняя является общечеловъческой, Пушкинъ выставляетъ намъ вполнъ русскаго человъка, какъ онъ сложидся на протяжени въковъ, и нашимъ писателямъ оставалось только расширять содержаніе и отыскивать новыя свойства русскаго человѣка. Всякая неестественность въ изображении народныхъ чертъ послъ Пушкина стала настолько ощутительна, что совершенно безъ слъда исчезли прежнія манеры рисовать русскую жизнь съ чужихъ образцовъ. И опять, слъдовательно, мы раздълимъ всю нашу литературу на двъ половины: съ одной стороны — вся нлеяда писателей, изобразившихъ русскую народность съ самыхъ разнообразныхъ сторонъ, а съ другой — Пушкинъ, положившій прочное основаніе художественнаго воспроизведенія народности. Истрина.

Источники вдохновенія Пушкина и высокоправственное значеніе его поэзін.

Въ первой половинъ девятнадцатаго стольтія совершились событія, имьющія великое значеніе въ истории нашей умственной жизни: учреждены университеты, и литература обогатилась художественными произведеніями, опредълившими съ пеотразимою силой ея дальныйшее развитіе. Мысль объучрежденіи университетовъ завыщана предшествующимъ стольтіемъ: въ исходь восемнадцатаго стольтія выработанъ проектъуниверситетовъ, падъ составленіемъ котораго потрудились луч-

шіе умы того времени. Въ самомъ концѣ восемнадцатаго столѣтія (26 мая 1799 г.) родился геніальный человѣкъ, дѣятельность котораго составляеть эпоху въ нашей литературѣ, а съ судьбами литературы тѣсно связаны судьбы умственной и общественной жизни.

Представители науки защищали свободу изслъдованія. Пушкинъ исповъдовалъ и проповъдовалъ свободу поэтическаго творчества. Давно уже повторяется, какъ неоспоримая истина, что поэтъ долженъ чуждаться узкой исключительности и петерпимости, что свътъ поэзіи, какъ и свътъ солнца, свътитъ на праведныхъ и неправедныхъ и что объективное изображеніе жизни во всей ея полнотъ составляетъ какъ бы правственную обязанность поэта. Обнимая всъ стороны человъческой жизни, поэзія пріобрътаетъ внутреннюю силу и вліяніе, которое, раньше или позже, обнаруживается въ обществъ и оставляетъ въ немъ неизгладимые слъды. Въ созданіяхъ поэта-художника слышится не плескъ набъжавшей волны, а живой голосъ истины, идущей изъ глубины души человъческой; внимая ея призывамъ,

Рабъ свои забудеть муки И царь Саулъ заслушается ихъ...

На поэзію Пушкинъ смотрѣлъ какъ на святыню, и въ этомъ его историческая заслуга передъ русскою дитературой. Подобно тому, какъ Ломоносовъ, доказывая, что занятіе науками, изученіе природы — свято, открывалъ путь для научныхъ изслѣдованій, вопреки невѣжеству и лицемѣрію, такъ и Пушкинъ, признавая поэзію святыней и требуя нравственнаго достоинства отъ ея служителей, завоевывалъ ей право гражданства въ тогдашнемъ обществѣ, въ которомъ также господствовали предразсудки.

Выше всего цѣня свою свободу, поэтъ, какъ понималь его Пушкинъ, не жертвуетъ своими убѣжденіями для житейскихъ выгодъ, не требуетъ награды за свой благородный подвигъ, не падаетъ къ ногамъ того или другого кумира,— ни передъ чѣмъ и ни передъ кѣмъ

He гнетъ ни совъсти, ни помысловъ, ни шеи.

Не ту же ли мысль выражаеть Гёте, заставляя своего пъвца отказаться отъ золотой цъпи, предложенной ему въ награду, и Шиллеръ, говоря, что художникъ есть сынъ въка, но горе ему, если онъ захочеть быть его любимцемъ. Но убъжденію Шиллера, которому сочувствоваль и Пушкинь, поэть-художникъ, оставаясь вполнѣ свободнымъ и чуждаясь всякой односторонности, тѣмъ самымъ можетъ содѣйствовать къ искорененію, хотя и въ отдаленномъ будущемъ, тѣхъ крайностей, которыя такъ возмущаютъ насъ въ жизни. А такихъ крайностей не мало. Въ то время, когда въ другихъ частяхъ свѣта уважаютъ человѣческое достоинство въ лицѣ негра, въ Европѣ преслѣдуютъ его въ лицѣ мыслителя. Художественное начало, художественныя формы имѣютъ великое значеніе,— они переживаютъ вѣка и не подлежатъ прихотямъ судьбы и людей. Храмы производили еще благоговѣйное наслажденіе, когда боги были уже осмѣяны; римляне раболѣпно склопяли колѣни передъ цезарями, когда статуи стояли еще гордо и прямо...

Отзываясь поэтической думой на все, что просить отвъта у мысли и чувства художника, Пушкинъ изображаль жизнь во всей ся полнотъ, вводя въ область своей поэзіп "п гимны въщіе, внушенные богами, и пъсни мирныя фригійскихъ пастуховъ", — другими словами, онъ съ одинаковою върностью изображалъ и внутренній міръ людей, посвятившихъ себя высшимъ духовнымъ интересамъ, и бытъ народа, трудами рукъ своихъ пріобрътающаго насущный хлъбъ. Пушкинъ черпалъ вдохновеніе изъ самыхъ разнообразныхъ источниковъ и художественно воспроизводилъ самыя ръзкія противоноложности и въ природъ, и въ человъкъ, — украинскую степь и горы Кавказа, капитанскую дочку и Сальери, — зачитывался Байрономъ и Шекспиромъ и заслушивался сказсками Арины Родіоновны.

Первою и, какъ оказалось, превосходною школою для изученія русской жизни было для Пушкина невольное путешествіе по Россіи. Пребываніе на югь Россіи, въ различныхъ слояхъ общества и народа — оть гостиной аристократа до цыганскаго табора — ознаменовано цълымъ рядомъ произведеній, прославившихъ имя нашего поэта. Вст послъдующія произведенія Пушкина носятъ яркую печать близкаго знакомства съ русскою жизнью. Скажу болье: къ нимъ необходимо долженъ обращаться историкъ Россіи при изображеніи внугренней жизий нашей въ первой половинъ девятнадцатаго стольтія.

Поэзія для Пушкина была не праздною забавон, а двломъ жизни, которому отдавалъ онъ свои лучшія силы и для котораго работалъ неутомимо. Да, именно - работалъ. Опъ постоянно читалъ, изучалъ свои источники, дълалъ выписки, замьтки, и т. п. Много времени и труда употребилъ онъ на собираніе матеріаловъ для исторіи Пугачевскаго бунта и для исторіи Петра Великаго. Задумавъ написать пьесу изъ быта древняго міра, онъ внимательно перечиталь древнихъ писателей. Въ его черновыхъ тетрадяхъ часто встръчаются подобпаго рода замътки: "Изученіе Шекспира, Карамзина и старыхъ нашихъ лътописей дало миъ мысль оживить въ драматическихъ формахъ одну изъ самыхъ драматическихъ эпохъ новъйшен исторін" и т. и. Пушкинъ зналъ нфсколько иностранныхъ языковъ и читалъ въ подлинникъ произведенія, которыми гордится европейская литература. Трудясь самъ надъ своимъ образованіемъ, Пушкинъ обнаружилъ въ высшей степени върное пониманіе литературныхъ эпохъ и дъйствительное значеніе писателей. Пушкинъ, руководствуясь единственно своимъ собственнымъ выборомъ и художественнымъ чутьемъ, прошель въ своемъ литературномъ образовании почти тоть же путь, который указывали люди науки, стоявше на высотъ современной имъ европейской образованности. Съ университетскихъ канедръ говорилось у насъ о необходимости для русской литературы сбросить съ нея французское иго и обратиться къ литературъ германской, отличающейся большою свободой и разносторонностью. Изъ иностраиныхъ писателей ученые наши особенно высоко цвнили Шекспира и старались знакомить съ нимъ русскихъ читателей. Заплативъ неизбъжную дань французской литературъ и французскимъ классикамъ, Пушкинъ покинулъ "маркиза" Расина и сознательно предпочель ему Байрона. Но и Байронь не долго оставался властителемъ его думъ. Силою своего ума и художественнаго таланта Пушкинъ уразумълъ все превосходство Шекспира надъ Байрономъ, который былъ кумиромъ современнаго Пушкину поколънія.

Поэтическія созданія Пушкина, при высокомъ художественномъ значеніи, пропикнуты сознаніемъ человѣческаго достопнства и сочувствіемъ къ лучшимъ движеніямъ человѣческой души. "Гдѣ нѣтъ любви, тамъ нѣтъ и истины", говорилъс Пушкинъ. Права свои на любовь и память народа онъ видъль въ томъ, что въ стихахъ своихъ онъ "пробуждалъ добрыя чувства и милость къ падшимъ призывалъ". Особенное значение въ жизни Петра Великаго Пушкинъ придавалъ той, увъковъченной имъ, прекрасной минутъ, когда всемогущій царь

... съ подданнымъ мирится, Виноватому вину отпуская веселится.

Изъ сонма героевъ, покрывшихъ себя славою на ратномъ полѣ, Пушкина привлекалъ всего сплънѣе величественный образъ Барклая-де-Толли, въ которомъ воинская доблесть сливалась съ глубоко-нравственнымъ подвигомъ самоотверженія: для блага отвергнувшаго его народа великодушный вождь пожертвовалъ собою, безмолвно уступая и свой лавровый вѣнецъ,

II власть, и замысель, обдуманный глубоко, II въ полковыхъ рядахъ сокрылся одиноко.

Не слава побъдъ, ръшавшихъ судьбы Европы, плъняла Пушкина въ Наполеонъ — "другомъ властителъ его думъ", а та правственная побъда Наполеона надъ самимъ собою, когда, забывая опасность, онъ входилъ, какъ увъряли тогда, къ зачумленнымъ и подкръплялъ страдальцевъ словомъ участія:

Нѣть, не у счастія на лопѣ
Его я вижу, не въ бою,
Не зятемь кесаря на тронѣ...
Не та картина предо мною:
Одровъ я вижу длинный строй;
Лежить на каждомъ трупъ живой,
Клейменный мощною чумою,
Царицею болѣзней. Онъ
Не бранной смертью окруженъ,
Нахмурясь, ходить межъ одрами
II хладно руку жметь чумѣ,
II въ погибающемъ умѣ
Рождаеть бодрость...

Высокое вравственное значеніе поэзін Пушкина ясно сознанали наиболье чуткіе изъ его современниковъ и самые даровитые критики посльдующихъ покольній.

Отъ Пушкина, отъ одного Пушкина, — говоритъ Полевой, — современники ожидали "удовлетворенія каждой новой потребности своихъ умовъ и сердецъ. Пушкинъ былъ полный пред-

ставитель своего современнаго отечества. Какимъ благороднымъ чувствомъ современнымъ не билось теплое сердце пашего поэта? Что прекрасное и славное не находило сочувствія въ его душь? Хотите ли исчислить все, что высокаго и задушевнаго успѣлъ перемыслить и сказать Пушкинъ въ жизнь свою? Переберите все, что врѣзалось въ сердце ваше отъ его неподражаемыхъ стиховъ".—По убѣжденію Бѣлинскаго, поэзія Пушкина обладаетъ "особенною способностью развивать въ людяхъ чувство изящнаго и чувство гуманности, разумѣя подъ этимъ словомъ безконечное уваженіе къ достоинству человѣка, какъ человѣка. Придетъ время, когда онъ будетъ въ Россіи поэтомъ классическимъ, по твореніямъ котораго будутъ образовывать и развивать не только эстетическое, но и нравственное чувство".

Что касается до уваженія Пушкина къ правамъ разума, къ свободному развитію науки и литературы въ Россіп, то въ самихъ произведеніяхъ великаго поэта находятся свидътельства, драгоцѣнныя въ этомъ отношеніи.

Пушкину суждено было пережить тяжелую пору для нашей научной и литературиой дъятельности. Какой-то злобный демонъ, духъ разрушенія и гибели, парилъ надъ русскими университетами, изгоняя изъ нихъ служителей истиннаго бога — бога свъта и знанія. Тотъ же духъ недовърія и преслъдованія тяготълъ и надъ литературой. Писатели должны были умолкнуть на полусловъ, и вслъдствіе этого происходило то, что обыкновенно бываетъ въ подобныхъ случаяхъ: недосказанная правда казалась ложью и недосказанная ложь правдою.

Совершенную противоположность представляеть эпоха предшествовавшая — начало девятнадцатаго стольтія, бывшее вмьсть съ тьмъ и началомъ царствованіи императора Александра I. Тогда люди государственные, участвовавшіе въ составленіи университетскаго устава, доказывали необходимость свободы изсльдованія и преподаванія. Тогда составители цензурнаго устава открыто и прямо говорили противъ всякихъ стьсненій печатному слову и добивались для него возможно-большей свободы.

На чью же сторону склонялся Пушкинъ? Что говорили ему его свътлый умъ, его чистая совъсть? — Пушкинъ выразиль свой взглядъ самымъ опредъленнымъ образомъ, и слова

его должны сдълаться достояніемъ псторін и девизомъ всълъ русскихъ университетовъ, всъхъ истинныхъ друзей науки, литературы и просвъщенія:

Дней Александровыхъ прекрасное начало: Провъдай, что въ тъ дни произвела печать! На поприщъ ума нельзя намъ отступать.

Сухомлиновъ.

Пушкинъ, какъ проповъдникъ гуманности.

Стихотворенія Пушкина проникнуты чувствомъ гуманности, что составляєть одно изъ лучшихъ украшеній нашего поэта.

Стихотвореніе, обличающее гуманное чувство поэта, адресовано, напр., Мицкевичу:

...Онъ между нами жиль, Средь племени ему чужого; злобы Въ душъ своей къ намъ не питалъ онъ; мы Его любили. Мирный, благосклонный, Онъ посъщаль бесъды наши. Съ нимъ Дълились мы и чистыми мечтами, II пфенями (онъ вдохновенъ былъ свыше II съ высоты взпралъ на жизнь). Неръдко Онъ говорилъ о временахъ грядущихъ, Когда народы, распри позабывъ, Въ великую семью соединятся. Мы жадно слушали поэта. Онъ Ушель на Западъ — и благословеньемъ Его мы проводили. Но теперь Нашъ мириый гость намъ сталъ врагомъ, и нынъ Въ своихъ стихахъ, угодникъ черни буйной, Поеть онъ ненависть: издалека Знакомый голось злобнаго поэта Доходить къ намъ!... О, Боже! возврати Твой миръ въ его озлобленную душу!"

Вы видите, что все стихотвореніе пропикнуто тихой грустью воспоминанія о любимомъ другѣ, который пересталъ любить ближнихъ, даже враждуетъ съ ними; но иѣтъ тутъ и тѣни злобы, и желаніе, чтобы Богъ возвратилъ свой миръ въ его озлобленную душу, является естествено необходимымъ финаломъ пьесъ.

Другое стихотвореніе, которое можно привести образчикомъ гуманности нашего поэта, это — "Наполеонъ". Не одинъ хіх въка. Въ своемъ юношескомъ стихотвореніи, написанномъ въ 1815 году, онъ расточалъ ему нелестные эпитеты вмъстъ съ своими современниками, поддаваясь общему раздраженію противъ него. Но уже въ стихотвореніи "Къ морю" (1824 г.) мы видимъ совершенно другое отношеніе къ Наполеону, а въ упомянутомъ нами стихотвореніи "Наполеонъ" (1821 г.) онъ такъ выражается по поводу его заточенія на островъ св. Елены:

"Пскуплены его стяжанья И зло воинственныхъ чудесъ Тоскою душнаго изгнанья, Подъ сѣнью чуждою небесъ. И знойный островъ заточенья Полнощный парусъ посѣтитъ, И путникъ слово примиренья На ономъ камнѣ начертитъ.

Гдѣ, устремивъ на волны очи, Изгнанникъ помнилъ звукъ мечей, И льдистый ужасъ полуночи, И небо Франціи своей; Гдѣ иногда, въ своей пустынѣ Забывъ войну, потомство, тронъ, Одинъ, одинъ, о миломъ сынѣ Въ уныньи горькомъ думалъ онъ.

Да будеть омрачень позоромь Тоть малодушный, кто вь сей день Безумнымь возмутить укоромь Его развѣнчанную тѣнь! Хвала!... Онъ русскому народу Высокій жребій указаль, ІІ міру вѣчную свободу ІІзъ мрака ссылки завѣщаль.

Таковы были чувства нашего поэта при извъстіи о смерти человъка, причинившаго много зла его отечеству; но онъ при этомъ не могъ не сочувствовать страданіямъ этого геніальнаго историческаго лица, съ высоты своего величія попавшаго въ самое тяжкое положеніе невольника. Ему понятно было это положеніе умирающаго льва, безпощадно лягаемаго цълымъ стадомъ животныхъ. Вспомнимъ, что Вальтеръ-Скоттъ въ своей "Исторіи Наполеона" въ то же время безпощадно нападаетъ на послъдняго, нарушая всъ требованія

безпристрастія, не говоря уже о гуманности. Насколько этотъ представитель націи, по справедливости, гордящейся своей цивилизаціей, менте пашего поэта обладаль однимъ изъ самыхъ важныхъ даровъ этой цивилизаціи — гуманнымъ чувствомъ, насколько онъ менте Пушкина былъ способенъ къ признанію въ человтческомъ несчастіи права на общее сочувствіе!

Яковлевъ.

Пушкинъ — пъвецъ изящнаго.

«Живая прелесть", живая красота творчества — вотъ главная характеристическая черта поэзіи Пушкина. Онъ умѣлъ такъ понимать и такъ изображать красоту, и красоту природы, и (главное) красоту человѣческато духа, какъ никто. Изящиѣе его произведеній нѣтъ ни въ одной литературѣ. Ему, какъ художнику, иѣтъ соперника въ мірѣ. И вотъ почему онъ чувствовалъ себя какъ дома во всѣхъ сферахъ жизни, и самыя разнообразныя явленія ея были ему одинаково доступны и съ одинаковымъ совершенствомъ возсоздавались его творческой фантазіей. Одна только область оставалась для него закрытой, это — та сфера жизни, въ которой иѣтъ красоты; въ ней онъ оказывался безсильнымъ. Изображеніе зла и пошлости жизни не входило въ кругъ поэзіи Пушкина.

Задачей поэта было показать красоту души человъческой, и дъло свое онъ сдълалъ, и имъетъ неотъемлемое право на въчную благодарную память потомства!

Всмотритесь въ безчисленное множество лицъ, созданныхъ Пушкинымъ, и въ каждомъ вы замътите слъды духовной красоты.

Сколько прекрасныхъ людей въ жизни не обратятъ на себя нашего вниманія потому только, что въ нихъ ивтъ ничего выдающагося, эффектнаго; мы пройдемъ равнодушно мимо нихъ и не думая, что за ихъ обыденной наружностью кроются духовныя богатства. А Пушкинъ показываетъ намъ эти богатства и заставляетъ насъ невольно любить такихъ людей. Вотъ, напр., старики Мироновы въ "Капитанской дочкъ". Мы, можетъ-быть, свысока отнеслись бы къ этимъ простымъ

людямъ за ихъ наивность, грубость, невѣжество, простодушіе... Но поэтъ подмѣтилъ ихъ безконечную доброту, ихъ вѣчную преданность другъ другу, красоту ихъ смиренія, ихъ героизмъ, которому они сами не придаютъ и значенія, — и мы останавливаемся передъ ними съ благоговѣйнымъ уваженіемъ.

Наоборотъ, вившній эффектъ, могущій прельстить насъ своимъ мишурнымъ блескомъ, Пушкинъ умветъ разввичать, потому что понимаетъ, что слышитъ чуткой душою своею отсутствіе въ немъ настоящей красоты. Эффектно положеніе Онвгина, читающаго наставленіе Татьянв послв полученія отъ нея письма,— Онвгинъ рисуется своимъ разочарованіемъ, красиво скорбитъ объ утраченныхъ надеждахъ, о невозможности для него вновь чувствовать и жить:

Мечтамъ и годамъ нѣтъ возврата, Не обновлю души моей.

Онъ красиво драшируется чувствомъ благородства и великодушія:

Не всякій вась, какь я пойметь. Къ бѣдѣ неопытность ведеть.

Но Пушкинъ безпощадно разбиваетъ весь этотъ кажущійся блескъ, заставляя Онфгина послф всего этого влюбиться въ Татьяну. Въ этой любви Онфгина есть, однако, большая доля правды, — и мы слышимъ ее въ неподдфльной страстности его письма, хотя и въ этой искренней страсти своего героя поэтъ опять-таки подмфчаетъ фальшивую ноту тщеславія, — и устами Татьяны называетъ Опфгина "чувства мягкаго рабомъ".

Какъ бы низко человъкъ ин упалъ, по въ душъ его почти всегда сохраняется хотя что-нибудь свътлое, хоть тънь добра. И вотъ Пушкинъ показываетъ намъ эти слъды нравственной красоты въ падшихъ людяхъ и пробуждаетъ въ нашей душъ доброе чувство состраданія и скорби. Въ свиръпой душъ Пугачева (въ повъсти "Капитанская дочка") онъ сумълъ подмътить человъческое чувство благодарности, гуманный порывъ великодушія, негодованіе, что смъютъ обижать спроту. Скупой баронъ, герой драмы "Скупой рыцарь", кажется, утратилъ все человъческое, даже любовь и уваженіе къ самому себъ, а между тъмъ поэтъ видитъ въ немъ живое чувство

чести и показываетъ намъ, какъ, неожиданно пробужденное, оно потрясаетъ всю душу скупца, — и вмъсто ненависти и презрънія мы чувствуемъ состраданіе къ падшему брату. Вотъ что значитъ стихъ —

II милость къ падшимъ призывалъ.

Незеленовъ.

Пушкинъ, какъ поэтъ-этнографъ.

Для изученія русскаго языка и народности благопріятнымъ событіемъ въ жизни Пушкина были его высылка изъ Петербурга, путешествіе на югь, жизнь въ Кишиневъ и затъмъ пребываніе въ деревенской глуши въ Михайловскомъ. Непосредственное сношеніе съ простымъ народомъ, наблюденіе его жизии, знакомство съ его языкомъ и пъснями должны были прямо повліять на впечатлительную художественную натуру, умфвшую всюду подмфчать черты красоты въ природъ, въ языкъ, въ народныхъ типахъ. Оставивъ столицу съ ея условными формами языка и мысли въ аристократическихъ салонахъ, Пушкинъ "опростился" въ провинціи, сталъ изучать пеструю жизнь во всемъ ея разнообразіи, уподобляясь тъмъ художникамъ (пленеристамъ), которые изъ городской студін съ условнымъ освещеніемъ и манекснами, переодетыми въ костюмы, выносять свои мольберты на чистый воздухъ, наблюдая природу, свътовые эффекты и типы людей во всей ихъ реальной правдъ. Періодъ литературныхъ вліяній на "свободнаго" художника, какимъ былъ по натуръ Пушкинъ, быстро проходитъ. "Властитель думъ" всего молодого поколфнія Европы, Байронъ, повліяль лишь на немногія созданія поэта. Но впечатльнія личной жизни были настолько сильны, что заглушали эти вившийе навъянные книгой образы. Откровенно-добродушный, неустойчивый, крайне впечатлительный, быстро переходящій изъ одного настроенія въ другое, поэтъ зналъ хорошо самого себя и свои слабости, сознаваль, благодаря живому и свътлому уму, свое основное несходство съ англійскимъ пъвцомъ и лишь на короткое время, увлекаясь его мрачнымъ настроеніемъ, прелыцался имъ какъ художникъ, благодаря дивной поэтической оболочкъ, чъмъ по своей натуръ, всегда стремившейся разръшать диссопансы жизни гармопическимъ аккордомъ. Если туманныя очертапія немногихъ героевъ Пушкина пужно отнести на счетъ этого книжнаго вліянія, то дивныя краски, которыми поэтъ набрасываетъ росконныя картины природы Кавказа и Крыма, были взяты имъ съ собственной палитры. Несомивниую пользу англійскаго авторитета слъдуетъ видёть въ томъ, что онъ развязалъ Пушкину руки для внесенія этнографическаго элемента въ свои поэмы. Но, конечно, склонность къ этому была самой природой раньше заложена въ талантъ Пушкина, и совпаденіе въ этомъ интересъ къ простымъ народнымъ типамъ у обоихъ поэтовъ было лишь случайнымъ...

Біографами Пушкина было уже указано, какимъ благопріятнымъ условіемъ могло быть путешествіе 1820 года для возбужденія и поддержанія въ поэтъ интереса къ изученію русскаго языка и народности. Л. Н. Майковъ не сомиъвается въ томъ, что начало общаго интереса Пушкина и Н.Н. Раевскаго къ личности Разина восходитъ ко времени ихъ совмъстнаго путешествія по южнымъ степямъ, когда въ казачыхъ пъсняхъ имъ случалось подмъчать явные признаки сочувствія къ своевольному атаману гулящихъ шаекъ. Языкъ этихъ разинскихъ пъсенъ, ихъ захватывающій народный духъ не могли не отразиться благотворно на впечатлительномъ поэтъ и содъйствовать тому, что онъ быстро поднялся надъ той точкой зржнія, съ которой ему представлялась народность въ періодж его первыхъ лицейскихъ опытовъ, (Бова, Русланъ и Людмила). Любопытно наблюдать въ его письмахъ съ юга, какъ русскій элементь начинаеть выдвигаться все болже и болже, особенно въ болъе интимныхъ письмахъ къ брату Льву ки. Вяземскому, Н. Раевскому. Мы узнаемъ изъ одного письма Пушкина къ брату (Кишиневъ 24 сентября 1820 года), что онъ написалъ замъчанія о черноморскихъ и доискихъ казакахъ, въ другомъ (1820 года) онъ проситъ брата писать ему по-русски, "потому что съ моими конституціонными друзьями (въ Кишиневъ) я скоро позабуду русскую азбуку"; въ письмъ слъдующаго года (1822, 24 января) онъ пишетъ брату: "Какъ тебъ не стыдно, мой милый, писать полу-русское, полу-французское письмо, ты не московская кузина". Въ следующемъ году (1823) онъ заявляеть въ письмѣ къ ки. Вяземскому (изъ Одессы въ ноябръ), что не доволенъ своимъ языкомъ: "Я не люблю видъть въ первобытномъ нашемъ языкъ слъды европейскаго жеманства и французской утонченности. Грубость и простота болье ему пристали. Проповьдую изъ внутренняго убъжденія, но по привычкъ пишу иначе". Этотъ отзывъ 1523 года уже почти совпадаетъ съ извъстными словами въ "Критическихъ замъткахъ 1830—31 годовъ" о томъ, что празговорный языкъ простого народа (не читающаго иностранныхъ книгъ, и, слава Богу, не искажающаго, какъ мы, своихъ мыслей на французскомъ языкъ), достоинъ также глубочайшихъ изслъдованій... Не худо намъ иногда прислушиваться къ московскимъ просвирнямъ, онъ говорятъ удивительно чистымъ и правильнымъ языкомъ".

Уже въ нѣкоторыхъ интимныхъ письмахъ этого періода къ литературнымъ столичнымъ пріятелямъ и къ брату замѣтно, что "опростившійся" поэтъ какъ бы щеголяетъ чисто русскими выраженіями, пословицами.

Вліяніе двухлѣтней жизни въ деревив въ обществъ старухи Арины Родіоновны, непосредственнаго ежедневнаго наблюденія народа, слушанья пъсенъ и сказокъ на языкъ Пушкина представляеть факть слишкомь хорошо извъстный, чтобы на немъ вновь останавливаться. Изъ переписки Пушкина конца 20-хъ и начала 30-хъ годовъ достаточно отмѣтить на выдержку, только два-три характерныхъ письма. Особенно интересны въ этомъ отношенін его письма къ невъсть и затьмъ жень. Своей невъстъ, согласно со свътскими обычаями, поэтъ посылаетъ изящныя французскія письма, не отступая отъ кодекса условныхъ придичій того времени. Совершенно измѣняется языкъ и характеръ писемъ, которыя Пушкинъ посылаетъ женъ съ 1831 года въ теченіе своихъ временныхъ отлучекъ. Вотъ, напримъръ, выдержка изъ письма 19 апръля 1833 года изъ Орепбурга: "Что женка? Скучно тебъ? Мнъ тоска безъ тебя. Кабы не стыдно было, воротился бы прямо къ тебъ, ин строчки не написавъ. Да нельзя, мой ангелъ, - взялся за гужъ, не говори, что не дюжъ"... И далѣе: "знаешь ли ты, что есть пословица, "на чужой сторонкъ и старушка Божій даръ". То-то женка. Бери съ меня примъръ". Въ письмахъ къ пріятелямъ Пушкинъ неръдко любилъ вытряхивать запасъ пословицъ, застрявщій у него въ головъ, благодаря интересу къ нимъ и замъчательной намяти. Такъ въ утъшение С. А. Соболевскому, линившемуся матери, Пушкипъ (въ 1828 году 15 іюля) говоритъ: "Что тебъ скажу? Про старыя дрожди не говорятъ трожды, не радуйся нашедъ, не плачь потерявъ... Перенеси мужественно перемѣну судьбы твоей, то-есть, но одежкѣ тяпи ножки; все перемелится, будетъ мука. Ты видишь, что кромѣ пословицъ ничего путнаго сказать не умѣю".

Интересъ къ наблюдению языка не покидалъ Пушкина до конца его жизни. Не имъя достаточной подготовки, необходимыхъ знаній по исторіи языка, онъ, какъ любитель, пускается въ этимологію, въ вопросы грамматики и ороографія. Конечно. его словопроизводства (напр., телъги отъ тельца) кажутся намъ наивными, но уже ценно то, что поэтъ съ постояннымъ вниманіемъ относится къ фактамъ языка. Его интересуетъ исторія языка, напр., слова, вошедшія въ языкъ, какъ переводъ, иногда неправильный, съ французскаго; онъ внимательно читаетъ "Урядникъ сокольничья путп" царя Алексъя и выписываеть изъ него термины соколиной охоты, онъ изучаетъ "Слово о полку Игоревъ", обращается къ современнымъ ученымъ, предлагая имъ свои догадки и вызывая ихъ на разысканія. Въ бумагахъ его отъ 1834 года сохранились начатыя имъ замъчанія на тексть этого памятника, котораго неясныя мъста онъ старается (хотя безуспъшно) осмыслить.

Недовольство Пушкина русскимъ литературнымъ языкомъ продолжается и въ тридцатыхъ годахъ, на что имъемъ любопытное свидътельство В. И. Даля. Когда будущій составитель капитальнаго Толковаго Словаря издаль въ 1832 году первый пятокъ своихъ русскихъ сказокъ казака Луганскаго, написанныхъ, какъ авторъ сознавался впоследствін, съ целью "познакомить земляковъ своихъ сколько-нибудь съ народнымъ языкомъ", Пушкинъ привътствовалъ это внесеніе народнаго языка въ литературу и, по словамъ В. И. Даля, "по обыкновенію, засыпаль его множествомъ отрывочныхъ замъчаній, которыя всё шли къ дёлу, показывали глубокое чувство истины и выражали то, что, казалось, у всякаго изъ насъ на умъ вертится, только что съ языка не срывается. "Сказка сказкой", говориль онъ, "а языкъ нашъ самъ по себъ, и ему-то нигдъ нельзя дать этого русскаго раздолья, какъ въ сказкъ. А какъ это сдълать?... Надо бы сдълать, чтобы выучиться говорить по-русски и не въ сказкъ... Да нътъ, трудно, нельзя еще! А что за роскошь, что за смысль, какой толкъ въ каждой поговоркъ нашей! Что за золото! А не дается въ руки, ивтъ!" Слова Пушкина, по нашему мивнію, чрез-

вычайно характерны. Передъ нами художникъ слова, проникнутый глубокимъ удивленіемъ передъ силою, яркостью, пластичностью, красотою того многовъковаго пароднаго созданія, которое мы называемъ русскимъ народнымъ языкомъ. Онъ любуется имъ, но не знаетъ, какъ взять этотъ кладъ, который не дается въ руки. Опъ чувствуетъ, что въ ограниченной области народныхъ сказокъ ему можно дать ходъ, но какъ сдълать, чтобы это богатство народнаго языка вошло въ большій литературный обороть? Если бы Пушкинь быль сколько-инбудь подготовленъ филологически, если бы онъ быль знакомъ съ процессомъ выработки литературнаго языка въ связи съ культурнымъ ходомъ общества, опъ поиядъ бы, что попытки къ реформъ этого языка, путемъ искусственнаго внесенія въ него народной стихіи, не могуть быть удачны, что наспльственно втискиваемая народность не можетъ войти въ общій литературный обороть и что даже въ quasi-народныхъ сказкахъ Даля, написанныхъ размъренной или риемованной прозои; успащенной поговорками, прибаутками, чувствуется въ сущности искусственная поддълка подъ народный складъ, становящаяся въ концъ концовъ просто скучной. Конечно, полуфранцузъ по воспитанію, Пушкинъ, старавшійся исправить недостатки "проклятаго" своего воспитація долженъ быль высоко ценить въ Дале его замечательное знаніе народныхъ словъ и оборотовъ, цфиить, быть можетъ, тъмъ выше, что самъ, при всемъ желапін, не имълъ въ своемъ распоряженін такого богатства народнаго языка; но можно думать, что чувство художественной правды, столь сильно руководившее поэтомъ въ его твореніяхъ въ народномъ духѣ, не допустило бы его самого до сложенія народныхъ сказокъ во вкуст Даля, въ тонт и манерт народнаго бахаря и ба-Jarypa.

Указавъ па постоянный интересъ Пушкива къ изученю языка, къ вопросамъ о слогъ, приведемъ въ заключеніе нѣ-которыя свидътельства современника его проф. Шевырева: "Никто, — говоритъ Шевыревъ, — такъ не уважалъ формъ русскаго языка и русскои просодіи, какъ Пушкинъ. Мы слышали отъ него мпого рѣзкихъ и остроумныхъ грамматическихъ замѣчаніи, которыя показывали, какъ глубоко изучалъ онъ отечественный языкъ". Извѣстно, съ какимъ усердіемъ Пушкинъ изучалъ намятники древней словесности. "Слово

о полку Игоревът опъ помниль отъ начала до конца наизусть и готовилъ ему объясненія. Онъ было любимымъ предметомъ его послъднихъ разговоровъ. Неръдко въ бесъдъ приводилъ онъ цъликомъ слова изъ государственныхъ грамотъ
и льтописей. Начертить характеръ Пимена могъ онъ только
по глубокомъ изученіи духа и языка льтописей. Кто изъ
знавшихъ коротко Пушкина не слыхалъ, какъ онъ прекрасно
читывалъ русскія пъсни? Кто не помнитъ, какъ онъ любилъ
ловить живую ръчь изъ устъ простого народа?"

Отъ занятій Пушкина русскимъ языкомъ перейдемъ къ его этнографическому интересу вообще, къ его наблюденіямъ народной жизни, къ его изученію памятниковъ народной словесности. Мы уже упомянули, что его путешествіе 1820 года по южнымъ степямъ, въ обществъ Н. Раевскаго, дало ему возможность наблюдать быть казаковь и прислушиваться къ ихъ пъснямъ. На Кавказъ онъ знакомится частью по разсказамъ, частью по собственнымъ наблюденіямъ съ бытомъ черкесовъ и задумываетъ картину мъстной природы и жизни, подчинивъ этнографическій элементь романтической фабуль. Извъстно, какъ самъ поэтъ (въ письмъ къ Гилдичу 29 апръля 1822 г.), чувствуя, что его этнографическая картина только вижшнимъ образомъ введена въ планъ поэмы, сознается, что "описаніе нравовъ черкесскихъ (у него) не связано съ происшествіемъ и есть не что пное, какъ географическая статья, пли отчетъ путешественника". Въ Крыму поэтъ знакомится съ бытомъ южно-бережныхъ татаръ и, изъ подражанія Байрону, вводитъ въ свою крымскую поэму татарскую пфеню, въ которой мастерски характеризуеть основныя черты чтителей пророка мусульманскій фанатизмъ (священную войну газавать) и чувственную любовь. Въ Кишиневъ и Одессъ область его этнографическихъ наблюденій еще болфе расширяется: онъ знакомится съ цыганами, греками, итальянцами, албанцами, сербами, болгарами. Онъ самъ кочуетъ по Бессарабін въ теченіе нъсколькихъ дней съ цыганскимъ таборомъ, раздъляя, по поэтическому капризу, жизнь "смиренной вольности дътей". Знаменитая пъсня Земфиры "Старый мужъ, грозный мужъ", какъ извъстно, представляетъ удачное подражаніе популярной въ Кишиневъ молдавской. По свидътельству В. П. Горчакова, Пушкина занимала также другая извъстная молдаванская иъсня (тю юбески пити масура), пляска, сопровождаемая пвніемъ,

называемая мититика и въ особенности такъ называемая себершти (сербская пляска). Знакомствомъ съ славянскимъ этнографическимъ элементомъ въ Кишиневъ - болгарами, сербами — быть можеть объясняется, по въроятному предположенію П. ІІ. Бартенева, умънье, обнаруженное впослъдствін поэтомъ въ переложеніи славянскихъ пѣсенъ. "Разсказы о герож сербскаго возстанія (Кара Георгіп) Пушкинъ могь слышать отъ проживающихъ въ Кишиневъ сербскихъ воеводъ, съ которыми встръчался у Липранди, а впослъдствіи онъ даже принимался записывать отъ знакомыхъ сербовъ ихъ юнацкія пъсни". Позже, въ 30-хъ годахъ, когда ему въ руки попадаетъ сборинкъ народныхъ сербскихъ пъсенъ Вука Караджича, онъ встръчаеть въ немъ уже знакомыя черты сербскаго племени и запитересовывается имъ настолько, что чувствуетъ желаніе воспроизвести и вкоторыя пъсни на русскомъ языкъ. Въ его черновой тетради 1832—33 года "мы видимъ и выписку сербскаго текста одной изъ пъсенъ, и его собственный переводъ ея". При все возрастающемъ интересъ къ мъстному этнографическому элементу на югъ, поэтъ искалъ всюду случая дополнить недостатки своего образованія научнымъ чтеніемъ историческихъ и этнографическихъ книгъ. Въ Кишиневъ онъ много читаль, пользуясь книгами Инзова, Орлова, Пущина и всего чаще И. П. Липранди, владъвшаго въ то время отличнымъ собраніемъ разныхъ этнографическихъ и историческихъ книгъ. Наблюдение пестрой "смъси одеждъ и лицъ" въ Бессарабін возбуждало его любознательность и къ русской этнографін. По его желанію, младшій Раевскій присылаеть ему съ В. П. Горчаковымъ нѣсколько киижекъ русскихъ сказокъ (въроятно сборникъ Чулкова).

Вфроятно, поэтъ въ этой сказочной области искалъ темы для поэтической разработки, какъ можно судить по тому, что сказка о царъ Салтапъ, обработанная имъ въ 1831 году, была набросана имъ въ черновой тетради въ первый разъ еще во время пребыванія на югъ въ 1822 г. въ видъ программы. Впослъдствій та же сказка, быть можетъ, слышанная поэтомъ еще въ дътствъ, была имъ снова записана со словъ няни въ Михайловскомъ.

Переходя къ непосредственнымъ записямъ Пушкина пародныхъ произведеній, начнемъ со сказокъ, о которыхъ поэтъ былъ высокаго миѣнія. "Что за прелесть эти сказки! каждая

есть поэма!" восилицаеть онь въ письмъ къ брату изъ Михайловскаго (1824, конецъ октября), сообщая ему о своемъ уединенномъ образъ жизни и о томъ, что по вечерамъ онъ слушаетъ сказки отъ Арины Родіоновны. Но онъ не только слушаль, но и набрасываль ихъ, какъ матеріаль для будущаго, для поэтической разработки. Кажется, всего раньше воспользовался онъ изъ своей записи сказки о царъ Салтанъ твми сказочными деталями, которыя онъ внесъ въ свой дивный прологъ ко 2-му изд. "Руслана и Людмилы". Именно въ этой записи мы находимъ несколько строкъ, прямо попавшихъ въ начало продога: "что за чудо!" говоритъ мачеха, "вотъ что чудо: у моря Лукоморья стоить дубъ, а на томъ дубу зодотыя цёпи, и по тёмъ цёпямъ ходить котъ, вверхъ идетьсказки сказываетъ, внизъ идетъ — пъсни поетъ". Мы не знаемъ точно число сказокъ, записанныхъ Пушкинымъ. Но несомивнио сюда принадлежать: 1) сказка о женихъ, передъланная поэтомъ въ превосходную балладу; 2) о рыбакъ п рыбкъ; 3) о царъ Салтанъ; 4) о попъ и работникъ его Балдъ; 5) о мертвой царевнъ и о семи богатыряхъ; 6) о золотомъ пътушкъ. Кромъ этихъ, обработанныхъ впоследствін Пушкинымъ сказокъ, онъ передаль свою запись сказки о царф Берендеф Жуковскому, когда въ Царскомъ Селѣ въ 1831 году вступилъ съ нимъ въ поэтическое состязание въ стихотворной обработкъ народныхъ сказочныхъ сюжетовъ, и сохранилъ въ черновыхъ бумагахъ передачу въ сжатомъ видъ содержанія нъсколькихъ сказокъ: о Кощев безсмертномъ, его дочери и Иванъ царевичь; о царь, его невърной жень и царевичь (повидимому, варіанть изъ цикла Соломоновыхъ сказаній), затёмъ три сказки съ "чертовщиной". Изъ своихъ же сказочныхъ матеріаловъ Пушкинъ сообщилъ В. И. Далю содержание сказки "О Георгіи Храбромъ и сфромъ волкъ", которую тотъ изложилъ своимъ обычнымъ ультра-народнымъ стилемъ.

Еще обильные были записи народных висень вы коллекцій Пушкина, и здысь мы имыемь возможность сообщить ныкоторыя болые точныя данныя, не являвшіяся до сихы поры вы печати. Напомнимы спачала факты, уже извыстные.

Петръ Вас. Кирѣевскій сообщаеть, что еще въ самомъ началь его предпріятія собиранія народныхъ пѣсенъ Пушкинъ доставиль ему замьчательную тетрадь пѣсенъ, собранныхъ имъ въ Псковской губерніи. Въ отдѣлъ свадебныхъ пѣсенъ,

собранныхъ Кирфевскимъ, вошло нѣсколько № изъ тетради Пушкина черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ смерти поэта. Такъ въ I томѣ изъ Пушкинской тетради взятъ № 4:

"Береза бѣлая, береза кудрявая!
Куда ты клонишься, куда поклоняешься?"
— Я туда клонюсь, туда поклоняюся,
Куда вѣтеръ повѣетъ. —
"Княгиня душенька, куда ты ладишься?"
— Туда я лажуся, куда батюшка отдаетъ,
Съ родимой матушкой".—

Но особенно ценно сопровождающее эту песню примечаніе Киртевскаго: "Покойнный А.С. Пушкинъ доставилъ мив 50 № песень, которыя онь съ большой точностью записаль самъ со словъ народа, хотя и не обозначилъ, гдъ именно. Въроятно, что онъ записалъ ихъ у себя въ деревив въ Псковской губернін". Здёсь мы впервые точно узпаемъ число доставленныхъ Кирфевскому Пушкинымъ пфсенъ и изъ просмотра объихъ книгъ 1-й части "свадебныхъ" видимъ, что изъ Пушкинскаго сборника было взято Кирфевскимъ туда 12 ММ, что составляеть почти четверть общаго числа записанныхъ поэтомъ народныхъ пъсенъ. Такое вниманіе Пушкина къ свадебнымъ пъсиямъ, понятно для всякаго этнографа. Въ этихъ пъсняхъ, сопровождающихъ разные моменты свадебнаго обряда, традиціонно хранимыхъ преимущественно женщинами, какъ извъстно, донеслось даже до нашихъ дней не мало следовъ старины, старины временъ боярскихъ, такъ какъ вся обстановка крестьянскаго свадебнаго обряда, съ его свадебными чинами, представляеть какъ бы копію старинион боярской и княжеской свадьбы, начиная съ названія молодыхъ княземъ и княгинею. Въ 20-хъ годахъ, когда такія пъсни записываль Пушкинь, вфроятно, въ своей деревит, въ Михан ловскомъ, вся обрядовая старина крестьянской свадьбы была еще свъжье, чъмъ въ наши дни, и уже съ этой стороны Пушкинская запись представляеть ифкоторый интересъ. По пельзя не отмътить и того, что Пушкинъ понималь необходимость указывать, къ какому именно моменту свадьбы пріурочена та или другая пъсня, т.-е. пріемъ, который въ настоящее время нашими этнографическими программами рекомендуется любителямъ, какъ научное требованіе. Такъ, въ тетрадкъ. доставленной имъ Кирфевскому, онъ въ пояснение ифсенъдълаетъ замъчанія. Напр., пъсня (LXIV) "Какъ у нашего князя певеселые кони стоятъ" и проч., поется, но его словамъ, когда идуть за невъстою къ вънцу. По поводу пъсни "Трубчистая коса вдоль по улицъ шла" онъ замъчаетъ: "Дия за два передъ дъвичникомъ кладутъ на блюдо ленты изъ косы невъстиной. Братъ ея или ближній родственникъ посить блюдо по улицъ. Это называется: красу носить. Между тъмъ поютъ" (слъдуетъ пъсия). При пъсиъ: "Ягода съ ягодой сокатилися" читаемъ полсиеніе Пушкина, что ее "дввушки поють, когда молодая возвратится изъ церкви". Едва ли поэтому мы ощибемся, если предположимъ, что Пушкинъ у себя въ деревив лично наблюдаль всю обрядовую сторону крестьянской свадьбы и записаль пъсни въ связи съ моментами обрядности, какъ и требуетъ этнографическая точность. Глубоко интересуясь русской стариной, читая въ то время въ деревит русскія лътописи и "Псторію" Карамзина, обдумывая "Бориса Годунова", Пушкинъ естественно долженъ былъ увлечься слъдами стариннаго быта въ свадебныхъ пъсняхъ, которыя своимъ драматизмомъ и неръдко глубовимъ чувствомъ привлекали его и какъ поэта. Напомнимъ, какъ онъ удачно пользуется ими, напр., въ "Русалкъ" и въ эпиграфахъ къ нъкоторымъ главамъ "Капитанской дочки" (глава XII, "Спрота"; глава V, "Любовь").

Въроятно впослъдствін, при болье точномъ пересмотръ всего собранія Киртевскаго, окажутся и другія птсни, кромт свадебныхъ, записанныя Пушкинымъ. До сихъ поръ, въ изданныхъ Безсоновымъ выпускахъ появились только 2, интересныя въ томъ отношенін, что доказываютъ непосредственное знакомство поэта и съ живою эпической народной стариной. Таковъ записанный имъ хорошій варіантъ пъсни о "Ванькъключникъ", и пъсия историческая, "Бъжитъ ръчка по песку", вапечатанныя въ 10-мъ выпускъ. Кромъ историческихъ пъсенъ, переданныхъ Пушкинымъ Кирфевскому, у него была еще коллекція пъсенъ о Стенькъ Разинъ, записанныхъ имъ въроятно, еще въ путешествін 1820 года, когда опъ заинтересовался казаками и разбойниками. Двъ разинскія пъсни (о сынъ Стеньки Разина), считавшіяся прежде Пушкинскими подражаніями, оказались послъ сличеній, сдъланныхъ П. Голохвастовымъ, не сочиненными поэтомъ, а только записанными имъ. Такою же записью подлиннаго народнаго достоянія оказалась пъсня "Изъ быта волжскихъ разбойниковъ" (точнъе о морянинъ или "Девять братьевъ разбойниковъ и сестра"), старинная пъсня, кажется, новгородскаго происхожденія, которую поэть, вфроятно, записаль въ Псковской губернін. Изъ бытовыхъ пъсенъ, записанныхъ поэтомъ въ 1825 году, въ изданіяхъ помъщаются еще двь: "Какъ за церковью, за нъмецкою" и "Во лъскъ дремучемъ, тутъ брала дъвка ягоды", о которыхъ мы не знаемъ, вошли ли онъ въ тетрадку, переданную Пушкинымъ Кирфевскому. Затфмъ два изъ черновыхъ набросковъ, относимыхъ къ 1833 году, до такой степени близки къ народнымъ пъснямъ ("Одинъ-то былъ у отца у матери единый сынъ", и "Другъ мой милый, красно солнышко мое"), что производить впечатльніе лишь легкой ретушировки подлинныхъ пъсенъ, которыя либо лежали предъ поэтомъ въ записи, либо хранились въ богатомъ запасъ его памяти. Если къ перечисленнымъ пушкинскимъ записямъ мы прибавимъ найденный недавно С. О. Долговымъ автографъ поэта съ отрывкомъ народной пъсни, повидимому, изъ казацкаго цикла, и тв отрывки изъ песенъ, которые встречаются, какъ эпиграфы надъ изкоторыми главами "Капитанской дочки" и приводятся въ примъчаніяхъ къ "Исторін Пугачевскаго бунта", то, кажется, нътъ сомнънія, что, благодаря любви къ народному пъснопънію, счастливой памяти, Пушкинъ зналъ множество и другихъ народныхъ пъсенъ наизусть, выучивъ ихъ либо изъ тогдашнихъ сборниковъ (Чулкова, Новикова, Прача и друг.), либо перенявъ отъ народа, такъ что въ свое время быль действительно однимь изъ лучшихъ знатоковъ русской народной поэзін.

Народное творчество интересовало его во всемъ своемъ объемъ, во всѣхъ областяхъ. Мы видѣли, какъ высоко цѣнилъ онъ народныя "чудесныя" сказки, которыя, по его болѣе позднему отзыву (1831 г.) "ничуть не уступаютъ въ фантастической поэзіи преданіямъ ирландскимъ и германскимъ". Мы видѣли его собирателемъ и цѣнителемъ народныхъ пѣсенъ — эпическихъ и лирическихъ. Но не менѣе увлекается онъ наивной прелестью легендъ и духовныхъ стиховъ. Въ письмѣ къ Плегневу онъ совѣтуетъ Жуковскому читать Четьи-Минеи, особенно легенды о кіевскихъ чудотворцахъ; "прелесть простоты и вымысла!" Въ 1×36 году, когда по временамъ его вдохновеніе принимаетъ религіозное направленіе, онъ проситъ въ письмѣ Н. М. Языкова (14 апрѣля): "Пришлите мпѣ, ради Бога,

стихъ объ Алексвъ, Божьемъ человъкъ, и еще какую-нибудь легенду; пунсно". Знаменитая "Исторія села Горохина", эта яркая бытовая картина или вфрифе, эскизъ, шутливая пародія стиля и историческихъ пріемовъ Карамзина, свидътельствуетъ о знакомствъ автора съ похоронными крестьянскими причитаніями. Въ критическихъ замъткахъ поэта находимъ разборъ некоторыхъ русскихъ пословица. Словомъ, во всехъ областяхъ пароднаго творчества мы видимъ у Пушкина добросовъстное изученіе подлиннаго народнаго достоянія, неръдко изъ первыхъ рукъ, руководимое вполив сознательнымъ убъжденіемъ въ необходимости такого внимательнаго изследованія народности. Если при этомъ мы припомнимъ, въ какомъ положении засталь поэть изучение народности въ современной ему русской наукъ, то убъдимся, что по этому пути Пушкинъ шелъ самостоятельно, вынесь свое убъждение не изъ научной литературы, а изъ личныхъ наблюденій, изъ своихъ потздокъ по Россіи, и, какъ этнографъ-любитель, предварилъ многихъ ученыхъ. Мастерскимъ, не превзойденнымъ до сихъ поръ, воспроизведеніемъ народнаго духа и колорита, достигнутымъ имъ въ нъкоторыхъ, къ сожальнію, не оконченныхъ наброскахъ еще въ 1825 году, онъ обязанъ не одному геніальному своему дарованію, но и внимательному собпранію и изученію народныхъ образцовъ, которые раскрыли ему народность такою. какою она не представлялась раньше ни ему ни его предше-В. Миллеръ. ственникамъ.

Естественность и правдивость поэзін Пушкина

Поэзія есть діло таннственное. Откуда она рождается, къ чему ведеть, въ какихъ отношеніяхъ находится къ другимъ явленіямъ человіческой жизни — все это трудные вопросы, несмотря на то, что въ простійшихъ своихъ формахъ поэзія встрівчается намъ ежеминутно, и что почти каждый человіть есть поэть, хотя бы и въ очень слабой степени.

('амымъ понятнымъ на свътъ люди считаютъ жизнь, т.-е. наши потребности, желанія, наслажденія и страданія, практическія цъли и практическіе труды. Все это имъетъ для насъ непосредственную достовърность и несомивиное значеніе, ибо все это, какъ говорится, прямо беретъ насъ за живое. Искусство же не принадлежитъ къ этой области; это какое-то при-

даточное и производное явленіе, стремленіе зачёмъ-то переживать нашу жизнь еще разъ, но не въ дъйствительности, а въ воображеніи, въ мечталъ, какъ говорили во времена Пушкина и Жуковскаго. Человъкъ, положимъ, испытываетъ радость или горе. Ему мало того, что эти чувства дъйствительно присутствуютъ въ его душѣ; онъ начинаетъ пѣть, т.-е. онъ повторяетъ свои чувства въ словахъ и звукахъ. Ему для чего-то нужно это воплощеніе испытываемыхъ имъ движеній души, и легко убъдиться, что оно не есть простое повтореніе. Чувства въ пѣснѣ являются въ нѣкоторомъ преображенномъ видъ и получаютъ, очевидно, какое-то другое значеніе.

Странно дъйствуютъ пъсни. Положимъ, смерть отияла у человъка любимое, дорогое существо, и онъ подавленъ своимъ несчастіемъ. Убъжать отъ трупа и забыть его — вотъ самое практическое, что можно сдълать. Между тъмъ, люди стараются какъ будто растравить свою горесть, упиться ею. Раздаются похоронныя иѣсни, и сердце надрывается, и льются слезы даже у тъхъ, кто безъ этого могъ бы остаться спокойнымъ и равнодушнымъ. Но, удивительное дъло! Горе, нарочно вызванное, нарочно повторенное и углубленное, становится легче; оно потеряло свой прежній грубый характеръ, подиялось на какую-то высоту и преобразилось.

Туть мы взяли искусство въ непосредственномъ соприкосновенін съ жизнью. Но въ другихъ случаяхъ непрактическін характеръ искусства обнаруживается еще ръзче и яспъе. Любитель пъсенъ поетъ и грустныя и веселыя пъсни, когда ему не о чемъ пи грустить ни веселиться. Онъ при этомъ испытываетъ и радость и грусть, но. очевидно, не такія свойственны дъйствительной жизни. Если бы печаль, ужасъ, негодованія и тому подобныя чувства, испытываемыя нами, когда мы отдаемся созерцанію произведеній искусства, были вполнъ похожи на чувства, которыя тъми же именами обозначаются въ дъйствительности, то мы, конечно, убъгали бы отъ большей части художественныхъ произведеній. Между тъмъ, среди веселаго общества часто исполняется мрачный Requiem, и мы готовы каждый день смотръть въ театръ на убінства и сумасшествія. Люди, для которыхъ недоступенъ истинный характеръ художества, которые слишкомъ погружены въ жизнь, иногда удивляются этому. "Охота наводить на себя тоску!" замъчаютъ опи. Но и веселая музыка ихъ

ппогда не веселить а только раздражаеть. Очевидно, для искусства пужно быть итсколько свободнымъ душою, пемножко забыть о себъ.

Чтобы потрясти чувства черни древняго Рима, люди должны были действительно убивать другь друга на сценъ, быть денствительно растерзываемы звърями. Но мы, когда сидимъ въ геатръ, не только не должны думать, что убійства, ножары, сумасшествія совершаются передъ нами дійствительно, но даже, для полнаго дъйствія искусства, все время должны быть гвердо увърены, что все вокругъ насъ совершенно благоподучно и безопасно. Если бы мы, забывшись, вообразили, что на сценъ раздаются дъйствительные воили боли, или дъйствительно совершается убійство, то художественное впечатлівніе было бы мгновенно разрушено этимъ впечатлъніемъ жизни, мы бы почувствовали действительную жалость, действительный ужасъ, и были бы вырваны изъ міра художества. Даже если мы замътимъ, что актеръ смъется не искусственно, а потому что дъйствительно расхохотался и не можетъ удержаться, художественное впечатленіе нарушается. Очевидно, жизнь и пскусство — два міра различные. Непрем'виное условіе искусство есть искусственность, т.-е. чтобы передъ нами была не природа, а только какой-то ея образъ. Этотъ образъ имъетъ для насъ особенное значеніе. Несмотря на то, что искусства есть только созерцаніе, чувства, испытываемыя нами при его дъйствін, глубже, ясиже, опредълениве, чъмъ дъйствительныя чувства. Какъ будто краски художественнаго міра гуще, ярче, чъмъ міра дъйствительности. Воть почему, когда мы говоримъ о предметахъ и явленіяхъ жизни, мы часто не довольствуемся обыкновеннымъ языкомъ, а заимствуемъ слова изъ сферы искусства. "Тутъ есть что-то поэтическое"; "да. это романъ!" "какова сцена или картина?" "случай чисто траническій, или чисто комическій; "онъ въ этой драмю пграетъ очень дурную роль" и т. д. Такія выраженія обозначають, что мы нашли въ дъйствительности больше, чъмъ она обыкновенно даетъ намъ, что она почему-то вдругъ окрасилась ярче своего обыкновеннаго цвъта.

Если мы возьмемъ художниковъ, то отдёльность искусства отъ жизни выступаетъ уже вполиъ. Они на все смотрятъ не такъ, какъ обыкновенные люди, т.-е. они безпрестанно видятъ вокругъ себя поэтическое, трагическое, комическое, картины,

драмы, — словомъ все то, что обыкновенному человѣку открывается лишь изрѣдка, когда и въ немъ вспыхнетъ художественная искорка, а многимъ и вовсе не открывается. Но этого мало. Художники умѣютъ, часто по самымъ ничтожнымъ поводамъ, переноситься въ чужую жизнь или въ свое прошлое и переживать самыя разнообразныя чувства. И этимъ они занимаются какъ настоящимъ дѣломъ, т.-е. вмѣсто того, чтобы жить и чувствовать въ дѣйствительности, они лучшее свое время проводятъ въ томъ, что забываюто міръ, какъ говоритъ Пушкинъ, и отдаются чувствамъ, образамъ, лицамъ, возникающимъ въ ихъ воображеніи. Въ этомъ ихъ собственномъ мірѣ не соблюдается никакого порядка времени и мѣста, и ходъ его явленій больше всего зависитъ отъ какого-то глубо-каго внутренняго движенія души, называемаго вдохновеніемъ.

Все, что мы сказали, еще не объясияетъ намъ сущности искусства, его цѣли и происхожденія. Но здѣсь указана та его существенная черта, которая никогда не должна быть упускаема изъ виду. Какая бы ни была цѣль искусства и каково бы ни было его содержаніе, опо всегда будетъ какимъ-то преображеннымъ повтореніемъ жизни, содержаніе котораго даетъ другіе результаты, чѣмъ простое соприкосновеніе съ жизнью.

Воть отчего говорять, что искусство есть подражание природы, что оно украшаетс природу, что оно выше природы, что оно есть творчество, что цвль его наслаждение прекраснымь, что оно имбеть примиряющую силу, и т. д. Всв эти формулы имбють свою справедливую сторону въ томъ, что стремятся выразить ибкоторую разнородность искусства съ дбиствительностью.

Отсюда же объясняются тѣ уклоненія, въ которыя впадаеть искусство. Стремясь, по самой своей природѣ, подпяться надъдъйствительностью, опо легко обращается въ ложь, пренебрегаетъ жизнью и ея правдой, пріучаетъ людей жить и довольствоваться воображеніемъ, раздвояетъ ихъ существованіе, обращаетъ ихъ въ существа, которыя вѣчно умиляются, вослищаются, ищутъ прекраснаго и возвышеннаго, слѣдовательно, повидомому, живутъ очень высокою душевною жизнью, на самомъ же дѣлѣ чаето не обладаютъ никакою дѣйствительною красотою чувствъ.

Изъ той же существенной черты проистекаетъ, наконецъ, непонимание искусства и вражда противъ него.

Въ самомъ дълъ, причину отрицанія искусства составляютъ не одни его ложныя и дурныя явленія; самая сущность его недоступна и враждебна многимъ людямъ. Кто весь поглощенъ жизненными интересами, тотъ естественнымъ образомъ смотритъ враждебно на это созерцаніе, при которомъ человѣкъ видитъ не предметъ личной своей дъятельности, а какое-то зрълище, смотритъ на нее почти такъ, какъ смотрѣлъ бы житель иной планеты, случайно залетѣвшій на землю. Для многихъ же, пикогда не подымавшихся мыслью выше насущныхъ интересовъ, искусство не имѣетъ и этого смысла; оно для нихъ глупая, скучная забава, возможная только для людей инчего не дѣлающихъ.

Все это доказываетъ только идеальную природу искусства, которая отъ него неотъемлема и безъ пониманія которой въ немъ нельзя ничего понять.

Припомнимъ нъкоторыя слова Пушкина объ искусствъ. Въ предисловіи къ одной изъ его поэмъ сказано: "твореніе искусства — обманъ". (Бахчисарайскій фонтанъ. Москва, 1824 г. Стр. XVII.) Такъ выразилъ тогдащній взглядъ на дѣло кн. П. Вяземскій. Самъ Пушкинъ обыкновенно называетъ произведенія искусства — вымыслами, напримѣръ:

Надъ вымысломъ слезами обольюсь.

Воть съ какою поразительною наивностью онъ выражаль ту мысль, что область искусства есть нѣчто отдѣльное отъ жизни. Но эти вымыслы и обманы онъ, конечно, считаль чѣмъ-то очень высокимъ и важнымъ, такъ какъ посвятилъ имъ свою жизнь 1). Въ такомъ смыслѣ чего-то высокаго и важнаго употреблено слово обманъ и въ знаменитыхъ стихахъ:

Тьмы низкихъ истинъ намъ дороже Насъ возвышающій обманг.

Обманъ тутъ не значитъ мошенничество или ложь, а только нѣкоторый образъ, который, хотя бы былъ вымысломъ, возвышаетъ насъ, давая намъ понимать, въ чемъ состоитъ истинная красота человъческой души. Выше находится стихъ еще болъе парадоксальный:

Да будеть проклять правды свъть!

¹⁾ Воть Пушкинское представленіе настоящаго поэта: "поэзія бываєть исключительно страстію немногихъ, родившихся поэтами: она объемлеть и поглощаєть всё наблюденія, всё усилія, всё впечатлёнія ихъ жизни" (Т.V, стр. 541).

Но тотчасъ же следуетъ многозначительное пояснение:

Да будеть проклять правды свѣть! Когда посредственности хладной Завистливой, къ соблазну жадной, Онъ угождаетъ праздно!

Вотъ чудесное указаніе на свойства поэзін. Она. положимъ, есть вымысель, обманъ, но такон, который не возбуждать въ насъ ни зависти ни соблазна, никакихъ заднихъ мыслей, никакого своекорыстнаго, низкаго желанія. Между тъмъ, правда, т.-е. жизнь, дъйствительность, постоянно не даютъ намъ смотрѣть на дѣло безпристрастно и съ высоты; онѣ затрогиваютъ насъ лично, нашъ эгоизмъ, онѣ часто угождаютъ нашимъ пизкимъ страстямъ. Нужна поэзія для того, чтобы оторвать насъ отъ своекорыстныхъ номысловъ. Къ несчастію, поэзія недоступна посредственности хладной, а всегда найдется такая правда, которая угодитъ этой посредственности.

Но мы знаемъ, что Пушкинъ былъ правдивъйній и искреиньйній изъ поэтовъ. Значить, онъ только дурно выражался, называя поэзію вымысломъ и обманомъ, тогда какъ самъ всею душою стремился къ правдъ. Собственнымъ примъромъ онъ показываетъ, что правда есть неизмѣнюе требованіе истиннаго искусства, та внутренняя правда, о которой Аристотель говорилъ, что она истиннѣе самой дѣйствительности. Дурна та поэзія, которая, подымаясь надъ міромъ, теряетъ чувство правды; не хорошъ и тотъ поэтъ, кто бережно хранитъ это чувство, но, сознавая свое безсиліе, робко держится за дѣйствительность. Пушкинъ въ этомъ отношеніи образенъ поэтовъ; онъ свободно восходилъ на всякія высоты поэзіи, никогда не измѣняя правдѣ.

Если сравнить Пушкина съ современными поэтами, Баратынскимъ, Дельвигомъ, Языковымъ и т. д., то при всемъ вившнемъ сходствъ окажется та! разница, что у Пушкина форма была лишь орудіемъ для выраженія чувства и мысли, а у нихъ, наоборотъ, форма часто запимаетъ первое мѣсто, безпрестанно слышится, что забота о красотъ стиха и выраженія перевъшиваетъ заботу о содержаніи. Отсюда произошло то неотразимое очарованіе, которое производили стихи Пушкина: казалось, что въ нихъ русскій языкъ, всякія красоты стиха и формы, о которыхъ хлонотали цѣлыя покольнія ли-

тературы, въ первый разъ получили свой настоящій смысль, въ первый разъ оказались вполив пужны, вполив умъстны, совершенно естественны. Всв изысканности и искусственности становились въ устахъ Пушкина живою, точно выражающею свой емыслъ, ръчью; красота словъ и образовъ вдругъ обратилась въ красоту чувствъ и мыслей.

Отчего же это происходило? Оттого, что Пушкинъ поэзію, жившую въ его душь, цвниль выше всего, ей одной служиль, одну ее хотьль выражать. Пушкинъ быль правдивъйшій и искреннъйшій изъ поэтовъ. Несмотря на всю свою гибкость, онъ никогда не сочиняль ни чувствъ ни ихъ выраженія; несмотря на его любовь ко всему красивому, къ красивымъ формамъ, звукамъ, словамъ, никакіе слова, звуки, формы не могли подкупить его своею красотою. Съ совершенной отчетливостью онъ чувствовалъ, когда въ немъ дъйствуетъ вдохновеніе и когда иътъ, и не писалъ ни одного произведенія, которое бы не вытекало прямо изъ души.

Необыкновенная спла Пушкинскаго генія обпаруживается именно въ этомъ прямодушін. Болье открытаго, болье прямо себя обнаруживающаго поэта невозможно найти. Разстояніе между душою Пушкина и его стихотвореніями было такъ мало, что меньше и не бываеть, и быть не можетъ. При сравненіи его съ другими поэтами, оказывается, что одни часто, а иные постоянно говорять не своимъ языкомъ, поютъ, такъ сказать, не своимъ голосомъ, — кто фальцетомъ, кто напряженнымъ басомъ, тогда какъ у Пушкина каждый звукъ есть чистый грудной голосъ, не измъненный никакимъ напряженіемъ.

Вотъ почему въ Пушкинъ наша поэзія сдълалась правдою. Псчезло то разногласіе и противорьчіе, которое прежде чувствовалось между поэзіею и жизнью; въ стихахъ Пушкина, при всей полноть поэзіи, жизнь являлась со всею своею реальностью, безъ искаженій и подкрашиваній.

Всъмъ извъстно, съ какимъ мастерствомъ Пушкинъ возводилъ въ поэзію самые, повидимому, прозаическіе предметы. Онъ никогда не выбиралъ того, что покрасивъе и повеличавъе; грязь Одессы и мощеніе въ ней улицъ онъ описываетъ такъ же звучно, какъ море и горы. Но онъ могъ это сдълать съ полнымъ правомъ только потому, что инкогда ни въ чемъ не отступалъ отъ истины. Чтобы показать, какъ велика его точность, сдълаемъ небольшое сравнепіе. Пушкинъ часто го-

вориль о Петербургъ, и всякій, кто знаеть этоть городь, должень согласиться, что въ описаніяхъ Пушкина ни единой фальшивой черты.

Сводъ небесъ зелено-блъдный,
Скука, холодъ и гранить...
Мосты повисли надъ водами;
Темно-зелеными садами
Ея покрылись острова...
Твоихъ оградъ узоръ чугунный,
Твоихъ задумчивыхъ ночей
Прозрачный сумракъ, блескъ безлунный...
И ясны спящія громады
Пустынныхъ улицъ, и свътла
Адмиралтейская игла...

Все это безукоризненно точно. Возьмите же теперь другого поэта, Лермонтова, и попробуйте сравнить. Описывается такая же почь, какъ у Пушкина.

Задумчиво столбы дворцовъ нѣмыхъ По берегамъ тѣснилися какъ тѣни, И въ пънт водъ гранитиыхъ крылецъ ихъ Купалися широкія ступени.

Прекрасные стихи, но въ этой картинъ почти все ложно. Видъ дворцовъ не похожъ; они никакъ не тъсиятся и не близки къ берегамъ, — все въ Петербургъ просторно. А гранитныя крыльца, широкія ступени, пъна водъ — все чистая выдумка, все сказано, какъ говорится, только для красоты слога. Далъе описывается домъ:

Изъ мрамора волнистаго колонны Кругомъ тъснились чипно, и балконы Чугунные, воздушные, семьей, Межъ нихъ гордились дивною ръзьбой.

Дивная ръзьба на чугунъ — ужасное сочиненіе, а балконы. гордящіеся такой ръзьбой — еще большее.

Все это, конечно, только промахи, но они показывають направленіе таланта, его напряженность и расположеніе не дорожить истиною. У Пушкина вовсе нѣтъ подобныхъ промаховъ, — вотъ что замѣчательно; иѣтъ даже въ слабыхъ и молодыхъ произведеніяхъ.

Интересно сравнить у обоихъ поэтовъ описаніе Кавказа. Одна обмолька Лермонтова въ "Демопъ" очень извъстна; объ неи даже говорилъ въ "Въстникъ естественныхъ наукъ" покойный профессоръ Рулье:

> II Терекъ, прыгая, какъ львица Съ косматой гривой на хребтъ...

Но есть тамъ же не обмолвка, а настоящая фальшь, явное преувеличение красокъ. Мы находимъ эту фальшь въ описании Грузін:

Счастливый, пышный край земли! Столпообразныя рушны, Звонко-бъгущіе ручьи По дну изъ камней разноцвытныхъ, И кущи розъ, п пр.

Что такое столнообразныя рушны? Чптатель, не видавшій Грузіп, вообразить себѣ полуразрушенныя колонады. Между тѣмъ, на дѣлѣ — это изрѣдка попадающіяся развалины круглыхъ башенъ, очень грубыхъ, небольшихъ и невысокихъ построекъ, замѣчательныхъ только тѣмъ, что онѣ, дѣйствительно, круглыя, т.-е. онѣ представляютъ подобіе чего-то архитектурнаго.

Звонко-былущіе ручы — конечно, хорошее названіе для горныхъ потоковъ, всегда имѣющихъ быстрое теченіе. Но сказать, въ видѣ похвалы, что дно ихъ изъ камней разноцвымныхъ, значитъ почти то же, что восхищаться разноцвытными камиями петербургской мостовой: одинъ потемнѣе, другой посвътлѣе, а есть красноватые.

Нигдъ у Пушкина не замътно расположенія къ такимъ преувеличеніямъ. Мы привели здѣсь примъръ изъ описаній, какъ самый ясный и убѣдительный; но то же самое должно сказать и о характерѣ лицъ и о свойствѣ изображаемыхъ чувствъ. Пушкинъ не былъ расположенъ ни самъ становиться ни ставить свои лица на ходули. Тогда какъ многіе поэты стремятся поразить читателей напряженіемъ и надуманною крайностью своихъ чувствъ, онъ становился чѣмъ дальше, тѣмъ проще и правдивѣе.

Поэтическая сила Пушкина была такъ велика, такъ истинна, что правота и правдивость была для него самымъ естественнымъ дѣломъ. Онъ не могъ соблазниться никакою фальшыю,

ничьмъ надуманнымъ, навъяпнымъ, напряженнымъ. И вотъ почему онъ сталъ создателемъ русской поэзін. Онъ сбросилъ съ себя всѣ ипоземныя вліянія, подъ которыми развивалась наша литература; нѣкоторая искусственность и изысканность, которыми она отзывалась до Пушкина, исчезли у него безъ слѣда. Въ поэзін стали прямо выражаться инстинкты русскаго сердца, стала отражаться русская дѣйствительность.

Страховъ.

Способность перевоплощенія Пушкина вь чужія національности.

Въ европейскихъ литературахъ были громадной величины художественные генін — Шекспиры, Сервантесы, Шиллеры. Но укажите хоть на одного изъ этихъ великихъ геніевъ, который бы обладаль такою способностью всемірной отзывчивости, какъ нашъ Пушкинъ. И эту-то способность, главибищую способность нашей паціональности, онъ именно раздёляеть съ народомъ нашимъ, и темъ, главиейше, онъ и народный ноэтъ. Самые величайшіе изъ европейскихъ поэтовъ никогда не могли воплотить въ себф съ такой силой геній чужого, сосъдняго, можетъ-быть, съ инми народа, духъ его, всю затаенную глубину этого духа и всю тоску его призванія, какъ могъ это проявлять Пушкивъ. Напротивъ, обращаясь къ чужимъ народностимъ, европейскіе поэты чаще всего перевоплощали ихъ въ свою же національность и понимали по-своему. Даже у Шекспира, его италіанцы, напримъръ, почти сплошь тъ же англичане. Пушкинъ лишь одинъ изо всъхъ міровыхъ поэтовъ обладаетъ свойствомъ перевоплощаться вполнъ въ чужую національность. Вотъ сцены изъ Фауста, вотъ Скупой Рыцары и баллада Жилг на свътъ рыцарь быдный. Перечтите Донг-Жуана, и если бы не было подписи Пушкина, вы бы никогда не узнали, что это написалъ не испанецъ. Какіе глубокіе фантастические образы въ поэмъ: Пирг во время чумы! Но въ этихъ фантастическихъ образахъ слышенъ геній Англін; эта чудесная пъсня о чумъ героя поэмы, эта пъсня Мери со сти-Xamn:

> Пашихъ дѣтокъ въ шумной школѣ Раздавались голоса,

это англійскія пъсни, это тоска британскаго генія, его плачь, его страдальческое предчувствіе своего грядущаго. Вспомпите странные стихи:

Однажды странствуя средн долины дикой —

Это почти буквальное переложение первыхъ трехъ страницъ изъ странной мистической книги, написанной въ прозъ, одного древняго англійскаго редигіознаго сектатора, — но развъ это только переложение? Въ грустной и восторженной музыкъ этихъ стиховъ чувствуется самая душа съвернаго протестантизма, англійскаго ересіарха, безбрежнаго мистика, съ его тупымъ, мрачнымъ и непреоборимымъ стремленіемъ и со вефмъ безудержемъ мистического мечтанія. Читая эти странные стихи, вамъ какъ бы слышится духъ въковъ реформаціи, вамъ понятенъ становится этотъ воинственный огонь начинавшагося протестантизма, понятна становится, наконецъ, самая исторія, и не мыслью только, а какъ будто вы сами тамъ были, прошли мимо вооруженнаго стана сектантовъ, пъли съ ними ихъ гимны, плакали съ ними въ ихъ мистическихъ восторгахъ и въровали вмъстъ въ то, во что они новърили. Кстати: вотъ съ этимъ религіознымъ мистицизмомъ религіозныя же строфы изъ корана или "Подражаніе корану": развъ туть не мусульманинъ, развъ это не самый духъ корана и мечъ его, простодушная ведичавость въры и грозная кровавая сила ея? А вотъ и древній міръ, воть Египетскія ночи, воть эти земные боги. съвшіе надъ народомъ своимъ богами, уже презирающіе геній пародный и стремленія его, уже не върящіе въ него болье. Нътъ, положительно скажу, не было поэта съ такою всемірною отзывчивостью, какъ Пушкинъ, и не въ состояни одной только отзывчивости тутъ дъло, а въ изумляющей глубинъ ся. а въ перевоплощенін своего духа въ духъ чужихъ народовъ, — перевоплощении почти совершенномъ, а потому и чудесномъ, потому что пигдъ ни въ какомъ поэтъ цълаго міра такого явленія не повторилось. Это только у Пушкина, и въ этомъ смыслъ, повторяю, онъ-явление невиданное и неслыхапное, а по-нашему, и пророческое, ибо... тутъ-то и выразилась паиболъе его національная русская сила, выразилась именно народность его поэзін, народность въ дальнъйшемъ своемъ развитін, народность нашего будущаго, таящагося уже въ настоящемъ, и выразилась пророчески. Ибо что такое сила

духа русской народности, какъ не стремленіе ея въ конечныхъ цъляхъ своихъ ко всемірности и ко всечеловъчности? Ставъ вполит народнымъ поэтомъ, Пушкинъ тотчасъ же, какъ только прикоснулся къ силъ народной, такъ уже и предчувствуетъ великое грядущее назначеніе этой силы. Туть онъ угадчикъ, туть онъ пророкъ.

Въ самомъ дълъ, что такое для насъ Петровская реформа, и не въ будущемъ только, а даже и въ томъ, что уже было, произошло, что уже явилось воочію? Что означала для насъ эта реформа? Въдь не была же она только для насъ усвоеніемъ европейскихъ костюмовъ, обычаевъ, изобрътеній и европейской науки. Вникнемъ, какъ дъло было, поглядимъ пристальнъе. Да, очень можетъ быть, что Петръ первопачально только въ этомъ смыслъ и началъ приводить ее, т. -е. въ смыслъ ближайше-утилитарномъ, но впоследствін, въ дальнейшемъ развитін имъ своей иден, Петръ несомитино повиновался иткоторому затаенному чутью, которое влекло его, въ его дёлё, къ цълямъ будущимъ, несомнънно огромнъйшимъ, чъмъ одинъ только ближайшій утилитаризмъ. Такъ точно и русскій народъ не изъ одного только утилитаризма принядъ реформу, а несомивнию уже ощутивъ своимъ предчувствіемъ почти тотчасъ же ивкоторую дальивйшую, несравненно болве высшую цаль, чамъ ближайшій утилитаризмъ, — ощутивъ эту цаль, опять-таки, конечно, повторяю это, безсознательно, но однакоже и непосредственно и вполнъ жизненно. Въдь мы разомъ устремились тогда къ самому жизненному возсоединенію, къ къ единенію всечеловъческому! Мы не враждебно (какъ, казалось, должно бы было случиться), а дружественно, съ полною любовью приняли въ душу нашу геній чужихъ націй, всъхъ вмъстъ, не дълая преимущественныхъ племенныхъ различій. умъя инстинктомъ, почти съ самаго перваго шагу различать, снимать противоръчія, извинять и примирять различія, а тъмъ уже выказали готовность и наклонность нашу, намъ самимъ только-что объявившуюси и сказавшуюся, ко всеобщему общечеловъческому возсоединенію со всьми племенами великаго арійскаго рода. Да, назначеніе русскаго человъка есть безспорно всеевропейское и всемірное. Стать настоящимъ русскимъ, стать вполнъ русскимъ, можетъ-быть, и значитъ только (въ концъ-концовъ, это подчеркните) стать братомъ всъхъ людей, всечеловикому, если хотите. О, все это славянофильство и

западицчество наше есть одно только великое у насъ недоразумвніе, хотя исторически и необходимое. Для настоящаго русскаго Европа и удълъ всего великаго арійскаго племени такъ же дороги, какъ сама Россія, какъ и удълъ своей родной земли, потому что нашъ удълъ и есть всемірность, и не мечомъ пріобрътенная, а силой братства и братскаго стремленія нашего къ возсоединенію людей. Если захотите вникнуть въ нашу исторію послѣ Петровской реформы, вы найдете уже слъды и указанія этой мысли, этого мечтанія моего, если хотите, въ характеръ общенія нашего съ европейскими племенами, даже въ государственной политикъ нашей: ибо что дълала Россія во всь эти два въка въ своей политикъ, какъ не служила Европь, можетъ-быть, гораздо болъе, чъмъ себъ самой? Не думаю, чтобъ отъ неумънья лишь нашихъ политиковъ это происходило. О, народы Европы и не знаютъ, какъ они намъ дороги! И впоследствін, я верю въ это, мы, то-есть, конечно, не мы, а будущіе грядущіе русскіе люди, поймуть уже всв до единаго, что стать настоящимъ русскимъ и будетъ именно значить: стремиться внести примиреніе въ европейскія противоръчія уже окончательно, указать исходъ европейской тоскъ въ своей русской душъ, всечеловъчной и всесоединяющей, вмъстить въ нее съ братскою любовью всъхъ нашихъ братьевъ, а въ концъ-концовъ, можетъ быть, и изречь окончательное слово, великой, общей гармоніи, братскаго окончательнаго согласія всёхъ племенъ по Христову евангельскому закону! Знаю, слишкомъ знаю, что слова мон могутъ показаться восторженными, преувеличенными и фантастическими. Пусть, но я не расканваюсь, что ихъ высказаль. Этому надлежало быть высказаннымъ, но особенно теперь, въ минуту чествованія нашего великаго генія, эту именно идею въ художественной силъ воплощавшаго. Да и высказывалась уже эта мысль не разъ, я ничуть не новое говорю. Главное, все это покажется самонадъяннымъ: "Это намъ-то, дескать, нашей-то нищей, нашей-то грубой землъ такой удълъ? Это намъ-то предназначено въ человъчествъ высказать новое слово"? Что же, развъ я про экономическую славу говорю, про славу меча или науки? Я говорю дишь о братствъ людей и о томъ, что ко всемірному, ко всечеловъчески-братскому единенію сердце русское, можетъ-быть, изо всъхъ народовъ наиболъе предназначено, вижу слъды сего въ нашей исторіи, въ нашихъ да-

ровитыхъ людяхъ, въ художественномъ геніи Пушкина. Пусть наша земля нищая, но эту нищую землю "въ рабскомъ видь нсходиль, благославляя Христось". Почему же намъ не вмъстить последняго слова Его? Да и Самъ Онъ не въ ясляхъ ли родился? Повторяю: по крайней мъръ, мы уже можемъ указать на Путкина, на всемірность и всечеловачность его генія. Вадь могь же онь вмъстить чужіе геніп въ душт своей, какъ родные. Въ пскусствъ, по крайней мъръ, въ художественномъ творчествъ, опъ проявилъ эту всемірность стремленія русскаго духа неоспоримо, а въ этомъ уже великое указаніе. Если наша мысль есть фантазія, то съ Пушкинымъ есть, по крайней мъръ, на чемъ этой фантазіи основаться. Если бы жилъ онъ дольше, можетъ-быть, явилъ бы безсмертные и великіе образы души русской, уже понятные нашимъ европейскимъ братьямъ, привлекъ бы ихъ къ намъ гораздо болъе и ближе, чъмъ теперь; можетъ-быть, успъль бы имъ разъяснить всю правду стремленій нашихъ, и они уже болье понимали бы насъ предугадывать, перестали бы на насъ смотръть столь недовърчиво и высокомърно, какъ теперь еще смотрятъ. Жиль бы Пушкинь долже, такъ и между нами было бы, можетъ-быть, менње недоразумвній и споровъ, чъмъ видимъ теперь. Но Богъ судилъ иначе. Пушкинъ умеръ въ полномъ развитіи своихъ силъ и безспорно унесъ съ собою въ гробъ нъкоторую великую тайну. И вотъ мы теперь безъ него эту Достоевскій. тайну разгадываемъ.

Общечеловъческое значение Пушкина.

Народность не составляеть еще исключительнаго достоинства созданій Пушкина. Изображать върно съ дъйствительностью природу родины, характеры своего народа, развитые его исторіей, можеть всякій, даже второстепенный поэть. Конечно, такой геніальный поэть, какъ Пушкинь, поэть, котораго лира звучала въ отвъть на многое и виф національных условій, поэть, котораго ідуша была развита постепенными совершенствованіемъ и ученьемь, будеть находиться въ другихъ отнощеніяхъ къ явленіямъ національной жизни, нежели Кольцовъ, напр., кругъ дъятельности котораго былъ очень ограниченъ. Пушкинь и глубже могь чувствовать и лучше

умълъ подмъчать такія стороны, мимо которыхъ другон поэтъ пройдетъ, не обративъ на нихъ вниманія. Но ставить національность картинъ и созданій въ единственную заслугу поэту нашего времени и на основаніи ся давать ему зваціє великаго поэта значить не понимать поэзіп. Національность созданій діло второстепенное, и Пушкинь далеко выходить изъ тісныхъ рамокъ національности. На его поэзін лежить высшая печать духовнаго совершенства, печать высокаго творчества и художественности, безъ которой бледно и вяло произведеніе искусства. Эта художественность въ созданін сглаживаеть въ немъ рызкія стороны національности, дылаеть его доступнымъ всякому, даже далекому отъ національности человъку и придаетъ созданию достоинство общечеловическое. Какъ любовь есть общее чувство, сглаживающее и примиряющее инди_ видуальности, соединяющее начала разрозненныя, такъ искусство есть общее для всъхъ народностей, есть тотъ свътлый міръ, гдв господствуетъ ввиная гармонія, гдв нать борьбы и раздора, гдъ примиряются даже ожесточенно враждующія народности. Искусство принадлежить всему міру, и это міровое начало даетъ смыслъ народному. Художественная сторона искусства является тогда въ народъ, когда національный духъ его достигнеть полнаго развитія. Миогія изъ созданій древней греческой поэзін сдвлались достояніемь всего человвчества и вьчными, прекрасными образцами, часто стоящими выше художественныхъ создацій новыхъ народовъ, а между тъмъ они были исключительно національны и создавались подъ різкими условіями п опредбленіями исторической и государственной жизни. Произведенія греческаго искусства, кромѣ того принадлежали такимъ незначительнымъ общинамъ древняго міра. которыя въ сравнени съ громадными государствами современности, кажутся микроскопическими. Какою, повидимому, инчтожною должна представляться намъ война Пелопонезская, съ незначительными средствами Авинъ и Спарты, въ сравне... нін съ тъми страшными усиліями, какія представляеть намъ борьба современная. Но въ этихъ незначительныхъ государствахъ заключался тогда весь образованный міръ, и Оукидидъ быль великимъ художникомъ въ историческомъ искусствъ. Такъ искусство и художественность кладутъ свътлый вънецъ и на произведение поэзін, выросшее на народной почві; онп дають ему ввчное, понятное всвиъ ввкамъ и пародамъ существованіе, они подымають его надъ всёми другими произведеніями литературными въ народѣ. Эти качества дѣлаютъ созданіе поэта, будь онъ русскій, англичанинъ, нѣмецъ или французъ — достояніемъ всего человѣчества, гдѣ каждый встрѣчаетъ свое родное, человѣческое, тотъ духъ, который живетъ и не умираетъ въ разнообразныхъ формахъ жизни.

Пушкинъ, оставаясь народнымъ поэтомъ, былъ вмъстъ съ тъмъ глубокимъ художникомъ и этимъ качествомъ своимъ, художественностью созданій своихъ, онъ стоитъ гораздо выше всёхъ предшествовавшихъ ему русскихъ поэтовъ. Созданіе строгихъ элементовъ народности въ поэзін и умѣнье облечь ихъ въ блестящую художественную одежду - вотъ заслуги, оказанныя Пушкинымъ русской дитературъ, вотъ за что онъ занимаетъ такое высокое мъсто въ ея исторіи, представляя собою последнюю ступень ея развитія. Съ Пушкина русская литература должна вести другую жизнь, но она не можетъ развиваться вит условій, привнесенныхъ въ нее Пушкинымъ. Каждое произведение современной русской поэзін должно быть и народно и художественно вмъстъ. Безъ этихъ качествъ оно не будетъ имъть достоинства. Въ наше время, когда Россія призвана Провиденіемъ участвовать въ решеніи европейскихъ вопросовъ, ея литература впервые начала получать извъстность вит родныхъ границъ своихъ. Произведенія Пушкива, Гоголя и Лермонтова переводятся и читаются въ Европъ и дълаются такимъ образомъ достояніемъ всего человъчества. Такое явленіе возможно только тогда, когда они выполнять требованія искусства и тімь сгладять исключительность національнаго бытія своего. Изъ всёхъ русскихъ писателей ин одинъ не возбуждалъ такого сочувствія къ себъ внъ Россіи, какъ Пушкинъ. Причина этой общей симпатін къ нему заключается въ томъ, что одному ему до сихъ поръ удалось возвести типическія особенности народнаго духа въ высшую форму искусства. Россія вправь гордиться своимъ великимъ поэтомъ, выразителемъ духовнаго богатства народныхъ силъ, заключенныхъ имъ въ такую изящную форму. И эта же самая художесввенность созданій Пушкина дълала его гражданиномъ всего міра, позволяла ему переноситься всюду, куда только увлекаль его геній поэзін, давала ему средства сочувствовать многому чужому. Съ какимъ редкимъ художественнымъ тактомъ онъ умълъ воспроизводить въ своей поэзіи образы чужого быта и усвоивать духъ поозіи эпохъ, отдаленныхъ отъ русскаго сознація. Величавые звуки священной поэзіи Востока, ясная прелесть классичсской формы, суровая поэзія Данта, кипящая ивтой и сладострастіємъ жизнь Испаній, полные и оконченные характеры Шекспира, рефлектирующая личность Гётева "Фауста", однообразные мотивы славинскихъ пѣсенъ, — все было равно доступно его духу и дълалось достояніемъ его поэзіи. И какъ этотъ міръ разнообразныхъ созданій понятенъ намъ, какъ слышится въ немъ присутствіе чуткаго русскаго слуха и могучей русской души! Все это Пушкинъ сдълалъ достояніемъ нашей поэзіи.

By.wes.

Пушкинъ, какъ художникъ.

Въ области поэтическаго творчества Пушкинъ является исключительнымъ художникомъ, пламеннымъ жрецомъ искусства. Для него не было инчего выше искуства и въ жизни и въ поэзіи; онъ былъ чуждъ всѣхъ внѣшихъ цѣлей въ поэзіи. и вся жизнь его есть постоянное освобожденіе отъ этихъ внѣшнихъ цѣлей и стремленіе къ художественности. Постоянно проповѣдовалъ онъ, съ гордостью художника, независимость искусства отъ всего посторонняго и отъ жизни съ ея борьбою и волиеніями. Въ превосходномъ лирическомъ стихотвореніи своемъ "Чернь" онъ такъ высоко поставилъ поэта надъдъйствительнымъ міромъ, что все, кромѣ искусства, должно смолкнуть передъ геніемъ поэта. Общество его же словами спрашиваетъ у поэта:

Зачёмь онь звучно такь поеть? Напрасно ухо поражая, Къ какой онь цёли насъ ведеть? О чемь бренчить? чему насъ учить? Зачёмь сердца волнуеть, мучить, Какь своенравный чародёй? Какь вётерь пёснь его свободна, Зато какь вётерь и безплодна: Какая польза намь оть ней?

Общество смотрить на поэта, какъ на натуру высшую; оно хочеть, чтобы не даромъ горъль въ немъ божественный пла-

мень таланта; оно хочетъ употреблять въ пользу дивные звуки его, чтобы не пустымъ звономъ раздавались они, а были бы органами истины, добра, пользы общественной. Оно совершенно справедливо говоритъ поэту:

Нѣтъ, если ты небесъ избранникъ, Свой даръ, божественный посланникъ, Во благо намъ употребляй: Сердца собратьевъ исправляй. Мы малодушны, мы коварны, Безстыдны, злы, неблагодарны; Мы сердцемъ хладные скопцы, Клеветники, рабы, глупцы; Гнѣздятся клубомъ въ насъ пороки: Ты можешь, ближняго любя, Давать намъ смѣлые уроки, А мы послушаемъ тебя.

Критика того времени, хотя и не прямо, но высказывала иногда эти мысли Пушкину. Она ждала отъ него созданій, возникшихъ въ волненіяхъ жизни, кипящихъ страстиыми порывами современности, созданій, въ которыхъ бы слышались звуки любви и вражды дъйствительности. Эта критика хотъла того отъ Пушкина, чего онъ не могъ дать ей. Его призваніе былъ міръ чисто художественной дъятельности, далекой отъ всего временнаго. Для него этотъ міръ былъ страною свътлою и спокойною, небомъ, не возмущаемымъ никакими земными порывами и наполненнымъ образами, козникавшими только въ душт поэта. Онъ говоритъ о себт подобныхъ:

Не для житейскаго волненья, Не для корысти, не для битвъ: Мы рождены для вдохновенья— Для звуковъ сладкихъ и молитвъ.

И постепенно уходиль Пушкинь отъ міра, постепенно уединялся онъ въ свътлую область поэзіп. Твердъ, спокоенъ и угрюмъ, стояль онъ передъ голосомъ общественнаго митнія, передъ голосомъ критики, не дорожа любовью народной и съ презръніемъ смотря на судъ толпы:

Ты царь: живи одинъ, —

говорить онъ поэту, —

Дорогою свободной Или, куда влечетъ тебя свободный умъ, Усовершенствуя плоды любимыхъ думъ,
Не требуя наградъ за подвиг благородный,
Онѣ въ самомъ тебѣ. Ты самъ свой высшій судъ;
Всѣхъ строже оцѣнить умѣешь ты свой трудъ.
Ты имъ доволенъ ли, взыскательный художникъ?
Доволенъ? Такъ пускай толпа его бранитъ,
И плюетъ на алтарь, гдѣ твой огонь горитъ,
И въ дѣтской рѣзвости колеблетъ твой треножникъ.

Это исключительное преследование целей чисто художническихъ и совершенное отчуждение отъ міра дъйствительности, это стремленіе очистить храмъ искусства отъ торжниковъ, случайно поселившихся въ немъ, является во всей дъятельности Пушкина и особенно слышно въ его полемическихъ статьяхъ, написанныхъ съ ръдкой и ядовитой проніей. На основанін этого стремленія художественности и постепеннаго освобожденія отъ цепей внешнихъ, мы можемъ всю поэтическую дъятельность Нушкина раздълить на три періода, согласные съ событіями его жизни и развитіемъ таланта. Первый періодъ поэтической діятельности его, который можно назвать лицейскимъ, заключаеть въ себъ его первые шаги въ поэзін, состоящіе частью изъ подражаній, частью представляющіе первыя робкія, но самостоятельныя попытки. Этотъ періодъ оканчивается появленіемъ "Руслана и Людмилы". Слъдующій за тъмъ есть періодъ странствованія Пушкина по Россін и уединенной жизни въдеревнъ, — періодъ, когда зрълъ его талантъ и приготовлялся къ возвышеннымъ подвигамъ творчества, освобождаясь изъ-подъ могучаго вліянія Байрона, но волнуясь еще волненіями житейскими и сочувствуя скорбямъ и радостямь дъйствительности. Третій періодъ представляеть намъ полное развитіе Пушкина, какъ художника, полную свободу и самостоятельность поэта и можетъ быть названъ сознательно-художественнымг. Здёсь онъ исключительный жрецъ искусства, чуждый всему земному и живущій въ отдаленной и высокой сферъ своихъ созданій. Эти періоды не нами придуманы, но въ нихъ легче обозръть жизнь и дъятельность поэта, а потому они необходимы. Въ последній періодъ творчества и совершеннаго освобожденія отъ вившнихъ цълей, Пушкинъ дошелъ даже до глубокаго и холоднаго эгонзма, до котораго можетъ только дойти художникъ, постоянно живущій съ образами и созданіями своей фантазіи, а не съ людьми. Освобождая себя, какъ художника, отъ всъхъ разнообразныхъ

цълей въ жизни, въ которыхъ благородный человъкъ видитъ и мысль и правду, выражаясь презрительно о заботахъ современниковъ:

Все это, видите ль, слова, слова, слова,

Пушкинъ очерчиваетъ волшебный кругъ около художника. Ему бъ хотвлось не давать викому и ни въ чемъ отчета и служить только и угождать самому себъ,

По прихоти своей скитаться здѣсь и тамъ, Дивясь божественной природы красотамъ, П предъ созданьями пскусствъ и вдохновенья Безмолвно утопать въ восторгахъ умиленья — Вотъ счастье! Вотъ права!

Таковъ Пушкинъ во всей наготъ своего холоднаго художническаго эгонзма, презирающій все то, за что другіе борются и проливають кровь и слезы. Но не бросимъ же камень осужденія въ великаго поэта нашего за его исключительное служеніе искусству и одному только искусству. Этотъ эгонзмъ великаго художника и понятенъ и простителенъ вмъстъ. Искусство есть одно изъ высшихъ проявленій человъческаго духа; оно имъетъ свои законы и свои условія. И вопросъ еще въ томъ, можетъ ли искусство служить страстямъ и волненіямъ міра дъйствительнаго? можетъ ли оно и должно ли спускаться съ свътлаго неба своего въ земную область страданій? Выставляя такія требованія, будемъ ли мы справедливы? Въ наше время, какъ я сказалъ уже, много критиковъ вооружаются противъ исключительной художественности въ созданіяхъ поэзін; они хотять оть нея служенія общему дълу развитія. Но не станемъ забывать, что поэзія, какъ и другія искусства, принадлежить къ особенному кругу созданій человъческаго духа. Въ искусствъ истина выражается не прямымъ языкомъ: она закрываетъ мысль свою въ чувственную форму и только сквозь нея говоритъ духу. А чувственная форма подчинена встмъ условіямъ чувственности и есть низшая форма сознанія. И въ ней можно преподавать уроки, но есть высшій способъ, и этотъ способъ есть мышленіе. Пскусство можетъ служить конечнымъ цфлямъ, но оно должно остаться самимъ собою. Такъ и поэзія, и въ настоящее время разнообразныхъ стремленіи, должна, кажется, остаться только въ художественной сферф, и если мысль поэта близко сочувствуеть настоя-

щему, то возблагодаримъ его за эту теплую любовь къ намъ, но не осудимъ другого поэта, который весь отдается отторгнутымъ отъ земли и свободнымъ образамъ своего вдохновенія. Намъ кажется, что близкое отношеніе къ современности не въ состоянія выработать великаго поэта. Мы знаемъ изъ исторіи поэзін, какъ недолговъчны и эфемерны тъ созданія ея, которыя вырастають на современной почвъ, подъ вліяніемъ быстро идущихъ другъ за другомъ событій и волненій дійствительности. Они походять на весенніе цвѣты, отлетающіе съ первымъ вътромъ осени. Придетъ другая весна, вновь заговоритъ въчная, неумолкающая жизнь природы, и между блестящими новыми формами увидимъ ли мы старыя? А между тъмъ — въковой дубъ гордо шумитъ могучими листьями, чуждый той мимолетной жизни, которая кипить и мятется вокругь него. Не онъ ли типъ прочности и въчной силы природы? Такъ и созданія поэта, уединенно зрѣющія вдали отъ бурь современности, остаются въчными образцами. Къ созерцанію ихъ прекрасныхъ, долговъчныхъ формъ улетаетъ душа, измученная скорбями житейскими; она видитъ въ нихъ залогъ грядущаго бытія, величественное свидътельство безсмертія духа. Благо же великому поэту, умъвшему создать намъ очарованный міръ искусства, гдъ все свътло и отрадно, гдъ царитъ неземная и не возмущаемая страстью красота. Его образцы, далекіе, но прекрасные, всегда подымутъ, согръютъ и оживятъ душу. Безъ наслажденія искусствомъ темна и печальна жизнь.

Поэзія Пушкина не умреть, пока будеть существовать русскій языкъ и русская литература. Его могучій геній говорить намь объ этомъ безсмертіи въ потомствѣ русскаго народа. Его созданія, проникнутыя геніемъ народности и художественности, воспитанныя сплою уединеннаго творчества, долго будуть образцами для многихъ поколѣній русскихъ поэтовъ. Пройдуть года, но волшебные звуки, лелѣявшіе слухъ нашъ, будуть звучать и для отдаленныхъ потомковъ съ тою же возбуждающею силою, съ какою раздаются они для насъ. Имъ суждена долговѣчная жизнь, и къ памятнику поэта, по его собственному выраженію, "не зарастеть народная тропа". Но духъ народа живеть также могущественною жизнью, и вѣчно бьетъ въ груди его ключъ живыхъ и свѣжихъ силъ. Русскимъ сердцемъ мы вѣримъ въ великую будущность нашего отечества, мы вѣримъ, что будеть еще много поэтовъ на пашей

великой земль, что она даеть содержание и сплы для многихъ возвышенныхъ созданій вдохновенія. И ныні, посреди стращныхъ испытаній, пославныхъ намъ неисповедимою волею Провидънія, посреди смуть потрясеннаго міра, посреди этихъ могучихъ событій современности, приготовленныхъ цълыми въками предшествовавшей исторіи, когда голось поэта должень смолкнуть предъ громами брани, мы въримъ сознательно въ возможность и величіе грядущихъ явленій русской поэзін. Бурныя премена браней и тяжелыхъ народныхъ испытаній вивств съ тъмъ были всегда временами скръпленія и развитія народныхъ силъ. Великодупиный порывъ русскаго народа могъ явиться только въ славную войну Двенадцатаго года, и за нею слъдовала блестящая эпоха внутренняго развитія государственныхъ и народныхъ силъ, и за нею только могла явиться поэзія Пушкина. Сколько ведикихъ поэтовъ являдось вслъдъ за бурными временами, записанными исторіей! Поэмы Гомера возникли во время броженія національной жизни Грецін, геній Данта окръпъ и выросъ посреди нестройнаго міра среднихъ въковъ, Мильтонъ и Шекспиръ слъдовали за пуританскими волненіями въ Англін. Кто знаетъ, можетъ-быть, и теперь, въ виду кровавой войны, гдф-инбудь въ уединенномъ углу нашего необъятнаго отечества, тихо зрветь и развивается поэтъ будущаго величія Россіи, будущей славы нашен, за которую порукой силы народныя. Пушкинъ былъ поэтомъ минувшаго царствованія, и вм'єсть съ началомъ его возмужалъ и талантъ его. Буличъ.

Значеніе Пушкина въ исторіи литературнаго языка.

Литературный языкъ, какъ извъстно, представляетъ двъ главныя формы ръчи: прозаическую и стихотворную. Пушкинъ и въ той и въ другой оказалъ литературному языку поистинъ великія услуги относительно изящества. Правда, были и до Пушкина такіе писатели, которые заботились объ изяществъ ръчи и своими произведеніями имъли благотворное вліяніе на языкъ въ этомъ отношеніи. Припомнимъ Карамзина, Жуковскаго и Батюшкова. Такъ, со времени литературной дъятельности Карамзина для прозы стали обязательными качества

изящной ръчи, илавность и благозвучіе, или то, что онъ называль французскимъ словомъ élégance, которое переводилось по-русски выраженіемъ "пріятпость слога"; а благодаря произведевіямъ Жуковскаго и Батюшкова для стихово стали обязательными музыкальность и пластичность. Словомъ, и до Пушкина литературный языкъ со стороны изящества формъ представляется значительно обработаннымъ другими писателями. Однако, сравнивъ языкъ произведеній Пушкина съ языкомъ произведеній вышепоименованныхъ писателей, ясно видимъ превосходство перваго надъ носледнимъ. Вникнувъ глубже въ различіе ихъ достоинствъ, мы приходимъ къ заключенію, что изящество какъ прозаической, такъ и стихотворной ръчи до Пушкина было въ сущности внъшнимъ: оно касалось, главнымъ образомъ, звуковой стороны языка, формы литературныхъ выраженій. Пушкинъ не могъ не замътить этой односторонности. Онъ видълъ, что такъ называемая "пріятность слога" въ прозъ удобно переходила подъ перомъ своихъ усердныхъ ревнителей въ изысканность, вычурность и притворность рфчи, а музыкальность и пластичность стиховъ дегко вырождалась, съ одной стороны, въ пріятное для уха риомическое пустозвонство, съ другой — въ фантастическую небывальщину картинъ и образовъ. Онъ ясно понималъ, что все это есть следствіе разобщенности формы отъ содержанія. Для него, какъ для художника, изящество внъшней формы словеснаго произведенія представлялось неразрывнымъ съ внутреннимь его содержаніемъ: одно взаимно обусловливалось другимъ, потому что только при этомъ условін возможно изящество литературнаго языка, какъ нъчто дъйствительное, прочное и поставленное вив опасности принять ложное направление въ своемъ дальнъйшемъ развитіи. Согласно съ этимъ Пушкинъ и основалъ изящество литературнаго языка въ своихъ произведеніяхь на такихь его качествахь, которыя вытекають изь самой сущности или природы главивйшихъ формъ ръчи прозаической и стихотворной при условін полнаго соотв'єтствія между внішнимъ выраженіемъ и внутреннимъ его содержаніемъ, и такимъ образомъ внесъ въ изящество ръчи начало художественности.

Проза есть естественная форма; естественно же говорить человъкъ, когда ему есть, что сказать, а говоря старается выразиться такъ, чтобы его вполнъ поняли. Вотъ и всъ условія естественной ръчи. Они, какъ мы видимъ, чрезвычайно просты,

по и чрезвычайно важны. На пихъ-то исключительно и основываются тѣ существенныя качества прозы, которыми обусловливается изящество литературныхъ произведеній. Такими качествами являются: для содержанія произведеній — богатство и занимательность мыслей, для выраженія ихъ — точность и чистота или, какъ говоритъ Пушкинъ, опрятность языка, которую составляють следующія качества: грамматическая правильность, логическая последовательность, стилистическая ровность, а также и художественная стройность, то-есть соразмърность частей произведенія между собою и съ цълымъ Когда эти внутреннія и вившнія качества находятся въ теспой, неразрывной связи между собою, когда один изъ нихъ взанино обусловливаются другими, тогда изящество прозаической формы рѣчи становится художественнымъ; по въ основанін его, какъ видимъ, лежитъ начило художественной простоты. Ей-то и училъ Пушкинъ, какъ художникъ, въ своихъ письмахъ, замъткахъ и произведеніяхъ, писанныхъ прозою. Такъ, изъ письма къ кн. П. А. Вяземскому (отъ 13 іюля 1825 г.) мы видели, что Пушкинъ смотрелъ на прозу, какт на языкт мыслей. Въ черновомъ отрывкъ его "О слогъ" (1822 г.) читаемъ: "что сказать о нашихъ писателяхъ, которые, почитая за низость изъяснять просто вещи самыя обыкновенныя, думаютъ оживить дітскую прозу дополненіями и вялыми метафорами? Эти люди никогда не скажутъ дружба, не прибавивъ: сіе священное чувство, коего благородный пламень и пр. Должно бы сказать рано поутру, а они пишуть: едва первые лучи восходящаго солица озарили восточные края лазурнаго неба. Какъ это все ново и свъжо! Развъ оно лучше потому только, что длиниъе?...

"Точность и опрятность — воть первыя достоинства прозы. Она требуетт мыслей и мыслей: блестящія выраженія ни къ чему пе служать; стихи — дѣло другое (впрочемъ, и въ вихъ не мъшало бы нашимъ поэтамъ имѣть сумму идей гораздо позначительнѣе, чѣмъ у нихъ обыкновенно; съ воспоминаніями о протекшей юности литература наша далеко не подвинется").

Положивъ въ основаніе изящества прозаическаго языка начало художественной простоты, Пушкинъ далъ прозъ надлежащее направленіе для дальнъйшаго ся развитія. Послъ него увлекаться пріятностью слова или витшею элегантностью ръчи, какъ это было почти обязательнымъ послъ Карамзина, стало дъломъ непригоднымъ для всякаго даровитаго писателя. Но, будучи виновникомъ такого плодотворнаго начала для прозаической формы литературнаго языка, Пушкишъ чувствовалъ себя въ ней гораздо слабъе, относительно правильности языка, чьмъ въ стихотворной. Въ своихъ "Критическихъ замъткахъ" (1830-1831 гг.) онъ писалъ о себъ слъдующее: "Вотъ уже 16 лътъ, какъ я печатаю, и критики замътили въ монхъ стихахъ нять грамматическихъ ошибокъ (и справедливо); я всегда былъ имъ искренио благодаренъ и всегда поправлялъ замъченное мъсто. Прозой пишу я гораздо пеправильные, а говорю еще хуже и почти такъ, какъ пишетъ Гоголь" (V, 135). И дъйствительно, гораздо легче отыскать пъкоторыя неправильности въ языкъ произведеній Пушкина, написанныхъ прозою, чъмъ въ его стихотвореніяхъ. Приведу два-три примъра. Въ повъсти "Арапъ Петра Великаго" (1827 г.) читаемъ: "Въ присутствін Пбрагима графиня слёдовала (вм. слёдила) за всёми его движеніями, вслушивалась во вст его ртчи" (IV, 4). Или: "Я конечно, собою не дуренъ (говоритъ Корсаковъ, одно изъ дъйствующихъ лицъ повъсти), но случалось, однакожъ, мнъ обманывать мужей, которые были, ей Богу ничьмъ не хуже моего" (вм. меня) (IV, 26). Отмътимъ слъдующій полонизмъ, употребленный Пушкинымъ въ письмѣ къ князю Н. Г. Репнину (11 февраля 1836 г.): "Съ глубочайшимъ почтеніемъ п совершенной преданностью есмь, милостивый государь, вашего сіятельства покорньйшим слугою Александръ Пушкинъ" (VII, 394). Два другіе подобные же полонизма встръчаются въ черновыхъ его бумагахъ (IV, 108-399). Болъе замъчательны тъ выраженія, которыхъ ошибочность въ прозанческой ръчи представляются плодомъ поэтическаго настроенія души ихъ автора. Сюда можно отнести употребление иъкоторыхъ эпитетовъ въ родъ, напримъръ, эпитета дъятельный къ слову ложка въ выражении: "звонъ тарелокъ и дъятельных ложект возмущаль одинь общее безмолвіе" (IV, 17); или употребленіе отвлеченныхъ именъ существительныхъ вмісто одушевленныхъ предметовъ и лицъ, напримъръ: "литература, ученость, философія оставляли тихій кабинеть и являлись въ кругу большого свъта угождать модъ, управляя ея мнъніемъ" (IV, 2). Это напоминаетъ, съ одной стороны, стихи Пушкина "Къ портрету Жуковскаго":

Его стиховъ плѣнительная сладость Пройдеть вѣковъ завистливую даль

съ другой - древнее употребление словъ "знание", "рождение" вмъсто "знакомые", "родственники". Слово "склоненіе" Пушкинъ употреблялъ вмъсто "склонъ"; напримъръ: "бульваръ, обсаженный липками, проведень по склонению Машука" (IV, 416) или: "я взглянулъ еще разъ на опаленную Грузію и сталъ опускаться по отлогому склоненію горы къ свіжимъ равнинамъ [Арменін" (IV, 430); или еще: "проъхавъ ущелье, вдругь увидали мы на склоненій противоположной горы до двухсотъ казаковъ" и т. д. (IV, 447). Слово "сознаніе" Пушкинъ смъшивалъ въ употребленіи со словомъ "признаніе"!... "А если сознанія, требуемыя г. Полевымъ, — писалъ онъ, и заслуживаютъ какое-пибудь уваженіе, то можно ли намъ оныя слушать изъ устъ поэтическаго старца" (V, 65). Весьма возможно, впрочемъ, что слова эти въ его время употреблялись именно такъ, какъ у Пушкина. Подобныхъ промаховъ и неправильностей языка можно указать не мало въ его прозъ, но всъ они совершенно ничтожны передъ тъми высокими достониствами, которыми отличается она вообще по языку и содержанію.

Обратимся теперь къ стихотворной формъ литературнаго языка и посмотримъ, что сдълалъ Пушкинъ въ этой области.

Мы видъли, что Пушкинъ, опредъляя главныя качества прозы, сказаль: "Проза требуетъ мыслей и мыслей; блестящія выраженія ни къ чему не служать; стихи — дъло другое (впрочемъ, и въ нихъ не мъщало бы нашимъ поэтамъ имъть сумму идей позначительнъе, чъмъ у нихъ обыкновенно и т. д.)". Въ романъ, характеризуя Овъгина и Ленскаго, онъ выражаетъ ихъ различіе посредствомъ слъдующихъ сравненій:

Волна и камень, Стихи и проза, ледъ и пламень Не столь различны межъ собой (III, 266).

Итакъ. стихи — дѣло другое, а не то же, что проза: въ нихъ блестящія выраженія умѣстны: въ прозѣ нѣтъ. Постараемся, но возможности, выяснить это положеніе.

Проза есть, такъ сказать, словесная необходимость стихи жесловесная роскошь. Въ стихотворени (1821 г.) "Къ моей черпильницъ" Пушкинъ называетъ стихи затъями:

Наперспица моя!

Оставь, оставь порой Привычныя затѣи; И дактиль и хореи Для прозы почтовой (I, 245).

Въ самомъ дълъ, проза есть обыкновениая, естественная форма ръчи; стили — необыкновенная, искусственная. Прозою выражается умственная дъятельность, свойственная всъмъ людямъ; стихами выражается только творческая дъятельность или фантазія, врожденная лишь нікоторымь людямь. Существеннымъ содержаніемъ прозы служать мысли, а существеннымъ содержаніемъ стиховъ служать вымыслы; поэтому стихи суть по преимуществу языкъ поэзіи. Если прозаическая рѣчь, какъ языкъ мыслей, должна отличаться точностью и опрятностью выраженій, какъ говорить Пушкинь, то стихотворная рвчь, какъ языкъ вымысловъ, языкъ поэзін, должна отличаться роскошью, блеском словесной формы какь по звукамь, такъ и по содержацію. Стихи — это языкъ, употребляемый поэтомъ въ минуты вдохновенія, на ппру своего воображенія и поражающій нежданнымъ стеченіемъ звуковъ и словъ. остротою шутки и странностью созвучій. Такъ говорить Пушкинъ:

> Подруга думы праздной, Чернильница моя!

Въ минуты вдохновья Къ тебъ я прибъгалъ, И музу призывалъ На пиръ воображенья.

И подъ вечеръ, когда
Перо по книжкѣ бродить,
Безъ всякаго труда
Оно въ тебѣ находитъ
Концы монхъ стиховъ
И вѣрность выраженья,
То звуковъ или словъ
Нежданное стеченье,
То ѣдкой шутки соль,
То (тутъ же) слогъ суровый,
То странность риомы новой,
Неслыханной дотоль (I, 243—244).

Въ другомъ, болъе позднемъ произведенін Пушкина "Египетскія ночи" (1835 г.) мы находимъ подобиое же опредъленіе стиховъ въ слѣдующихъ словахъ: "Однажды утромъ Чарскій чувствовалъ то благодатное расположеніе духа, когда мечтанія явственно рисуются передъ вами, и вы обрѣтаете живыя, неожиданныя слова для воплощенія видѣній вашихъ, когда стихи ложатся подъ перо ваше, и звучныя риемы бѣгутъ навстрѣчу стройной мысли" (V, 389).

Существеннымъ признакомъ или качествомъ стиховъ, какъ языка поэзін, отличающагося блескомъ формы и содержанія отъ прозы, служитъ такъ называемая смюлость выраженій. Въ бумагахъ Пушкина сохранилась одна замѣтка, относящаяся къ 1827 году, въ которой онъ говоритъ о смълости выраженій и различаетъ въ ней двѣ степени: низшую и высшую. Такъ какъ эта замѣтка не велика, а между тѣмъ имѣетъ весьма важное значеніе для нашего вопроса, то я позволю себѣ привести ее здѣсь вполнѣ. Онъ говоритъ: "Есть различная смѣдость: Державинъ написалъ: "былъ на высотѣ... Счастіе къ тебѣ хребетъ свой съ грознымъ смѣхомъ повернуло... ты видишь; видишь, какъ мечты, сіянье вкругъ тебя заснуло". Жуковскій говоритъ о Богѣ:

Онъ въ дымъ могилъ Себя облекъ.

"Мы находимъ эти выраженія смълыми. Крыловъ говорить о храбромъ мужикъ:

Онъ даже хаживалъ одинъ на паука.

"Французы донынѣ еще удивляются смѣлости Расина, употребившаго слово pavé, помостъ:

> En voyant l'étranger d'un pied silencieux Fouler avec respect le pavé de ces lieux.

"И Делиль гордится тымь, что онь употребиль слово vache. Жалка словесность, повинующаяся таковой мелочной и своенравной критикы. Жалка участь поэтовы (какого бы достоинства они, впрочемы, ни были), если они принуждены славиться позабытыми побыдами нады предразсудками вкуса.

"Описаніе водопада:

"Алмазна сыплется гора Съ высотъ" и пр.

есть высшая смълость — смѣлость воображенія, созданія, гдѣ планъ обширный объемлется творческою мыслію; такова смѣлость Шекспира, Dante, Milton, Гёте въ "Фаустъ", Мольера въ "Тартюфъ", Фонвизина въ "Педорослъ".

"Кальдеронъ называлъ молнію огненными языками небесъ, глаголющихъ землъ. Мильтонъ говоритъ, что адское пламя давало только различать въчную тьму преисподней" (V, 60—61).

Отсюда видно, что Пушкинъ признавалъ въ поэтическомъ языкъ двоякую емълость: инзшую, состоящую въ удачномъ употребленін словъ, ножалуй, формъ, не принятыхъ въ обществъ, и высшую, основанную на творческой смълости воображенія, состоящую въ употребленін такихъ метафорическихъ выраженій, которыми обозначаются образы чего-либо обширнаго, великаго и пр. Произведенія Пушкина представляють большое богатство примъровъ той и другой смълости выраженій. Къ первой, или низшей, могуть быть отнесены всъ елучан употребленія словъ и формъ, заимствованныхъ изъ книжной славянской и устной простонародной ръчи, а также и словъ, составленныхъ самимъ поэтомъ, каковы, напримъръ: непробудимый (сонъ) (II, 17), праздномыслить (II, 116), утъспительный (санъ) (III, 393), проворье (III, 452), увърчивость (= убъдительность) (III, 577), вольнодуміе (V, 38), вольномысліе (V, 40), безиравствіе (V, 45), неблагосклонствовать (V, 94), дамоподобный (V, 109), простомысліе (V, 116), цанцарапствовать (V, 122), противомысліе (V, 144), чтеньебъсіе (VII, 118), аристократичествовать (V, 134), распечатный ("я жду "Полярной Звъзды" въ надеждъ видъть тебя распечатнаго"—VII, 64), хандрливъ (VII, 242), подуруша (VII, 370) и др. Ко второй, или высшей, смълости относятся разнаго рода метафорическія выраженія. Эта последияя смелость въ стихахъ Пушкина была замвчена довольно рано. Еще въ 1818 году, по поводу посланія его къ Жуковскому (на изданіе книжекъ "Для немногихъ"), заключавшаго въ себъ стихъ:

Онъ (то-есть поэть) духомъ тамъ, въ дыму стольтій,

князь Вяземскій писаль изъ Варшавы (25 апръля 1818 года) къ Жуковскому слъдующее: "Стихи чертенка-племянника чудесно хороши. Вт дыму стольтій! Это выраженіе — городъ. Я все отдаль бы за него, движимое и недвижимое. Какая бестія! Надобно намь посадить его въ желтый домъ, не то этоть бъщеный сорванець насъ всъхъ заъстъ, насъ и отцовъ нашихъ. Знаешь ли, что Державинъ испугался бы дыма стольтій? О прочихъ и говорить нечего" (I, 194). Подобныхъ выраженій-городовъ въ стихахъ Пушкина не мало. Къ нимъ

можно отнести, напримъръ, слъдующія: пиръ воображенья (I, 310), пустыня міра (I, 348), морей пожаръ (II, 76), риза бурь (III, 225), дождь страстей (III, 394) и т. п. По не въ нихъ и не въ смълости вообще поэтическаго языка заключается та сила и то изящество, которыя исключительно свойственны стихамъ Пушкина. Смълые эпитеты, метафоры, сравненія, образы встръчаются у всъхъ поэтовъ, и въ этомъ отношеніи, безспорно, первое мъсто принадлежить Державину. У кого другого можно найти выраженіе смълье, напримъръ, его стиха:

Глотаеть царства алчна смерть!

или слъдующаго изображенія Суворова:

Вихрь полунощный, летить богатырь!
Тьма оть чела, съ посвиста пыль!
Молньи отъ взоровъ бъгуть впереди,
Дубы грядою лежатъ позади.
Ступить на горы — горы трещать,
Ляжеть на воды — воды кипять,
Граду коснется — градъ упадеть,
Башни рукою за облакъ бросаеть.

Но эта смълость, основанная на преувеличении, хотя поражаетъ воображение читателя, однако не удовлетворяеть его эстетического чувства: она отзывается ложью и бьетъ всегда мимо цёли, мимо того, что выражаетъ. Такъ, смёлость выраженій въ стихахъ, изображающихъ Суворова, рисуетъ читателю образъ какого-то сказочнаго, миоическаго богатыря, а вовсе не образъ дъйствительнаго Суворова, нашего русскаго героя; а стихъ "Глотаетъ царства алчна смерть" вмъсто чувства ужаса способенъ своимъ гиперболизмомъ вызвать въ умъ читателя такой вопросъ: "и неужели ни однимъ даже не поперхиется?... "Не такова смълость выраженій въ стихахъ Пушкина, существеннымъ признакомъ которой служитъ художественность. Она у него не переступаеть той мфры, которая требуется, съ одной стороны, чувствомъ красоты по отношенію къ формъ, а съ другой — чувствомъ правды по отношенію къ содержанію того, что выражается. Такъ, напримъръ, смълость выраженія въ стихъ Пушкина, относящемся къ Петру Великому въ Полтавскомъ сраженіи:

Онъ поле пожиралъ очами,

вполив художественна, потому что она, съ одной стороны, прекрасно рисуетъ самый образъ взора Петра, невольно вызывая представленіе о необычайной подвижности очей его и необычайномъ блескъ ихъ, а съ другой — върно выражаетъ то состояніе души его, ту энергію его вниманія, которыя требовались величіемъ происходящаго передъ нимъ событія. Въ стихахъ, рисующихъ намъ образъ Петра, иътъ ни одного выраженія, которое отзывалось бы гиперболизмомъ, подобнымъ гиперболизму стиховъ Державина, рисующихъ образъ Суворова: а между тъмъ величіе Петра изображено въ нихъ, можно сказать восхитительно-прекрасно.

Тогда-то, свыше вдохновенный, Раздался звучный гласъ Петра: "За дѣло, съ Богомъ!" Изъ шатра, Толной любимцевъ окруженный, Выходитъ Петръ. Его глаза Сіяють. Ликъ его ужасенъ. Движенья быстры. Онъ прекрасенъ. Онъ весь, какъ Божія гроза. Идетъ. Ему коня подводять. Ретивъ и смиренъ вѣрный конь. Почуя роковой огонь, Дрожитъ, глазами косо водитъ И мчится въ прахѣ боевомъ, Гордясь могучимъ сѣдокомъ (III, 142).

Читая эти стихи, мы чувствуемъ, ощущаемъ, такъ сказать, всю правду того, что изображаетъ намъ поэтъ-художникъ: мы какъ бы видимъ передъ собою дъйствительнаго Петра, могущественнаго, вдохновеннаго, и какъ бы собственными глазами следимъ за его движеніями, быстроту и энергію которыхъ Пушкинъ выразилъ лишь краткостью предложеній. Подобною же художественностью отличаются эпитеты, метаформы и сравненія: эпитеты у него — мътки и содержательны, метафоры картинны, сравненія — върны, и всь они служать къ тому, чтобы выразить чувство, мысль, действіе, явленіе, предметь, лицо, событие въ такой формъ, въ которой все это представляется читателю живымъ и върнымъ дъйствительности, возбуждая въ душъ его чувство, соотвътствующее своему содержанію. Здёсь не время и не мёсто входить мий въ подробный разборъ всего поэтическаго языка Пушкина: я позволю себъ привести лишь два-три примъра для наглядности своей мысли.

Эпитет», напримъръ, "блистательный" къ слову "позоръ" въ слъдующихъ стихахъ изъ оды "Наполеонъ".

И Франція, добыча славы, Плъненный устремила взоръ, Забывъ надежды величавы, На свой блистательной позоръ (I, 252).

чрезвычайно мътко и необыкновенно содержательно характеризуетъ ближайшій результатъ революціоннаго движенія Францін, подпавшей подъ власть Наполеона I.

Метафора, выражающая пробужденіе природы весною, въ слѣдующихъ стихахъ:

> Улыбкой ясною природа Сквозь сонъ встрѣчаеть утро года (III, 358).

поражаетъ картинностью и граціей образа. Приведу еще одинъ примъръ *сравненія* въ слъдующемъ небольшемъ стихотвореніи:

Я пережиль свои желанья, Я разлюбиль свои мечты! Остались мить один страданья, Илоды сердечной пустоты. Подъ бурями судьбы жестокой Увяль цвътущій мой втнець! Живу печальный, одинокій, И жду: придеть ли мой конець? Такъ, позднимь хладомъ пораженный, Какъ бури слышенъ зимній свисть, Одинъ на вткть обнаженной Трепещеть запоздалый листь (II, 238).

Какъ върно здъсь образъ одинокаго листа на въткъ, трепещущаго отъ поздияго осенняго вътра и готоваго каждый мигъ упасть съ дерева, выражаетъ чувство печальнаго одиночества поэта, персжившаго свои желаніи и разлюбившаго свои мечты! Такова художественная смълость выраженій въ стихахъ Пушкина. Нодъ его перомъ стихи впервые возвысились на ту ступень изящества, на которой они являются уже настолько же естественнымъ, легкимъ и свободнымъ, насколько реально-правдивымъ и живымъ выраженіемъ поэтической красоты и правды явленій міра внутренняго и внѣшняго. Въ нихъ чувства, мысли, липа, дъйствія, картины природы, времена года, словомъ, что только служитъ ихъ содержаніемъ, полно жизни, движенія, граціи и правды. Стихи Пушкина — это повын, созданный имъ языкъ самой жизни и природы въ своей изящной формъ. Пушкинъ справедливо сказалъ о себъ:

И долго буду тымы любезены я народу, Что звуки новые для писень я обрыль.

Правъ и Жуковскій, замѣнившій стихъ Пушкина:

Что въ мой жестокій вѣкъ возславиль я свободу, стихомъ:

Что прелестью экивой стиховь я быль полезень,

Остается отмътить еще одну черту поэтическаго языка Пушкина, важную въ томъ отношеніи, что она характеризуетъ взглядъ его на народность въ языкъ, какъ поэта-художника. Черта эта состоить въ отсутствін у Пушкина того намъреннаго искаженія языка, которое, по мивнію другихъ писателей, считается необходимымъ въ томъ случав, когда выводятся въ произведенія лица, принадлежащія иной національности, или такого класса русскаго народа, который отличается по языку особымъ говоромъ и исключительными выраженіями. Такъ, въ повъсти "Капитанская дочка" Пушкинъ спачала заставиль было генерала-нъмца говорить по-русски съ нъмецкимъ выговоромъ, но не выдержалъ, н въ концъ своей непродолжительной бесъды съ Гриневымъ генералъ-нъмецъ заговорилъ у него на правильномь русскомь языкъ. Въ драмъ "Скупой рыцарь" жидъ выражается у Пушкина чистымъ русскимъ языкомъ. Въ трагедін "Борисъ Годуновъ" французъ Маржереть и нъмецъ Розенъ преимущественно говорять каждый на своемъ языкъ, а не на русскомъ. Въ народныхъ сценахъ этой трагедін и даже вь произведеніяхъ исключительно простонароднаго характера, изобилующихъ реченіями и оборотами простонароднаго языка, мы не замъчаемъ тъхъ особенностей, которыми обозначается исключительность говора какого-либо сословія, или лица. Ясно, что Пушкинъ всегда и вездъ имълъ въ виду существенную сторону содержанія предмета и отбрасываль мелочи. Не въ личномъ выговоръ словъ н не въ исключительныхъ особенностяхъ языка того или другого класса людей онъ видълъ сущность дъла, а въ нравахъ, обычаяхъ, въ складъ и образъ мыслей и проч. Вотъ, напр,. стихи Пушкина (1833 г.), которые по содержанию своему представляють произведение вполит простонароднаго характера:

Сватъ Иванъ, какъ пить мы станемъ, Непремънно ужъ помянемъ Трехъ Матренъ, Луку, съ Петромъ Да Пахомовну потомъ. Мы живали съ ними дружно: Ужъ какъ хочешь, будь, что будь — Этихъ надо помянуть, Помянуть намъ этихъ нужно: Поминать такъ поминать, Начинать такъ начинать, Лить такъ лить, разливъ разливомъ. Начинай же, сватъ, пора! Трехъ Матренъ, Луку, Петра Мы помянемъ пивомъ, А Пахомовну потомъ Пирогами да виномъ, да еще ее помянемъ — Сказки сказывать мы станемъ. Мастерица въдь была! И откуда что брала? А куда разумны шутки, Приговорки, прибаутки, Небылицы, былины Православной старины! Слушать, такъ душѣ отрадно; Кто придумаль ихъ такъ складно? 11 не пиль бы, и не фль Все бы слушаль, да глядьль. Стариковъ когда-нибудь (Жаль, теперь намъ недосужно) Надо будеть помянуть: Помянуть и этихъ нужно... Слушай, свать: начну первой, Сказка будеть за тобой (II, 149—150).

Какое прекрасное произведеніе! Сколько въ немъ живой правды! Какъ мастерски умѣлъ Пушкинъ сочетать грубость понятій простого человѣка съ благородными качествами его русской души: широтою чувства и смысломъ поэзін!... Такъ Пушкинъ охарактеризовалъ въ этомъ произведеніи нашу русскую простонародность! А какой языкъ! При многихъ, чисто русскихъ народныхъ оборотахъ рѣчи, при чисто русскомъ простонародномъ складѣ изложенія мыслей и чувствъ Пушкинъ не допустилъ ни одного намѣренцаго искаженія формы; онъ не замѣнилъ даже слова "непремѣнно" обыкновенно употребительною въ просторѣчіи формою "безпремѣнно", и мѣстотребительною въ просторѣчіи формою "безпремѣнно", и мѣсто-

именія "этихъ" формою "евтихъ" или "ентихъ" и т. п. Очевидно, что всякое лишнее искаженіе русскаго языка и общихъ типическихъ формъ простонародной рѣчи было противно его чувству художника, соблюдающаго во всемъ извѣстпую мѣру.

Итакъ, значеніе Пушкина въ исторіи нашего литературнаго языка такъ же, какъ и въ исторіи литературы, опредъляется, главнымъ образомъ, дѣятельностью его какъ поэта-художника. Ею, между прочимъ, объясняется и несомнѣнное превосходство Пушкина надъ предшествовавшими ему дѣятелями въ исторіи языка — Ломоносовымъ и Карамзинымъ.

Ломоносовъ дъйствоваль, какъ ученый. Заслуга его по отношенію къ литературному языку состояла въ томъ, что опъ вфрио опредблиль главные его источники, именно, (языки: книжный славянскій и устный русскій народный. Карамзинъ дъйствоваль, какъ литераторг. Заслуга его состояла въ томъ, что онъ сблизилъ литературный языкъ съ устнымъ, разговорнымъ языкомъ образованнаго общества. Пушкинъ дъйствоваль, какъ поэтг-художникг. Заслуга его въ томъ, что онъ далъ прочное основание для правильнаго и успъщнаго развитія литературнаго языка, указавъ для прозаической его формы начало художественной простоты, а для стихотворной — начало художественной смълости выражений. Ломоносовъ сообщиль литературному языку характерь схолистическій, кабиистный; Карамзинъ придаль ему характеръ общественный, характеръ изящной ръчи, такъ сказать, салонный; Пушкинъ же даль литературиому языку характерь художественно-народный, едълавъ въ своихъ произведеніяхъ красоты родного языка доступными для каждаго русскаго человъка, способнаго чувствовать прекрасное. Такимъ образомъ, онъ вывель литературный языкъ изъ спертой атмосферы кабинетовъ и гостиныхъ на чистый воздухъ свъта Божія, на широкій просторъ русской земли для любованья всему народу русскому.

Но эта великая заслуга Пушкипа по отношенію къ литературному языку составляеть лишь скромную часть той, которую онъ оказаль вообще языку русскому. Въ произведеніяхъ Пушкина русскій языкъ впервые нашель достойное себя выраженіе и явился во всемъ своемъ величіи. Поэтическій геній Пушкина быль, можно сказать, другомъ генію русскаго языка. Недаромъ Пушкинъ такъ горячо любиль русскій языкъ и такъ старательно изучаль его и въ квигахъ и въ живой устной

рвчи, не только въ кругу людей образованныхъ, подобно Карамзину, но и въ средъ простого народа, гдъ русскій языкъ чаще поражаль его большею чистотою и правильностью. Нашъ геніальный ученый, Ломоносовъ, въ посвященіи своей Русской Грамматики великому князю Павлу Петровичу сказалъ о русскомъ языкъ слъдующее: "Кардъ Пятый, римскій императоръ, говаривалъ, что ишпанскимъ языкомъ съ Богомъ, французскимъ съ друзьями, ифмецкимъ съ непріятелями, игаліанскимъ съ женскимъ поломъ говорить придично. Но если бы онъ россійскому языку былъ искусецъ, то, конечно, къ тому присовокупиль бы, что имъ со всеми оными говорить пристойно. Ибо нашель бы въ немъ великольпіе ишпанскаго, живость французскаго, крипость иймецкаго, ийжность италіанскаго, сверхъ того богатство и сильную въ изображеніяхъ праткость греческого и латинского языка". Нашъ геніальный поэтъ, Пушкинъ, доказалъ справедливость этихъ словъ самымъ дъломъ, представивъ въ своихъ произведеніяхъ выраженіе всьхъ вышепоименованныхъ свойствъ русскаго языка съ изумительною точностью и грацією. Въ гармоніи стиховъ Пушкина съ русскимъ языкомъ могла соперпичать развъ только сама природа. Справедливо сказалъ онъ о себъ:

Въ гармоніи соперникъ мой Былъ шумъ лѣсовъ иль вихорь буйный. Иль иволги напѣвъ живой, Иль ночью моря гулъ глухой, Иль шопоть рѣчки тихоструйной (I, 310).

Такъ Пушкинъ своею художественно-поэтическою дъятельностью завъщаль намъ любить родное слово, прилежно изучать его и съ чувствомъ народной гордости сознавать его величіе.

Некрасовъ.

Иушкинъ — выразитель народнаго духа, отражающагося въ словѣ.

Развитіе литературы тісно связывается съ развитіемь языка. То и другое находится во взаимномь самодійствій. Безь развитаго литературнаго языка не возможна высокая степень литературы и, съ другой стороны, безъ развитія литературы не можеть развиться и языкъ. Вотъ почему мы и наблюдаемь,

что выдающіеся таланты одинаково оставляють свой следь какъ въ приведеніи новыхъ идей, такъ и въ приданіи языку большей степени совершенства. На глазахъ Пушкина шла жестокая борьба по вопросу, какимъ языкомъ надо писать то или другое литературное произведение. Ему достался въ наслъдство языкъ, уже достаточно тронутый Карамзинскими реформами, по предстояло сдълать еще одинъ шагъ, чтобы русскій литературный языкъ вполив соответствоваль тому богатому содержанію, которое открывалось съ эпохи Пушкина. Въ своемъ сгремленін приблизить письменный языкъ къ разговорному, Карамзинъ широко пользуясь способомъ изобрътенія новыхъ словъ, мало впосилъ въ него элемента чисто народнаго. Пушкинъ восполниль эту сторону. Все у него оказывалось, такимъ образомъ въ связи — и содержаніе и способъ его выраженія. Русскій языкъ, по словамъ Пушкина, гибокъ и мощенъ въ своихъ отношепіяхъ къ чужимъ языкамъ. Но Пушкинъ хорошо видѣлъ, что еще много предстоить работы, — чтобы русскій языкъ получиль полное право гражданства. "Положимъ, — говоритъ онъ — что русская поэзія достигла уже высокой степени образованности: просвъщение въка требуетъ пищи для размышления, умы не не могуть довольствоваться однъми играми гармоніи и воображенія, но ученость, политика и философія еще по-русски не объяснились: метафизического языка у 'насъ вовсе не существуетъ". Пушкинъ былъ для своего времени правъ, и только лишь съ тридцатыхъ годовъ сталъ у насъ вырабатываться метафизическій языкъ. "Проза наша, прододжаєть онъ, такъ еще мало обработана, что даже въ простой перепискъ мы принуждены создавать оборотъ для изъясненія понятій самыхъ обыкновенныхъ, такъ что леность наша охотне выражается на языкъ чужомъ, котораго механическія формы давно готовы и всъмъ извъстны". Еще передавая письмо Татьяны, поэтъ замъчаетъ что "донынъ гордый нашъ языкъ къ почтовой прозъ не привыкъ". Предстояла, следовательно, работа, чтобы нашъ языкъ былъ вполит удобенъ для прозы. Пушкинъ видълъ могущественное средство къ тому въ освъжени книжнаго языка народными элементами. "Простонародное наржчіе", говорить онъ, необходимо должно было отдёлиться отъ книжнаго; но впослъдствін они сблизились, и такова стихія, данная намъ для сообщенія нашихъ мыслей" — положеніе, вполит втриое Не ту ли же судьбу испытала и вся русская литература? На-

родная поэзія, оторванная отъ просвъщенныхъ людей и перешедшая къ Арпнамъ Родіоновнамъ, въ лицъ геніальнаго поэта возводится на должную высоту и своей чистотой и первобытпостью освъжаетъ старое содержание. Но геніальный поэтъ быль чутокъ не только къ содержанію, но и къ формъ. Разсматривая романъ Загоскина "Юрій Милославскій", Пушкинъ ставить ему въ заслугу, что "разговоръживой, драматическій вездъ, гдъ онъ простонароденъ, обличаетъ мастера своего дъла". Такимъ образомъ, Пушкинъ подмъчаетъ въ простонародной ръчи два важныхъ качества - живость и драматичность. Но какъ же можно пользоваться богатствомъ живого народнаго языка? Необходимо самому спуститься въ пародъ, необходимо опроститься и послушать рачь простолюдина. II вотъ Пушкинъ дъйствительно, спускается въ народъ, ходить по базарамъ, прислушивается къ говору, и оставляетъ намъ драгоциный совить: "Изучение старинныхъ писенъ, сказокъ и т. п. необходимо для совершеннаго знанія свойствъ русскаго языка: критики наши напрасно ими презирають". По не только для критиковъ нужно знаніе свойствъ народнаго языка. "Разговорный языкъ простого народа — замъчаетъ Пунікинъ, достоинъ глубочайшихъ изследованій". "Не худо намъ иногда — продолжаетъ онъ — прислушиваться къ московскимъ просвирнямъ: онф говорятъ удивительно чистымъ и правильнымъ языкомъ". И Пушкипъ упорно работаетъ надъ языкомъ. Его природныя дарованія и пеобыкновенное чутье языка всегда полагали опредъленную границу тому или другому элементу. При полномъ еще отсутствін понятій о законахъ развитія языка, когда еще и не предчувствовалось существованіе новой науки, опредълившей впоследствін припцицы жизни языка Пушкинъ совершенно правильно смотритъ на взаимное отношеніе живого языка къ правиламъ, указываемымъ грамматикой: "Грамматика, — говоритъ онъ, — не предписываеть законовъ языка, по изъясияетъ и утверждаетъ его обычаи". Слъвательно, спачала идетъ живой языкъ, а потомъ и грамматика - положение, въ настоящее время азбучное, но во время Пушкина едва ли общензвъстное. Какъ вездъ, такъ и въ языкъ въ заимствованін ли слова изъ летописей, или изъ живого простонароднаго говора, Пушкинъ требовалъ чувства мъры. а чувство мфры опредфляется истиннымъ вкусомъ. "Истинны вкусъ — говоритъ Пушкинъ — состоитъ не въ безотчетномъ

отверженін такого-то слова, такого-то оборота, но въ чувствъ соразмфриости и сообразности. И первый, кто удовлетвориль вполит всемъ указаннымъ условіямъ былъ самъ Пушкипъ. Пеобыкновенная сжатость и въ то же времи выразительность, мъткость и точность въ выборъ словъ, плавныя, но вполнъ соотвътствующія живой русской рычи краткія синтаксическія формы — все это, соединенное съ безыскуственностью, сдълало Пушкина учителемъ русскаго языка для всего последующаго покольнія. Не безъ труда достигаль Пушкинь такого совершенства въ языкъ, и его черновыя тетради свидътельствуютъ, сколько значенія придаваль онъ отділкі языка своихъ произведеній. Мало того, что онъ находиль нужнымъ тщательно обрабатывать слогъ своихъ произведеній: ему приходилось. кромъ того, объяснять критикъ, почему онъ употребиль тотъ. а не другой обороть. И здъсь Пушкинъ выставляеть то же требованіе, что и относительно содержанія — простоту. Природное чувство изящнаго удерживало Пушкина на вершинъ простоты, а истинный вкусъ заставляль его передълывать какъ стихотворенія, такъ и мелкія прозапческія статьи до тъхъ поръ, пока не выливались тф слова и выраженія, которыя удовлетворяли поэтпческому чувству поэта. Тъхъ же качествъ и той же отдълки требовалъ Пушкинъ и отъ другихъ. "Да говори просто: ты довольно умень для этого" — восклицаетъ Пушкинъ, встрътивъ въ статьъ Вяземскаго объ Озеровъ одну пышную фразу. Онъ зачеркиваетъ въ той же стать фразу Вяземскаго "и совсъмъ поглотила его бездна забвенія", замъняетъ ее другой "и совсъмъ его забыли" и въ скобкахъ добавляеть: "проще и лучше".

Воть великая заслуга Пушкина. Его таланть опередиль современниковь. Гораздо раньше научных открытій Пушкинь върно и твердо опредълиль значеніе языка народнаго. Въ настоящее время наука окончательно признала важное значеніе знакомства съ говоромъ вообще для правильнаго пониманія самаго роста языка. Въ чисто же литературной сферт языкъ Пушкина всегда служиль примъромъ умълаго обращенія съ нимъ. Напимъ послъдующимъ писателямъ значительно облегчалась задача: имъ уже не приходилось бороться съ педостатками русскаго языка, когда послъ Пушкина онъ предсталъ предъ ними въ своемъ выработанномъ изящномъ видъ. Лучній нашъ стилистъ-художникъ, Иванъ Сергъевичъ Тургеневъ,

говорить, что онь учился русскому языку у Пушкина, посльдующіе учатся у Тургенева, и такимъ образомъ, между Пушкинымъ и послъдующимъ покольніемъ писателей и въ этомъ отношеніи обнаруживается живая неразрывная связь.

Но слово есть вившнее выражение внутрецияго содержания. и языкъ есть могущественное средство для человъка выражать свою внутреннюю индивидуальность. Если, по словамъ Пушкина, "есть образъ мыслей и чувствованій, повърій и привычекъ, принадлежащихъ исключительно какому-пибудь народу", то, следовательно, каждый народъ и выражается по своему. Чамъ шире содержаніе, тамъ разнообразиве и богаче языкъ, а чъмъ талантливъе писатель, тъмъ върнъе соотвътствіе между содержаніемъ и выраженіемъ. Если въ поэзін Пушкина русская народность впервые явилась съ наибольшей рельефпостью, то и самый языкъ его поэзін наглядно обнаруживаетъ, какъ выражаеть свои думы и чувствованія русскій человѣкъ. Послъдующая плеяда писателей, расширяя содержание литературы, расширила и область чувствъ и думъ русскаго человъка, по это расширеніе въ его внішнемъ выраженін поконлось, какъ на твердомъ базисъ, на поэзін Пушкина, являвшей народность не только въ содержанін, но и въ способахъ его выраженія. Пушкинъ, следовательно, есть по-преимуществу выразитель народнаго духа, отражающагося въ словв.

Истринъ.

Народныя черты и симпатін въ поэзін А. С. Пушкпна,

Признаю уже давно, что въ поэзіи великаго нашего поэта Пушкина особенно много черть, роднящихь ее со всёмь духовнымь и бытовымь складомь народной жизни, — ярко обнаруживающихь органическую связь его духа со всёмь цёлымь народнаго русскаго міра. Давно поэту, Пушкину и присвоень эпитеть, "національнаго" или "народнаго" поэта. Особенно горячо настанвали на этомь, конечно, представители такъ называемаго славянофильскаго лагеря и его отвётвленій — "почвенники" и др. Наиболье опредёленная и ръзкая постановка этого вопроса принадлежить А. Григорьеву, Страхову и Достоевскому. Достоевскій особенно полно высказался на этоть счеть въ своей знаменитой рѣчи, сказанной при открытіи памятника Пушкину въ Москвъ. По, при всемъ уваженіи къјличности и направленію этого замѣчательнаго писателя, нельзя не замѣтить, что опъ, ослѣпленный восторженнымъ поклоненіемъ народу, слишкомъ уже теоретически, апріорно, подходитъ къ вопросу и о русской народности и о связи съ нею поэзін Пушкина. Не разумомъ, и религіозно-правственнымъ чувствомъ опредѣлились и исходныя точки и результаты его отношенія къ дѣлу. Сущность его воззрѣній отлично выражается слѣдующими немногими стихами Тютчева, обращенными къ русскому народу:

Но пойметь и не замѣтить Гордый взоръ иноплеменный, Что сквозить и тайно свѣтить Въ красотѣ твоей смиренной.

Всю тебя, земля родная, Въ рабскомъ видъ, Царь Небесный: Исходилъ благословляя...

Это — высокая поэзія, и такая же высокая поэзія все ученіе Достоевскаго о русской народности и согласованный съ нимъ взглядъ на Пушкина. Но человъка, ищущаго не высокаго подчема души, а только правды — голой, логической правды это не удовдетворить. Къ взглядамъ Достоевскаго примыкаютъ и возржнія А. Григорьева. Онъ чрезвычайно талантливо поставиль вопрось о культурно-энтографическихъ типахъ и учить, что выражение этого "типоваго" и есть главная задача некусства, въ частности поэзін. Выходя изъ этой мысли, онъ и доказываль, что поэтическая личность Пушкина и его поэзія есть напболже полное и совершенное воплощение нашего "типоваго-народнаго", опираясь, однако, при опредъленіи народнаго типа, опять-таки на некоторыя теоретическія предпосылки, выработанныя славянофильствомъ. Характерифишей чертой русской народности и онъ считаетъ нъкотораго рода "Христоподобіе", смиреніе 'и кротость, оговариваясь, впрочемъ, что это не есть тупая покорность всякой силь, а только добровольное подчинение личнаго общему, которое можетъ развиться и должно въ дъятельную, упругую силу, въ начало личное... Благородство этого идеала не подлежить, конечно, сомнънію, по столь же несомнънна и теоретическая предвзятость примъненія его именно къ русскому народному типу. Можетъ быть, что-нибудь и такъ, а, можетъ быть и не такъ; и во всякомь случав это только идеалъ, а не живая дъйствительность. Вообще опредълять напередъ рамки народнаго типа, его духовной физіономіи, прежде чъмъ этотъ народъ завершилъ кругъ своего быта, пока онъ не сталъ достояніемъ исторіи, — дъло очень рискованное и ненадежное. Мы хотимъ върить, что въ русскомъ народъ заложено все наилучшее, все наиболъе благородное, но каково оно и какъ именно оно скажется въ итогъ на исторической аренъ, — объ этомъ намъ судить едва ли дано-

Мы, поэтому, минуемъ всѣ эти полумистическія теоріи о русской народности и оставимъ себѣ задачу несравненно болье скромную. Мы просто хотимъ посильно показать, что такъ какъ геніальный поэтъ или художникъ вообще есть всегда центральное отраженіе кипящей вокругъ него жизни, — ся фокусъ, — то и Пушкинъ не могъ не быть таковымъ въ отношеніи русскаго міра, и не только жизни образованнаго слоя, а и чисто-народной, по скольку она вторгалась и переплеталась въ тѣ времена съ бытомъ помѣщичьяго класса; хотимъ показать, что въ его поэзіи есть не мало такихъ чертъ общности съ народною массою, которая какъ разъ были бы къ лицу какому-нибудь идеальному простолюдину съ тонко-развитымъ чувствомъ и мышленіемъ, но отнюдь еще не порвавшему связей съ "землею", еще тягот ѣющему къ ней и любящему ес.

Пушкинъ въ свой поэзін создаль одинъ великій образъ, неподражаемый по своей красотъ — и эстетическій и нравственной, это — Татьяна въ "Евгеніи Опъгинь". Давно признано. что такого чарующаго, человъчно-прекраснаго и женственнообаятельнаго образа - другого ивть въ русской литературъ. Въ чемъ же кроется его сила? Почему поэту такъ удалась эта фигура, почему она вышла такъ неотразимо-привлекательна? — Объясненіе одно: этотъ духовный обликъ быль нанболъе дорогъ самому поэту, на него онъ положилъ лучнія силы своего творчества, въ немъ воплотилъ святая святыхъ своей души. Не надо быть особенно проницательнымъ, чтобы угадать эту духовную связь поэта съ его созданіемъ: она бросается въ глаза, она просится наружу чуть не во всякомъ стихъ, относящемся къ Татьянъ. Посмотрите прежде всего, какъ поэтъ преклоняется передъ этимъ образомъ, съ какою безконечной ивжностью, чуть не обожаніемъ, онъ всегда говоритъ о ней! "Татьяна, милая Татьяна! съ тобой теперь я слезы лью"... "И вспоминать опъ Татьяны милой и бладный цвътъ и видъ унылый"... "Невольно, милые мои, меня стъсняетъ сожалвные; простите мив; я такъ люблю Татьяну милую мою!"... Далве: "Моя душа"... "Таня"... "Милая Таня"... и наконець: "Татьяны милый идеаль". Итакъ поэть прежде всего любить Татьяну, любить, какъ свътлое, лучезарное видвије, созданное имъ же, - какъ свое ненаглядное дътнице... Но этого мало: онъ прямо признается, что это — его идеалъ, что это, значить, образь, согканный изъ чистфишихъ лучен его собственной души... Если такъ, что уже напередъ можно утверждать, что существо Татьяны есть индивидуализмъ дучшей части духовнаго существа самого Пушкина, что въ ел личности надо искать черты самого поэта, которыми онъ наиболъе дорожилъ. Да поэтъ даже и не скрываетъ это тожества: въ блестящей характеристикъ московскаго "свъта" Пушкинъ прямо пользуется своими впечатлъніями для характеристики Татьяны, не обособляя себя отъ нея: "Татьяна вслушаться желаеть въ беседы, въ общій разговоръ; но всехъ въ гостиной занимаеть такой безсвязный, пошлый вздоръ, все въ нихъ такъ бледно, равнодушно; они клевещутъ, даже скучно; въ безплодной сухости ръчей, вопросовъ, сплетенъ и въстей, не вспыхнетъ мысли цълы сутки, хоть невзначай, хоть наобумъ, не улыбнется темный умъ, не дрогнетъ сердце, хоть для пушки. И даже глупости смешной въ тебе не встретишь, светь пустой!" Развъ эта странность, этотъ саркастическій ядъ не принадлежить самому поэту? А въ особенности послъдніе два стиха!...

Разбираясь теперь въ личности Татьяны, мы прежде всего поражаемся нѣкоторыми чертами, усиленно подчеркиваемыми поэтомъ, — коренными русскими особенностями ея духовнаго склада. "Татьяна русскою душою, любила русскую зиму", говоритъ о ней поэтъ. Всѣ ея сочувствія, вкусы, вся окраска ея міровоззрѣнія, находятся въ тѣснѣйшей органической связи съ народнымъ русскимъ міромъ. Отблескъ этого міра, обливая всю ея личность волшебнымъ сіяніемъ, лежитъ и на каждомъ отдѣльномъ проявленіи ея существа. Геніальное чутье внушило поэту мысль сдѣлать носительницею всей красоты своего и народнаго духа женскую личность.

Женщина превосходить мужчину большею органическою цъльностью своего существа, потому что она стоить ближе

къ въчнымъ силамъ природы, въ ней непосредствените дъйствующимъ; она - хранительница рода, хранительница устойчиваго типа жизни. - Самое имя, данное поэтомъ его любимицъ, - народно-русское, вовсе не употреблявшееся тогда въ привидегированныхъ кругахъ. Поэтъ даже считаетъ нужнымъ объясияться по этому поводу передъ читателями, замъчая въ выноскъ: "сладко-звучнъйшія греческія имена, каковы, напр., Аганонъ, Филатъ, Өедора и пр., употребляются у насъ только между простолюдинами". Вся обстановка, далъе, въ которой родится, растетъ и развивается Татьяна, — чисто русская сельская. Семья Лариныхъ, въ которой она увидъла свъть, принадлежала къ тъмъ патріархальнымъ помъщичымъ семьямъ средней руки, весь укладъ жизни которыхъ не особенно отличался отъ крестьянскаго, соприкасаясь и переплетаясь съ последнимъ постоянно. Всякія иноземныя новшества и затви здвсь были только вившиимъ украшеніемъ быта, не вторгаясь во внутрениее святилище жизни, не искажая и не уродуя его. Татьяна водилась съ деревенскими девушками, имъла часто общія съ ними развлеченія, гадала съ ними. Она слушала имъ пъсни, впитывала въ себя эти народныя мелодін, н — что еще важите, вмъсть съ воздухомъ жадно вдыхала богатыя неизгладимыя впечатленія сельской русской природы. Главною же воспитательницею ея была русская няня, милая Филиппьевна; она плъняла ея сердце "страшными разсказами", "зимою, въ темнотф ночей", и она же, горячо любимая своей Таней, остается потомъ почти единственной повъренной и наперсинцей ея душевныхъ тайнъ. Даже въ Петербургъ, среди холоднаго свъта, Татьяна съ трогательною любовью вспоминаеть о своей, уже покойной, иянь: "... Гдъ ныпче крестъ и твиь вътвей падъ бъдной иянею моей". Правда, очень рапо Татьяна начала увлекаться и произведеніями западной мысли и творчества, по что вліяніе ни чуть не противоръчило основнымъ задаткамъ ел души, встрътило уже готовую почву, и никакого передома, поэтому, не могло произвести въ ея психикъ.

Остановимся здѣсь пока, чтобы обратиться къ Пушкину. Спрашиваю всѣхъ, сколько-нибудь знакомыхъ съ біографіен поэта: не такъ ли приблизительно шло и его развитіе? Онъ съ дѣтства проводилъ если не зимы, то весну и лѣто въ деревнѣ, гдѣ, разумѣется, воспринималь все, что можетъ дать

русская сельская природа и жизнь; опъ также, при всемъ пностранномъ давленін на него, оставался въ глубинъ души върнымъ питомцемъ своей старой ияни, знаменитой Арины Родіоновны. Это была замъчательная женщина. Это была носительница поэтическаго міра народа, пенстощимая сокровищница сказокъ, пъсней народныхъ. Она была, песомитино, натура творческая, художественная, въ чемъ насъ убъждаетъ чрезвычайная подвижность ея фантазін. Тотъ или другой сказочный мотивъ Арина Родіоновна съ замъчательной легкостью видоизменяла на несколько ладовъ, и каждый новый разсказъ былъ такъ же свъжъ, полонъ жизни и поэзін, какъ и прежній. Всьми этими сокровищами няня дълилась со своимъ обожаемымъ питомцемъ чуть не съ первыхъ дней его жизни. Родныя пъсни, сказки — родные звуки и образы ръяли вокругъ колыбели геніальнаго ребенка, и ихъ, хотя и безсознательно, душа дитяти вдыхала непрестанно. Что это былъ за здоровый, живительный для будущаго поэта воздухъ! Нужды и втъ что паряду съ этимъ вліяніемъ няни маленькій Пушкинъ подвергался и совершенно шнымъ вліяніямъ — галломанствующаго отца и разныхъ ипостранныхъ воспитателей, — нужды ифтъ, что ребенокъ началь говорить вовсе не порусски, а на чистъйшемъ французскомъ языкъ: это быль только наносный несокъ, который постепенно, по мъръ накопленія, смывался потоками родной ръчи и образовъ Арины Родіоновны. Самое ядро существа Пушкина оставалось, несомивино, въ ея власти. Да! Посительница міра народныхъ художественныхъ созерцаній, пъстовавшаго нашего поэта отъ самой колыбели, она не могла не заразить его навсегда, не привить ему прочно своего духа... Она точно такъ же, какъ и Татьянина няня плъняла юное сердце поэта "страшными разсказами зимою, въ темнотъ ночей". Вотъ прекрасное, прочувствованное воспоминание поэта объ этомъ:

> "Ахъ, умолчу ль о мамушкъ моей, О прелести таинственныхъ ночей, Когда въ чепцъ, въ старинномъ одъяньъ, Она, духовъ молитвой уклоня, Съ усердіемъ перекрестить меня И шепотомъ разсказывать мнъ станетъ О мертвецахъ, о подвигахъ Бовы... Отъ ужаса не шелохнусь, бывало; Едва-едва дыша, прижмусь подъ одъяло, Не чувствуя ни ногъ ни головы,

Я трепеталь, и тихо, наконець,
Томленье сна на очи упадало.
Тогда толпой съ лазурной высоты
На ложе розъ крылатыя мечты,
Волшебники, волшебницы слетали,
Обманами мой сонъ обворожали;
Терялся я, въ порывъ сладкихъ думъ,
Въ глуши лъсной, средь Муромскихъ пустыней,
Встръчалъ лихихъ Полкановъ и Добрыней
И въ вымыслахъ носился юный умъ"...

Надо замѣтить при этомъ, что это написано въ самый разгаръ лицейской жизни, 16—17-ти лѣтиимъ поэтомъ, когда, казалось бы, нахлынувшія со всѣхъ сторонъ новыя впечатльнія жизни должны были временно совсѣмъ вытѣснить изъ памяти образъ его няни... Но нѣтъ! Онъ крѣпко сросся съ ея душою. И любилъ же ее поэтъ, любилъ всѣми силами своей широкой, открытой души!

"Подруга дней монхъ суровыхъ, Голубка дряхлая моя!"...

Такъ невыразимо-иѣжно обращался онъ къ своей старушкѣ уже въ зрѣломъ возрастѣ...

Какъ видимъ, сходство съ отношеніями Татьяны — полное. Но если у Татьяны старушка-ияня, дъйствуя на художественныя стороны ея души, не могла довести ихъ игру до творческой интенсивности, то съ Пушкинымъ дъло обстоитъ иначе.

Здёсь художникъ-няня своими сказками и пѣснями дала могучій толчекъ творческимъ задаткамъ ребенка, пробудила къ дѣятельности его поэтическія силы. Сказки Арины Родіоновны были сѣменемъ поэзіи Пушкина,— сѣменемъ, павинмъ на благодатную почву и принесшимъ плодъ сторицею. И сѣмя это было народно-русское. Поэтъ самъ приписывалъ нянѣ большое значеніе въ развитіи своего поэтическаго дара. Указаніе на это было уже въ приведенныхъ выше стихахъ, но вотъ стихотвореніе, гдѣ поэтъ уже прямо отожествляетъ се со своимъ юнымъ вдохновеніемъ:

"Наперсицца волшебной старины, Другь вымысловь, игривыхъ и печальныхъ, Тебя зналъ во дни моей весны, во дни утъхъ и сновъ первоначальныхъ! Я ждаль тебя. Въ вечерней тишинъ, Являлась ты веселою старушкой, И надо мной сидъла въ шушунъ, Въ больпихъ очкахъ и съ ръзвою гремушкой. Ты, дътскую качая колыбель, Мой юный слухъ напъвами плънила, И межъ пеленъ оставила свиръль, Которую сама заворожила!"...

Обратимся теперь опять въ Татьянъ. Каковы были послъдствія ея сношеній съ русскою природою, крестьянскимъ бытомъ и любимою нянею? — Она, конечно, горячо полюбила эту природу и всю обстановку сельской жизни. Припомнимъ, какъ она "любила на балконъ предупреждать зари восходъ" и пр. и вотъ это указаніе поэта: "Татьяна, русскою душою, сама не зная почему, съ ел холодною красою, любила русскую зиму, на солнив иней въ день морозный, и сани, и зарею позднен сіянье розовыхъ сибговъ, и мглу крещенскихъ вечеровъ"...Точьвъ-точь такіе же "русскіе" вкусы по отношенію къ природъ обнаруживаль и Пушкинь. Цёлый рядь прелестивйшихь стихотвореній посвящень именно картинамь зимы: "Зимній вечерь", "Зимнее утро", "Бъсы", "Зимняя дорога" и др. Поэта въ особенности, повидимому, поражала зимняя вьюга своимъ мрачновеличавымъ характеромъ. Но и дикующій, сверкающій, ясный зимній день быль очень по душть ему. А эти безконечныя русскія поля зимою, ночью, озаренныя печальнымъ дуннымъ свътомъ... "Иоля, поля, опять поля"... Монотонно и непрерывно звенять бубеньчики, безбрежно разливаются заунывныя прсии ямщика... И тяжелая грусть стискиваетъ сердце поэта...

> "Грустно, Нина: путь мой скучень, Дремля, смолкнуль мой ямщикъ... Колокольчикъ однозвученъ, Отуманенъ лунный ликъ...

Но при всемъ уныломъ, мертвенномъ однообразіи этой природы, онъ ее втайнъ любитъ, любитъ безсознательно стихійно, въ особенности въ гармоническомъ сочетаніи съ этими "долгими пъснями амщика", въ которыхъ слышится ему "что-то роднос"... Тихая грусть, навъваемая порой на поэта русскою природою, доходитъ до щемящей тоски, когда въ ея рамкахъ онъ находитъ такое же убожество человъческаго существованія, — крестьянскаго житья-бытья. Вотъ небольшое стихотвореніе, своеобразно названное "Шалость".

"Румяный критикъ мой, насмЪщинкъ толстопузый, Готовый въкъ трунить надъ нашей томной музой. Поди-ка ты сюда, присядь-ка ты со мной, Попробуй, сладимъ ли съ проклятою хандрой. Что жъ ты нахмурился? Пельзя ли блажь оставить, II пъсенкою насъ веселой позабавить? Смотри, какой здфсь видъ: избущекъ рядъ убогій, За ними черпоземъ; равнины, скать отлогій, Надъ ними сърыхъ тучъ густая полоса. Гдъ жъ нивы свътлыя? Гдъ темные лъса? Гдѣ рѣчка? На дворѣ, у низкаго забора, Два бъдныхъ деревца стоять въ отраду взора. Два только деревца, и то изъ нихъ одно Дождливой осенью совстви обнажено, А листья на другомъ размокли, и, желтъя. Чтобъ лужи засорить, ждуть перваго Борея. И только. На дворф живой собаки исть. Вотъ, правда, мужичокъ; за шимъ двѣ бабы велъдъ; Безь шапки опъ; несёть подъ мышкой гробъ ребенка, П кличетъ издали лѣниваго поненка, Чтобъ тотъ отца позвалъ, да церковь отворилъ: Скорфй, ждать некогда, давно бъ ужъ схоронилъ!"

Такъ воть горе поэта... Въ рамкъ скучной безцвътнои природы, безъ красокъ и формъ, подъ угрюмымъ сърымъ небомъ, — рядъ убогихъ избушекъ, не оживленныхъ ии растительною ни какою-инбудь другою жизнью. Вездъ пусто и мертво. Вотъ, однако же какіе-то признаки жизни... Что же это? Ахъ, это лишь обманчивый призракъ жизни, это — тоже смерть — смерть, слъды которой человъкъ самъ торопится замести за недосугомъ возиться съ ними: насущная работа, въдь, не ждетъ... Чудной теплотой сердца проникнута вся эта картина, и не только въ смыслъ жалости, но въ смыслъ прямого глубокаго сочувствія къ этой не казистой природъ, къ этому съренькому нейзажу, къ этой убогой жизни, — такимъ, какъ они есть... Кровная связь поэта съ этимъ невиданнымъ роднымъ міромъ выступаетъ здѣсь особенно выпукло.

Но не такими лишь симпатіями къ родному міру опредълялась русская природа какъ Татьяны, такъ и Пушкина. Татьянъ были присущи изкоторыя особыя черты въ ея міровоззрѣніи и характерѣ, которыя стояли въ прямой связи съ господствовавшими простонародными понятіями и влеченіями. Это было, во-первыхъ, изкотораго рода поэтическое суевъріе, столь своиственное простолюдину и идущее еще изъ съдой языческой

старины. Татьяна вся была во власти этого народнаго мистицизма. "Татьяна вфрила преданьямъ просто народнои старины, и снамъ, и карточнымъ гаданьямъ, и предсказаніямъ луны. Ее тревожили примъты, тапиственно ей всѣ предметы провозглашали что-инбудь, предчувствія твенили грудь. Желанный котъ, на нечкъ сидя, мурлыча, лапкой рыльце мылъ; то несомивиный знакъ ей былъ, что вдутъ гости. Вдругъ увидя младой двурогій ликъ лувы па пебъ съ лѣвой стороны, она дрожала и бледивла... Когда случалось где-пибудь ей встретить чернаго монаха, иль быстрый заяцъ межъ полей перебъталъ дорогу ей — не зная, что начать со страха, предчувствій горестимхъ полна, ждала несчастья ужъ она"... И хочетъ сказать поэтъ въ своемъ романъ — она была права, или почти права. Онъ даетъ намъ высоко-художественное описаціе въщаго сповидъція Татьяны, которое скоро и сбылось... Ужъ изъ этого факта можно заключить, что поэтъ самъ въ этомъ случат былъ единомысленъ со своей Татьяной. И двиствительно, изъ біографін Пушкина мы знаемъ, что онъ самъ быль во власти подобныхъ повърій, и его тревожили именно тъ примъты, о которыхъ онъ говоритъ, характеризуя Татьяну. Монахъ, заяцъ, то или другое положение мъсяца все это дъйствовало на поэта такъ сильно, что ему случалось даже откладывать дъла изъ боязни несчастія. И въ поэзіи Пушкина этотъ народный мистицизмъ занимаетъ свое мъсто. При ведемъ первые попавшіеся примфры:

1.

"Стрекотупья бѣлобока, Подъ калиткою моей, Скачеть пестрая сорока И пророчить миѣ гостей.

2.

"Я ѣхалъ къ вамъ; живые сны За мной вились толпой игривой, И мѣсяцъ съ правой стороны Сопровождалъ мой бѣгъ ретивый,

Я таль прочь: иные сны... Душт влюбленной грустио было, И мтсяць съ лтвой стороны Сопровождаль меня уныло. Мечтанью въчному въ тиши Такъ предаемся мы, поэты; Такъ суевърныя примъты Согласны съ чувствами души".

Въ послъдней строфъ мы имъемъ и объяснение поэта, какъ онъ самъ смотрълъ на эти свои мистическія наклонности. Да, именно мистическія... онъ же и поэтическія. Для поэта міръ не есть только большой, правильный построенный силлогизмъ,логическое цълое, не есть механизмъ, а есть цълое живое, одухотворенное, — есть настоящій организмъ. И какъ, во всемъ живомъ цёломъ, въ немъ всегда чуется для впечатлительнаго человъка брожение тапиственныхъ силъ, не поддающихся инкакой научно-логической регламентаціи. Это чувство дітскаго безсилія передъ незримою, всеобъемлющею и всемогущею властью, царящею во вселенной. Что именно такъ слъдуетъ нонимать всякое, такъ называемое, суевъріе, явствуеть вполнъ изъ его историческаго происхожденія. Въдь ово было вначаль ничьмъ инымъ, какъ именно вфрою, религіей младенчествовавшаго человъка. Но въ такомъ случав оно и теперь не могло утратить своей религозной сущности, различаясь отъ истинной, высоко-разумной редигіозности только количественно, а не качественно. И въ самомъ дълъ, мы видимъ, что и Пушкинъ и его Татьяна одинаково высоко религіозны. Я, конечно, разумью подъ этимъ словомъ не тъ или другія догматическія върованія, а только то высокое чувство или настроеніе, о которомъ я даль понятіе сейчась. Татьяна часто "молитвой услаждала тоску волиуемой души". Но не въ этомъ еще выражается истипная религіозность ея патуры. Важиве то, что она чуяла до ивкоторой степени движение Безконечнаго въ міръ, чулла Его властность и закономфриость, кладущую предыть всякому излишнему человфческому произволу въ жизни, всякимъ чрезмфрно-прихотливымъ притязаніемъ человфческой личности... Татьяна вездё и всегда готова подчиниться этому установившемуся міро-порядку, этой высшей законности...Бытьможеть, она преувеличивала значение этой высшей законности, быть-можеть, ошибается въ оцьикь предъловь ея дъйствія, это другой вопросъ, — но самое то это чувство въ ней неоспоримо. Ему именно она подчиняется, "когда уступаетъ матери, молившей ее со слезами заклинаній, когда затьмъ, замужемъ уже, въ шумпомъ свъть разыгрываеть роль "законо-

дательницы заль" и категорически заявляеть Онъгину: "Я васъ люблю, — пъ чему дукавить? — Но я другому отдана и въкъ ему буду върна". Тъ же смыкающіяся волны всемірной законности, въчнаго міроустройства, охватывають и Пушкина, н поднимають его надъ земною сустою, обвъвая его душу тихимъ, божественнымъ покоемъ... Сколько онъ плакалъ въ своихъ трогательнъйшихъ элегіяхъ надъ ошибками своей мододости, каялся въ ея безумствахъ! "Я вижу въ праздности, въ неистовыхъ пирахъ, въ безумств в гибельной свободы, въ неволь, въ бъдности, въ чужихъ степяхъ мои утраченные годы... II съ отвращеніемъ читая жизнь мою, я трепещу п проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строкъ печальныхъ не смываю"... ("Воспоминаніе"). "Безумныхъ дътъ угасшее веселье мив тяжело, какъ смутное похмелье... Но, какъ видно, печаль минувшихъ дней въ моей душъ чъмъ старъ, тъмъ сильнъй... То же религіозное чувство въ нвой формъ и въ иномъ примънении вспыхиваетъ въ думахъ поэта о смерти: никакого отчанијя, никакой даже горечи — тихою, святою музыкою звучать струны его души; музыкою умилительнаго благоволенія къ установленной Творцемъ міровой гармоніп. Съ благоговъйнымъ трепетомъ подчиняется онъ ея закону — въчнаго непрерывающагося обновленія жизин ціною смерти отдільной личности, хотя бы то была его собственная личность... Дыханіе Безконечнаго исторгаеть изъ Эоловой арфы души поэта всепримиряющій аккордъ...

...И хоть безчувственному тѣлу Равио повсюду истлѣвать, Но ближе къ милому предѣлу Мнѣ бъ все хотѣлось почивать. И пусть у гробового входа Младая будетъ жизнь играть, И равнодушная природа Красою вѣчною сіять...

...Здравствуй, племя
Младое, незнакомое! Не я
Увижу твой могучій поздній возрасть,
Когда перерастешь монхъ знакомцевъ
И старую главу ихъ заслонищь
Отъ глазъ прохожаго. Но пусть мой внукъ
Услышитъ вашъ привѣтный шумъ, когда,

Съ пріятельской бесёды возвращаясь, Веселыхъ и пріятныхъ мыслей полнъ, Пройдетъ онъ мимо васъ во мракѣ ночи И обо мнѣ вспомянетъ...

Чтобы не показалось произвольнымъ и теоретическимъ, на славянофильскій ладъ, признаніе этого настроенія поэта чѣмъ-то характерно-русскимъ, да позволено намъ будетъ напомпить о Гоголѣ, Достоевскомъ, Львѣ Толстомъ. Или даже нѣтъ; вспомнимъ Каратаева въ "Войнѣ и Мирѣ", этого солдатика крестьянина... Вѣдь это образъ не вымышленный, не сочиненный: Л. Толстой никогда не измышлялъ, онъ правдивъ, какъ сама правда. Вспомнимъ, далѣе, какъ умираетъ русскій человѣкъ по "Тремъ смертямъ" Толстого, по "Смерти" Тургеневъ въ Запискахъ охотника"... Горячій поборникъ европейской культуры, Тургеневъ восклицаетъ: "Да, удивительно умираютъ русскіе люди!..."

Наконецъ, лучшій цвътъ въковой народной жизни — народная поэзія оказываеть могучее вліяніе и даже непосредственно вторгается въ поэзію Пушкина. Главною и вообще безподобною посредницею между нимъ и міромъ народныхъ поэтическихъ созерцаній была, конечно. Арина Родіоновна, какъ мы это уже и видъли. Но и самъ Пушкинъ при случат съ увлеченіемъ собираль народныя пѣсни и записываль ихъ. Впрочемъ, въдь то, что онъ получилъ отъ своей няпи. было точно также свъжо, также лизъ первыхъ рукъ", да еще изъ такихъ мастерскихъ рукъ. Въ чемъ именно выразилось вліяніе народной поэзін на музу Пушкина — здёсь, разумфется, не мфсто указывать, какъ потому, что оно было очень многообразно, такъ и потому, что этотъ вопросъ еще нуждается въ изслъдованін. И въ языкъ Пушкина и въ его манеръ изображать, въ подборъ образовъ и т. д. — во всемъ должны были остаться слъды этого вліявія. Но въ крупныхъ размърахъ оно отразилось на первомъ его большомъ произведении — поэмъ: "Русланъ и Людмила", и на послъднемъ — драмъ "Русалка". Духомъ русской народной поэзін несомивино обвъяна первая поэма, хотя, разсматриваемая въ подробностяхъ, она и заключаетъ въ себъ много чертъ западнаго происхожденія. Здъсь произошло, если можно такъ выразиться, химическое сліяніе самыхъ разнообразныхъ элементовъ: романической фантастики, французскаго эротизма прошлаго въка и русскихъ сказочныхъ

и пъсенныхъ мотивовъ. Послъдній элементь можно, однако, считать преобладающимъ; въ немъ, такъ сказать, растворены вев остальные. Недаромъ именно эта сторона поэмы привлекла особое виимание тогдашнихъ критиковъ стараго ваправления: "Зачьмъ допускать, — кричали они — "чтобы плоскія шутки старины вновь появлялись между нами? Чего ждать, когда наши поэты начинають пародировать Киршу Дапилова и пр. Но если въ самой поэмъ этотъ народный матеріалъ и разведенъ другими элементами, то написанный позже, предестный прологъ: "У лукоморья дубъ зеленый", представляетъ уже безпримъсное и мастерское воспроизведение духа и формы народныхъ сказокъ. Замъчательно при этомъ, что образы этого пролога прямо заимствованы у Арпны Родіоновны. Няпя разсказывала: "У моря, у лукоморья, стоить дубъ, и на томъ дубу золотыя цёпи, и по тёмъ цёпямъ ходить котъ: вверхъ идетъ, сказку сказываетъ, внизъ идетъ пъснь поетъ" и т. д. Но какую высшую красоту получили эти образы въ стихотворной обработкъ Пушкина! Что касается "Русалки", то въ этомъ удивительномъ произведении вліяніе народно-поэтическихъ представленій выразилось, главнымъ образомъ, въ участін русалокъ, геніально-прекрасно обрисованныхъ поэтомъ. Взятыя изъ народной миоологін, онъ увлекають насъ здъсь въ какой-то особый таниственный міръ серебряныхъ грезъ и загадочныхъ нездъшнихъ звуковъ... Но въ органической связи съ этимъ разыгрывается самая реальная, страшная трагедія, въ которой тоже, что ни слово, то перлъ творчества въ народномъ духъ и стилъ.

Вотъ двѣ главнѣйшія пьесы, на которыхъ лежитъ сильная печать вліянія народной поэзіи. Этимъ, однако, не ограничилось участіе "завороженной свирѣли" Арины Родіоновны, ея "плѣнительныхъ напѣвовъ" въ поэзіи Пушкина. Оно пдетъ гораздо дальше. Поэта настолько очаровали самыя сказки и пѣсни, которыми дѣлилась съ нимъ старая няня, въ ихъ подлинномъ видѣ, что, какъ только стала сходить съ него банроническая накипь, онъ принимается за обработку этихъ сказокъ, начинаетъ подражать этимъ пѣснямъ. Сюда относятся: "Женихъ", "Сказка о царѣ Салтанѣ", "Сказка о мертвой царицѣ и семи богатыряхъ", "Сказка о золотомъ пѣтушкѣ", "Сказка о рыбакѣ и рыбкѣ" и "Сказка о попѣ и работникѣ его Балдѣ..." Въ этихъ произведеніяхъ не знаешь, чему больше

дивиться; богатству-ли народной фантазіп, поэтичности-ли содержанія, или поразительной выразительности формы, въ которую облекъ эти милые образы Пушкинъ. Мы стоимъ здёсь на какомъ-то неудовимомъ рубежъ двухъ, казалось бы, несогласимыхъ другъ съ другомъ міровъ: простонороднаго, дътски-напвнаго, такъ неотразимо захватывающаго поэта, и міра культурнаго, сложнаго, къ которому онъ принадлежалъ по общему своему духовному развитію. Но здъсь эта граница стирается безъ следовъ: здесь народно-наивное по сущности возвышается до высокохудожественныхъ формъ, и, наоборотъ, культурное міросозерцаніе растворяется безъ остатка въ свъть и теплъ народныхъ простодшуныхъ созерцаній... Что обработка этихъ сказочныхъ мотивовъ не быда для Пушкина простой забавой, шалостью, а увлекала его, какъ болве или менъе сергозная работа, доказывается уже той замъчательной тщательностью, съ которою отделанъ каждый стихъ, каждый образъ, выработанъ каждый эпитетъ, каждое слово, каждый звукъ! Поэту удалось, ничуть не нарушая простоты народнаго разсказа, придать ему высокую красоту.

 Въ синемъ небѣ звѣзды блещуть, Въ синемъ морѣ волны хлещуть; Тучка по небу идеть, Бочка по морю плыветь. Словно горькая вдовица, Плачетъ, бъется въ ней царица, И растеть ребенокъ тамъ, Не по днямъ, а по часамъ. День прошель, царица вопить... А дитя волну торопить: "Ты волна моя, волна! Ты гульлива и вольна; Плещешь ты, куда захочещь, Ты морскіе камни точишь, Топишь берегь ты земли, Подымаешь корабли — Не губи ты нашу душу, Выплесни ты насъ на сушу!" И послушалась волна; Туть же на берегь она Бочку вынесла легонько, И отхлынула тихонько.

Какая картина и какая музыка! Въдь, поэтъ достигаетъ здъсь высочайшаго мастерства — волшебной звуковой живо-

писи. "Ты волна моя, волна! Ты гульдива и вольна!" Смотрите какое туть стеченіе властныхь, текучихь звуковь: "л" и "н"; одно удивительное слово "гульдива" навъваеть на насъ впечатльніе струящейся влаги... А это: "Бочку вынесла дегонько и отхлынула тихонько". Но воть картина въ другомъ родь, безнодобно оживляющая передъ нами. — въ миніатюръ, конечно, — нашу старую Русь:

Воть открыль царевичь очи, Отрясая грезы ночи, И, дивясь передъ собой Видить городъ онъ большой. Стъны съ частыми зубцами, И за бълыми стънами Блещуть маковки церквей И святыхъ монастырей... Мать и сынъ идуть ко граду Лишь ступили за ограду, Оглушительный трезвоиъ Поднялся со всъхъ сторонъ: Къ нимъ народъ навстрѣчу валить, Хоръ церковный Бога хвалитъ. Въ колымагахъ золотыхъ Пышный дворъ встрѣчаетъ ихъ...

Какъ красиво, далъе, постоянно повторяющееся обращение "бълой лебеди" къ царевичу: "Здравствуй, князь ты мой прекрасный! Что ты тихъ, какъ день ненастный?" Или вотъ это описание царевны: "А сама-то величава, выступаетъ будто нава; а какъ ръчь-то говоритъ, словно ръченька журчитъ". Звуковая живопись здъсь опять — прелесть. Приведемъ, наконецъ, изъ другой сказки обращение царевича Елисея къ мъсяцу и вътру:

"Мѣсяцъ, мѣсяцъ, мой дружокъ, Позолоченный рожокъ? Ты встаешь во тьмѣ глубокой, Круглолицый, свѣтлоокій, И, обычай твой любя, Звѣзды смотрятъ на тебя...

"Вѣтеръ, вѣтеръ! ты могучъ, Ты гоняешь стан тучъ, Ты волнуешь сине море, Всюду вѣешь на просторѣ, Не боншься никого. Кромѣ Бога одного"... Какъ напоминають эти изящныя обращения сходное мѣсто изъ изача Ярославны! Тотъ же духъ, та же приблизительно манера, тотъ же задушевный лиризмъ...

Если въ трехъ сказкахъ изъ вышеназванныхъ ияти преобладаеть какой то свътлый лиризмъ и добродушная шутка, то двъ послъднія сказки: "О рыбакъ и рыбкъ" и о "Балдъ" отличаются совершенно особылъ характеромъ и складомъ. Въ особенности своеобразна последняя сказка. Въ ней поэтъ съ изумительной мъткостью схватилъ и передалъ грубоватый, увъсистый, но чрезвычайно сильный и выразительный народный юморъ. Невыразимо-виртуозна форма этого произведенія, вполив гармонирующая съ содержаніемъ. Это склады нашихъ народныхъ пословицъ, поговорокъ, прибаутокъ и сложныхъ по ихъ типу ръчей расшинковъ. Да, Пушкинъ былъ Протей, совствить легко овладъвшій слабою формою, въ особенности народной поэзін. Черновыя тетради его, доказывають, что онъ никакъ не рабски воспроизводилъ разсказы Арины Родіоновны, а пересоздаваль по своему матеріаль, ею доставляемый, извлекая на половину изъ своего духа все богатство этихъ живыхъ красокъ, этой удивительной народной ръчи и пр.

Но этого мало. Въ раземотрънныхъ сказкахъ поэтъ имъя хоть готовый сырой матеріалъ; онъ этимъ не ограничился и далъ нѣсколько блестящихъ попытокъ совершенно самостоятельнаго творчества въ чисто-народномъ духѣ и стилѣ. Сюда относятся нѣсколько пѣсенъ и такъ называемое: "Начало сказки". Вотъ иѣкоторые отрывки изъ послѣдией:

"Какъ вссенней теплой порой Пзъ-подъ утренней бѣлой зорюшки, Что изъ лѣсу, изъ лѣсу дремучаго — Выходила медвѣдиха Съ малыми дѣтушками медвѣжатами, Погулять, посмотрѣть, себя показать".

Показывается вдругъ мужикъ съ рогатиной.

"Медвъжатушки испугалися. За медвъдиху бросалися, А медвъдиха осержалася, Па дыбы подымалася. А мужикъ-отъ, онъ догадливъ былъ: Онъ пускался на медвъдиху, Онъ сажалъ въ нее рогатину, Что повыше пупа, пониже печени"...

Приноминмъ изъ былинъ объ Ильъ Муромцъ: "Втаноры Плья, онъ догадливъ былъ: онъ и кидалъ его выше бании наугольныя, онъ и билъ его о сыру землю" и пр.

"Медвъдиха" убита, и вотъ собираются звъри "къ тому-ли медвъдю ко боярину".

Прибъгали звъри большіе,
Прибъгали туть звъришки меньшіе;
Прибъгаль туть волкь-дворянниь:
У него-то зубы закусливые,
У него-то глаза завистливые,
Приходиль туть бобрь, торговый гость,
У него-то бобра жирный хвость.

Приходила лисица-подъячиха, Нодъячиха, казначенха... Прибъгалъ тутъ зайка-смердъ, Зайка бъдненькій, зайка съренькій! Приходилъ цъловальникъ — ежъ: Все то онъ ежъ ежится, Все то онъ щетинится"...

Воть еще одно, не обработанное вполив, но и въ такомъ видъ прекрасное стихотвореніе:

"Кормомъ, стойлами, надзоромъ, Всъмъ красны боярскія конюшин, Сбруя блещеть на столбахъ дубовыхъ Стойла красны борзыми конями... Лишь однимъ конюшни не пригожи: Домовой повадился въ конюшии, По ночамъ онъ ходитъ по конюшив, Чистить, холить онъ коней болрскихъ, Заплетаетъ гривы имъ въ косички, Туго хвость завязываеть въ узелъ... Какъ не взлюбить коня вороного: На вечерней заръ обойду я конюшию II зайду въ стоило къ вороному,— Конь стоить исправень и смирень; А поутру отопрешь конюшню,-Конь не тихъ, весь въ мылъ, грудью пышеть Съ морды каплетъ кровавая пъна: Во всю ночь домовой на немъ фадить По горамъ, по ражамъ, по болотамъ, Съ полуночи до бълаго свъта..."

Наконецъ, высшей прелести, какой-то умилительной красоты достигаетъ поэтъ въ слъдующей пьесъ: Другь мой милый, красно солнышко мое, Соколь ясный, сизокрылый мой орель, Ужь недьлю не видались мы съ тобой, Ровно семь дней, какъ спозналась съ горемъ я, Миф не взмилились подруженьки мои... Не по нраву, не по мысли миф пришли. Я скиталася по темиымъ лѣсамъ, Въ темномъ лѣсѣ кинареечки поютъ, Миф, дѣвчонкѣ, грусть-разлуку придають. Ты не пой, кинареечка; въ саду, Не давай тоски сердечку моему...

Эти самостоятельныя попытки Пушкина по своей немногочисленности и незаконченности не такъ, можетъ, быть, цѣины,
какъ его сказки, но виртуозность, сила и глубина проникновенія въ духѣ и формы простонародной поэзій, очевидно, не
меньшія, чѣмъ тамъ...

Итакъ Пушкинъ въ своей поэзін высказывалъ глубочайшую духовную связь съ землею и народною массою, сливаясь съ нею порой въ полномъ единствъ вкусовъ и поэтическихъ созерцаній, глядя на міръ ея исконными взглядами, улавливая красоту и благо во всемъ томъ, что она цѣнила, въ чемъ ихъ искала и находила...

Естественно, что при такой любви поэта ко всему народному, его пеотразимо тянуло постоянно "къ родному пепелищу, къ отеческимъ гробамъ", по его же выражению въ одномъ отрывкъ. Но тутъ мы опять сначала обратимся къ Татьянъ. Взгляните вы на эту милую Татьяну въ московскомъ "вихръ свъта", среди разныхъ московскихъ кузинъ, тетушекъ и бабушекъ... Какъ ен здъсь неловко, не по себъ, какъ жалка она среди этой блестящей мишуры, показной суеты, она чистая сердцемъ, скромная деревенская дъвушка... И еще болъе грустный, уже трагически оттъпенный обликъ представляетъ она въ Петербургъ, въ большомъ свътъ, какъ жена важнаго генерала.

Вырвали съ корнемъ изъ родимой почвы кръпкое, полное жизпенныхъ соковъ, растеніе, и пересадили въ тепличный горшокъ, въ роскошную обстановку; по томится и блекнетъ опо въ своемъ искусственномъ прозябаніи, безъ воздушнаго простора, безъ необъятной шири полей и лъсовъ .. Поддерживають въ ней огонь высокой святой человъчности только тлъющіе подъ наноснымъ пепломъ угольки дорогого прошлаго,

согръвая незримо для посторонияго взора ея хододьющую жизнь, остывающее сердце... "А миж, Опътинъ, пышность эта — постыдной жизии мишура, мои успъхи въ вихръ свъта, мой модный домъ и вечера — что въ нихъ? Сейчасъ отдать я рада всю эту ветошь маскарада, весь этотъ блескъ, и шумъ и чадъ за полку книгъ, за дикій садъ, за наше бъдное жилище, за тъ мъста, гдъ въ первый разъ. Опътинъ, видъла я васъ, да за смиренное кладбище, гдъ ныиче крестъ и тънь вътвей надъ бъдной нянею моей"...

Этими дивно-проникновенными словами озаряется передъ нами вмъстъ съ тъмъ цълая область въ духовномъ міръ Пушкина. Это говоритъ не Татьяна, это поетъ душа поэта, это ея чудная исповъдь... Судите сами. Въ томъ же ромапъ, доканчивая шестую главу, поэтъ, прощаясь со своимъ житьемъбытьемъ въ Михайловскомъ, говоритъ: "Дай оглянусь. Простите жъ съни, гдъ дни мои текли въ глуши, исполнены страстей и лъни, и сновъ задумчивой души. А ты, младое вдохновенье, волнуй мое воображенье, дремоту сердца оживляй, въ мой уголъ чаще прилетай, не дай остыть душт поэта, ожесточиться, очерствъть, и наконецъ, окаменъть въ мертвящемъ упоеньи свъта, среди бездушныхъ гордецовъ, среди блистательныхъ глупцовъ. среди лукавыхъ, малодушныхъ, шальныхъ балованныхъ дътей, злодфевъ и смфшныхъ, и скучныхъ, тупыхъ, привязчивыхъ судей, среди кокетокъ богомольныхъ, среди холопей добровольныхъ, среди вседневныхъ модныхъ сценъ, учтивыхъ, ласковыхъ измѣнъ, среди холодныхъ приговоровъ жестокосердной суеты, среди досадной пустоты расчетовъ, думъ и разговоровъ, — въ семъ омутъ, гдъ съ вами я купаюсь, милые друзья!"

Если къ этой — по истинъ геніальной характеристикъ большого свъта, соединенной съ теплымъ обращеніемъ къ деревенской глупін, прибавить еще приведенную уже мною выше
характеристику московскаго столичнаго общества, и хоть слѣдующее заявленіе поэта: "Я былъ рожденъ для жизни мирной,
для деревенской тищины; въ глуши звучнъе голосъ мирный,
живъе творческіе сны", — то не достаточно ли этого уже для
подтвержденія сказавнаго?... Конечно, достаточно; но я хотълъ бы выйти изъ заколдованнаго круга великаго романа
Пушкина, — этого, такъ сказать, первнаго центра всей его
поэзін, и коснуться периферін, поискать и тамъ слъдовъ его

глубокон привязанности къ деревиъ. Заглянемъ въ два крайніе періоды его жизни.

Воть передъ нами лицейское стихотвореніе "Сонъ". Немножко болтливое и растянутое, безъ должной художественной мъры, но тъмъ не менъе заключаетъ въ себъ нъсколько красивыхъ картинокъ, въ которыхъ высказывается полное предпочтеніе деревенскихъ условій жизни городскимъ. Юный поэтъ, полушутя, налегаетъ на то, что только въ деревиъ, при здоровомъ образъ жизни и такомъ же душевномъ состояни возможенъ добрый, кръпительный, здоровый сонъ. Такое же сопоставленіе изысканно-искусственнаго и бездушнаго городского быта съ прямодушною, искреннею и простою жизнью сельскою паходимъ въ одномъ изъ самыхъ последнихъ стихотвореній поэта: "Когда за городомъ задумчивъ я брожу"... Поэть говорить о впечатленіяхь, испытываемыхь имь на городскомь и деревенскомъ кладбищъ. Вся ложь и искусственность перваго наводить на него такія смутныя мысли, что на него находить "злое уныніе": "хоть плюнуть да бъжать". "Но" — продолжаетъ онъ далве:

Осеннею порой, въ вечерней тишинѣ
Вь деревнѣ посѣщать кладбище родовое,
Гдѣ дремлють мертвые въ торжественномъ нокоѣ:
Тамь неукрашеннымь могиламъ есть просторъ!
Къ нимъ ночью темною не лѣзетъ блѣдный воръ;
Близъ камией вѣковыхъ покрытыхъ желтымь мохомъ,
Проходить селянинъ съ молитвою и вздохомъ;
На мъсто праздныхъ уриъ и мелкихъ нирамидъ,
Безсонныхъ геніевъ, растрепанныхъ харитъ,
Стоитъ широкій дубъ надъ важными гробами,
Колеблясь и шумя"...

Наконецъ, вотъ послъдній предсмертный звукъ всего творчества поэта, тягостно и жутко замирающее фермато его поэзін, — обращеніе къ женъ: "Пора, мой другъ, пора! Покоя сердце проситъ! Летятъ за днями дни, и каждый день упоситъ частицу бытія, а мы съ тобой вдвоемъ располагаемъ жить. И глядь — все прахъ: умремъ! На свътъ счастья нътъ, а есть покой и воля. Давно завидная мечтается миъ доля, давно усталый рабъ, замыслилъ я побътъ въ обитель дальнюю трудовъ и чистыхъ пътъ"...

Но, нашь Пушкинъ такъ и не попалъ въ эту обитель покоя,

переселися вскоръ въ иную, въчную обитель немеркнущаго свъта. "нужке ибеть печали, ни воздыханія, по жизнь безконечная"... Да, онъ не умеръ, безконечная жизнь суждена ему и здъсь, на земль, въ сердцахъ емъняющихся покольніи.... Есть, можеть быть, въ міръ поэты сильнъе Нушкина, но нътъ поэта болье задушевнаго, чъмъ онъ—да, пътъ!

Въ этой обворожительной задушевности — залогъ его безсмертія; а въдь она есть не что иное, какъ проникающее всю его поэзно тепло и свътъ всенародной психіи. Въ глубовихъ, педоступныхъ глазу, пфдрахъ народной жизни зародились кории его творчества, питались его соками, и дали міру пышный нвыгокъ. Мы пьемъ его ароматъ, любуемся его красками, и что-то радостное и доброе, благое и кроткое тихимъ ангеломъ сходитъ въ наше сердце... Нътъ ему, этому милому и хорошему, ни имени ни образа, не взвъсить его никому и не смфрить, и, несмотря на это, оно есть сила, - крупная сила, съ которой недьзя не считаться. Развъ можно вычислить и опредълить вліяніе красоты теплаго весеннаго вечера гдъпибудь на лопъ русской природы, когда каждый звукъ стоитъ въ чуткомъ прозрачномъ воздухъ, - невъдомо откуда доносятся и звоикіе людскіе голоса, и мелодическіе всплески ближней ръки, и замирающее, полное пъги, щебетание пташекъ сосвдняго лъска... Грудь переполняется ликующею радостью, трепетомъ живой близости Божества, и сердце истекаетъ всеобъемлющею любовью: такъ бы и обнялъ весь этотъ Божій міръ, такъ бы и прижаль его къ своей пылающей груди! Таково же дъйствіе поэзін Пушкина. Сладостныя струн его задушевныхъ пъсенъ, вливаясь въ нашу душу, размягчаютъ ее и напояють ее высокимь благоволеніемь ко всему живому до последней травки-былинки. Многіе говорять: не нужно намъ цвътовъ — они лишь для эгонстическаго самоуслажденія, а јавайте намъ лъкарственныя травы, питательные злаки, чтобы мы могли пособить ближинмъ. Но это полное недомыеліе: порывъ чувства, поднимающій нашу руку на доброе дёло, внушенъ тою же въчною красотою — красотою подвига. Итакъ благо поэту! Пусть упосять насъ эфирныя волны его "призраковъ жизни неземной", его "словъ поэзіи святой" въ царство благостной красоты, ибо

> "..., все та же единая Сила насъ манитъ къ себъ неизвъстная,

Та же плъняеть насъ пъснь соловыная, Тъ же насъ радують звъзды небесныя!"

Слава же нашему Пушкину! Въчная слава ему, пъвцу красоты, радости и любви!

Н. Петровъ.

Лирическія произведенія Пушкина, какъ наилучшій показатель его духовной мощи.

Вся сила, все богатство поэта развивается въ полнотъ мелкихъ, преимущественно лирическихъ стихотворении. Здъсь Пушкинъ является полнымъ властелиномъ въ необозримомъ могуществъ; здъсь сверкаютъ самыя яркія искры того пламени, который горфлъ въ сокровенныхъ тайникахъ его души. Съ перваго взгляда ясно, что всъ воплощаемыя имъ ощущенія были прожиты имъ, что опи или выраженіе переворотовъ судьбы, или страданіе и грусть мужественнаго сердца, или бодрость и надежда сильной души. Въ въяніи этихъ ощущеній дышить самъ поэть, дышать его соотечественники, его современники; онъ отыскиваетъ въ ихъ груди самыя сопровенныя струны, пастранваеть эти струны и ударяеть по нимъ. Водненія, которыя темно и бользненно движутся и борются внутри, освобождаются очарованіемъ его выраженія п выпархивають на свъть, радостныя и сіяющія. Какъ глубоко, какъ могущественно вскрылъ Пушкинъ въ своихъ пѣсняхъ сердце своего народа, — видно изъ того, что эти пъсни проникли всюду въ Россіи, что онъ перелетають тамъ изъ устъ въ уста и вездъ возбуждають восторгъ и вдохновеніе. Мало того, что онъ вполнъ удовлетворяютъ лирическому чувству народа, онъ еще возвышають его требованія и умножають его богатство поэтическимъ сокровищемъ; неистощимо это сокровище: расточая его, не уменьшишь, а увеличишь его богатство.

Прежде всего замътимъ разнообразіе, въ которомъ обнаруживается здъсь творческая сила поэта. Отъ буйнаго, вакхическаго диопрамба, отъ возвышенной оды и унылой элегін до самаго простого наиъва, отъ дружескаго посланія до язвительной эпиграммы, отъ пророческаго, восточнаго символа до пъсни, посвященной минутъ и случаю, — здъсь собраны всъ формы. Легко, свободно бъгутъ стихи и риомы, никакъ не вы-

ступая, однакожъ, изъ строгихъ предъловъ строфы; ямбы и дактили чередуются съ трохеями; вмъстъ съ граціозными, легкими формами пъсни тъснятся стройные стансы, ловкіе сонеты и тяжелые на подъемъ ряды александринъ. Содержаніе не менъе разнообразно. Слава творенія, величіе Россіи, обманы жизни, страданіе отреченія и отчаянія и потомъ снова утъшеніе въ дружов и въ искусствъ, свобода мысли и упоеніе насмъщки, — всъ эти внутреннія движенія и чувствованія просвътляются въ груди поэта и становятся отрадными, примирительными образами.

Великое созерцаніе природы лежить въ основаніи встхъ его стихотвореній, оно просвичиваеть сквозь переливы ощущеній и даетъ имъ тонъ и выраженіе. Въ дивно прекрасныхъ строфахъ "Къ морю" какъ будто воздымается во всемъ своемъ великольній эта свободная стихія, съ которою такъ тысно связаны вдохновенія и грусть души, порывающейся вдаль. Онъ намекаетъ на гробницу Паполеона и на пъсню Байрона, котораго образъ мощно очерченъ въ образѣ моря, и наполняють душу грустью самого поэта, отрывающагося отъ любимаго имъ берега. Жалобы, исторгаемыя изъ души поэта разлукою и одиночествомъ, воспоминанія объ обольщеніяхъ и утратахъ жизни, — все это гармонически перемъщано съ образами природы; у него равно художественны: и листъ запоздалый на въткъ, и одинокій звукъ, раздавшійся въ зимнюю ночь, и опоясанный облаками Кавказъ, и зеленое море степей.

Безпрерывно испытывая въ своей собственной жизни всъ горести и страданія человъческаго жребія, онъ умѣетъ также переноситься въ положеніе другого, совершенно забывать себя въ немъ и сочувствовать его участи; и нигдѣ это сочувствіе не выражалось съ такою силою, въ такой истинѣ, какъ въ элегіи Пушкина на умиляющую смерть Андрея Шенье. Пѣсни, посвященныя друзьямъ, исполнены вѣжной, искренней сердечности, теплыхъ воспоминаній и бодраго упованія; вообще дружба является у него на первомъ планѣ и въ мощныхъ чертахъ; самая любовь уступаетъ ей, по крайней мѣрѣ, но живости выраженій. Пушкинъ, кажется, охотнѣе выражаетъ сцены страсти въ своихъ поэмахъ, нежели въ лирическихъ формахъ. Въ несравненной пѣснѣ "Талисманъ" ревность потеряла всю свою жестокость въ очаровательномъ благозву-

чін, передивающемся въ этихъ музыкальныхъ строфахъ, могущихъ выдержать всякое состязаніе съ звуками языковь южныхъ. Не борьба и не сграданія любви, а ужъ полное удовлетвореніе и блаженство любви выговорено поэтомъ въ его дивномъ сонетъ "Мадонна", гдъ онъ сознаетъ, что осуществилось все, къ чему порывалась душа его, что опъ владветь темъ, что было единственнымъ его желаніемъ. Свътлое согнаніе блаженства, даннаго ему супругою, темъ трогательные, что несчастныя враждебныя событія возмутили впоследствін это чистое счастіе. Но поэть въ своихъ отношеніяхъ къ людямъ, къ свъту, не могъ предохранить себя отъ внутрениен дистармонін, — и эта дистармонія порывается у него въ ръзкон, въ горькой насмъшкъ, въ гиъвъ и гордости. Въ сонеть, въ которомъ онъ обращается къ самому себъ, "Сонеть къ поэту", выражена вся свобода самостоятельнаго духа, все величіе его, вся сила его смълаго презрънія. "Презри толиу!" восклицаетъ онъ: "ты царь — живи одинъ; ты художникъ будь доволенъ въ самомъ себъ и самимъ собою, и если ты доволень, то пусть люди поносять тебя, пусть опи забудуть тебя". Что это чувство было истиннымъ, было всегданнимъ чувствомъ Пушкина, въ этомъ свидътельствуетъ множество другихъ мъстъ въ его произведеніяхъ и цълая жизнь его, бывшая всегда выраженіемъ души мужественной, души свободнов. пепреклонной.

Его воззрънія на политическія современныя дъла исполнены величія и благородства, всеобъемлющей дальновидности, зрылаго сознанія, кроткой теплоты при мысли объ общемъ благь, высокой любви къ родинъ. Ни одинъ поэтъ въ міръ не воспъль такъ достоино смерть Наполеона, какъ Пушкинъ; ни одно стихотвореніе на эту тему не можеть равняться съ Пушкинскимъ въ выспренности и богатствъ содержанія. Онъ изображаетъ въ геніальныхъ чертахъ все величіе павшаго героя и, объявляя его тираномъ, не понявшимъ свободы и народовъ, не постигшимъ русскихъ, онъ возбраняетъ всякій укоръ противъ того, кто такъ ведичественно искупилъ свои заблужденія; въ заключение поэтъ призываетъ славу на главу того, кто вызваль русскій народь къ высшему развитію, кто изъ мрака есылки завыцаль міру въчную свободу. Еще замычательные два другія стихотворенія Пушкина, принадлежащія ко времени польской войны. Поэтъ подчинетъ въ этихъ стихотворенияхъ

вопросъ о сомнительной во всякомъ случать свободъ отдъльнаго племени другому высшему вопросу — объ общемъ навначеній славянскихъ народовъ. Здъсь опъ весь русскій, пламенфюнін за свое отечество, торжествующій побъду, требующін покорности, но не въ позоръ и рабство, а въ осуществленіе закона высшей власти, для общей славы и процвътанія. Всенегодование его падаеть на чужеземныхъ клеветинковъ и вратовъ Россін, для которыхъ непонятенъ и чуждъ этотъ споръ славянъ между собою; онъ зоветъ ихъ снова на знакомыя имъ сивжныя равнины, онъ объщаетъ, что есть еще и для нихъ мьсто среди гробовъ, имъ не чуждыхъ. Поэтъ всегда принадлежить своей родинь, и когда его соотечественники быются и проливають свою кровь, онъ имбеть полное право желать имъ побъды и славы; онъ расточаетъ все богатство своей силы представившемуся ему мгновенію, даетъ ему столько, сколько оно можетъ принять; даже и то, что не можетъ быть принято этимъ мгновеніемъ, что выпадаетъ изъ него, столько же служить къ изображению истины, сколько и то, что дъйствительно относится къ нему. Но, отбросивъ въ сторону всв эти разсужденія, мы должны сказать объ упомянутыхъ нами стихотвореніяхъ, что они, разсматриваемыя съ художественной гочки зрвнія, принадлежать къ самымь лучшимь стихотвореніямъ Пушкина. Они стремятся въ порывахъ высокой страсти, въ огненномъ выраженін, въ величавыхъ, иногда дикихъ. иногда странныхъ образахъ, и неодолимо увлекаютъ съ собою участіе и душу читателя. Третья, замыкающая этотъ рядъ, пфеня, "Пиръ Петра Великаго", должна покорить всф сердца поэту, который здёсь съ мыслью высокой, столько же русской, сколько и общечеловъческой, воплощаетъ въ могущественнъйшихъ, въ трогательнъйшихъ образахъ, торжественный актъ прощенія и примиренія, и разсыпаетъ эти образы въ формахъ быстрой, милой, веселой пъсши. Никогда еще такое духовное благородство и величіе не соединялись такъ счастливо съ высокимъ даромъ музъ, какъ въ этой пъсиъ. Эта пъсня можетъ служить ручательствомъ, что русская поэзія можеть смёло поставить себя на ряду со всякою другою поэзіею, достигшею до высочайшей степени развитія.

Варшагенъ фон-Энзе.

Вліяніе Лицея на творчество Пушкина.

Въ исторіи литературы едва ли найдется примірь болье сильнаго воспитательнаго вліянія, чімь то, которое оказаль Лицей на Пушкина, и которое болье или менье высказывается во всі періоды его творчества. Произведенія Пушкина иміють автобіографическое значеніе. По нимь можно прослідить развитіе умственной жизни поэта; въ нихъ чувствуется связь внішнихъ впечатлівній съ его внутреннимь міромь; на нихъ, какъ въ зеркаль, отражаются вліянія, которымь онъ подчинялся. Эта особенность, то ослабівая, то возвращаясь съ новой силой, проходить чрезъ всю діятельность Пушкина, и многія изъ его лучшихъ произведеній, даже послідняго времени, озарены, по его выраженію,

Лучомъ лицейскихъ ясныхъ дней. (Посл. Пущину 1826 г.)

Событія лицейской жизни, начиная съ того дня, когда онъ 12-льтнимъ мальчикомъ поступплъ въ Лицей, уже даютъ ему образы для высокохудожественныхъ произведеній. Вотъ какъ, по прошествін 25 льтъ, въ послъдней "Лицейской годовщинъ" 1836 г. Пушкинъ вспоминаетъ объ открытіи Лицея:

Вы помните: когда возникъ лицей, Какъ царь открылъ для насъ чертогъ царицынъ— И мы пришли, и встрътилъ насъ Куницынъ Привътствіемъ межъ царственныхъ гостей. (19 октября 1836 г.)

Куницынъ, о которомъ упоминаетъ Пушкинъ, былъ однимъ изъ талантливъйнихъ и образованнъйшихъ преподавателей своего времени и занималъ въ Лицеъ съ 1811 по 1816 г. канедру логики и правственной философіи. Привътствіе, сказанное Куницынымъ при открытіи Лицея, было "Наставленіе воспитанникамъ о цъли и о пользъ ихъ воспитанія". Ръчь эта
произвела впечатлъніе, и Пушкинъ неоднократно вспоминаетъ
о Куницынъ, имъвшемъ на него правственное вліяніе:

Куницыну дань сердца и вина! ()нъ создалъ насъ, онъ воспиталъ нашъ пламень... Поставленъ имъ краеугольный камень, Имъ чистая лампада возжена...

(19 октября 1825 г.)

Эти четыре стиха, конечно, больше чъмъ всъ сочиненія Куницына сохранять имя его отъ забвенія.

Послъ Куницына выдающееся значение по своему вліянію имълъ Кошанскій, уже пользовавшійся ифкоторою извъстностью въ литературъ, и преподававний русскую и латинскую словесность и неизбъжную въ то время реторику. Къ счастью для Лицея, при самомъ его учрежденін, уже въяло въ обществь новою жизнью, и профессорамъ предписывалось "избъгать пустыхъ школьныхъ упражненій, и, переходя отъ простого повъствованія къ слогу ораторскому и возвышенному, не ускорять симъ последнимъ, дабы не дать детямъ ложнаго и напыщеннаго вкуса, а показать имъ только сей последній родъ издалека и мимоходомъ". Разумъется, нельзя было ожидать, чтобы Кошанскій отказался отъ убъжденій, но онъ не могь не чувствовать, что они уже были анахронизмомъ для молодого поколънія, и покорядся духу времени. Лекцін его походили на беседы, вследствіе чего установилось сближеніе между профессоромъ и воспитанниками; но тъмъ не менъе Кошанскій оставался представителемь напыщеннаго классицизма, надъ которымъ тогдашніе лиценсты уже не мало подсмънвались.

Къ небольшему числу преподавателей, имъвшихъ вліяніе на Пушкина, слъдуетъ отнести и Галича, автора "Исторіи философскихъ системъ", который одинъ изъ первыхъ содъйствоваль распространенію у нась философскаго образованія и подвергся въ 1824 г. жестокимъ преследованіямъ со стороны Магницкаго и Рунича. Галичъ, назначенный въ помощь Кошанскому, котораго отвлекало управленіе Лицеемъ по смерти перваго директора Малиновскаго, занимался съ воспитанниками съ мая 1814 по іюнь 1815 г. Хотя Галичъ только промелькнуль въ Лицев, но имя его въ этотъ короткій періодъ безпрестанно встръчается у Пушкина. Въ стихотвореніи "Пирующіе студенты", автографъ котораго находится въ Лицев и которое, въ видахъ благонравія, переименовалось въ печати въ "Ппрующіе друзья", Пушкинъ върно изобразилъ Галича, котораго называеть апостоломь нёги и прохладь и младшимъ братомъ Эпикура. Галичъ былъ предобрый и презабавный чудакъ и обращался съ воспитанниками какъ съ друзьями. Онъ занимался съ ними всъмъ, исключая своихъ предметовъ, читаль театрь Коцебу, выслушиваль стихи и только, въ ожиданін посвіценія начульства, изръдка заглядывая на лекцін, принимался за Корнелія Непота или Цицерона, приговаривая: "потреплемъ старика". Далекін отголосокъ этого выраженія находимъ въ концѣ 2-й главы "Евгенія Онѣгина":

О ты, чья память сохранить Мон летучія творенья, Чья благосклонная рука Потреплеть лавры старика!

Вспоминаніями того же времени начинается 8-я глава "Евгенія Онъгина":

Въ тѣ дни когда въ садахъ лицея Я безмятежно расцвѣталъ. Читалъ охотно Апулея, А Цицерона не читалъ ..

Вліяніе названных трехъ лицъ хотя имѣло значительную долю въ литературномъ развитіи Пушкина, но ограничивалось Лицеемъ, и притомъ не было преобладающимъ. Песравненно большее вліяніе на развитіе творчества духа Пушкина имѣла совокупность тѣхъ необыкновенныхъ благопріятныхъ обстоятельствъ и случайностей, которыя, по волѣ судьбы, окружали его и въ которыхъ Лицею принадлежитъ первенствующая роль. Необыкновенная торжественность открытія Лицея, военныя событія и названным ими небывалый еще подъемъ народнаго духа, — вотъ первыя слубокія внечатлѣнія, отразившіяся на творчествѣ Пушкина:

Вы помните: текла за ратью рать Со старшими мы братьями прощались, II въ сънь наукъ съ досадой возвращались, Завидуя тому, кто умирать IIIелъ мимо насъ.

(19 октября 1836 г.)

Ни въ одной литературъ пичего нътъ равносильнаго по искренности и глубинъ патріотическаго чувства и по художественности его выраженія. Зависть, о которой говорить Иушкинь, одушевляла все тогдашнее юношество, и великій поэть, по прошествіи четверти въка, является выразителемъ патріотическаго порыва, еще никогда не воплощавшагося въ такія высокохудожественныя формы. Къ этому же циклу поэтическаго творчества относятся: "Воспоминанія въ Царскомъ Селъ" 1815 г., "Воспоминанія въ Царскомъ Селъ

1829 г.", "Къ тъни полководца", "Клеветникамъ Россіи" и "Бородинская годовщина". Въ послъдней даже чувствуется еще вліяніе, хотя уже весьма отдаленное, Державинской оды "На взятіе Варшавы" (1794 г.). Всъ эти пять одъ имъютъ внутренною связь, проникнуты однимъ настроеніемъ, въ нихъ звучатъ тъ же натріотическія струны, которыхъ еще въ Лицев заслушивались Державинъ, Дмитріевъ и Жуковскій. Но какъ далеко отъ нихъ шагнулъ Пушкинъ, и какая пензмъримая разница между нимъ и всъми его предшественниками и въ достоинствъ языка и въ красотъ выраженія!

Царское Село съ своими историческими воспоминаніями. величественными садами и памятниками военной славы, гдъ

. . . каждый шагь въ душѣ рождаетъ Воспоминанье прежнихъ лѣтъ (Воспом. въ Ц. С. 1815 г.),

неоднократно вдохновляла Пушкина. Его оба воспоминанія въ Царскомъ Сель, котя отдаленныя одно отъ другого на 14 льтъ вызваны тыми же впечатльніями, писаны одинаковымъ размыромъ и служатъ какъ бы дополненіемъ другъ къ другу. Но второе носитъ болье личный характеръ и выражаетъ душевное настроеніе поэта по возвращеніи послы торое онъ называль "отечествомъ".

Къ числу причинъ, благопріятствовавшихъ развитію Пушкина, слъдуеть отнести отличительную черту лицейскаго восинтанія. Подъ руководствомъ Кошанскаго и при содъйствін ивкоторыхъ воспитателей, образовались бесвды, на которыхъ каждый изъ воспитанниковъ обязанъ былъ разсказать что пибудь. Такимъ образомъ является разсказъ за разсказомъ. въ которомъ подробности вводились и развивались и сколькими лицами, и въ короткое время образовался запасъ разсказовъ и анекдотовъ, которые потомъ записывались, читались въ дружескомъ кругу, переходили изъ рукъ въ руки. и послужили матеріаломъ для лицейскихъ журналовъ, изъ которыхъ первый, подъ названіемъ "Вфетникъ", явился уже въ декабръ 1811 г. На этихъ бесъдахъ, бывшихъ литературною школою и первымъ поприщемъ Пушкина, онъ разсказалъ въ главныхъ чертахъ двѣ повѣсти, которыя обработаль впоследствін, и напечаталь подъ заглавіями "Выстрель"

и "Метель". Такимъ образомъ оба эти произведенія, напечатанныя въ 1830 г., въ числѣ "Повѣстей Бѣлкина", обязаны своимъ происхожденіемъ Лицею. Нѣтъ сомиѣнія, что эта литературная школа наиболѣе содѣйствовала самообразованію воспитанниковъ, развила ихъ вкусъ и воображеніе и приближала къ главнымъ условіямъ художественнаго творчества, реальности содержанія и изящества формы.

Напболъе ръшительное вліяніе на стремленіе Пушкина имълъ тотъ литературный кругъ, въ которомъ онъ обращался съ дътства, и который еще расширился въ Лицев. Одновременно съ Пушкинымъ поступило туда семеро воспитанниковъ Московскаго университетскаго пансіона, уже давно отличавшагося литературнымъ направленіемъ. Труды его восинтанниковъ печатались въ сборинкахъ, и между цансіонерами существовало литературное общество, имъвшее уставъ. Это же направленіе, при содъйствін Кошанскаго, который самъ кончилъ курсъ въ Московскомъ университетъ и преподавалъ его въ пансіонъ, было перенесено въ Лицей, и попавъ на готовую почву, получило дальнъйшее развитіе. Пушкинъ еще въ Москвъ, въ домахъ отца и дяди, извъстнаго поэта Василія Львовича, имъль случай встръчаться со многими писателями. Одинъ изъ нихъ А. И. Тургеневъ, пріятель отца. особенно содъйствоваль опредъленію Пушкина въ Лицен, самъ привезъ его изъ Москвы, и принималъ горячее участіе въ его литературныхъ опытахъ и первыхъ успѣхахъ. Тургеневу же суждено было потомъ навсегда увезти Пушкина изъ Петербурга. Литературныя связи расширялись по мъръ успъховъ, и еще въ Лицев Пушкинъ познакомился съ Державинымъ, Дмитріевымъ, Нелединскимъ-Мелецкимъ, Карамзинымъ, Батюшковымъ, Жуковскимъ, который подарилъ ему свои стихотворенія, и княземъ Вяземскимъ, съ которымъ съ 1816 г. вступилъ въ дружескую переписку, не прерывавшуюся до конца жизни.

Говоря о кружкахъ, оставившихъ вдіяніе на Пушкина, нельзя не упомянуть объ офицерахъ лейбъ-гусарскаго полка, стоявшаго въ Царскомъ Селѣ. Лиценсты встрѣчались съ ними въ семейныхъ домахъ и особенно въ манежѣ, посѣщеніе котораго было обязательно для воспитанниковъ, готовившихся въ военную службу. Между офицерами были люди съ европейскимъ образованіемъ и любившіе литературу. Съ нѣкото-

рыми изъ нихъ еще въ Лицев установилась дружба, основаниая на общихъ умственныхъ интересахъ и продолжавшаяся всю жизнь. Ярче другихъ въ этомъ кружкѣ выдълялся Чаадаевъ, одипъ изъ образованиѣйшихъ людей своего времени, котораго Грибоѣдовъ изобразилъ въ Чацкомъ. Изъ другихъ офицеровъ, съ которыми подружился Пушкинъ, назовемъ бывшаго гёттингенскаго студента Каверина и Зубова, имена которыхъ неоднократно встрѣчаются у Пушкина. Обоимъ онъ написалъ въ альбомы при выпускѣ изъ Лицея, а о Каверинѣ вспоминаетъ въ 1-ой главѣ "Евгенія Онѣгина". Гусарскіе же офицеры являются дѣйствующими лицами въ уномянутыхъ двухъ новѣстяхъ "Выстрѣлъ" и "Метель".

Наибольшее вліяніе на творчество Пушкина имълъ Батюшковъ. Вліяніе это, уже замѣтное въ 1814 г., продолжалось за порогомъ Лицея, и чувствовалось даже въ лучшую пору творчества Пушкина. Въ Батюшковъ его увлекали и содержаніе, заимствованное у любимыхъ ими обоими французскихъ эротическихъ поэтовъ, особенно Парии и необыкиовенныя для того времени изящество формы и музыкальность стиха, въ которыхъ Батюшковъ не имфлъ тогда соперииковъ. Изъ лицейскихъ стихотвореній въ подражаніе ему написаны посланія: "Къ сестръ", "Къ другу-стихотворцу", "Къ Батюшкову", "Пирующіе студенты", "Городокъ", "Воспоминаніе" и нъкоторыя другія. Въ произведеніяхъ позднъйшаго періода уже гораздо меньше подражаній Батюшкову, но вліяніе его чувствуется еще во многихъ, преимущественно антологическихъ стихотвореніяхъ: "Дорида", "Нереида" (1820 г.). Это послъднее стихотвореніе, по признанію самого Пушкина, напоминаетъ Батюшкова. Оно вписано въ альбомъ Пванчину-Писареву, и на вопросъ его Пушкину, почему онъ выбрадъ именно это, а не другое стихотвореніе, Пушкинъ отвъчаль: "Я люблю его, оно отзывается стихами Батюшкова". Последній следь его вліянія находимь въ 1833 году. въ одномъ изъ самыхъ зрълыхъ произведеній Пушкина, "Мъдномъ Всадникъ". Мысли и даже иткоторыя выраженія въ этой высоко художественной поэмъ заимствованы изъ описанія Батюшкова "Прогулка въ Академію художествъ", которое Пушкинъ зналъ еще въ Лицев.

Гаевскій.

Лицейскія стихотворенія Пушкина.

Желая указать на поэтическую дъятельность Пушкина въ Анцеф, не можемъ отказать себф въ удовольствій напомнить читателямъ тф илфинтельныя выраженія, въ которыхъ самъ онъ говорить о ней:

Въ тѣ дни, когда въ садахъ лицея
Я безмятежно расцвѣталь,
Читалъ охотно Апулея,
А Цицерона пе читалъ,
Въ тѣ дни, въ таинственныхъ долинахъ,
Весной, при кликахъ лебединыхъ,
Близъ водъ, сіявшихъ въ тишинѣ,
Являться муза стала мнѣ.
Моя студенческая келья
Вдругъ озарилась: муза въ ней,
Открыла пиръ младыхъ затѣй,
Воспѣла дѣтскія веселья,
И славу пашей старины,
И сердца трепетные сны.

Въ 1820 г. въ Кишиневъ писалъ онъ:

Богини мира, вновь явились музы мить И независимымъ досугамъ улыбнулись; Цтвницы брошенной уста мои коснулись; Старинный звукъ меня обрадовалъ—и вновь Пою мои мечты, природу и любовь, И дружбу втрную, и милые предметы, Плтнявшіе меня въ младенческіе лты, Въ тт дин, когда, еще незнаемый никты, Не зная ни заботъ, ни цтли, ни системъ, Я птньемъ оглашалъ пріютъ забавъ и лты И царскосельскія хранительныя сти.

Или обращаясь къ музъ своей:

Младенчество прошло, какъ легкій сонъ... Ты отрока безпечнаго любила. Средь важныхъ музъ тебя лишь помнилъ онъ, И ты его тихонько посѣтила.

Въ одномъ изъ уцълвнихъ отрывковъ его записокъ читаемъ: "и началъ писать съ 13-лътияго возраста". Такое раниее начало отчасти становится для насъ понятнымъ, когда мы вспомнимъ, что Пушкинъ, по свидътельству брата своего, будучи ребенкомъ, проводилъ безсоиныя ночи въ кабинетъ.

огца и тайкомъ пожиралъ книги одну за другон, что опъ необыкновенно рано началъ развивать свои способности и рано усвоилъ себъ извъстный запасъ свъдъній.

Какъ въ Московскомъ университетскомъ пансіонѣ около Куковскаго образовалось дружеское литературное общество, такъ и въ Лицеѣ любовь къ стихотворству,

Охота смертная на риомахъ лепетать,

собирала около Пушкипа талантливыхъ отроковъ. По направленіе и судьба этихъ дътскихъ литературныхъ обществъ были различны. Въ Московскомъ пансіонъ собранія молодыхъ любителен словесности, подъ предсъдательствомъ Антонскаго и другихъ наставниковъ, наслъдственно продолжались въ теченіе многихъ лѣтъ. Въ Лицев они скоро были остановлены затвмъ, что стихи мъщали лиценстамъ учиться. Литературный лицейскій кружокъ образовался очень рано, едва ли не тотчасъ по открытін Лицея. Главное участіе и первенство, конечно, принадлежали Иушкину. Другими участниками были: Дельвигь, Илличевскій, Корсаковъ, князь А. М. Горчаковъ, баронъ М. А. Корфъ, С. Г. Ломоносовъ, Д. Н. Масловъ, Н. Г. Ржевскій, В. К. К — ръ, М. Л. Яковлевъ. Вмъстъ съ ибкоторыми другими товарищами они вздумали издавать журналы, т.-е. собирать свои произведенія, переписывать, разрисовывать, переплетать и прочее. Одинъ журналъ: Лии искій Мудрецъ, остался во Флоренціи вмъстъ съ бумагами умершаго тамъ Николая Корсакова; остальные три: Для удовольствія и пользы, Неопытное перо и Пловець, въ 1525 году были отданы брату одного изълиценстовъ и недоступны любонытству біографа.

По преданію, за достовърность котораго нельзя, впрочемъ, ручаться, почти первые русскіе стихи Пушкинъ написаль къ лучшему другу своего дѣтства, къ сестрѣ. Стихи эти доселѣ ходять въ рукописп. Надо замѣтить, что родители Пушкина, помѣстивъ младшаго сына въ паисіоиѣ Гауэншильда, переселились на житье въ Петербургъ. Пушкинъ, во все пребываніе свое въ Лицеѣ, кажется, ни разу не ѣздилъ въ Москву. Выше-упомянутые стихи къ сестрѣ писаны изъ Лицея въ Петербургъ. Они начинаются такъ:

Ты хочешь, другь безцінный, Чтобъ я, поэть младой,

Бесѣдоваль съ тобой, И съ лирою забвенной...

Далъе поэтъ переносится мечтою изъ уединенія своего подъ отчій кровъ.

Тайкомъ взошедъ въ дивану, Хоть помощью пера, О, какъ тебя застану, Любезная сестра! Чъмъ сердце занимаещь Вечернею порой? Жанъ-Жака ли читаешь? Жанлисъ ли предъ тобой? Иль съ ръзвымъ Гамильтономъ Смѣешься всей душой? Иль съ Греемъ и Томсономъ Ты пренеслась мечтой Въ поля, гдъ отъ дубравы Вдоль въеть вътерокъ, II · шепчеть лъсь кудрявый, · П мчится величавый Съ вершины горъ потокъ?

Но воть, ужь я сь тобой! II въ радости иъмой Твой другь расцвъль душой, Какъ ясный вешній день. Заботы дии разлуки, Дни горести и скуки, Псчезла грусти твнь. Но это лишь мечтанье! Увы, въ монастыръ, При бледномъ свечъ сіяньи, Одинъ пишу къ сестръ. Все тихо въ мрачной кельъ; Защелка на дверяхъ, Молчанье — врагъ веселья — П скука на часахъ! Стуль ветхій, необитый, II шаткая постель, Сосудъ воды налитый, Соломенна свиръль — Воть все, что предъ собою Я вижу пробужденъ. Фантазія, тобою Одной я награжденъ! Тобою принесенный

Къ волшебной Ипокреиѣ
И въ кельѣ я блаженъ!
Что было бы со мною,
Богиня, безъ тебя? и прочее.

Это одии изъ первыхъ звуковъ Нушкинской поэзіи. Вскоръ и публика услышала гармоническое пъніе, раздавшееся въ тиши лицейской. Въ первый разъ стихи Пушкина появились въ печати въ 1814 году, въ лучшемъ повременномъ изданіи того времени, "Въстникъ Европы", конмъ завъдывалъ тогда Владимиръ Васильевичъ Пэмайловъ. Дельвигъ предупредилъ друга своего: ода его на взятіє Парижа появилась въ іюньской (12-и) книжкъ "Въстника Европы" 1814 года; въ слъдующей книжкъ находимъ первое печатное стихотвореніе Пушкина, оно называется Къ другу-стихотвориу. Пятнадцатильтній поэтъ. изображая передъ Дельвигомъ опасности того поприща, на которое онъ выступилъ, между прочимъ, говоритъ:

Аристь, не тоть поэть, кто риомы плесть умфеть, И, перьями скрипя, бумаги не жалфеть, Хорошіе стихи не такъ легко писать, Какъ Витгенштейну французовь побъждать. Межъ тфмъ какъ Дмитріевъ, Державинъ, Ломоносовъ, Пфвцы безсмертные, и честь и слава россовъ, Питаютъ здравый умъ и вмфстф учать насъ, Сколь много гибнетъ книгъ, на свфть едва родясь! Творенья громкія Риоматова, Графова, Съ тяжелымъ Бибрусомъ гийютъ у Глазунова; Никто не вспомнитъ ихъ, не станетъ взоръ читать, И Фебова на нихъ проклятія печать.

Поэтовъ хвалять всѣ, читають лишь журналы; Катится мимо нихъ Фортуны колесо; Родился нагь и нагъ ступаеть въ гробъ Руссо; Камоэнсъ съ нищими постелю раздѣляеть; Костровъ на чердакѣ безвѣстно умираетъ, Руками чуждыми могилѣ преданъ онъ; Ихъ жизнь — рядъ горестей, гремяща слава — сонъ.

Конечно, многіе наши стихотворцы охотно подписали бы свое имя подъ гакими стихами. Въ слъдующей книжкъ "Въстника Европы" напечатано было второе стихотвореніе Пушкина: Кольна (подражаніе Оссіону); далье въ остальныхъ книжкахъ 1814 года находимъ еще три довольно слабыя пьесы его: Венерю от Лаисы при посвящении ей зеркала,

Опытность. Блаженство. Вст эти стихотворенія, подъ коими Пушкинъ подписывался разными псевдонимами, только теперь вошли въ собраніе его сочиненій. Въ принадлежности ихъ ему удостовтряла прежде рукопись подъ названіемъ. Собраніе лицейских стихотвореній. Часть 1. Напечатанныя пьесы.

Талантъ молодого любимца боговъ зръдъ не по днямъ, а по часамъ. Съ каждымъ новымъ произведеніемъ замѣтно расли сила стиха, прелесть выраженія, смѣдость мысли, однимъ словомъ, тѣ качества, которыя впослѣдствій сдѣлались всегданьнимъ неотъемдемымъ его достояніемъ. Пушкинъ неудержимо предавался обаятельному искусству. Поэтическія мечтанія овладѣвали имъ совершенно.

Все волновало нѣжный умъ:
Цвѣтущій лугъ, луны блистанье,
Въ часовиѣ ветхой бури шумъ,
Старушки чудное преданье.
Какой-то демонъ обладалъ
Моими играми, досугомъ;
За мной повсюду онъ леталъ,
Мнѣ звуки дивные шепталъ,
И тяжкимъ, пламеннымъ недугомъ
Была полна моя глава;
Въ ней грезы чудныя рождались;
Въ размѣры стройные стекались
Мон послушныя слова
И звонкой риомой замыкались.

Съ 1815 года начинается литературная извъстность и слава его, дотолъ ограниченная тъснымъ царскосельскимъ кружкомъ. Въ этомъ году подъ стихами его уже находимъ полное его имя. О немъ заговорили...

4-го и 5-го чисель января въ первый разъ происходило въ Лицев торжественное публичное испытаніе. Государь не могь удостопть его своимъ присутствіемъ: онь жилъ тогда въ Вънъ. Тъмъ не менѣе посѣтителей собралось множество. Несмотря на разстояніе, друзья просвѣщенія и важныя государственныя лица нарочно прі вхали изъ Петербурга посмотрѣть вблизи на этотъ новый разсадникъ наукъ, столь любимый его величествомъ. Во время экзамена по предмету русской словесности вызвали Пушкина, и онъ прочелъ передъ многочисленнымъ собраніемъ свои Восноминація въ Царскомъ Селт. во многихъ мъстахъ истинно прекрасныя. Всъ слушатели по-

чувствова и, что это не были сбыкновенные, сочиненные на заданную тему стихи. Но, безъ сомивнія, немногіе внимали имъ съ такимъ участіемъ, какъ семидесятильтній Державинъ, почетнымъ гостемъ сидфвиній на экзаменъ. Онъ, конечно, не могъ безъ сердечнаго волненія слушать эти гармоническія строфы: въ нихъ говорилось объ Екатеринъ, о прошломъ въкъ, имъ воспътомъ, о немъ самомъ. Растроганный, онъ поднялся съ креселъ и пошелъ обнимать молодого поэта... Но вотъ собственный разсказъ Пушкина объ этихъ незабвенныхъ для него минутахъ: "Державинъ былъ очень старъ. Онъ былъ въ мундиръ и плисовыхъ сапогахъ. Экзаменъ нашъ очень его утомиль: онь сидъль поджавши голову рукою; лицо его было безсмысленно, глаза мутны, губы отвисли. Портреть его (гдъ представленъ онъ въ колпакъ и халатъ) очень похожъ. Онъ дремаль до техъ поръ, пока не начался экзаменъ по русской словесности. Тутъ онъ оживился: глаза заблистали, онъ преобразился весь. Разумъется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поминутно хвалили его стихи. Опъ слущалъ съ живостью необыкновенной. Наконецъ, вызвали меня. Я прочель мон Воспоминанія въ Д.С., стоя въ двухъ шагахъ отъ Державина. Я не въ силахъ описать состоянія души моей: когда дошелъ я до стиха, гдъ упоминаю имя Державина, голось мой отроческій зазвеньль, а сердце забилось съ упонтельнымъ восторгомъ... Не помню, какъ я кончилъ свое чтеніе, не помию, куда убъкаль, Державинь быль въ восхищеніи: онъ меня требовалъ, хогълъ меня обнять... Меня искали, но не нашли..."

Сюда-то относятся слова Пушкина о музъ своей:

И свъть ее улыбкой встрътиль; Успъхъ насъ первый окрылиль; Старикъ Державинъ насъ замътилъ И, въ гробъ сходя, благословилъ.

Пли:

И славный старецъ пашъ, царей пъвецъ пзбранный, Крылатымъ геніемъ и граціей въпчанный, Въ слезахъ обнялъ меня дрожащею рукой И счастье миъ предрекъ, незнаемое мной.

Но шестнадцатильтній поэть привель въ восхищеніе не одного Державина. Всь дивились необыкновенному таланту. На большомь объдь у министра народнаго просвыщенія, графа

Разумовскаго, о немъ щелъ общій говоръ. Всѣ предсказывали будущую его славу. Хозяннъ, обратясь къ Сергѣю Львовичу, который находился тутъ же, замѣтилъ между прочимъ: "Я бы желалъ, однакожъ, образовать сына вашего въ прозъ". — "Оставьте его поэтомъ", возразилъ съ жаромъ Державинъ.

Двъ заключительныя строфы стихотворенія, пробуждавшаго такое всеобщее вниманіе, посвящены Жуковскому. Обращаясь къ нему, Пушкинъ говоритъ:

О скальдъ Россіи вдохновенный, Воспѣвшій ратныхъ грозный строй! Въ кругу друзей своихъ, съ душой воспламененной, Взгреми на арфѣ золотой; Та снова стройный гласъ герою въ честь прольется, И струны трепетны посыплють огнь въ сердца...

Предпосладній стиха относится ка стихотворенію Жуковскаго, тогда только что появившемуся ва Петербурга. 30 декабря 1814 года А. А. Тургенева ва Зимнема дворца читала императрица Марін Өеодоровна, пакоторыма членама царскаго семейства и немногима иха приближенныма Посланіс ка императору Александру.

Въ это время Жуковскій проёздомъ изъ деревии въ Петербургь жилъ въ Москвъ. Пріятель его Василій Львовичъ Нушкинъ получиль изъ Петербурга повое стихотвореніе племяника своего. Сохранилось любопытное преданіе, что въ одинъ день Жуковскій пришель къ друзьямъ своимъ и съ радостнымъ видомъ объявиль, что изъ Петербурга присланы прекрасные стихи. Это были Воспоминанія въ Царскомъ Сель. Онъ принесъ ихъ съ собою, читая вслухъ, останавливался на лучнихъ мѣсгахъ и говорилъ: "Вотъ у насъ настоящій поэть!"

Жуковскій видаль Пушкина еще въ Москвъ ребенкомъ; но настоящее знакомство ихъ началось льтомъ 1815 года. Посль неоднократныхъ вызововъ вдовствующей государыни, въ концъ весны, Жуковскій, наконецъ, пріъхаль въ Петербургъ, и въ теченіе льта и осени посъщаль Царское Село и Павловскъ, гдъ читалъ императрицъ стихи свои. Надо замьтить, что въ это время онъ былъ на верху своей славы. Три изданія "Пъвца въ станъ русскихъ воиновъ" раскупились въ одинъ годъ. "Посланіе къ императору Александру" было принято съ восторгомъ, какъ выраженіе общихъ народныхъ чувствъ. Друзья носили Жуковскаго на рукахъ. Вдовствующая государыня

отмънно ему благоволила. Тогда-то Пушкинъ паписалъ къ нему послапіе, коимъ испранивалъ себъ благословенія у поэта на поэтическое служеніе.

Благослови, поэть! въ тиши парнасской сѣии Я съ тренетомъ склониль предъ музами колѣни, Опасною тропой съ надеждой полетѣлъ, Мнѣ жребій вынулъ Фебъ— и лира мнѣ удѣлъ...

И ты, природою на пѣсни обреченный, Не ты ль миѣ руку даль въ завѣть любви священной? Могу ль забыть я часъ, когда передъ тобой Безмолвный я стояль, и молнійной струей Душа къ возвышенной душѣ твоей летѣла И, тайно съединясь, въ восторгахъ пламенѣла? Нѣть, нѣтъ! рѣшился я безъ страха въ трудный путь; Отважной вѣрою исполнилася грудь!

Жуковскій полюбиль, какь родного, вдохновеннаго юношу. Онь тотчась оцениль всю силу его таланта. По достов'врному преданію, 32-летній, уже славный и опытный поэть, видаясь съ Пушкинымь, нарочно читаль ему свои стихи, и если въ следующія свиданія Пушкинь не вспоминаль и не повторяль ихь, онъ считаль произведеніе свое слабымь, уничтожаль или исправляль его. Между ними рано начались самыя иржимя отношенія. Съ нежнымь, отеческимь участіємь Жуковскій радовался блестящимь успехамь Пушкина, снисходиль него увлеченіямь, прощаль его запосчивость, берегь его, заботился о немь. Самь Пушкинь впоследствін называль его своимь ангелому-хранителему.

Въ исходъ 1815 года государь окончательно возвратился изъ чужихъ краевъ, вторично побывавъ за Рейномъ, даровавъ снова миръ Европъ. Разумъется, лиценсты одни изъ первыхъ увидали его. Пушкинъ, такъ прекрасно его назвавшій прозныма аппелома, привътствовалъ его возвращеніе стихотвореніемъ, изъ коего считаемъ пужнымъ привести слъдующій отрывокъ. Описывая недавно бывшія кровавыя побоища, Пушкинъ говорить между прочимъ:

А я... вдали громовъ, въ сѣни твоей надежной..
Я тихо расцвѣталъ безпечный, безмятежный?
Увы, мнѣ не судилъ тапиственный предѣлъ
Сражаться за тебя подъ градомъ вражьихъ стрѣль!...
Сыны Бородина, о кульмскіе герои!
Я видѣлъ, какъ на брань летѣли ваши строл;

Дунюй восторженной за братьями спѣшиль: Почто жъ на бранный доль я крови не пролилъ? Почто, сжимая мечъ младенческой рукою, Покрытый ранами, не палъ я предъ тобою, И славы подъ крыломъ наутръ не почилъ? Почто великихъ дълъ свидътелемъ не былъ?

Возвращенія государева ожидали приготовленные къ печати восемь томовъ Исторіи Государства Россійскаго. Въ первыхъ числахъ февраля 1816 года Карамзинъ привезъ ихъ въ Петербургъ, и поднесъ государю. Кто изъ русскихъ не знаетъ прекраснаго посвященія, конмъ начинается первый томъ Исторін Государства Россійскаго? Карамзинъ читаль друзьямъ своимъ это посвящение. Пушкинъ присутствовалъ при чтении, жадно внималь пленительнымъ выраженіямъ высокихъ, истинно патріотическихъ чувствъ, запомнилъ все и, пришедши домой, записаль отъ слова до слова, такъ что посвящение сдълалось извъстно въ лицейскомъ кружкъ гораздо прежде, чъмъ было напечатано. Карамзинъ еще въ Москвъ часто видалъ Пушкина, будучи пріятелемъ отца его и дяди. Геніальный юноша не могъ укрыться отъ его вниманія. Въ этотъ прівздъ свой Карамзинъ, въроятно, познакомился съ нимъ ближе, и успълъ привлечь его къ себъ ласкою, одобреніемъ и участіємъ. Пушкинъ такъ говорить о томъ:

Сокрытаго въ вѣкахъ священный судія, Стражъ вѣрный прошлыхъ лѣтъ, наперсинкъ, мужъ любимый И блѣдной зависти предметь неколебимый, Привѣтливымъ меня вниманьемъ ободрилъ.

По это была лишь минутная встрфча. Скоро представился случай къ сближенію ихъ. Карамзинъ уфхалъ въ мартъ въ Москву, но съ тфмъ. чтобы возвратиться назадъ съ семействомъ своимъ. Государь приказалъ отвести ему въ Царскомъ Селѣ домъ на лѣто. Во второй половинѣ мая онъ оставилъ Москву (уже навсегда, хотя и не предполагалъ того) и поселился въ Царскомъ Селѣ. Тамъ, занимаясь продолженіемъ Псторіи и печатаніемъ первыхъ ея томовъ, онъ приглашалъ къ себѣ Пушкина, бесѣдовалъ съ нимъ, и Пушкинъ имѣлъ возможность слушать Исторію Государства Россійскаго изъ устъ самого исторіографа. Впослѣдствіи онъ писаль къ брату своему, прося прислать Библію: "Библія для христіанина то же, что исторія для народа. Этою фразою (наоборотъ) на-

чиналось прежде предполовіе поторіи Карамзина. При мито онъ ее и перемънилъ".

Пушкинъ горячо полюбилъ Николая Михайловича и супругу его и сдълался у нихъ домашнимъ человъкомъ. Какъ и Жуковскій, Карамзинълюбовался молодымъ поэтомъ, предостерегалъ, удерживалъ, берегъ его, и послъ спасъ въ одиу изъ ръшительныхъ минутъ его жизни.

Другъ Карамзина, Иванъ Ивановичъ Дмитріевъ, жившій въ Петербургѣ нѣсколько лѣтъ въ званіи министра юстицін, также почтилъ своимъ вниманіемъ Пушкина, который говоритъ о томъ въ одномъ стихъ своего посланія къ Жуковскому:

II Дмитревъ слабый даръ съ улыбкой похвалилъ.

Столь же рано узналь Пушкина и Батюшковъ, часто посъщавшій Сергъя Львовича еще въ Москвъ и находившійся въ пріятельскихъ отношеніяхъ съ Василіемъ Львовичемъ. Во второй половинъ 1814 года, онъ воротился въ Петербургъ изъ-за границы; въ это время Пушкинъ написалъ къ нему посланіе, начинающееся такъ:

> Философъ рѣзвый и пінть, Парнасскій счастливый льнивець, Харить изпѣженный любимець, Наперсникъ милыхъ аонидъ! Почто на арфѣ златострунной Умолкнуль радости пѣвецъ?

Убъждая Батюшкова снова взяться за лиру, Пушкинъ говорить между прочимъ:

Поэть! въ твоей предметы волѣ! Во звучны струны смѣло грянь, Съ Жуковскимъ пой кроваву брань И грозну смерть на ратномъ полѣ. И ты въ строяхъ ее встрѣчалъ, И ты, постигнутый судьбою, Какъфоссъ, питомецъ славы палъ! Ты палъ, и хладною косою Едва, скошенный, не увялъ!

Посланіе, разумъется, дошло до Батюшкова.

Онъ самъ совътовалъ Пушкину восиввать военныя событія, о чемъ заключаемъ по слъдующимъ стихамъ изъ второго къ нему посланія Пушкина. А ты пѣвецъ забавы, И другъ пермескихъ дѣвъ, Ты хочешь, чтобы славы Стезею полетѣвъ, Простясь съ Анакреономъ, Спѣшилъ я за Марономъ И пѣлъ при звукахъ лиръ Войны кровавый ппръ.

Къ Батюшкову Пушкинъ сохранилъ неизмънное уваженіе. Онъ любилъ особенно свое стихотвореніе *Муза*, потому что оно "отзывается стихами Батюшкова".

Такъ сближался Пушкинъ съ лучшими нашими писателями. Они рано отгадали въ немъ силу геніальную и съ радостнымъ участіемъ приняли въ свой кругъ. Въ то время русская литература раздълялась на два стана. Россійская академія съ предсъдателемъ своимъ А. С. Шишковымъ, и Бесъда любителей русскаго слова съ Державинымъ, кн. Шаховскимъ. Хвостовыми и пр., строго держась старыхъ правилъ искусства, завъщанныхъ Лагарномъ и Буало, чуждались нововведеній, возставали на Карамзина и Жуковскаго, еще любили громозвучныя и высокопарныя оды, уже осмъянныя остроумнымъ авторомъ Чужого толка, и усердно испещряли произведенія свои славянскийи словами и оборотами. Разсужденіе о старом и новом слоть, соч. Л. С. Шишкова (1803 г.), Новый Стериг. комедія кн. Шаховского (1807 г.) явно направлены были противъ Карамзина. Молодые послъдователи и поклонники сего последняго решили отвечать. В. Л. Пушкинъ защищался отъ академическихъ нападокъ Шишкова. Въ 1812 году Д.В. Дашковъ былъ исключенъ изъ С.-Петербургскаго общества любителен словесности за насмъшливый панегирикъ графу Д. И. Хвостову, торжественно прочтенный въ засъданіи общества. Въ 1815 году литературная брань возгорълась съ новою силою. Кн. Шаховской написалъ и поставиль на сцену комедію: Липецкія воды, въ которой представиль въ смъщномъ видъ Жуковскаго подъ именемъ унылаго балладника Фіалкина. Это подало поводъ друзьямъ Жуковскаго образовать свой кружокъ и самимъ дъйствовать. Возникъ знаменитый Арзамасъ, немилосердно преслъдовавшій насмфиками, пародіями, похвальными ръчами и пр. Бестду и Академію. Въ Арзамасъ тотчасъ приняли живое участіе лучшіе писатели, даровитые любители словесности, и назывались именами, взятыми изъ балладъ Жуковскаго, секретаря Арзамаса.

() веселыхъ собраніяхъ новаго литературнаго общества услышаль въ Москвъ страстный любитель всякаго рода шутокъ, каламбуровъ и остротъ, Василій Львовичъ Пушкинъ; разумѣется, онъ тотчасъ захотѣлъ принять въ нихъ участіе, самъ выбраль себѣ имя Вотъ (столь часто повторяемое въ балладахъ) и въ декабрѣ 1815 года пріѣхалъ въ Петербургъ. Арзамасцы торжественно, съ разными обрядами, приняли его и какъ старѣйшаго между ними назвали старшиною и старостою Арзамаса.

Мы сочли нужнымъ упомянуть обо всемъ этомъ для того, чтобы чптателю понятно было слъдующее письмо Пушкина къ Василью Львовичу, какъ нельзя лучше изображающее отношенія ихъ:

Тебѣ, о Несторъ Арзамаса, Въ бояхъ воспитанный поэтъ, Опасный для пѣвцовъ сосѣдъ На страшной высотѣ Парнаса, Защитникъ вкуса грозный Вотг! Тебѣ, мой дядя, въ новый годъ, Веселья прежняго желанье, И слабый сердца переводъ— Въ стихахъ и прозою посланье.

"Въ письмъ вашемъ вы называли меня братомъ, но я не осмълился назвать васъ этимъ именемъ слишкомъ для меня лестнымъ.

Я не совствые еще разсудокъ потеряль, Отъ рпомъ вакхическихъ шатаясь на Пегасъ: Я знаю самъ себя хоть радъ, хотя не радъ... Итъ, нътъ, вы мит совствить не братъ: Вы дядя мой и на Парнасъ.

"Итакъ, любезнъйшій изъ всъхъ дядей-поэтовъ здъщняго міра, можно ли мит надъяться, что вы простите лънивтышаго изъ поэтомъ-племянниковъ.

"Да, каюсь я, конечно, передъ вами: Совсѣмъ неправъ пустынникъ-риемоплетъ; Онъ въ лѣности сравнится лишь съ богами; Онъ виноватъ и прозой и стихами: Но старое забудьте въ новый годъ. ..Кажется, что судьбою опредълены мив только два рода писемъ: объщательныя и извинительныя— первыя въ началв годовой переписки, а последнія при последнемъ ея издыханіи. Къ тому же приметиль я, что все они состоять изъ двухъ посланій; это, мив кажется, пепростительно.

Простыми пъснями свиръли Красавицъ нашихъ воспъвать, И съ гнъвной музой Ювенала Глухого варварства начала Сатирой грозной осмъять, И мучить бъднаго Ослова Священнымъ Феба языкомъ, И лобъ угрюмый Шутовскова Клеймить единственнымъ стихомъ! О вы, которые умъли Любить, объдать и писать — Скажите откровенио — неужели Вы не умъете прощать?

"Напоминаю о себъ монмъ незабвеннымъ; не имъю больше времени, но... надобно ли еще объщать? Простите, вы всъ, которыхъ любить мое сердце, и которые любите еще меня...

"Шолье Андреевичь, конечно, Меня забыль давнымъ-давно, По я люблю его сердечно За то, что любить онъ безпечно И пить и пѣть свое вино, И надъ всемірными глупцами Своими рѣзвыми стихами Смѣется, право, пресмѣшно".

Какъ долженъ былъ радоваться Василій Львовичъ, получивъ это посланіе! Вообще онъ искренно любилъ племянника и спъшилъ печатать стихи его.

Поэтовъ грѣшный ликъ Умножиль я собою, И я главой поникъ, Предъ милою мечтою. Мой дядюшка-поэтъ На то мнѣ далъ совѣтъ И съ музами сосваталъ.

Самъ Пушкинъ, написавшій въ Лицев около ста стихо-твореній, лишь немногія изънихъ отдаваль въ печать и только

подъ двумя или тремя выставиль вполић свое имя. Часто стихотворенія его печатались безъ его воли и въдома, о чемъ самъ полушутя говорить онъ въ одномъ посланіи къ Дельвигу:

Предатели-друзья
Певинное творенье
Украдкой въ городъ шлють,
П плодъ уединенья
Тисненью предають —
Бумагу убивають.
Поэта окружаютъ
Съ улыбкой остряки:
"Ахъ. сударь! миъ сказали,
Вы пишете стишки?
Увидъть ихъ нельзя ли?
Вы въ нихъ изображали,
Конечно, ручейки
Пль тихій вътерочекъ
П рощи и цвътки"...

Уже въ то время опъ отличался въ этомъ отношении скромностью, порукою истиннаго дарованія, и тою совъстливою строгостью къ самому себъ, которой гордо держался до конца и которая не дозволила ему являться передъ публикою иначе, какъ съ произведеніями вполив отделанными. Оттого большая часть его лицейскихъ стихотвореній появилась въ печати уже послъ смерти его. Стихотворенія эти разнообразны, какъ и самые случан, ихъ вызвавшіе. Въ нихъ часто рисуется передъ нами жизнь разгульнаго, быстро созръвшаго юноши со встми восторгами и увлеченіями пылкихъ страстей. Кромт лицейскихъ товарищей, кромъ знакомствъ литературныхъ, у него быль особенный кружокъ, въ которомъ неръдко проводиль онъ свои досуги и который состояль отчасти изъ офицеровъ лейбъ-гусарскаго полка, стоявшаго въ Царскомъ Селъ. Одинъ изъ сихъ последнихъ былъ почти ежедневнымъ собесъдникомъ его. Пушкина всюду любили за остроту, веселонравіе, неистощимый запась шутокъ и всего болфе за стихи, а ими онъ, можно сказать, бросалъ направо и налѣво. Иной стихотворецъ во всю жизнь не написалъ столько стиховъ, сколько Пушкинъ въ шесть лътъ лицейской жизни. Сознавъ силу своего таланта, онъ ръшился не расточать его на произведенія мелочныя, и принялся за большой трудъ. Мы говоримъ о поэмъ "Русланъ и Людмила", которой первыя пъсви писаны въ Лицев.

Понятно, что при такомъ направленіи не могло быть порядка и большихъ усибховъ въ ученіи формальномъ, въ знаніи уроковъ и отвътахъ на экзаменъ. Любопытны отзывы о немъ профессоровъ. Кайдановъ въ въдомости о дарованіяхъ, прилежанін и успъхахъ воспитанниковъ Лицея по части географін, всеобщей и россійской исторіи, съ 1 ноября 1812 по 1 января 1814 г., отозвался о Пушкинв въ следующихъ выраженіяхъ: "При маломъ придежанін оказываетъ очень хорошіе успъхи, и сіе должно приписать однимъ только прекраснымъ его дарованіямъ. Въ поведеніи ръзвъ, но менье противу прежняго". Профессоръ Куницынъ говоритъ о немъ въ въдомости почти за то же время: "Весьма понятенъ, замысловать и остроумень, по крайне не прилежень. Опь способень только къ такимъ предметамъ, которые требуютъ малаго напряженія; а потому успѣхи его очень невелики, особливо по части логики". Наконецъ, аттестатъ, выданный ему изъ Лицея, свидътельствоваль объ отличныхъ успъхахъ его въ фехтованіи и тапцованіи и о посредственныхъ въ русскомъ языкъ.

Но если Пушкинъ лъпился въ классахъ, не выучивалъ уроковъ и въ лицейскихъ въдомостяхъ всегда бывалъ въ числъ послъднихъ, то взамънъ того онъ предавался чтенію со всъмъ жаромъ геніальной любознательности. При своей необыкновенной памяти, быстротъ пониманія и соображенія, онъ быстро усвоивалъ себъ разнообразныя познанія. Въ лицейскомъ стихотвореніи Городокъ, написанномъ въ первой половинъ 1815 г., онъ перечисляетъ любимыхъ своихъ писателей.

Укрывшись въ кабинеть, Одинъ я не скучаю II часто пълый свъть Съ восторгомъ забываю. Друзья мнъ мертвецы, Парнасскіе жрецы, Надъ полкою простою, Подъ тонкою тафтою Со мной они живуть, Пъвцы красноръчивы, Прозанки шутливы, Въ порядкъ стали туть. Сынъ Мома и Минервы, Фернейскій злой крикунъ, Поэть въ поэтахъ первый, Ты здфсь, сфдой шалунъ!

Онъ Фебомъ быль воспитанъ, Изъ дътства сталъ пінть; Всъхъ больше перечитанъ. Всъхъ менъе томитъ. На полкъ за Вольтеромъ Виргилій, Тассь съ Гомеромъ, Всв вмвств цредстоять. Питомцы юныхъ грацій — Съ Державинымъ потомъ Чувствительный Горацій Нвляются вдвоемъ. 11 ты, пъвецъ любезный, Поэзіей прелестной Сердца привлекшій въ плінь, Ты здъсь, лънтяй безпечный Мудрецъ простосердечный, Ванюша Лафонтенъ! Ты здъсь — и Дмитревъ нъжный, Твой вымысель любя, Нашель пріють надежный Съ Крыловымъ близъ тебя. Воспитаны Амуромъ Вержье, Парни съ Грекуромъ Укрылись въ уголокъ (Не разъ они выходять И сонъ отъ глазъ отводятъ Подъ зимній вечерокъ). Здъсь Озеровъ съ Распномъ, Руссо и Карамзинъ, Съ Мольеромъ-исполиномъ Фонвизинъ и Княжнинъ. За ними хмурясь важно, ІІхъ грозный Аристрахъ Нвляется отважно Въ шестнадцати томахъ: Хоть страшно стихоткачу Лагарна видъть вкусъ, Но часто, признаюсь, Надъ нимъ я время трачу, и прочее.

Вообще, Пушкинъ можетъ служить блестящимъ опроверженіемъ того мнѣнія, которое полагаетъ, что генію не нужны ученіе и трудъ. Къ счастью, ему открыты были въ Лицев всѣ средства для удовлетворенія любознательности и страсти къ чтенію. Для лиценстовъ выписывались даже иностранныя газеты. Но, сколько извѣстно, Пушкинъ не любилъ этого рода чтеніе.

Онъ не пробыль въ Лицев положенныхъ шести лѣтъ. Зимою 1816 года въ лицейскомъ зданін былъ пожаръ, и необходимыя по сему случаю перестройки, вѣроятно, ускорили первый выпускъ лицеистовъ, назначенный въ маѣ 1817 года. Но прежде чѣмъ говорить о выходѣ Пушкина изъ Лицея, слѣдуетъ упомянуть о товарищахъ, съ которыми приходилось ему разставаться.

Разумъется, всъ или, по крайней мъръ, большая часть товарищей любила Пушкина, ибо невозможно было не любить его, живя съ нимъ вмъстъ. Для многихъ изъ нихъ онъ былъ кумиромъ. Но лучшимъ его другомъ былъ Дельвигъ,

Товарищъ юности живой, Товарищъ юности унылой, Товарищъ пъсенъ молодыхъ Пировъ и чистыхъ помышленій.

Дельвигъ былъ для Пушкина тъмъ же, чъмъ для Карамзина А. А. Петровъ, для Жуковскаго А. И. Тургеневъ, для Батюшкова И. А. Петинъ. Любя Дельвига со всъмъ пристрастіемъ горячей дружбы, Пушкинъ думалъ видъть въ немъ тъ достоинства, которыхъ желалъ самому себъ. Этимъ объясняемъ мы себъ его преувеличенныя похвалы.

Но я любиль уже рукоплесканье, Ты, гордый, п'вль для музъ и для души; Свой даръ, какъ жизнь я, тратиль безъ вниманья, Ты геній свой воспитываль втиши!

Пли, говоря о первыхъ стихотвореніяхъ: "Въ нихъ уже замѣтно необыкновенное чувство гармоніи и той классической стройности, которой никогда онъ не измѣнялъ. Никто не привѣтствовалъ вдохновеннаго юношу, между тѣмъ какъ стихи одного изъ его товарищей, стихи посредственные, замѣтные только по иѣкоторой легкости и чистотѣ мелочной отдѣлки, въ то же время были расхвалены и прославлены, какъ нѣкоторое чудо".

Нѣкоторыхъ товарищей Пушкинъ поминаетъ въ лицейской годовщинѣ своей 1825 года:

Я пью одинь, и на берегахъ Невы Меня друзья сегодня именують... Но многіе ль и тамь изъ васъ пирують? Еще кого не досчитались вы? Кто измёниль илёнительной привычкё?

Кого оть вась увлекь холодный свъть? Чей глась умолкь на братской перекличкъ? Кто не пришель? Кого межь вами пъть? Онь не пришель, кудрявый нашь пъвець, Съ отнемь въ очахъ, съ гитарой сладкогласной: Подъ миртами Италіи прекрасной Онь тихо спить...

Стихи эти относятся къ Н. А. Корсакову, умершему во Флоренцін, въ 1820 году.

Сидишь ли ты въ кругу своихъ друзей, Чужихъ небесъ любовникъ безпокойный? Иль снова ты проходишь тропикъ знойный И вѣчный ледъ полунощныхъ морей? Счастливый путь! Съ лицейскаго порога Ты на корабль перешагнулъ шутя, И съ той поры въ моряхъ твоя дорога, О волнъ и бурь любимое дитя!

Туть говориль Пушкинь о Ө. Ө. Матюшкинт, который въ 1817 г. отправился въ путешествіе кругомъ свъта съ знаменитымъ мореплавателемъ В. М. Головинымъ, на корабль "Камчаткъ".

Въ 9-й строкъ той же лицейской годовщины названъ, какъ полагаютъ, Иванъ Ивановичъ *Пущии*г; въ 10-й — князь Александръ Михайловичъ *Горчаков*г.

Ты, Горчаковъ, счастливецъ съ первыхъ дней Хвала тебъ — фортуны блескъ холодной Не измънилъ души твоей свободной: Все тотъ же ты для чести и друзей.

Пушкинъ очень любилъ князя Горчакова, написалъ къ нему два посланія. Наконецъ, предпослѣдній стихъ 13-й строфы слѣдуетъ читать такъ:

Скажи, Вильгельмъ, не то ль и съ нами было?

Это мъсто напоминаетъ читателямъ лицейскіе стихи Пушкина, въ которыхъ прекрасно выражается нъжная привязанность его въ Лицею и товарищамъ и которые написаны одному изънихъ въ альбомъ.

Взглянувъ когда-ипбудь на тайный сей листокъ, Исписанный когда-то мною, Па время улети въ лицейскій уголокъ Всесильной, 'сладостной мечтою. Ты вспомии быстрыя минуты первыхъ дней, Неволю мирную, шесть лѣтъ соединенья, Печали, радости, мечты души твоей, Размолвки дружества и сладость примиренья, Что было и не будетъ вновь...

> II съ тихими тоски слезами Ты вспомни первую любовь.

Мой другъ! Она прошла... по съ первыми друзьями Не рѣзвою мечтой союзъ твой заключенъ; Предъ грознымъ временемъ, предъ грозными судьбами, О милый, вѣченъ онъ!

Въ половинъ мая 1817 года начались въ Лицеъ выпускные экзамены. Они происходили въ теченіе 15 дней, при многочисленной публикъ. Посътителямъ предоставлено было задавать лицеистамъ вопросы, что дало поводъ къ занимательнымъ отвътамъ и преніямъ. На экзаменъ изъ русской словесности Пушкинъ читалъ сочиненное имъ на этотъ случай довольно слабое стихотвореніе Безвъріє: въ немъ говорится о состраданіи, которое должно имъть къ невърующему. Отвъты его не были удовлетворительны. Онъ выпущенъ былъ 19-мъ, съ чиномъ Х класса или гвардіи офицера.

Мая 19-го, на имя исправляющаго должность министра народиаго просвъщенія, киязя Голицына, послъдовалъ указъ, въ которомъ сказано, что хотя лиценсты собственно назначаются для гражданской службы, но какъ между ними нъкоторые могутъ имъть склонность къ военной, то такимъ предоставляется поступать офицерами въ гвардію, по выученіи фронтовой службы. Еще прежде было обращено вниманіе на военную часть, а съ 1816 года инженеръ-полковникъ Өедоръ Богдановичъ Эльснеръ преподавалъ лиценстамъ военныя науки.

9-го іюня происходиль въ Лицев торжественный акть, удостоенный высочайшаго присутствія. Когда окончились обычныя чтенія, князь А. Н. Голицынь поочередно представиль Его Величеству выпускаемыхъ воспитанниковъ. Государь говориль съ ними, напоминаль имъ обязанности ихъ, и въ знакъ своего благоволенія приказаль выдать, поступающимъ на гражданскую службу, до полученія штатныхъ мѣстъ, денежное вспоможеніе изъ государственнаго казначейства.

Въ заключение акта пропъта была прощальная пъснь воспитанниковъ, сочиненная Дельвигомъ. Директоръ Лицея, Егоръ Антоновичъ Энгельгардъ (который занялъ эту должность только съ 1816 года и къ которому леценсты питали уважение и любовь), поручиль было написать эту пѣснь Пушкину, но онъ не согласился. Написанное имъ стихотворение Кътоварищамъ передъ выпускомъ не могло быть пропѣто на актѣ. Конечно, немногие изъ лиценстовъ оставляли мѣсто своего воспитания съ такимъ чувствомъ, какъ Пушкинъ, и никто такъ прекрасно не понималъ его:

Благослови, ликующая муза, Благослови! да здравствуеть лицей! Наставникамь, хранившимь юность нашу— Всёмь честію, и мертвымь и живымь, Къ устамь подъявь признательную чашу, Не помня зла, за благо воздадимъ.

Или:

Друзья мон, прекрасень нашь союзь!
Онь какь душа нераздёлимь и въчень—
Пеколебимь, свободень и безпечень,
Срастался онь подъ сънью дружныхъ музъ.
Куда бы насъ ни бросила судьбина
П счастіе куда бъ ни повело,
Все тѣ же мы: намъ цѣлый міръ чужбина,
Отечество намъ Царское Село.

Имя Пушкина досель особенно дорого и любимо всякому лицеисту. Память его свято хранится въ Лицев. Около 1835 г. въ маломъ лицейскому саду (что примыкалъ къ зданію съ львои руки, если стоять противъ фасада) лицеисты поставили небольшую мраморную пирамиду, на одной сторонь которой было написано: Genio loci, а на другой Septimus cursus erexit.

Бартеневъ.

Слѣды вліянія французскихъ поэтовъ на лицейскихъ стихотвореніяхъ Пушкина.

Фантазія Пушкина съ дътства воспиталась на преданіяхъ XVIII стольтія. Она усвоила себъ классическіе образы изъ французской поэзін, съ которыми съ давнихъ временъ свыклась европейская поэзія. Зевсъ, Фебъ-Аполлонъ, Минерва, Венера, Вакхъ или Бахусъ, Амуръ или Эротъ, фавны или сатиры, Морфей, Зефиръ и прочіе всъ боги, богини и нимфы греко-римской минологіи составляли готовые образы для поэзіи.

Фантавія поэтовъ въ нихъ находила извъстную идеализацію и, комбинируя ихъ между собою, выражала впечатленія отъ жизни. Наши стихотворцы-риторы и поэты XVIII ст. приняли всъ эти образы и манеру творчества у западныхъ поэтовъ, хотя съ русской жизнью у этихъ образовъ не было ин исторической ни народной связи: они были совершение чужды и непонятны огромному большинству, не воспитанному на чужой поэзін и на чужихъ върованіяхъ. Для такой поэзін у насъ не было питательной почвы. Она отзывалась холодной схоластической ученостью, требовала безполезныхъ познаній и даже большой памяти отъ читателей, которымъ нужно было заучить всв минологическия подробности, чтобы понимать смыслъ предлагаемыхъ стиховъ и почувствовать ихъ эстетическое вліяніе. Вотъ отчего наша поэзія была далека отъ жизни и была доступна только меньшинству, чрезъ воспитаніе примкнувшему къ космоподитизму.

Юная фантазія Пушкина на первыхъ порахъ вращалась въ этомъ же самомъ мірѣ: представляла себѣ поэта, окруженнаго парнасскими богинями, которымъ давались разныя имена, вмѣстѣ съ Аполлономъ, граціями и харитами; поэть являлся въ воображеніи не иначе какъ съ лирою въ рукахъ и съ нѣснію, вдохновленною извнѣ какою-то высшею силою. Любовь рисовалась въ образѣ крылатаго и шаловливаго мальчика, Амура или Эрота, вооруженнаго стрѣлами; бракъ — въ видѣ осмѣяннаго Гименея съ фонаремъ. Въ этихъ-то готовыхъ образахъ Пушкипъ и выражалъ свои впечатлѣнія отъ юной жизни.

Лицейскіе сады представляли довольно классическихъ статуй и бюстовъ съ ихъ строгой красотой и правильными типами. Эта красота должна была имѣть вліяніе на фантазію поэта, воспитывая его эстетическій вкусъ и вызывая любовь къ простотъ и пластичности, чѣмъ дъйствительно отличается искусство Пушкина. Такъ, уже въ зрѣлые годы онъ вспоминаль дъйствіе этихъ образовъ:

И часто я украдкой убѣгалъ Въ великолѣнный мракъ чужого сада, Подъ сводъ искусственный порфирныхъ скалъ;

Тамъ нѣжпла меня прохлада; Я предавалъ мечтамъ мой слабый умъ, И праздно мыслить было миѣ отрада. Любиль я свътлыхъ водъ и листьевъ шумъ, И бълые въ тъни деревъ кумиры, И въ ликахъ ихъ печать недвижныхъ думъ.

Все, мраморные циркули и лиры, 11 свитки въ мраморныхъ рукахъ, 11 длинныя на ихъ илечахъ порфиры —

Все наводило сладкій нѣкій страхъ Мнѣ на сердцѣ; и слезы вдохновенья При видѣ ихъ рождались на глазахъ...

Хотя юный поэть читаль многихь писателей древнихь и повыхь, иностранныхь и русскихь, но особенное сочувствее выказываль темь, которые были ближе къ его собственнымь вкусамь и страстямь — Анакреону, Вольтеру, Парии и Батюшкову. Перваго онъ называль своимь учителемь, мудреномь сладострастія и ставиль его какь бы въ образець жизни:

Смертный, въкъ твой — привидънье: Счастье ръзвое лови; Наслаждайся, наслаждайся, Чаще кубокъ наливай! Страстью нылкой утомляйся И за чашей отдыхай!

Вольтеръ въ его глазахъ злой крикунъ фернейскій:

Поэть въ 'поэтахъ первый...
Онъ Фебомъ былъ воспитанъ
Пзлѣтства сталъ пінтъ;
Всѣхъ больше перечитанъ,
Всѣхъ менѣе томитъ...
Онъ все: вездѣ великъ
Единственный старикъ!...

Нарии для нашего поэта — другъ, врагъ труда, заботъ, печали, а Батюшковъ — россінскій Парии, въ котораго пѣвецъ тійскій (Анакреонъ) влиль свой нѣжный духъ —

Философъ рѣзвый и пінтъ, Парнасскій счастливый лѣнпвецъ, Харитъ изпѣженный любимецъ, Наперсинкъ мплыхъ аонидъ!...

Нодражая имъ, Пушкинъ поэтизировалъ свои страстиыя увлеченія. Всъ эротическіе поэты были для него

Сыны безпечности лѣнивой, Давно вамъ отданы вѣнцы Отъ музы праздности счастливой! Но не блестящіе вѣнцы, Поэзін трудолюбивой На верхъ Фессальскія горы Вели васъ тайные извивы... И м, неопытный поэтъ, Небрежныхъ вашихъ риемъ наслѣдникъ, За вами крадуся вослѣдъ.

На эротическихъ стихотвореніяхъ Пушкинъ выработалъ себъ легкій, игривый стихъ и нѣкоторую пластичность выраженій, чъмъ и прельщалъ товарищей своихъ молодыхъ пиршествъ Интересно видъть, какъ въ фантазіи Пушкина еще въ первыхъ его опытахъ складывался образъ самого ноэта, который впослъдствій выразился въ такомъ художественномъ совершенствъ. Называя себя юношей-мудрецомъ (конечно эпикурейскимъ), питомцемъ иътъ и Аполлона, онъ рисуетъ себя въ такихъ картинахъ:

Въ пещерахъ Геликона Я нъкогда рожденъ; Во имя Аполлона Тибулломъ окрещенъ, И свътлой Ипокреной Сыздътства напоенный, Подъ кровомъ вешнихъ розъ Поэтомъ я возросъ. Веселый сынъ Эрмія Ребенка полюбилъ, Въ дни ръзвости златыя Миъ дудку подарилъ. Знакомясь съ нею, рано Дудилъ я безпрестанно. Нескладно хоть игралъ, Но музамъ не скучалъ.

Дана мнъ лира отъ боговъ,
Поэту даръ безцънный;
И муза вършая со мной:
Хвала тебъ, богиня!
Тобою красенъ домпкъ мой
И дикая пустыня.
На слабомъ утръ дней златыхъ
Пъвца ты осъщила,

Вънковъ изъ миртовъ молодыхъ
Чело его покрыла,
И горинмъ свътомъ озарясь,
Влетала въ скромну келью,
И чутъ дышала, преклонясь
Надъ дътской колыбелью.

Изъ этихъ легкихъ начальныхъ эскизовъ впослѣдствін выработался чудный образъ "Музы" Пушкина въ извѣстпомъ стихотвореніи:

Въ младенчествъ моемъ она меня любила...

Въ старые годы пани поэты любили поэтизировать лѣнь, соединяя съ нею нѣгу и блаженство жизни. Это согласовалось съ тѣмъ взглядомъ на поэзію, какой у насъ существовалъ въ XVIII столѣтіи. Ея не считали за дѣло, она была бездѣлье на досугѣ. Артистическая натура требовала покоя и уединенія, чтобы углубиться въ себя, вемотрѣться въ тѣ образы, какіе создавала фантазія. Внутренняя, незримая ея работа уже отвлекала и отвращала отъ всякаго другого труда. Она-то и принималась за лѣнь. Но это также было дѣло, только понятное и доступное очень немпогимъ. Съ нимъ соединялось и наслажденіе, которымъ такъ дорожили поэты. Въ стихахъ Пушкина также воспѣвается лѣнь. Онъ часто называетъ себя поэтомъ безнечнымъ и лѣнивымъ. Въ посланіи къ Дельвигу онъ проситъ:

Еще хоть годъ одинъ Позволь мит польниться И итой насладиться: Я, право, ито сынъ!

Въ стихотворенін "Сонъ" опъ призываетъ лінь:

Приди, о лѣнь, приди въ мою пустыню!
Тебя зовуть прохлада и покой;
Въ одной тебѣ я зрю свою богиию,
Готово все для гостьи молодой...
Царицей будь, я плѣникъ нынѣ твой.
Учи меня, води моей рукой,
Все, все твое: вотъ краски, кисть и лира!...

Вь другомь стихотвореніи юным поэть говорить о себь, что онь въ лівности сравнится лишь съ богами.

Въ стихотворения къ "Моей чернильницъ" (1821 г.) опъ обращается къ ней со словами; Тебя я посвятиль Занятіямь досуга, И съ лънью примириль: Она твоя подруга!...

Здѣсь уже видится лѣнь артистическая, т.-е. внутренняя работа надъ поэтическимъ образомъ, для посторонняго же взгляда — бездѣлье.

Интересно указать, что уже въ первыхъ опытахъ Пункина высказадся тотъ взглядъ на поэзію, который впоследствін сделался у него какъ бы основнымъ взглядомъ и который онъ такъ горячо отстанвалъ, защищая свободу поэта. Въ посланін къ Батюшкову онъ говоритъ:

Поэтъ! Въ твоей предметы волѣ!... Все, все позволено поэту!...

Увлекаясь эротическими поэтами и подражая имъ, Пушкинъ иногда поддавался и вліянію другихъ писателей. Какую пользу стремились извлекать изъ чтенія поэтовъ молодые поэты-лиценсты, видно изъ письма Плличевскаго къ пріятелю отъ 14 декабря 1814 года: "Достигаютъ ли до нашего уединенія вновь выходящія книги? спрашиваешь ты меня. Можешь ли въ этомъ сомивваться...

По свытлому песку катя кристалль свой чистый По свытлому песку катя кристалль свой чистый Потихою волной ласкаясь къ берегамъ, Течь безъ источника по рощамъ и лугамъ... Пожетъ ли поэтъ, неопытный и юный, Чуть-чуть бренча на лиръ тихострунной, Не подражать другимъ! Ахъ, никогда!

Никогда! Чтеніе питаєть душу, образуєть, развиваєть способности; по сей причина мы стараемся имать всь журналы и впрямь получаемь: "Пантеонь", "Вастникь Европы", "Русскій Вастникь" и прочее. Такъ, мой другь, и мы также хотимь наслаждаться сватлымь днемь нашей литературы, удивляться цвътущимь геніямь Жуковскаго, Батюшкова, Крылова, Гивдича. Но не худо иногда подымать завасу протекцихь времень, заглядывать въ книги отцовь отечественной поэзій, Ломоносова, Хераскова, Державина, Дмитріева; тамъ лежать сокровища, изъ коихъ каждому почерпать должно. Не хуло иногда вопрошать ибвцовъ иноземныхъ (у нихъ учились предки наши), бесъдовать съ умами Расина, Вольтера, Делиля и, заимствуя у нихъ красоты неподражаемыя, переносить ихъ въ свои стихотворенія".

Стоюнинг.

Вліяніе писателей русской школы, отразившееся на лицейскихъ стихотвореніяхъ Пушкина.

Нъкогорые господа сильно нападали на издателей трехъ последиихъ томовъ сочиненій Пушкина за помещеніе его "лицейскихъ" стихотвореній, говоря, что это сдълано для наполненія книжекъ хоть какимъ-нибудь матеріаломъ за недостаткомъ хорошаго, и что печатать произведенія поэта, которыхъ онъ самъ не считалъ достойными печати, - значить оскорблять его память. Ничто не можеть быть нелъпъс такой мысли. Мы очень уважаемъ дарованія и таланты такихъ поэтовъ, какъ Веневитиновъ, Полежаевъ, Баратынскій, Козловъ, Давыдовъ и другіе, по все-таки думаемъ, что изъ уваженія къ нимъ же не следуетъ печатать ихъ слабыя произведенія, темъ более они никому и ни въ какомъ отношенін не могуть быть интересны, а между тімь могуть повредить извъстности этихъ авторовъ. Но когда дъло идетъ о такихъ поэтахъ и писателяхъ, какъ Ломоносовъ, Державинъ, Фонвизинъ, Карамзинъ, Крыловъ, Жуковскій, Батюшковъ, Гриботдовъ и въ особенности Пушкинъ и Лермонтовъ, — то каждая строка, написанная ихъ рукой, принадлежитъ потомству и должна быть сохранена для него, нбо она напоминаетъ собой или черту ихъ времени, или фактъ объ пхъ образъ мыслей и характеръ.

"Лицейскія" стихотворенія Пушкина, кром'в того что показывають, при сравненій съ посл'я дующими его стихотвореціями, какъ скоро выросъ и возмужаль его поэтическій геній — особенно важны еще и въ томь отношеній, что въ нихъ видна историческая связь Пушкина съ предшествовавшими ему поэтами; изъ нихъ видно, что онъ былъ еперва счастливымъ ученикомъ Жуковскаго и Батюшкова, прежде чёмъ явился самостоятельнымъ мастеромъ. Впервые, — сколько помиимъ мы, — появилось стихотвореніе Пушкина ("Отечество въ слезахъ — познало въсть ужасну!") въ "Въстникъ Европы" 1813 года. Онъ написаль его, когда ему не было и четырнадцати лътъ отъ роду, при получении извъстія о смерти Кутузова. Часто стали появляться въ печати стихотворенія Пушкина въ 1815 году въ "Россійскомъ Музеумъ" — журналь, издававшемся Владямиромъ Измайловымъ. Всв они являлись тамъ съ подпісью только начальныхъ буквъ имени и фамиліи Пушкина, и всв они, по подлиннымъ рукописямъ покойнато поэта, помъщены въ ІХ томъ его сочиненій между "лицейскими" стихотвореніями. Потомъ стихотворенія Пушкина стали появляться въ "Сынъ Отечества", и большая часть ихъ вошла уже въ сдтланныя имъ самимъ изданія его сочиненій.

"Лицейскія" стихотворенія не богаты поэзіей, но часто удивляютъ красотои и изяществомъ стиха. Фактура этого стиха совежить не Пушкинская: она принадлежить Жуковскому и Батюшкову. Далеко уступая этимъ поэтамъ въ поэзін, Пушкинъ, - едва шестналцатильтий юноша, - иногда не только не уступаль имъ въ стихъ, но едва ли не смълье и не бойчве владвав имт. Изв нихъ только три ньесы ужъ слишкомъ плохи, а именно: "Бова" (отрывокъ изъ поэмы), "Красавицъ, которая пюхала табакъ" и "Безвъріе". Первая пьеса написана Пушкинымъ явно въ подражание "Ильф Муромцу" Карамзина, которому она, впрочемъ, инсколько не уступаетъ въ достоинствъ стиха и вымысла. Подобно "Ильъ Муромну" Карамзина, "Бова" не конченъ, въроятно, по однон и той же причинь: мысль объихъ этихъ пьесъ такъ дътски ложна и поддъльна, что изъ нея пичего не могло выйти цълаго, и оба поэта сами соскучились ею, не доведа ея до конца. По самому началу "Бовы" видно, что "Илья Муромець" Карамзина, слишкомъ восхищавшій юный вкусъ Нушкина, разманиль его затьять эту поэму:

Часто, часто я бесёдоваль
Съ болтуномъ страны эллинскія,
И не смёль осиплымъ голосомъ
Съ Шопеленомъ и съ Римфатовымъ
Воспёвать героевъ сёвера.
Несравненнаго Виргилія
Я читалъ и перечитывалъ,
Не стараясь подражать ему
Въ нёжныхъ чувствахъ и гармоніи.
Разбиралъ я нёмца Клопштока
И не могь понять премудраго;

Не хотъль я воспъвать, какъ опь—
Я хочу, чтобъ меня поняли
Всъ оть мала до великаго.
За Мильтономъ и Камоэнсомъ
Опасался я безъ крылъ парить,
По вчера, въ архивахъ рояся,
Отыскалъ я книжку славную,
Золотую, незабвенную.
Прочиталъ — и въ восхищении
Про Бову пою царевича.

Не правда ди, что это очень напоминаетъ знакомое и презнакомое всъмъ начало "Ильи Муромца"? Иьеса "Красавицъ, которая нюхала табакъ" отличается сатирическимъ и сентиментальнымъ характеромъ, столь своиственнымъ нашей старинной поэзій. Она написана до того илохими стихами, что намъ, привыкцимъ подъ Иушкинскимъ стихомъ разумъть высиее изящество стиха, стравно думать, что эти стихи писаны Иушкинымъ, хотя бы и гринадцатилътнимъ. "Безвъріе" — дидактическая пьеса, которыя сотнями инсались въ блаженное старое время, — реторическое распространеніе какойнибудь темы плохими стихами.

Въ дътекихъ и юношескихъ опытахъ Пушкина замътно вдіяніе даже Капинста и Василія Пушкина. Больше всего видно на нихъ вліяніе Жуковскаго и особенно Батюшкова; по вліяніе Державина почти совсьмъ пезамѣтно. Это не значитъ, чтобъ въ натурѣ Пушкина, какъ художника, не было ничего родственнаго съ поэтической натурой Державина, или чтобъ Пушкинъ не любилъ Державина и не восхищался его произведеніями. Напротивъ, Пушкинъ благоговълъ передъ Державинымъ. Въ запискахъ своихъ опъ съ такой любовью разсказываетъ, какъ на лицейскомъ публичномъ экзамевѣ читаль опъ, въ двухъ шагахъ отъ Державина, свои "Воспоминантя въ Царскомъ Селъ" и восхитилъ ими маститаго поэта. Это было въ 1815 году; Пушкину было тогда шествадцать лѣтъ. Этотъ случай Пушкинъ всегда считалъ великимъ событіемъ въ своей жизни.

Но при всемъ этомъ громогласный одовосиввательный характеръ Державинской поэзін былъ столько не въ натуръ и не въ духъ Пушкина, что на его "пицейскихъ" стихотворепіяхъ пътъ почти никакихъ слъдовъ ен вліянія. Только одна кантата "Леда", изъ всъхъ "лиценскихъ" стихотвореній, от-

зывается языкомь Державина, но вмъсть и Батюшкова; а самый родъ пьесы (кантана) напоминаетъ одного Державина. Этимъ почти и оканчивается все сближение. По если сравнить въ "Онъгниъ" и другихъ поздивйшихъ произведеніяхъ Пушкина картины русской природы — именно осени и зимы, то нельзя не увидъть, что онъ носять на себъ отпечатокъ какой-то родственности съ Державинскими картинами въ томъ же родъ. Этого нельзя доказать сравнительными выписками изъ того и другого поэта; но это очевидно для людей, которые способны процикать далье буквы и отыскивать аналогию въ духъ поэтическихъ произведеній. Проблескивающіе по временамъ и мъстами элементы Державинской поэзіи суть живопись съвернорусской природы; народность, сатира и художественность, — все это составляеть полноту и богатство поэзін Нушкина, и все это достигло въ ней своего совершеннаго развитія и опредъленія. Державинская поэзія въ сравненін съ Пушкинской — это заря предразевътная, когда бываетъ ни ночь, ни день, ни полночь, ни утро, но едва начинается борьба тьмы съ свътомъ: брежжетъ невърный полумракъ, обманчивый полусвътъ, вдали на небъ какъ-будто бълъетъ полоса свъта и въ то же время догораютъ готовыя погаснуть почныя звъзды, а веф предметы являются въ неестественной величинъ и ложномъ видъ. Пушкинская порзія въ сравненіи съ Державинской — это роскошный, полный сіянія и блеска полдень літняю дня: всв предметы земли озарены свътомъ неба и являются въ своемъ собственномъ, опредъленномъ, ясномъ видъ, и самая даль только дълаетъ ихъ болье поэтическими и прекрасными, а не ложными и безобразными... Словомъ, поэзія Державина есть безвременно явившаяся, а потому и неудачная поэзія Пушкинская, а поэзія Пушкинская есть во время явившаяся и вполив достигшая своей опредвленности, роскошно и благоуханно развившаяся поэзія Державинская...

Пьесы "Къ Паташъ", "Разсудокъ и любовь", "Къ Машъ", "Слеза", "Погребъ", "Пстина", "Застольная пъсия", "Делія", "Стансы" (изъ Вольтера), "Къ Деліи", "Къ пей", "Мѣсяцъ", "Я Лилу слушаль у клавира", "Къ Жуковскому", "Пирующіе друзья", "Къ Дельвигу", "Фіалъ Анакреонъ", "Къ Дельвигу", "Фавиъ и настушка", "Къ живописцу", "Сновидъніе", "Романсъ", — всь эти пьесы по изобрѣтенію, по формѣ и по именамъ Лилы, Нины, Маши, Наташи и т. п., напоминаютъ собои

предшествовавную Жуковскому и Батюшкову эпоху русской литературы, или, по крайней мфрф, ту школу поэзій русской, которая не испытывала на себф вліянія этихъ двухъ поэтовъ. Такъ, напримфръ, пьеса "Къ живописцу" написана какъ будто Державинымъ, предлагающимъ живописцу написать портретъ его Милены и Илфииры; а пьесы: "Слеза", "Погребъ", "Истина" написаны какъ будто на мотивъ извъстной прелестной пъсенки Дениса Давыдова "Мудрость", которая начинается куплетомъ:

Мы педавно отъ печали, Лиза, я и Купидонъ, По бокалу осушали, Да просили мудрость вонъ.

Чтобъ дать понятіе о духѣ этой школы, представителями которой были Капнисть. Нелединскій-Мелецкій, В. Пушкинь. Давыдовъ, мы выпишемъ коротенькое стихотвореніе Пушкина "Сновидѣніе":

Недавно обольщень прелестнымъ сповидъньемъ, Въ концѣ сіяющемъ царемъ я зрѣлъ себя; Мечталось, я любилъ тебя — И сердце билось наслажденьемъ. Я страсть свою у ногъ въ восторгахъ изъясиялъ. Мечты! ахъ! отчего вы счастья не продлили? Но боги не всего теперь меня лишпли: Я только царство потерялъ.

Въ посланіи "Къ Жуковскому" Пушкинъ разсуждаеть въ довольно прозаическихъ стихахъ о литературныхъ вопросахъ, особенно запимавшихъ дядю его, Василія Пушкина, и ту этоху, которой В. Пушкинъ былъ однимъ изъ представителей. В. Пушкинъ въ прозаическихъ, по иногда очень острыхъ сатирахъ нападалъ на плохихъ стихотворцевъ и славянофиловъ — враговъ Карамзина — того времени. Въ посланіи своемъ "Къ Жуковскому" молодой Пушкинъ, подъ вліяніемъ дяди своего, также нападаеть на рифмачей и славянофиловъ и судитъ о русской литературъ.

Риемачей называеть онъ "варягами":

Далеко дикихъ лиръ несется ръзкій вой; Варяжскіе стихи визжитъ варяговъ строй.

Тъ слогомъ Инкона печатають поэмы,

Одни славянскихъ одъ громады громоздять, Другіе въ бѣшеныхъ трагедіяхъ хрипять; Тоть, вфрный своему мятежному союзу, На сцену возведя зъвающую музу, Безсмертныхъ геніевъ сорвать съ Парнаса мнить: Рука содрогнулась, ударъ его скользить. Вотще бросается съ завистливымъ кинжаломъ: Куплетомъ раненъ опъ, низверженъ въ прахъ журналомъ. При свистахъ критики къ собратьямъ онъ бъжитъ, И маковый вфисцъ Оеспису ими свить. Всѣ, руку наложивъ на томъ Телемахиды, Клянутся отомстить сотрудниковь обиды, Волнуясь, возстають неистовой толпой. Бѣда, кто въ свътъ рожденъ съ чувствительной душой. Кто тайно могъ планить красавицъ изжной лирой, Кто смёло просвисталь шутливою сатирой, Кто выражается правдивымъ языкомъ, И русской глупости не хочеть бить челомъ: Онъ врагъ отечества, онъ съятель разврата, И рѣчи сыплются дождемъ на супостата.

Читая эти стихи, невольно переносишься въ то блаженное время нашен литературы, о которомь генерь, за исключеніемъ пожилыхъ и записныхъ литераторовь, немногіе им во гъ понятіе. Въ этомъ послапін слогь, фактура стиха, понятія, взглядъ на вещи — все принадлежитъ времени, которое предпествовало Жуковскому и Батюнкову и проглядъло ихъ явленіе. Но туть есть ифято и самостоятельное, принадлежащее Пушкину, какъ представителю уже новаго покольнія: это жестокая нападка на Тредьяковскаго и въ особенности на Сумарокова:

Ты ль это, слабое дитя чужихъ уроковъ, Завистливый гордецъ, холодный Сумароковъ, Безъ силы, безъ огия, съ посредственнымъ умомъ, Предразсужденіямъ обязанный вѣнцомъ П съ Пинда сорошенный и проклятый Расиномъ? Ему ли, карлику, тягаться съ исполиномъ Ему ль оспаривать тотъ лавровый вѣнецъ, Въ которомъ возблисталь безсмертный нашъ иѣвецъ, Веселье россіянъ, полуночное диво? Нѣтъ! въ тихой Летъ онъ потонетъ молчаливо! Ужъ на челѣ его забвенія печать. Предбудущимъ вѣкамъ что могь онъ передать? Страшилась грація цинической свирѣли, П персты грубые на лирѣ костенѣли.

Замвчателень еще въ этомъ посланін юношескій жаръ и рызность, съ какими Пушкинъ призываеть талантливыхъ пывцовъ на брань съ нисаками. Онъ указываетъ имъ на Феба, сражающаго Пиюона, и требуеть миденія за погибшаго жертвой зависти Озерова:

> Ліющая съ небесъ и жизнь и вѣчный свѣть, Стрѣлою гибели десница Аполлона Сражаеть наконецъ ужаснаго Пивона; Смотрите! пораженъ враждебными стрѣлами, Съ потухшимъ факеломъ, съ недвижными крылами, Къ вамъ Озерова духъ взываеть, други, месть! Вамъ оскорбленный вкусъ, вамъ знанья дали вѣсть. Летите на враговъ — Фебъ и музы съ вами! Разите варваровъ кровавыми стихами, Невѣжество, смирясь, потупитъ хладный взоръ; Спесивый риторовъ безграмотный соборъ...

Въ заключении молодон поэтъ ръшается, не боясь гонений и зависти невъждъ и риомачей, "ученью руку давъ", смъло итти прямой дорогон... Это значило возвъстить о себъ довольно громко; послъдствія показали, что этотъ юноша имълъ полное на то право...

Въ пьесахъ: "Наслажденіе", "Къ принцу Оранскому", "Сраженный рыцарь", "Воспоминанія въ Царскомъ Селъ" и "Панолеонъ на Эльбъ", замѣтное вліяніе Жуковскаго; въ нихъ преобладаетъ элегическій тонъ въ духѣ музы Жуковскаго: стихъ очень близокъ къ стиху Жуковскаго, въ самомъ взглядѣ на предметъ видна зависимость ученика отъ учителя.

"Восномиванія въ Царскомъ Сель" написаны звучными и сильными стихами, хотя вся пьеса эта не болье, какъ декламація и регорика. Такими же стихами написана и пьеса "Наполеонъ на Эльбъ". содержаніе которой теперь кажется забавно-дътскимъ. Пушкинъ заставляетъ Наполеона "свиръпо прошептать" разныя ругательства на самого себя, превозносить своихъ враговъ, а о себъ самомъ отзываться какъ объ ужасномъ mauvais sujet. Между прочимъ Наволеонъ у него "свирьпо прошептываетъ":

"Полночи царь младой! ты двинуль ополченья, II гибель вслъдъ пошла кровавымъ знаменамъ, Отозвалось могучаго паденье— II миръ землъ и радость небесамъ, А миъ— позоръ и поношенье! " Чему удивляться, что шестнадцатильтній мальчикъ такъ смотръль на Наполеона въ то время, какъ на него такъ же точно смотръли и престарълые и возмужавшіе поэты! Гораздо удивительнье, что этотъ мальчикъ черезъ пять льтъ посль того сказаль о Наполеонь:

Надъ урной, гдѣ твой прахъ лежитъ, Народовъ ненависть почила И лучъ безсмертія горитъ! Да будетъ омраченъ позоромъ Тотъ малодушный, кто въ сей день Безумнымъ возмутитъ укоромъ Его развънчаниую тѣнь! Хвала! онъ русскому народу Высокій жребій указалъ, И міру вѣчную свободу Изъ мрака ссылки завѣщалъ!

Эти стихи и особенно этотъ взглядъ на Наполеона, какъ освъжительная гроза, раздались въ 1821 году надъ полемъ русской литературы, заросшимъ сорными травами общихъ мъстъ, и многіе поэты, престарълые и возмужалые, прислушивались къ нему съ удивленіемъ, поднявъ встревоженныя головы вверхъ, словно гуси на громъ...

Но между "лицейскими" стихотвореніями гораздо болъе ознаменованныхъ сильнымъ вліяніемъ Батюшкова. Таковы пьесы: "Къ Натальъ", "Къ молодой актрисъ", Киязю А.М. Горчакову", "Осгаръ", "Воспоминаніе" (Пущину), "Сопъ" (отрывокъ), "Къ молодой вдовъ", "Мое завъщаніе друзьямъ", "Паъздинкъ", "Къ Г-у", "Мечтатель", "Къ И-у", "Къ Б-ву". "Городокъ". Даже въ пьесахъ, написапныхъ подъ вліяніемъ другихъ поэтовъ, замътно въ то же время и вліяніе Батюшкова: какъ гармонировала артистическая натура молодого Пушкина съ артистической натурой Батюнкова! Художникъ инстинктивно узналъ художника, и избралъ его преимущественнымъ образцомъ своимъ. Это показываетъ, до какой степени силенъ былъ въ Пушкииъ художническій инстинктъ. Какъ ни много любилъ онъ поэзію Жуковскаго, какъ ни сильно уплекался обаятельностью ея романтическаго содержанія, столь могущественной надълоной душой, но онъ инсколько не колебался въ выборъ образца между Жуковскимъ и Батюшковымъ, и тогчасъ же безсознательно подчинился исключительному вліянію последняго. Вліяніе Батюшкова обнаруживается

вь "лицейскихъ" стихотворенияхъ Пушкина не только въ фактуръ стиха, но и въ складъ выраженія, и особенно во взглядъ на жизнь и ея наслажденія. Во всъхъ ихъ видна иѣга и уноеніе чувствъ, столь свойственныя музф Батюшкова; и въ нихъ проглядываетъ мъстами унылость и веселая шутливость Батюшкова. Пушкинъ запялъ у него даже любимыя имена, и въ особенности Хлою и Делію, и манеру пересыпать свои стихотворенія минологическими именами купидона, Амура, Марса, Аполлона и пр., и любимыя его выраженія "цитерская сторона, дъвственная лилея" и тому подобныя. Вспомните стихотворенія Батюшкова, заимствованныя имъ изъ Парни, и потомъ посланіе "Къ П-ну", и сравните съ пимъ пьесы Пушкина "Къ Натальъ" и "Къ молодой вдовъ", вы увидите въ шихъ Пушкина ученикомъ Батюшкова. По отдълкъ и стиху, первое стихотвореніе слишкомъ отзывается дітскою незрівлостью; по следующее и по стихамъ напоминаетъ Батюшкова. Пьесы: "Осгаръ" и "Эвлега" навъяны скандинавскими стихотвореніями Батюшкова. Въ то время пользовалось большой извъстностью дъйствительно прекрасное посланіе Батюшкова вь Жуковскому — "Мои пенаты". Опо родило множество подражаній. Пушкинъ написаль въ роде и духі этого стихотворенія довольно большую пьесу "Городокъ". Подобно Батюшкову, Пушкинъ въ этомъ стихотворенін говорить о своихъ любимыхъ писателяхъ, которые заняли мъсто на полкахъ его избранной библіотеки. Только онъ говорить не объ однихъ русскихъ писателяхъ, но и объ иностранныхъ. Несмотря на явную подражательность Батюшкову, которою запечатлена эта пьеса, въ ней есть ивчто и свое, Пушкинское: это не стихъ, который довольно плохъ, но шаловливая вольность, чуждая того, что французы называють pruderie, и столь своиственная Пушкниу. Онъ писколько не думаетъ скрывать отъ свята того, что все делають съ наслаждениемъ наедине, но о чемъ всв при другихъ говорятъ топомъ строгой морали; онъ называетъ всъхъ своихъ любимыхъ писателей... Юношеская запосчивость, безпрестанно придпрающаяся сатирой къ бездарнымъ писакамъ и особенно главь ихъ, извъстному Свистову, также характеризуетъ Пушкина.

Въ нѣкоторыхт изъ "лицейскихъ" стихотвореній сквозь подражательность проглядываеть уже чисто Пушкинскій элементь поэзіи. Такими пьесами считаемъ мы слѣдующія: "Окно".

"Элегін" (числомъ восемь), "Горацій", "Усы", "Желаніе", "Заздравный кубокъ", "Къ товарищамъ передъ выпускомъ". Онъ не вст равнаго достоинства, но иткоторыя по тогдашнему времени просто прекрасны. А тогдашиее время было очень невзыскательно и неразборчиво. Оно издало (1815—1817) двънадцать томовъ "Образцовыхъ русскихъ сочиненій и переводовъ въ стихахъ и прозъ" и потомъ (1822—1824) ихъ же переиздало съ исправленіями, дополненіями и умноженіемъ п, наконецъ, не довольствуясь этимъ, напечатало (1821—1822) "Собраніе новыхъ русскихъ сочиненій и переводовъ въ стихахъ и прозъ, вышединхъ въ свъть отъ 1816 по 1821 годъ", и "Собраніе новыхъ русскихъ сочинецій и переводовъ въ стихахъ и прозъ, вышедшихъ въ свътъ съ 1821 по 1825 годъ". Большая часть этихъ "образцовыхъ" сочиненій весьма легко могли бы почесться образчиками бездарности и безвкусія. "Воспоминанія въ Царскомъ Сель" Пушкина были двиствительно одной изъ лучшихъ пьесъ этого сборника, а Пушкипъ пикогда не помъщаль этой пьесы въ собраніи своихъ сочиненій, какъ будто не признавая ее своей, хотя она и напомивала ему одну изъ лучшихъ минутъ его юности! И потому стихотворенія Пушкина, о которыхъ мы начали говорить. им вли бы полное право, особенно тогда, см вло итти за образцовыя и не вы такомъ сборникъ; только черезъ мъру строгій художническій вкусь Пушкина могъ исплючить изъ собранія его сочиненія такую пьесу, какъ напримірь "Горацій". Переводъ изъ Горація, или оригинальное произведеніе Пушкина въ гораціанскомъ духв, — что бы ни была она, только никто ни изъ старыхъ ни изъ новыхъ русскихъ переводчиковъ и подражателей Горація не говориль такимъ гораціанскимъ языкомъ и складомъ и такъ върно не передавалъ индивидуальнаго характера гораціанской поэзій, какъ Пушкий въ этой пьесь, къ тому же и написанной прекрасными стихами. Можно ли не слышать въ нихъ живого Горація? --

Кто изъ боговъ мив возвратиль Того, съ къмъ первые походы И браней ужасъ я дълилъ, Когда за призракомъ свободы Насъ Брутъ отчаянный водилъ; Съ къмъ я тревоги боевыя Съ шатръ за чашей забывалъ, И кудри, плющемъ увитыя,

Спрійскимъ мирромъ умащалъ? Ты помишь часъ ужасной битвы, Когда я, трепетный квирить, Бѣжалъ, нечестно броспвъ щить, Творя объты и молитвы? Какъ я боялся, какъ бъжалъ! Но Эрмій самъ внезапной тучей Меня покрылъ и вдаль умчалъ II спасъ отъ смерти неминучей. А ты, любимецъ первый мой, Ты снова въ битвахъ очутился... II нынъ въ Римъ ты возвратился. Въ мой домикъ темный и простой. Садись подъ сѣнь монхъ пенатовъ! Давайте чаши; не жальй Ни винъ моихъ ни ароматовъ! Готовы чащи; мальчикъ! лей; Теперь некстати воздержанье: Какъ дикій скиоъ, хочу я пить II, съ другомъ празднуя свиданье, Въ винъ разсудокъ утопить.

Въ этомъ стихотворени видна художническая способность Пушкина свободно переноситься во всё сферы жизни, во всё вёка и страны, — виденъ тотъ Пушкинъ, который при концё своего поприща, нёсколькими терцинами въ духё Дантовой "Божественной комедін", познакомилъ русскихъ съ Дантомъ больше, чёмъ могли бы это сдёлать всевозможные переводчики. — какъ можно познакомиться съ Дантомъ, только читая его въ подлинникъ... Въ слёдующей маленькой элегін уже виденъ будущій Пушкинъ — не ученикъ, не подражатель. а самостоятельный поэтъ:

Медлительно влекутся дни мои,
И каждый мигь въ увядшемъ сердцѣ множитъ
Всѣ горести несчастливой любви
И тяжкое безуміе тревожитъ.
Но я молчу; не слышенъ ропотъ мой.
Я слезы лью... мнѣ слезы утѣшенье.
Моя душа, объятая тоской,
Въ нихъ горькое находитъ наслажденье.
О, жизни сонъ! лети, не жаль тебя!
Исчезии въ тьмѣ, пустое привидѣнье!
Мнѣ дорого любви моей мученье,
Пускай умру, но пусть умру — любя!

Въ пьесъ "Къ товарищамъ передъ выпускомъ" въстъ духъ, уже совершенно чуждый прежней поэзіи. И стихъ, и понятіе, и способъ выраженія — все ново въ ней, все имъстъ корнемъ своимъ простой и върный взлядъ на дъйствительность, а не мечты и фантазіи, облеченныя въ прекрасныя фразы. Поэтъ, готовый съ товарищами своими выйти на большую дорогу жизни, мечтаетъ не о томъ, что всъ они достигнутъ и богатства, и славы, и почестей, и счастья, а предвидитъ то, что всего чаще и всего естественнъе бываетъ съ людьми:

Разлука ждеть нась у порогу;
Зоветь нась свъта дальній шумь,
II каждый смотрить на дорогу
Въ волненьи юныхъ, пылкихъ думъ.
Иной, подъ киверъ сирятавъ умъ,
Уже въ воинственномъ нарядѣ
Гусарской саблею махнулъ:
Въ крещенской утренней прохладѣ
Красиво мерзнеть на парадѣ,
А грѣться ѣдетъ въ караулъ.
Другой, рожденный быть вельможей,
Не честь, а почести любя,
У илута знатнаго въ прихожей
Покорнымъ илутомъ зритъ себя.

Несмотря на всю незрълость и дътскій характеръ первыхъ опытовъ Пушкина, изъ нихъ видно, что онъ глубоко и сильно сознаваль свое признаніе, какъ поэта, и смотръль на него, какъ на жречество. Его восхищала мысль объ этомъ признаніи, и онъ говорилъ въ посланіи къ Дельвигу:

Мой другь! и я пъвецъ! и мой смиренный путь Въ цвътахъ украсила богиня пъснопънья, И мит въ младую боги грудь Вліяли пламень вдохновенья!

Жажда славы сильно волновала эту молодую и пылкую душу, и заря поэтическаго безсмертія казалась ей лучшей цълью бытія:

> Ахъ, въдаетъ мой добрый геній, Что предпочель бы я скоръй Безсмертію души моей Безсмертіе своихъ твореній.

Такихъ и подобныхъ этимъ стиховъ, доказывающихъ, сколь много занимало Пушкина его поэтическое призваніе, очень

много въ его "лицейскихъ" стихотреніяхъ. Между ними замъчательно стихотвореніе "Къ моси чернильницъ":

> Подруга думы праздной, Черипльница моя! Мой въкъ однообразный Тобой украсиль я. Какт часто, друг веселья, Съ тобою забывалъ Условный чась похмелья II праздничный бокаль! Подъ сънью хаты скромной, Въ часы печали томной, Была ты предо мной Съ лампадой и мечтой. Въ минуту вдохновенья Къ тебѣ я прибъгалъ II музу призывалъ На пиръ воображенья. Сокровища мои На диъ твоемъ таятся... Тебя я посвятиль Занятіемъ досуга И съ лънью примирилъ: Она твоя подруга! Сь тобой успъхь узналь Отшельникъ неизвъстный... Завътный твой кристалль Хранить огонь небесный; И подъ-вечеръ, когда Перо по книжкть бродитг, Безъ всякаго труда Оно въ тебъ находитъ Концы монхь стиховъ II вырность выраженья, То звуково или слови Нежданное стеченье, То покой шутки соль, То странность ривмы новой, Неслыханной дотоль.

Воть уже какъ рано проснулся въ Пушкинъ артистическій элементь: еще отрокомъ, безъ всякаго труда находя въ чернильницъ концы своихъ стиховъ, думалъ онъ о върности выраженья и задумывался надъ неожиданнымъ стеченіемъ звуковъ или словъ и странностью дотолъ неслыханной, новой риемы! Къ такимъ же чертамъ принадлежатъ кольность и

смылость въ понятіяхъ и словахъ. Въ одномъ посланіи онт. говорить:

Устрой гостямь пирушку:
На столикь вощаной
Поставь пивную кружку
И кубокь пуншевой.

За исключеніемъ Державина, поэтической натуръ котораго никакой предметь не казался низкимъ, изъ поэтовъ прежняго времени никто не решился бы говорить въ стихахъ о пивной кружкъ, и самый пуншевый кубокъ каждому изъ нихъ показался бы прозапческимъ: въ стихахъ тогда говорилось не о кружкахъ, а о фіалахъ, не о пивъ, а объ амброзіп и другихъ благородныхъ, но не существующихъ на бъломъ свъть напиткахъ. Затъявъ писать какую-то новгородскую повъсть "Вадимъ", Пушкинъ, въ отрывкъ изъ нея, употребилъ стихъ: "Но тынъ обросъ кропивой дикой". Слово тынъ, взятое прямо изъ міра славянской и новгородской жизни, поражаетъ сколько своей смелостью, столько и поэтическимъ инстинктомъ поэта. Изъ прежнихъ поэтовъ, едва ли бы кто не испугался пошлости и прозаичности этого слова. Мы нарочно приводимъ эти, повидимому, мелкія черты изъ "лицейскихъ" стихотвореній Пушкина, чтобы ими указать на будущаго преобразователя русской поэзіи и будущаго національнаго поэта. Теперь странно видъть какую-то смълость въ употреблении слова тынъ; но мы говоримъ не о теперепінемъ, а о прошломъ времени: что легко теперь, то было трудно прежде. Теперь всякій риемачь смѣло употребляеть въ стихахъ всякое русское слово, но тогда слова, какъ и слогъ, раздълялись на высокія и низкія, и фальшивый вкусъ строго запрещалъ употребленіе последнихъ. Нуженъ былъ талантъ могучій и смелый, чтобъ уничтожить эти австралійскіе табу въ русской литературъ. Теперь смёшно читать нападки тогдашнихъ аристарховъ на Пушкина, — такъ они мелки, ничтожны и жалки; но аристархи упрямо считали себя хранителями чистоты русскаго языка и здраваго вкуса, а Пушкина — исказителемъ русскаго языка и вводителемъ всяческаго литературнаго и поэтическаго безвкусія...

Изъ тъхъ "лицейскихъ" стихотвореній Пушкина, которыя мы назвали лучшими и наиболье самостоятельными его про-

изведеніями, пъкоторыя впоследствін онъ измівниль и переделаль, и внесъ въ собраніе своихъ сочиненіи.

Такова напримъръ пьеса "Друзьямъ".

Къ чему, веселые друзья, Мое тревожитъ васъ молчанье? Запъвъ послъднее прощанье, Ужъ муза смолкнула моя. Напрасно лиру взяль я въ руки Бряцать веселья на пирахъ, II на ослабленныхъ струнахъ Искалъ потерянные звуки. Богами вамъ еще даны Златые дни, златые ночи, И на любовь устремлены Огнемъ исполненныя очи! Играйте, пойте, о друзья! Утратьте вечеръ скоротечный, II ващей радости безпечной Сквозь слезы улыбнуся я.

Впоследствін Пушкинь такъ переделаль эту пьесу:

Богами вамъ еще даны Златые дни, златыя ночи, И томныхъ дѣвъ устремлены На васъ внимательныя очи. Играйте, пойте, о друзья! Утратьте вечеръ скоротечный, И вашей радости безпечной Сквозь слезы улыбнуся я.

Бълинскій.

Значеніе лицейскихъ стихотвореній Пушкина.

Будучи изданы только въ 1841 году, когда уже были обнародованы почти всъ зрълыя произведенія Пушкина, лицейскія его стихотворенія могли быть разсматриваемы и цънимы только съ исторической точки зрънія. Шевыреву первому пришлось высказаться по этому поводу, и въ своей стать о посмертномъ изданіи сочиненій Пушкина онъ писалъ объего лицейскихъ стихотвореніяхъ слъдующее: "Въ Перуджій, школь младенца Рафаэля, есть знаменитый Palazzo del cambio, и въ немъ зала, расписанная Петромъ Перуджинскимъ и его учениками. Здъсь пеленки и колыбель живописца Рафаэля,

здысь въ первыи разъ является кисть отрока-генія, и между трудами другихъ учениковъ вы стараетесь отгадать то, что принадлежитъ вдохновенному. Съ какимъ чувствомъ смотришь на первые опыты этой кисти, которая была назначена для Мадонны и Преображенія. Съ чувствомъ еще сильнійшимъ перечитывали мы лицейскія стихотворенія Пушкина: это его пеленки, его колыбель, гдв развивалось могучее младенчество поэта. Это его школа, изъ которой ясиветь цамъ все первоначальное его развитіе. Къ этому присоединяются и воспоминанія о нашей собственной юности и всего покольнія, намъ современнаго: сколько туть стиховъ, которые мы поминан наизусть въ прежнее время! Вст мы, хотя воспитанные совершенно иначе, праздновали юпость свою подъ вліяніемъ музы Пушкипа... Эти стихотворенія замбилють намъ записки объ юности Пушкина. Здъсь, въ его пъсняхъ и сердечныхъ дружескихъ изліяціяхъ, можно видъть, какъ бурно, шумно и весело она развивалась. Какой свободный разгуль во всъхъ ея гръхахъ и шалостяхъ! Какъ все это естественно и върно! Въ ней нътъ ни мрачнаго раздумья, ни преждевременнаго разочарованія, инчего, что могло бы ръзко противоръчить ея природъ". Три года спустя, постоянный антогонисть Шевырева — Бълинскій высказаль о лицейских в стихотвореніях в Пушкина сужденіе, близкое къ только что приведенному: "Лицейскія стихотворенія Пушкина, кромѣ того, что показываютъ, при сравнении съ послъдующими его стихотворениями, какъ скоро выросъ и возмужаль его поэтическій геній, особенно важны еще въ томъ отношеніи, что въ нихъ видна историческая связь Пушкина съ предшествовавшими ему поэтами; изъ нихъ видно, что онъ былъ сперва счастливымъ ученикомъ Жуковскаго и Батюшкова, прежде чъмъ явился самостоятельнымъ мастеромъ.. Лицейскія стихотворенія не богаты поэзіей, но часто удивляють красотой и изяществомъ стиха. Фактура этого стиха совсемъ не Пушкинская; она принадлежить Жуковскому и Батюшкову. Далеко уступая этимъ поэтамъ въ поэзіп, Пушкинъ — едва шестнадцатильтийн юноша — иногда не только не уступалъ въ стихъ, но еще едва ли не смълъе и не бойчъе владълъ имъ".

Впосавдствін было обращено вниманіс преимущественно на біографическое значеніе лицейскихъ стихотвореній, и въ 1855 году Линенковь писаль о нихъ савдующее: "Не говоря

уже объ интересъ, которын связывается даже съ незрълыми произведеніями истиннаго художника, они способствують еще къ уразумьнію правственной его физіономіи въ извъстную эпоху жизни. За неимьніемъ ближайшихъ свъдьній, погибающихъ вмысть съ людьми и даже прежде людей, эти данныя имьють сами по себь немаловажное достоинство".

Но особенно ярко очерчено значеніе лицейскихъ стихотворенін Нушкина для исторін его жизни и творчества Гротомъ. Самъ старый лиценстъ, хорошо знакомый съ преданіями Пушкинскаго времени, опъ съ особенною любовью останавливался на лицейскихъ стихотвореніяхъ Пушкина. "Конечно, говорилъ Гротъ, — послъдующія его произведенія зрълже и совершените, по и ранніе стихи его, въ которыхъ такъ ярко отразилась его игривая и кипучая молодость, въ которыхъ талантъ его уже является съ такимъ изумительнымъ блескомъ, возбуждають живой интересь. Мы видимь въ шихъ первые взмахи крыльевъ могучаго орла, мы въ нихъ уже предчувствуемъ и предвкушаемъ его будущее величіе. Если намъ вообще дороги подробности о детстве и юности замечательнаго человъка, то тъмъ болъе цънны впечатлънія и мысли, имъ самимъ выраженныя въ этомъ возрастъ. Кромъ того, лицейскія стихотворенія Пушкина заслуживають особеннаго винманія еще и потому, что періодъ его воспитанія въ Царскомъ Селъ нашелъ такой сильный отголосокъ во всей его дальнъйшей поэтической дъятельности".

Переходя затъмъ къ ближайшей характеристикъ лицейскихъ стихотвореній, Гротъ говоритъ: "прежде всего насъ поражаетъ масса того, что написано Пушкинымъ въ лицев; его стихотворенія этой эпохи, числомъ около 130, составляютъ цълую порядочную книгу. Такая производительность, при достоинствахъ написаннаго, указываетъ уже на могущество таланта. Нѣкоторые товарищи Пушкина, также не лишенные поэтическаго дарованія, далеко отстали отъ него и въ этомъ отношеніи. Тѣмъ не менѣе, дружное соединеніе столькихъ молодыхъ талантовъ въ возникающемъ учебномъ заведеніи представляетъ явленіе необыкновенное. Эти отроки на 14-мъ и 15-мъ году жизни вступаютъ уже въ спошенія съ редакторами журналовъ, которые охотно принимаютъ и печатаютъ ихъ труды. Къ образованію этого литературнаго сообщества способствовали многія обстоятельства... Но главнымъ виновни-

комъ и двигателемъ литературной жизни съ новомъ училицъ быль все-таки Пушкинь, и безъ него это направление, конечно, не достигло бы тамъ такого поразительнаго развитія. Можно, сказать, что Пушкинъ, поступая въ лицей двънадцати лътъ отъ роду, по своимъ занятіямъ и связямъ, уже былъ литераторомъ: съ девятилътняго возраста онъ зачитывался библютекъ своего отца французскими поэтами и лично познакомился съ извъстиъйцими русскими писателями: Карамзинымъ, Дмитріевымъ, Батюшковымъ, Жуковскимъ". Въ подтвержденіе своего мивція о раннемъ литературномъ развитін Пушкина и о вліяній его на товарищей въ этомъ отношеній Гротъ приводитъ следующія слова изъ письма лиценста Илличевскаго, писаннаго въ мартъ 1812 года, т.-е. чрезъ полгода но открытіи Лицея: "Что касается до монхъ стихотворческихъ занятій, я въ нихъ успъль чрезвычайно, имъя товарищемъ одного молодого человъка, который, живши между лучшими стихотворцами, пріобрълъ много въ поэзін знаній и вкуса". "Этимъ учителемъ своихъ товарищей, -- добавляетъ Гротъ, -быль Пушкинь, младшій изъ нихь по льтамь, но на котораго они невольно смотрѣли какъ на старшаго". Какъ извъстно, Пушкинъ учился въ лицев плохо, но, замвчаеть Гротъ, приводя слова Илетнева, — "несмотря на видимую свою невнимательность изъ преподаванія предметовъ, выносиль болье, нежели его товарищи". Особенно же вознаграждаль онъ недостатки преподаванія и приготовленія уроковъ чтеніемъ, и при своей необыкновенной памяти быстро усвоивалъ себъ навсегда все пріобрътенное этимъ путемъ. "Читая его лицейскія стихотворенія, — прододжаетъ Гротъ, — мы замъчаемъ, что онъ знаетъ чрезвычайно много, и не можемъ не приписать этого частью его начитанности, частью наблюдательности, быстротъ пониманія да еще свойственной геніальнымъ людямъ способности угадывать то, что людямъ обыкновеннымъ дается только долговременнымъ опытомъ. Сюда относится особенно раннее знаніе челов'вческаго сердца и пониманіе людскихъ сграстей и отношеній. Не упоминаю о живости чувствъ, о пылкости воображенія, о юношеской игривости ума, которыя у Пушкина присоединались къ сказаннымъ свойствамъ".

Гротъ отмъчаетъ также тъ положительныя знанія, отраженіе которыхъ можно найти въ лицейскихъ стихотвореніяхъ

Пушкина. Здъсь должно быть прежде всего указано знакомство юнаго поэта съ греческимъ и римскимъ міромъ. "Еще въ родительскомъ домф, - говоритъ Гротъ, -- до поступленія въ лицей, онъ прочелъ въ переводъ Битобо всю "Иліаду" и "Одиссею". А въ лицев Пушкинъ слушалъ Кошанскаго, который, "объясняя на своихъ урокахъ произведенія древнихъ, присовокупляль къ тому толкованія изъ исторіи литературы и минологін" и употребляль для того "Ручиую кингу древней классической словесности" Эшенбурга, имъ переведенную и изданиую въ 1817 году. "Такимъ образомъ, — по мифнію Грота, — намъ становится яснымъ, почему Пушкинъ еще въ Лицев такъ любилъ заимствовать изъ древияго міра образы и сюжеты для своихъ стихотвореній". Другую область, въ которой еще въ стънахъ лицея Пушкинъ является съ твердыми свъдъніями, составляеть русское слово. "Необыкновенное знаніе родного языка, — замічаеть Гроть, поражаеть нась въ самыхъ раниихъ произведеніяхъ Пушкина. Правда, что онъ нашель русскій поэтическій языкь уже значительно обработаннымъ въ стихахъ Жуковскаго и Батюшкова; но Пушкинъ скоро придаль ему еще большую свободу, простоту и естественность, болже и болже сближая его съ языкомъ народнымъ. Замътимъ, что въ самомъ постановленіи о преподаванін въ Лицев было правило: избъгать всякой высокопарности, но это правило не всегда умъли соблюдать и сами преподаватели, какъ показывають дошедшее до насъ отрывки изъ ихъ ръчей. На перекоръ имъ Пушкинъ опередилъ въ этомъ отношенін свое время".

Въ заключение нашихъ извлечений изъ статьи Грота, приведемъ еще слѣдующее его наблюдение, вполнѣ справедливое: "По настроению поэта лицейския стихотворения его замѣтно распадаются на два отдѣла или двѣ эпохи: первая продолжается отъ 1812 года приблизительно до осени 1816, вторая отъ этого времени до выпуска его въ июнѣ 1817 года. Въ первой преобладаетъ веселое эротическое направление, выражающееся въ игривой, легкой и граціозной формѣ; вторая, наступившая вслѣдствие сильнаго сердечнаго увлечения, отличается меданхолическимъ характеромъ и строгой формой большей части стихотвореній".

Моментомъ оставленія Липея въ іюнъ 1817 года, собственно говоря, оканчивается лицейская пора творчества Пушкина.

Но, разумьется, покидая Лицей, онъ не сразуразстался съ литературными пріемами, которые употребляль въ то время: ихъ можно замѣтить въ его произведеніямъ въ теченіе еще итсколькихъ лѣтъ.

Маісковъ.

Нереходныя стихотворенія Пушкина.

Въ переходныхъ стихотвореніяхъ виденъ уже Пушкинъ, но еще болъе или менъе върный литературнымъ предаціямъ, еще ученикъ предшествовавнихъ ему мастеровъ, хотя часто и побъждающій своихъ учителей, поэтъ даровитый, но еще несамостоятельный и — если можно такъ выразиться — объщающій Пушкина, но еще не Пушкинъ. Въ этихъ переходныхъ стихотвореніяхъ 'видна живая историческая связь Пушкина съ предшествовавшей ему литературой, и они перемъщаны съ пьесами, въ которыхъ виденъ уже зрълый талантъ и въ которыхъ Пушкинъ являетси истиннымъ художникомъ, творщомъ новой поэзій на Руси.

Такими переходными пьесами счигаемъ мы слъдующія: "Къ .Інцинію", "Гробъ Анакреона", "Пробужденіе", "Друзьямъ", "Пъвецъ", "Амуръ п Гименей", "Ш-ву", "Торжество Вакха", "Разлука", "П—ну", "Дельвигу", "Выздоровленіе", "Прелестинцъ", "Жуковскому", "Увы, зачъмъ она блистаетъ", "Русалка", "Стансы Т-му", "В-му", "Кривцову", "Черная шаль", "Дочери Карагеоргія", "Война", "Я пережилъ мои мечтанья", "Гробъ юноши", "Къ Овидію", "Пъснь о Въщемъ Олегъ", "Друзьямъ", "Гречанкъ", "Сводъ неба мракомъ обложился", "Телъга жизни", "Прозерпина", "Вакхическая пъсня", "Козлову", "Ты и вы" и нъсколько эпиграммъ, которыми оканчивается вторая часть и которыми Пушкинъ заплатилъ певольную дань тому времени, когда онъ вышелъ на поэтическое поприще. Эпиграммы, мадригалы, надписи къ портретамъ были тогда въ большомъ ходу и составляли особенный родъ поэзін, которому въ пінтикахъ посвящалась особая глава. Только Державинъ и Жуковскій, не писали эпиграммъ; но Батюшковъ былъ до нихъ большой охотникъ, и, въроятно, его-то примъръ особенно увлекъ Пушкина.

Замъчательно, что во второй части собранія стихотвореніи Пушкина уже меньше переходныхъ пьесъ, а въ третьей ихъ

совсьмъ изтъ: въ ней содержатся только пьесы, проникнутыя пасквозь самобытнымъ духомъ Пушкина и отдичающіяся вствить совершенствомъ художественной формы его созравшаго и возмужавшаго генія. Въ первой части всего больше переходныхъ пьесъ; по въ ней же между переходными пьесами есть довольно и такихъ, которыя по содержанию и по формъ обличають уже оригинальность, и самостоятельность, составляющія характеръ Пушкинской поэзін. Чтобы ясиве было нашимъ читателямъ, что мы разумбемъ подъ "переходными" стихотвореніями Пушкина, мы поименуемъ и противоположныя имъ чисто Пушкинскія пьесы, находящіяся въ первоп части; они начинаются не прежде, какъ съ 1819 года, въ такомъ порядкъ: "Мечтателю", "Уединеніе", (которое, впрочемъ, только но содержанію, а не по формъ, можно отнести къ числу чисто Пушкинскихъ ньесъ), "Домовому", "N. N.", "Недоконченная картина", "Возрожденіе", "Погасло дневное свътило", и въ особенности начинающіяся съ 1820 г.: "Виноградъ", О дъва-роза, я въ оковахъ", "Доридъ", "Ръдъетъ облаковъ летучая гряда", "Неренда", "Дорида", "Ч — ву", "Мой другъ, забыты мной следыминувшихъ летъ", "Умолкпу скоро я", "Муза", "Діонея", "Дъва", "Примъты", "Земля и море", "Красавица передъ зеркаломъ", "Алексфеву", "Ч-ву" ("Люблю вашъ сумракъ пензвъстный", "Простишь ли миъ ревинвыя мечты", "Ненастный день потухъ", "Ты вянешь и молчишь"; "Къ морю", "Коварпость", "Ночной зефиръ" и "Подраженія корану". Обо всёхъ этихъ пьесахъ наша ръчь впереди; скажемъ сперва иъсколько словъ только о "переходныхъ".

Въ переходныхъ пьесахъ Пушкинъ больше всего является счастливымъ ученикомъ прежнихъ мастеровъ, особенно Батюшкова, — ученикомъ, побъдившимъ своихъ учителей. Стихъ его уже лучше, чъмъ у нихъ, и пьесы въ цъломъ отличаются большей выдержанностью. Собственно Пушкинскій элементъ въ нихъ составляетъ элегическая грусть, преобладающая въ нихъ. Съ перваго раза замътно, что грусть болье къ лицу музъ Пушкина, болье родственна ей, чъмъ веселая и шаловливая шутливость. Часто иная пьеса начинается у него игриво и весело, а заключается унылымъ чувствомъ, которое, какъ финальный аккордъ въ музыкальномъ сочиненіи, одинъ остается на дунгъ, изглаживая въ ней всъ предшествовавшія впечатльнія. Маленькое стихотвореніе "Друзьямъ" можетъ

служить образцомъ такихъ пьесъ и доказательствомъ справедливости нашей мысли. Поэтъ говоритъ о шумномъ диѣ разлуки, о буйномъ пирѣ Вакха, о кликахъ безумной юности, при громѣ чашъ и звукѣ лиръ, и о той широкой чашѣ, которая, удовлетворяя скиескую жажду, вмѣщала въ свои цирокіе края цѣлую бутылку, — и вдругъ эта веселая, шаловливая картина неожиданно заключается такой элегической чертой:

Я пиль и думою сердечной Во дни минувшіе леталь ІІ горе жизни скоротечной ІІ сны любви воспоминаль.

Но грусть Пушкина не есть сладенькое чувствованьще ивжной, но слабой души; это всегда грусть души мощной и крыпкой, и тымь обаятельные дыйствуеть она на читателя, тымь глубже и сильные отзывается вы самыхы сокровенныхы тайникахы его сердца, и тымы гармоничиые потрясаеть его струны. Нушкины инкогда не расплывается вы грустномы чувствы; оно всегда звениты у него, но не заглушая гармоніи другихы звуковы души и не допуская его до монотонности. Иногда, задумавшись, оны какы будто вдругы встряхиваеты головой, какы левы гривой, чтобы отогнать оты себя облако унынія, и мощное чувство бодрости, не изглаживая совершенно грусти, даеть ей какой-то особенный освыжительный и укрыпляющій душу характеры. Такы и вы приведенной нами сейчась пьесы внезапное чувство мгновенной грусти тотчасы же смышлось у него бодрымы и широкимы размахомы прояснывней души:

Меня смѣшила ихъ измѣна: И скорбь исчезла предо мной, Какъ исчезаетъ въ чашахъ пѣна Подшипѣвшею струей.

Изъ переходныхъ пьесъ Пушкина лучшія тѣ, въ которыхъ болѣе или менѣе проглядываетъ чувство грусти, такъ что пьесы, вовсе лишенныя его, отзываются какой-то прозаичностью, а при немъ и незначительныя пьесы получаютъ (значеніе. Такъ, напримѣръ, пьеса "Я пережилъ мои желанья" какъ ни слаба она, невольно останавливаетъ на себѣ вниманіе читателя своимъ послѣднимъ куплетомъ:

Такъ позднимъ хладомъ пораженный, Какъ бури слышенъ зимній свисть, Одинъ на въткъ обнаженной Трепещетъ запозлалый листъ.

Сколько этой поэтической грусти, этого поэтическаго раздумья въ прелестномъ стихотвореніи "Гробъ юноши"!

А онъ увяль во цвътъ лътъ!

И безъ него друзья пирують,
Другихъ ужъ полюбить успъвъ;
Ужъ ръдко, ръдко именуютъ
Его въ бесъдъ юныхъ дъвъ.
Изъ милыхъ женъ, его любившихъ.
Одна, быть можеть, слезы льетъ
И память радостей почившихъ
Иривычной думою зоветъ...
Къ чему?

Все окончаніе этой прекрасной пьесы, заключающее въ себъ картину гроба юпоши, дышить такой свътлой, ясной и отрадной грустью, какую знала и дала знать міру только поэтическая душа Пушкина... Пьеса "Къ Овидію" въ цъломъ сбивается итсколько на старинный дидактическій тонъ послацій, но въ немъ много прекраснаго, и особенно начиная со стиха: "Суровый славянинъ, я слезъ не проливалъ", дојстиха: "Неслися издали, какъ томный стонъ разлуки"; и лучшую сторону этого стихотворенія составляеть его элегическій тонъ.

Изъ переходныхъ стихотвореній Пушкина слабъйшими можно считать: "Русалку", "Черную шаль", "Сводъ неба мракомъ обложился". "Русалка" прекрасна по идев, по поэтъ не совладалъ съ этой идеей, — и кто хочетъ понять, до какой степени прекрасна и исполнена поэзіи эта идея, тотъ долженъ видъть превосходное произведеніе нашего даровитаго живописца Моллера. Въ этой картинъ художинкъ воспользовался заимствованной имъ у поэта идеей песравненно лучше, чъмъ самъ поэтъ, "Русалка" Пушкина отзывается юношеской пезрълостью; "Русалка" Моллера есть богатое и роскошное созданіе зрълаго таланта. — "Черная шаль" при своемъ появленій возбудила фуроръ въ русской читающей публикъ, но, подобно "Гусару" Батюнкова, теперь какъ-то опошлилась и чрезвычайно правится любителямъ "пъсеншиковъ". Теперь очень не ръдкость услышать, какъ поетъ эту пьесу какой-

нибудь разгульный простолюдинъ вмъстъ съ пъсней Θ . Глинки: "Вотъ мчится тройка удалая", или: "Ты не повършиь, какъ ты мила"... "Сводъ неба мракомъ обложился" есть не что иное, какъ отрывокъ изъ новгородской поэмы "Вадимъ", которую затъвалъ было Пушкинъ въ своей юности и которой суждено было остаться неоконченной. Одинъ отрывокъ помъщенъ между "лицейскими" стихотвореніями, въ IX томъ, подъ названіемъ "Сонъ", и Пушкинъ не хотълъ его печатать. Стихъ отрывка "Сводъ неба мракомъ обложился" хорошъ, но прозаиченъ. Герои, выставленные Пушкинымъ въ этомъ отрывкъ, — славяне; одинъ — старикъ, другой — прекрасный юноша съ кручиной въ глазахъ —

На немъ одежда славянина И на бедръ славянскій мечъ, Славянъ вотъ очи голубыя, Вотъ ихъ и волосы златые, Волнами падшіе до плечъ.

Старикъ — человъкъ бывалый:

Видаль онь дальнія страны, По сушт, по морю носился, Во дни бывалы, дни войны На западт, на югт бился, Дтля добычу и труды Съ суровымъ племенемъ Одена. И предъ нимъ враговъ ряды Бтжали, какъ морская птна, Въ часъ бури, къ чернымъ берегамъ. Внималъ онъ радостнымъ хваламъ И арфамъ скальдовъ изступленныхъ И очи дтвъ иноплеменныхъ Красою чуждой привлекалъ.

Очевидно, что это не тѣ славяне, которые втихомолку отъ исторіи и украдкой отъ человѣчества жили да поживали себѣ въ степяхъ, болотахъ и дебряхъ нынѣшней Россіи; но славяне карамзинскіе, которыхъ существованіе и образъ жизни не подвержены ни малѣйшему сомиѣнію только въ "Исторіи Государства Россійскаго". Изъ такихъ славянъ нельзя было сдѣлать поэмы, потому что для поэмы нужно дѣйствительное содержаніе, и ся героями могутъ быть только дѣйствительные люди, а не ученыя фантазіи и не историческія гипотезы... Кто видаль славянскіе мечи? Дреколья и теперь можно видѣть...

Кто видаль славнискую боевую одежду времень баснословнаю Вадима, или баснословнаго Гостомысла?... Ланти и сермяги можно и теперь видъть...

"Ивснь о Въщемъ Олегъ" — совсъмъ другое дъло; поэть умълъ набросить какую-то поэтическую туманность на эту болье лирическую, чъмъ эпическую ньесу, — туманность, которая очень гармонируетъ съ исторической отдаленностью представленнаго въ ней героя и событія и съ исопредвленностью глухого преданія о шкъ. Оттого пьеса эта исполнена поэтической прелести, которую особенно возвышаетъ разлитый въ ней элегическій тонъ и такой-то чисто русскій складъ изложенія. Пушкинъ умълъ сдълать интереснымъ даже коня Олегова, — и читатель раздъляєть съ Олегомъ желаніе взглянуть на кости его боевого товарища:

Воть вдеть могучій Олегь со двора, Съ нимъ Игорь и старые гости, И видять: на холмѣ, у берега. Днѣпра, Лежать благородныя кости; Ихъ моють дожди, засыпаеть ихъ пыль, И выперь волнуеть надъ ними ковыль...

Вся пьеса эта удивительно выдержана въ тонъ и въ содержани: послъдній куплеть удачно замыкаетъ собой поэтическій смыслъ цълаго и оставляеть на душъ читателя полное впечатльніе:

Ковши круговые запѣнясь шипять
На тризнѣ плачевной Олега:
Князь Игорь и Ольга на холмѣ сидять;
Дружина пируеть у берега;
Бойцы поминають минувшіе дни
И битвы, гдѣ вмѣстѣ рубились они:

Пельзя того же сказать о всёхъ переходиыхъ пьесахъ Пушкина въ отношени къ выдержанности и цёлостности; во многихъ изъ нихъ не чувствуешь, чтобъ оне были кончены на месте, или чтобъ въ нихъ не было сказано лишняго, или чтобъ въ нихъ было сказано, что бы можно и должно было сказать. Этого недостатка совершенно чужды пьесы чисто Пушкинскія, и совершеннымъ отсутствіемъ въ нихъ этого недостатка Пушкинъ резко отделяется отъ всёхъ предшествовавшихъ ему поэтовъ.

Нечисляя пьесы Пушкина въ первой части, мы не упомянули объ одной изъ замъчательныхъ — "Наполеонъ". Это стихотвореніе двойственно: въ нъкоторыхъ куплетахъ его видишь Пушкина самобытнаго, а въ пъкоторыхъ чувствуешь что-то переходное. Такія мысли, высказанныя такими стихами, какъ эти, могли принадлежать только великому поэту:

> Надъ урной, гдѣ твой прахъ лежитъ, Народовъ ненависть почила, И лучъ безсмертія горить.

. Пскуплены его стяжанья II зло воинственныхъ чудесъ Тоскою душною изгнанья Подъ сѣнью чуждою небесъ! II знойный островъ заточенья Полночный парусь посттиль, И путникъ слово примиренья На ономъ камиъ начертилъ. Гдѣ, устремивъ на волны очи, Пзгнанникъ помнилъ звукъ мечей, II льдистый ужасъ полуночи, II небо Францін своей; Гдъ пногда въ своей пустынъ, Забывъ войну, потомство, тронъ, Одинъ, одинъ о миломъ сынъ Въ изгнаньи горькомъ думалъ онъ. Да будеть омрачень позоромь Тотъ малодушный, кто въ сей день Безумнымъ возмутить укоромъ Его развънчанную тынь! Хвала!... онъ русскому народу Высокій жребій указаль, II міру в'вчную свободу Изъ мрака ссылки завъщалъ.

Но все остальное въ этой пьесъ какъ-то ръзко отзывается тономъ декламація и ифсколько напряженной восторженностью, подъ которой скрывается болье раздраженія, чъмъ вдохновенія. Впрочемъ и тутъ много оригинальнаго, что было до Пушкина неслыхано и невидано въ русской поэзіи, какъ напримъръ, выраженія: "осужденный властитель, могучій баловень побъдъ, изгнанникъ вселенцой, для котораго настаетъ потомство, обезславленная земля, своенравная воля, блистательный позоръ" и тому подобныя. Отчасти то же можно сказать и о другомъ превосходномъ произведеніи Пушкина—"Андрен Шенье", которое помѣщено во второи части и было написано уже въ 1825 году. Пять куплетовъ, которыми начинается эта элегія, сильно отзываются декламаціей, которая совсѣмъ не въ натурѣ Пушкинскаго духа и которая ноказываетъ, какъ долго удерживалось въ немъ вліяніе воепитавшей его старой школы русской поэзіи. Конецъ этон пьесы тоже нѣсколько натянутъ; но середина, отъ стиха: "Не узнаю васъ, дни славы, дни блаженства" до стиха: "Ты, слава, звукъ пустой"— исполнены всей очаровательности Пушкинской поэзіи.

Есть еще стихотвореніе, котораго мы съ умысломъ не поименовали, чтобы поговорить о немъ особенно: это — "Демонъ", пьеса, которая при своемъ появленіи поразила всѣхъ изумленіемъ по глубокости высказанной въ ней мысли и по совершенству художнической формы. Сказать ли?... Эта пьеса теперь пережила свою славу, и время изрекло надъ ней свои судъ. Есть что-то простодушно-юношеское въ ея выраженіи, и теперь нельзя безъ удыбки читать этихъ, нѣкогда столь дивныхъ стиховъ:

Въ тѣ дни, когда мнѣ были новы Всѣ впечатлѣнья бытія — И взоры дѣвъ, и шумъ дубровы, И ночью пѣнье соловья — Когда возвышенныя чувства, Свобода, слава и любовь, И вдохновенныя искусства Такъ сильно волновали кровь,

и пр. Самъ этотъ демонъ, который прекрасное звалъ мечтой, презиралъ вдохновеніе, не върилъ любви и свободъ, насмъшливо смотрълъ на жизнь, — самъ онъ теперь давно уже поступилъ въ разрядъ демоновъ средией руки, — и теперь совсъмъ не нужно быть демономъ, чтобъ отъ души смъяться надъ той любовью, той свободой, надъ которыми онъ смъялся. Словомъ, этотъ страшный тогда демонъ теперь страшенъ развъ только для слишкомъ юнаго чувства и неопытнаго ума: сердца возмужалыя и умы опытные теперь уже не страшатся и другого демона, пострашнъе Пушкинскаго.

Бълинскій.

Антологическія стихотворенія Пушкина.

Самобытныя мелкія стихотворенія Пушкина не восходять далъе 1819 года, и съ каждымъ слъдующимъ годомъ увеличиваются въ числъ. Изъ нихъ прежде всего обратимъ винмавіе на тъ маленькія пьесы, которыя и по содержанію и по формъ отличаются характеромъ античности и которыя съ перваго раза должны были показать въ Пункинъ художника по превосходству. Простота и обаяніе ихъ красоты выше всякаго выраженія: это музыка въ стихахъ и скульптура въ поэзін. Пластическая рельефность выраженія, строгій классическін рисуновъ мысли, полнота и оконченность цълаго, ивжность и мягкость отдёлки въ этихъ пьесахъ обнаруживаютъ въ Пушкипъ счастливаго ученика мастеровъ древняго искусства. А между темъ онъ не зналъ по-гречески, и вообще многосторонній, глубокій художественный инстинкть замбияль ему изученіе древности, въ школь которой восинтываются всь европейскіе поэты. Этой поэтической натурж ничего не стоило быть гражданиномъ всего міра и въ каждой сферъ жизни быть какъ у себя дома; жизнь и природа, гдъ бы ни встрътилъ онъ ихъ, свободно и охотно ложились на полотиъ подъ его кистью.

До Пушкина было довольно переводовъ изъ греческихъ поэтовъ, равно какъ и подражаній греческимъ поэтамъ; не говоря уже о попыткъ Кострова перевести "Иліаду" и о многочисленпыхъ переводахъ и подражаніяхъ Мерзлякова, много было переведено изъ Анакреона Львовымъ; но, несмотря на все это, за исключеніемъ отрывковъ изъ переводимой Гифдичемъ "Иліады", на русскомъ языкъ не было ни одной строки ин одного стиха, который бы можно было принять за намекъ на древнюю поэзію. Такъ продолжалось до Батюшкова, муза котораго была въ родствъ съ музой эллинской и который превосходно перевелъ ивсколько пьесъ изъ антологіи. Пункинъ почти инчего не переводилъ изъ греческой антологіи, но писаль въ ея духъ такъ, что его оригинальныя пьесы можно принять за образцовые переводы съ греческаго. Это большой шагъ впередъ передъ Батюшковымъ, не говоря уже о томъ, что на сторонъ Пункина большое преимущество и въ достоинствъ стиха. Посмотрите, какъ эллински, или какъ артистически сэто одно и то же) разсказалъ Пушкинъ о своемъ художественномъ призванін, почувствованномъ имъ еще въ лѣта отрочества; эта пьеса называется "Муза":

Въ младепчествъ моемъ она меня любила
П семиствольную цъвницу миъ вручила;
Она внимала мнъ съ улыбкой, и слегка
По звонкимъ скважинамъ пустого тростника
Уже пангрывалъ я слабыми перстами
И гимны важные, внушенные богами,
И пъсни мирныя фригійскихъ пастуховъ.
Съ утра до вечера въ нъмой тъни дубовъ
Прилежно я внималъ урокамъ дъвы тайной;
И, радуя меня наградою случайной,
Откинувъ локоны отъ милаго чела,
Сама изъ рукъ моихъ свиръль она брала:
Тростникъ былъ оживленъ божественнымъ дыханьемъ
И сердце наполиялъ святымъ очарованьемъ.

, la. несмотря на счастливые опыты Батюшкова въ антологическомъ родѣ, такихъ стиховъ еще не бывало на Руси до Пушкина!

Нельзя не дивиться въ особенности тому, что онъ умълъ едълать изъ шестистопнаго ямба — этого несчастнаго стиха, доведеннаго до пошлости русскими эпиками и трагиками добраго стараго времени. За него уже было отчаялись, какъ за стихъ неуклюжій и монотонный, а Пушкинъ воспользовался имъ, словно дорогимъ наросскимъ мраморомъ, для чудныхъ изваяній, видимых слухомъ... Прислушайтесь къ этимъ звукамъ, — и вамъ покажется, что вы видите передъ собой превосходную античную статую:

Среди зеленыхъ волнъ, лобзающихъ Тавриду, На утренней зарѣ я видѣлъ Неренду. Сокрытый межъ деревъ, едва я смѣлъ дохнуть; Надъ ясной влагою полубогиня грудь Младую, бѣлую какъ лебедь, воздымала И влагу изъ власовъ струею выжимала.

Акустическое богатство, мелодія и гармонія русскаго языка въ первый разъ явились во всемъ блескѣ въ стихахъ Пушкина. Мы не знаемъ ничего, что могло бы въ этомъ отношеніи сравниться съ этой пьеской:

Я върю, — я любимъ; для сердца нужно върить. Нътъ, милая моя не можетъ лицемърить;

Все непритворно въ ней: желаній томный жаръ, Стыдливость робкая, харить безцѣнный даръ. Нарядовъ и рѣчей пріятная небрежность И ласковых имент младенческая нъжность.

Правда, последній стихь есть не боле, какт верный переводь стиха Андре Шенье — "Еt des noms carresants la mollesse enfantine"; по если где имееть глубокій смысль выраженіе: "онь береть свое, где ни увидить его", то, конечно, въ отношеній къ своему стиху, который Пушкинь умель сделать своимъ.

Тъмъ же античнымъ духомъ въетъ и въ антологическихъ пьесахъ Пушкина, писанныхъ гекзаметромъ. Между ними особенно превосходны пьесы "Трудъ" и "Чистый лосинтся полъ; чаши блистаютъ" (первая оригинальная, вторая изъ Ксенофанта Колофонскаго). Мы ограничимся выпиской, тоже превосходной, по только маленькой пьесы, принадлежащей, впрочемъ, къ самому поздивниему времени поэтической дъятельности Пушкина:

Юношу, горько рыдая, ревнивая дѣва бранила; Къ ней на плечо преклонень, юноша вдругь задремаль. Дѣва тотчасъ умолкла, сонъ его легкій лелѣя, И улыбаясь ему, тихія слезы лія.

Нушкинъ инкогда не оставляль совершенио этого рода стихотвореній; по въ первую пору своей поэтической дъятельности особенно много писаль ихъ. Это понятно: созерцание любви и наслажденій жизин въ духъ древнихъ особенно соотватствуеть эпоха юности каждаго человака. Вога перечень вебхъ антологическихъ етихотворенін Пушкина: "Виноградъ", "О дъва-роза, я въ оковахъ", "Доридъ". "Ръдъетъ облаковъ летучая гряда". "Перепда". "Дорида", "Муза". "Діонея". "Авва". "Примъты", "Красавица передъ зеркаломъ", "Ночь". "Сафо", "Кобылица молодая", "Царскосельская статуя", "Олрокъ", "Риема", "Трудъ", "Чистый лосинтся полъ", "Славная флейта", "Өеонъ", "Юпошу горько рыдая", "LVIII ода Апакреона", "Богъ веселый випограда", "Юноша, скромно шруй". "Мальчику" (изъ Катулла), "Узнаемъ коней ретивыхъ", (изъ Анакреона). "Ленда". Последнія семь, после превосходной ньесы "Юношу горько рыдая", не отличаются собеннымъ поэтическимъ достоинствомъ; но следующия две просто неудачны: "Кто на сцъгахъ возрастиль Өеокритовы иъжныя розы" и "На переводъ Иліады". Бълинскій.

Пирическія произведенія Пушкина въ ихъ отличін отъ произведеній предшественниковъ.

Перечтите пьесы: "Домовому", "Недоконченная картина", "Умолкиу скоро я", "Земля и Море", "Алексвеву", "Ч-ву", "Зачвиъ безвременную скуку", "Люблю вашъ сумракъ неизвъстный", и еще болъе пьесы: "Простишь ли миъ ревнивыя мечты", "Непастный день потухъ", "Ты вянешь и молчинь", "Къ морю", — вглядитесь и вслушайтесь въ этотъ стихъ, въ этотъ обороть мысли, въ эту игру чувства: во всемъ найдете чистую поэвію, безукоризненное искусство, полное художество, безъ мальйшей примъси прозы какъ старое кръпкое вино безъ мальйшей примъси воды. Въ изкоторыхъ изъ нихъ вы можете придраться къ мысли, недостаточно глубокой, къ взгляду на вещи, слишкомъ юному или слишкомъ отзывающемуся эпохой, но со стороны поэзін выраженія и поэзін созерцанія вамъ нечего будеть осудить. Сравните и эти ньесы съ произведеніями предшествовавшихъ Пушкину школъ русской поэзін: между ними не будетъ инкакой связи; вы увидите совершенный перерывъ, если не возьмете въ соображение тъхъ пьесъ Пушкина, которыя мы означили именемъ переходныхъ. Это не значитъ, чтобъ въ произведеніяхъ прежнихъ школь не было ничего примфчательнаго, или чтобъ они были вовсе лишены поэзін: напротивъ, въ нихъ много примъчательнаго, и они неполнены поэзін, но есть безконечная разница въ характерѣ ихъ поэзін и характеръ поэзін Пушкина. Произведенія прежнихъ школъ въ отношения къ произведениямъ Пушкина — то же, что народная иженя, исполненная души и чувства, народнымъ наижвомъ пропътая простолюдиномъ, въ отношения къ лирической пъснъ поэта-художника, положенной на музыку великимъ композиторомъ и пропътой великимъ пъвцомъ:

Сравнимъ для доказательства пьесу замѣчательнѣйшаго изъ прежнихъ поэтовъ. "Иѣсия", съ ньесой Иушкина "Несчастный день потухъ":

О, милый другь, теперь съ тобою радость! А я одинъ — и мой печаленъ путь; Живи, вкушай невинной жизни сладость; Въ душт не измънись; достойна счастья будь... Но не отринь, въ толит плъняемыхъ тобою, Ты друга прежняго, увядшаго душою; Веселья ихъ дъли — ему отрадой будь; Его, мой другъ, не позабудь.

0, милый другь, намъ рокъ велѣлъ разлуку; Дни, мѣсяцы и годы пролетять,

Вотще къ тебъ простру отъ сердца руку, — Ни голосъ твой ни взоръ меня не усладять; Но и вдали съ тобой душа моя согласна, Любовь ни времени ни мъсту не подвластна; Всегда, вездъ ты мой хранитель ангелъ будь; Меня, мой другь, не позабудь. О, милый другь, пусть будетъ прахъ холодный То сердце, гдъ любовь къ тебъ жила: Есть лучшій міръ; тамъ мы любить свободны; Туда душа моя ужъ все перенесла; Туда всечасное стремитъ меня желанье; Тамъ свидимся опять: тамъ наше воздаянье; Сей върой сладкою полна въ разлукъ будь — Меня, мой другь, не позабудь.

Чувство, составляющее павосъ этого стихотворенія, лишено простоты и естественности, а следовательно и истины; оно можеть быть напущено на человъка мечтательностью и поддерживаемо долгое время упрямствомъ фантазін: но и напущенное чувство, по странному противоржчее человжческой природы, такъ же можетъ быть источникомъ блаженства и страданія, какъ и чувство истинное. Подъ этимъ условіемъ мы охотно допускаемъ, что приведенное нами стихотвореніе, несмотря на его сентиментальность и отсутствіе всякой страсти, есть голосъ души, языкъ сердца, краспоръчіе чувства; по оно -- не поэзія. Его форма болье краснорычива, чымь поэтичиа; вы его выраженін, бользненно грустномъ и расплывающемся, есть что-то прозаическое, темное, лишенное мягкости и ивжности художественной отдълки. А между тъмъ это одно изълучшихъ произведеній старой школы русской поэзін и въ свое время производило фуроръ. Теперь сравните его съ пьесой Пушкина, въ которой выражена та же мысль разлуки съ любимымъ предметомъ:

Пенастный депь потухъ; ненастной ночи мгла По пебу стелется одеждою свинцовой; Какъ привидѣніе, за рощею сосновой; Луна туманная взошла...
Все мрачиую тоску на душу мнѣ наводитъ! Далеко тамъ луна въ сіянін восходитъ;

Тамъ воздухъ напоенъ вечерней теплотой; Тамъ море движется роскошной пеленой Подъ голубыми небесами... Вотъ время: по горъ теперь идеть она Къ брегамъ потопленнымъ шумящими волнами; Тамъ, подъ завѣтными скалами, Теперь она сидить печальна и одна... Одна... пикто предъ ней не плачеть, не тоскуеть Никто ся колънъ въ забвеньи не цълуеть; Одна... пичьимъ устамъ она не предаетъ Ни плечь, ни влажныхъ усть, ни персей бълосифжныхъ. Никто ея любви небесной недостоинъ. Не правда ль, ты одна... ты плачешь... я спокоень.

Здъсь не то: въ навосъ стихотворенія столько жизни, страсти, истины!... Луна, восходящая надъ сосновой рощей, напоминаеть поэту другую луну, которая въ это томительное для его души время восходить далеко, тамъ, гдъ природа такъ роскошно прекрасна, — и поэть предается невольно мечтъ о ней, которая въ эту пору одна идетъ къ берегу моря и садится подъ его скалами... Не ревность, а страсть, трепещущая за свое блаженство, заставляеть его успоконвать себя мыслью, что она — одна, и что ему должно быть спокойнымъ... II сколько жизни, какой эпергическій порывъ страсти высказывается въ словъ: "но если", отрывисто заключающемъ пьесу! Все это такъ просто, такъ естественно, во всемъ этомъ столько глубокой страсти, столько истины чувства... А форма? Какая легкость, какая прозрачность! На каждомъ стихъ, даже отдъльно взятомъ, такъ и виденъ слъдъ художническаго ръзца, оживлявшаго мраморъ! — Какая безконечная разница!...

Чтобъ еще болѣе показать эту разницу, сдълаемъ еще сравненіе. Вотъ два куплета изъ лучшихъ въ большой и препрасной пьесъ Жуковскаго, принадлежащей уже къ позднъйшему времени его поэтической дѣятельности:

О наша жизиь, гдѣ вѣрны лишь утраты, Гдѣ милому мгновенье лишь дано, Гдѣ скорбь безъ крылъ, а радости крылаты, И гдѣ навѣкъ минувшее одно... Почто жъ мы здѣсь мечтами такъ богаты, Когда мечтамъ не сбыться суждено?

Внимая гласъ надежды, намъ поющей, Не слышимъ мы шаговъ бѣды грядущей.

Здесь радости не наше— обладанье, Пролетные пленители земли, Лишь по пути заносять къ намь преданье О благахъ, намъ обещанныхъ вдали; Земли жилецъ безвыходный страданье; Ему на часть судьбы насъ обрекли; Блаженство намъ по слуху лишь знакомецъ Земная жизнь — страданія питомецъ.

Это уже не "наныщенное" чувство; нъть, это воиль странию потрясенной души, это голосъ растерзаннаго, истекающаго кровью сердца, это чувство истинное и глубокое; но, несмотря на то, это опять-таки болье краснорьчіе, чьмъ поэзія. Стихъ тянется какъ-то тяжело и однообразно, во всей формь этого стихотворенія есть что-то темпое и несвободное, и, несмотря на видимую простоту, въ немъ слишкомъ замътно преобладаніе метафоры. Разумъется, мы говоримъ сравнительно, а не безусловно. Кто не знаетъ пьесы Иушкина "19 октября"? Посль обращеній къ каждому изъ отсутствующихъ друзей своихъ, поэтъ говоритъ:

Ипруйте же, пока мы туть!
Увы нашъ кругъ часъ отъ часу рѣдѣетъ:
Кто въ гробъ спитъ, кто дальній сиротѣетъ;
Судьба глядитъ, мы вянемъ; дни бѣгутъ;
Невидимо склоняясь и хладѣя,
Мы близимся къ началу своему...
Кому жъ изъ насъ подъ старость день лицея
Торжествовать придется одному —
Несчастный другъ! средь новыхъ поколѣній
Докучный гость и лишній и чужой,
Онъ вспомнитъ насъ и дии соединеній,
Закрывъ глаза дрожащею рукой...

Какая глубокая и вмъсть съ тъмъ свътлая скорбь! Каждая мысль сама по себъ такъ исполнена поэзін независимо отъ формы, вполнъ художественной, легкой и прозрачной, простой и чуждой всякихъ метафоръ! Этотъ пережившій всѣхъ друзей своихъ другъ, докучный, лишній и чужой гость среди новыхъ покольній, дрожащей рукой закрывающій глаза при воспоминаніи о своихъ друзьяхъ— это не просто поэтическая картина! Но не въ духъ Пушкина остановиться на екоро́номъ чувствѣ: словно торжественнымъ музыкальнымъ аккордомъ оканчивается пьеса этими полными бодраго чувства стихами:

Пускай же онъ съ отрадой хоть печальной Тогда сей день за чашей проведеть, Какъ нынѣ я, затворникъ вашъ опальный, Его проведъ безъ горя и заботъ.

Пушкинъ не даетъ судьбѣ побѣды надъ собой, онъ вырываетъ у ней хоть часть отнятой у него отрады. Какъ истиный художникъ, онъ владѣлъ этимъ инстинктомъ истины, этимъ тактомъ дѣйствительности, который, на "здѣсь" указывалъ ему какъ на источникъ и горя и утѣшенія и заставлялъ его искать цѣленіе въ той же существенности, гдѣ постигла его болѣзнь. П, право, въ этой силѣ, опирающейся на внутреннемъ богатствѣ своей натуры, болѣе вѣры въ Промыселъ и оправданія путей его, чѣмъ во всѣхъ заоблачныхъ порываніяхъ мечтательнаго романтизма.

Бълинскій.

Идея поэта въ произведеніяхъ Пушкина.

Пушкинъ въ поэтическихъ произведеніяхъ, какъ то видно изъ его разбросанныхъ въ разныхъ мъстахъ замътокъ, цънилъ выше всего планъ, то-есть построение цълаго, стройный распорядокъ его частей; другими словами, считалъ въ нихъ самымъ существеннымъ то же, что и Аристотель. Вдохнопеніе нашъ поэтъ опредбляль какъ "расположеніе души къ живъйшему принятію впечатльній и соображенію поцятій, слъдственио и объяснению ихъ"; видълъ его въ полномъ обладанін душевными способностями. Противополагая вдохновеніе восторгу или лирическому порыву, онъ главнымъ признакомъ перваго считалъ спокойствие, которое, по словамъ поэта, "есть необходимое условіе прекраснаю". "Восторгъ, говорить онъ, продолжая то же сопоставление, - непродолжителенъ, непостояненъ, слъдовательно, не въ силахъ произвести истинное, великое совершенство". Условіемъ истинно великаго онъ полагаетъ "постоянный трудъ"; въ другомъ мъсть онъ даетъ труду эпитетъ "упорнаго".

— "Какъ! говоритъ Чарскій импровизатору. — чужая мысль чуть коснулась вашего слуха п уже стала вашею собственностью, какъ будто вы съ нею носились. лельяли, развивали се безпрестанно. Итакъ, для васъ не существуетъ ни труда, ни охлажденія, ни этого безпокойства, которое предшествуетъ вдохновенію?"

И когда растаетъ это безпокойство, когда

Душа стѣсняется лирическимъ волненьемъ, Трепещетъ и звучитъ и ищетъ какъ во снѣ Излиться наконецъ свободнымъ проявленьемъ, —

что является передъ поэтомъ?

И туть ко мнѣ идеть незримый рой гостей, Знакомцы давніе, плоды мечты моей.

И тутъ настаеть минута рожденія, минута воплощенія долго лельянныхъ, трудно выношенныхъ думъ:

И мысли въ головъ волнуются въ отвагъ, И риемы легкія навстръчу имъ бъгутъ, И пальцы просятся къ перу, перо къ бумагъ, Минута — и стихи свободно потекутъ.

Итакъ, постоянный и упорный трудъ, безпрестапное усовершенствованіе "любимыхъ думъ", спокойное обладаніе душевными силами въ минуты вдохновенія, "сила ума, располагающаго частями въ отношеніи цълаго", — вотъ, по Пушкину, условія для созданія истинно великаго, вотъ на что должны быть устремлены главныя заботы поэта. А у насъ, оставляя втуне существенное, такъ много толковали и толкують о томъ, что Пушкинъ "тщательно отдълывалъ свои стихи", былъ заботливъ о внъшней формъ своихъ произведеніи, какъ будто форма не есть органическая принадлежность поэтической идеи 1), а какое-то украшеніе искусственно придуманное для приданія мысли пріягной наружности. Поэтъ, сказавшій:

Какъ стихъ безъ мысли въ пъснъ модной, Дорога зимняя гладка,

конечно, не могъ придагать особой старательности о придании своему стиху вившией гладкости. Онь отдълывалъ стихъ

¹⁾ И употреблию здась, какъ и веюду, это слово вы Платоновскомъ смысла.

не ради "стиха"; онъ просто измърялъ стихи, которые не вполнъ соотвътствовали поэтическому замыслу, не были точнымъ его выраженіемъ, затемияли ясность и опредъленность образа. Дъло въ томъ, что въ минуту воплощенія идеи, далеко не всъ частности находять себъ немедленное и соотвътствующее выраженіе; поэть чувствуеть, что они не вполиъ отвъчають его замыслу, но на время допускаеть невольное несовершенство своего труда. Забота о совершенствъ однако не покидаетъ его; онъ мучается, старательно пщетъ надлежащаго слова, взвъшиваетъ истинный смыслъ выраженій. II онъ счастливъ, онъ успоконвается, когда, наконецъ, находить искомое; въ этомъ-то исканіи прямого выраженія замысла и заключается то, что въ художествахъ зовется искусствомъ. Поэтому-то вев поправки Пушкина такъ и цвины, что онъ обличають въ немъ эту важную заботливость. Не менње достойна вниманія забота поэта о соотвътственности эпитета. Шопенгауэръ не даромъ принисываетъ великое значение удачному эпитету. Слово, по его мивнію, само по себв слишкомъ отвлеченно, оно выражаеть понятіе отвлеченное; эпитеть даетъ ему образность, дълаетъ его живымъ и живописнымъ; поэтому эпитеть составляеть могущественное средство для выраженія иден, подобія вещи въ себъ. И въ самомъ дъдъ, эпитеть играеть въ поэзіи важную роль съ самаго ея зарожденія. Оттого въ произведеніяхъ народнаго творчества, какъ у Гомера, такъ и въ нашихъ былинахъ, удачный эпитетъ пеизмънно сопровождаетъ всюду данное слово: черные корабли, копье долгомърное и т. д.

Послъ заботы о планъ, о цъломъ произведеніи, художнику подобаетъ озаботиться о характерѣ изображаемыхъ лицъ. Изученіе Мольера и Шекспира привело Пушкина къ отданію предпочтенія послъднему. Въ чемъ же онъ полагалъ достоинство Шекспира? Мольеръ, говоритъ онъ, изображалъ только тины такой-то страсти, такого-то порока: онъ выражалъ только идеи отдъльныхъ страстей и пороковъ. Ио таковы ди люди въ себѣ и таково ди должно быть ихъ поэтическое подобіе? Иѣтъ, они не таковы; ихъ природа сложнѣе, ихъ волнуютъ многія страсти, они рабы многихъ пороковъ. Въ Шекспиръ нашъ поэтъ цѣнитъ поэтому многосложность характеровъ, "вольное и широкое" ихъ изображеніе; то, что его лица — вполиъ живыя существа. Подобное же повторяетъ

Пушкинъ при сопоставленіи Шекспира съ Байропомъ. Банронъ понималъ только одинъ характеръ, именно своей собственный; отдъльныя черты этого характера онъ придавалъ своимъ лицамъ; одного надълялъ ненавистью, другого меланхоліей, третьяго гордостью и т. д.; въ созданіяхъ Байрона, его характеръ, полный, мрачный и энергическій распался на нъсколько незначительныхъ. Пушкинъ осуждаетъ еще манію къ усиленному выдерживанію характера; боязнь, которую обнаруживаетъ художникъ, что его лицо скажетъ хотя слово. несоотвътственное придуманному характеру. "Заговорщикъ по-заговорщицки говорить дайте мив пить, и это просто смъщно". Вспоминая одного изъ героевъ Байроновой трагедін, человъка, дышащаго ненавистью, Пушкинъ спрашиваетъ: ... эта монотонія, эта эффектація даконизма, безпрестанной ярости, — развъ это натура?" То ли у Шекспира? Нътъ, онъ не боится за своихъ лицъ; они говорятъ у него съ беззаботливостію жизни, потому, что поэтъ увъренъ, что въ нужное время, и въ должномъ мъстъ его лица найдуть языкъ, соотвътственный ихъ характеру. "Обстоятельства, - говоритъ Пушкинъ въ другомъ мъстъ о Шекспировыхъ лицахъ, развивають предъ зрителемъ ихъ разнообразные, многосложные характеры".

И опять мы точно читаемъ Аристотеля. И онъ твердиль о подчинении характера дъйствию, о томъ, что лица должны выражать свой характеръ въ дъйстви, въ данную, способную для такого выраженія минуту; и онъ замѣчалъ, что далеко не всѣ рѣчи дѣйствующихъ живописуютъ ихъ характеръ, но именно тѣ, гдѣ выражается склонность или направленіе ихъ воли: и онъ говорилъ, что характеры должны быть потожен, т.-с. подобны тѣмъ, какіе мы встрѣчаемъ въ дѣйствительности.

Не мимо сказано Лессингомъ, что всякій поэтъ есть прирожденный критикъ, но, конечно, не всякій изъ шихъ способенъ понимать художество съ такою ілубиной, какъ Пушкинъ. Въ любви, которую поэтъ обнаруживаетъ къ другому поэту, въ оцфикф этого другого, въ томъ, что именно онъ находитъ и ясно видитъ въ немъ, сказывается не одна критическая способность, но и сродство генія, конгеніальность. Припомишая слова Аристотеля о томъ, какіе люди способны къ поэзій, и видя значеніе, которое Пушкинъ придавать иламу, его педовольство, когда лица изображаются только какъ типическия воплощения страстей, будь то страсти трагическия или комическия— мы можемъ заключить, что онъ припадлежалъ къ поэтамъ изъ числа людей богато одаренныхъ отъ природы, или къ поэтамъ объективнымъ, по терминологіи германской философіи. Онъ любилъ изображенія людей во всей многосложности ихъ природы; онъ стремился къ раскрытію идеи человъка во всей ел полнотъ. Прибавимь къ этому, что односторойность, однообразность были чужды природъ Пушкина: "Однообразность въ писателъ, — замъчаетъ онъ, — доказываетъ односторойность ума, хоть можетъ быть и глубокомыслениаго".

Соображая вев замвчанія Пушкина объ искусствть, едаланныя при случать, часто какъ бы мимоходомъ, я не боюсь впасть въ ощибку, утверждая, что если бы онт попались подъ руку мыслителю, не знающему Пушкина, какъ поэта, то онъ изъ одинхъ этихъ мимоходныхъ и отрывочныхъ замвтокъ заключилъ бы, что человткъ, ихъ сдалавшій, самъ былъ поэтъ и притомъ многообъемлющій.

Обратимся теперь къ поэтическому воззрѣнію Пушкина на поэта, къ выраженію *идеи* поэта въ его созданіяхъ. Поэтъ отличается отъ другихъ людей своимъ даромъ:

Пока не требуеть поэта
Къ священной жертвѣ Аполлонъ,
Въ забавахъ суетнаго свѣта
Онъ малодушно погруженъ;
Молчить его святая лира,
Душа вкущаетъ хладный сонъ,
И межъ дѣтей ничтожныхъ міра.
Быть можеть, всѣхъ ничтожнѣй онъ.

Но когда опъ становится поэтомъ, когда "божественный глаголъ" коснется его чуткаго слуха, опъ мгновенно преображается: онъ уже не малодушно погруженъ въ забавахъ міра, онъ тоскустъ въ нихъ, онъ обрътаетъ волю и

> Бѣжить онъ, дикій и суровый, И звуковъ и смятенья полнъ, На берега пустынныхъ волнъ, Въ широкошумныя дубровы...

Онъ дикъ и суровъ, потому что въ эти мгновенья ему стаповятся чужды всф остальныя дъла людей; онъ полонъ не только звуковъ, но смятенья, какъ человъкъ, пробудившійся отъ тяжкаго сна, какъ человъкъ, для котораго въ потемкахъ будничной жизни внезапно блеснулъ свътъ откровенія; онъ полонъ смятенья еще потому, что, забывая о своемъ призваніи, онъ не чуждался пошлой вседневности, не чуждался людской молвы и склонялъ голову предъ народнымъ кумиромъ. О, теперь онъ сталъ инымъ:

И вняль онь неба содраганье, И горній ангеловь полеть, И гадь морскихь подземный ходь, И дольней лозы прозябанье.

Теперь для него стало понятно все сокровенное въ мірѣ, и все въ немъ способенъ онъ обнять своею мечтой.

Поэтъ чутокъ ко всему, онъ на все отзывчивъ, какъ эхо:

Ты внемлешь грохоту громовь И гласу бури и валовь, И крику сельскихъ пастуховъ, — И шлешь отвъть; Тебъ жъ нъть отзыва... Таковъ И ты, поэть!

Поэть выше всего цанить свое призваніе, онь любить оть всей души прекрасное, для него оно дороже всего въ жизни. Воть какія слова влагаеть Пушкинь въ уста Моцарта, художника столь конгеніальнаго нашему поэту и столь имъ любимаго:

Когда бы всё такъ чувствовали силу Гармоніи! Но пёть, тогда бъ не могъ И міръ существовать: никто бъ не сталь Заботиться о нуждахъ низкой жизни — Всё предались бы вольному искусству! Насъ мало избранныхъ, счастливцевъ праздныхъ. Пренебрегающихъ презрённой пользой, Единаго прекраснаю жерецовъ.

Испытавъ не одну славу, но и терини своего вънца, поэтъ съ новою силой утверждаетъ, что счастье для него все въ томъ же, въ его призваніи, въ любви къ прекрасному: опъ не дорожитъ тъми правами,

Отъ коихъ не одна кружится голова,

его не прельщаютъ политическія вольности:

Иныя, лучшія мнѣ дороги права; Иная, лучшая потребна мнѣ свобода... Зависьть оть властей, зависьть оть народа Не все ли намъ равно? Богь съ ними... никому Отчета не давать, себъ лишь самому Служить и угождать; для власти, для ливреи Не гнуть ни совъсти, ин помысловъ, ни шеи; По прихоти своей скитаться здъсь и тамъ, Дивясь божественными природы красотамь, И предъ созданьями искусствъ и вдохновенья, Безмольно утопать въ восторгахъ умиленья — Вотъ счастье! вотъ права!...

Пе вифиняя, по внутренняя свобода дорога поэту; въ чемъ же онъ видить свое призваніе, для чего онъ посланъ въ міръ! "Зачьть такъ звучно онъ поетъ?" Отъ поэта требують, чтобъ онъ быль прямо и пепосредственно полезенъ людямъ, чтобъ эта пользя была ошутительна въ житейскомъ обиходъ. Люди готовы сознаться, что они малодушны и коварны, они признають свое безстыдство, злость и неблагодарность; люди не скрываютъ, что сердцемъ они "хладные скопцы" — но они требуютъ, чтобы поэтъ исправляль ихъ, чтобъ, отвергнувъ свою свободу, онъ занялся дъломъ, которое будетъ для нихъ явственно полезно и благодътельно:

Ты можешь, ближняго любя, Давать намъ смѣлые уроки, А мы послушаемъ тебя.

Поэтъ съ негодованіемъ отворачивается отъ такого требованія. У васъ были, говоритъ онъ, иныя средства для исправленія: орудія тяжкія для кары грѣха и преступленія. Зачѣмъ же вы туебуете отъ меня, чтобъ я взялся за дѣло, къ которому не призванъ? Есть много полезныхъ дѣлъ, но всякаго ли вы заставляете исправлять любое изъ нихъ? Развѣ вы не знаете, что людскіе уроки не одинаковы, что есть труды возвышенные, болѣе другихъ святые и прекрасные?

Во градахъ вашихъ, съ улицъ шумныхъ Сметаютъ соръ — полезный трудъ! Но, позабывъ свое служенье, Алтарь и жертвоприношенье, Жрецы ль у васъ метлу берутъ?

Не заставляйте же и поэта работать не падъ своимъ участ-комъ; у него свое важное и великое дъло:

Не для житейскаго волненья, Не для корысти, не для битвъ, — Мы рождены для вдохновенья, Для звуковъ сладкихъ и молитвъ.

Вотъ въ чемъ призвание поэта, которое онъ долженъ охраиять какъ зенницу ока, которое должно быть ему дороже всего. Таковъ прямой и ясный смыслъ этого стихотворенія, давшаго поводъ ко многимъ злобнымъ нарекаціямъ, какъ некрепнимъ, такъ и умышленнымъ. Обвиняли поэта за недостатокъ гражданственности, за чуть ли не полное отвращеніе къ тому, что въ древности звалось общимъ дівломъ, хотя поэтъ становится поэтомъ только въ минуты вдохновенія и притомъ давно изв'єстно, что, глядя на поэтовъ съ подобной не объемлющей сущности предмета, точки зр'внія, придется ихъ наградить вънцомъ и удалить изъ города.

Поэть должень помпить, что эта горькая чаша не минуеть его, и быть готолымь безропотно принять ее. Добродътельный, говорить Шопенгауэрь, можеть надъяться на воздание въ дучшемъ міръ; человъкь благоразумный — въ здъшней жизни; поэту нъть награды ни здъсь ни тамъ: его даръ — его награда

Минутный шумъ восторженныхъ похвалъ, говоритъ Пушкинъ поэту, пройдетъ; ты услышинь судъ глупца и сочувственный ему смъхъ толпы,

Но ты остался твердъ, спокоенъ и угрюмъ. Ты царь: живи одинъ. Дорогою свободной Иди, куда влечетъ тебя свободный умъ, Усовершенствуя плоды любимыхъ думъ, Не требуя наградъ за подвигъ благородный. Онть въ самомъ тебъ.

Не будь при этомъ строгъ къ себъ, будь "взыскательнымъ" къ себъ художникомъ, и если и тогда ты останешься доволенъ своимъ трудомъ, то

... пусть толпа его браннтъ, И плюетъ на алтарь, гдѣ твой огонь горить, И въ дътской ръзвости колеблетъ твой треножникъ.

Этими чертами дорисовывается образъ поэта: идея поэта получаетъ свое окончательное и полное выражение, болже полное, чъмъ дано другими великими поэтами.

Гвердое сознаніе своего долга, царственное уединеніе, внутренняя свобода и проистекающее изъ нея непоколебимое сноконствіе духа, — воть какимъ рисусть нашъ Пушкинъ поэта. Этоть образь начертань, однако, въ порывѣ негодованія; въ стихотвореніи, достойно заключающемъ лирическія произведенія Пушкина, тоть же образь обозначенъ чертами болѣе спокойными, дышитъ примиреннымъ чувствомъ:

11 долго буду тёмъ народу я любезенъ
Что чувства добрыя я лирой пробуждаль,
Что прелестью живой стиховъ я былъ полезенъ
11 милость къ падшимъ призывалъ.

Поэть, отвергавшій требованіе отъ него пользы въ житенскомъ обиходъ, сознаетъ, что опъ быль иначе полезенъ, живою прелестью стиховъ; полезенъ въ иномъ, высшемъ значеніи слова: онъ пробуждалъ добрыя чувства, онъ призывалъ милость къ падшимъ. Уже безъ негодованія на чернь говорить онъ о своемъ призваніи, по съ чувствомъ благоговъйной покорности Промыслу, давшему ему въ удълъ творческую способность:

Велѣнью Божію, о муза! будь послушна. Обиды не страшись, не требуй и вѣнца; Хвалу и клевету пріемли равнодушно И не оспаривай глупца.

Аверкіевъ.

Стихотвореніе Пушкина "Чернь".

Въ стихотвореніи "Чернь" заключаєтся художественное ргоfession de foi Пушкина. Онъ презираєть чернь, и на ся приглашеніе — исправлять се звуками лиры, отвъчаєть словами, полными благородной гордости и эпергическаго негодованія:

Поэту мирному до вась?
Въ развратъ каменъйте смъло:
Не оживить васъ лиры гласъ;
Душъ противны вы какъ гробы.
Для вашей глупости и злобы
Имъли вы до сей поры
Бичи, темницы, топоры:
Довольно съ васъ, рабовъ безумныхъ!
Во градахъ вашихъ съ улицъ шумныхъ

Сметають сорь — полезный трудь! Но, позабывь свое служенье, Алтарь и жертвоприношенье, Жрецы ль у вась метлу беруть? Не для житейскаго волненья, Не для корысти, не для битез: Мы рождены для вдохновеныя, Для звуковь сладкихь и молитеь.

Дъйствительно, смъшны и жалки тъ глупцы, которые смотрять на порзію, какъ на искусство втискивать въ размъренныя строчки съ риемами разныя правоучительныя мысли, и требують отъ поэта непременно, чтобъ онъ восиеваль имъ все любовь, да дружбу и пр., и которые неспособны увидъть поэзію въ самомъ вдохновенномъ произведенін, если въ немъ ивть общихъ правоучительныхъ мъсть. По если до истины можно доходить не тъмъ, чтобъ соглашаться съ глупцами, то и не тъмъ, чтобъ противоръчить имъ, — а тъмъ, чтобъ, забывая о ихъ существованіи, смотръть на предметъ глазами разума. Не только поэты съ ихъ "вдохновеніями, сладкими ввуками и молитвами", по и сами жрецы, съ которыми Пушкинъ сравниваетъ поэтовъ, не имъли бы пикакого значенія, если бъ набожная толна не соприсутствовала алтарямъ и жертвопринопеніямъ. Толпа, въ смыслъ массы народной, есть прямая хранительница народнаго духа, непосредственный источникъ таниственной психики народной жизни. Народъ (взятый какъ масса), духовная субстанція жизни котораго не въ состоянін порождать изъ себя великихъ поэтовъ, пе стоитъ названія народа или націн — съ него довольно чести называться просто племенемъ. Поэтъ, котораго поэзія выросла не изъ почвы субстанціальной жизпи своего народа, не можетъ ни быть ни называться народнымъ или національнымъ поэтомъ. Никто, кромъ людей ограниченныхъ и духовно-малолътнихъ, не обязываетъ поэта восиввать непремвино гимны добродвтели и карать сатирой порокъ; по каждый умный человъкъ вправъ требовать, чтобъ поэзія поэта или давала ему отвёты на вопросы времени, или, по крайней мъръ, исполнена была скорбью этихъ тяжелыхъ неразръшенныхъ вопросовъ. Кто поетъ просебя и для себя, презирая толну, тотъ рискуетъ быть единственнымъ читателемъ своихъ произведеній. И дійствительно, Пушкинъ, какъ поэтъ, великъ тамъ, гдъ опъ просто воплощаеть въ живыя прекрасныя явленія свои поэтическія созерцанія, по не тамъ, гдф хочеть быть мыслителемъ и ръшителемъ вопросовъ. Превосходио его стихотвореніе "Поэтъ", въ которому онъ развиваетъ мысль, что поэть, пока не потребуетъ ето Аполлонъ къ священной жизни, инчтоживе всъхъ пичтожныхъ дътей міра, а какъ скоро коспется его слуха божественный зовъ, душа его стряхиваеть съ себя нечистыи сопъ жизни, какъ пробудившійся орель, — по мысль эта теперь совершенно ложна. Наша современность кишитъ поэтами, которые пошлы, когда не пишутъ, и становятся благородны и чисты, когда вдохновляются; но тъмъ не менъе веъ видятъ въ нихъ теперь не болбе, какъ великихъ людей на малыя дъла: всъ знають, что эти господа скоро выписывають и изъ-за денегъ громкими фразами увъряють другихъ въ томъ, чему ифкогда сами върили, по чему ченерь уже сами первые не върятъ. Наше время преклонить кольни только передъ художникомъ, котораго жизнь есть дучшій комментарій на его творенія, а творенія — лучшее оправданіе его жизни. Гёте не принадлежаль къ числу пошлыхъ торгашей идеями, чувствами и поэзісп; по практическій и историческій индиферентизмъ не даль бы ему сдълаться властителемъ думъ нашего времени, несмотря на всю широту его мірообъемлющаго генія. Личность Пушкина высока и благородна; но его взглядь на свое художественное служеніе, равно какъ и недостатокъ современнаго европейскаго образованія (о чемъ мы еще будемъ говорить) тъмъ не менње были причиной постепеннаго охлажденія восторга, когорый возбудили первыя его произведенія. Правда, самый неумбренный восторгь возбудили его самыя слабыя, въ художественномъ отношенін, пьесы; но въ нихъ видна была сильная, одушевленная субъективнымъ стремленіемъ, личность. И чъмъ совершениве становился Пушкинъ, какъ художникъ, тъмъ болье скрывалась и исчезала его личность за чуднымъ роскошнымъ міромъ его поэтическихъ созерцаній. Публика, съ одной стороны, не была въ состоянін оцфинть художественнаго совершенства его последнихъ созданій (и это, конечно, не вина Пушкина); съ другой стороны, она не вправъ была искать въ поззін Пушкина болве правственныхъ и философскихъ вопросовъ, нежели сколько находила ихъ (и это, конечно, была не ся вина). Между тъмъ избранный Пушкинымъ путь оправдывается его натурой и призваніемъ: опъ не палъ, а только едфлался самимъ собою, но, по несчастью, въ такое время.

которое было очень неблагопріятно для подобнаго направленія, отъ котораго вынгрывало некусство и мало пріобрътало общество. Какъ бы то ин было, нельзя винить Пушкина, что онъ не могь выйти изъ заколдованнаго круга своей личности.— и со всей добросовъстностью человъка и художника написаль свое превосходное стихотвореніе "Поэту":

Ноэть, не дорожи любовію народной! Восторженныхь похваль пройдеть минутный шумь; Услышишь судь глупца и смѣхь толпы народной; По ты останься твердь, спокоень и угрюмь. Ты царь: живи одинь. Дорогою свободной Иди, куда влечеть тебя свободный умь, Усовершенствуя плоды высокихь думь, Не требуя наградь за подвигь благородный. Онѣ въ самомъ тебѣ. Ты самъ свой высшій судь; Всѣхъ строже оцѣнить умѣешь ты свой трудь. Ты имъ доволень ли, взыскательный художникь? Доволень? Такъ пускай толпа тебя бранить И плюеть на алтарь, гдѣ твой огонь горить, П въ дѣтской рѣзвости колеблеть твой трепожникь.

И Пушкинъ навсегда затворился въ этомъ гордомъ величін непонятнаго и оскорбленнаго художника. И когда опъписалъ свои лучнія творенія — "Скупого рыцаря", "Египетскія почи", "Русалку", "Мъднаго всадника", "Галуба", "Каменнаго гостя", опъ всегда менфе расчитывалъ на восторгъ публики и потому не торопился издавать ихъ...

Бълинскій.

Въ пашен критикъ по новоду Пушкина часто слышалось возражение противь будто бы ошибочной теоріи, которая учить, что некусство должно имъть свою цъль въ самомъ себъ. Это положение, въ своей отвлеченности, можетъ быть всячески понимаемо... Некусство должно имъть свою внутреннюю цъль, какъ имъетъ ее все на свътъ... Говорите, что хотите, но не отнимайте у искусства его права на существование, за гаізоп д'ètre. Пушкинъ подвергея укору за то, что оставался въренъ цълямъ искусства. Его восхваляютъ какъ художника, но укоряютъ за то, что онъ былъ исключительно художникомъ. Пушкинъ, говорятъ критики, былъ въ нашей литературъ художникъ по преимуществу; онъ первый внесъ въ нее истинюе начало поэзій; по зато онъ и былъ только художникомъ,

только поэтомъ. Повинуясь влеченію своей природы, онъ подчиниль себя вполив этой теоріи, предписывающей искусству не знать иной цвли, кромв цвли искусства. Ему бы только уловить красоту явленія, только начертать изящный образь, голько передать ощущение въ живой прелести стиха. Онъ былъ эхо, которое отзывается на все безразлично и безсграстно; гакъ онъ и пошималъ свое назначение какъ поэта. Онъ самъ высказалъ свою теорію искусства възнаменитомъ стихотворенін своемь: Чернь. Съ презръніемъ и негодованіемъ отталкиваеть поэть эту "тупую чернь", этоть "непосвященный и безсмысленный народъ", который собрался просить у него слова поученія. Въ стихотворенін Пушкина последнее слово осталось, конечно, за поэтомъ. Но критики становятся на прогивную сторону и, разумъется, удерживають за собою послъднее слово, повторяя и разбирая то, что высказано въ стихотворенін отъ лица черин.

Пушкинъ не быль теоретикомъ. По дъйствительно съ теченісмъ времени его художественная дъятельность достигла до самосознанія, которое выразилось въ иъсколькихъ прекрасныхъ стихотвореніяхъ. Эти стихотворенія, при всей свободь своей формы, при всемь отсутствіи догматическаго характера, заключають въ себь намеки на теорію искусства, которую легко извлечь изъ нихъ.

Поэзія есть прежде всего одна изъ формъ нашего сознанія. Это особаго рода мышленіе; это умственная діятельность... Вдохновеніе творчества не только не чуждо сознанія, по есть, папротивъ, самое успленное его состояніе. Человъкъ въ этомъ состояни весь становится созерцаниемъ, внугрениимъ зръніемъ и слухомъ. Но чемъ сильные такое состояние, темъ менье бываеть возможнымъ, современно съ нимъ, другое подобное состояніе. Мы не можемъ сосредоточить наши понятія для гого, чтобы наблюдать за сильною внутрениею работою въ самый моментъ ея развитія, не можемъ не потому только, что намъ недостало бы матеріальныхъ силъ, по потому, преимущественио, что не будеть у насъ свободныхъ правственныхъ силь для новой работы, не будеть въ нашемъ распоряжени тыхъ умственныхъ способовъ, тыхъ понятій, которыя были бы для ней необходимы, но которыя заняты болье или менье близкимъ отношениемъ къ пачавшемуся дълу. Они не могуть вступить въ тв сочетанія, которыя требовались бы для поваго

дъла, не нарушая цълаго настроенія нашей души. Отдавать себъ отчетъ въ общихъ законахъ своей дъятельности, новаго плана, новаго настроенія и своего времени.

Итакъ вотъ она, эта пресловутая безсознательность художшика! Это не безсознательность, а цѣльность сознанія и нисколько не составляетъ исключительной принадлежности искуства въ тѣснѣйшемъ значеніи этого слова. Это общее условіе всякаго рода дѣятельности, которая творчески совершается въ человѣческомъ духѣ, и творчество въ этомъ смыслѣ нимало не есть принадлежность людей, слагающихъ стихи, сочиняющихъ повѣсти или драмы или занимающихся живописью, оно равно относится и къ ученому, къ ниженеру и даже къ математику, котораго бывало ставили во враждебныя отношешенія къ поэту.

Знаніе въ томъ, что мы зовемъ наукой, и знаніе въ томъ, что мы зовемъ поэзіей, различаются между собою такъ: первое имфетъ въ виду отвлеченное, общія отношенія предметовъ; собирая во множествъ частныя явленія, первое не обращаетъ вниманія на индивидуальныя ихъ отдичія, сосредоточивается въ нихъ исключительно лишь въ понятіяхъ родовыхъ и высказываетъ общія положенія, какъ законы природы; послѣднее, напротивъ, направлено къ тому, что брошено нервымъ. какъ случайное, къ тому, на что первое не хочетъ и не можеть обратить вниманія... Художникъ есть истинный естествоиспытатель въ этомъ міръ. Онъ производить въ немъ самыя разнообразныя наблюденія, которыя не уступають въ богатствъ паблюденіямъ наукъ. И здъсь вновь встръчаемъ мы сближеніе поэзін съ наукой. Тотъ же самый процессъ совершается въ умъ мыслителя, извлекающаго изъ бездны частныхъ фактовъ такъ называемый всеобщій фактъ, или законъ природы, какъ и въ художникъ, когда въ немъ изъ тыслчи схваченныхъ особенностей вырабатывается общій типъ, характеристическій образъ. Разница происходить отъ свойства предметовъ, на которые направлена дъятельность того и другого. Естествоиспытатель имжеть дело съ письменами, которыхъ смыслъ не уяспенъ ему непосредственно. Явленія природы предстоятъ ему какъ голые, вибшніе факты и получають значеніе, говорягь уму лишь въ той мфрф, въ какой вырабатываются изъ нихъ отвлеченные признаки или догическія формулы законовъ природы. Поэзія относится, большею частію, къ такимъ явленіямъ,

смысть которыхъ непосредственно сказывается въ нашемъ сердць, правственномъ чувствъ, въ нашемъ самопознаніи; она относится, преимущественно, къ человъческому міру, въ которомъ явленія сами чувствуютъ себя...

Наука, обобщая явленія, группируеть ихъ по логическимъ отношеніямъ, извлекаетъ ихъ изъ твхъ безчисленно разнообразныхъ связей, какъ существують они въ дъйствительности: наука тщательно уединяеть свой факть, возводя его въ понятіе; индивидуальности служать для ней только веществомъ анализа; она сыплетъ и льетъ ихъ въ свои реторты, добираясь только до элементовъ, чтобы потомъ разбирать и читать посредствомъ этой азбуки сложныя сочетанія явленій. Мысль художника держится на понятіяхъ видовыхъ, которымъ непосредственио подчинено разнообразіе индивидуальности. Видъ, по терминологіи греческой философін, есть то же, что иден; оба реченія въ греческомъ языкъ одного происхожденія. и употреблялись мыслителями одно вмъсто другого. Мысль художника остается такимъ образомъ на рубежъ между отвлеченною общиостью и живымъ явленіемъ. Фактъ, событіе не исчезаетъ для него въ общемъ законъ. Онъ повъствуетъ, изображаетъ, выводитъ живыя лица на сцену. Хотя художественная мысль также обобщаеть явленія, также соединяется съ отвлеченіемъ, однако художественное обобщеніе не разрушаетъ индивидуальности явленія, оно только возводить его въ типъ. Плодъ художественнаго познанія есть фактъ, удержанный во всей своей индивидуальности, по высвобожденный изъ путаницы случайностей, съ которыми въ дъйствительности является для простого глаза. Фактъ, въ художественномъ понятін, сохраняетъ всю свою жизненность. Художественное обобщение есть не иное что, какъ уразумбніе всего случайнаго въ предметъ.

Самая первая и существенная цёль искусства есть истина, что поэзія можеть и должна быть понимаема какъ знаніе, что красота художественныхъ произведеній есть лишь особое свойство этого знанія и основана на истинѣ. Но, спросять насъ, должно ли искусство ограничиваться однимъ теоретическимъ значеніемъ, или оно должно имѣть также и практическое значеніе? Этотъ вопросъ внушилъ самому Нушкину извѣстное стихотвореніе "Чернь", о которомъ привелось намъ упомянуть выше.

Въ этомъ стихотвореніи ясно замѣтно развитіе темы, замѣтна иѣкоторая діалектика, возвышеніе тона и мысли. Чернь сначала говорить слѣдующее о поэтѣ:

Вопросъ, въ этихъ словахъ, касается самаго существовани искусства, какъ и вообще всего, что не имъетъ виъшней цъли, что посвящено безкорыстному удовлетворенію высшихъ потребностей человъческой природы. Поэтъ выражаетъ это въражихъ стихахъ.

Ты червь земли, не сынъ небесъ, Тебѣ бы пользы все— на вѣсъ Кумиръ ты цѣнишь Бельведерскій. Ты пользы, пользы въ немъ не зришь. Но мраморъ сей вѣдь богъ! Такъ что же? Печной горшокъ тебѣ дороже? Ты пищу въ немъ себѣ варишь.

Сладующее за тамъ возражение черни принимаетъ бола сериозный характеръ. Она не отрицаетъ высшихъ даровъ и призваний, не требуетъ, чтобы "небесъ избранцикъ" употреблялъ свой даръ во разаго ближияго, чтобы онъ исправлялъ сердца собратьевъ.

Гифздятся клубомъ въ насъ пороки: Ты можешь, ближияго любя, Давать намъ смълые уроки, А мы послушаемъ тебя.

Требованія, повидимому, ресьма честныя и законныя. По поэть съ новою силою гремить противъ черпи. Онъ отрекается отъ воздагаемой на него обязанности; онъ не думаеть, чтобы "гласъ лиры" могъ оживить "каментнощихъ въ развратт безумныхъ рабовъ, которые противиы ему, какъ гробы". Пегодованіе поэта оправдывается тъмъ отттикомъ, который придань увъщательной ртчи, вызывающей его на подвигъ исправленія сердецъ. Черпь печисляеть свои пороки вовсе не съ тъмъ

чувствомъ, которое жаждетъ исправленія. Этотъ заключительный стихъ:

А мы послушаемъ тебя,

показываеть ясно, что шутливые требователи морали въ поэзін очень удобно могуть оставаться при своихъ пророкахъ, и желали бы только въ воображеніи понграть добродѣтелью. Въ человѣкѣ самомъ испорченномъ долго еще сохраняется потребность какъ-нибудь возстановить въ себѣ равновѣсіе между слишкомъ сильнымъ зломъ и слишкомъ слабымъ добромъ. Не имѣя ии охоты ни силы бороться со зломъ въ своемъ сердцѣ и побѣждать наклопности воли, опъ хочетъ, по крайней мѣрѣ, дать въ своемъ воображеніи полный просторъ добру. Отъявленный негодяй толкустъ иногда съ большимъ чувствомъ о чести и добродѣтели, и не всегда это бываетъ лишь однимъ лицемѣріемъ. Поэтъ, конечно, долженъ отказаться отъ такого служенія и заключаетъ свою рѣчь исповѣдью своего истиннаго призванія:

Пе для житейскаго волненья,
Не для корысти, не для битвъ,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуковъ сладкихъ и молитвъ.

Исповедь красноречивая и сильная! Мы не должны однако привязываться въ ней къ каждому слову, или, съ другой стороны, видъть въ этомъ лирическомъ движеніи точное выраженіе эстетическаго закона. Мы согласны, что въ общей исповъди поэта выразилась невольно личность самого Пушкина, особенность его природы и дарованія. Но основной смыслъ этихъ стиховъ, что бы кто ни говорилъ, очень въренъ. Да! мы не имъемъ никакого права требовать чего-либо отъ искусства свыше того, что высказывается этими пемногими словами, опредъляющими призвание художника. Если вдохновение не есть пустое слово, то что же иное можетъ означать оно здъсь, какъ не творческое созерцаніе жизни и истины? Не есть ли это то благодатное состояніе, болъе или менъе испытанное каждымъ, въ которое какъ бы мгновенно озаряется свътомъ нашъ умъ, раскрывается кругъ нашихъ обычныхъ представленій и принимаеть въ себя ифчто новое, сильное и животворно дъйствующее на наше состояние? Коснется ли наша мысль живой сущности явленій, очнется ли въ душт

нашен какое-либо скрыто-дъйствующее начало и внезанно озарится сознаніемъ; обозначится ли вдругъ, въ живомъ образъни звукъ, наше внутреннее настроеніе, или, можетъ-быть, нослѣ долгихъ искапій, мысль найдетъ свое слово, цѣль свое средство; развернется ли передъ нами, въ существенныхъ очертаніяхъ, но во всей полнотѣ жизни, міръ разнообразныхъ явленіи: все подобное есть даръ вдохновенія, которое хотя не есть исключительная принадлежность художника, но безъ котораго невозможна истинная поэзія. Творческое воспроизведеніе дъйствительности въ сознаніи — вотъ вдохновеніе художника, вотъ цѣль и задача его.

Вопросъ о пользъ быль иткогда пензбъжнымъ предисловіемъ ко всякому ділу. Потомъ, когда заговорили о самостоятельности каждаго дъла, проистекающаго изъ существенной потребности человъческой природы, подобные предварительные трактаты о пользъ подверглись осмъянію. Но вопросъ о пользъ можетъ имъть болъе глубокое значение, не заслуживающее осмъннія. Все въ міръ связано между собою, все дъйствуетъ одно на другое, и потому все можетъ быть взаимно полезно или вредно. Но съ другой стороны, жийствовать успъщно можетъ только то, что достаточно сильно и зръло въ самомъ себъ. Каждая вещь имъетъ свое назначение и становится способною дъйствовать лишь въ той мфрф, въ какой удовлетворяетъ внутреннему закону своего существованія. Въ человъческомъ мірт должны мы признать то же самое. Каждая дъятельность хочеть имъть свой корень, свою область и требуеть самостоятельнаго развитія. Она должна прежде сама развиться, и лишь потомъ можеть оказывать вліяніе на все прочее. Хотите ли вы утолить голодъ или жажду: вы возьмете зръльи плодъ, а гнилой или незрълый будеть безполезенъ вамъ. Хотите ли пользы отъ науки: дайте ен полный просторъ, дайте возможность, чтобы умственныя силы могли быть переданы ей вполит, такь чтобы она образовала великін и живой организмъ, чтобы каждая существенная цъль въ ней достигалась достижениемъ многихъ другихъ посредствующихъ цълей, и чтобы каждая изъ такихъ посредствующихъ цълей могла стать предметомъ особыхъ стремленій и могла образовать свой міръ. Не спрашивайте, зачемъ то и зачемъ другое; не говорите о безполезности той или другон части: знайте, что за каждую часть отвъчаеть цълое, а цълое возможно лишь при полномъ и рашительномъ развитіи каждой части.

Вы хогите, чтобы художникъ былъ полезенъ? Данте же ему быть художникомъ, и не смущантесь твмъ, что онъ сь полнымъ усердіемъ занять изученіями и приготовленіями, которыя имбютъ своею единственною цълью дъло искусства. Когда діло исполнится, когда оно явится на світть, оно непремьно окажетъ вліяніе на всъ стороны человъческаго сознанія и жизин, и окажеть темъ сильненшее вліяніе, чемъ болье будеть соотвътствовать своей внутренней природь. Не говорите: что толку въ этихъ прекрасныхъ линіяхъ, въ этихъ образахъ и звукахъ? Какая польза намъ отъ этого? Мы не будемъ отвъчать на эти вопросы ръзкими словами поэта не будеть также распространяться о важности внутренией цели искусства, о томъ, что минуты этого вдохновеннаго созерцанія идей и жизни сами по себъ драгоцыны; прямъе и примирительные будемы отвычать этимы суровымы искателямы подьзы. Правда, скажемъ мы имъ, люди призваны въ міръ не для одного спокойнаго созерцанія; мы должны дъйствовать и участвовать въ великихъ битвахъ жизни, каждый по силамъ и средствамъ своимъ; все въ человъческомъ міръ стремится и дъйствуетъ, все въ напряжении и борьбъ; такъ мы не будемъ терпъть, чтобы силы, столь нужныя для дъйствія и борьбы, замыкались въ неприступной оградъ и пребывали тамъ въ блаженномъ созерцанін, безплодно для всего окружающаго. Но точно ли остаются эти силы безплодными? Точно ли изъ этихъ возвышенныхъ сферъ не проистекаетъ обратное дъйствіе на жизнь? Точно ли есть такія разобщенныя сферы, которыя бы не оказывали взаимнаго другъ на друга вліянія и не дъйствовали на всю совокупность человъческаго сознанія и жизни? Изтъ, взаимное дъйствіе вещей можетъ быть измъряемо не грубою оцфикою поверхностнаго взгляда. Дфйствіе далеко отходигь отъ своей причины и принимаеть безконечно разнообразные виды и оттвики, такъ что отдаленное дъйствіе, сличенное съ своею первоначальною причиной, часто оказывается вовсе на нее не похожимъ. Самыя, если позволено будетъ такъ выразиться, спеціальныя произведенія искусства не остаются безъ дъйствія на жизнь, и дъйствіе ихъ можеть оказаться тамъ, гдъ мы вовсе не ожидали его. Не думаете ли вы, что впечатлъще прекраснаго такъ и заглохиетъ въ эстетическомъ

чувствъ? Что оно ни во что еще не переходитъ, ни въ чемъ еще не выражается? Мы же думаемъ, что пстинное образованіе невозможно безъ этого элемента, и исторія своими примърами подтверждаетъ-наше мифніе. Поэзія ознаменовываетъ первое пробужденіе народа къ исторической жизни, искусство и знаніе сопутствуютъ его развитію и служатъ самымъ лучнимъ выраженіемъ силы и развитія. Народы самые практическіе отличались высокимъ и сильнымъ развитіемъ умственной и художественной дъятельности, которая, повидимому, была совершенно чужда текущихъ вопросовъ и дневныхъ интересовъ, но которая въ самомъ-то дълъ была совершенно пеобходима для успъховъ жизни.

Скажите, откуда взялось въ жизни образованныхъ народовъ это изящество формъ и благородство общественныхъ огношеній? Мы такъ гордимся этими успъхами гражданственности и съ такимъ ужасомъ озираемся назадъ къ тъмъ временамъ, когда въ обществъ еще не чувствовалось присутствіе эстетическаго начала; мы съ такимъ пыломъ готовы на всякую экспедицію для новыхъ завоеваній подъ знаменемъ этой гражданственности, такъ пами цфинмой! А между тфмъ изащество жизни впервые (выработалась въ тъхъ умственныхъ сферахъ, которыя казались намъ безилодными; впервые развилось оно въ техъ чистыхъ созерцаніяхъ мысли, которыя могли казаться совершенно безполезными для жизни. Линін Рафарая не ръшали никакого практическаго вопроса изъ современнаго ему быта, по великое благо и великую пользу принесли онъ съ теченіемъ времени для жизни: онъ могущественно содъйствовали къ ся очеловъчению. Дъйствие великихъ произведеній искусства остается не въ одной лишь ближайшей ихъ сферф, по распространяется далеко и оказывается тамъ, гдъ объ идеалахъ художника иътъ и помина.

Представленія, образы, мысли — все эти силы, и весьма дъйствительныя силы въ человъческомъ сознаніи. Ничто не прокрадется въ нашихъ мысляхъ безъ дъйствія, хотя бы вначаль и незамътнаго. Прекрасные образы и звуки вносять съ собою въ сознаніе это начало прекраснаго, ихъ отличающее. Оно не останется только при вихъ, а мало-по-малу пріобрътеть свое отдъльное значеніе, станеть особою силою, которая войдетъ въ безчисленныя сочетанія и окажется въ самыхъ разнообразныхъ явленіяхъ нравственнаго міра. Но значеніе искус-

ства простирается далье, чьмъ признакъ прекраснаго, понимаемый въ обыкновенномъ своемъ смысль. Художественная мысль познающая открываетъ намъ внутренній взоръ на явленія жизни и черезъ то расширяетъ наше сознаніе, сферу нашего умственнаго господства: словомъ, могущественно способствуетъ тому, изъ-за чего мы бъемся въ жизни. Требуйте отъ искусства прежде всего истины; требуйте, чтобы художественная мысль уловляла существенную связь явленій и приводила къ общему сознанію все то, что творится и дѣлается во мракѣ жизни; требуйте этого, и польза приложится сама-собою, польза великая, нбо чего же лучше, если жизнь пріобрѣтаетъ свѣтъ, а сознаніе силу и господство?

Каждый въ мірѣ стоитъ за своимъ дѣломъ, и каждый притомъ служитъ орудіемъ одного великаго общаго дѣла. Честный труженникъ, приводяцій въ движенія тысячи колесъ и пруживъ въ видахъ вещественнаго благосостоянія, необходимаго для нравственнаго процвѣтанія общества, не имѣетъ, можетъбыть, въ кругу своихъ обычныхъ понятій никакого прямого отношенія къ искусству и поэзіи; скорѣе можетъ показаться онъ живымъ отрицаніемъ всякой поэзіи. Но что бы онъ ни думалъ про себя, и какъ бы даже ин жаловался на безплодность отвлеченныхъ мыслей, все, что есть въ его дѣлѣ поистинѣ благороднаго, живого, способнаго къ развитію и ведущаго къ успѣхамъ, это — правственное начало въ его дѣятельности, иногда самому ему пеясное, но согрѣвающее его трудъ, — все это связано въ дѣйствительности со многими чисто умственными движеніями, хотя бы и чуждыми его личному сознанію.

Не заставляйте художника браться за "метлу", какъ выразился Пушкинъ въ стихотвореніи "Чернь". Повърьте, тутъ-то и мало будетъ пользы отъ него. Пусть, напротивъ, онъ дълаетъ свое дъло; оставьте ему его "вдохновеніе", его "сладкіе звуки", его "молитвы". Если только вдохновеніе его будетъ истинно, онъ, не заботьтесь, будетъ полезенъ!

Довъримся вдохновенію истины и будемъ требовать отъ художника, какъ и отъ мыслителя, чтобы они только свято служили ей. Печего заботиться о томъ, чтобы художникъ былъ крѣпокъ своей эпохѣ. Болѣе чѣмъ кто-инбудь, онъ созданъ духомъ своего народа и духомъ своего времени, и на немъ неизгладимо означенъ ихъ образъ. Вдохновенная мысль, воспитаниая стремленіемъ къ истинѣ, первая усматриваетъ при-

знаки времени. Въ ея произведеніяхъ сами собою отражаются господствующія начала и направленія эпохи. То, что происходить глухо въ умахъ, обрътаеть себъ выражение въ поэтическомъ сознаніи и возводится въ ясное для всёхъ представленіе. Творческая мысль дійствительно владіветь могущественнымъ орудіемъ, и ся слово находить вфрный путь къ сердцамъ; но оно только тогда бываетъ плодотворно, когда является ея свободнымъ и чистымъ выраженіемъ. Она оставляеть по себъ богатый запась запечатлънныхъ ею выраженій, которыя становятся общимъ достояніемъ. Ими пользуется всякій, и слава Богу! Но творческая мысль пусть идеть и открываетъ новые пути,п дълаетъ новыя завоеванія. Остережемся, чтобы вмъсто поэта не навязать себъ на шею или фразера, пли доктринера. Фразеръ — это родъ, никуда не годный, и о немъ говорить не стоитъ; доктринеръ — дъятель почтенный, но гораздо бы лучше ему дъйствовать прямъе, не прибъгая къ формамъ художественнаго творчества! Поэма, повъсть, драма, написанная съ дидактическою или ораторскою цёлью, часто только вредять вызвавшей ихъ мысли. Уму бываеть въ нихъ душно, и вмъсто живого дъла часто производять опи только томительную апатію. Лишь одиць родъ поэзін сближается съ искусствомъ оратора: это лирика, которую нельзя принимать за твердую форму собственно художественной дъятельности. Лирика можеть быть во всемъ, даже въ безмолвномъ поступкъ, и наоборотъ, въ размъренномъ складълетучаго стиха можетъ, болъе или менъе удачно, выразиться всякое душевное движеніе.

Петочникъ разногласія въ сужденіяхъ весьма часто заключаєтся лишь въ сбивчивости словъ. Формула: "некусство для искусства", можеть въ самомъ дѣлѣ заключать въ себѣ смыслъ весьма неблагопріятный, и отъ такого смысла должны мы освободить эстетическій законъ, дающін внутреннюю цѣль явленіямъ искусства. Все непріятно-поражающее умъ въ этомъ знаменитомъ выраженін: "некусство для искусства", заключается въ представленін, будто художникъ долженъ имѣть своею цѣлью только изящество исполненія, и туть мы съ полнымъ правомъ восклицаемъ: нѣтъ! искусство должно имѣть какуюлибо существенную цѣль; пусть оно лучше оставитъ тщеславное притязаніе находить въ самомъ себѣ цѣль для своихъ явленій и будетъ лишь простымъ и честнымъ орудіемъ для

другихъ пазначеній, на которыя вызываеть его жизнь съ своими битвами и стремленіями. По діло въ томъ, что искусство именно тогда-то и будеть лишено всякой внутренней цъли, когда художественная дъятельность будеть заключаться только въ искусствъ исполненія; тогда-то оно и превратится въ простое средство для достиженія постороннихъ и дъйствительно суетныхъ цълей. Мы видимъ такое искусство во множествъ литературныхъ явленій, которыхъ все назначеніе состоитъ лишь въ томъ, чтобы болье или менье пріятно занимать праздный досугъ читателя. Такое искусство видимъ мы тоже въ явленіяхъ временъ упадка, когда изсякають источники всякой уметвенной производительности, и когда всъ стремленія имъютъ цълью только щекотать чувства, поражать эффектомъ и угождать прихотямъ вкуса. Подобныя явленія столь же мало соотвътствуютъ внутренией цъли искусства, какъ и тъ, въ которыхъ мысль прибъгаетъ къ формамъ художественной дъягельности для разныхъ практическихъ целей. Хотя явленія этого последняго рода гораздо предпочтительнее первыхъ въ правственномъ отношенін, но ни тамъ, ни туть не достигается та великая цъль, въ которой состоить его сущность и заключается его необходимость для человъческого развитія. Эта цъль есть сознаніе; художественное творчество есть дъятельность мысли, приводящей къ сознанію то, что безъ ея посредства оставалось бы для него чуждымъ и нъмымъ; дъятельность мысли, которая вносить жизнь въ человъческое сознаніе и сознаніе въ самые потаенные изгибы жизни.

Итакъ, нътъ сомивнія, что отъ искусства въ чистомъ и существенномъ значеніи его проистекаєть великая польза, и мы можемъ спокойно ограничиваться ею, не навязывая художнику никакихъ практическихъ побужденій для дъятельности. Какое различіе между практическимъ направленіемъ мысли и направленіемъ теоретическимъ, которое должно господствовать въ художественной дъятельности? Практически направленная мысль имъетъ своею цълью непосредственно побуждать людей къ поступку. Но чтобъ произвести такое дъйствіе, мы по необходимости должны имъть въ виду не одну только истину дъла, то также и всѣ тѣ различныя обстоятельства, отъ которыхъ можетъ зависъть ръшеніе воли, и особенность ся настроенія въ данное время. Большею частью мы бываемъ принуждены обращать все вниманіе лишь на одну сторону предмета, часто

должны бываемъ вовсе оставлять предметь, и всю силуслова устремлять на обстоятельства, совершенно ему постороннія; интересъ истины исчезаеть; (все разсчитывается только на практическое впечатавніе. Мы не отрицаемъ необходимости и такого рода дъятельности, мы съ радостью привътствуемъ ее тамъ, гдъ она встръчается въ достойномъ видъ; пусть даже пользуется она для своихъ цълей художественными формами, но мы не хотимъ, чтобы она вытёсняла искусство въ его собственномъ значенін и ставила себя на его мъсто. Пскусство, какъ наука, и дъйствуетъ прежде всего раскрытіемъ предмета въ его истниъ и потомъ уже представляеть самой истинь дъйствовать на убъждение и волю. Впрочемъ, ограждая самостоятельность искусства, мы, съ другой стороны, желали бы содъйствовать къ уничтожению той исключительности, въ какой иногда понимають художественность и поэзію. Не только не должны онъ быть связываемы съ какимъ либо особымъ способомъ выраженія, наприміръ, съ формами стиха, но и вообще съ извъстными родами произведеній. Художественность и поэзія могуть сопровождать творческую мысль повсюду, какого бы предмета она ни касалась. Чтобы не ходить далеко за примъромъ, приведемъ "Записки оренбургскаго ружейнаго" охотника" С. Т. Аксакова или еще ближе, "Семейную хронику". Это не поэма и не драма: но сколько тутъ поэзін и какая чистая художественность въ изображеніяхъ!

Давая искусству независимое значеніе, мы не освобождаемъ художника отъ обязанности заботиться о содержаніи своихъ произведеній. Мы согласны, что печать высокой художественности отличаетъ и такія произведенія, которыя предметомъ своимъ имѣютъ самыя ничтожныя явленія жизни; по, какъ бы ни было ничтожно явленіе, мысль должна стоять высоко, чтобы понимать его сущность, и можетъ-быть тѣмъ выше должна стоять она, чѣмъ ничтожиѣе постигаемое ею явленіе. Всякое ничтожество можетъ быть художественно воспроизводимо только такою мыслію, которая не останавливается на поверхности вещей и способна видѣть каждое явленіе въ его сущности, при свѣтѣ идеи, въ глубокой, обширной и сложной связи, дающей ему интересъ для разумѣнія.

Катковъ.

"Поэту" Пушкина.

Это стихотвореніе, имѣющее форму сонета, находится въ связи съ выше разобранными стихотвореніями, имѣющими предметомъ поэта и его отношеніе къ обществу. Здѣсь нашло выраженіе твердо охраняемое самимъ Пушкинымъ чувство независимости отъ неразумныхъ притязаній лицъ, вкривь и вкось судящихъ о дѣятельности поэта. Пушкинъ рано пришель къ убѣжденію въ законности этого чувства. Еще въ 1821 г. онъ писалъ къ Гнѣдичу:

Для музъ и дружбы живъ поэтъ. Его враги ему презрѣнны: Онъ музу битвой площадной Не унижаетъ передъ народомъ...

Все стихотвореніе "Поэту" имветь форму обращенія къ юному поэту, который предстоить автору, взволнованный полученными похвалами (строфа 1). Опытный поэть, обращая къ нему рфчь свою, предостерегаеть его отъ увлеченія этими похвалами. Онъ спъщить начертать ему самостоятельный путь въ его дъятельности.

Пушкинъ воспользовался здёсь для сравненія поэтическимъ образомъ любимаго своего героя Петра Великаго, который, зная предназначеніе своей страны, "смъло съяль просвъщенье самодержавною рукой". Путь поэта - долженъ быть подобенъ пути царя, передъ которым в все разступается ("Дорогою свободной иди"...), которому нътъ равныхъ ("живи одинъ"), котораго всь денствія безкорыстны, и надъ которымъ нътъ судін (строфа 3). Та доля негодованія, которымъ одушевленно начало этого монолога, разръщается подъ вліяніемъ ведичаваго образа такого царственнаго поэта, въ нослъдней строфъ, въ спокойное, списходительное отношение и къ самой толпъ. Толпа, характеризуемая въ 1-й строфъ эпитетомъ "холодная", сопровождающая своимъ смъхомъ судъ глупца о поэть, получила въ послъдней строфъ мягкое олицетвореніе въ образѣ рѣзвыхъ дѣтей, случайно забѣжавшихъ въ храмъ во время совершенія жрецомъ жертвоприношенія. Олицетвореніе толпы въ образѣ дѣтей сообщаеть рѣчи поэта характеръ болъе спокойный. Ихъ поступки не могутъ раздражать жреца, всецьло предавшагося своему священнодыйствію. И въ рѣзвости дѣтей нѣтъ злобнаго умысла: это неразумпая шалость; плюя на алтарь и колебля треножникъ, они желаютъ только позабавиться трескомъ огня и колебаніемъ пламени. Жрецъ не замѣчаетъ ихъ.

Мысль о независимости поэта и о малой цене суда, произносимаго надъ нимъ толпою, неоднократно высказывалась Пушкинымъ и въ критическихъ замъткахъ его. Таково слъдующее мъсто изъ статьи о Баратынскомъ (1830): "Наши поэты не могутъ жаловаться на излишнюю строгость критиковъ и публики; напротивъ: едва замътимъ въ молодомъ писатель навыкь къ стихосложению, знание языка и средствъ онаго, уже тотчасъ спъшимъ привътевовать его титудомъ генія за гладкіе стишки и нѣжно благодаримъ его въ журналахъ отъ имени человъчества. Истипный талант довъряеть болье собственному сужденію, основанному на любви къ искусству... Изъ нашихъ поэтовъ Баратынскій встхъ менте пользуется обычной благосклонностью журналовъ — оттого ли, что върность ума, чувства, точность выраженія, вкусъ, ясность и стройность менъе дъиствують на толпу, нежели преувеличенность модной поэзіи... Какъ бы то ни было, критика изъявляла въ отношеніи къ нему или недобросовъстное равнодушіе, или даже непріятное расположеніе... Первыя юношескія произведенія Баратынскаго были некогда приняты съ восторгомъ; последнія, боле зрелыя, боле близкія къ совершенству, въ публикъ имъли малый успъхъ Постараемся объяснить тому причины. Первою должно почесть самое сіе совершенство, самую зрълость его произведеній. Понятія, чувства 18-лътняго поэта еще близки и сродны всякому; молодые читатели понимають его и съ восхищениемъ въ его произведеніяхъ узнають собственныя чувства и мысли... Но лъта идутъ-поный поэтъ мужаетъ, талантъ его растетъ, понятія становятся выше, чувства изміняются-півсни его уже не тв, а читатели всв тв же, и развв только сдълались колодите сердцема и равнодушиве къ поэзін жизни. Поэта отдъляется отъ нихъ и мало-по-малу уединяется совершенно. Онъ творецъ для самого себя, и если изръдка еще обнародываетъ свои произведенія, то встрфчаетъ холодное невинманіе и находить отголосокь своимь звукамь только въ сердцахъ нъкоторыхъ покловниковъ поэзін, какъ онъ, уединенныхъ въ свътъ. Вторая причина есть отсутствіе критики и общаго

мнѣнія... Будучи предметомъ неблагосклопности, Баратынскій никогда за себя не вступался... Сія безпечность о судьбѣ своихъ произведеній, сіе неизмѣнное равнодушіе къ успѣху и похваламъ, не только въ отношеніи къ журналистамъ, но и въ отношеніи къ публикю, очень замѣчательны. Никогда не старался онъ малодушно угождать господствующему вкусу и требовать мгновенной молвы, никогда не прибѣгалъ къ шарлатанству, преувеличенію для произведенія большаго эффекта... Никогда не тащился онъ по пятамъ свой вѣкъ увлекающаго генія, подбирая имъ оброненные колосья: онъ шелт своею дорогою одинт и независимъ".

Позже (1833), оповъщая въ "Литерат. Прибавленіяхъ" къ "Русскому Инвалиду" о выходъ въ свътъ стихотвореній Катенина, Пушкинъ выразилъ тотъ же взглядъ на отзывы публики: "Что же касается до несправедливой холодности, оказываемой публикой сочиненіямъ г. Катенина, то во всъхъ отношеніяхъ она дълаетъ ему честь: во-первыхъ, она доказываетъ отвращеніе поэта отъ мелочныхъ способовъ добывать уснъхи, а во-вторыхъ, и его самостоятельность. Никогда не старался онъ угождать господствующему вкусу въ публикъ; напротивъ: шелг всегда своимг путемт, творя для себя, что и какт ему было угодно. Онъ даже до того простеръ свою гордую независимость, что оставлялъ одну отрасль поэзіи, какъ скоро становилась она модной"... Поливановт.

"Разговоръ книгопродавца съ поэтомъ" Пушкина.

Этотъ "Разговоръ", помъченный 26 сентября, былъ напечатавъ при 1-мъ изданін І гл. "Евг. Онъгина" (1825) вмъсто вступленія.

Стихотвореніе это, по замѣчанію г. Стоюнина (1880 г.) показываеть, какимъ жизненнымъ вопросомъ для Пушкина была поэзія, что онъ смотрѣлъ на нее, какъ на задачи своей жизни. "Онъ выходитъ изъ той мысли, которую такъ настойчиво постоянно поддерживалъ передъ друзьями и на которую еще такъ недавно указывалъ своему бывшему начальству, — будто онъ пишетъ стихи для денегъ. Друзья, конечно, не хотѣли ему вѣрить, считая это за одну изъ его оригинальностей и странностей, которыми онъ любилъ отличать себя.

Вдохновеніе и матеріальные расчеты и выгоды никакъ не могли соединиться въ ихъ понятіи... У Пушкина легко соединилось это, лишь только онъ посмотрёль на поэзію, какъ на свободный трудъ, который можетъ сдълаться трудомъ всей жизни. Пушкинъ только отдёлилъ процессъ творчества отъ готовой работы, которая уже получаетъ матеріальную цънность. По его взгляду, поэзія есть чистое творчество... самый процессъ творчества не въ волъ поэта; онъ происходитъ въ душт его какъ бы безсознательно для него самого по извъстнымъ психическимъ законамъ. Живой, вдохновенной рфчью представляетъ Пушкинъ этотъ творческій процессъ "въ часы почного вдохновенья" (стр. 32-41). Это дъйствительно "пиръ воображенья". И можетъ при такомъ высокомъ настроенін творчества духа быть не только рѣчь, но даже какая-нибудь темная мысль о плать, о торговль (стр. 47-52)? Итакъ творчество есть потребность поэтической души, и, слъдовательно, цълью его не можетъ быть матеріальная выгода или расчеть; ближайшее слъдствіе его есть высшее духовное наслаждение и желание продлить его, а не денежная оцънка; отъ нея оно вполит свободно. Далъе поэтъ освобождаетъ его и отъ другихъ цълей, которыя могли бы повредить его свободъ. Обыкновенно говорили, что поэзія не безкорыстна, что поэту нужна слава, и что ни одинъ поэтъ не взялся бы за перо, если бы не надъялся имъть читателей... Извъдавъ славу, Пушкинъ находитъ, что не стоитъ дорожить ею, отрекается отъ нея и ставитъ выше ея блаженство души въ свободномъ творчествъ (64-71). Затъмъ поэзію часто соединяли поэты съ любовью, съ возлюбленной женщиной, которую возводили въ идеалъ, которой поклонялись и подчиняли свое творчество. Пушкинъ не хотълъ и за любовью признать власти надъ поэтическимъ творчествомь. Оглядываясь назадъ на своихъ "идоловъ", нашъ поэтъ сдълалъ самое печальное о шихъ заключеніе (109-124). Рядомъ съ этими представленіями онъ ставить и идеальный образь, который онь нашель только въ одномъ женскомъ существъ, но

Земныхъ восторговъ изліянья, Какъ божеству, не нужно ей (стр. 174 — 175).

Такимъ образомъ отказавшись отъ всёхъ постороннихъ цълей, поэтъ избираетъ себъ одну свободу (стр. 182). Сдълавъ такой выборъ, опъ тотчасъ же дълаетъ неожиданный, но и неизбъжный, поворотъ къ тому вопросу, съ котораго начатъ "Разговоръ" — о платъ за поэтическій трудъ (стр. 184 — 186). Можно отречься отъ славы: она — "яркая заплата на ветхомъ рубищъ пѣвца"; по это ветхое рубище уже гласитъ о тѣхъ житейскихъ нуждахъ, которыя, требуя удовлетворенія, ставять въ зависимость и свободу творчества отъ постороннихъ силъ... а независимость опирается на свободный трудъ, который имѣетъ право оцѣнивать себя и требовать оплаты. Изъ всего этого слѣдуетъ, что для свободы творчества нужно, чтобы оно считалось трудомъ жизни и, слѣдовательно, имѣло бы одинакія права со всякимъ трудомъ. Черезъ это не пострадаетъ достойнство творчества. Нашъ поэтъ рѣшаетъ вопросъ очень просто (стр. 199 — 200). Рукопись, какъ плодъ труда, дѣлается уже товаромъ".

Поливановъ.

"Пророкъ" Пушкина.

Это стихотвореніе принадлежить къ числу тёхъ созданій поэта, которыя были оцень по достойнству сразу и безповоротно и единодушно признаны геніальными вещами, исполпенными неотразимой красоты. По словамъ Погодина, впервые слышавшаго "Пророка" въ Москвъ изъ устъ самого поэта, "Пророкъ" произвелъ на всбхъ, присутствовавшихъ при чтеній, наибольшее дъйствіе посль "Вориса Годунова". Бълинскій, восхищаясь "Пророкомъ", причисляль его къ "величайишмъ произведеніямъ Пушкинскаго генія — Протея". А. Григорьевъ видвлъ въ "Пророкъ" "одно изъ высочайшихъ созданій Пушкина". Къ такимъ же выводамъ приходитъ и повъйшая критика. Поливановъ говорить о "Пророкъ" восторженнымъ тономъ, а проф. Сумцовъ называетъ его "соднцемъ художественной красоты и силы", "красивъйшимъ" и "глубокомыслепнымъ" созданіемъ. Одинъ Спасовичъ пытался развънчать славу "Пророка" и подмътить въ немъ слабыя стороны, но изъ этой попытки ничего не вышло, и "Пророкъ пользуется такою широкою изв'єстностью, какая выпала на долю весьма немногимъ произведеніямъ Пушкина. Нѣтъ, кажется, ни одной хрестоматін, въ которой не было бы "Пророка". Нътъ на Руси ни одной школы, въ которой бы онъ

не читалея и не перечитывался. Оно и понятио. "Пророкъ", несмотря на его изумительное изящество формы и не для всъхъ доступную глубину мысли, принадлежитъ къ числу тъхъ стихотвореній поэта, прелесть и павосъ которыхъ, до извъстной степени, могутъ быть поняты и ребенкомъ и простолюдиномъ. Смъло можно сказать, что, съ теченіемъ времени, извъстность "Пророка" будеть возрастать все болье и болье. Мы нимало не сомпъваемся, что "Пророкомъ будутъ вдохновляться многіе даровитые поэты, подобно тому, какъ имъ вдохновлядся Баратынскій, когда писаль одну изъ лучшихъ строфъ своего стихотворенія "На смерть Гёте" і). Мы не сомивваемся также и въ томъ, что содержание "Пророка" будетъ когда-нибудь воспроизведено въ картинахъ и статуяхъ талантливыхъ живописцевъ и скульптуровъ, что его грандіозное величіе найдеть своихъ истолкователей и въ выдающихся русскихъ композиторахъ, нбо оно можетъ дать богатый матеріалъ и для програмно-симфонической и для вокальной музыки.

"Пророкъ" Пушкина — поэтическое повътствованіе о величайшемъ событіи изъ жизни одного изъ тѣхъ религіозныхъ реформаторовъ, которые налагали свой отпечатокъ на цѣлые вѣка, на цѣлые народы и на цѣлыя цивилизаціи.

О томъ, что пережилъ, передумалъ и выстрадалъ пророкъ прежде, чъмъ ему явился ангелъ, поэтъ не упоминаетъ. Обо

Съ природой одною онъ жизнью дышалъ. Ручья разумёлъ лепетанье, И говоръ древесныхъ листовъ понималъ, И чувствовалъ травъ прозябанье. Была ему звёздная книга ясна, И съ нимъ говорила морская волна.

Эти звучные, красивые и умные стихи составляють развите того места "Пророка", въ которомъ онъ разсказываеть, что последовало вследъ за темъ-какъ ангелъ коснулся его ушей.

И вняль я неба содраганье, И горній ангеловь полеть, И гадь морскихь подводный ходь И дольней лозы прозябанье.

Стихи Баратынскаго хороши; но какъ блідны, многословны, холодны и риторичны кажутся они въ сравнецін съ "Пророкомъ".

¹⁾ Воть эта страфа:

всемъ этомъ можно только догадываться изъ первыхъ двухъ стиховъ, знакомящихъ насъ съ правственнымъ обликомъ того человъка, который послъ перерожденія сдълался безстрашнымъ, неотразимымъ и непоколебимымъ провозвъстникомъ воли Божіей.

Духовною жаждою томимъ, Въ пустынъ мрачной я влачился, —

говорить о себъ пророкъ, и въ этихъ немногихъ словахъ раскрывается передъ инми вся его предшествующая жизнь. Онъ не принадлежалъ къ числу людей, которые полагаютъ счастье въ житейскихъ благахъ, ходятъ по протореннымъ дорогамъ и не оставляютъ по себъ никакого слъда въ исторіи. Былъ ли пророкъ счастливъ въ семейной жизни? Былъ ли онъ богатъ и знатенъ, и пользовался ли онъ вліяніемъ среди своихъ соотечественниковъ? Поэтъ объ этомъ, такъ же, какъ и объ его возрастъ, не упоминаетъ, но онъ намъ ясно даетъ понять, что у пророка была одна изъ тъхъ возвышенныхъ, избранныхъ и исключительныхъ натуръ, которыя чувствуютъ въ себъ необъятныя силы и инстинктивно стремятся къ ве ликимъ цёлямъ. Пророка томила "духовная жажда" и онъ не могъ удовлетворить ее, живя вмъстъ съ толпой и предаваясь своимъ обычнымъ занятіямъ. И вотъ, онъ удаляется въ пустыню, чтобы на единъ съ Богомъ и съ собой, путемъ самоуглубленія, молитвы и аскетическихъ подвиговъ, найти разгадку мучившихъ его вопросовъ, приблизиться къ тому идеалу правственнаго совершенства, къ которому онъ, въроятно, уже давно стремился, и, наконецъ, обръсти давно желанный покой для своей истерзанной души. Поэть не даеть никакихъ разъясненій относительно духовной жажды, томившей пророка. Но ихъ и не нужно, ибо ея характеръ обнаруживается изъ всего стихотворенія. Пророка томила не только жажда правды, его томило не только желаніе постигнуть нравственный смысль жизии и религіозной истины, но и стремленіе удовлетворить запросамъ своего пытливаго ума, — тъмъ запросамъ, надъ ръшеніемъ которыхъ трудились мыслители и философы всёхъ временъ и народовъ. "Въ духовной жажде" пророка совмъщалась жажда правды съ жаждой высшаго знанія, иначе Серафимъ не посвящалъ бы его въ тайны неба и земли. Духовная жажда пророка вытекала, между прочимъ, и изъ того, что онъ уже смутно чувствовалъ свое пророческое признаніе, но не былъ увфренъ въ пемъ, не довфрялъ своимъ силамъ и приходилъ въ отчаяніе при мысли о своей гръховности и о бъдности человъческой природы.

Терзаясь въ мукахъ самонспытанія и самоосужденія, онъ не придаваль никакого значенія ни своему алканію свъта ни своему подвижничеству, и ничего не видъль въ себъ, кромъ малодушія, лукавства и страсти къ празднословію. Онъ переживаль тяжелую внутреннюю борьбу, знакомую и царевнчу Сакъямуни, и Фаусту, и всъмъ людямъ такого же типа. Мрачная пустыня вполиъ подходила къ настроенію пророка въ то время, когда онъ "влачился" по ней, погруженный въ свои бозотрадныя размышленія, и вотъ, въ это-то время съ нимъ и совершается то, чего онъ уже давно желаль въ глубинъ души, но о чемъ онъ даже не дерзалъ просить Бога въ минуты самой пламенной молитвы, — посвященія въ пророки.

Пророку является шестикрылый серафимъ и благодатною силой перерождаеть все его существо. "Перстами легкими, какъ сонъ" (какое великолънное сравнение!) онъ прикасается къ очамъ пророка и сообщаетъ его духовному зрвнію цеобычайную зоркость и прозорливость. Отнынъ пророкъ уже не будеть колебаться въ правдивости того, что ему подскажуть первыя впечатльнія при встрьчь съ тьми или другими людьми: онъ пріобрѣлъ способность насквозь видѣть людей, опъ получиль тоть ключь, которымь можно отмыкать сердца своихъ ближнихъ и видъть все, что тамъ творится. Отнынъ пророкъ уже не будетъ страдать правственною слепотой, а будетъ поражать враговъ и приверженцевъ своею дальновидностью и проницательностью. Неожиданное появление ангела и то озареніе, которое пророкъ почувствоваль въ своей душѣ послѣ того, какъ серафимъ прикоснулся къ его очамъ, привели пророка въ трепетъ. Страхъ, который онъ при этомъ испыталъ, поэтъ сравниваеть со страхомъ испуганной орлицы, давая понять этимъ сравненіемъ, что въ природъ пророка было что-то ординое.

Ангелъ прикасается къ ушамъ пророка, и ихъ наполняетъ шумъ и звонъ, какъ это бываетъ съ людьми, у которыхъ, подъ вліяніемъ сильныхъ правственныхъ потрясеній, приливаетъ кровь къ головъ. Вслъдъ за этимъ надъ пророкомъ совершается рядъ чудесъ: онъ познаетъ посредствомъ слуха то,

чего нельзя слышать ушами, и дълается причастником высшаго, сверхчувственнаго и сверхъестественнаго знанія.

> И вияль я неба содроганье, И горий ангеловь полеть, И гадъ морскихъ подводный ходъ, И дольней лозы прозябанье.

Остановимся на этихъ стихахъ отчасти для того, чтобы уяснить себъ ихъ смыслъ, отчасти для того, чтобы подчеркнуть ихъ необычайную красоту и мощь.

Какимъ содроганіямъ неба внялъ пророкъ? Очевидно, тѣмъ содроганіямъ, которыя обыкновенно не сопровождаются звуками, иначе сказать, молніямъ безъ грома или такъ называе мымъ зарницамъ. Тютчевъ прекрасно выразилъ таинственное и поэтическое впечатлѣніе, производимое ими на людей, чуткихъ къ явленіямъ природы.

Не остывшая отъ зною, Ночь іюльская блистала, И надъ тусклою землею Небо, полное грозою, Отъ зарницъ все трепетало...

Словно тяжкія рѣсницы Разверзалися порою, И сквозь бѣглыя зарницы Чьи-то грозныя зѣницы Загорались надъ землею...

Въ то время, когда передъ пророкомъ предсталъ серафимъ, въроятно, тоже

Чьи-то грозныя зѣницы Загорались надъ землею,—

наводя мысль на Бога и возвъщая славу Господню, и ---

Небо, полное грозою, Отъ зарницъ все трепетало.

Насмурное, покрытое тучами небо, безшумно содрогавшееся надъ головой пророка, вполив гармонировало съ тъмъ дикимъ и суровымъ пейзажемъ, который передъ нимъ разстилался въ то время, когда онъ влачился по мрачной пустынъ.

Все это такъ же, какъ и нъкоторые другіе намеки поэта на обстановку, среди которой происходить явленіе серафима

пророку, необходимо имъть въ виду художнику, который избереть стихотворение Пушкина темой для своей картины.

Раскрывъ передъ пророкомъ нѣкоторыя изъ тайиъ неба и горняго міра, ангелъ посвящаетъ его въ нѣкоторыя изъ тайнъ природы и даетъ ему внять —

И гадъ морскихъ подводный ходъ, И дольней лозы прозябанье.

Эти два стиха опять-таки служать указаніемь на особенности той мѣстности, въ которой происходить дѣйствіе "Пророка". Мрачная пустыня, куда онъ удалился, пе была лишена кое-какой растительности, и находилась, вѣроятно, неподалеку отъ моря.

Стихъ —

II гадъ морскихъ подводный ходъ

изумительно хорошъ по изобразительности языка. Пророкъ слышитъ не шумъ, производимый китами или громадными рыбами, а "ходъ" "морскихъ гадовъ" на диф морскомъ, на страшной глубинф, куда не достигаютъ ни звуки ни солнечный свътъ.

Стихъ —

И гадъ морскихъ подводный ходъ —

живо рисуетъ въ нашемъ воображении морскихъ чудовицъ, которыми народная поэзія и фантазія древнихъ населяли морскія бездны. Этотъ стихъ какъ бы разъясняется и развивается въ извъстной картинъ морской пучины изъ щиллеровскаго "Водолаза".

П смутно все было внизу подо мной Въ пурпуровомъ сумракѣ тамъ; Все спало для слуха въ той безднѣ глухой; Но видѣлось страшно очамъ, Какъ двигались въ ней безобразныя груды, Морской глубины несказанныя чуды; Я видѣлъ, какъ въ черной пучинѣ кипятъ, Въ громадный свиваяся клубъ, И млатъ водяной, и уродливый скатъ, И ужасъ морей, однозубъ, И смертью грозилъ мнѣ, зубами сверкая, Мокой ненасытный, гізна морская.

И я содрагался... вдругь слышу — ползеть Стоногое грозно изъ мглы — И хочеть схватить — и разинулся роть... Я въ ужасъ прочь отъ скалы...

То, что узналь безумно-отважный юноша Шиллерь о тайнахъ моря посредствомъ зрѣнія, пророкъ чудеснымъ образомъ постигь слухомъ своимъ.

Избавивъ пророка отъ нравственной слѣпоты и глухоты и надъливъ его высшимъ, недоступнымъ для обыкновенныхъ смертныхъ, знаніемъ, серафимъ, не нарушая своего таниственнаго молчанія, приступаетъ къ совершенію надъ пророкомъ чего-то въ родѣ кроваваго крещенія:

И онъ къ устамъ моимъ приникъ, И вырвалъ грѣшный мой языкъ, И празднословный и лукавый, И жало мудрыя змѣи Въ уста замерзшія мон Вложилъ десницею кровавой.

Отнынъ пророкъ исполнится глубокою, ничъмъ непоколебимою върой въ святость и мудрость каждаго своего слова, произносимаго въ минуты религіознаго экстаза, и его вдохновенныя ръчи будутъ переходить изъ рода въ родъ, отражаясь въ теченіе цълыхъ въковъ на судьбахъ народовъ и государствъ. Отнынъ пророкъ уже не будетъ подозръвать себя въ склонности къ празднымъ и лукавымъ ръчамъ: онъ будетъ смотръть на свое увлекательное красноръчіе, какъ на чудо, устраняющее необходимость другихъ чудесъ.

Но пророку недостаточно обладать прозорливостью, мудростью и способностью подчинять людей своему вліянію. Ему нужно имѣть еще непоколебимое мужество и никогда неостываемый душевный жаръ. Ему нужно быть выносливымъ въ трудахъ и лишеніяхъ, безстрашнымъ въ борьбѣ съ гонителями проповѣдуемой имъ вѣры, поэтому серафимъ, опять-таки не прерывая своего молчанія, довершаетъ духовное перерожденіе пророка другимъ, мучительнымъ и страшнымъ для него актомъ кроваваго крещенія,

И онъ мнѣ грудь разсѣкъ мечомъ И сердце трепетное вынулъ, И угль, пылающій огнемъ, Во грудь отверстую водвинуль...

Отнынъ пророкъ уже не будеть сомиъваться въ своихъ силахъ и решеніяхъ и теряться предъ лицомъ грозной опасности. Онъ уже не будеть влачиться въ мрачной пустынь, опъ будетъ смъло смотръть въ глаза и царямъ и мудрецамъ и не почувствуетъ робости ни передъ разъяренною толпой ин передъ самыми лютыми страданіями. Кровавое крещеніе убило въ немъ ветхаго человъка съ его неувъренностью въ себъ, съ его уныніемъ и слабостью, но, вмѣсть съ тьмъ, глубоко потрясло физическій организмъ пророка. Пожинутый ангеломъ, пророкъ лежалъ какъ трупъ, съ замершими устами, съ разрубленною, открытою грудью, обезсиленный и окровавленный, почти безъ признаковъ жизни. Онъ получаетъ исцъленіе отъ самого Бога. Прерывая тишину пустыни но оставаясь незримымъ, Богъ торжественно провозглашаетъ его пророкомъ, утверждаеть за нимъ тъ благодатные дары, которые онъ получилъ отъ ангела, и разъ навсегда опредъляетъ для пророка тоть великій подвигь, который онь быль призвань совершить, - подвигь всемірной пропов'яди и сліянія своей воли съ Божьею волей.

И Бога гласъ ко миѣ воззвалъ:
Возстань, пророкъ, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей
И, обходя моря и земли,
Глаголомъ жги сердца людей.

Этими стихами окончательно обрисовывается величавый образь Пушкинскаго пророка, съ его орлинымъ взглядомъ, вдохновенными рѣчами и безтрепетнымъ, пламеннымъ сердцемъ, и онъ, какъ живой, стоитъ передъ нами въ своей длиниой восточной одеждѣ.

Усрпяевъ.

Со временъ Самуила (около 1000 л. до Р. Х.) начинается тотъ рядъ пророковъ, который съ небольшими перерывами тянется въ продолжение 700 лътъ до Малахии. Самуилъ основалъ особыя школы для пророковъ, въ которыхъ жили подъ руководствомъ старшихъ учителей молодые люди — "сыны пророковъ". Въ этихъ школахъ искусственно развивалось и поддерживалось состояние восторженности. У евреевъ пророчество было силой, которая глубоко и могущественно вліяла на судьбу народа и на развитіе теократіи. Пророки выходили

изъ среды парода, послушные божественному внушенію. Вообще, пророчество не было связано съ сословіемъ или званіемъ и не нуждалось въ признаціи со стороны государственной власти. Сознавая свое призвание и свой авторитетъ, пророкъ быль голосомъ и послапникомъ Божінмъ, олицетворенною совъстью народа, смълымъ обличителемъ безиравственныхъ и преступныхъ дъяній. Это былъ руководитель народа и натріотъ въ самомъ благородномъ смыслъ этого слова. Въ минуту великихъ, ръщительныхъ событій опъ проповъдоваль расканніе, предостерегаль и утвшаль, храниль законь, истолковываль народу древніе завъты, образуя собой опнозицію сильнымъ міра, нарушавшимъ законъ. Болъе всего пророки порицали идолопоклонство и порчу нравовъ. Они возвъщали божественныя кары и въ трудныя годины укръпляли сокрушенный духъ народа. Пророки безстрашно вступали въ дворцы, порицали ложную политику, часто терпъли преслъдованія и подвергались пыткамъ и казни. Въ царствъ израндыскомъ въ правление Ахава они были совершенио истреблены. Въ пр. Исаін сосредоточилось все, что выработало пророчество до него и что послъ него проявилось въ этомъ учрежденін. Сорокъ семь літь онь дійствоваль какъ пророкъ и народный вождь. Вліяніе его на пародъ и на царя было велико. Языкъ его отличается большими достоинствами, простотой, ясностью, величіемъ; въ силъ и гармоніи произведенія его превосходять все оставленное пророками. Въ каждой чертъ у него сказывается благородство помысловъ и чувства, все у него носить печать генія и неподдъльнаго вдохновенія. Содержаніе его поэзін составляють карательныя рѣчи, жалобы на гръхи народа, грозныя предвъщанія близкой гибели и ободряющія духъ падежды на лучшее будущее.

Въ VI главъ книги пр. Исаін находится величественное повъствованіе о призваніи пророка: "ІІ бысть въ дъто, въ неже умре Озіа царь, видъхъ Господа съдяща на престоль высоцъ и превознесеннъ, и исполнь домъ славы его. И серафимы стояху окрестъ, его, шесть крилъ другому и двъма убо покрываху лица своя, двъма же покрываху ноги своя и двъма летаху. И взываху другъ ко другу и глаголахъ: святъ, святъ, святъ Господь Саваооъ: исполнь вся земля славы его. И взяся наддверіе отъ гласа, имже вопіяху, и домъ наполнися дыма. И рекохъ: О окаянный азъ, яко уми-

лихся, яко человъкъ сый, и нечисты устить имый посредь людей нечистыя устить имущихъ азъ живу: и царя Господа Саваова видъхъ очима моима. И посланъ бысть ко мить единг от серафимовг, и вт рушть своей имяще угль горящъ, его же клещами взять отъ олтаря. И прикоснуся устиамъ моимъ и рече: се прикоснуся сіе устиамъ твоимъ и очиститъ. И слыша гласт Господа глаголюща: кого послю, и кто пойдетъ къ людемъ симъ, и рекохъ: се азъ есмь, посли мя. И рече: иди и рци людемъ симъ: слухомъ услышите и не уразумъете, и видяще узрите и не увидите. Одебелъ бо сердце людей сихъ, и ушима своима тяжко слышаша, и очи свои смежиша, да пъкогда узрятъ очима и ушима услышать и сердцемъ уразумъютъ, и обратятся, и исцълю ихъ".

Цитированное мъсто Библіи получило у Пушкина такое выраженіе:

> Духовной жаждою томимъ, Въ пустынъ мрачной я влачился, II щестикрылый серафимъ На перепуты мнв явился: Перстами легкими, какъ сонъ, Моихъ зъницъ коснулся онъ: Отверзлись въщія зъницы, Какъ у испуганной орлицы. Монхъ ушей коснулся онъ, И ихъ наполинлъ шумъ и звоиъ: II вняль я неба содроганье II горній ангеловъ полеть, II гадъ морскихъ подводный ходъ, II дольней лозы прозябанье. И онъ къ устамъ монмъ приникъ, II вырваль грфшный мой языкь, И празднословный и лукавый, II жало мудрыя змѣи Въ уста замершія мои Вложилъ десницею кровавой. И онъ мнѣ грудь разсѣкъ мечомъ, И сердце трепетное вынулъ, И угль, пылающій огнемъ, Во грудь отверстую водвинуль. Какъ трупъ въ пустынъ я лежалъ, II Бога гласъ ко мит воззвалъ: Возстань, пророкъ, и виждь, и внемли Исполнись воею моей И, обходя моря и земли, Глаголомъ жги сердца людей.

Сравнивая "Пророка" Пушкина съ VI гл. книги пр. Исаін, нельзя назвать "Пророка" передълкой этай главы. Пушкинъ не воспользовался всъмъ содержаніемъ VI главы, взялъ только часть его и обработалъ его по-своему.

Въ основъ "Пророка" лежитъ въчно привлекательная идея о прогрессъ человъчества по усиліямъ умственныхъ и нравсвенныхъ геніевъ. Пдея эта основывается на неприложныхъ данныхъ исторін. Время отъ времени появляются люди, которые стоять къ нравственному состоянію своего въка въ томъ же отношенін, въ какомъ геніальные люди стоять къ его умственному состоянію. Они предвосхищають нравственныя стремленія поздивниму времень, распространяють и укрвиляють чувство безкорыстной добродътели, внушають обязанности и побужденія, которыя большинству людей кажутся совершенно химерическими. Вліяніе такихъ нравственныхъ геніевъ, могущественное и благотворное, дъйствуетъ на современниковъ и ближайшее потомство. Когда съ теченіемъ времени энтузіазмъ ослабъваеть, и грубый эгонзмъ начинаеть разрастаться, тогда выходять новые съятели добра и жгучими глаголами очищають огрубълыя сердца.

Историческими комментаріями къ "Пророку" могутъ служить всъ великіе дъятели въ глубочайшихъ и благородивйшихъ сферахъ духа, въ религін, въ наукъ, въ искусствъ, въ общественной дъятельности, тъ дъятели, которыхъ томила духовная жажда, которые выдержали тяжелый процессь нравственнаго перерожденія, выработали въ своей душт несокрушимую любовь къ истинъ, правдъ и добру, слово которыхъ стало живымъ глаголомъ. Но вътъ, кажется, болъе величественнаго историческаго воплощенія того идеала пророка, какой вылился въ стихотворении Пушкина, какъ жизнь и дъятельность св. апостола Павла. Савла томила духовная жажда. Блескъ славы засіяль надъ нимь въ пустынь. Онь быль повергнуть на землю, какъ пророкъ Пушкина, и оставался въ такомъ положеніи, пока Божій глаголь не повельль сму встать, и тогда онъ всталъ просвътленнымъ Павломъ. Онъ услышалъ въ свътъ повельние: "Встань и иди въ городъ и сказано будеть тебъ, что тебъ надобно дълать". Съ этого времени обнаружились великія духовныя силы у апостола народовъ, и онъ безповоротно пошелъ по указанному ему пути, обходя моря и земли и просвъщая сердца народовъ свътомъ христіанскаго

ученія. "Въра его никогда не колебалась среди жесточайшихъ испытаній, и его надежда не отуманивалась среди самыхъ горькихъ разочарованій".

Во всякомъ случать самое широкое чувство доброжелательства и любви, какъ благодати Божіей, должно служить исходнымъ пунктомъ при оцтикт Пушкинскаго пророка. Пророкъ Пушкина въ любви своей обнимаетъ весь міръ —

II въ полѣ каждую былинку II въ небѣ каждую звѣзду,

душу свою сливаеть съ высшими интересами человъчества, въ свои объятія заключаеть и друзей и враговъ, ставить своивъщіе глаголы настражъ "убогихъ, нищихъ", и укръпляетъ въ нихъ свътлую надежду, что "святая правда на землю прилетитъ".

Вообще, въ основъ Пушкинскаго "Пророка" лежитъ чистое, здоровое и жизнерадостное настроеніе. Существованіе такого стихотворенія въ русской литературъ имъетъ важное воспитательное значеніе. Оно въ нъкоторой степени можетъ служить противовъсомъ тому мрачному и удручающему пессимистическому настроенію, которое охватываетъ не только отдъльныя личности, но полосами находитъ на цълыя теченія народной мысли и, какъ туча, наводитъ унылую тънь на колосистую ниву человъческаго труда и цивилизаціи.

Пушкинъ даетъ въ пророкъ положительный типъ, и въ этомъ отношении его пророкъ стоитъ неизмъримо выше лермонтовскаго, разочарованнаго, байроническаго. Пусть люди не велики: но великъ міръ, велико человъчество, и самъ милосердный Богъ выдвигаетъ великихъ дъятелей, надъляетъ ихъ благодатью любви, силой знанія, несокрушимой волей и даромъ могучаго, огненнаго слова.

Изложеніе и языкъ въ "Пророкъ" отличаются величественной простотой. Всъхъ словъ 132; между ними нътъ ни одного вульгарнаго. Пушкинъ чрезвычайно удачно пользуется церковно-славянскими элементами литературнаго языка для выраженія величія и торжественности преобразованія пророка. Церковно-славянскихъ словъ около 10. Они вполнъ отвъчають строю мысли и сущности предмета. Сумиювъ.

"Поэть" Пушкина.

Хронологически и логически къ "Пророку" очень близко стихотв. "Поэтъ", напечатанное впервые въ 22 № "Московскаго Въстника" 1827 г.

Пока не требуетъ поэта Къ священной жертвъ Аполлонъ, Въ заботахъ суетнаго свъта Онъ малодушно погруженъ. Молчить его святая лира, Душа вкушаеть хладный сонь, И межь дътей ничтожныхъ міра, Быть можеть всёхь ничтожией онъ. Но лишь божественный глаголъ До слуха чуткаго коснется, Душа поэта встрепенется, Какъ пробудившійся орелъ. Тоскуеть онь въ забавахъ міра, Людской чуждается молвы; Къ ногамъ народнаго кумира Не клонить гордой головы; Бъжить онъ, дикій и суровый, И звуковъ смятенья полнъ, На берега пустынныхъ волнъ, Въ широкошумныя дубровы.

Между стихотвореніями "Поэтъ" и "Пророкъ" есть внутреннее родство. Випкая въ художественные образы этпхъ стихотвореній, можно сказать, что "Поэть" первичиве "Пророка"; до чуткаго слуха поэта лишь коснулся "божественный глаголъ"; здёсь еще нётъ духовнаго преобразованія, которому подвергся "Пророкъ"; но это преобразование близко, и потому поэть затосковаль въ забавахъ міра, сталь чуждаться молвы, и полный смятенья, дикій и суровый, т.-е. углубленный въ себя, не разобравшійся среди нахлынувшихъ впечатліній и образовъ, онъ бъжитъ на берега пустыпныхъ волиъ въ ишрокошумныя дубровы. Въ пустынъ его встрътить серафимъ и преобразуеть его чувства для воспріятія высшаго божественнаго вельнія глаголомъ жечь сердца людей. Поэтъ бъжитъ въ пустыню не только отъ вражды и неблагодарности; онъ бъжитъ съ положительной цълью, предвидя откровение и очищеніе. У поэта оказывается еще "гордая голова"; но у пророка уже не будетъ гордости. Сходство въ художественномъ

образѣ повлекло за собою сходство въ отдъльныхъ выраженіяхъ. Такъ:

въ "Пророкъ": Глаголомъ жги сердца людей...

въ "Поэтъ": Но лишь божественный глаголь

До слуха чуткаго коснется...

въ "Пророкъ": Отверзлись въщія зъницы

Какъ у пспуганной орлицы...

въ "Поэть": Душа поэта встрепенется, Какъ пробудившійся орель.

Итакъ, въ "Поэтъ" Пушкина мы видимъ художественный образъ, который возникъ въ его душъ въ началъ 20-хъ годовъ, постепенно созръвалъ и въ законченной формъ вылился въ 1826—1827 годахъ. Съ "Пророкомъ" Лермонтова сравниваютъ обыкновенно "Пророка" Пушкина; но это величины несравнимыя, по основнымъ идеямъ и по моментамъ ихъ, такъ сказать, хронологическаго пріуроченія къ образамъ. Къ "Пророку" Лермонтова ближе стоитъ "Поэтъ" Пушкина, и нельзя отрицать возможности прямого литературнаго вліянія въ данномъ случаъ Пушкина на Лермонтова.

Основной мотивъ стих. "Поэтъ" ("часъ божества") давно уже занималъ Пушкина; это одно изъ наиболѣе продуманныхъ и прочувствованныхъ поэтическихъ признаній Пушкина. Уже въ шестой пѣснѣ "Руслана и Людмилы" Пушкинъ, говоря о томъ, что онъ забылъ и трудъ уединенный и звуки "лиры дорогой", прибавляетъ:

Меня покинуль *тайный геній* II помысловь и сладкихь думь.

Это состояніе духа, которое гораздо позже выразилось въ стихотвореніи Пушкина "Трудъ", которое Тургеневъ выразиль въ письмахъ къ друзьямъ и въ статьъ "Довольно", состояніе временнаго спокойствія творческаго духа, ошибочно принимаемаго за притупленіе или исчезновеніе.

Въ эпилогъ къ "Руслану и Людмилъ" (1820 г.) Пушкинъ говоритъ:

Душа, какъ прежде, каждый часъ Полна томительною думой — Но огнь поэзіи погасъ. Ищу напрасно впечатлівній! Она прошла пора стиховъ, Пора любви, веселыхъ сновъ,

Пора сердечных вдохновеній Восторговъ краткій день протекъ— И скрылась отъ меня навѣкъ Бошня тихил тиснопиній.

Эта богиня, въ другихъ стихотвореніяхъ "муза", близкая родня Аполлону, "тайному генію", "демону", какъ послъдній обрисованъ въ стих. "Демонъ" 1823 года и въ "Разговоръ книгопродавца съ поэтомъ" 1824 года.

Пушкинь быль человькь глубоко искрений. Въ "Поэть" отразилась его жизнь въ Михайловскомъ въ 1824—1826 гг. Самъ Пушкинъ разсказываль, что, бродя надъ озеромъ въ Михайловскомъ, онъ тъшился тъмъ, что пугалъ дикихъ утокъ сладкозвучными своими строфами.

Бътство поэта "на берега пустынныхъ волнъ" можно попимать въ широкомъ смыслъ самоуглубленія. Въ "Осени" 1830 года одна строфа бросаетъ свътъ на способы уединенія. Здъсь поэтъ находить воодушевленіе въ тишинъ своего кабинета у горящаго камина. Тогда онъ питалъ въ своей душъ "думы долгія".

И забываю міръ, и въ сладкой тишинѣ Я сладко усыпленъ моимъ воображеньемъ, И пробуждается поэзія во мнѣ: Душа стѣсняется лирическимъ волненьемъ, Трепещетъ и звучитъ и ищетъ, какъ во снѣ, Излиться, наконецъ, свободнымъ проявленьемъ — И тутъ ко мнѣ идетъ незримый рой гостей, Знакомцы давніе, плоды мечты моей.

Въ этихъ строкахъ заключается рядъ драгоцвиныхъ откровеній о тайнъ поэтическаго творчества. Такъ, важно, что душа поэта въ минуту творчества "трепещетъ и звучитъ". Слуховыя ощущенія имъли громадное значеніе въ творчествъ Пушкина. Замъчательно далѣе сближеніе художественныхъ образовъ съ сновидъніями — важная и еще неразработанная тема новъйшей научной исихологіи. Сумцовъ.

Русланъ и Людинла.

Нельзя ин съ чёмъ сравнить восторга и негодованія, возбужденныхъ первой поэмой Пушкина— "Русланъ и Людмила". Слишкомъ цемногимъ геніальнымъ твореніямъ удавалось про-

изводить столько шуму, сколько произвела эта дътская и инсколько не геніальная поэма. Поборники новаго увидъли въ ней колоссальное произведеніе, и долго послѣ того величали опи Пушкина забавнымъ титломъ "пѣвца Руслана и Людмилы". Представители другой крайности, слѣпые поклонники старины, были оскорблены и приведены въ ярость появленіемъ поэмы. Опи увидѣли въ ней все, чего въ ней нѣтъ — чуть не безбожіе, и не увидѣли въ ней инчего изъ того, что именно есть въ ней, то есть хорошихъ, звучныхъ стиховъ, ума, эстетическаго вкуса и, мѣстами, проблесковъ поэзіи.

Причиной энтузіазма, возбужденнаго "Русланомъ и Людмилой", было, конечно, и предчувствие новаго міра творчества, которыи открываль Пушкинь вевми своими первыми произведеніями, но еще болже это было просто обольщеніе невиданной дотоль новинкой. Какъ бы то ин было, по нельзя не понять и не одобрить такого восторга: русская литература не представляла ничего подобнаго "Руслану и Людмилъ". Въ этон поэмъ все было ново: и стихи, и поэзія, и шутка, и сказочный характеръ вмфстф съ серіозными картинами. Но бышенаго негодованія, возбужденнаго сказкой Пушкина, нельзя было бы совстмъ понять, еслибъ мы не знали о существованін старовъровъ, дътей привычки. На что озлились опи? На изсколько вольныя картины въ эротическомъ духф? -Но они давно уже знакомы были съ ними черезъ Державина и въ особенности черезъ Богдановича... Притомъ же они никогда не ставили этихъ вольностей въ вину, напримъръ, Аріосту, Парии, несмотря на то, что вольности въ "Русланъ и Людмилъ" — сама скромность, само цъломудріе въ сравненін съ вольностями этихъ писателей. Это были писатели старые: къ ихъ славъ давно уже всъ привыкли, и потому имъ было позволено то, о чемъ не позволялось и думать молодому поэту. Забавиве всего, что "Душенька" Богдановича была признаваема старовфрами за произведение классическое, то-есть такое, которое уже выдержало пробу времени и высокое достоинство котораго уже не подвержено пикакому сомивнію. Судя по этому, имъ-то бы и надобно было особенно восхититься поэмой Пушкина, которая во встхъ отношеніяхъ была неизмъримо выше "Душеньки" Богдановича. Стихъ Богдановича прозаиченъ, вялъ, водянъ, языкъ обветшалып и

сверхъ того допельзя искаженный такъ называвшимися тогда "пінтическими вольностями"; поэзін почти нисколько; картины бледны, сухи. Словомъ, песмотря на всю незначительность "Руслана и Людмилы", какъ художественнаго произведенія, смъшно было бы доказывать неизмъримое превосходство этой поэмы передъ "Душенькой". Сверхъ того, она навъяца была на Пушкина Аріостомъ, и русскаго въ ней, кромъ именъ, нътъ инчего; романтизма, столь ненавистнаго тогдашнимъ словесникамъ, въ ней тоже ивтъ ни искорки; романтизмъ даже осмъянъ въ ней, и очень мило и остроумно, въ забавной выходкъ противъ "Двънадцати спящихъ дъвъ". Короче: поэма Пушкина должна была составить торжество псевдо-классической партін того времени. Критики-старовъры особенно оскорбились въ "Русланъ и Людмилъ" тъмъ, что показалось имъ въ этой поэмъ колоритомъ мъстности и своевременности въ отношении къ ся содержанию. Но именно этого-то совсъмъ и нътъ въ сказкъ Пушкина: въ ней русскаго — одни только имена, да и то не вст. И этого руссизма итть такъ же и въ содержанін, какъ и въ выраженін поэмы Пушкина. Очевидно, что она — плодъ чуждаго вліянія и скорфе пародія на Аріоста, чъмъ подражаніе ему, потому что надълать нъмецкихъ рыцарей изъ русскихъ богатырей и витязей — значитъ исказить равно и нъмецкую, и русскую дъйствительность. О прологъ къ "Руслану и Людмилъ" дъйствительно можно сказать: "Тутъ русскій духъ, тутъ Русью пахнетъ"; но этотъ продогъ явился только при второмъ изданіи поэмы, то-есть черезъ восемь льтъ посль перваго ея изданія, стало-быть, — тогда, когда Пушкинъ уже настоящимъ образомъ вникъ въ духъ народной русской поэзін. Первые семнадцать стиховъ, которыми начипается "Русланъ и Людмила", отъ стиха "Дъла давно минувшихъ дней" до стиха "Низко кланяюсь гостямъ", дъйствительно "пахнутъ Русью", по ими пачинается и ими же оканчивается русскій духъ всей этой поэмы; больше въ ней его слыхомъ пе слыхать, видомъ не видать. Какъ бы то ни было, только поэма эта — шалость сильнаго, еще незрълаго таланта, который, кипя жаждой двятельности, схватился безъ разбору за первый предметъ, мысль о которомъ какъ-то промелькнула передъ нимъ въ веселый часъ. Весь тонъ поэмы — шуточный. Поэтъ не принимаетъ никакого участія въ созданныхъ сго фантазіей лицахъ. Онъ просто чертиль арабески и потвшался

ихъ забавной странностью. Оттого, какъ самъ Пушкинъ справедливо замѣчалъ впослѣдствін, она холодна. Въ самомъ дѣлѣ, въ ней много грацін; игривости, остроумія; есть живость, движеніе и еще больше блеска, но очень мало жара. Въ эпизодѣ о Финнѣ проглядываетъ чувство; оно вспыхиваетъ на минуту въ возванін Руслана къ усѣянными костьми полю, но это воззваніе оканчивается иѣсколько риторически. Все остальное — холодно.

Восторги, возбужденные "Русланомь и Людмилой", равно какъ и необыкновенный успъхъ этой поэмы, несмотря на всю двтскость ея достоинствъ, гораздо естествениве и понятиве, чемъ простные нападки на нее критиковъ-сатировъ. Не говоря уже о томъ, что всякая удачная повость ослѣпляетъ глаза, въ "Русланъ и Людмилъ" русская поэзія дъйствительно сдълала огромный шагъ впередъ, особенно со стороны техинческой. Всъ восхищались ея прекраснымъ языкомъ, стихами, всегда легкими и звучными, а иногда и истинио-поэтическими, граціозной шуткой, разсказомъ плавнымъ, увлекательнымъ, живымъ и быстрымъ, всей этой игривой затъйливостью, шаловливостью и причудливостью арабесковъ въ характерахъ и событіяхъ, и никому не приходило въ голову требовать отъ этой поэмы народности, къ которой обязывало ея заглавіе и самое содержаніе, естественности, поэтпческой мысли, вполнъ художественной отдълки. Образца для нея не было на русскомъ языкъ, а если и были прежде попытки въ этомъ родъ, то такія ничтожныя, что сравненіе съ ними не могло бы сбавить цвны съ "Руслана и Людмилы".

Эпилогъ къ "Руслану и Людмилъ" исполненъ элегической поэзін; но, какъ и прологъ къ этой же поэмѣ, онъ, если не ошибаемся, былъ написанъ послѣ пея; при ней же явился только по второмъ ея изданіи, въ 1828 году. Бълшискій.

Природа и люди въ "Кавказскомъ илфиникъ".

Происшествіе въ разсматриваемомъ нами сочинсній самос простос, но вмѣстѣ самоє поэтическое. Одинъ русскій взятъ въ плѣнъ черкесами. Сдѣлавшись рабомъ ихъ, закованный въ желѣзо, онъ осужденъ смотрѣть за стадами. Состраданіс

рождаетъ любовь къ нему въ молодой черкешенкъ. Она своимъ пъжнымъ участіемъ силится облегчить тяжелое бремя его рабства. Илъншикъ, преслъдуемый первою несчастною любовью, которую узпалъ онъ еще въ своемъ отечествъ, равподушно принимаеть ласки сострадательной своей утбшительницы. Все его внимание устремлено на любопытный образъ жизни дикихъ своихъ властителей. (Здъсь оканчивается первая часть повъсти). Подруга плънника, увлекаемая своею страстью и мучимая его холодною задумчивостью, силится пробудить въ немъ любовь всеми ласками чистосердечной своей привязапности. Тропутый ея положеніемъ, онъ открываетъ свою тайну, что сердце его отдано другой. Взаимная горесть ихъ разлучаетъ на пъсколько времени. Между тъмъ внезапная тревога уводить въ одинъ день всъхъ черкесовъ изъ селенія къ хищинческому ихъ набъгу. Оставленный плъншикъ видитъ передъ собою пъжную свою черкешенку. Она побъждаетъ свою пламенную любовь, распиливаеть оковы плънника и открываетъ ему путь въ отечество. Русскій, переплывъ Кубань, обращается съ берега, чтобы еще разъ взглянуть на великодушную свою избавительницу, но исчезающій кругь плеснувшихся водъ сказываетъ ему, что ея уже нътъ на свъть. Симъ оканчивается повъсть. Изъ этого содержания видно, что происшествіе въ "Кавказскомъ плфиникф" можно бы сдълать и разпообразиве и даже поливе. По обыкновенному понятію о подробныхъ происшествіяхъ, надобно сказать, что ходъ страсти, которая бываеть изобрътательна и неутомима, слишкомъ здёсь коротокъ. Еще болёе остается неполнымъ разсказъ о плъншикъ. Его участь иъсколько загадочна.

Мъстныя описанія въ "Кавказскомъ плънникъ" ръшительно можно назвать совершенствомъ поэзіи. Повъствованіс можетъ лучше обдумать стихотворецъ и съ меньшими дарованіями противъ Пушкина; но его описанія Кавказскаго края навсегда останутся первыми, единственными. На нихъ остался удивительный отпечатокъ видимой истины, понятной, такъ сказать, осязаемости мъстъ, людей, ихъ жизни и ихъ занятій, чъмъ мы не слишкомъ богаты въ нашей поэзіи. Мы часто видимъ усилія людей, которые описываютъ, не въ состояніи будучи сами дать себъ отчета въ мъстности, потому что они знакомы съ нею по одному воображенію. Описанія въ "Кавказскомъ плънникъ" превосходны не только по совершенству

стиховъ, но потому особенно, что подобныхъ имъ недьзя составить; не видавъ собственными глазами картинъ природы. Сверхъ того, сколько смѣлости въ начертаніи оныхъ, сколько искусства въ отдѣлкѣ! Краски и тѣни, т.-е. слова и разстановка ихъ, перемѣняются, смотря по различію предметовъ. Стихотворецъ то отваженъ, то гибокъ, подобно разнообразной природѣ этого дикаго азіатскаго края. Чтобы читателямъ понятиѣе сдѣлались наши наблюденія, мы приводимъ здѣсь нѣкоторыя мѣстныя описанія.

Великольшныя картины! Престолы въчные сифговъ! Очамъ казались ихъ вершины Недвижной ціпью облаковъ. И въ ихъ кругу колоссъ двуглавый, Въ вѣнцѣ блистая ледяномъ, Эльбрусъ огромный, величавый Бѣлѣлъ на небѣ голубомъ. Предтеча бури, громъ гремѣлъ, Какъ часто плѣнникъ предъ ауломъ Недвижимъ на горъ сидълъ! У ногъ его дымились тучи, Въ степи взвивался прахъ летучій; Уже пріюта между скаль Елень испуганный искаль; Орлы съ утесовъ подымались II въ небесахъ перекликались; Шумъ табуновъ, мычанье стадъ Ужъ гласомъ бури заглушались... II вдругъ на домы дождь и градъ Изъ тучъ сквозь молній извергались; Волнами роя крутизны, Сдвигая камни въковые, Текли потоки дождевые — А плфиникъ, съ горной вышины. Одинъ за тучей громовою, Возврата солнечнаго ждаль, Недосягаемый грозою, II бури немощному вою Съ какой-то радостью винмалъ.

Пусть любопытные сравнять эту грозную и вмъстъ плънительную картину, въ которой каждый стихъ блестить новою, приличною ему, краскою, съ описаніемъ окрестностей Бониваровой темницы, которое сдълалъ Байронъ въ своемъ "Шильонскомъ узникъ"; тогда легко можно будетъ судить какъ счастливо, въ одинакихъ обстоятельствахъ, побъидаетъ нашъ поэтъ англійскаго. Байронова картина, поставленная подлъ этой, покажется дегкимъ, слабымъ очертаніемъ, кипутымъ съ самаго общаго взгляда.

Мы пропускаемъ въ "Кавказскомъ плънникъ" другое описаніе, гдъ изображено върною и быстрою кистью искусство черкесовъ, съ какимъ опи производятъ опытъ отважныхъ своихъ набъговъ. Даръ поэзіп и сила воображенія могли бы еще навести стихотворца къ составленію хотя подобной картины, если бы онъ и не былъ самъ не въ тъхъ мъстахъ. По не можемъ не привести описанія любимой между черкесами воинской хитрости, которой никакъ не поймать воображеніемъ, если бы стихотворецъ самъ не былъ въ краю, имъ описываемомъ.

> Иль ухвативъ рогатый пень, Въ ръку низверженный грозою, Когда на холмахъ пеленою Лежить безлунной ночи тѣнь, Черкесъ на корни вѣковые, На вътви въшаетъ кругомъ Свои доспъхи боевые: Щить, бурку, панцырь и шеломъ, Колчанъ и лукъ — и въ быстры волны За нимъ бросается потомъ, Пеутомимый и безмолвный. Глухая ночь. Рѣка реветь, Могучій токъ его несеть Вдоль береговъ уединенныхъ, Гдѣ на курганахъ возвышенныхъ, Склонясь на копья, казаки Глядять на темный бѣгь рѣки — II мимо нихъ, во мглъ чернъя, Плыветь орудіе злодѣя... О чемъ ты думаешь, казакъ? Воспоминаешь прежни битвы, На смертномъ полѣ свой бивакъ, Полковъ хвалебныя молитвы, II родину?... Коварный сонъ! Простите, вольныя станицы, И домъ отцовъ, и тихій Донъ Война и красныя двицы! Къ брегамъ причалилъ тайный врагъ, Стрѣла выходить изъ колчана. Взвилась — и падаетъ казакъ Съ окровавленнаго кургана.

Загадочное начало описанія, подобно тайному предпріятію черкеса, манить читателя къ развязкъ и поддерживаеть до конца всю занимательность, которая соединена съ любопытствомъ. Но развязка, какъ внезапная смерть казака, мгновенна. Всъ эти мъстныя частности, схваченныя съ природы, придаютъ поэзін неизъяснимую и прочную красоту. Величайшіе стихотворцы, особенно древніе, преимущественно держались этого правила — и потому ихъ картины ничего не имъютъ однообразнаго и утомательнаго. Мы могли бы привести еще множество примъровъ для доказательства главнаго нашего мпънія, что "Кавказскій плънникъ" по своимъ мъстнымъ описаніямъ есть совершениъйшее произведеніе нашей поэзіи.

Въ "Кавказскомъ плънникъ" (какъ можно уже было видъть изъ содержанія) два только характера: черкешенки и русскаго плънника. Намъ пріятите сначала говорить о характерт первой, потому что опъ обдуманнте и совершените, нежели характеръ второго. Все, что могутъ только представить воображенію поэта пъжная сострадательность, трогательное простодушіе и первая, невинная любовь, — все изображено въ характерт черкешенки. Она, повидимому, такъ открыто и живо явилась поэту, что ему стоило только, глядя на нее, рисовать ея портретъ.

Но кто, въ сіянін луны, Среди глубокой тишины Пдеть, украдкою ступая? Очнулся русскій. Передъ нимъ, Съ привътомъ иъжнымъ и иъмымъ. Стоптъ черкешенка младая. На двву молча смотрить онъ, II мыслить: это лживый сонъ Усталыхъ чувствъ игра пустая... Луною чуть озарена, Съ улыбкой жалости отрадной, Колѣни преклонивъ, она Къ его устамъ кумысъ прохладный Подносить тихою рукой. Но онъ забыль сосудъ цѣлебный, Онъ ловить жадною душой Пріятной рѣчи звукъ волшебный II взоры дѣвы молодой. Опъ чуждыхъ словъ не понимаеть... По взоръ умильный, жаръ лапить,

По голось ижиный говорить: Живи — и илфиникъ оживаетъ! II онъ, собраль остатокъ силь, Вельнью милому покорный, Привсталь и чашей благотворной Томленье жажды утолиль. Потомъ на камень вновь склопился Отягощенною главой, Но все къ черкешенкъ младой Угасшій взоръ его стремился. II долго, долго передъ пимъ Она задумчиво сидъла, Какъ бы участіемь нѣмымъ Утфшить плфиника хотфла; Уста невольно каждый часъ Съ начатой рѣчью открывались; Она вздыхала, и не разъ Слезами очи наполнялись".

Чтобы живѣе представить всю трогательную прелесть появленія черкешенки, надобно знать, что плѣнникъ находился въ это время въ ужасномъ положеніи: привлеченный въ селеніе на арканѣ, обезображенный ужасными язвами и закованный въ цѣпи, опъ жадно ждалъ своей смерти — и вмѣсто нея, въ видѣ богини здравія, приходитъ къ нему его избавительница.

> За днями дни пошли, какъ тънь. Въ горахъ, окованный, у стада Проводить плѣнникъ каждый день. Пещеры влажная прохлада Его скрываеть въ льтній зной. Когда же рогъ луны сребристой Блеснетъ за мрачною горой, Черкешенка, тропой тѣнистой, Приносить пленнику вино, Кумысъ, и ульевъ сотъ душистый, И бълосиъжное пшено; Сь нимъ тайный ужинъ раздѣляеть, На немъ поконтъ нѣжный взоръ, Съ неясной рѣчію сливаеть Очей и знаковъ разговоръ; Поеть ему и пѣсни горъ, И пъсни Грузіп счастливой, II памяти нетерпѣливой Передаеть языкь чужой.

Мы не останавливаемся на красотъ каждаго стиха порознь. Такой разборъ заставилъ бы насъ утомить читателей однообразными восклицаніями. Намъ хочется только дать ясное понятіе объ этомъ характеръ, который навсегда останется у насъ мастерскимъ произведеніемъ, и потому мы принуждены выбирать мъста, гдъ поэтъ умълъ раскрыть всю душу своей героини. Послушаемъ, какъ она силится въ уныломъ плънникъ пробудить чувство любви, которая побъдила ея сердце.

... Плънникъ милый, Развесели свой взоръ унылый, Склонись главой ко мнв на грудь, Свободу, родину забудь. Скрываться рада я въ пустынъ Съ тобою, царь души моей! Люби меня; никто до нынѣ Не цѣловалъ моихъ очей; Къ моей постель одинокой Черкесъ младой и черноокій Не крался въ тишинъ почной; Слыву я дівою жестокой Неумолимой красотой. Я знаю жребій мив готовый: Меня отецъ и братъ суровый Немилому продать хотять Въ чужой ауль ценою злата: По умолю отца и брата. He то — найду кинжаль иль ядь!... Пепостижимой, чудной силой Къ тебъ я вся привлечена, Люблю тебя, невольникъ милый, Душа тобой упоена...

Можетъ ли страсть говорить убъдительное? Это мъсто приводить намъ на память нъжную Монну, съ такимъ же простосердечіемъ изображающую любовь свою къ Фингалу. Но въ частной отдълкъ нътъ ничего общаго между Озеровымъ и Пушкинымъ, потому что лица, ими описываемыя, взяты изъразныхъ климатовъ и находились въ разныхъ положеніяхъ. Надобно замътить, съ какимъ некусствомъ воспользовался Пушкинъ пламеннымъ и частію неистовымъ характеромъ дикихъ горцевъ, который долженъ виденъ быть и въ самой невинной черкешенкъ! Она, при одной мысли о невольномъ замужествъ, рышительно произноситъ: найду кинжалт иль ядъ.

Послъ столь ивжнаго изъявленія любви своей, она слынить отъ него ужасный себъ приговоръ: плыникъ уже не властенъ надъ своимъ сердцемъ. Какой быстрый и сильный долженъ послъдовать переходъ въ ея душь отъ падежды къ отчаянію:

Раскрывъ уста, безъ слезъ страдая, Сидъла дъва молодая. Туманный, неподвижный взоръ Безмольный выражаль укоръ. Бледна какъ тень, она дрожала; Въ рукахъ любовника лежала Ея холодная рука, II, наконецъ, любви тоска Въ печальной ръчи излилася: "Ахъ русскій, русскій, для чего, Не зная сердца твоего, Тебъ навъкъ я предалася! Не долго на груди твоей Въ забвенъп дъва отдыхала, Немногихъ радостныхъ почей Судьба на долю ей послала! Придутъ ли вновь когда-нибудь? Ужель навѣкъ погибла радость? Ты могь бы, плинникъ, обмануть Мою неопытную младость, Хотя бъ изъ жалости одной, Молчаньемъ, ласкою притворной; Я услаждала бъ жребій твой Заботой нѣжной и покорной; Я стерегла бъ минуты сна, Покой тоскующаго друга; Ты не хотълъ...

Стихотворець ничего не опустиль, чтобы довершить изображеніе этого простодушнаго и нѣжнаго характера. Приведенное нами мѣсто можно назвать образцомъ искусства, какъ привлекать участіе читателей къ дѣйствующимъ въ поэмѣ лицамъ.

Между тъмъ мы не находимъ такой опредъленности въ характеръ плънника. Кажется, что это недоконченное лицо. Есть мъста, которыя возбуждаютъ и къ нему живое участіе:

> Когда такъ медленно, такъ нѣжно, Ты пьешь лобзанія мон, ІІ для тебя часы любви Проходять быстро, безмятежно: Спѣдая слезы въ тишинѣ,

Тогда, разсѣянный, унылый, Передъ собою, какъ во снѣ, Я вижу образъ вѣчпо мплый; Его зову, къ нему стремлюсь, Молчу, не вижу, не внимаю, Тебѣ въ забвеньи предаюсь И тайный призракъ обнимаю, О немъ въ пустынѣ слезы лью; Повсюду онъ со мною бродитъ, И мрачную тоску наводитъ На душу сирую мою.

Или — гдъ еще яснъе сказано:

Не плачь, и я гонимъ судьбою И муки сердца испыталъ. Ивтъ, я не зналъ любви взаимной, Любилъ одинъ, страдалъ одинъ, И гасну я, какъ пламень дымный, Забытый средь пустыхъ долинъ. Умру вдали бреговъ желанныхъ, Мить будетъ гробомъ эта степь; Здтсь, на костяхъ моихъ изгнаиныхъ Заржавитъ тягостная цтв...

Прочитавъ эти стихи, каждый составилъ бы ясное понятіе о характеръ человъка, преданнаго ивжной любви къ милому предмету, отвергшему его роковую страсть. Въ этомъ одномъ видъ плънникъ составлялъ бы самое занимательное лицо въ поэмъ. По въ другихъ мъстахъ къ изображенію плънника примъшаны постороннія и затемняющія его характеръ черты. Папримъръ, сочинитель говоритъ, что плънникъ лишился отечества.

Опъ гордо началъ, безъ заботъ, Гдѣ первую позналъ опъ радость, Гдѣ много милаго любилъ, Гдѣ обиялъ грозное страданье, Гдъ бурной жизнью погубилъ Надежду, радость и желанье, И лучшихъ дпей воспоминанье Въ увядшемъ сердцѣ заключилъ.

Людей и свътъ извъдаль онъ, И зналг невърной жизни цъну, Въ сердцахъ друзей нашедъ измѣну, Въ мечтахъ мюбви безумный сонъ! Наскучивъ жертвой быть привычной Давио презрѣнной суеты, И непріязни двуязычной, И простодушной клеветы, — Отступникъ свѣта, другъ природы, Покинуль онъ родной предѣлъ И въ край далекій полетилъ Съ веселымъ призракомъ свободы.

По этому описанію воображеніе то представляеть человѣка, утомленнаго удовольствіями любви, то возненавидѣвшаго порочный свѣть и радостно оставляющаго родину, чтобъ сыскать лучшій край. На первую мысль сочинитель попадаеть и въ другомъ мѣстѣ:

Забудь меня; твоей любви, Твоих восторгов я не стою, Безцънныхъ дней не трать со мною, Другого юношу зови.

Столь неясныя слова въ устахъ человъка, пламенно любимаго, рождаютъ о немъ странныя мысли. Ему бы легче и благороднъе было отказаться отъ новой любви постоянною своею привязанностью, хотя первая любовь его и отвергнута: тъмъ върпъе онъ заслужилъ бы состраданіе и уваженіе черкешенки. Между тъмъ, слова: твоих восторювъ я не стою, или: безъ желаній я вяну жертвою страстей — охлаждаютъ всякое къ нему участіе. Несчастный любовникъ могъ бы сказать ей: "мое сердце чуждо повой любви"; но кто имъстъ причину признаваться, что онъ не стоитъ восторновъ невинности, тотъ разрушаетъ всякое очарованіе не счетъ своей правственности. Вотъ что заставляетъ сказать насъ, что характеръ русскаго въ "Кавказскомъ плънникъ" не совсъмъ обдуманъ и слъдовательно не совсъмъ удаченъ. Илетиевъ.

"Кавказскій плъншикъ" былъ прицятъ публикой еще съ большимъ восторгомъ, чъмъ "Русланъ и Людмила", и, надо сказать, эта маленькая поэма вполиъ достойна была того пріема,

которымъ ее встрътили. Въ ней Пушкинъ явился вполиъ самимъ собой и вмъсть съ тъмъ вполив представителемъ своей эпохи: "Кавказскій плънникъ" наквозь проникнутъ ся наоосомъ. Впрочемъ, павосъ этой поэмы — двойственный: поэтъ былъ явно увлеченъ двумя предметами - поэтической жизнью дикихъ и вольныхъ горцевъ, и потомъ — элегическимъ идеаломъ души, разочарованной жизнью. Изображение того и другого слилось у него въ одну роскошно-поэтическую картину. Грандіозный образъ Кавказа съ его вопиственными жителями въ первый разъ былъ воспроизведенъ русской поэзіей, — и только въ поэмъ Пупікина въ первый разъ русское общество познакомилось съ Кавказомъ, давно уже знакомымъ Россіи по оружно. Мы говоримъ "въ первый разъ": ибо какихъ-нибудь двухъ строфъ, довольно прозаическихъ, посвященныхъ Державинымъ изображению Кавказа, и отрывка изъ послания Жуковскаго къ Воейкову, посвященнаго тоже довольно прованческому описанію (въ стихахъ) Кавказа, слишкомъ недостаточно для того, чтобъ получить какое-нибудь, хотя сколькоинбудь приблизительно понятіе объ этон поэтической сторонъ. Мы въримъ, что Пушкинъ съ добрымъ намъреніемъ выписалъ въ примъчаніяхъ къ своей поэмъ стихи Державина и Жуковскаго, и съ полной искренностью, отъ чистаго сердца, хвалить ихъ; но тъмъ не менье онъ оказаль имъ черезъ это елишкомъ плохую услугу: ибо послѣ его исполненныхъ творческой жизни картинъ Кавказа, никто не повфритъ, чтобъ въ тъхъ выпискахъ шло дъло о томъ же предметъ... Мы не будемъ выписывать изъ поэмы Пушкина картинъ Кавказа и горцевъ: кто не знастъ ихъ наизусть? Скажемъ только, что, несмотря на всю незрълость таланта, которая такъ часто проглядываетъ въ "Кавказскомъ плънникъ", несмотря на слишкомъ юношеское одушевленіе зрълицъ горъ и жизнью ихъ обитателей, — многія картины Кавказа въ этой поэмѣ и теперь еще не потеряли своей поэтической ценности. Принимаясь за "Кавказскаго плънника" съ гордымъ намъреніемъ слегка перелистывать его, вы незамътно увлекаетесь имъ, перечитываете его до конца и говорите: "все это юно, незръло, и однакожъ, такъ хорошо!" Какое же дъиствіе должны были произвести на русскую публику эти живыя, яркія, великолъпнороскошных картины Кавказа при первомъ появленіи въ свътъ поэмы! Сътьхъ поръ, съ легкой руки Пушкина, Кавказъ сдълался для русских в завътной страной не только широкой, раздольной воли, но и неисчерпаемой поэзіи, старой кипучей жизни и смълых в мечтаній! Муза Пушкина какъ бы освятила давно уже на дъль существовавшее родство Россіи съ этимъ краемъ, купленнымъ драгоцыной кровью сыновъ ея и подвигами ея героевъ. И Кавказъ — эта колыбель поэзіи Пушкина — сдълался потомъ и колыбелью поэзіи Лермонтова...

Какъ истинный поэтъ, Пушкинъ не могъ описаній Кавказа вмістить въ свою поэму, какъ эпизодъ, кстати: это было бы слишкомъ дидактически, а, слідовательно, и прозаически, и потому онъ тісно связаль свои живыя картины Кавказа съ дійствіемъ поэмы. Онъ рисуетъ ихъ не отъ себя, но передаетъ ихъ, какъ впечатлівнія и наблюденія плівника — героя поэмы, и оттого оніз дышатъ особенной жизнью, какъ будто самъ читатель видитъ ихъ собственными глазами на самомъ мість. Кто быль на Кавказь, тотъ не могъ не удивляться візрности картинъ Пушкина.

Описаніе дикой воли, разбойническаго героизма и домашней жизни горцевъ — дышатъ чертами ярко върными. Но черкешенка, связывающая собой объ половины поэмы, есть дицо совершенно идеальное и только вижшимъ образомъ върное дъйствительности. Въ изображении черкешенки особенно выказалась вся незрълость, вся юность таланта Пушкина въ то время. Самое положеніе, въ которое поставиль поэть два главныя лица своей поэмы, черкешенку и пленника, — это положеніе, напболъе плънившее публику отзывается мелодрамой и можетъ быть по тому самому такъ сильно увлекло самого мододого поэта. Но — такова сила истиннаго таланта! при всей театральности положенія, на которомъ завязанъ узель поэмы, при всей его безцвътности въ отношени къ дъйствительности — въ ръчахъ черкешенки и плънника столько сердечности, столько страсти и страданія, что ничёмъ нельзя оградиться отъ ихъ обязательнаго увлеченія, при самомъ ясномъ созпанін въ то же время, что на всемъ этомъ лежить печать какой-то дъткости. Съ особенной силой дъйствуетъ на душу читателя сцена освобожденія плінника черкешенкой, и эти стихи —

> Пилу дрожащей взяль рукой. Къ его ногамъ она склонилась: Визжить экспьзо подъ пилой,

Слеза невольная скатилась — И цъпь распалась и гремить.

Чувство свободы борется въ этой сцент съ грустью по судьбт черкешенки: вы понимаете, что, исполненный этого чувства свободы, плтникъ не могъ не предложить своей освободительницт того, въ чемъ прежде такъ основательно и благородно отказылъ ей; но вы понимаете также, что это только порывъ, и что черкешенка, наученная страданіемъ, не могла увлечься этимъ порывомъ. И, несмотря на всю грусть вашу о погибней красавицт, мученическая смерть которой нарисована такъ поэтически, вы чувствуете, что грудь ваша дышитъ свободите по мтрт того, какъ плтнику въ тумант начинають сверкать русскіе штыки, а до его слуха доходять оклики сторожевыхъ казаковъ.

Но что же такое этотъ ильшикъ? — Это вторая половина двойственнаго содержанія и двойственнаго павоса поэмы; этому лицу поэма обязана своимъ успъхомъ не меньше, если не больше, чъмъ яркимъ краскамъ Кавказа. Плънникъ — это "герой того времени". Тогдашніе критики справедливо находили въ этомъ лицъ и неопредъленность и противоръчивость съ самимъ собой, которыя дълали его какъ бы безличнымъ; но они не поняли, что черезъ это-то именно характеръ плънника и возбудилъ собой такой восторгь въ публикъ. Молодые люди особенно были восхищены имъ, потому что каждый видълъ въ немъ болъе или менъе свое собственное отраженіе. Эта тоска юношей по своей утраченной юности, это разочарованіе, которому не предшествовали никакія очарованія, эта апатія души во время ся сильнейшей деятельности, это кипъніе крови при душевномъ холодъ, это чувство пресыщенія, последовавшее не за роскошнымъ пиромъ жизни, а смънившее собой голодъ и жажду, эта жажда дъятельности, проявляющаяся въ совершенномъ бездъйствін и апатической лени, словомъ, эта старость прежде юности, эта дряхлость прежде силы, все это — черты "героевъ нашего времени" со временъ Пушкина. Но не Пушкинъ родилъ иди выдумалъ ихъ: опъ только первый указалъ на нихъ, потому что они уже начали показываться еще до него, а при немъ ихъ было уже много. Они не случайное, но необходимое, хотя и нечальное явленіе. Почва этихъ жалкихъ пустоцвётовъ не поэзія Пунивша или чья бы то ни было, но общество. Это отгого.

что общество живетъ и развивается какъ всякій индивидуумъ: у него есть свои эпохи младенчества, отрочества, юношества, возмужалости, а иногда и старости. Поэзія русская до Пушкина была отголоскомъ, выраженіемъ младенчества русскаго общества. И потому это была поэзія до наивности невинная: она гремъла одами на иллюминаціи, писала ижжные стишки къ милымъ и была совершенно счастлива этими идиллическими занятіями. Дъйствительностью ея была мечта, а потому ея дъйствительность была самая аркадская, въ которой невинное блеяніе барашковъ, воркованіе голубковъ, поцълун пастушковъ и сладкія слезы чувствительныхъ душъ прерывались только не менте невинными возгласами "пою" или "о ты, священна добродътель!" и т. п. Даже романтизмъ того времени былъ такъ наивно невиненъ, что искаль эффектовь на кладбищахь и пересказываль съ восторгомъ старыя бабын сказки о мертвецахъ, оборотняхъ, въдьмахъ, колдуньяхъ, о дъвъ, за ропотъ на судьбу заживо увезенной мертвымъ женихомъ въ могилу, и тому подобные певинные пустяки. Въ трагедін тогдашняя поэзія очень пристойно выплясывала чинный минуэть, делая изъ Донского какого-то крикуна въ римской тогъ. Въ комедін она преслъдовала именно тъ пороки и недостатки общества, которыхъ въ обществъ не было; и не дотрогивалась именно до тъхъ, которыми оно было полно, — такъ что комедін Фонвизина являются въ этомъ отношенін какими-то исключеніями изъ общаго правила. Въ сатиръ тогдашняя поэзія нападала на пороки древне греческаго и римскаго, или старо французскаго общества, чъмъ русскаго. Невинность была всесовершеннъйшая, а оттого, разумъется, эта поэзія была и нравственной въ высшей степени. Общество пило, вло, веселилось. По разсказамъ нашихъ стариковъ, тогда не по-нынвшнему умъли веселиться, и передъ неутомимыми плясуцами тогдашняго времени самые задорные нынфшніе танцоры — просто старики, которые похороннымъ маршемъ выступаютъ тамъ, гдъ бы надо было вывертывать ногами и выстукивать каблуками такъ, чтобы полъ трещалъ и окна дрожали. Быть безусловно счастливымъ — это привилегія младенчества. Младенецъ играетъ жизнью — плещется въ ся свътлой волнъ и безотчетно любуется брызгами, которые производять его ръзвыя движенія; онъ всьмъ восхищается, все находить лучшимъ, нежели

оно есть на самомъ дълъ, - и если ему скоро надоъдаетъ одна игрушка, то такъ же скоро пленяеть его другая. Не таковъ уже возрасть отрочества — переходь оть дътства къ юпошеству. Правда, и тутъ человъкъ все еще играетъ въ игрушки, но уже не тъ прушки; мъняя ихъ одна на другую, онъ уже сравниваетъ ихъ съ своимъ идеаломъ, и ему грустно, когда онъ не находилъ осуществленія своего неопредъленнаго желанія, въ которомъ самъ себъ не можеть дать отчета. Лишеніе игрушки — для него горе, пбо оно есть уже утрата падежды, потеря сердца. Съ юношествомъ эта жизнь сердца и ума вспыхиваеть полнымъ пламенемъ, и страсти вступають въ борьбу съ сомнъніемъ. Тутъ много радостей, но столько же, если не больше, и горя: ибо полное счастье только въ непосредственности бытія; отрочество есть начало пробужденія, а юность - полное пробуждение сознания, корень котораго всегда горекъ; сладкіе же плоды его — для будущихъ поколъній, какъ богатое и выстраданное наслъдіе отъ предковъ потомкамъ...

"Кавказскій плінникъ" Пушкина засталь общество въ періодъ его отрочества и почти на переходъ изъ отрочества въ юношество. Главное лицо его поэмы было полнымъ выраженіемъ этого состоянія общества. ІІ Пушкинъ быль самъ этимъ плънникомъ, но только на ту пору, пока писалъ его. Осуществить въ творческомъ произведении идеалъ, мучивний поэта, какъ его собственный педугъ, — для поэта значитъ навсегда освободиться отъ него. Это же лицо является и въ следующихъ поэмахъ Пушкина, но уже не такимъ, какъ въ "Кавказскомъ плънникъ": слъдя за инмъ, вы безпрестанно застаете его въ новомъ моментъ развитіл, и видите, что онъ движется, идетъ впередъ, дълается сознательнъе, а потому и интереснъе для васъ. Тъмъ-то Пушкинъ, какъ великій поэтъ, и отличался отъ толны своихъ подражателей, что, не измѣияя сущности своего направленія, всегда крфпко держась дфиствительности, которой быль органомъ, всегда говориль новое, между тъмъ какъ его подражатели и теперь еще хриплыми голосами допъваютъ свои старыя и всемъ надоввния пъсни. Въ этомъ отношении "Кавказский плънникъ" есть поэма историческая. Читая ее, вы чувствуете, что она могла быть написана только въ извъстное время, и подъ этимъ условіемъ она всегда будетъ казаться прекрасной. Если бы въ наше

время даровитыи поэть написаль поэму въ духѣ и топѣ "Кавказскаго плѣнника", — она была бы безусловно ничтожиѣйиимъ произведеніемъ, хотя бы въ художественномъ отношеніи и далеко превосходила Пушкинскаго "Кавказскаго илѣнника", который въ сравненіи съ ней все бы остался такъ же хорошъ, какъ п безъ нея.

Лучшая критика, какая когда-либо была написана на "Кавказскаго плънника", принадлежитъ самому же Пушкину. Въ стать вего "Путепіествіе въ Арзерумъ" находятся следующія слова, написанныя имъ черезъ семь лътъ послъ изданія "Кавказскаго плънника": "Здъсь нашелъ я измаранный списокъ "Кавказскаго плънника" и, признаюсь, перечелъ его съ большимъ удовольствіемъ. Все это слабо, молодо, неполно; но многое угадано и выражено вфрно". Не знаемъ, къ какому времени относится слъдующее суждение Пушкина о "Кавказскомъ пленникъ", но оно очень интересно, какъ фактъ, доказывающій, какъ смёло умёль Пушкинь смотрёть на свои произведенія: "Кавказскій пленникъ" — первый неудачный опытъ характера, съ которымъ я насилу сладилъ; онъ былъ принять лучше всего, что я написаль, благодаря некоторымъ элегическимъ и описательнымъ стихамъ. Но зато Н. и А. Р., и я — мы вдоволь надъ нимъ посмъялись". Слова: "характеръ, съ которымъ я насилу сладилъ", особенно замъчательны: опи показывають, что поэть силился изобразить вив себя (объектировать) настоящее состояние своего духа, и по тому самому не могъ вполнъ этого сдълать.

Въ художественномъ отношеніи "Кавказскій плънникъ" принадлежитъ къ числу тъхъ произведеній Пушкина, въ которыхъ онъ являдся еще ученикомъ, а не мастеромъ поэзіи. Стихи прекрасны, исполнены жизни, движенія, много поэзіи, но еще нѣтъ художества. Содержаніе всегда бываетъ соотвътственно формѣ, и наоборотъ; недостатки одного тѣсно связаны съ недостатками другой, и наоборотъ. Въ отдѣлкѣ стиховъ "Кавказскаго плѣнника" замѣтно еще, хотя и меньше, чѣмъ въ "Русланѣ и Людмилѣ", вліяніе старой школы. Встрѣчаются петочныя выраженія, какъ, напримѣръ, въ стихѣ: "Удары шашекъ ихъ жестюкихъ", или "Гдѣ обиялъ грозное страданье"; попадаются слова: глава, младой, власы. Вступленіе нѣсколько тяжеловато, какъ и въ "Бахчисарайскомъ фонтанѣ"; но слабыхъ стиховъ вообще мало, а оборотовъ прозаическихъ

почти совсёмъ изтъ; поэзія выраженія почти вездё необыкновенно богата. Какъ фактъ для сравненія поэзін Пушкина вообще съ предшествовавшей ему поэзіей, укажемъ на то, какъ поэтически выражено въ "Кавказскомъ плённике" самое прозаическое понятіе, какъ черкешенка учила плённика языку ея родины:

Съ неясной рѣчію сливаеть Очей и знаковъ разговоръ; Поетъ ему и пѣсни горъ, И пѣсни Грузіи счастливой, И памяти нетерпъливой Передаеть языкъ чужой.

Нѣкоторыя выраженія исполнены мысли, и многія мѣста отличаются поразительной вѣрностью дѣйствительности времени, котораго пѣвцомъ и выразителемъ былъ поэтъ. Примѣръ того и другого представляютъ эти прекрасные стихи:

Людей и свёть извёдаль онь, Узналь невёрной жизни цёну, Въ сердцахь друзей нашедь измёну, Въ мечтахъ любви — безумный сонъ! Наскуча жертвой быть привычной Давно презрённой суеты И непріязни двуязычной, И простодушной клеветы, Отступникъ свёта, другъ природы, Покинуль онъ родной предёль И въ край далекій полетёль Съ веселымъ призракомъ свободы.

Въ этихъ немногихъ стихахъ слишкомъ много сказано. Это краткая, но ръзко-характеристическая картина пробудившагося сознанія общества въ лиць одного изъ его представителей. Проснулось сознаніе, — и все, что люди почитаютъ хорошимъ по привычкъ, тяжело пало на душу человъка, и онъ въ явной враждъ съ окружающей его дъйствительностью, въ борьбъ съ самимъ собой; недовольный ничъмъ, во всемъ видя призраки, онъ летитъ вдаль за новымъ призракомъ, за новымъ разочарованіемъ... Сколько мысли въ выраженіи: "быть жертвой простодушной клеветы"? Въдь клевета не всегда бываетъ дъйствіемъ злобы: чаще всего она бываетъ плодомъ невиннаго желанія разсъяться занимательнымъ разговоромъ, а иногда плодомъ доброжелательства и участія

столь же искренняго, сколько и неловкаго. И все это поэтъ умълъ выразить однимъ смълымъ эпитетомъ! Такихъ эпитетовъ у Пушкина много, и только у него одного впервые начали являться такіе эпитеты!

Бълицскій.

,,Кавказскій плінникъ", какт отпечатокъ пидивидуальныхъ душевныхъ состояній самого поэта.

Свою скорбь и тоску, никогда не доходившія до полнаго бітства отъ людей, ненависти, пессимизма и безнадежности, Пушкинъ передаль не только въ лирикі, но и въ боліве или меніве объективномъ изображеніи, — въ рядіт поэмъ. Въ нихъ нашъ поэтъ вопроизводилъ романтическую меланхолію съ каждымъ разомъ все отчетливіте, художественніте и ближе къ дітствительности.

Героп разочарованія, изображенные въ поэмахъ Пушкина, — лишь отчасти литературные потомки Руссо и Гётевскаго Вертера, Шатобріанова Рене и другихъ романическихъ личностей Запада. Въ большей степени они — носители душевныхъ страданій и думъ нашего поэта и его сверстниковъ.

Таковъ прежде всего Кавказскій плѣнникъ, герой первой изъ Пушкинскихъ поэмъ разочарованія и скорби. Въ нашей поэзіп это первый крупный представитель бѣгства, на западный ладъ, изъ цивилизованнаго общества, но вмѣстѣ и въ значительной степени самостоятельный образъ. Въ немъ можно узнать, по признанію самого поэта,

Противоръчіе страстей, Мечты знакомыя, знакомыя страданья И тайный гласъ души

поэта, который

... погибаль безвинный, безотрадный,
И шопоть клеветы внималь со всёхь сторонь...
... рано скорбь узналь, постигнуть быль гоненьемь,
... жертва клеветы и мстительныхь невёждь;
Ио, сердце укрёпивь свободой и терпеньемь,
... ждаль безпечно лучшихь дней,
И счасте его друзей
... было сладкимь утёшеньемь.

Можно бы подыскать ко многимъ, важнѣйшимъ по выраженію основной мысли, стихамъ "Кавказскаго илвиника" соотвътственныя мъста въ предшествовавшей лирикъ Пушкина, между проч. — уже лицейскаго періода1), и изъ этого ясно, пасколько скорбь, характеризующая пленника, была выношена въ душъ его поэта. Послъ того вившнія сходства съ произведеніями иностранныхъ литературъ, какія можно открыть въ нѣкоторыхъ подробностяхъ повѣствованія и обрисовки героя поэмы, не имъютъ первостепеннаго значенія для уясненія его генезиса. Внутренній генезись дань уже только что изложенною исторією кризиса въ душт Пушкина, начиная съ послъдняго года пребыванія его въ Лицев. "Кавказскій плънникъ" — лишь образное выражение и закръпление, сведение воедино извъстныхъ уже намъ и ранъе душевныхъ переживаній самого поэта: его беззаботной и радостной молодости, затьмъ бурной жизни, гоненій, страданій и увяданія сердца, измучениаго страстями, охлажденія души и сохраненія ею, послъ всъхъ этихъ крушеній, еще стремленія къ свободъ вдали

... пламенную младость
Онъ гордо началь безъ заботь,
... первую позналь онъ радость,
... много милаго любиль,
... обняль грозное страданье,
... бурной жизнью погубиль
Надежду, радость и желанье,
И лучшихь дней воспоминанье
Въ увидшемъ сердцѣ заключиль,

съ данными о душевной жизни Пушкина, заключающимися въ его лирикъ 1816—1820 гг., и вы найдете въ послъдней то же: и раннія ожиданія счастія отъ жизни, и безнадежную любовь, и презрівніе къ світской сусть, и охлажденіе будто бы сердца, ослабленіе интереса даже къ поэзія (плівнинкъ также "охолодівль къ мечтамъ и лирів), и сохраненіе будто лишь любви къ свободів и въ то же время тоску по оставленной вдали любимой личности. Поэть еще въ 1822 г. инсаль въ заключеніи "Бахчисарайскаго фонтана" (П, 337):

Я помню столь же милый взглядь И красоту еще земную; Всё думы сердца къ ней летять: Объ ней въ изтаніи тоскую... и пр.

¹⁾ Сопоставьте характеристику жизни плѣнияка до прибытія его на Кавказъ (II, 279) (Цит. по изд. Морозова):

отъ сустнаго свъта, на лонъ природы и простой жизни. Многое изъ этого отличало и Байроновыхъ героевъ, но Пушкинъ, какъ мы видъли, пережилъ все это самъ, и его илънникъ поситъ отпечатокъ индивидуальныхъ душевныхъ состояній самаго поэта. И вмъстъ съ тъмъ плънникъ — уже носитель міровой скорби, какъ она сложилась со времени Руссо, правда еще слишкомъ юный и незрълый, какъ и самъ поэтъ въ то время. Уже

> Людей и свёть извёдаль онъ И зналь невёрной жизни цёну... Наскучивь жертвой быть привычной Давно презрённой суеты... Отступника свыта, другь природы,

онъ лельяль еще "призракъ священной свободы":

Свобода! онъ одну тебя
Еще искаль въ подлунномъ мірѣ...
Съ волненьемъ пѣсни онъ внималъ
Одушевленныя тобою;
И съ вѣрой, пламенной мольбою
Твой гордый пдолъ обнималъ.

Какъ Пушкинъ, думавшій было, что

Беллона, музы и Венера — Воть, кажется, святая вѣра Дней нашихъ всякаго пѣвца,

желаль поступить въ военную службу, такъ и его плѣнникъ отправился на Кавказъ въ надеждѣ достигнуть тамъ истинной свободы, избѣжавъ

Давно презрѣнной суеты И непріязни двуязычной, И простодушной клеветы¹).

Очутившись въ плъну у горцевъ, "отступникъ свъта, другъ природы"

... живуть въ своихъ шатрахъ, Вдали забавъ и нёгъ, и грацій, Какъ жилъ безсмертный трусъ Горацій Въ тибурскихъ сумрачныхъ лфсахъ; Не знаютъ септа принужденья, Не выдаютъ, что скука страхъ...

¹⁾ Гусары, по словамъ поэта (І, 175)

Любиль ихъ жизни простоту, Гостепріимство, жажду брани, Движеній вольныхъ быстроту... все тоть же видъ Непобидимый, непреклюнный¹).

Во всемъ этомъ настроеніи было миого юношеской неопытности, и эксцентричное исканіе истиниой свободы не увѣнчалось успѣхомъ. Самый герой не облеченъ чарами особой привлекательности и вообще, по справедливому замѣчанію самого поэта, это — "первый неудачный опытъ характера, съ которымъ Пушкинъ насилу сладилъ". Поэтъ "въ немъ хотѣлъ изобразить то равнодушіе къ жизни и къ ея наслажденіямъ, эту преждевременную старость души, которая сдѣлалась отличительными чертами молодежи XIX вѣка", представить "молодого человѣка, потерявшаго чувствительность сердца въ несчастіяхъ". Плѣнникъ высказываетъ "бездѣйствіе, равнодушіе къ дикой жестокости горцевъ и къ прелестямъ кавказской дѣвы", но нельзя не признать, что міровой скорбникъ очерченъ въ немъ еще блѣдно и неполно.

Причудливую форму, подобно какъ въ Шиллеровыхъ "Разбойникахъ", получило исканіе свободы также и въ "Братьяхъразбойникахъ" Пушкина. Поэтъ заканчиваетъ эту поэму словами:

> ... въ ихъ сердцѣ дремлетъ совѣсть: Она проснется въ черный день.

Оказывается неудовлетвореннымъ своею жизнью, чуя высшія начала, и герой "Бахчисарайскаго фонтана" (1822 г.), "грозный ханъ" Гирей, "повелитель горделивый", къ "строгому челу" котораго присматривались со вииманіемъ всѣ подчиненные:

¹⁾ II, 280. Что до любви къ природъ, то она у плънинка огличается уже характеромъ, напоминающимъ Лермонтовскую: такъ (II, 284).

^{...} плённикъ съ горной вышины Одинъ, за тучей громовою Возврата солнечнаго ждалъ, Недосягаемый грозою, И бури немощному вою Съ какой-то радостью внималъ.

Благоговъл всъ читали Примъты гнъва и печали На сумрачномъ его чель.

Это "гордая душа" "скучаетъ бранной славой"; "полонъ грусти умъ Гирея"; послъдній не заглядыватъ и въ роскошную "завътную обитель еще недавно милыхъ женъ". Гирей презрълъ чудныя красы "звъзды любви, красы гарема", грузинки Заремы,

И ночи хладные часы Проводить, мрачный, одинокій, Съ тѣхъ поръ, какъ польская княжна Въ его гаремъ заключена.

Причина тоски Гпрея — особая любовь къ плънной княжнъ Маріи. Онъ чтить плънницу не какъ другихъ невольницъ, потому что смутно чувствуетъ въ ней то же, что привлекало къ ея образу и самого поэта, — "души неясный идеалъ"1), ангельскую, "чистую душу":

Съ какой бы радостью Марія Оставила печальный свѣть! Мгновенья жизни дорогія Давно прошли, давно ихъ нѣтъ! Что дѣлать ей въ пустынь міра? Ужъ ей пора, Марію ждуть, И въ небеса, на лоно мира Родной улыбкою зовуть.

Этотъ то "нѣжный образъ" и раскрылъ "мрачному, кровожадному" хану обаяніе глубокой внутренней жизни, которой онъ дотолѣ не подозрѣвалъ, и заронилъ въ него зерно новой жизни. Оно не проросло въ немъ, и поэтъ не совсѣмъ удачно передалъ, какъ

...въ сердцѣ хана чувствъ иныхъ Таится пламень безотрадный²),

Невольно предавался умъ, Неизъяснимому волненью, И по дворцу летучей тѣнью Мелькала дѣва предо мной...

2) Следующее затемь описаніе:

Онъ часто въ сѣчахъ роковыхъ Подъемлетъ саблю, и съ размаха Недвижимъ остается вдругъ, и пр.

вызывало насмѣшки (см. V, 121).

¹⁾ I, 227—227; "Фонтану Бахчисарайскаго дворда". Ср. заключеніе "Бахчисарайскаго фонтана" (II, 336):

но все-таки "Бахчисарайскій фонтанъ" совершеннѣе изображаетъ неудовлетворенность обычною жизпью, чѣмъ "Кавказскій плѣнпикъ", передаетъ ее болѣе правдпво и естественно и въ болѣе реальной обстановкѣ. Самая критика "гордой и черствой души, надлежащая ея оцѣнка дана еще лучше образомъ Маріи, чѣмъ оцѣнка плѣнпика — сопоставленіемъ съ любящею его черкешенкой). Поэма о фонтанѣ оправдываетъ слова поэта, что

> ...сердце, жертва заблужденій, Среди порочныхъ упоеній Хранить одинъ святой залогь, Одно божественное чувство.

Въ такомъ воззрѣніи уже какъ бы проскальзывала легкая поправка къ представленію гордыхъ душъ въ ореолѣ особой привлекательности. Пушкинъ уже привносилъ въ изображеніе героевъ разочарованія данныя русской дѣятельности и личнаго опыта и наблюденія и начиналъ освѣщать при помощи своего иравственнаго чутья лучше всѣхъ своихъ западноевропейскихъ предшественниковъ въ изображеніи этого типа всѣ слабыя стороны послѣдияго, эгоизмъ (въ плѣнникѣ, Гиреѣ и Алеко), любовь къ праздности и лѣнь (въ Алеко), отсутствіе твердыхъ положительныхъ началъ (въ Онѣгинѣ) и т. п.

Дашкевичг.

"Бахчисарайскій фонтанъ".

По мивнію Пушкина, "Бахчисарайскій фонтань" слабве "Кавказскаго плвиника": съ этимь нельзя вполив согласиться. Въ "Бахчисарайскомъ фонтанв" (вышедшемъ въ 1824 году) замвтенъ значительный шагъ впередъ со стороны формы: стихъ лучше, поэзія роскошиве, благоуханиве. Въ основъ этой поэмы лежитъ мысль до того огромная, что она могла бы быть подъ силу только вполив развившемуся и возмужавшему таланту; очень естественно, что Пушкинъ не совладалъ съ нею и, можетъ быть, оттого-то и былъ къ ней уже слишкомъ строгъ.

¹⁾ Мы расходимся въ этомъ случав съ осужденіемъ самаго поэта, находившаго, что "Бахчисарайскій фонтанъ" слабве "Планника" (V, 121). Разаве Пушкинь писаль (VII, 50): "Бахчисарайскій фонтанъ" между нами, трянь, но эпиграфъ его "прелесть" (Ср. V, 133).

Въ дикомъ татаринъ, пресыщенномъ гаремной любовью, вдругъ всныхиваетъ болѣе человъческое и высокое чувство къ женщинъ, которая чужда всего, что составляетъ прелесть владыки и что можетъ плъпять вкусъ азіатскаго варвара. Въ Марін — все европейское, романтическое: это — дѣва среднихъ вѣковъ, существо кроткое, скромное, дѣтски-благочестивое. И чувство, невольно внушенное ею Гирею, есть чувство романтическое, рыцарское, которое перевернуло вверхъ диомъ татарскую натуру деспота-разбойника. Самъ не понимая, какъ, почему и для чего онъ уважаетъ святыню эгой беззащитной красоты, онъ — варваръ, для котораго взаимность женщины шикогда не была необходимымъ условіемъ истиннаго наслажденія, — онъ ведетъ себя въ отношеніи къ ней почти такъ, какъ паладинъ среднихъ вѣковъ:

Гирей несчастную щадить: Ея унынье, слезы, стоны Тревожать хана краткій сонь; II для нея смягчаеть онъ Гарема строгіе законы. Угрюмый сторожъ ханскихъ женъ Ни днемъ ни ночью къ ней не входитъ, Рукой заботливой не онъ На ложе сна ее возводить, Не смѣетъ устремиться къ ней Обидный взоръ его очей; Она въ купальнъ потаенной Одна съ невольницей своей; Самъ хамъ бонтся дѣвы плѣнной Печальный возмущать покой. Гарема въ дальнемъ отдаленьи Позволено ей жить одной: II мнится, въ томъ уединеныи Сокрылся и вкто неземной.

Большаго отъ татарина нельзя и требовать. Но Марія была убита ревинвой Заремой. Нътъ и Заремы:

Гарема стражами нѣмыми
Въ пучину водъ опущена.
Въ ту ночь, какъ умерла княжна,
Свершилось и ея страданье,
Какая бъ ни была вина,
Ужасно было наказапье!...

Смертью Маріи не кончились для хана муки пераздѣленной любви:

Дворець угрюмый опустыть.
Его Гирей опять оставиль;
Съ толной татарь въ чужой предыль
Онъ злой набыть опять направиль;
Онъ снова въ буряхъ боевыхъ
Несется мрачный, кровожадный;
Но въ сердць хана чувствъ пныхъ
Таится пламень безотрадный.
Онъ часто въ съчахъ роковыхъ
Подъемлеть саблю и съ размаха
Недвижимъ остается вдругъ,
Глядить съ безуміемъ вокругъ,
Блёдньеть, будто полный страха,
И что-то шепчетъ и порой
Горючи слезы льетъ ръкой.

Видите ли: Марія взяла всю жизнь Гирея; встръча съ нею была для него минутой перерожденія, и если онъ отъ новаго, невъдомаго ему чувства, вдохнутаго ею, еще не сдълался человъкомъ, то уже животное въ немъ умерло, и онъ пересталъ быть татариномъ comme il faut. Итакъ, мысль поэмы — перерожденіе (если не просвътльніе) дикой души чрезъ высокое чувство любви. Мысль ведикая и глубокая! Но молодой поэтъ не справился съ нею, и характеръ его поэмы въ ея самыхъ патетическихъ мъстахъ является медодраматическимъ. Хотя самъ Пушкинъ находилъ, что "сцена Заремы съ Маріей имъетъ драматическое достоинство", тъмъ не менъе ясно, что въ этомъ драматизмъ проглядываетъ мелодраматизмъ. Въ монологъ Заремы есть эта аффектація, это театральное изступленіе страсти, въ которыя всегда впадаютъ молодые поэты и которыя всегда восхищають молодыхъ людей. Если хотите, эта сцена обнаружила тогда сильные драматические элементы въ талантъ молодого поэта, но не болже, какъ элементы, развитія которыхъ слъдовало ожидать въ будущемъ.

Несмотря на то, въ поэмъ много частностей обаятельно прекрасныхъ. Портреты Заремы и Марін (особенно Марін) прелестны, хотя въ нихъ и проглядываетъ наивность иъсколько юношескаго одушевленія. Но лучшая сторона поэмы— это описанія или. лучше сказать, живыя картины магометанскаго Крыма; онъ и теперь чрезвычайно увлекательны. Въ

нихъ нѣтъ этого элемента высокости, который такъ проглядываеть въ "Кавказскомъ плѣнникъ", въ картинахъ дикаго и грандіознаго Кавказа. Но онѣ непобѣдимо очаровываютъ этой кроткой и роскошной поэзіей, которою запечатлѣна соблазнительно-прекрасная природа Тавриды: краски нашего поэта всегда вѣрны мѣстности. Картина гарема, дѣтскія шаловливыя забавы лѣнивой и уныло-однообразной жизии одалискъ, татарская пѣсня — все это и теперь еще такъ живо, такъ свѣжо, такъ обаятельно! Что за роскошь поэзіи, напримѣръ, въ этихъ стихахъ:

Настала ночь; покрылись тёнью Тавриды сладостной поля; Вдали подъ тихой лавровъ сёнью Я слышу пёнье соловья; За хоромъ звёздъ луна восходить, Она съ безоблачныхъ небесъ На долы, на холмы, на лёсъ Сіянье томное наводить. Покрыты бёлой пеленой, Какъ тёни легкія мелькая, По улицамъ Бахчисарая, Изъ дома въ домъ, одна къ другой Простыхъ татаръ спёшать супруги Дёлить вечерніе досуги.

Описаніе евнуха, прислушивающагося подозрительнымъ слухомъ къ мальйшему шороху, какъ-то чудно сливается съ картиной этой фантастически-прекрасной природы, и музыкальность стиховъ, сладострастіе созвучій нѣжатъ и лельютъ очарованное ухо читателя:

> Но все вокругь него молчить; Одни фонтаны сладкозвучны Изъ мраморной темницы быють, И съ милой розой неразлучны Во мракъ соловы поють...

Здѣсь даже неправильныя усѣченія не портять стиховь. И какой истинио-лирической выходкой, исполненной паноса, замыкаются эти роскошно-сладострастныя картины волшебной природы Востока:

Какъ милы темныя красы Ночей роскошнаго Востока!

Какъ сладко льются ихъ часы
Для обожателей пророка!
Какая нѣга въ ихъ домахъ,
Въ очаровательныхъ садахъ,
Въ тиши гаремовъ безопасныхъ,
Гдѣ подъ вліяніемъ луны
Все полно тайнъ и тишины,
И вдохновеній сладкострастныхъ!

При этой роскоши и невыразимой сладости поэзіи, которыми такъ полонъ "Бахчисарайскій фонтанъ", въ немъ плъняеть еще эта легкая, свътлая грусть, эта поэтическая задумчивость, навъянная на поэта чудно-прозрачными, благоуханными ночами Востока и поэтической мечтой, которую возбудило въ немъ преданіе о таинственномъ фонтанъ во дворцъ Гиреевъ. Описаніе этого фонтана дышетъ глубокимъ чувствомъ:

Есть надпись: ѣдкими годами
Еще не сгладилась она.
За чуждыми ея чертами
Журчить во мраморѣ вода
И каплеть хладиыми слезами,
Не умолкая никогда.
Такъ плачетъ мать во дни печали
О сынѣ, падшемъ на войнѣ.
Младыя дѣвы въ той странѣ
Преданье старины узнали,
И мрачный памятникъ онѣ
Фонтаномъ слезъ именовали.

Следующіе стихи (до конца) составляють превосходнейшій музыкальный финаль поэмы; словно resumé, они сосредоточивають въ себе всю силу впечатленія, которое должно оставить въ душе читателя чтеніе целой поэмы: въ нихъ п роскопь поэтическихъ красокъ, и легкая, светлая, отрадно сладостная грусть, какъ бы навеянная немолчнымъ журчаніемъ "Фонтана слезъ" и представляющая разгоряченной фантазіи поэта таинственный образъ мелькавшей летучей тенью женщины... Гармонія последнихъ двадцати стиховъ упонтельна:

Поклонникъ музъ, поклонникъ мира, Забывъ и славу, и любовь, О, скоро васъ увижу вновь, Брега веселые Салгира! Приду на склонъ приморскихъ горъ, Воспоминацій тайных в нолный, И вновь таврическія волны Обрадують мой жадный взорь. Волшебный край, очей отрада! Все живо тамь: холмы, ліса, Янтарь и яхонть винограда, Долинь пріютная краса, И струй и тополей прохлада — Все чувство путника манить, Когда, въ чась утра безмятежной, Въ горахь дорогою прибрежной, Привычный конь его біжить, И зеленіющая влага Предъ нимь и блещеть, и шумить Вокругь утесовь Аю-дага...

Вообще "Бахчисарайскій фонтанъ" — роскошно-поэтическая мечта юноши, и отпечатокъ юности лежитъ равно и на недостаткахъ его и на достоинствахъ. Во всякомъ случаѣ, это прекрасный, благоухающій цвѣтокъ, которымъ можно любоваться безотчетно и безтребовательно, какъ всѣми юношескими произведеніями, въ которыхъ полнота силъ замѣняетъ строгую обдуманность концепціи, и роскошь щедрой рукой разбросанныхъ красокъ — строгую отчетливость выполненія.

Бълинскій.

Происхожденіе, лирико - эпическій характеръ поэмы "Бахчисарайскій Фонтанъ" п вліяніе Байрона, сказавшееся въ созданіи ся.

Происхожденіе поэмы объяснено самимъ Пушкинымъ въ письмѣ къ Бестужеву (8 февраля 1824 г.): "Недостатокъ плана не моя вина. Я суевѣрно перекладывалъ въ стихи разсказъ молодой женщины.

Aux douces loix des vers, je pliais mes accents De sa bouche aimable et naïve.

Разсказчицей, какъ извъстно, была старшал дочь генерала Н. Н. Расвскаго — Екатерина Николаевна. Поводомъ къ разсказу послужило посъщение вмъстъ съ Раевскими въ 1820 г. развалинъ Бахчисарайскаго дворца, который Пушкинъ посътилъ больной. "Я прежде слыхалъ о страшномъ памятникъ влюбленнаго хана. Катерина Николаевна Раевская поэтически описывала мит его, называя la fontaine des larmes (фонтанъ слезъ). Вошедъ во дворецъ, увидълъ я испорченный фонтанъ; изъ-за ржавой желтзной трубки по каплямъ падала вода. Я обошелъ дворецъ съ большой досадой на небреженіе, въ которомъ онъ истлтваетъ, и на полуевропейскія придтики иткоторыхъ комнатъ. Раевскій почти насильно повелъ меня по ветхой лтстницт въ развалины гарема и на ханское кладбище.

Но не тъмъ Въ то время сердце полно было:

"Лихорадка меня мучила". (Письмо къ Дельвигу въ дек. 1824.) Итакъ для Пушкина нуженъ былъ разсказъ живого лица, и притомъ "женщины необыкновенной" (какъ онъ называлъ Ек. Ник. Раевскую въ письмѣ къ брату), чтобы написать эту поэму. Было уже замѣчено при разборѣ лирическаго стих.: "Фонтану Бахчисарайскаго дворца (см. І т., № 52), что самъ поэтъ называетъ героинь этой поэмы лишь "счастливыми мечтами", "души неяснымъ идеаломъ".

Такими онъ дъйствительно въ поэмъ и являются, и поэма носить всецьло характерь лиро-эпического разсказа, т.-е. такого, въ которомъ изображение характеровъ заменено выраженіемъ настроеній действующихъ лиць; все картины расчитаны на передачу этихъ настроеній, а весь смыслъ переданнаго въ поэмъ случая сводится къ выраженію личныхъ чувствъ автора. Отсюда и всъ достоинства этой поэмы: единство элегическаго тона, выразительность и задушевность стиха; отсюда же и ея недостатки: неопредъленность характеровъ, мелодраматичность въ изображеніи действій. Темъ же лиризмомъ объясняется и то, почему Пушкинъ не воспользовался глубокою идеею, лежащею въ основъ крымскаго преданія, взятаго имъ для своей поэмы. Разсказываютъ, что ханъ Керимъ-Гирей похитиль красавицу Потоцкую и содержаль ее въ Бахчисарайскомъ гаремъ. Полагаютъ даже, что онъ былъ обвънчанъ съ нею. Очевидно, преданіе выразило просвътленіе дикаря чрезъ высокое чувство любви къ христіанкъ. Пушкинъ не сдълаль это душевное перерождение главнымъ предметомъ своей поэмы. Драматизмъ онъ увидёлъ лишь въ столкновеніи чувствъ двухъ соперницъ и на немъ основалъ свою поэму.

Лирическій характеръ поэмы отвлекъ вниманіе автора отъ изображенныхъ лицъ, не затронувшихъ творческую фантазію поэта. Эти лица, насколько они являются намъ въ своихъ блѣдныхъ очеркахъ, стали невольнымъ отзвукомъ чужого творчества, тѣхъ образовъ, которые волновали сердце поэта при чтеніи Байрона.

Ханъ-Гирей, "скучающій бранной славой", "задумчивый властитель", таящій въ сердцѣ любовь, предъ которою поблекли всѣ прежнія радости его жизни, и которая обращена къ существу невинному и чистому, оставляющему эту любовь безотвѣтною, гораздо болѣе напоминаетъ Чайльдъ-Гарольда или самого Байрона, нежели крымскаго татарина. Гирей, "гордый душою", мстительный и грозный, въ то же время обаятеленъ, и его горячо любитъ Зарема, подобно Медорѣ и Гюльнарѣ въ "Корсаръ" Байрона.

Въ неопредъленномъ лицъ Гирея несомнънно отразились всъ любимыя черты героевъ Байрона: разочарованность, неудовлетворенность всъмъ окружающимъ, сила страсти, неприклонность передъ внъшними врагами, мстительность людямъ за личное несчастіе (Конрадъ), способность пенавидъть съ тою же силою, съ какою они любятъ, (Гяуръ и Конрадъ) и страдать безмолвно.

Первая сцена поэмы, гдѣ Пушкинъ впервые знакомитъ читателя съ своимъ героемъ, напоминаетъ даже по внѣшней обстановкѣ изображеніе Яфара-паши въ "Абидосской невѣстѣ":

Собравъ диванъ, Яфаръ съдой Сидълъ угрюмь. Вокругъ стояли Рабы готовою толпой — И стражей быть и мчаться въ бой. Но думы мрачныя летали Надъ престарълой головой. И по обычаямъ Востока Хотя поклонники пророка Скрываютъ хитро отъ очей Порывы бурные страстей — Все, кромъ спеси ихъ надменной, Но взоры пасмурны, смущенны Являли всъмъ, что втайнъ онъ Какимъ-то горемъ угнетенъ.

Онъ трижды хлопаетъ руками, Чубукъ въ алмазахъ съ янтаремъ Рабамъ вощедшимъ отдаетъ... ("Абид. Нев." I, 2). Козловъ.

Чужія краски замівчаємь и вы изображеніи Гирея, послів горькой утраты отдавшагося себя мщенію, когда среди битвы онь, поднявь саблю, внезапно блідпіветь и какъ бы полный страха остается недвижимь и что-то шенчеть. Таковь Глурь, когда, устремившійся къ мщенію за погибшую Лейлу, полный горя и отчаянія, движется безсознательно въ какомъ-то забыть :

Онь сталь на мигь—какь будто страхь Явился у него вь чертахь...
Потупя взорь свой огневой, Кому-то злобно угрожаль, Какь будто самь еще не зналь, Что дёлать; что ему начать:
Итти назадь или бёжать.

Звонъ стали върной, боевой Его задумчивость прервалъ.

Женскія фигуры поэмы Пушкина также навъяны героннями Байрона. Геропни Байрона обыкновенно повторяють два типа: одиъ - сильныя, страстныя, предпріимчивыя, порою мстительныя, ревнивыя: такова, напримъръ Гюльнара (въ "Корсаръ"); другія — кроткія, любящія, гармоническія натуры, которыя не могутъ пережить несчастія, ихъ постигшаго; такова напр. Зюлейка (въ "Абидосской Невъстъ"). Изъ объихъ женскихъ фигуръ Пушкина, Зарема своей страстностью, ревнивостью и рфшительностію напоминаеть Гюльнару, хотя поставлена Пушкинымъ въ иное положение; Марія принадлежить къ противоположному типу. Такъ какъ Пушкинъ не раскрылъ въ дъйствін характеръ Марін, то читателю остается угадывать ее изъ вившней судьбы, обстановки и изъ образа жизни, а во всемъ этомъ она напоминаетъ Зюлейку: и Марія и Зюлейка объ единственныя дочери отцовъ своихъ, объ нъжно любимы ими и живутъ до рокового дня, не зная горя и страданій (т.-е. до того времени, когда Марія теряетъ отца и свободу, а Зюзейка узнаетъ злодъйства своего отца и отказывается отъ него для Селима); объ мгновено умирають въ постигшемъ ихъ несчастін, безсильныя бороться съ нимъ; смерть уносить объихъ ранъе, нежели жизнь посягнула на высокую чистоту

ихъ. Какъ ни различны положенія Маріи и Зюленки— первои въ гаремѣ похитителя, и второй въ домѣ отца, — обѣ онѣ проводятъ дни въ тихомъ уединеніи, въ религіозномъ настроеніи, каждая согласно своей вѣрѣ. Самый пріемъ Пушкина ознакомить читателя съ личностью Маріи чрезъ описаніе ея комнаты (въ ночь свиданія съ Заремой) (ст. 230—240 и 309—314) совпадаетъ съ пріемомъ Байрона, который также знакомитъ съ внутренней жизнью Зюлейки чрезъ описаніе ся жилища въ ночь ея побѣга отъ отца:

Лишь только въ баши одинокой Младой Зюлейки свъть блестить, Лишь у нея въ ночи глубокой Лампада поздняя горить, И тускло свътить пламень томной Въ диванной тихой и укромной, Блестя на тканяхъ золотыхъ Ея подушекъ парчевыхъ. На нихъ изъ янтарей душистыхъ Воть четки дъвы молодой, Которыя въ молитвахъ чистыхъ Она лилейною рукой Такъ набожно перебираеть, И въ изумрудахъ вотъ сіяетъ Со словами Курзы (И-й главы Корана) талисманъ.

И съ комболоей (четками) воть Коранъ Раскрашенъ яркими цвѣтами... ("Нев. Абид." II 5).

Но если и въ этой поэмѣ творчество Пушкина еще пе ознаменовалось созданіемъ живыхъ лицъ, то лирическій элементъ поэмы и описанія, проникнутыя этимъ лиризмомъ, достигаютъ здѣсь новаго блеска. Сцены въ гаремѣ какъ у фонтана въ ожиданіи хана, такъ и ночью вь спальнѣ; описаніе окрестностей гарема при сіяніи звѣздъ и мѣсяца; описаніе фонтана слезъ и развалинъ дворца и кладбища въ концѣ поэмы принадлежатъ къ лучшимъ произведеніямъ той поры творчества Пушкина, въ которую поэма писалась. Татарская же пѣсня съ новою силою показала талантъ Пушкина въ произведеніи характерныхъ иноземныхъ пѣсенъ, талантъ, уже засвидѣтельствованный въ эту эпоху и антологическими піесами, молдаванской пѣсней, а впослѣдствін породившій цѣлый рядъ произведеній, въ которыхъ характеръ самыхъ разпообразныхъ національностей усвоенъ съ неподражаемымъ искусствомъ.

Поливановъ.

Идея поэмы "Цыганы".

Поэма заключаетъ въ себъ глубокую идею, которая большинствомъ была совсёмъ не понята, а немногими людьми. радушно привъствовавшими поэму, была понята ложно, -что особенно и расположило ихъ въ пользу новаго произведенія Пушкина. И посдіднее очень естественно: изъ всего хода поэмы видно, что самъ Пушкинъ думалъ сказать не то, что сказаль въ самомъ дёлё. Это особенно доказываетъ, что непосредственно творческій элементь въ Пушкинь быль несравненно сильнее мыслительнаго, сознательнаго элемента, такъ что ошибки послъдняго, какъ бы безъ въдома самого поэта, поправлялись первымъ, и внутренняя логика, разумность глубокаго поэтическаго созерцанія сама собой торжествовала надъ неправильностью рефлексій поэта. Повторяемъ, "Цыганы" служать неопровержимымь доказательствомъ справедливести нашего мивнія. Пдея "Цыганъ" вся сосредоточена въ героф этой поэмы — Алеко. А что хотфлъ Пушкинъ выразить этимъ лицомъ? — не трудно отвътить; всякій, даже съ перваго, поверхностваго взгляда на поэму, увидитъ, что въ Алеко Пушкинъ хотълъ показать образецъ человъка, который до того проникнутъ сознаніемъ человъческаго достоинства, что въ общественномъ устройствъ видитъ одно только упиженіе и позоръ этого достоинства, и потому, проклявъ общество, равнодушный къ жизни, Алеко въ дикой цыганской воль ищеть того, чего не могло дать ему образованное общество, окованное предразсудками и приличіями, доброводьно закабалившее себя на унизительное служение идолу золота. Вотъ что хотълъ Пушкинъ изобразить въ лицъ своего Алеко; но успъль ли онъ въ этомъ, то ли именно изобразилъ онъ? Правда, поэтъ настанваетъ на этой мысли, и, видя, что поступокъ Алеко съ Земфирой явно ей противоръчить, сваливаеть всю вину на "роковыя страсти, живущія подъ разодранными шатрами", и на "судьбы, отъ которыхъ нигдъ нътъ защиты". Но весь ходъ поэмы, ел развязка и особенно играющее въ ней важную роль лицо стараго цыгана неоспоримо показывають, что, желая и думая изъ этои поэмы создать апонеозу Алеко, какъ поборника правъ человъческаго достои ства, поэтъ вмъсто этого сдълалъ страшную сатиру на него и на подобныхъ ему людей, изрекъ падъ ними судъ неумолимо-трагическій и вмъстъ съ тъмъ горько-проническій.

Алеко погубила одна страсть, и эта страсть — эгонзмъ! Прослъдите за Алеко въ развитіи цълой поэмы, и вы увидите, что мы правы.

Приведя встръченнаго за холмомъ, подлъ цыганскаго табора, Алеко, Земфира говоритъ своему отцу между прочимъ:

Онъ хочетъ быть, какъ мы, цыганомъ; Его преслѣдуетъ законъ.

Въ этихъ словахъ Алеко является еще только таинственнымъ, загадочнымъ лицомъ, не болѣе; для безпристрастной наблюдательности онъ еще не можетъ показаться ни преступникомъ вслѣдствіе эгонзма ни жертвой несправедливаго гоненія, и только мелкій либерализмъ, въ своей поверхности, готовъ сразу принять его за мученика идеи. Но вотъ таборъ снялся; Алеко уныло смотритъ на опустѣлое поле и не смъетъ растолковать себѣ тайной причины своей грусти. Онъ, наконецъ, воленъ, какъ Божья птичка, солице весело блещетъ надъ его головой; о чемъ же его тоска? Поэтъ пророчитъ ему, что страсти, нѣкогда такъ свирѣпо игравшія имъ, только на время присмирѣли въ его измученной груди и что скоро онѣ снова проснутся... Опять страсти! но какія же! А вотъ увидимъ...

Можетъ-быть, Алеко только внѣшнимъ образомъ, по чувству досады, разорвалъ связи съ образованнымъ обществомъ, и ему тяжка исполненная лишенія дикая воля бѣднаго бродячаго племени, ибо, какъ мудро замѣтилъ ему старый цыганъ,

...Не всегда мила свобода Тому, кто къ нъгъ пріученъ.

Нътъ! черноокая Земфира заставила его полюбить эту жизнь, въ которой

> Все скудно, дико, все нестройно; Но все такъ живо-неспокойно, Такъ чуждо мертвыхъ нашихъ нѣгъ, Такъ чуждо этой жизни праздной, Какъ пѣснь рабовъ однообразной.

И когда Земфира спросила его, не жалѣетъ ли онъ о томъ, что навсегда бросилъ, — Алеко отвѣчаетъ:

О чемъ жальть? Когда бъ ты знала, Когда бы ты воображала Неволю душныхъ городовъ! Тамъ люди въ кучахъ, за оградой, Не дышатъ утренней прохладой Ни вешнимъ запахомъ луговъ, Любви стыдятся, мысли гонят, Торгуютъ волею своей, Глави предъ идолами клонятъ Н просятъ денегъ да цъпей. Что бросилъ я? Измѣнъ волненье, Предразсужденій приговоръ, Толпы безумное гоненье Или блистательный позоръ.

Какой энергическій, полный мощнаго негодованія голосъ! какая пламенная, вся проникнутая благороднымъ паносомъ ръчь! Съ какой неотразимой силой увлекаетъ душу это пророчески обвинительное, страшнымъ судомъ гремящее слово! Прислушиваясь къ нему, не можемъ не върить, чтобъ человъкъ, обладающій такой силою жечь огнемъ устъ своихъ, не быль существомъ высшаго разряда, - существомъ, исполненнымъ свътлаго разума и пламенной любви къ истинъ, глубокой скорби объ униженін человъчества... Вы видите въ немъ героя убъжденія, мученика высшихъ, недоступныхъ толит откровеній... Какъ высоко стоить онъ надъ этой презрѣнной толпой, которую такъ нещадно поражаетъ громомъ своего благороднаго негодованія!... Но здѣсь то и скрывается великій урокъ для оцфики истиннаго достоинства; здфсь-то и можно видъть, какъ легко быть героемъ на счетъ чужихъ пороковъ, заблужденій и слабостей, и какъ мудрено быть героемъ на свой собственный счетъ, - какъ всякаго должно судить не по однимъ словамъ его, но если по словамъ, то не иначе, какъ подтвержденнымъ дълами. Изречь энергическое, полное благороднаго негодованія проклятіе не только на какое-нибудь общество или какой-нибудь народъ, но и на цёлое человёчество, гораздо легче, нежели самому поступить справедливо въ собственномъ своемъ деле. И потому изрекать анавему также не всякій имбеть право, какъ и изрекать благословеніе; это могуть только пріявщіе свыше

власть и посвящение. Какъ поучать другихъ имжетъ право только знающій самъ то, чему берется поучать, — такъ и предписывать другимъ пути практической мудрости и справедливости можетъ только тотъ, кто самъ уже твердой стопои привыкъ ходить по этимъ путямъ. Слово само по себъ — не болъе какъ звукъ пустой: оно важно только какъ выраженіе мысли; а мысль сама по себъ — не болъе какъ призракъ чего-то разумнаго и прекраснаго: она важна лишь какъ идеальная сущность дъйствительности. Все, что не подходить подъ мърку практическаго примъненія, - ложно и пусто. Вотъ почему необходимо должно обращать внимание не только на то, дъйствительно-ли истинно сказанное, но и на то, къмъ оно сказано. По этой-же причинъ въ устахъ призванныхъ и посвященныхъ иногда и старыя истины получають новую форму и новую силу убъжденія, какъ будто бы онъ были сказаны въ первый разъ; а въ устахъ людей, самовольно принимающихъ на себя обязанность учителей, иногда и новыя. оригинально выраженныя мысли пропадають безь дъйствія какъ будто истертыя общія мъста...

Обратимся къ Алеко. Наконецъ доходитъ дѣло и до страстей, появленіе которыхъ поэтъ такъ значительно, такимъ угрожающимъ образомъ предсказывалъ. Сердцемъ Алеко одолъваетъ ревность.

Отвращеніе возбуждають слова Алеко въ отвѣть на простодушный, трогательный и поэтическій разсказь стараго цыгана о Маріуль:

> Да какъ же ты не поспѣшилъ Тотчасъ во слѣдъ неблагодарной, И хищнику и ей, коварной, Кинжала въ сердце не вонзилъ?

Итакъ, вотъ онъ — страдалецъ за униженное человъческое достоинство, — человъкъ, который презрълъ предразсудки образованной общественности и нашелъ счастье въ цыганскомъ таборъ!... Турокъ въ душъ, онъ считалъ себя впереди цълой Европы на пути къ цивилизованному уваженію правъличности!... И какъ великъ, какъ истинно (т.-е. внутренно, духовно) свободенъ предъ нимъ старый цыганъ, этотъ сынъ природы, бъдности, не знающій въ простотъ сердца никакихъ теорій нравственности! Сколько поэзіи и истины въ его кроткомъ, благодушномъ отвътъ Алеко:

Къ чему? Вольнѣе птицы младость, Кто въ силахъ удержать любовь? Чредою всѣмъ дается радость: Что было, то не будетъ вновь!

Отвътъ Алеко на эти полныя любви и правдивости слова стараго цыгана окончательно и вполнъ раскрываетъ тайну его характера:

> Я не таковъ. Нётъ, я, не споря, Отъ правъ моихъ не откажусь; Или хоть мщеньемъ наслажусь. О, нѣть! когда бъ надъ бездной моря Нашелъ я спящаго врага, Клянусь, и туть моя нога Не пощадила бы злодѣя; Я въ волны моря, не блѣднѣя, И беззащитнаго бъ толкнулъ; Внезаиный ужасъ пробужденья Свирѣпымъ смѣхомъ упрекнулъ, И долго мнѣ его паденья Смѣщонъ и сладокъ былъ бы гулъ.

Изъ этихъ словъ видно, что никакая могучая идея не владъла душой Алеко, но что всё его мысли и чувства и дёйствія вытекали, во-первыхъ, изъ сознанія своего превосходства надъ толпой, состоящаго въ умё, болёе блестящемъ и созерцательномъ, чёмъ глубокомъ и дёятельномъ; во-вторыхъ, изъ чудовищнаго этоизма, который гордъ самимъ собой, какъ добродётелью.

Скажутъ, что созданіе такого лица не дъласть чести поэту, тъмъ болье, что онъ явно хотъль сдълать изъ него не столько преступнаго, сколько несчастнаго, увлеченнаго судьбой человъка. Дъйствительно, это было бы такъ, если бъ поэтъ не противоноставилъ стараго цыгана лицу Алеко, можетъ-быть, безсознательно повинуясь тайной внутренней логикъ непосредственнаго творчества. И потому идею поэмы "Цыганы" должно искать не въ одномъ лицъ, а тъмъ менъе въ лицъ Алеко, но въ общности поэмы. Алеко является въ поэмъ Пушкина какъ бы для того только, чтобъ представить намъ страшный, поразительный урокъ нравственности. Его противоръче съ самимъ собой было причиной его гибели, — и онъ такъ жестоко наказанъ оскорбленнымъ имъ закономъ нравственности, что чувство наше, несмотря на великость преступленія,

примиряется съ преступникомъ. Алеко не убиваетъ себя; онъ остается жить, — и это ръшеніе дъйствуеть на душу читателя сильные всякой кровавой катастрофы. Поэтическое сравненіе Алеко съ подстрыленнымъ журавлемъ, печально остающимся на поль въ то время, когда станица весело поднимается на воздухъ, чтобъ летыть къ благословеннымъ краямъ юга, — выше всякой трагической сцены. Сидя на камнъ, окровавленный, съ ножомъ въ рукахъ, "блъдный лицомъ", Алеко молчитъ, по его молчаніе краснорычно: въ немъ слышится нъмое признаніе справедливости постигшей его кары, и, можетъ-быть, съ этой самой минуты въ Алеко звърь уже умеръ, а человъкъ воскресъ...

Вы скажете: слишкомъ поздно. Что жъ дѣлать! такова, видно, натура этого человѣка, что она могла возвыситься до очеловѣченія только цѣной страшнаго преступленія и страшной за то кары... Не будемъ строги въ судѣ надъ падшимъ и наказаннымъ, а лучше тѣмъ строже будемъ къ самимъ себѣ, пока мы еще не пали, и заранѣе воспользуемся великимъ урокомъ. Если бъ Алеко устоялъ въ гордости своего мщенія, мы не помирились бы съ нимъ: ибо видѣли бы въ немъ все того же звѣря, какимъ онъ былъ и прежде. Но онъ призналъ заслуженность своей кары, — и мы должны видѣть въ немъ человѣка: а человѣкъ человѣка какъ осудитъ?...

Убитая чета уже въ землъ.

... Когда же ихъ закрыли Послѣдней горстію земной, Онг молча, медленно склонился И съ камня на траву свалился.

Какое простое и сильное въ благородной простотъ своей изображение самой лютой, самой безотрадной муки! Какъ хороши въ немъ два послъдние стиха, на которые такъ нападали критики того времени, какъ на стихи вялые и прозаические! Гдъ-то было даже напечатано, что разъ Пушкинъ имълъ горячий споръ съ къмъ-то изъ своихъ друзей за эти два стиха и, наконецъ, вскричалъ: "Я долженъ былъ такъ выразиться; я не могъ иначе выразиться!" Черта, обличающая великаго художника!

Но довольно объ Алеко; обратимся къ старому цыгану. Это одно изъ такихъ лицъ, созданіемъ которыхъ можетъ гордиться

всякая литература. Есть въ этомъ цыганъ что-то патріархальное. У него итть мыслей: онь мыслить чувствомь, — и какъ истинны, глубоки, человъчны его чувства! Языкъ его исполненъ поэзіи. Въ тонъ ръчн его столько простоты, наивности, достоинства, самоотрицанія (résignation), кротости, теплоты и елейности. И какъ въренъ онъ себъ во всемъ, - тогда ли, какъ разсказываетъ своимъ простодушнымъ и поэтическимъ языкомъ преданіе объ Овидін; или когда въ исполненной дикаго огия, дикой страсти и дикой поэзіи пъснъ Земфиры припоминаетъ стараго друга; или когда, утвшая Алеко въ охлажденін Земфиры, по-своему, но такъ върно и истинно объясняеть ему натуру и права женскаго сердца и разсказываетъ трогательную повъсть о самомъ себъ, о своей любви къ Маріуль и ея измънь, которую онь, въ своей цыганской простотъ, такъ человъчно, такъ гуманно нашелъ совершенно законной... Но въ сцепъ похоронъ и прощанія съ Алеко опъ является, самъ того не подозръвая, въ своей цыганской дикости, въ истинно-трагическомъ величіи и кротко изрекаетъ несчастному ужасный приговоръ и великія истины:

Оставь насъ, гордый человѣкъ!
Мы дики, нѣтъ у насъ законовъ,
Мы не терзаемъ, не казнимъ,
Не нужно крови намъ ни стоновъ;
Но жить съ убійцей не хотимъ.
Ты не рожденъ для дикой доли,
Ты для себя лишь хочешь воли;
Ужасенъ намъ твой будетъ гласъ;
Мы робки и добры душою,
Ты золъ и смѣлъ, — оставь же насъ,
Прости! да будетъ миръ съ тобою!

Замётьте этотъ стихъ: "Ты для себя лишь хочешь воли",— въ немъ весь смыслъ поэмы, ключъ къ ея основной идеѣ. Послѣ этого можно ли сомиваться въ глубоко-нравственномъ характерѣ поэмы? Нѣтъ, это возможно только для людей близорукихъ и ограниченныхъ, для невѣждъ-моралистовъ, которые привыкли видѣть нравственность только въ азбучныхъ сентенціяхъ...

Сколько "Цыганы" выше предшествовавшихъ поэмъ Пушкина по ихъ мысли, столько выше они ихъ и по концепцировкъ характеровъ, по развитію дъйствія и по художественной отдълкъ. Нельзя сказать, чтобъ во всъхъ этихъ отношеніяхъ

поэма не отзывалась еще чёмъ-то... не то, чтобъ незрёлымъ, по чёмъ-то еще не совсёмъ дозрёлымъ. Такъ, напримёръ, характеръ Алеко и сцена убійства Земфиры и молодого цыгана, несмотря на все ихъ достоинство, отзываются нёсколько мелодраматическимъ колоритомъ, и вообще въ отдёлкё всей поэмы недостаетъ твердости и увёренности кисти, какъ въ тёхъ картинахъ, въ которыхъ краски еще не дошли до той степени совершенства, чтобъ совсёмъ не походить на краски, что составляетъ величайшее торжество живописи, какъ художества.

По всему сказанному мы относимъ "Цыганъ" вмѣстѣ съ "Полтавой" и первыми шестью главами "Евгенія Онѣгина" къ числу поэмъ, въ которыхъ видна только близость, но еще не достиженіе той высокой степени художественнаго совершенства, которая была собственностью таланта Пушкина и которая развернулась въ первый разъ во всей полнотѣ ея въ "Борисѣ Годуновъ", — этомъ безукоризненно высокомъ, со стороны художественной формы, произведеніи.

Намъ не разъ случалось слышать пападки на эпизодъ объ Овидін, какъ неумъстный въ поэмъ и неестественный въ устахъ цыгана. Признаемся: по нашему мивнію, трудно выдумать что-нибудь нельпъе подобнаго упрека. Старый цыганъ разсказываеть въ поэмъ Пушкина не исторію, а преданіе, и не о поэтъ римскомъ (цыганъ ничего не смыслить ни о поэтахъ ни о римлянахъ), но о какомъ-то святомъ старикъ, который быль "младг и живъ незлобною душой, имъль дивный даръ пъсенъ и подобный шуму водъ голосъ". Сверхъ того "Цыганы" Пушкина — не романъ и не повъсть, но поэма; а есть большая разница между романомъ и повъстью и между поэмой. Поэма рисуеть идеальную дёйствительность и схватываетъ жизнь въ ея высшихъ моментахъ. Таковы поэмы Байрона и, порожденныя ими, поэмы Пушкина. Романъ и цовъсть, напротивъ, изображаютъ жизнь во всей ся прозаической действительности, независимо отъ того, стихами или прозой они пишутся. И потому "Евгеній Онфгинъ" есть романъ въ стихахъ, но не поэма; "Графъ Нудинъ" — повъсть въ стихахъ, но не поэма. Въ "Онъгинъ" и "Нулинъ" мы видимъ лица дъйствительныя и современныя намъ; въ "Цыганахъ" всъ лица идеальныя, какъ эти греческія изваянія, которыхъ открытые глаза не блещутъ свътомъ очей, ибо они одного цвёта съ лицомъ: такъ же мраморны или мёдяны, какъ и лицо. Такимъ образомъ эпизодъ въ родъ разсказа стараго цыгана объ Овидіи въ "Цыганахъ", какъ поэмѣ, столь же возможенъ, естественъ и умѣстенъ, сколько былъ бы онъ страненъ и смѣшонъ въ "Онѣгинѣ" или "Нулинѣ", хотя бы онъ былъ вложенъ въ уста тому или другому герою той или другой повѣсти. И что бы ни говорили о неумѣстности этого эпизода непризванные критики, — ихъ толки будутъ свидѣтельствовать только о безвкусіи и мелочности ихъ взгляда на искусство. Эпизодъ объ Овидіи заключаютъ въ себѣ гораздо больше поэзіи, нежели сколько можно найти ее во всей русской литературѣ до Пушкина.

Какъ забавную черту о критическомъ духъ того времени, когда вышли "Цыганы", извлекаемъ изъ записокъ Пушкина слъдующее мъсто: "О "Цыганахъ" одна дама замътила, что во всей поэмъ одинъ только честный человъкъ, и то медвъдь. Покойный Р. негодоваль, зачемь Алеко водить медеедя и еще собираеть деньги съ глазъющей публики. В. повториль то же замвчаніе (Р. просиль меня сдвлять изъ Алеко хоть кузнеца, что было бы не въ примъръ благородиве). Всего бы лучше сдълать изъ него чиновника или помъщика, а не цыгана. Въ такомъ случав, правда, не было бы и всей поэмы: ma tanto megtio". Вотъ при какой публикъ явился и дъйствоваль Пушкинъ! На это обстоятельство нельзя не обращать вниманія при оцфикф заслугь Пушкина. "Цыганы" были первымъ усиліемъ, первой попыткой Пушкина создать что-нибудь важное и зрълое какъ по идеъ, такъ и по исполнению. Мы показали, до какой ступени удалось ему это: "Цыганы" оставили далеко за собой все написанное имъ прежде, обнаруживъ въ поэтъ великія силы; но въ то же время въ этой поэмъ виденъ только могучій порывъ къ истинио-правственному творчеству, но еще не полное достижение желанной цъли стремленія. Бълинскій.

Вліяніе Руссо и личныя состоянія поэта, сказавшіяся въ поэм'в "Цыганы".

Отъ Руссо вышло все литературное движеніе мировой скорби. Пушкинъ, какъ и Руссо, сталъ на точку зрѣнія пеобходимости обуздыванія страстей и эгонзма. Этимъ онъ отличается болѣе всѣхъ другихъ поэтовъ въ изображеніи и оцѣнкѣ героевъ разочарованія. Уразумѣть несостоятельность ихъ Пушкину много пособило его русское тонкое, правственное чутье, но не прошло для него безслѣдно при этомъ и вліяніе Руссо. Въ "Цыганахъ" мы услышимъ и повтореніе тезисовъ первыхъ диссертацій этого писателя, и опроверженіе ихъ примѣнительно къ нравственному чутью нашего поэта и къ позднѣйшимъ поправкамъ парадоксовъ французскаго писателя.

"Задумчивый Руссо быль извъстенъ Пушкину уже на двънадцатомъ году жизни поэта. Жанъ-Жакомъ, повидимому, тогда увлекалась сестра Пушкина Ольга (впослъдствіи Павлищева)¹); и это увлеченіе могло передаться и нашему поэту. Потомъ Пушкинъ отзывался о Руссо весьма строго и пренебрежительно²), но все-таки впечатлънія и увлеченія дътства не могли пройти безслъдно, и Пушкинъ въ годъ написанія "Цыганъ" ставилъ Руссо въ общемъ, кажется, выше Вольтера, потому что характерной чертой послъдняго призналъ "скептицизмъ", а особенностью Руссо — "филантропію". И уже въ юные годы Пушкина образъ Руссо внушалъ ему обаяніе великаго страдальца: Пушкинъ называлъ его въ ряду тъхъ поэтовъ, мимо которыхъ "катится фортуны колесо".

Родился нагъ — и нагъ вступаетъ въ гробъ Руссо.

Чъмъ сердце занимаешь Вечернею порой? Жанъ-Жака ли читаешь?

Руссо (замічу мимоходомь)
Не могь понять, какъ важный Гриммъ
Сміть чистить ногти передъ нимь,
Краснорічивымь сумасбродомь.

Но вслёдь за тёмъ Руссо названь защитникомъ "вольности и правъ".

¹⁾ Соч. II, I, 14 ("Къ сестръ", 1814)

²) III, 244 ("Евг. Онът." I, XXIV, 1822)

Не ко всему, конечно, въ произведеніяхъ Руссо могъ относиться сочувственно Пушкинъ. Онъ не могъ, напр., раздѣлять воззрѣніе отчанвшагося Руссо, что "Le pays de chimères est, en ce monde, le seul digne d'être habité", не могъ не усматривать искусственности и преувеличеній реторизма въ обвиненіи цивилизаціи и въ другихъ тирадахъ Руссо.

Но многое въ ученіи Руссо должно было съ юношескихъ лѣтъ привлекать нылкаго и не любившаго удержа поэта: призывъ слѣдовать голосу внутренней природы, превознесеніе добрыхъ чувствованій и страсти, возведеніе ея въ идеалъ не могли не найти отклика въ горячемъ сердцѣ Пушкина¹). Не могъ пройти безслѣдио для нашего поэта и тотъ призывъ къ природѣ и свободѣ, который такъ отличалъ Руссо въ ряду французскихъ писателей XVIII в. и который находилъ у насъ поддержку и въ чтеніи Лафонтена, въ особенности же Грея и Томсона²). Свое влеченіе къ природѣ русскій человѣкъ вы-

И я въ законъ себѣ вмѣняю Страстей единый произволъ...

2) О Лафонтень см. вь стихотворенін "Городокъ" (Соч., П. І, 69—70), гдь, впрочемъ, онъ охарактеризованъ, какъ

... пѣвецъ любезной, Поэзіей прелестной Сердца привлекшій въ плѣнъ, ... лѣнтяй безпечный, Мудрецъ простосердечный.

Въ дит. уже "Посланія къ сестръ" (Соч. II. I, 14) читаемъ:

Иль съ Греемъ и Томсономъ
Ты пронеслась мечтой
Въ поля, гдѣ отъ дубравы,
Вдоль вѣетъ вѣтерокъ,
И шепчетъ лѣсъ кудрявый
И мчится величавый
Съ вершины горъ потокъ?

Замѣтимъ, что оба названные здѣсь поэта явились въ началѣ нашего вѣка въ русскихъ переводахъ, первый — въ стихахъ, второй — въ прозѣ. Любовь Пушкина къ природѣ ярко выразилась въ стихотвореніи: "Не дай миѣ Богъ сойти съ ума" (П, 154—155, 1833 г.):

Когда бъ оставили меня На воль, какъ бы ръзво я Пустился въ темный льсъ! и т.д.

¹) III, 382 ("Евг. Онът.", VIII, III):

разиль уже издавна въ пъсияхъ о матери-пустынъ, о раздольъ безбрежныхъ степей и т. п.

Отчетливо уразумѣніе прелести и спасительности общенія съ природой возросло въ Пушкинѣ съ той поры, какъ переводъ на югъ и другія обстоятельства обострили его отношеніе къ властямъ и обществу и, въ связи съ знакомствомъ съ поэзіею Шатобріана и Байрона, сдѣлали болѣе близкимъ ученіе Руссо объ извращеніяхъ цивилизаціи и о преимуществахъ, какими пользуется неиспорченный "l'homme de la nature", живущій согласно съ голосомъ своего сердца и подчиняющійся лишь велѣніямъ природы.

Это ученіе Руссо и излюбленные тезисы послѣдняго замѣтно выступають въ поэмѣ Пушкина "Цыганы" (1824 г. г.), сливаясь съ тѣмъ, что дѣйствительно было пережито самимъ поэтомъ: Пушкинъ сознавался, что за цыганъ

... лѣнивыми толпами
Въ пустыняхъ, праздный онъ бродилъ,
Простую пищу ихъ дѣлилъ,
И засыпалъ предъ ихъ огнями;
Въ походахъ медленныхъ любилъ
Ихъ пѣсней радостные гулы,
И долго милой Маріулы
... имя нѣжное твердилъ.

Еще и позже (1830 г.) любилъ онъ бывать у нихъ и называль ихъ "счастливымъ племенемъ". Въ Пушкинъ отзывалась въ данномъ случат свойственная нашему народу любовь къ приволью, увлекавшая въ предшествовавшіе въка къ блужданію въ степяхъ, къ основанію казацкихъ вольницъ на пограничьи русскихъ земель и далже. Оттуда же увлечение нъкоторыхъ цыганскими пъснями. Эта какъ бы прирожденная народу любовь къ приволью слилась въ Пушкинт съ теми пдеями о простомъ, но счастливомъ житът-бытът вдали отъ городской и искусственной цивилизаціи, которыя были пущены въ обращение со второй половины XVIII въка Руссо и его послъдователями, въ особенности Бенарденомъ де Сенъ-Пьеръ и Шатобріаномъ. Герой "Цыганъ" Алеко подобно своему автору Пушкину, быдъ преследуемъ "закономъ", подобно поэту былъ "изгнанникомъ перелетнымъ" и ръшился на "добровольное изгнаніе", — искать покоя среди цыганъ, пленившихъ ихъ житьемъ:

Какъ вольность, весель ихъ ночлегъ И мирный сонъ подъ небесами.

Въ обстановкъ ихъ жизни

Все скудно, дико, все нестройно, Но все такъ живо-непокойно, Такъ чуждо мертвыхъ нашихъ нѣгъ, Такъ чуждо этой жизни праздной. Какъ пѣснь рабовъ однобразной.

Ръшившись стать цыганомъ, другомъ черноокой Земфиры,

Теперь онъ вольный житель міра... И жиль не признавая власти Судьбы коварной и слѣпой.

Вслъдъ за Руссо и Алеко отзывался съ презръніемъ о жизни оставленныхъ имъ "людей отчизны, городовъ". Въ его ръчахъ слышимъ уже то противоположение безграничной свободы и красоты жизни въ природъ печальному и подневольному житью въ удалении отъ нея, среди уродствъ цивилизаціи, на которое есть намеки и у Лермонтова и которое развито обстоятельно Л. Н. Толстымъ. Какъ теперь Л. Н. Толстой, Алеко не любилъ

Неволю душныхъ городовъ!
Тамъ люди въ кучахъ, за оградой,
Не дышатъ утренней прохладой,
Ни вешнимъ запахомъ луговъ,
Любви стыдятся, мысли гонятъ и проч.

Слѣдовало порицаніе жизни въ цивилизованномъ обществѣ, въ частности въ великосвѣтскомъ кругу, неоднократно прорывающееся въ поэзін Пушкина съ довольно ранняго времеви и до конца¹).

Значеніе "Цыганъ" въ нашей поэзін напоминаєть значеніе Шиллеровыхь "Разбойниковъ". Пушкинъ также искаль выхода изъ душной и затхлой атмосферы современнаго ему общества. Признавая свѣть безнравственнымъ, "презрѣвшій", подобно Руссо "оковы просвыщенія", ставшій вольнымъ, какъ

¹⁾ Cp. I, 305:

Судьба людей повсюду та же: Гдв капля блага, тамъ настражв Иль просевщение, иль тиранъ.

цыгане, Алеко не нашелъ однако счастія, потому что не покончилъ со своими страстями.

> ... Боже, какъ играли страсти Его послушною душой! Съ какимъ волненіемъ кипѣли Въ его измученной груди!

Алеко, разставшись съ цивилизаціей, не хотёлъ отказаться также отъ ея привычекъ, отъ того, что онъ считалъ своими "правами", и что было эгоизмомъ, и ему въ его гордости были непонятны нравы цыганъ, не имѣющихъ заботъ и не терзающихъ и не казнящихъ смиренной вольности "дѣтей", у которыхъ женщина "привыкла къ рѣзвой волѣ" и безнаказанно пользуется ею.

И въ моментъ окончанія "Цыганъ" Пушкинъ какъ бы порѣшилъ, что счастье среди сыновъ природы, о которомъ говоритъ Руссо и его послѣдователи, невозможно уже для одержимаго страстями образованнаго человѣка, привыкшаго къ "неволѣ душныхъ городовъ" и настолько сжившагося съ нею, что, ища свободы для себя, онъ отказываетъ въ ней другимъ, ограничивающимъ чѣмъ-нибудь его эгоизмъ.

... счастья нѣть и между вами, Природы бѣдные сыны, И подъ издранными шатрами Живуть мучительные сны... И всюду страсти роковыя, И отъ судебъ защиты нѣтъ.

Очевидно, такой выводь заключаль мъткую отповъдь проповъдникамъ бъгства въ приволье простой жизни сыновъ природы и въ значительной степени подрывалъ иллюзіи о счастіи среди этихъ сыновъ. Но все-таки Пушкинъ не отказался вполить отъ одной излюбленнъйшихъ и симпатичиъйшихъ грезъ и прежнихъ временъ и XVIII въка, впервые отчетливо въ новой литературъ выраженной Руссо и его продолжателями и продолжаемой другими вплоть до нашихъ дней.

И постепенно эта мысль о счастьи, о возможной близости къ природъ и въ жизни, отличной отъ жизни испорченнаго общества, созръвала все болъе и болъе въ умъ Пушкина и принимала формы, уже не столь эксцентричныя, какъ въ "Цыганахъ", а болъе согласныя съ обычными путями циви-

лизованной жизни, какъ бы въ соотвътствіе тому, что за цыганами

> Не пойдеть ужь их поэть; Онъ бродящіе ночлеги И проказы старины Позабыль для сельской ифги И домашией тишины.

Такая уже болье зрълая форма доброй мечты, мысль о томъ, что лучшее и истинное счастье возможно и въ цивилизованномъ обществъ, но лишь въ жизни, близкой къ природъ и пароду, отчетливо уже выступаетъ въ произведенія, первыя главы котораго были написаны одновременно съ "Цыганами", именно въ "Евгеніи Онъгинъ".

— Дашкевичъ.

Алеко — скиталецъ по родной землъ.

Въ типъ Алеко, героъ поэмы "Цыганы", сказывается уже сильная и глубокая, совершенно русская мысль, выраженная потомъ въ такой гармонической полнотъ въ Опишни, гдъ почти тотъ же Алеко является уже не въ фантастическомъ свътъ, а въ осязаемо-реальномъ и понятномъ видъ. Въ Алеко Пушкинъ уже отыскалъ и геніально отмітилъ того несчастнаго скитальца въ родной землъ, того историческаго русскаго страдальца, столь необходимо явившагося въ оторванномъ отъ народа обществъ нашемъ. Отыскалъ же онъ его, конечно, не у Байрона только. Типъ этотъ върный и схваченъ безошибочно, типъ постоянный и надолго у насъ, въ нашей русской земль, поселившійся. Эти русскіе бездомные скитальцы продолжають и до сихъ поръ свое скитальничество, и еще долго, кажется, не исчезнуть. И если они не ходять уже въ наше время въ цыганскіе таборы искать у цыганъ въ ихъ дикомъ своеобразномъ бытъ своихъ міровыхъ идеаловъ и успокоенія на лонъ природы отъ сбивчивой и нельпой жизни нашего русскаго интеллигентнаго общества, то все равно, ударяются въ соціализмъ, котораго еще не было при Алеко, ходять съ новою върою на другую ниву и работають на ней ревностно, въруя какъ и Алеко, что достигнутъ въ своемъ фантастическомъ дъланін цълей своихъ и счастья не только для себя самого, но и всемірнаго. Пбо русскому скигальцу пеобходимо именно всемірное счастіе, чтобъ успоконться: дешевле опъ не примирится, -- конечно, пока дъло только въ теоріи. Это все тотъ же русскій человъкъ, только въ разное время явившійся. Человѣкъ этотъ, повторяю, зародился какъ разъ въ началъ второго стольтія посль великой Петровскон реформы, въ нашемъ интеллигентномъ обществъ, оторванномъ отъ парода, отъ народной силы. О, огромное большинство интеллигентныхъ русскихъ, и тогда, при Пушкинъ, какъ и теперь, въ наше время, служили и служатъ мирно въ чиновникахъ, въ казиб или на желъзныхъ дорогахъ и банкахъ, или просто наживаютъ разными средствами деньги, или даже и науками занимаются, читають лекцін и все это регулярно, лёниво и мирно, съ полученіемъ жалованья, съ игрой въ преферансъ, безъ всякаго поползновенія бъжать въ цыганскіе таборы или куда-ипбудь въ мъста, болье соотвътствующія нашему времени. Много, много что полиберальничають съ "оттънкомъ европейскаго соціализма", но которому приданъ нъкоторый благодушный русскій характеръ, — но въдь все это вопросъ только времени. Что въ томъ, что одинъ еще и не начиналъ безпоконться, а другой уже успъль дойти до запертой двери и объ нее кръпко стукнулся лбомъ. Встхъ въ свое время то же самое ожидаетъ, если не выйдуть на спасительную дорогу смиреинаго общенія съ народомъ. Да пусть и не всъхъ ожидаетъ это: довольно лишь "избранныхъ", довольно лишь десятой доли забезпокоившихся, чтобъ и остальному огромному большинству не видать чрезъ нихъ покоя. Алеко, конечно, еще не умфетъ правильно высказать тоски своей: у него все это какъ-то еще отвлеченио, у него лишь тоска по природъ, жалоба на свътское общество, міровыя стремленія, плачь о потерянной гдф-то и кфиь-то правдъ, которую онъ никакъ отыскать не можетъ. Тутъ есть пемножко Жанъ-Жака Руссо. Въ чемъ эта правда, гдъ и въ чемъ она могла бы явиться и когда именно она потеряна, конечно, онъ и самъ не скажетъ, но страдаетъ онъ искренно. Фантастическій и нетерпъливый человъкъ жаждетъ спасенія пока лишь преимущественно отъ явленій вижшинхъ; да такъ и быть должно: "правда, дескать, гдв-то вив его, можетъ-быть, гдъ-то въ другихъ земляхъ, европейскихъ, напр., съ ихъ твердымъ историческимъ строемъ, съ ихъ установившеюся общественною и гражданскою жизнью". И викогда-то

онъ не пойметъ, что правда прежде всего впутри его самого, да и какъ понять ему это: онъ въдь въ своей землъ самъ не свой, онъ уже цълымъ въкомъ отученъ отъ труда, не имъетъ культуры, рось какъ институтка въ закрытыхъ ствнахъ, обязанности исполняль странныя и безотчетныя по мфрф принадлежности къ тому или другому изъ четырнадцати классовъ, на которые раздълено образованное русское общество. Онъ пока всего только оторванная, носящаяся по воздуху былинка. II онъ это чувствуеть и этимъ страдаетъ, и часто такъ мучительно! Ну, и что же въ томъ, что принадлежа, можетъ-быть, къ родовому дворянству и даже весьма въроятно, обладая кръпостными людьми, онъ позволилъ себъ, по вольности своего дворянства, маленькую фантазійку прельститься людьми, живущими "безъ закона", и на время сталъ въ цыганскомъ таборъ водить и показывать Мишку? Понятно, женщина, "дикая женщина", по выраженію одного поэта, всего скорѣе могла подать ему надежду на исходъ тоски его, и онъ съ легкомысленною, но странною върой бросается къ Земфиръ: "Вотъ, дескать, гдъ исходъ мой, вотъ гдъ, можетъ-быть, мое счастье, здѣсь, на лонъ природы, далеко отъ свъта, здѣсь, у людей, у которыхъ ифтъ цивилизаціи и законовъ!" ІІ что же оказывается: при первомъ столкновеніи своемъ съ условіями этой дикой природы онъ не выдерживаетъ и обагряетъ свои руки кровью. Не только для міровой гармоніп, но даже и для цыганъ не пригодился несчастный мечтатель, и они выгоняютъ его — безъ отмщенія, безъ злобы, величаво и простодушно.

> Оставь насъ, гордый человѣкъ; Мы дики, нѣтъ у насъ законовъ, Мы не терзаемъ, не казнимъ.

Все это, конечно, фантастично, но "гордый-то человъкъ" реально и мътко схваченъ. Въ первый разъ схваченъ онъ у насъ Пушкинымъ, и это надо запомпить. Именно, именно, чуть не по немъ, и онъ злобно растерзаетъ и казнитъ за свою обиду, или, что даже удобите, вспомнивъ о принадлежности своей къ одному изъ четырнадцати классовъ, самъ возопіетъ, можетъ-быть (ибо случалось и это), къ закону терзающему и казнящему, и призоветъ его, только бы отомщена была личная обида его. Нътъ, эта геніальная поэма не подражаніе! Тутъ уже подсказывается русское ръшеніе вопроса,

"проклятаго вопроса", по народной вфрф и правдф: "Смирись, гордый человъкъ, и прежде всего потрудись на родной нивъ", вотъ это ръшение по народной правдъ и народному разуму. "Не вив тебя правда, а въ тебъ самомъ; найди себя въ себъ, подчини себя себъ, овладъй собой, и узришь правду. Не въ вещахъ эта правда, не виъ тебя и не за моремт гдъ-нибудь, а прежде всего въ твоемъ собственномъ трудъ надъ собою. Побъдишь себя, усмиришь себя, — и станешь свободенъ, какъ никогда и не воображалъ себъ, и начнешь великое дъло, и другихъ свободными сдълаешь, и узришь счастье, ибо наполнится жизнь твоя, и поймешь, наконецъ, народъ свой и святую правду его. Не у цыганъ и нигдъ міровая гармонія, если ты первый самъ ея недостоинъ, злобенъ и гордъ, и требуешь жизни даромъ, даже и не предполагая, что за нсе надобно заплатить". Это ръшение вопроса въ поэмъ Пушкина уже Достоевскій. сильно подсказано.

"Полтава".

Отдъльныя красоты въ "Полтавъ" изумительны. Не знаешь, на чемъ остановиться, — такъ много ихъ. Почти каждое мъсто, отдъльно взятое наудачу изъ этой поэмы, есть образецъ высокаго художественнаго мастерства. Не будемъ вычислять всбхъ этихъ мъстъ, и укажемъ только на ивкоторыя. Хотя казакъ, влюбленный въ Марію, и есть лицо лишнее, введенное въ поэму для эффекта, тъмъ не менъе его изображеніе (отъ стиха: "Между полтавскихъ казаковъ" до стиха: "И взоры въ землю опускалъ") представляетъ собою необыкновенно мастерскую картину. Следующій затемь отрывокъ отъ стиха: "Кто при звъздахъ и при лунъ" до стиха: "Царю Петру отъ Кочубея" выше всякой похвалы: это вмъстъ и народная пъсня и художественное созданіе. Кочубей, ожидающій въ теминцъ своей казни, его разговоръ съ Ордикомъ (за исключеніемъ того, что говорить самъ Орликъ), — все это начертано кистью столь широкою, могучею и въ то же время спокойною и увъренною, что читатель не знаетъ, чему дивиться: мрачности ли ужасной картины, или ея эстетической прелести. Можно ли читать безъ упоенія, столь же полнаго грусти, сколько и наслажденія, эти стихи:

Тиха украниская ночь. Прозрачно небо. Звъзды блещуть. Своей дремоты превозмочь Не хочеть воздухъ. Чуть трепещуть Сребристыхъ тополей листы. Луна спокойно съ высоты Надъ Бѣлой-Церковью сіяеть, И пышныхъ гетмановъ сады II старый замокъ озаряеть. II тихо, тихо все кругомъ; Но въ замкъ шопотъ и смятенье. Въ одной изъ башенъ, подъ окномъ, Въ глубокомъ, тяжкомъ размышлены, Окованъ, Кочубей сидитъ II мрачно на небо глядить. Заутра казнь. Но безъ боязни Онъ мыслить объ ужасной казпи; И жизни не жалфетъ онъ. Что смерть ему? желанный сонъ. Готовъ опъ лечь во гробъ кровавый. Дрема долить. Но, Боже правый! Къ ногамъ злодъя, молча, пасть Какъ безсловесное созданье, Царемь быть отдану во власть Врагу паря на поруганье, Утратить жизнь — и съ нею честь, Друзей съ собой па плаху весть, Падъ гробомъ слышать ихъ проклятья, Ложась безвиннымъ подъ топоръ, Врага весслый встрътить взоръ, И смерти кинуться въ объятья, Пе завъщая инкому Вражды къ злодъю своему!... II вспомнилъ онъ свою Полтаву, Обычный кругь семьи, друзей, Минувшихъ дней богатство, славу, И пъсни дочери своей, И старый домъ, гдв онъ родился, Гдѣ зналъ и трудъ и мирный сонъ, II все, чёмь въ жизни насладился, Что добровольно бросиль онъ, II для чего? —

Отвътъ Кочубея Орлику на допросъ послъдпяго о зарытыхъ кладахъ былъ расхваленъ даже присяжными хулителями "Полтавы", и потому мы не говоримъ о немъ. Кочубея пытаютъ, а Магена възго время сидитъ у потъ спящей дочери мученика и думаетъ:

Ахъ, вижу я: кому судьбою Волиенья жизни суждены, Тоть стой одинъ передъ грозою, Не призывай къ себъ жены: Въ одну телъгу впрячь не можно Коня и трепетную лань. Забылся я неосторожно— Теперь плачу безумства дань...

Въ тоскъ страшныхъ угрызеній совѣсти, злодъй сходить въ садъ, чтобы освѣжить пылающую кровь свою, — и обаятельная роскошь лътней малороссійской ночи, въ контрастъ съ мрачными душевными муками Мазепы, блещеть и сверкаетъ какою-то страшно-фантастической красотой:

Тиха украпнская почь. Прозрачно небо. Звъзды блещутъ. Своей дремоты превозмочь Не хочеть воздухь. Чуть трепещуть Сребристыхъ тополей листы. По мрачны странныя мечты Въ душъ Мазепы: звъзды ночи, Какъ обвинительныя очи, За нимъ насмъщливо глядять. 11 тополя, стаснившись въ рядъ, Качая тихо головою, Какъ судьи шепчуть межъ собою, И лътней теплой ночи тьма Душна, какъ черная тюрьма. Вдругъ... слабый крикъ... невнятный стонъ Какъ бы изъ замка слышить онъ. То быль ли сонь воображенья, Иль плачъ совы, иль звфря вой, Иль пытки стонъ, иль звукъ иной — Но только своего волненья Преодольть не могь старикь, И на протяжный, слабый крикъ Другимъ отвътствовалъ — тъмъ крикомъ, Которымъ онъ въ весельи дикомъ Поля сраженья оглашаль, Когда съ Забѣлой, съ Гамалѣемъ И — съ нимъ... и съ этимъ Кочубеемъ Онъ въ бранномъ пламени скакалъ.

Скажите: какъ, какимъ языкомъ хвалить такія черты и отрывки высокаго художества? Правду говорять, что хвалить мудренье, чьмъ бранить! Чтобы быть достойнымъ критикомъ

такихъ стиховъ, надо самому быть поэтомъ – и еще какимъ! II потому мы, въ сознаніи нашего безсилія, скажемъ убогою прозой, что, если эта картина мученій совъсти Мазены можетъ подозрительному уму показаться ифсколько мелодраматическою выходкой (по той причинъ, что Мазенъ, какъ закоренѣлому злодѣю, такъ же было не къ лицу содрогаться отъ воплей терзаемой имъ жертвы, какъ и красивть, подобио юношъ, отъ привъта красоты), — то мастерство, съ которымъ выражены эти мученія, выше всякихъ похваль и утомляеть собою всякое удивленіе. Сцена между женою Кочубея и ея дочерью замъчательно хороша по роли, какую играетъ въ ней Марія. Вопросъ изумленной, еще не очнувшейся отъ сна женщины, которая почти понимаеть и въ то же время страшится понять ужасный смыслъ внезапнаго явленія матери, этоть вопросъ: "Какой отецъ? какая казнь?", равно какъ и всв вопросительные и восклицательные отвъты, — исполненъ драматизма. Картина казни Кочубея и Искры отличаются простотою и спокойствіемъ, которыя, въ соединеніи съ ея страшною върностью дъйствительности, производили бы на душу читателя невыносимое, подавляющее впечатлъніе, если бъ творческое вдохновеніе поэта не ознаменовало ее печатью изящества. Этотъ палачъ, который, гуляя и веселясь на роковомъ помостъ, адчно ждетъ жертвы и то, играючи, беретъ въ бълыя руки тяжелый топоръ, то шутить съ веселою чернью, - и этотъ безпечный пародъ, который, по совершении казни, пдетъ домой, толкуя межъ собою про свои въчныя работы: какая глубоко истинная, хотя въ то же время и безотрадно тяжелая мысль во всемъ этомъ!

Но что всё эти разсвянныя богатою рукой поэта красоты — передъ красотами третьей пёсни! И не удивительно: паносъ этой третьей пёсни устремленъ на предметъ колоссально-великій... Тутъ мы видимъ Петра и полтавскую битву... Мастерскою кистью изобразилъ поэтъ преступные, мрачные помыслы, кипъвшіе въ душт Мазепы; его притворную болтань и внезапный переходъ съ одра смерти на поприще властительства; гитвъ Петра, его сильныя и быстрыя мтры къ удержанію Малороссіи... Какъ прекрасно это поэтическое обращеніе поэта къ Карлу XII:

И ты, любовникъ бранной славы, Для шлема кинувшій вѣнецъ,

Твой близокъ день, — ты валъ Полтавы Вдали завидълъ наконецъ.

Картина полтавской битвы начертана кистью широкою и смѣлою; она исполнена жизни и движенія: живописець могь бы
писать съ пея, какъ съ натуры. Но явленіе Петра въ этой
картинѣ, изображенное огненными красками, поражаетъ читателя, говоря собственными словами Пушкина, быстрымъ холодомъ вдохновенія, подымающимъ волосы на головѣ, — производитъ на него такое впечатлѣніе, какъ будто бы онъ видитъ
передъ глазами совершеніе какого-нибудь таниства, какъ будто
иѣкій богъ, въ лучахъ нестерпимой для взоровъ смертнаго
славы, проходитъ передъ нимъ, окруженный громами и молніями...

Тогда-то, свыше вдохновенный, Раздался звучный гласъ Петра: "За дѣло, съ Богомъ!" Изъ шатра, Толпой любимцевъ окруженный, Выходить Петръ. Его глаза Сіяють. Ликъ его ужасень. Движенья быстры. Онъ прекрасенъ, Опъ весь, какъ Божія гроза. Идеть. Ему коня подводять. Ретивъ и смиренъ върный конь. Почуя роковой огонь, Дрожить, глазами косо водить, И мчится въ прахѣ боевомъ, Гордясь могучимъ съдокомъ. Ужь близокь полдень. Жарь пылаеть Какъ пахарь, битва отдыхаеть. Кой-гдѣ гарцують казаки; Ровняясь, строятся полки; Молчить музыка боевая; На холмахъ пушки, присмиръвъ, Прервали свой голодный ревъ; И се — равнину оглашая, Далече грянуло ура: Полки увидъли Петра. II онъ промчался предъ полками, Могущъ и радостепъ какъ бой. Онъ поле пожиралъ очами. За нимъ воследъ неслись толпой Сіп птенцы гитзда Петрова — Въ премѣнахъ жребія земного; Въ трудахъ державства и войны Его товарищи, сыны:

И Шереметевъ благородный, И Брюсъ, и Боуръ, и Рѣпиинъ, И счастья баловень безродный, Полудержавный властелинъ.

Представьте себъ великаго творческаго генія, который столько летъ носиль и лелеяль въ душе своей замыслы преобразованія целаго народа, который столько трудился, въ поте царственнаго чела своего, - представьте его въ ту рфшительную минуту, когда онъ начинаетъ видеть, что его тяжба съ въками, его гигантская борьба съ самою природой, съ самою возможностью готова увънчаться полнымъ успъхомъ, — представьте себъ его преображенное, сіяющее побъднымъ торжествомъ лицо, если только ваша фантазія довольно сильна для такого представленія, — и вы будете видъть передъ собою живую картину, начертанную Пушкинымъ въ стихахъ, которые сейчасъ прочли... Да, въ этомъ случав живописи стоило бы побороться съ поэзіею, — и великій живописецъ могъ бы за честь себъ поставить перевести на полотно въ живыхъ краскахъ, живые стихи Пушкина, чтобы решить задачу, какъ воспользуется живопись предметомъ, столь мастерски выраженнымъ поэзіею. Тутъ задача живописца состояла бы уже не въ творчествъ, а только въ творчески свободномъ переводъ одного и того же предмета съ языка поэзін на языкъ живописи, чтобы сравнительно показать средства и способы того и другого искусства. Повторяемъ: тутъ живописцу нечего изобръть — для него готовы и группы, и подробности, и лицо Петра -- эта главивйшая задача всей картины. Полтавская битва была не простое сраженіе, замвчательное по огромности военныхъ силъ, по упорству сражающихся и количеству пролитой крови: пътъ, это была битва за существование цълаго народа за будущность цълаго государства, это была повърка дъйствительности замысловъ столь великихъ, что въроятно, они самому Петру, въ горькія минуты неудачь п разочарованія, казались несбыточными, какъ и почти всемъ его подданнымъ. И потому на лицъ послъдняго солдата должна выражаться безсознательная мысль, что совершается что-то великое, и что опъ самъ есть одно изъ орудій совершенія...

Но этимъ еще не оканчивается ведикая картина: это только главная часть ея; въ отдаленіи поэтъ показываетъ другую часть, меньшую, но безъ которой картина его не имъла бы полноты:

П передъ синими рядами
Своихъ воинственныхъ дружинъ,
Иесомый върными слугами,
Въ качалкъ, блъденъ, недвижимъ,
Страдая раной, Карлъ явился.
Вожди героя шли за нимъ.
Онъ въ думу тихо погрузился.
Смущенный взоръ изобразилъ
Необычайное волненье:
Казалось, Карла приводилъ
Желанный бой въ недоумънье...
Вдругъ слабымъ маніемъ руки
На русскихъ двинулъ онъ полки.

Въ подробностяхъ битвы особенно замъчателенъ эпизодъ о волнении дряхлаго и уже безсильнаго Палъя, завидъвшаго врага своего, Maseny.

Картина битвы заключается еще картиною, съ которою тоже за честь бы могъ поставить себъ побороться великій живописецъ:

Пируетъ Петръ. И гордъ, и ясенъ, И полонъ славы взоръ его. И царскій пиръ его прекрасенъ: При кликахъ войска своего, Въ шатръ своемъ онъ угощаетъ Своихъ вождей, вождей чужихъ, И славныхъ плънниковъ ласкаетъ, И за учителей своихъ Заздравный кубокъ поднимаетъ.

Теперь намъ остается говорить о дивно-прекрасныхъ подробностяхъ еще цѣлой части поэмы, паюсъ которой составляетъ любовь Марін къ Мазепѣ. Вся эта часть поэмы есть какъ бы поэма въ поэмѣ, и ея, конечно, стало бы на особую отдѣльную поэму.

Въ историческомъ фактъ любви Мазепы и Маріи Пушкинъ воспользовался только идеею любви старика къ молодой дъвушкъ и молодой дъвушки къ старику. Въ подробностяхъ и даже въ изображеніи дочери Кочубея онъ отступаль отъ исторіи. Поэтому весь этотъ фактъ опъ опредълялъ по своему идеалу, — и дочь Кочубея является у него совершенно идеализированною. Онъ перемънилъ даже ея имя — Матроны на Марію. Когда Матрона убъжала къ старому гетману, — опъ, боясь соблазна и толковъ, переслалъ ее въ родительскій домъ,

гдъ мать Матроны катовала (палачила, истязала, съкла) ее. Но это, какъ естественно, только еще больше раздражало эпергію страсти бъдной дъвушки. Мазепа любилъ ее, писалъ къ ней страстныя письма, но въ отношеніи къ ней не принялъ никакого твердаго ръшенія: то умолялъ о свиданіяхъ, то совътовалъ итти въ монастырь.

Какъ бы то ни было, по основаніе, сущность отношеній Мазепы и Маріи въ поэмѣ Пушкина — историческія и еще болѣе истинныя — поэтически, и Пушкинъ умѣлъ ими воспользоваться, какъ истинно великій поэтъ, хотя онъ ихъ и идеализировалъ по-своему.

Не только первый пухь ланить, Да русы кудри молодыя, — Порой и старца строгій видь, Рубцы чела, власы сѣдые Въ воображенье красоты Влагають страстныя мечты.

Подобное явленіе редко, но темь не менее действительно. Возможность его заключается въ законахъ человъческого духа, и потому по редкости его можно находить удивительнымъ, но нельзя находить неестественнымъ. Самая обыкновенная женщина видитъ въ мужчинъ своего защитника и покровителя: отдаваясь ему - сознательно или безсознательно, но во всякомъ случав она дълаетъ обмвнъ красоты или прелести на силу и мужество. Послъ этого очень естественно, если бывають женскія натуры, которыя, будучи исполнены страстей и энтузіазма, до безумія увлекаются нравственнымъ могуществомъ мужчины, украшеннымъ властью и славою, - увлекаются имъ, безъ соображенія неравенства льтъ. Для такой женщины самыя съдины прекрасны, и чъмъ круче нравъ старика, тъмъ за большее счастіе и честь для себя считаеть она, вдіяніемъ своей красоты и своей любви, укрощать его порывы, дълать его ровнъе и мягче. Само безобразіе этого старика красота въ глазахъ ея. Вотъ почему кроткая, робкая Дездемона такъ баззавътно отдалась старому воину, суровому мавру — великому Отелло. Въ Маріи Пушкина это еще понятиње: ибо Марія, при всей непосредственности и неразвитости ел сознанія, одарена характеромъ гордымъ, твердымъ, ръпштельнымъ. Она была бы достойна слить свою судьбу не съ такимъ злодвемъ, какъ Мазепа, но съ героемъ въ истинномъ значеніи этого слова. П какъ бы ни велика была разница ихъ лѣтъ, — ихъ союзъ былъ бы самый естественный, самый разумный. Ошибка Маріи состояла въ томъ, что она въ душѣ, готовой на все злое для достиженія своихъ цѣлей, думала увидѣть душу великую, дерзость безнравственности приняла за могущество героизма. Эта ошибка была ея несчастіемъ, но не виною: Марія, какъ женщина, велика въ этой ошибкѣ. На этомъ основаніи намъ понятна ея любовь, понятно —

Зачемь бежала своенравно Она семейственныхъ оковъ, Томилась тайно, воздыхала, II на привѣты жениховъ Молчаньемъ гордымъ отвъчала; Зачемъ такъ тихо за столомъ Она лишь гетману внимала, Когда бесъда ликовала И чаша пѣнилась виномъ; Зачемъ она всегда певала Тѣ пѣсни, кои онъ слагалъ, Когда онъ бъденъ былъ и малъ, Когда молва его не знала; Зачьмъ съ неженскою душой Она любила конный строй, И бранный звонъ литавръ и клики Предъ бунчукомъ и булавой Малороссійскаго владыки...

Нельзя довольно надивиться богатству и роскоши красокъ, которыми изобразиль поэть страстную и грандіозную любовь этой женщины. Здёсь Пушкинъ, какъ поэть, вознесся на высоту, доступную только художникамъ первой величины. Глубоко вонзиль онъ свой художническій взоръ въ тайну великаго женскаго сердца, и ввель насъ въ его святилище, чтобы внёшнее сдёлать для насъ выраженіемъ внутренняго, въ фактё дъйствительности открыть общій законъ, въ явленіи — мысль...

Марія, бѣдная Марія, Краса черкасскихъ дочерей! Не знаешь ты, какого змія Ласкаешь на груди своей. Какой же властью непонятной Къ душѣ свирѣпой и развратной Такъ сильно ты привлечена? Кому ты въ жертву отдана? Его кудрявыя съдины, Его глубокія морщины, Его блестящій, впалый взоръ Его лукавый разговоръ Тебъ всего, всего дороже: Ты мать забыть для нихъ могла. Своими чудными очами Тебя старикъ заворожилъ, Своими тихими ръчами Въ тебъ онъ совъсть усыпилъ Ты на него съ благоговъньемъ. Возводишь ослъпленный взоръ, Его лелъешь съ умиленьемъ — Тебъ пріятенъ твой позоръ.

Но въ такой великой натуръ любовь можетъ быть только преобладающею страстью, которая въ выборъ не допускаетъ никакого совмъстничества, даже никакого колебанія, но которая не заглушаетъ въ душъ другихъ нравственныхъ привязанностей. И потому блаженство любви не отнимаєтъ въ сердцъ Марін мъста для грустнаго и тревожнаго воспоминанія объ отцъ и матери.

И дней невинныхъ ей не жаль, И душу ей одна печаль Порой, какъ туча, затмеваеть; Она унылыхъ предъ собой Отца и мать воображаеть; Она, сквозь слезы, видить ихъ Въ бездѣтной старости однихъ, И, мнится, пенямъ ихъ внимаеть... О, если бъ вѣдала она, Что ужъ узнала вся Украйна! Но отъ нея сохранена Еще убійственная тайна.

Намъ скажутъ, что въ дъйствительности это было не такъ, ибо Матрона ненавидъла своихъ родителей и клядась въчно "любыты и сердечне кохаты Мазепу на злость ея ворогамз". Но въдь въ дъйствительности-то родители Матроны катовали ее. Понятно, почему Пушкинъ ръшился поэтически отступить отъ "такой" дъйствительности...

Но нигдъ личность Марін не возвышается въ поэмъ Пушкина до такой аповеозы, какъ въ сцепъ ея объясненія съ Мазепою — сценъ, написанной истинно Шекспировскою кистью. Когда Мазепа, чтобы разсвять ревинвыя подозрвнія Маріи, принуждень быль открыть ей свои дерзкіе замыслы, она все забываеть: пвть больше сомпвній, пвть безнокойства; мало того, что она вврить ему, вврить, что онь не обманываеть ея: она вврить, что онь не обманывается и въ своихъ надеждахъ... Ел ли женскому уму, воспитанному въ затворничествь, обреченному на отчужденіе отъ двйствительной жизни, ей ли знать, какъ онасны такія стремленія и чвмъ оканчиваются они! Она знаеть одно, вврить одному, — что онъ, ея возлюбленный, такт мощит, что не можеть не достичь всего, чего бы только ни захотьть. Блескъ короны на свдыхъ кудряхъ любовника уже ослыпиль ел очи, — и она восклицаеть съ уввренностью дитяти, сильнаго и разумнаго одною любовью, но незнаніемъ жизни:

О милый мой, Ты будешь царь земли родной! Твоимъ съдинамъ какъ пристанетъ Корона царская!

Вникните во всю эту сцену, разберите въ ней всякую подробность, взвъсьте каждое слово: какая глубина, какая истина и, вмъстъ съ тъмъ, какая простота! Этотъ отвътъ Маріи: "Я! люблю ли?", это желаніе уклониться отъ отвъта на вопросъ, уже ръшенный ея сердцемъ, но все еще страшный для нея — кто ей дороже: любовникъ или отецъ, и кого изънихъ принесла бы она въ жертву для спасенія другого, — и потомъ ръшительный отвътъ при видъ гиъва любовника... какъ все это драматически, и сколько тутъ знанія женскаго сердца!

Явленіе сумасшедшей Маріп, неумѣстное въ ходѣ поэмы и даже мелодраматическое, какъ средство испугать совѣсть Мазены, — превосходно, какъ дополненіе портрета этой женщины. Послѣднія слова ея безумной рѣчи исполнены столько же трагическаго ужаса, сколько и глубокаго психологическаго смысла:

Пойдемъ домой. Скорѣй... ужъ поздно... Ахъ, вижу, голова моя Полна волненія пустого: Я принимала за другого Тебя, старикъ. Оставь меня! Твой взоръ насмѣшливъ и ужасенъ. Ты безобразенъ. Онъ прекрасенъ: Въ его глазахъ блеститъ любовь, Въ его рѣчахъ такая нѣга! Его усы бѣлѣе снѣга, А на твоихъ засохла кровь...

Творческая кисть Пушкина нарисовала намъ не одинъ женскій портретъ, но ничего лучше не создала она лица Маріи. Что передъ нею эта препрославленная и столько восхищавшая всёхъ и теперь еще многихъ восхищающая Татьяна, — это смѣшеніе деревенской мечтательности съ городскимъ благоразуміемъ?...

"Полтава" принадлежить къ числу превосходивйшихъ твореній Пушкина не по одному лицу Маріи. Лишенная единства и мысли плана, а потому недостаточная и слабая въ цъдомъ, поэма эта есть великое произведение по ея частностямъ. Она заключаетъ въ себъ нъсколько поэмъ, и по тому самому не составляетъ одной поэмы. Богатство ея содержанія не могло высказаться въ одномъ сочиненіи, и она распалась отъ тяжести этого богатства. Третья пъснь ея сама по себъ есть пъчто особенное, отдъльная поэма въ эпическомъ родъ. Но изъ нея нельзя было сдълать эпической поэмы: если бы поэтъ и далъ ей общирнъйшій объемъ, она и тогда осталась бы рядомъ превосходивнинхъ картинъ, но не поэмою. Чувствуя это, поэтъ хотъль связать ее съ исторіею любви, имъющею драматическій интересъ, но эта связь не могда не выйти чисто вижинею. И вся эта разрозненность выразилась въ эпилогф, въ которомъ поэть говорить сперва о гордыхъ и сильныхъ людяхъ того въка, потомъ о Петръ Великомъ, далъе — о Карлъ XII, о Мазепъ, о Кочубев съ Искрою, и оканчиваетъ все это Маріею... Несмотря на то, что "Полтава" была великимъ шагомъ впередъ со стороны Пушкина, какъ архитектурное зданіе, она не поражаетъ общимъ впечатлъніемъ, нътъ въ ней шикакого преобладающаго элемента, къ которому бы всъ другіе относились гармонически; но каждая часть въ отдъльности есть превосходное художественное произведение. И никогда уже до того времени нашъ поэтъ не употреблялъ такихъ драгоцънныхъ матеріаловъ на свои зданія, никогда не отдёлываль ихъ съ большимъ художественнымъ совершенствомъ. Сколько простоты и энергін въ его стихъ! Какая живая соотвътственность между содержаніемъ и колоритомъ языка, которымъ оно передано! Есть что-то оригинальное, самобытное, чисто русское бъл тонф разсказа, въ духф и оборотф выраженій! И между тъмъ, какъ дурно была принята эта поэма! Одинъ критикъ, желая высказать посильное свое остроуміе, назвалъ палача бълоручкою, а всю картину казни — отвратительною! Вотъ ужъ подлинно бълоручка! Другой посмфялся, какъ надъ нелфностью, падъ любовью старика Мазепы къ молодой дфвушкф. Третій доказывалъ, что всф дфйствующія лица "Полтавы" карикатурны, на основаніи отзывовъ Мазепы о Карлф XII и Петрф Великомъ!... И все это тогда читалось; многіе даже вфрили дфльности такихъ отзывовъ!... Бълшискій.

Происхожденіе "Полтавы" и ея построеніе.

"Прочитавъ въ первый разъ стихи:

...Жену страдальца Кочубея II обольщенную имъ дочь 1)"

писалъ Пушкинъ, "я изумился, какъ могъ поэтъ пройти мимо столь страшнаго обстоятельства. Обременять вымышленными ужасами историческіе характеры — и не мудрено и не великодушно; клевета и въ поэмахъ казалась мнѣ непохвальною: но въ описаніи Мазены пропустить столь разительную черту было непростительно. Однако жъ какой отвратительный предметъ! Ни одного добраго благосклоннаго чувства, ни одной утѣшительной черты! Соблазнъ, вражда, измѣна, лукавство, малодушіе, свирѣпость... Спльные характеры и глубокая трагическая тѣнь, набросанная на всѣ эти ужасы — вотъ что увлекло меня. "Полтаву" написалъ я въ нѣсколько дней, долѣе не могъбы ею заниматься и бросилъ бы все".

Этимъ признаніемъ самого автора объясняется важнѣйшее въ созданіи "Полтавы"; тѣ обстоятельства, при которыхъ возникла первая мысль написать поэму, рѣшаютъ форму этого произведенія и, какъ увидимъ ниже, наложили неизгладимую печать на самое содержаніе.

¹⁾ Въ поэмъ "Войнаровскій".

В. Попровскій. А. С. Пушкинь.

Форма опредълялась тъмъ произведеніемъ, которое вызвало Пушкина на творчество. "Подтава" не возникла постепенно въ глубинъ души его, вслъдствіе долгихъ и многостороннихъ подготовительныхъ занятій, какъ-то, напримъръ, было при созданіи "Бориса Годунова". Содержаніе поэмы не было заранъе обдумано въ цъломъ: Пушкинъ принялся сразу за портретъ героини и за изображение страсти Мазепы. Только раздълавшись съ "увлекшими его" обстоятельствами, онъ наскоро набрасываетъ программу: "Портретъ Мазепы; его ненависть; его замыслы; его сношенія съ Петромъ и Карломъ; его хитрость.... ночи". Только мало-по-малу трагическая судьба обоихъ лицъ втянула его въ историческое повъствование. Черезъ 4 страницы послъ первой программы является потребность въ продолженін ея. ІІ здёсь все еще на первомъ плані — геропня. Вотъ это продолжение программы: "Марія Чуйкевичъ; допосъ; ночь передъ казнію; мать и Марія; казнь; сумасшествіе; измѣна; Полтава"...

Измъна героя, согласно исторической роли его, привела фантазію поэта къ другому предмету, который всплыль передънимь во всемь величіи своемь послѣ того, какъ поэть удовлетвориль первому увлеченію своего замысла. Источники, которыми пользовался Пушкинь при написаніи поэмы, дълали также свое дѣло. Вчитываясь въ нихъ спачала съ цѣлію уловить черты лицъ, возбудившихъ его замыселъ, поэтъ невольно былъ охватываемъ судьбою новаго лица, — великаго Царя, неоднократно его увлекавшаго и прежде, а съ пимъ — и судьбою государства. Повѣсть о личныхъ страстяхъ превратилась въ картину государственнаго событія; романическая поэма — въ поэму героическую, поэма о Маріи — въ "Полтаву".

Отеюда двойственность этой поэмы, замѣченная критиками-Быстро, заразъ написанная поэма, первая пѣснь которой окончена 3 октября, вторая — 9-го, а послѣдняя — 16-го, начатая какъ восполненіе непростительнаго пропуска "разительной черты" Мазепы со стороны автора "Войнаровскаго", зародилась въ фантазін поэта поправкою и явилась вначаль какъ бы попыткою только распространить эпизодъ поэмы "Войнаровскаго".

Поэма эта представляетъ сына родной сестры Мазепы — Воинаровскаго — въ концъ его жизни, въ ссылкъ, на берегу Лены. Академикъ Миллеръ во время своего ученаго путеше-

ствія по Сибири случанно посъщаєть его, и Вонпаровскій разсказываєть ему, кто онъ и какъ судьба забросила его вь ссылку. Счастливый мужъ и отецъ, ласкаемый могущественнымъ дядей, наслаждался Войнаровскій въ мирной тишинъ родной Украйны. Но Мазепа замыслилъ измѣну.

Однажды позднею порою
Онъ въ свой дворець меня призвалъ
Вхожу — и слышу: "Я желалъ
Давно бестдовать съ тобою...
...Но къ тайнт приступить пора:
Я чту великаго Петра.
Но — покоряяся судьбинт —
Узнай: я врагъ ему отнышт!"

Войнаровскій разсказываеть Миллеру свое участіє въ роковой войнь:

Летая за гремящей славой, Я жизни юной не щадиль; Я степи кровью обагриль, И свой булать въ войнъ кровавой О кости русскихъ притупиль.

Мазепа съ съвернымъ героемъ
Давалъ въ Украйнъ бой за боемъ.
Дымились кровію поля.
Тъла разбросанныя гнили,
Ихъ псы п волки теребили;
Казалась трупомъ вся земля!
Но всъ усилья тщетны были:
Ихъ умъ Петровъ преодольль;
Часъ битвы роковой приспълъ—
И мы отчизну погубили!
Полтавскій громъ загрохоталь...
Но въ грозной битвъ Карлъ свиръпый Противъ Петра не устоялъ.
Разбить, впервые онъ бъжалъ;
Вослъдъ ему — и мы съ Мазепой.

Почти безъ отдыха пять дней Бѣжали мы среди степей, Бояся вражеской погони; Уже измученные кони Служить отказывались памъ. Дрожа отъ стужи по ночамъ. Изнемогая въ день отъ зноя, Едва сидѣли мы верхомъ...

Они остановились въ лѣсу на отдыхъ. Въ это время Мазена впадаетъ въ недугъ. Въ бреду, бросая кругомъ взгляды, старый гетманъ звалъ Войнаровскаго, Орлика... Ему грезились Кочубей и Искра на плахѣ, ихъ покатившіяся головы... то чудился ему грозный Петръ и храмъ, въ которомъ раздается проклятіе.

То трепеща и цѣпенѣя, Онъ часто зрѣлъ въ глухую ночь Жену страдальца Кочубея И обольщенную имъ дочь.

Черезъ нъсколько дней Мазепа умеръ. Войпаровскій свой разсказъ академику оканчиваетъ повъстью о дальнъйшей судьбъ своей: какъ опостыльли ему Бендеры, и онъ покинулъ ихъ; былъ схваченъ и сосланъ въ ту глухую сторону, гдъ долго тосковалъ о родинъ и дорогой женъ. Однажды, бродя по берегу Лены, онъ встрътилъ ее, пришедшую искать мужа. Но счастіе ихъ было педолго: давно закравшійся недугь свелъ ее въ могилу. Поэма оканчивается послъднимъ пріъздомъ къ ссыльному Миллера, который спъшилъ сообщить ему радостную въсть о его помилованіи, но засталъ его уже умершимъ.

Къ поэмъ были приложены краткія жизнеописанія Мазепы и Войнаровскаго и историческія примъчанія. Безличная фигура Мазепы, искаженная въ этой сентиментальной и мелодраматической поэмъ, настолько не удовлетворила Пушкина, что онъ ръшился самъ воспроизвести Мазепу, задътый за живое.

Кромъ "Исторін Карла XII" и "Исторін Петра Великаго" Вольтера, ІІІ и ІV части "Дъяній Петра Великаго" Голикова, ІІІ часть "Исторін Малой Россін" Д. Бантыша-Каменскаго (М. 4 части, въ тип. Селивановскаго 1822 г.) и "Журналъ, или поденная записка блаж. памяти Государя Императора Петра Великаго", собранный кн. М. Щербатовымъ (1770—1772) — были болъе, нежели достаточны для цълей Пушкина.

Начиная свою поэму исключительно съ интересомъ къ драматическому положенію дочери Кочубея и Мазепы, Пушкинъ, очевидно, не придаваль значенія ни хронологической вѣроятности ни дѣйствительнымъ біографическимъ фактамъ предшествующей жизни Мазепы; не смотрълъ и на героиню, какъ на лицо, върное свидътельствамъ исторіи, замънивъ имя дочери Кочубея Матрены болъе романическимъ именемъ Маріи. Когда же установленное поэтомъ драматическое положеніе обоихъ лицъ потребовало опоры на историческомъ фактъ — доносъ Кочубея и его послъдствіяхъ — и Пушкинъ ръшился принять на себя обязательства поэмы исторической: тогда неизбъжно онъ долженъ былъ связать все написанное въ началъ съ данными послъдующихъ историческихъ событій. Это огразилось во-1хъ, на объясненіи побужденія Мазепы къ измънъ, и во 2-хъ, на продолженіи отношеній его къ дочери Кочубея до конца поприща.

Исторія въ лицъ Өеофана Прокоповича (въ пересказъ Бантыша-Каменскаго) и Голикова указывала побудительной причиною измъны Мазепы — любовь его къ княгинъ Дульской (родственницы кородя польскаго Станислава Лещинскаго), и для полученія ея руки — согласіе привесть Малороссію въ подданство польское при условін быть гетманомъ объихъ сторонъ Давпра и владътельнымъ княземъ Свверскимъ (или Полоцкимъ и Витебскимъ); исторія же въ лицъ иностранныхъ, особенно польскихъ писателей (у Бантыша-Каменскаго и Голикова) побужденіемъ къ измѣнѣ указывала намѣреніе Мазепы доставить своооду утвененной Украйнв. Первое мывніе историковъ Пушкинъ не могъ принять уже потому, что распространилъ отношенія Мазепы къ дочери Кочубея на все время его участія въ войнѣ Петра В. съ Карломъ XII, до бѣгства въ Бендеры, во время котораго является ему сумасшедшая Марія. Княгиня Дульская у Пушкина является лишь въ числъ агентовъ въ сношеніяхъ Мазепы съ королемъ польскимъ. Второе митніе историковъ Пушкинъ приняль во вниманіе, обставивъ Мазепу волненіемъ Украйны противъ русскаго Царя и рисуя это волненіе красками даже болье яркими, нежели то предлагали русскіе историки-патріоты, которымъ Пушкинъ следоваль. Но въ основу измены Мазепы Пушкинъ положилъ личное мщение его Петру, оскорбившему его однажды въ ставкъ подъ Азовомъ. Такое побуждение не противоръчило тому характеру Мазепы, какой сложился въ фантазін Пушкина согласно его историческимъ источникамъ, но честолюбіе и властолюбіе Мазепы у Пушкина визведено до размѣровъ едва замътныхъ; корыстолюбіе же, на которое указывали историческіе источники Пушкина, исключено имъ совстмъ.

Послъднею данью романтическому замыслу въ исторической части поэмы у Пушкина является юный казакъ, влюбленный безнадежно въ Марію. Судя по черновой программѣ, Пушкинъ замѣнилъ этимъ лицомъ историческое лицо — сына генеральнаго судьи Чуйкевича, который, по свидътельству историковъ, женился на Матренѣ. Влюбленный казакъ, какъ посланецъ съ доносомъ, соотвѣтствуетъ у Пушкина также двумъ посланцамъ съ доносомъ Кочубея, указаннымъ у Бантышъ-Каменскаго.

Что касается конечной судьбы дочери Кочубея, то Пушкинь могь считать себя въ полномъ правъ создать вымысель, помимо историческихъ данныхъ, какъ скоро устранилъ и замужество, и другіе факты жизни Матрены. Эта судьба указана у Бантышъ-Каменскаго слъдующимъ краткимъ извъстіемъ: "Чуйкевичъ, Максимовичъ, Зеленскій, Покатило, Гамалъя и писарь Григорьевъ находились при Мазент во время Полтавскаго сраженія. Изъ нихъ первый постригся въ монахи въ Сибири, а жена его удалилась въ монастырь въ Малороссіи" (И. М. Р., прим. 166, стр. 50). Сумасшествіе Маріи является какъ нельзя болье согласнымъ съ ттыть трагическимъ положеніемъ, въ которое поставиль ее поэтъ, и съ ттыть характеромъ, какимъ надълиль онъ ее.

Ноэтическія цели Пушкина во многомъ упростили и те такты, которые согласны съ исторіей: пытке после доноса, по поэме, подвергнуты только Кочубей и Искра, и лишь одинъ разъ, тогда какъ въ исторіи этой пытке подвергнуты многія лица и не одинъ разъ; самыхъ допосовъ Кочубея Петру Бантышъ-Каменскій указываетъ два; не вводя повыхъ лицъ въ действія поэмы. Пушкинъ распорядителемъ допроса Кочубею и его пытки выводитъ Орлика вместо министровъ Шафирова и Головкина (П. М. Р. III, гл. ХХУ и ниже вып. 28).

За исключеніемъ этихъ частностей весь ходъ измѣны и важньйній моментъ борьбы Карла XII съ Петромъ Великимъ описывались Пушкинымъ несомивнию съ указанными историческими источниками въ рукахъ, что и давало ему право въ "Критическихъ замѣткахъ" своихъ сказать: "Мазепа дѣйствуетъ въ моей поэмѣ точь-въ-точь какъ и въ исторіи, а ръчи его объясняютъ его историческій характеръ". Отдѣльное историческое событіє, написанное въ поэмѣ наиболѣе обстоятельно — Полтавскій бои — создано на основаніи "Дѣяній

Петра" В. Голикова и отчасти журнала И.В. Этотъ эпизодъ представляетъ замъчательный образецъ соединенія върности историческому источнику съ сильнымъ дъйствіемъ поэтическаго творчества, результатомъ котораго явился живой и величавый образъ полтавскаго побъдителя.

Поэма вышла въ 1829 году особою книгою съ предпеловіемъ, подписаннымъ 31-го января.

Поливановъ.

Историческое и общественное значеніе романа "Евгеній Онъгинъ"*).

Признаемся: не безъ нъкоторой робости приступаемъ мы къ критическому разсмотрвнію такой поэмы, какъ "Евгеній Онътинъ". И эта робость оправдывается многими причинами. "Онъгинъ" есть самое задушевное произведение Пушкина, самое любимое дитя его фантазін, и можно указать слишкомъ на немногія творенія, въ которыхъ личность поэта отразилась бы съ такой полнотой, свътло и ясно, какъ отразилась въ "Онъгинъ" личность Пушкина. Здъсь вся жизнь, вся душа, вся любовь его; здёсь его чувства, понятія, идеалы. Оценить такое произведение, значитъ - оцфинть самого поэта, во всемъ объемъ его творческой дъятельности. Не говоря уже объ эсгетическомъ достоинствъ "Онъгина", эта поэма имъетъ для насъ, русскихъ огромное историческое и общественное значеніе. Съ этой точки зрвнія даже и то, что теперь критика могла бы съ основательностью назвать въ "Онъгинъ" слабымъ или устарълымъ, -- даже и то является исполненнымъ глубокаго значенія, великаго интереса. И насъ приводить въ затруднение не одно только сознание слабости нашихъ силь для върной оцънки такого произведенія, по и необходимость въ одно и то же время во многихъ мъстахъ "Онъгина", съ одной стороны, видъть недостатки, съ другой - достоинства. Большинство нашей публики еще не стало выше этой отвлеченной и односторонней критики, которая признаетъ въ произведеніяхъ искусства только безусловные недостатки, или безусловныя достоинства. Вотъ почему нъкоторые кри-

^{*)} См. стран. 145, 146, 147, 268—290.

тики добродушно были убъждены, что мы не уважаемъ Державина, находя въ немъ великій талантъ и въ то же время не находя между произведеніями его ни одного, которое было бы вполит художественно и могло бы вполит удовлетворить требованіямъ эстетическаго вкуса нашего времени. Но въ отношеніи къ "Онтину" наши сужденія могуть показаться многимъ еще болте противортивими, потому что "Онтинъ" со стороны формы есть произведеніе въ высшей степени художественное, а со стороны содержанія самые его недостатки составляють его величайнія достопиства. Вся наша статья объ "Онтинть" будеть развитіемъ этой мысли, какою бы ни показалась она съ перваго взгляда многимъ изъ нашихъ читателей.

Прежде всего въ "Онъгинъ" мы видимъ поэтически воспроизведенную картипу русскаго общества, взятаго въ одномъ изъ интересивншихъ моментовъ его развитія. Съ этой точки зрънія "Евгеній Онъгинъ" есть поэма историческая въ полномъ смыслъ слова, хотя въ числъ ея героевъ иътъ ип одного историческаго лица. Историческое достоинство этой поэмы твиъ выше, что она была на Руси и первымъ и блистательнымъ опытомъ въ этомъ родъ. Въ ней Пушкинъ является не просто поэтомъ только, но и представителемъ впервые пробудившагося общественнаго самосознанія: заслуга безпримърная! До Пушкина русская поэзія была не болье какъ понятливою и переимчивою ученицей европейской музы, и потому всв произведенія русской поэзін до Пушкина какъ-то походили больше на этюды и копін, нежели на свободныя произведенія самобытнаго вдохновенія. Самъ Крыловъ — этотъ талантъ, столько же сильный и яркій, сколько національнорусскій, долго не имълъ смълости отказаться отъ незавидной чести быть то переводчикомъ, то подражателемъ Лафонтена. Въ поэзін Державина ярко проблескиваютъ и русская рычь и русскій умъ, но не больше, какъ проблескиваютъ, потопляемые водою реторитически-понятыхъ иноземныхъ формъ и понятій. Озеровъ написаль русскую трагедію, даже историческую - .. Димитрія Донского", но въ ней русскаго и историческаго - одни имена: все остальное столько же русское и историческое, сколько французское или татарское. Жуковскій написаль дві русскія баллады — "Людмилу" и "Світлану"; по первая изъ нихъ есть передълка ивмецкой (и притомъ довольно дюжинной) баллады, а другая, отличаясь дъиствительно поэтическими картинами русскихъ святочныхъ обычаевъ и зимией русской природы, въ то же время вся проникнута и вмецкою сентиментальностью и и вмецкимъ фантазмомъ. Муза Батюшкова, въчно скитаясь подъ чужими небесами, не сорвала ни одного цвътка на русской почвъ. Вевхъ этихъ фактовъ было достаточно для заключенія, что въ русской жизни ивтъ и не можетъ быть пикакой поэзіи и что русскіе поэты должны за вдохновеніемъ скакать на Пегасъ въ чужіе края, даже на Востокъ, не только на Западъ. Но съ Пушкинымъ русская поэзія изъ робкой ученицы явилась даровитымъ и опытнымъ мастеромъ. Разумфется, это сдълалось не вдругъ, потому что вдругъ ничего не дълается. Въ поэмахъ: "Русланъ и Людмила" и "Братья разбойники" Пушкинъ былъ не больше, какъ ученикомъ, подобно своимъ предшественникамъ, — но не въ порзін только, какъ они, а еще и въ попыткахъ на поэтическое изображение русской дъйствительности. Есть у Пушкина русская баллада "Женихъ", написанная имъ въ 1825 году, въ которой появилась и первая глава "Опътина". Эта баллада и со стороны формы н со стороны содержанія насквозь проникнута русскимъ духомъ, и о ней въ тысячу разъ больше, чъмъ о "Русланъ и Людмилъ", можно сказать:

Здёсь русскій духь, здёсь Русью пахнеть

Такъ какъ эта баллада и тогда не обратила на себя особеннаго вниманія, а теперь почти встми забыта, мы выпишемъ изъ нея сцену сватовства:

Наутро сваха къ нимъ на дворъ Нежданная приходитъ, Наташу хвалитъ, разговоръ Съ отцомъ ея заводитъ: "У васъ товаръ, у насъ купецъ, Собою парень молодецъ. И статный и проворный, Не вздорный, не зазорный. "Богатъ, уменъ, ни передъ къмъ Не кланяется въ поясъ. А какъ бояринъ, между тъмъ, Живетъ, не безпокоясь; А подаритъ невъстъ вдругъ

II лисью шубу, и жемчугь,II перстни золотые,II платья парчевыя.

Катаясь, видъль онь вчера Ее за воротами; Не по рукамъ ли, да съ двора, Да въ церковь съ образами!" Она сидить за пирогомъ, Да ръчь ведеть обинякомъ, А бъдная невъста Себъ не видить мъста.

"Согласенъ, говоритъ отецъ; Ступай благополучно, Моя Наташа, подъ вѣнецъ: Одной въ свѣтелкѣ скучно. Не вѣкъ дѣвицей вѣковать, Не все касаткѣ распѣвать, Пора гнѣздо устронть, Чтобъ дѣтушекъ поконть".

И такова вся эта баллада, отъ перваго до послъдняго слова! Но не въ такихъ произведеніяхъдолжно видѣть образцы проникнутыхъ національнымъ духомъ поэтическихъ созданій и публика не безъ основанія не обратила особеннаго вниманія на эту чудную балладу. Міръ, такъ върно и ярко изображенный въ ней, слишкомъ доступенъ для всякаго таланта уже по слишкомъ ръзкой его особенности. Сверхъ того, онъ такъ тъсенъ, мелокъ и немногосложенъ, что истинный талантъ не долго будетъ воспроизводить его, если не захочетъ, чтобъ его произведенія были односторонии, однообразны и скучны, несмотря на всъ ихъ достоинства. Вотъ почему человъкъ съ талантомъ дълаетъ обыкновенно не болъе одной или, много, двухъ попытокъ въ такомъ родъ; для него это — дъло, между прочимъ, затъянное больше изъ желанія испытать свои силы и на этомъ поприщъ, нежели изъ особеннаго уваженія къ этому поприщу.

"Истинная націопальность (говорить Гогодь) состоить не въ описаніи сарафана, но въ самомъ духѣ народа; поэть можеть быть даже и тогда націоналенъ, когда описываетъ совершенно стороний міръ, но глядить на него глазами своей національной стихіи, глазами своего народа, когда чувствуетъ и говорить такъ, что соотечественникамъ его кажется, будто

это чувствують и говорять они сами". Разгадать тайну народной психики — для поэта значить умъть равно быть върнымъ двйствительности при изображении и низшихъ, и среднихъ, и высшихъ сословій. Кто умфеть схватить ръзкіе оттывки только грубой простонародной жизни, не умыя схватывать болве тонкихъ и сложныхъ оттвиковъ образованной жизни, тотъ никогда не будеть великимъ поэтомъ, и еще менње имњетъ право на громкое титло національнаго поэта. Великій національный поэть равно умфеть заставить говорить и барина и мужика ихъ языкомъ. И если произведеніе, котораго содержаніе взято изъ жизни образованныхъ сословій, не заслуживаетъ названія національнаго, — значитъ, оно ничего не стоить и въ художественномъ отношении, потому что невърно духу изображаемой имъ дъйствительности. Поэтому не только такія произведенія, какъ "Горе отъ ума" и "Мертвыя души", но и такія, какъ "Герой нашего времени", суть столько же національныя, сколько превосходныя поэтическія созданія.

II первымъ такимъ національно-художественнымъ произведеніемъ былъ "Евгеній Онфгинъ" Пушкина. Въ этой рфшимости мододого поэта представить правственную физіономію наиболъе объевропенвшагося въ Россіи сословія нельзя не видъть доказательства, что онъ былъ и глубоко сознавалъ себя національнымъ поэтомъ. Онъ понялъ, что время эппческихъ поэмъ давнымъ-давно прошло, и что для изображенія современнаго общества, въ которомъ проза жизни такъ глубоко проникла самую поэзію жизни, нуженъ романъ, а не эпическая поэма. Онъ взяль эту жизнь, какъ она есть, не отвлекая отъ нея только однихъ поэтическихъ ея мгновеній; взялъ ее со всъмъ холодомъ, со всею ея прозой и пошлостью. И такая смълость была бы менъе удивительною, если бы романъ затъянъ былъ въ прозъ; но писать подобный романъ вь стихахъ, въ такое время, когда на русскомъ языкъ не было ни одного порядочнаго романа и въ прозъ, такая смълость, оправданиая огромнымъ успъхомъ, была несомнъннымъ успъхомъ геніальности поэта.

Мы начали статью съ того, что "Онфгинъ" есть поэтически върная дъйствительности картина русскаго общества въ извъстную эпоху. Картина эта явилась во-время, т.-е. именно тогда, когда явилось то, съ чего можно было срисовать ее,--

общество. Вслъдствіе реформы Петра Великаго, въ Россіи должно было образоваться общество, совершение отдъльное отъ массы народа по своему образу жизни. Но одно исключительное положение еще не производить общества: чтобъ оно сформировалось, пужны были особенныя основанія, которыя обезпечивали бы его существованіе, и нужно было образованіе, которое давало бы не одно вижниее, но и внутреннее единство. Екатерина II *эсалованною грамотой* опредълила въ 1785 году права и обязанности дворянства. Это обстоятельство сообщило совершенно новый характеръ вельможеству — единственному сословію, которое при Екатерипъ И достигло высшаго своего развитія и было просвъщеннымъ, образованнымъ сословіемъ. Вследствіе нравственнаго движенія, сообщеннаго грамотою 1785 года, за вельможествомъ началь возникать классъ средняго дворянства. Подъ словомъ возникать мы разумвемь слово образовываться. Въ царствованіе Александра Благословеннаго значеніе этого во встхъ отношеніяхъ дучшаго сословія все увеличивалось и увеличивалось, потому что образование все болъе и болъе проникало во всъ углы огромной провинціи, усъянной помъщичьими владъніями. Такимъ образомъ формировалось общество, для котораго благородныя наслажденія бытія становились уже потребностью, какъ признакъ возникающей духовной жизпи. Общество это удовлетворялось уже не одною охотой, роскошью и пирами, даже не одними танцами и картами: оно говорило и читало по-французски; музыка и рисование тоже входили у него, какъ необходимость, въ планъ воспитанія дітей. Державинъ, Фонвизинъ и Богдановичъ — эти поэты въ свое время извъстные только одному двору, тогда сдълались болье или менфе извъстными и этому возникающему обществу. Но что всего важибе - у него явилась своя литература, уже болъе легкая, живая, общественная и свътская, нежели тяжелая школьная и книжная. Если Новиковъ распространилъ изданіемъ книгъ и журналовъ всякаго рода охоту къ чтенію и книжную торговлю и черезъ это создаль массу читателей, то Карамзинъ своей реформой языка, направленіемъ, духомъ и формою своихъ сочиненій породиль литературный вкусъ и создаль публику. Тогда и поэзія вошла, какъ элементь, въ жизнь новаго общества. Красавицы и молодые люди толпами бросились на "Лизинъ прудъ", чтобы "слезою чувстви-

тельности" почтить память горестной жертвы страсти и обольщенія. Стихотворенія Дмитріева, запечатлівнныя умомъ, вкусомъ, остротою и граціею, имван такой же успъхъ и такое же вліяніе, какъ и проза Карамзина. Порожденная ими сентиментальность и мечтательность, несмотря на ихъ смвшную сторону, были великимъ шагомъ впередъ для молодого общества. Трагедін Озерова придали еще болве силы и блеска этому направленію. Басин Крылова давно уже не только читались взрослыми, но и заучивались наизусть дътьми. Вскоръ появился юноша-поэть, который въ эту сентиментальную литературу внесъ романтические элементы глубокаго чувства, фантастической мечтательности и эксцентрическаго стремленія въ область чудеснаго и невъдомаго и который познакомилъ и породнилъ русскую музу съ музою Германіи и Англіи. Вліяніе литературы на общество было гораздо важиве, нежели какъ у насъ объ этомъ думаютъ: литература, сближая и сдружая людей разныхъ сословій узами вкуса и стремленіемъ къ благороднымъ наслажденіямъ жизни, сословіє превратило въ общество. Но, несмотря на то, не подлежить никакому сомивнію, что классь дворянства быль и по преимуществу представителемъ общества и по преимуществу непосредственнымъ источникомъ образованія всего общества. Увеличение средствъ къ народному образованию, учрежденіе университетовъ, гимназій, училищъ, заставляло общество расти не по днямъ, а по часамъ. Время отъ 1812 до 1815 года было великою эпохой для Россіи. Мы разумѣемъ здъсь не только вившнее величіе и блескъ, какими покрыла себя Россія въ эту великую для нея эпоху, но и внутреннее преуспъяніе въ гражданственности и образованіи, бывшее результатомъ этой эпохи. Можно сказать безъ преувеличенія, что Россія больше прожила и дальше шагнула отъ 1812 года до пастоящей минуты, нежели отъ царствованія Петра до 1812 года. Съ одной стороны, 12-й годъ, потрясши всю Россію изъ конца въ конецъ, пробудилъ ея сиящія силы и открылъ въ ней новые, дотолъ неизвъстные источники силъ, чувствомъ общей опасности сплотилъ въ одну огромную массу косифвиня въ чувствъ разъединенныхъ интересовъ частныя воли, возбудиль народное сознание и народную гордость и всемъ этимъ способствовалъ зарожденію публичности, какъ началу общественнаго мивнія; кромв того, 12-й годъ

нанесть сильный ударть косифющей стариив: велъдствие его исчезли песлужащие дворяне, спокойно рождавшиеся и умиравшие въ своихъ деревияхъ, не выбажая за заповъдную черту ихъ владъний; глушь и дичь быстро исчезли вмъстъ съ потрясенными остатками старины. Съ другой сторопы, вся Россія, въ лицъ своего побъдоноснаго войска, лицомъ къ лицу увидълась съ Европою, пройдя по ней путемъ побъдъ и торжествъ.

Все это сильно способствовало возрастанію и укръпленію возникшаго общества. Въ двадцатыхъ годахъ текущаго стольтія русская литература отъ подражательности устремилась къ самобытности: явился Пушкинъ. Онъ любилъ сословіе, въ которомъ почти исключительно выразился прогрессъ русскаго общества и къ которому принадлежалъ самъ, — и въ "Онъгинъ" онъ ръшился представить намъ впутреннюю жизнь этого сословія, а вмъсть съ нимъ и общество, въ томъ видъ, въ какомъ оно находилось въ избранную имъ эпоху, т.-е. въ двадцатыхъ годахъ текущаго стольтія.

Несмотря на то, что романъ носитъ на себъ имя своего героя, — въ романъ не одинъ, а два героя: Опъгинъ и Татьяна. Въ обоихъ ихъ должно видъть представителей обоихъ половъ русскаго общества въ ту эпоху. Обратимся къ первому. Поэтъ очень хорошо сдълалъ, выбравъ себъ героя изъ высшаго круга общества. Онъгинъ — отпюдь не вельможа (уже и потому, что временемъ вельможества быль только въкъ Екатерины II); Онфгинъ — свфтскій человфкъ. Когда высшій свъть изображается такими писателями, какъ Пушкинъ, Грибовдовъ, Лермонтовъ, князь Одоевскій, графъ Соллогубъ, мы любимъ литературное изображение большого свъта такъ же, какъ изображение всякаго другого свъта и не свъта, съ талантомъ и знаціемъ выполненное. Высшій кругъ общества быль въ то время уже въ апогев своего развитія; притомъ свъткость не помъщала же Онъгину сойтись съ Ленскимъ этимъ наиболъе страннымъ и смъшнымъ въ глазахъ свъта существомъ. Правда, Онъгину было дико въ обществъ Лариныхъ; но образованность еще болье, нежели свъткость, была причиною этого. Не споримъ, общество Лариныхъ очень мило, особенно въ стихахъ Пушкина; но намъ, хоть мы и совсъмъ не свътскіе люди, было бы въ немъ не совсъмъ ловко, темъ более, что мы решительно неспособны поддержать благоразумнаго разговора о псарив, о винв, о свиокось, о родив. Высшій кругь общества въ то время до того обыль отделень отъ всёхъ другихъ круговъ, что не принадлежавшіе къ нему люди поневоль говорили о немъ, какъ до Колумба во всей Европъ говорили объ антиподахъ и Атлантидъ. Вследствіе этого Онегинъ съ первыхъ же строкъ романа былъ принять за безиравственнаго человека. Это мифніе о немъ и теперь еще не совсёмъ исчезло.

Большая часть публики совершенно отрицала въ Онфгицф душу и сердце, видела въ немъ человека холодного, сухого и эгонста по натурф. Нельзя ошибочифе и кривфе понять человека! Этого мало: многіе добродушно верили и верятъ, что самъ поэтъ хотель изобразить Онфгина холоднымъ эгонстомъ. Это уже значить — имфя глаза, инчего не видеть. Светская жизнь не убила въ Онфгинф чувства, а только охолодила къ безплоднымъ страстямъ и мелочнымъ развлеченіямъ. Вспомните строфы, въ которыхъ поэтъ описываетъ свое знакомство съ Онфгинымъ:

Условій свъта свергнувъ бремя,
Какъ онъ, отставъ отъ суеты,
Съ нимъ подружился я въ то время,
Мнѣ нравились его черты,
Мечтамъ невольная преданность,
Неподражательная странность
И ртзкій, охлажденный умъ.
Я былъ озлобленъ, онъ угрюмъ;
Страстей игру мы знали оба:
Томила жизнь обоихъ насъ;
Въ обоихъ сердцахъ жаръ погасъ;
Обоихъ ожидала злоба
Слѣпой фортуны и людей
На самомъ утрѣ нашихъ дией.

Кто жилъ и мыслилъ, тотъ не можеть Въ душѣ не призирать людей; Кто чувствовалъ, того тревожить Призракъ невозвратимыхъ дней: — Тому уже нѣтъ очарованій, Того змѣя восноминаній, Того раскаянье грызетъ. Все это часто придаетъ Большую прелесть разговору.

Сперва Онѣгина языкъ Меня смущаль, но я привыкъ Къ его язвительному спору, И къ шуткѣ, съ желчью пополамъ, И къ злости мрачныхъ эпиграммъ.

Какъ часто лѣтнею порою,
Когда прозрачно и свѣтло
Ночное небо надъ Певою,
П водъ веселое стекло
Не отражаетъ ликъ Діаны,
Воспомня прежнихъ льтъ романы,
Воспомня прежнюю любовь,
Чувствительны, безпечны вновь,
Дыханьемъ ночи благосклонной
Безмолвно упивались мы!
Какъ въ лѣсъ зеленый изъ тюрьмы
Перенесенъ колодникъ сонный,
Такъ уносились мы мечтой
Къ началу жизни молодой.

Изъ этихъ стиховъ мы ясно видимъ, по крайней мъръ, то, что Онъгинъ не былъ ни холоденъ, ни сухъ, ни черствъ, что въ душт его жила поэзія и что вообще онъ быль не изъ числа обыкновенныхъ, дюжинныхъ людей. Невольная преданность мечтамъ, чувствительность и безпечность при созерцаніи красоть природы и при воспоминаніи о романахъ и любви прежнихъ лътъ — все это говорить больше о чувствъ и поэзіи, нежели о холодности и сухости. Дело только въ томъ, что Онъгинъ не любилъ расплываться въ мечтахъ, больше чувствовалъ, нежели говорилъ, и не всякому открывался. Озлобленный умъ есть тоже признакъ высшей натуры, потому что человъкъ съ озлобленнымъ умомъ бываетъ недоволенъ не только людьми, но и самимъ собою. Дюжинные люди всегда довольны собою, а если имъ везетъ, то и всъми. Жизнь не обманываетъ глупцовъ; напротивъ, она все даетъ имъ, благо немногаго просять они отъ нея -- корма, пойла, тепла да коикакихъ игрушекъ, способныхъ тъшить пошлое и мелкое самолюбыще. Разочарование въ жизни, въ людяхъ, въ самихъ себъ (если только оно истинно и просто, безъ фразъ и щегольства "нарядною печатью") свойственно только людямъ, которые, желая "многаго", не удовлетворяются "ничемъ". Читатели помиятъ описаніе (въ VII главъ) кабинета Онъгина: весь Онъгинъ въ этомъ описаніи. Особенно поразительно исключеніе изъ опады двухъ или трехъ романовъ,

Въ которыхъ отразился въкъ, И современный человъкъ Изображенъ довольно върно Съ его безравственной душой, Себялюбивый и сухой, Мечтанью преданный безмърно, Съ его озлобленнымъ умомъ, Кинящимъ въ дъйствіи пустомъ.

Скажуть: это портреть Онѣгина. Пожалуй, и такъ; но это еще болѣе говорить въ пользу правственнаго превосходства Онѣгина, потому что онъ узналъ себя въ портретѣ, который, какъ двѣ капли воды, похожъ на столь многихъ, но въ которомъ узнаютъ себя, столь немпогіе, а большая часть "украдкою киваетъ на Петра". Онѣгинъ не любовался самолюбиво этимъ портретомъ, но глухо страдалъ отъ его поразительнаго сходства съ дѣтьми нынѣшняго вѣка. Не натура, не страсти, не заблужденія личныя сдѣлали Онѣгина похожимъ на этотъ портретъ, а вѣкъ.

Связь съ Ленскимъ, этимъ юнымъ мечтателемъ, который такъ понравился нашей публикъ, всего громче говоритъ противъ мнимаго бездушія Онъгина.

Онъгинъ презиралъ людей,

Но (правиль нъть безъ исключеній) Иныхъ онъ очень отличаль, И вчужть чувство уважаль. Онъ слушалъ Ленскаго съ улыбкой: Поэта пылкій разговоръ, II умъ, еще въ сужденьяхъ зыбкій, И въчно вдохновенный взоръ — Онъгину все было ново; Онъ охладительное слово Въ устахъ старался удержать, И думаль: глупо мнѣ мѣшать Его минутному блаженству, И безъ меня пора придетъ: Пускай покамѣсть онъ живеть Да въритъ міра совершенству; Простимъ горячкъ юныхъ льтъ II юный жаръ и юный бредъ.

Межъ ними все рождало споры И къ размышленію влекло: Илеменъ минувшихъ договоры, Илоды наукъ, добро и зло, И предразсудки вѣковые, И гроба тайны роковыя, Судьба и жизнь, въ свою чреду, Все подверглось ихъ суду.

Дъло говоритъ само за себя: гордая холодность и сухость, надменное бездущіе Онътина, какъ человъка, произошли отъ глубокой неспособности многихъ читателей понять такъ върно созданный поэтомъ характеръ. Но мы не остановимся на этомъ и исчернаемъ весь вопросъ.

Чудакъ печальный и опасный, Созданье ада иль небесь, Сей ангель, сей надменный бѣсь, Что жъ онъ? — ужели подражанье, Ипчтожный призракъ, иль еще Москвичъ въ Гарольдовомъ плащѣ; Чужихъ причудъ истолкованье, Словъ модныхъ полный лексиконъ. . Ужъ не пародія ли онъ?

"Все тотъ же ль онъ, иль усмирился?
Иль корчить такъ же чудака?
Скажите, чѣмъ онъ возвратился?
Что намъ представить онъ пока?
Чѣмъ нынѣ явится? Мельмотомъ,
Космополитомъ, патріотомъ,
Гарольдомъ, квакеромъ, ханжой
Иль маской щегольпеть иной?
Иль просто будетъ добрый малый,
Какъ вы да я, какъ цѣлый свѣть?
Ио крайней мѣрѣ, мой совѣтъ:
Отстать отъ моды обветшалой.
Довольно онъ морочилъ свѣть"...
— Знакомъ онъ вамъ? — "И да, и нътъ"

— Зачъмъ же такъ неблагосклонно Вы отзываетесь о немъ? За то ль, что мы неугомонно Хлопочемъ, судимъ обо всемъ, Что пылких душъ неосторожность Самолюбивую ничтожность Иль оскорбляеть, иль смъшить; Что умъ, любя просторъ, тъснить;

Что елишкомъ часто разговоры
Принять мы рады за дёла;
Что глупость вётрена и зла;
Что важнымъ людямъ — важны вздоры,
И что посредственность одна
Намъ по плечу и не странна?

Блаженъ, кто смолоду былъ молодъ, Блаженъ, кто вб-время созрѣлъ, Кто постепенно жизни холодъ Съ лѣтами вытериѣтъ умѣлъ; Кто страннымъ снамъ не предавался; Кто черни свѣтской не чуждался; Кто въ двадцатъ лѣтъ былъ франтъ иль хватъ, А въ тридцатъ выгодно женатъ; Кто въ пятъдесятъ освободился Отъ частныхъ и другихъ долговъ; Кто славы, денегъ и чиновъ Спокойно въ очередъ добился, О комъ твердили цѣлый вѣкъ; N. N. прекрасный человѣкъ.

Но грустно думать, что напрасно Была намъ молодость дана, Что измѣняли ей всечасно, Что обманула насъ она; Что наши лучшія желанья Что наши свѣжія мечтанья Истлѣли быстрой чередой, Какъ листья осенью гнилой. Несносно видѣть предъ собою Однихъ обѣдовъ длинный рядъ, Глядѣть на жизнь, какъ на обрядъ, И вслѣдъ за чинною толпою Итти, не раздѣляя съ ней Ни общихъ мнѣній ни страстей.

Эти стихи ключь къ тайнъ характера Онъгина. Онъгинъ — не Мельмотъ, не Чайльдъ-Гарольдъ, не демонъ, не пародія, не модная причуда, не геній, не великій человъкъ, а просто — "добрый малый какъ вы да я, какъ цълый свътъ". Поэтъ справедливо называетъ "обветшалою модой" вездъ находить или вездъ искать все геніевъ да необыкновенныхъ людей. Повторяемъ: Онъгинъ — добрый малый, но, при этомъ, недюжиный человъкъ. Онъ не годится въ геніи, не лъзетъ въ великіе люди, но бездъятельность и пошлость жизни душатъ его, онъ даже не знаетъ, чего ему надо, чего ему хочется:

но онъ знаетъ, и очень хорошо знаетъ, что ему не надо, что ему не хочется того, чъмъ такъ довольна, такъ счастлива самолюбивая посредственность. И за то-то эта самолюбивая посредственность не только провозгласила его "безиравственнымъ", но и отияла у него страсть сердца, теплоту дупи, доступность всему доброму и прекрасному. Вспомните, какъ воснитанъ Онъгинъ, и согласитесь, что натура его была слишкомъ хороша, если ея не убило совсъмъ такое воспитаніе. Блестящій юноша, онъ быль увлеченъ свътомъ, подобно многимъ; но скоро наскучилъ имъ и оставилъ его, какъ это дълаютъ слишкомъ немногіе. Въ душт его тлълась искра надежды воскреснуть и освъжиться въ тиши уединенія, на лонъ природы; но онъ скоро увидълъ, что перемтна мъстъ не измъняетъ сущности пъкоторыхъ неотразимыхъ и не отъ нашей воли зависящихъ обстоятельствъ.

Два дня ему казались новы Уединенные поля, Прохлада сумрачной дубровы, Журчанье тихаго ручья; На третій — рощи, холмъ и поле Его не занимали болѣ; Потомъ ужъ наводили сонъ; Потомъ увидѣлъ ясно онъ, Что и въ деревнѣ скука та же, Хоть нѣть ни улицъ, ни дворцовъ, Ни картъ, ни баловъ, ни стиховъ. Хандра ждала его настражѣ, И бѣгала за нимъ она, Какъ тѣнь иль вѣрная жена.

Мы доказали, что Онфгинъ не колодный, не сухой, не бездушный человфкъ, но мы до сихъ поръ избфгали слова эгоистъ, и, такъ какъ избытокъ чувства, потребность изящнаго не исключаетъ эгоизма, то мы скажемъ теперь, что Онфгинъ — страдающій эгоистъ. Эгоисты бываютъ двухъ родовъ. Эгоисты перваго разряда — люди безъ всякихъ заносчивыхъ или мечтательныхъ притязаній; они не понимаютъ, какъ можетъ человфкъ любить кого нибудь кромф самого себя, и потому они нисколько не стараются не скрывать своей пламенной любви къ собственнымъ ихъ особамъ; если ихъ дъла идутъ плохо — они худощавы, блёдны, злы, низки, подлы,

предатели, клеветники; если ихъ дъла идутъ хорошо - опи толсты, жирны, румяны, веселы, добры, выгодами дёлиться пи съ къмъ не станутъ, но угощать готовы не только полезныхъ, даже и вовсе безполезныхъ имъ людей. Это эгоисты по натуръ или по причинъ дурного воспитанія. Эгонсты второго разряда почти никогда не бывають толсты и румяны; по большей части этотъ народъ больной и всегда скучающій. Бросаясь всюду, вездъ ища то счастья, то разсъянія, они нигдъ не находятъ ни того ин другого съ той минуты, какъ обольщенія юности оставляють ихъ. Эти люди часто доходять до страсти къ добрымъ дъйствіямъ, до самоотверженія въ пользу ближнихъ; но бъда въ томъ, что они и въ добръ хотять искать то счастія, то развлеченія, тогда какъ въ добрѣ слъдовало бы имъ искать только добра. Если подобные люди живуть въ обществъ, представляющемъ полную возможность для каждаго изъ его членовъ стремиться своею дъятельностью къ осуществленію идеала истины и блага, - о нихъ безъ запинки можно сказать, что суетность и мелкое самолюбіе, заглушивъ въ нихъ добрые элементы, сдълали ихъ эгопстами. Но нашъ Онъгинъ не принадлежитъ ни къ тому ни къ другому разряду эгонстовъ. Его можно назвать эгонстомъ поневоль: въ его эгонзмъ должно видъть то, что древніе называли fatum. Благая, благотворная, полезная двятельность! Зачвмъ не предался ей Онъгниъ? Зачъмъ не искалъ онъ въ ней своего удовлетворенія? Зачёмъ? зачёмъ? — Затёмъ, милостивые государи, что пустымъ людямъ легче спрашивать, нежели ... атарейно отвечать...

Одинъ среди своихъ владѣній,
Чтобъ только время проводить,
Сперва задумалъ нашъ Евгеній
Порядокъ новый учредить.
Въ своей глуши мудрецъ пустынной,
Яремъ онъ барщины старинной
Оброкомъ легкимъ замѣнилъ —
И небо рабъ благословилъ.
Зато въ углу своемъ надулся,
Увидя въ этомъ страшный вредъ,
Его расчетливый сосѣдъ;
Другой лукаво улыбнулся,
И въ голосъ встъ рѣшили такъ,
Что онъ опаснѣйшій чудакъ.

Сначала всё къ нему тажали;
Но такъ какъ съ задняго крыльца
Обыкновенно подавали
Ему донского жеребца,
Лишь только вдоль большой дороги
Заслышатъ ихъ домашни дроги, —
Ноступкомъ оскорбясь такимъ,
Всё дружбу прекратили съ нимъ.
"Состав нашъ неучъ, сумасбродитъ,
Онъ фармазонъ: онъ пьетъ одно
Стаканомъ красное вино;
Онъ дамамъ къ ручкт не подходитъ;
Все да да нътъ, не скажетъ да-съ
Иль нътъ-съ". Таковъ былъ общій гласъ.

Что-нибудь дѣлать можно только въ обществѣ, на основаніи общественныхъ потребностей, указываемыхъ самою дѣйствительностью, а не теоріею: но что бы сталъ дѣлать Онѣгинъ въ сообществѣ съ такими прекрасными сосѣдями, въ кругу такихъ милыхъ ближнихъ? Облегчить участь мужика, конечно, много значило для мужика, но со стороны Онѣгина тутъ еще не много было сдѣлано. Есть люди, которымъ если удастся что-нибудь сдѣлать порядочное, они съ самодовольствіемъ разсказываютъ объ этомъ всему міру; и такимъ образомъ бываютъ пріятно заняты на цѣлую жизнь. Онѣгинъ былъ не изъ такихъ людей: важное и великое для многихъ, для него было не Богъ знаетъ чѣмъ.

Случай свель Онъгина съ Лепскимъ; черезъ Лепскаго Онъгинъ познакомился съ семействомъ Лариныхъ. Возвращаясь отъ пихъ домой послъ перваго визита, Онъгинъ зъваетъ; изъ его разговора съ Лепскимъ мы узнаемъ, что онъ Татьяну принялъ за невъсту своего пріятеля и, узнавъ о своей ошибкъ, удивляется его выбору, говоря, что если бы онъ самъ былъ поэтомъ, то выбралъ бы Татьяну. Этому равнодушному, охлажденному человъку стоило одного или двухъ невнимательныхъ взглядовъ, чтобы понять разницу между объими сестрами, тогда какъ пламениому, восторженному Ленскому и въ голову не входило, что его возлюбленная была совсъмъ не идеальное и поэтическое созданіе, а просто хорошенькая и простенькая дъвочка, которая совсъмъ не стоила того, чтобы за нее рисковать убить пріятеля или самому быть убитымъ. Между тъмъ какъ Онъгинъ зъвалъ "но привычкъ",

говоря его собственнымъ выраженіемъ, и нисколько не заботясь о семействъ Ларипыхъ, въ этомъ семействъ его пріфздъ завязалъ страшную внутреннюю драму. Болышинство публики было крайне удивлено, какъ Онъгинъ, получивъ письмо Татьяны, могъ не влюбиться въ нее, — и еще болъе, какъ тотъ же самый Онфгинъ, который такъ холодно отвергалъ чистую, наивную дюбовь прекрасной девушки, потомъ страстно влюбился въ великолепную светскую даму? Въ самомъ дъль, есть чему удивляться. Впрочемъ, признавая въ этомъ фактъ возможность психологическаго вопроса, мы тъмъ не менъе инсколько не находимъ удивительнымъ самаго факта. Во-первыхъ, вопросъ, почему влюбился или не влюбился, или почему въ то время не влюбился, — такой вопросъ мы считаемъ немного слишкомъ диктаторскимъ. Сердце имъетъ свои законы — правда, но не такіе, изъ которыхъ легко бы состаполный систематическій кодексъ. Сродство натуръ, вить нравственная симпатія, сходство понятій могутъ и даже должны играть большую роль въ любви разумныхъ существъ; но кто въ любви отвергаетъ элементъ чисто-непосредственный, влеченіе пистинктуальное, невольное, прихоть сердца, въ оправданіе и всколько тривіальной, но чрезвычайно выразительной русской пословицы: "полюбится сатана лучше яснаго сокола", кто отвергаеть это, тоть не понимаеть любви. Если бы выборъ въ любви ръшался только волею и разумомъ, тогда любовь не была бы чувствомъ и страстью. Присутствіе элемента непосредственности видно и въ самой разумной любви, потому что изъ ивсколькихъ, равно достойныхъ лицъ выбирается только одно, и выборъ этотъ основывается на невольномъ влеченін сердца. Но бываеть и такъ, что люди, кажется, созданные одинъ для другого, остаются равнодушны другъ къ другу, и каждый изъ нихъ обращаетъ свое чувство на существо, нисколько себъ не подъ пару. Поэтому Онъгинъ имълъ полное право безъ всякаго опасенія подпасть подъ уголовный судъ критики, не полюбить Татьяны-дъвушки и полюбить Татьяну-женщину. Въ томъ и другомъ случат онъ поступиль равно ни нравственно ни безправственно. Этого вполнъ достаточно для его оправданія; но мы къ этому прибавимъ и еще кое-что. Онъгинъ былъ такъ уменъ, топокъ и опытенъ, такъ хорошо понималъ людей и ихъ сердце, что не могъ не понять изъ письма Татьяны, что эта бъдная дъвушка одарена

страстнымъ сердцемъ, алчущимъ роковой пищи, что ся душа младенчески чиста, что ся страсть дѣтски простодушна, и что опа нисколько не похожа на тѣхъ кокетокъ, которыя такъ надоѣли ему съ ихъ чувствами, то легкими, то поддѣльными. Онъ былъ живо тронутъ письмомъ ея:

Языкъ дѣвическихъ мечтаній
Въ немъ думы роемъ возмутилъ;
И вспомниль онъ Татьяны милой
И блѣдный цвѣтъ и видъ унылый:
И вг сладостный, безгръшный сонъ
Душого погрузился онъ.
Выть можетъ, чувствій пыль старинный
Имъ на минуту овладѣлъ;
Но обмануть онъ не хотѣлъ
Довѣрчивость души невинной.

Въ письмъ своемъ къ Татьянъ (въ VIII главъ) опъ говоритъ, что, замътя въ ней искру нъжности, опъ не хотъль ей повърить (т.-е. заставилъ себя не новърить), не далъ хода милой привычкъ и не хотъль разстаться съ своею постылою свободой. По если опъ оцънилъ одну сторону любви Татьяны, въ то же самое время опъ такъ же ясно видълъ и другую ел сторону. Во-нервыхъ, обольститься такою младенчески прекрасною любовью и увлечься ею до желанія отвъчать на нее, значило бы для Онъгина ръниться на женитьбу. Но если его могла еще интересовать поэзія страсти, то поэзія брака не только не интересовала его, но была для него противна. Поэтъ, выразившій въ Онъгинъ мпого своего собственнаго, такъ изъясняется на этотъ счетъ, говоря о Ленскомъ:

Гимена хлопоты, печали, Зъвоты хладная чреда Ему не снились никогда. Межъ тъмъ, какъ мы, враги Гимена Въ домашней жизни зримъ одинъ Рядъ утомительныхъ картинъ, Романъ во вкусъ Лафонтена.

Если не бракъ, то мечтательная любовь, если не хуже что-пибудь; но онъ такъ хорошо постигъ Татьяну, что даже и не подумалъ о послъднемъ, не унижая себя въ собственныхъ своихъ глазахъ. Но въ обоихъ случаяхъ эта любовь немного представляла ему обольстительнаго. Какъ! онъ, пере-

горъвній въ страстяхъ, извъдавній жизнь и людей, еще кинъвшій какими-то самому ему неясными стремленіями, -онъ, которато могло занять и наполнить только что-нибудь такое, что могло бы выдержать его собственную пронію, онъ увлекся бы младенческою любовью девочки-мечтательницы, которая смотръла на жизнь такъ, какъ онъ уже не могъ смотръть... И что же сулила бы ему въ будущемъ эта любовь? Что бы нашель онь потомь въ Татьянь? Или прихотливое дитя, которое плакало бы отъ того, что онъ не можетъ, подобно ей, дътски смотръть на жизнь и дътски играть въ любовь, — а это, согласитесь, очень скучно; или существо, которое увлекшись его превосходствомъ, до того подчинилось бы ему, не понимая его, что не имъло бы ин своего чувства, ни своего смысла, ни своей воли, ни своего характера. Послъднее спокойнъе, по зато еще скучнъе. II это ли поэзія и блаженство любви!...

Разлученный съ Татьяною смертью Ленскаго, Опѣгинъ лишился всего, что хотя сколько-нибудь связывало его съ людьми.

> Убивъ на поединкѣ друга, Доживъ безъ цѣли, безъ трудовъ; До двадцати-шести годовъ, Томясь въ бездѣйствіи досуга, Безъ службы, безъ жены, безъ дѣль, Ничѣмъ заняться не умѣлъ. Имъ овладѣло безпокойство, Охота въ перемѣнѣ мѣстъ (Весьма мучительое свойство, Немногихъ добровольный крестъ).

Между прочимъ, былъ онъ и на Кавказѣ и смотрѣлъ па блѣдный рой тѣней, толпившійся около цѣлебныхъ струи Машука:

Питая горьки размышленья, Среди печальной ихъ семьи, Онфгинъ взоромъ сожальнья Глядъль на дымныя струи, И мыслиль, грустью отуманень: Зачъмъ я пулей въ грудь не раненъ? Зачъмъ не хилый я старикъ, Какъ этотъ бъдный откупщикъ? Зачъмъ, какъ тульскій засъдатель, Я не лежу въ параличъ? Зачъмъ не чувствую въ плечъ Хоть ревматизма? Ахъ, Создатель! Я молодъ, жизнь во мит кртика. Чего мит ждать? Тоска, тоска!...

Какая жизнь! Воть опо то страданіе, о которомь такъ много пишутъ и въ стихахъ и въ прозъ, на которое столь многіе жалуются, какъ будто и въ самомъ діль знають его; вотъ оно, страданіе истинное, безъ котурна, безъ ходуль, безъ дранировки, безъ фразъ, страданіе, которое часто не отнимаетъ ни сна, ни аппетита, ни здоровья, по которое тъмъ ужасиве!... Спать ночью, зъвать днемъ, видъть, что всь изъ чего-то хлопочуть, чымь-то заняты, одинь деньгами, другой — женитьбою, третій — бользнью, четвертый — нуждою и кровавымъ идтомъ работы, - видъть вокругъ себя и веселье и печаль, и смъхъ и слезы, видъть все это и чувствовать себя чуждымъ всему этому, подобно Въчному жиду, который, среди волнующейся вокругъ него жизни, сознаетъ себя чуждымъ жизии и мечтаетъ о смерти, какъ о величайшемъ для него блаженствъ: это - страданіе не совсъмъ понятное, но оттого не меньше страшное... Молодость, здоровье, богатство, соединенныя съ умомъ, сердцемъ: чего бы, кажется, больше для жизни и счастья? Такъ думаетъ тупая чернь и называетъ подобное страданіе модною причудой. П чъмъ естественнъе, проще страдание Онъгина, чъмъ дальше оно отъ всякой эффектности, темъ оно менее могло быть понято и оцфиено большинствомъ публики. Въ двадцать шесть лътъ такъ много пережить, не вкусивъ жизни, такъ изнемочь, устать, ничего не сдълавъ, дойти до такого безусловнаго отрицанія, не перейдя ни черезъ какія убъжденія: это смерть! Но Онфгину не суждено было умереть, не отвъдавъ изъ чаши жизни: страсть сильная и глубокая не замедлила возбудить дремавшія въ тоскъ силы его духа. Встрътивъ Татьяну на балъ въ Петербургъ, Онъгниъ едва могъ узнать ее, такъ перемънилась она! Мужъ Татьяны, такъ прекрасно и такъ полно съ головы до ногъ охарактеризованный поэтомъ этими двумя стихами:

> ... и всѣхъ выше И носъ и плечи поднималъ Вошедшій съ нею генералъ, —

мужъ Татьяны представляетъ ей Онфгина, какъ своего родственника и друга. Многіе читатели, въ первый разъ читая эту главу, ожидали громозвучнаго оха и обморока со стороны Татьяны, которая, пришедъ въ себя, по ихъ мивнію, должна повиснуть на шев у Онвгина. По какое разочарованіе для нихъ!

Княгиня смотрить на него...
И что ей душу ни смутило,
Какъ сильно ни была опа
Удивлена, поражена,
Но ей ничто не измѣнило:
Въ ней сохранился тотъ же тонъ;
Былъ такъ же тихъ ея поклонъ.

Ей-ей! не то, чтобъ содрогнулась
Пль стала вдругъ блѣдна, красна...
У ней и бровь не шевельнулась;
Не сжала даже губъ она.
Хоть онъ глядѣлъ нельзя прилежнѣй,
Но и слѣдовъ Татьяны прежней,
Не могъ Онѣгинъ обрѣсти.
Съ ней рѣчь хотѣлъ онъ завести
И — и не могъ. Она спросила,
Давно ль онъ здѣсь, откуда онъ,
И не изъ ихъ ли ужъ сторонъ?
Потомъ къ супругу обратила
Усталый взглядъ; скользнула вонъ...
И недвиженъ остался онъ.

Ужель та самая Татьяна,
Которой онъ наединѣ,
Въ началѣ нашего романа,
Въ глухой, далекой сторонѣ,
Въ благомъ пылу нравоученья,
Читалъ когда-то наставленья,
Та, отъ которой онъ хранитъ
Письмо, гдѣ сердце говорить,
Гдѣ все наружу, все на волѣ.
Та дѣвочка... иль это сонъ?
Та дѣвочка, которой онъ
Пренебрегалъ въ смирениой долѣ,
Ужели съ нимъ сейчасъ была
Такъ равнодушна, такъ смѣла?

Что съ нимъ? въ какомъ онъ страшномъ сиъ: Что шевельнулось въ глубинѣ Души холодной и лѣнивой? Досада? суетность? или вновь Забота юности — любовь?

Пе принадлежа къ числу ультра-идеалистовъ, мы охотно допускаемъ въ самыя высокія страсти примѣсь мелкихъ чувствъ, и потому думаемъ, что досада и суетность имѣли свою долю въ страсти Онѣгина. Но мы рѣшительно не согластны съэтимъ мнѣніемъ поэта, которое такъ торжественно было провозглашено имъ и которое нашло такой отзывъ въ толпѣ, благо пришлось ей по плечу:

О, люди! всё похожи вы На прародительницу Еву: Что вамъ дано, то не влечеть; Васъ непрестанно змёй зоветь Къ себе, къ тапиственному древу; Запретный плодъ вамъ подавай, А безъ того вамъ рай не рай.

Мы лучше думаемъ о достоинствъ человъческой натуры и убъждены, что человъкъ родится не на зло, а на добро, не на преступленіе, а на разумно-экономное наслажденіе благами бытія; что его стремленія справедливы, инстинкты благородны. Зло скрывается не въ человъкъ, но въ обществъ, такъ какъ общества, понимаемыя въ смыслѣ формы человѣческаго развитія, еще далеко не достигли своего идеала, то не удивительно, что въ нихъ только и видишь много преступленій. Этимъ же объясияется и то, почему считавшееся преступнымъ въ древнемъ мірф, считается законнымъ въ новомъ, и наоборотъ; почему у каждаго народа и каждаго въка свои понятія о правственности, законномъ и преступномъ. Человъчество еще далеко не дошло до той степени совершенства, въ которой всъ люди, какъ существа однородныя и единымъ разумомъ одаренныя, согласятся между собою въ понятіяхъ объ истипномъ и ложномъ, справедливомъ и несправедливомъ, законномъ и преступномъ, такъ же точно, какъ они уже согласились, что не солнде вокругъ земли, а земля вокругъ солица обращается, и во множествъ математическихъ аксіомъ. До тъхъ же поръ преступленіе будеть только по наружности преступленіе, а внутренно, существенно — непризнаніемъ справедливости и разумности того или другого закона. Было время, когда родители видъли въ своихъ дътихъ своихъ рабовъ и считали себя вправъ насиловать ихъ чувства и склонности самыя священныя. Теперь, если дъвушка, чувствуя отвращение къ господицу благонамфренцой наружности, за котораго ее хотять

насильно выдать, и любя страстно человъка, съ которымъ ес насильно разлучають, - последуеть влечению своего сердца и будеть любить того, кого она избрала, а не того, въ чей карманъ, или въ чей чинъ влюблены ся дражайшіе родители: пеужели она преступница? Пичто такъ не подчинено строгости вившиихъ условій, какъ сердце, и ничто такъ не требуетъ безусловной воли, какъ сердце же. Даже самое блаженство любви, — что оно такое, если оно согласовано съ вившними условіями? — Пъсня соловья или жаворонка въ золотой кльткь. Что такое блаженство любви, признающей только власть и прихоть сердца? — Торжественная пъснь соловья на закатъ солица, въ таинственной съпи склонившихся надържкою ивъ; вольная пъснь жаворонка, который, въ безумномъ упоенін чувствомъ бытія, то мчится вверхъ стрълою, то падаетъ съ неба, то, трепеща крыльями, не двигаясь съ мъста, какъ будто купается и тонетъ въ глубокомъ эвиръ... Птица любитъ волю; страсть есть поэзія и цвътъ жизни, но что же въ страстяхъ, если у сердца не будеть воли?...

Письмо Онтгина къ Татьянт горптъ страстью; въ немъ уже ивтъ проніи, ивтъ светской умеренности, светской маски. Онъгинъ знаетъ, что онъ можетъ-быть, подаетъ поводъ къ злобному веселью; но страсть задушила въ немъ страхъ быть смѣшшымъ, подать на себя оружіе врагу. И было съ чего сойти съ ума! По паружности Татьяны можно было подумать, что она помирилась съ жизнью ни на чемъ, отъ души поклошилась идолу суеты — и въ такомъ случав, конечно, роль Онфгина была бы очень смфшна и жалка. Но въ свфтф наружность никогда и ни въ чемъ не убъждаетъ: тамъ всъ слишкомъ хорошо владъють искусствомъ быть веселыми съ достоинствомъ въ то время, какъ сердце разрывается отъ судорогь. Онъгинъ могъ не безъ основанія предполагать и то, что Татьяна внутренно осталась самой собою, и свътъ научилъ ее только искусству владъть собою и серіознъе смотръть на жизнь. Благодатная натура не гибнеть отъ свъта, вопреки мивнію мінцанских философовь; для гибели души и сердца и малый свъть представляеть то но столько же средствъ, сколько и большой. Вся разипца въ формахъ, а не въ сущности. И теперь, въ какомъ же свътъ должна была казаться Онфгину Татьяна, — уже не мечтательная дввушка, повфрявшая лунт и звъздамъ свои задушевныя мысли и разгадывавшая

сны по книгь Мартына Задеки, но женщина, которая знаетъ цвиу всему, что дано ей, которая много потребуеть, но мпого и дастъ. Ореолъ свътскости не могъ не возвысить ее въ глазахъ Онъгина: въ свътъ, какъ и вездъ, люди бывають двухъ родовъ — один привязываются къ формамъ и въ ихъ исполненін видять назначеніе жизни, - это чернь; другіе оть свъта заимствують знаніе людей и жизни, такть действительности и способность вполив владеть всемь, что дано имъ природою. Татьяна принадлежала къ числу последнихъ, и значение светской дамы только возвыщало ее значеніе, какъ женщины. Притомъ же въ глазахъ Онъгина любовь безъ борьбы не имъла никакой прелести, а Татьяна не объщала ему легкой побъды. II онъ бросился въ эту борьбу безъ надежды на побъду, безъ расчета, со всъмъ безумствомъ искренией страсти, которая такъ и дышить въ каждомъ словъ его письма. Но эта пламенная страсть не произвела на Татьяну никакого впечатлънія. Посль нъскольких в посланій, встрытнешися съ нею, Оньгинъ не замътилъ ни смятенія, пи страданія, ни пятенъ слезъ на лицъ — на немъ отражался лишь слъдъ гивва. Онъгинъ на цълую зиму заперся дома и принялся читать:

И что жъ? Глаза его читали,
Но мысли были далеко;
Мечты, желанія, печали
Тъснились въ душу глубоко.
Онъ межъ печатными строками
Читаль духовными глазами
Другія строки. Въ нихъ-то опъ
Быль совершенно углубленъ.
То были тайныя преданья
Сердечной, темной старины.
Ни съ чъмъ не связанные сны,
Угрозы, толки, предсказанья,
Иль длинной сказки взлоръ живой,
Иль письма дъвы молодой.

И постепенно въ усыпленье
И чувствъ и думъ впадаеть онъ,
А передъ нимъ воображенье
Свой пестрый мечеть фараонъ.
То видитъ онъ: на таломъ снътъ
Какъ будто спящій на ночлегъ,
Недвижимъ юноша лежитъ,
И слышитъ голосъ: "что жъ? убитъ!"
То видитъ онъ враговъ забвенныхъ,

Клеветниковъ и трусовъ злыхъ, И рой измѣниццъ молодыхъ, И кругъ товарищей презрѣниыхъ; То сельскій домъ— и у окна Сидитъ она... и все она!...

Мы не будемъ распространяться теперь о сценъ свиданія и объясненія Онвгина съ Татьяною, потому что главная роль въ этой сценъ принадлежить Татьянъ, о которой намъ еще предстоитъ много говорить. Романъ оканчивается отновъдью Татьяны, и читатель навсегда разстается съ Опътниымъ въ самую злую минуту его жизни... Что же это такое? Гдв же романъ? Какая его мысль? И что за романъ безъ конца? --Мы думаемъ, что есть романы, которыхъ мысль въ томъ и заключается, что въ нихъ пътъ конца, потому что въ самой дъйствительности бывають событія безъ развязки, существованія безъ цъли, существа неопредъленныя, никому непопятныя, даже самимъ себъ, словомъ то, что по-французски называется les êtres manqués, les existences avortées. И эти существа часто бывають одарены большими правственными преимуществами, большими духовными силами; объщають много, исполняють мало, или ничего не исполняють. Это зависить не отъ нихъ самихъ; тутъ есть fatum, заключающійся въ действительности, которою окружены они, какъ воздухомъ, и изъ которой не въ силахъ и не во власти человъка освободиться. Другой поэтъ представилъ намъ другого Онъгина подъ именемъ Печорина: Пушкинскій Онфгинъ съ какимъ-то самоотверженіемъ отдался зъвоть; Лермонтовскій Печоринъ бьется насмерть съ жизнью и насильно хочеть у нея вырвать свою долю; въ дорогахъ — разница, а результать одинъ: оба романа такъ же безъ конца, какъ и жизнь, и дъятельность обоихъ поэтовъ...

Что сталось съ Онфгинымъ потомъ? Воскресила ли его страсть для новаго, болфе сообразнаго съ человфческимъ достоинствомъ страданія? Или убила опа всф силы души его, и безотрадная тоска его обратилась въ мертвую, холодную апатію? — Не знаемъ, да и на что намъ знать это, когда мы знаемъ, что силы этой богатой натуры остались безъ приложенія, жизнь безъ смысла, а романъ безъ копца? Довольно и этого знать, чтобъ не захотфть больше ничего знать...

Онѣгинъ — характеръ дѣйствительный, въ томъ смыслѣ, что въ немъ нѣтъ ничего мечтательнаго, фантастическаго, что онъ

могъ быть счастливъ или несчастливъ только въ дъйствительности и черезъ дъйствительность. Въ Ленскомъ Пушкинъ изобразилъ характеръ совершенно отвлеченный, совершенно чуждын дъйствительности. Тогда это было совершенно новое явленіе, и люди такого рода тогда дъйствительно начали по-являться въ русскомъ обществъ.

Съ душою прямо гёттингенской, Красавецъ, въ полномъ цвѣтѣ лѣтъ, Поклонникъ Канта и поэтъ. Онъ изъ Германіи туманной Привезъ учености плоды: Вольнолюбивыя мечты, Духъ пылкій и довольно странный, Всегда восторженную рѣчь, И кудри черныя до плечъ.

Онь пѣль любовь, любви послушный, И пѣснь его была ясна, Какъ мысли дѣвы простодушной, Какъ сонъ младенца, какъ луна Въ пустыняхъ неба безмятежныхъ, Богиня тайнъ и вздоховъ нѣжныхъ. Онъ пѣлъ разлуку и печалъ, И нючто, и туманну далъ, И романтическія розы; Онъ пѣлъ тѣ дальныя страны, Гдѣ долго въ лоно тишины Лились его живыя слезы; Онъ пълъ поблеклый жизни цвътъ, Безг малаго въ осъмнадцатъ лютъ.

Ленскій быль романтикъ по натурѣ и по духу времени. Нѣтъ нужды говорить, что это было существо доступное всему прекрасному, высокому, душа чистая и благородная. Но въ то же время "онъ сердцемъ милый былъ невѣжда", вѣчно толкуя о жизни, никогда не зпалъ ея. Дѣйствительность на него не имѣла вліянія: его радости и печали были созданіемъ его фантазіи. Онъ полюбилъ Ольгу, — и что ему была за нужда, что она не понимала его, что, вышедши замужъ, она сдѣлалась бы вторымъ, исправленнымъ изданіемъ своей маменьки, что ей все равно было выйти — и за поэта, товарища ея дѣтскихъ игръ, и за довольнаго собою и своею лошадью улана? — Ленскій украсилъ ее достоинствами и совершенствами, приписаль ей чувства и мысли, которыхъ въ ней не было и о ко-

торыхъ она и не заботилась. Существо доброе, милое, веселое, — Ольга была очаровательна, какъ и всё "барышии", пока онъ еще не сдълались "барынями"; а Ленскій видълъ въ ней фею, сильфиду, романтическую мечту, ни мало не подозрѣвая будущей барыни. Онъ написалъ "надгробный мадригалъ" старику Ларину, въ которомъ, вѣрный себѣ, безъ всякой проніи, умѣлъ найти поэтическую сторону. Въ простомъ желаніи Онъгина подшутить надъ нимъ онъ увидѣлъ и измѣну, и обольщеніе, и кровавую обиду. Результатомъ всего этого была его смерть, заранѣе воспѣтая имъ въ туманно-романтическихъ стихахъ. Мы нисколько не оправдываемъ Онѣгина, который, какъ говоритъ поэтъ,

Быль должень оказать себя Не мячикомь предразсужденій, Не пылкимь мальчикомь, бойцомь, Но мужемь съ честью и съ умомь, —

по тиранія и деспотизмъ свътскихъ и житейскихъ предразсудковъ таковы, что требуютъ для борьбы съ собою героевъ.
Подробности дуэли Онъгина съ Ленскимъ — верхъ совершенства въ художественномъ отношеніи. Поэтъ любилъ этотъ
идеалъ, осуществленный имъ въ Ленскомъ, и въ прекрасныхъ
строфахъ оплакивалъ его паденіе:

Друзья мон, вамъ жаль поэта:
Во цвѣтѣ радостныхъ надеждъ,
Ихъ не свершивъ еще для свѣта,
Чуть ихъ младенческихъ одеждъ, —
Увялъ! Гдѣ жаркое волненье,
Гдѣ благородное стремленье
И чувствъ и мыслей молодыхъ,
Высокихъ, нѣжныхъ, удалыхъ?
Гдѣ бурныя любви желанья,
И жажда знаній и труда.
И страхъ порока и стыда,
И вы, завѣтныя мечтанья,
Вы, призракъ жизни неземной,
Вы, сны поэзін святой!

Быть можеть, онь для блага міра, Иль хоть для славы быль рождень; Его умолкнувшая лира Гремучій, непрерывный звонь Въ въкахъ поднять могла. Поэта, Быть можеть, на ступеняхъ свъта Ждала высокая ступень.

Его страдальческая тѣнь, Выть можеть, унесла съ собою Святую тайну, и для насъ Погибъ животворящій гласъ. И за могильною чертою Къ ней не домчится гимнъ временъ, Благословенія племенъ. А можеть быть и то: поэта Обыкновенный ждаль удѣль. Прошли бы юношества лѣта, Въ немъ пылъ душц бы охладѣлъ. Во многомъ онъ бы измѣнился, Разстался бъ съ музами, женился; Въ деревиъ, счастливъ и рогатъ, Носиль бы стеганый халать; Узналь бы жизнь на самомь дёль, Подагру бъ въ сорокъ лѣтъ имѣлъ Пиль, фль, скучаль, толстфль, хирфль, И, наконецъ, въ своей постели Скончался бъ посреди дътей, Плаксивыхъ бабъ и лъкарей.

Мы убъждены, что съ Ленскимъ сбылось бы пепремънно послъднее. Въ немъ было много хорошаго, но лучше всего то, что онъ быль молодъ и во-время для своей репутаціи умеръ. Это не была одна изъ тъхъ натуръ, для которыхъ жить значить развиваться и итти впередъ. Это, повторяемъ, быль романтикт, и больше инчего. Останься онъ живъ, Пушкину нечего было бы съ нимъ дълать, кромъ какъ распространить на цълую главу то, что онъ такъ полно высказалъ въ одной строфъ. Люди, подобные Ленскому, при всъхъ ихъ неоспоримыхъ достоинствахъ, не хороши тъмъ, что они или перерождаются въ совершенныхъ филистеровъ, или, если сохранять навсегда свой первоначальный типъ, дълаются этими устарълыми мистиками и мечтателями, которые также непріятны, какъ и старыя пдеальныя дівы, и которые больше враги всякаго прогресса, нежели люди просто, безъ претензій, пошлые. Въчно копаясь въ самихъ себъ и становя себя центромъ міра, они спокойно смотрять на все, что ділается въ мірѣ и твердять о томъ, что счастье внутри насъ, что должно стремиться душою въ надзвъздную сторону мечтаній и не думать о сустахъ этой земли, гдв есть и голодъ и нужда, и... Ленскіе не перевелись и теперь; они только переродились. Въ нихъ уже не осталось ничего, что такъ обаятельно прекрасно было въ Ленскомъ; въ нихъ пътъ дъвственной чистоты его сердца, въ нихъ только претензін на великость и страсть марать бумагу. Всъ они поэты, и стихотворный балластъ въ журналахъ доставляется одинми ими. Словомъ, это теперь самые несносные, самые пустые и пошлые люди.

Великъ подвигъ Пушкина, что онъ первый, въ своемъ романь, поэтически воспроизвель русское общество того времени, и въ лицъ Онъгина и Ленскаго показалъ его главную. т.-е. мужскую сторону; но едва ли не выше подвигъ нашего ноэта въ томъ, что онъ первый поэтически воспроизвелъ въ лиць Татьяны, русскую женщину. Мужчина, во всъхъ состояніяхъ, во встхъ слояхъ русскаго общества, пграетъ первую роль; но мы не скажемъ, чтобы женщина играла у насъ вторую и пизшую роль, потому что она ровно никакой роли не играетъ. Исключение остается только за высшимъ кругомъ, по крайней мъръ, до извъстной степени. Давно бы пора намъ сознаться, что, несмотря на нашу страсть во всемъ копировать европейскіе обычан, несмотря на наши балы съ танцами, несмотря на отчаяніе славянолюбовъ, что мы совсёмъ переродились въ ифмцевъ, — несмотря на все это, пора цамъ, наконецъ, признаться, что еще и до сихъ поръ мы — плохіе рыцари, что наше внимание къ женщинъ, наша готовность жить и умереть для нея, до сихъ поръ какъ-то театральны и отзываются модною свътскою фразой, и притомъ еще не собственнаго нашего изобрътенія, а заимствованною. Чего добраго! теперь и "поштенное купечество съ бородою, отъ которой попахиваетъ "маненько" капустою и лучкомъ, даже и оно, пдя по улица съ "хозяйкою", ведеть ее подъ руку, а не толкаетъ въ спину колвномъ, указывая дорогу и зака. зывая завать по сторонамъ; но дома... Однако, зачемъ говорить, что бываетъ дома? Зачемъ выносить соръ изъ избы?... Набравшись готовыхъ чужихъ фразъ, кричимъ мы и въ стихахъ и въ прозф: "женщина — царица общества; ел очаровательнымъ присутствіемъ украшается общество" и т. п. Но посмотрите на наши общества (за исключеніемъ высшаго свътскаго): вездъ мужчины — сами по себъ, женщины — сами по себъ. И самый отчаянный любезшикъ, сидя съ женщинами. какъ-будто жертвуетъ собою изъ вѣжливости, потомъ встаетъ и съ утомленнымъ видомъ, словно послъ тяжкой работы. идетъ въ комнату мужчинъ, какъ бы для того, чтобъ свободно вздохнуть и освъжиться. Въ Европъ женщина дъйствительно царица общества: весель и гордъ мужчина, съ которымъ она больше говорить, чъмъ съ другими. У насъ наобороть: у насъ женщина ждетъ, какъ милости, чтобы мужчина заговорилъ съ нею; она счастлива и горда его вниманіемъ. И какъ же быть иначе, если то, что называется тономъ и любезностью, у насъ называется жеманствомъ, если у насъ всъ любятъ поэзію только въ кингахъ, а въ жизци боятся ея пуще чумы и холеры. Какъ вы подадите руку дъвушкъ, если она не смъетъ опереться на нее, не испросивъ позволенія у своей маменьки? Какъ вы рѣшитесь говорить съ нею много и часто, если знаете, что за это сочтутъ васъ влюбленнымъ въ нее или даже и огласять ея женихомъ? Это значило бы скомпрометировать ее и самому попасть въ бъду. Если васъ сочтутъ влюбленнымъ въ нее, вамъ некуда будеть дъваться отъ лукавыхъ и остроумныхъ намековъ и насмешекъ друзей вашихъ, отъ наивныхъ и добродушныхъ разспросовъ совершенно постороннихъ вамъ людей. Но еще хуже вамъ, когда заключатъ, что вы хотите жениться на ней: если ея родители не будутъ видъть въ васъ выгодной партін для своей дочери, они откажуть вамь оть дома и строго запретять дочери быть любезною съ вами въ другихъ домахъ; если они увидятъ въ васъ выгодную партію, повая бъда, страшиве прежней: раскинутъ стти, ловушки, и вы, пожалуй, увидите себя сочетавшимся законнымъ бракомъ прежде, нежели успъете опомниться и спросить себя: да какъ же и когда же случилось все это? Если же вы человъкъ съ характеромъ и не поддадитесь, то наживете "исторію", которую долго будете помнить. Отчего все это происходить? — Оттого, что у насъ не понимають и не хотять понимать, что такое женщина, не чувствують въ ней никакой потребности, не желають и не ищуть ея, словомъ, оттого, что у насъ пътъ женщины. У насъ "прекрасный поль существуеть только въ романахъ, повъстяхъ, драмахъ и элегіяхъ; но въ дъйствительности онъ раздъляется на четыре разряда: на дъвочекъ, на невъстъ, на замужнихъ женщинъ и, наконецъ, на старыхъ девъ и старыхъ бабъ. Первыми, какъ дътьми никто не интересуется; последнихъ вев боятся и ненавидять (и часто по двломь); следовательно, нашъ прекрасный полъ состоитъ изъ двухъ отдъловъ: изъ дъвицъ, которыя должны выйти замужъ, и изъ женщинъ,

которыя уже замужемъ. Русская дъвушка — не женщина въ европейскомъ смыслъ этого слова, не человъкъ: она не что другое, какъ невъста. Еще ребенкомъ она называетъ своими женихами всъхъ мужчинъ, которыхъ видитъ въ своемъ домъ, и часто объщаетъ выйти замужъ за своего папашу, или за своего братца; еще въ колыбели ей говорили и мать и отецъ, и сестры и братья, и мамки и няньки, и весь окружающій ее людъ, что она — невѣста, что у ней должны быть женихи. Едва исполнится ей двънадцать лътъ, и мать, упрекая ее въ лености, въ неумени держаться и тому подобныхъ недостаткахъ, говоритъ ей: "не стыдно ли вамъ, сударыня: въдь вы уже невъста!" Удивительно ли послъ этого, что она не умъеть, не можеть смотръть сама на себя какъ на женственное существо, какъ на человъка, и видитъ въ себъ только певъсту? Удивительно ли, что, съ раннихъ лътъ до поздней молодости, иногда даже, и до глубокой старости, всв думы, всъ мечты, всъ стремленія, всъ молитвы ея сосредоточены на одной idée fixe: на замужествъ, — что выйти замужъ — ея единственное, страстное желаніе, ціль и смысль ея существованія, что виб этого она ничего не понимаеть, ни о чемъ не думаетъ, ничего не желаетъ, и что на всякаго неженатаго мужчину она смотрить опять не какъ на человъка, а только какъ на жениха? И виновата ли она въ этомъ? — Съ восемнадцати лътъ она начинаетъ уже чувствовать, что она -- дочь своихъ родителей, не любимое дитя ихъ сердца, не радость и счастье своей семьи, не украшеніе своего родного крова, а тягостное бремя, готовый залежаться товаръ, лишняя мебель, которая, того и гляди, спадеть съ цъны и не сойдеть съ рукъ. Что же остается ей дълать, если не сосредоточить всёхъ своихъ способностей на пскусстве довить жениховъ? II тъмъ болъе, что только въ одномъ этомъ отношении и развиваются ея способности, благодаря урокамъ "дражайшихъ родителей", милыхъ тетушекъ, кузинъ и т. д. За что больше всего упрекаетъ и бранитъ свою дочь попечительница-маменька? — За то, что она не умфетъ держаться, стропть глазки и гримаски хорошимъ женихамъ, или за то, что расточаетъ свою любезность передъ людьми, которые не могутъ быть для нея выгодною партіей. Чему она больше всего учить ее? — кокетинчать по расчету, притворяться ангеломъ, прятать подъ мягкою, лосиящеюся шерсткой кошачьи лапки,

кошачьи когти. И какова бы ни была по своей натуръ бъдная дочь, — она невольно входить въ роль, которую дала ен жизнь и въ таинство которой ее такъ прилежно, такъ основательно посвящаютъ. Дома ходитъ она неряхою, съ непричесанною головой, въ запачканномъ, узенькомъ и короткомъ илатыншкъ линючаго ситца, въ стоптанныхъ башмакахъ, въ грязныхъ, спустившихся чулкахъ: въ деревив, въдь, кто же насъ видитъ, кромф дворни, — а для нея стоитъ ли рядиться? Но лишь вдоль дороги завиделся экипажъ, объщающій неожиданныхъ гостей, — наша невъста подымаетъ руки и долго держить ихъ надъ головою, крича впоныхахъ: гости ъдутъ, гости фдутъ! Отъ этого руки изъ красныхъ дъдаются бълыми: "затъя сельской остроты!" Затъмъ, весь домъ въ смятенін: маменька и дочь умываются, причесываются, обуваются и на грязное бълье надъвають шерстяныя или шелковыя платья, пять льть назадь тому сшитыя. О чистоть былья заботиться смфино: вфдь бфлье подъ платьемъ, и его никто не видитъ, а рядиться — извъстное дъло — надо для другихъ, а не для себя. Но вотъ, рано или поздио, наконецъ, тайныя стремленія и жаркіе объты готовы свершиться: кандидать-невъста уже дъйствительная невъста и рядится только для жениха. Она давно его знала, но влюбилась въ него только съ той минуты, какъ попяла, что онъ имъетъ на нее виды. И ей кажется, что она, дъйствительно, влюблена въ него. Бользненное стремленіе къ замужеству и радость достиженія способны въ одпу минуту возбудить любовь въ сердцъ, которое такъ давно уже раздражено тайными и явными мечтами о бракъ. Притомъ же, когда дъло къ спъху и торопятъ, то поневолъ влюбитесь сразу, не имъя времени спросить себя, точно ли вы любите, или вамъ только кажется, что любите... Но "дражаншіе родители" учили свою дочь только некусству во что бы ни стало выйти замужъ; подготовить же ее къ состоянію замужества, объяснить ей обязанности, — они не подумали. И хорошо сдълали: ивтъ ничего безполезиве и даже вредиве, какъ наставленія. хотя бы и самыя дучшія, если они не подкрапляются примарами не оправдываются, въ глазахъ ученика, всею совокупностью окружающей его действительности. "Я вамъ примъръ, сударыня!" безпреставно повторяеть диктаторскимъ тономъ мать своей дочери. И дочь преспокойно копируетъ свою мать, тотовя въ своей особъ свъту и будущему мужу второй экзем-

пляръ своей маменьки. Если ея мужъ — человъкъ богатый, онъ будеть доволенъ своею женою: дома у нихъ какъ полная чаша, всего много, хотя все безвкусно, нелѣпо, грязно, въ безпорядкъ, вычищается только передъ большими праздниками (и тогда въ домъ подымается возня, дълается вавилонское столнотвореніе въ лицахъ); дворня огромная, слугь бездна, а не у кого допроситься стакана воды, не кому подать вамъ чашку чаю... А педавняя невъста, теперь молодая дама? — О, она живетъ въ "полномъ удовольствін"! она, наконецъ, достигла цъли своей жизни, она уже не спрота, не пріемышъ, не лишнее бремя въ родительскомъ домъ: она хозяйка у себя дома, сама себъ госпожа, пользуется полною свободой, вздитъ куда и когда хочетъ, принимаетъ у себя кого ей угодно; ей уже ненужно болъе притворяться то невинною овечкою, то кроткимъ ангеломъ; она можетъ капризничать, падать въ обморокъ, повельвать, мучить мужа, дътей, слугъ. У ней бездна затъй: карета — не карета, шаль — не шаль, дорогихъ пгрушекъ вдоволь; она живетъ барыней-аристократкой, никому не уступаетъ, но всъхъ превосходитъ, и мужъ ея едва успъваетъ закладывать и перезакладывать имъніе... Дитя новаго покольнія, она убрала по возможности пышно, хотя и безвкусно, залу и гостиную, кое-какъ наблюдаетъ въ нихъ даже какую-то получистоту, полуопрятность: втдь это комнаты для гостей, комнаты парадныя, комнаты напоказъ; полное торжество грязи можетъ быть только въ спальной и детской, въ кабинете мужа, - словомъ, во внутрениихъ комнатахъ, куда гости не ходятъ. А у нея безпрестанно гости, возлъ нея безпрестанно кружокъ; но она плъняетъ гостей своихъ не свътскимъ умомъ, не граціею своихъ манеръ, не очарованіемъ своего увлекательнаго разговора,нътъ, она только старается показать имъ, что у нея всего много, что она богата, что у нея все лучше — и убранство комнать, и угощеніе, и гости, и лошади, что она не кто-нибудь, что такихъ, какъ она, не много... Содержаніе разговоровъ составляютъ сплетии и паряды, наряды и сплетии. Богъ благословилъ ея замужество — что ни годъ, то ребенокъ. Какъ же будеть воспитывать дътей своихъ! — Да точно такъ же, какъ сама была воспитана своею маменькою: пока малы, они прозябають въ дътской, среди мамокъ и нянекъ, среди горничныхъ, на лопъ холопства, которое должно внушить имъ первыя правила правственности, развить въ нихъ благородные инстинкты, объяснить имъ различіе домового отъ лѣшаго, вѣдьмы отъ русалки, растолковать разныя примѣты, разсказать всевозможныя исторіи о мертвецахъ и оборотняхъ, выучить ихъ браниться и драться, лгать не краснѣя, пріучить безпрестанио ѣсть, никогда не наѣдаясь. И милыя дѣти очень довольны сферою, въ которой живутъ: у нихъ есть фавориты между прислугою и есть нелюбимые; они живутъ дружно съ первыми, ругаютъ и колотятъ послѣднихъ. Но вотъ они подросли: тогда отецъ дѣлай, что хочетъ, съ мальчиками, а дѣвочекъ поучатъ прыгать и шнуроваться, немножко бренчать на фортепіано, немножко болтать по-французски — и воспитаніе кончено; тогда имъ одна наука, одна забота — ловить жениховъ.

Но если наша невъста выйдетъ за человъка небогатаго, хотя и не бъднаго, но живущаго немного выше своего состоянія, посредствомъ умѣнія строгимъ порядкомъ сводить концы съ концами: тогда горе ея мужу! Она въ своей деревпѣ никогда инчего не дѣлала (потому что барышиля вѣдь не лолопка какая-нибудь, чтобы стала что-нибудь дѣлать), ничѣмъ не занимаясь, не знаетъ хозяйства, а что такое порядокъ, чистота, опрятность въ домѣ,— этого она нигдѣ не видала, объ этомъ она ни отъ кого не слыхала. Для нея выйти замужъ — зпачитъ сдѣлаться барынею; стать хозяйкою, значитъ — повелѣвать всѣми въ домѣ и быть полною госпожею своихъ поступковъ. Ея дѣло — не сберегать, не выгадывать, а покупать и тратить, наряжаться и франтить.

И пеужели вы обвиняете ее во всемъ этомъ? Какое имъете вы право требовать отъ нея, чтобы она была не тъмъ, чъмъ сами же вы ее сдълали? Можете ли вы обвинить даже ея родителей? Развъ не вы сами сдълали изъ женщины только невъсту и жену, и ничего болье? Развъ когда-нибудь подходили вы къ ней безкорыстно, просто безъ всякихъ видовъ, для того только, чтобъ насладиться этимъ ароматомъ, этою гармоніею женственнаго существа, этимъ поэтическимъ очарованіемъ присутствія и общества жещины, которыя такъ кротко, успоконтельно и обаятельно дъйствуютъ на жесткую натуру мужчины? Желали ль вы когда-нибудь имъть друга въ женщинъ, въ которую вы совсъмъ не влюблены, сестру въ женщинъ вамъ посторонней? — Иътъ! если вы входите

въ женскій кругъ, то пе иначе, какъ для выполненія обычая. приличія, обряда; если танцуете съ женщиною, то потому только, что мужчинамъ танцовать съ мужчинами пе принято. Если вы обращаете на одну женщину исключительное свое вниманіе, то всегда съ положительными видами — ради женитьоы или волокитства. Вашъ взглядъ на женщину чисто утилитарный, почти коммерческій: одна для васъ — капиталъ съ процентами, деревня, домъ съ доходомъ: если пе это, такъ кухарка, прачка, ключинца, нянька, много, много, если одалиска...

Конечно, изъ всего этого бываютъ исключенія; но общество состоить изъ общихъ правиль, а не изъ исключеній, которыя всего чаще бывають бользненными наростами на тыль общества. Эту грустную истину всего лучше подтверждають собою наши такъ называемыя "идельныя дъвы". Онъ, обыкновенно, страстныя любительницы чтенія, и читають, много и скоро, вдять книги. Но какъ и что читають опъ, Боже великій!... Всего достолюбезиве въ пдеальныхъ дввахъ уввренность ихъ, что они понимаютъ то, что читаютъ, и что чтеніе приносить имъ большую пользу. Всв онв обожательницы Пушкина, — что однакожъ не мѣшаетъ имъ отдавать должную справедливость и таланту г. Бенедиктова; пныя изъ нихъ съ удовольствіемъ читаютъ даже Гоголя, — что однакожъ нисколько не мъшаетъ имъ восхищаться повъстями гг. Марлинскаго и Полевого. Все, что въ ходу, о чемъ пишутъ и говорять въ настоящее время, все это сводить ихъ съ ума. Но во всемъ этомъ онъ видятъ свою любимую мысль, оправдание своей настроенпости, т.-е. пдеальность, — видять ее даже и тамъ, гдѣ ея вовсе нътъ, или гдъ она осмънвается. У всъхъ у нихъ есть завътныя тетрадки, куда онъ списывають стишки, которые имъ понравятся, мысли, которыя поразять ихъ въ книгъ. Онъ любять гулять при лунь, смотрыть на звызды, слыдить за теченіемъ ручейка. Онъ очень наклонны къ дружбъ, и каждая ведеть двятельную переписку съ своей пріятельницею, которая живетъ съ нею въ одной деревив, а пногда и въ одномъ домъ, только въ разныхъ комнатахъ. Въ перепискъ (огромными тетрадищами) сообщають онв другь другу свои чувства, мысли. впечатленія. Сверхъ того, каждая изъ нихъ ведеть свой дневникъ, весь наполненный "выписными чувствами", въ которыхъ (какъ во всъхъ двевникахъ идеальныхъ и внутреннихъ

натуръ мужеска и женска пола) нътъ ничего живого, истиннаго, только претензія и идеальничанье. Онъ презирають толпу и землю, и питаютъ непримиримую ненависть ко всему матеріальному. Эта ненависть у нихъ часто простирается до желанія вовсе отришиться отъ матерін. Для этого они морять себя голодомъ, не вдять иногда по цвлой недвлв, жгуть на свъчкъ пальцы, кладуть себъ на грудь подъ платье спъту, пьютъ уксусъ и чернила, отучають себя отъ сна, -- и этимъ стремленіемъ къ высшему, идеальному существованію до того успъваютъ разстроить свои нервы, что скоро превращаются въ одну живую и самую матеріальную болячку... Въдь крайности сходятся! Всъ простыя человъческія, и особенно женскія чувства, какъ напр., страстность, способная къ увлеченію чувствъ, любовь материнская, склонность къ мужчинъ, въ которомъ нътъ ничего необыкновеннаго, геніальнаго, который не гонимъ несчастіемъ, не страдаетъ, не бъденъ, - всв такія простыя чувства кажутся имъ пошлыми, ничтожными, смъшпыми и презрънными. Особенно питересны понятія "идеальныхъ дъвъ" о любви. Всъ онъ — жрицы любви, думаютъ, мечтаютъ, говорятъ и пишутъ только о любви. Но онв признають только любовь чистую, неземную, идеальную, платоническую. Бракъ есть профанація любви въ ихъ глазахъ; счастіе — опошленіе любви. Имъ непремънно надо любить въ разлукъ, и ихъ высочайшее блаженство - мечтать при лунъ о предметъ своей любви и думать: "можетъ быть, въ эту минуту, и оиз смотрить на лупу и мечтаеть обо мив; такъ, для любви ивтъ разлуки!" Жалкія рыбы съ холодною кровью, идеальныя дёвы считають себя птицами; плавая въ мутной водъ искусственно первической экзальтаціи, онъ думають, что парять въ облакахъ высокихъ чувствъ и мыслей. Имъ чуждо все простое, истинное, задушевное, страстное; думая любить все "высокое и прекрасное", онъ любять только себя; онъ п не подозравають, что только ташать свое мелкое самолюбіе трескучими шутихами фантазін, думая быть жрицами любии и самоотверженія. Многія изъ нихъ не прочь бы и отъ замужества, и при первой возможности вдругъ измѣняютъ свои убъжденія, и изъ идеальныхъ дъвъ скоро дълаются самыми простыми бабами; но въ иныхъ способность обманывать себя призраками фантазін доходить до того, что опф на всю жизнь остаются восторженными дъвственницами, и такимъ образомы

до семидесяти лътъ сохраняютъ способность къ сентиментальной экзальтаціи, къ первическому пдеализму. Самыя лучшія изъ этого рода женщивъ рано или поздно образумливаются; по прежнее ихъ ложное направленіе навсегда дълается чернымъ демономъ ихъ жизни и, подобно дурно залѣченной болѣзии, отравляютъ ихъ спокойствіе и счастіе. Ужасиѣе всѣхъ другихъ тѣ изъ пдеальныхъ дѣвъ, которыя не только не чуждаются брака, но въ бракѣ съ предметомъ любви своей видятъ высшее земное блаженство: при ограниченности ума, при отсутствіи всякаго правственнаго развитія и при испорченности фантазіи, онѣ создаютъ пдеалъ брачнаго счастія, — и когда увидятъ невозможность осуществленія ихъ пелѣнаго пдеала, то вымѣщаютъ на мужьяхъ горечь своего разочарованія.

Пдеальными девами всехъ родовъ бывають, по большей части, дъвицы, которыхъ развитіе было предоставлено имъ же самимъ. И какъ винить ихъ въ томъ, что, вмѣсто живыхъ существъ, изъ нихъ выходятъ правственные уроды? Окружающая ихъ положительная дъйствительность въ самомъ дълъ очень пошла, и ими невольно овладъваетъ неотразимое убъжденіе, что хорошо только то, что не похоже, что діаметрально противоположно этой действительности. А между темъ, самобытное, не на почвъ дъйствительности, не въ сферъ общества совершающееся развитіе, всегда доводить до уродства. И такимъ образомъ имъ предстоятъ двъ крайности: или быть пошлыми на общій манеръ, быть пошлыми какъ всь, или быть пошлыми оригинально. Онъ избираютъ послъднее, но думаютъ, что съ земли перепрыгнули за облака, тогда какъ въ самомъ-то дёлё только перевалилась изъ положительной пошлости въ мечтательную пошлость. И что всего грустиве: между подобными несчастными созданіями бывають натуры, не лишенныя истинной потребности болже или менже человжческиразумнаго существованія и достойныя лучшей участи.

Но среди этого міра нравственно-увѣчныхъ явленій, изрѣдка удаются истинно-колоссальныя исключенія, которыя всегда дорого платятся за свою исключительность и дѣлаются жертвами собственнаго своего превосходства. Натуры геніальныя, не подозрѣвающія своей геніальности, онѣ безжалостно убиваются безсознательнымъ обществомъ, какъ очистительная жертва за его собственные грѣхи... Такова Татьяна Пушкина. Вы коротко знакомы съ почтеннымъ семенствомъ Лариныхъ. Отенъ—

не то, чтобы ужъ очень глупъ, да и не совсѣмъ уменъ; не то. чтобы человѣкъ, да и не звѣрь, а что-то въ родѣ полипа, принадлежащаго въ одно и то же время двумъ царствамъ природы — растительному и животному.

Онъ быль простой и добрый баринь. И тамь, гдё прахь его лежить, Надгробный памятникь гласить: "Смиренный грпшникь Дмитрій Ларинь, Господній рабт и бригадирт, Подт камнемь симь вкушаеть мирь".

Этотъ миръ, вкушаемый подъ камнемъ, былъ продолженіемъ того же мира, которымъ "добрый баринъ" наслаждался при жизни подъ татарскимъ халатомъ. Бываютъ на свътъ такіе люди, въ жизни и счастіи которыхъ смерть не производитъ ровно никакой перемъны. Отецъ Татьяны принадлежалъ къ числу такихъ счастливцевъ. Но маменька ся стояла на высшей ступени жизни, сравнительно съ своимъ супругомъ. До замужества, она обожала Ричардсона, не потому, чтобы прочла его, а потому, что отъ своей московской кузины наслышалась о Грандиссонъ. Помолвленная за Ларина, она втайнъ вздыхала о другомъ. Но ее повезли къ вънцу, не спроспышись ея совъта. Въ деревиъ мужа она сперва терзалась и рвалась, а потомъ привыкла къ своему положенію и даже стала имъ довольна, особенно съ тѣхъ поръ, какъ постигла тайну самовластно управлять мужемъ.

Она ѣзжала по работамъ, Солила на зиму грибы, Вела расходы, брила лбы, Ходила въ баню по субботамъ, Служанокъ била осердясь — Все это мужа не спросясь.

Бывало писывала кровью
Она въ альбомы нѣжныхъ дѣвъ,
Звала Полиною Прасковью
И говорила нараспѣвъ;
Корсетъ носила очень узкій,
И русскій Н, какъ N французскій
Произносить умѣла въ носъ;
Но скоро все перевелось:
Корсетъ, альбомъ, княжну Полину,
Стишковъ чувствительныхъ тетрадь

Она забыла — стала звать Акулькой прежнюю Селину, И обновила, наконець, На ватъ шлафоръ и чепецъ.

Словомъ, Ларины жили чудесно, какъ живутъ на этомъ свътъ милліоны людей. Однообразіе семейной ихъ жизни нарушалось гостями:

Подъ вечеръ иногда сходилась Сосѣдей добрая семья, Нецеремонные друзья, — И потужить, и позлословить, И посмѣяться кой о чемъ.

Ихъ разговоръ благоразумный О сѣнокосѣ, о винѣ, О псариѣ, о своей родиѣ, Конечно, не блисталъ ни чувствомъ, Ни поэтическимъ огнемъ, Ни остротою, ни умомъ, Ни общежитія искусствомъ; Но разговоръ ихъ милыхъ женъ Еще былъ менѣе ученъ.

И вотъ, кругъ людей, среди которыхъ родилась и выросла Татьяна! Правда, туть были два существа, рёзко отдёлявшіяся отъ этого круга — сестра Татьяны, Ольга, и женихъ последней, Ленскій. Но и не этимъ существамъ было понять Татьяну. Она любила ихъ, просто, сама не зная за что, частью по привычкъ, частью потому, что они еще не были пошлы; но она не открывала имъ внутренняго міра души своей; какое-то темное, инстинктивное чувство говорило ей, что они — люди другого міра, что они не поймуть ея. И дъйствительно, поэтическій Ленскій далеко не подозръваль, что такое Татьяна: такая женщина была не по его восторженной натуръ и могла ему казаться скоръе странною и холодною, нежели поэтическою. Ольга еще менъе Ленскаго могла понять Татьяну. Ольга — существо простое, непосредственное, которое никогда пи о чемъ не разсуждало, ни о чемъ не спрашивало, которому все было ясно и понятно по привычкъ и которое все зависъло отъ привычки. Она очень плакала о смерти Ленскаго, но скоро утъшилась, вышла за улана и, изъ граціозной и милой дёвочки, сдёлалась дюжинной барыней, повторивъ собою свою маменьку, съ небольшими измъненіями, которыхъ требовало время. Но совсьмъ не такъ легко опредълить характеръ Татьяны. Натура Татьяны не многосложна, но глубока и сильна. Въ Татьянъ нътъ этихъ бользненныхъ противоржчій, которыми страдаютъ слишкомъ сложныя натуры; Татьяна создана какъ будто вся изъ одного цъльнаго куска, безъ всякихъ придълокъ и примъсей. Вся жизнь ея проникнута тою целостностью, темъ единствомъ. которое въ мірф искусства составляетъ высочайшее достоинство художественнаго произведенія. Страстно влюбленная, простая деревенская довушка, потомъ свотская дама. — Татьяна во всъхъ положеніяхъ своей жизни всегда одна и та же: портреть ся въ дътствъ, такъ мастерски написанный поэтомъ впоследствін, является только развившимся, но не измънившимися:

> Дика, печальна, молчалива, Какъ лань лѣсная боязлива, Она въ семьѣ своей родной Казалась дѣвочкой чужой. Она ласкаться не умѣла Къ отцу, ни къ матери своей; Дитя сама, въ толпѣ дѣтей Играть и прыгать не хотѣла, И часто цѣлый день одна Сидѣла молча у окна.

Задумчивость была ся подругою съ колыбельныхъ дней, укращая однообразіе ся жизни: пальцы Татьяны не знали иглы, и даже ребенкомъ она не любила куколъ, и ей чужды были дътскія шалости; ей быль скученъ и шумъ и звонкій смъхъ дътскихъ игръ; ей больше нравились страшные разсказы въ зимній вечеръ. И потому она скоро пристрастилась къ романамъ, и романы поглотили всю жизнь ея.

Она любила на балконѣ
Предупреждать зари восходъ,
Когда на блѣдномъ небосклонѣ
Звѣздъ исчезаетъ хороводъ,
И тихо край земли свѣтлѣетъ,
И вѣстникъ утра, вѣтеръ вѣетъ,
И всходитъ постепенно день.
Зимой, когда ночная тѣнь
Полміромъ долѣ обладаетъ,
И долѣ въ праздной тишинѣ,

При отуманенной лупъ, Востокъ лънивый почиваетъ, Въ привычный часъ пробуждена Вставала при свъчахъ она.

Итакъ, лѣтнія ночи посвящались мечтательности, зимнія — чтепію романовъ, — и это среди міра, имѣвшаго благоразумную привычку громко храпѣть въ это время! Какое противорѣчіе между Татьяною п окружающимъ ее міромъ! — Татьяна это рѣдкій прекрасный цвѣтокъ, случайно выросшій въ разселинѣ дикой скалы,

Незнаемый въ травъ глухой Ни мотыльками ни пчелой.

Эти два стиха, сказанные Пушкинымъ объ Ольгъ, гораздо больше идуть къ Татьянъ. Какіе мотылки, какія пчелы могли знать этотъ цвътокъ или илъняться имъ? Развъ безобразные слъпни, оводы и жуки, въ родъ господъ Пыхтина, Булнова. Пътушкова и тому подобныхъ? Да, такая женщина, какъ Татьяна, можетъ плънять только людей, стоящихъ на двухъ крайнихъ ступеняхъ правственнаго міра, или такихъ, которые были бы въ уровень съ ея натурою, и которыхъ такъ мало на свътъ, или людей совершенно пошлыхъ, которыхъ такъ много на свътъ. Этимъ послъднимъ Татьяна могла правиться лицомъ, деревенскою свъжестью и здоровьемъ, даже дикостью своего характера, въ которой они могли видъть кротость, послушливость и безотвътность въ отношении къ будущему мужу — качества драгоценныя для ихъ грубой животности, не говоря уже о расчетахъ на приданое, на родство п т. п. Стоящіе же въ серединъ между этими двумя разрядами людей всего менње могли оцфиить Татьяну. Надобно сказать, что всв эти серединныя существа, занимающія місто между высшими натурами и чернью человівчества, эти таланты, служащіе связью геніальности съ толпою, по большей части — все люди "идеальные", подъ-стать идеальцымъ дъвамъ, о которыхъ мы говорили выше. Эти идеалисты думають о себъ, что они исполнены страстей, чувствъ, высокихъ стремленій, но въ сущности все дѣло заключается въ томъ, что у нихъ фантазія развита насчеть всёхъ другихъ способностей, преимущественно разсудка. Въ нихъ есть чувство; но еще больше сентиментальности, и еще больше

охоты и способности наблюдать свои ощущенія и въчно толковать о нихъ. Въ нихъ есть и умъ, но не свой, а вычитанный, книжный, и потому въ ихъ умъ часто бываетъ много блеска, но никогда не бываетъ дъльности. Главное же, что всего хуже въ нихъ, что составляетъ ихъ самую слабую сторону, ихъ ахиллесовскую пятку, — это то, что въ шихъ нътъ страстей, за исключеніемъ только самолюбія, и то мелкаго, которое ограничивается въ нихъ темъ, что они бездеятельно и безплодно погружены въ созерцание своихъ внутреннихъ достоинствъ. Натуры теплыя, но также не холодныя, какъ и не горячія, онъ дъйствительно обладають жалкою способностью вспыхивать на минуту отъ всего и ни отъ чего. Поэтому они только и толкують, что о своихъ пламенныхъ чувствахъ, объ огнъ, пожирающемъ ихъ душу, о страстяхъ, обуревающихъ ихъ сердце, не подозръвая, что все это дъйствительно буря, но только не на морт, а въ стакант воды. И нътъ людей, которые бы менъе ихъ способны были оцънить истинное чувство, понять истинную страсть, разгадать человъка, глубоко чувствующаго, неподдъльно страстнаго. Такіе люди не поняли бы Татьяны: они рѣшили бы всѣ въ голосъ, что, если она не дура пошлая, то очень странное существо, и что, во всякомъ случав, она холодна, какъ ледъ, лишена чувства и неспособна къ страсти. И какъ же иначе? Татьяна модчадива, дика, ничемъ не увлекается, ничему не радуется, ни отъ чего не приходитъ въ восторгъ, ко всему равнодушна, ни къ кому не ласкается, ни съ къмъ не дружится, никого не любитъ, не чувствуетъ потребности перелить въ другого свою душу, тайны своего сердца, а главное — не говоритъ ни о чувствахъ вообще ни о своихъ собственныхъ въ особенности?... Если вы сосредоточены въ себъ, и на вашемъ лицъ нельзя прочесть внутренняго пожирающаго васъ огня, - мелкіе люди, столь богатые прекрасными мелкими чувствами, тотчасъ объявять васъ существомъ хододнымъ, эгоистомъ, отнимутъ у васъ сердце и оставятъ при васъ одинъ умъ, особенно, если вы имъете наклонность пронизировать надъ собственнымъ чувствомъ, хотя бы то было изъ цъломудреннаго желанія замаскировать его, не любя имъ ни нграть ни щеголять...

Повторяемъ: Татьяна — существо исключительное, натура глубокая, любящая, страстиая. Любовь дль нея могла быть

пли величайшимъ блаженствомъ, или величаншимъ бъдствіемъ жизии, безъ всякой примирительной середины. При счасти взаимности любовь такои женщины — ровное, свътдое илами; въ противиомъ случав — унорное пламя, которому сила воли, можетъ-быть, не позводить прорваться наружу, но которое тьмъ разрушительные и жгучее, чымъ больше оно сдавлено внутри. Счатливая жена, Татьяна спокойно, по тъмъ не менње страстно и глубоко любила бы своего мужа, вполив пожертвовала бы собою дътямъ, вся отдалась бы своимъ магеринскимъ обязанностямъ, но не по разсудку, а опять по сграсти, и въ этой жертвъ, въ строгомъ выполнени своихъ обязанностей, нашла бы свое величайшее наслаждение, свое верховное блаженство. И все это безъ фразъ, безъ разсужденій, съ этимъ спокойствіемъ, съ этимъ вившинмъ безстрастіемъ, съ этою наружною холодностью, которыя составляють достоинство и величіе глубокихь и сильныхь натурь. Такова Татьяна. Но это только главныя и, такъ сказать, общія черты ея личности: взглянемь па форму, въ которую вылилась эта личность, посмотримъ на тъ особенности, которыя составляють ея характерь.

Татьяна не избъгла горестиой участи подпасть подъ разрядь идеальныхъ дъвъ, о которыхъ мы говорили. Правда, мы сказали, что она представляетъ собою колоссальное исключеніе въ мірѣ подобныхъ явленій, — и теперь не отпираемся отъ своихъ словъ. Татьяна возбуждаетъ не смѣхъ, а живое сочувствіе, — но это не потому, чтобъ она вовсе не походила на лидеальныхъ дѣвъ", а потому, что ел глубокая, страстная натура заслонила въ ней собою все, что есть смѣшпого и пошлаго въ идеальности этого рода, и Татьяна осталась естественно-простою въ самой искусственности и уродливости формы, которую сообщила ей окружающая ее дѣйствительность. Съ одной стороны —

Татьяна върила преданьямъ Простонародной старины: И снамъ, и карточнымъ гаданьямъ, И предсказаніямъ луны. Ее тревожили предметы: Таннственно ей всъ примъты Провозглашали что-нибудь, Предчувствія тъснили грудь.

Съ другой стороны, Татьяна любила бродить по полямъ,

Съ печальной думою въ очахъ, Съ французской книжкою въ рукахъ.

Это дивное соединение грубыхъ, вульгарныхъ предразсудковъ со страстью къ французскимъ книжкамъ и съ уваженіемъ къ глубокому творенію Мартына Задеки возможно въ русской женщинь. Весь внутренній міръ Татьяны заключался въ жаждъ любви; ничто другое не говорило въ ел душъ; умъ ея спаль, и только развъ тяжкое горе жизни могло потомъ разбудить его, — да и то для того, чтобы сдержать страсть и подчинить ее расчету благоразумной морали... Двическіе дни ея ничъмъ не были заняты; въ нихъ не было своей череды труда и досуга, не было тёхъ регулярныхъ заиятій, свойственныхъ образованной жизни, которыя держать въ равновъсіп правственныя сплы человъка. Дикое растеніе, вполнъ предоставленное самому себъ, Татьяна создала себъ свою собственную жизнь, въ пустотъ которой тъмъ мятежнъе горълъ пожиравшій ее внутренній огонь, что ел умъ ничъмъ не былъ занятъ.

> Давно ея воображенье, Сгорая нѣгой и тоской, Алкало пищи роковой; Давно сердечное томленье Тѣснило ей младую грудь; Душа ждала... кого-нибудь, И дождалась. Открылись очи; Она сказала: это онг! Увы! теперь и дни, и ночи, И жаркій, одинокій сопь, — Все полно имъ; все дѣвѣ милой Безъ умолку, волшебной силы Твердить о немь.....

Теперь съ какимъ она вниманьемъ Чптаетъ сладостный романъ, Съ какимъ живымъ очарованьемъ Пьетъ обольстптельный обманъ! Счастливой силою мечтанья Одушевленныя созданья, Любовникъ Юліп Вольмаръ, Малекъ-Адель и де Линаръ, И Вертеръ, мученикъ мятежный И безподобный Грандисонъ, Который намъ наводитъ сонъ; Всѣ для мечтательницы нѣжной Въ единый образъ облеклись, Въ одномъ Онѣгинѣ слились. Воображаясь геропней Своихъ возлюбленныхъ творцовъ: Кларисой; Юліей, Дельфиной, Татьяна въ тишинѣ лѣсовъ Одна съ опасной книгой бродитъ, Она въ ней ищетъ и находитъ Свой тайный жаръ, свои мечты, Плоды сердечной полноты; Вздыхаетъ и, себъ присвоя Чужой восторъ, чужую грусть, Въ забвеньи шепчетъ наизусть Письмо для милаго героя...

Здъсь не книга родила страсть, но страсть все-таки не могла не проявиться немножко по-книжному. Зачёмъ было изображать Онъгина Вольмаромъ, Малекъ-Аделемъ, де Линаромъ и Вертеромъ (Малекъ-Адель и Вертеръ: не все ли это равно, что Ерусланъ Лазаревичъ и корсаръ Байрона). Затъмъ, что для Татьяны не существовалъ Онбгинъ, котораго она не могла ни понимать ни знать; следовательно, ей необходимо было придать ему какое-нибудь значеніе, напрокатъ взятое изъ книги, а не изъ жизни, потому что жизни Татьяна тоже не могла ни понимать ни знать. Зачемъ было ей воображать себя Кларисою, Юліею, Дельфиною? Затвив, что ова и самоё себя такъ же мало понимала и знала, какъ и Онъгина. Повторяемъ: создание страстное, глубоко чувствующее и въ то же время неразвитое, наглухо запертое въ темной пустотъ своего интеллектуальнаго существованія, Татьяна, какъ личность, является намъ подобною не изящной греческой статуей, въ которой все внутреннее такъ прозрачно и выпукло отразилось во вижшией красотъ, но подобною египетской статуъ, неподвижной, тяжелой и связанной. Безъ книги, она была бы совершенио измымъ существомъ, п ея пылающій п сохнущій языкъ не обръль бы ни одного живого, страстнаго слова, которымь бы могла она облегчить себя отъ давящей полноты чувства. И хотя непосредственнымъ источникомъ ея страсти къ Онъгину была ея страстная натура, ея переполнившаяся жажда сочувствія, — все же началась она нъсколько идеально. Татьяна не могла полюбить Ленскаго и еще менње могла полюбить кого-нибудь изъ извъстныхъ ей мужчинъ: она такъ

хорошо ихъ знала, и они такъ мало представляли пищи ся экзальтированному, аскетическому воображенію... И вдругь является Онъгинъ.

Онъ весь окруженъ тайною: его аристократизмъ, его свътскость, неоспоримое превосходство надъ всемъ этимъ спокойнымъ и пошлымъ міромъ, среди котораго онъ явился такимъ метеоромъ, его равнодушіе ко всему, странность жизни — все это произвело тапиственные слухи, которые не могли не дъйствовать на фантазію Татьяны, не могли не расположить, не подготовить ее къ ръшительному эффекту перваго свиданія съ Онъгинымъ. И она увидала его, и онъ предсталъ предъ нею, молодой, красивый, ловкій, блестящій, равнодушный, скучающій, загадочный, непостижимый, весь перазрышимая тайца для ея неразвитаго ума, весь обольщение для ея дикой фантазін. Есть существа, у которыхъ фантазія имфетъ гораздо болъе вліянія на сердце, нежели какъ думаютъ объ этомъ. Татьяна была изъ такихъ существъ. Есть женщины, которымъ стоить только показаться восторженнымъ, страстнымъ, и онъ ваши; но есть женщины, которыхъ винмание мужчина можетъ возбудить къ себъ только равнодушіемъ, холодностью и скентицизмомъ, какъ признаками огромныхъ требованій на жизнь или какъ результатомъ мятежно и полио пережитой жизни: бъдная Татьяна была изъ числа такихъ женщинъ...

Тоска любви Татьяну гопить,

II въ садъ идеть она грустить,

II вдругъ недвижны очи клонить,

II лънь ей далъе ступить.

Приподиялася грудь, ланиты

Мгновеннымъ пламенемъ покрыты,

Дыханье замерло въ устахъ,

II въ слухъ шумъ, и блескъ въ очахъ...

Настанеть ночь; луна обходить

Дозоромъ дальній сводъ небесъ,

II соловей во мглъ древесъ

Напъвы звучные заводитъ.

Татьяна въ темнотъ не спитъ

II тихо съ няней говоритъ.

Разговоръ Татьяны съ няней — чудо художественнаго совершенства! Это цълая драма, проникнутая глубокою истиной. Въ неи удивительно върно изображена русская барышня въ разгаръ томящей ее страсти. Сдавленное внутри чувство всегда

порывается наружу, особение въ первый періодъ еще новой, еще неопытной страсти. Кому открыть свое сердце! — сестрѣ? — опа не такъ бы поняда его. Няпя вовсе не пойметъ; но потому-то и открываетъ ей Татьяна свою тайпу — или, лучше сказать, потому-то и не скрываетъ она отъ няпи своей тайны.

... "Разскажи миѣ, няня, Про ваши старые года: Была ты влюблена тогда? — II, полно, Таня! Въ эти лъта Мы не слыхали про любовь; А то бы согнала со свъта Меня покойница-свекровь. "Да какъ же ты вънчалась, няня?" — Такъ, видно, Богъ велълъ. Мой Ваня Моложе быль меня, мой свъть, А было мив тринадцать льть. Недфли двф ходила сваха Къ моей роднѣ, и, наконецъ, Благословилъ меня отецъ. Я горько плакала со страха: Мит съ плачемъ косу расплели, II съ пъньемъ въ церковь повели. II вотъ, ввели въ семью чужую...

Вотъ какъ пишетъ истинно-народный, истинно-національный поэтъ! Въ словахъ няни, простыхъ и народныхъ, безъ тривіальности и пошлости, заключается полная и яркая картина внутренней домашней жизни народа, его взглядъ на отношенія половъ, на любовь, на бракъ... И это сдълано великимъ поэтомъ одною чертой, вскользь, мимоходомъ брошенною!... Какъ хороши эти добродушные и простодушные стихи:

— И, полно, Таня! Въ эти лѣта Мы не слыхали про любовь; А то бы согнала со свѣта Меня покойница-свекровь!

Какъ жаль, что именно такая народность не дается многимъ нашимъ поэтамъ, которые такъ хлопочутъ о народности — и добиваются одной площадной тривіальности...

Татьяна вдругь решается писать къ Онегину: порывъ наивный и благородный; но его источникъ не въ сознаніи, а въ безсознательности: бедная девушка не знала, что делала. После, когда она стала знатною барыней, для нея совершенно исчезла возможность такихъ наивно-великодушныхъ движеній сердца... Письмо Татьяны свело съ ума всъхъ русскихъ читателей, когда появилась третья глава "Онъгина". Мы, вмъстъ со всъми, думали въ немъ видъть высочайшій образецъ откровенія женскаго сердца. Самъ поэтъ, кажется, безъ всякой проніи, безъ всякой задней мысли, и писалъ и читалъ это письмо. Но съ тъхъ поръ воды много утекло... Письмо Татьяны прекрасно и тенерь, хотя уже и отзывается немножко какою-то дътскостью, чъмъ-то "романическимъ". Иначе и быть не могло; языкъ страстей былъ такъ новъ и недоступенъ правственно-иъмотствующей Татьянъ: она не умъла бы ни повять ни выразить собственныхъ своихъ ощущеній, если бы не прибъгла къ помощи впечатлъній, оставленныхъ па ея намяти плохими и хорошими романами, безъ толку и безъ разбора читанными ею... Начало письма превосходно: оно проникнуто простымъ искреннимъ чувствомъ; въ немъ Татьяна является сама собою:

"Я вамъ пишу — чего же болъ? Что я могу еще сказать? Теперь, я знаю, въ вашей волъ Меня презрѣньемъ наказать. Но вы, къ моей несчастной доль Хоть каплю жалости храня, Вы не оставите меня. Сначала я молчать хотьла; Повърьте: моего стыда Вы не узнали бъ пикогда, Когда бъ надежду я имѣла, Хоть рѣдко, хоть въ недѣлю разъ, Въ деревив нашей видъть васъ, Чтобъ только слышать ваши рфчи, Вамъ слово молвить, и потомъ Все думать, думать объ одномъ II день и ночь, до новой встръчи. Но, говорять, вы нелюдимъ; Въ глуши, въ деревнѣ, все вамъ скучно; А мы... ничъмъ мы не блестимъ, Хоть вамъ и рады простодушно. Зачьмъ вы посътили насъ? Въ глуши забытаго селенья Я никогда не знала бъ васъ, Не знала бъ горькаго мученья, Души неопытной волненья Смиривъ со временемъ (какъ знать?), По сердцу я нашла бы друга, Была бы върная супруга II добродфтельная мать".

Прекрасны также стихи въ концъ письма:

...Судьбу мою Отнын'в я теб'в вручаю, Передъ тобою слезы лью, Твоей защиты умоляю... Вообрази: я зд'всь одна, Никто меня не понимаеть, Разсудокъ мой изнемогаеть, И молча гибнуть я должна".

Все въ письмъ Татьяны истинно, но не все просто; мы выписали только то, что истинно и просто вмъстъ. Сочетаніе простоты съ истиною составляеть высшую красоту и чувства, и дъла, и выраженія...

Если бы мы вздумали слъдить за всъми красотами поэмы Пушкина, указывать на всв черты высокаго художественнаго мастерства, въ такомъ случав ни нашимъ выпискамъ, ни нашей стать в не было бы конца. Но мы считаемъ это излишнимъ, потому что эта поэма давно оцънена публикою, и все лучшее въ ней у всякаго въ памяти. Мы предположили себъ другую цъль: раскрыть, по возможности, отношение поэмы къ обществу, которое она изображаетъ. На этотъ разъ предметь нашей статьи -- характеръ Татьяны, какь представительницы русской женщины. И потому пропускаемъ всю четвертую главу, въ которой главное для насъ — объяснение Онъгина съ Татьяною въ отвътъ на ея письмо. Какъ подъйствовало на нее это объясненіе, понятно: всь надежды бідной дівушки рушились, и она еще глубже затворилась въ себъ для внъшияго міра. Но разрушенная надежда не погасила въ ней пожирающаго ее пламени: онъ началъ горъть тъмъ упориве и напряжениве, чемъ глуше и безвыходиве. Несчастие даетъ новую энергію страсти у натуръ съ экзальтированнымъ воображеніемъ. Имъ даже правится исключительность ихъ положенія; онъ любять свое горе, лельють свое страданіе, дорожать имь, можетъ-быть, еще больше, нежели сколько дорожили бы онъ своимъ счастіемъ, если бъ оно выпало на ихъ долю... ІІ притомъ, въ глухомъ лѣсу нашего общества, гдѣ бы и скоро ли бы встрътила Татьяна другое общество, которое, подобно Онъгину, могло бы поразить ея воображение и обратить огонь ея души на другой предметь? Вообще, песчастная, нераздъленная любовь, которая упорно переживаеть надежду, есть явленіе довольно бол'єзненное, причина котораго, по слишкомъ р'єдкимъ и, в'єроятно, чисто физіологическимъ причинамъ, едвали не скрывается въ экзальтаціи фантазіи, слишкомъ развитой на счетъ другихъ способностей души. По какъ бы то ни было, а страданія, происходящія отъ фантазіи, падаютъ тяжело на сердце и терзаютъ его иногда сильнье, нежели страданія, корень которыхъ въ самомъ сердць. Картина глухихъ, никъмъ не разділенныхъ страданій Татьяны изображена въ пятой главъ съ удивительной истиною и простотою. Посъщеніе Татьяною опустьлаго дома Онітина (въ седьмой главъ) и чувства, пробужденныя въ ней этимъ оставленнымъ жилищемъ, на всіхъ предметахъ котораго лежитъ такой різкій отпечатокъ духа и характера оставившаго его хозянна, — принадлежитъ къ лучнимъ містамъ поэмы и драгоцінньйшимъ сокровищамъ русской поэзіи. Татьяна не разъ повторила это посівщеніе —

И въ молчаливомъ кабинетъ, Забывъ на время все на свътъ, Осталась, наконецъ, одна, И долго плакала опа. Потомъ за книги принялася, Сперва ей было не до нихъ; Но показался выборъ ихъ Ей страненъ. Чтенью предалася Татьяна жадною душою: И ей открылся міръ иной

И начинаетъ понемногу
Моя Татьяна понимать
Теперь ясиће, слава Богу,
Того, по комъ она вздыхать
Осуждена судьбою властной...

Ужель загадку разрѣшила? Ужели слово найдено?...

Итакъ, въ Татьянъ, наконецъ, совершился актъ сознанія: умъ ея просцулся. Она поияла, наконецъ, что есть для человъка интересы, есть страданія и скорби, кромѣ интереса страданій и скорби любви. Но поняла ли она, въ чемъ именно состоятъ эти другіе интересы и страданія, и если поияла, послужило ли это ей къ облегченію ея страданій? Конечно, поняла, но только умомъ, головою, потому что есть идеи. которыя надо пережить и душою и тъломъ, чтобы понять ихъ

вполив, и которыхъ нельзя изучить въ кингв. И потому книжное знакомство съ этимъ новымъ міромъ скорбей, если и было для Татьяны откровеніемъ, это откровеніе произвело на нее тяжелое, безотрадное и безплодное впечатленіе; оно непугало ее, ужаснуло и заставило смотръть на страсти, какъ на гибель жизни, убъдило ее въ необходимости покоряться дъйствительности, какъ она есть, и если жить жизнью сердца, то просебя, въ глубинт своей души, въ тиши уединения, во мракт ночи, посвященной тоскъ и рыданіямъ. Посъщеніе дома Опъгина и чтеніе его кингъ приготовили Татьяну къ перерожденію изъ деревенской дівочки въ світскую даму, которое такъ удивило и поразило Онътина. Въ предшествовавшей статьъ мы уже говорили о письмъ Опъгина къ Татьянъ и о результать всвух его страстных посланій къ ней; теперь перейдемъ прямо къ объяснению Татьяны съ Опфгинымъ. Въ этомъ объяспенін все существо Татьяны выразплось вполив. Въ этомъ объясненін высказалось все, что составляеть сущность русской женщины съ глубокою натурой, развитою обществомъ,все: и пламенная страсть, и задушевность простого, искренняго чувства, и чистота, и святость наивныхъ движеній благородной натуры, резонёрство, и оскорбленное самолюбіе, и тщеславіе добродътелью, подъ которою замаскирована рабская боязнь общественнаго мифиія, и хитрые силлогизмы ума, свътскою моралью парализовавшаго великодушныя движенія сердца. Рфчь Татьяны начинается упрекомъ, въ которомъ высказывается желаніе мести за оскорбленное самолюбіе:

"Онъгинъ, помните ль тотъ часъ, Когда въ саду, въ алеѣ, насъ Судьба свела, и такъ смиренно Урокъ вашъ выслушала я? Сегодня очередъ моя.

Онѣгинъ, я тогда моложе, Я лучше, кажется, была, И я любила васъ; и что же? Что въ сердцѣ вашемъ я нашла, Какой отвѣтъ? Одну суровость. Не правда ль? Вамъ была не новость Смиренной дѣвочки любовь? И нынче — Боже! — стынетъ кровь, Какъ только вспомню взглядъ холодный И эту проповѣдь...

Въ самомъ дълъ, Онъгинъ былъ виноватъ передъ Татьяною въ томъ, что онъ не полюбилъ ее тогда, когда она была моложе и лучше и любила его! Въдь для любви только и нужно, что молодость, красота и взаимность! Вотъ понятія, заимствованныя изъ плохихъ сентиментальныхъ романовъ! Нъмая деревенская дъвочка съ дътскими мечтами — и свътская женщина, испытанная жизнью и страданіемъ, обрътшая слово для выраженія свопхъ чувствъ и мыслей, какая разница! И все-таки, по мивнію Татьяны, она болве способна была внушить любовь тогда, нежели теперь, потому что она тогда была моложе и лучше... Какъ въ этомъ взглядъ на вещи видна русская женщина! А этотъ упрекъ, что тогда она нашла со стороны Онъгина одну суровость? "Вамъ была не повость смиренной дъвочки любовь?" Да это уголовное преступленіе -не подорожить любовью правственнаго эмбріона!.. По за этимъ упрекомъ тотчасъ слъдуетъ и оправданіе.

> ... Но васт Я не виню: въ тотъ страшный часъ Вы поступили благородно, Вы были правы предо мной: Я благодарна всей душой...

Основная мысль упрековъ Татьяны состоитъ въ убъжденіи что Онъгинъ потому только не полюбилъ ея тогда, что въ этомъ не было для него очарованія соблазна; а теперь приводитъ къ ея ногамъ жажда скандалёзной славы... Во всемъ этомъ такъ и пробивается страхъ за свою добродътель...

"Тогда — не правда ли? — въ пустынѣ, Вдали отъ суетной молвы, И вамъ не нравилась... Что жъ нынѣ Меня преслѣдуете вы? Зачѣмъ у васъ я на примѣтѣ? Не потому ль, что въ высшемъ свѣтѣ Теперь являться я должна, Что я богата и знатна; Что мужъ въ сраженьяхъ изувѣченъ; Что насъ за то ласкаетъ дворъ? Не потому ль, что мой позоръ Теперь бы всѣми былъ замѣченъ, И могъ бы въ обществѣ принесть Вамъ соблазнительную честь?

Я плачу... Если вашей Тани
Вы не забыли до сихъ поръ,
То знайте: колкость вашей брани
Холодиый, строгій разговоръ,
Когда бъ въ моей лишь было власти,
Я предпочла бъ обидной страсти
И этимъ письмамъ и слезамъ.
Къ моимъ младенческимъ мечтамъ
Тогда имѣли вы хоть жалость,
Хоть уваженіе къ лѣтамъ...
А нынче!. Что къ моимъ ногамъ
Васъ привело? Какая малость!
Какъ, съ вашимъ сердцемъ и умомъ,
Быть чувства мелкаго рабомъ?"

Въ этихъ стихахъ такъ и слышится трепетъ за свое доброе имя въ большомъ свътъ, а въ слъдующихъ затъмъ представляются неоспоримыя доказательства глубочайшаго презрънія къ большому свъту... Какое противоръчіе! И что всего грустиве, то и другое истинно въ Татьянъ...

"А мив, Онвгинъ, пышность эта, — Постылой жизни мишура, Мон усивхи въ вихрв сввта, Мой модный домъ и вечера, — Что въ нихъ? Сейчасъ отдать я рада Всю эту ветошь маскарада, Весь этотъ блескъ, и шумъ, и чадъ, За полку книгъ, за дикій садъ, За наше бъдное жилище, За тъ мъста, гдъ въ первый разъ, Онъгинъ, видъла я васъ, Да за смиренцое кладбище, Гдъ нынче крестъ и тънь вътвей Надъ бъдной няною моей".

Новторяемъ: эти слова такъ же непритворны и пскреини, какъ и предшествовавшія имъ. Татьяна не любить свѣта и за счастье почла бы навсегда оставить его для деревни; но пока она въ свѣтѣ — его мнѣніе всегда будетъ ея идоломъ, и страхъ его суда всегда будетъ ея добродѣтелью...

А счастье было такъ возможно, Такъ близко! . Но судьба моя Ужъ ръшена. Неосторожно, Быть можеть, поступила я: Меня съ слезами заклинаній Молила мать; для бѣдной Тани Всѣ были жребін равны... Я вышла замужъ. Вы должны, Я васъ прошу, меня оставить; Я знаю: въ вашемъ сердцѣ есть И гордость и прямая честь. Я васъ люблю (къ чему лукавить?), Но я другому отдана; Я буду въкъ ему върна".

Последніе стихи удивительны — подлинно "конець вёнчаеть дело"! Этоть ответь могь бы итти въ примеръ классическаго "высокаго" (sublime), наравите съ ответомъ Меден: moi! и стараго Горація: qu'il mourût! Воть истинная гордость женской добродетели! "Но я другому отдана", — именно отдана, а не отдалась!

Итакъ, въ лицъ Онъгина, Ленскаго и Татьяны Пушкинъ изобразиль русское общество въ одномъ изъ фазисовъ его образованія, его развитія, и съ какою истиною, съ какою върностью, какъ полио и художественно изобразилъ онъ его! Мы не говоримъ о множествъ вставочныхъ портретовъ, силуэтовъ, вошедшихъ въ его поэму и довершающихъ собою картину русскаго общества высшаго и средняго; не говоримъ о картинахъ сельскихъ баловъ и столичныхъ раутовъ: все это такъ извъстно нашей публикъ и такъ давно оцънено ею по достоинству... Замътимъ одно: личность поэта, такъ полно и ярко отразившаяся въ этой поэмф, вездъ является такою прекрасною, такою гуманною, по въ то же время, по преимуществу, артистическою. Вездъ видите вы въ немъ человъка, душою и твломъ принадлежащаго къ основному принципу, составляющему сущность изображаемаго имъ класса; короче, вездъ видите русскаго помъщика... Онъ нападаетъ въ этомъ класст на все, что противортчить гуманности; но принципъ класса для него — въчная истина... И потому, въ самой сатиръ его такъ много любви, самое отрицание его такъ часто похоже на одобреніе и на любованіе... Вспомните описаніе семейства Лариныхъ, во второй главъ, и особенно портретъ самого Ларина... Это было причиною, что въ "Опъгинъ" мпогое устаръло теперь. Но безъ этого, можетъ-быть, и не вышло бы изъ "Опъгина" такой полной и подробной поэмы русской жизни, такого опредъленнаго факта для отрицанія мысли, въ самомъ же этомь обществъ такъ быстро развивающейся...

"Онъгинъ" писапъ былъ въ продолжение ивсколькихъ льть, - и потому самъ поэтъ росъ вмъстъ съ шимъ, и каждая новая глава поэмы была интересите и зрълве. Но послъднія двъ главы ръзко отдъляются отъ первыхъ шести: онъ явно принадлежать уже къвысией, зрвлой эпохв художественнаго развитія поэта. О прасотв отдъльныхъ мѣстъ нельзя наговоригься довольно; притомъ же ихъ такъ много! Къ лучшимъ принадлежать: ночная сцена между Татьяною и нянею, дуэль Онъгина съ Ленскимъ и весь конецъ шестой главы. Въ последнихъ главахъ мы не зваемъ, что хвалить особенно, потому что въ нихъ все превосходно; но первая половина седьмой главы (описаніе весны, воспоминаніе о Ленскомъ, посъщеніе Татьяною дома Онвгина) какъ-то особенно выдается изъ всего глубокостью грустнаго чувства и дивно прекрасными стихами... Отступленія, дълаемыя поэтомъ отъ разсказа, обращенія его кь самому себъ исполнены необыкновенной граціи, задушевности, чувства, ума, остроты, личность поэта въ нихъ является такою любящею, такою гуманною. Въ своей поэмф онъ умфлъ коснуться такъ многаго, намекнуть о столь многомъ, что принадлежить исключительно къ міру русской природы, къ міру русскаго общества! "Онъгина" можно назвать энциклопедіею русской жизни и въ высшей степени народнымъ произведеніемъ. Удивительно ли, что эта поэма была принята съ такимъ восторгомъ публикою и имъда также огромное вдіяніе и на послъдующую русскую литературу? А ея вліяніе на правы общества? Она была актомъ сознанія для русскаго общества; почти первымъ, но зато какимъ великимъ шагомъ впередъ для него! Этотъ шагъ былъ богатырскимъ размахомъ, и послъ пего стояніе на одномъ мъсть сдълалось уже невозможнымъ... Пусть идетъ время и проводитъ съ собою новыя потребности, новыя идеи, пусть растеть русское общество и обгоняеть "Онъгина": какъ бы далеко оно ни ушло, но всегда будетъ останавливать на ней исполненный любви и благодарности взоръ... Эти строфы, которыя такъ и просятся въ заключеніе нашей статьи, своимъ непосредственнымъ впечатлъніемъ на душу читателя, лучше насъ выскажуть то, что бы хотвлось намъ высказать:

Увы! на жизненныхъ браздахъ Мгновенной жатвой покольныя, По тайной воль Провидынья, Восходять, зрѣють и падуть; Другія имъ вослідь идуть... Такъ наше вътреное племя Растеть, волнуется, киппть II къ гробу прадъдовъ тъснитъ. Придетъ, придетъ и наше время, II наши внуки въ добрый часъ Изъ міра вытѣснять и насъ. Покамъсть упивайтесь ею, Сей легкой жизнію, друзья! Ея инчтожность разумъю И къ ней привязанъ мало я; Для призраковъ закрыль я вѣжды: Но отдаленныя надежды Тревожать сердце пногда: Безъ непримътнаго слъда Мнѣ было бъ грустно міръ оставить. Живу, пишу не для похваль; Но я бы, кажется, желаль Печальный жребій свой прославить, Чтобъ обо мнъ, какъ върный другъ, Напомниль хоть единый звукъ И чье-нибудь онъ сердце троиеть; II сохраненная судьбой, Быть можеть, въ Летъ не потонеть! Строфа, слагаемая мной; Быть можеть — лестная падежда! — Укажетъ будущій невъжда На мой прославленный портреть, II молвить: то-то быль поэть! Прими жъ мое благодаренье, Поклонникъ мирныхъ аонидъ, О, ты, чья память сохранить Мон летучія творенья. Чья благословенная рука Потреплеть лавры старика!

Бълинскій.

Онфгинъ, какъ общественный типъ.

Типъ Онътина могъ сложиться у Пушкина вслъдствіе хорошаго знакомства съ столичною средою, въ которой онъ вращалея съ юныхъ лътъ до самаго того времени, когда совръза въ немъ возможность отлить его въ полный жизни

образъ. Черты домашняго воспитанія онъ могъ запиствовать отчасти даже и изъ собственнаго дѣтства: среда его отца, Сергѣя Львовича, и дяди Василія Львовича, была тою средою, которая, менѣе сближаясь съ представителями современной образованности, нежели эти ея болѣе цивилизованные члены, — въ юномъ поколѣніи, между прочимъ, порождала Опѣгиныхъ. Припомнимъ тѣ строки изъ "Лицейскихъ записокъ" Пушкина, которыя начинаются такъ: "Семья моего отпа, его воснитаніе, французы-учителя:... те Магтіп. Отецъ и дядя въ гвардіи... Свадьба отца. Смерть императрицы Екатерины — рожденіе Ольги. Отецъ выходитъ въ отставку... Рожденіе мое". И далѣе подъ 1812 и 1813 гг., когда поэту было 13 и 14 лѣтъ, отъ отмѣчаетъ: "Дядя Василій Львовичъ... Свѣтская жизнь".

M-r l'abbé, который ходилъ за Евгеніемъ,

Слегка за шалости бранилъ И въ Лътній садъ гулять водиль;

ранняя свобода Онфгина, дендизмъ, вифшніе свътскіе пріемы, длиниме тщательно обточенные ногти, французскій разговорный языкъ, остроуміе и эпиграммы, эпикуреизмъ, охотное посфиценіе ресторановъ, театральныя знакомства — все это черты собственной жизни, и привычекъ молодого Пушкина, изъ которыхъ многія остались на всю жизнь. Можно безъ преувеличенія сказать: исключите изъ юнаго Пушкина его поэтическую душу — и получилось бы лицо, во многомъ сходное съ Онфгинымъ. Но и объ этомъ вифшнемъ игѣ времени и среды Пушкинъ неоднократно жалфлъ и въ лирическихъ стихотвореніяхъ своихъ и въ отступленіяхъ романа. Таковы слова 30-й строфы 1 главы:

Увы на разныя забавы Я много жизни погубиль:

"Я балы бъ до сихъ поръ любилъ", прибавляеть Пушкинъ, "если бъ не страдали правы". Эту-то безиравственность свътской жизни помогла ему совлечь съ себя поэтическая его природа. Онъгинъ изображенъ лишеннымъ именно этой поэтической природы — и въ этомъ характерная противоположность съ творцомъ романа его героя, который, хотя снисходительно и слушалъ отрывки съверныхъ поэмъ Ленскаго, но пе имъя страсти

Для звуковъ жизни не щадить, Не могъ онъ ямба отъ хорея, Какъ мы ни бились, отличить; Бранилъ Гомера, Өсокрита...

Родители поэта стояли выше родителей Онъгина — и уже последовали инымъ въяніемъ своего времени, благодаря бливости къ такимъ лицамъ, какъ А. И Тургеневъ, содвиствовавшій опредъленію сына въ Лицей: по это были исключительныя обстоятельства на томъ общественномъ слов, которому они принадлежали, и бытовыя черты воспитанія и жизни, безпощадно выставленныя Пушкинымъ въ 1 главъ романа, не были чужды его собственнымъ до-лицейскимъ воспоминаніямъ. Они подтверждаются біографическими данными о жизни самого поэта или его близкихъ. Такъ, гувернеры Русло и Монфоръ, имена которыхъ съ неудовольствіемъ заносить онъ въ "Лицейскія записки" о своемъ домашнемъ воспитацін до перевзда въ Петербургъ, и језунты, тамъ же упоминаемые по пере-**БЗДЪ** ВЪ новую столицу, --- вводять насъ въ тотъ кругъ представленій, среди которыхъ долженъ былъ сложиться образъ monsieur l'abbé. Итакъ, воснитаніе, порученное эмигранту, въ "Евг. Опъгинъ" — черта настолько же біографическая, пасколько и обще-бытовая. Мемуары и конца прошлаго и пачала ныившияго въка представляють не мало тому подтвержденій. Такъ Вигель, описывая семью кн. Голицына, изображаетъ воспитание молодыхъ киязей подъ руководствомъ Шевалье де Роленъ де Бельвиля слъдующими чертами: "Развитіе ихъ умственныхъ способностей оставлено было на произволъ судьбы; никакихъ наставленій они не получали, никакихъ правиль объ обязанностяхъ человъка имъ преподаваемо не было. Гувернеръ ими очень мало занимался и только изръдка, какъ Онъгина, слегка бранилъ... Какого рода гражданское воспитаніе было въ рукахъ подобныхъ эмигрантовъ, могутъ свидътельствовать дальнъйшія слова Вигеля: "Объ отечествъ своемъ говорилъ, какъ всф французы, безъ чувства, но съ хвастовствомъ — и съ состраданіемъ болье, чымъ съ презрыніемъ, о нашемъ варварствъ"... "При Павлъ размножились у насъ эмигранты: не было полка въ армін, въ коемъ бы не находилось ихъ по два и по три человъка. Вообще тъмъ, коимъ удалось попасть вь службу, болбе другихъ посчастливилось... Не такова была участь тьхъ, кои принуждены были приняться за воспитаніе дътей; званіе учителя, въ нашихъ варварскихъ понятіяхъ, казалось намъ немного выше холопа-дядьки, въчнаго соперника мусью. Французы это замѣтили; но какъ не было возможности ихъ всѣхъ помѣстить на службу, ибо прибывающія ихъ толпы безпрестанно увеличивались, то, слѣдуя нашей пословицѣ (я думаю, у нихъ и заимствованной): "плоха честь, когда нечего ѣсть", они разсѣялись по лицу земли русской, чтобы какимъ-либо образомъ добывать себѣ хлѣбъ. Умножающееся употребленіе французскаго языка способствовало имъ къ отысканію мѣстъ; скоро въ самыхъ отдаленныхъ губерніяхъ, всякій небогатый даже помѣщикъ началъ имѣть своего маркиза. Не было у насъ для французовъ середины: ils devenaient outchitels ou grands seigneurs".

Таковы были учителя изъ эмигрировавшихъ французскихъ дворянъ-роялистовъ или выдававшихъ себя за таковыхъ. Представителемъ ихъ въ "Евгеніи Онфгинф" можетъ считаться Трике, кочевавшій изъ одного пом'єщичьяго дома въ другой: недавно изъ Тамбова — теперь учитель въ семь Харликовыхъ. Конечно, выше ихъ по своему образованію, но не по уваженію и любви къ Россін, стоялп іезунты, встрътившіе гостепрінмный пріемъ въ русскомъ обществъ. Эти предпочитались столичною средою — и не удивительно, что одинъ изъ нихъ выведенъ у Пушкина воспитателемъ Онъгина, впрочемъ, какъ видно, изъ плохопькихъ. Ки. П. А. Вяземскій (бывшій на 7 лътъ старше Пушкина) въ воспоминаніяхь о своемъ дётстві береть петербургскихъ воспитателей-іезунтовъ подъ защиту: онъ ведеть ръчь о педагогическомъ персоналъ језунтскаго коллегјума, гдъ самъ воспитывался, и куда первоначально предполагали помъстить и Пушкина, -- однако не представляеть убъдительныхъ фактовъ о добромъ нравственномъ вліянін даже этихъ педагоговъ, конечно, стоявшихъ неизмъримо выше "убогаго" восинтателя Онъгина. Изъ собственной же пансіонской жизни, какъ нарочно, кн. Вяземскій вспоминаетъ лишь одно изъ дъйствій своихъ воспитателей, такъ совпадающее съ упомянутымъ въ "Евг. Опъгинъ". "У меня въ Петербургъ" пишетъ онъ, ..близкихъ родственциковъ не было. По большей части оставалсяя, подобно другимъ безроднымъ товарищамъ дома. Въ утъшенін водили наст вт Льтній садт. Афтомъ ректоръ-патеръ..., который особенно любиль и какъ-то отличаль меня, пногда браль меня на дачу, въ семейство голландскаго купца... тамъ,

кромъ особато и лакомато угощенія, забавлялся я игрою въ кегли. Вечеромъ, когда возвращались домой счастливцы, которые провели день въ семейномъ кругу или въ большомъ свъть, въстямъ и разсказамъ не было конца. Къ нимъ я жадно прислушивался. Зародыши будущаго мірянина и свътскаго человъка пробуждались во миъ". Кн. Вяземскій указываеть лишь на одного изъ товарищей, обучившагося у језунтовъ хорошо (Северина). Другіе въ его описанін не отличаются оть заурядной молодежи свътскаго круга того времени: "Юшковъ — уже и тогда ваятель и ръзчикъ, по изъ картъ — будущій охотникъ до лошадей и знатокъ ихъ, искусно выръзывалъ породистыхъ лошадей, которыми товарищи любовались и даже промышляли, пуская между собою въ продажу и мъну"; "Брусиловъ будущій герой многихъ не писанныхъ, но осуществившихся романовъ"; "Энгельгардть (Вас. Вас) — впослъдствіи расточительный богачь, не пренебрегавшій веселіями жизни, крупный игрокъ, впрочемъ, кажется, на въку своемъ болъе проигравшій. построитель въ Петербургъ дома, сбивающагося немножко на парижскій Пале-Рояль, со своими публичными увеселеніями. кофейнями, ресторанами". "Пушкинъ", прибавляетъ кн. Вяземскій, "очень любиль Энгельгардта за то, что онь охотно играль въ карты, и за то, что очень удачно играль словами. Острыя выходки и забавные куплеты его ходили по городу: и въ пансіонъ еще промышляль онъ этимъ, между прочимъ и на мой счеть; тотчась по водвореніи моемь привътствоваль онъ меня куплетомъ:

Mon Prince,
De quelle province?
— Coucou,
De Moscou.

Можно себъ представить, съ какимъ единогласіемъ весь пансіонскій людъ подхватилъ этотъ куплетъ. Мнѣ прохода не давали"... "Одно время воспитанники забавлялись пусканіемъ мыльныхъ пузырей". Вотъ картины изъ жизни іезуитскихъ воспитанниковъ, которыя, вопреки волѣ писавшаго ихъ, служатъ прекраснымъ комментаріемъ къ строфамъ о воспитаніи Онѣгина, отецъ котораго предпочелъ только вмѣсто того, чтобъ отдавать сына въ пансіонъ, взять къ нему аббата въ домъ. чтобы потомъ прогнать его. когда "юности мятежной придетъ Евгенію пора".

Другой современникъ Пушкина характеризуетъ такъ восиитаніе того круга, который изображень въ "Опфгинф": "Отцы наши... оставили въ сторонъ" всъ "безполезныя вещи" которыя я не назову, чтобы не прослыть педантомъ, и очень были рады, что вся мудрость человъческая ограничилась объдомъ, ужинами и прочими тому подобными полезными предметами. Между тъмъ у отцовъ нашихъ завелись дъти, дошло дъло до воспитанія; они благоразумно продолжали во всемъ сомивваться, смъясь надъ системами... Между тъмъ ихъ дъти росли, росли и, наперекоръ добрымъ людямъ, сами составили для себя систему жизни, - однако систему не мечтательную, а въ которой помъстились эпиграмма Вольтера, анекдотъ, разсказанный бабушкою, стихъ изъ Парни, правственно-ариеметическая фраза Бентама, насмъщливое воспоминание о примъръ для прописи, газетная статья, кровавое слово Наполеона, законъ о карточной чести и прочее тому подобное, чъмъ до сихъ поръ пробавляются старые и молодые воспитанники XVII столътія".

Въ "Запискъ о народномъ воспитании" (1826) Пушкинъ такъ характеризуетъ воспитаніе юношества того времени, къкоторому отпосится пора отрочества, и его собственнаго и его героя: "Лътъ 15 тому назадъ молодые люди занимались только одною свътскою образованностью (въ рукописи первопачально: любезностью) или шалостями"... "Въ другихъ земляхъ молодой человъкъ кончаетъ курсъ ученія около 25 льтъ, у насъ онъ торопится вступить какъ можно рашве въ службу... Онъ входить въ свъть безъ всякихъ положительныхъ (вт рукописи первоначально: основательныхъ) правилъ: всякая мысль для него нова, всякая новость имбеть на него вліяніе". Здёсь Пушкинымъ высказано то самое, что поэтически воплощено въ строфахъ Онфгина, гдф описываются результаты "отсутствія всякаго воспитанія", какъ онъ выразился въ "Запискъ"... "Въ Россін", замъчаетъ онъ далъе, домашнее воспитаніе есть самое недостаточное, самое безиравственное... Воспитаніе ограничивается изученіемъ двухъ-трехъ иностранныхъ языковъ и начальнымъ основаніемъ всёхъ наукъ, преподаваемыхъ какимъ-нибудь нанятымъ учителемъ. Воспитание въ частныхъпансіонахъ вемногимъ лучше. Здёсь и тамъ оно кончается на 17-лътнемъ возрастъ воспитанника". Это все черты, вос произведенныя поэтомъ и въ "Евгенін Опфгинф". Опыть собственной его жизни во многомъ, хотя и не во всемъ, отличался отъ нихъ. При всей неурядицъ царствовавшей въ Царскосельскомъ лицев въ то время, когда воспитывался тамъ Пушкинъ, нельзя было не сознать ему всю цену пройденнаго имъ воспитанія въ общественномъ училищъ. Воть почему онъ прибавляеть въ "Запискъ" своей: "Должно увлечь все юношество въ общественныя заведенія... должно его тамъ удержать, дать сму время перекипъть, обогатиться познаціями, созръть въ тишинъ училищъ, а не въ шумной праздности казармъ". Здъсь невольно приходить на память та лейбъ-гусарская молодежь, которой тонъ давали Каверины и имъ подобные эпикурейцы, которые такъ неумъстно вторгнулись своимъ вліяніемъ въ "тишину" царскосельскаго училища. Пушкинъ когда-то самъ писаль эпикурейское посланіе къ Каверину. Подъ такимъ вліяніемъ мечталъ иткогда и самъ поэтъ "подъ киверъ спрятать умъ", когда въ посланін къ дядъ писаль:

> И что завидиъй бранныхъ дней Не слишкомъ мудрыхъ усачей, Но сердцемъ — истинныхъ гусаровъ?

Увлекавшія нікогда молодежь картины недавнихъ бранныхъдней уже не имъли мъста въ тъ дни, когда расцвъталъ Онъгинъ. Молодежь раздълилась: один предавались "ръзвымъ шалостямъ" столичной жизни, другіе — "политическимъ шалостямъ". "10 лътъ спустя", писалъ Пушкинъ въ упомянутои "Запискъ", объясияя результаты поверхностнаго образованія, "мы увидъли либеральныя иден необходимой вывъской хорошаго воспитанія, разговоръ исключительно подитическій, дитературу, подавленную самою своеправною цензурою, превратившуюся въ рукописные пасквили... наконецъ и тайныя общества, заговоры, замыслы болъе или менъе кровавые и безумные. Ясно, что походамъ 13-го и 14-го года, пребыванію нашихъ войскъ во Франціи и Германіи должно приписать сіе вліяніе на духъ и правы того покольнія, коего несчастные представители погибли на нашихъ глазахъ". Не просвъщению (сказано въ Высочайшемъ маничесть отъ 13 йоля 1826 г.), но праздности ума болбе вредной, чемъ праздность телесныхъ силь, недостатку твердыхъ познаній должно приписать сіе своевольство мыслей, источникъ буйныхъ страстей, спо пагубную росконы полупознанія; сей порывъ въ мечтательныя

крайности, коихъ начало есть порча правовъ, а конецъ — погибель". Скажемъ болѣе, прибавляетъ Пушкинъ "одно просвъщение въ состоянии удержать повыя безумства, новыя общественныя бѣдствія".

Но декабристы, которыхъ разумълъ здѣсь Пушкинъ, приводя слова Высочайшаго манифеста, были исключеніемъ, меньшинствомъ молодежи его времени. Въ героѣ своего романа концентрировалъ Пушкинъ иныя слѣдствія "пагубной роскоши полупознацій", "недостатка твердыхъ познацій": въ немъ воплощено поколѣніе, отравленное тѣмъ ядомъ "праздности ума", который, ускользая отъ преслѣдованія закоца, заражалъ организмъ молодого поколѣнія, внося зло, помимо политической сферы, во всякія человѣческія отношенія и въ самую семью.

Изъ обоихъ теченій, которымъ послѣдовала молодежь двадцатыхъ годовъ: наслажденій виѣшними благами жизни и политическихъ мечтаній, Онѣгинъ не примкнулъ ко второму, и не долго увлекался первымъ. Онъ настолько превышалъ низкую посредственность, что скоро почувствовалъ, что "служеніе Вакху и Венеръ" не можетъ дать счастія. Неясный намекъ даетъ право предполагать что п Онъгинъ вышелъ изъ круга военной молодежи:

Но разлюбилъ онъ наконецъ И брань, и саблю, и свинецъ.

Не удовольствовался онъ этою жизнью, следуя мысли поэта:

Смѣшонъ, конечно, мирный воинъ.

Но туть-то и началось для него мщеніе той полуобразованности, которая отъ обычныхъ бытовыхъ формъ русской жизни его оторвала, а на путь самостоятельной полезной дъятельности не поставила. Результатъ получился печальный. Созрълъ типъ людей тягостныхъ и для другихъ и для себя самихъ. Хандра, угрюмость, умъ ръзкій, но холодный — вотъ характеристика тъхъ "жертвъ злобы слъпой фортуны и людей", которыя, не будучи одарены какими-нибудь исключительными дарованіями, какъ напр. самъ Пушкипъ, ложились всею своей тяжестью на породившее ихъ общество, сами страдая невыносимо.

При всей сжатости формы стихотворнаго романа, Пушкинъ съ замъчательною полнотою захватилъ въ немъ психическую

жизнь своего героя. Онъ изображаеть его порывы къ дъятельности. Но къ какой же дъятельности быль подготовленъ Евгеній своимъ аббатомъ и праздною жизнью въ томъ возрастъ, когда именно складывается характеръ человъка? Къ тому же легкій успъхъ въ свътъ, гдъ онъ успълъ уже заслужить репутацію мыслящаго, начитаннаго и даже "ученаго" человъка (строфы 2, 6 и 7-я І гл.), пріучиль его не довольствоваться скромнымъ мъстомъ въ заднихъ рядахъ общества. Слъдовательно, его самолюбіе было уже настолько разнъжено, что онъ привыкъ считать себя выше заурядной толпы. Первою его мыслію было взяться за перо.

Но трудъ упорный Ему былъ тошенъ. Ничего Не вышло изъ пера его.

Тогда принялся онъ за чтеніе, т.-е. поступаль именно обратно тому, что сділаль бы человіть пного образованія. Но люди, подобные Онітину, т.-е. пріучившіеся судить прежде, нежели узнать то, о чемь сужденія они усвоивають или произносять сами, неспособны извлекать пользу изъ чтенія и находить въ немъ удовлетвореніе. Здісь Пушкинь подмітиль одно изъ существенных золь "полупознанія" — его самоувіренность:

Читалъ, читалъ, а все безъ толку: Тамъ скука, тамъ обманъ и бредъ.

Незнакомое съ процессомъ познанія на собственномъ опыт в полузнаніе не умѣетъ читать: мысль для него новая признается или за обманъ или за глупость; мысль, совпадающая съ его собственными миѣніями, ему кажется старою. Наконецъ указанныя въ вышеупомянутой "Запискъ" внезапио охватившія общество либеральныя идеи Александровскаго времени льстили самодовольному полупросвѣщенію еще и тѣмъ, что давали легкую возможность осуждать труды другихъ въ педостаткъ независимости:

На всѣхъ различныя вериги —

такъ судило это наивное самодовольство. Это тоже — черта времени. Припомнимъ, какъ встръченъ былъ историческій трудъ Карамзина Онъгиными современнаго общества:

Когда Пушкинъ въ первые годы своей послъ-лицейской жизни не вынесъ ея и занемогъ, потому что какъ Онъгинъ,

... не всегда же могь
Вееf-steaks и страсбургскій пирогь
Пампанской обливать бутылкой
П сыпать острыя слова,
Когда больла голова,

то уже не такъ, какъ Онфгинъ, но жадно въ постелф своей прочелъ только-что вышедшіе первые 8 томовъ Исторіи Карамзина (это было въ февралъ 1818 г.). "Я прочелъ ихъ", вспоминаетъ онъ въ своей автобіографіи (1825) "съ жадностью и со вниманіемъ. Когда по моемъ выздоровленіи, я снова явился въ свътъ, толки были во всей силъ. Признаюсь, они были въ состояніи отучить всякаго отъ охоты къ славъ. Ничего не могу вообразить глупъе свътскихъ сужденій, которыя удалось мив слышать насчетъ духа и слога Исторіи Карамзина... Никто не сказалъ спасибо человъку, уединившемуся въ ученый кабинетъ во время самыхъ лестныхъ успъховъ и посвятившему цълыхъ 12 лътъ жизни безмолвнымъ и неутомимымъ трудамъ". Кто же давалъ тонъ "свътскимъ сужденіямъ" о трудѣ историка? Чей приговоръ "о духѣ его былъ подхватываемъ ими?" Молодые якобинцы негодовали на исторіографа за его умфренность: нфсколько отдфльныхъ размышленій въ пользу самодержавія... казались имъ верхомъ варварства и униженія... "Нъкоторые изъ людей свътскихъ", продолжаетъ Пушкинъ, "письменно критиковали предисловіе, или введеніе. Предисловіе!.. Мих. Орловъ, въ письмъ къ Вяземскому пенялъ Карамзину, зачёмъ въ начале Исторіи не помъстиль онь какой-ипбудь блестящей гипотезы о происхожденін славянъ, т.-е. требовалъ романа въ исторін — ново и смізло. Нівкоторые остряки за ужиномъ переложили первыя главы Тита Ливія слогомъ Карамзина. Римляне временъ Тарквинія, не понимающіе спасительной монархіи, и Брутъ, осуждающій на смерть своихъ сыновъ, ибо "ръдкіе основатели республикъ славятся ивжною чувствительностью", — конечно, были очень смъшны. Мит приписали одну изъ лучшихъ русскихъ эпиграммъ; это — не дучшая черта моей жизни". Не ясно ли, что для такого веселаго развлеченія не нужно было даже прочесть трудъ Карамзина? Достаточно было просмотръть предисловіе и знать

> ... дней минувшихъ анекдоты Отъ Ромула до нашихъ дней

Не удовлетворившись чтеніемъ, Онъгшиъ

... оставиль книги И полку съ пыльной ихъ семьей Задернуль траурной тафтой.

Смерть дяди бросаеть его въ деревию, и мы видимъ здѣсь его, какъ помѣщика.

Воть нашь Онфгинь сельскій житель, Заводовь, водь, льсовь, земель Хозяинь полный, а досель Порядка врагь и расточитель, И очень радь, что прежній путь Перемъниль на что-нибудь.

Поведеніе въ деревнѣ какъ нельзя болѣе согласно съ тѣмп задатками, которые вынесъ онъ изъ своей петербургской жизни.

Лишенный въ дѣтствѣ сельскихъ впечатлѣній, онъ не могъ въ Лѣтнемъ саду и ресторанахъ Петербурга воспитать въ себѣ привязанности къ простотѣ деревенской жизни и къ красотѣ природы, столь знакомыхъ Пушкину, для котораго деревня была "пріютомъ спокойствія, трудовъ и размышленья" ("Деревня", стих. 1819).

Поэтъ и въ этомъ отмъчаетъ съ удовольствіемъ разность между Онъгинымъ и собой.

Однакоже деревня на первое время даетъ Онѣгину поводъ къ новой попыткѣ заняться чѣмъ-нибудь полезнымъ (по счету — третьей). Недаромъ вращался онъ въ средѣ просвѣщенной столичной молодежи. Онъ уже достаточно наслушался разговоровъ и политико-экономическихъ и юридическихъ въ Петербургѣ, гдѣ

...иная дама Толкуетъ Сея и Бентама

да и самъ

... читаль Адама-Смита
И быль глубокій экономь,
То-есть умѣль судить о томь,
Какъ государство богатѣеть,
И чѣмъ живеть и почему
Не нужно золото ему,
Когда простой продукть имѣеть.

Попытка Онътина "учредить новый порядокъ" въ своемъ имънін однакоже ограничилась только однимъ похвальнымъ распоряженіемъ:

Въ своей глуши мудрецъ пустынный, Яремъ онъ барщины старинной Оброкомъ легкимъ замѣнилъ — И рабъ судьбу благословилъ,

Вотъ все, что онъ сумълъ сдълать въ своемъ имъніи. Старыя привычки взяли верхъ; онъ ограничился праздностью и разговорами съ готовымъ слушать его юнымъ сосъдомъ; разговоры окончились просьбою познакомить его съ сосъдками.

Дальныйшая жизнь Оныгина представляеть то же безплодное бездыйствие и праздность: безцыльное путешествие возбуждаеть вы немы только тоску. Вы черновыхы наброскахы путешествия Оныгина Пушкины заставиль было его одпажды проснуться патріотомы

Въ Hôtel de Londre, что по Морской. Россія!... Русь!... мгновенно Ему понравились отмѣнно И рѣшено — ужъ онъ влюбленъ! Россіей только бредить онъ! Ужъ онъ Европу ненавидить, Съ ея логической..... Съ ея разумной суетой. Онъгинъ ъдеть, онъ увидить Святую Русь, — ея поля, Селенья, грады и моря, (Дубравы, степи) и моря. (II воть) собрался — слава Богу! Іюня третьяго числа Коляска вънская въ дорогу Его по почтв понесла. Среди равнины полудикой Онъ видить Новгородъ Великій... Тоска! тоска!... и т. д.

То быль последній (счетомь четвертый) порывь къ какомунибудь дёлу. Но и путешествіе, вызваннос только "безпокойствомь, охотой къ перемёне мёсть", — что Пушкинь нашель боле свойственнымь Онегину, нежели увлеченіе, (хотя бы и минутное, патріотическимь чувствомь и желаніемь узнать отечество, — не могло удовлетворить его. Последнія силы его слабой воли были уже истрачены — всякая деятельность Онегина кончена, когда еще и половина жизни не была прожита имъ; онъ увидълъ, что въ немъ вовсе иътъ правственныхъ силъ для того, чтобы осуществить въ своей жизни тъ новыя начала, которыя въ видъ привитыхъ ему идей или, правильнъе, словъ, мъшали ему отдаваться заурядной жизни въ будничныхъ ея формахъ. Онъ почувствовалъ полное безсиліе и безпомощность на жизненномъ пути — тутъ въ немъ вспыхнула страсть.

Любовь, и притомъ къ особъ недюжинной, могла бы, казалось, возродить несчастнаго скитальца, наполнивъ его безсодержательную жизнь, и вызвать на дъятельность: но по глубокому замыслу поэта и это чувство въ Онъгинъ должно было явиться не тогда, когда могло имъть указанное значеніе: прежняя жизнь Онъгина должна стать трагическою виною, требующею возмездія, и орудіемъ этого возмездія явилось именно то, что наиболье безсердечно было попрано имъ въ этой прошлой жизни. Вся эта прошлая жизнь проносится передъ совъстью Онъгина въ слъдующихъ строфахъ:

То были тайныя преданья
Сердечной темной старины,
Ни съ чъмъ не связанные сны,
Угрозы, толки, предсказанья,
Иль длинной сказки вздоръ живой,
Иль письма дъвы молодой.
То видить онъ: на таломъ снътъ,
Какъ будто спящій на ночлегъ,
Недвижимъ юноша лежить,
И слышенъ голосъ: что жъ? убить!
То видить онъ враговъ забвенныхъ,
Клеветниковъ и трусовъ злыхъ,
И рой измънницъ молодыхъ,
И кругъ товарищей презрънныхъ...

И предметъ страсти, его посътившей теперь, неразрывно связанъ въ этихъ воспоминаніяхъ съ мыслію о неоцъненномъ имъ порывъ чистой души.

Любви всѣ возрасты покорны, Но юнымь, довственным сердцам Ея порывы благотворны, Какъ бури вешнія полямъ: Въ дождѣ страстей они свѣтлѣють И обновляются, и зрѣють, — И жизнь могущая даеть И пышный цвѣтъ и сладкій плодъ.

Но не таковъ Евгеній, исказившій въ ложныхъ сердечныхъ отношеніяхъ святое чувство любви. "Въ возрастъ поздній и безплодный онъ влюбляется въ Татьяну какъ дитя, но самый источникъ этой страсти скрывается въ старомъ болотъ мелкаго свътскаго чувства — тщеславія. Любовь Онъгина къ Татьянъ загорается подъ впечатленіемъ метаморфозы, которая поразила его въ Татьянъ: простая искренняя дъвочка вдругъ предстала ему женщиной, получившей поразительный усибхъ въ томъ обществъ, къ которому принадлежалъ Онъгинъ всею силою своего ничтожества. Какъ прежде не оцфииль опъ Татьяны, такъ и теперь онъ не знаетъ ея, потому что цънитъ въ ней то, что составляеть случайную ея принадлежность ("пріемы утъснительнаго сана", величавость, пебрежность, положеніе "законодательницы залъ" и т. п.). Вотъ что стало чарующимъ въ Татьянъ для Онъгина. Существенныя же достоинства ея остались для него неуловимыми. Ея мечта "свершить съ нимъ когда-нибудь смиренной жизни путь", не нашла бы никонмъ образомъ отголоска въ душъ всего. Насколько ему закрыта сущность души Татьяны, лучше его видно изъ того, какъ толкуетъ онъ ту недоступность, которая поразила его въ Татьянъ: онъ считаетъ суровый взоръ ея укоромъ, "затъямъ хитрости презрънной", а "гнъва слъдъ" на лицъ ея объясняетъ тайной боязнью, "чтобъ мужъ иль свътъ не угадаль проказы слабости случайной". Съ замъчательной психологической прозорливостью поэть указываеть Ахиллесову пяту испорченнаго сердца Онъгина: въ письмъ своемъ къ Татьянъ Онътинъ не умъетъ примирить свою теперешнюю любовь съ своимъ прошлымъ, и онъ лжетъ:

> Случайно васъ когда-то встрътя, Въ васъ искру нъжности замътя, Я ей повърить не посмълъ: Привычкъ милой не далъ ходу.

Наконецъ и о неизгладимомъ пятив этого прошлаго — убійствъ Ленскаго — упоминаетъ онъ въ письмъ своемъ съ замъчательною холодностью...

Какъ нельзя болъе выступаеть и вся эгоистичность исканій Онъгина: въ письмъ онъ ведеть ръчь все время о себъ:

Но я лишенъ того: для васъ Тащусь повсюду наудачу;

Мит дорогь день, мит дорогь чась: А я въ напрасной скукт трачу Судьбой отсчитанные дни, И такъ ужъ тягостны они. Я знаю: вто ужъ мой измтренъ; Но чтобъ продлилась жизнь моя, Я утромъ долженъ быть увтренъ, Что съ вами днемъ увижусь я.

И это онъ называетъ "смиренною мольбой". Въ письмъ нътъ и намека на то, чтобы онъ подумалъ хоть сколько-нибудь о жизии самой Татьны. Ръшаясь писать ей о своей любви, онъ ни словомъ не намекаетъ, что подумалъ о томъ, чъмъ же должна стать ел жизнь, если она отвътитъ на эту любовь. Извлекая изъ письма Онътина образъ Татьяны въ этомъ будущемъ, какъ Онътинъ представляетъ ее себъ, мы не получаемъ ничего, кромъ "улыбки устъ, движеній глазъ" и туманнаго представленія ръчей, въ которыхъ должно выразиться ся "совершенство", т.-е. Онътинъ не представлялъ себъ въ тъхъ отношеніяхъ, на которыя напрашивался, со стороны Татьяны инчего, кромъ принятія поклоненія. Что предлагалъ онъ ей послъ того, когда исполнилось бы его желаніе, выраженное въ словахъ:

Желать обнять у васъ колѣни, И, зарыдавъ, у ващихъ ногъ Излить мольбы, признанья, пени, Все, все, что выразить бы могъ?—

ничего, кромъ обидной роли жены, обманувшей мужа... II какое "совершенство" представлялъ себъ Онъгинъ въ женщинъ, согласной на такую жизнъ?

Для пониманія подобной софистики страсти Пушкинъ им'єль не мало данныхъ въ собственной жизни. Въ качествъ "ничтожнаго дитяти міра" онъ отдаль дань страсти со всею легкостью взгляда на отношенія, ею вызываемыя, нравовъ того свѣта. въ которомъ онъ вращался. Само собою разумѣется. что отношенія Онѣгина къ Татьянѣ не были воспроизведеніемъ дѣйствительныхъ отношеній Пушкина къ кому-либо, но нельзя не видѣть явленій одного и того же порядка въ отношеніяхъ поэтическаго лица и волненій, пережитыхъ однажды самимъ поэтомъ. Въ Тригорскомъ, у сосѣдокъ своихъ по сельцу Михайловскому, Пушкинъ встрѣтилъ молодую жену генерала

Керпа, и она сильно увлекла Пушкина. При всемъ "ребячествъ" этого чувства, оно могло въ поэтическомъ воспроизведеніи послужить для одного изъ прекрасивйшихъ лирическихъ стихотвореній. Строки и письма Онѣгина къ Татьянъ имѣютъ, конечно, не болѣе связи съ этой страстью поэта къ дѣйствительному лицу, чѣмъ это стихотвореніе: но нельзя не видѣть и въ нихъ одно изъ тѣхъ личиыхъ впечатлѣній, которыя такъ преображаются въ произведеніяхъ поэтовъ, служа цѣлямъ этихъ произведеній, но оставляя на нихъ слѣды свои порою сознательно, а порою безсознательно.

Разлученный съ А. П. Кернъ, которую г-жа Осипова, замътивъ страсть Пушкина, поспъшила увезти въ Ригу, Пушкинъ 15 іюня 1825 г. писалъ ей: "Я имълъ слабость просить позволенія писать къ вамъ, вы — дать мив на это позволеніе... Вашъ прівздъ въ Тригорское оставиль во мив впечатльніе глубже и мучительнъе того, которое производила на меня въ былые дин наша встрвча у Оленина. Въ моей печальной деревенской глуши не могу сдълать ничего лучше, какъ стараться больше не думать о васъ"... "Опять берусь за перо. ибо умираю со скуки и могу заниматься только вами. Надъюсь, что письмо это вы прочтете украдкою — спрячете ли его опять на груди? Напишете ли мив длинный отвътъ? Пишите мит все, что вамъ въ голову придетъ, заклинаю васъ. Если боитесь моей нескромной хвастливости, если не хотите компрометировать себя, измёните почеркъ, подпишитесь вымышленнымъ именемъ, мое сердце сумфетъ признать васъ. Если выраженія ваши будуть столь же пѣжны, какъ взглядъ вашъ, увы! постараюсь имъ повърить или обмануть себя, это все равно"...

Характеръ отношеній Пушкина къ А. П. Кернъ, явный и изъ этого и изъ посльдующихъ писемъ, не сходенъ съ отношеніемъ героевъ романа настолько, насколько сама личность г-жи Кернъ несходна съ личностью Татьяны: потому дальный шія сближенія невозможны. Выписка же приведена здѣсь, какъ свидѣтельство житейскихъ отношеній, сходныхъ какъ въ жизни героя романа, такъ и въ жизни поэта при всемъ ихъ различін. Въ "Воспоминаніяхъ" своихъ А. П. Кернъ, конечно, заблуждалась, когда писала, что 14-я, 15-я и 16-я строфы VIII гл. "Евг. Онѣгина", "относятся къ воспоминаніямъ о ихъ встрѣчѣ у Олениныхъ. Сходство, конечно, лишь внѣшнее:

... всъхъ выше П носъ и плечи подымалъ Вошедшій съ нею генералъ...

Дъло въ томъ, что ни Пушкинъ пи г-жа Кернъ не придавали чувству, ихъ на краткое время сблизившему, серіознаго значенія, какое думалъ придать Онъгинъ своему чувству... Татьяна разгадала всю несвойственность этой серіозности чувствамъ Онъгина — и прямо высказала ему это въ своей послъдней отповъди.

Иоливановъ.

Религіозность, нравственная чистота, нѣжность, панвность и мечтательность, какъ отличительныя свойства Татьяны*).

По словамъ поэта, Татьяна была совсѣмъ "русская душой". Тѣмъ не менъе не лишено, конечно, значенія, что

Она по-русски плохо знала, Журналовъ нашихъ не читала II выражалася съ трудомъ IIа языкъ своемъ родномъ, IIтакъ, писала по-французски.

Несомивнию также, что Татьяна — героиня отчасти во вкусв западно-европейскаго романа второй половины XVIII и начала XIX в. Къ природнымъ, не составляющимъ, однако, національной особенности и развитымъ отчасти благодаря чтенію западныхъ романовъ, чертамъ ся характера относилось то, что она

..... въ милой простотъ
.... не въдаетъ обмана
П въритъ избранной мечтъ.
... любитъ безъ искусства,
Послушная влеченью чувства,
... такъ довърчива она,
... отъ небесъ одарена
Воображеніемъ мятежнымъ,
Умомъ и волею живой
П своенравной головой,
П сердцемъ пламеннымъ и нъжнымъ.

Въ ея письмъ къ Онъгину "сердце говорить все наружу, все на волъ". Эта мечтательная и нъжная натура могла

^{*)} См. стр. 268—270 п 512—529.

любить грустный дискъ лупы, помимо моды романтическихъ героинь. Но это дитя природы было полно и мечтаній, навъянныхъ чужими литературами. Такъ, когда Татьяна полюбила Онъгина,

Счастливой сплою мечтанья Одушевленныя созданья, Любовникъ Юліи Вольмаръ, Малекъ-Адель и де Линаръ, И Вертеръ, мученикъ мятежный, И безподобный Грандисонъ, Который намъ наводитъ сонъ; Всъ для мечтательности нъжной Въ единый образъ облеклись, Въ одномъ Онъгинъ слились.

Татьяна воображала и самоё себя

Своихъ возлюбленныхъ творцовъ, Клариссой, Юліей, Дельфиной.

Не даромъ

Она влюбилася въ обманы И Ричардсона и Руссо.

Ясно отсюда, что воображеніе Татьяны было наполнено западными романами, — Ричардсона, Руссо, Гёте, М-те de Staël, М-те Cottin, баронессы Крюднеръ.

Татьяна въ этомъ уподоблядась образованнымъ русскимъ дъвушкамъ того времени, но вмъстъ съ тъмъ уже въ дътствъ

> страшные разсказы Зимою въ темнотъ ночей Плъняли... сердце ей,

а потомъ также

Татьяна вѣрила преданьямъ Простонародной старины,

и изъ выбора ея чтенія еще не слъдуєть, чтобы она не была вполнъ "русская" своей "душой", по крайней мъръ, въ тъхъ мечтахъ, которыя ръшили судьбу ея души.

Если приглядимся къ основнымъ воззрвніямъ Татьяны, то увидимъ, что они находились въ связи съ мечтами и нѣкото-

рыми основными идеями романовъ Ричардсона, Руссо, Гёте и др., но преимущественно—съ средой, въ которой выросла Татьяна. Она

Волненье свёта ненавидить; Ей душно здёсь... она мечтой Стремится къ жизни полевой, Въ деревню, къ бъднымъ поселянамъ, Въ уединенный уголокъ, Гдё льется свётлый ручеекъ, Къ своимъ цвётамъ, къ своимъ романамъ, И въ сумракъ липовыхъ аллей, Туда, гдё онъ являлся ей.

Татьяна въ годы зрѣлости была не только "мечтательницей милой" и разсуждала не только въ духѣ идеальныхъ и сентиментальныхъ героинь западно-европейскихъ романовъ, любительницъ идилліи, когда говорила, уѣзжая изъ родной деревни:

> Прости, веселая природа! Мѣняю милый тихій свѣть На шумъ блистательныхъ суеть;

или въ Петербургъ:

... Сейчасъ отдать я рада
Всю эту ветошь маскарада,
Весь этотъ блескъ и шумъ и чадъ
За полку книгъ, за дикій садъ,
За наше бѣдное жилище...
Да за смиренное кладбище,
Гдѣ пынче крестъ и тѣнь вѣтвей
Надъ бѣдной нянею моей.

Чертою воспитанія и вмѣстѣ народности Татьяны слѣдуеть признать, что

Все тихо, просто было въ ней.

Вліяніе русскихъ нравовъ сказалось и въ знаменитомъ отвътъ ея Онътину:

Я васъ люблю (къ чему лукавить?), Но я другому отдана; Я буду вѣкъ ему вѣрна.

Въ этихъ словахъ выступаетъ съ рѣшительностью праветвенное чувство, рѣзко отличающее Татьяну отъ Руссовскои

Юлін. Julie d'Etange была приведена къ религіи своими несчастіями и пскала убъжища въ Богъ, чтобы найти у Него то милосердіе, въ которомъ отказывали ей люди. Даже въ томъ самомъ письмъ Татьяны къ Онъгину, въ которомъ указываютъ не совсъмъ, впрочемъ, убъдительно совнаденія съ выраженіями Юлін Вольмаръ, находимъ такія коренныя черты русскаго склада, какъ въру, въ суженаго:

Я знаю, ты мит посланъ Богомъ, До гроба ты хранитель мой...,

или русскую религіозность:

Ты говориль со мной втиши, Когда я бъднымь помогала, Или молитвой услаждала Тоску волнуемой души.

Вотъ эти-то природныя и чисто народныя черты характера Татьяны, въ соединении съ ея милою наивностью и свъжестью ея нравственной натуры, и сообщили ея образу особую прелесть въ фантазіи поэта. На основаніи словъ самого Пушкина*), въ Татьянъ надо признать его пдеалъ, правиль-

*) III, 404 (VIII, L):

Прости жъ... И ты, мой върный идеалъ.

405 (VIII, LI):

А ты, съ которой образованъ Татьяны милый идеалъ

Cp. III, 258 (E.O., LVII):

Такъ я безиеченъ, воспъвалъ И дъву горъ, мой идеалъ...

и III, 383 (E.O., VIII, V):

И воть она (муза) въ саду моемъ Явилась барышней уфздной Съ печальной думою въ очахъ, Съ французской книжкою въ рукахъ.

Терминъ "увздиая барышия" см. еще III, 312 (Е. О. IV, XXVIII). Объ "увзонысъ барышняхъ", типъ которыхъ такъ нравился Пушкину, имьются интересныя указанія въ его произведеніяхь. См. въ особенности IV, 76—77 (. . что за предесть эти увздныя барышии!... главное изъ ихъ существенныхъ достоинствъ: особен-

нѣе — одно изъ выраженій его идеала. Самъ поэтъ выразился въ одномъ изъ разговоровъ, что Онѣгинъ не стоитъ Татьяны.

Какъ попимать это, и почему Татьяна выше Онъгина? Татьяна какъ будто уступаетъ последнему въ широте обравованія и въ знаніи свъта и людей, но она въ большей степени русская душой, т.-е. сердцемъ умомъ и волею. Своею тонкою женскою душой она лучше Онъгина прочувствовала и поняла высшую правду жизни и нашла дучше Онъгина выходъ изъ удушья испорченнаго свъта. Она пока не бъжитъ изъ послъдняго и остается на мъстъ, но вся ея душа — не въ "омутъ" пустой великосвътской жизни и въ скитальчествахъ, между прочимъ, а среди прекрасной, чарующей красотами, природы, а въ памятованіи о лучшемъ, что есть въ жизни: ея воображеніе наполняеть мысль о житьт не остывшимъ сердцемъ и дъятельнымъ умомъ въ деревиъ, хотя бы и неприглядной, среди природы и "бъдныхъ поселянъ", которыхъ, какъ видно изъ этого выраженія, Татьяна очень любить. Одинь изъ самыхъ дорогихъ образовъ, согръвающихъ ея память о прошломъ, принадлежитъ тому же деревенскому міру: это образь ея "бъдной няни". Упоминая о послъднен, не думаль ли Пушкинь о своей Аринь Родіоновив, которая такъ сблизила его съ народомъ и о которой онъ тепло говорилъ уже въ последній годъ своего пребыванія въ Лицев?

ность характера, самобытность (individualité), безь чего, по мивнію Жанъ-Поля, не существуеть и человфческаго величон") и "Отрывки изъ романа въ письмахъ" (1831 г.). Въ "Инсьмъ Лизи" читаемъ: Вообще здъсь болье занимаются словесностью, чьмъ въ Петербурсъ... Теперь я пошимаю, почему Вяземскій п Пушкинъ такъ любятъ увздимхъ барышень; опь — ихъ петипная публика (IV, 353) Ср. тамъ же въ концъ Х письма (о Лизъ): "...Часъ отъ часу болъе въ нее влюбляюсь. Въ ней много увлекательнаго. Эта тихая, благородная стройность въ обращения - главная предесть высшаго петербургскаго общества, а между тъмь, что-то женское, синсходительное, доброродное. Въ си сужденіяхъ пътъ ничего разкаго, жестокаго. Она не морщится передъ впечатланіемъ... Она слушаеть и понимаеть вась. Редкое достоинство въ нашихъ женщинахъ"... Тамъ же далее о другой "милой девумкь": "эта девушка, выросшая подъ яблонями, воспитанная между скирдами, природой и нянюшками, гораздо милье нашихъ ознообразныхъ красавидъ, которыя до свадьбы придерживаются мифнія маменекъ, а послъ свадьбы мивнія мужьевъ" (IV, 359). См. еще въ IV плапь "Русскаго Пелама" (1835 г.): "балы, скука большого свъта, происходящия оты бранчивости женщинъ". Конечно, далеко не вев и изъ "увздныхъ" барышень были одобряемы Пушкинымъ. См., напр., характеристику псковскихъ барышень (III, 308).

Сколь далекимъ отъ Татьяны во всемъ этомъ оказался Онъгинъ: пребываніе въ роднои деревив не дало ничего ни его уму ни сердцу, а въ противномъ случав, сколько могъ бы онъ сдълать тамъ! Въ Татьянъ Пушкина можно, кажется, на основаніи сказаннаго, усматривать уже вполив русскія видонзмівненіе и воплощеніе чрезъ Руссо и его послідователей о жизни вблизи природы; эти грезы нашли высшее и разумное осмысленіе и вполить дібіствительное примітненіе благодаря тому, что слились со старорусскимъ идеаломъ жизни въ простоть, но богатств духовнаго содержанія и со старорускимъ общеніемъ высшаго класса съ народомъ, которое держалось до нечальнаго разлада, являющагося и въ жизни Опітина. Татьяна жила все еще мечтою, но то была прекрасивійшая мечта, между прочимъ, и по близости къ осуществленію.

Въ образъ Татьяны дана была, такимъ образомъ, наилучшая поправка указаннымъ грезамъ, а въ ея любви къ народу и ея самоотверженномъ подчиненіи себя долгу — лучшая критика героевъ скуки и тоски, послѣднею формацією которыхъ подъ перомъ Пушкина явился Онѣгинъ, — новое, болѣе совершенное видоизмѣненіе "Кавказскаго плѣнника" и Алеко. Дашкевичъ.

Татьяна положительный типъ, а не отрицательный, это типъ положительный красоты, это аповеоза русской женщины, и ей предвазначилъ поэтъ высказать мысль поэмы въ знаменитой сценъ послъ встръчи Татьяны съ Онъгинымъ. Можно даже сказать, что такой красоты положительный типъ русской женщины почти уже и не повторялся въ нашей художественной литературъ - кромъ развъ образа Лизы въ "Дворянскомъ гнъздъ" Тургенева. Но манера глядъть свысока сдълала то, что Онфгинъ совсфиъ даже не узналъ Татьяны, когда встрътилъ ее въ первый разъ, въ глуши, въ скромномъ образъ чистой, невинной дъвушки, такъ оробъвшей предъ нимъ съ перваго разу. Онъ не сумблъ отличить въ бъдной дъвочкъ законченности и совершенства и дъйствительно, можетъ-быть, приняль ее за "правственный эмбріонь". Это она-то эмбріонь, это послъ письма-то ея къ Онъгину! Если есть кто правственный эмбріонъ въ поэмъ, такъ это, конечно, онъ самъ, Опъгинъ, и это безспорио. Да и совсъмъ не могъ онъ узнать ее: развъ онъ знаетъ душу человъческую? Это отвлеченным

человъкъ, это безпокойный мечтатель во всю его жизнь. Не узналь онь ея и потомъ въ Петербургь, въ образъ знатной дамы, когда, по его же словамъ, въ письмѣ къ Татьянѣ, "постигалъ душой всъ ея совершенства". Но это только слова. Она прошла въ его жизни мимо него не узнанная и не оцъненная имъ, въ томъ и трагедія ихъ романа. О, если бы тогда, въ деревиъ, при первой встръчъ съ нею, прибылъ туда же изъ Англін Чайльдъ Гарольдъ или даже, какъ-нибудь, самъ лордъ Байронъ и, замътивъ ся робкую, скромную прелесть, указаль бы ему на нее, — о, Опътинъ, тотчасъ же быль бы поражень и удивлень, ибо въ этихъ міровыхъ страдальцахъ такъ много подчасъ лакейства духовнаго! Но этого не случилось, и искатель міровой гармоніи, прочтя ей проповъдь и поступивъ все-таки очень честно, отправился съ міровою тоской своею и съ пролитою въ глупенькой злости кровью на рукахъ своихъ, скитаться по родинъ, не примъчая ея и, кипя здоровьемъ и силою, восклицать съ проклятіями:

> Я молодъ, жизнь во миѣ крѣпка, Чего миѣ ждать, тоска, тоска!

Это поняла Татьяна. Въ беземертныхъ строфахъ романа поэтъ изобразилъ ее посътивнею домъ этого столь чуднаго и загадочнаго для нея человъка. Я уже не говорю о художественности, недосягаемой красотъ и глубинъ этихъ строфъ. Вотъ она въ его кабинетъ, она разглядываетъ его книги, вещи, предметы, старается угадать по нимъ душу его, разгадать свою загадку, и "нравственный эмбріонъ" останавливается, наконецъ, въ раздумьи, со странною улыбкой, съ предчувствіемъ разръшенія загадки, и губы ея тихо шепчутъ:

Ужъ не пародія ли онъ?

Да, она должна была прошентать это, она разгадала. Въ Петербургъ, потомъ, спустя долго, при новой встръчъ ихъ, она уже совершенно его знаетъ. Кстати, кто сказалъ, что свътская, придворная жизнь тлетворио коснулась ея души, и что именно саиъ свътской дамы и новыя свътскія понятія были отчасти причиной отказа ея Опъгину? Нътъ, это не такъ было. Иътъ, это та же Таня, та же прежияя деревенская Таня! Она не испорчена, она, напротивъ, удручена этою пышною петербургскою жизнью, надломлена и страдаетъ; она

ненавидить свой санъ свътской дамы, и кто судить о ней иначе, тоть совсъми не понимаеть того, что хотъть сказать Пушкинъ. И воть она твердо говорить Онъгипу:

> Но я другому отдана, И буду въкъ ему върна.

Высказала она это именно какъ русская женщина, въ этомъ ея апооеозъ. Она высказываетъ правду поэмы. О, я ни слова не скажу про ся религіозныя убъжденія, про взглядь на таннство брака — нътъ, этого я не коснусь. По что же: потому ли она отказалась итти за нимъ, несмотря на то, что сама же сказала ему: "я васъ люблю", потому ли, что она "какъ русская женщина" (а пе южная, или не французская какая-инбудь), не способна на смълый шагъ, не въ силахъ порвать свои путы, не въ силахъ пожертвовать обаяніемъ честей, богатства, свътскаго своего значенія, условіями добродътели? Нъть, русская женщина смъла. Русская женщина смъло поёдетъ за тъмъ, во что повъритъ, и ова доказала это. Но она "другому отдана, и будетъ въкъ ему върна". Комуже, чемуже върна? Какимъ это обязанностямъ? Этому-то старику-генералу, котораго опа не можетъ любить, потому что любитъ Онъгина и за котораго вышла потому только, что ее, "съ слезами закливаній молила мать", а въ обиженной, израненной душт ея было тогда лишь отчаяніе и никакой надежды, никакого просвъта? Да, върна этому генералу, ея мужу, честному человъку, ее любящему, ее уважающему и ею гордящемуся. Пусть ее "молила мать", но въдь она, а не кто другая, дала согласіе, она въдь, она сама поклялась ему быть честною женой его. Пусть она вышла за него съ отчаянія, но теперь онъ ея мужъ, и изміна ея покроетъ его позоромъ, стыдомъ, и убъетъ его. А развъ можетъ человъкъ основать свое счастье на несчастьи другого? Счастье не въ однихъ только наслажденіяхъ любви, а и въ высшей гармонін духа. Чемъ успоконть духъ, если назади стоитъ несчастный, безжалостный, безчеловъчный поступокъ? Ей бъжать изъ-за того только, что тутъ мое счастье? Но какое же можетъ быть счастье, если опо основано на чужомъ несчастьи? Позвольте, представьте, что вы сами возводите зданіе судьбы человъческой съ цълью въ финалъ осчастливить людей, дать имъ, наконецъ, миръ и покой. И вотъ, представьте себъ тоже, что для этого необходимо и неминуемо надо замучить всего

только лишь одно человъческое существо, мало того - пусть даже не столь достойное, смъшное даже на иной взглядъ существо, не Шекспира какого-нибудь, а просто честнаго старика, мужа молодой жены, въ любовь которой опъ върить слъпо, хотя сердца ея не знаетъ вовсе, уважаетъ ее, гордится ею, счастливъ ею и покоенъ. И вотъ только его надо опозорить, обезчестить и замучить и на сдезахъ этого обезчещеннаго старика возвести ваше зданіе! Согласитесь ли вы быть архитекторомъ такого зданія на этомъ условін? Вотъ вопросъ. II можете ли вы допустить хоть на минуту идею, что люди, для которыхъ вы строили это зданіе, согласились бы сами принять отъ васъ такое счастье, если въ фундаментъ его заложено страданіе, положимъ, хоть и инчтожнаго существа, но безжалостно и несправедливо замученнаго, и, принявъ это счастье, остаться навъки счастливыми? Скажите, могла ли ръшить иначе Татьяна, съ ея высокою душой, съ ея сердцемъ, столько пострадавнимъ? Нѣтъ: чистая русская душа рѣнаетъ вотъ какъ: "пусть, пусть я одна лишусь счастья, пусть мое несчастье безмфрио сильнфе, чфмъ несчастье этого старика, пусть, наконецъ, никто и пикогда, а этотъ старикъ теже, не узнаютъ моей жертвы и не оцвиять ея, но не хочу быть счастливою, загубивъ другого!" Тутъ трагедія, она и совершается, и перейти предъла нельзя, уже поздно, и вотъ Татьяна отсылаетъ Онъгина. Скажутъ: да въдь несчастенъ же и Онъгинъ: одного спасла, а другого погубила? Позвольте, тутъ другой вопросъ, и даже, можетъ-быть, самый важный въ поэмъ. Кстати, вопросъ: почему Татьяна не пошла съ Онфгинымъ, имъетъ у насъ, по крайней мъръ, въ литературъ нашей, своего рода исторію весьма характерную, а потому я и позволиль себф такъ объ этомъ вопросф распространиться. И всего характерпъе, что вравственное разръшение этого вопроса столь долго подвергалось у насъ сомивнію. Я вотъ какъ думаю: если бы Татьяна даже стала свободною, если бъ умеръ ся старый мужъ, и она овдовъда, то и тогда бы она не пошла за Опъгннымъ. Надобно же понимать всю суть этого характера! Вѣдь она же видитъ, кто опъ такой: въчный скиталецъ, увидалъ вдругъ женщину, которою прежде пренебрегъ, въ новой блестящен, недосягаемой обстановкъ, -- да въдь въ этой обстановкъ-то, пожалуй, и вся суть дела. Ведь этой девочке, которую онъ чуть не презираль, теперь поклоняется свъть, - свъть, этотъ

страшный авторитеть для Онъгина, несмотря на всъ его міровыя стремленія, - вотъ въдь, вотъ почему опъ бросается къ ней ослъиленный! Вотъ мой идеаль, восклицаеть онъ, вотъ мое спасеніе, воть исходь тоски моей, я проглядёль его, а "счастье было такъ возможно, такъ близко!" И какъ прежде Алеко къ Земфирф, такъ и опъ устремляется къ Татьянф, ища въ новой причудливой фантазіи всбхъ своихъ разръшеній. Да развъ этого не видитъ въ немъ Татьяна, да развъ она не разглядъла его уже давно? Въдь она твердо знаетъ, что онъ въ сущности любитъ только свою повую фантазію, а не ее, смиренную, какъ и прежде, Татьяну! Она знаеть, что онъ принимаеть ее за что-то другое, а не за то, что она есть, что не ее даже онъ и любить, что, можетъ-быть, онъ и никого не любитъ, да н не способенъ даже кого-нибудь любить, несмотря на то, что такъ мучительно страдаетъ! Любитъ фантазію, да въдь онъ и самъ фантазія. Въдь если она пойдеть за нимъ, то онъ завтра же разочаруется и взглянеть на свое увлечение насмъшливо. У пего никакой почвы, это былинка, носимая вътромъ. Не такова она вовсе: у ней и въ отчаяніи и въ страдальческомъ сознанін, что погибла ся жизнь, все-таки есть нѣчто твердое и незыблемое, на что опирается ея душа. Это ея воспоминанія дътства, воспоминанія родины, деревенской глуши, въ которой началась ея смиренная, чистая жизнь, — это "крестъ и тонь вотвей надъ могилой ея бодной ияни". О, эти воспоминанія и прежніе образы ей теперь всего драгоцінье, эти образы один только и остались ей, но они-то и спасають ея душу отъ окончательнаго отчаянія. ІІ этого не мало, нътъ тутъ уже многое, потому что тутъ целое основаніе, тутъ нечто незыблемое и неразрушимое. Туть соприкосновение съ родиной, съ роднымъ народомъ, съ его святынею. А у него что есть, и кто онъ такой? Не итти же ей за нимъ изъ состраданія, чтобы только потъщить его, чтобы хоть на время изъ безконечной любовной жалости подарить ему призракъ счастья, твердо знал напередъ, что онъ завтра же посмотритъ на это счастье свое насмъщливо. Ифтъ, есть глубокія и твердыя души, которыя не могуть сознательно отдать святыню свою на позоръ, хотя бы и изъ безконечнаго состраданія. Нътъ, Татьяна не могла пойти за Онфгинымъ. Достоевскій.

Поэтическій образъ Ленскаго и его жизненность.

"Онъ изъ Германіи туманной Привезъ учености плоды: Вольнолюбивыя мечты, Духъ пылкій и довольно странный, Всегда восторженную рёчь, И кудри черные до плечъ"...

("Евг. Опфг.", гл. II, стр. VI).

Поэтическій образъ юнаго Ленскаго, рано унесеппаго могилою, обрисованъ Пушкинымъ очень бѣгло: передъ нами, въ сущности, только характеристика юноши и затѣмъ, какъ бы иллюстрація къ ней, стихи, сочиненные имъ передъ дуэлью. По и этого немногаго, даннаго Пушкинымъ, вполиѣ достаточно для вѣрнаго пониманія внутренией жизни Ленскаго.

Кромъ этой существенной поддержки, идущей отъ самого Пушкина, данныя, почеринутыя непосредственно изъ русской дъйствительности той эпохи, помогутъ намъ доказать: 1) что, подобно Татьянъ и Онъгину, этотъ второстепенный герой пушкинскаго романа не вымышленъ великимъ художипкомъ, а взятъ изъ русской жизни, — и 2) что художественное воплощеніе этого типа шло тъмъ же порядкомъ, какой былъ указанъ нами выше, когда ръчь шла о главныхъ герояхъ романа.

Что касается до Ленскаго, то выяснить его внутренній міръ можно легко изъ той прекрасной характеристики его, которую даль самъ Пушкинъ въ строфахъ: VI—XII, XIII, XVI, XX. XXII второй главы: передъ нами обрисовывается очень яркими чертами образъ юноши "die schöne Seele", "прекрасиодушнаго" мечтателя-идеалиста, върящаго утопіямъ, политическимъ и моральнымъ, сентиментальнаго, романтическаго...

Этотъ типъ сложился во второй половинѣ XVIII вѣка, въ "туманной Германіи" и нѣсколько позже, къ концу того же вѣка, ярко обрисовался и у насъ.

Съ его появленіемъ у пасъ начинается переломъ русской литературы отъ французскаго псевдоклассицизма къ нѣмецкому романтизму. Карамзинъ стоптъ во главъ этого новаго періода русской литературы: онъ же былъ несомиѣннымъ прародителемъ огромной толны всѣхъ этихъ Ленскихъ, "полурусскихъ" юношей-идеалистовъ, пѣвцовъ своей "прекрасной" души.

Хотя между Карамзинымъ и Ленскимъ разстояніе въ тридцать лѣть, однако черты ихъ до того поразительно близки, что характеристика Ленскаго, сдъланная Пушкинымъ, почти безъ измѣненія можетъ быть приложена къ Карамзину, какимъ онъ былъ передъ путешествіемъ заграницу: оба были поклонниками "туманной Германін", оба увлекались и Кантомъ, и вольнолюбивыми мечтами, у обоихъ былъ "духъ пылкій и довольно странцый", "всегда восторженная рѣчь и кудри черныя до плечъ". .

Когда Карамзинъ сблизился съ Петровымъ, онъ горълъ "пламеннымъ усердіемъ къ добру", какъ у Лепскаго. —

> Негодованье, сожальные, Ко благу чистая любовь— Въ немъ рано волновали кровь.

Карамзинскую "искренность, живость, цвкоторый жаръ чувства" узнаемъ мы въ "пылкихъ", "восторженныхъ ръчахъ" Ленскаго, въ его "юномъ жаръ, юномъ бредъ, въ его "пламенной младости"...

"Милыя надежды" Карамзина, его "тайныя сомивнія" волновали и Ленскаго,—

...Міра новый блескъ и шумъ Еще плѣняли юный умъ. Онъ забавляль мечтою сладкой Сомиѣнья сердца своего. Цѣль жизии нашей для него Была заманчивой загадкой; Падъ ней онъ голову ломаль И чудеса подозрѣваль.

У обоихъ "душа воспламенилась" поэтическимъ огнемъ поэтовъ Германіи; разница лишь въ томъ, что Карамзинъ зачитывался Клонштокомъ, Клейстомъ, а Ленскій — Шиллеромъ и Гёте... Оба въ своихъ произведеніяхъ гордо сохранили всегда возвышенныя чувства, порывы "дѣвственной мечты". Оба проливали "живыя" слезы при разлукъ, оба знали припадки "меланхоліи", "пъли поблеклой жизни цвътъ, безъ малаго въ осьмнадцать лътъ.

Аюбопытно, что сходство простирается до того, что захватываетъ даже отношенія обонхъ къ нхъ друзьямъ, Онъгнну и Петрову: "гдъ онъ (Петровъ) одобрядъ съ спокойной улыбкой,

тамъ я (Карамзинъ) восхищался; огненной пылкости моей противопологалъ онъ холодную свою разсудительность". Онъгинъ тоже —

· ...слушалъ Ленскаго съ улыбкой П охладительное слово Въ устахъ старался удержать...

О чемъ же бесёдовали друзья. — Опётниъ съ Ленскимъ и Петровъ съ Карамзинымъ? — Да буквально о томъ же: "разсуждали мы о происшествіяхъ міра, угадывали будущую судьбу человъчества", "разсуждали о правственномъ міръ", славили "преимущества осьмагонадесять въка", "распространеніе духа общественности", "тъснъйшую и дружелюбнъйшую связь народовъ", вопрошали натуру о великихъ тайнахъ ея", —

Межъ ними все рождало споры И къ размышленію влекло: Племенъ минувшихъ договоры, Илоды наукъ, добро и зло, И предразсудки въковые И гроба тайны роковыя.

Сходство простирается даже до такои мелочи, какъ чтеніе Оссіана, которымъ и Карамзинъ, и Ленскій угощали своихъ друзей...

Припоминить изсколько писемъ, отправленныхъ Карамзинымъ къ Лафатеру, — и опять Ленскій, съ его душой, съ его чувствами, мыслями и интересами, ярко обрисуется передъ нами...

Сдъланное нами сопоставленіе, конечно, не приведеть насъ къ заключенію, что Ленскій срисованъ съ Карамзина, но мы должны будемъ признать, что типъ юноши-идеалиста, типъ, занесенный къ намъ Карамзинымъ и прочно привился къ русской жизни: опъ не умиралъ въ теченіе 30—40 лѣтъ и ко времени Пушкина сохранилъ свои яркія краски и духовные интересы.

Въ самомъ дѣлѣ, достаточно бѣглаго взгляда, чтобы убѣдиться, что послѣ Карамзина у насъ развелось не мало "прекрасподушныхъ" юношей, сомнительныхъ мечтателей, живущихъ пдеальными чувствами, — всѣ они въ значительной степени люди "полурсскіе", очи ихъ направлены на любезную имъ Германію. Оставимъ мелкихъ представителей этого сорта людеи, бо́льшею частью учениковъ и поклонниковъ

Карамзина, и перейдемъ къ болъе крупнымъ представителямъ этого типа.

Прежде всего бросается намъ въ глаза образъ Андрея Тургенева, юпаго поэта, съ чистымъ сердцемъ, "исполнениымъ любви къ прекрасному" — друга Жуковскаго. Иъкоторые стихи его, стихи, проникнутые чувствомъ свътлой грусти,
по въ то же время любви и въры, показываютъ намъ, что
поэтическія грезы Ленскаго ему очень сродни, — онъ тоже —

...пълъ разлуку и печаль, И нъчто, и туманну даль, И романтическія розы... Онъ пълъ поблеклой жизни цвътъ, Безъ малаго въ осьмнадцать лътъ"...

Безмятежный идеализмъ, находившій утѣщеніе въ воспоминаніи "минувнихъ дней блаженныхъ" и въ надеждѣ на свѣтлое будущее, преклоненіе передъ вѣчнымъ царствомъ любви, — все это довольно характерныя черты и для пушкинскаго Ленскаго. "Тѣнь веселая и мирная!" — взывалъ Жуковскій къ своему покойному другу: "тѣнь твоя надо мною, она — собесѣдища безмолвныхъ часовъ моихъ, незримый хранитель моего сердца!". Къ этому прибавимъ увлеченіе А. Тургенева нѣмецкой литературой, за что его даже звали "нѣмцемъ", прибавимъ его восторженность и "пѣсни пламенны и музамъ и, свободъ" въ "священномъ" кругу такихъ же "прекраснодушныхъ" юношей — и опять обрисуются передъ нами свѣтлыя, ясныя черты Ленскаго...

Обратимся теперь къ Жуковскому. Опять полное совпаденіе съ Ленскимъ: весь первый періодъ поэтической дъятельности "прекраснодушнаго" Жуковскаго, въ сущности, есть не что иное, какъ варіаціи на тъ же темы, которыя разрабатывались Ленскимъ. —

Въ немъ скорбь о непзвѣстномъ, Стремленье въ даль, любви тоска, Томленье разлуки...

Развъ о такой поэзін говорить Пушкинь въ словахь:

Онъ пѣлъ любовь... Онъ пѣлъ разлуку и печаль, И нѣчто, и туманну даль, Онъ пѣлъ поблеклой жизни цвѣтъ Безъ малаго въ осьмнадцать лѣтъ... Правда, Ленскій быль также поклонникомъ нѣмецкой философін; кромѣ того довольно рѣзко подчеркнуты Пушкинымъ его "вольнолюбивыя" мечты. Но и эти черты отыщемъ мы въ русской жизни той эпохи: намъ поможетъ въ этомъ, хотя бы — князь А. И. Одоевскій, юноша-поэтъ, поплатившійся за свои вольнолюбивыя мечты Сибирью. Стоитъ памъ слегка ознакомиться съ этимъ образомъ, — и опять передъ нами станетъ тотъ же Ленскій: тотъ же —

> ...блескъ лазурныхъ глазъ, И звонкій дътскій смъхъ, и ръчь живая...

"Мысли его, разсказываетъ М. Бестужевъ, витали въ облафантазін. Это быль молодой пылкій человъкъ стяхъ поэтъ въ душъ". Огаревъ, встрътившійся съ нимъ на Кавказъ, разсказываетъ слъдующій эпизодъ, характерный для Одоевскаго: "ночь была чудная. Мы съли на скамью, и Одоевскій говориль свои стихи. Я слушаль, склоня голову. Это быль рассказь о виденіи какого-то светлаго женскаго образа, который передъ нимъ явился въ прозрачной мгль и медленно скрылся". Развъ не тъ же видъція посъщали Ленскаго, когда онъ писалъ свою лебединую пфснь передъ дуэлью: тотъ же воздушный, женскій образъ, легкій, полупрозрачный, проносящійся дегкой тінью передъ чистыми очами юпоши-поэта, умиленнаго, восхищеннаго. Обратимся ди мы къ стихамъ Одоевскаго, — мы опять услышимъ музыкальные мотивы трогательной элегіи Ленскаго:

Куда, куда вы удалились?...

Мы услышимъ въ этихъ стихахъ ту же возвышенную, чистую грусть, освященную тою же вдохновенной дюбовью ко всему міру и безоблачнымъ оптимизмомъ.

Стоптъ сравнить, хотя бы, его элегію: "Умирающій художникъ" съ стихами Ленскаго, — и мы еще разъ убъдимся, до какой степени могъ Пушкинъ проникаться чужимъ настроеніемъ: стихи Ленскаго совершенно въ тонъ этой элегіи, —

...едва лучи денницы
Моей коснулися зѣницы, —
И свѣтъ во взорахъ потемиѣлъ;
Илодъ жизни свѣянъ недоспѣлый!
Иѣтъ! Сновъ небесныхъ кистью смѣлой

Одушевить я не успѣль; Гласъ пѣсии, мною не допѣтой, Пе дозвучить въ земныхъ струнахъ, И я, въ нетлѣніе одѣтый, Ее дослышу въ небесахъ.

Развъ не эти же думы роились въ головъ Ленскаго, когда онъ думалъ о возможной смерти? Когда мысли его перенеслись къ Ольгъ, — развъ его поэтическія грезы пе совпали съ грезами Одоевскаго:

Улетьль надеждь блеснувшихь Лучезарный хороводь, Лишь одна изъ дѣвъ воздушнымъ Запоздала. Сладкій взоръ, Легкій шопоть усть послушныхь, Твой небесный разговоръ Внятны мнѣ. Тебѣ охотно Я ввѣряюсь всей душой... Тихо плавай надо мной. Плавай, другь мой неотлетный! Всѣ исчезли. Ты одна На яву, во время сна, Навѣвасшь утѣшенье.

Поэть, живущій въ "мірѣ мечтаній", преклоняющійся передъ "святыней чувства", Одоевскій, задаеть себѣ томптельный вопросъ, который, конечно, мучиль и Ленскаго:

Зачёмъ мучительною тайной Непостижимый жизни путь Волнуетъ трепетную грудь? Какъ званый гость, пли случайный, Пришель онъ въ этотъ чуждый міръ. Гдё скудно сердца наслажденье И скорби съ радостью смёшенье Томить, какъ похоронный пиръ? — Гдё насъ объемлетъ разрушенье, Гдё колыбель — могилы дань, Развалинъ цёпь — поля и горы!..

Если мы обратимся къ мемуарамъ того времени, — опять передъ нами пронесется и всколько чистыхъ юношескихъ образовъ, просвътленныхъ тъмъ же идеализмомъ, которымъ пылала душа Ленскаго. С. Аксаковъ, напримъръ, вспоминаетъ свою юность въ слъдующихъ восторженныхъ выраженіяхъ: "Прекрасное, золотое время! Время чистой любви къ знанію, время

благороднаго увлеченія!"... Туть, конечно, есть и пдеальная дружба и любовь, и преклоненіе передъ природой, и увлеченіе идеалистической литературой: Аксаковъ зачитывался романами Коцебу и Лафонтена, "читалъ ихъ по ночамъ — въ пустыхъ антресоляхъ — читалъ съ увлечечіемъ, съ самозабвеніемъ! Смъшно сказать, но и теперь слова: "люби меня, я добръ, Фанни!" или: "мъсяцы, блаженные мъсяцы пролетали надъ этими счастливыми смертными", слова, сами по себъ ничтожныя и пошлыя, заставляють сердце мое биться скорве по одному воспоминанію того восторга, того упоенія, въ которое приводили они пятнадцатилътняго юношу!"... Прощаясь со своею университетскою жизнью, Аксаковъ разражается цёлымъ рядомъ восторженныхъ восклицаній: "прощай, шумная, молодая, учебная жизнь! Прощайте, первые, невозвратные годы юности пылкой, ошибочной, неразумной, но чистой и благородной!.. Ствиы гимназіи и университета, товарищи — вотъ, что составляло полный міръ для меня. Тамъ разръшались молодые вопросы, тамъ удовлетворялись стремленія и чувства. Тамъ быль судь, осужденіе, оправданіе и торжество! Тамъ царствовало полное презръніе ко всему низкому и подлому, ко всьмъ своекорыстнымъ расчетамъ и выгодамъ, ко всей житейской мудрости — и глубокое уважение ке всему честному и высокому, хотя бы и безразсудному!". Эти вдохновенныя строки говорять намь о настроенін цілаго поколінія молодежи и находять подтверждение въ рядъ другихъ свидътельствъ. Изъ записокъ Жихарева мы узнаемъ, напримъръ, что молодежь тогдашияя увлекалась музыкой, "исполненною чувства и пъмецкой мечтательности, что трогательные стихи, отъ которыхъ "такъ и въетъ Маттисономъ", приводили въ умиленіе.

На ея могиль есть цвытокь незримый:
Всюду разливаеть онь благоуханье.
Онь — цвытокь завытный, онь — цвытокь любимый.
Онь — воспоминанье!
И вычно душистый, цвытокь неизмынный
Не боится бури, не вянеть оть зноя,
Сторожить сохранно имя преселенной
Къ вычному покою!

Слушая соловья на могилъ своей милой, идеальный юноша того времени обливался слезами и сочинялъ чувствительную элегію:

... Пъсня сладостна твоя; Но стократь изживе Раздавалась пѣснь ел Слаще и милъе! Пъсня дъвы молодой Въ сердце западала, Какъ воздушной арфы строй, Душу проникала. Много, много васъ пъвцовъ Съ весною прибудеть, Ho весна почившей вновь Къ пѣснямъ не разбудить! Голосъ смолкъ, погаснулъ взоръ, Здѣсь она отпѣла, II къ пъвцамъ безплотнымъ въ хоръ, Въ небо улетъла!

Вотъ, передъ нами еще одинъ юноша — Телешовъ, о которомъ его ученица, графиня А. Д. Блудова, отзывается съ самымъ живымъ сочувствіемъ: у него, оказывается, "была душа самая пылкая, иъжная, женственная п, какъ у Ленскаго,

Всегда восторженная рѣчь..."

Это быль идеалисть pur sang, чистын образчикъ юноши-"die schöne Seele". Такимъ же былъ, повидимому, и С. Глинка, который, по собственому признанію, "лельяль сердце жизнію мечтательною", быль "платопически влюбленъ", воспъвалъ свою милую въ элегическихъ стихахъ... Немудрено, что его записки переходять порой въ поэтическія импровизаціи, мечтательныя, сентиментальныя... Читая ихъ, мы опять вспоминаемъ все тогоже Ленскаго. "Былъ очаровательный іюльскій вечеръ. На голубомъ небъ солице въ безмятежномъ великолъпін спускалось на покой въ волны озеръ и золотило отражавшіяся въ нихъ вершины лъсовъ. Остановя почтовую повозку, я бросился къ предестямъ живописной природы. Мечты заронлись въ головъ моей. "По наукъ, думалъ я, земной нашъ приотъ кружится около солица; по глазамъ — оно уклоняется отъ насъ. Да въдь надобно же отдохнуть когда-нибудь и этому солнцу, которое всемъ безъ разбору и приличій дарить и свой блескъ, и красоту полей и луговъ, и золотыя жатвы нивъ! " Такъ мечталъ я, и всплывала луна, и солнце дружелюбно уступало ей владычество свое. Какой миръ въ міръ небесномъ! Какой миръ въ области безчисленныхъ свътилъ и свътовъ!

А у насъ за клочки земли какія кипатъ и ссоры, и вражды, и бури военныя! Вспоминая подъ старость свои юные "поэтическіе и мечтательные годы" жизни, Глинка разсказываетъ: "въ молодости моей, мечтая съ Юнгомъ, я бродилъ въ мѣстахъ уединенныхъ, въ глупии лѣсовъ; нерѣдко внималъ громовымъ раскатамъ, мечтая подъ дождемъ проливнымъ, пересочиняя въ мысляхъ Юнговы ночи; возвращаясь домой, передавалъ бумагѣ сумрачныя мечты свои. Отчего западало это ранисе томленіе въ мою душу? Было ли это вѣстію, чтобы я готовился на борьбу съ жизнію труженической? И отчего слезы, уныніе и въ юности моей сладостиѣе были для сердца моего утѣхъ, кружащихся въ вихрѣ большого свѣта?"

Кромф этихъ приведенныхъ нами примъровъ, мы для объясненія Ленскаго можетъ безъ труда набрать цѣлые десятки, болъе и менѣе, сходныхъ образовъ: въ любыхъ запискахъ тои эпохи, пѣтъ-нѣтъ, и мелькиетъ образъ какого-ино́удь "нѣжнаго" юпоши-мечтателя, съ идеальными порывами, съ кристальной душой... Но, думаемъ, и приведенныхъ примъровъ достаточно для доказательства нашего миѣпія, что пушкинскій Ленскій выхваченъ изъ русской дѣйствительности, что типъ этотъ имѣетъ свою исторію до Пушкина и, прибавимъ въ заключеніе, не умеръ и послѣ нашего великаго художника, — въ самомъ дѣлѣ, развѣ московскій кружокъ поклонинковъ иѣмецкой философій, собравшійся около Станкевича, не есть собраніе юношей, во многомъ сходныхъ съ Ленскимъ?...

Переходимъ теперь ко второму вопросу: "какимъ нутемъ шло художественное воплощение этого типа? "При разръшени этого вопроса мы наталкиваемся на интересную частность. Мы видъли уже, что характеристика Ленскаго, сдъланная Пушкинымъ, замъчательно върно рисуетъ типъ юпони "die schöne Seele",— но то обстоятельство, что она одинаково приложима и къ Карамзину, и къ Жуковскому, и къ Одоевскому, и къ Аксакову и ко многихъ другимъ, — доказываетъ, что обща, что Пушкинъ собралъ для своего черезчуръ . leнскаго все существенное, характерное для юноши-идеалиста, и съ этимъ пустилъ его въ свътъ... Вотъ почему, передъ нами только коллективный тинъ, нфсколько туманный и отвлеченный... Этого, конечно, нельзя сказать, напримфръ, объ Онфгинф и Татьянф: тамъ чувствуется живопись съ "натурщика" — здъсь же этого ивть: ивть ръзкаго штриха, который,

коппруя натуру, оживляеть образь, вносить въ него живыя черты случайности...

Такими же "коллективными" типами въ романъ можно назвать отца Онъгина, Лариныхъ, — въ старушкъ же Филип-пьевиъ опять чувствуется "жизнь": незабвениая Арина Родіоновна припоминается каждому.

Сиповскій.

Общее содержаніе и построеніе "Капитанской дочки".

Какою стройностью, какимъ изяществомъ и какою простотой отличается архитектура "Капитанской дочки"! У Пушкина можно учиться, какъ слъдуетъ составлять планъ романа, скръплять отдъльныя части и вести повъствованіе, не прибъгая къ многословію, не вводя въ разсказъ ни одной лишней черты, но въ то же время не упуская изъ виду ничего существеннаго. "Капитанская дочка" — образецъ художественнаго повъствованія. Въ ней нътъ ни пробъловъ ни плохо или слишкомъ сжато написанныхъ мъстъ. Но въ ней также нътъ ни одного слова, ни одной сцены, ни одной подробности, которыя не оправдывались бы строжайшей необходимостью.

Первая глава вводить насъ въ безхитростный домаший быть дворянскаго гнъзда конца прошлаго въка, знакомить съ старикомъ Гриневымъ и вообще съ той семейной обстановкой и съ той средой, подъ вліяніемъ которыхъ слагался правственный обликъ такихъ людей, какъ молодой Гриневъ, — людей, инстинктивно державшихся прямыхъ дорогъ, несмотря ни на какія опасности и соблазны. Вся первая глава провикнута сочувствіемъ къ изображаемому въ ней быту. Авторъ не скрываетъ комичныхъ сторонъ стариковъ Гриневыхъ и Савельича, но у него такъ и проглядываетъ любовное отношеніе къ этимъ людямъ, благодаря чему родовая усадьба героя романа сразу дълается чъмъ-то близкимъ и роднымъ читателю "Капитанской дочки".

Вторая глава переносить нась въ тоть край и въ тоть міръ, въ которыхъ разыгралась пугачевщина. Геніальная картина бурана и сонъ Гринева служать какъ бы отдаленными предвъстниками будущаго мятежа, этого, въ своемъ родъ, политическаго и соціальнаго урагана. И эта картина и этотъ сонъ

обличають руку великаго мастера. Двѣ страницы, посвященныя метели, — верхъ совершенства по силѣ, образности, сжатости и живости языка.

Пносказательный разговоръ Пугачева съ хозяиномъ умета, предвъщающій что-то недоброе въ близкомъ будущемъ; забавный споръ Савельича изъ-за заячьяго тулуна и изъ-за полтины денегъ — все это поистинъ прекрасно. Таинственный вожатый, внушающій чувство страха и удивленія, навсегда и сразу връзывается въ память, несмотря на свои шутовскія прибаутки и неприглядную внъшность пьяницы и бродяги, и вы не будете слишкомъ удивлены, когда встрътитесь съ нимъ, какъ съ властнымъ бунтовщикомъ и самозванцемъ.

Вторая глава, въ которой уже слышатся отдаленные глухіе раскаты пугачевской грозы, завершается появленіемъ аккуратнаго, степеннаго, расчетливаго и недальновиднаго оренбургскаго губернатора, нъмца Рейнсдорпа. Здѣсь, какъ и въдругихъ мѣстахъ повѣсти, Рейпсдорпъ обрисованъ Пушкинымъ съ тонкимъ комизмомъ, наглядно выставляющимъ несостоятельность начальника края, ставшаго ареной цѣлаго ряда важныхъ и кровавыхъ событій.

Третья глава знакомить насъ съ внутреннею жизнью комендантскаго домика и со всёми главными обитателями Бёлогорской кръпости, — одной изъ тъхъ наивныхъ, совсъмъ не страшныхъ "фортецій", на которыя пали первые удары Пугачева. Эта глава насквозь пропитана комично-патріархальною служебною пдилліей и является какъ бы проническимъ отвътомъ на ожиданія стараго Гринева относительно плодотворности суровой военной службы на окраинъ государства. Вмъсто нея мы видимъ какую-то безобидно-кукольную игру престарълаго капитана Миронова въ солдатики и никъмъ неоспариваемое бабье управленіе крипостью, захваченное въ свои руки энергичною Бавкидою этого Филемона. Бълогорская фортеція, съ ея мизернымъ гарнизономъ, состоящимъ изъ никуда негодныхъ инвалидовъ, и съ ея плутоватыми, мятежпыми казаками, ужъ, конечно, не могла дать отпора пугачевскому мятежу. Она могла противопоставить ему лишь героизмъ отдъльныхъ личностей и ихъ нелицемърную върность долгу даже до смерти, и только, но вотъ этотъ-то героизмъ и имълъ впослъдствін на молодого Грпнева то великое воспигательное вліяніе, котораго добивался старый Гриневъ для своего сына.

Первыя три главы составляють какъ бы введение въ романъ. Въ нихъ введены всв главныя двйствующія лица, по читатель еще не можеть дать себв отчета, зачёмъ они нужны автору, и какъ опъ ими воспользуется. Все повъствованіе носить покамвсть чисто эпизодическій, отрывочный характеръ. Значеніе каждаго слова, каждой подробности первыхъ трехъ главъ выясняется лишь мало-по-малу изъ дальпъйнихъ главъ.

Четвертая и пятая главы ("Поединокъ" и "Любовь") составляють отдъльную, въ себъ замкнутую, часть романа разсказъ о сближении Гринева съ Марьей Ивановной, о зависти и ревности Швабрина, о дуэли изъ-за капитанской дочки, о сватовствъ Гринева, о несогласіи Андрея Петровича на задуманный сыномъ бракъ и о другихъ, повидимому, непреодолимыхъ препятствіяхъ къ благополучной развязкъ романа двухъ молодыхъ людей.

Изъ этихъ главъ мы уже хорошо узнаемъ и возвышенную, любящую натуру Марын Ивановны, и низкій нравъ Швабрина, и благородный, пылкій нравъ молодого Гринева. Тутъ же, попутно, дорисовывается своеобразный быть старосвътскихъ обитателей Бълогорской кръпости, при чемъ каждая мелочь повъствованія носить отпечатокъ геніальности. Простодушныя и грубоватыя, но, въ сущности, върныя и мъткія разсужденія Ивана Игнатьевича о поединкахъ, расправа Василисы Егоровны съ провинившимися офицерами, любовные стишки Гринева въ тредьяковскомъ стидъ, письмо его отца къ Савельнчу и простодушный отвътъ послъдняго — все это верхъ совершенства по глубокому пониманію действительности, по колоритности языка и по свътлому, чисто пушкинскому юмору. Превосходны также и всф тф сцены, въ которыхъ участвуетъ Марья Ивановна. Всъ ея слова и дъйствія такъ и дышать чарующею предестью непорочной души.

"Духъ мой упалъ", говоритъ Гриневъ въ концѣ пятой главы. "Я боялся или сойти съ ума, или удариться въ распутство. Неожиданныя происшествія, имѣвшія важное вліяніе на всю мою жизнь, дали вдругъ моей душѣ сильное и благое потрясеніе".

Этими словами завершается пятая глава, которую, вмъстъ съ четвертою главою, можно назвать первой частью "Капи-

танской дочки". Читатель не видитъ никакого выхода для Марын Пвановны и ея милаго изъ того положенія, въ которомъ они очутились, благодаря доносу Швабрина и предубъжденію стараго Гринева противъ дочери капитана Миронова. Но вотъ тутъ-то и выступаютъ на сцену Пугачевъ и пугачевщина, делающіе невозможное возможнымъ и самымъ неожиданнымъ и причудливымъ, но въ то же время и естественнымъ образомъ содъйствующіе неразрывному сближенію Грипева съ Марьей Ивановной. Картины мятежа введены въ романъ не произвольно, не въ видъ придатка, безъ котораго можно было бы обойтись, а въ силу неизбъжной послъдовательности. Онв такъ тесно сплетены въ одно неразрывное цълое съ фабулой повъсти, онъ служатъ такимъ необходимымъ связующимъ звеномъ ея начала и конца, что автору, какъ кажется читателю, не нужно было большой изобрътательности, чтобы натолкнуться на мысль объ этихъ картинахъ: онъ, если можно такъ выразиться, сами напрашивались подъ руку. Но въ этомъ-то и сказалось все мастерство Пушкина въ дълъ художественнаго повъствованія. Эпизодъ съ заячымъ тулупомъ, положенный въ основу романа, есть не что иное, какъ вымышленный анекдотъ. Но какъ воспользовался поэтъ этимъ анекдотомъ! Съ какимъ искусствомъ онъ положилъ его въ основу своей повъсти! Эпизодъ съ заячьимъ тулупомъ въ "Капитанской дочкъ" то же самое, что основная тема въ какойнибудь симфоніи Бетховена, — тема, которая то и діло повторяется и видоизмъняется на всъ лады, постоянно напоминая о себъ, какъ о главной вити всей композиціи. Что, если бы до появленія "Капитанской дочки" какое-нибудь литературное общество предложило написать на конкурсъ романъ или разсказъ, въ которомъ Пугачевъ являлся бы добрымъ геніемъ, спасителемъ и покровителемъ молодого офицера, честно исполнявшаго свой долгь въ теченіе всего мятежа и мужественно отвергавшаго всъ предложенія самозванца? Всъ сказали бы, что эту задачу нельзя исполнить безъ явныхъ натяжекъ и хитросплетенной съти неправдоподобныхъ происшествій. Пушкинъ ръшилъ эту задачу просто и безъ всякихъ психологическихъ и повъствовательныхъ скачковъ. Фабула его романа поддерживаетъ въ читателъ неослабленный интересъ поразительнымъ и, вмфстф съ тфмъ, строго последовательнымъ сцфпленіемъ обстоятельствъ. Читая "Капитанскую дочку" въ первый разъ, каждый изъ насъ испытывалъ захватывающее любопытство. Предугадать ходъ ея событій по нѣсколькимъ начальнымъ главамъ иѣтъ никакой возможности: до самаго конца вы переходите отъ неожиданности къ неожиданности, и въ то же время чувствуете, что всѣ этп столь странныя событія, описываемыя поэтомъ, сами собой вытекаютъ изъ общаго замысла и не только не представляютъ вичего неправдоподобнаго, а напротивъ того, производятъ впечатлѣніе чего-то неизбъжнаго. Такимъ образомъ Пушкинъ блестящимъ образомъ до тигъ цѣли каждаго романиста. Онъ сумѣлъ объединить въ одно стройное цѣлое виѣшнюю занимательность съ бытовой и исихологической правдой.

Девять главъ (VI-XIV), посвященныхъ пугачевщинъ, составляють какъ бы вторую, въ себъ замкнутую часть, "Капитанской дочки", неразрывно связанную вмѣстѣ съ тьмъ съ предшествующими главами и заключительной главой романа. Пугачевъ является во всёхъ этпхъ главахъ, за исключеніемъ шестой и десятой. Передъ глазами читателя происходить и глухое броженіе среди казаковь Бълогорской кръпости, предшествовавшее ихъ открытой измене и служившее отголоскомъ разгоравшагося мятежа, п взятіе "фортеціп" самозванцемъ, дающее наглядное представленіе, какъ совершались и чъмъ объясиялись первыя побъды Пугачева. Поэтъ знакомить нась съ Пугачевымъ и какъ съ предводителемъ возстапіл, и какъ съ грознымъ палачомъ вфриыхъ слугъ царицы, п какъ съ атаманомъ разбойничьей шайки, пирующимъ съ своими "енералами", и, наконецъ, какъ съ защитникомъ и покровителемъ несчастной, гонимой Швабринымъ, Марын Ивановны. "Капитанская дочка" даетъ рядъ чудныхъ иллюстрацій къ исторін Пугачевскаго бунта или, вфрнфе сказать, къ исторін его начальнаго періода, который описывается во второй и третьей главахъ Пушкинской монографіи.

О событіяхъ второй половины пугачевщины въ "Капитанской дочкъ" упоминается лишь вскользь. Чериясвъ.

Героп и геронии "Капитанской дочки".

Старый Гриневъ — одно изъ замъчательнъйшихъ и типичиъйшихъ лицъ въ нашей литературъ, песмотря на то, что ему отведено въ "Канитанской дочкъ" второстепенное мъсто п что онъ обрисованъ авторомъ немпогими, хотя и геніаліпыми чертами. Андрей Петровичь — это яркій представитель
лучшей части пашего помѣстнаго дворянства, организованнаго и воспитаннаго Петромъ Великимъ въ суровой школѣ
военныхъ походовъ и иныхъ "несносныхъ трудовъ" и жертвъ,
которыми строилась и крѣпла его имперія. Всмотритесь и
вдумайтесь въ старика Гринева, и вы поймете душевный
складъ, міросозерцаніе, семейный бытъ и идеалы многочисленныхъ подвижниковъ Петра Великаго изъ дворянъ, имена
которыхъ не сохранились въ исторіи, но которые, тѣмъ не
менѣе, въ значительной степени, вынесли на своихъ плечахъ
всѣ тяготы эпохи преобразованія и слѣдовавшихъ за нею
царствованій.

Прежде чёмъ приступить къ анализу характера и образа мыслей Андрея Петровича остановимся на его генеалогін и служебномъ прошломъ.

Пращуръ Гринева "умеръ на лобномъ мъстъ, отстаивая то, что почиталъ святыней совъсти". Когда именио это произопло, изъ "Капитанской дочки" не видно; по всей въроят ности, при Іоаннъ Грозномъ. Отецъ стараго Гринева пострадалъ вмъстъ съ Волынскимъ и Хрущевымъ. Изъ всего этого пужно сдълать заключеніе, что Петръ Андреевичъ принадлежалъ къ старинному дворянскому роду, игравшему не послъднюю роль въ исторіи и не разъ навлекавшему на себя опалы, благодаря своей прямотъ и неумънью подлаживаться къ обстоятельствамъ.

Старый Гриневъ вышелъ въ отставку премьеръ-майоромъ: чинъ премьеръ-майора былъ по счету шестымъ офицерскимъ чиномъ ("Дворянство въ Россіи" Романовича-Славатинскаго, стр. 220), и былъ данъ Андрею Петровичу, по общему правилу, при оставленіи службы.

Пушкинъ не скрываетъ темныхъ сторонъ стараго Гринева: его самовластныхъ привычекъ, его суроваго, нѣсколько деспотическаго обращенія съ семьей и съ крестьянами, его наивнаго и невѣжественнаго взгляда на просвѣщеніе и науку. благодаря которому онъ могъ принять за образованнаго педагога даже Бопре. Всѣ эти недостатки сглаживаются здравымъ смысломъ Гринева, его практическимъ умомъ, его умѣньемъ повелѣвать, его способностью крѣпко держать върукахъ и свои семейныя дѣла, и несложныя хозяйственныя

и административныя дъла своей деревни. Какъ мужъ, отецъ и помъщикъ, Грипевъ мало отличался отъ своихъ предковъ, хотя и завелъ въ домъ учителя-француза. Онъ унаслъдовалъ ихъ патріархальный взглядъ и неизмінно руководствовался имъ въ жизни. Онъ былъ грознымъ властелиномъ жены, хотя любиль и уважаль ее по-своему и ужь, конечно, никому не даль бы ее въ обиду. Онъ заботливо относился къ участи своего сына, по быль далекъ, въ отношеніп къ нему, отъ всякой сентиментальности. По всей въроятности, крестьяне не имфли основанія жаловаться на него, хотя, разумфется, онъ ужъ никоимъ образомъ не потакалъ ихъ слабостямъ и не склоненъ былъ довольствоваться ролью добраго барина, живущаго исключительно для своихъ "мужичковъ". Онъ, безъ сомивнія, высоко ставиль себя надъ черными народомъ и невольно относился съ нъкоторымъ презръніемъ даже къ върпому Савельнчу, въ твердомъ убъжденін, что между "подлыми" людьми и "бълой костью" лежить непроходимая бездна. Но неспроста тоть же самый Савельичь такъ искренио любиль своего строгаго господина: подъ его суровой вившностью опъ умълъ разглядъть и понять и справедливое отношение къ нуждамъ крестьянъ и неподдъльное сочувствіе къ ихъ радостямъ и горю. Къ тому же, Савельичъ и другіе "подданные" стараго Гринева, несмотря на почтительность, которую они должны были высказывать своему барину, прекрасно понимали, что они близкіе ему люди, ибо они были съ Гриневымъ одного поля ягоды. Ихъ взгляды, понятія, вкусы, привычки все это во многомъ совпадало, а потому и суровое, но толковое управленіе Андрея Петровича не тяготило, какъ не тяготить дътей строгая, но разумная власть отца.

Одна изъ главныхъ особенностей стараго Гринева — чувство собственнаго достоинства, вытекающее у него изъ глубокаго и кръпко засъвшаго уваженія къ предкамъ и званію дворянина. Гриневъ никогда не забываетъ о своемъ дворянскомъ происхожденіи и о своей связи со всъмъ родомъ Гриневыхъ. Его сословная и родовая гордость не пустая спесь и не смъшной предразсудокъ, а путеводная нить, при помощи которой онъ выходитъ изъ всъхъ житейскихъ испытаній, не утрачивая самообладанія. Эта гордость дълаетъ его выносливымъ въ трудныя минуты, облагораживаетъ его стремленія и временами возвышаетъ до истиннаго героизма. Восноми-

нанія о пращурт, казненномъ при Іоанить Грозномъ за правое діло, и объ отців, погибшемъ при Биронть вмітсть съ Вольнскимъ и Хрущевымъ,— вотъ что составляеть предметь гордости стараго Гринева. Онъ равнодушно, даже итсколько высокомтрно, относится къ близкому родству съ вліятельнымъ и блестящимъ майоромъ гвардіи, офицеромъ семеновскаго полка, княземъ Б., но онъ въ высшей степени дорожитъ принадлежностью къ старому, честному дворянскому роду, запечатлѣвшему кровью втрность долгу и чести.

Честь и нелицемърная преданность престолу и родинъ,вотъ къ чему сводится весь нравственный кодексъ стараго Гринева. Воспитавшись въ школъ, созданной преобразователемъ, Гриневъ усвоилъ себъ самый возвышенный взглядъ на значеніе царской службы. Онъ видъль въ ней не путь къ наживъ и карьеръ, а священный долгъ каждаго дворянина и средство къ выработкъ ума и характера молодого человъка. Никъмъ не побуждаемый, двънадцать лъть спустя послъ освобожденія дворянь оть обязательной службы, онь, по собственному почину, отправляетъ сына на дальнюю окраину понюхать пороху и тянуть невеселую армейскую лямку. Онъ былъ твердо убъжденъ, что пребывание въ Оренбургской кръпости принесеть его сыну громадную пользу и превратить его изъ педоросля маменькина сынка въ человъка долга и серіознаго взгляда на жизнь. Когда Гриневъ узнаетъ объ обвинительномъ приговоръ императрицы надъ его сыномъ, онъ приходитъ въ отчаяние не потому, что сынъ оказался въ числъ опальныхъ, а потому, что онъ былъ признанъ измънникомъ, нарушившимъ присягу и перешедшимъ на сторону Пугачева. Не горькая участь сына, а его мнимая низость, - вотъ что убивало стараго Гринева. Онъ справился бы съ своимъ горемъ, если бы его сынъ поплатился жизнью, отстанвая правое, святое дёло, но онъ никогда не могъ бы примириться съ подлымъ поступкомъ сына, хотя бы этотъ поступокъ и не повлекъ за собою никакого наказанія. Кто не помнить прекрасныхъ словъ стараго Гринева, произнесенныхъ послъ того, какъ онъ узналъ, что императрица, изъ уваженія къ его заслугамъ и преклоннымъ лътамъ, помиловала его миимо-преступнаго сына и, избавивъ его отъ позорной казни, повелъла сослать въ Сибирь на поселеніе. "Какъ! повторяль, выходя изъ себя Андрей Петровичъ: сынъ мой участвоваль въ замыслахъ Пугачева!

Боже праведный, до чего я дожиль! Государыня избавляеть его отъ казии! Отъ этого развъ миъ легче? Не казнь стращна: пращуръ мой умеръ на лобномъ мъстъ, отстанвая то, что почиталь святыней совъсти, отець мой пострадаль вмъстъ съ Волынскимъ и Хрущевымъ. Но дворянину измънить своей присять, соединиться съ разбойниками и убійцами, съ бъглыми холопьями!.. Стыдъ и срамъ нашему роду!.. "Въ этихъ словахъ сказывается и печаль отца и доблесть гражданина; они проливають яркій світь на стараго Гринева и привлекають къ нему наше сочувствіе. Эти слова доказывають, что Гриневъ, въ случат надобности, не остановился бы для спасенія родины передъ самыми тяжелыми жертвами, и что его преданность Россіи, коронт и долгу была не пустымъ звукомъ, а несокрушимымъ убъжденіемъ. Если бы судьба столкнула его съ Пугачевымъ, онъ умеръ бы такою же прекрасной смертью, какъ и капитанъ Мироновъ.

Глубоко знаменательными являются наставленія, которыя даеть Андрей Петровичь сыну при его отъёздё на прощанье: "Служи вёрно, кому присягнешь; на службу не напрашивайся, отъ службы не отказывайся; не гоняйся за лаской начальника; береги платье снову, а честь смолоду".

Каждое изъ этихъ четырехъ правилъ составляетъ основной догматъ личной морали Гринева, и въ нихъ, какъ нельзя лучше, отражается весь его нравственный обликъ.

"Служи върно, кому присягнешь". Чтобы понять цъль, съ которою старый Гриневъ говориль это своему сыну, нужно имъть въ виду время, когда совершаются событія "Капитанской дочки". То было время дворцовыхъ переворотовъ, неожиданныхъ возвышеній и столь же неожиданныхъ паденій; то было смутное время, когда у русскихъ людей еще были въ памяти и присяга Іоанну VI, уничтоженная присягой Елисаветъ Петровиъ, и присяга Петру III, уничтоженная присягой Екатеринъ II. Гриневъ видълъ въ присягъ не простой обрядъ, не одну формальность, а дело великое и святое, имъющее ръшающее значение въ жизни. Смыслъ его наставленія таковъ: "Будь въренъ тому, кому поклянешься служить. Не думай, что можно играть присягой. Если для соблюденія ея окажется нужнымъ пожертвовать собою, — ни передъ чъмъ не останавливайся. Лучше провести свой въкъ въ нищетъ, лучше погибнуть въ Сибири или на плахъ, чъмъ запятнать себя измёной и клятвопреступленіемъ".

"Слушайся начальниковъ, за ихъ лаской не гоняйся; на службу не напрашивайся; отъ службы не отговаривайся". II въ этихъ наставленіяхъ старый Гриневъ остался себѣ въренъ. Посыдая сына на службу, онъ стремился не къ тому, чтобы тотъ попаль въ "случайные" люди, нахваталь всякими правдами и неправдами чиновъ и орденовъ. Гриневъ, конечно, считаль бы себя счастливымь, если бы его сынь выделился изъ ряда вонъ своими заслугами, но онъ не хотълъ видъть его среди искателей, продагающихъ себъ дорогу къ почестямъ посредствомъ покровительства разныхъ "милостивцевъ". Онъ внущаетъ сыну прежде всего строгое исполнение долга. Своими только что приведенными наставленіями, онъ желаетъ сказать воть что: "Не старайся избъгать трудныхъ и опасныхъ порученій и ставь исполненіе служебныхъ обязанностей выше соображеній о карьерт и расположенія людей, власть имущихъ. Умъй жертвовать собою, если того потребуетъ служба; но не бросайся въ опасности, очертя голову. Будь храбрымъ, но не будь искателемъ приключеній, не будь выскочкой и не унижайся до происковъ и лести". "Береги честь смолоду*). Въ этомъ послъднемъ и главномъ правидъ Гринева объединяются всв его наставленія. Честь — это его святыня и сокровище, которымъ онъ дорожитъ всего болве и которое онъ совътуетъ сыну блюсти отъ молодыхъ ногтей. Честь главный двигатель всьхъ чувствъ и поступковъ Гринева. Руководствуясь всегда и во всемъ честью, онъ умълъ цънить ее и въ другихъ. Когда къ нему прівзжаеть въ домъ Марья Пвановна, онъ, несмотря на все свое предубъждение противъ дъвушки, на которой его сынъ самовольно задумалъ жениться, радушно встръчаетъ бъдную спроту, какъ только узпаетъ, что ея отецъ быдъ повъшенъ Пугачевымъ и всенародно обличаль его въ самозванствъ. Исповъдуя культъ чести, какъ върности служебному и сословному долгу, старый Гриневъ невольно и безсознательно привиль этотъ культъ своему сыну и темъ самымъ спасъ его отъ паденія и ошибокъ въ Белогорской крыпости и при столкновеніи съ Пугачевымь. Молодой

^{*)} Кромф пословицы о чести, которую приводить Гриневъ, и ел варіанта: "берети честь смолоду, а здоровье подъ старость", есть еще ифсколько прекрасныхъ русскихъ вословицъ о чести: "за честь (за стыдъ) голова гинетъ" (погибаетъ): "за честь — хоть гол ву съ плечъ" (хоть голову снесть); "за совесть да за честь — хоть голову снесть" (Даль, I, 374).

Гриневъ — плоть отъ плоти и кость отъ кости своего отца, и вотъ почему Пушкинъ поставилъ эпиграфомъ къ своему роману пословицу, которою завершаетъ старый Грипевъ наставленія сыну: "Береги честь смолоду". Нравственный смыслъ "Капитанской дочки" сводится именно къ этому совъту.

Жена стараго Гриневе оставлена Пушкинымъ въ тъви. Она является въ романт не какъ вполнт обрисованный характеръ, а какъ мастерски набросанный силуэтъ. Эта добрая, недалекая и ивсколько забитая женщина, привыкшая безропотно повиноваться мужу и всецьло преданная семь и домашнему хозяйству, всёмъ знакомый типъ стариннаго быта, сквозь простодушно-комичныя черты котораго ясно проглядываетъ нъжная природа любящей и домовитой матери, умъвшей внушить сыну и Савельичу глубокое уважение и теплую привязанность. Приведя въ своихъ запискахъ грозное письмо отъ отца, Петръ Андреевичъ говоритъ: "жестокія выраженія, на которыя батюшка не поскупился, глубоко оскорбили меня. Пренебреженіе, съ какимъ онъ упоминаль о Марьв Ивановив, казалось мий столь же непристойными, каки и несправедливымъ. Мысль о переведеніи моемъ изъ Бѣлогорской крѣпости меня ужасала; но всего болье огорчило меня извъстіе о бользни матери". Если извъстіе о бользни Авдоты Васильевны взволновало Петра Андреевича больше, чемъ мысль о разлукъ съ любимой дъвушкой, значить, онъ искренно и нъжно любиль свою мать. Савельнчь пишеть по поводу болжини старухи Гриневой Андрею Петровичу вотъ что: "я жъ про рану Петра Андреевича ничего къ вамъ не писалъ, чтобъ не испужать понапрасну, и, слышно, барыня, мать наша Авдотья Васильевна, и такъ съ испуга слегла, и за ея здоровье Бога буду модить". Задушевность, съ которою Савельичъ упоминаетъ объ Авдотьъ Васильевиъ доказываетъ, что онъ не безъ основанія называль ее матерью крестьянь: в роятно имъ не разъ приходилось убъждаться на опытъ въ ея добромъ сердцъ и прибъгать къ ея помощи и защитъ въ трудныя минуты жизни. Потерявъ восемь душъ дътей*), Авдотья Васильевна

^{*)} Петръ Андреевичъ Гриневъ въ самомъ началѣ своихъ записокъ говоритъ: "Насъ было девять человѣкъ дѣтей. Всѣ мои братья и сестры умерли въ младенчествѣ". Отмѣчая эти подробности, Пушкипъ хотѣлъ быть вѣрнымъ дѣйствительности. Какъ извѣстно, встарину смертно ть между дѣтьми была ужасающая. Екатерина Великая не безъ наивности писала въ своемъ "Наказѣ" (§ 256):

сосредоточила всю материнскую любовь на своемъ единственномъ, въ живыхъ оставшемся сынѣ, а впослѣдствіи и на его невѣстѣ, Марьѣ Ивановнѣ. Нечего и говорить, что Авдотья Васильевна была нѣжнѣйшею изъ нѣжнѣйшихъ бабушекъ, когда она дождалась внуковъ и внучекъ.

Молодой Гриневъ такой же типичный представитель русскаго дворянства XVIII въка, какъ п Андрей Петровичъ. Различіе между ними сводится къ различію между отцами и дътьми, къ различію двухъ смежныхъ поколфній. Между обоими Гриневыми много общаго, но Гриневъ-сыпъ уже не носить отпечатка той суровости и простоты правовъ, которыми отличается его отецъ. Онъ уже не приметъ какого-нибудь Бопре за человъка, свъдущаго во всъхъ наукахъ. Гриневъотецъ съ великимъ трудомъ могъ написать деловое письмо, а его сынъ занимался литературой и оставилъ въ назиданіе потомству "семейственныя записки". У Петра Андреевича уже не было самовластныхъ привычекъ его отца. Въкъ Екатерины II наложиль на него свой отпечатокъ и придаль его нравственной физіономіи, въ связи съ воспитаніемъ и съ пъкоторыми событіями жизни, тв особенности, которыя его отличають оть Гринева-отца. Оть отца Петръ Андреевичъ унаслъдовалъ и безсознательно перенялъ мужество, твердость, сознаніе долга, чувство чести и умфиье повелфвать. По на немъ сказалось и вліяніе его доброй и вфжной матери. Въ немъ нътъ ин дряблостя ни сентиментальности; но его характеръ гораздо мягче отцовскаго. Пушкинъ не описываетъ семейной жизни Петра Андреевича, -- по кто и самъ не догадается, что онъ ръзко отличался отъ семейной жизни Андрея Петровича, что Гриневъ-сынъ уже не такъ смотрълъ на жену, какъ Гриневъ-отецъ на Авдотью Васильевну, и Марья Ивановна, несмотря на свою кротость, пользовалась, какъ жена и мать, несравненно большимъ значеніемъ, чъмъ старуха Гринева.

[&]quot;мужики большею частью имбють по двенадцати, пятнадцати и до двадцати детей изъ одного супружества; однако, редко и чотвертая часть оныхъ приходить въ совершенный возрасть. Чего для непременно долженъ туть быть какой-инбудь порокъ или въ пище, или въ образе ихъ жизни, или въ воспитании, который причиняеть гибель сей надежде государстьа". Явленіе, которос такъ поражало имперагрицу Екатерину среди крестьянь, существо ало въ прежийя премена, благодаря первобытному уходу за детьми, отсутствію врачебной помощи и другимъ причинамъ, и въ дворянской среде.

Въ молодости Андрея Петровича былъ невозможенъ такои романъ, какой пережилъ его сынъ. Тъ топкія и сложныя чувства, которыя столь часто волновали душу Петра Андреевича, были непонятны его отцу. Молодой Гриневъ соединялъ въ себъ хорошія качества своихъ родителей, и эти качества развивались въ немъ подъ вліяніемъ хотя и незатъйливаго, но благопріятнаго для него домашняго быта, въ которомъ не послъднюю роль играло вліяніе добродушнаго, безкорыстно преданнаго дядьки Савельича. Юноша, выроспій, подобно Гриневу, подъ яблонями, между скирдами и природой, въ гигіенически и нравственно здоровой атмосферъ, не могъ не впитать въ себя съ самаго дътства много хорошаго. Ему не могъ повредить даже легкомысленный Бопре. Да въдь и Бопре, собственно говоря, несмотря на всъ свои недостатки, былъ добрый малый.

Житейская школа, пройденная Петромъ Андреевичемъ въ началь его службы, какъ нельзя лучше способствовала развитію тыхъ добрыхъ задатковъ, которые ему дала семья, выпустившая его въ свыть неиспорченнымъ, крыпкимъ и сплынымъ юношей.

Петръ Андреевичъ говоритъ о своихъ ученическихъ годахъ шутливымъ тономъ, какъ и подобаетъ человъку, сдълавшемуся образованнымъ, благодаря самому себъ, и прекрасно понимающему пробълы своего воспитанія. Петръ Андреевичъ отзывается о немъ безъ горечи, съ добродушнымъ юморомъ, ибо въ прежнія времена не онъ одинъ, а всѣ дворяне, за весьма немногими счастливыми исключеніями, учились если и не на мъдныя деньги, то весьма не много. Было бы, однако, опрометчиво судить о томъ, что дала Гриневу семья, по первой главъ его воспоминаній. Правда, онъ рось дома недоросдемъ, дазя по годубятнямъ и играя въ чехарду съ дворовыми мальчишками, но онъ вступалъ въ жизнь ужъ вовсе не такимъ невъжественнымъ, какъ можно предполагать, принимая за чистую монету все, что онъ говорить о своемъ дътствъ и отрочествъ въ первой главъ романа. Поступая на службу, онъ умълъ читать и писать и настолько владълъ русскимъ языкомъ, что, безъ всякой посторонней помощи, могъ писать стихи.

Гриневъ зналъ не много, но онъ былъ уменъ и любозиаленъ, воспріимчивъ и, познакомившисъ со Швабринымъ, пользуется запасомъ его французскихъ книгъ, съ жадностью чипробовать свои силы по части переводовъ и сочинительства. Писательскій недугъ быль свойствень нашимъ самоучкамъ прошлаго стольтія, и Гриневъ занималъ между ними не последнее мьсто: не даромъ его стихи удостоивались похвалъ самого Сумаркова: для своего времени опи были, дъйствительно, недурны. Элегія Петра Андреевича "Мысль любовиу истребляя" — пародія на пінтъ XVIII въка, — такая же пародія, какъ "Ода Его Сіятельству графу Хвостову" ("Султанъ прится") и "Льтопись села Горохина", — прелестная пародія, не заключающая въ себъ ни фальши ни шаржа, которую съ удовольствіемъ напечатали бы у себя издатели журналовъ "временъ очаковскихъ и покоренья Крыма".

Молодой Гриневъ всею своею жизнью доказалъ, что онъ усвоиль себъ основное правило отцовской морали: "береги честь смолоду". Въ его жизни были промахи и увлеченія, но не было проступковъ, за которые ему приходилось бы красить на старости лътъ и въ которыхъ ему тяжело было бы впослъдствін сознаться. Онъ строго осуждаеть свое поведеніе въ симбирскомъ трактиръ, гдъ онъ держалъ себя, "какъ мальчишка, вырвавшійся на волю. Но если принять во вниманіе, что ему не было въ то время и семнадцати лътъ, и что встръча съ Зуринымъ была дебютомъ его самостоятельности на житейскомъ поприщъ, то пужно быть уже черезчуръ суровымъ ригористомъ, чтобы усмотръть въ проигрышт и попойкъ пылкаго юноши что-нибудь особенно предосудительное. Такіе случан бывали со всвии, не исключая самыхъ выдающихся людей. Но уже въ симбирскомъ трактиръ сказались три хорошія основныя черты характера Гринева: его умънье жить своимъ умомъ, его доброта и его благородство. Проигравъ значительную для себя сумму Зурину и прекрасно понимая, что Зуринъ пгралъ не совстмъ чисто, Гриневъ немедленно расплачивается съ нимъ и съ негодованіемъ отвергаетъ наивное предложение Савельича ускользнуть куда-нибудь отъ денежнаго расчета. Когда Савельичъ отказывается выдать сто рублей, Грипевъ ръшительно и круто обрываеть его и разъ навсегда опредъляеть свои отношенія къ дядькѣ, какъ отношенія господина къ слугъ. Онъ дълаетъ это, однако, не безъ внутрениен борьбы, ибо искренно любитъ Савельича. Вотъ побужденія, въ силу которыхъ Петръ Андреевичъ заговорилъ съ Савельи-

чемъ строгимъ и властнымъ тономъ, и, пужно отдать ему справедливость, онъ употребляль этоть тонь лишь тогда, когда простодушный дядька предлагаль ему пъчто, дъйствительно, несообразное. Савельичь бываль въ такихъ случаяхъ правъ съ своей точки зрвнія, — съ точки зрвнія сохраненія барскаго добра и барской шен, — но Гриневъ тоже былъ правъ, ибо его представленія о чести были совстмъ шныя, чвмъ у Савельича. Поставивъ на своемъ, Гриневъ сознаетъ, однако, что поступилъ въ Симбирскъ дурно и "выъхалъ изъ него съ безпокойною совъстью и безмолвнымъ раскаяніемъ". Онъ чувствуетъ себя виноватымъ передъ Савельичемъ и, послъ нъкотораго колебанія, просить у него прощенія. Въ этомъ, какъ и во всъхъ другихъ случаяхъ, Петръ Андреевичъ остался въренъ привязанности къ Савельичу и желанію сохранить за собою самостоятельность, и можно только удивляться тому такту, съ какимъ юный Гриневъ велъ себя со своимъ дядькой: и въ Симбирскъ, и на постояломъ дворъ при столкновеніи изъ за заячьяго тулупа, и впоследствін онъ умель держать Савельича въ должномъ повиновеніи, не нарушая въ своихъ отношеніяхъ къ нему ни того довърія ни той искренности, съ которыми онъ относился къ нему съ самаго дътства. Савельнчъ былъ добрымъ слугой своего господина, и его господинъ передъ нимъ не оставался въ долгу. Вспомнимъ хотя бы ту сцену, въ которой онъ проситъ своего дядьку отвезти Марью Ивановну въ деревню къ старикамъ Гриневымъ.

— Другъ ты мой, Архипъ Савельевичъ! Не откажи, будь мнѣ благодѣтелемъ; въ прислугѣ я нуждаться не стану, а не буду спокоенъ, если Марья Ивановна поѣдетъ дорогой безъ тебя.

Вотъ какимъ языкомъ говорилъ Гриневъ съ своимъ дядькой въ самыя важныя минуты своей жизни!

Въ Бълогородской кръпости молодой Гриневъ сталкивается со Швабринымъ и, несмотря на то, что Швабринъ и старше, и гораздо опытнъе, держитъ себя съ нимъ, какъ равный съ равнымъ. Недостатокъ жизпеннаго опыта повелъ къ тому, что Гриневъ пе понялъ Швабрина сразу и обращался съ нимъ также довърчиво, какъ со всъми другими. Только съ теченіемъ времени онъ сталъ смутно догадываться, что Швабринъ дурной человъкъ и что отъ него слъдовало бы стоять подальше. Несмотря на то, онъ продолжалъ откровенничать съ нимъ и

неждано-негаданно нарвался на дерзкую выходку, оскорбительную для любимой девушки. Дуэль съ Швабринымъ впервые показываетъ намъ Гринева, какъ мужественнаго и рыцарски благороднаго юношу. Дуэль была, конечно, важнымъ событіемъ въ жизни Грпнева, но и она не раскрыла ему глазъ на Швабрина, хотя Марья Пвановна дала ему понять, что выходка Швабрина была не только грубою, непристойною насмъшкой, но и низкою обдуманною клеветой. Когда Гриневъ оправился отъ раны и когда къ нему явился Швабринъ съ своими извиненіями, онъ искренно простиль его, объясняя себъ его клевету досадой оскорбленнаго самолюбія и отвергнутой любви. Онъ окончательно отшатнулся отъ Швабрина только тогда, когда убъдился, что Швабринъ написалъ на него доносъ отцу. Отношенія Гринева къ Швабрину обрисовывають Петра Андреевича, какъ не особенно проницательнаго, неопытнаго, но прямого, искренняго, довфрчиваго, смфлаго и незлопамятнаго юношу, способнаго на месть въ минуты гивва и всегда готоваго проявить великодушіе по отношенію къ наказанному врагу. Той чуткости сердца, которою отличается Марья Ивановна, и которая помогала ей инстиктомъ отгадывать людей, у него не было. Столкновение со Швабринымъ было для него своего рода школой повиманія людей. Понявъ Швабрина, Гриневъ попрежнему отпосился къ нему по-рыцарски. Описывая свой отътздъ изъ Бтлогородской крипости вмъстъ съ Марьей Ивановной, вырванной изъ рукъ Швабрина, Гриневъ говорить: "У окошка коменданскаго дома я видълъ стоящаго Швабрина. Лицо его изображало мрачную злобу. Я не хотълъ торжествовать надъ уничтоженнымъ врагомъ и обратилъ глаза въ сторону". Эта черта даетъ ясное понятіе о благородномъ сердцѣ Гринева, никогда и ни при какихъ условіяхъ не утрачивавшаго чувства утонченнаго великодушія.

Любовь къ Марьъ Ивановнъ и знакомство съ добрымъ и почтеннымъ семействомъ капитана Миронова имъли на Гринева самое благотворное вліяніе. Въ его натурт не было такой глубины, какою отличалась натура его невъсты. Марья Ивановна была дальновиднте его и имъла надъ нимъ вст преимущества ума и характера. Гриневъ былъ во встато отношеніяхъ ниже Марьи Ивановны, но онъ умълъ цтить и понимать ее и въ полномъ смыслъ слова завоевалъ свое счастье съ нею. Она предпочла его богатому и родовитому

Ивабрину не за одну наружность и не по капризу, а сознательно и но весьма въскимъ соображеніямъ. Марыо Ивановну привлекали въ Гриневъ его мужество, его душевная чистота и непосредственность, его отзывчивость на все хорошее, его отвращеніе къ окольнымъ путямъ.

Искренность, смълость, великодушіе и чувство чести составляють основныя черты характера Грипева. Они спасали его оть паденія и ділали его достойнымъ сыномъ стараго Гринева. Гриневъ не разъ обнаруживалъ способность отстанвать свои убъжденія даже до смерти. Только благодаря счастливой случайности, Гриневъ не взлетвлъ на висълицу, вмъсть съ капитаномъ Мироповымъ и Иваномъ Игнатьевичемъ, по опъ умвлъ смотръть въ глаза смерти съ безтрепетнымъ мужествомъ. "Очередь была за мною, разсказываеть онъ о первой встръчъ съ самозванцемъ въ Бълогородской кръности, — я глядълъ смъло на Пугачева, готовясь повторить отвътъ великодушныхъ монхъ товарищей... "Въшать его", сказалъ Пугачевъ, не взглянувши на меня. Я сталъ читать про себя модитвы, принося Богу искрениее раскаяніе во всёхъ монхъ прегръщеніяхъ и моля его о спасенін всьхъ близкихъ моему сердцу". Гриневъ, чуждый всякой аффектаціи и желанія рисоваться, съ такою же простотой повъствуеть о своемъ душевномъ настроенін послъ пеожиданнаго избавленія отъ смерти, какъ и о томъ, какъ онъ готовился къ ней. "Пугачевъ далъ знакъ, и меня тотчасъ развязали и оставили... Въ эту минуту не могу сказать, чтобы я обрадовался своему спасенію. Не скажу, однакожь, чтобы я о немъ сожалблъ". Такою же искренностью и простотой дышить разсказъ Гринева о его беседе съ Пугачевымъ после оргін самозванца, свидътелемъ которой ему пришлось быть.

Въ первыхъ двухъ главахъ "Капитанской дочки" мы видимъ молодого Гринева сначала подросткомъ, а затъмъ юношей, умъвшемъ доказать дядькъ, что овъ уже не ребенокъ. Въ дальнъйшихъ главахъ романа поэтъ показываетъ намъ, какъ развивается и кръннетъ характеръ этого юноши подъ вліяніемъ поден, съ которыми столкнула его судьба, подъ вліяніемъ побви и грозныхъ событіи пугачевщины. Между шестнадцатильтнимъ Гриневымъ, которыи посматривалъ, облизываясь, какъ его мать снимала пъпки съ медоваго варенья, и восемнадцатильтнимъ Петромъ Андреевичемъ, "впервые вкусивнимъ сладость молитвы, игліянной изъ чистаго, но растернимъ сладость молитвы, игліянной изъ чистаго, но растер-

заннаго сердца" въ казапской тюрьмѣ, — цьлая бездна. Онъ, если такъ можно выразиться, растетъ и развивается на глазахъ читателя "Капитанской дочки", превращаясь въ теченіе двухъ лѣтъ изъ зеленаго подростка въ зрѣдаго молодого человѣка. И не удивительно: въ теченіе этихъ двухъ лѣтъ Гриневъ переживаетъ столько, сколько другіе не переживаютъ въ теченіе цѣлыхъ десятилѣтій. Столкновенія съ такими противоположными людьми, какъ Мироновы, съ одной стороны, а Пугачевъ и Швабринъ— съ другой, романъ съ Марьей Ивановной, дуэль, тяжкая болѣзнь, чтеніе, зрѣлища мятежа и тѣхъ страшныхъ, по вмѣстѣ облагораживающихъ впечатлѣній, которыми оно сопровождалось (вспомиилъ казнь Ивана Кузьмича и Ивана Игнатьевича), судъ и тюрьма— все это не могло пе оказать на впечатлительнаго юношу большого вліянія и не имѣть для него воспитательнаго значенія.

Нравственный обликъ Гринева дорисовывается общимъ тономъ его семейственных записокт, ихъ спокойнымъ, трезвымъ отношеніемъ къ людямъ и событіямъ, ихъ добродушнымъ юморомъ, ихъ свѣтлымъ и примиряющимъ взглидомъ на жизнь. Пушкинъ, видимо, хотѣлъ, чтобы между строкъ романа виднѣлся привлекательный образъ бывалаго, умнаго и честнаго старика, много видѣвшаго и испытавшаго на своемъ вѣку и не безъ гордости и удовольствія разсказывающаго въ часы досуга о своемъ прошломъ дѣтямъ и виукамъ. "Капитанская дочка" знакомитъ насъ подробно съ молодостью Гринева она же даетъ намъ понятіе объ его покойной и счастливой старости.

Пушкинъ нигдѣ не прикрашиваетъ Гринева. Ставя его лицомъ къ лицу съ Пугачевымъ, онъ не плѣнился возможностью сдѣлать изъ него Шарлоту Корде, въ родѣ Парани изъ "Пугачевцевъ" графа Саліаса, прекрасно понимая, что этого нельзя было сдѣлать, не впадая въ фальшь. Пушкинъ вывелъ въ лицѣ Гринева одного изъ русскихъ людей второй половины прошлаго вѣка. Такіе люди, какъ Петръ Андреевичъ, тогда бывали и могли быть. Поэтъ нимало не думалъ о томъ, чтобы ставить своего героя въ красивыя позы и заставлять его продѣлывать чудеса храбрости. Въ "Капитанской дочкѣ" выходитъ постоянно такъ, что Гриневъ, несмотря на свое мужество и готовность къ самоножертвованію, иногда кажется (по только кажется) какъ бы нассивнымъ лицомъ, котораго

спасають то Савельичь, то Пугачевь, то Марья Ивановна. Гриневъ скороталъ свой въкъ въ своемъ родовомъ имънін и, подобно отцу, не сдълаль блестящей карьеры. Ненасытное честолюбіе и жажда власти были ему совершенно чужды, и онъ остался въ твии. Къ тому же онъ былъ елишкомъ совъстливъ, чтобы пролагать дорогу къ почестямъ, не брезгая никакими средствами. Опъ не уронилъ бы себя ни па какомъ посту, по онъ не быль человъкомъ признанія, увлекающаго своихъ избранниковъ къ предназначенному для нихъ жребію, и могъ вполив удовлетвориться тою скромною сферою двятельности помъщика и семьянина, которая выпала на его долю. Не трудно догадаться, что онъ толково управляль своими крестьянами и быль образцовымь въ своемь родъ мужемъ и отцомъ, посвящая свои досуги, подобно Болотову, литературнымъ занятіямъ, въ которомъ опъ пристрастился еще въ Бълогорской кръпости.

Черияевъ.

Марья Ивановна представляеть центральную фигуру романа. Изъ-за нея происходить дуэль Гринева съ ИІвабринымъ; изъ-за нея происходитъ у Гринева временный разрывъ съ отцомъ; ради Марьи Ивановны Гриневъ тдетъ въ Берду; отношенія между Гриневымъ и Швабринымъ опредъляются ихъ отношеніями къ Марьт Ивановнъ; опасенія повредить ей заставляютъ Гринева танться передъ судомъ и едва не губятъ его; потздка Марьи Ивановны въ Петербургъ и ея свиданіе съ императрицей ведутъ за собой помилованіе Гринева, т.-е. благополучную развязку запутанныхъ и, какъ кажется читателю до самаго конца, неразръшимыхъ осложненій романа.

Прекрасно и глубоко задуманный, сложный и возвышенный характеръ и геніально обрисованный типъ чудной русской дъвушки конца прошлаго стольтія, и въ бытовомъ и психологическомъ отношеніи Марья Ивановна представляетъ громадный интересъ и должна быть отнесена къ числу величайшихъ созданій Пушкинскаго творчества. По глубинъ замысла и тонкости исполненія образъ Марьи Ивановны инсколько не уступаетъ образу Татьяны, и смъло можно сказать, что между ветми геропиями Пушкина итть ни одного лица, въ которомъ такъ ярко и такъ нолно пашли свое выраженіе русскіе народные идеалы. Марья Ивановна дъвушка одного типа

съ Тургеневскою Лизон и Марьей Болконскою изъ "Вонны и Мира" гр. Л. И. Толстого, которыя, къ слову сказать, не болъе, какъ блядныя тъпи въ сравнении съ нею. Иушкинская Татьяна сильнъе поражаетъ воображение. Отъ ся скорбно-задумчиваго облика такъ и въетъ романтизмомъ и чарующею прелестью; зато короткое лицо Марьи Иаановны окружено ореоломъ чистоты и поэзія и даже, можно сказать, святости. Марья Ивановна съ гораздо большимъ основаніемъ, чъмъ Татьяна, можетъ быть названа идеаломъ русской женщены, нбо въ ся натуръ, въ ся стремленіяхъ и во всемъ складъ ся ума и характера не было ничего нерусскаго, вычитаннаго изъ иностранныхъ книгъ и, вообще, навъяннаго иноземными вліяніями. Всъми своими помыслами и влеченіями Марья Ивановна связана съ русскимъ бытомъ.

Сразу Марья Ивановиа не производила чарующаго внечатльнія. Въ ел вившиости не было инчего такого, что бросалось бы въ глаза и приковывало взоры. Съ неи пужно было сблизиться, или, по крайней мъръ, ифсколько узнать ее, чтобы понять ся духовную красоту. Тъ же, передъ къмъ хотя отчасти раскрывалась эта красота, не могли не поддалься ея обаянію. Швабринъ, молодон Гриневъ, Савельичъ, Палашка, отецъ Герасимъ и его жена, - всъ опъ любили Марью Ивановну по-своему. Старики Гриневы, предубъяденные противъ Марын Ивановны, привязались къ неп, какъ къ родноп, когда она прожила у нихъ изкоторое время. Умиая и наблюдательная императрица Екатерина II, послъ одной мимолетной встръчи съ Марьен Ивановнон, составила самое выгодное представленіе объ ея ум'в и сердць и, давъ полную въру ея словамъ, исполнила все, о чемъ она просила. Только Пугачевъ, смотръвшій на женщинъ исключительно съ точки зрвнія чувственныхъ вождельший, равнодушно прошель мимо Марын Ивановны, какъ бы не замътивъ ее. Опо и попятно: что общаго могло быть между Пугачевымъ и Марьен Ивановной? Зато Савельить воздаль ен высшую похвалу, какую только онъ могъ воздать: онъ называль ее ангелом Божима. И ее, дъиствительно, можно назвать ангеломь во илоти, виспосланнымь на землю на узбшеніе и отраду близкихъ люден. Создавая такое лицо, какъ Марья Ивановна, каждын писатель, менбе галантливын, чьмь Пушкинь, легко впаль бы въ фальшь и реторику, взавиствіе чего у него вышла бы не дввушка

топ или другоп эпохи, а ходичая добродътель и проинсиая мораль. По Пушкинь блистательно справился съ своею задачен и создалъ вполить живое лицо, заслуживающее самаго тщательнаго изучения на ряду съ главными геропиями встухъ нервокласныхъ поэтовъ,

Марыя Ивановна родилась и выросла въ Бълогорской кръпости и едва ли гдъ нибудь бывала дальше ея до переселенія къ родителямъ Гринева. Отенъ, мать, Иванъ Игнатьичъ, семья отца Герасима, — вогъ тогъ тьеный кружокъ, въ когоромъ прошли ея дътскіе в отроческіе годы. Все ея образованіе ограничивалось русскою грамотон, и она едва ли что-инбудь читала, за исключеніемъ, можетъ-быть, молитвенника и священнаго Инсанія. Она проводила время за рукодвльемъ и въ хлопотахъ по хозянству. — словомъ, была тъмъ, чвить и должна была быть дочь такихъ стариниыхъ людей, какъ и мужъ и жена Мироновы. Они не могли ен дать свътскаго лоска и блестящаго воспитація, да они и не горевали о томъ; зато они окружили ее атмосферои честной бъдности и несложныхъ, по возвышенныхъ и гвердыхъ взгладовъ на жизнь и люден, что вмъло на Марыо Ивановну самое благотворное вліяніе. Она безсознательно проникалась тьми идеалами, которыми жили Иванъ Кузьмичъ и Василиса Егоровна, и упаследовала лучнія стороны ихъ ума и характера. Всякое хорошее слово глубоко западало ен въ душу, падая на добрую почву. То, что она слышала въ бъдноп, стареньков, деревянной Бълогорской церкви, имъло на нее неотразимое и рживающее вліяніе. Тъ въчные глаголы жизии, которымъ она винмала тамъ изъ усть простоватаго священника, видимо поразили ее въ самые раније годы и навсегда опредълили ел міросозерцаніе и поступки. Церковь сублала ее христіанкой въ истинномъ емыслъ этого слова; отчін домъ поддерживаль и укръпилъ въ ней то настроеніе, которое она вынесла оттуда, и прочно привилъ къ неи иссложные, но добрые навыки и убъжденія, на которыхъ держалась старивная Русь.

Марыя Ивановна не имбеть инчего общего съ тъми дъвушками, о которыхъ говорять: эта дъвушка съ правилами. Марыя Ивановна руководилась не правилами, т.-е. не дрессировкой и разъ навсегда усвоенными привычками, а непоколебимою и восторженною върой въ неизмънную, въчную правду. Въ Марьъ Ивановиъ и Бтъ ии сух ети ии ограниченности дъвушекъ "съ правилами". Марья Пвановна въ полномъ смыслѣ слова исключительная и богато-одаренная натура, представляющая сочетаніе самыхъ противоположныхъ элементовъ и очень сложный, не легко понимаемый характеръ.

Чуткость сердца, впечатлительность и женственность составляють прежде всего бресающіяся особенности Марын Пвановны. Она очень самолюбива и живо чувствуеть горечь обиды. Грубовато-простодушная болтовия Василисы Егоровны о бъдности дочери и о томъ, что она, чего добраго, просидить въ дъвкахъ въковъчною невъстой, доводить Марью Ивановну до слезъ. Марья Ивановна красићетъ и бледињетъ, прекрасно понимая каждый мальйшій оттынокь обращенія съ ней. Въ ней иътъ и тъни вульгарности и бабьяго мужества Василисы Егоровны. Ружейные и пущечные выстрылы доводить ее до обморока. Трагическая смерть отца и матери и всъ ужасы Пугачевской расправы разръшается у Марын Ивановны нервною горячкой. При видъ Пугачева, убінцы своего отца, она лишается чувствъ. Когда Марья Ивановна бывала взволнована, она не могла удержаться отъ слезъ. Ея голосъ дрожалъ и прерывался, и въ эти минуты она казалась своему возлюбленному слабымъ и беззащитнымъ существомъ, обаятельнымъ въ своей безпомощности.

Но Марья Ивановна не имъла инчего общаго съ хилыми и дряблыми натурами. Она была рфинтельна и смфла въ своихъ поступкахъ, когда ей нужно было опредфлить свои отношенія къ людямъ. Она не любила прибфгать къ чужимъ совфтамъ; она умфла дфиствовать самостоятельно, тщательно обдумывала каждый свои шагъ, и, разъ принявъ какое-пибудъ рфшеніе, уже не отступала отъ него. Она сразу обрываетъ свои отношеніи къ любимому человфку, когда узнаетъ, что его отецъ не позволяетъ ему жениться на ней. Иесмотря на всъ угрозы Швабрина, она отказывается выйти за него замужъ.

"Я никогда не буду его женой, — говорить она Пугачеву. Я лучше ръшилась умереть и умру, если меня не избавять".

И это была не фраза. Если бы уряднику не удалось доставить письмо Марьи Ивановны по назначенію, а Гриневу—вырвать ее изъ рукъ негодяя, Марья Ивановна сдержала бы свое слово: она бы заморила себя голодомъ или наложила бы на себя руки, но ни за что не вышла бы замужъ за чело-

въка, къ которому питала инстинктивное отвращение, и о которомъ не могла думать безъ ужаса, какъ объ измъншкъ и сообщинкъ убійцъ ся отца. Такую же обычную ръшимость проявляетъ Марья Ивановна и при поъздкъ въ Истербургъ. Молодая и неопытная, она задумываетъ добиться свиданія съ императрицей и спасти своего жениха отъ ссылки въ Сибирь и позора и безъ всякихъ колебаній приводитъ въ исполненіе свою мысль, не посвятивъ вполнѣ въ свою тайну ни стараго Грпнева ни его жену.

Марья Ивановна, какъ выражается про нее молодой Гриневъ, "въ высшей степени была одарена скромностью и осторожностью". Она мало говорида, но много думала; въ ней не было скрытности, вытекающей изъ недовърчиваго отношенія къ людямъ; но она рано привыкла жить внутрениею жизнью, оставаться наединъ съ собою и со своими мыслями. Сосредоточенная, вдумчивая и ивсколько замкнутая въ себя, она поражаетъ своею наблюдательностью и способностью угадывать людей и ихъ побужденія. Внимательно и зорко следя за движеніями своего сердца и за голосомъ своей совъсти, она безъ особаго труда постигала самыя затаенныя побужденія и свойства окружавшихъ ее лицъ. Вспоминте, напримъръ, какъ она мътко опредъляетъ, что такое Швабринъ въ бесъдъ съ Гриневымъ послъ первой попытки Петра Андреевича биться съ нимъ на дуэли. Она не только сразу поняла Швабрина, но и догадалась, что опъ былъ виновникомъ столкновенія съ Гриневымъ:

"Я увърена, что не ты зачинщикъ ссоры, — говоритъ она Гриневу: — върно виноватъ Алексъй Ивановичъ.

"А почему же вы такъ думаете, Марья Ивановна?

"Да такъ... онъ такой насмѣшникъ! Я не люблю Алексѣя Ивановича. Онъ очень миѣ противенъ; а странно: ий за что бъ я не хотѣла, чтобъ и я ему также не правилась. Это меня бы безпокоило страхъ!"

Объясняя Гриневу, почему она отказала Швабрину, когда онъ ей дълалъ предложение, Марья Ивановна говоритъ:

"Алексъй Ивановичъ, конечно, человъкъ умный и хорошей фамиліи и имъетъ состояніе; но какъ подумаю, что надобно будетъ подъ вънцомъ при всъхъ поцъловаться... ни за что! Ни за какія благополучія!"

Въ этихъ простодушныхъ словахъ сказывается върное и глубокое пониманіе Швабрина. Онъ производиль на Марью

Ивановну такое же впечатлѣніе, какое съ перваго же раза произвель на Гётевскую Маргариту Мефистофель. Марья Ивановна питала къ нему инстипктивное отвращение, смъщанное со страхомъ. Онъ одновременно и отталкивалъ и пугалъ ес. Если бы она была образованиве и умъла бы отчетливо выражать свои мысли, она сказала бы: "Швабринъ дурион, злон человъкъ. Съ шимъ нужно держать себя осторожно. Опъ мстителенъ, злопамятенъ и неразборчивъ въ средствахъ. Горе тому, кого онъ возненавидить. Рано или поздно, твмъ или другимъ путемъ, онъ найдетъ случай свести съ своимъ врагомъ счеты". Марья Ивановна какъ бы предугадываетъ, что Швабринъ причинитъ еще много гора Гриневу. Насквозь видя Швабрина, она насквозь видитъ и Гринева. Этимъ объясияется та прозорливость, которую она обнаруживаеть, когда до нея доходить въсть, что Гриневъ признацъ виновнымъ въ измънъ и осужденъ на въчное поселение въ Сибирь. Она сразу догадалась, что ся женихъ не оправдался въ глазахъ судей только потому, что не захотълъ внутать ея имя въ процессъ о пугачевцахъ. Владъя ключомъ отъ своей души, она безъ труда отмыкала этимъ ключомъ и души другихъ.

Въ Маръъ Ивановић не было ни малѣйшен аффектацін; она не умъла рисоваться. Марья Ивановна — сама искреиность и простота. Она не только не выставляла своихъ чувствъ напоказъ, а стыдилась выразить ихъ открыто. Идя простинься съ могилами родителей, она проситъ любимаго человъка оставить ее одну, и онъ увидълъ ее уже тогда, когда она возвращалась съ кладбища, обливаясь тихими слезами. Въ то время, когда судили Грипева, она "мучилась болже вевхъ", по "скрывала отъ вебхъ свои слевы и страданія", а между тамъ непрестанно думала о томъ, какъ бы спасти его. Инстинктивное отвращение къ расчитанно-красивымъ позамъ вытекало у Марын Ивановны изъ ел природной правдивости, не переносившей инкакой ляи и фальии. Въ этой же правдивости заключается разгадка и той простоты обращения, которою она всьхъ къ себъ привлекала. Въ неи не было и не могло быть никакого жеманства или кокетства. Несмотря на свою заствичивость, она спокойно выслушиваеть объяснение выздоравливающаго Гринева въ любви и сама признается ему въ сер-, дечной склонности. Затышным отговорки, какь и всякое притворство, были ей совершенно чужды.

Проинкнутая восторженною, экзальтированною върой и глубокимъ сознаніемъ долга. Марья Ивановна не терялась въ самыя тяжелыя минуты жизни, ибо у нея всегда была путеводная звъзда, съ которой она не сводила глазъ и которая не давала ей сбиться съ прямой дороги. Когда она узнаетъ, что отецъ Гринева не соглащается имъть ее своею невъсткой, она отвъчаетъ на всъ доводы своего милаго, предлагающаго ей немедленно перевънчаться:

"Нътъ, Петръ Андреичъ, я не выйду за тебя безъ благословенія твоихъ родителей. Безъ ихъ благословенія не будетъ тебъ счастья. Покоримся волъ Божіей. Коли найдень себъ суженую, коли полюбинь другую, — Богъ съ тобою, Петръ Андреичъ; а я за васъ обоихъ…"

Туть она заплакала и ушла, не высказавь до конца своей мысли; но ясно и безъ того; что она хотъла сказать. Душа Марын Ивановны была соткана изълюбви и самоотверженія. Подчиняясь во всемъ воль Божіей и прозръвая ее во всъхъ событіяхъ своей жизни, она отказывается отъ счастья быть женон любимаго человъка, по думаетъ при этомъ не о себъ, не о своемъ будущемъ одиночествъ, а о Гриневъ, исключительно о немъ одномъ. Она возвращаетъ ему данное ей слово и туть же, не безъ тяжкой впутренней борьбы, конечно, говорить, что будеть молиться за него и за ту, кого онъ полюбитъ. Она и благословеніемъ-то старыхъ Гриневыхъ дорожитъ прежде всего какъ залогомъ счастья ихъ сына: "безъ ихъ благословенія не будеть тебть счастья". О себть она совствить пе думаетъ при этомъ. Возвышенный образъ мыслей, вытекающій у Марын Ивановны изъ ея религіознаго пастроенія и чисто народнаго міросозерцанія, проявляется у пея всегда и во всемъ: и въ ея отношеніяхъ къ Грипеву, и во всвуъ ея взглядахъ и сужденіяхъ. Такъ же какъ и Иванъ Игнатьичъ, она безусловно осуждаеть дуэли, по не во имя соображений практическаго свойства, - не потому, что брань на вороту не висиетъ, и что раненый или убитый на поединкъ остается въ дуракахъ. Она осуждаеть дуэли исключительно съ христіанской точки зрвнія, — тъ точки зрвнія благородной и любящей натуры, алчущей и жаждущей правды.

"Какъ мужчины странны! говорить она Гриневу. За одно слово, о которомъ черезъ недълю, върно бъ, они позабыли, они готовы ръзаться и жертвовать не только экизнью, но и

совистью и благополучісму тьху, которые... (Марья Ивановна не договариваеть: иху любяту).

Марью Ивановну, робкую и женственную Марью Ивановну, поражаеть въ людяхъ, бьющихся на дуэли, не только то, что они ставятъ на карту свою жизнь, — она понимаетъ, что бываютъ обстоятельства, когда нельзя не жертвовать жизнью во имя чести и требованій долга, — ее ужасаетъ то презрѣніе къ голосу совѣсти, вопіющей противъ убійства и самоубійства, и то безучастное отношеніе къ горю близкихъ людей, безъ котораго не можетъ состояться ни одна дуэль. Въ данномъ случав, какъ и во всѣхъ сужденіяхъ Маріи Ивановны, этой простой и необразованной дѣвушки, чуждой самомнѣнія и часто не находящей словъ для выраженія своей мысли, сказывается чуткое сердце и свѣтлый, возвышенный умъ.

Марья Ивановна прекрасно себъ усвоила значеніе евангельскихъ словъ: будьте кротки, какъ голуби, и мудры, какъ змън. Она всецъло была проникнута величавою народною мудростью, сложившеюся подъ вліяніемъ церкви и ея ученія, и никогда не измъняла своимъ идеаламъ, а это было для нея далеко не легко, ибо у Марын Ивановны была горячая кровь (не даромъ же Гриневу бросилось съ перваго же взгляда, что у нея уши такъ и торъли) и нъжное привязчивое сердце, умъвшее сильно любить и сильно страдать. Марья Ивановна кончила не такъ, какъ Тургеневская Лиза: она не пошла въ монастырь, а сдълалась счастливою женой и матерью, и уже, конечно, не только матерью, какою была простоватая мать Гринева, а одною изъ тъхъ матерей, о которыхъ дъти вспоминаютъ не только съ любовью, но и съ благоговъніемъ и гордостью. Едва ли можетъ быть какос-нибудь сомивніе, что Гриневъ всю свою жизнь благословляль тоть чась, когда отець отправиль его къ Рейнсдорну, а Рейнсдорпъ — въ Бълогорскую кръпость, ибо тамъ, въ глуши отдаленной окраины государства, онъ встрътилъ Марью Ивановну и сблизился съ нею.

Если бы жизнь Маріп Пвановны сложилась такъ, какъ жизнь Лизы, или же если бъ она жила не въ Оренбургской губернін, гдъ не было въ XVIII въкъ ни одной обители, а близъ какогонибудь скита, она тоже, въроятно, сдълалась бы инокиней.

Заканчиваемъ характеристику Марын Ивановны тъмъ, съ чего начали: ея поэтическій образъ принадлежить къ числу глубочайшихъ созданій Пушкинскаго генія, и какъ мастерски поэтъ

очертиль его! Когда вы прочтете "Капитанскую дочку", вамъ такъ и кажется, что вы когда-то видъли эту русую и румяную дъвушку, ея умиые и добрые глаза, ея мягкія и изящныя движенія, что вы слышали ея милый и тихій голосъ, что вы были свидътелемъ и ея ижжныхъ заботъ о раненомъ Гриневъ, и ея трогательнаго прощанія съ отцомъ на валу Бълогорской кръпости.

Савельнчъ принадлежитъ къ числу самыхъ удачныхъ созданій Пушкинскаго генія. Забыть его тому, кто хотя бъгло пробъжитъ "Капитанскую дочку", нътъ никакой возможности. Комично-наивный, добродушно-трогательный образъ стараго дядьки сразу и неизгладимо връзывается въ память. Савельичъ — это такой же законченный и превосходный типъ слуги, какъ Санчо-Панчо и Калебъ. Когда иностранцы поближе познакомятся съ нашею литературой, его имя и у нихъ сдълается нарицательнымъ. Подобно тому, какъ въ лицъ Гриневыхъ, отца и сына, Пушкинъ хотълъ воплотить дучшія стороны нашего стараго дворянства, такъ въ лицъ Савельича онъ хотълъ показать привлекательную сторону техъ добрыхъ, задушевныхъ отношеній, которыя возникали иногда на почвъ кръпостного права между крестьянами и помъщиками. Пушкинъ не былъ защитникомъ кръпостного права. Онъ ненавидълъ его и прекрасно понималъ его гибельное вліяніе на Россію.

Увижу ль я народъ неугнетенный И рабство, падшее по манію царя?

восклицаль Пушкинъ въ одномъ изъ стихотвореній, написанныхъ въ молодые годы ("Деревня"). Но онъ не могъ не видѣть и отрицать, что между крестьянами и господами сплошь и рядомъ существовали такія тѣсныя и нравственныя узы, которыя не могли не вызывать уваженія. Дли справедливой, всесторонией оцѣнки исторіи крѣпостного права еще не настало время. Современникамъ реформы 19 февраля 1861 г. трудно отрѣшиться отъ своего, нѣсколько пристрастнаго взгляда на тотъ строй жизни, который былъ ею упраздненъ. Будущій историкъ крестьянскаго сословія отмѣтитъ все, что было дурного въ этомъ строф, но не скроетъ и того, что было въ немъ хорошаго; а что въ немъ было и кое-что хорошее, вполнѣ удовлетворявшее несложнымъ потребностямъ стародавией жизни,— въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія. Крѣпостное право потому

оставило но себь такую печальную память, что оно, вслъдствіе разныхъ причинъ, продержалось слишкомъ долго, затормозило развитіе народной жизни и существовало многіе годы уже въ то время, когда большая часть помъщиковъ, увлеченная вибиностью и соблазномъ западно-европейской цивилизацін, перестала понимать своихъ "подвластныхъ". Было, однако, время и бывали случаи, когда крвиостное право не казалось обременительнымь и перепосились съ легкостью и безропотно. Савельнчъ, конечно, художественный вымысель Пушкина, но этотъ вымысель не имъетъ ничего общаго съ сочинительствомъ. Онъ върно и прекрасно огразилъ въ себъ былую двиствительность, и историку крвпостного права нельзя будеть не считаться съ нимъ. Съ какимъ бы ужасомъ и предупреждениемъ опъ ни говорилъ о крѣностномъ правъ, ему не удается ступіевать такихъ привлекательныхъ явленій нашего прошлаго, какъ Савельичъ. Савельичъ — это живая и ходячая апологія старинных в порядковъ и стариннаго склада жизни. Мильи Савельичъ! Кому изъ насъ не близокъ и не дорогъ онъ съ ранняго дътства? Кто изъ насъ не слъдилъ съ участіємъ и съ улыбкой за всями его понеченіями о барскомъ дитяти? Савельнуъ, конечно, забавень, но онъ вселяеть къ себь глубокое уваженіе: и въ его беззавѣтной любви къ Гриневымъ, особенно къ своему питомцу, есть что-то невыразимо поэтичпое и трогательное. Отбросьте въ сторону смъщныя черты Савельича, и предъ вами предстанет в величавый образъ библейскаго Еліавара, которому Авраамъ ввършть попеченіе о своемъ сынъ Исаакъ.

Внутренийн міръ Савельнча прость и несложень, но онь озарень свътомь безхигростной и чистой души. Бъдная деревенская церковь, родное село да барская усадьба, — воть чъмь онь жиль весь свой въкъ. Не мудрствуя лукаво, не разсуждая о томь, вмъють ли номъщики правственное право владъть кръпостными, онъ по-христіански несъ выпавшій на его долю жребій. Онъ родился и умерь рабомъ, но не быль рабомъ льшвымь и лукавымь: онъ служиль своимь подпевольнымь положеніемъ, а за совъсть, и не тяготился своимъ подпевольнымъ положеніемъ, нбо свободно подчинялся ему. Въ Сачельнчъ пъть и тъпи правственнаго холопства. Иссмотря на почтительный тонъ, которымь онъ привыкъ говорить со своими господами. Савельнчъ держаль себя по-своему очень незави-

симо и, конечно, быль бы удивлень, если бъ ему сказали, что онъ несчастное существо, что онъ живеть подъ странинымъ гнетомъ, и что ему было бы гораздо лучие скоротать свой выкъ гдъ-нибудь вдали отъ Гриневыхъ. Норвать всякія связи между Савельичемъ и барскою усадьбой значило бы лишить его жизнь всякаго смысла, ибо на семьѣ Гриневыхъ сосредоточились всѣ его привязанности.

Пушкинъ инчего не сообщаетъ о молодости Савельича, о томъ, какъ и почему онъ попаль въ дворию. Мы знаемъ только, что опъ былъ спачала стремяннымъ, а потомъ, за трезьое поведеніе, быль возведень въ званіе дядьки. Вфроятно, Савельичъ быль женать и рано овдовъль и, не имъя ни дътей ни родныхъ, полюбилъ Петрушу Гринева со всею ижиностью своего добраго, привязчиваго сердца, которому необходимо было кого-инбудь любить. Съ тъхъ поръ какъ Савельичъ сталь въ домѣ Гриневыхъ своимъ человькомъ, у него уже не было интересовъ, своихъ печалей и радостей. Ихъ горе стало его горемъ, ихъ счастье — его счастьемъ. О себъ Савельичъ не думалъ и не заботился. Всв его мысли паправлены исключительно къ тому, чтобы сохранить барское добро, отстоять барскіе интересы, оградить господъ отъ какон-нибудь напасти. Попеченія о господахъ наполияли всю жизнь Савельича, лежали въ основъ всъхъ его дъйствій и побужденій. Ради своихъ господъ Савельнчъ всегда готовъ быль претерпъть всевозможныя лишенія, а въ случав надобности и самую смерть. Его самоотверженіе не знало предбловъ и двлало его безстрашнымъ въ виду самыхъ грозныхъ опасностей. Когда молодой Гриневъ дерется на дуэли, Савельичъ прибъгаетъ на мъсто поединка, чтобы заслонить Петра Лидреевича своею грудью отъ ударовъ Швабрина. Когда Пугачевъ отдаетъ приказание въшать Гринева, и палачи уже приступають къ исполненію своей обязанности, Савельичъ въ изступлении предлагаетъ свою шею взамънъ барской. Когда Гриневъ объявляетъ своему дядыкъ, что повдеть въ Бълогорскую кръпость для освобожденія Марын Ивановны, Савельичъ ни за что не соглашается остаться въ Оренбургъ, хотя и не питаетъ надежды на благополучное возвращение изъ этого путешествія. Савельнчъ охотно бросился бы въ отонь и въ воду за своего молодого барина.

Привязанность къ своему питомцу и ко всей семьъ Грипевыхъ заслоняла въ Савельичъ всъ другія привязаниости и стала для него своего рода религіей. Онъ нимало не сомиввался, что Пугачевъ бродяга и самозванецъ, но это не мъшаеть ему кланяться Емелькъ въ ноги и даже называть его государемъ для спасенія барскаго "дитяти". Присягаль ли Савельичъ мнимому императору Петру? Въроятно, нътъ: опъ не ръшился бы поклясться въ върности тому, кого онъ называль въ глаза, по забывчивости, злодвемъ; но сознаніе върноподданическаго долга не доходило въ Савельичъ до такой степени, чтобы возбуждать въ немъ героизмъ, который проявляють въ минуту смерти капитанъ Мироновъ и его старый сослуживець Иванъ Игнатьевичъ, всенародно уличая Пугачева въ самозванствъ. Царица представлялась Савельнчу чфмъ-то далекимъ и туманнымъ. Онъ, конечно, не усомнился бы пожертвовать собой для спасенія государыни, но тёхъ понятій о чести, которыми жили его господа, онъ не понималь, и это постоянно порождаеть забавныя столкновенія между нимъ и его молодымъ бариномъ. Послъ проигрыша въ симбирскомъ трактиръ Савельичъ, пораженный проигрышемъ Гринева, пресеріозно совътуетъ ему не платить долга. "Скажи, говорить онь, что родители тебъ и пграть-то, окромя какъ въ оръхи, запретили". "Что тебъ стоитъ!" восклицалъ Савельичь, стоя нередъ Пугачевымъ и передъ висълицей, когда самозванецъ только что отмънилъ свой приказъ о казин Гринева... "Не упрямься? Илюнь да поцёлуй у злод... тьфу, у него ручку". Савельнчъ совершенио не могъ понять, почему Гриневъ, раскаиваясь въ своемъ поведеніи въ симбирскомъ трактиръ, считалъ необходимымъ расплатиться съ Зуринымъ, и почему онъ предпочелъ бы самую лютую казпь цълованію пугачевской руки. Соображенія о чести, руководившія Гринева, были недоступны для Савельича. Въ эпизодъ съ Зуринымъ онъ видълъ только потерю барскихъ денегъ, а стоя передъ висълицей, хлопоталъ лишь о томъ, чтобы избавить Гринева отъ петли. Благодаря своей непрестанной заботливости о "барскомъ дитяти" и о "барскомъ добръ", суетливый и упрямый Савельичъ не разъ ставиль своего господина въ рискованное положение и вредилъ ему. Окликнувъ его во время дуэли и заставиль твмъ самымъ оглянуться, онъ далъ возможность Швабрину нанести Гриневу предательскій ударъ. Напоминая самозванцу о зимнемъ тулупъ, Савельичъ могь павлечь его гибвь на Гринева. Вообще, простодушный

Савельнчъ дълалъ своему молодому барину столько же хдопотъ, какъ и услугъ, и погубилъ бы его, не въдал о томъ, если бы Гриневъ имълъ малодушіе и низость всегда и во всемъ слушать своего дядьку. Къ счастію для самого Савельича, Гриневъ былъ юноша такого закала, что его нельзя было склонить къ поступкамъ, несогласнымъ съ служебнымъ долгомъ и дворянскимъ достоинствомъ. Гриневъ ценилъ въ Савельичь преданность, не прочь быть даже иногда слъдовать его совътамъ, когда они того стоили, но прекрасно понималъ, что между его попятіями и понятіями Савельича о чести лежала цълая бездна, и жилъ своимъ умомъ. Бъдный Савельичъ! Опъ и не подозръвалъ, что нъкоторые изъ его совътовъ могли покрыть "барское дитя" несмываемымъ позоромъ, если бы оно не отвергало ихъ съ презрвніемъ. Простодушный и недалекій дядька считаль бы за величайшее счастье оказать своему господину какую-нибудь крупную услугу, но это удалось ему только однажды, да и то случайно. Обративъ на себи винманіе Пугачева въ то время, когда Гринева вели на смерть, онъ напомнилъ самозванцу своею особой о заячьемъ тулупъ п единственно этимъ спасъ жизнь "дитяти". Въ томъ-то именно и заключается всегдашній трагикомизмъ Савельича, что онъ дъйствуетъ обыкновенно невпопадъ и достигаетъ своихъ цълей совствить не тти путями, на которые расчитываетъ. Гриневъ умълъ цънить внутреннія побужденія Савельича и быль ему благодаренъ и за его попеченія и за его добрыя намфренія.

Ревнуя о благѣ своихъ господъ, Савельичъ никогда не потакалъ имъ въ тѣхъ счучаяхъ, когда они, по его миѣнію, поступали не такъ какъ слѣдовало, и безбоязненно высказывалъ имъ въ глаза свое миѣніе. Онъ часто ворчитъ на II. А. Гринева и разражается цѣлымъ рядомъ упрековъ, когда тотъ возвращается въ симбирскій трактиръ, едва держась на ногахъ; па требованіе денегъ для уплаты долга Савельичъ отвѣчаетъ: "воля твоя, сударь, а денегъ я не выдамъ". Онъ затѣваетъ съ Гриневымъ споръ по поводу пагражденія вожатаго деньгами и заячымъ тулупомъ. Вообіще, Савельичъ любилъ поспорить со своимъ молодымъ господиномъ. Той же системы онъ держался, повидимому, хотя и не безъ иѣкоторой робости, со старымъ Гриневымъ. На его грозное письмо но поводу дуэли Петра Андреевича, Савельичъ, несмотря на стрэгій приговоръ, произнесенный Гриневымъ отцомъ надъ поведеніемъ сына, отвібчаеть: "теперь Петръ Андресвичъ, слава Богу, здоровъ и про него, кромф хорошаго, нечего и писатт. А что съ нимъ случилась такая оказія, то быль молодцу не укоръ. Конь и о четырехъ погахъ, да спотыкается". Ворчливость и упрямство Савельича не имфютъ и тфии жесткости, когда двло идетъ о его господахъ. Онъ не способенъ на нихъ сердиться и если говорить иногда Гриневу разкія вещи, то не давая себъ отчета въ ръзкости своихъ словъ. Савельичъ приходить въ прость, на какую только онъ способень при своей кротости и добротв, лишь тогда, когда онъ усматриваеть въ комъ-нибудь посягательство на барскіе интересы. Такихъ людей Савельичъ ненавидитъ, какъ своихъ личныхъ враговъ, и не скупится въ разговорахъ съ ними и о нихъ на самыя эпергическія выраженія. Зуринъ, обыгравшій Гринева, оказывается у Савельича "разбойникомъ", вожатый, которому Гриневъ задумалъ отдать заячій тулунъ. — собакой и т. д. Въчно брюзжащій старикъ пикому, однако, не вселяль страха и въры въ твердость своего характера. Упрямый, но добрын Савельичъ сейчасъ же уступалъ "дитяти", какъ только молодой человъкъ принималь суровый и повелительный тоиъ, и оказывался совершенио безсильнымъ противъ его ласки и просьбъ. Человъкъ незлопамятный отъ природы, Савельнчъ не могъ никогда простить только тахъ, кого опъ считалъ барскими недоброжелателями и ревноваль къ своимъ господамъ. Нътъ пичего забавите и трогательные сильнаго предубъжденія, пе разъ выражаемаго Савельичемъ противъ проклятаго мусье Бопре. Онъ склоненъ былъ приписывать ему вев бъдствія "цитяти": онъ считалъ его виновникомъ и симбирской попойки, и дуэли со Швабринымъ, и, въроятно, до конца дней своихъ не переставалъ повторять при восноминании о Бопре: ..Н нужно было навимать въ дядьки басурмана? Какъ будто у барина не стало и своихъ людей?"

Типъ такихъ слугъ, какъ Савельичъ, принадлежить къ вымершимъ типамъ. Нельзя не помянуть добромъ тъхъ временъ, когда Савельичи отнюдь не составляли исключительнаго явленія. Савельичъ былъ не только слугой, дядькой и учителемъ Петра Андреевича Гринева (говоримъ учителемъ потому, что Гриневъ научился писать и читать у Савельича), но и его другомъ и наперсникомъ. Опъ былъ его заступникомъ и ходатаемъ передъ старикомъ Гриневымъ, когда дъло шло о Марьъ Пвановив. Онъ былъ посвященъ въ самыя пятимныя подробности его жизни. "Капитанская дочка" заканчивается разсказомъ объ оправданіи Гринева и его вступленіи въ бракъ съ Марьей Ивановной. Что сталось затімъ съ Савельнчемъ, въ романт не говорится. Но у кого на этотъ счетъ могутъ быть малітішія сомитьнья? Кто и самъ не догадается, что Савельнчъ до самой смерти оставался близкимъ къ Петру Андреевичу и Марьт Ивановит человткомъ и провель въ почетт и холт свои послідніе годы, пользуясь безусловнымъ довтріемъ и лаской своихъ молодыхъ господъ?

Черияевъ.

Зпаченіе Пушкина въ исторіи развитія русскаго романа.

Въ литературъ каждаго народа есть свои геніальные дъятели. Каждый народъ съ гордостью указываетъ на немногихъ избранниковъ въ общемъ кругу своихъ писателей и поэтовъ и называетъ ихъ великими, потому что дбятельность ихъ не укладывается въ тфеныя рамки, которыя служатъ границею для ихъ собратій. Въ нашей русской литературъ такимъ избранникомъ является Пушкинъ, геніальный поэтъхудожникъ. Другого поэта, равнаго ему по многосторонности и разнообразію творческаго генія, русская литература не представляетъ. Напрасно мы будемъ искать у современныхъ пашихъ поэтовъ, даже связанныхъ съ пушкинскими преданіями, той необыкновенной легкости, гибкости и музыкальной прелести стиха, того богатства и разнообразія поэтических вартинъ, образовъ, какое встрвчаемъ у Пушкина. Здъсь нътъ мъста сравненію. Пушкинъ надолго еще остается великимъ образцовымъ мастеромъ поэзін и учителемъ искусства. Здѣсь ивтъ мъста сравненію не только съ русскими, но даже съ иностранными поэтами, съ которыми у насъ привыкли связывать имя нашего безсмертнаго поэта. Пушкинъ единогласно долженъ быть признанъ самостоятельнымъ и вмъстъ съ тъмъ самымъ совершеннымъ типомъ поэта-артиста. Его область — чистое искусство — и въ этой области онъ всегда останется удивительнымъ образцомъ, быть можетъ, не для однихъ своихъ соотечественниковъ.

Такой взглядъ не новъ. Его высказывали уже ивкоторые изъ современныхъ Пушкину писателей. Въ числъ ихъ иельзя не указать на Гителича, извъстнаго переводчика Пліады, глубоко понимавшаго поэзію Пушкина. По прочтеніи одной изъ художественныхъ сказокъ, Гителичъ прислалъ Пушкину слъдующее стихотвореніе:

Пушкинъ, Протей,
Съ гибкимъ твоимъ языкомъ и волшебствомъ твоихъ
пѣснопѣній,
Уши закрой отъ похвалъ и сравненій добрыхъ друзей!
Пой, какъ поешь ты, родной соловей.
Байрона геній иль Гёте, Шекспира —
Геній ихъ неба, ихъ нравовъ, ихъ странъ;
Ты же, постигнувшій таинства русскаго духа и міра,
Ты нашъ "Баянъ"—
Пебомъ роднымъ вдохновенный
Ты на Руси нашъ пѣвецъ несравненный!

По, отдавая должную дань удивленія генію Пушкина, мы обратимъ вииманіе на одну сторону его дъятельности, а именно: на его заслуги въ исторіи развитія русскаго романа.

Пушкинъ, какъ писатель геніальный, действительно въ своен дъятельности является Протеемъ, т.-е. художникомъ многостороннимъ и всеобъемлющимъ. Самыя различныя чувства и мысли, времени и мъста дъйствія получають художественное выражение въ его произведенияхъ. Самыя разнообразныя формы поэзін, начиная отъ мелкихъ лирическихъ произведеній до драмы принимають повое направленіе въ поэтическихъ созданіяхъ Пушкина. Въ этомъ отношеніи Пушкинъ напоминаетъ намъ собой колоссальные образы геніальныхъ дъятелен эпохи преобразованій Петра Великаго — этого всесторонняго труженика на троив, и Ломоносова (творца нашей словесности), одновременно являющагося и ученымъ, и литераторомъ, и поэтомъ. Въ эпохи переходныя какъ въ управленін, такъ и въ области науки и литературы не можетъ быть увлеченія одною какою-либо сферою — все требуеть обновленія, все привлекаетъ вниманіе геніальнаго дъятеля. Пушкинъ дъйствоваль въ переходную эпоху литературы: цълою половиной своен поэтической дъятельности онъ принадлежаль къ прежнему подражательному періоду литературы и только во вторую половину является творцомъ новаго, такъ называемаго пародно-художественнаго, направленія

из русской литературъ, для развитія которой создаль ниро кую программу.

Пушкинъ усердно потрудился на общирномъ полъ русской литературы, и съмена, посъянныя имъ, принесли обильные плоды во вежхъ родахъ и видахъ поэзін. Ни въ одномъ изъ предшествовавшихъ періодовъ русской литературы не являлось такого большого числа поэтовъ, какое было вызвано поэзіею Пушкина. Но ни одинъ изъ видовъ поэзін, новое направленіе которыхъ связано съ его именемъ, не получилъ такого широкаго и преобладающаго значенія въ современпой нашей литературъ, какъ романъ. Изъ всъхъ литературныхъ формъ, по замъчанію одного изъ знатоковъ русской словесности (Ореста Миллера), правоописательный романъ пріобрѣлъ особенное право гражданства въ русской литературъ и наиболъе удается нашимъ писателямъ. Съ правоонисательнымъ романомъ связаны извъстныя всъмъ имена Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Гончарова, графа Льва Толстого, Достоевскаго, Писемскаго, Лъскова, Ръшетникова, Печерскаги многихъ другихъ. Благодаря трудамъ ихъ романъ получилъ особенное общественное значение. Онъ касается всевозможныхъ сторонъ русской жизни, всехъ сословій и состояній, большихъ городовъ и захолустьевъ, при чемъ путемъ самаго новаго психологичестаго анализа дъйствій и страстей, правъ и обязанностей, разъясняеть смысль жизни, движеть, руководить и воспитываеть общественную совъсть. Такое направленіе современному русскому роману первый указаль Пушкинъ въ своемъ "Евгенін Онѣгинъ" и отчасти въ другихъ повъстяхъ.

Всномнимъ, какого рода романы увлекали читающую публику въ началѣ настоящаго столѣтія. Здѣсь на первомъ планѣ прежде всего слѣдуетъ поставить сентиментальныя про- изведенія Карамзина и его подражателей. "Бѣдная Лиза" Карамзина, надъ которою наши читательницы проливали слезы. была попыткою создать новѣсть изъ русской жизни, но попытка эта не увѣнчалась успѣхомъ. Хотя дѣйствіе повѣсти происходитъ въ окрестностяхъ Москвы, имена лицъ русскія. но въ повѣсти иѣтъ и намека на русскую жизнь. Изображая чувствительную крестьянку, авторъ совершенно оставилъ въ стороиѣ тѣ условія жизни, безъ которыхъ немыслимо представленіе человѣка, какъ продукта (произведенія) извѣстнато

времени и мъста. Впрочемъ, это и не требовалось иностранными писателями, которымъ въ этомъ случат рабски подражалъ Карамзинъ и его послъдователи. Главное вииманіе обращалось исключительно на то, чтобы растрогать сердце читателя, при чемъ допускались самыя ръзкія несообразности въ психическомъ смыслъ. Героппя извъстной повъсти Карамзина "Наталья" влюбляется въ Алексъя въ одну минуту, увидъвъ его въ первый разъ, не слыхавъ отъ него ни одного слова. По этому поводу Карамзинъ вставляетъ въ повъсть оговорку: "Милостивые государи! я разсказываю, какъ происходило самое дъло. Не сомнъвайтесь въ истинъ; не сомнъвайтесь въ силь того взаимнаго влеченія, которое чувствуютъ два сердца, другъ для друга сотворенныя! А кто не върнтъ симпатін, тотъ поди отъ насъ прочь и не читай нашей исторін, которая сообщается только для одивхъ чувствительныхъ душъ, имфющихъ сію сладкую вфру". Въ такихъ чувствительныхъ душахъ въ то время не было недостатка. Къ числу ихъ Пушкинъ относитъ своего Ленскаго,

> Который вёриль, Что душа родная Соединиться съ нимъ должна; Что, безотрадно изнывая, Его всечасно ждетъ она.

Въ то же время литература наша наводнялась переводными романами. Изъ нихъ заслуживаютъ вниманія романы правочительные, въ которыхъ порокъ всегда наказывался, а добродітель награждалась. Героп и геропии, несмотря на многочисленныя искушенія, остаются добродітельными всі же злодім описываются самыми черными красками. Пушкинъ прекрасно охарактеризоваль подобнаго сорта романы въ слідующей строфів Онітина:

Свой слогь на важный ладъ настроя, Бывало пламенный творець, Являль намъ своего героя, Какъ совершенства образецъ. Онъ одарялъ предметь любимый, Всегда неправедно гонимый, Душой чувствительной, умомъ И привлекательнымъ лицомъ. Питая жаръ чистъйшей страсти,

Всегда восторженный герой Готовь быль жертвовать собой. И при концѣ послѣдней части Всегда наказанъ былъ порокъ, Добру достойный былъ вѣнокъ.

Охотники до соблазнительнаго чтенія, не знавшіе французскаго языка, читали переводы ивкоторыхъ романовъ, временъ Людовика XV и революціи, въ которыхъ безправственныя явленія возводились въ образецъ. Въ двадцатыхъ годахъ эти романы имѣли свой довольно обширный кругъ читателей, и вытѣснили правоучительные романы, что дало поводъ Пушкину замѣтить:

> А нынѣ всѣ умы вѣ туманѣ, Мораль на насъ наводить сонъ, Порокъ любезенъ и въ романѣ, И тамъ ужъ торжествуетъ онъ.

Не менъе интересное, но въ то же время и самое безполезное чтеніе представляли ужасно-чудесные романы Радклифъ.
Ея романы съ балладами возбуждали въ душт читателя чувство страха представленіемъ таниственныхъ лицъ и событій,
хотя, въ концт концовъ, вст видтнія, загадочные звуки или
сводились къ какой-нибудь пружинт въ стттт, подземному
ходу, или искусственной акустикт. Но уже въ то время итькоторые журналы находили, что романы Радклифъ болтаненно
дттту ночи, прочитавъ страшный романъ.

Самостоятельныя произведенія русскихъ романистовъ являются рабскимъ подражавіемъ иностраннымъ образцамъ. Нашъ романистъ того времени прежде всего заботился о томъ, чтобы наполнить свое произведеніе диковинными приключеніями, при чемъ искажалъ событія и характеры. Искаженіе перѣдко доходило до того, что безъ всякаго стѣспенія прилаживали испанскіе обычаи къ русскому сюжету, простолюдиновъ заставляли выражаться литературнымъ языкомъ. При всемъ своемъ стараніи стать на ряду съ иностранными образцами, наши романисты не имѣли обширнаго круга читателей. Разсуждая о книжной торговлѣ и о любви къ чтенію, Карамзинъ говоритъ, что въ началѣ нынѣшияго столѣтія изъ всѣхъ родовъ книгъ у насъ больше всего читались романы

и что въ этомъ родъ иностран**н**ые авторы отбиваютъ славу у р**усскихъ.**

Не говоря уже о безобразномъ языкъ и формъ изложенія, переводные романы и подражанія имъ отличались однимъ существенно важнымъ недостаткомъ, а пменно — отсутствіемъ всякой связи съ современною жизнью, а между тѣмъ чтеніе ихъ принимало бользненный характеръ. Попытки журналистики остановить увлеченіе не имѣли успѣха. Публика искала въ беллетристикъ пріятнаго развлеченія, опа читала романы, нотому что они правились ей какъ романы, безъ всякой мысли о ихъ правственномъ вредѣ или пользѣ. Исправить вкусъ ел могъ только сильный поэтическій талантъ. Это великое дѣло совершилъ поэтическій геній Пушкина, и увлеченная имъ читающая публика мало-по-ма́лу отшатнулась отъ прежнихъ романовъ, не отличавшихся никакими, ни внутренними ни виѣшними достоинствами.

Выступая въ свътъ со своимъ Онъгинымъ, Пушкинъ, совершенно отрънился отъ прежнихъ традицій въ области романа, мимоходомъ, но мътко осмъявъ ихъ въ своемъ произведенін. Самъ Пушкинъ называетъ свой романъ:

> Собраньемъ пестрыхъ главъ Полусмъшныхъ, полупечальныхъ, Простонародныхъ, идеальныхъ,

Ума холодныхъ наблюденій И сердца горестныхъ замѣть.

Дъйствительно, все это есть въ его романъ— и холодныя наблюденія ума и горестныя "замъты" сердца. Пушкинъ впимательно вглядълся въ общественную жизнь и изобразиль ее со всъмъ. что въ ней было, съ ся холодомъ, прозою и пошлостью. Онъ хорошо понялъ, что, для изображенія современнаго ему общества, надобно имъть романъ, а не эническую ноэму. До Пушкина, строго судя, у насъ не было національнаго романа. "Евгеній Онъгинъ" былъ первымъ блистательнымъ опытомъ, въ этомъ родѣ поэзіи, опытомъ, который произвелъ такой же переворотъ въ нашихъ понятіяхъ о романъ, какой почти одновременно совершонъ былъ Грибофдовымъ въ области русской комедіи. Романъ Пушкина впервые изобразилъ живыя лица, а не манекеновъ, какими были герои и героини прежнихъ романовъ, впервые, пакопецъ, заговорилъ

человъческимъ языкомъ, соотвътствовавнимъ и духу, и времени, и положению дъиствующихъ лицъ. По всего драгоцъинъе для насъ въ его романъ — это его народность въ широкомъ вначении этого слова, хотя Пушкивъ и изображаетъ въ немъ образованное общество. "Истиниая народность, говоритъ Гоголь, состоптъ не въ описаніи сарафана, но въ самомъ духъ произведенія; поэтъ можетъ быть народнымъ даже тогда, когда описываетъ совершенио сторонній міръ, но глядитъ на него глазами своего народа, когда чувствуетъ и говоритъ такъ, что его соотечественникамъ кажется, будто это чувствуютъ и говорятъ они сами".

Пушкинъ первый изъ нашихъ поэтовъ изобразилъ съ полною опредъленностью характеры русскихъ женщинъ. Въ лицъ Татьяны Пушкинъ нарисовалъ намъ трогательный образъ даровитой и энергической русской дъвушки съ глубокой и сильной душой. Съ легкой руки Пушкина женскіе типы какъ-то болѣе удаются нашимъ романистамъ. Особенно они удачны у Тургенева и Достоевскаго.

Пушкину часто ставять въ вину недостатокъ въ его романъ объективности, составляющей существенный признакъ всякаго эпическаго произведенія. По кто же въ настоящее время не согласится съ тъмъ, что дъленіе литературы на строго замкнутые отдълы отжило свое время. Романъ имълъ, конечно, свои характеристическія черты, но не имълъ опредъленныхъ границъ. Соприкасаясь, съ одной стороны, съ лирической ноэзіей, а иногда соединяетъ въ себъ существенныя условія драмы. Романистъ, какъ и лирическій поэтъ, имъетъ дъло съ живыми людьми, а не съ бездушными предметами, отсюда возможность, почти неизбъжность симпатій и антипатій. Слъдовательно, всъ лирическія отступленія, которыя такъ обильно разсъяны въ романъ Пушкина, скоръе составляють его достоинство, чъмъ недостатокъ.

Пушкинъ по натуръ своей былъ существомъ любящимъ, симпатичнымъ, готовымъ протяпуть руку каждому, кто казался ему человъкомъ. Несмотря на пылкость, способную доходить до крайности, въ немъ было много дътски-кроткаго, нъжнаго, мягкаго. Все это отразилось на его произведеніяхъ особенно въ его романъ, который признается самымъ задушевнымъ произведеніемъ Пушкина.

Это особенная, исключительно свойственная Пушкину, черта

задушевнаго и глубокаго уваженія ко всякому благородному порыву, которая невольно заставляєть насъ признать романъ Пушкина произведеніемъ классическимъ, обладающимъ всьми свойствами, необходимыми для образованія не только эстетическаго, но и нравственнаго чувства читателя.

Только что выясненныя черты Пушкинскаго романа и лежать въ основъ всъхъ произведеній нашихъ современныхъ романистовъ, увлекающихъ читающую публику. Но то, что восхищаетъ насъ въ современныхъ широко-захватывающихъ жизнь романахъ, ведетъ свое начало отъ Пушкина, который, по всей справедливости, долженъ быть признанъ отцомъ русскаго правоописательнаго романа. Онъ первый сблизилъ его съ жизнью, онъ первый открылъ въ области романа новое, нетропутое поле народности, развернувъ широкую канву послъдующимъ романистамъ. Онъ первый опредъленно обозначилъ такіе предметы, которые впослъдствіи образовали въ области романа разныя направленія.

Нѣтъ сомпѣнія, что во многихъ отношеніяхъ новѣйшіе романисты наши превзошли Пушкина, ставъ съ вѣкомъ наравнѣ, но всѣ они воспитывались на сочиненіяхъ Пушкина и являются болѣе или менѣе его учениками.

Вокругь него, какъ вкругь свѣтила Вповь разсвѣтающаго дня, Блеснули звѣзды дарованій. Онъ эти звѣзды вдохновиль И въ нихъ съ восторгомъ упованій Святой свой пламень зарониль, И этимъ пламенемъ поэта Облагороженъ и согрѣть До нашихъ дней въ волненьяхъ свѣта И лѣтописецъ и поэтъ.

Малиновскій.

Новый романъ нашъ обязанъ реформаторской дъятельности Пушкина. Оглядываясь на предшествующій ему періодъ, мы найдемъ чувствительныя повъсти Карамзина и Жуковскаго, грубовато - юмористическіе, многотомные романы малоросса Наръжнаго, — словомъ, то пріукрашенную, то карикатурную дъйствительность, и нигдъ — ни слъда настоящей русской жизни во всей ея незатъйливости, жизни не городской только, но и захолустной, провинціальной, народной. "Евгеній Онъ-

гинъ" является поэтому настоящимъ откровеніемъ: эта возможность въ изящномъ, тонко насмфиливомъ стихф бесфдовать о повседневной житейской мелочи, выдвигать въ героф романа или поэмы людей изъ обыденнаго круга, перепосить въ поэтическое произведение весь циклъ деревенскихъ интересовъ, возарвній, поверій и сделать подобный разсказь увлекательнымъ полагала въ сущности начало русскому общественному роману. Героп Лермонтова, Тургенева, Толстого — прямые потомки этихъ первыхъ Пушкинскихъ героевъ, и тъсная внутренняя связь ихъ между собою не разъ обращала на себя вниманіе изследователей нашей новейшей культуры; эта связь ведеть отъ Онбгина къ Печорину, Рудину, Инсарову, Базарову и къ новымъ типамъ, складывающимся въ современную памъ эпоху. Каждая пора выставила въ этой галлерев характеровъ своего излюблениаго героя, и мы уже признаемъ это вполив закопнымъ, думаемъ, что иначе и быть не можетъ,что романъ не мыслимъ безъ такого върнаго отраженія общественнаго настроенія. По если вспомнимъ, кто положилъ у пасъ копецъ старому воззрѣнію на романъ, какъ на исключительно занимательное чтеніе, полное небывалыхъ вымысловъ, то и туть виновникомъ обновленія является снова Пушкинъ.

Но не только романъ соціальный получилъ свое начало благодаря Пушкину -- онъ же создаль намъ и историческій романъ, не имъя никакихъ предшественниковъ, кромъ той же сентиментальной исторической манеры Карамзина. Скажемъ больше: онъ первый показаль, какъ следуеть обрабатывать ть данныя, которыя завъщала русской литературъ былая исторія, будеть ли для этой обработки избрана форма драмы, романа или исторической поэмы. Какъ послъ Озеровскаго "Димитрія Донского" явился "Борисъ Годуновъ", такъ послъ дебелой "Россіяды" Хераскова явилась "Полтава", оживившая черты великаго обновителя Россін, одного изъ любимъйшихъ героевъ Пушкинской поэзін, — такъ послѣ Карамзинской "Натальи, боярской дочери" явилась "Капитанская дочка" и "Арапъ Петра Великаго", гдъ впервые живо отразились въ романть двъ крупныя, треволненныя эпохи новой русской исторіи. Этоть поэть, казалось, въ такой степени привязанный къ текущей злобъ дня, умълъ всецъло переноситься въ далекое прошлое, и тогда вызывать такіе правдивые типы, какъ чернецъ Пименъ, комендантъ Пванъ Кузьмичъ, дядька Савельичъ или чернецы въ литовской кормчѣ, — и въ этомъ умѣньѣ воскрешать именно подобныя бытовыя, обыденныя черты прошлаго, столь же трудно достижимомъ, какъ и правдивая передача характера историческихъ личностей, онъ остается до сихъ поръ законодателемъ для послѣдовавшаго поколѣнія нашихъ историческикъ романистовъ.

То-же художественное чутье, которое внушило Пушкину върное пониманіе многихъ сторонъ русской старины, сдълало изъ него, несмотря на все французское его воспитаніе, страстнаго цънителя русской народности.

Веселовскій.

Источники "Бориса Годунова".

Не можетъ подлежать спору, что "Исторія Государства Россійскаго" служила для Пушкина важнымъ пособіемъ при ознакомленін съ событіями русской исторіи 1598—1605 гг. Но не по одной лишь исторіи Карамзина изучалъ Пушкинъ время царя Бориса. "Карамзину, говоритъ поэтъ, слъдовалъ я въ свътломъ развитии происшествій; вт льтописях старался угадать образъ мыслей и языкъ тогдашияго времени". Въ то время когда работалъ Пушкинъ, было уже издано ивсколько памятниковъ, имфющихъ первостепенную важность при изученін смутной эпохи: такъ называемой Новый Лътописецъ, Житіе царя Өеодора Ивановича, составленное патріархомъ Іовомъ, Сказаніе Авраамія Палицына, Грамота объ избраніи Бориса Годунова. Много извъстій о времени Бориса и самозванца собрано было Пербатовымъ въ VII томъ его Исторіи Россійской. Присматриваясь къ трагедін Пушкина, мы найдемъ въ ней следы знакомства поэта съ такими известіями, которыхъ нътъ у Карамзина и которыя свидътельствують объ исторической начитанности автора "Бориса". Вотъ два причъра.

Богъ излюбилъ смиреніе царя, И Русь при немъ во славѣ безмятежной Утѣшилась, а въ часъ его кончины Свершилося неслыханное чудо: Къ его одру, царю едино зримый, Явился мужъ необычайно свѣтелъ, И началъ съ нимъ бесѣдовать Өеодоръ И называть великимъ патріархомъ... И всъ кругомъ объяты были страхомъ, Уразумъвъ небесное видънье, Зане святый владыка предъ царемъ Во храминъ тогда не находился.

У Карамзина (т. Х, примъч. 372) замъчено только: "Иншутъ, что онъ умирая видълъ ангела" и пр. Источникъ Пушкинскаго разсказа — жизнеописаніе царя Эеодора, составленное патр. Іовомъ: "Прежде пришествія патріархова видълъ пъкакова пришедша къ нему мужа свътла во святительскихъ одеждахъ и глаголеть благочестивый царь внезапу предстоящимъ бояромъ своимъ, повелъваетъ отступити отъ одра, его да устроять мъсто нъкоему, патріархомъ нарицая его... Они же глаголаша ему: благочестивый дарь и великій киязь Өеодоръ Ивановичъ всеа Русіи, кого, государь зриши и с кимъ глаголеши, еще бо отцу твоему Певу патріарху не пришедшу, кому повелъваени мъсто устроити? Онъ же отвъщавъ рече имъ: зрите ли, у одра моего предстоитъ мужъ свътелъ во одежди святительстъй, ити ми глаголя с собою повелъваетъ; они же чудишися на многъ часъ, царя убо единого зряще... мужа же не видяще, ни гласа его не слышаще и мижша воистину ангела Божія пришедша к пему и возвъщающа ему к Богу отшествіе".

Другой примъръ. Пушкинъ рисуетъ сцену, въ которой выступаетъ самозванецъ послъ пораженія при Съвскъ.

лъсъ.

Самозванецъ и Пушкинъ. (Въ отдаленіи лежить конь издыхающій).

Самозванецъ.

Мой бѣдный конь! какъ бодро поскакалъ Сегодня онъ въ послѣднее сраженье, II, раненый, какъ быстро песъ меня!... Мой бѣдный конь!

Пушкинъ (про себя).

Ну воть о чемь жалѣеть, Объ лошади, когда все наше войско Побито въ прахъ!

Самозванецъ.

Послушай, можеть быть, Отъ раны онъ лишь только заморился И отдохнеть.

> Пушкинъ. Куда! онъ издыхаетъ.

Самозванецъ (идеть къ коню).

Мой бѣдиый конь!... что дѣлать? снять узду, Да отстегнуть подиругу. Пусть на волѣ Издохнеть онъ. (Разнуздываеть и разсыдлываеть коня. Входять инсколько ляховъ.)

Основой этой картины послужило извъстіе, находящееся у Петрея и повторенное г. Миллеромъ и кн. Щербатовымъ.

"Г. Миллеръ, — замъчаетъ Щербатовъ, — послъдуя Петрею, говоритъ, что на семъ побонщъ лошадь подъ самимъ самозванцемъ была ранена, и онъ едва могъ спастися отъ плъненія". У Карамзина нътъ извъстія объ убитомъ конъ самозванца.

Я указываю на эти мелочи потому, что онв знакомять насъ съ той предварительной, черновой работой, которая скрывается за художественными картинами, развертывающимися передъ нами въ трагедіи Пушкина. Эта черновая работа не сводилась къ чтенію Исторіи Государства Россійскаго. Поэтъ, знакомый съ разнообразными извъстіями о Борист и самозванцт, могъ, напротивъ, свободно и самостоятельно отнестись къ разсказу Карамзина, могъ придавать только значеніе такимъ указаніямъ, которыя были отвергнуты историкомъ, могъ расходиться съ нимъ въ оцтнют тругихъ извъстій. Укажу опять два примтра.

Воть — Юрьевь день задумаль уничтожить, Невластны мы въ пом'єстіяхъ своихъ. Не см'єй согнать лівнивца, радъ не радъ Корми его! не см'єй переманить Работника! не то — въ приказъ холопій! Ну, слыхано ль хоть при царіз Иваніз Такое зло? А легче ли народу? Спроси его. Попробуй самозванецъ Имъ посулить старинный Юрьевъ день, Такъ и пойдетъ потіха.

Такъ говоритъ бояринъ Пушкинъ. Пзвъстно, что царь Борисъ въ 1601 г. возстановилъ, хотя и въ ограниченныхъ размърахъ, значеніе Юрьева дия. Сообщивъ содержавіе Борисова указа о крестьяпахъ, Карамзинъ замъчаетъ:

"Увъряютъ, что измънение устава древняго и нетвердость новаго, возбудивъ пегодованіе многихъ людей, имъли вліяніе и на отдетвенную судьбу Годунова; но сіе любопытное сказаніе историковъ XVIII вѣка не основано на извѣстіяхъ современниковъ, которые единогласно хвалятъ мудрость Бориса въ дълахъ государственныхъ". Подъ сказаніямъ XVII въка Карамзинъ разумъетъ извъстіе Татищева (повторенное и Щербатовымъ): "Сей законъ о вольности попрежнему крестьянъ онъ (Годуновъ) учинилъ противъ своего разсужденія... надъясь тъмъ ласканіемъ болъе духовнымъ п вельможамъ угодить и себя на престолъ утвердить, а роптаніе и многія тяжбы пресъчь; но вскоръ услыша большее о семъ негодование и ропотъ, что духовные и вельможи, им'вющіе множество пустыхъ земель, отъ малоземельныхъ дворянъ крестьянъ себъ перезвали, принужденг паки вскоръ перемънить и не токмо крестьянг, но и холопей невольными сдполаль: изъ чего великая бъда приключилась и большею частію чрезь то престоль съ жизнію всея свося фамиліи потеряль, а государство великое разореніе претерпъло". Пушкинъ не раздълялъ, какъ видно, недовърія Карамзина къ этимъ показаціямъ Татищева. Въ приведенной выше тирадъ поэтъ повторяетъ извъстіе историка XVIII въкаизвъстіе, отвергнутое Карамзинымъ.

Разсказывая о содъйствіи, которое оказывали самозванцу ивкоторые польскіе паны, Карамзинь говорить: "Главою и первымъ ревнителемь сего нодвига сдълался старецъ Миншекъ, коему старость не мѣшала быть ин честолюбивымъ ни легкомысленнымъ до безразсудности. Онъ имѣлъ юную дочь прелестиицу Марину, подобно ему честолюбивую и вѣтреную: Іжедимитрій, гостя у него въ Самборѣ, объявилг себя искренно или притворно страстивня ея любовникомъ и вскружилъ ей голову именемъ царевича; а гордый воевода съ радостію благословилъ сію взаимную склонность въ надеждѣ видѣть Россію у ногъ своей дочери, какъ наслѣдственную собственность его потомства". Пушкинская Марина совсѣмъ не похожа на эту вѣтреную прелестипцу Карамзина. Не самозванецъ кружитъ голову Пушкинской Маринѣ; Марина вскружила голову самозванцу: она умъла вырвать у него признаніе въ обманъ, она же заставила его забыть это признаніе...

Нѣтъ! легче мнѣ сражаться съ Годуновымъ Или хитрить съ придворнымъ езуитомъ, Чѣмъ съ женщиной. Чортъ съ ними; мочи нѣтъ: И путаетъ, и вьется, и ползетъ, Скользитъ изъ рукъ, шипитъ, грозитъ и жалитъ — Змѣя, змѣя!... Не даромъ я дрожалъ: Она меня чуть-чутъ не погубила. Но рѣшено: заутра двину ратъ.

Это признание самозванца, вся чудная сцена объяснения Димитрія и Марины — конечно, плодъ поэтическаго генія, а не историческихъ изученій, но нельзя все-таки не обратить вииманія на сходство Пушкинской Марины съ ея портретомъ. набросаннымъ въ "Краткой повъсти о бывшихъ въ Россіи самозванцахъ": "Сей Мнишекъ отъ второго своего брака съ княжною Софіею Олончинскою имълъ рожденную дщерь, именемъ Марину, дъву гордую, хитрую и дерзновенную, которая мня видъть въ Отрепьевъ закопнаго наслъдника россійскаго престола, желала его супругою быть, а и самъ Отреньевъ, какъ ради красоты, такъ для обычая сея дъвы, а наче надъяся сими неразрывными узами присоединить къ себъ два сильные въ Польшъ рода, т.-е. Мнишковъ и Вишневецкихъ. желаль сего супружества. Сокрытыя въ сердин илъ мысли вскоръ открылись, а отецъ Марининъ, воображая дочери своей великое щастіе въ семъ супружествъ, на сіе сонзволилъ и дочь свою сему самозванцу объщаль". Этоть безыскусственный разсказъ — точно бледный, грубый набросокъ той яркой. художественной законченной картины, которая открывается передъ нами въ сценъ у фонтана.

Приведенныя указанія не касаются еще существа діла, изображенія Бориса и его судьбы, но этихъ указаній достаточно, чтобы усомниться въ справедливости замізчанія о какой-то рабской зависимости Пушкина отъ Карамзина. Постараемся провіть эти сомніть сопоставленіемъ изображеніи Борисова царствованія, которыя находимъ у Карамзина и Пушкина.

Одинъ изъ любимыхъ литературныхъ пріемовъ Карамзина, какъ историческаго живописца, — рѣзкій переходъ отъ свѣта къ тѣин, отъ картинъ, полныхъ блеска и радости, къ карти-

памъ мрачнымъ и грустнымъ. Нигдъ эта любовь Карамзина къ историческимъ контрастамъ не выразилась такъ ярко, какъ въ разеказъ о царствованін Борнса Годупова. Въ 1 главъ XI тома Исторія Государства Россійскаго предъ нами рисуется величественная и трогательная картина, центромъ которой является излюбленный народомъ царь, вызывающій общіе восторги, распространяющій вокругь себя радость и счастье. 30 апръля 1598 г. новый царь появился въ Москвъ. "Сей день, замізчаеть историкь, принадлежить къ торжественныйшимъ днямъ Россін въ ея исторін. Въ часъ утра духовенство съ крестами и съ иконами, синклитъ, дворъ, приказы, воинство, всв граждане ждали царя у Каменнаго моста..." Прибывшій Борисъ "милостиво прив'єтствоваль всёхъ, и знатныхъ и незнатныхъ, представилъ имъ царицу, давно извъстную благочестіемъ и добродътелію искреннею, — девятильтияго сына и шестнадцатильнюю дочь, ангеловъ красоты. Слыша восклицанія народа: "Вы наши государи, мы ваши подданные". Өеодоръ и Ксенія вмъсть съ отцомъ ласкали чиновниковъ и гражданъ; такъ же, какъ и онъ, взявъ у нихъ хлъбъ соль, отвергнули золото, серебро и жемчугъ, поднесенные имъ въ даръ, и звали всъхъ объдать къ царю. Невозбранно тъснимый безчисленною толпою людей, Борисъ шелъ за духовенствомъ съ супругою и съ дътьми, какъ добрый отецъ семейства и народа, въ храмъ Успенія... Отслушавъ литургію, новый самодержецъ, провожаемый боярами, обходилъ всъ главныя церкви кремлевскія, вездѣ молился съ теплыми слезами, вездѣ слышалъ радостный крикъ гражданъ и, держа за руку своего юнаго наследника, а другою ведя прелестную Ксенію, вступиль съ супругою въ палаты царскія". Въ томъ же 1598 году Борисъ, услышавъ, о движеніи крымскаго хана, издаетъ указъ о сборѣ войска. "Сей указъ произвелъ удивительное дѣйствіе: не было ни ослушныхъ ни лънивыхъ; всъ дъти боярскія, юныя и престарълыя, охотно садились на коней; городскія и сельскія дружины безъ отдыха спѣшили къ мѣстамъ сборнымъ.. Видъли, чего не видали дотолъ: полмилліона войска, какъ увъряють, въ движеніи стройномъ, быстромъ съ усердіемъ несказаннымъ, и съ довъренностію безпредъльною... Псчезло самое мфетичество: воеводы спрашивали только, гдф имъ быть, и или къ своимъ знаменамъ, не справляясь съ разрядными кпигами о службъ отцовъ и дъдовъ". 1 сентября совершалось

царское вънчаніе Бориса. Среди богослуженія случилось пъчто неожиданное. Борисъ схватился за свою рубаху, готовый сбросить ее въ пользу неимущихъ; "отдать и сію послѣднюю народу", говориль онъ. "Тогда едиподушный восторгъ прерваль священнодъйствіе: слышны были только клики умиленія и благодарности въ храмъ; бояре славословили монарха, народъ плакалъ". Вы еще не успѣли налюбоваться этой картиной общаго счастія, какъ историкъ быстрымъ движеніемъ мѣняетъ стекло въ своемъ волшебномъ фонаръ. Открывается мрачная картина, на которой рисуются какіе-то призраки, мучащіе подозрительнаго и угрюмаго властителя. Борисъ окружаеть себя шпіонами, ищетъ какихъ-то измѣнниковъ, невинныхъ людей заключаеть въ тюрьму, отправляеть въ ссылку.

"Сонмы измѣниковъ, если не всегда награждаемыхъ, то всегда свободныхъ отъ наказанія за ложь и клевету, стремились къ царскимъ палатамъ изъ домовъ боярскихъ и хижинъ, изъ монастырей и церквей: слуги доносили на господъ, иноки, попы, дьячки, просвирницы на людей всякаго званія — самыя жены на мужей, самыя діти на отцовъ, къ ужасу человічества!" Что же было причиной такой перемьны въ царъ Борись? По взгляду Карамзина, искать эту причину въ ходъ событій того времени было бы излишне. Причина скрывалась въ самомъ Борисъ, въ его прошломъ. Всъ эти бояре, подозръваемые Борисомъ, были только "страшилищами для Борисова пзображенія". Россія желала "забыть убіеніе Димитрія или сомиввалась въ ономъ. Но вънцепосецъ зналъ свою танну и не имълъ утъщенія върить любви народной... Внутреннее безпокойство души, неизбъжное для преступника, обнаружилось въ царъ несчастными дъйствіями подозрѣнія, которое, тревожа его, скоро встревожило всю Россію". Изминился царь, изминились и отношенія народа къ царю. Навстръчу страшилищамъ Борисова воображенія подиялся изъ могилы грозный призракъ, который несъ гибель Борису и его семьъ. "Народы всегда благодарны: оставляя Небу судить тайну Борисова сердца, россіяне искренно славили царя, когда онъ подъ личиною добродътели казался имъ отцомъ народа, но, признавъ въ немъ тирана, естественно возненавидъли его и за настоящее и за минувшее: въ чемъ, можетъ-быть, хотъли сомивваться, въ томъ снова удостовфрились, и кровь Димитріева явиње означалась для нихъ на порфирф губителя невинныхъ"...

Появляется самозванець. "Никто изъ россіянъ до 1604 года не сомиввался въ убіеніи Димитрія, который возрасталь на глазахъ всего Углича, и коего видълъ весь Угличъ мертваго, въ теченіе пяти дней орошавъ его тъло слезами: слъдственно россіяне не могли благоразумно вършть воскресенію царевича; но они пе любили Бориса! Сіе несчастное расположеніе готовило ихъ быть жертвою обмана". Борисъ собираетъ войско. Но всъ его "мъры, угрозы и наказанія недъль въ шесть соединили до пятидесяти тысячъ всадниковъ въ Бряпскъ, вмъсто полмилліона, въ 1598 году ополченнаго призывнымъ словомъ царя, коего любила Россія".

Итакъ, въ 1604 г. Россія уже не любила Бориса; ранве, въ 1598 г., она напротивъ любила его. Но дъйствительно ли любила? Есть извъстія, что избраніе Бориса прошло не безъ противодъйствія некоторыхъ бояръ, что и въ народе это избраніе не встрътило искренняго восторга. Карамзинъ зналь, конечно, эти извъстія, но върный своему основному взгляду на судьбу Бориса, своему плану, дълившему царствованіе Годунова на двѣ не похожія одна на другую картины, онъ постарался обойти эти извъстія. Любопытно при этомъ сопоставить разсказъ Карамзина объ избраніи Бориса съ ифкоторыми примъчаніями, сопровождающими этотъ разсказъ. Въ текстъ исторіи (на основаніи свидътельства избирательной грамоты) говорится, что на избирательномъ соборъ указаніе на Бориса, сдъланное патріархомъ Іовомъ, встръчено было общимъ восторгомъ: "Усердіе обратилось въ восторгъ, и долго нельзя было ничего слышать, кромъ имени Борисова, громогласно повторяемаго всъмъ многочисленнымъ собраніемъ". Въ примъчанін (389) читаемъ: "Въ лътописи сказано (см. Никоновскую лът.), что одни Шуйскіе не хотполи Годунова на царство, однакожъ и Шуйскіе не противоръчили". Движеніе духовенства и народа къ Новодфвичьему монастырю, гдъ танлся Борисъ, изображается такъ: "Соборомъ отпъвъ литургію, патріархъ снова и тщетно убъждаль Бориса не отвергать короны, вельлъ нести иконы и кресты въ кельи царицы: такъ со всъми святителями и вельможами преклонилъ главу до земли... и въ это самое мгновеніе, по данному знаку, все безчисленное множество людей въ кельяхъ, въ оградъ, внъ монастыря, упало на колфии, съ воплемъ неслыханнымъ: всф требовали царя, отца, Бориса. Матери кинули на землю своихъ

грудныхъ младенцевъ и не слушали ихъ крика. Искренность побъждала притворство; вдохновеніе дъйствовало и на равнодушныхъ и на самыхъ лицемъровъ!" Въ примъчаніи (397): "Въ одномъ хронографъ сказано, что нъкоторые люди, боясь тогда не плакать притворно, мазали себъ глаза слюною!" Впечатлъніе, оставляемое этими извъстіями, нужно было во что бы то ни стало, если не уничтожить, то ослабить. Поэтому-то историкъ говорить объ искренности, побъждавшей притворство, о какомъ-то вдохновеніи, дъйствовавшемъ на равнодушныхъ и лицемъровъ. Необходимо было убъдить читателя, что на первыхъ порахъ Борисъ былъ дъйствительно народнымъ любимцемъ.

Обратимся къ драмѣ Пушкина. Стоитъ только прочитать первыя сцены Пушкинскаго Бориса,— сценку свиданія Шуйскаго и Воротынскаго и сценку народной сходки на Дѣвичьемъ полѣ, чтобы убѣдиться, что между разсказомъ историка и замысломъ поэта пютъ сходства. Трагедія Пушкина не укладывается въ ту рамку, которая охватываетъ царствованія Бориса въ Исторіи Государства Россійскаго.

Карамзинъ, упоминая о князьяхъ Рюриковичахъ, участвовавшихъ въ избраніи Годунова, говорить: "Туть паходились князья Рюрикова племени: Шуйскіе, Сицкіе, Воротынскій, Ростовскіе, Телятевскіе и столь многіе иные; но давно лишенные достопиства князей владѣтельныхъ, давно слуги московскихъ государей наравиѣ съ дѣтьми боярскими, они не дерзали мыслить о своемъ наслидственномъ правъ и спорить о коронѣ съ тѣмъ, кто безъ имени царскаго уже тринадцать лѣтъ единовластвовалъ въ Россіи; былъ хотя и потомокъ мурзы, но братомъ царицы". Читаемъ у Пушкина разговоръ Шуйскаго съ Воротынскимъ и узнаемъ, что Рюриковичи дерзали мыслить о своемъ правѣ. Шуйскій говоритъ:

Какан честь для насъ, для всей Руси! Вчерашній рабъ, татаринъ, зять Малюты, Зять палача и самъ въ душѣ палачъ— Возьметь вѣнецъ и бармы Мономаха...

Воротынскій.

Такъ; родомъ онъ не знатенъ; мы знативе.

Шуйскій.

Да, кажется.

Воротынскій.

Вѣдь Шуйскій, Воротынскій... Легко сказать, природные князья.

Шуйскій.

Природные и Рюриковой крови.

Воротынскій.

А слушай князь, вѣдь мы бъ имѣли право Наслѣдовать Өеодору.

Шуйскій.

Да, болъ

Чѣмъ Годуновъ.

Воротынскій.

Вёдь въ самомъ дёлё!

Шуйскій.

Что жь?
Когда Борись хитрить не перестанеть,
Давай народь искусно волновать,
Пускай они оставять Годунова,
Своихъ князей у нихъ довольно; пусть
Себъ въ царя любого изберутъ.

Этотъ разговоръ — художественное развитіе льтописнаго намека о князьяхъ Шуйскихъ, которые Бориса "не хотяху на царство, узнаху его, что быти отъ пего людемъ и себъ гоненію".

Воротынскій говорить:

Не мало насъ, наслѣдниковъ варяга, Да трудно намъ тягаться съ Годуновымъ: Народъ отвыкъ въ насъ видѣть древню отрасль Воинственныхъ властителей своихъ. Уже давно лишились мы удѣловъ, Давно царямъ подручниками служимъ, А онг умълг и страхомг, и любовью, И славою народг очароватъ.

Изъ сцены на Дъвичьемъ полъ мы узнаемъ, каково было это очарованіе народа.

Одинъ (тихо)

О чемъ тамъ плачутъ?

Другой.

А какъ намъ знать? То выдають бояре. Не намъ чета.

Воротынскій говорить объ очарованіи народа, а народь, оказывается, ссыдается на боярь. Картина народнаго моленья получаеть при этомъ видъ комической сцены:

Одинъ.

Всѣ плачуть — Заплачемъ, братъ, и мы!

Другой.

Я силюсь, брать,

Да не могу.

Одинъ.

Я также. Нѣтъ ли луку? Потремъ глаза.

Другой.

А я слюной намажу. Что тамъ еще?

Первый.

Да кто ихъ разбереть!

Эти ръчи — воспроизведение того извъстия, которое Карамзинъ спряталъ, какъ мы видъли, въ одномъ изъ примъчаний: "Въ одномъ хронографъ сказано, что нъкоторые люди, боясь тогда не плакать, но не умъя плакать притворно, мазали себъ глаза слюною". Любопытно, что не забылъ поэтъ и другой подробности, отмъченной историкомъ: "матери кинули на землю своихъ грудныхъ младенцевъ и не слушали ихъ крича".

, У Пушкина:

Баба (съ ребенкомъ).

Ну, что жъ? Какъ надо плакать,
Такъ и затихъ! Воть я тебя!.. воть бука!
Плачь, баловень! (Бросаеть его оземь; ребенокъ пищить).

"Ну, то-то же!

Какъ подготовлялось избраніе Годунова въ цари, поэтъ не выясняеть: остается лишь общее впечатлъніе ловко веденной интриги, завершавшейся появленіемъ на столъ московскихъ

царей "вчерашняго раба". Пушкина, очевидно, интересовало не самое избраніе, а отношеніе къ новому царю боярства и народа. Отношеніе боярства достаточно опредъляется словами Шуйскаго: "Давай народъ искусно волновать!" Что касается народа, то не видно пока его вражды къ Борису, но не видно и живого, дъятельнаго сочувствія. Случайно собравшаяся толпа, которая должна представлять народъ, выкрикиваетъ то, что ей показано, и сама же подсмъивается надъ своими восторгами. "Царь, коего любила Россія", такъ называетъ Карамзинъ Бориса, изображая первую пору его царствованія. Нътъ, это не излюбленный землей, не земскій царь, скажемъ мы, прочитавъ первыя сцены Пушкинской драмы.

Но вотъ появляется передъ нами и самъ новоизбранный царь. Онъ говоритъ красивую рѣчь, въ которой обращается къ патріарху, боярству, народу:

Ты, отче патріархь, вы всѣ, бояре!
Обнажена душа моя передъ вами:
Вы видѣли, что я пріемлю власть
Великую со страхомъ и смиреньемъ...
Сколь тяжела обязанность моя!
Наслѣдую могучимъ Іоаннамъ,
Наслѣдую и ангелу-царю!..
О праведникъ, о мой отецъ державный!
Воззри съ небесъ на слезы вѣрныхъ слугъ
И ниспошли тому, кого любилъ ты,
Кого ты здѣсь столь дивно возвеличилъ,
Священное на власть благословенье,
Да правлю я во славѣ свой народъ,
Да буду благъ и праведенъ, какъ ты.

Мы не знаемъ, искрення или лжива эта рѣчь; говоритъ ли передъ нами дѣйствительно растроганный человѣкъ, или ловкій лицемѣръ; намъ ясно лишь то, что это — рѣчь заблуждающагося человѣка. Если Борисъ думаетъ обмануть своихъ слушателей, то тотъ, кто подслушалъ разговоръ Шуйскаго съ Воротынскимъ, народные толки на Дѣвичьемъ полѣ, скажетъ, что обманывающимся является при этомъ онъ самъ, этотъ искусный лицемѣръ. Если же Борисъ не лицемѣръ, если онъ искренно говоритъ о себѣ, какъ о народномъ избранникѣ, то заблужденіе его выступаетъ еще ярче!... Поэтому-то рѣчь царя, полная мира и любви, полная такихъ свѣтлыхъ

надеждъ, оставляетъ въ насъ тяжелое и тревожное впечатлъніе.

Царь говорить:

Да правлю я во славѣ свой народъ, Да буду благъ и праведенъ...

А намъ слышатся въ это время злобныя рѣчи Шуйскаго, слышится смѣхъ народной толпы...

Великій обманъ, — таково общее впечатльніе, оставляемое въ насъ и сценой, гдь выступають бояре, и сценой, гдь дыйствуеть народъ, и рычью царя. Но выдь обманъ раскроется же когда-инбудь, онъ не можеть не раскрыться: сымя лжи, посыяпное самимъ избраніемъ Бориса, рано или поздно взойдеть... Послы рычи Бориса Шуйскій и Воротынскій обмыньваются коротенькими фразами, намекающими на ихъ прежній разговоръ.

Воротынскій,

Ты угадаль.

Шуйскій.

А что?

Воротынскій.

Да здѣсь, намедни, Ты помнишь?

Шуйскій.

Нѣтъ, не помню ничего.

Воротынскій.

Когда народъ ходилъ въ Дѣвичье поле, Ты говорилъ.

Шуйскій.

Теперь не время помнить; Совътую порой и забывать.

Теперь не время помнить... Но когда-нибудь, быть можеть, и настанеть время вспомнить.

Проходить пять льть посль избранія Бориса въ цари. Появляется самозванець, выдающій себя за царевича Дмитрія. "Мньніе м. Платона о Дмитріи Самозванць", говорить Пушкинь, "будто бы воспитань у езуптовь, удивительно дьтское и романическое. Всякій былг поденг, чтобг разыпраты эту роль".

Говоря такъ, поэтъ даетъ попять, что успъхъ самозванца обезпеченъ былъ, по его мивнію, не личностью мииматс Дмитрія, а обстоятельствами того времени, суммой условій, воспитавшихъ и поддерживавшихъ самозванство. Условія эти указаны тъмъ "злымъ чернецомъ", въ разговорѣ съ которымъ опредъляется планъ Отрепьева:

Чернецъ.

Слушай. Глупый нашъ народъ
Легковъренъ, радъ дивиться чудесамъ и новизнъ,
А бояре въ Годуновъ помнятъ равнаго себъ.
Племя древияго варяга и теперь любезио всъмъ.
Ты царевичу ровесникъ... Если ты хитеръ и твердъ...
Понимаешь?

Григорій.

Понимаю.

Чернецъ.

Что же скажешь?

Григорій.

Ръшено! Я Дмитрій, я царевичъ!

Чернецъ.

Дай мив руку; будешь царь!

О народъ говоритъ и царь:

Я думаль свой народь
Въ довольствін; во славѣ успоконть,
Щедротами любовь его снискать—
Но отложиль пустое попеченье:
Живая власть для черни ненавистна.
Они любить умѣютъ только мертвыхъ.
Безумны мы, когда народный плескъ
Иль ярый вопль тревожить сердце наше.

Мы видъли народную толпу, выкликавшую имя Вориса; въ этой толпъ не видно было любви къ Борису, но не было и открытаго нерасположенія къ нему. Теперь мы узнаемъ, что народное настроеніе успъло выясниться и опредълиться,— выясниться не въ пользу Бориса. Призракъ народнаго избранничества разсъялся. Борисъ увидълъ передъ собой народъ, готовый върить всякой сплетиъ, всякой клеветъ, если только эта клевета касалась его, Бориса. Но откуда шли эти дурные толки о Борисъ, и отчего народъ такъ охотно имъ върилъ?

Отвътъ даетъ сцена въ домъ Шуйскаго. — Въ Москву приходитъ въсть о самозванцъ. Кто принесъ эту въсть? Кто первый узналъ о самозванцъ? Въсть сообщена въ письмъ Гаврилы Пушкина, московскаго боярина, перебравшагося въ Литву. Гонецъ передаетъ письмо Гаврилы его дядъ, а тотъ сообщаетъ затъйливую новость Шуйскому... Шуйскій сразу оцънилъ значеніе литовской въсти:

Все это, брать, такая кутерьма, Что голова кругомъ пойдеть невольно. Сомнѣнья нѣть, что это самозванецъ, Но, признаюсь, опасность не мала. Вѣсть важная! и если до народа Она дойдетъ, то быть грозѣ великой!

Пушкинъ развиваетъ мысль Шуйскаго:

Такой грозъ, что врядъ царю Борису
Сдержать вънецъ на умной головъ.
И по дъломъ ему: онъ правитъ нами,
Какъ царь Иванъ (не къ ночи будь помянутъ).
Что пользы въ томъ, что явныхъ казней нътъ,
Что на колу кровавомъ всенародно
Мы не поемъ каноновъ Іисусу,
Что насъ не жгутъ на площади, а царь
Своимъ жезломъ не подгребаетъ углей?
Увърены ль мы въ бъдной жизни нашей!
Насъ каждый день опала ожидаетъ,
Тюрьма, Сибирь, клобукъ, иль кандалы,
А тамъ въ глуши голодна смерть, иль петля.

Въ этомъ разговоръ Шуйскаго съ Пушкинымъ намъ слышится что-то знакомое. Мы припоминаемъ разговоръ Шуйскаго съ Воротынскимъ передъ избраніемъ Бориса. И тамъ и здѣсь появляется передъ нами ки. Василій Шуйскій, несомнѣнный врагъ Годунова, но врагъ тайный, умѣющій быть скрытнымъ; онъ бросаетъ лишь кое-какіе намеки, развивать которые представляетъ другимъ — Воротынскому, Пушкину. Въ пересудахъ этихъ бояръ обрисовывается передъ нами среда, съ давнихъ поръ враждебная Борису, но чувствовавшая себя недостаточно сильной для открытаго протеста.

Не мало насъ, наслѣдниковъ варяга, Да трудно намъ тягаться съ Годуновымъ: Народъ отвыкъ въ насъ видѣть древню отрасль Воинственныхъ властителей своихъ... А онъ умѣлъ и страхомъ, и любовью, И славою народъ очаровать.

Теперь, когда истинныя отношенія народа къ Борису успъли достаточно выясниться, объ очарованіи народа не могло быть и ръчи:

... А легче ли народу? Спроси его. Попробуй Самозванецъ Имъ посулить старинный Юрьевъ депь, Такъ и пойдетъ потѣха.

Мы догадываемся теперь, какъ слагались и расходились дурные толки о Борисъ. Толки эти росли и зръли на почвъ боярскаго и народнаго недовольства. На эту же почву попадаетъ и въсть о Самозванцъ. Въсть, очевидно, не заглохнетъ. Быть грозъ великой...

Событія развертываются быстро. Около Самозванца собирается толпа русскихъ и поляковъ, одушевляемая надеждой на личную выгоду въ случать успта претендента. Григорій, подстрекаемый этой толпой, въ ряды которой замѣшалась красавица Марина, объявляетъ открытую борьбу московскому царю:

Самозванецъ.

Кровь русская, о Курбскій потечеть! Вы за царя подъяли мечь, вы чисты; Я жъ васъ веду на братьевъ; я литву Позваль на Русь; я въ красную Москву Кажу врагамъ завѣтную дорогу! Но пусть мой грѣхъ падетъ не на меня, А на тебя, Борисъ-цареубійца! Впередъ!

Курбскій.

Впередъ! и горе Годунову! (Скачутг. Поляки переходять иерезь границу.)

Если бы мы не знали, чѣмъ былъ силенъ Самозванецъ, эти слова показались бы намъ крикомъ безумца. Такъ именно и посмотрѣлъ на угрозы Самозванца царь Борисъ:

Возможно ли? Растрига, бѣглый инокъ На насъ ведетъ злодѣйскія дружины, Дерзаетъ намъ писать угрозы! Полно, Пора смирить безумца! Поѣзжайте, Ты, Трубецкой, и ты, Басмановъ; помощь Нужна моимъ усерднымъ восводамъ: Бунтовщикомъ Черниговъ осажденъ. Спасайте градъ и гражданъ.

Басмановъ отвъчаетъ:

Государь,
Трехъ мѣсяцевъ отнынѣ не пройдетъ,
И замолчитъ и слухъ о Самозванцѣ;
Его въ Москву мы привеземъ, какъ звѣря
Заморскаго, въ желѣзной клѣткѣ; Богомъ
Тебѣ клянусь.

Но немного прошло времени, и царь убъдился, что справиться съ мнимымъ Дмитріемъ не такъ легко. Царскія войска разбили Самозванца подъ Съвскомъ, но въсть объ этой побъдъ не радуютъ Бориса:

Онъ побъжденъ. Какая польза въ томъ? Мы тщетно побъдой увънчались. Онъ вновь собралъ разсъянное войско П намъ со стънъ Путивля угрожаетъ...

Московскій царь, располагавшій всёми средствами государственной силы, чувствуєть себя безпомощнымь передъ какимъ-то бродягой, окруженнымь паскоро собравшейся толной! Такую толпу не трудно было бы разогнать, по за ней, очевидно, стояла какая-то другая сила...

"Николку маленькія дѣти обижають, — жалуется Борису юродивый. — Вели ихъ зарѣзать, какъ зарѣзалъ ты маленькаго царевича". — "Молись за меня, бѣдный Николка!" говорить царь. — "Нѣтъ, нѣтъ! Нельзя молиться за царя Прода: Богородица не велитъ". — Вотъ какія рѣчи пришлось выслушать Борису! Царь понималъ, что юродивый говорилъ лишь то, о чемъ молча думали другіе...

Борису нужно теперь выдерживать двойную борьбу: одна борьба идеть на украйнъ государства, подъ Путивлемъ, Съвскомъ, Кромами; другая — въ сердцъ государства, въ Москвъ на площадяхъ московскихъ. На украйнъ царскія войска бьются съ Самозванцемъ; въ Москвъ царь борется съ землей. Изъпервой борьбы Борисъ могъ выйти побъдителемъ, но гдъ найдеть онъ силы для другой, земской борьбы?

Царь объявляетъ Басманову, что онъ недоволенъ своими воеводами:

Нѣтъ, я ими недоволенъ — Пошлю тебя начальствовать надъ ними, Не родъ, а умъ поставлю въ воеводы, Пускай ихъ спесь о мѣстинчествѣ тужитъ! Пора презрѣть мнѣ ропотъ знатной черии И гибельный обычай уничтожить.

Басмановъ.

Ахъ, государь, стократъ благословенъ Тотъ будетъ день, когда разрядны книги Съ раздорами, съ гордыней родословной Пожретъ огонь.

Царь.

День этоть недалекь; Лишь дай сперва смятеніе народа Миж усмирить.

Итакъ, для успѣха въ борьбѣ съ Самозванцемъ нужно прежде всего "презрѣть ропотъ знатной черни", нужно уничтожить гибельный обычай мѣстничества. Оказывается, однако, что теперь, когда эта мѣра необходима, осуществить ее нельзя "дай сперва смятеніе народа мнѣ усмирить". Борисъ попадаетъ въ какой-то волшебный кругъ. Самозванецъ не ждетъ, а Борису нужно еще смятеніе народа усмирить, а затѣмъ гибельный обычай уничтожить.

У Бориса, правда, остается одна надежда. Онъ ласкаетъ Басманова, аппеллируетъ къ чувству личнаго честолюбія, — честолюбія, не оппрающагося ин на родовую гордость ин на земское довъріе. И вотъ, точно отвътъ на царскій призывъ, поднимается въ душъ Басманова властолюбивая мечта:

Мысль важная въ умѣ его родилась. Не надобно ей дать остыть. Какое Мнѣ поприще откроется, когда Онъ сломить рогь боярству родовому! Соперниковъ во брани я не знаю; У царскаго престола стану первый... И можетъ-быть...

Можетъ-быть, и замъщу Бориса... Царь самъ подсказалъ заговоръ.

Водшебный кругъ, обведенный судьбой вокругъ Бориса, замкнулся безысходно. Судьба можетъ оказать лишь одну милость несчастному царю, — предупредить позоръ развѣнчиванья, потери власти. Борису не пришлось, дѣйствительно, склонить голову передъ "разстригой". Онъ умираетъ. Но эта смерть только начало конца. Мы должны еще увидѣть, какъ со смертью Бориса гибнетъ дѣло всей его жизни, гибнетъ его царственное наслѣдство.

Только что Борисъ закрылъ глаза, Басмановъ, съ которымъ такъ откровенно бесъдовалъ Борисъ, на котораго онъ воздагалъ столько надеждъ, переходитъ на сторону Самозванца. На московской площади раздается крикъ:

> Народъ! народъ! въ Кремль! въ царскія палаты! Ступай визать Борисова щенка!

> > Народъ (несется толпою).

Вязать! топпть! Да здравствуеть Димитрій! Да гибнеть родъ Бориса Годунова!

Этимъ могла бы закончиться драма. Мы узнали судьбу Бориса до конца. Но поэтъ даетъ еще одну заключительную сцену. Марія и Өедоръ Годуновы убиты сторонниками Самозванца. Мосальскій объявляеть: "Народъ! Марія Годунова и сынъ ея Өедоръ отравили себя ядомъ. Мы видъли мертвые трупы". — "Народа ва умсаст молчита". — Что жъ вы молчите? — Прододжаетъ Мосальскій. — Кричите: да здравствуетъ царь Дмитрій Ивановичь!" "Народз безмолствуетз". Извъстно, что первоначальное заключение пьесы было иное. Въ рукописи пьеса оканчивается народнымъ возгласомъ: "Да здравствуетъ царь Дмитрій Пвановичь!" На какомъ бы изъ этихъ двухъ варіантовъ мы ни остановились, сущность дёла не мъняется. Крикъ народа, который передъ тъмъ "въ ужасъ молчалъ", не указываетъ, конечно, на перемвну настроенія народной массы; за этимъ вынужденнымъ крикомъ кроется все тотъ же ужасъ, на который указываетъ и народное безмолвіе. Этотъ ужасъ, это безмолвіе - нёмой приговоръ Самозванцу.

Борисъ погибъ, но не обманъ, не призракъ, не Самозванецъ погубили его. Обманъ имѣлъ успѣхъ лишь какъ орудіе той грозной силы, съ которой не поладилъ Годуновъ. Самозванство названнаго Дмитрія, по взгляду Пушкина, было ясно для всѣхъ. Илѣнникъ на вопросъ Отрепьева:

Ну! обо мить какъ судять въ вашемъ станть? отвъчаеть:

А говорять о милости твоей Что ты, дескать (будь не во гиѣвъ), и воръ, А молодецъ.

Пушкинъ говоритъ Басманову:

Россія и Литва Димитріемъ давно его признали; Но, впрочемъ, я за это не стою: Быть можеть, онъ Димптрій настоящій, Быть можеть, онъ и самозванець; только Я вѣдаю, что рано или поздно Ему Москву уступить сынъ Борисовъ.

Такой ветмъ ясный обманъ могъ удаваться, пока была налицо причина, вызвавшая и поддерживавшая этотъ обманъ. Теперь Годунова не стало, его сынъ лишенъ престола. Самозванецъ сыгралъ свою роль. Раньше или позже опъ долженъ удалиться съ исторической сцены, снявъ свой театральный костюмъ, захваченный изъ казны московскихъ государей. Убійство, совершенное рьяными сторонниками Самозванца, не замедлило обнаружить истинное народное настроеніе, скры-. вавшееся за кажущимся успъхомъ мнимаго Дмитрія. "Народъ въ ужасъ молчитъ". Это молчание могло быть прервано развъ ръчью какого-нибудь юродиваго, который напомииль бы новому царю объ убійствт Борисова сына, какъ напоминалъ онъ Борису о гибели Дмитрія... Приговоръ надъ Самозванцемъ уже составленъ. Наступитъ день, приговоръ войдетъ въ законную силу и будетъ объявленъ въ окончательной Ждановг. формв.

Содержаніе и планъ "Бориса Годунова".

Пушкинъ не далъ этому драматическому произведенію никакого родового названія; въ немъ ніть разділенія на акты, и сцены безпрерывно следують одна за другою; место действія также безпрерывно міняется; время же діпствія обинмаеть собою цълые годы. Если эти вившности, изъ которыхъ только первая можетъ показаться необыкновенною, заставляли самого поэта сомнъваться, точно ли его произвдееніе можеть быть названо трагедіей, то это, однакожъ, ни минуты не должно приводить насъ въ раздумье -- дать ему это названіе. Единство дъйствія вездъ строго сохранено и органически связуетъ части въ одно цълое. Планъ, ходъ и развитіе истиннодраматическія; впечатлівніе, производимое цілымъ, также иміетъ совершенно драматическій характеръ. Вившній объемъ равняется мъръ обыкновенныхъ пяти актовъ, - и нисколько не было бы трудно, если бъ только это было нужно, распредълить эти пять актовъ для представленія на сценъ. Но создамормы, какія имѣютъ историческія драмы Шекспира и Гётевы "Гёцъ Берихингенскій" и "Эгмонть"; оно по своему духу, по идеѣ и внутренней формѣ близко къ созданіямъ этихъ геніевъ. Мы дѣлаемъ особенное удареніе на словѣ "драма" въ приложеніи къ Борису Годунову именно потому, что толпа очень обыкновенно и очень охотно не признаетъ того права, которое не выступаетъ открыто. Не признаетъ произведенія Пушкина драмою потому только, что онъ самъ не называетъ его такъ, было бы нисколько не лучше того, какъ и отрицать у Гёте искусство изящно писать по-нѣмецки; вѣдь Гёте сказалъ же гдѣ-то, что онъ не мастеръ писать по-нѣмецки. Такая скромность почти всегда бываетъ опасиа, потому что толпа охотнѣе и больше вѣритъ словамъ, нежели дѣлу.

Матеріалъ драмы заимствованъ изъ русской исторіи, изъ самаго тревожнаго, изъ самаго богатаго событіями періода, періода, въ который является Лжедимитрій. Но не онъ, не Лжедимитрій, какъ въ посмертномъ, неоконченномъ произведенін Шиллера, является героемъ трагедін, а какъ уже показываетъ заглавіе, Борисъ Годуновъ, который въ то время возебдалъ на русскомъ престолъ. По смерти Іоанна Грознаго ему наследоваль въ царской власти старшій сынь его Өедөрь; но эта власть вся сосредоточилась въ рукахъ его боярина (министра) Бориса Годунова, который даль царю въ супружество свою сестру. Димитрій, младшій сынъ царя Іоанна Грознаго, воснитывался въ монастыръ, находившемся въ небольшомъ городъ Угличъ, тамъ едва имъя восемъ лътъ отъ роду, онъ былъ умерщвленъ убійцами, которые, какъ носились темные тайные слухи, превратившіеся впоследствін въ утвердительный общій голось, были посланы Борисомъ. По четырнадцати-лътнемъ царствованін Өедоръ умираеть, его единственная дочь скончалась еще прежде него, и на упраздненный тронъ восходить Борисъ Годуновъ, который не вдругь принялъ корону, а сначала отказывался отъ нея для того, чтобы тъмъ побудить бояръ и народъ еще сильнъе, еще настойчивъе упрашивать его на царство.

Первая сцену, между двумя князьями, Шуйскимъ и Воротынскимъ, даетъ намъ знать соминтельное положение дълъ, тревожный безпорядокъ государства, желание народа, отречение Годунова. — отречение, которымъ Годуновъ, какъ ду-

маетъ Шуйскій, только играеть: иначе зачімъ же была пролита кровь юнаго Димитрія? Шуйскій самъ, по извъстіи о смерти царевича, былъ посланъ отъ двора въ Угличъ изследовать на мъстъ дъло, и его разысканія не оставили въ немъ ни мальйшаго сомивнія въ родь и виновникь смерти; по истина не могла быть тогда гласною точно такъ же, какъ и теперь. Оба князя не скрывають другь отъ друга своей пепависти къ Борису и потакають своимъ собственнымъ честолюбивымъ видамъ. Между тъмъ народъ волнуется, не умолкая требуетъ ръшенія. Борись принимаеть, наконець, вънець; патріархъ и бояре присягають ему, между ними Воротынскій и Шуйскій, изъ которыхъ последній отпирается уже отъ словъ своихъ, незадолго имъ говоренныхъ. Это введеніе немногими мощными очерками ставить насъ въ самую средину событій, опредъляеть характеръ людей и заставляеть ждать чего-то великаго. Драматическое изложеніе, въ высшей степени мастерское, отличается сжатостью и ясностью, богатствомъ и быстротою.

Пять льть спустя открывается новая сцена — въ Чудовомъ монастыръ, въ Москвъ. Старый монахъ пишетъ при ночномъ свътильникъ въ своей кельъ лътопись своего времени; въ его же кельъ молодой послушникъ, Григорій Отрепьевъ, спить и видить чудный сонь величія и позора; проснувшись, онъ разсказываетъ его монаху. Пименъ успоконваетъ его, восхваляетъ мирную мопастырскую жизнь и горько сожалъетъ о томъ времени, въ которое убійца занимаетъ престолъ. Юный Григорій жадно слушаеть разсказь о всёхъ обстоятельствахъ Димитріевой смерти въ Угличъ. Что царевичъ быль умерщвлень по приказу Годунова, — это является несомнъннымъ: царевичъ имъль бы теперь девятнадцать лътъ, быль бы ровесникомъ Григорію, въ душу котораго запала мысль, развивавшаяся впоследствін. Эта сцена также ведена рукою великаго мастера; ея характеристическая истина, ея сила — поразительны. Григорій убъгаеть изъ монастыря и оставляеть записку, въ которой объявляеть, что онъ будеть царемъ въ Москвъ; за бъглецомъ отправляютъ погоню. Онъ спасся въ решительную минуту, когда уже почти совсемъ погибаль, присутствіемь духа и мужествомь, которые счастливо раскрываются въ немъ въ началъ его преступнаго предпріятія. Онъ пробирается въ Польшу, находить тамъ

себъ приверженцевъ и вооружается на походъ въ Россію. При царскомъ дворъ Шуйскій получаеть это извъстіе черезъ Аванасія Пушкина, который, въ свою очередь, получиль его изъ Кракова отъ своего племянника, Гавриды Пупікина. Эти предки поэта непроизвольно примъшаны имъ; они — дъйствительныя, историческія лица, являющіяся въ своемъ истинномъ видъ. Это важная, великая новость обсужена обоими боярами; образъ ихъ митий враждебенъ царю. Царь, страшный п жестокій, когда надобно опасаться за корону, является во всемъ прочемъ умнымъ и добрымъ властителемъ, всеми силами заботится о благъ государства и старается изъ своего сына Өедора образовать достойнаго себъ преемийка. Въ то время, когда онъ разсматриваетъ съ нимъ карту Россіи и заставляеть его объяснить ее себъ, Шуйскій приносить ему извъстіе о появленін въ Польшъ мнимаго Димитрія п объ его приготовленіяхъ къ походу; царь смущенъ и встревоженъ, онъ повелъваетъ бдительно сторожить польскую границу и горько жалуется на свою нечистую совъсть, на тяжесть властительскаго жребія.

Лжедимитрій привлекаеть къ себъ нъсколько человъкъ русскихъ: Гаврила Пушкинъ и юный князь Курбскій пристаютъ къ нему; но главная его опора — поляки, которымъ онъ объщаетъ ввести въ Россію латинскую Церковь. Мало того, полячка должна раздёлить съ нимъ престолъ, прекрасная Марина, дочь воеводы Миншека. Сцена ихъ тайнаго свиданія выше всёхъ похваль. Здёсь Пушкинь равняется съ величайшими поэтами міра. Изъ глубочайшаго, чиствишаго источника почерпнута эта сцена: отважный самозванецъ, умъвшій обмануть вельможъ и цёлый народъ, добровольно открывается передъ любимой дъвушкой обманщикомъ и хочетъ, чтобы она любила въ немъ, того, кто онъ есть дъйствительно. Но любовь его сердца не находить себъ отзыва: Марина соглашается на обманъ только на томъ условін, что онъ увънчается достиженіемъ трона. Новый толчокъ стремленію самозванца! Вся эта сцена проникнута огнемъ могущественной страсти, сердечною, искреннею преданностію и гордымъ честолюбіемъ.

Событія быстро бѣгутъ одно за другимъ. Лжедимитрій съ войскомъ вступаетъ въ Россію. Борисъ Годуповъ держитъ совѣщаніе въ боярской думѣ. Патріахъ въ благоуханной рѣчи совѣтуетъ торжественно перенести изъ Углича въ Москву чудотворные останки Димитрія, — народъ познаетъ тогда ясно, что его уже нѣтъ въ живыхъ. Шуйскій возражаетъ тѣмъ, что эта торжественная церемонія возбудитъ еще большее волиеніе въ народѣ. Все эго только увеличиваетъ внутрениюю тревогу царя, который, однакожъ, не забываетъ подумать о нужныхъ распоряженіяхъ къ войнѣ.

II дъйствительно, войска Лжедимитрія, несмотря на личную его храбрость, разбиты полководцами Годунова; но побъда на поль битвы уже ничего не ръшаеть больше: народы отпадають, города отворяють ворота, войска передаются новому государю.

Тревожимый извив, потрясаемый внутри, царь внезапно забольль и, предчувствуя свой конець, изъявляеть желаніе наединь поговорить съ сыномь. Не скрывая отъ сына злодьянія, которымь достигь престола, онъ утвшается тымь, что сынь, насльдуя отцовскій престоль, не насльдуеть отцовскаго грыха. Ныжныйшія отеческія заботы, глубочайшая царственная мудрость высказываются въ прощальныхъ словахъ Годунова. Онъ передаеть корону сыну; бояре клянутся юному царю въ вырности, и Борись умираеть.

Ажедимитрій, когда предался ему полководецъ Басмановъ, пачальствовавшій войсками Өедора и обольщенный Гаврилой Пушкинымъ, окончательно восторжествоваль; рѣчь послѣдняго, произнесенная на площади, привлекаетъ къ самозванцу народъ московскій, и Димитрій превозглашенъ царемъ. Дѣти Годунова, юный свергнутый царь Өедоръ и сестра его Ксенія, показываются за рѣшетчатымъ окномъ своей темницы; народъ изъявляетъ нѣкоторое сожалѣніе о нихъ, но это сожалѣніе только ускоряетъ ихъ смерть: четыре боярина проникаютъ въ темницу, слышенъ крикъ, выходитъ бояринъ Мосальскій и объявляетъ, что узники отравили сами себя ядомъ. "Что же вы молчите?" восклицаетъ онъ народу: "кричите: да здравствуетъ царь Димитрій Іоанновичъ!" Народъ безмолвствуетъ...

Такъ заключается драма, заключается величественный впечатльніемъ, въ которомъ сосредоточивается вся сила совершившагося и въ которомъ таится предчувствіе новой Немезиды для новаго преступленія. Поэтъ разоблачиль передъ нашими взорами міровую судьбу. Борисъ, способный и достойный царствовать, достигаетъ престола преступленіемъ и торжествуетъ надъ утратившимъ силу правомъ; тщегно надъется онъ пре-

вратить свои достоинства и заслуги въ право и злопріобрътенное передать любимому сыну какъ честное наслъдство. Изъ самаго преступленія развивается месть; но не истина, не право низвергаеть его, а новый обмань, который ясень ему самому, какъ обманъ. Поддъльный видъ права уже достаточно спленъ для того, чтобы уничтожить злоприсвоенное владычество. Исторія не всегда такъ свершаеть свой судъ; наши глаза часто едва-едва могутъ слъдить по рядамъ стольтій за Немезидою; но тъ моменты исторіи, въ которыхъ судъ свершается такъ же быстро и такъ же явственно, какъ здъсь, они-то и заключаютъ въ себъ то, что мы зовемъ трагическимъ. Катастрофа Бориса Годунова, которую поэтъ имълъ полное право отодвинуть за кончину самого Бориса до ръшительной гибели всего царскаго рода, сама собою переплетается съ судьбою Лжедимитрія; но изъ этихъ двухъ трагическихъ вътвей явственно преобладаетъ первая, какъ большей опредъленностью, такъ и большимъ обиліемъ содержанія, — и выборъ Пушкина доказываеть всю глубокость его генія, который быль притомъ столько могуществень, столько богать, что смогь изобразить во всемь достоинствъ и второго представившагося ему героя.

Распредъление сценъ, на которыя распадается вещество драмы и діалогъ, можно назвать въ высшей степени мастерскимъ. Поэтъ строго держится исторіи, но это нисколько не мішаетъ ему вездъ удерживать въ виду его драматическую задачу. Это произведение имъетъ большие исторические пробълы и ни одного драматическаго; противоположности, которыя безъ всякой натяжки, безъ всякаго искусничанья, выходять изъ самаго дъла, въ строгой діалектикъ смъняются и поборають другь друга; участіе и интересъ ни на минуту не охлаждаются во все продолженіе развитія до конца. Обрисовка характеровъ столь же зръла, сколько разнообразна; первымъ появленіемъ, первыми словами лица живо обозначены и твердо поставлены. Властитель, бояре, духовенство, народъ — всѣ являются въ ихъ дѣйствительномъ различін; кисть художника равно сильна, равно върна въ прображении какъ многоличнаго народа, такъ царя и патріарха, какъ католическаго, такъ и греческаго мопаха, какъ честолюбивой полячки, такъ и кроткой дарской дочери; нылкое геронетво, осторожная политика, иламенная страсть. священное безстрастіе и простота — все является въ своемь нетинномъ видь, все выговариваетъ свое сокровенивйшее.

отличительнайшее существо. Это разнообразіе, въ которомъкаждый образъ является характеристически отдъльнымъ, есть существенный признакъ драматическаго поэта; мы еще больше будемъ удивляться драматической силъ генія Пушкина, если примемъ въ соображение тъ малыя, ничтожныя средства, которыми они достигають своихь целей. Здесь Пушкинь является мастеромъ перваго разряда: все у него сжато и ярко, опредъленно и быстро, ничего лишняго, ничего растянутаго; нигдъ поэтъ не вдается въ заманчивыя отступленія, которыя такъ часто врываются въ драматическія произведенія и думаютъ оправдать себя названіемъ лирическихъ мѣстъ. Точно такъ же равномърность десяти и одиннадцатисложнаго (шестистопнаго) ямбическаго стиха, управляемаго искушенною рукою мастера, нигдъ не прерывается лирическими строфами, а иногда переходить, - гдв говорить народь, - въ безыскусственную простую прозу.

Для русскихъ трагедія Нушкина имбетъ еще то преимущество, что она въ высочайшей степени, если такъ можно выравиться, насквозь національна. Если въ драму входять и другіе народы, и по мъръ своихъ отношеній въ ихъ истипномъ, неуръзанномъ видъ (особенно нъмцы должны быть благодарны за почетное упоминание о нихъ), то все-таки дъло России безусловно овладъваетъ всъмъ участіемъ. Мы, иностранцы, мы чувствуемъ біеніе русскаго сердца въ каждой сценъ, въ каждой строкъ. Видя такое прекрасное соединение величайшихъ даровъ, мы не можемъ не удивляться и не сожальть, что Пушкинъ создаль только одну эту трагедію, а не цылый рядь, тымъ болье, что истинный драматическій таланть по своей натурь плодоносенъ и необыкновенно порождаетъ легко и миого. Если бы Пушкинъ прожилъ долве, то опъ, можетъ-быть, еще больше свершиль бы въ этомъ направленін; но различныя условія опредъленныхъ временныхъ отношеній могли быть причиною, что поэтъ, избъгая слишкомъ большого ограниченія, изливаетъ свою драматическую силу въ произведения другихъ, болъе свободныхъ родовъ поэзін.

Варнгагент-фонт-Энзе.

Особенности отдъльныхъ сценъ въ "Борисъ Годуновъ".

Пушкинъ былъ такой поэтъ, такой художникъ, который какъ будто не умълъ, если бы и хотълъ, и дурную идею воплотить не въ превосходную форму. Прежде всего спросимъ всёхъ, сколько-инбудь знакомыхъ съ русскою литературой: до Пушкинскаго "Бориса Годунова" изъ русскихъ читателей или русскихъ поэтовъ и литераторовъ имълъ ли кто-нибудь понятіе о языкъ, которымъ долженъ говорить въ драмъ русскій человъкъ до-Петровской эпохи? Не только прежде, даже послъ .Бориса Годунова" явилась ли на русскомъ языкъ хотя одна драма, содержаніе которой взято изъ русской исторіи и въ которой русскіе люди чувствовали бы, понимали и говориди по-русски? И читая всъхъ этихъ "Ляпуновыхъ", "Скопиныхъ-Шуйскихъ", "Баторіевъ", "Іоанновъ Третьихъ", "Самозванцевъ", "Царей Шуйскихъ", "Еленъ Глинскихъ", "Пожарскихъ", которые съ тридцатыхъ годовъ настоящаго столътія наводнили русскую литературу и русскую сцену, — что видите вы въ почтенныхъ ихъ сочинителяхъ, если не Сумароковыхъ нашего времени? Не будемъ говорить о русскихъ трагедіяхъ, появлявшихся до Пушкинскаго "Борисъ Годунова": чего же можно и требовать отъ нихъ? Но что русскаго во всъхъ этихъ трагедіяхъ, которыя явились уже послъ "Бориса Годунова"? II не можно ли подумать скоръе, что это нъмецкія пьесы, только переложенныя на русскіе правы? Словно гигантъ между пигмеями, до сихъ поръ высится между множествомъ quasiрусскихъ трагедій Пушкинскій "Борисъ Годуновъ" въ гордомъ и суровомъ уединеніи, въ недоступномъ величіи строгаго художественнаго стиля, благородной классической простоты... Довольно уже расточено было критикою похваль и удивленія на сцену въ кельт Чудова монастыря между отцомъ Пименомъ и Григоріемъ... Въ самомъ дълъ, эта сцена, которая была напечатана въ одномъ московскомъ журналѣ года за четыре или лътъ за пять до появленія всей трагедін и которая тогда же надълала миого шума, - эта сцена, въ художественномъ отношеніи, по строгости стиля, по неподдільной и неподражаемой простоть, выше всъхъ похвалъ Это что-то великое, громадное, колоссальное, никогда небывалое, никъмъ не предчувствованное. Правда, Пименъ уже слишкомъ идеализированъ въ его первомъ монологъ, и потому чъмъ болѣе поэтическаго и высокаго въ его словахъ, тъмъ болѣе грѣшитъ авторъ противъ истины и правды дѣйствительности: не русскому, да и никакому европейскому отшельнику-лѣтописцу того времени не могли войти въ голову подобныя мысли —

... Пе даромъ многихъ лѣтъ
Свидѣтелемъ Господь меня поставилъ
П книжному искусству вразумилъ:
Когда-нибудь монахъ трудолюбивый
Пайдетъ мой трудъ усердный, безыменный;
Засвътить онг, какъ я, свою лампаду,
И пыль въковъ отъ хартій отряхнувъ,
Правдивыя сказанья перепишетъ.

На старости я сызнова живу;
Минувшее проходить предо мною...
Давно-ль оно неслось, событій полно,
Волнуяся, какъ море-океанъ?
Теперь оно безмолвно и спокойно:
Не много лицъ мнѣ память сохранила,
Не много словъ доходитъ до меня,
А прочее погибло невозвратно!...

Ничего подобнаго не могъ сказать русскій отшельникъ-лътописецъ конца XVI и начала XVII въка; слъдовательно, эти прекрасныя слова — ложь, но ложь, которая стоить истины: такъ исполнена она поэзін, такъ обаятельно действуетъ на умъ и чувство! Сколько лжи въ этомъ родъ сказали Корнель и Расинъ — и, однакожъ, просвъщеннъйшая и образованнъйщая нація въ Европъ до сихъ поръ рукоплещеть этой поэтической лжи! И не диво: въ этой лжи относительно времени, мъста и нравовъ, есть истина относительно человъческаго сердца, человъческой натуры. Во лжи Пушкина тоже есть своя истина, хотя и условная, предположительная: отшельникъ Пименъ не могъ такъ высоко смотръть на свое призваніе, какъ літописець, но если бы въ его время такой взглядъ былъ возможенъ. Пименъ выразился бы не иначе, а именно такъ, какъ заставилъ его высказаться Пушкинъ. Сверхъ того, мы выписали изъ этой сцены рёпштельно все, что можно осуждать какъ ложь въ отношенін къ русской дійствительности того времени: все остальное такъ глубоко проникнуто русскимъ духомъ, такъ глубоко-върно истерической истинъ,

какъ только могъ это сдълать лишь геній Пушкина — истинно національнаго русскаго поэта. Какая, напримъръ, глубоковърная черта русскаго духа заключается въ этихъ словахъ Пимена:

Да вѣдають потомки православныхъ Земли родной минувшую судьбу, Своихъ царей великихъ поминаютъ За ихъ труды, за славу, за добро — А за грѣхи, за темныя дѣянья Спасителя смиренно умоляютъ.

Вообще, въ этой сценъ удивительно хорошо обрисованы, въ ихъ противоположности, характеры Пимена и Григорія; одинъ — идеалъ безмятежнаго спокойствія въ простоть ума и сердца, какъ тихій свътъ лампады, озаряющій въ темномъ углу икону византійской живописи, другой — весь безпокойство и тревога. Григорію трижды снится одна и та же греза. Проснувшись, онъ дивится спокойствію, съ которымъ старецъ пишетъ свою лѣтопись, — и въ это время рисуетъ идеалъ историка, который въ то время былъ невозможенъ, другими словами, выговариваетъ превосходнѣйшую поэтическую ложь:

Ни на чель высокомъ ни во взорахъ Нельзя прочесть его сокрытых дум; Все тоть же видъ смиренный, величавый... Такъ точно дьякь, въ приказахъ посъдълый, Спокойно зрить на правыхъ и виновныхъ, Добру и злу виимая равнодушно, Не въдая ни жалости ни гиъва.

Затемъ онъ разсказываетъ старцу о "бесовскомъ мечтанін", смущавшемъ сонъ его:

Мнѣ снилося, что лѣстница крутая Меня вела на башню; съ высоты Мнѣ видѣлась Москва, что муравейникъ; Внизу народъ на площади кипѣлъ И на меня указывалъ со смѣхомъ; И стыдно мнѣ, и страшно становилось — И, падая стремглавъ, я пробуждался...

Въ этомъ тревожномъ снѣ — весь будущій самозванецъ... И какъ по-русски обрисованъ онъ, какая вѣрность въ каждомъ словѣ, въ каждой чертѣ! Вотъ еще два монолога факты глубоко-вѣрнаго, глубоко-русскаго изображенія этихъ двухъ чисто русскихъ и такъ противоположныхъ характеровъ:

Пименъ.

Младая кровь играеть:
Смиряй себя молитвой и постомъ,
И сны твои видъній легкихъ будуть
Исполнены. Донынъ — если я,
Иевольною дремотой обезсиленъ,
Ие сотворю молитвы долгой къ ночи —
Мой старый сонъ не тихъ и не безгръшенъ:
Мнъ чудятся то шумные пиры,
То ратный станъ, то схватки боевыя,
Безумныя потъхи юныхъ льтъ!

Григорій.

Какъ весело провель свою ты младость!
Ты воеваль подъ башнями Казани,
Ты рать Литвы при Шуйскомъ отражаль,
Ты видёль дворь и роскошь Іоанна!
Счастливъ! а я оть отроческихъ лёть
По келіямъ скитаюсь, бёдный инокъ!
Зачёмъ и мнё не тёшиться въ бояхъ,
Не пировать за царскою трапезой?
Успёль бы я, какъ ты, на старость лёть
Оть суеты, оть міра отложиться,
Произнести монашества обётъ
И въ тихую обитель затвориться.

Слёдующій за тёмъ длинный монологъ Пимена о суеть свёта и преимуществъ затвориической жизни — верхъ совершенства! Тутъ русскій духъ, тутъ Русью пахнетъ! Ничья, никакая исторія Россін не дасть такого яснаго, живого созерцанія духа русской жизни, какъ это простодушное, безхитростное разсуждение отшельника. Картина Іоанна Грознаго, искавшаго успокоенія "въ подобін монашескихъ трудовъ": характеристика Өедора и разсказъ о его смерти, — все это чудо искусства, неподражаемые образы русской жизни до-Петровской эпохи! Вообще, вся эта превосходная сцена сама по себъ есть великое художественное произведение, полное и оконченное. Она показала, какъ, какимъ языкомъ должны писаться драматическія сцены изъ русской исторіи, если ужъ онъ должны писаться, - и если не навсегда, то надолго убила возможность такихъ сценъ въ русской литературъ, потому что скоро ли можно дождаться такого таланта, который послъ Пушкина могъ бы подвизаться на этомъ поприщъ?... А при этомъ еще пельзя не подумать, не истощилъ ли Пупкинъ своею трагедію всего содержанія русской жизни до Петра Великаго такъ, что касаться другихъ эпохъ и другихъ событій историческихъ значило бы только — съ другими именами и вазваніями повторять одну и ту же основную мысль, и потому быть убійственно-однообразнымъ?...

Теперь о частностяхъ. Вся трагедія какъ будто состонтъ изъ отдъльныхъ частей или сценъ, изъ которыхъ каждая существуетъ какъ будто независимо отъ целаго. Это показываетъ, что трагедія Пушкина есть драматическая хроника, образець которой создань Шекспиромъ. Кромф превосходной сцены въ Чудовомъ монастыръ, между старцемъ Пименомъ и Отрепьевымъ, въ трагедін Пушкина есть много прекрасныхъ сценъ. Таковы: первая - въ кремлевскихъ палатахъ, между Воротынскимъ и Шуйскимъ, въ которой и исторически и поэтически върно обрисованъ характеръ Шуйскаго; вторая сцена народа и дьяка Щелканова на площади; третья — въ кремлевскихъ палатахъ, между Борисомъ, согласившимся царствовать, патріархомъ и боярами. Въ этой сценъ превосходно обрисовано добросовъстное лицемърство Годунова, - въ томъ смыслъ добросовъстное что, обманывая другихъ, онъ прежде всьхъ обманывалъ самого себя, какъ всякій талантъ, обольщаемый ролью генія. Прекрасно также окончаніе этой сцены, происходящее между Воротынскимъ и Шуйскимъ, гдъ характеръ последняго все более и более развивается; его слова-

Теперь не время помнить, Совътую порой и забывать, —

такъ оригинальны, что должны со временемъ обратиться въ любимую пословицу для благоразумныхъ и осторожныхъ людей въ родъ Шуйскаго. Превосходна маленькая сцена между патріархомъ и игуменомъ, написанная прозою: это одинъ изъ драгоцънъйшихъ перловъ трагедіи.

Седьмая сцена, въ корчит на литовской гравицт, превосходна. Жаль только, что желаніе выказать ртзче дерзость Отрепьева увлекло поэта въ мелодраматизмъ, заставивъ его спровадить самозванца въ окно корчмы, въ которое и курица проскочила бы съ трудомъ. Къ лучшимъ сценамъ трагедін принадлежить восьмая — въ домѣ Пуйскаго. Превосходно, выше всякой похвалы, передалъ въ ней поэтъ, устами Шуйскаго, ропотъ и жалобы на Годунова его современниковъ.

Следующая за темъ большая сцена представляеть собою две части. Въ первой Борисъ превосходно очерченъ, какъ примерный семьянинъ, иежный отецъ; онъ утешаеть дочь, овдовевшую невесту, говоритъ съ сыномъ о сладкомъ плоде ученія, о томъ, какъ помогаетъ наука державному труду. Все это такъ просто, такъ естественно, — и Борисъ является въ этой сценъ во всемъ светь своихъ лучшихъ качествъ. Во второй части сцены Борисъ узнаетъ отъ Шуйскаго о появленіи самозванца.

Сцена въ Краковъ, въ домъ Вишневецкаго, между самозванцемъ и іезуптомъ Черниковскимъ очень хороша, за исключеніемъ Ломопосовской фразы: "сыны славянъ", некстати вложенной поэтомъ въ уста самозванцу. Продолженіе и конецъ этой сцены, гдъ самозванецъ говоритъ съ сыномъ Курбскаго, съ разными русскими, приходящими къ нему, съ полякомъ Собаньскимъ и поэтомъ не представляютъ никакихъ особенно ръзкихъ чертъ.

За маленькою, но прелестною сценой въ замкъ Мнишка въ Самборъ, слъдуетъ знаменитая сцена у фонтана. Въ ней самозванецъ является удальцомъ, который готовъ забыть свое дъло для любви, а Марина — холодною, честолюбивою женщиной. Вообще, эта сцепа очень хороша, но въ ней какъ будто чего-то недостаетъ, или какъ будто проглядываютъ какія-то дожныя черты, которыя трудно и указать, но которыя тъмъ не менъе производять на читателя не совсъмъ выгодное для сцены впечатлъпіе. Кажется, не преувеличиль ли поэтъ любовь самозванца къ Маринъ, не сдълалъ ли онъ изъ минутной прихоти чувственнаго человъка какую-то глубокую страсть? Самозванецъ въ этой сценъ слишкомъ искрененъ и благороденъ; порывы его слишкомъ чисты. Кажется, въ этомъ заключается ложная сторона этой сцены. Безразсудство самозванца, его безумное признаніе передъ Мариною въ самозванствъ совершенно въ его характеръ, пылкомъ, отважномъ, дерзкомъ, на все готовомъ, но ръшительно неспособномъ ни на что великое, ни на какой глубоко обдуманный планъ; совершенно въ его характеръ и мгновенные порывы животной чувственности, по едва ли въ его характеръ человъческое чувство любви къ жепщинъ. Характеръ Марины удивительно хорошо выдержанъ въ этой сценъ.

Сцена на литовской границъ между молодымъ Курбскимъ и самозванцемъ до того приторна, фразиста и исполнена пу-

стой декламаціи, выдаваемой за павосъ, что трудно повършть, чтобъ она была написана Пушкинымъ...

Въ сценъ — въ царской думъ — между Годуновымъ, патріархомъ и боярами есть двъ превосходнъйшія черты: это — ръчь патріарха о чудесахъ, творимыхъ останками царевича, и о чудномъ исцъленіи стараго пастуха отъ сльпоты. Вторая черта — ловкій оборотъ, которымъ хитрый Шуйскій выводитъ Годунова изъ замышательства, въ какое привело его неожиданное предложеніе патріарха.

Сцена на равнинъ, близъ Новгорода Съверскаго очень интересна своею живостью, характеромъ Маржерета и даже пестрою смъсью языковъ и лицъ. Сцена юродиваго на кремлевской площади можетъ быть сочтена даже за превосходную, но только съ Пушкинской точки зрънія на виновную совъсть Бориса. Въ сценъ подъ Съвскомъ самозванецъ обрисованъ очень удачно, особенно хороша эта черта:

Самозванецъ.

Ну! обо мит какъ судять въ вашемъ стант?

Плвиникъ.

А говорять о милости твоей Что ты дескать (будь не во гиѣвъ) и ворь, А молодецъ.

Самозванецъ (смъясь).

Такъ это я на дѣлѣ Имъ докажу.

Въ сценъ въ царскихъ палатахъ между Годуновымъ и Басмановымъ, оба эти лица являются въ какомъ-то странномъ свътъ. Годуновъ собирается уничтожить мъстничество(!!). Басмановъ этому, разумъется, радъ. Оба они разсуждаютъ объ управленіи народомъ, и Годуновъ окончательно ръшаеть:

Ифть, милости не чувствуеть народъ: Твори добро— не скажеть онъ спасибо; Грабь и казни—тебъ не будеть хуже.

Басмановъ за это величаетъ его "высокимъ державнымъ духомъ", желаетъ ему поскоръе управиться съ Отрепьевымъ, чтобы потомъ "сломить рогъ родовому боярству". Но вотъ Борисъ умираетъ, вогъ даетъ онъ послъднія наставленія своему

наслъднику; что же особеннаго въ этихъ наставленіяхъ? — Изъ нихъ замъчательно только одно:

Не измѣияй теченья дѣлъ. Привычка — Душа державъ...

Въ этомъ, какъ и во всемъ остальномъ, что говоритъ умирающій Годуновъ своему сыну, виденъ царь умный, способный и опытный, который былъ бы однимъ изъ лучшихъ царей русскихъ, если бы престолъ достался ему по праву наслѣдія,— но слишкомъ ограниченный умъ для того, чтобы усидѣть на захваченномъ тронѣ...

Крикъ мужика на амвонъ лобнаго мъста: "вязать Борисова щенка!" ужасенъ; это голосъ всего народа или, лучше сказать, голосъ судьбы, обрекшей на гибель родъ несчастнаго честолюбца, взявшаго на себя бремя не по силамъ... Пушкинъ непремънно хотъль тутъ выразить голосъ судьбы, обрекшій на гибель родъ злодъя, цареубійцы... Можетъ быть, это было такъ, но спрашиваемъ: который изъ Годуновыхъ болъе трагическое лицо — царсубійца, наказанный за злодъянія, или достойный человъкъ, падшій за недостаткомъ геніальности? Трагическое дицо непремънно должно возбуждать къ себъ участіе. Самъ Ричардъ III— это чудовище злодъйства, возбуждаеть къ себъ участіе исполинскою мощью духа. Какъ злодъй, Борисъ не возбуждаетъ къ себъ никакого участія, потому что онъ злодъй мелкій, малодушный; но какъ человъкъ замъчательный, такъ сказать, увлеченный судьбою взять роль не по себъ, онъ очень почень возбуждаеть къ себъ участіе: видишь необходимость его паденія и все-таки жалѣешь о немъ...

Превосходно окончаніе трагедіи. Когда Мосальскій объявиль народу о смерти дѣтей Годунова, — "народь въ ужасѣ молчить"... Отчего же опъ молчить? развѣ не самъ онъ хотѣлъ гибели Годуновскаго рода, развѣ не самъ опъ кричалъ: "вязать Борисова щенка"?... Мосальскій продолжаеть: "Что жъвы молчите? "Кричите: да здравствуетъ царь Димитрій Прановичь!" — "Народъ безмолвствуетъ".

Это — послъднее слово трагедін азаключающее въ себъ глубокую черту, достойную Шекспира... Въ этомъ безмолвін народа слышенъ страшный, трагическій голось новой Немезиды, изрекающей судъ свой надъ новою жертвой — надъ тъми, кто погубилъ родъ Годуновыхъ...

Бълинскій.

Личность Бориса Годунова.

Борисъ Годуновъ — лицо хитрое; Борисъ — лицо съ русскимъ, царскимъ сердцемъ; онъ высокъ, когда чувство отца превозмогаетъ всъ другія движенія его сердца. Поэтому справедливо замътилъ одинъ критикъ, что "лицо Годунова сдълалось статуею, которая вырублена не изъ одного цъльнаго мрамора, а сложена изъ золота, серебра", — только не справедливо онъ назвалъ лицо Годунова статуею; потому что Борисъ живое лицо; но эта жизнь, какъ того желалъ поэтъ, и какою она должна быть, поставлена въ тыпи. Всъ добрыя движенія души царя, ея мраморъ и серебро въ духовномъ смысль, пропадають, какъ капля въ морь, въ бъдахъ, которыя то и дъло постигаютъ царя за единое пятно на его совъсти. Онъ страдаетъ даже отъ того, что есть въ немъ много и достославнаго. Тънь убитаго царевича постоянно тревожитъ его. II — вотъ въ чемъ единство его характера, вотъ въ чемъ цѣлость и полнота души Годунова. Il отчего же поэтъ не могъ взять этого состоянія души царя для своего творческаго генія? Отчего упрекають поэта за невърность его мысли? Пусть творить, какъ хочеть и изъ чего хочеть, но только пусть творитъ сообразно законамъ разума, чувства и всъхъ требованій души разумнаго человъка.

Первое, чёмъ высказываетъ свою душу Борисъ Годуновъ, есть хитрость его. Онъ домогался престола московскаго; достиль, но что же? Онъ сознается, что пріемлетъ власть великую со страхомъ и смиреніемъ. Теперь предъ нимъ выборные люди, бояре, вся Москва и владыка-патріархъ, всё плачуть, по выраженію поэга, всё въ одинъ голосъ зовутъ его на престоль:

Будь нашъ отецъ, нашъ царь,

а онъ, *перешатијвшій* на пути къ желанному престолу черезъ кровь Димитрія царевича, *упрямится* теперь, когда

> ... вся Москва Сперлася здѣсь... Ограда, кровли, Всѣ ярусы соборной колокольни, Главы церквей и самые кресты Унизаны народомъ.

Борпсъ медлитъ, ибо видитъ, какъ тяжела обязанность царская. Но не отъ этого одного онъ медлитъ, а также и оттого, что онъ хотълъ, говоря словами Карамзина, видъть всю Россію у ногъ своихъ, молящую его взойти на праздный престолъ въ Москвъ. И Шуйскій указалъ Воротынскому на эту хитрость Бориса. Такимъ образомъ она видна, она даетъ себя осязать мысли читателя.

Отъ этой темной стороны поэтъ переходить къ изображепію свътлой въ душь Бориса. Годуновъ является съ душою русскаго, благовърнаго царя. Онъ пріядъ власть царскую и вотъ чъмъ думаетъ ознаменовать первыя минуты въ этой новой жизни:

Теперь пойдемъ, поклонимся гробамъ Почіющихъ властителей Россіи, А тамъ — сзывать весь нашъ народъ на пиръ, Всѣхъ, отъ вельможъ до нищаго слѣпца; Всѣмъ вольный входъ, всѣ гости дорогіе.

Смотря на такую доблестную черту Бориса, видишь въ немъ вполит русскаго, знакомаго намъ царя-батюшку. Какъ царьотецъ, онъ готовъ принять встать детей-подданныхъ въ свое царское жилище, за однимъ столомъ онъ хочетъ видеть своихъ чадъ русскихъ, власть надъ которыми ему далъ Богъ. Борисъ, лицо намъ знакомое. Извъстна изъ исторіи его щедрость, по которой онъ хоття отдать подданнымъ и последнюю свою рубашку.

Такъ царски-велико принялъ Борисъ шапку Мономаха! Проходитъ шесть лѣтъ, и мы видимъ царя, разочаровавшагося въ жизни. Гнетомый оѣдами, онъ хотѣлъ узиать свое будущее и заперся съ кудесникомъ. Ничто не радуетъ царя; напрасно онъ щедротами хотѣлъ сниснать любовь народа, дѣлилъ съ нимъ его печали, отворялъ житницы во время голода, выстроилъ имъ новыя жилища послѣ пожара. Въ домашнемъ своемъ кругу, какъ отецъ, онъ также находитъ себя несчастнымъ. Умеръ женихъ его дочери, — виноватымъ считаютъ его, несчастнаго отца; онъ ускорилъ Өеодора кончину, онъ уморилъ свою сестру-царицу. Послѣ этого Борисъ съ отчаяніемъ произноситъ въ своемъ изступленіи: "все я"... Заглянулъ царь въ совѣсть свою... она отвѣтила, что въ ней. . Царь понялъ голосъ совѣсти — этого полубога въ груди нашей, — Годуновъ

поняль ся отвъть и самъ признался, что "жалокъ тотъ, въ комъ совъсть нечиста". Совъсть, этотъ, по выражению разбираемаго нами поэта,

Когтистый звёрь, скребящій сердце, сов'єсть, Незванный гость, докучный собес'єдникь, Заимодавець грубый; эта в'ёдьма, Оть коей меркнеть м'ёсяць, и могилы Смущаются и мервыхь оысылають...

Эта совъсть сгубила Бориса. Опа выслала изъ могилы тъпь убитаго царевича, и царя Бориса теперь

Все тошнить, и голова кружится, И мальчики кровавые въ глазахъ.

Мрачная совъсть закрываетъ предъ нами всъ добрыя качества души Бориса; въ ней завязка всего произведенія поэта; въ ней единятся всъ черты характера Бориса. Борисъ еще разъ явится съ добрыми свойствами, но впечатльніе, произведенное его недужною совъстію, не пропадетъ. Теперь пачинается борьба Годунова со своею совъстью и съ вызванными ею побъдами.

Показавъ далеко не отрадную сторону души Бориса, поэтъ знакомитъ насъ опять со свътлою стороною этой души. Отлегаетъ на сердцъ, когда слушаень бесъду Бориса со своими дътьми. Онъ утъшаетъ дочь, плачущую по прекрасномъ женихъ; совътуетъ сыну учиться и хвалитъ сладкій "плодъ ученья". Эта бестда — образецъ простой, задушевной, семейной бесъды отца съ дътьми; русскій отецъ такъ бы выразплся, какъ выразился Борисъ въ своихъ царскихъ палатахъ, глядя на иначущую Ксенію и на сыпа, запимающагося грамотой. Здъсь Борисъ является во всемъ свъть дучшихъ своихъ качествъ. Впрочемъ это не надолго. Въ утъшенін, которое онъ даетъ тоскующей дочери, есть уже зародышъ скорби для Бориса: онъ себя винитъ въ злонечали дочери, пбо судьба ему не судила быть виновникомъ дочерияго счастья. При въсти, полученной имъ отъ Годунова и Прискаго, имъ овладъваеть тревога. Предположение Шуйскаго объ имъющемъ возстать народъ вслъдъ за воскреснувшимъ Димитріемъ приводить въ отчаяніе царя; онъ запинается въ ръчи своей; опъ не знаеть, за какую мысль ухватиться, велить удалиться царевичу, велить взять мъры и оградить Россію отъ Литвы заставами; смъется, какъ мертвые могутъ

> Допрашивать царей, царей законныхъ, Назначенныхъ, избранныхъ всенародно, Увѣнчанныхъ великимъ патріархомъ,

заставляетъ Шуйскаго смъяться этой затыйливой высти и опять высказываетъ первую черту своего характера — хитрость, когда, будто бы, не знаетъ о смерти царевича Димитрія. Но эти хитрость напрасна; Шуйскій убъждаетъ царя въ дъиствительности сна Димитрія во гробю ("Димитрій во гробъ спить"). Тогда царь удаляетъ отъ себя Шуйскаго; яснъе солица видить, зачъмъ ему тридцать лътъ сряду "все снилося убитое дитя", и тяжкій вздохъ — "тяжела ты, шапка Мономаха" — исторгается изъ груди Годунова...

Такимъ образомъ бесъда Бориса съ дътьми своими хотя успоконтельна на первый разъ, но не успоконтельна по окончанію своему. Какъ отецъ, онъ было забылъ свою царскую душу, когда пришелъ къ своей родимой семьъ, къ родимой дочери и родимому сыну: но вошедшіе бояре своими въстями пробудили въ Годуновъ душу царя, а душа Бориса, какъ царя, не завидна; потому что она незаконно сдълалась царскою. Значитъ намъ опять является главная черта характера Бориса — угрызеніе совъсти.

То же мученіе совъсти пробудиль и патріархь, богомолець Борисовь, святой отець, когда указаль на средство: "обнаружить обмань безбожнаго злодья" перенесеніемь святыхь мощей Димитрія въ Кремль. Борись выслушаль; было мочаніе въ думъ посль этого, а бояре видъли, какъ государь блъднъль, и крупный поть съ лица его закапаль.

Въ соборѣ, какъ того хотѣлъ натріархъ, прокливали Гришку Отрепьева. Но истина, какъ золото, горѣла и освѣщала народу, что напрасио клянутъ Отрепьева: царевичу дѣла иѣтъ до Отрепьева, говорилъ народъ, когда еще царь не выходилъ изъ церкви. Идетъ царь, а юродивый предъ всѣми называетъ его убійцею Димитрія, иродомъ-царемъ. Обличеніе отъ юродиваго Годуновъ принимаетъ равиодушно. Еще прежде образъ убитаго царевича сокрушилъ всѣ силы его души, сокрушилъ до того, что вся кровь бросалась въ лицо; теперь Ажедимитрій уже побѣдилъ его войска близъ Новгорода Сфверскаго;

Борисъ долженъ бы еще болье убиваться духомъ и себя оправдать во мивніи народа: ибо народъ спасаеть царя, а царь спасаеть народъ, но Годуновъ оскорбилъ чувствованіе народа, сгубилъ однажды навсегда его завѣтное сокровище; наслѣдника престола убилъ, и вотъ народъ пошелъ на незаконнаго царя. Обличеніе юродиваго было голосомъ всего русскаго народа; это былъ горькій плачъ всей Руси. Юродивый, по смыслу русскаго, есть что-то выше человѣческаго; будто не земной житель онъ между людьми; потому вѣритъ ему добродушная, русская душа и боится его предвѣщаній. Поэтому если какое обличеніе могло быть больно, могло быть чувствительно для Бориса, такъ это — обличеніе отъ юродиваго. Здѣсь поэтъ явился Шекспиромъ русскимъ, представивъ блестящій образъ творчества русской фантазіи.

Такимъ образомъ преступленіе царя, легшее на его совъсть, поняль уже народъ... Поэтъ еще разъ поставляеть насъ предъ тягостнымъ образомъ души Бориса. Годуновъ среди пріема пословъ,

На тронѣ сидѣлъ и вдругъ упалъ; Кровь хлынула изъ устъ и изъ ушей.

Послѣ того, какъ онъ далъ наставлевіе сыну, ударилъ послѣдній для царя часъ въ этой жизни—

Ударилъ часъ! Въ монахи царь идеть: И темпый гробъ моею будетъ кельей...

Въ послъднія минуты своей земной жизни царь хочеть со всъми помириться, дабы съ миромъ и въ миръ отойти къ источнику мира — правосудному Богу —

Я доволень. Простите жъ мив соблазны и грвхи И вольныя и тайныя обиды... Святый отець, приближься, я готовъ".

Это — последнія слова Годунова.

Такимъ образомъ образъ Годунова ярко выставленъ намъ: его добрая и свътлая сторона, его мрачная и безотрадная сторона. Онъ хитръ, онъ царски, по русскому обычаю, щедръ и великъ; но совъсть его зазорна, больна; пятно тяжелое лежитъ на ней. Папрасно послъ этого кудесники сулятъ ему дни класти безмятежной, напрасно онъ мнитъ во славъ успокоитъ свой народъ — и царь выстрадалъ всъми страданіями, по пра-

ведному суду небесному, доколъ смерть не отозвала Бориса на тотъ свътъ... Въ изображении его педужной совъсти единство его характера заключилъ поэтъ. Совершениве образа Годунова, какимъ онъ вышелъ изъ-подъ творческаго пера Пушкина, нельзя представить. Онъ уловиль ть черты, которыми самь народь русскій опредвлиль историческое лицо Годунова. "Да, говоритъ народъ, Борисъ хорошъ-то, хорошъ, и деньги давалъ, и ствиу каменную выстроилъ, чтобы не умерли съ голоду, но — Дмитрія царевича, говорять всъ, убиль..." Борисъ, какъ онъ представленъ у поэта, лицо цъло и совершенно выяснившее предъ читателемъ свою душу. Рука мастера-поэта обдълывала это лицо; показала свътдыя и славныя черты его, ибо какъ бы ни былъ человъкъ бъденъ нравственными качествами, обиженъ добрыми сторонами - все же, какъ человъкъ, какъ образъ Божій, онъ имъстъ хотя крупицы святости и добра въ своей душъ, - показала и темную сторону, на которой и остановила всецълое внимание зрителя, которою и закончила свое зданіе.

Слъдя за характеристикою лица Годунова, нельзя не остановиться на изображенін его смерти. Критики называли неправдоподобнымъ изображение ея у Пушкина. Поставимъ на видъ сначала ту мысль, что у Карамзина слишкомъ ръзокъ переходъ къ описанію смерти Бориса. На 196-й стр., гл. ІІ, IX тома онъ помъстиль письмо самозванца къ Борису, послъ неудачной осады воеводами Бориса Кромъ, затъмъ цълую страницу 197-ю Карамзинъ пополнилъ правственными мыслями, что Годуновъ видълъ открытую бездну, что онъ только въ глазахъ върной супруги казалъ кровавыя раны, что онъ дерзиулъ бы на злодъяніе новое, чтобы не лишиться пріобрътеннаго злодвиствомъ. Страница 198-я изображаетъ самый ходъ смерти. Читатель не приготовленъ къ этому и выходить неестественнымъ описаніе смерти Годунова у Карамзина. Но у Пушкина это изображение естественно. Тутъ первое появление Бориса показываеть намъ внутрениюю скорбь души его; являясь вторично, опъ же самъ говоритъ, что "ни власть ни жизнь его не веселять". Онъ уже жизнь разлюбиль. Не находить мира въ совъсти. Мы видимъ Бориса въ третій разъ и опять слышимъ, что какъ тяжела для него шапка Мономаха. Въ четвертый разъ показаль намъ поэть Бориса и его тяжкую годину: онъ побледиель, когда патріархъ папомииль о мощахъ

святого Димитрія. Наконець юродивым заклеимиль Годунова именемъ цареубійцы; бояре измѣняють ему... Все это горе выпосить на себѣ одна душа Бориса. Отъ думъ, предчувствій страніныхъ золъ, самыхъ бѣдъ, падшихъ на него. Годуновь ослабѣлъ; каждое новое горе убивало въ немъ частицу жизни. И бояре, и народъ, и дѣти — все это есть одно цѣльное, всесокрупіающее горе для одного его. Поэтому не было, не стало силъ въ немъ поддержать себя; душа истлѣла; въ ней не нашлось мощи продлить исчахшую жизнь, и

На тронѣ онъ сидѣлъ и вдругъ упалъ; Кровь хлынула изъ устъ и изъ ушей.

Смерть не разбираетъ, сстсственно ли ей будетъ прійти утромъ или вечеромъ, — тогда ли, когда царь принимаетъ гостей иноземныхъ, или бесъдуетъ съ вельможами, — еи все равно. Поэтому Пушкина нельзя упрекнуть въ неестественности смерти Бориса. Поэтъ приготовилъ насъ къ этому дълу. Филоновъ.

Языкъ "Бориса Годунова" *).

Двъ красоты, двъ тайны, въ которыхъ живетъ геній нашего языка, Пушкинъ вскрылъ предъ нами въ великомъ своемъ произведеніи: славянизмъ и народность. Славянскій складъ ръчи дышитъ въ нашемъ языкъ величіемъ и въ то же время иъжностью, силою, прелестію. У Пушкина этотъ складъ ръчи вездъ виденъ; онъ обходился съ нимъ, какъ со своимъ родпымъ. Выраженія лѣтописи есть у поэта, но все это у мѣста; тамъ, гдѣ и быть имъ должно. Казакъ Карела пришелъ съ Дона отъ вольныхъ войскъ къ Ажедимитрію,

Узрѣть его царевы ясны очи.

У насъ быль князь — Димитрій-Грозныя очи. Въ "Разрядахъ" 1605 г. пишетея о Годуновъ: "Государь царь... челомъ бъетъ тебъ (Мстиславскому), — аже службу свою совершишь и увидишь образъ Спасовъ... и наши царскія очи.

Юродивато ноэтъ называетъ блаженным»; въ льтописяхъ также онъ называется. Борисъ пріемлетъ власть великую;

^{*)} См. также о "Борись Годуновь" стр. 95-97 и 104-105.

онъ идетъ поклониться гробам в *почіющих* властителей Россіи; онъ разсыпаетъ *злато* народу. Обращаясь къ совъсти своей, Борисъ говоритъ:

Но если въ ней сдинос пятно, Единое случайно завелося.

Онъ велитъ воеводамъ спасать градъ и гражданъ; увъряетъ, что не пужна ему чуждая помога, которую предложилъ свейскій государь; патріарха онъ проситъ повъдать свою мысль.

Ты съ малыхъ льть сидъя со мною въ Думь,

говорилъ Годуновъ сыну своему. Царскій голосъ долженъ висими лишь велику скорбь или великій праздникъ, говорилъ ему же Борисъ.

Бесъда старца Пимена исполнена такою же прелестью славянскаго строя ръчи. Автописи свои онъ называетъ *хартіями*. Слова сго:

Да въдают потомки православныхъ Земли родиой минувшую судьбу —

чисто-славянскія. Пименъ въ свою рѣчь беретъ цѣлые тексты изъ библін. Григорій проситъ его благословенія, а онъ отвѣчаетъ:

Благослови Господь, Тебя и днесь и присно и вовъки.

Пименъ не сказалъ, что онъ молится предъ сномъ, а сотворястъ молитву долгую. Разсказывая о любви Іоанна Грознаго къ монашеской жизни, называетъ его алкающимъ спасенія. Царя Өеодора Іоановича онъ называетъ царемъ, воздыхающимъ о мирномъ житіи молчальника. Вчитывайтесь въ эту рѣчь Пимена о Өеодоръ:

> ... а въ часъ его кончины Свершилося неслыханное чудо: Къ его одру, царю едино зримый, Явился мужъ необычайно-свътелъ.

И всь кругомъ объяты были страхомъ, Зане святый владыка предъ царемъ Во храминъ (дворцѣ) тогда не находился.

Пименъ дълаетъ библейскія сближенія, Битяговскаго онъ называетъ *Гудою-Битяловским*г. Пименъ говоритъ наутро

вмѣсто: утромг. Грпгорію Пименъ совѣтуетъ описывать все въ лѣтописи, не мудрствуя лукаво, — описывать войну и миръ, управу государей.

Патріархъ такою же рѣчью бесѣдуетъ съ игуменомъ Чудова монастыря и съ царемъ. Онъ подаетъ свой совѣтъ Борису и такъ говоритъ:

Твой върный богомолецъ, Въ дълахъ мірскихъ не мудрый судія, Дерзаеть днесь подать тебъ свой голосъ.

II самъ

Онъ (Самозванецъ) наготой своею посрамится.

Патріархъ говорить: свыдано вмѣсто узнано, обрытали спасеніе подобно вмѣсто находили, и мощь бысовъ (т.-е. замыслы Самозванца) исчезнеть яко прахъ. Послъднія слова взяты изъпсалтири, перваго псалма.

Григорій спрашиваеть у Пимена, какихь быль льть царевичь убієнный. О себь онь говорить, что оть отроческихь льть по келіямі скитается. Курбскаго, измѣника Іоанна, Самозванець называеть мужемі битвы и совіьта. Въ библін самь Богь назваль Давида мужемі кровей, когда объяснять ему, что онь не можеть быть создателемъ храма. Самозванець именуеть Собаньскаго, шляхтича вольнаго, свободы чадомі. Карела говорить Лжедимитрію, что онъ пришель оть храбрыхъ атамановь кланяться ихъ головами. Лжедимитрію подаль стихи, а онь въ восторгь говориль:

Стократь священь союзь меча и лиры; Единый лавръ ихъ дружно обвиваетъ.

Слово выдаеть, повыдать — любимое слово дъйствующихъ лицъ въ трагедіи поэта.

Дъти Бориса называются драгими вымвями; его дочь—
печальною вдовицею; бояре, дьяки и выборные люди быютс
челом отцу и государю. Шуйскій говорить, что въ случав
инкая казнь его не устрашить: инкій дух — воть названіе
Самозванца. Обращаясь къ патріарху, Шуйскій спрашиваеть:

Святый отець, кто выдаеть пути Всевышияго?

Молитва мальчика, послѣ ужина, въ домѣ Шуйскаго, есть чисто-славянскаго духа:

Царю небесь, везди и присно сущій, Свонхь рабовь моленію внемли: Помолимся о нашемь государь... Храни его вь палатахь, вь поль ратномь, И на путях и на одри ночлега. Подай ему побъду на врага, Да славится онь отг моря до моря. Да здравіем цвѣтеть его семья, Да осѣнять ея драгія вытви... Да будет онь, какъ прежде благодатент.

Вся рѣчь въ трагедін поэта переплетена словами славянскими. Читаете первыя слова посвященія Карамзину: "драгощынной для Россіянъ памяти Николая Михайловича Карамзина, сей трудъ, геніемъ его вдохновенный,... посвящаетъ". Расположеніе словъ — славянское. Прочтемъ первыя слова самой трагедін и послѣднее слово: Вотъ чѣмъ начинается трагедія! Воротынскій говоритъ:

Наряжены мы вмѣстѣ городъ видать.

Вотъ чъмъ заключается трагедія: "народъ безмолствусть". Слова — чисто-лътописныя.

Указанныя слова входять въ рфчь дфйствующихъ лицъ, какъ необходимыя стихіи. Они двигаютъ рфчь, ими она живетъ. Поэтъ поставляетъ лицо въ извфстное состояніе; извфстный образъ мысли зароился: извфстнымъ образомъ забилось сердце, заговорило и — такъ, а не иначе лицо должно выразить свою душу: это слово, славянское слово только и присуще ему въ это мгновеніе. Перемфиите его, замфиите другимъ — пропадетъ сила, не станетъ красы, слово не отпечатаетъ внутренняго движенія духа.

Другая красота языка трагедія— пародность. Она видна осязательно не только тамъ, гдѣ говорятъ люди простого слоя общества, но и тамъ, гдѣ говоритъ царь, Лжедимитрій, бояре. Любуясь стройностію и умомъ Курбскаго, Самозванецъ назвалъ его красавцемз. Толпы русскихъ и поляковъ, пришедшихъ просить у милости его меча и службы, онъ именуетъ дътьми, друзьями; нѣмцевъ, порядкомз поколотившихъ войско Лжедимитрія, онъ назвалъ — молодцами, даже побожился, что они молодцы. Самозванецъ говоритъ, что онъ заутра двинетъ

рать: ему мочи итть сражаться съ женщиной, онъ просить Марину вымолвить слово любви.

Народностію исполнена рѣчь Годунова. Онъ хочеть править свой народь во славю: его сынь изобразиль на картѣ всть области Россіи: Борись дивился, какт хитро Өеодорь это сдѣлаль. Объ умномъ дѣлѣ, глубокомъ и прекрасно соверненномъ народъ скажетъ: "а что? Вѣдь хитро́?!" Борисъ говорить вечорт вмѣсто "вечеромъ",— ни одна душа вмѣсто ни одинъ человѣкъ. Онъ крестомъ и Богомъ заклинаетъ Шуйскаго правду объявить, узналъ ли онъ убитаго младенца. Годуновъ считаетъ странныхъ, что бѣглый инокъ ведетъ на него злодъйскіи дружины.

И рачь боярь дышить народнымь складомь. И по дюломо ему, говорить Пушкинь, видя заходящую грозу надъ Борисомь. Въ Московскомъ государствъ теперь, по увъренію Пушкина, все языки, готовые продать. Отчего онъ искрешно сказаль о неустройствахъ Борисова царствованія? Медъ да бархатное пиво развязали ему языкъ. Когда ушли гости, бывшіе за ужиномъ Пуйскаго, Пушкинъ сказаль: "насилу убрались".

ПІуйскій называеть слухи о Самозванць басиями, которыми питается безсмысленная чернь; своихъ гостей онь благодарить, что они не презрыли его хлюба-соли, самихъ гостей именуеть дорогими. Разсказывая о своемъ слъдствін по дълу убіенія Димитрія, онъ говорить, что наполалі на свъжіе слюды. Онъ — не труст и въ петлю люзть не соглашается даромг.

Простота рѣчи, народность поражаеть тамъ въ творенін поэта, гдѣ говорять люди низшаго слоя общества. Вотъ какъ мамка утѣшаеть свою питомицу, дочь Годунова: "И, царевна! дѣвица плачеть, что роса падеть: взойдеть солице, росу высушить. Будеть у тебя другой женихъ и прекрасный и привытивый. Полюбишь его, дитя наше пенаилядное, забудень Ивана Королевича".

Народъ говорить по-своему, не красно, но мѣтко. По его взгляду, Борись прогнало святителей, бояръ и патріарха. Въ соборѣ предають анавемѣ Самозванца, а одинъ изъ народа сказаль: Я стояло на паперти и слышаль, какъ дьяконъ завопило: Гришка Отреньевъ — анавема". Вотъ ужо имъ будето безбожникамо, замѣтиль тотъ же голосъ изъ народа. Старуха называетъ мальчишеко, не дававшихъ проходу юро-

дивому, бъссиятами, подаетъ ему конесчку. Самозванецъ спрашивалъ у одного илънника московскаго: "войско что?" А тотъ отвъчалъ: "Что съ шимъ? Одъто, сыто, довольно всъмъ". Самозванецъ спросилъ:

Ну, обо мив какъ судять въ вашемъ станъ?

Плънникъ.

А говорять о милости твоей, Что ты — дескать (будь не во инвы) и ворь, А молодеиг.

Этотъ же самый плънникъ погрозиль ляху куликомъ: "не хочешь ли вотъ этоло, спросилъ онъ и назвалъ его безмозглымъ. Безмозглый — главный эпитетъ, которымъ опредъляетъ для себя нашъ простолюдинъ поляка. Мужикъ называетъ юнаго сына Бориса щенкомъ. Путкинъ спрашивалъ у народа: "въ угоду семейству Годуновыхъ подымите вы руку на царя законнаго, на внука Мономаха?" Народъ отвътилъ: "въстимо нътъ". Ксенію и Өеодора, сидящихъ подъ стражею, народъ назвалъ пташками.

Братъ да сестра! бѣдныя дѣти, что пташки въ клътки.

Заключимъ наше описаніе красоты народнаго языка ноэта словами Ксеніи. Въ шести строкахъ поэть изобразиль намъ образь ея. Слова ея — верхъ народности. Будто пъсню слышишь нашу русскую, будто ея голосъ шевелить, хватаетъ, какъ сказалъ понявшій пъсню русскую поэтъ, васъ за сердце, когда вы читаете эту наивную ръчь Ксеніи:

"Милый мой женихъ, прекрасный королевичъ, пе мив ты достался, не своей невъстъ, а темной могилкъ, на чужоп сторонкъ никогда не утъщусь, въчно по тебъ буду плакатъ". Мамка ее утъщаетъ, а она отвъчаетъ:

Ивть, мамушка, я и мертвому буду ему върна.

Читая трагедію Пушкина, вникая въ языкъ ея, истивно скажешь, что онъ на всъ лады орга́пъ для русскихъ душъ, что русскими чувствами поэтъ зазвучалъ въ ней. Варигагенъ фон-Энзе замътилъ: "Мы пностранцы, мы чувствуемъ біеніе русскаго сердца въ каждой сценкъ, въ каждой строкъ".

Разсуждая о Ломоносовъ, Пушкинъ выставилъ слъдующую заслугу Карамзина, отпосительно языка: "Карамзинъ, сказалъ онъ, освободилъ языкъ отъ чуждаго ига, и возвратилъ ему

слова". Пушкинъ, скажемъ мы, на основание его "Бориса Годунова", обладилъ, какъ художникъ, пароднымъ языкомъ, онъ сродиился съ нимъ, какъ со своею мыслію, душою, своимъ словомъ.

Допетровская Русь въ изображеніи "Бориса Годунова".

"Борисъ Годуновъ" представляетъ върпое художественное воспроизведение древней Руси въ ея главныхъ типическихъ чертахъ. Въ этомь отношенін "Борись Годуновъ" далеко еще не оцъпенъ по своему достоинству и, прибавимъ, по своему значенію въ нашей литературъ. Это произведеніе возникло въ ту пору, когда у насъ ин въ обществъ ин въ литературъ не поднимался еще вопросъ о древней русской жизни, о коренныхъ ел началахъ, не слышалось еще жалобъ на разобщенность новой русской жизни съ ея прошедишмъ. Пушкинъ не могъ предусматривать всёхъ этихъ толковъ и споровъ, и мысль его, обращаясь къ прошедшему, могла сохранить то спокойствіе и ту свободу воззржнія, которыя столь же необходимы художинку, какъ и мыслителю или историку. Въ сцепахъ своихъ онъ ничего не хочетъ доказывать, онъ только изображаетъ. Художественная истина этого изображенія состоить не въ подробностяхъ обстановки, не въ обозначении вившнихъ примътъ быта, а въ постижени внутреннихъ основъ его. Въ воспроизведени Пушкина мы чувствуемъ, какъ древняя Русь неуклонно шла своимъ путемъ, какъ мало было въ ней самой существенныхъ побужденій отрекаться отъ дальныйшаго хода, какъ глубоко, напротивъ, таплась въ ней потребность обновленія. Но съ тъмъ вмъстъ мы не чувствуемъ въ этихъ изображеніяхъ никакого отрицающаго действія со стороны поэта, никакого желанія представить вившнимъ обравомъ недостатки или несостоятельность стараго быта. Потребность перехода является здёсь какъ положительное начало самой жизни стараго времени.

Спросимъ себя, которое изъ типическихъ дицъ того времени, какъ они представлены у Пушкина, заключаетъ въ себъ что-либо враждебное этому переходу, которое изъ лицъ

выражаеть собою пачало упора и сопротивленія? Конечно, не этоть смиренный старець, который въ тиши своей кельи, въ краткіе досуги отъ молитвы, пишеть свои правдивыя сказанья; этоть старець, отрекційся отъ міра, но совершающій для него скромное, безвѣстное, по благое дѣло? Перечтите эту сцену въ кельѣ Чудова монастыря, призванную за одинъ изъ драгоцѣниѣйшихъ перловъ цѣлаго произведенія, прислушайтесь снова къ рѣчамъ добраго отшельника, къ этимъ рѣчамъ, которыя запечатлѣны всею силою художественной правды: нѣтъ, здѣсь такъ много мягкосердечія и простоты! нѣтъ, отсюда не можетъ выйти духъ сопротивленія, и мысль отсюда легко обращается къ будущему и довѣрчиво предается влекущей силѣ, въ немъ заключенной. Другимъ характеромъ запечатлѣны слѣдующія за нею сцены.

Но войдемъ въ царскія палаты. Отдёлимъ въ Борисѣ Годуновъ то, что придано ему личнымъ положеніемъ, внутреннею неправдою его власти, неправдою, изъ которой рождается династическое своекорыстіе, — отдълимъ этотъ страхъ и трепетъ за себя передъ глухимъ ропотомъ народнаго мития и самозванства, отдёлимъ также оцёпенёлость полувосточныхъ завёщанныхъ формъ, все, что такъ върно выражено Пушкинымъ, несмотря на пышность и нѣкоторую торжественность этого выраженія, вовсе, впрочемъ, не чуждыя предмету и въ основныхъ краскахъ своихъ и въ общемъ впечатлении еще боле возвышающія художественную върность изображенія, п посмотримъ, что останется въ царственной мысли. Всв, въроятно, помнять прекрасную сцену Бориса въ своемъ семействъ, кроткій образъ Ксенін, обозначенный столь немногими, но столь поэтическими чертами, и разговоръ царя съ своимъ сыномъ...

Истина изображенія здёсь такъ живо, такъ гласно гововорить сама за себя, что не требуеть исторической повёрки. Эти слова дышать всею особенностію жизни и духа времени.

Вотъ еще другое мъсто. Недовольный своими боярами и воеводами, царь обращается къ Басманову:

.... я ими недоволенъ; Пошлю тебя начальствовать надъ ними: Не родъ, а умъ поставлю въ воеводы; Пускай ихъ спесь о мъстничествъ тужитъ: Пора пресъчь миъ ропоть знатной черни И гибельный обычай уничтожить.
— Ахъ, Государь, стократь благословень Тоть будеть день, когда разрядны книги Съ раздорами, съ гордыней родословной Пожреть огонь.

День этоть недалекъ...

День этотъ, какъ мы знаемъ, насталъ, и вскорт за нимъ наставали другіе дни, въ которые тотъ же огонь пожиралъ ограды невъжества и народной исключительности. И только изъ этихъ оградъ, а не изъ существенныхъ началъ, не изъ духа жизни происходило сопротивленіе дълу обновленія, протестъ противъ сближенія народовъ, противъ великаго дъла исторіи, возводящаго вст отношенія и формы въ человтческомъ мірт къ ихъ чистотт, къ ихъ разуму и къ несомитниой опредъленности. Въ произведеніи Пушкина мы можемъ какъ бы предчувствовать, что когда придетъ часъ перехода — будетъ упоръ, но упоръ со стороны оцтвентлаго и помертвтвиаго обычая, упоръ со стороны звенящей мъди и бряцающихъ кимваловъ, со стороны хранителей формы и ревнителей обрядности. Все по истинт живое и плодотворное должно было перейти; осталось позади лишь внутренне-мертвое и негодное.

Вотъ что значить художественное изображеніе! Если бъ Пушкинъ старался проводитъ въ своихъ очеркахъ древнерусской жизин какую-либо мысль, если бы онъ хотвлъ въ инхъ что-либо доказывать, то исчезла бы истина изображенія, мы получили бы не истину жизни, а вовсе, можетъ-быть, не нужное памъ мнѣніе Пушкина, мы получили бы ложь и относительно искусства и относительно дъйствительности. Раздалось бы только лишнее горячее слово въ спорф, и только. Художнику болже всего нужно высокое безпристрастіе истины или, какъ мы выразились выше, свобода воззрвнія. Первымъ признакомъ произведенія нехудожественнаго было бы желаніе автора высказать прямо какія-нибудь мысли. Лица явились бы на сцену и высказывали бы эти мысли, высказывали бы, бытьможетъ, очень хорошо, очень живо и увлекательно; но мысли, высказываемыя не въ догическомъ развитіи, могла бы только оглупить, увлечь васъ слепо, а впутренняго, въ васъ самихъ происходящаго процесса убъжденія, никакъ не могли бы опъ произвести. Между темъ художникъ не только не навязываетъ вамъ какихъ-либо готовыхъ мыслей, но и не подводить васъ

хитро подъ ихъ вліяніе; особою, сообразною съ какими-нибудь посторонними цълями, постановкою сцены, онъ только приближаетъ къ вашему разумвнію сущность предмета и побуждаетъ васъ изображеніемъ дёла дойти до скрытыхъ въ немъ пдей, заставляеть вась самихь домыслиться до нихъ. Вамъ не сообщаются готовыя убъжденія, вамъ сообщаются элементы для убъжденія. Пименъ въ "Борись Годуновъ" ничего не говоритъ и не можетъ говорить ни въ пользу ни противъ историческаго развитія и общественнаго преобразованія; его сознаніе далеко оть этихъ вопросовъ, и вообще его жизнь не принадлежитъ міру; но въ немъ встръчаемъ мы духъ, который, чувствуемъ мы, викогда не озлобится противъ законнаго движенія міра, и который благословить всякое доброе дъло, откуда бы оно ии исходило. Но очень въроятно, что братья Мисаилъ и Варлаамъ, эти ханжи и лицемъры, изображенные Пупкимымъ съ неменьшею върностію стали бы въ эпоху Петра на сторону противниковъ реформы. Катковъ.

Развитіе дъйствія въ драмъ "Борисъ Годуновъ".

"Возьмемъ "Бориса" и при разсмотрѣніи плана этой трагедіи... постараемся открыть то зерно, изъ него же по вѣроятію и необходимости развивается все дѣйствіе. Кажется, я не ошибусь, сказавъ, что оно заключается въ томъ, что на совѣсти Бориса завелось пятно или, какъ говоритъ онъ самъ, "Единое случайно завелося".

Сцены трагедіи рѣзко распадаются на двѣ группы: одна есть строгое развитіе замысла; другія—все относящееся къ судьбѣ Григорія, насколько оно не связано съ судьбой Бориса—составляютъ эпизодъ, выпадающій изъ главнаго дѣйствія, а именно слѣдующія 3 сцены: Марины и Рузи, бала у Вишиевецкаго и у фонтана".

Про Григорія до сцены у фонтана мы знаемъ, что онъ самовольно сдёлался орудіємъ Божіей кары, что онъ приступиль, и удачно, къ совершенію своего дерзкаго замысла, и что теперь, влюбленный въ панну Марпну, медлить дёломъ.

Про Марину изъ сцены въ уборной мы узнаемъ многое, а именно, что она красива, что всъ въ нее влюбляются, что

изъ-за ея красоты даже застрѣливаются. Все это болтаетъ Рузя. Сама Марина увѣрена въ непобѣдимости своей красоты, и проинчески (какъ бы смѣясь надъ самою возможностью сомнѣнія) сомнѣвается, побѣдитъ ли царевича и станетъ ли московской царицей; она думаетъ, что самозванецъ точно царскій сынъ. Словцо Рузи, что въ народѣ его считаютъ за бѣглаго дьячка, "извѣстнаго въ своемъ приходѣ плута", задѣваетъ Марину за живое. Она съ бо́льшимъ сердцемъ, чѣмъ сдѣлала бы то въ нное время, выговариваетъ горничной и, уходя, рѣшаетъ, что ей "должно все узнатъ". Уже въ сценѣ въ уборной, хотя Марина гово́ритъ въ ней всего иѣсколько словъ, завязывается не только дѣйствіе эпизода, но одновременно и перазрывно съ нимъ и характеръ Марины. Предъ нами уже мелькнулъ образъ женщины гордой, умной, холодной.

Перехожу къ главной сценъ. Самозванецъ одинъ; онъ ждетъ объщаннаго свиданія, — свиданія, какъ ему думается, съ дъвушкой столь же страстно и беззавътно полюбившею его, какъ и онъ ее. Его пламенное желаніе осуществится черезъ мигъ; отчего же онъ чувствуетъ страхъ? Этотъ дерзкій обманцикъ, этотъ, повидимому, закалившійся во лжи человъкъ, — чего онъ можетъ страшиться? Развѣ ему трудно обольстить женщину? О, нътъ! Обольстить Марину не трудно, онъ цълый день обдумывалъ, какъ это сдълать...

Обдумываль все то, что ей скажу, Какъ обольщу ея падменный умъ, Какъ назову московскою царицей...

Чего же ему страшно? У него страхъ любви, страхъ истинпаго чувства, зародившагося въ груди; страхъ, что это, ему одному во всей полнотъ въдомое, чувство святое и дорогое, должно обнаружиться. Обольстить паниу Марину, ея "надменный умъ" не трудно, если бы не этотъ страхъ.

Но часъ насталъ, и ничего не помню, Не нахожу затверженныхъ рѣчей.

Входитъ Марина. Она пришла вовсе не затъмъ, зачъмъ единственно, по мысли Григорія, она могла прійти; она назначила свиданіе только для того, чтобъ "узнать все"; она взвъсила все, что скажетъ ему, и никакой страхъ имъющаго обнаружиться при свидавіи чувства не заставилъ ее забыть вытверженныхъ ръчей; она, конечно, нъсколько побанвается,

чтобы болтовия Рузи не оказалась правдой, по ее при этомъ нимало не запимаеть правда души Григория; ей дорога только правда сто сапа. Она надъется, что насчеть послъдняго Григорій представить въроподобныя доказательства, а потому при свиданіи ей не слъдуеть оставлять заботы окончательно плъпить влюбленнаго.

Вотъ что предстоить быть раскрытымь въ сценъ, изображеннымъ въ дъйствін. Разсмотримъ же ходъ этого дъйствія, развитіе, его повороты, его кульминаціонныя точки, его начало и конецъ.

Григорій, увидѣвъ Марину, забыль все; онъ чувствуетъ только то, что непритворно, искренио и свято живетъ въ его груди; онъ лепечетъ безъ сознанія слова любви. Марина помнитъ, зачѣмъ пришла, и какъ въ ней пѣтъ ни капли истиннаго чувства, то ей и не трудно говорить обдуманное заранъ, а обдумала она, надо сознаться, все хорошо, говоритъ удивительно умно.

Какъ, повидимому, она любитъ его! Она върптъ его любви, и если не выслушиваетъ его ръчей, то потому только, что пришла сказать иъчто болъе важное. Она ръшилась быть его женой, но не такою, какихъ мы видимъ ежедневно, "не рабой желаній легкихъ мужа", а истинною, настоящею женой, достойною его супругой, "помощницей московскаго царя". Сътакою женой могутъ ли быть у мужа тайны? Не долженъ ли онъ открыть ей "падежды, намъренья и даже опасенья" своей души? И не нъжная ли заботливость о немъ заставляетъ ее высказать все это?

О, если бы Григорій не быль такъ взволнованъ, если бъ его не мучилъ страхъ истиннаго чувства! Будь онъ просто хорошимъ женихомъ, человѣкомъ благоразумнымъ, ищущимъ хорошей партіи, достойной помощницы по управленію обширнымъ государствомъ, человѣкомъ, умѣющимъ безпристрастно взвѣсить, въ чемъ именно должны заключаться эти достоинства, — развѣ онъ не илѣнился бы этою рѣчью, не сознался бы, что его будущая жена удивительно умна, нѣжно заботлива о его судьбѣ и любитъ его разумною (какъ говорится, но какой никогда не бываетъ) любовью. Марина разочла хитро, по черезчуръ ужъ хитро.

Излишность заботливости, посившность вступить въ права достойной супруги обдають Григорія холодомъ. Онъ легко

отстраняеть этоть холодь; волнующее его чувство любви такъ сильно, сладостно, плѣнительно и такъ ново для него, что онъ молитъ ее дать забыть хоть на единый часъ заботы и тревоги его судьбы.

Дай высказать все то, чемь сердце полно!

Марина и не подозрѣваетъ, что есть такое важное чувство, какъ любовь, могущее заставить забыть все на свѣтѣ, даже высокій санъ. И она ничуть не расположена дать забыться жениху; у нея дѣло повыше этихъ забвеній, и женихъ, конечно, долженъ понять разумность ея желанія узнать всѣ его тайны. Ей нельзя однако сказать всѣ его тайны. Ей нельзя однако сказать прямо, что именно требуется узнать; надо сдѣлать это осторожно, только слегка намекнуть, и то подъ видомъ той же заботливости о немъ. Не въ немъ она сомиѣвается, но

Ужъ носятся сомнительные слухи, Ужъ новизна смѣняетъ новизну, А Годуновъ свои пріемлеть мѣры...

Годуновъ, московскій тронъ, блескъ славы, Русская держава, — Боже, какъ все это инчтожно кажется Григорію предътою повою жизнью, что зарождается и начинаетъ биться и трепетать въ его груди. Маринъ приходится высказаться ръшительнъе. Слова должны быть красивы, величественны и льстивы. Послъднее непремънно; въдь Богъ его знаетъ, кто опъ; можетъ-быть, и даже върнъе, что настоящій царевичъ (смъсть ли не-царевичъ полюбить такую знатную, какъ она, панну?) и обидъть его въ такую минуту опасно; можно разстроить такую партію, какая развъ еще разъ приснится во спъ, но наяву навърно не повторится ни разу.

Тебѣ твой санъ дороже долженъ быть Всѣхъ радостей, всѣхъ обольщеній жизни.

Неужели же онъ пе оцънить дъвушку, умьющую говорить такія вещи? Какъ она понимаеть, въ чемъ должно быть его величіе, какъ она понимаеть свое пазначеніе:

Знай, отдаю торжественно я руку Наследнику московскаго престола, Царевичу, спасенному судьбой!

Три раза она отгалкивала его чувство; трижды охлаждала его пылъ... И что она все толкуетъ о какомъ-го санф, и о какомъ-то престолъ, когда предъ нею онъ самъ со всею свъжестью и святостью величаншаго, лучшаго на землъ чувства... Страшное сомифије" закрадывается въ его душу.

Когда бъ и былъ не Іоанновъ сынъ, Не сей, давно забытый міромъ отрокъ, Тогда бъ... тогда бъ любила ль ты меня?

Марина не върить своимъ ушамъ; не ослышалась ли она, или не испытываетъ ли онъ ее? Надо отвътить немедля, сейчасъ же, и опять такъ, чтобы не обидъть его.

Димитрій ты и быть пнымъ не можешь, Другого мить любить нельзя.

Другого, то-есть не царскаго сына. Зачёмъ же я отвергала графовъ и благородныхъ рыцарей, какъ не въ падеждё на лучшую партію? Мит, панит Миншекъ, чей родъ ничьему не уступалъ, мит, первой въ мірт красавицт.

Это другого и это мню переполняють душу Григорія. Нѣть, онь не хочеть дѣлиться съ мертвецомъ

Любовницей, ему принадлежащей.

Онъ скажетъ всю правду. Ему горько и больно, что святость его чувства нарушена; ему горько и больно, что онъ вфрилъ, что она такъ же беззавътно любитъ его, какъ и онъ ес. А оказывается, что ей дорогъ какой-то санъ! Ему досадно, что онъ говорилъ съ ней о любви, и въ то же время досадно, что открылъ, кто онъ такой. А! ты думала, я царевичъ; нътъ, я бъдный черноризецъ. Я вовсе не великъ и ничего важнаго не сдълалъ; во миъ только и есть, что отвага лжи, да умънье— не важное впрочемъ — обманывать безмозглыхъ. Онъ въ горъ, злости и досадъ невольно хочетъ какъ можно болье унизить себя, чтобы тъмъ сильнъе унизить ее.

О стыдъ и горе миф! восклидаетъ Марина. Нечего разъяснять, что не высокаго полета и этотъ стыдъ, и это горе.

Григорій опоминлся, спохватился. Онъ, можетъ-быть погубиль себя, все свое "съ такимъ трудомъ устроенное счастье", то-есть устроенное вовсе не такъ легко и скоро, какъ онъ сейчасъ сказалъ въ досадъ. Онъ еще не въ силахъ думать объ этомъ счастьи, когда еще не устроено другое, важитиее.

Ему все еще върится, что она любитъ его и только устыдилась "не княжеской" любви. Онъ бросается предъ ней на колъни.

Теперь она только съ презрѣніемъ можетъ отвѣчать ему. Она холодно отвергала прекрасныхъ жениховъ не для того, чтобы выйти за бѣглаго монаха.

Онъ встаеть съ колѣнъ. И пусть онъ былъ бѣглый монахъ, пусть былъ онъ обманщикъ, все низкое и презрѣнное, что только есть на землѣ, но теперь, когда онъ позналъ святыню чувства, онъ не таковъ, онъ чуетъ въ себѣ доблесть, достойную не только такой (какъ все еще ему кажется) ничтожной вещи, какъ московскій престолъ, но даже руки любимой женщины, — величайшаго, что есть на землѣ.

Доблестей, которыя таятся Богъ ихъ въдаеть гдъ, она не знаетъ, по отлично понимаетъ, такъ сказать, паличное величіе, всъмъ видное, отъ всъхъ почтепное. А тъ таящіяся доблести,— есть ли онъ, или иътъ ихъ,— не все ли равно?

Новое глубокое оскорбленіе. Но чъмъ глубже наносимая ею рана, тъмъ сильнъе начавшійся въ немъ рость человъческаго достоинства, такъ долго спавшаго, такъ долго пренебрегаемаго имъ самимъ, и теперь пробужденнаго ея отказомъ любить его ради его самого. Конечно, онъ не чувствовалъ себя никогда въ жизни добръе, умиъе, счастливъе, какъ когда сказалъ ей:

Ты миъ была единственной святыней, Предъ ней же я притворствовать не смѣлъ.

Этого-то она и не можеть понять. Онъ сумълъ "чудесно ослъпить два народа" и признался ей... изъ любви! Можеть ли она соединить свою судьбу съ судьбой человъка, объявившаго свой позоръ "съ такой простотой, такъ вътренно". Вотъ если бъ онъ былъ достоинъ своего успъха, лгалъ до конца, тогда иное дъло. Ей кажется, что ему больше было поводовъ сознаться изъ чего угодно, изъ дружбы, отъ радости, "изъ върнаго усердія слуги", только бы не изъ любви, не изъ этого мелкаго, ничтожнаго чувства, столь ей знакомаго, которое она такъ часто могла наблюдать и которое роняло предъ нею столькихъ мужчинъ, дълало ихъ такими глупыми и емъпными и некрасивыми. Ей не зачъмъ сдерживаться, и она выльетъ всю свою желчь; ей нечего бояться оскорбить его, и чъмъ дальше, тъмъ язвительнъе ея досада. Весь виънній лоскъ воспитанной

сдержанности спадаетъ съ нея, и обнажается во всей пеприглядности прирождениая грубость.

По выдь онть еще не разлюбиль ея, и воть ея настроеніе невольно отражается въ немъ; въ его сердцѣ начинаютъ звучать тѣ же струны, что и въ ея; онъ невольно хочетъ думать, чувствовать, какъ она; искупить невольную предъ нею обиду. И съ тѣмъ вмѣстѣ, незамѣтно для него самого, святость его чувства начинаетъ пошлѣть, понижаясь до ея душевнаго уровия. То святое, чистое настроеніе, въ которомъ, — люби она его,— она могла бы удержать и спасти его, отходитъ. Онъ уже только клянется, что никто не "вымучитъ" его признаніе, что это могла сдѣлать только она. Любовь, такъ возвышавшая его за минуту, какъ начинаетъ она унижать его.

Конечно, она охотно повърила бы его клятвамъ. Въдь истинное-то, по ея мивнію, величіе, высокій санъ, могло бы сохраниться у самозванца при строгомъ соблюденіи тайны. Въдь, не откройся онъ ей или будь настоящимъ царевичемъ, отдалась же бы она нелюбимому человъку, и не все ли ей равно, прирожденный ли царь, или подставной, дастъ ей то, ради чего она считаетъ законнымъ и приличнымъ забыть и свой родъ, и стыдъ дъвичій. Но гдъ же доказательства, что клятва будетъ сохранена? Досада на открытіе, досада на разстройку такой прекрасной партіи еще не остыла; она еще не стала такъ умна, какой была въ началъ, и продолжаетъ грубо смъяться надъ нимъ.

Ея слова возбуждають снова въ Григоріи чувство достоинства, но не настоящаго уже, не истипно человѣческаго, а во вкусѣ панны Марипы, ибо заронившееся въ его душу, по отраженію, безсознательное желаніе сравняться съ нею, сдѣлаться ся достойнымъ, все болѣе и болѣе захватываетъ его душу и вытѣсняетъ изъ нея правдивость. Онъ говорилъ искренно, отъ сердца; теперь же, какъ замѣчаетъ авторская ремарка, онъ говоритъ только гордо. Тогда онъ готовъ былъ унижаться предъ своею "единственною святыней", теперь довольно. Теперь онъ опять царевичъ. Чувство у него болѣе низкое, но зато болѣе любезное паннѣ Марипъ. А то хорошее чувство онъ вырветъ, заглушитъ въ себѣ.

Къ сказанной досадъ Марины прибавляется новая: на самое себя, зачъмъ она изъ излишней пытливости упустила такого жениха. Ума въ Маринъ стало еще меньше, и она грозитъ выдать всъмъ его тайну.

По теперь, когда онъ сталъ прежнимъ Григоріемъ, какимъ быль до освятивней его на мигъ любви, такія угрозы ему не страшны. Она для него мятежница, которую заставятъ молчать. Онъ не хочеть удостоить ее взглядомъ и уходитъ. Уходитъ... Итакъ, надежда на партію рушилась, и по ея винъ. Чтобы поправить дѣло, она готова была бѣжать за нимъ. Теперь она дѣлается такъ же умна и расчетлива, какъ и въ пачалѣ сцены; находитъ прежній блестящій тонъ, снова умѣетъ польстить ему, снова выражаетъ разумно-нѣжную фальшивую заботливость. Величіе опять впереди ея, и она отдается за него кому угодно; она забудетъ свой родъ и стыдъ дѣвичій ради этого — вотъ обманцика, только бы онъ забылъ про доблести, которыя гдѣ-то таятся, а добылъ бы доблесть, всѣмъ явиую. Она, какъ набожная ученица іезунтовъ, клянется въ этомъ Богомъ. И ушла.

Погубивній свою святыню Григорій теперь нонимаєть Марину; онъ не любить ея, какъ прежде, но зато она правится ему иначе своими змънными свойствами. Онъ воображаєть даже, что и прежній страхъ и прежняя дрожь была только страхомъ, что она погубить его внѣшиее счастье. Оно спасено, и она теперь достойная супруга... самозванца — Дѣйствіе кончено, потому что начертано.

Аверкієвъ.

"Борисъ Годуновъ", какъ трагическій характеръ.

Борисъ является предъ нами въ тотъ моментъ, когда согласился принять вънецъ, избранный народною волей въ цари. Въ ръчи своей къ патріарху и боярамъ, опъ изъявляетъ желаніе быть справедливымъ; опъ молитвенно обращается къ своему предшественнику, къ Ангелу-Царю, какъ опъ его называетъ, и проситъ его благословенія:

Да правлю я во славѣ свой народъ, Да буду благъ и праведенъ, какъ ты!

Вь этомъ онъ искрененъ, по конечно далеко не таковъ, говоря боярамъ, что его душа "обнажена предъ ними", что онъ пріемлеть власть только "со страхомъ и смиреніемъ". Въ ръчи поэтому чувствуется иъкоторая раздвоенность, тотъ

тяжкій грѣхъ, въ который впаль Борисъ; мы знаемъ и причину этого грѣха (властолюбіе), по обстоятельства, при коихъ произошло его совершеніе, находятся виѣ трагедіи. О томъ, было ли убійство простымъ злодъйствомъ со стороны Бориса, или только тяжкимъ грѣхомъ, какъ мы сказали, возможно однако судить по его послѣдующимъ дѣйствіямъ, по тому, какимъ онъ является въ страданіяхъ. Борису цѣтъ счастія; его желанія и надежды рушатся; онъ думаль свой пародъ

Въ довольствіи, во славѣ успоконть, Щедротами любовь себѣ снискать,

и приходитъ къ горькой мысли, что

Живая власть для черни ненавистна, Они любить умѣють только мертвыхъ.

Что же приводить его къ такому взгляду? Народъ проклиналь его за помощь во время голода; упрекаль его за пожаръ, но того мало, что всѣ его добрыя дѣла, всѣ явныя заботы о народномъ благѣ не признаются, пли истолковываются въ дурную сторону, — его лукаво упрекаютъ.

Виновникомъ дочерняго вдовства,

на него злобно клевещуть, на него наводять многія убійства. Можеть ли большее горе постигнуть человъка, сознающаго свои достоинства, который, положа руку на сердце, смёло можеть сказать, что его дёла имёли высокую цёль человёка, который вдобавокъ хорошій семьянинь, ніжно любящій отець. Но какъ ни горько убъжденіе, что народъ умъсть любить только мертвыхъ, что власть сама по себъ ему ненавистна, какъ ни тяжелы вообще обстоятельства, обусловливающія возникновеніе такихъ мыслей, однако они сами по себѣ въ человъкъ, сознающемъ свой долгъ, - не въ силахъ уничтожить стремленіе къ совершенію діль, которыя онь считаеть дівлами достойными. Борисъ самъ чувствуетъ, что у него достало бы твердости духа, чтобы не пасть предъ такимъ испытаніемъ, что онъ могъ бы побороть возникающее отчаяние. Отчего же такая возможность не переходить въ дъйствительность? Дъло въ томъ, что его горькія думы не суть плодъ только холодныхъ наблюденій ума или горестнаго разочарованія сердца: они плодъ нецълости его души.

Оттого-то ошт и не можеть побороть возникающее отчаяніе. что необходимая для этого нравственная опора въ самомъ себъ встръчаеть непобъдимую преграду совъсти. Пусть пятно на ней завелось случайно, пусть оно будеть единымъ, но оно туть, несмываемое и въчно напоминающее о себъ; оно бередится и нелюбовью народа, и лукавою клеветой, и тъмъ сильнъе, что служить какъ бы оправданіемъ клеветы. Глубоко павшему разъ въ жизни не хотять върить, его считають на все способнымъ злодъемъ. Да, есть отчего кружиться головъ и сердцу быть налитымъ ядомъ! Злодъй старался бы заглушить голосъ совъсти, потопить его въ крови, Борисъ же изнемогаетъ предъ сознаніемъ:

Да, жалокъ тотъ, въ комъ совъсть нечиста!

Страхъ подвергнуться мученіямъ, сопряженнымъ съ "единымъ случайнымъ" пятномъ на совъсти, есть страхъ дъйствія возможнаго для насъ всъхъ, и именно такой страхъ, который, по выраженію Лессинга, заставитъ созръть состраданіе при видъ подобныхъ мученій другого.

Иныя страданія оклеветаннаго и близкаго къ отчаянію Бориса, составляющія главное обстоятельство трагедін, вытекаютъ изъ того же источника. Положимъ, что мученіе совъсти есть не только необходимое последствіе граха, но и его заслуженное паказаніе: очевидно однако, что целый рядъ усиливающихся несчастій есть обстоятельство, превышающее вину; онъ могъ последовать за грехомъ, но могъ и не последовать. Извъстіе о появленіи самозванца обрупивается на Бориса нежданно, въ минуту спокойствія, когда онъ любовно говорить съ сыномъ, увфренный, что престоль законно перейдетъ къ его наслъднику. Онъ свысока, съ ифкоторою надменностью готовится выслушать "важную въсть" Шуйскаго. Одно слово, "пустое имя" подымаеть бурю въ его душь, заставляеть трепетать все его существо. Онъ спѣшно удаляеть царевича въ предчувствін чего-то страшнаго, имфющаго совершиться, по чего именно, онъ не въ силахъ дать себъ яснаго отчета. Привычка властвовать, чувство царственности, подкръпляемыя инстинктомъ самосохраненія, не оставляють его въ эту минуту; онъ твердо отдаетъ приказъ о необходимыхъ мърахъ и хочеть затемь отпустить Шуйскаго. Овладевь такимь образомъ собою, онъ уже готовъ свысока смотръть на услышанную въсть, какъ вдругь его береть сомивніе: "а что если царевичъ живъ?" Вотъ самый важный для Бориса вопросъ, смутное предчувствіе котораго заставило его удалить сына. Если Димитрій живъ, то что дѣлать? И первое: не слѣдуетъ ли уступить ему? Во всякомъ случав, утвердительный ответь Шуйскаго разрушилъ все дело жизни Бориса. Отрицательный отвътъ "лукаваго царедворца" ясенъ, не допускаетъ и тъни сомивнія. Несмотря на муки, возбужденныя и усиленныя внезапною въстью, Борисъ со спокойною совъстью можетъ дъйствовать противъ самозванца, защищать отъ обманщика свой престоль и наследіе детей своихъ; этого требують его царственныя обязанности. Но при исполнении этихъ самыхъ обязанностей онъ наталкивается на новыя страданія, сильпъе прежняго ушибаеть больное мъсто. Такое дъйствіе оказываеть именно совътъ патріарха, повидимому столь безхитростный и столь цълесообразный. Рядъ страданій не остается безъ послъдствій для Бориса; на открытое обличеніе юродиваго Борисъ уже отвъчаетъ только: "молись за меня" и съ терпъливымъ молчаніемъ сносить страшный отвъть юродиваго.

Борису уже нечёмъ жить для себя, и царственное дёло ни мало бы не занимало его, если бы не любовь къ сыну. Эта черта съ особой силой и ясностію выражается въ предсмертной сценё, гдё Борисъ, не только перемогая физичечкія страданія, но вполнё забывая о себё, спёшитъ дать послёдніе совёты Өеодору, какъ отецъ сыну и какъ царь наслёднику. Но по волё Промысла и это самопожертвованіе Бориса разсыпается прахомъ.

"Заключительная сцена "Бориса Годунова" поэтому имѣетъ не только значеніе указанія на будущую судьбу самозванца, значеніе справедливо ей приписываемое г. Анпенковымъ, но и высоко трагическое: она рисуетъ послѣднее и конечное, посмертное несчастіе Бориса".

Аверкіевъ

Идея "Бориса Годунова" и художественный реализмъ драмы.

Трагическій конецъ Борисова царствованія является непзбѣжнымъ исходомъ изъ того ложнаго положенія, въ которое онъ

поставиль себя въ отношенін къ боярамъ и народу, при своемъ вступленіи на престолъ. По ходу драмы видно, что онъ погибъ бы и тогда, если бы и не былъ убійцею Димитрія. Поэтому ошибочно то утвержденіе, что Пушкинъ положиль въ основу своей трагедін ту мысль, заимствованную у Карамзина, что самозванецъ былъ орудіемъ небеснаго правосудія, покаравшаго цареубійцу Бориса: во-первыхъ эта мысль принадлежитъ не Карамзину, а лътописямъ т.-е. людямъ XVII в., а во-вторыхъ, она вовсе и не положена въ основу трагедіи. Не пускаясь въ отгадываніе наміреній небеснаго правосудія, Пушкинъ ищетъ причины гибели Бориса въ самихъ условіяхъ его царствованія: Борись погибъ потому, что между нимъ и народомъ не было правственнаго единенія. Нельзя признать справедливымъ и сужденіе тъхъ критиковъ, которые, сопоставляя трагедію Пушкина съ психологическими драмами Шексипра, делають нашему поэту тоть упрекъ, что онъ сделаль предметомъ художественнаго изображенія не процессъ совершенія преступленія, (какъ, напримъръ, Шекспиръ въ "Макбеть") а только его послъдствія, вслъдствіе чего въ трагедін мало драматического движенія. Представители этого взгляда признають Бориса героемъ трагедін въ томъ же смыслѣ, въ какомъ Макбетъ является героемъ въ соотвътствующей Шекспировской трагедін; но въдь это не такъ: Пушкинъ ставитъ своей задачей не только изобразить характеръ Бориса и его душевную драму, но и "воскресить одинъ изъ минувшихъ въковъ во всей его истинъ", а потому у него въ драматическомъ положеніи оказывается не Борисъ только, но и весь русскій народъ; Борисъ не герой трагедін въ обычномъ смыслѣ этого слова, а только центральный факторъ общаго действія. Вотъ почему Пушкинъ далъ въ рукописи такое заглавіе своему произведенію: "Комедія о настоящей бъдъ Московскому Государству, о царъ Борисъ и "Гришкъ Отрепьевъ", а закончиль рукопись такими словами: "конець комедін, въ ней же первая персона "Борисъ Годуновъ"; и если сопоставить эту комедію съ произведеніями Шекспира, то не съ психологическими трагедіями, а съ его историческими хрониками, какъ на это указываетъ и самъ Пушкинъ.

"Борисъ Годуновъ былъ любимымъ произведеніемъ Пушкина. Процессъ его созиданія доставилъ поэту высокое впутреннее наслажденіе, а когда трудъ былъ оконченъ, Пушкинъ съ восторженною радостію сообщаль объ этомъ Вяземскому: "Поздравляю тебя, моя радость, съ романтическою трагедіею, въ ней же первая персона Борисъ Годуновъ. Трагедія моя кончена. Я перечель ее вслухъ одинъ и билъ въ ладоши и кричаль: ай да Пушкинъ"! Онъ смотрѣлъ на дѣло такъ, что его трагедія должиа повліять "на преобразованіе драматической системы нашей": онъ противополагаль свою трагедію — въ качествъ романтической — классическимъ трагедіямъ, которыя въ то время еще твердо держались и въ литературъ, и на сценъ, и видѣлъ въ своей трагедіи торжество избраннаго романтизма.

Однако такъ ли это? была ли его трагедія торжествомъ реализма? Самъ же Пушкниъ говоритъ, что онъ въ своей трагедін не гнался за романтическимъ навосомъ, а старался дать правильное изображение характеровъ и положений, слъдуя въ этомъ отношенін Шекспиру; след., художественная правда вотъ характеристическая черта его трагедіи, какъ и Шекспировскихъ произведеній; но это — такая черта, которая характеризуетъ собою не только романтизмъ, сколько то направленіе, которое извъстно теперь подъ названіемъ художественнаго реализма. Трагедія "Борисъ Годуновъ" по своему характеру должна быть отнесена къ этому направленію, и если Пушкинъ причислялъ ее къ трагедіямъ романтическимъ, то это потому, что, не находя готоваго термина для обозначенія своего литературнаго направленія, онъ видоизміниль понятіе о романтизмъ и въ этомъ измъненномъ видъ прилагалъ его къ своей трагедін: онъ разумьль подъ истиннымъ романтизмомъ то, что мы теперь обозначили бы именемъ художественнаго реализма. Вотъ почему романтическій павосъ не вошелъ у него въ опредъление романтизма въ качествъ существеннаго признака этого направленія. Вліяніе дъйствительнаго романтизма сказалось, можетъ-быть, только въ изображени характера самозванца; но этотъ характеръ занимаетъ второстепенное мъсто въ трагедін. Не романтикомъ, а правдивымъ художникомъ-реалистомъ является Пушкинъ въ своихъ произведеніяхъ, написанныхъ въ Михайловскомъ, какъ въ "Борисъ Годуновъ", такъ и въ "Евгеніи Онъгинъ".

Кудрявцевт.

Характерныя черты "Моцарта и Сальери", какъ драматическаго очерка.

Сальери — талантливый, но не геніальный, человъкъ; не безъ труда, унорнаго труда ему дается все. Ему нужно было много терпънія, чтобы стать извъстнымъ музыкантомъ; много минутъ отчаянія пришлось пережить раньше, чъмъ достигнуть цъли. Сальери глубоко любитъ музыку; онъ ее любитъ тъмъ сильнъе, чъмъ больше труда положилъ онъ на обладаніе этимъ искусствомъ. Онъ первый между равными, и нътъ человъка, которому онъ могъ бы завидовать. Но такія патуры, какъ Сальери, не выносятъ рядомъ съ собой людей геніальныхъ; ихъ оскорбляетъ чужое превосходство, обижаетъ особенно потому, что успъхъ достался геніальному человъку, можно сказать, задаромъ, тогда какъ они затратили столько труда для достиженія меньшаго. Сальери встръчаєтъ Моцарта, и его душевный покой нарушенъ.

Я счастливъ былъ: я наслаждался мирно Своимъ трудомъ, успѣхомъ, славой, также Трудами и успѣхами друзей, Товарищей моихъ въ искусствъ дивномъ. Нѣтъ! никогда я зависти не зпалъ!...

Кто скажеть, чтобъ Сальери гордый быль Когда-нибудь завистникомъ презрѣннымъ, Змѣей, людьми растоптаниою, вживѣ Песокъ и пыль грызущею безсильно? Никто!... А ныпѣ — самъ скажу — я нынѣ Завистникъ! Я завидую; глубоко, Мучительно завидую. О небо! Гдѣ жъ правота, когда священный даръ, Когда безсмертный геній — не въ награду. Любви горящей, самоотверженья, Трудовъ, усердія, моленій посланъ, А озаряеть голову безумца, Гуляки празднаго?... О Моцартъ, Моцартъ!

"Небольшой монологь этотъ превосходно рисуетъ зарожденіе страшнаго чувства въ душт артиста, витетт съ тъмъ вы видите всю естественность, правдивость появленія зависти въ человъкъ подобномъ Сальери — вамъ здтсь становится совершенно понятнымъ это чувство, вообще не очень нонятное.

и почеволъ кажутся справедливыми тъ упреки, которые посылаетъ завистникъ судьбъ. Нельзя также не замътить, что зарождение чувства зависти въ Сальери заставляетъ его глубоко страдать. Онъ мучится въ борьбъ со своею совъстью, желаетъ оправдать въ себъ это чувство, вызванное несравненнымъ превосходствомъ надъ нимъ Моцарта, тъмъ, что Моцартъ "безумецъ", гуляка праздный".

А этотъ легкомысленный Моцартъ съ своей стороны дълаетъ все, чтобы только усилить въ своемъ неподозрѣваемомъ врагъ зависть къ себъ и злобу. Непосредственно затъмъ, какъ Сальери произнесъ вышеупомянутый монологъ, является Моцартъ съ слѣпымъ скрипачомъ, чтобы угостить его искусствомъ. "Нътъ, мой другъ Сальери, смъшнъе отъ роду ты пичего не слыхаль!" Оказывается, что слепой музыканть самымъ безобразнымъ образомъ исполняетъ арію изъ "Донъ Жуана" Моцарта. Моцартъ хохочетъ. Между тъмъ Сальери видить въ этомъ исполнении оскорбление искусству. Онъ глубоко оскорбленъ; замътъте, что оскорбление это падаетъ уже на хорошо подготовленную почву, а туть еще Моцарть играеть ему новое свое произведение и проситъ сказать свое мижние. Сальери настолько преданъ музыкъ, такъ способенъ подчиняться ея впечатленію, что не въ силахъ скрыть своего впечатленія. Опъ восхищень, но это-то восхищеніе и служить послъднею каплею для окончательнаго возбужденія въ немъ чувства зависти. Этотъ восторгъ возбуждаетъ его къдъйствію, побуждаетъ къ преступленію.

Въ слѣдующей сценъ онъ приводить въ исполнение свое намърение. Во время разговора о Бомарше онъ всыпаетъ ядъ въ бокалъ Моцарта, послѣдий самъ даетъ толчокъ къ исполнению задуманнаго. Подтверждая мнъние Сальери о невъроятности обвинения, возводимаго на Бомарше, Моцартъ говоритъ:

Онъ же геній, Какъ ты, да я! А геній и злодъйство Двъ вещи несовиъстныя. Не правда ли?

А вѣдь Сальери, воображающій себя геніемъ задумаль злодѣйство и потому усматриваетъ въ словахъ Моцарта обиду. Онъ всыпаетъ ядъ. Дѣло сдѣлано. Чувство, напряженное до крайней степени, удовлетворено. Наступаетъ реакція, начинающаяся истерическимъ кризисомъ. Звуки Requiem'a усиливають настроеніе не то радостное, не то тоскливое. Сальери плачеть:

...Эти слезы (говорить онь)
Впервые лью: и больно и пріятно
Какъ будто тяжкій совершиль я долгь,
Какъ будто ножъ цѣлебный миѣ отсѣкъ
Страдавшій членъ! Другъ Моцартъ, эти слезы...
Не замѣчай ихъ. Продолжай, спѣши,
Еще наполнить звуками мнѣ душу.

Но Моцартъ ссылаясь на нездоровье, уходитъ спать. Сальери провожаетъ его словами: "Ты заснешь надолго, Моцартъ!" Но тутъ онъ вспоминаетъ слова его. Въ душѣ его начинается новая страшная борьба. Мелькомъ брошенное замѣчаніе Моцарта, что "геній и злодѣйство двѣ вещи несовмѣстныя", страшно звучитъ въ душѣ его. Онъ только что совершилъ злодѣйство.

Но ужель онъ правъ (восклицаеть онъ), И я не геній? Геній и злодѣйство Двѣ вещи несовмѣстныя. Неправда: А Бонаротти?... Или это сказка Тупой, безсмысленной толпы— и не быль Убійдею создатель Ватикана!

"Въ такомъ мучительномъ психическомъ состояніи оставляетъ нашъ авторъ своего героя. Моцартъ, нехотя, отомстилъ за себя, заронивъ въ душу Сальери новое мучительное сомнѣніе, которое надолго, а можетъ-быть навсегда, не дастъ ему заснуть спокойно. Моцартъ заръзалъ сонъ Сальери. можемъ сказать мы словами Макбета. Мы знаемъ, какъ Сальери впечатлителенъ и подозрителенъ ко всему, что только касается его славы, а тутъ такое ужасное сомнѣніе, которое при этомъ явилось вполнѣ неожиданно и совершенно непамѣренно, небрежно заброшено въ его подозрительную душу. Положеніе Сальери вполнѣ трагическое".

Вотъ вамъ и весь этотъ драматическій очеркъ. Онъ по простоть, несложности своего сюжета не можетъ имьть себь соперника. А между тымъ по изяществу, изобразительности картинъ и живости дъйствія онъ принадлежитъ къ перламъ созданія. Вмысть съ тымъ и развязка драмы, кроющаяся въ послыднихъ мучительныхъ сомивніяхъ Сальери, поражаетъ своей естественностью и силой. Яковлевт.

Идея "Моцарта и Сальери".

"Моцарть и Сальери" — цълая трагедія, глубокая, великая, ознаменованная печатью мощнаго генія, хотя и небольшая по объему. Ея идея — вопросъ о сущности и взаимныхъ отношеніяхъ таланта и генія. Есть организаціи несчастныя, недоконченныя, одаренныя сильнымъ талантомъ, пожираемыя сильною страстью къ искусству и къ славъ. Любя искусство для искусства, онъ приносять ему въ жертву всю жизнь, всъ радости, вев надежды свои; съ неввроятнымъ самоотверженіемъ предаются его изученію, готовы пойти въ рабство, закабалить себя на несколько леть какому-нибудь художнику, лишь бы онъ открыль тайны своего искусства. Если такой человъкъ положительно бездаренъ и ограниченъ, изъ него выходить самодовольный Тредьяковскій, который и живеть и умпраетъ съ убъжденіемъ, что онъ — великій геній. Но если это человъкъ дъйствительно съ талантомъ, а главное — съ замвчательнымъ умомъ, съ способностью глубоко чувствовать, понимать и цънпть искусство — изъ него выходить Сальери. Для выраженія своей идеи, Пушкинъ удачно выбраль эти два типа. Изъ Сальери, какъ мало извъстнаго лица, онъ могъ сдълать, что ему угодно; но въ лицъ Моцарта онъ исторически удачно выбралъ безпечнаго художника, "гуляку празднаго". У Сальери своя логика: на его сторонъ своего рода справедливость, парадоксальная въ отношенін къ истинъ, но для него самого оправдываемая жгучими страданіями его страсти къ искусству, не вознагражденной славою. Изъ всъхъ болъзненныхъ стремленій, страстей, странностей самыя ужасныя тв, съ которыми, родится человъкъ, которыя, какъ проклятіе, получилъ онъ при рожденіи вмъстъ съ своею кровью, своими нервами, своимъ мозгомъ. Такой человъкъ — всегда лицо трагическое; онъ можетъ быть отвратителенъ, ужасенъ, но не смъшонъ. Его страсть — родъ помъщательства при здравомъ состояніи разсудка. Сальери такъ уменъ, такъ. любить музыку и такъ понимаетъ ее, что сейчасъ поняль, что Моцартъ — геній, и что онъ, Сальери, ничто предъ нимъ. Сальери былъ гордъ, благороденъ и инкому не завидовалъ. Пріобрътенная имъ слава была счастіемъ его жизни: онъ ничего больше не требовалъ у судьбы, - и вдругъ, видитъ

онъ "безумца, гуляку празднаго", на челѣ котораго горитъ помазаніе свыше...

О небо!

Гдѣ жъ правота, когда священный даръ, Когда безсмертный геній — не въ награду Любви горящей, самоотверженья, Трудовъ, усердія, моленій посланъ, А озаряеть голову безумца, Гуляки празднаго?... О Моцартъ, Моцарть!

Моцарть является со всею простотою, веселостью, шутливостью, съ возможнымъ отсутствіемъ всёхъ претензій, какъ геній, по своему простодушію не подозрѣвающій собственнаго величія или не видящій въ немъ пичего особеннаго. Онъ приводить собою къ Сальери, слѣпого скрипача-нищаго и велить ему сыграть что-нибудь изъ Моцарта. Сальери въ бѣшенствѣ на эту профанацію высокаго искусства. Моцартъ хохочеть, какъ шаловливый ребенокъ, потомъ играетъ для Сальери фантазію, набросанную имъ на бумагу въ безсонную ночь, — и Сальери восклицаетъ въ ревнивомъ восторгѣ:

Ты, Моцартъ, богъ, и самъ того не знаешь; H знаю, \mathfrak{A} .

Моцартъ отвъчаетъ ему ревинво:

Ба! право? можеть быть... По божество мое проголодалось.

Замътьте: Моцартъ не только не отвергаеть подносимаго ему другими титла генія, но и самъ называеть себя геніемъ. вмъстъ съ тъмъ называя геніемъ и Сальери. Въ этомъ видны удивительное добродупие и безпечность: для Моцарта слово "геній" ни по чемъ; скажите ему, что онъ гепій, онъ преважно согласится съ этимъ; пачинайте доказывать ему, что онъ вовсе не геній, — онъ согласится и съ этимъ, и въ обоихъ случаяхъ равно искренно. Въ лицъ Моцарта Пушкинъ представиль типъ непосредственной геніальности, которая проявляетъ себя безъ усилія, безъ расчета на успъхъ, нисколько не подозръвая своего величія. Нельзя сказать, чтобы всъ геніп были таковы; но такіе особенно невыпосимы для талантовъ въ родъ Сальери. Какъ умъ, какъ сознаніе, Сальери гораздо выше Моцарта; но какъ сила, какъ непосредственная творческая сила, онъ ничто передъ нимъ... И потому самая простота Монарта, его неспособность ценить самого себя еще

больше раздражають Сальери. Онь не тому завидуеть, что Моцарть выше его, — превосходство онь могь бы вынести благородно, потому что онь ничто передъ Моцартомъ, потому что Моцартъ геній, а таланть передъ геніемъ — пичто... И воть онь твердо рѣшается отравить его. "Иначе", говорить онь: "мы веѣ погибли, мы — всѣ жрецы и служители музыки. И что пользы, если онъ останется еще жить? Вѣдь онъ не подыметь искусства еще выше? Вѣдь оно опять падеть послѣ его смерти?" Воть она логика страстей!...

За объдомъ въ трактиръ Моцартъ случайно спросилъ Сальери, правда ли, что Бомарше кого-то отравилъ. Какъ истиный итальянецъ, Сальери отвъчаетъ, что едва-ли, потому что Бомарше былъ слишкомъ смъшонъ для такого ремесла. Моцартъ дълаетъ при этомъ наивное замъчаніе:

Онъ же геній, Какт ты, да я! А геній и злодъйство— Двъ вещи несовмъстныя. Не правда ль?

Эта выходка ускорила рѣшимость Сальери. Здѣсь Пушкивъ поражаетъ васъ Шекспировскимъ знаніемъ человѣческаго сердца. Въ простодушныхъ словахъ Моцарта было соединено все жгучее и терзающее для раны, которою страдалъ Сальери. Онъ зпалъ себя, какъ человѣка способнаго на злодѣйство, а между тѣмъ самъ геній говоритъ, что геній и злодѣйство несовмѣстны, и что. слѣдовательно, онъ Сальери, не геній! А! такъ я не геній? Вотъ же тебѣ, — и ядъ брошенъ въ стаканъ генія... Но когда Моцартъ выпилъ, Сальери, какъ бы съ смущеніемъ и ужасомъ, восклицаетъ:

Постой, Постой... Ты выпиль! безъ меня?

Это опять истинно-драматическая черта! По воть одна изъ тъхъ смълыхъ, обнаруживающихъ глубочайшее знаніе челоческаго сердца чертъ, которыя никогда не могутъ прійти въ голову таланту, всегда живущему "плѣнной мысли раздраженьемъ", и на которыя никогда онъ не рѣшится если бъ, онъ и могли прійти къ нему; это Сальери, съ умиленіемъ слушающій Requiem Моцарта и говорящій ему:

Эти слезы Впервые лью: и больно, и пріятно, Какъ будто тяжкій совершиль я долгь, Какъ будто ножь цѣлебный мнѣ, отсѣкъ Страдавшій членъ! Другъ Моцартъ, эти слезы... Не замѣчай ихъ. Продолжай, спѣши Еще наполнить звуками мнѣ душу...

Какъ поразительны эти слова своимъ характеромъ умиленія, какою-то нѣжностью къ Моцарту! "Другъ Моцартъ": видите ли, убійца Моцарта любитъ свою жертву, любитъ ее художественною половиной души своей, любитъ ее за то же самое, за что и ненавидитъ... Только великіе, геніальные поэты умѣютъ находить въ тайникахъ человѣческой натуры такія странныя, повидимому, противорѣчія и изображать ихъ такъ, что становятся намъ понятными безъ объясненій...

Послъднія слова Сальери, когда по уходъ Моцарта, остался онъ одинъ, художественно округляютъ и замыкаютъ въ самой себъ сцену:

Ты заснешь
Надолго, Моцарть! Но ужель онъ правъ,
И я не геній? Геній и злодѣйство —
Двѣ вещи песовмѣстныя. Неправда:
А Бонаротти?.. Или это сказка
Тупой, безсмысленной толпы — и не былъ
Убійцею создатель Ватикана?

Какая глубокая и поучительная трагедія! Какое огромное содержаніе и въ какой безконечно-художественной формѣ! Но намъ предстоитъ переходить отъ одного чуда искусства къ другому, и тяжесть взятой нами на себя обязанности смущаетъ насъ своею несоразмѣрностью съ нашими силами.

Бълинскій.

Скупой рыцарь.

Нечего говорить объ идеф поэмы "Скупой рыцарь": она слишкомъ ясна и сама по себъ и по знанію поэмы. Страсть скупости — идея не новая, но геній умъетъ и старое сдълать новымъ. Идеалъ скупца одинъ, но типы его безконечны различны. Плюшкинъ Гоголя гадокъ, отвратителенъ — это — лицо комическое; баронъ Пушкина ужасенъ — это лицо трагическое. Оба они страшно истинны. Это не то, что скупой Мольера — реторическое олицетвореніе скупости, карикатура, памфлетъ. Нътъ, это лица страшно истинныя, заставляющія

содрогаться за человъческую природу. Оба они пожираемы одною гнустною страстью, все-таки нисколько одинъ на другого не похожи, потому что и тотъ и другой — не аллегорическое олицетвореніе выражаемой ими идеи, по живыя дица, въ которыхъ общій порокъ выразился индивидуально, дично. Мы сказали, что скупой Пушкина — лицо трагическое. Альберъ говоритъ жиду: когда мнѣ будетъ пятьдесятъ лѣтъ, на что мнѣ тогда и деньги?

Жидъ.

Деньги? — Деньги Всегда, во всякій возрасть намь пригодны; Но юноша вь нихь ищеть слугь проворныхь. И не жалья шлеть туда, сюда, Старикь же видить въ нихь друзей надежныхь И бережеть ихь, какъ зъницу ока.

Альберъ.

О! мой отець не слугы и не друзей Въ нихъ видить, а господъ; и самь имъ служить, И какъ же служить? какъ алжирскій рабъ, Какъ песь цёпной. Вт нетопленной конурт Живетт, пьетт воду, петт сухія корки, Всю ночь не спитт, все бытаетт да лаетт.

Въ этомъ портретъ мы видимъ лицо чисто комическое; но сойдемъ въ подвалъ, гдъ этотъ скряга любуется своимъ золотомъ, и пусть поэтъ багровымъ заревомъ своего поэтическаго факела освътитъ намъ мрачныя бездны сердца своего героя: мы содрогнемся отъ трагическаго величія гнусной страсти скупости; мы увидимъ, что она естественна, что у ней есть логика. Любуясь своимъ золотомъ, старый баронъ восклицаетъ:

Что не подвластно мнё?... Какъ нѣкій демонъ, Отселѣ править міромъ я могу; Лишь захочу — воздвигнутся чертоги; Въ великолѣпные мон сады Сбѣгутся нимфы рѣзвою толпою; И музы дань свою мнѣ принесутъ, И вольный геній миѣ поработится, И добродѣтель, и безсонный трудъ Смиренно будуть ждать моей награды. Я свистну — и ко мню послушно, робко Вползетъ окрававленное злодыйство, И руку будетъ мню лизать, и въ очи Смотръть, въ нихъ знакъ моей читая воли.

Мнѣ все послушно, я же — инчему; Я выше всѣхъ желаній; я спокоенъ; Я знаю мощь мою: съ меня довольно Сего сознанья...

Ужасно, потому что истивно! Да, въ словахъ этого отверженца человъчества, къ несчастію все истинио, кромъ того, что не въ его водъ пожедать многое изъ того, что могъ бы онъ выполнить. Въ этомъ и заключается наказание за порокъ скупости. Скупецъ раскрываетъ всъ свои сундуки и зажигаетъ (ужасное мотовство!) по свъчъ передъ каждымъ изъ нихъ. Это его сладострастіе, его оргія! При видъ освъщенныхъ грудъ золота, онъ приходитъ въ сатанинскій восторгъ, и въ патетической ръчи обнажаетъ передъ пами страшныя тайны страшивишей изъ человъческихъ страстей. Золото кумиръ этого человъка, онъ исполненъ къ нему поэтическаго чувства, говорить о немъ языкомъ благоговънія, служить ему, какъ преданный, усердный жрецъ! Расточить его паслъдство, по его мивнію, значить разбить священные сосуды, напонть грязь царскимъ елеемъ... Онъ смотритъ еще на золото, какъ молодой, пылкій человѣкъ на женщину, которую опъ страстно любить, обладание которою онь купиль ценою страшнаго преступленія и которая тімь дороже ему. Онъ хотіль бы спрятать ее отъ "недостойныхъ взоровъ", его ужасаетъ мысль, чтобы она не припадлежала кому-нибудь послъ его смерти.

По выдержанности характеровъ (скряги, его сына, герцога, жида), по мастерскому расположенію, по страшной силѣ павоса, по удивительнымъ стихамъ, по полнотѣ и оконченности, — словомъ, по всему, эта драма — огромное, великое произведеніе, вполнѣ достойное генія самого. Шекспира.

Бълинскій.

Отношение Пушкина къ античному міру-

Гомеръ.

Слышу умолкнувшій звукъ божественной эллинской різчи; Старца великаго тізнь чую смущенной душой.

Еще въ родительскомъ домѣ, до поступленія своего въ Лицей, Пушкинъ прочелъ въ переводѣ Битобе обѣ поэмы Гомера: Въ Лицеѣ подъ руководствомъ Кошанскаго онъ изучалъ греческаго поэта по переводу Кострова. Въ посланіп "Городокъ" поэтъ сообщаеть намъ, что въ его библіотекъ

> На полкѣ за Вольтеромъ Виргилій, Тассъ съ Гомеромъ, Всѣ вмѣстѣ предстоятъ.

Между Пушкинымъ и Гомеромъ есть много родственнаго: Пушкинъ ясенъ и простъ, какъ Гомеръ, и оба художника смотрятъ на міръ одинаково дѣтскими очами. Въ своемъ романѣ "Евгеній Онѣгинъ", герой котораго бранилъ Гомера, поэтъ такими шутливыми словами характеризуетъ великаго эпика —

... замѣчу въ скобкахъ, Что рѣчь веду въ моихъ строфахъ Я столь же часто о пирахъ, О разныхъ кушаньяхъ п пробкахъ, Какъ ты, божественный Омиръ, Ты, тридцати вѣковъ кумиръ!

Пушкинъ даже выставляетъ себя соперникомъ Гомера въ описаніи пировъ:

Въ пирахъ готовъ я непослушно Съ твоимъ бороться божествомъ.

Хотя въ другомъ мъстъ говорить:

Я не Гомерь: въ стихахъ высокихъ Онъ можетъ васпѣвать одинъ Обѣды греческихъ дружинъ И звонъ и пѣну чашъ глубокихъ.

Однако Пушкинъ уступаетъ Гомеру пальму первенства въ изображеніи героевъ:

Но, признаюсь великодушно,
Ты (т.-е. Гомеръ) побъдилъ меня въ другомъ:
Твои свиръпые герои,
Твои неправильные бои.
Твоя Киприда, твой Зевесъ
Большой имъютъ перевъсъ,
Передъ Онъгинымъ холоднымъ.

Но Таня (присягну) милѣй Елены пакостной твоей, — Никто и спорить тутъ не станетъ, Хоть за Елену Менелай Сто лѣтъ еще не перестанетъ Казнить фригійскій бѣдный край, Хоть вкругь почтеннаго Пріама Собранье стариковъ Пергама, Ее завидя, вновь рѣшить: Правъ Менелай и правъ Паридъ.

Гомера Пушкинъ ставилъ неизмъримо выше Пиндара потому именно, что восторгъ, создающій оды, непродолжителенъ, непостояненъ, слъдовательно не въ силахъ произвесть истинное, великое совершенство, каковыми являются эпопеи Гомера (ср. V, 17), у котораго важная и върная гармонія (V, 98).

Совершенно случайное знакомство Пушкина съ Гнъдичемъ,

который воскресиль Ахилла призракъ ведичавый,

побудило поэта съ напряженнымъ вниманіемъ следить за выходомъ въ свъть всъми ожидаемаго перевода Иліады. Пушкинъ познакомился съ Гибдичемъ въ засъданіяхъ общества такъ называемой "Зеленой лампы", гдв въ одномъ изъ первыхъ свиданій съ Гибдичемъ, на вопросъ последняго, какъ нравится ему переводъ "Иліады", начатый первоначально александрійскими стихами, Пушкинъ, какъ передаютъ, отвъчалъ неодобрительнымъ экспромтомъ, замътивъ въ названномъ переводъ жесткость и шероховатость стиха. Живя въ Кишиневъ, "бессарабскій пустынникъ" (VII, 69) писалъ Гивдичу (12 мая 1822 г.): "Что дълаетъ Гомеръ? Давно не читалъ я ничего прекраснаго"... Такимъ образомъ ожидаемый переводъ Гомера и настоящее наслаждение этимъ прекраснымъ памятниковъ древнихъ эллиновъ, о которомъ поэту не мало сообщиль въ Лицев его наставникъ — Кошанскій, въ понятіи Пушкина были нераздъльны. Въ другомъ письмъ (VII, 75) отъ 23 февраля 1825 г. поэтъ писалъ Гифдичу изъ Михайловскаго: "Братъ говорилъ миъ о скоромъ совершенія (ср. VII, 172 и 284) вашего Гомера. Это будетъ первый, классическій, европейскій подвигъ въ нашемъ отечествъ... Но, отдохнувъ послъ Иліады, что предпримите вы въ полномъ цвътъ генія, возмужавъ въ храмъ Гомеровомъ, какъ Ахиллъ въ вертепъ Кентавра?" Въ томъ же году (21 марта 1825 г.) Пушкинъ писалъ А. А. Бестужеву: "Гитдичъ въ тишинт своего эпикурейскаго кабинета совершаеть свой подвигь: посмотримь, когда появится его Гомеръ" (VII, 172). Черезъ пять лѣтъ послѣ написанія приведенныхъ строкъ наступило "совершеніе Гомера", н поэтому случаю Пушкинъ писалъ (6 япваря 1830 г.", VII, 76): "Незнаніе греческаго языка мѣшаетъ миѣ приступить къ полному разбору Иліады вашей. Онъ не нуженъ для вашей славы, по быль бы нужень для Россіп". Восторгь, съ какимъ встръчена Иліада былъ неописанный; выражаясь словами Гоголя (объ Одиссев, переводимой Жуковскимъ, III, 360) передъ глазами Пушкина предсталъ во всемъ величіи старецъ Гомеръ, и слышались тъ величавыя, въчныя ръчи, которыя не принадлежать устамь какого-нибудь человека, но которыхъ удълъ въчно раздаваться въ міръ...

Пушкинъ привътствоваль выходъ Иліады (1830 г.) извъстнымъ двустишіемъ:

Слышу умолкнувшій звукъ божественной эллинской рѣчи; Старца великаго тѣнь чую смущенной душой.

Въ стихотвореніи къ Н. (императору Николаю Павловичу), какъ это значится въ одномъ письмѣ Гоголя въ Жуковскому; стихотвореніе написано по случаю поздияго выхода императора на балъ въ Аничковскомъ дворцѣ, послѣ чтенія Пліады въ своемъ кабинетѣ читаемъ:

Съ Гомеромъ долго ты бесѣдовалъ одинъ; Тебя мы долго ожидали; И свѣтелъ вышелъ ты съ таинственныхъ вершинъ...

У Пушкина имѣемъ замѣтку (1830 г.) "О выходѣ Иліады въ переводѣ Гнѣдича"; на эту замѣтку, вызвавшую неумѣстную выходку со стороны критики, выходку, изобличающую въ авторѣ послѣдией мало художественнаго вкуса и педостаточное знакомство съ литературнымъ памятникомъ, Пушкинъ вынужденъ былъ дать "Объясненіе въ замѣткѣ объ Иліадѣ" (V, 95 сл.). Въ этомъ объясненіи признается несомпѣнная важность перевода Иліады, при чемъ значеніе этого великаго труда не можетъ подорвать никакая интрига. Самая замѣтка такова: "Наконецъ вышелъ въ свѣтъ такъ давно и такъ петерпѣливо ожидаемый переводъ Иліады!... когда люди пре-

небрегають образцами величавой древности, съ чувствомъ глубокимъ уваженія и благодарности взираемъ на поэта, посвятившаго гордо лучшіе годы жизни исключительному труду, безкорыстнымъ вдохновеніямъ и совершенію единаго, высокаго подвига. Русская Иліада передъ нами. Приступаемъ къ ея изученію дабы со временемъ отдать отчеть нашимъ читателямь о книгф, долженствующей имфть столь важное вліяніе на отечественную словеспость" (V, 76). И Гомера Пушкинъ дъйствительно изучалъ (ср. VII, 88, 92 и др.), но отчета о переводъ Гиъдича онъ не далъ по причинамъ, вполнъ понятнымъ: Пушкинъ не знадъ греческаго языка, какъ и самъ онъ не разъ признается въ этомъ, не зналъ, по крайней мъръ, настолько, чтобы правильное могь оценить трудъ переводчика, и цвинль его, какъ художникъ, чутьемъ понимавшій духъ оригинала. Гомера Пушкинъ читалъ съ удовольствіемъ и любилъ приводить изъ него стихи; такъ, вспоминая въ своемъ путешествін въ Арзерумъ пированія Пліады (ср. VII, 4), поэтъ приводитъ стихъ Гомера (ср. II. III, 146 sq.)

... и въ козінхъ мѣхахъ вино, отраду нашу.

Очевидио, Пушкинъ былъ глубоко убъжденъ, что "Гомеры, Данты, Софоклы, Шекспиры, Шиллеры, Расины, Державины, несмотря на различіе ихъ формъ, рода, въры и нравовъ, всъ созидали изящное и для всъхъ въковъ (ср. V, 364), и что "блескъ наружный можетъ заржавъть, но истинная красота не поблекиетъ никогда. Омиръ, Виргилій, Мильтонъ, Расинъ, Вольтеръ, Шекспиръ, Тассо и многіе другіе читаны будутъ, доколь не истребится родъ человъческій" (V, 215).

Апакреонъ.

Подайте гроздъ Анакреона: Онъ былъ учителемъ моимъ, И я сойду путемъ однимъ На грустный берегъ Ахерона.

Имя Анакреона весьма часто встръчается въ раннихъ произведеніяхъ Пушкина, которыя, въ большинствъ случаевъ, являются подражаніемъ любовной и вакхической лирикъ. "Это собраніе его мелкихъ стихотвореній", пишетъ Гоголь (II, 108), "рядъ самыхъ ослъпительныхъ картинъ. Это тотъ самый міръ, который такъ дышитъ чертами, знакомыми однимъ древнимъ, въ которомъ природа выражается такъ же живо, какъ въ струћ какой-нибудь серебряной рѣки, въ которомъ быстро и ярко мелькаютъ ослѣпительныя плечи или бѣлыя руки; или алебастровая шея. обсыпанная ночью темныхъ кудрей, или прозрачная гроздь впиограда, и мирты, и древесная сѣнь, созданная для жизни. Тутъ все: и наслажденіе, и простота, и мгновенная высокость мысли, вдругъ объемлющая священнымъ холодомъ вдохновенія читателя".

Анакреонъ былъ учителемъ Пушкина, въ этомъ признается самъ поэтъ; онъ пишетъ въ своемъ "Завъщаніи" (1814—I, 101):

Когда востокъ озолотится Во тьмѣ денницей молодой, И бѣлый тополь озарится, Покрытый утренней росой — Подайте гроздъ Анакреона; Онъ былъ учителемъ моимъ, И я сойду путемъ однимъ На грустный берегъ Ахерона.

Мысль стихотворенія "Гробъ Анекреона" (І, 104 сл.), написаннаго въ подражаніи Парни, заимствована изъ 1-ой оды Анакреона.

Въ стихотвореніи "Фіалъ Анакреона" (І, 130,—1816 г.) поэть разсказываеть, какъ онъ ходиль на поклопеніе въ дальній Пафось и тамъ, въ уборной Венеры, видъль фіаль "тінскаго пѣвца" Анекреона, наполненный свѣтлой влагой и убранный вѣнкомъ изъ розъ, плюща и миртъ; этоть вѣнокъ пледа сама парица наслажденій. На краю чаши сидѣлъ Амуръ, грустно смотрѣвшій на пѣнистую влагу, поэтъ спросиль проказника Купидона, что онъ такъ присмирѣлъ. Тогда коварный богъ отвѣтилъ, что, рѣзвясь, онъ бросиль въ это море свой колчанъ, лукъ и стрѣлы, и такъ какъ не умѣетъ самъ плавать, то просиль бы его достать ихъ, но поэтъ отъ этого отказался, сказавъ:

Спасибо, что упали, Пускай тамъ остаются: Тъмъ лучше для меня!

Въ разговоръ поэта съ книгопродавцемъ (1824 г.) читаемъ:

Сердце женщинъ славы просить, Для нихъ пишите; ихъ ушамъ Пріятна лесть Анакреона. Между анакреонтическими стихотвореніями Пушкина слъдуєть различать его подраженія Анакреону отъ собственныхъ переводовъ. Изъ первыхъ извъстна передълка — подражаніе 58-й одъ Анакреона, писанное поэтомъ во время его пребыванія въ Малинникахъ, вдали отъ суетнаго свъта, среди роскошной сельской природы. Вотъ это подражаніе —

Кобылица молодая, Честь кавказскаго тавра, Что ты мчишься, удалая? И тебъ пришла пора! Не косись пугливымъ окомъ, Ногь на воздухъ не мечи, Въ полъ гладкомъ и шпрокомъ Своенравно не скачи. Погоди, тебя заставлю Я смприться предо мной: Въ мърный кругъ твой бъгъ направлю Укороченной уздой.

Нижеслъдующее стихотвореніе (III, 395), равно какъ и дальнъйшіе за нимъ (III, 395 сл.) были написаны поэтомъ для одного изъ подготовительныхъ очерковъ къ "Египетскимъ ночамъ".

55-ю оду Анакреона Пушкинъ перевелъ съ пропусками въ 1835 г.; точной даты этого перевода-подражанія мы не имъемъ.

Что же сухо въ чашѣ дно? Наливай мнѣ, мальчикъ рѣзвый; Только пьяное вино Раствори водою трезвой. Мы не скиоы; не люблю, Други, пьянствовать безчинно. Нѣтъ! За чашей я пою Иль бесѣдую невинно.

Послѣдніе четыре стиха приведенной оды, быть можеть, дали поэтому сюжеть для слѣдующаго стихотворенія, написаннаго въ томъ же 1835 году:

Юноша! скромно пируй и шумную Вакхову влагу Съ трезвой струею воды, съ мудрой бесъдой мъшай.

Судя по отмъткамъ написанія Пушкинымъ нъкоторыхъ переводовъ изъ Анакреона, можно видъть, что поэтомъ временами

овладъвало анакреонтическое настроеніе; такъ въ "анакреонтическій" день 6 янв. 1834 г. имъ были переведены, или, правильнъе, довольно близко переложены изъ Анакреона оды 53-я и 54-я:

Узнаемъ коней ретивыхъ
Мы по выжженнымъ таврамъ;
Узнаемъ пареянъ кичливыхъ
По высокимъ клобукамъ;
Я любовниковъ счастливыхъ
Узнаю по ихъ глазамъ:
Въ нихъ сіяетъ пламень томный —
Наслажденій знакъ нескромный.

Поръдъли, побълъли
Кудри, честь главы моей,
Зубы въ деснахъ ослабъли,
И потухъ огонь очей.
Сладкой жизни мнъ не много
Провожать осталось дней;
Парка счетъ ведетъ имъ строго,
Тартаръ тъни ждетъ моей,
Страшенъ хладъ подземна свода;
Входъ въ него для всъхъ открытъ.
Изъ него же нътъ исхода;
Всякъ навъки тамъ забытъ.

Въ анакреонтическомъ духѣ и слѣдующее стихотвореніе, быть можетъ, передѣланное изъ 41-й оды Анакреона:

Богь веселый винограда
Позволяеть намъ три чаши
Выпивать въ пиру вечернемъ:
Чаша первая харитамъ
Обнаженнымъ и стыдливымъ
Посвящается; вторая
Краснощекому здоровью;
Третья дружбъ многолътней.
Мудрый, послъ третьей чаши,
Всъ вънки съ главы слагая,
Совершаетъ возліянье
Благодатному Морфею.

Въ томъ же родъ и нижеприведенныя строки изъ посланія Н.И.Кривцову:

Каждый у своей гробницы Мы присядемъ на порогъ, У пафосскія царины Свъжій выпросимь вынокь, Лишній мигь у вырной лени; Круговой нальемь сосудь, И толпою наши тыни Къ тихой Леть убытуть.

Изъ римскихъ писателей поэта болѣе всего интересовали Овидій и Горацій, а также Тацитъ.

Овидій.

Не славой, участью я равенъ быль тебъ.

Вспомните преданія миоологическія, превращенія Овидіевы, Леду, Филлиру, Пазифаю... и признайтесь, что всѣ сін вымыслы не чужды поэзіп (или, справедливѣе, ей принадлежать).

Въ концъ посланія къ Батюшкову (1814 г.) "юному мечтателю и наперснику милыхъ аопидъ", прекратившему свои занятія на златострунной арфъ или, какъ выражается поэтъ, разставшемуся съ Фебомъ, дается такой совътъ:

Доколь, музами любимый, Ты, Піэридъ, горишь огнемъ.

Мірскія: забывай печали, ІІграй: тебя, младой Назонъ Эроть и граціи вѣнчали, А лиру строилъ Аполлонъ.

Въ стихотвореніи "Сонъ" (1816 г.), полномъ неподдільной грусти, поэтъ пишеть:

Мой голось тихь, и звучными струнами Не оглашу безмолвія пріють. Пускай любовь Овидія поють, Мнѣ не даеть покоя Цитерея; Счастливыхъ дней амуры мнѣ не вьютъ...

Въ своемъ "Желанін" (1821 г.) поэтъ уже открыто признается, что ему, "изгнаннику неизвъстному", стала близка участь римскаго поэта:

Въ моихъ рукахъ Овидіева лира, Счастливая пѣвица красоты, Пѣвица нѣгъ, изгнанья п разлуки... Въ томъ же году Пушкинъ писалъ Чаадаеву изъ Кишинева:

Вь странъ, гдъ я забыль тревоги прежинхъ лътъ, Гдъ прахъ Овидіевъ пустынный мой сосъдъ. (I, 340.)

Къ печалямъ я привыкъ, расчелся я съ судьбою. И жизнь перенесу стоической душою. (I, 340.)

И вотъ вскорѣ (въ декабрѣ 1821 г.), посѣтивъ г. Овидіополь Херсонской губ. и прочтя въ Аккерманѣ Овидія, вдохновленный поэтъ пишетъ своему пустынному сосѣду и другу цѣлое посланіе (Къ Овидію), которое было плодомъ изученія поэтомъ произведеній Овидія.

Овидій, я живу близь тихихь береговь, Которымь изгнанныхь отеческихь боговь Ты нѣкогда принесь и пепель свой оставиль. Твой безотрадный плачь мѣста сіи прославиль: И лиры нѣжный глась еще не онѣмѣль; Еще твоей молвой наполнень сей предѣль. Ты живо виечатлѣль въ моемь воображеньи Пустыню мрачную, поэта заточенье.

Какъ часто увлеченъ унылыхъ струнъ игрою, Я сердцемъ слѣдоваль, Овидій, за тобою: Я видѣлъ твой корабль игралищемъ валовъ, И якорь, верженный близъ дикихъ береговъ, Гдѣ ждетъ пѣвца любви жестокая награда.

Въ 1822 г. Пушкинъ пишетъ Баратынскому изъ Бессарабіи:

Еще донынѣ тѣнь Назона Дунайскихъ ищетъ береговъ; Она летитъ на сладкій зовъ Питомцевъ музъ и Аполлона, И съ нею часто при лунѣ Брожу вдоль берега крутого...

Разсказъ дикаго цыгана о жизни изгнанника Овидія на Дунайскихъ берегахъ есть дивное откровеніе поэзіи младенческихъ народовъ.

> Царемъ когда-то сосланъ былъ Полудня житель къ намъ въ изгнанье.

Онъ быль уже льтами старь, Но младъ и живъ душой незлобной; Имъль онъ иъсенъ дивный даръ И голосъ, шуму водъ подобный. Святой старикъ, всеобщій любимецъ, плѣнявшій своими разсказами людей, никакъ не могъ привыкнуть къ заботамъ нищенской жизни; изсохшій и блѣдный онъ ждалъ избавленія, въ тоскѣ вспоминая на чужбинѣ свой "дальній градъ".

Продолжая свое посланіе къ Овидію, Пушкинъ говорить:

Ни дочерь, ни жена, ни върный сонмъ друзей, Ни музы, легкія подруги прежнихъ дней, Изгнаннаго пъвца не усладять пачали. Напрасно граціи стихи твои вънчали. Напрасно юноши ихъ помнять наизусть: Ни слава, ни лъта, ни жалобы, ни грусть, Ни пъсни робкія Октавія не тронуть, Дни старости твоей въ забвеніи потонуть.

И вотъ Пушкинъ посътилъ страну, гдъ Овидій нъкогда грустно влачилъ свой въкъ.

Здёсь, ожививъ тобой мечты воображенья, Я повторилъ твои, Овидій, пёснопёнья, И ихъ цечальныя картины повёрялъ.
... предо мной Скользила тёнь твоя, и жалобные звуки Неслися издали, какъ томный стоиъ разлуки.

Въ посланіи къ Языкову (1824 г.) поэтъ клянется Овидіевой тёнью въ томъ, что

Издревле сладостный союзъ Поэтовъ межъ собой связуеть.

Характеризуя своего героя въ "Евгеніи Онфгинф" Пушкинъ пишетъ (1822—1823 г.):

Но въ чемъ онъ истинный былъ геній

Что занимало цѣлый день Его тоскующую лѣнь— Была наука страсти нѣжной, Которую воспѣлъ Назонъ, За что страдальцемъ кончилъ онъ Свой вѣкъ блестящій и мятежный, Въ Молдавін, въ глуши степей, Вдали Италіи своей.

Когда Пушкинъ писалъ въ 1822 г. Гифдичу изъ Кишинева: "пожалъйте обо миъ: живу между гетовъ и сарматовъ: никто не понимаетъ меня; со мною иътъ просвъщениаго Аристарха; пишу какъ-нибудь, ни слыша не оживительныхъ совътовъ, ни похвалъ, ни порицаній, передъ поэтомъ уже ясно предстала вся жизнь Овидія во всей ся горькой правдъ— она во многомъ напоминала Пушкипу его собственную жизнь, его изгнаніе—

Не славой, участью я равенъ быль тебъ,

смиренно восклицаль бессарабскій изгнанникь. И воть, пребывая

Въ страиъ, гдъ Юліей вънчанный И хитрымъ Августомъ изгнанный, Овидій мрачны дни влачилъ, Гдъ элегическую лиру Глухому своему кумиру Онъ малодушно посвятилъ.

Пушкинъ забылъ въчный туманъ съвера, о чемъ и пишетъ тому же Гнъдичу (1821 г.).

Въ отчизнъ варваромъ безвъстенъ и одинъ.

Овидій не слышаль вокругь себя звуковь своей родной земли, въ тяжкой горести онъ писаль друзьямъ:

О возвратите миѣ священный градъ отцовъ И тѣни мирныя наслѣдственныхъ садовъ! О други, Августу мольбы мои несите!

Карающую длань слезами отклоните. Но если гивный богь досель неумолимь, И ввкъ мив не видать тебя, великій Римь— Последнею мольбой смягчая рокъ ужасной, Приближьте хоть мой гробъ къ Италіи прекрасной...

> И завѣщаль онъ, умирая, Чтобы на югь перенесли Его тоскующія кости...

Но избавленія не было— и изъ усть Алеко невольно вырвались слова горькой досады на неблагодарный градъ:

> Такъ вотъ судьба твоихъ сыновъ, О римъ, о громкая держава! Пъвецъ любви, пъвецъ боговъ, Скажи мнъ, что такое слава?

О мъстъ и обстоятельствахъ, послужившихъ причиною ссылки Овидія, Пушкинъ въ примъчаніи къ вышеприведен-

пому мѣсту изъ "Евгенія Онѣгина" дѣлаетъ филологическое разысканіе, изъ котораго видно, что мѣстомъ сылки поэта быль городъ Томы при устьѣ Дуная, а не Аккерманъ; неправильно (по мнѣнію Пушкина) считаетъ Вольтеръ виною ссылки благосклонность Юліи, дочери Августа; равнымъ образомъ и предположенія другихъ ученыхъ не что иное, какъ догадки; тайна поэта умерла вмѣстѣ съ нимъ —

Alterius facti culpa silenda mihi.

Изъ всъхъ "до изысканности щеголеватыхъ" стиховъ Овидія Пушкинъ особенно высоко ставитъ его "Tristia"; относительно ихъ именно онъ писалъ:

Кто въ грубой гордости прочтеть безъ умиленья Сіи элегіи — послѣднія творенья, Гдѣ ты свой тщетный стонъ потомству передаль?

Въ другомъ мѣстѣ, разбирая (1837 г.) Оракійскія элегіи Теплякова, поэтъ по поводу признація Гросета, что "онъ перестаетъ уважать Овидія, когда этотъ скучный плакса начинаетъ слабыми тонами свои безконечныя завыванія"—

Je cesse d'estimer Ovide, Quand il vient sur de faibles tons Mechanter, pleurer insipide De longues lamentations—

пишеть: "Книга Tristium не заслужила такого строгаго осужденія. Она выше, по нашему мнѣнію, всѣхъ прочихъ сочиненій Овидія (кромѣ "Превращеній"). Героиды, элегіи любовныя, и самая поэма "Ars amandi", мнимая причина его изгнанія, уступаютъ элегіямъ понтійскимъ. Въ сихъ послѣднихъ болѣе истиннаго чувства, болѣе простодушія, болѣе индивидуальности и менѣе холоднаго остроумія. Сколько яркости въ описаніи чуждаго климата и чуждой земли! сколько живости въ подробностяхъ! и какая грусть о Римѣ! какія трогательныя жалобы!"

Стихами изъ "Tristia" начинаетъ Пушкинъ и одно изъ своихъ писемъ къ Гнъдичу (1882 г.). Вотъ начало письма:

> "Parve, nec invideo, sine me, liber, ibis in urbem, Ei mihi, quod domino non licet ire tuo!

Не изъ притворной скромности прибавлю:

Vade, sed incultus, qualem decet exulis esse!... (Trist. I, 1, 1-3)".

Въ дальнъйшемъ своемъ разборъ стихотвореній Теплякова Пушкинъ уличаетъ автора Оракійскихъ эдегій въ томъ, что его пъснь, вложенная въ уста Назоновой тъпи, не согласуется съ характеромъ Овидія, такъ пскрепно обнаруженнымъ въ его плачъ. При набъгахъ гетовъ и бессовъ поэтъ далеко не

Радостно на смертный мчался бой.

"Овидій, — пишетъ Пушкинъ, — добродушно признаетъ, что онъ и смолоду не былъ охотникъ до войны, что тяжело ему подъ старость покрывать съдину свою шлемомъ, и трепетной рукою хвататься за мечъ при первой въсти о набъгъ (см. Trist. lib. 1V, el. I)".

Относительно этого именно поэтъ пишетъ въ стихотвореніи "Къ Овидію":

Ты самъ (дивись, Назонъ, дивись судьбѣ превратной!). Ты съ юныхъ лѣть презрѣвъ волненье жизни ратной, Привыкнувъ розами вѣнчать свои власы И въ нѣгѣ провождать безпечные часы, Ты будешь принужденъ взложить на шлемъ тяжелый, И грозный мечъ хранить близъ лиры оробѣлой —

все это нужно на случай внезапнаго набъга свиръпыхъ сыновъ хладной Скиеји.

Овидіевы "Tristium libri", повидимому, были настольной книгой Пушкина, когда онъ влачилъ тяжелую жизнь изгнанника. "Печалями" римскаго поэта были навъяны: элегія "Къ Овидію", разсказъ стараго цыгана и рядъ стиховъ въ посланіяхъ Чаадаеву и Баратынскому; скажемъ болье: мъста Овидіевой ссылки, его печальныя пъсни и его тънь, сопутствовавшая изгнаннику, содъйствовали какъ будто невъроятной метемисихозъ: въ тяжелыя минуты одиночества въ тълъ Пушкина жила душа Овидія.

Горацій.

И счастливъ

. подъ дубомъ наклоненнымъ

Съ Гораціемъ и Лафонтеномъ Въ пріятныхъ погруженъ мечтахъ.

"Есть люди, которые... находять и Горація прозаическимъ (спокойнымъ, умнымъ, разсудительнымъ, — такъ ли?). Пусть такъ; по жаль было бы, если бы не существовали прелестныя оды".

Горація Пупікинъ изучаль въ Лицев подъ руководствомъ проф. Кошанскаго, и между первыми опытами его въ стихотворствъ были, какъ и у Дельвига, подражанія "Горацію".

Сообщая въ стихотвореніп "Городокъ" каталогъ своей библіотечки, Пушкинъ пишетъ:

Питомцы юныхъ грацій — Съ Державнымъ потомъ Чувствительный Горацій Является вдвоемъ...

Пзъ Горація поэтъ охотно заимствуєть эпиграфы, — таковы приведенные ко II гл. "Евг. Онѣгина" (О rus!) и къ стихотворенію "Памятникъ" (Exegi monumentum, ср. Hor. carm. III, 30. Первый изъ этихъ эпиграфовъ заимствованный, повидимому, изъ sat. II, 7, 28) (Romae rus optas) указываетъ на особенную любовь Горація къ деревенской жизии, и это не разъ отмѣчаетъ Пушкинъ въ своихъ стихахъ. Въ "Посланіи къ Галичу", своему учителю-другу поэтъ пишетъ (1825):

Бѣги, бѣги столицы, О Галичъ мой! сюда, Гдѣ розовой денницы Не видя никогда, Лѣнясь подъ одѣяломъ, Съ тибурскимъ мудрецомъ Мы часто за бокаломъ Проснемся и заснемъ.

Въ другомъ посланін, адресованномъ В. Л. Пушкину (1817 г.), читаемъ про гусаровъ:

Они живуть въ своихъ шатрахъ Вдали забавъ и иѣгъ и грацій, Какъ жилъ безсмертный трусъ Горацій Въ тибурскихъ сумрачныхъ лѣсахъ.

Сообщая о Зарѣцкомъ (въ "Евг. Онѣгинѣ"), какъ онъ, будучи пѣкогда буяномъ, атаманомъ картежной шайки и трактирнымъ трибуномъ, попался въ плѣнъ къ французамъ; и

вотъ этотъ весельчакъ "новъйшій Регулъ" вдругъ сдълался мирнымъ помъщикомъ и честнымъ человъкомъ. По поводу такого исправленія "нашего" въка поэтъ восклицаетъ:

Sed alia tempora! Удалость

Проходить съ юпостью живой.

Заръцкій
Подъ сънь черемухъ и акацій
Оть бурь укрывшись наконець,

Живеть какъ истинный мудрець,
Капусту садить, какъ Горацій...

Совершенно противоположное пишетъ Пушкинъ Я. Н. Толстому (1819 г.), раннему философу, бѣжавшему пировъ и наслажденій жизни:

> Ты милыя забавы свѣта На грусть и скуку промѣняль, И на лампаду Эпиктета Златой Гораціевь фіаль.

По этому случаю поэть призываеть друга къ наслажденіямъ жизни, свойственнымъ юности, такъ какъ Зевсъ всёмъ возрастамъ даетъ пгрушки, и младость не приходитъ вновь, годы возьмутъ свое, и пора заботъ и размышленій своевременно дастъ себя почувствовать.

Пушкинъ не скрываетъ своей зависти безпечной жизни римскаго поэта и въ посланіи къ Ив. Ив. Пущину (1815 г.):

Ты счастливъ, другъ сердечный! Въ спокойствіи златомъ Течетъ твой вѣкъ безпечный, Проходитъ день за днемъ, И ты въ бесѣдѣ грацій, Не зная черныхъ бѣдъ, Живешь, какъ жилъ Горацій, Хотя и не поэть.

Объ этой мирной деревенской жизни поэтъ часто мечтаетъ, такъ, въ стихотвореніи "Отрывки изъ посланія къ Юшкову" (1816 г.), Пушкинъ представляетъ себъ картину, какъ онъ спъшитъ въ свое Захарово, гдъ будетъ заниматься хозяйствомъ и размышлять среди наслажденій сельской природы:

Мнѣ видится мое селенье, Мое Захарово... Туда зарею поспѣшаю Съ смиреннымъ заступомъ въ рукахъ, Въ лѣсахъ тропинку извиваю, Тюльпанъ и розу поливаю, И счастливъ въ утреннихъ трудахъ! Вотъ здѣсь подъ дубомъ наклоненны Съ Гораціемъ и Лафонтеномъ Въ пріятныхъ погруженъ мечтахъ.

Мъстами Пушкинъ дълаетъ намеки на оды Горація, подражаетъ имъ и, наконецъ, переводитъ ихъ. Въ шутливомъ письмъ А. Л. Давыдову (1824 г.); который приглашалъ поэта ъхать съ нимъ въ Крымъ, "къ берегамъ полуденной Тавриды", Пушкинъ говоритъ:

Прошу меня не позабыть, Любимець Вакха и Киприды! Когда чахоточный отець Немного тощей Энеиды Пускался въ море наконець, Ему Горацій, умный льстець, Прислаль торжественную оду, Гдѣ другу Августовъ пѣвецъ Сулиль хорошую погоду...

ясный памекъ на Hor. carm. I, 3, какъ и слёдующее мёсто наъ письма къ кн. П. А. Вяземскому, гдё поэтъ говоритъ про свою невёсту: "Что у ней за сердце! Твердою дубовою корой, тройнымъ булатомъ грудь ея вооружена, какъ у Гораціева мореплавателя (VII, 53; ср. Hor. carm. I, 3, 9 сл.).

Побуждая своего друга П. А. Катенина заняться романтической трагедіей Пушкинъ въ слёдующихъ словахъ жалуется на быстролетное время:

"...годы бъгутъ

Heu fugant Posthume, Posthume labuntur anni.

А что всего хуже, съ ними улетаютъ и страсти и воображеніе". Приведенный поэтомъ латинскій стихъ есть пародія на Hor. carm. II, 14, 1, сл.

Въ альбомъ М. А. Щербинину (1818 г.) поэтъ пишетъ, что наслаждение любовью и виномъ — удълъ здоровой юности, во

... дни младые пролетять Веселье, нѣга насъ покинуть, Желаньямъ чувства измѣнять, Сердца изсохнуть и остынуть: Тогда безъ пѣсенъ, безъ подругъ,

Безъ наслажденій, безъ желаній Найдемъ отраду, милый другь, Въ туманномъ сиѣ воспоминаній.

Любовь и вино — излюбленный мотивъ Гораціевой лирики; очевидно, и приведенные стихи навъяны чтеніемъ одъ римскаго поэта.

Описывая въ "Городкъ" свой свътлый домъ съ тремя простыми комнатками, Пушкинъ говоритъ:

Въ нихъ злата, бронзы нѣтъ, И ткани выписныя Не кроютъ ихъ паркеть Блаженъ, кто веселится Въ покоъ безъ заботъ, Съ кѣмъ втайнѣ Фебъ дружится И маленькій Эротъ, —

эти строки составлены, какъ кажется, не безъ вліянія Горація, у котораго читаемъ (сагт. II, 18, 1—2 и 9—10):

Въ стихотвореніи "Блаженство" (1814 г.) поэтъ такими словами описываетъ счастье молодого пастуха:

Ахъ! когда я въ мракѣ нощи, При таинственной лунѣ—
Медленно, рука съ рукою Съ нѣжной Хлоей приходилъ, Кто сравниться могъ со мною? Хлоѣ былъ тогда я милъ!

Но дии, протекшіе въ весельи, исчезли какъ тынь —

Теперь миѣ жизнь — могила, Бѣлый свѣть душѣ постыль. Хлоя другу измѣнила!... Я для милой... ужъ не милъ!... эти строфы напоминаютъ мѣста изъ Горацієва "Примиренія" (саги. III, 9, 1—4 и 7—10), гдъ поэтъ говоритъ:

Пока я любимымъ тобой оставался, И плечъ твоихъ бѣлыхъ, любовью горя, Другой дерзновенной рукой не касался, Счастливѣй персидскаго жилъ я царя...

Еще въ 1819 г. Пушкинъ писалъ Орлову:

Питомець пламенной Беллоны, У трона върный гражданинъ! Орловъ, я стану подъ знамены Твоихъ воинственныхъ дружинъ; Въ шатрахъ средь съчи, средь пожаровъ Съ мечомъ и съ лирой боевой Рубиться буду предъ тобой И славу пъть твоихъ ударовъ,—

эти стихи напоминають Гораціево отношеніе къ Бруту. На этого республиканца неоднократно намекаеть Пушкинь въ своихъ письмахъ; кн. П. А. Вяземскому поэть пишеть: "Ты спишь, Бруть!" (VII, 22), А. А. Бестужева укоряеть словами: "Еt tu autem, Brute?" (VII, 164), М. П. Погодину, намъревав-иемуся принять участіе въ изданіи "Ураніи", высказываеть удивленіе: "Еt tu, Brute!..." (VII, 302).

Изъ Горація Пушкинъ перевелъ въ 1835 г. седьмую оду 2-й книги: ad Pompeium. Вотъ этотъ переводъ:

Кто изъ боговъ мит возвратилъ Того, съ къмъ первые походы II браней ужась я дѣлиль, Когда за призракомъ свободы Насъ Бруть отчаянный водиль; Съ къмъ я тревоги боевыя Въ шатръ за чашей забывалъ И кудри, плющемь увитыя, Сирійскимъ муромъ умащаль? Ты помнишь чась ужасной битвы, Когда я, трепетный квирить, Бѣжалъ, нечестно брося щить, Творя объты и молитвы? Какъ я боялся, какъ бѣжалъ! Но Эрмій самъ незапной тучей Меня покрыль и вдаль умчаль И спасъ отъ смерти неминучей. А ты, любимецъ первый мой, Ты снова въ битвахъ очутился... И нын'в въ Римъ ты возвратился, Въ мой домикъ темный и простой; Садись подъ сѣнь моихъ пенатовъ; Давайте чаши! Не жалѣй Ни винъ моихъ ин ароматовъ! Готовы чаши, мальчикъ? лей! Теперь не кстати воздержалье: Какъ дикій скиоъ хочу я пить И, съ другомъ празднуя свиданье, Въ вин'ъ разсудокъ утопить.

По поводу перевода этой оды Пупікинымъ, Бълинскій говоритъ (VII, 321): "Переводъ изъ Горація, или оригинальное произведеніе Пушкина въ гораціанскомъ духѣ, — что бы пи была она (пьеса "Горацій"), только никто ни изъ старыхъ ни изъ новыхъ русскихъ переводчиковъ и подражателей Горація не говоридъ такимъ гораціанскимъ языкомъ и складомъ и такъ върно не передавалъ пидивидуальнаго характера гораціанской поэзін, какъ Пушкинъ въ этой пьесь, къ тому же и написанной препрасными стихами. Можно ли не слышать въ нихъ живого Горація? Дъйствительно, это стихотвореніе "Изъ Горація" не есть переводъ, а гораціанское вдохновеніе въ новомъ, "преображенномъ" Пушкинымъ видъ. Пушкинъ неохотно подчинялся чужой мысли, да и не быль способенъ на такое подчиненіе, считая переводчиковъ "подставными лощадьми просвъщенія". Черняевъ.

Отношенія Пушкина къ ппостранной словесности.

Ранній періодъ поэтической дѣятельности Пушкина, заканчивающійся его ссылкой на югъ Россіи, характеризуется преобладаніемъ французскаго вліянія какъ въ его поэзіи, такъ и въ его правственныхъ и политическихъ воззрѣніяхъ. Подобно большинству своихъ современниковъ, Пушкинъ былъ воспитанъ на произведеніяхъ французской литературы XVII—XVIII вв. и изъ переводовъ классиковъ на французскій языкъ. Еще до отъѣзда своего въ лицей Пушкинъ прочелъ Плутарха и Гомера во французскихъ переводахъ и цѣлую массу романовъ, поэмъ, путешествій и т. п. Первые поэтическіе опыты ребенка-поэта были написаны на фран-

цузскомъ языкъ: въ нихъ онъ подражалъ Мольеру (импровизованная комедія Escamoteur) и Вольтеру (піуточная поэма Toliade, паписанная въ подражение Вольтеровой Генріадъ); извъстно также, что, за превосходное знаше французскаго языка, Пушкина въ Лицев прозвали французомъ. Лицей могъ только поддержать и развить въ Пушкинъ любовь къ французской литературъ. Что бы ни говорили о невысокомъ уровиъ научныхъ занятій и слабости дисциплины въ Лицев, несомивино, что литературный интересъ быль возбуждень тамъ въ весьма сильной степени. Воспитанники Лицея составляли между собою литературные кружки, издавали ивсколько рукописныхъ журналовъ и пополняли недостатки своего образованія чтеніемъ классическихъ писателей, преимущественно, французскихъ, пріобщавшихъ ихъ юные умы къ великому умственному движенію XVIII в. Воспитанный въ безусловномъ благоговъвін къ корифеямъ французской литературы, Пушкинъ еще не дерзаль относиться къ нимъ критически. Поэтическимъ кумиромъ его былъ въ это время литературный диктаторъ XVIII в., Вольтеръ, котораго Пушкциъ считалъ величайшимъ изъ поэтовъ. Одно изъ раннихъ лицейскихъ стихотвореній Пушкина, "Городокъ", весьма важное въ автобіографическомъ отношенін даетъ намъ прекрасное понятіе о степени начитанпости Пушкина и о его литературныхъ вкусахъ. Здъсь 15-лътній Пушкинъ описываетъ другу, какъ онъ проводитъ время въ Лицев, чемъ занимается, и при этомъ перечисляетъ всехъ своихъ любимыхъ авторовъ:

> Укрывшись въ кабинеть, Одинъ и пе скучаю II часто целый светь Съ восторгомъ забываю. Друзья мнѣ — мертвецы, Парнасскіе жреды. Надъ полкою простою Подъ тонкою тафтою Со мной они живуть. Пъвцы красноръчивы, Прозанки шутливы Въ порядкъ стали тутъ. Сынъ Мома и Минервы, Фернейскій злой крикупъ, Поэть въ поэтахъ первый, Ты эдісь, сідой шалунь!

Онъ Фебомъ былъ воспитанъ И съ дѣтства сталъ пінтъ, Всѣхъ больше перечитанъ, Всѣхъ менѣе томитъ. Соперинкъ Эврипида, Эрота иѣжный другъ, Арьоста, Тасса внукъ— Скажу ль? отецъ Кандида! Онъ все: вездѣ великъ, Единственный старикъ!

Упомянувъ затъмъ о Гомеръ, Виргиліи, Гораціи, Торквато Тассо, "добромъ и простосердечномъ" мудрецъ Лафонтэнъ, "исполивъ" Мольеръ, Расинъ, Руссо, о "воспитавныхъ Амуромъ", Парни съ Грекуромъ, объ "Аристархъ" Лагарпъ, и изъ русскихъ — о Державинъ, Дмитріевъ, Крыловъ, Княжнинъ, Озеровъ, Фонвизинъ, Богдановичъ и Карамзинъ, — Пушкинъ продолжаетъ:

Мой другь! Весь день я съ ними, То въ думу углубленъ, То мыслями своими Въ Элизій пренесенъ.

Пушкинь забыль упомянуть еще объ одномъ поэтъ, оставившемъ слъдъ въ его лицейскихъ стихотвореніяхъ, именно о Макферсоновомъ Оссіанъ, котораго онъ читалъ, по всей въроятности, въ Летурнеровскомъ переводъ. Извъстно то неопредълимое очарованіе, которое производиль въ концъ XVIII и въ началъ XIX стольтія этогъ мечтательный пъвецъ, вытвенившій изъ сердца Вертера самого Гомера. Пушкинъ заплатиль дань общему увлеченію въ ніскольких своих лицейскихъ стихотвореніяхъ ("Кольна", "Осгаръ", "Эвлега"), по тамъ все и ограничилось. Сватлое, бодрое анапреонтическое міросозерцаніе юнаго поэта не могло ужиться съ мечтательнымъ сумракомъ Оссіановыхъ поэмъ, и Пушкинъ въ скоромъ времени разстался съ шотландскимъ бардомъ, и разстался навсегда. Гораздо сильнъе было вліяніе французскихъ эротическихъ поэтовъ: Грекура, Парии, а изъ русскихъ — Батюшкова, настроившихъ музу Пушкина на эротическій дадъ н сообщившихъ его стиху античную грацію и пластику. Подъ вліяніемъ передовыхъ мыслителей XVIII въка начали формироваться у юноши Пушкина серіозные взгляды на жизнь и ея задачи, какъ это видно изъ перваго послація къ Чаадаеву (1818 г.), написаннаго вскоръ послъ выхода изъ Лицея. Пушкинъ отправился на иъкоторое время къ себъ въ Михайловское; за нимъ слъдовали и его любимые авторы:

Оракулы вѣковъ, здѣсь вопрошаю васъ! Въ уединеньи величавомъ Слышнѣе вашъ отрадный гласъ; Онъ гонить сонъ лѣни угрюмый, Къ трудамъ рождаетъ жаръ во мнѣ, И ваши творческія думы Въ душевной зрѣютъ глубинѣ.

Вдохновленный ими, онъ пишетъ въ деревнъ свое знаменитое "Уединеніе", гдъ съ ювеналовскимъ негодованіемъ клеймитъ кръпостное право. Въ скоромъ времени къ сонму вдохновителей Пушкина прибавилось еще одно знаменитое имя, имя Андрэ Шенье, съ произведеніями котораго, вышедшими полнымъ собраніемъ въ 1819 г., Пушкинъ впервые познакомилъ русскую публику. Симпатическая личность Шенье, его безстрашный характеръ, его восторженная любовь къ свободъ, наконецъ, его трагическая судьба — все это влекло къ нему Пушкина съ неотразимой силой. Пушкинъ остался въренъ Шенье даже тогда, когда главный кумиръ его юпости, Байронъ сталъ утрачивать надъ нимъ свое обаяніе.

Межъ тъмъ какъ изумленный міръ На урну Байрона взираетъ И хору европейскихъ лиръ Близъ Данте тънь его внимаетъ, Зоветъ меня другая тънь; Давно безъ пъсенъ, безъ рыданій, Съ кровавой плахи въ дин страданій Сошедшая въ могильну сънь.

Ссылкой Пушкина на югъ Россін заключается періодъ исключительно французскаго вліянія, — періодъ, который самъ поэть прекрасно охарактеризовалъ въ своемъ "Посланіи къ Дельвигу":

Поклонникъ правды и свободы, Бывало, что ин напишу, Все для иныхъ не Русью пахнетъ; О чемъ цензуру ни прошу, Ото всего Тимковскій ахнеть.

На югъ Пушкинъ подпалъ подъ могучее вліяніе новаго литературнаго свътила, горъвшаго тогда полнымъ блескомъ на литературномъ горизонтв Европы, — поэта, котораго самъ Пушкинъ назвалъ властителемъ думъ современнаго ему покольнія, лорда Байрона. Пе одной силой таланта обусловливалось это вліяніе; были другія причины, подготовившія его, и притомъ причины чисто личныя. Пушкинъ уфхалъ изъ Петербурга, пресыщенный грубыми эпикурейскими удовольствіями, которыя не могли наполнить собою его души, - озлобленный противъ власти, полный презрънія къ обществу, которое отвернулось отъ него въ годину невзгоды. Душевная пустота томила его; онъ искалъ серіозной и возвышенной цъли въ жизни — и не находилъ ее. Такое настроеніе было какъ нельзя болье благопріятно для воспріятія байронизма. Пушкинь, настолько овладъвшій тогда англійскимъ языкомъ, что могъ читать Байрона въ подлинникъ, бредилъ его произведеніями и старался подражать ему даже въ образъ жизни. Впрочемъ, вліяніе Байрона на поэзію Пушкина было не такъ сильно, какъ можно ожидать, судя по отзывамъ современниковъ, собственнымъ признаніямъ Пушкина, говорившаго, что онъ въ бытпость свою въ Кищиневъ, буквально сходилъ съ ума отъ Байрона, и письмамъ друзей поэта, убъждавшихъ его не подражать Байрону, а оставаться самимъ собою (Рыдвевъ); во всякомъ случав вліяніе Байрона на Пушкина было песравненно слабве вліяція того же поэта на Лермонтова. Лирическія стихотворенія Пушкина, отпосящіяся къ этой эпохф, показывають, что байроническое настроеніе по временамъ овладъвало нашимъ поэтомъ ("Я пережилъ мои желанья", Элегія и т. п.), но не успъло пустить глубокихъ корней въ его душъ, попрежнему раскрытой всему живому и поэтическому. Сказанное примъпяется и къ поэмамъ Пушкина. Первые признаки байронизма мы замфчаемъ "въ Кавказскомъ пленникъ", где Пушкинъ задался мыслію создать типъ разочарованнаго героя, который

Жизии молодой Давио утратиль сладострастье,

который любить природу и презираеть человъка; но неизвъстно, сколько въ этомъ типъ личиаго, пережитаго и сколько нужно отнести на счеть Байрона, Ренэ, Шатобріана и другихъ произведеній того же направленія, ибо Пушкинъ прямо заявляеть, что характеръ "Кавказскаго плънника" навъзнъ на него окружающей жизнью. "Я хотълъ, — пишетъ окумь

одному изъ своихъ друзей, — изобразить это равнодушіе къ жизии и ел наслажденіямъ, эту преждевременную старость души, которыя сдълались отличительными чертами XIX в." Пушкинъ самъ сознавалъ, что характеръ плънника вышелъ блъденъ, самъ смълся надъ нимъ, но въ то же время признавался, что не можетъ отдълаться отъ симпатіи къ нему, потому что, говорилъ онъ, "въ немъ есть стихи моего сердца". Гораздо болъе байроновской тенденціи въ другой поэмѣ Пушкина "Цыгане". Здъсь Пушкинъ затрогиваетъ одиу изъ самыхъ живыхъ сторонъ байронизма — именно вражду къ пропитанному матеріализмомъ и рабски настроенному современному обществу, хотя герой поэмы, Алеко, презирающій людей за то, что они

Главы предъ идолами клонять И просять денегь и цѣпей,—

самъ выставленъ медкимъ эгонстомъ и не имъетъ въ себъ ничего титаническаго, свойственнаго героямъ Байрона. Въ "Евгеніи Онъгинъ" вдіяніе Байрона почти не замътно: задуманный первоначально въ подражаніе шуточной поэмъ Байрона "Беппо", "Евгеній Онъгинъ" развивается совершенно самостоятельно, наполняется чисто русскими бытовыми по дробностями, пока не становится, наконецъ, невиданной дотолъ яркой картиной русскаго номъщичьяго быта начала нынъшняго столътія.

Низведенный до самыхъ скромныхъ размъровъ, байронизмъ поэмъ Пушкина оказывается, кромъ того, явленіемъ своеобразнымъ, во миогомъ отстунающимъ отъ своего источника. Пушкинъ могъ усвоить себѣ пѣкоторыя черты байроновскаго міросозерцанія, отвѣчавшія въ данный моментъ его личному настроенію; но, во-первыхъ, онѣ не проникли глубоко въ его душу, — во-вторыхъ, подъ вліяніемъ особыхъ условій жизни, онѣ приняли своебразную окраску. Такъ, напримѣръ, байроновскій пидивидуализмъ, эта апофеоза личности въ борьбѣ ея съ обществомъ и его устарѣлыми предразсудками превратилась на русской почвѣ въ обожаніе собственной личности и презрѣніе ко всякой чужой; равнымъ образомъ поколѣніе, къ которому принадлежалъ Пушкинъ, не могло понять всей глубины байроновскаго разочарованія и видѣло въ немъ только слѣдствіе жизненнаго пресыщенія. Словомъ, вся философская,

пессимистическая и подитико-соціальная основа поэзін Баіірона, съ ея иламеннымъ протестомъ противъ наступившей въ Европъ реакцін, съ ея страстною любовью къ свободъ и священною ненавистью къ ел угнетателямъ, осталась почти совершенно чужда его русскимъ подражателямъ. Мы можемъ указать только на одно стихотвореніе Пушкина "Возстань, о Греція, возстань", — въ которомъ слышится байроновскій мотивъ сочувствія къ быющемуся за свободу народу. Несмотря на то, что байронизмъ былъ понятъ у насъ одностороннимъ образомъ, несмотря на условность и тенденціозность самыхъ типовъ, созданныхъ Байрономъ, — все-таки безспорио, что поэзія его вошла обновляющимъ элементомъ на поэзію Пушкина, что она была необходимою ступенью, чрезъ которою долженъ былъ пройти его геній на пути къ правдъ и художественному совершенству. И именно такимъ образомъ смотрълъ самъ Пушкинъ на этотъ переходный моментъ своей поэтической дъятельности. Въ своемъ разборъ Оракійскихъ элегій Теплякова, Пушкинъ, защищая молодого поэта отъ упрековъ въ рабскомъ подражанін Байрону, даетъ намъ ключъ къ правильному пониманію своихъ собственныхъ отношеній къ англійскому поэту. "Въ наше время молодому человъку, который готовится посътить великольпный Востокъ, мудрено, говоритъ онъ, — садясь на корабль, не вспомиить дорда Байрона и невольнымъ соучастіемъ не сблизить своей судьбы съ судьбою Чайльдъ-Гарольда. Ежели, паче чаянія, молодой человъкъ — еще не поэтъ и захочетъ выразить свои чувствованія, то какъ избъжать ему подражанія? Можно ли за то укорять его? Талантъ неволенъ и его подражание не есть безстыдное похищение — признакъ умственной скудости, неблагодарная надежда на свои собственныя силы, надежда открыть повые міры, стремясь по слюдаму генія" — воть разгадка такъ пазываемаго байроническаго періода поэтической діятельности Пушкина. Вотъ та идея, которая одушевляла Пушкина, когда онь, пробуя свои силы, создаваль въ духф Байрона характеры своихъ героевъ. И, прибавимъ, надежда не обманула поэта: на почет байронизма зародилась идея "Евгенія Онфгина", которымъ Пушкинъ открылъ повый міръ правды и народности въ нашей поэзін.

Стихотвореніемъ своимъ "Къ морю" онъ, по върному замъчанію г. Аниенкова, простился не только съ моремъ, но и съ пъвцомъ моря — Байрономъ. Въ деревиъ Пушкинъ всецъло предался изученію Шекспира, и это изученіе не замедлило отразиться во взглядахъ его на задачи поэзіи вообще и драматическаго творчества въ особенности. Сопоставляя драмы Шекспира съ трагедіями Байрона, Пушкинъ видълъ, какъ его недавній кумиръ тускивль и меркнуль въ лучахъ шекспировскаго генія. "Я не читаль ни Кальдерона ни Веги, ипшетъ Пушкинъ къ Раевскому, — но что за человъкъ III експиръ! Я не могу прійти въ себя. Какъ пичтоженъ передъ нимъ Байронъ-трагикъ, во всю жизнь понявшій только одинъ характеръ — именно свой собственный. И вотъ Байронъ одному изъ своихъ лицъ далъ гордость, другому — ненависть, третьему — меланхолію; такимъ образомъ изъ одного полнаго мрачнаго и энергичнаго характера вышло у него множество незначительныхъ характеровъ. Развъ это трагедія? Существуетъ еще одпо заблуждение: задумавъ разъ какой-нибудь характеръ, писатель старается выразить его и въ самыхъ обыкновенныхъ вещахъ, на подобіе моряковъ и педантовъ въ старинныхъ романахъ Фильдинга. Все это далеко отъ природы. Отсюда неловкость діалога и бідность его. Но разверинте Шекспира. Никогда не выдаетъ онъ своего дъйствующаго лица преждевременно. Оно говоритъ у него со всею беззаботностью жизни, потому что въ данную минуту поэтъ уже знаетъ, какъ заставить его говорить, сообразно характеру, имъ выражаемому".

Подъ вліяніемъ драматическихъ хропикъ Шекспира Пушкинъ задумываетъ историческую трагедію изъ русской жизни. Опъ останавливается на эпохѣ Бориса Годунова и прилежно изучаетъ лѣтописи и Исторію Карамзина. "По примѣру Шекспира, — говоритъ онъ въ другомъ письмѣ, — я ограничился соображеніемъ эпохъ и лицъ историческихъ, не гоняясь за сценическими эффектами и романическимъ пафосомъ. Стиль его вышелъ смѣпіанный. Опъ пошлъ и низокъ тамъ, гдѣ мнѣ приходилось выводить грубыя и пошлыя лица". Слѣды пристальнаго изученія Шекспира видны и въ стремленіи къ объективному воспроизведенію эпохи, и въ созданіи цѣльныхъ и живыхъ характеровъ, содиняющихъ въ себѣ типическое съ индивидуальнымъ, и въ психологическомъ мотивпрованіи дѣйствія, и, наконецъ, въ самомъ языкѣ, нерѣдко достигающемъ у Пушкина шекспировскаго лиризма, эпергіи и типичности.

Еще Бълинскій замітиль, что Борись Годуновь построенъ по образцу драматическихъ хроникъ Шекспира, что вся трагедія состоить изъ отдъльныхъ сценъ, изъ которыхъ каждая существуеть какъ бы независимо отъ цълаго. Можно указать также на ивкоторые отдельные мотивы и положенія, которые Пушкинь нашель у Шекспира, но которые онъ разработаль совершенно самостоятельно. Такъ, одна сцена въ "Генрихѣ IV" Шекспира, когда умирающій король даеть наставленіе своему сыну, какъ царствовать, вызвала подобную же сцену въ "Борись Годуновъ"; подобно англійскому узурпатору, и русскій узурпаторъ ечитаетъ нужнымъ поставить на видъ своему преемнику, что ему царствовать будеть легче, потому что престоль переходить къ нему не путемъ преступленія, но но праву. "Мив кажется также, что молитва преступнаго и каю щагося короля въ III актъ "Гамлета" осталась не безъ вліянія на знаменитый монологъ Бориса, начинающійся словами: "Достигь я высшей власти". Можно указать еще на народныя сцены, на введеніе въ драму личности юродиваго, какъ на отдаленные шекспировскіе отголоски, но все это - мелочи. Главная заслуга Пушкина состоить въ глубокомъ проникновенін въ духъ шекспировскаго творчества. Мицкевичъ былъ такъ пораженъ истивно-шексипровскимъ духомъ Бориса Годунова, въ особенности прологомъ, что надъялся со временемъ привътствовать въ Пушкинъ второго Шекспира и невольно воскликнулъ: "Tu Shakespeare eris si fata sinant".

Нодъ вліяніемъ изученія Шексппра Пушкинъ отчасти развиль, отчасти перестроиль свою собственную литературную теорію. Въ глубинѣ души Пушкина всегда лежало стремленіе къ правдѣ и естественности; все искусственное выходило у него блѣдно и искусственно. Онъ прежде всѣхъ чувствоваль фальшь своихъ собственныхъ героевъ, но тенерь эти взгляды, укрѣпленные изученіемъ Шекспира, сдѣлались главной основой его литературнаго кодекса. Когда онъ съ высоты шекспировскаго творчества и шекспировскаго реализма взглянулъ на произведенія своихъ прежнихъ кумировъ, то они показалась ему дѣланными и холодными: въ Вольтерѣ, который въ ранней юности казался ему первымъ изъ поэтовъ, онъ теперь отрицалъ не только поэтическое вдохновеніе, по даже и поэтическое чутье; самъ "исполинъ" Мольеръ казался ему далеко не исполиномъ въ сравненіи съ Шекспиромъ. Сопоста-

вленіе ихъ между собой повело Пушкина къ замічательнымъ соображеніямъ о сравнительномъ достоинствъ ихъ драматической манеры, сохранившимся въ его Запискахъ. "Лица, созданныя Шекспиромъ", говоритъ Пушкинъ, "не суть, какъ у Мольера, типы такой-то страсти, такого-то порока, но существа живыя, исполненныя многихъ страстей, многихъ пороковъ; обстоятельства развиваютъ передъ зрителемъ ихъ разнообразные, многосложные характеры. У Мольера скупой скупъ и только; у Шексппра Шейлокъ скупъ, смътливъ, метителенъ, чадолюбивъ, остроуменъ. У Мольера лицемъръ волочится за женой своего благодътеля — лицемъря, спрашиваетъ стаканъ воды — лицемфря. У Шекспира лицемфръ произносить судебный приговоръ съ тщательной строгостью, но справедливо; онъ оправдываетъ свою жестокость глубокомысленными сужденіями государственнаго человфка; онъ обольщаеть невинность сильными увлекательными софизмами, а не смѣшною смѣсью набожности и волокитства". Трудио въ немногихъ словахъ выразить сильнъе коренное различіе въ драматической манеръ не только Мольера (по пашему мивнію, Мольеръ мепъе гръщенъ въ этомъ отношении, чъмъ Корнель и Расинъ) и Шекспира, но англійскихъ и французскихъ драматурговъ вообще. Дъйствительно, французские драматурги XVII въка, подобно своему великому соотечественнику Декарту, идутъ, по большей части, отъ абстракта, отъ идеи, сосредоточивають все свое винманіе на изображенін одной страсти, чаще всего въ одномъ данномъ положенін; оттого ихъ герон кажутся воплощеніемъ извъстной иден, а не живыми людьми; напротивъ того, англійскіе драматурги, иля по следамъ своего соотечественника, Бэкона, отправляются отъ конпретнаго, отъ разнообразія жизни; общее и типическое они такъ искусно сливають съ частнымъ и индивидуальнымъ, что созданные ими характеры производять впечатльніе живых людей. Зная отвращеніе Пушкина отъ всего искусственнаго, напряженнаго, манернаго, мы поимемъ, почему опъ проходитъ мимо французскихъ романистовъ — Альфреда де-Виньи, Ламартина, даже Виктора Гюго — и относится восторжение къ Альфеду де-Мюссе, который поразиль его своею непосредственностью и глубиною чувства.

Обыкновенно принимають, что періодъ шекспировскаго вліянія на Пушкина заканчивается 1832 годомъ, потому что

съ этихъ поръ онъ не пробуеть себи болбе въ драматическомъ родь. Это мивніе можеть быть принято, не иначе, какъ съ большими оговорками. Справедливо, что послъ "Русалки" Пушкинъ не написалъ пичего драматическаго, но что онъ не переставалъ заниматься Шекспиромъ, это доказывается и вкоторыми мъстами его Записокъ, гдъ опъ старается проникнуть въ характеръ Фальстафа проведенной параллелью между Шекспиромъ и Мольеромъ и т. д. и наконецъ, его поэмой "Апжело", которая есть не иное что, какъ передълка Шекспировой "Мъры за мъру". Не догадываясь объ источникъ "Анжело", не подозрѣвая, съ какими трудностями приходилось бороться Пушкину, Бълинскій несправедливо призналь это произведеніе недостойнымъ таланта Пушкина, между тъмъ какъ оно несомивино обладаеть многими существенными достоинствами: помимо художественной простоты разсказа и прекраснаго стиха, Пушкинъ быдъ сильно заинтересованъ психодогической проблемой, заключающейся въ характеръ Анжело. "Анжело лицемфръ, — замъчаетъ онъ въ Запискахъ, — потому что его гласныя дъйствія противорьчать его тайнымъ страстямъ. А какая глубина въ этомъ характерф!" ('ообразно своей задачъ, Пушкинъ выбрасываетъ изъ своего переложенія все не идущее прямо къ цёли и, напротивъ того, пользуется всякимъ выраженіемъ, всякой чертой, проскользнувшей въ разговоръ дъйствующихъ лицъ, которая можетъ бросить свъть на загадочный характеръ Анжело. У Шексира Анжело бросаетъ Маріанну, главнымъ образомъ, потому, что приданое ея погибло во время кораблекрушенія. Пушкинъ справедливо счелъ этотъ мотивъ слишкомъ тривіальнымъ для человъка съ такой чистой репутаціей, какъ Анжело, и, упомянувъ вскользь объ этомъ обстоятельствъ, выдвигаетъ другой мотивъ, именно дурные слухи, которые ходили объ его невъстъ.

> Пускай себѣ молвы неправо обвиненье, — Пѣть пужды. Не должно коснуться подозрѣнье Къ супругѣ кесаря.

Последнихъ стиховъ нетъ у Пекспира: они прибавлены Пушкинымъ, — и нельзя не сознаться, что мотивъ, выдвинутый Пушкинымъ на первый планъ, какъ нельзя боле соответствуетъ характеру Лижело, которому была всего дороже его незапятнанная репутація. Разсматриваемый какъ психоло-

гическій этюдъ, "Анжело" окажется весьма замѣчательнымъ произведеніемъ, а мастерской переводъ нѣсколькихъ сценъ показываетъ, что мы лишплись въ Пушкинѣ великаго переводчика Шекспира.

Я далеко не исчерналь всего богатаго матеріала, представляемаго исторіей отношеній нашего поэта къ богатой литературѣ Запада, но, полагаю, и приведенныхъ фактовъ достаточно, чтобы признать, что поэты и мыслители западной Европы имѣли для нашего поэта громадное воспитательное значеніе. Изучая ихъ, муза Пушкина прониклась общественнымъ содержаніемъ, обогатилась множествомъ новыхъ мотивовъ, пашла въ нихъ, наконецъ, недосягаемые образцы художественнаго совершенства.

Стороженко.

Вліяніе Байрона на европейскія литературы.

Могучая поэзія Байрона паложила свою оригинальную и неизгладимую печать на европейскую литературу первой половины пастоящаго стольтія. Помимо геніальнаго таланта Байрона, были двѣ причины, содѣйствовавшія популярности его поэзін на континенть. Первая заключалась въ космополитическомъ характеръ этой поэзіи, вторая — въ тъхъ историческихъ условіяхъ, среди которыхъ она возникла. Порвавъ связи съ перичения водиной, оказавшейся для него не матерью, но злой мачехой, Байронъ провелъ почти половину своей жизни въ странствованіяхъ по Европь и, оставаясь англійскимъ дордомъ по своимъ инстинктамъ и привычкамъ, малопо-малу сдёлался чистымъ космополитомъ по своимъ убъждепіямъ. Интересы свободы и человъчества были всегда въ его глазахъ выше интересовъ національныхъ; даже сюжеты своихъ произведеній онъ заимствоваль не изъ англійской жизни, по изъ жизни различныхъ народовъ Европы. Не даромъ Гёте называль его всемірнымь гражданиномь и привътствоваль въ немъ провозвъстника той общечеловъческой, всемірной литературы, скорое наступленіе которой онъ не разъ предсказываль. Второй причиной всеобщаго увлеченія поэзіей Байрона было то обстоятельство, что она пришлась какъ разъ ко времени, что могучіе звуки ея раздались въ удушливой атмосферъ, созданной все болъе и болье усиливавшейся въ

Европ'я реакціей пдеямъ XVIII в., завершившейся учреждепіемъ священнаго союза. Поэзія Байрона возстановила связь между прерванными традиціями XVIII в. и начинавшимся пробужденіемъ умовъ въ XIX в.; выражая свои чувства, онъ въ то же время выражалъ чувства общія. Воть ночему вся либеральная партія въ Европъ увидъла въ немъ своего поэтическаго вождя и жадно прислушивалась къ его пъсиямъ, громившимъ гиетъ и тиранію и призывавшимъ народы къ священной борьбъ за свободу. Аповеозъ личности въ борьбъ съ общественными предразсудками, протесть противъ политическаго и соціальнаго гнета, горячее сочувствіе къ быющимся за свою свободу народамъ, неудовлетворение и пресыщение безцъльной жизнью и тъсно связанный съ нимъ скептицизмъ, доходящій порой до мизантропін и отчаянія, и рядомъ съ нимъ поэтическій восторгь передъ вічно юными красотами природы, на лонъ которой человъкъ находить иъкоторое облегченіе отъ терзающихъ его жизненныхъ противорфчій — таковы основныя черты и идейное содержаніе того паправленія, которое извъстно въ европейской литературъ подъ именемъ байронизма.

Ранве другихъ континентальныхъ странъ Байронъ былъ оцъненъ въ Германіи. Починъ въ этомъ отношеніи былъ данъ самимъ Гёте, считавшимъ Байрона величайшимъ поэтомъ XIX в. и поддержавшимъ своимъ авторитетомъ его только что начинавшуюся популярность въ Германіи. Въ бесъдахъ Гёте съ его секретаремъ Эккерманомъ не разъ заходила ръчь о Байронъ, и всякій разъ Гёте отдавалъ полную справедливость генію англійскаго поэта. "То, что я считаю изобрътеніемъ въ поэзін, — сказаль однажды Гёте Эккерману, — ни у кого не достигаетъ такой высокой степени развитія, какъ у Байрона. Способа, которымъ онъ развязываетъ драматическую интригу, никогда нельзя предвидъть, и онъ всегда выше ожидаемаго читателемъ". Вообще Гёте быль весьма высокаго мнвнія о драматических произведеніяхъ Байрона, которыя признаются критикой слабъе всего имъ написаннаго. Онъ удивлялся искусству, съ какимъ Байронъ, обладавшій такой мощной индивидуальностью, сумъль совершенно скрыться за дъйствующими дицами своихъ драмъ, особенно въ Марино Фальеро. По мивнію Гёте, въ характеръ Байрона было ивчто общее съ Т. Тассо, хотя сравнение ихъ

талантовъ могло только повредить италианскому поэту. "Байронъ, это — воспламененный кустаринкъ, который можетъ превратить въ пепелъ священный кедръ Ливана. Великая эпонея Т. Тассо сохраняла свою славу въ теченіе въковъ, но "Освобожденный Герусалимъ" можно совершенно уничтожить однимъ стихомъ изъ "Донъ-Жуана". Сожалъя о преждевременной смерти англійскаго поэта, Гёте быль того мивнія, что для литературы эта потеря безразлична, ибо онъ не могъ пойти дальше того, до чего дошель. "Байронъ коснулся уже вершинъ творчества, и во всемъ, что бы онъ ни написалъ впоследствін, онъ не могъ бы переступить границъ, очерченныхъ вокругъ его таланта. Въ своей несравненной поэмъ "Видъніе Суда" онъ достигъ высшей точки возможнаго для него совершенства". Когда однажды его собесъдникъ, въроятно, подъ вліяніемъ отзывовъ реакціонной англійской печати, выразиль сомивніе, чтобы произведенія Байрона оказали полезное вліяніе на умственное развитіе человьчества, Гёте возразиль ему довольно ръзко: "Я не раздъляю этого мивнія. Да и почему вы думаете, что смълость, дерзость и грандіозность Байрона сами по себъ не могутъ способствовать нашему развитно? Нужно остерегаться признавать образовательное значение только за тъмъ, что безупречно въ правственномъ отношенін; все великое можетъ содвиствовать нашему развитию, если только мы сумъемъ понять, въ чемъ состоитъ его величіе". Въ другой разъ, разговаривая съ Эккерманомъ по поводу недоконченной фантастической драмы "Deformed Transformed", Гёте воскликнуль: "Я снова перечель ее и должень сознаться, что таланть Байрона показадся мит на этотъ разъ еще болте могучимъ. Его дьяволъ, очевидно, сродни моему Мефистофелю, но это недьзя назвать подражаніемъ, ибо все здёсь ново и оригинально. Нътъ ни одного мъста величиною съ булавочную головку, которое было бы слабо, въ которомъ не просвъчнвали бы творчество и умъ. Не будь у Байрона меланхолін н отрицанія, онъ могъ бы сравниться съ Шекспиромъ и древними". Кромф переводовъ нъсколькихъ отрывковъ изъ "Допъ-Жуана" и "Манфреда", Гёте заплатилъ дань удивленія и симпатін генію Байрона, изобразивъ его подъ видомъ Эвторіона во второй части "Фауста". Въ этомъ фантастическомъ существъ, сынъ Фауста и троянской Елены, мелькиувшемъ какъ метеоръ и сдъдавшемся жертвой отваги, прекрасно одицетворенъ безпоконный духъ и порывистое стремденіе къ свъту и свободъ, которое отличало Байрона. Сътованіе хора о безвременно погибшемъ юношъ есть едва ди не лучшая характеристика Байрона:

Илачъ не нуженъ погребальный: Намъ завиденъ жребій твой! Жилъ ты свътлый, но печальный, Съ гордой пъснью и душой. Ахъ! рожденъ для счастья былъ ты! Древній родъ твой славень быль, Рано самъ себя сгубилъ ты, Въ полномъ цвътъ юныхъ силъ. Все имълъ ты: взглядъ глубокій, Быстрый умъ и сердца жаръ, II любовь жены высокой, II чудесныхъ пъсенъ даръ. Ты летьль неудержимо, Въ даль невольно увлеченъ, Ты презрѣлъ неукротимо II обычай и законъ. Свётлый умъ къ дёламъ чудеснымъ Душу чистую привель; Ты погнался за небеснымъ Но его ты не нашель. Кто найдеть? Вопросъ печальный! Рокъ отвъта не даетъ, Въ дии, когда многострадальный, Весь въ крови, молчить народъ.

Оплакавъ такими теплыми поэтическими слезами гибель Байрона, Гёте чтилъ въ вемъ главнымъ образомъ возвышенныя стремленія и крупную поэтическую силу. Къ политическимъ тенденціямъ Байрона германскій олимпіецъ былъ совершенно равнодушенъ и едва ли придавалъ имъ большое значеніе. Но послѣдующее покольніе поэтовъ, въ которомъ негодованіе противъ торжествующей реакціи чередовалось съ приливами мизантропіи и уньшія, происходивними отъ сознанія своего безсилія, увидало въ Байронъ своего вождя, а въ его произведеніяхъ боевой кличъ, призывающій къ борьбъ за попранныя права человъческой личности. Такой взглядъ на Байрона господствуетъ у поэтовъ южной Германіи, которые находились къ нему почти въ такихъ же вассальныхъ отношеніяхъ, въ какихъ ихъ предшественники, поэты Sturni und Drang, находились къ ИІекспиру. Уже въ вышедшихъ

въ 1822 году юношескихъ стихотвореніяхъ самаго крупнаго поэта южной Германіи, Гейне, мы находимъ нъкоторые изъ основныхъ элементовъ байронизма, -- обстоятельство, тогда же замъчениое критикой. "Пъсни Гейне, — писалъ Иммерманъ, проникнуты недовольствомъ, неръдко доходящимъ до ярости и отчаянія. Горькое негодованіе противъ невыносимаго настоящаго, глубокая ненависть къ современному порядку вещен всецьло овладьли нашимъ Гейне, и этимъ объясняется, что изъ 53 стихотвореній, написанныхъ юношей, нътъ ни одного, изъ котораго бы вълло веселымъ и радостнымъ настроеніемъ. Ифкоторое сходство замбчается между этими стихотвореніями н произведеніями лорда Байрона, къ которымъ нашъ соотечественникъ, повидимому, питаетъ особенное сочувствіе. Сравненіе ихъ другъ съ другомъ можетъ послужить отчасти къ выгодъ, а отчасти и къ невыгодъ для нашего поэта. Никто сильнъе Байрона не умъетъ изобразить страшную пропасть растерзанной души человъка, и въ этомъ отношенін Гейне можеть следовать за нимъ разве въ почтительномъ отдалении, Но зато у нашего поэта больше свъжести и бодрости. Для него еще возможно любоваться поэзіей извъстнаго явленія, тогда какъ Байронъ одинаково презираеть и божественное и человъческое, и временное и въчное". Годъ спустя послъ этой рецензін Гейне издаль вы свыть свою трагедію "Ратклифъ", герой которой имфетъ несомивиное сходство съ любимымъ байроновскимъ образомъ падшаго ангела. Смерть Байрона глубоко поразила Гейне. "Это быль единственный человъкъ, писаль онъ Мозеру, - съ которымъ я чувствоваль духовное родство, и во многихъ отношеніяхъ насъ можно сравнивать другь съ другомъ". Повидимому, смерть Байрона еще болве укрѣпила это духовное родство, потому что въ послъдующихъ произведеніяхъ Гейне перъдко замьчаются байроновскіе мотивы и байроповская манера. Чудныя, какъ бы подернутыя меланхоліей описанія природы въ Reisebilder невольно приводять на память подобныя же картины въ Чай идъ-Гарольдъ, а проинкнутое ъдкой проніей описаніе ньмецкихъ порядковъ въ "Зимней сказкъ" до такой степени носить на себъ отпечатокъ байроновской манеры, что кажется отрывкомъ изъ "Допъ-Жуана". Вдіяціе это сказывается въ болье или менье сильной степени въ "Греческихъ пъсияхъ" Вильгельма Мюллера, въ "Польскихъ пъсняхъ" Планета, въ "Донъ-Жуапъ"

Ленау, въ "Шильонскомъ узникъ" Морица Гартмана, въ стихотвореніяхъ нъмецко-американскаго поэта Дранмора, въ политической лирикъ Гервега и т. д. Популярность Байрона въ Германіи доказывается, сверхъ того, множествомъ стихотворныхъ переводовъ отдъльныхъ его произведеній на нъмецкій языкъ, количество которыхъ развъ немного уступитъ количеству переводовъ изъ Шекспира.

Тъ же причины, которыя способствовали популярности поэзін Байрона въ Германін, существовали, пожалуй, еще въ большей степени, во Францін: и тамъ и здъсь реакція создала удобную почву для воспріятія поэзін борьбы, отчаннія и проклятія. "Всю правственную бользиь нашего стольтія, какъ выразился въ одномъ мъстъ Альфредъ де-Мюссе, можно объяснить изъ двухъ причинъ. Народъ нашъ, продълавшій 1793 и 1814 гг., носить въ своемъ сердцъ двъ раны: того, что было — нътъ и то, что должно быть — еще не наступило. Нечего искать другихъ причинъ и объясненій нашей міровой скорби". Самымъ раннимъ представителемъ байронизма во Франціи быль Ламартинъ. Сообразно складу своей мягкой и сентиментальной натуры, Ламартинъ могъ усвопть себъ только ивкоторыя стороны байронизма, которымъ придалъ сентиментальный оттънокъ. Считая Байрона падшимъ ангеломъ, Ламартинъ возымълъ оригинальную и назидательную мысль примирить его съ Богомъ и Церковью и съ этой целью вскоре после смерти Байрона издаль окончаніе Чайльдъ-Гарольда ("Le dernier chant du pélerinage de ('hild Harold"), въ которомъ онъ заставляетъ Чайльдъ-Гарольда раскаяться, отказаться отъ своихъ скептическихъ воззрвній и умереть смертью вврующаго христіаница на поляхъ Греціп. Въ заключительномъ обращенін къ лорду Байрону, Ламартинъ, сопоставляя себя съ умершимъ поэтомъ, увъряеть, что судьба его имжеть много общаго съ судьбой Байрона, что, подобно последнему, и ему довелось осущить отравленный кубокъ (J'ai vidé comme toi la coupe empoisonnée). Вдохновленный Байрономъ, Ламартинъ написалъ свою извъстную оду къ Наполеону и свою безконечную поэму "Lachute d'un Ange", по оба подраженія безконечно ниже своего образца, не говоря уже о томъ, что они не вполит процикнуты байроновскимъ духомъ. По следамъ Ламартина пошло не мало поэтовъ романтической школы, издавшихъ въ свъть

нассу стихотвореній, въ которыхъ они воспъвали и Байрона. и Востокъ, и свободу Греціи. С.-Бёвъ въ свое время зло и остроумно посмъялся надъ ихъ бездарными произведеніями, но не нужно забывать, что памятникомъ этого увлеченія Греціей и Востокомъ были, между прочимъ, "Les Orientales" Виктора Гюго и Мессенскія элегін "Les Messeniennes" Казимира Делавиня. Хотя Альфредъ де-Мюссе и отвергалъ мивніе критиковъ, что онъ въ своей поэмѣ "Namouna" подражалъ Байрону и съ гордостью утверждаль, что онъ пьетъ изъ своего собственнаго кубка, какъ онъ ни малъ (Mon verre n'est pas grand, mais je bois dans mon verre), но новъйшая критика сумфла отыскать во многихъ его произведеніяхъ слъды пристальнаго изученія Байрона, между прочимъ, въ его "Порцін", характеръ которой представляетъ много сходныхъ черть съ характерами Лары и Паризины, и въ его поэмъ "Намуна", гдв двйствуеть легендарный Донъ-Жуанъ и которая какъ по формъ, такъ и по поэтической манеръ напоминаетъ Байроновскаго Донъ-Жуана. Равнымъ образомъ, вліяніе Байрона заметно въ раинихъ романахъ Ж. Сандъ. Выступивъ на борьбу съ обществомъ и его въковыми предразсудками за права женшины, Ж. Сандъ нашла себъ сильную правственную поддержку въ произведеніяхъ англійскаго поэта, раньше ея поднявшаго знамя индивидуализма и въ процессъ общества съ личностью всегда стоявшаго на сторонъ личности. Разница между нимп состоить, главнымъ образомъ, въ томъ, что Байронъ обвиняетъ въ эгонзмѣ и несправедливости все человъчество, тогда какъ Ж. Сандъ только одну половину человъческаго рода, поработившую, по ея словамъ, женщину и коварио придуманными законами и обычаями стъснившую свободу ел чувства и лишившую ее дъятельнаго участія въ общественной жизни. Къ числу восторженныхъпоклонниковъ Байрона нужно причислить такъ родственнаго ему по духу автора "Ямбовъ" и "Гимна къ свободъ" — Огюста Барбье. Посътивъ Вестминстерское аббатство и не пандя тамъ праха Байрона, Барбье написалъ превосходное стихотвореніе "Westminster", гдф вложиль въ уста поэта трогательную жалобу на преслъдованія, которымъ онъ подвергался при жизни, и на вражду, препятствующую и послъ смерти найти успокоеніе подъ свиью паціональнаго пантеона, въ уголкв поэтовъ. Барбье объясняетъ эти преслъдованія тъмъ, что

Байронъ смѣло обличалъ пороки своихъ соотечественниковъ, что онъ сорвалъ маску съ ихъ миимой добродѣтели. Къ концу сороковыхъ годовъ вліяніе поэзіи Байрона проявляется во французской литературѣ все слабѣе и слабѣе, но зато количество переводовъ изъ Байрона и этюдовъ о немъ увеличивается, фактъ, доказывающій, что увлеченіе прошло и что наступило время изученія и серіозной критической оцѣнки произведеній англійскаго поэта. Впрочемъ, послѣдній лучъ байронизма блеснулъ еще не такъ давно въ "Tentation de Saint Antoine" Флобера, гдѣ многое оказывается навѣяннымъ вторымъ актомъ Байроновскаго Каина.

Изъ всёхъ странъ Европы менёе другихъ подвергалась вліянію поэзін Байрона столь любимая имъ и столь часто имъ воспъваемая Италія. Строго говоря, Байронъ въ своихъ драматическихъ произведеніяхъ больше обязанъ Альфіери, чъмъ Уго Фосколо ему. Раздробленная политически, страдая отъ деспотизма австрійской династін на сфверф и бурбонской на югь, Италія была слишкомъ поглощена своимъ собственнымъ горемъ, чтобы переноситься въ идеальный міръ романтической поэзін, следить за демоническими героями въ борьбъ ихъ съ обществомъ или предаваться космополитической міровой скорби. Вся ея новая поэзія носить на себъ мъстный и патріотическій характеръ, преимущественно отзывается на злобу дня. Пессимистическіе мотивы, попадающіеся у Фосколо, Манцони и другихъ поэтовъ, имфютъ мало общаго съ байроническимъ повътріемъ; въ большинствъ случаевъ они представляють собою плоды патріотическаго отчаянія въ возрожденін и свободъ Италін. Даже меланхолія Леопарди, самаго космополитического и философского изъ италіанскихъ поэтовъ, сильно обостряется жгучими воспоминаніями о прежней славъ его родины и ея теперешнемъ униженіи. Вслъдствіе указанныхъ причинъ, италіанскіе поэты вдохновляются только одной политической тенденціей поэзіи Байрона и оставляють въ сторонъ другія стороны байронизма. Таковъ, напр., Джьовани Берке́ (Berchet), поэтъ съверной Италін, авторъ весьма популярныхъ партіотическихъ пъсенъ, въ произведеніяхъ котораго знаменитый италіанскій критикъ Франческо де-Санктисъ видитъ несомивниные слъды вліянія Байрона. Но если, въ силу указанныхъ обстоятельствъ, байронизмъ оказалъ сравнительно незначительное вліяніе на характеръ пталіанской поэзін, нигдъ

зато личность англійскаго поэта не была такъ популярна, какъ въ Италіи. Долговременное пребываніе Байрона въ Италіи, его высокопоэтическія описанія Рима и Венеціи, его сочувствіе дълу италіанской свободы, наконецъ, его роскошная, загадочная, фантастическая жизнь въ Венеціи — все это создало вокругъ его личности ореолъ, до сихъ поръ не совсёмъ поблекшій. До сихъ поръ въ Венеціи живо воспоминаніе о немъ, до сихъ поръ гондольеръ укажетъ вамъ на Canale Grande pallazzo, гдъ жилъ Байронъ, и при этомъ не приминетъ сообщить нъсколько слышанныхъ имъ отъ отца или дъда анекдотовъ о щедрости и эксцентричности англійскаго поэта.

Стороженко.

Пушкинь и Байронъ.

Нашъ байронизмъ есть явление своеобразное, во многомъ отступающее отъ своего источника. И у насъ, какъ и на западъ Европы, въ поэзін привились далеко не всъ составные элементы байронизма. Политико-ноціальная основа поззін Байрона, не имъвшая корней и въ самой жизни, была у насъ понята весьма немногими и оставила мало следовъ въ литературъ; байроновскій индивидуализмъ, аповеозъ личности въ борьбъ ея съ обществомъ, превратился у насъ въ обожаніе собственной личности и презрительное ко всякой чужой: перенесенное на русскую почву байроновское разочарование совершенно лишилось своего трагическаго характера и было понятно весьма одностороние, какъ слъдствіе жизненнаго пресыщенія. Видоизмъненный такимъ образомъ байронизмъ оказалъ не малое вліяніе не только на поэзію, но и на нравы нашей пителлигентной молодежи двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ. Москвичи въ Гарольдовыхъ плащахъ, какъ ихъ мътко окрестиль Пушкинь, -- вдругь ни съ того ни съ сего почувствовали непонятное презръніе къ обществу, ни въ чемъ передъ ними неповинному; непризнанныя натуры стали относиться препебрежительно къ общественной правственности и освященномъ въками обычаямъ и считали такое отношеніе признакомъ высшей породы. Всв эти видоизмвиенія байронизма могли только уронить въ глазахъ общества значени

поэтическаго направленія, которое, взятое въ целомъ, действовало во всякомъ случав благотворно, внося въ литературу массу новыхъ идей, чувствъ и поэтическихъ образовъ, поднимая нравственное достоинство человъка, возбуждая въ немъ энтузіазмъ къ двлу свободы и ненависть къ пасилію и всякаго рода соціальной неправдъ. Знакомство русскаго общества съ поэзіей Байрона началось только за ифсколько лѣтъ до смерти великаго поэта. Въ то время какъ вся Европа давно уже зачитывалась его произведеніями и съ страстнымъ участіемъ слъдила за его судьбой, мы имъли о немъ и о его поэзін довольно смутное понятіе, да и то съ чужихъ словъ. Первые переводы изъ Байропа появляются въ русскихъ журналахъ не ранъе 1819 г. Съ этихъ поръ интересъ къ его поэзін видимо растеть. Въ "Въстинкъ Европы", "Сынъ Отечества" и другихъ журналахъ то и дъло попадаются переводы изъ Байрона. Каченовскій, не знавшій англійскаго языка, спѣшитъ удовлетворить любознательность своихъ подписчиковъ, печатая въ "Въстн. Европы" свои неуклюжіе переводы отдъльныхъ произведеній Байрона съ французскаго. Гифдичъ, Ротчевъ и другіе переводять "Еврейскія мелодін", а въ 1821 г. отецъ русскаго романтизма Жуковскій, лично не симпатизи. ровавшій Байрону и даже, по свидфтельству А. Н. Тургенева, дремавшій падъ нимъ, тъмъ не мецье, увлеченный общимъ потокомъ, издаетъ, хотя и съ ижкоторыми смягченіями и сокращеніями, свой переводъ "Шильйонскаго узника". Наибольшій энтузіазмъ возбуждала поэзія Байрона въ либеральномъ кружкъ русскихъ поэтовъ, во главъ котораго стояли кн. Вяземскій и Пушкинъ. Вяземскій, жившій въ началь двацатыхъ годовъ въ Варшавъ, по словамъ Тургенева, бредилъ Байрономъ и переводиль его мелкія стихотворенія, а сосланный на югь Россін Пушкинъ, по его собственному признацію, буквально сходиль съ ума отъ Байрона; онъ подражаль англійскому поэту въ привычкахъ и образъжизни и, впадал подъвліяніемъ чтенія Байрона въ мрачное пастроеніе, даваль ему псходъ въ медкихъ стихотвореніяхъ. Таковы его стихотворенія "Погасло дневное свътило" и "Я пережилъ свои желанья", оба паписанныя на югъ Россіи въ 1820 и 1821 гг. Смерть Байрона вызвала въ либеральномъ кружкъ русскихъ поэтовъ самое живое и неподдъльное сожальніе. Рылбевъ, Кюхельбекеръ и ки. Вяземскій излили свое горе въ отдільныхъ стихотвореніяхъ.

Есть трогательное преданіе, что, получивъ изв'ястіе о смерти своего любимаго поэта, Пушкинъ, по русскому обычаю, отслужиль панихиду по рабъ Божьемъ Георгін. Вся Россія знаетъ наизусть тъ чудныя строфы, которыя посвящены памяти Байрона въ стихотворенін къ "Морю", гдв Пушкинъ называетъ англійскаго поэта властителемъ нашихъ думъ, пъвцомъ, оплаканнымъ самой свободой. Что до вліянія Байрона на Пушкина, то оно оказывается далеко не такъ значительнымъ, какъ можно быдо ожидать, не говоря уже о томъ, что оно продолжалось не болъе трехъ-четырехъ льтъ. Слъды вліянія Байрона можно отыскать въ некоторыхъ мелкихъ стихотвореніяхъ и въ юношескихъ поэмахъ Пушкина. Съ особенной силон оно проявляется въ "Цыганахъ", которыми и оканчивается краткій байроническій періодъ Пушкинскаго творчества. Здёсь не только встръчаются отдъльные мотивы байронизма, по что гораздо важите -- самый типъ героя сложился подъ вліяніемъ Байрона. Въ Алеко пъть инчего русскаго, да и вообще въ немъ иътъ никакой національной окраски. Онъ ноявляется неизвъстно откуда и неизвъстно куда поидетъ. Какъ явленіе русской жизни, онъ необъяснимъ, но онъ прекрасно объясияется какъ явленіе литературное, какъ родственное героямъ Байрона воплощение гордости и мятежнаго протеста противъ устаръвшаго общественнаго устройства, основаннаго на торжествъ насилія, предразсудковъ и преклоненія предъ золотымъ тельцомъ. Самостоятельность Пушкина проявилась здёсь не въ создани типа, но въ знаменательномъ критическомъ отношенін къ нему, въ его осужденін устами старика-цыгана. Когда друзья Пушкина, переведеннаго льтомъ 1824 г. изъ Одессы въ деревию, узнали, что онъ трудится надъ поэмой въ байроническомъ родъ, подъ которой разумълся "Евгеній Онфгинъ". они пришли въ сильное безпокойство. "Пушкинъ, — писалъ ему Рылъевъ, - ты пріобръль уже въ Россіи пальму первенства; ты можешь быть нашимъ Байровомъ, но ради Бога, ради Христа, ради твоего любезнаго. Магомета — не подражай ему! Твое огромное дарованіе, твоя пылкая душа, могутъ вознести тебя до Байрона, оставивъ Пушкинымъ". Опасенія друзей Пушкина были, впрочемъ, папрасны, ибо Байронъ въ это время уже утратилъ надъ нимъ прежнее обаяніе. Въ это премя Пушкинъ увлекался Шекспиромъ, передъ которымъ его педавій кумиръ (какъ драматургъ) казался сму инчтожнымъ.

Непродолжительность и сравнительная слабость вліянія Байрона на Пушкина зависвла, по моему мивийо, въ значительной степени оттого, что ихъ художественные темпераменты были совершенно различнаго закала. Байронъ, если можно такъ выразиться, былъ человъкъ фанатического темперамента; онъ не зналъ средины ли въ ненависти ви въ любви; онъ считаль малодушіемь дёлать малёйшія уступки тому, что было противно его убъжденіямъ. Папротивъ того, Пушкинъ быль патура уравновъшенная, гармоническая, въ которой уживались и взаимно сглаживались самыя противоположныя стремленія и симпатіи. Уступая англійскому поэту въ глубнить мысли, картициости описаній, силъ лирическаго полета, Пушкинъ далеко превосходитъ его чувствомъ мъры, художественной простоты и жизненной правды. Онъ не могъ подняться до высоты политическаго энтузіазма Байрона, но зато не могъ спуститься въ мрачныя бездны Байроновскаго пессимизма п меданхолін. Сосредоточенная скорбь, демоническая гордость, мрачное отчаяніе, непримиримая ненависть никогда не могли привиться къ его мягкой, свътлой и гармонической натуръ, способной сохранить въ самомъ пылу увлеченія трезвость ума и мъру въ сужденіяхъ. Разпица художественныхъ темпераментовъ обоихъ поэтовъ всего ясиве обнаружилась въ ихъ отношеніяхъ къ Наполеону. Съ уничтожающей проніей относится Байронъ къ развънчанному завоевателю, называетъ его презръннымъ инчтожествомъ, злымъ духомъ для человъчества. Ненависть его къ поработителю народовъ не смягчается ни мыслью объ его геніп, ни воспоминаніемъ о разразившемся падъ нимъ ударъ судьбы, сразу низвергиувшемъ его съ высоты величія въ бездну ничтожества. Не такъ смотрить на недавняго врага Россін Пушкинъ въ своемъ стихотворенін "Наполеонъ", написанномъ въ 1821 г., т.-е. въ эпоху самаго сильнаго увлеченія геніемъ Байрона. Великодушно забывая все зло, сділанное міру Наполеономъ, нашъ поэтъ не позволяеть себъ никакого злорадства, не издевается надъ развещчаннымъ величіемъ, находить, что вей его воинственные замыслы и стяжанья искуплены

Тоскою душнаго изгнанья Подъ сѣнью чуждою небесъ

и въ заключение приглашаетъ путника начертить слово примиренья на надгробномъ камиъ Наполеона и заранъе осуждаетъ

всякаго, кто позволиль себъ невеликодушно издъваться надыего памятью:

Да будеть омраченъ позоромъ Тотъ малодушный, кто въ сей день Безумнымъ возмугитъ укоромъ Его развѣнчанную тѣнь.

Подъ вліяніемъ находившихъ на него мрачныхъ минутъ, Байронъ высказываетъ иногда такія безотрадныя пессимистическія воззрѣнія на жизнь, которыя мы можемъ найти развѣ только у Леопарди или г-жи Аккерманъ. "Сочти радостные часы твоей жизни, перечисли дни, свободные отъ правственныхъ страданій, и убѣдишься, что тебѣ можетъ-быть было бы лучше совсѣмъ не существовать". Зналъ такія минуты и Пупкинъ, но его свѣтлая натура не допускала пессимизму всецѣло овладѣть имъ, и какъ ни горька была ему подчасъ печаль прошедшихъ дней, но онъ не жалѣетъ о томъ, что живетъ, не жаждетъ уничтоженія, но хочетъ жить хоть бы для того, чтобы мыслить и сградать, и питаетъ надежду, что жизнь дастъ ему не мало утѣшенья.

Средь горестей, заботь и треволиенья.

Приведенные примъры, надъюсь, доказывають, что въ силу коренной разницы въ поэтическихъ темпераментахъ, Пушкинъ никогда не могъ проникнуться вполить Байроновскимъ міросозерцаніемъ, что даже въ пору увлеченія поэзіей Байрона онъ всегда сумъль остаться самимъ собою. Стороженко.

Біографы и критики Пушкина давно пришли къ заключенію, что "байронизмъ" былъ у Пушкина только переходящимъ явленіемъ, съ которымъ онъ уже вскорѣ распрощался и навсегда. Одни объясняли, что подобное настроеніе не отвѣчало самой природѣ Пушкина, его основному міровоззрѣнію и самому свойству его дарованія, широкаго, свѣтлаго, открытаго всѣмъ впечатлѣніямъ жизни, при всей высотѣ его поэзіи, реальнаго и трезваго, и что поэтому мрачное отрицаніе могло быть только временнымъ увлеченіемъ, которое въ концѣ концовъ должно было уступить передъ истинными мотивами его внутренней жизни. Другіе замѣчали, что байронизмъ и не могъ

укръпиться въ содержаніи поэзіп Пушкина, какъ явленіе чисто "западное", не свойственое національной природв Пушкина: онъ долженъ былъ рано или поздно сбросить его, потому что быль русскій человівкь... По существу байронизма, Пушкинь, дъйствительно, не могъ воспринять его глубоко и во всемъ объемъ его содержанія: въ его отношенін къ байронизму сказалось то же явленіе, какое можно наблюдать на всемъ пространствъ новъйшей русской литературы въ ея зависимости отъ западно-европейскихъ теченій. Западная жизнь такъ не походила на русскую, была отъ нея такъ далека, такъ превышала ее въ своемъ политическомъ развити и особливо въ своемъ образованіи, что какъ во времена Ломоносова, такъ и во времена Пушкина, наша литература могла имъть къ западноевропейской только отношение болже или менже сильной зависимости. Въ чисто поэтическомъ смыслъ наша литература ко временамъ Пушкина пріобрътала, наконецъ, свою оригинальность, которая была признакомъ возникшей самобытности; но въ тъхъ областяхъ, гдъ къ чистой поэзіи присоединялось или надъ нею преобладало идейное содержаніе, которое давалось развитіемъ европейской мысли въ области науки и общественпости, подобная самобытность была невозможна: содержаніе западно-европейской литературы являлось опять результатомъ въкового труда, въ которомъ мы не участвовали, свободы мысли, о которой мы не имъли понятія, наконецъ свободы общественной, которая была у насъ немыслима. Какъ нъкогда въ XVIII въкъ мы заимствовали изъ западно-европейскаго источника только немногое, что было по нашимъ средствамъ, такъ это было и теперь: весь объемъ байроническаго міровоззрънія быль не по средствамь русской литературы, даже въ рукахъ Пушкина, но смѣшно, конечно, говорить, что причина была въ томъ, что это міровоззрѣніе было "западное", которое Пушкинь должень быль отвергнуть, какъ противоръчащее его "русскому" характеру: русскій характеръ не мъшаль ему, какъ не мъшаль Жуковскому и Батюшкову, не говоря о толив ихъ предшественниковъ, черпать цвлыми пригоршиями изъ западной литературы и, напр., послъ, отказавшись отъ Байрона, сохранить заимствованныя у него литературныя формы, а затъмъ учиться по Шекспиру, восхищаться Вальтеръ-Скоттомъ и несомивнио следовать его примеру въ историческихъ повъстяхъ.

Такимъ образомъ поэзія Байрона родилась въ средъ броженія европейской мысли конца прошлаго и начала нынфшняго въка, которое во всемъ его могущественномъ объемъ было чуждо русской жизни; тъмъ не менъе русскій байронизмъ могь бы быть названъ случайнымъ только въ томъ же смыслъ, въ какомъ мы раньше находили случайными многія другія заимствованія русской литературы изъ европейскаго источника. Эти явленія бывали случайны потому, что изъ цвлаго европейскаго движенія къ намъ обыкновенно проникали одни и не проникали другія, не менфе многозначительныя: нельзя отвергать извъстной случайности въ томъ, что, напр., Карамзинъ увлекается сентиментальными писателями Лафатеромъ, Жуковскій — нъмцами-романтиками, Батюшковъ — Тассомъ. что англійская латература долго остается почти неизвъстна, и у пасъ очень поздно стали понимать Шекспира, что Пушкинъ мало интересуется нъмецкой литературой и т. д.; случайность сказывалась и въ томъ, что, большею частью, паши заимствованія бывали запоздалыя, и намъ, по выраженію одного суроваго критика, приходилось "донашивать старыя шляпки"... Но если и прежде эти заимствованія теряли свою случайность въ томъ отношенін, что съ ними русская литература каждый разъ все-таки пріобрътала нъчто новое, что имъло свое воспитательное значеніе для русскаго общества (особливо при его маломъ образованін въ большинствѣ) и укрѣпляло въ немъ собственные инстинкты и потребности развитія, то тъмъ болье они получали значенія, когда ко временамъ Пушкина эти инстинкты и потребности были возбуждены сильнее, чемъ когда-пибудь прежде. Байронизмъ именно отвѣчалъ — конечно, въ извъстномъ, болъе образованномъ кругу — тому настроению, какое создавалось условіями времени: событія двънадцатаго года, освободительная война, тъспое общение съ европейскимъ обществомъ въ великія историческія минуты возбуждали умы къ возвышенному идеализму и патріотическимъ надеждамъ, по то и другое было вскоръ нарушено, и русская жизнь въ эпоху Аракчеева, Магницкаго, арх. Фотія, представляла. напротивь, унизительную картину кругдаго обскурантизма. грубаго и лицемфриаго, подавленія даже слабыхъ признаковъ просвъщенія и свободы мысли. Естественно возникало гнетущее чувство недовольства, раздраженія, протеста; наконецъ, у крайнихъ людей — мысль о сопротивленіи и заговоръ...

Вліяніе байронизма падало у Пушкина на подготовленную почву. Ссылка не могла не раздражать его; если онъ и сознаваль съ своей стороны ошибку въ педостаткъ благоразумія, когда онъ забываль объ общественной средь, въ которой находился, то онъ все-таки не могъ помириться съ ея уродливыми явленіями: прежнее возбужденіе продолжалось, и его новыя произведенія прямо или косвенно выражали настроеніе, овладъвавшее имъ въ условіяхъ тогдашней дійствительности. Въ его поэмахъ, писанныхъ на югъ, сколько бы ни было въ нихъ навъяннаго байроническими вліяніями, сказался несомижнию и отголосокъ этого непосредственнаго недовольства; тогда же написанная поэма на библейскую тему, какъ и извъстное (перехваченное) письмо объ "авензмъ", были своего рода противовъсомъ тогдашиему изувърству и т. д., что байроническія поэмы, хотя потомъ казались иногда слабыми ему самому, передавали, однако, его задушевныя мысли данной минуты, свидътельствуютъ его собственныя показанія. Въ одномъ письмъ 1822 года, онъ признаетъ самъ крупные недостатки "Кавказскаго плънника" и заключаетъ: "Вы видите, что отеческая нежность не ослепляеть меня насчеть "Кавказскаго плъншка", по, признаюсь, люблю его, самъ не зная за что: въ немъ есть стихи моего сердца"... Въ письмъ 1822 года опъ говорить объ основной мысли поэмы: "Я въ немъ хотъль изобразить это равнодушіе къ жизни и къ ся наслажденіямъ, эту преждевременную старость души, которыя сдълались отличительными чертами молодежи XIX въка". Въ другихъ поэмахъ это равнодушіе къ жизни сказывается ярче, какъ протестъ противъ условій общественной жизни, подавляющей своими мертвыми формами стремленіе къ высшимъ идеаламъ, и опять съ личной мыслыю поэта сказываются несомивниые отголоски Байрона. Постоянное развитіе этой темы недовольства, разочарованія, протестовъ противъ пустоты и ничтожества общественности, очевидно, выдаетъ внутренній процессъ въ душть самого поэта, и въ образахъ его фантазін скрывались также сомивнія и тревоги его собственцаго чувства. Различныя черты одного образа развиваются отъ "Кавказскаго плфиника" и до "Евгенія Онъгина". Иыпинъ.

Пушкинъ и Шатобріанъ.

Своеобразный колорить, лежащий на "байроновскихь" мотивахь, разработанныхь у Пушкина, невольно заставляеть нась припомнить Шатобріана, того півца разочарованія и пессимизма, которому исторія приписала печальную славу быть однимь изъ родоначальниковь поэзін "міровой скорби". Пмя это, несправедливо забытое, упоминается въ исторіи русской литературы рідко,— объяснить это не трудно: блестящій, эпергичный таланть Байрона скоро заставиль померкнуть менте замітный образь французскаго писателя, а, между тімь, исторія назвала Шатобріана однимь изъ самыхь близкихь и вліятельныхъ учителей англійскаго поэта...

Инатобріана нашъ Пушкинъ зналъ прекрасно... Вообще вся французкая литература была ему очень хорошо извъстна: на ней онъ воспитался съ дътства, ей подражалъ съ первыхъ шаговъ своего творчества... Правда, въ домъ родителей его культивировалась почти исключительно "легкая поэзія",— но, думается намъ, едва ли эмигранты-аристократы, наводиявшіе московскія гостиныя, часто посъщавшіе также и Пушкиныхъ, съ легкимъ сердцемъ откликались на модную забаву русскихъ поэтовъ-баръ плодить подражанія французской-легкой поэзін",— въроятно, въ ръчахъ многихъ изъ этихъ французовъ, нотерявшихъ все съ революціей, слышался уже Ренэ, этотъ аристократъ-неудачникъ, бъжавшій съ горькими жалобами и упреками на лоно дъвственной природы, бъжавшій не по своей волъ, оставившій свое сердце и думы на родинъ, тоскующій, разочарованный...

Если на первыхъ порахъ Пушкина увлекала легкая, игривая поэзія Парип и К°, поэтовъ безмятежнаго наслажденія,— то стоило измѣниться обстоятельствамъ въ жизни Пушкина, чтобы въ сердцѣ его отозвались мотивы другой французской музыки, мотивы "разочарованія", "міровой скорби".

И, думается намъ, не Вольтеръ, а скоръе Шатобріанъ подсказывалъ Пушкину "разочарованіе", "тоску" въ тъхъ раннихъ произведеніяхъ, которыя написаны до знакомства нашего поэта съ Байрономъ. Это тъмъ возможнъе, что Пушкинъ прекрасно зналъ Шатобріана — это одинъ изъ любимыхъ его писателей: на протяженіи всей своей литературной дъятельности нъсколько

разъ поминаетъ опъ его. Симпатін къ нему пережили у Пушкина даже увлеченіе Байрономъ,— въ 1837 году, когда Пушкинъ о Байронъ пересталъ говорить давно, онъ еще называетъ Шатобріана первыма иза современныха писателей, учителема всего пишущаго покольнія... Въ запискахъ Смирновой мы находимъ потвержденіе этого мивнія: прозу Шатобріана нашъ писатель считалъ выше стиховъ французскихъ молодыхъ романтиковъ; "Репэ", по его мивнію,— лучшій романъ Шатобріана¹)...

Такіе отзывы Пушкина насъ нисколько не удивять, если мы обратимся къ твореніямъ Шатобріана Ренэ: главный герон двухъ его романовъ "Réne" и "Natchez" и дъйствующее лицо въ повъсти "Atala", конечно, болье по плечу Пушкину, чъмъ герон Байрона,— и "Кавказкій пльникъ" гораздо ближе къ Ренэ, чъмъ къ соотвътствующимъ типамъ англійскаго поэта... Въ Ренэ, какъ и въ геров "Кавказскаго плънника", нътъ ничего специфически-байроновскаго: иътъ "богатырскаго, мрачнаго, сильнаго". Ренэ, какъ и русскаго героя, гораздо легче охарактеризовать отрицательными качествами, чъмъ положительными: онъ не возмущается, не ненавидитъ, не мститъ онъ жалуется, тоскуетъ, такъ какъ опъ — жертва, а не борецъ. Глубокая, бользненияя меланхолія, напоминающая настроеніе Вертера,— вотъ, чувство, которымъ онъ живетъ, отъ котораго страдаетъ, но и съ которымъ онъ, тъмъ не менъе, носится...

Если мы отбросимъ совершенно чуждую Пушкину тенденціозно-религіозную окраску, присущую произведеніямъ Шатобріана, мы увидимъ полное тождество въ типическихъ чертахъ героевъ и героинь обоихъ писателей и даже большую близость въ ходъ самой интриги.

Прежде всего, конечно, наше вниманіе обращается къ главному герою Шатобріана — Ренэ. Какъ мы говорили уже, это юноша — "sans force et sans vertu", оставившій родину вслъдствіе несчастной любви, а, также, повидимому, и потому, что среди цивилизованныхъ людей ему мало мъста съ его безмър-

¹⁾ Изсколько глубокое впечатление имель Шатобріань на русскую молодежь дучше всего видно изъ біографіи Батюшкова, написанной акад. Л. Н. Майковимь,— нашему почтенному ученому Рене помогаеть съ необыкновенною полнотою раскрыть страдающую душу поэта... Конечно, если Пушкинь и не подчинился до такой степени Рене, какъ Батюшковь, то и надъ его исною душою, несомнённо, проносилось порою настроеніе Рене.

нымъ эгоизмомъ. Впрочемъ, мотивы, заставившіе его покинуть родину, имъ самимъ, повидимому, такъ же мало выяснены какъ и нашимъ "кавказскимъ плѣнникомъ"... Самая "свобода". "веселый призракъ" который мещерился вдали обоимъ героямъ, также не ясенъ обоимъ... Ренэ бѣжитъ къ дикарямъ, но тоска, грусть слѣдуетъ за нимъ по иятамъ; его охлажденное сердце не долго наслаждалось радостями бытія вдали отъ суеты мірской, — теплая, самоотверженная любовь дикарки не вытѣсняетъ изъ его сердца думъ о той женщинъ, которая осталось на его родинъ, и трогательная любовь Селуты мало его трогаетъ...

Теперь передъ нами двъ героини Шатобріана — Atala и Celuta, — героини на одно лицо... Это — поэтическіе образы, легкіе, полувоздушные, проникнутые самоотверженною, теплою любовью... Atala, влюбленная въ плънника, появляется къ нему ночью и съ тъхъ поръ постоянно ходитъ тайкомъ къ юношъ и ведетъ съ нимъ долгія бесъды о любви... Потомъ она освобождаетъ юнаго "плънника и умираетъ въ борьбъ со своею любовью, умираетъ просвътленная, сомоотворженная... Другая героиня Шатобріана — Celuta, отдавшая всю жизнь свою Ренэ, въ награду за это услышала отъ него признаніе, что сердце его занято думой о другой женщинъ; она ведетъ несчастную жизнь и, наконецъ, потерявъ дорогого человъка. которому она принесла столько жертвъ, бросается въ ръку...

Н всв эти трогательныя исторіи развиты на фонь блестяще написанных в картинъ американской природы, въ обстановкь самой своеобразной, романтической... Шатобріанъ нарочно, въ погонъ за couleur locale, ъздилъ въ Америку, присматривался къ природъ, къ обычаямъ и правамъ тъхъ илеменъ, жизнь которыхъ служитъ фономъ для его драмы...

Обращаясь теперь къ поэмѣ Пушкина, мы находимъ цѣлын рядъ поразительныхъ сходствъ: герой "Кавказскаго цлѣнника". какъ мы уже имѣли случай говорить, очень близокъ къ Ренэ и по характеру, и по его судьбѣ... Онъ, какъ и Ренэ, покидаетъ цивилизованный міръ и, гоняясь за какимъ-то призракомъ свободы, является на Кавказъ, единственное мѣсто въ Россіи. гдѣ можно было встрѣтить романическую обстановку...

Далье интрига развивается совершенно параллельно съ той, которая положена въ основу повъсти "Atala"... Герой въ плъцу, онъ закованъ п не можетъ спастись бъгствомъ... Въ него влюбляется дикарка, освобождаетъ его, онъ, какъ Ренэ, остается

холодень къ любви дъвушки и открываеть ей, что сердце его запято... Развязка также довольно схожа въ обоихъ произведеніяхъ: герои остаются въ живыхъ, героини погибаютъ...

Если мы обратимся къ Пушкинской поэмѣ "Цыганы", то и здѣсь найдемъ мы иѣсколько интересныхъ точокъ соприкосновенія между Пушкинымъ и Шатобріаномъ... При созданіи образа Алеко самостоятельность Пушкина сказалось рѣшительнѣе, ясиѣе. По въ разработкѣ интриги мы найдемъ много общаго съ произведеніями Шатобріана... Алеко, какъ Ренэ, бросаетъ шумный свѣтъ и идетъ къ дикарямъ-цыганамъ... Его такъ же, какъ и Ренэ, принимаютъ дружелюбно... Онъ, какъ Ренэ, болѣе или менѣе, сживается съ тѣмъ народомъ, къ которому пришелъ, хотя всецѣло слиться съ дѣтьми природы онъ не можетъ. Оказывается,—

... уныло юноша глядыль
На опустылую равнину,
Н грусти тайную причину
Истолковать себы не смыль.
Съ нимъ черноокая Земфира,
Теперь онъ — вольный житель міра
И солице весело надъ нимъ
Иолуденной красою блещеть...
Что жъ сердце юноши трепещеть?
Какой заботой онъ томимъ?...

Какъ за Репэ, за нимъ тоска слъдуетъ по пятамъ...

Кромъ главнаго лица, обращаетъ на себя наше вниманіе еще одно дъйствующее лицо, тожественное у обоихъ авторовъ: натріархъ нидъйскаго племени Chaktas и старый цытанъ... Эти два старика, знающіе жизнь съ ея бъдами и нечалями, много видъвшіе на своемъ въку, являются передъчитателемъ судьями эгоизма и сердечной пустоты юношъ Ренэ и Алеко... Правда, у Шатобріана его Chaktas не произноситъ тъхъ энергичныхъ укоровъ, которые услышалъ Алеко отъ стараго цыгана, но величественная фигура индъйца, умудреннаго жизнью, съ душой спокойной и прекрасной по своен наивности и цъльности, является нъмымъ и въ же время краспоръчнвымъ укоромъ Ренэ... Впрочемъ. Chaktas прекрасно поиялъ душу Ренэ и далъ ему цълый рядъ характерныхъ совътовъ.

Если Байронъ далъ Пушкину образчикъ для героя "Цыганъ" и пабросилъ ифсколько слабыхъ невфриыхъ чертъ не героя "Кавказскаго плънника", то Шатобріанъ далъ болье характерныхъ чертъ для героя "Кавказскаго плънника" и далъ интригу для объихъ поэмъ. Развязка въ объихъ поэмахъ самостоятельная, не совсёмъ удачная въ "Кавказскомъ плёншикъ" и очень интересная въ "Цыганахъ"... Этому помогло живое лицо Земопры, очевидно, срисованной съ натуры... В вроятно, жизнь въ Кишиневъ дала Пушкину не одинъ образчикъ тавихъ героинь, какой была героиня "Цыганъ"... На Кавказъ, какъ мъсто самое подходящее для романтической поэмы, укаваль Пушкину, быть можеть. Xavier de Maistre, съ его повъстью: "Кавказскій плъншикъ"... Природа Кавказа, Пушкину въ 1825 году еще незнакомая, такъ какъ тогда онъ быль лишь на минеральныхъ водахъ, набросана имъ, съ чужого голоса; между прочимъ, онъ самъ указалъ въ 1-мъ изданіи своей поэмы на стихи Жуковскаго и Державина, какъ прекрасно нередающія дикія красоты Кавказа... Сиповскій.

Пункинъ, его предшественники и историческая ихъ связь.

Имвлъ онъ песенъ дивный даръ И голосъ шуму водъ подобный.

Великія рівки составляются изъ множества другихъ, которыя, какъ обычную дань, несуть имъ обиле водъ своихъ. И кто же можеть разложить химически воду, напр., Волги, чтобы узцать въ ней воды Оки или Камы? Принявъ въ себя столько ржкъ, и большихъ и малыхъ, Волга пышно катитъ евои собстренныя волны, и всв. зная о ея безчисленныхъ похищеніяхъ, не могутъ указать ин на одно изъ шихъ, плывя по ел инфому раздолью. Муза Пушкина была вскормлена и воснитана твореніями предшествовавшихъ поэтовъ. Скажемъ болъе: она приня а ихъ въ себя, какъ свое законное достояніе, и возвратила ихъ міру въ новомъ, преображенномъ видъ. Можно сказать и доказать, что безъ Державина, Жуковскаго и Батюшкова не было бы и Пушкина, что онъ ихъ ученикъ; но пельзя сказать, и еще менфе доказать, чтобы опъ что-нибудь заимствоваль отъ своихъ учителей и образцовъ, или чтобъ гуф-нибудь и въ чемъ-нибудь опъ не былъ неизмфримо выше

ихъ. Поэзія Державина была преждевременною, а потому и пеудавшеюся попыткою на пародную поэзію. Могучій геній Державина явился слишкомъ не во-время и не могъ найти въ народной жизни своего отечества какіе-пибудь элементы, какое-пибудь содержание для поэзін. Общество его времени хорошо понимало поэзію патронатства, лести и угодинчества: по о всякой другой поэзін не пмъло ръшительно никакого попятія и, слъдовательно, не имъло въ ней никакой потребности, пикакой нужды. Слава Державина была основана не на общественномъ мивнін, котораго тогда не было ви признака ни тъпп, особенно въ дълъ литературы; нътъ, слава Державина была основана на просвъщенномъ вниманін немногихъ къ его таланту. И если во всей Россіи того времени было человъкъ десять или двадцать, болъе или менъе умъвшихъ ценить этотъ высокій таланть, то остальные, человекъ сто или двъсти, изъ которыхъ состояла тогдашняя читающая публика, кричали о немъ съ голоса первыхъ, сами хорошенько не понимая собственнаго крика. Гдт жъ тутъ было явиться истинной поэзін и великому поэту? Правда, природа производитъ таланты, не спрашиваясь времени и не справляясь, нужны они, или ифтъ: но, вфдь, великіе поэты творятся не одною природою: они творятся обществомъ, т.-е. историческимъ положеніемъ общества. Думать, что поэтъ составляеть одинъ талантъ — значитъ грубо ошибаться. Разумъется, прежде всего ноэтомъ дълаетъ человъка талантъ; но къ этому также необходимы еще и характеръ, и образованіе, и направленіе, которые зависять отъ общества, среди котораго является поэтъ. Чтобы поэтически воспроизводить дъйствительность, мало одного природнаго таланта, — нужно еще, чтобы подъ рукою поэта была поэтическая дъйствительность. Хорошо было грекамъ творить ихъ изящныя, исполненныя идеальной красоты статуи, когда греческіе художники и на площадяхъ, и на улицахъ, и на рынкахъ безпрестанно встръчали то мужчинъ съ головою Зевеса, съ станомъ Аполлона, то женщинъ съ выраженіемъ величаво-строгой красоты Паллады, съ роскошными формами Афродиты или обаятельною прелестью харитъ. Только италіанскимъ живописцамъ среднихъ въковъ былъ доступенъ идеаль Мадонны, ибо тппъ ея они видъли безпрестанно въ прекрасныхъ женщинахъ своего богатаго красотою отечества. Странное дело! Всв понимають, что нельзя сделаться вели-

кимъ живописцемъ, имъя какой бы то ин было великій талантъ, если въ годы изучении пскусства иътъ хорошихъ натурщиковъ; всв понимаютъ, что всякій живописецъ, творя идеальную красоту, все-таки нуждается, во время своей работы, въ образцъ дъйствительности; а никто не хочетъ понять, что точно такъ же и для великихъ поэтовъ образцомъ ихъ идеальныхъ созданій служить тоже окружающая ихъ дъйствительность. Природа творить великихъ полководцевъ, когда ей угодно, а не только на случай войны; но безъ войны и великій полководець проживеть весь свой въкъ, даже и не подозрѣвая, что опъ — великій полководецъ: только во времена сильныхъ движеній общественныхъ люди, одаренные отъ природы большими военными способностями, дълаются великими полководцами. Чонорный, патянутый Расинъ въ древней Греціи быль бы страстнымъ и глубокомысленнымъ Эвринидомъ; а во Франціи, въ царствованіе Людовика XIV, и самъ страстный, глубокомыеленный Эврипидъ быль бы чопорнымъ и натлиутымъ Расиномъ. Таково вліяніе исторіи и общества на талантъ! У насъ этого не хотятъ знать. Кричатъ о Державинъ, что онъ геній; стиховъ его давно уже совсъмъ не читають, а считають чуть не безбожниками тѣхъ, кто осмѣливается говорить, что теперь поэзія Державина — слишкомъ непитательная и певкусная пища для эстетическаго вкуса. Повторяемъ не разъ уже сказанное и смъемъ надъяться, доказанное нами, что при всей огромности таланта, который мы и не думаемъ отринать, и предъ которымъ мы умъемъ благоговъть больше, нежели всъ крикуны и лицемъры, вопнощіе противъ насъ, — Державивъ не принадлежитъ къ тъмъ въчноюнымъ геніямъ, которыхъ созданія никогда не старфются. всегда новы и интересны. Поэзія Державина была блестящею и интересною поныткой, для усивха которой не были готовы ни русское общество, ни русскій языкъ, ни образованіе самого поэта. Это — поэзія, носящая на себф всф родовые признаки своего времени, а потому для насъ, русскихъ, имъющая свой историческій интересь; по какь время этой поэзін, такъ сама эта поэзія чужды всякаго дійствительнаго и опреділенпаго идеальнаго содержанія, которое дается только сильно развитою народною жизнью. Лучшее, что есть въ поэзін Державина, — это намеки на позвію, часто не достигающіе цъли по ихъ неопредъленности и темнотъ; проблески поэзіи, часто погасающіе вь водяной масст реторики; словомъ, это несвязный детскій поэтическій лепеть, но еще не поэзія. Въ поэзій Державина есть и полетистая возвышенность, и могучая кртность, и яркость великолтиныхъ картинъ, и, несмотря на ея подражательность, есть что-то, отзывающееся стихіями стверной природы; но все это является въ ней не въ стройныхъ созданіяхъ, втрныхъ и выдержанныхъ по концепціи и отличающихся художественною полнотой и оконченностью, но отрывочно, мъстами, проблесками. Словомъ, это еще не поэзія, а только стремленіе къ поэзій.

Задумчивая и мечтальная поэзія Жуковскаго совершенно чужда главнаго недостатка поэзін Державина: она исполнена содержанія, но вмъстъ съ тъмъ лишена разнообразія и многосторонности. Ни одному поэту такъ много не обязана русская поэзія, въ ея историческомъ развитіи, какъ Жуковскому, и между тъмъ въ созданіяхъ Жуковскаго поэзія является не столько искусствомъ, сколько служительницею и провозвъстницею тайнъ внутренней жизин. Жуковскін — романтикъ въ духъ времени среднихъ въковъ, а не художинкъ. По своей натуръ онъ чуждъ этой способности, совершенно поэтической и артистической, свободно перепоситься во всъ сферы жизни и воспроизводить ея явленія въ ихъ разпообразіи и свойственной каждому изъ нихъ особенности. Ему чуждо это свойство Протея, принимать вев виды и формы и оставаться въ то же время самимъ, собою, - это свойство, въ которомъ заключается сущность поэзін, какь искусства. Поэзія Жуковскаго была отголоскомъ его жизни, вздохомъ по утраченнымъ радостямъ, разрушеннымъ надеждамъ, поэтическою тризной надъ умернимъ для очарованія сердцемъ. Поэзія души и сердца, она чужда всфхъ другихъ интересовъ и рфдко выходить изъ-за магическаго круга неопредъленныхъ стремленій и туманныхъ мечтаній. Это ея величайшій надостатокъ, но эта же и ея величайшее достоинство. Она была необходима не для самой себя, а какъ средство къ развитію русской поэзін; она явилась не какъ готовая уже поэзія, подобно Палладъ, родившейся во всеоружін, а какъ моментъ возникавшей русской поэзіп. Она обогатила русскую поэзію содержаніемъ, котораго ей недоставало; указала ей на богатые и пепстощимые источники европейской поэзін, которой явленія умъла съ непостижимымъ нскусствомъ усвоивать русскому языку. Сверхъ того, Жуковскій далеко подвинуль впередь и русскій языкь, придавь ему много гибкости и поэтическаго выраженія.

Въ поэзін Батюшкова преобладаеть элементь чисто художественный. Это видно и въ фактуръ его стиха, и вообще въ пластическомъ характеръ формъ его произведении: это же видно и въ артистическомъ, полномъ страсти стремленій его наслажденію, къ въчному пиру жизни; это же видно и разнообразін предметовъ его поэтическихъ пъсенъ. Это преимущества поэзін Батюшкова передъ поэзіею Жуковскаго; но поэзія Жуковскаго несравненно богаче поэзін Батюшкова содержаніемъ. Поэзія Батюшкова скользить по жизни, едва зацъпляясь за нее; содержаніе ся весьма скудно и бъдно. Самая художественность стиха его не достигла полнаго своего развитія: Батюшковъ любиль произвольныя устченія прилагательныхъ; между превосходивишими стихами у него встръчаются негладкіе и даже не поэтическіе; сверхъ того, върный преданіямъ русской поэзіп и примфру отца ея — Ломоносова, Батюшковъ очень и очень не чуждъ реторики.

Пушкинъ былъ призванъ быть первымъ поэтомъ-художникомъ Руси, дать ей поэзію, какъ искусство, какъ художество, а не только какъ прекрасный языкъ чувства. Само собою разумъется, что одинъ онъ этого сдълать не могъ. Всъ предшествовавшіе поэты относятся къ Пушкину, какъ малыя и великія ріжи къ морю, которое наполняется ихъ водами. Поэзія Пушкина была этимъ моремъ. По смыслу нашего сравненія, море больше и важиће рфкъ; но безъ нихъ оно не могло бы образоваться. Такое сравнение не можетъ быть оскорбительно для предшествовавшихъ Пушкину, особенно, если мы напомнимъ при этомъ, что поэтическая деятельность Жуковскаго явилась на высшей степени своего развитія и принесла самые сочные, зрълые и прекрасные плоды свои уже при Пушкинъ, а Батюшковъ погасъ для литературы въ цвътъ лътъ и силы. Читая стихотворенія Пушкина, отзывающіяся влінніемъ прежней школы, чувствуещь и видишь, что была на Руси поэзія прежде Пушкина; по, читая по выбору только самобытныя его стихотворенія, не то что не вфришь, а совершенно забываешь, что была па Руси поэзія и до Пушкина: такъ оригиналенъ, повъ и свъжъ міръ его поэзін! Туть нельзя даже сказать: то же, да не то! напротивь, туть невольно воскликнешь: не то, совершенно не то! Стихъ Держа-

вина, часто столь пеуклюжін и прозаическій, неръдко бываеть. въ поэтическомъ отношени, могучъ, прокъ, по въ отношени къ просодін, грамматикъ, сантаксису и особенно къ акустическимъ требованіямъ языка, онъ ниже стиха не только Дмитріева, по и Карамзина; стихъ Дмитріева и даже Озерова во вебхъ отношеніяхъ неизмъримо шиже стиха Жуковскаго и Батюшкова, — и было время, когда пельзя было не върить, что подъ перомъ этихъ двухъ поэтовъ стихъ русскій дошелъ до крайней и послъдней степени совершенства, — и между тьмъ, этотъ стихъ относится къ стиху Пушкина такъ же точно, какъ стихъ Дмитріева и Озерова относился къ стиху Жуковскаго и Батюшкова... Правда, впоследствин, т.-е. при Пушкинт, стихъ Жуковскаго много усовершенствовался и въ переводъ "Шильонскаго узника", а также отчасти и въ переводъ "Суда въ подземельи" походилъ на кръпкую дамасскую сталь, и у самого Пушкина нечего противопоставить этому стиху; но эту стальную кръность, эту необыкновенную сжатость и тяжело-упругую энергію ему сообщиль тонъ поэмы Байрона и характеръ ея содержанія, — и Пушкинъ, если бы онъ написалъ поэму въ такомъ тонъ и духъ, конечно, умълъ бы придать этому стиху еще новыя качества, сохранивъ главныя свойства стиха Жуковскаго, — чему можеть служить доказательствомъ его поэма "Мъдный всадникъ". Обращаясь къ общей характеристикъ стиха Жуковскаго и Пушкина, мы снова повторяемъ, что только при отсутствін эстетическаго чутья и такта можно не видъть между ними огромной разницы... Мы не безъ умысла такъ много распространяемся о стихь: нбо подъ стихомъ разумьемъ первоначальную, непосредственную форму поэтической мысли, - форму, которая одна, прежде и больше всего другого, свидътельствуеть о дъйствительности и силъ таланта поэта. Это стихъ, который дается талантомъ и вдохновеніемъ, а трудомъ только совершенствуется; стихъ, который, какъ тъло человъка, есть откровеніе, осуществленіе души - иден: стихъ, которому нельзя подражать, подъ который всякая подделка, какъ ин была она довка и искусна, всегда будетъ мертва, относясь къ нему, какъ искусно-едфланная восковая статуя или автоматъ относится къ живому человъку. И потому стихъ Пушкина, въ самобытныхъ его пьесахъ вдругь какъ бы сдълавшій крутой поворотъ, или ръзкій разрывъ въ исторіи русской поэзіи, нару-

инвшій преданіе, явившій собою что-то небывавшее, непохожее ни на что прежнее, - этотъ стихъ былъ представителемъ новой, дотолъ небывалой поэзіи. И что же это за стихъ! Античная пластика и строгая простота сочетались въ немъ съ обаятельного игрой романтической риемы; все акустическое богатство, вся сила русскаго языка явилась въ немъ въ удивительной полнотф; онъ нъженъ, сладостенъ, мягокъ, какъ ропотъ волны, тягучъ и густъ, какъ смола, ярокъ какъ молнія, прозраченъ и чисть, какъ кристалль, душисть и благовоненъ, какъ весна, кръпокъ и могучъ, какъ ударъ меча въ рукъ богатыря. Въ немъ и обольстительныя, невыразимыя прелесть и грація, въ немъ ослъпительный блескъ и кроткая влажность, въ немъ все богатство мелодін и гармонін языка и риома, въ немъ вся иъга, все упоеніе творческой мечты, поэтическаго выраженія. Если бъ мы хотвли охарактеризовать стихъ Пушкина однимъ словомъ, мы сказали бы, что это по превосходству поэтическій, художественный, артистическій стихъ, — и этимъ разгадали бы тайну наооса всен поэзін Пунікина...

Читая Гомера, вы видите возможную полноту художественнаго совершенства; по она не поглощаетъ всего вашего вниманія; не ей исключительно удивляетесь вы: васъ болье всего поражаетъ и занимаетъ разлитое въ поэзін Гомера древие-эллинское міросозерцаніе и самый этотъ древне-эллинскін міръ. Вы на Олимпъ среди боговъ, вы въ битвахъ среди героевъ; вы очарованы этой благородною простотой, этои изящиою патріархальностью героическаго выка народа, изкогда представлявшаго въ лицъ своемъ цълое человъчество: но поэть остается у вась какъ бы въ сторонъ, и его художество вамъ кажется чемъ-то уже необходимо принадлежащимъ къ поэмъ, и потому вамъ какъ будто не приходить въ голову остановиться на немъ и подивилься ему. Въ Шекспиръ васъ тоже останавливаетъ прежде всего не художникъ, а глубокій серцевъдець, мірообъемлющій созерцатель; художество же въ немъ какъ будто признается вами безъ всякихъ словъ и объяснении. Такъ, разсуждая о великомъ математикъ, указывають на его заслуги наукъ, не говоря объ удивительнои силь его способности соображать и комбинировать до безконечности предметы. Въ поэзін Байрона прежде всего обоиметъ вашу душу ужасомъ удивленія колоссальная личность поэта, титаническая смълость и гордость его чувствъ и мыслен. Въ поэзін Гёте кередъ вами выступаетъ поэтически-созерцательный мыслитель, могучій царь и властелниъ внутренняго міра души человъка. Въ поэзін Шиллера вы прекловитесь съ любовью и благоговъніемъ передъ трибупомъ человъчества, провозвъстинкомъ гуманности, страстнымъ поклонникомъ всего высокаго и правственно прекраснаго. Въ Пушкивъ, напротивъ, прежде всего увидите художника, вооруженнаго всъми чарами поэзій, призваннаго для искусства, исполненнаго любви, интереса ко всему эстетически-прекрасному, любящаго все и потому тернимаго ко всему. Отсюда всъ достоинства, всъ недостатки его поэзій, — и если вы будете разематривать его съ этой точки, то съ удвоенною полнотой насладитесь его достоинствами и оправдаете его недостатки, какъ необходимое слъдствіе, какъ оборотную сторону его же достоинствъ...

Призвание Пушкина объясияется историею нашей литературы. Русская поэзія — пересадокъ, а не туземный плодъ. Всякая поэзія должна быть выраженіемъ жизни, въ общирпомъ значенін этого слова, обинмающаго собою весь міръ физическій и правственный. До этого ее можетъ довести только мысль. По чтобы быть выраженіемъ жизпи, поэзія прежде всего должна быть порзією. Для искусства изтъ никакого выигрыша отъ произведенія, о которомъ можно сказать: умно, истинно, глубоко, но прозанчно. Такое произведеніе похоже на женщину съ великою душой, но съ безобразнымъ лицомъ: ей можно удивляться, но полюбить ее нельзя; а между тъмъ немножко любви сдълало бы счастливъе, чъмъ много удивленія, не только ее, но и мужчину, въ которомъ она возбудила это удивленіе. Произведенія непоэтическія безплодны во встахъ отношеніяхъ; между темъ какъ произведенія наполовину прозаическія бывають полезны для общества и для частныхъ людей; но они дъйствуютъ и въ этомъ отношенін только наполовину. Гдф помнять начало поэзін, гдф поэзія линась не какъ плодъ національной жизни, а какъ плодъ цивилизаціи, тамъ для полнаго развитія поэзін нужно прежде всего выработать поэтическую форму; ибо, повторяемъ, поэзія прежде всего должна быть поэзіею, а потомъ уже выражать собою то и другое. Воть причина явленія Пушкина такимъ, ванимъ онъ былъ, и вотъ почему онъ ничъмъ другимъ быть не могъ. До него у нась не было даже предчувствія того, что

такое искусство, художество, которое составляеть собою одну изъ абсолютныхъ сторонъ духа человъческаго. До него поэзія была только красноръчивымъ изложеніемъ прекрасныхъ чувствъ и высокихъ мыслей, которыя не составляли ея души, но къ которымъ она относилась какъ удобное средство для доброй цъли, какъ бълила и румяна для блъднаго лица старушки-истины. Это мертвое нонятіе о пользъ поэтической формы для выраженія моральныхъ и другихъ идей породило такъ называемую дидактическую поэзіи и было выражено Мерзляковымъ въ слъдующихъ стихахъ, кажется, переведенныхъ имъ изъ Тассо:

Такъ врачъ болящаго младенца ко устамъ Несетъ фіалъ, сластьми упитанъ по краямъ: Счастливецъ, обольщенъ, пьетъ горькое цъленье, Обманъ ему далъ жизнь, обманъ ему спасенье!

Наша русская поэзія до Пушкина была именно позолоченною пилюлей, подслащеннымъ лъкарствомъ. И потому въ ней истинная, вдохновенная и творческая поэзія только проблескивала временами въ частностяхъ, и эти проблески тонули въ массъ реторической воды. Много было едълано для языка, для стиха, кое-что было сдълано и для поэзін; но поэзін, какъ поэзін, то-есть, такой поэзін, которая, выражая то или другое, развивая такое или иное міросозерцаніе, прежде всего была бы поэзіей — такой поэзін еще не было! Пушкинь быль призвань быть живымъ откровеніемъ ся тайны на Руси. И такъ какъ его назначение было завоевать, усвоить навсегда русской земль поэзію какъ некусство, такъ, чтобы русская поэзія имъла потомъ возможность быть выражениемъ всякаго направления, всякаго созерцанія, не боясь перестать быть поэзіей и перейти въ риемованную прозу - то, естественно, что Пушкивъ долженъ былъ явиться исключительно художникомъ.

Еще разъ: до Пушкина были у пасъ поэты, но не было ин одного поэта-художника; Пушкинъ былъ первымъ русскимъ поэтомъ-художникомъ. Поэтому, даже самыя первыя незрълыя юношескія его произведенія, каковы: "Русланъ и Людмила", "Братья разбойники", "Кавказскій плънникъ" и "Бахчисарайскій фонтанъ", отмътили своимъ появленіемъ новую эпоху въ исторіи русской поэзіи. Всъ не только образованные, даже многіе просто грамотные люди увидъли въ нихъ не просто новыя поэтическія произведенія, но совершенно новую поэзію, которой они не знали на русскомъ языкъ не только образца,

но на которую они не видали никогда даже намека. И эти поэмы читались всею грамотною Россіей; онъ ходили въ тетрадкахъ, переписывались дввушками, охотницами до стишковъ, учениками на школьныхъ скамейкахъ, украдкою отъ учителя, сидъльцами за прилавками магазиновъ и лавокъ. И это дълалось не только въ столицахъ, но даже и въ увздныхъ захолустьяхъ. Тогда-то поняли, что различее стиховъ отъ прозы заключается не въ риомъ и размъръ только, но что и стихи, въ свою очередь, могутъ быть и поэтическіе и прозапческіе. Это значило уразумъть поэзію уже не какъ что-то внъшнее, но въ ея внутренией сущности. Явись теперь на Руси поэтъ, который быль бы неизмъримо выше Пушкина, — его появление уже не могло бы надълать столько шума, возбудить такой общій, такой страшный энтузіазмъ, потому что, послъ Пушкина, позія уже не невидная, не неслыханная вещь. И по тому же самому теперь уже слишкомъ слабый успъхъ могъ получить поэтъ, который, не уступая Пушкину въ талантъ, даже превосходя его въ этомъ отношенін, былъ бы, подобно ему, преимущественно художникомъ.

Если въ поименованныхъ нами первыхъ поэмахъ Пушкина видно такъ много этого художества, которымъ такъ ръзко отдълились онъ отъ произведений прежинхъ школъ, то и еще болъе художества въ самобытныхъ лирическихъ пьесахъ Пушкина. Поэмы, о которыхъ мы говорили, уже много потеряли для насъ своей прежней прелести; мы уже пережили и, слъдовательно обогнали ихъ; но мелкія пьесы Пушкина, ознаменованныя самобытностью его творчества, и теперь такъ же обаятельно прекрасны, какъ и были во время появленія ихъ въ свътъ. Это понятно: поэма требуетъ той зрълости таланта, которую даеть опыть жизни, — и этой зрълости нъть нисколько въ "Русланъ и Людмијъ", "Братьяхъ разбойникахъ" и "Кавказскомъ пленниьв", а въ "Бахчисарайскомъ фонтанъ" замъченъ только успъхъ въ искусствъ; но юность самое лучшее время для лирической поэзіи. Поэма требуеть знанія жизни и людей, требуетъ созданія характевовъ, следовательно своего рода драматизировки; лирическая поэзія требуеть богатства ощущеній, — а когда же грудь человъка наиболье богата ощущеніями, какъ не въ лъта юности?

Тайна Пушкинскаго стиха была заключена не въ искусствъ "сливать послушныя слова въ стройные размъры и замыкать

ихъ звонкою риемой", но въ тайит позвін. Душт Пушкина присуща была прежде всего та поэзія, которая не въ кингахъ, а въ природъ, въ жизни, - присуще художество, печать котораго дежитъ на "полномъ творенін славы". Разумъ, это -духъ жизни, душа ея; поэзія, это — удыбка жизни, ея свътлый взглядъ, играющій встми переливами быстро смъняющихъ ощущеній. Бываютъ женщины, одаренныя отъ природы ръдкою красотою, на которыхъ строго-правильныя черты лица поражають какою-то сухостью, а движенія лишены грацін; такія женщины могуть быть по-своему ослепительно блестящими и возбуждать удивленіе, по ихъ появленіе не заставить ничье сердце забиться отъ невъдомаго волиенія, ихъ красота не родить любви, а красота, не сопутствуемая харитою любви, лишена жизин, лишена поэзін. Такъ точно и природа и жизнь возбуждали бы только холодное удивленіе, если бы онъ не были насквозь проникнуты поэзіею; не любовью — небеснымъ огнемъ жизни, а холодною сыростью могилы въяло бы отъ нихъ. Пусть евътила небесныя образуютъ собою стройные міры; не тъмъ только возвышають они душу созерцающаго ихъ человъка, но поэзіею своего тапиственнаго мерцанія; по дивною красотою живои игры своихъ блъдно-огнистыхъ лучей; въ ихъ стройномъ ходф Иноагоръ видълъ не одну математику въ фактъ, но и слышалъ гармонію міровъ... Если бы солице только грѣло и свѣтило, оно было бы не болфе, какъ огромный фонарь, огромная печка; но оно проливаеть на землю яркій, весело дрожащій, радостно играющій лучь, — и земля встръчаетъ этотъ лучъ улыбкою, а въ этон улыбкъ — невыразимое очарованіе, неуловимая поэзія... Природа полна не одибать органическихъ силъ, — она полна и поэзін, которая наиболье свидътельствуетъ о ел жизни: въ ел въчномъ движеніи, въ которомъ любовно играетъ лучъ солица, въ ропотъ ручья, въянін вътра, волиующаго золотистую жатву, разлить для человъка тапиственный блескъ и слышатся ему живые голоса, то грустные и одинокіе, какъ звуки эоловой арфы, то веселые, радостные, какъ пъснь взвивающагося подъ небо жаропка... Человъкъ еще болъе исполненъ поэзін. Отчего вамъ такъ хочется расцаловать этого ребенка, шумно играющаго на лугу; отчего такъ плвияють васъ и его блестящіе чистою радостью глаза, его дышащая блаженствомъ улыбка, живость и резвость его движеній? — Что общаго между вами, измученнымъ жизнью,

опытомъ и житейскими заботами, вами, человѣкомъ пожилымъ и мудрымъ, и между нимъ, пичето не попимающимъ, почти безсознательнымъ существомъ? Зачёмъ же, торопливо бёжа по важному дълу съ озабоченнымъ видомъ, вы вдругъ остановились па лугу, забывъ ваши важныя дъла, и съ улыбкою умиленія смотрите на это дитя, и чело ваше разгладилось и проясибло, забота на мигъ слетъла съ него, и улыбка счастія на миновеніе освътила ваше угрюмое лицо, какъ лучъ солица, проникцувшій сквозь ицель въ мрачное подземелье и трепетно заигравшій на сыромъ его полу?... Оттого, что видъ этого дитяти пахнулъ на васъ поэзіею жизни... Вотъ прекрасная, молодая женщина: въ чертахъ лица ея вы не находите никакого опредъленнаго выраженія — это не олицетвореніе чувства, души, доброты, любви, самоотверженія, возвышенности мысли и стремленій, словомъ, ничто не говоритъ вамъ въ этомъ лицъ ни о какомъ ръзко выпечатавшемся правственномъ качествъ; оно только прекрасно, мило, одушевлено жизнью — и больше вичего; вы не влюблены въ эту женщину и чужды желанію быть любимымъ сю, вы спокойно любуетесь прелестью ея движении, грацією ея манеръ, — и въ то же время, въ ея присутствія, сердце ваше бьется какъ-то живъе, и кроткая гармонія счастія мгновенно разливается въ душт вашей... Отчего это, если не оттого, что красота сама по себъ есть качество и заслуга, и притомъ еще великая? Прекрасна и любезна истина и добродътель, но и красота также прекрасна и любезна, и одно другого стоитъ; одно другого замънить не можетъ, но то и другое въ одинаковой степени составляеть потребность нашего духа. Вотъ почему древніе греки въ своемъ поэтическомъ политензмъ обожествили не только истину, знаніе. могущество, мудрость, доблесть, справедливость, целомудріе, по и красоту, сопровождаемую харитами любви и желапія... По ихъ религіозному созерцанію, исполненному поэзін и жизни, богиня красоты обладала таниственнымъ поясомъ —

Въ немъ и любовь и желанья, въ немъ и знакомства и просьбы,

Льстивыя рѣчи, не разъ уловлявшія умъ и разумныхъ.

Чтобы выразить всю силу неотразимаго вліянія на душу и сердце человѣка поэзін Гомера, греки говорили, что онъ нохитилъ поясъ Афродиты... Пушкинъ первый изъ русскихъ поэтовъ овладълъ поясомъ Киприды. Не только стихъ, но каждое ощущеніе, каждое чувство, каждая мысль, каждая картина исполнены у него невыразимой поэзін. Онъ созерцалъ природу и дъйствительность подъ особеннымъ угломъ зрънія, и этотъ уголъ былъ исключительно поэтическій. Муза Пушкина, это дъвушка-аристократка, въ которой обольстительная красота и граціозность непосредственности сочетались съ изяществомъ тона и благородною простотою, и въ которой прекрасныя внутреннія качества развиты и еще болье возвышены виртуозностью формы, до того усвоенной ею, что эта форма сдълалась ей второю природою.

Бълшскій.

Отношеніе Пушкина къ писателямъ старшаго покол'єнія.

Изъ современныхъ писателей старшаго нокольнія Пушкинъ выше всьхъ почиталь Карамзина. Извъстны восторженные отзывы объ "Исторіи государства россійскаго": "Древняя Россія, казалось, найдена Карамзинымъ, какъ Америка Колумбомъ": "у насъ никто не въ состояніи изслъдовать огромное созданіе Карамзина, зато пикто не сказалъ спасибо человъку, уединившемуся въ ученый комитеть во время самыхъ лестныхъ уснъховъ и посвятившему цълыхъ 12 лътъ жизни безмольнымъ и неутомимымъ трудамъ": "Исторія государства россійскаго есть не только созданіе великаго писателя, но и подвигь честнаго человъка", и пр.

Мы упомянули, что Карамзинъ въ глазахъ Пушкина былъ не только великій писатель, но и честный человѣкъ: это могло относиться къ твердости убѣжденій, которыхъ Карамзинъ не уступаль передъ самимъ императоромъ Александромъ, но также къ его литературной дѣятельности вообще, и къ той рѣнимости, съ которою онъ предпринялъ свой продолжительный и тяжелый историческій трудъ. Карамзинъ давно уже представлялся Пушкину примѣромъ мужества въ литературномъ служеніи. Въ 1517 г., вступая на свое литературное поприще и предвидя борьбу съ врагами, онъ говориль въ посланіи къ Жуковскому: "миѣ Карамзинъ — миѣ

ты примъръ!" Въ письмъ къ Бестужеву въ 1825 г., опъ опять указываетъ молодымъ писателямъ примъръ Карамянна: "ты, да, кажется, Вяземскій, одни изъ нашихъ литераторовъ учатся; всъ прочіе разучаются. Жаль! высокій примъръ Карамянна долженъ былъ ихъ образумить". Но твореніе Карамянна тъмъ не менъе дало мотивы для "Исторіи села Горохина".

Въ небольшой замъткъ 1822 года, Пушкинъ пишетъ: "Вопросъ: чья проза лучшая въ нашей литературь? Отвътъ: Карамзина". Въ тъ времена рядомъ съ прозаикомъ Карамзинымъ ставили поэта Дмитріева, которому приписывали такое же усовершенствованіе русскаго стиха, какое сділано было Карамзинымъ въ прозъ. Пушкинъ, кажется, только однажды отозвался о Дмитріев в съ некоторой похвалой, говоря о его книжкъ "Путешествіе NN въ Парижъ и Лондонъ", но свое настоящее мивніе онъ нѣсколько разъ повторилъ въ письмахъ, и это мижије было крайне неблагопріятно. Въ общемъ хорѣ восхваленій Дмитріева одни отзывы Пушкина представляются справедливой оцънкой этого писателя. Въ самомъ дълъ, Дмитріевъ не совершилъ никакого особеннаго подвига въ отрицаніи старой напыщенной поэзін, потому что самъ служилъ ей довольно усердио: теперь, въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ, восхваленія Дмитріева становились слишкомъ преувеличеннымъ комплиментомъ литературному ветерану и, наконецъ, безвкусіемъ, противъ котораго и возставалъ Пушкинъ. Еще въ письмъ къ Гиъдичу 1822 года, онъ высказываетъ мысль, что начинавшееся тогда вліяніе англійской словесности на русскую "будеть полезиве вліянія французской поэзін, робкой и жеманной. Тогда пркоторые люди упадуть, и посмотримь, гдв очутится Ив. Ив. Дмитріевъ съ своими чувствами и мыслями, взятыми изъ Флоріана и Легуве". Въ 1823 году ки. Вяземскій написаль изв'єстіе о жизни и стихотвореніяхъ Дмитріева къ новому изданію его сочиненій. Пушкинъ, еще не видавъ этой біографіи, но, зная, конечно, отношение ки. Вяземскаго къ этому писателю, уже напалъ на него въ письмъ отъ марта 1824 г. Сохранились черновые наброски этого письма. Пушкинъ, повидимому, не ръщался сказать всей правды своему другу, но въ этихъ черновыхъ мы читаемъ следующее: "О Дмитріеве спорить съ тобою не стану, хотя всв его басии не стоятъ одной хорошей

басин Крылова, всв его сатиры — одного изъ твоихъ посланій. а все прочее — перваго стихотворенія Жуковскаго; по мив Дмитріевъ ниже Нелединскаго и стократъ ниже стихотворца Карамзина. Сказки его написаны въ дурномъ родъ, холодны и растянуты, а Ермакъ такая дрявь, что нътъ мочи... Грустно мив видъть, что все у васъ клонится Богъ знаетъ куда! Ты одинъ бы могъ прикрикнуть налъво и направо, порастрясти старыя репутаціи, приструшить новыя и показать истину, а ты покровительствуешь старому врадю». Въ письмъ къ Бестужеву (въ мартъ 1825 г.) по поводу его "Взгляда на русскую словесность", гдъ тотъ говорилъ, что у насъ есть критика и ивть литературы, Пушкинь говорить, что напротивь, у насъ вовсе изтъ критики, что до сихъ поръ не оцвиенъ Державниъ, что "Княжнинъ безмятежно пользуется своею славою, Богдановичь причислень къ лику великихъ поэтовъ, Дмитріевъ также".

При всемъ великомъ уважении, которое Пушкинъ питалъ къ Караменну, при всемъ вниманіи, которое последній ему оказываль, эти отношенія не могли быть вполив близки: слишкомъ дълилъ ихъ возрастъ и характеры и самое различіе областей литературы; у Карамзина недостало, наконецъ, теривливой списходительности къ молодымъ ръзкостямъ Пушкина, такъ что между пими, наконецъ, наступило охлажденіе. Но взамънъ былъ у Пушкина другъ съ начала до конца неизмвиный, поэть, которыи рано почуяль и встрътиль съ великою любовью необычанным таланть, какого не видала еще русская литература, наконецъ, исполненный благодущія человыть, который если не находиль иногда оправданія для иныхъпоступковъ Пушкина, то всегда былъ готовъ на участіе и помощь въ бъдъ. Съ своей стороны Пушкинь едва ли къ кому нибудь питаль такое прочное и теплое сочувствіе, какъ къ Жуковскому. Последній зналъ Нушкина еще ребенкомъ въ домъ его отца, потомъ насъщалъ его въ Лицев; главнымъ образомъ черезъ него Пушкинъ вступилъ въ избранный кружокъ "Арзамасъ", и добродушный юморъ Жуковскаго также способствоваль украплению взаимной привизанности. По тогдашнему обычаю поэты дълились своими мыслями и дружескими чувствами въ посланіяхъ, и въ 1817 г., передъ своимъ вступленіемъ въ общественную жизнь и ръшивъ свое поэтическое поприще. Пушкинъ пишетъ извъстное посланіе къ Жуковскому, гдв представлялись ему впередъ трудности этого поприща, педоброжелательство враговъ, но гдв высказалось также и сознаніе великой задачи и трогательная увъренность въ опоръ у старшаго друга. "Благослови поэтъ!" — этими словами Пушкинъ начиналъ свое посланіе, и, сказавъ, какъ первые шаги его ободрили своимъ внимапіемъ Карамзинъ, Державинъ, Дмитріевъ, онъ обращается къ Жуковскому:

И ты, природою на пѣсни обреченный,
Не ты-ль мнѣ руку далъ въ завѣтъ любви священной?
Могу ль забыть я часъ, когда передъ тобой
Безмолвный я стоялъ, и молнійной струей
Душа къ возвышенной душѣ твоей летѣла
И, тайно съединясь, въ восторгахъ пламенѣла?
Нѣтъ, нѣтъ рѣшился я безъ страха въ трудный путь!
Отважной вѣрою исполнилася грудь.
Творцы безсмертные, питомцы вдохновенья!
Вы цѣль мнѣ кажете въ туманахъ отдаленья.
Лечу къ безвѣстному отважною мечтой,
И, мнится, геній вашъ промчался надо мной.

Впослѣдствін, въ VIII главѣ "Онѣгива" (въ варіантахъ), Пушкинъ вспоминаетъ Жуковскаго:

И ты, глубоко вдохновленный, Всего прекраснаго пъвецъ, Ты, идолъ дъвственныхъ сердецъ! Не ты ль, пристрастьемъ увлеченный, Не ты ль мит руку подавалъ И къ славъ чистой призывалъ?

Жуковскій быль дорогь Пушкину вдвойнь, и какь рьдкій характерь, и какь поэть. Ни къ кому Пушкинь не обращался съ такою полною довърчивостью, убъжденный иной разь, какъ капризное дитя, что для него сдълано будеть все; а вмъстъ съ тъмъ ни у кого изъ старшаго покольнія и изъ сверстниковъ Пушкинъ не находилъ такого возвышеннаго представленія о поэзіи, ся художественной и правственной задачь: Пушкинъ развилъ это представленіе, но остался на томъ же высокомъ тонь этого пониманія. Самъ Жуков скій былъ тогда въ полномъ развитіи своего таланта; еще можно было ожидать его самостоятельныхъ твореній, но и въ то время Пушкинъ ставилъ его очень высоко какъ переводчика, открывшаго путь романтизму, и какъ великаго мастера стиха. Въ молодомъ покольніи, въ двадцатыхъ годахъ,

сказывалось иногда недовольство Жуковскимъ, особливо тъмъ мистическимъ оттънкомъ, который такъ часто придавалъ онъ своему романтизму; иные, какъ Рылъевъ, находили этотъ мистицизмъ даже вреднымъ; но Пушкинъ постоянно былъ на сторонь Жуковскаго. "Зачьмъ, — писаль онъ Рыльеву въ январъ 1825 г., — зачъмъ кусать намъ груди кормилицы нашей, потому что зубки проръзались? Что ни говори, Жуковскій имълъ ръщительное вліяніе на духъ нашей словесности; къ тому же, превосходный слогъ его останется навсегда образцовымъ. Охъ, ужъ эта мит республика словесности! За что вънчать?" Въ май того же 1825 года, онъ пишетъ Вяземскому по поводу статьи последняго въ "Телеграфе" о Пушкине и Жуковскомъ: "Ты слишкомъ бережешь меня въ отношенін къ Жуковскому. Я не слъдствіе, а точно ученикъ его и только тьмъ и беру, что не смъю супуться на дорогу его, а бреду проседочной. Никто не имълъ и не будетъ имъть слога, равнаго въ могуществъ и разнообразін слогу его. Въ бореньяхъ съ трудностью силачъ необычайный. Переводы избаловали его, измънили; онъ не хочетъ самъ созидать; но онъ, какъ Voss, геній перевода. Къ тому же смішно говорить объ немъ, какъ объ отцвътшемъ, тогда какъ слогъ его еще мужаетъ".

На Жуковскаго Пушкинъ возлагалъ свои надежды въ критическія минуты при началь новаго царствованія. Когда кончилась ссылка и Пушкинъ вернулся въ Петербургъ, ихъ отношенія стали еше тъсиве, чъмъ бывали прежде: это быль испытанный другь и въ ту минуту единственный равносильный поэть; еще въ началь 1820 года, когда Пушкинъ окончилъ "Руслана и Людмилу", Жуковскій подарилъ ему свой портреть съ надписью: "ученику-побъдителю отъ побъжденнаго учителя". Лъто и осень въ 1831 году Пушкинъ провелъ въ Царскомъ Сель, гдъ жилъ тогда же Жуковскій, такъ какъ здъсь быль и дворъ по случаю холеры. Здъсь между Пушкинымъ и Жуковскимъ происходило извъстное поэтическое состязаніе въ сказкахъ: Жуковскій написаль тогда "Спящую царевну", "Сказку о царъ Берендев", "Войну мышей и лягушекъ", Пушкинъ — сказку "О попъ (переименованномъ послъ въ купца Остолопа) и его работникъ" и сказку "О царъ Салтанъ"; вмъстъ они издали тогда и "Три стихотворенія на взятіе Варшавы"... По смерти Пушкина, когда делалось изданіе его сочиненій, Жуковскій иногда исправляль ихъ...

И другой поэть изъ предшествовавшаго покольнія имы в свою долю въ образованіи таланта Пушкина: это быль Батюшковь. Посльдній зналь семейство Пушкиныхъ, и юнаго поэта встрытиль въ первый разъ, повидимому, въ 1815 г. Но еще въ 1814 г. Пушкинъ адресоваль Батюшкову посланіе съ поэтическими привытствіями къ парнасскому "счастливому лывивцу" и наперстнику аонидъ, и съ вызовами на новую пирокую дыятельность и оканчиваль такъ:

Но что? Цъвницею моею, Безвъстный въ мірѣ семъ поэть, Я пъсни продолжать не смъю. Прости — но помни мой совъть: Доколъ, музами любимый, Ты Піэридъ горишь огнемъ. Доколь, сраженъ стръдой незримой, Въ подземный ты не снидешь домъ, Мірскія забывай печали, Играй: тебя, младой Назонъ, Эроть и граціи вънчали, А лиру строилъ Аполлонъ.

Второе посланіе къ Батюшкову, писанное въ 1815 г., является отвътомъ на предложение Батюшкова предпринять серіозный поэтическій трудъ и именно, простясь съ Анакреономъ, воспъть войны кровавый пиръ, по примъру Марона: Пушкинъ отклоняетъ трудную задачу, которая ему не по силамь, и кончаеть стихомь, взятымь изъ посланія Жуковскаго къ тому же Батюшкову: "будь всякій при своемъ"... Въ своихъ первыхъ поэтическихъ опытахъ Пушкинъ имълъ уже готовые и привычные образцы во французской поэзін; но тъми же Вольтеромъ, Парни проч. увлекался въ свое время Батюшковъ, и весьма возможно, что его обработка этихъ образцовъ не осталась безъ вліянія на выборъ и манеру Пушкина. Въ лицейскихъ стихотвореніяхъ есть несомнѣнные слъды подражаній Батюшкову. Пушкинь высоко ставиль его заслугу въ обработкъ русскаго поэтическаго языка, и въ одной замъткъ 1824 г. считаетъ возможнымъ сказать: "Батюшковъ, счастливый сподвижникъ Ломоносова, сдълаль для русскаго языка то же самое, что Петрарка для италіанцевъ". Извъстенъ разсказъ, что въ 1828 году Пушкинъ написалъ въ альбомъ одного знакомца свое стихотвореніе "Муза", а на вопросъ, почему онь его выбраль, отвъчаль: "я люблю его, оно отзы-

вается стихами Батюшкова". Батюшковъ, съ своей стороны, уже вскоръ высоко оцъниль въ Пушкинъ то необыкновенное искусство формы, которой онъ самъ придавалъ такое значеніе, и которая, видимо, такъ легко давалась Пушкину. Какъ говорять, быстрые успъхи молодого поэта даже возбудили въ самолюбивомъ Батюшковъ нъкоторое соревнованіе, и что онъ судорожно сжалъ въ рукахъ листъ бумаги на которомъ читалъ Пушкинское "Посланіе къ Юрьеву" (1818) г.), и сказаль: "О, какъ сталъ писать этотъ злодъй!..." Это показывало уже, какъ высоко ставилъ онъ дарованіе Пушкина; уже тогда Батюшковъ ссыдался на его "чуткое ухо" и боялся только, чтобъ онъ не растратилъ своего дарованія въ разсъянной жизни: "да спасутъ его музы да молитвы наши". Когда онъ познакомился съ отрывками "Руслана и Людмилы", онъ отзывался въ письмъ къ кн. Вяземскому, что Пушкинъ "пишетъ прелестную поэму и зрветь", - между тымь, какъ замвчаеть біографъ Батюшкова, "поэма Пушкина упразднила собою всф давно лелъянные Батюшковымъ замыслы о подобномъ же произведенін съ содержаніемъ, взятымъ изъ народныхъ преданій русской старины".

Позже, когда талантъ Нушкина созрълъ и содержание литературы распирилось, очень измѣнилось и миѣніе Пушкина о "наперсникъ аонидъ". Свидътельствомъ этого позднъйшаго мивнія остались сообщенныя недавно замітки Пушкина на на экземпляръ "Опытовъ" Батюшкова. Какъ полагаютъ, онъ перечитывалъ Батюшкова около 1826 г.: вся книга покрыта отмътками Пушкина, выражающими одобреніе или неодобреніе относительно цёлыхъ пьесъ и отдёльныхъ стиховъ. Заметки очень любопытны, и самая подробность ихъ свидътельствуетъ, что самому Пушкину какъ будто хотвлось провърить старыя впечатлънія и отдать себъ отчеть о томъ, что остается дъйствительно прекраснаго и прочнаго въ произведеніяхъ его прежняго любимца и учителя. Эта историческая повърка очень часто оказывалась не въ пользу Батюшкова, и очевидно, что въ ошибкахъ и слабыхъ сторонахъ поэзіи Батюшкова неръдко осуждались ошибки самаго періода литературы, къ которому онъ принадлежалъ, — имъ бывалъ причастенъ и самъ Пушкинъ въ его юношеской поэзіи.

Пушкина непріятно поражаетъ излишество подражанія, По поводу одного мадригала Батюшкова, онъ замъчаетъ:

"переведенное остроуміе — плоскость". По поводу "Монхъ пенатовъ" Батюшкова, гдъ по старому обычаю въ русскіе правы замъщивалась классическая миоодогія, Пушкинъ замъчаеть: "Главный порокъ въ семъ прелестномъ посланіе есть слишкомъ явное смъшеніе древнихъ обычаевъ минологін съ обычаями жителя подмосковной деревни. Музы — существа идеальныя: христіанское воображеній наше къ нимъ привыкло; но норы и кельи. гдъ лары разставлены, слишкомъ переносять насъ въ греческую хижину, гдф съ неудовольствіемъ находимъ столъ съ изорваннымъ сукномъ и передъ каминомъ — суворовскаго солдата съ двуструнной балалайкой. Это все другъ другу слишкомъ уже противоръчитъ". Въ другомъ случав онъ отмъчаетъ какъ нельпость: "сильваны, нимфы и наяды — межъ сыромъ выписнымъ и гамбургскимъ журналомъ!... "Онъ много разъ отмъчаетъ у Батюшкова разныя неловкости, излишества, совсёмъ неудачныя подробности, и не однажды въ его замъткахъ стоить: "дурно", "вяло", "слабо", даже "пошло", "дрянь". Въ стихотвореніи Батюшкова "Отвътъ Гнъдичу" начальные стихи:

Твой другь тебѣ навѣкъ отнынѣ Съ рукою сердце отдаетъ,

вызываетъ объясненіе Пушкина: "Батюшковъ женится на Гивдичв!"

Но въ другихъ случаяхъ Пушкинъ отмъчаетъ истиниопоэтическія мѣста, красивые обороты, удачные стихи. Напримѣръ, къ тѣмъ самымъ пенатамъ, въ которыхъ онъ находилъ
частные недостатки, онъ дѣлаетъ такое общее замѣчаніе: "Это
стихотвореніе дышитъ какимъ-то упоеньемъ роскоши, юности
и наслажденія, слогъ такъ и трепещетъ, такъ и льется, гармонія очаровательна". О посланін къ Жуковскому Пушкинъ
пишетъ: "Прекрасно, достойно блестящихъ и небрежныхъ
шалостей французскаго остроумія, — и вездѣ языкъ поэзін";
но о стихахъ, обращенныхъ къ гр. Віельгорскому, онъ рѣщаетъ: "преглупая пьеса" и т. д.

Такъ, въ этихъ критическихъ замѣткахъ Пушкина совершалось уже историческое опредъленіе литературныхъ фактовъ: указывалась ихъ цѣна для своего времени, но указывалось и все устарѣлое, ложное, непригодное для настоящаго, устранялись не въ мѣру восхваленные кумиры и извлекалось то, въ чемъ могъ быть источникъ живого лигературнаго дъйствія. Эти взгляды Пушкина въ свое время только частію были высказаны въ печати, но и его пеполныя и случайныя замьтки свидътельствовали о новомъ, гораздо болъе чъмъ когданибудь прежде, высокомъ уровнъ исторической и художественной оцънки, и открыта была дорога для систематической критики, а вмъстъ съ тъмъ для поваго литературнаго стиля было уже обязательно устраненіе устарълыхъ остатковъ XVIII въка.

Отношеніе Пушкина къ предшествующему литературному направленію.

Широкому литературному движенію, начавшемуся въ западныхъ литературахъ съ половины XVIII въка, въ нашей литературъ соотвътствовало подобное же, можетъ-быть, не столь глубокое, но не менъе запутанное и сложное движеніе, возникшее съ конца XVIII в. и продолжавшееся въ различныхъ фазисахъ до 30-хъ и даже отчасти 40-хъ гг. текущаго стольтія. Какъ и въ каждой изъ другихъ европейскихъ литературъ, и въ нашей литературъ это движение не было какимълибо подражаніемъ или заимствованіемъ: общность явленій указывала лишь на общность потребностей. Всюду, во всёхъ литературахъ, хотя въ различныхъ видахъ и формахъ, возникали один и тъ же явленія, - обращеніе къ природъ п естественности чувства, требованіе отъ поэзін и вообще литературы большей жизненной правды, большей поэтической искренности и реальности, стремленіе къ художественности, независимо отъ литературныхъ формъ, — даже пренебреженіе, открытая борьба противъ этихъ, такъ долго обязательныхъ, формъ, — съ другой стороны, недовольство общественными условіями, недовольство и результатами, полученными дитературой "просвъщенія", и, позже, результатами совершившихся во Франціи политическихъ переворотовъ, общее разочарованіе и самоуглубленіе, — обращеніе, вследствіе недовольства настоящимъ, къ историческому прошлому, въ средне-въковой старинъ, къ предаціямъ народнаго прошлаго, къ національности, народпой... Шаблопность предшествовавшей литературы встмъ

надойла; всёмъ хотёлось чего-нибудь простого, чего-нибудь своего, національнаго. Весь умственный горизонтъ Европы, всё европейскія литературы одинаково охвачены были одной общей широкой волной обновленія.

Съ конца XVIII в. и въ нашей литературъ наступаетъ переходная эпоха, — возникаетъ борьба стараго съ новымъ, или, выражаясь старыми терминами, борьба романтизма съ классицизмомъ. Переходность эпохи обозначается именами Карамзина, Дмитріева, Жуковскаго, Батюшкова, Крыдова — и кончается лишь съ именемъ Пушкина. Поэтическая дъятельность Пушкина явилась наиболъе полнымъ выраженіемъ литературныхъ стремленій эпохи.

Какъ и въ каждой изъ другихъ европейскихъ литературъ,—
и въ нашей движение являлось въ особыхъ, своеобразныхъ
формахъ, съ мъстными чертами и особенностями. Изъ политическихъ событий конца XVIII и начала XIX вв., для нашей
литературы особенно важной была, въ смыслъ общаго возбуждения, эпоха борьбы съ Наполеономъ и непосредственное
знакомство русскихъ съ Западомъ. Русская молодежь, пережившая это время, побывавшая на Западъ, — "не могла не
быть поражена тою скудостью мысли, тъмъ ниценствомъ
содержания, которыя господствовали въ тогдашней русской
печати".

Когда въ русскихъ журналахъ стали появляться первыя стихотворенія Пушкина, литература наша представляла какой-то неопредъленный, смъшанный характеръ. Это всегда бываетъ съ эпохами переходными. Рядомъ съ именами Карамзина, Жуковскаго, Батюшкова, Крылова — шелъ длиниый рядъ поэтовъ и писателей, которые еще продолжали "творить" напыщенныя оды, эпическія поэмы, героическія трагедін. Реформы Карамзина въ слогъ вызвали цълую бумажную войну. Имя творца "Россіады" было окружено еще общимъ благовъніемъ. Правда, въ 1815 году, въ одной журнальной статьт, одинъ молодой авторъ (П. М. Строевъ, въ то время студентъ Московскаго университета) горячо доказывалъ, что "Россіада" недостойна тѣхъ похваль, конми ее до сихъ поръ осыпали" и что вообще въ словесности весьма часто "имена бывають болье безсмертны, чьмъ творенія"; по въ томъ же году, въ другомъ журналъ, извъстнымъ въ то время критикомъ и ученымъ (А. Ө. Мерзляковымъ, проф. Моск. унив.)

съ новыми соображеніями излагалось въ сущности прежнее мивніе о величіи и безсмертности "Россіады"; въ концв изслъдованія, ученый авторъ даже сравниваетъ эту поэму съ храмомъ св. Петра и патетически восклицаетъ: "Какъ громада неподвижная и въ буряхъ времени и въ буряхъ мивній, — стоить "Россіада", огражденная неизміннымь своимь величіемъ!... Вообще поклоненіе французскому классицизму было еще полное, и на это справедливо жаловались нъкоторые изъ тогдашнихъ нашихъ писателей. "Исключительная любовь къ французской словесности, пишетъ Батюшковъ въ одномъ письмъ въ 1814 г., неизлъчима: она выдержала всевозможныя испытанія и времени и политическихъ обстоятельствъ". Исключительное господство и въ литературъ и обществъ ложноклассическихъ теорій поддерживалось и паукой: въ лекціяхъ университетскихъ профессоровъ (собственно Московскаго университета) попрежнему развивалось и доказывалось важное значение французскихъ классическихъ правилъ и обязательность ихъ для поэтическихъ произведеній. Ослепленіе укоренившимися теоріями было настолько сильное, что за ними не замъчали, или не хотъли замъчать новыхъ явленій въ литературф, или старались взглявуть на нихъ по-своему, съ точки зртнія тахъ же теорій. Тотъ же Мерзляковъ, въ одной изъ журнальныхъ статей, въ 1817 году, доказывалъ, что успъхъ комической оперы Аблесимова "Мельшикъ" зависълъ не отъ того, что она, какъ думали тогда ибкоторые, - "сочинена въ русскихъ вравахъ", а долженъ быть объясняемъ исключительно тъмъ обстоятельствомъ, что опера составлена съ строгимъ сохраненіемъ всёхъ законовъ кассической драмы, что она вполив'оправдываеть собою эстетическіе законы Аристотеля, наставленія Горація, Буало, и вообще вст правила науки о вкуст...

Уже въ самомъ первомъ своемъ стихотворсніи, напечатанномъ въ "Вѣсти. Европы" 1814 г. въ іюльской книжкѣ, — пятнадцатилѣтиій авторъ, въ то время еще лицеистъ, въ довольно яркой картинѣ рисустъ общую бездарность большинства тогдашнихъ пінтовъ и преобладающій безсодержательный характеръ современной литературы. Обращаясь къ одному изъ такихъ пінтовъ, 15-лѣтній поэтъ говоритъ:

Аристь! II ты въ толиъ служителей Парнаса! Ты хочешь осъдлать упрямаго Пегаса; За лаврами спъшншь опасною стезей,

II съ строгой критикой вступаешь смъло въ бой! Аристъ, повърь ты миъ, оставь перо, чернила, Забудь ручьи, лъса, унылыя могилы, Въ холодныхъ пъсенкахъ любовью не пылай; Чтобъ не слетъть съ горы, скорве впизъ ступай! Довольно безъ тебя поэтовъ есть и будеть; Ихъ напечатають — и цълый свъть забудеть. Быть можеть, и теперь, оть шума удалясь II съ глупой музою на въкъ соединясь, Подъ сънью мирною Минервиной эгиды Сокрыть другой отець второй Телемахиды. Страшися участи безсмысленныхъ пъвцовъ, Насъ убивающихъ громадою стиховъ! Потомковъ позднихъ дань поэтамъ справедлива: На Пиндъ лавры есть, но есть тамъ и кропива. Страшись безславія! Что, если Апполлонъ, Услышавъ, что и ты полъзъ на Геликонъ, Съ презрѣньемъ покачавъ кудрявой головою, Твой геній наградить — спасительной лозою?...

Аристъ, не тотъ поэтъ, кто риомы плесть умѣетъ И, перьями скрипя, бумаги не жалѣетъ; Хорошіе стихи не такъ легко писать, Какъ Витгенштейну французовъ побѣждать. Межъ тѣмъ какъ Дмитріевъ, Державинъ, Ломоносовъ, Пѣвцы безсмертные и честь и слава россовъ, Питаютъ здравый умъ и вмѣстѣ учатъ насъ, Сколь много гибнетъ книгъ, на свѣтъ едва родясь! Творенья громкія Риоматова, Графова, Съ тяжелымъ Бибрусомъ гніютъ у Глазунова; Никто не вспомнитъ ихъ, не станетъ вздоръ читать, И Фебова на нихъ проклятія печать.

Указывая на общую страсть къ стихамъ, — поэтъ-сатирикъ съ сожалѣніемъ замѣчаетъ:

Проводить тихій вѣкъ безъ горя, безъ заботы, Своими одами журналовъ не тягчитъ И надъ экспромптами недѣли не сидитъ...

Представительницей продолжавшаго все еще преобладать въ нашей литературъ ложноклассическаго направленія была вь то время у насъ "Бестра любителей русскаго слова", основанная въ 1811 г. Шишковымъ и Державинымъ и существовавшая до 1816 г. Пушкинъ уже въ Лицет является ярымъ противникомъ "Бестры". Въ 1816 г., въ лицейскомъ письмт къ Вяземскому, Пушкинъ, называя "Бестру люби-

телей" — "Бесъдою губителей россійскаго слова", — шутя пишеть ему:

> Блаженъ, кто съ добрыми друзьями Сидитъ до ночи за столомъ И надъ словенскими глупцами Смъется русскими стихами...

Въ другомъ своемъ лицейскомъ стихотвореніи, говоря, что онъ рѣшился выбрать литературное поприще, и обращаясь за благословеніемъ къ Жуковскому, молодой поэтъ предчувствуетъ нападки на себя со стороны "дружинъ" Бесѣды, но смѣло заявляетъ:

Что нужды? Смёло вдаль дорогою прямою: Ученью руку давъ, поддержанный тобою Ихъ злобы не страшусь; мнъ твердый Карамзинъ, Мнѣ ты примъръ! Что крикъ безумныхъ сихъ дружинъ? Иускай бесѣдуютъ отверженные Феба: Имъ прозы, ни стиховъ не посланъ даръ отъ неба; Ихъ слава — имъ же стыдъ, творенья — смѣхъ уму, И въ тьмѣ возникшіе низвергнутся во тьму.

И въ поздившихъ своихъ произведеніяхъ Пушкинъ неръдко подсмънвался надъ правилами ложноклассическихъ теорій. Такъ, въ І главъ "Евгенія Онъгина" поэтъ шутя объщаетъ написать "поэму пъсенъ въ двадцать пять"; въ концъ VII главы того же романа онъ пародируетъ приступы эцическихъ поэмъ:

Татьяну милую мою
И въ сторону свой путь направимъ,
Чтобъ не забыть, о комъ пою...
Да кстати, здѣсь о томъ два слова:
Пою пріятеля младова
И множество его причудъ
Благослови мой долгій трудъ,
О ты, эпическая муза!
И вѣрный посохъ мнѣ вручивъ,
Не дай блуждать мнѣ вкось и вкривь.
Довольно. Съ плечъ долой обуза,
Я классицизму отдалъ честь.
Хотъ поздно, а вступленье есть.

Въ очеркъ "Домикъ въ Коломнъ" поэтъ подсмънвается надъ александрійскимъ стихомъ, излюбленнымъ стихомъ "пудреной пінтики", и тутъ же указываетъ на столкновеніе двухъ

литературныхъ теорій, прежней и повой: стихъ этотъ, говоритъ поэтъ,

. . . выняцченъ былъ мамкою не дурой: За нимъ смотрълъ степенный Буало, Шагалъ онъ чинно, стянуть былъ цезурой; Но пудреной пінтикъ на зло-Растрепанъ онъ свободною цензурой. Ученіе не въ прокъ ему пошло: Hugo съ товарищи, друзья натуры, Его гулять пустили безъ цезуры. О, что бъ сказаль поэть-законодатель, Гроза несчастныхъ мелкихъ риомачей! И ты, Расинъ, безсмертный подражатель, Пъвецъ влюбленныхъ женщинъ и царей! И ты, Вольтеръ, философъ и ругатель, II ты, Дедиль, парнасскій муравей, Что бы вы сказали, сей соблазиъ увидя? Нашъ въкъ обидъль васъ, вашъ стихъ обидя!

Поэтъ смѣется надъ требованіями современными критикам и торжественности въ пѣснопѣніп, возвышенныхъ предметовъ для литературныхъ сюжетовъ, — "героевъ" двора, знати, выс-шаго общества:

Какой вы строгій литераторъ!

восклицаетъ поэтъ:

Вы говорите, критикъ мой,
Что ужъ коллежскій регистраторъ
Никакъ не долженъ быть герой,
Что выборъ мой всегда ничтоженъ,
Что въ немъ я страхъ неостороженъ,
Что долженъ дать себѣ поэтъ
Всегда возвышенный предметь,
Что въ спискахъ цѣлаго Парнаса
Героя нѣтъ такого класса...

И это не было одной шуткой. Отождествляя торжественность съ вдохновеніемъ, — сторонники господствовавшихъ литературныхъ традиціи были крайне недовольны самой формой Пушкинской поэзіи, разлитой въ ней веселостью и реальностью содержанія. Многіе изъ современныхъ критиковъ были недовольны легкимъ, веселымъ сюжетомъ. напр., "Евгенія Онъгина". Пушкину приходилось серіозно защищаться и серіозно говорить, напр., слъдующее: "Ужели хотятъ изгнать

все легкое и веселое изъ области поэзіи? Куда же двиутся сатиры и комедіи? Сльдственно должно будеть уничтожить и Orlando furioso, и Гудибраза, и Pucelle, и Веръ-Вера, и Рейнеке-Фуксъ и лучшую часть "Душеньки", и сказки Лафонтена, и басни Крылова и проч. и проч. Это немного строго"...

На господствующее пристрастіе въ современной литературъ къ французскимъ образцамъ Пушкинъ иногда указывалъ и въ своихъ поздибйщихъ критическихъ статьяхъ и замъткахъ. Онъ видълъ въ этомъ главную причину бъдности вашей литературы. Ему кажется довольно страннымъ, что, младенческая наша словесность, ни въ какомъ родъ не представляющая никакихъ образцовъ, уже успъла немногими опытами притупить вкусъ читающей публикъ" — и продолжаетъ: "французская словесность, всёмъ намъ съ младенчества и такъ коротко знакомая, въроятно, причиною сего явленія". Онъ съ сожальніемъ замьчаетъ, что воспитанные подъ вліяніемъ французской критики, русскіе привыкли къ правиламъ, утвержденнымъ сею критикою, и неохотно смотрятъ на все, что не подходитъ подъ ел законы"... Во многихъ современныхъ произведеніяхъ поэть видить одно - "жеманство ложно-классицизма французскаго... Общее пристрастіе къ укоренившимся правидамъ и формамъ вызываетъ у него даже безнадежное замъчаніе: "нововведенія опасны и, кажется, не нужны"...

Съ представителями "Весъды" и вообще со всею старою литературною школою Пушкинъ расходился самымъ взглядомъ на сущность и задачи литературы. Мы позволимъ себъ съ иъкоторой подробностью остановиться на этихъ литературныхъ метияхъ нашего поэта; ихъ мало касались раньше. Взгляды Пушкина въ этой сферт были совершенио другіе, чти взгляды "пудреной пінтики" продолжавшей еще привлекать литературные вкусы. "Птеноптвическое" направленіе продолжало еще оставаться довольно сильнымъ. Кто бы что ин писалъ, — онъ пталь, а не писалъ. Нтекоторыя изъ страницъ "Записокъ" И. И. Дмитріева, гдт онъ описываетъ "лучшій свой пінтическій годъ", хорошо знакомитъ насъ съ тти узкимъ, ограниченнымъ горизонтомъ, котораго было совершенно достаточно, чтобы вдохновить современнаго сентиментальнаго поэта и дать ему возможность "запастись матеріа-

лами" для будущихъ его произведеній; одна педъля пути могла обогатить такого поэта "запасомъ идей и картинъ, по крайней мъръ, на полгода..." Содержаніе поэзіи было, по преимуществу, идиллическое. Заботились только о формъ. Говоря о первомъ періодъ своего стихотворства, Дмитріевъ замъчаетъ: "Вся моя забота (тогда) была только о томъ, чтобъ стихи мои были менъе шероховаты, чъмъ у многихъ. Одну только плавность стиха и богатую риему я считалъ красотой и совершенствомъ поэзіи..." Основнымъ началомъ творчества поэзіи, по правиламъ дожноклассической теоріи, считался безотчетный восторгъ, которымъ внезапно илъняется умъ, и который чаще всего на помощь призывалъ реторику...

На поэтпческое творчество Пушкинъ смотрълъ иначе. На мъсто восторга онъ ставить сознательный, спокойный трудъ, соединенный съ вдохновеніемъ, столь же сознательнымъ и спокойнымъ; трудъ является необходимымъ условіемъ истивновеликаго. "Вдохновеніе, писаль Пушкинь, есть расположеніе души къ дальнъйшему принятию впечатлъний и соображению понятій, следственно и объясненію оныхъ. Вдохновеніе нужно въ геометрін, какъ и въ поэзін. Восторгь исключаеть спокойствіе, необходимое условіе прекраснаго. Восторгъ не предполагаетъ силы ума, располагающаго частями въ отношеніи къ цълому. Восторгъ непродолжителенъ, непостояненъ, слъдовательно не въ силахъ произвесть истинное, великое совершенство. Гомеръ неизмъримо выше Пиндара. Ода стоитъ на низшихъ ступеняхъ творчества. Она исключаетъ постоянный трудъ, безъ коего нътъ пстинно великаго. Близость нашего поэта, въ этомъ опредъленін поэтическаго вдохновенія, со взглядами В. Гумбольдта, въ его "Эстетическихъ опытахъ" очевидна. Въ словахъ Чарскаго, обращенныхъ къ импровизатору (въ "Египетскихъ ночахъ") Пушкинъ съ чрезвычайной ясностью опредъляетъ послъдовательность процесса поэтическаго творчества. "Какъ! восклицаетъ Чарскій: чужая мысль чуть коснулась вашего слуха и уже стала вашею собственностью, какъ будто вы съ нею носились, лелъяли, развивали ее безпрестанно? Итакъ для васъ не существуетъ ни труда, ни охлажденія, ни этого безпокойства, которое предшествуетъ вдохновенію?... "Трудъ" и "вдохновеніе" были двумя главными и постоянными факторами поэтической деятельности Пушкина. "Тихій трудъ", "жажда размышленій", "вниманіс

долгихъ думъ", — вотъ чёмъ питался его "своеправный геній", и вотъ для чего поэтъ всю жизнь свою стремился "въ просвещеніи стать съ вёкомъ наравнъ"... Позія должна "питать здравый умъ", и ближайшимъ союзникомъ музъ долженъ быть разумъ:

Духовная организація Пушкина.

"Поэзія бываеть исключительно страстью немногихъ, родившихся поэтами: она объемлеть и поглощаеть всв наблюденія, всъ усилія, всъ впечатльнія ихъ жизни .. Пушкинъ быль вправъ такъ говорить, потому что опъ на себъ испыталъ и провърилъ все это. Если мы прослъдимъ по его словамъ развитіе въ немъ литературнаго поэтическаго дарованія, то мы убъдимся, что онъ широтой и глубиной своего таланта превосходиль всёхь своихь современниковь. Въ самомъ дёлё, не напрасно лучшій біографъ Пушкина останавливаетъ наше вниманіе на томъ, что "языкъ поэзін быль его прпродный языкъ, данный ему вмъстъ съ жизнью": поэтическія грезы, крыдатыя мечты и міръ фантазін были знакомы ему съ младенческихъ лътъ; душа его и воображение уже съ ранняго дътства работали надъ усвоеніемъ окружающей дъйствительности, которую мы потомъ сами познали и оцвишли изъ чудныхъ созданій его поэтическаго генія, мы сами вслёдъ за Пушкинымъ перестали смънться надъ нашей жизнью, утомившись отъ чрезмфрнаго смфха, вызваннаго сатирой Кантемира, Сумарокова, Фонвизина, сатирой журналовъ XVIII в., Капниста, басенъ и Грибоъдова; мы отдохнули на типахъ поэзін

Пушкина и узпали свою жизнь съ другой стороны въ лицъ Евгенія Онъгина, Татьяны, капитанской дочки и многихъ другихъ. Эту художественную переработку впечатлъній дъйствительности Пушкинъ называлъ "вымыслами" въ извъстномъ смыслъ и душою любилъ плоды своихъ думъ и чувствъ, говоря намъ о нихъ:

Ивъдаю, мнъ будуть наслажденья
Межъ горестей, заботь и треволненья.
Порой опять гармоніей упьюсь,
Подъ вымысломъ слезами обольюсь,
И, можетъ-быть, на мой закать печальный
Блеснетъ любовь улыбкою прощальной.
(Элегія. 1830.)

Это было сказано, какъ и все другое у Пушкина, совершенно искренно: безграничная любовь къ своему дълу — поэзін наполняла всю его жизнь и дълала его счастливымъ. Сравните, напр., съ этимъ сказанное имъ еще въ 17 лътъ:

Нѣтъ, и въ слезахъ сокрыто наслажденье—
И въ жизни сей мнъ будет въ утъщенье
Мой скромный даръ и счастие друзей!
(Къ Горчакову. 1816.)

Пушкивъ своимъ же геніальнымъ чутьемъ чувствовалъ, что его искреннее увлеченіе поэзіей вызоветъ въ насъ такую же пскреннюю и сильную любовь къ нему. Его глубокая преданность поэзіи и высокое мнёніе о вдохновеніи сдёлали изъ него строгаго судью и критика нашей литературы. Мы видимъ, что прежде, чёмъ сдёлаться писателемъ, онъ уже былъ поэтомъ, поэтомъ въ душё: такъ, въ 15 лётъ онъ пишетъ къ сестрё:

Фантазія, тобою Одной я награждень! И въ кельъ я блаженъ! (Къ сестръ. 1814.)

Въ этомъ же возрастъ, будучи ученикомъ лицея, онъ пишетъ:

Когда же на закатѣ Послѣдній лучь зари Потонеть въ яркомъ златѣ, И свѣтлые цари Спускающейся нощи Плывуть по небесамъ, И тихо дремлють рощи, И шорохъ по лѣсамъ—

Мой геній невидимкой Летаеть надо мной, И я въ тиши ночной Сливаю голось свой Съ пастушьею волынкой.

(Городокъ. 1814.)

Черезъ годъ, въ 16 лѣтъ, Пушкинъ опять говоритъ намъ о томъ, что ему уже съ дѣтства знакомо вдохновеніе:

Веселый сынъ Эрмія
Ребенка полюбиль.
Въ дни рѣзвости златые
Мнѣ дудку подарилъ,
Знакомясь съ нею рано,
Дудилъ я безпрестанно;
Нескладно хоть игралъ,
Но музамъ не скучалъ.

(Къ Батюшкову. 1815.)

Отъ этого же года сохранились другія слова Пушкина:

Главою на руку склоненъ, Въ забвени глубокомъ, Я въ сладки думы погруженъ На ложъ одинокомъ; Съ волшебной ночи темнотой, При мъсячномъ сіяньъ, Слетают ризвою толпой Крылатыя мечтанья... Нашелъ въ глуши я мирный кровъ И дни веду смиренно; Дана мни лира отг боговг, Поэту даръ безцѣнный; И муза върная со мной: Хвала тебъ, богиня! Тобою красенъ домикъ мой, И дикая пустыня. На слабомь утръ дней златыхъ Пъвца ты осънила, Вънкомъ изъ миртовъ молодыхъ Чело его покрыла, И, горнимъ свътомъ озарясь, Влетала въ скромну келью, И чуть дышала, преклонясь, Надъ дътской колыбелью.

(Мечтатель 1815.)

Въ теченіе всей своей жизни Пушкинъ, оставаясь наединь, часто погружается въ сладкія думы, въ невольныя поэтиче-

скія грезы, и это состояніе было его любимымъ; мы видимъ, что онъ страстно любилъ предаваться своимъ мечтамъ; въ 17 лѣтъ онъ опять пишетъ:

Я трепеталь, и тихо, наконець,
Томленье сна на очи упадало.
Тогда толпой съ лазурной высоты
На ложе розь крылатыя мечты,
Волшебники, волшебницы слетали,
Обманами мой сонь обворожали;
Терялся я въ порывѣ сладкихъ думъ
Въ глуши лѣсной, средь Муромскихъ пустыней,
Встрѣчалъ лихихъ Полкановъ и Добрыней —
И въ вымыслахъ носился юный умъ...

(Сонъ. 1816.)

Мы видимъ такую редкую впечатлительность мальчика-Пупікина, какая можеть быть только у больного или разстроеннаго ребенка, а между тъмъ это состояніе сладких дума, эта жизнь въ средъ поэтическихъ образовъ, эти крылатыя мечты были обыкновеннымъ и нормальнымъ состояніемъ у Пушкина; никто изъ его біографовъ не указываетъ намъ на его разстроенное здоровье въ дътствъ, никто не говоритъ о слабости его организма, напротивъ, мы знаемъ о его здоровь совершенно обратное, а между темъ стоило только нянъ его разсказать ему на сонъ грядущій одну другую сказку, какъ нашъ вдохновенный мальчикъ начиналъ еще и наяву и во сиб грезить: для него начиналась другая жизнь, и онъ страстно любилъ эту жизнь, это одиночество съ поэтическимъ настроеніемъ: свои думы онъ вездъ называетъ "сладкими". Мы должны признать у Пушкина врожденный вкусъ и чутье изящнаго: онъ самъ говоритъ "Дельвигу" въ 18 лѣтъ:

> О милый другь, и мнѣ богини пѣснопѣнья Еще въ младенческую грудь Вліяли искру вдохновенья И тайный указали путь. Я мирныхъ звуковъ наслажденъя Младенцемъ чувствовать умълъ, И лира стала мой удълъ.

(Дельвигу. 1817.)

Когда посъщало его божество — вдохновеніе (срв. вдохновеніе Чарскаго — Пушкина въ "Египетскихъ ночахъ"), онъ весь перерождался, онъ чувствовалъ приближеніе этого сладостнаго

состоянія, это быль особый психическін процессь, сопровождавшійся возбужденіемь всего организма. Въ самомь дѣлѣ, еще 19-лѣтнимъ юношей Пушкинъ по своему опыту такъ изображаетъ вдохновеніе передъ Жуковскимъ:

Когда смёняются видёнья
Передъ тобой въ волшебной мглё,
И быстрый холодг вдохновенья
Власы подземлеть на чель:
Ты правъ: творишь ты для немногихъ...
Священной истины друзей.

Далъе онъ восилицаетъ:

Блаженъ, кто знаетъ сладострастье Высокихъ мыслей и стиховъ, Кто наслажденіе прекраснымъ Въ прекрасный получилъ удѣлъ... (Жуковскому. 1818.)

Здёск мы узнаемъ въ Пупкинъ артиста, глубокаго поклонника всего прекраснаго, чистаго художника. Это произведение справедливо навело на всёхъ современниковъ какой-то невъдомый трепетъ, чувствовалась невидимая сила. созидающая и вмъстъ сокрушающая. Ки. Вяземскій по поводу этого стихотворенія писаль Жуковскому изъ Варшавы отъ 25 апръля 1818 г.: "Стихи чертенка-племянника чудесно хороши!... Какая бестія! Надобно намъ посадить его въ желтый домъ: не то, этотъ бъщеный сорванецъ насъ всюхъ запъстъ, насъ и отщовъ нашихъ..."

Послѣ этого мы начинаемъ невольно вѣрпть, что Пушкинъ въ моменты вдохновеннаго состоянія прозрѣвалъ и понималъ то, что другимъ людямъ не было доступно: онъ тогда могъ говорить о себѣ:

И вняль я неба содроганье, И горній ангеловь полеть, И гадь морскихь подводный ходь, И дольней лозы прозябанье... (Пророкъ. 1826.)

Очень естественно, что Пушкинъ преобразовался въ моменты вдохновенія и бъжаль отъ людей и толпы, чтобы ктонибудь не нарушилъ его состоянія:

Но лишь божественный глаголь До слуха чуткаго коснется,

Душа поэта встрененется, Какъ пробудившійся орель... Бъжшть онь, дикій и суровый, И звуковь и смятенья полнь, На берега пустынныхъ волнъ, Въ широкошумныя дубровы.

(Поэть. 1827.)

Вотъ его состояніе вдохновенія, вотъ тотъ психодогическій процессь, который намъ переданъ самимъ поэтомъ, испытывавшимъ это настроеніе, и мы понимаемъ, благодаря этому, почему Пушкинъ такъ строго относился къ тѣмъ, кто писалъ не по вдохновенію, кто не былъ настоящимъ поэтомъ, почему, наконецъ, онъ *тиал* отъ себя тѣхъ, кому непонятиа святость и возвышенность поэтическаго творчества и вдохновенія. Пушкинъ еще 15-лѣтиимъ мальчикомъ бросилъ укоризненную фразу по адресу людей, у которыхъ не было художественнаго дарованія и таланта:

Аристъ, не тотъ поэтъ, кто риомы плесть умѣетъ И, перьями скрипя, бумаги не жалѣетъ; Хорошіе стихи не такъ легко писать...

(Къ другу-стих. 1814.)

Въ одномъ стихотворенін Пушкинъ въ 22 года вводить насъ въ самый процессъ своего творчества, излагаетъ передъ нами, какт онъ еще неопытной рукой въ дѣтствѣ дѣдалъ первые шаги въ творчествѣ, увлекаемый страстью къ поэзін; обращаясь къ намъ, онъ говоритъ о своей музѣ:

Въ младенчествъ моемъ она меня любила
И семиствольную цъвницу мнт вручила;
Она внимала мит съ улыбкой, и слегка
По звонкимъ скважинамъ пустого тростинка
Уже наигрывалъ я слабыми перстами
И гимны важные, внушенные богами,
И пт ньсни мирныя фригійскихъ пастуховъ.
Съ утра до вечера въ нъмой тъни дубровъ
Ирилежно я внималъ уроки дъвы тайной,
И, радуя меня наградою случайной,
Откинувъ локоны отъ милаго чела,
Сама изъ рукъ моихъ свирълъ она брала;
Тростникъ былъ оживленъ божественнымъ дыханьемъ
И сердце наполнялъ святымъ очарованьемъ.

Воть какъ учатся даровитые ученики поэтической музы, воть что они считають для себя высшей наградой!...

Наконецъ, въ томъ же году, обращаясь къ своей бабушкъ, поэтъ говоритъ:

Ты, дётскую качая колыбель,
Мой юный слухъ напёвами плёнила
И межъ пеленъ оставила свирёль,
Которую сама заворожила
(Наперсинца волшебной старины. 1826.)

Такой полноты автобіографическихъ свідіній не оставилъ намъ пи одинъ писатель, въ особенности по вопросу о своемъ талантъ.

Будде.

Прежде всего мы видимъ въ Пушкинъ натуру артистическую. Ея типическія черты въ немъ выразились особенно полно. Отличительное свойство этой натуры есть преобладающее, врожденное стремленіе къ изящному; въ ней всѣ впечатлѣнія отъ жизни перерабатываются въ художественные образы; всѣ идеи, надъ которыми работаетъ умъ, переходятъ въ чувство и вызываютъ творческую дѣятельность фантазіи.

Сильная впечатлительность есть какъ бы основание артистической натуры; отсюда способность быстро поддаваться чувствамъ, всемъ увлекаться до страсти, переходить отъ увлеченія къ новому увлеченію, съ которыми въ то же время могутъ уживаться и сильныя глубокія чувства. Артистическая наклонность иногда кажется легкомысленною оттого, что одни впечатленія уступають место другимь, которыя быстро овладъвають душой и дълаются въ ней какъ бы господствующими, но не надолго: имъ снова готова и смъна: но они не забываются, время отъ времени снова возникаютъ и въ чувствъ и въ фантазіи и преобразовываются, какъ бы очищенныя, въ поэтическій образъ. Эта смана не машаеть пресладовать п одинъ и тотъ же образъ, одну и ту же идею, которые могутъ быть главнымъ содержаніемъ духовной жизни. Петрарка въчно мечталь о своей Лауръ, но это не мъщало ему увлекаться другими женщинами. Данте молился на свою Беатриче, хотя не закрывалъ глазъ и передъ другими красавицами.

Артистическая патура любить жизнь не въ отвлечениои мысли, не въ теоріи, а въ чувствахъ, въ реальномъ представленіи. Жить по теоріи она не можетъ; впечатлѣнія безпрестанно увлекають ее за тѣ предѣлы, которые другими называются предѣлами благоразумія; она отдается вполиѣ жизни, въ какомъ бы видѣ та ни представлялась. О ней можпо сказать то же, что Пушкинъ сказалъ о нѣкоторыхъ минутахъ жизни поэта:

Изъ всёхъ дётей инчтожныхъ міра, Быть можетъ, всёхъ инчтожнѣй онъ.

Артистическая натура легко впадаетъ въ крайности, за которыя часто приходится платится страданіями и несчастіями; по грязь жизни не пристаетъ къ ней, хотя минутами эта жизнь и можетъ казаться неприглядною. Ее спасаютъ тъ художетственные образы, которые вырабатываются въ глубнить души и которые вызываютъ къ другимъ и высшимъ стремленіямъ. Обстоятельства жизни направляютъ артистическую натуру или къ постоянной мечтательности, или къ раздраженію, или къ восторгамъ; горе и радость представляются ей въ преувеличенномъ видъ: довольно пустого обстоятельства, чтобъ она воспламенилась гнъвомъ, довольно и простого дружескаго участія. чтобъ она утъщилась.

Наблюдательность, замътная въ произведеніяхъ ея фантазіи, мало приноситъ ей пользы въ практической жизни. Артистическую натуру обыкновенно упрекаютъ въ непрактичности и нерасчетливости. Она ръдко успъваетъ въ практическихъ предпріятіяхъ, хотя неръдко увлекается ими; ея блестящіе расчеты въ началъ дъла потомъ оказываются невърными. Эти типическія черты въ иныхъ натурахъ усиливаются, въ иныхъ ослабляются подъ вліяніемъ другихъ особенныхъ свойствъ, которыя найдутся въ каждой личности.

Что касается Пушкина, то, кромѣ того, мы должны назвать его натурой геніальной. У нея есть также свои типическія черты, и въ этомъ случаѣ между всѣми геніальными личностями есть высшее духовное родство. До Пушкина русская исторія представляетъ намъ двухъ несомиѣнно геніальныхъ людей — Петра Великаго и Ломоносова. Поставимъ рядомъ съ ними Пушкина, и онъ ничего не проиграетъ отъ сравненія. Во всѣхъ ихъ мы замѣчаемъ не только необыкновенныя при-

родныя силы души, какъ быстрый, все охватывающій умъ, страстность, но и особенную способность направлять всв эти силы на то дъло, которое намъчено, какъ задача жизни. Геній не можеть довольствоваться теснымь кругомь деятельности: къ ней его вызывають потребности всего народа, которыя, можетъ-быть, большинствомъ и не сознаны, но угаданы даровитьйшей натурой изъ его среды. Геній видить не только то, что есть въ жизни, и чёмъ другіе должны довольствоваться; онъ хочеть видъть и то, чего въ ней пока нъть, но что должно быть, для того, чтобы дать ей повыя жизненныя силы и двинуть ее впередъ. Овъ проникается новымъ идеаломъ и всегда такимъ, который создается изъ впечатленій действительной жизни и является, какъ отзывъ на истинную ея потребность. Полная увъренность въ его жизненности въ страстной натуръ генія обращается въ такую сиду, которая обыкновенно удивляетъ всъхъ. Она проявляется и въ борьбъ противъ препятствій, и въ собственныхъ созданіяхъ, и даже въ веудачахъ. Геній упорень въ своихъ идеяхъ и замыслахъ, и въ то же время гордъ въ сознаніи своего призванія. Но онъ же считаетъ себя и слугою народа, только изъ личностей не создаеть себъ кумировъ.

Всъхъ этихъ черть никто не будетъ отрицать ни въ Петръ Великомъ пи въ Ломоносовъ. Ихъ мы находимъ въ Пушкинъ. Его геніальная натура сділала різче всі ті черты, которыя составляють натуру артистическую. Память его необыкновенная, остроуміе — изумительное, сила творчества — неизмъримая; его общирный умъ освъщаль ему цъль и значеніе искусства, которому онъ отдавался, какъ истинный артистъ. Поэзія была исключительной сферой его деятельности; по съ нею онъ связалъ высшія задачи жизни. Въ поэзій опъ нашелъ одну изъ общественныхъ силъ, которая должна пробуждать лучшія чувства въ народъ, слъдовательно и правственно образовывать и вызывать возвышенныя стремленія духа. Онъ угадываль, что чрезъ поэзію можно проводить въ разрозненные классы народа сознаніе единства, въ которомъ и заключается нравственная народная сила. Его страстность давала ему силы и въ трудахъ, и въ борьбъ, выпавшей ему на долю. Онъ ясно сознаваль свое высокое призваніе, честно относился къ нему и гордо смотрълъ на враговъ своего дъла. Благодаря силъ своего духа, онъ во всемъ оригиналенъ - и въ трудахъ, и

въ мысляхъ, и въ обыкновенной жизни, и въ юношескихъ шалостяхъ, и въ любви, и въ гиѣвѣ, и даже какъ жертва чужой силы. Его многіе не любили, многіе осуждали, многіе боялись, но всѣ уважали эту самостоятельную и открытую личность.

Въ геніальной артистической натуръ Пушкина была еще одна исключительная особенность, которую онъ самъ считалъ здомъ для себя и за которую ему приходилось дорого платиться — это несчастное наслъдство, доставшееся ему отъ его прадъда но матери — арабская кровь, которая превратила въ вулканъ пылкій темпераментъ геніальной натуры. Она кипъла, бурлила и клокотала, особенно когда ему казалось, что затрогивалась его честь. Обыкновенно благоразумный въ спокойныя минуты, все представляющій себъ ясно въ минуты творчества, онъ терялъ разсудокъ въ приливъ страсти: она переходила у него въ бъщеные порывы, и онъ дълалъ безразсудства, если бы кто-нибудь изъ друзей не успъвалъ охладить его ръзкими словами и даже бранью. Поэтъ сознаваль въ себъ этотъ недостатокъ, но никогда не могъ съ нимъ справиться. Въ эти минуты борьба съ собою безъ чужой помощи для него была невозможна. Арабская кровь нарушала миръ его души, раздвояла его, ставила въ противоръчіе съ самимъ собою. Она составила его судьбу. Подобно трагическому герою, онъ боролся съ нею и, наконецъ, палъ ея жертвою. Къ нему можно примънить его собственныя слова о геніп: "Геній имфетъ свои слабости, которыя утфшаютъ посредственность, но печалять благородныя сердца, напоминая имъ о несовершенствъ человъчества; независимость и самоуважение одни насъ могутъ выносить надъ мелочами жизни и надъ бурями судьбы". Стоюнинг.

Нравственный обликъ Пушкина.

Поэтъ съ многогранною душой — Пушкинъ былъ не только геніальнымъ художникомъ, но и великимъ явленіемъ жизни русской. Въ признаніи именно такого его значенія сходятся между собою, — съ различныхъ точекъ зрѣнія, — Гоголь, Бѣлинскій и Достоевскій. Но великія явленія, какъ въ области

правственной природы, такъ и въ области природы физической, имъютъ одно общее свойство: при нихъ никогда нельзя сказать, что они изучены окончательно. Ихъ глубокое значеніе, ихъ сила и воздъйствіе на окружающее никогда не раскрываются вдругъ и сразу. Поэтому и Пушкинъ — несравненный выразитель коренныхъ началъ народнаго духа, могучій и вдохновенный ковачъ родного языка, мыслитель и пъвецъ, историкъ и гражданинъ — представляетъ неисчерпаемый матеріалъ для изученія. Въ его духовной природъ, по мъръ созръванія и расширенія русской мысли, по мъръ болъе близкаго знакомства со всъмъ, что къ нему относится, — открываются все новые горизонты. Этимъ онъ походитъ на своего любимаго историческаго героя, — на великаго Петра.

Съ него начинается у насъ литература въ ея настоящемъ значени — выразительницы свойствъ и потребностей общества и провозвъстницы его упованій. Какую бы сторону ея ни изслъдовать, приходится почти всегда подняться, вверхъ по теченію, къ Нушкину. Ему инчто не было чуждо; его трезвый, проникновенный и свободный отъ исключительности умъ, вооруженный геніальною силою выраженія, отзывался на всъ проявленія и вопросы окружающей жизни и сыпалъ искры при каждомъ ея прикосновеніи, а его глубокая любовь къ родинъ, исполненная чувства, но чуждая чувствительности, заставляла его вникать во всъ условія ея быта и исторіи. Полонскій справедливо сказаль о немъ: "Это геній — все любившій, все въ самомъ себъ вмъстивній..."

Пушкинъ былъ исполненъ чувства и исканія правды. По въ жизни правда проявляется, прежде всего, въ искренности въ отношеніяхъ къ людямь, въ справедливости при дъйствіяхъ съ ними. Тамъ, гдѣ идетъ дѣло объ отношеніи цѣлаго общества къ своимъ сочленамъ, объ ограниченіи ихъличной свободы во имя общаго блага и о защитѣ правъ отдѣльныхъ лицъ — эта справедливость должна находить себѣ выраженіе въ законодательствю, которое тѣмъ выше, чѣмъ глубже опо всматривается въ жизненную правду людскихъ потребностей и возможностей,— и въ правосудій, осуществляемомъ судомъ, который тѣмъ выше, чѣмъ больше въ немъживого, а не формальнаго отношенія къ личности человѣка. Вотъ почему — justitia fundamentum regnorum! Но право и правственность не суть чуждыя или противоположныя одно

другому понятія. Въ сущности источникъ у нихъ общій, и дъйствительная ихъ разность должна состоять, главнымъ образомъ, въ принудительной обязанности права въ сравнении съ свободною осуществимостью нравственности. Отсюда связь правовыхъ воззръній съ нравственными идеалами. Чъмъ она твенви, твмъ больше обезпечено разумное развитие общества. Право имъетъ однако свой писанный кодексъ, гдъ указано, что можено и чего нельзя. У нравственности такого кодекса быть не можеть — и отыскивая, что надо сделать въ томъ или другомъ случав, человвку приходится вопрошать свою совъсть. Внутренній голось, называемый совъстью, истекаеть у многихъ людей изъ началъ, невидимо, но неразрывно связанныхъ съ върою, съ религіознымъ ихъ строемъ. Въ этомъ голосъ имъ слышится выражение воли высшаго существа, сознаніе связи съ которымъ и отвътственности передъ которымъ такъ поднимаетъ и укръпляетъ душу многихъ въ минуты житейскаго смятенія. Нравственныя начала, черпая свои силы въ религіи, проникають съ разныхъ сторонъ и въ область права. Надпись на изданіи старинной ратуши въ Лугано: "Quod sunt leges sine moribus, quod sunt mores sine fide" имъетъ свое глубокое значеніе. Поэтому, говоря о правовыхъ воззрвніяхъ Пушкина, трудно избежать необходимости ознакомиться съ его правственными воззржніями и его отношеніемъ къ вопросамъ въры. Такимъ образомъ, самъ собою создается привственный облико Пушкина.

Недальновидные и поспфшные на заключенія читатели юпошескихъ произведеній Пушкина, писанныхъ въ "часы забавъ иль праздной скуки", — въ которыхъ, по его собственнымъ словамъ, "пфлись порочныя забавы и славились сфти страдострастья" — создали ему довольно прочно утвердившуюся репутацію не только эротическаго поэта, но и язвительнаго отрицателя вфры.

Имъ помогли въ этомъ нѣкоторые высокодобродѣтельные друзья молодости поэта, чей "предательскій привѣтъ" преслѣдовалъ его и за гробомъ, — въ забвеніи его словъ, что "судить взрослаго человѣка за вину юноши есть дѣло ужасное". Одинъ изъ нихъ, чью умѣренность и аккуратность, при воспоминаніяхъ объ угасшемъ уже поэтѣ, непріятно поражало отсутствіе у него не только "ровной, систематической бесѣды", но даже и "порядочнаго фрака" — провозгласилъ,

что Пушкинъ не имълъ "ни вившней ни внутренней религи и смъялся надъ всъми отношеніями". Но въ этомъ представленін о Пушкинъ и въ вытекающихъ изъ пего непродуманныхъ или лицемфрныхъ упрекахъ — вътъ правды. Необходимо глубже всмотръться въ эту сторону личности Пушкина — и судить человъка и писателя не по случайнымъ проявленіямъ, а по кореннымъ свойствамъ его природы. Безпорядочное домашнее воспитание въ безалаберной семьъ дало отроку раннюю возможность отравиться дурманомъ фривольныхъ произведеній французской литературы XVIII въка. Отголоскомъ этого было появленіе трехъ-четырехъ подражательныхъ пропзведеній. Все остальное въ этомъ легкомысленномъ родѣ лживо и безъ всякой критики писалось въ пассивъ поэзіи Пушкина. Да и эти немногія произведенія мутили его совъсть, заставляли красивть за себя, негодуя "на грюшный свой языкъ, и празднословный и лукавый" — и сжигать попадавшіеся ему ихъ рукописные списки. Какъ всякая сильная натура — онъ не могъ не пройти періода скитаніе мыслей, прежде чёмъ остановиться на болъе или менъе прочномъ міросозерцаніц.

Переломъ боровшихся сомнъній въ сторону въры совершился у Пушкина на двадцать второмъ году жизни. "Съ измученной души его псчезли заблужденья" подобно тому, "какъ краски чуждыя съ лътами спадають ветхой чешуей". Съ этого времени мы видимъ у него уже вполнъ сложившійся взглядъ, которому онъ остается въренъ до конца. Въ душъ его блестить немеркнущимь свътомь не только въра въ высшій разумъ, управляющій вселенною, но и, -- употребляя выраженіе Лермонтова, — "въра гордая въ людей и въ жизнь иную", т.-е. въ возвышенныя стороны человъческаго духа и въ его безсмертіе. "Я нашель Бога въ своей совъсти и въ природъ, которая говорила мив о немъ", объясняль онъ А. И. Тургеневу. Рекомендуя сыну своего друга кн. Вяземскаго пристально и постоянно читать книги священнаго Писанія, Пушкинъ называль ихъ "ключомъ живой воды". Замъчая, что евангеліе на столько истолковано, объяснено и проповъдано повсюду, что не заключаеть въ себъ уже ничего для насъ неизвъстнаго, онъ указывалъ на его въчно новую прелесть для всъхъ пресыщенныхъ міромъ или погруженныхъ въ уныніе... Въ разговорахъ съ Барантомъ, восторженно отзываясь о библін и въ особенности объ евангелін — онъ, по поводу стремленій подвести смыслъ святой и въчной книги подъ мърило временныхъ человъческихъ различій и направленій, говорилъ: "Мы вск несемъ бремя нашей жизни, иго нашей человъчности, столь подверженной заблужденію — и это иго уравниваетъ все; Христосъ велитъ взять Его иго и бремя, которыя помогутъ намъ донести наше собственное до конца, если мы будемъ помогать ближиему поднять и нести иго, подъ которымъ онъ изнемогаетъ. Здъсь пътъ мъста ни для аристократіи ни для демократіи. Весь законъ въ иъсколькихъ словахъ. Здъсь только одна, единственная великая сила — любовь!" Такимъ образомъ онъ былъ не только върующимъ, но и христіаниномъ въ лучшемъ смыслъ этого слова.

Редигіозность его проявлядась не только въ удивительныхъ по формъ и силъ отдъльныхъ стпхахъ и цълыхъ произведеніяхъ, какъ, напр., переложеніе молитвы св. Ефрема Сирина ("Отцы-пустынники и жены непорочны"), не только въ изображенін могучей въры Кочубея, не поколебленной и его горькимъ концомъ, но и въ формахъ, освященныхъ народнымъ чувствомъ. Въ тоскъ своего припудительнаго уединенія въ Михайловскомъ, онъ вызывалъ предъ умственнымъ взоромъ образы техъ, кого Господь наделилъ высокимъ творческимъ даромъ п "всеобъемлющею душою". Онъ молился о нихъ п служиль панихиды о рабахъ Божінхъ — Петръ и Георгін. Этотъ Петръ быль тотъ "ввчный работникъ на тронв", котораго онъ воспълъ съ такою силой, понялъ съ такою любовью, — этотъ Георгій быль "властитель думъ" — лордъ Байронъ... Пушкинъ придавалъ огромное значеніе христіанству. Онъ считалъ его появление великимъ духовнымъ и политическимъ переворотомъ нашей планеты. "Въ этой священной стихін, — говориль онъ, — исчезь и обновился міръ, — древняя псторія кончилась съ ен появленіемъ". Исторія вившняго христіанства — Церкви, ея положеніе и задачи останавливали на себъ думы Пушкина. Онъ цънилъ заслугу русскаго монашества, сохранившаго среди всеобщаго мрака исторические памятники и ведшаго лътописи; онъ строго осуждалъ Екатерину II за "властолюбивое угожденіе духу времени", выразившееся въ явномъ гоненіи на духовенство и лишенін его независимаго состоянія, чёмъ наносился ударъ его самостоятельности и его содъйствію народному просвъщенію.

Признавая одною изъ важивишихъ задачъ Церкви — про-

повъдь ученія Христова, Пушкинъ видъль въ последней и одно изъ средствъ умиротворенія завоевываемаго нами въ то время Кавказа. Говоря, въ своемъ путешествіп въ Арзерумъ. объ укрощеніи ненависти къ намъ черкесовъ посредствомъ ихъ обезоруженія или привитія къ нимъ болѣе утонченныхъ потребностей, онъ замъчаетъ, что есть однако средство болъе сильное, болже нравственное, болже сообразное съ просвъщеніемъ нашего въка — проповъданіе евангелія, о чемъ Россія до половины тридцатыхъ годовъ и не подумала. Онъ ставилъ очень высоко миссіонерство. "Надо препоясаться и итти съ миромъ и крестомъ", восклицаетъ онъ, рисуя примъръ святыхъ старцевъ, мужей въры и смиренія, скитающихся по пустынямъ въ рубищахъ, часто безъ обуви, крова и пищи, но оживленнымъ теплымъ усердіемъ. "Какая награда ожидаетъ ихъ?" спрашиваетъ онъ: - "обращение престарълаго рыбака или странствующаго семейства дикихъ, или мальчика, — а затъмъ нужда, голодъ, мученическая смерть"... "Кажется, — заключаетъ онъ, – для нашей холодной лібности легче, взамівнь живого слова, выдивать мертвыя буквы и посыдать нёмыя книги людямъ, не знающимъ грамоты, чъмъ подвергаться трудамъ и опасностямъ, по примъру древнихъ апостоловъ и новъйшихъ римско-католическихъ миссіонеровъ". Придавая высокое значеніе миссіонерству, Пушкинь требоваль однако, чтобы, идучи съ проповъдью христіанства, оно было, вмъстъ съ тъмъ, само исполнено христіанскаго духа любви и терптиія. "Терпимость вещь очень хорошая, - писаль онъ, - но развъ апостольство съ ней не совмѣстно?" Указывая на необходимость итти ст мирома, онъ клеймиль мрачный образъ своеобразнознаменитаго юрьевскаго архимандрита Фотія за то, что ему служили "орудіемъ духовнымъ — проклятіе и мечъ, и крестъ, и кнутъ..." И въ своихъ чудныхъ подражаніяхъ корану совътоваль: "спокойно возвъщать корань, не понуждая нечестивыхъ!"

Сознательная въра. — а таковая несомитно жила въ душт Пушкина, — проникаетъ впутренній міръ человтка и отражается на отношеніяхъ его къ людямъ. Она, по глубокой мысли Хомякова, является однимъ изъ высшихъ, общественныхъ началъ, ибо самое общество есть не что иное, какъ видимое проявленіе нашихъ внутреннихъ отношеній къ другимъ людямъ и нашего союза съ ними. Поэтому, втрованія Пушкина и его

взглядъ на смыслъ евангельскаго утенія должны были неминуемо выразиться въ отношеніяхъ его кь людямъ и въ требованіяхъ, предъявляемыхъ къ нимъ и къ самому себъ. Въ душв его не было мъста не только для грубаго себялюбія, приносящаго, по мъръ силъ, въ жертву своимъ вожделъніямъ все, что возможно, не брезгая никакимъ результатомъ, - но и для болфе утопченнаго эгоизма, создающаго привычку всегда и при всякихъ впечатлъніяхъ прежде всего думать исключительно о самомъ себъ. Ив. Тургеневъ въ своихъ "Стихотвореніяхъ въ прозъ оставиль намь образь эгоиста, вооруженнаго самодовольствомъ легко достигавшейся добродътели, которая "хуже откровеннаго безобразія порока". Отталкивающія черты этого образа вѣютъ такимъ холодомъ, что убиваютъ возможпость насмъшки. Создавая его, художникъ следоваль мысли своего любимаго учителя - Пушкина, который характеризоваль эгонзмъ какъ явленіе чисто отвратительное, но отнюдь не смъшное, ибо онъ "отмънно благоразуменъ". Это послъднее свойство требуетъ извъстной сдержанности и самообладанія. Когда ихъ иътъ, эгоизмъ утрачиваетъ свою неуязвимость для смѣла. "Есть люди, — говоритъ Пушкинъ, — которые любятъ себя съ такою ивжностью, удивляются своему генію съ такимъ восторгомъ, думають о своемъ благостояни съ такимъ умиленіемъ, о своихъ неудовольствіяхъ съ такимъ страданіемъ, что въ нихъ и эгоизмъ имфетъ всю смфшиую сторону энтузіазма и чувствительности".

Проповъдь благороднаго альтруизма и нравственной обязательности въ отношеніяхъ съ окружающими думать о нихъ, о ихъ страданіяхъ и человъческомъ достоинствъ внятно и опредъленно слышится въ произведеніяхъ Пушкина, возмущеннаго высокомърнымъ взглядомъ на людей, которыхъ "мы почитаемъ лишь нулями, а единицами — себя". Жестокосердное "seid hart" Заратустры не нашло бы отклика въ поэтъ, испытавшемъ восхищеніе предъ исполненнымъ долгомъ, предъ подвигомъ, предъ забвеніемъ себя ради другихъ. Сурово отнесясь къ Наполеону и иримиренный съ нимъ лишь смертью, Пушкинъ тъмъ не менъе съ восторгомъ говоритъ о немъ, когда тотъ, чтобы оживить угасшій взоръ и родить бодрость въ погибающемъ умѣ, "играетъ жизнію своею предъ сумрачнымъ недугомъ и хладно руку жметъ чумѣ". Въ противоположеніи долга эгонзму состоитъ и смыслъ заключительныхъ строфъ

знаменитой его поэмы, гдѣ долгъ олицетворенъ глубокою внутреннею жертвою Татьяны, которую Пушкинъ называетъ своимъ върнымъ пдеаломъ", а представителемъ эгопзма является Онъгинъ "съ его безнравственной душой, себялюбивою, сухой, съ его озлобленнымъ умомъ, кипящимъ въ дъйствін пустомъ"...

Этотъ взглядъ на отношеніе къ людямъ отражается на всей личности Пушкина. Она дышитъ добротою и дъятельною любовью. Голосъ "кроткой жалости" слышится не только на страницахъ его произведеній, но и въ порывахъ его сердца, дълающихъ его въчнымъ заступникомъ за нуждающихся, за несчастныхъ. Гоголь оцфиилъ въ немъ эту черту — и разсказываетъ, что Пушкинъ искалъ случаевъ быть кому-либо полезнымъ и пользовался каждой минутой благоволенія къ себъ императора Николая, чтобы заикнуться — и никогда о себъ, а всегда о другомъ несчастномъ, упадшемъ. Онъ самъ, однако, бываль несчастень и часто нуждался въ облегчении своихъ житейскихъ и духовныхъ узъ. Намекъ на свое положеніе быль бы естествень и понятень, по Пушкинь хватался за указываемые Гоголемъ благопріятные случан исключительно съ мыслью о другихъ, какъ бы тяжело и оскорбительно ни жилось въ это время ему самому. "Какъ весь оживляется и вспыхиваль онъ, - пишеть Гоголь Жуковскому, - когда дело шло къ тому, чтобы облегчить участь какого-либо изгнанника или подать руку падшему".

Можно привести множество примъровъ его доброжелательныхъ хлопотъ и въ случаяхъ менѣе важныхъ. Онъ хлопочетъ предъ Академіей наукъ объ изданіи въ пользу семейства убитаго писателя Шишкова — сочиненій послѣдняго; пишетъ князю Вяземскому, прося его пожарие похлопотать о денежномъ пособіи молодому ученому, и поручаетъ брату Льву, самъ находясь въ припудительномъ уедипеніи села Михайловскаго и въ крайне стѣсненномъ денежномъ положеніи, подписаться на нѣсколько экземпляровъ издаваемаго по подпискѣ слюпымъ священшикомъ перевода книги Інсуса сына Сирахова. Когда "Нева, какъ звѣрь остярвенясь, на городъ кинулась" и "всплылъ Петрополь, какъ тритонъ, по поясъ въ воду погруженъ",— Пушкинъ пишетъ брату: "этотъ потопъ съ ума у меня нейдетъ. Онъ вовсе не забавенъ. Если тебъ вздумается помочь какому-нибудь несчастному, помогай

изъ *онъменских* денегъ, но прошу — безъ всякаго ніума, ни словесно ни письменно".

Строгій литературный ціпитель и судья, требовавшій отъ писателя серіознаго и вдумчиваго отношенія къ предмету своего творчества, Пушкинь быль вмість съ тымь чуждь мелочного чувства ревности къ успъху собратій по перу и педоброжелательнаго къ нему отношенія. "Умъя презпрать, умъль онъ ненавидъть", но завидовать — не умъль. Достаточно указать на его отношенія къ Мицкевичу, на его оцънку Козлова, на переписку съ поэтомъ А. А. Шишковымъ, наконецъ, на то, съ какою искреннею радостью привътствоваль онь произведенія Баратынскаго, какъ горячо защищаль ихъ отъ равнодушія публики и нападокъ рутинной критики, въ теплыхъ выраженіяхъ отводя автору одно изъ первыхъ мъстъ въ современной ему литературъ, на ряду съ Жуковскимъ и выше Батюшкова. "Свои права передаю тебъ съ поклономъ, чтобъ на волшебные напъвы передожилъ ты страстной дівы иноплеменныя слова", провозглашаеть онь обращаясь къ "первому русскому элегическому поэту", чей каждый стихъ "звучитъ и блещетъ какъ червонецъ", и болъе котораго "никто не имъетъ чувства въ своихъ мысляхъ и вкуса въ своихъ чувствахъ".

Мицкевичъ, уже разорвалъ навсегда съ Россіею, все-таки съ благороднымъ чувствомъ вспоминалъ Пушкина и свою близость съ нимъ. Ихъ думы, по словамъ польскаго поэта, возносясь надъ землею, соединялись какъ двъ скалы, которыя, будучи разделены сплою потока, склоняются одна къ другой смълыми вершинами. Пушкинъ въ глазахъ Мицкевича являлся олицетвореніемъ глубокаго ума, тонкаго вкуса и государственной мудрости. Поэтическое безмолвіе Пушкина, въ которомъ многіе видъли признакъ истощенія таланта, таило, по мибнію Мицкевича, великія предзнаменованія для русской литературы, въ которой, по мъткому и върному его замъчанію, Пушкинъ никогда не былъ подражателемъ Байрона — байропистоми, но быль самостоятельною величиною, лишь временно чувствовавшею притяжение къ великому британскому поэту быль байроніаком. Онь сталь на собственный путь, на которомъ умълъ, несмотря на краткую жизнь, сраженную пулею,нанесшею ужасный ударъ не одной Россіп, создать среди ряда выдающихся произведеній такую единственную, по своей

самобытности и величію, въ европейской литературъ вещь, какъ изумительной красоты сцену въ кельъ Пимена въ "Борисъ Годуновъ". Такому посмертному отзыву, дълающему великую честь безпристрастію Мицкевича къ памяти поэта изъ "племени ему чужого", соотвътствовало и отношение Пушкина къ "вдохновенному свыше" и "съ высоты взиравшему на жизнь" пъвцу. Онъ искренно восхищался его талантомъ, образованностью и многосторовними знаніями, съ увлеченіемъ говорилъ о немъ, переводилъ его произведенія ("Воевода", "Будрысъ и его сыновья"), читалъ ему свои поэмы и посвящаль его въ планы и иден задуманныхъ твореній. Когда Жуковскій сказаль ему однажды: "А знаешь, брать, въдь со временемъ тебя, пожалуй, Мицкевичъ за поясъ заткнетъ",-Пушкинъ отвъчалъ ему: "Ты не такъ говоришь: онъ уже заткнулъ меня!..." и самъ потомъ повторяль это свое выраженіе. Не словами раздраженія отвічаль онь на доходившій издалека знакомый голось ставшаго враждебнымъ поэта, а мольбою о ниспосланін мира его душъ...

Даже и къ людямъ ему несимпатичнымъ старался онъ относиться справедливо. Нельзя не указать на благородную защиту имъ въ 1830 году Полевого противъ "непростительнаго" отношенія къ нему Погодина и "изступленной брани" Каченовскаго по поводу "Исторіп русскаго народа"— и если впослъдствіи отзывы Пушкина о Полевомъ утратили необходимое спокойствіе безпристрастія, это вызвано было нападеніями послъдняго на его друзей и преимущественно на Дельвига.

Дружбѣ Пушкинъ придавать огромное значеніе, понималь ее серіозно и вѣрилъ ей искренно. Онъ отличадъ эту, по выраженію Шербюлье, "любовь безъ крыльевъ" отъ тѣхъ отношеній, которыя возникаютъ въ "легкомъ пылу похмелья", среди "обмѣна тщеславія и бездѣлья" и, прикрываясь названіемъ дружбы, выражаются лишь въ фамильярности и безцеремонномъ залѣзаніи въ чужую душу или въ "позорѣ покровительства". Та дружба, представленіе о которой разсыпано во множествъ его произведеній, есть стойкое, неизмѣнное, самоотверженное чувство, "недремлющей рукою" поддерживающее друга "въ мипуту гибели надъ бездной потаенной", оживляющее его душу "совѣтомъ иль укоромъ", врачующее его раны и способное разбить "сосудъ клеветника презрѣнный".

Этому представленію быль онь върень и въ жизни. Стоить указать на его отношенія къ Дельвигу и Кюхельбекеру, на его трогательныя обращенія къ Чаадаеву, къ Пущину. Проявленія дружеской пріязни его глубоко трогали и оставляли неизгладимый слъдъ въ его душѣ. "Мой первый другъ, мой другъ безцѣнный!" пишетъ онъ въ Сибирь благороднѣйшему И. И. Пущину, посѣтившему его "пріютъ опальный" въ Михайловскомъ. "Какъ жаль, что иѣтъ теперь Пущина!" говоритъ онъ на смертномъ своемъ одрѣ. Въ минуты житейскихъ горестей, чуждый малѣйшей зависти, Пушкинъ умѣлъ утѣшаться "наслажденіемъ слезъ и счастіемъ друзей" и не отрекался отъ послѣднихъ никогда и ни передъ кѣмъ, твердо и безбоязненно проявляя свое къ нимъ отношеніе, несмотря на то, что его привѣтамъ приходилось летѣть "во глубину сибирскихъ рудъ" и въ "мрачныя пропасти земли".

Если эти далекіе друзья и сберегали въ свое время для Россін Пушкина, заботливо и предусмотрительно не пріобщивъ его къ своимъ планамъ, то между окружавшими его нашлись зато платившіе обидой за жаръ его души "довърчивой и нѣжной". Ихъ "предательскій привѣтъ" глубоко уязвлялъ его впечатлительное сердце. Онъ могъ повторить слова Саади въ "Гюлистанъ": "Врагъ бросилъ въ меня камнемъ, и я не огорчился, — другъ бросилъ цвѣткомъ — и миѣ стало больно". Рядомъ такихъ скрытыхъ обидъ и злоупотребленій "святою дружбы властью", очевидно, вызваны выстраданные звуки негодованія въ его "Коварности", когда ему довелось "своимъ печальнымъ взоромъ" прочесть все тайное въ нѣмой душѣ того, кого онъ считалъ другомъ и осудилъ его "послѣднимъ приговоромъ".

Таково было отношение Пушкина къ людямъ. Посмотримъ на правственныя требования, которыя онъ предъявлялъ прежде всего къ самому себъ. Эти требования въ значительной мъръ опредъляются тъмъ, что признаетъ человъкъ необходимымъ для сохранения въ себъ самоуважения. Чуткою душой своею Пушкинъ не могъ не сознавать, что лишь упорный и серіозный трудъ и полная правдивость съ собою и съ другими могутъ поддержать въ человъкъ самоуважение и защитить его отъ сокровеннаго самопрезръния въ тъ минуты, когда онъ не развлеченъ мелочною пестротою обыденной жизни.

.Тюбовью къ труду и была проникнута вся его жизнь.

Ему — "взыскательному художнику" — съ теплымъ чувствомъ вспоминается "живой и постоянный, хоть милый трудъ", — "молчаливый спутникъ ночи, другъ Авроры златой". Онъ ощущаль обязанность трудиться и жадно ждаль любимаго осенняго уедпненія, когда "роняеть лісь багряный свой уборь" и можно приняться съ обновленными силами за плодотворную работу. Недаромъ "въ шорохъ ночи" слышится ему "укоризна или ропотъ имъ утраченнаго дня", - педаромъ съ горечью вспоминаеть онъ "растраченные годы", и его тревожить призракъ невозвратимыхъ дней" въ то время, когда "судьбой отсчитанные дни" особенно дороги, чтобъ "мыслить и страдать" и, следовательно, работать умственно. Отсюда многочисленныя поправки въ его рукописяхъ и варіанты его стиховъ, отсюда настойчивая работа надъ языкомъ, надъ тѣмъ, чтобы едълать гибкимъ и сладкимъ, какъ сахарный тростникъ. Аллахъ говорить его пророку: ..Не я ль языкъ твой одариль могучей властью надъ умами". Для этой власти нужна, однако, не одна форма, но и содержаніе, продуманное и прочувствованное, вылившееся изъ дуни и заключающее въ скупости словъ богатство мысли. Это содержание въ поэтическомъ произведенін тогда лишь сильно и глубоко, когда оно явилось плодомъ вдохновенія, которое необходимо отличать отъ преходящаго настроенія. Пушкинъ самъ указаль разницу между вдохновеніемъ п восторгомъ, объясняя первое — одухотворенною работою, а второе - мимолетнымъ порывомъ.

П любовь ко правды царить въ Пушкинскомъ трудь, — къ той высшей правдь, которая ищеть и рисуеть идеаль дъйствій человька, а не къ той низшей, которая изображаеть все въ предълахъ факта, не устремляя взора кверху и вдаль, и "праздно угождая хладной посредственности, завистливой и жадной къ соблазну".

Признавая обычнымъ явленіемъ связь геніальности съ простодушіемъ и величія характера съ откровенностью, Пушкинъ самъ являлъ примъръ ихъ, слъдуя совъту своего "Подражанія корану": "Мужайся! презпрай обманъ, — стезею правды бодро слъдуй!" Ложь была ему ненавистна до забвенія собственной опасности. Смълое указаніе имъ гепералъ-губернатору Милорадовичу того, какія именно изъ ходящихъ въ рукописи "недозволительныхъ стихотвореній" принадлежать ему, — остроумное замъчаніе на запросъ Бенкендорфа о томъ, не Уваровъ

ли имъется въ виду въ "выздоровленіи Лукулла", — и, наконецъ, прямодушный отвътъ Императору Николаю, въ 1826 году, въ Москвъ — на вопросъ о томъ, участвовалъ ли бы онъ въ происшествін 14 декабря — служать одними изъ многихъ примъровъ его безусловной и безтрепетной правдивости. Эта любовь къ правдъ и искренности заставляла его цънить цъльныхъ людей, даже и не соглашаясь со всеми ихъ взглядами, но уважая ихъ прямоту и отсутсвіе въ нихъ двоедущія. Онъ не разъ ссылался въ бесъдахъ на то мъсто откровенія св. Іоанна, гдв ангелу лаодикійской церкви говорится: "Знаю твои дъла; ты ни холоденъ ни горячъ; о, если бъ ты былъ холоденъ или горячъ! но поелику ты теплъ, а не горячъ и не холоденъ — извергну тебя изъ устъ моихъ!" Наравиъ съ цёльными людьми, цёнилъ онъ и цёльныя чувства, которымъ человъкъ отдается безъ расчетливой оглядки. Все показное въ этомъ отношеніи, какъ видно изъ его писемъ, его возмущало, — всякая огласка добраго дела ему претила. "Торгуя совъстью передъ блъдной инцетой, - не сыпь своихъ даровъ расчетливой рукой", не сжимай "завистливой длани" совътуетъ онъ. Какъ сурово отнесся бы онъ къ представителямъ столь развившагося въ современномъ обществъ типа акробатовъ благотворительности, умъющихъ присасываться къ живому и возвышенному дълу и неръдко мертвить его! У него была, отмъченная княземъ Вяземскимъ, ненависть къ поддъльной наукъ и къ лицемърной правственности. Въ запискъ о воспитанін, представленной государю въ 1826 году, онъ возставалъ противъ преподаванія фальсифицированной исторін и, върный своей правдивости, — въ то время, когда воспитанникамъ принято было, напримъръ, сообщать, что Наполеонъ былъ просто возмутившійся противъ короля предпрінмчивый генераль, - указываль на необходимость объясиять "разинцу духа народовъ, источника нуждъ и требованій государственныхъ, не искажая республиканскихъ учрежденій", и дълать правильную оцвику историческимъ двятелямъ безъ офиціально-предначертаннаго на нихъ взгляда,

Здѣсь не мѣсто разбирать историческіе взгляды и труды Пушкина, но нельзя не замѣтить, что они проникнуты стремленіемъ къ отысканію правды, и въ виду крайне слабаго развитія современной ему русской исторической науки, представляютъ нерѣдко яркіе образчики, своего рода, ретроспек-

тивной интуиціи, благодаря которой Пушкинъ опредфлялъ дъятелей, событія и эпохи далекаго прошлаго съ върностью и глубиною, возможными лишь для тёхъ, кто основательно знакомъ съ матеріаломъ, всестороние разработаннымъ въ теченіе полувъка со времени его смерти. Это стремленіе къ правдъ не давало внъшнему блеску затемнить въ глазахъ Пушкина истину и въ то же время не допускало его забывать про культурныя условія — духовныя и матеріальныя среди которыхъ приходилось жить и творить историческимъ дъятелямъ, — впадать въ забвеніе про правы и обычан времени, столь часто заставлявшее у насъ дилетантовъ-историковъ неправильно освъщать, а затъмъ и одънивать тотъ или другой историческій образъ. Изследованія Соловьева и Павлова о Борисъ Годуновъ, — всъ главивишие труды о Петръ Великомъ, — почти всв богатые выводы нашей историколитературной критики – явились послъ Пушкина, а между тъмъ сколь многое доказаннаго и установленнаго имп прочувствовано Пушкинымъ п облечено въ дивные художественные образы и опредъленія! Какъ тонки его замъчанія объ отно. шенін къ ученію энциклопедистовъ Екатеривы II, ободрявшей сначала эти "игры искусныхъ борцовъ" своимъ царскимъ рукоплесканіемъ и съ безпокойствомъ увидъвшей ихъ торжество въ жизни; какъ содержательна въ своей сжатости впутренняя картина Александровской Руси въ "Дубровскомъ"; какъ справедливы, въ записанномъ Смирновою разговоръ, сравнительныя оцънки Петра и Екатерины и указанія на національныя ошибки последней и лицемеріе ея знаменитаго Наказа.. Красивыя декораціи царствованія Екатерины не вводили Пушкина въ заблужденіе о томъ, что за ними скрывалось. Его всецъло привлекала къ себъ та житейская и историческая правда, которою дышить личность Петра. "Онъ одинъ цълая всемірная исторія", пишеть Пушкинъ Чаадаеву. Памятникъ Петра — современиая Россія, которая "вошла въ Европу, какъ спущенный корабль", говорить онъ, указывая на безповоротность реформы Петра и рисуя его самого такъ, что онъ встаетъ предъ нами какъ живой, среди своихъ священныхъ трудовъ и заботъ. Мы видимъ его дома, на верфи, въ бою, на пиру. Образныя и глубоко продуманныя выраженія Пушкина, его удивительныя по богатству мысли прилагательныя изображають намь въ незабвенныхъ чертахъ

нравственный складъ, наружность и великія думы "славнаго кормчаго, къмъ наша двинулась земля".

Но Пушкинъ не ослъплялся чувствомъ привязанности къ Петру и къ Россіи. Горячая любовь къ Россіи и въра въ нее были у него перазлучны съ чувствомъ правды, которое не позволяло ему закрывать глаза на ея недостатки и на чужіл достоинства. Опъ желалъ видъть родину сродинвшеюся съ Западомъ во всемъ лучшемъ, но сохранившею самобытныя формы, заключающія все хорошее свое. Гнъвныя подчасъ выраженія его писемъ, грустное восклицаніе при чтеніи Гоголемъ "Мертвыхъ душъ": "не веселая штука Россія!" — только на предвзятый взглядъ могутъ итти въ разръзъ съ этою любовью и съ върою въ "высокій жребій" русскаго народа. Недостатки любимаго существа всегда вызывають болье острые взрывы душевной боли, именно потому, что оно любимое и что его хочется видъть лучше и выше всъхъ. Гордясь скромностью русскаго человъка и величіемъ всего, что совершено имъ по почину Петра, Пушкинъ тъмъ не менъе преклонялся предъ достоинствами общечеловъческими. Ему былъ чуждъ узкій патріотизмъ, враждебно, надменно или косо смотрящій на все иноземное. Указывая на терпимость къ чужому, какъ на одну изъ прекрасныхъ сторонъ простого русскаго человъка, онъ говорилъ о необходимости уваженія къ человючеству и его благороднымъ стремленіямъ. "Не достаточно имъть только мъстныя чувства, - говорият онъ Хомякову, - есть мысли и чувства всеобщія, всемірныя... Правдою, по митнію Пушкина, должна быть проникнута не одна личная, но и вся государственная деятельность правителя. Въ правде — великая притягательная сила, въ ней же и върный критерій. Умънье понимать это составляеть одно изъ свойствъ истивно великаго историческаго дъятеля. Не даромъ Петръ "правдою привлекъ къ себъ сердца", — и, благодаря его умънью цънить ее, "былъ отъ буйнаго стръльца предъ нимъ отличенъ Долгорукій... " Но уравновъщенность душевныхъ силъ и воспріимчивое чувство живой дъйствительности заставляли Пушкина видъть побужденіе для исканія правды въ чувствъ любви, которому свойственно попиманіе и снисхожденіе. Поэтому онъ не считалъ возможнымъ найти эту правду въ крайностяхъ. Если ея нътъ въ вънкахъ льстецовъ, то точно такъ же нъть ея и въ безусловныхъ отрицаніяхъ. "Нътъ убъдительности, — пишетъ

онъ, — въ поношеніяхъ, — и нѣтъ истины тамъ, гдѣ иѣтъ любви!

Намъчая такія требованія, Пушкинъ умъль отличать существенное и въчное въ человъкъ отъ случайнаго и вибшняго, высоко ставилъ свое призваніе и отдъляль его задачи отъ неизбъяныхъ условій своей личной жизни и отъ роковыхъ даровъ природы, называемыхъ страстями.

"Малодушное погруженіе" въ заботы "суетнаго свъта" не заглушало для него "божественнаго глагола", и онъ отряхалъ съ себя эти заботы подъ дуновеніемъ вдохновенія. Но онъ все-таки быль потомокь — и близкій — того, кто "думаль въ охлажденны лъта о зпойной Африкъ своей". Этотъ зной жилъ въ его крови, давалъ себя чувствовать въ обыденные часы жизни, и въ молодости поэта, въ видъ "алчнаго гръха", гнался за нимъ по пятамъ. Но и тогда онъ не утопалъ, самоуслаждаясь въ этомъ гръхъ, а "бъжалъ къ сіонскимъ высотамъ", никогда не теряя ихъ изъ виду, не забывая о ихъ существованів. В рный народным в русским в свойствам в, онъ относился къ себъ, какъ къ человъку - отрицательно и даже съ преувеличеннымъ самоосужденіемъ. "Презирать судъ людской не трудно, - пишетъ онъ, - презирать судъ собственный — невозможно". Поэтому отношение его къ своему прошлому было иное, чтмъ у большинства людей его общественнаго положенія. Въ годы наступившаго успокоенія страстей, онъ не взиралъ съ тайно-завидующимъ синсхожденіемъ на увлеченія своихъ юныхъ дней. Карая себя за нихъ въ "тоскъ сердечныхъ угрызеній", онъ будилъ и вызывалъ тяжелыя воспоминанія, отравляя ими "виденія первоначальныхъ чистыхъ дней". Рыдающіе звуки его "Воспоминанія", когда онъ .. съ отвращениемъ читаетъ жизнь свою" и горькими слезами не можетъ смыть "печальныхъ строкъ" - служатъ лучшимъ тому доказательствомъ. Но, безпощадно бичуя себя, онъ однако строго отделяль свою личность отъ своего призванія. "Воронцовъ думаетъ, что я коллежскій секретарь, — пишетъ онъ, — но я полагаю о себъ нъчто большее... Это большее состояло въ призванін быть пророкомъ своей родины, "глаголомъ жечь сердца дюдей" и ударять по немъ "съ невъдомою силой". Опъ сознавалъ выпавшія на его долю роль и обязанность въ духовномъ развитіи Россіи, въ подготовкъ ея свътлаго нравственнаго будущаго, въ которое онъ върилъ горячо, подобно Петру,

"зная предназначенье родной страны". Когда изъ своего нечальнаго уединенія онъ быль, въ 1826 г., вызвань въ Москву, гдъ ждало его невъдомое и тревожащее его разръшеніе его судьбы, онъ и тогда не усомнился въ своемъ призваніи и взяль съ собою стихи, начинавшіеся словами: "Возстань, возстань, пророкъ Россіи, — позорной ризой облекись". Отъ земной власти могли зависьть многія существенныя условія его личной жизни и даже объемъ содержанія темъ для его творчества, но не его "предназначенье". Онъ быль въ своихъ глазахъ "небомъ избранный пъвецъ", который, для блага страны, не можетъ и не долженъ "молчать, потупя очи долу…"

Отношеніе Пушкина къ требованіямъ своей совъсти и его раннее, вдумчивое проникновеніе въ сущность разумныхъ условій человъческаго существованія, въ потребности сердца, въ права мысли — опредълили и взглядъ его на главнъйшія проявленія справедливости, какъ осуществленія общественной совъсти, выражающіяся въ правосудіи и законодательствъ.

Уже двадцатильтнимъ юношею онъ выражаетъ опредъленный въ этомъ отношении взглядъ, которому оставался затъмъ въренъ во всю свою остальную жизнь. Восхищаясь уединеніемъ, онъ учится "блаженство находить въ истичнь, — свободною душой законг боготворить, роптанью не внимать толпы непросвъщенной и отвъчать участием застънчивой мольбъ". Эта цълая программа, тъмъ болъе замъчательная, чъмъ менъе она подходила къ рамкамъ, въ которыя тогда охотно укладывалась личная и общественная жизнь на Руси. Движеніе закоподательства и возбуждаемые при этомъ вопросы историческаго и общественнаго характера чрезвычайно интересовали Пушкина. Его записки и письма хранять несомниныя доказательства глубины этого интереса. Въ нихъ содержится множество замъчаній критическаго характера и указаній на бытовыя особенности, столь важныя для законодателя. Между ними есть опыты проектовъ различныхъ мфръ, вызываемыхъ общественными потребностями. Изъ нихъ видно, что, относясь къ подобнымъ вопросамъ съ живъйшимъ вниманіемъ, Пушкинъ желалъ видъть законъ примиреннымъ съ житейской правдой и необходимою личною свободой, видъть человъка не рабомъ непонятнаго ему принудительнаго приказа, а слугою разумныхъ требованій общежитія. "Мысль — великое слово, говорить онь, — что же и составляеть величе человъка, какъ

не мысль! Да будеть же она свободна, какъ свободенъ человъкъ: въ предълахъ закона, при полномъ соблюдении условий, налагаемыхъ обществомъ". Эта разумная свобода, построенная на уваженін къ правамъ личности, на признанін правъ организованной совокупности личностей — общества — и есть .. святая вольность", которую Пушкинъ противополагаетъ тому, что онъ называетъ "безумствомъ гибельной свободы". Несмотря на относительную близость французской революцін, картина которой въ большинствъ оставляла еще смутное и слитное впечатлъніе, онъ со свойственнымъ ему пониманіемъ исторической перспективы и умфиьемъ дать опредъленіе въ двухъ словахъ, установлялъ, по отношенію къ политической свободь, глубокую разницу между "львинымъ ревомъ колоссальнаго Мпрабо" и дъйствіями "сентиментальнаго тигра" — Робеспьера. Настоящая свобода не можетъ опираться на насиліе, — она "богиня чистая", и ея "цълебный сосудъ" не долженъ быть "завъшенъ пеленой кровавой". Она погибаетъ, если, въ забвенін ея истиннаго смысла, наступаютъ "порывы буйной слепоты", и тогда падъ ея "безглавымъ трупомъ" можетъ возникнуть палачъ "презрънный, мрачный и кровавый". Konn.

Личность Пушкина, какъ человъка.

Гоголь въ одномъ письмѣ къ старинному другу Пушкина, Нащокину, говорилъ: "Свѣтъ остается навсегда при разъ установленномъ отъ него же названія. Ему нѣтъ нужды, что у повѣсы была прекрасная душа, что въ минуты самыхъ повѣсничествъ сквозили ея благородныя движенія, что ни одного безчестнаго дѣла имъ не было сдѣлано, что бывшій повѣса уже давно умудренъ опытомъ и жизнью, что онъ уже не юноша, но отецъ семейства, выполняющій строго свои обязанности къ Богу и къ людямъ" и т. д. Эти слова были сказаны какъ будто съ мыслью о Пушкинѣ. Легкое направленіе поэзій его въ первые годы по выпускѣ изъ Лицея, нѣкоторые стихи, въ которыхъ опъ, подъ вліяніемъ Вольтера и другихъ писателей XVIII вѣка, принесъ дань юношескимъ увлеченіямъ, были причиною, что на Пушкина стали смотрѣть какъ на вольнодумца и безбожника. Эта репутація вь глазахъ многихъ

оставалась за нимъ не только въ поздивншие періоды его творчества, когда въ его образъ жизни, въ его воззръніяхъ и общемъ направленіи его поэзін давно совершился рѣшительный переворотъ, но, къ удивлению нашему, отчасти еще и теперь держится, по крайней мъръ, въ средъ людей, которые никогда серіозно не изучали Пушкина. Между тъмъ для наблюдательнаго взора даже и въ молодости его сквозь видимое дегкомысліе и беззавътную веселость проглядываетъ серіозное настроеніе и строгій взглядъ на жизнь. Такая противоположность отражалась и въ наружности Пушкина. Одинъ изъ современниковъ его¹), разсказывая о первыхъ своихъ впечатленіяхъ при встрече съ нимъ въ Кишиневе, говоритъ что быль молодой человъкъ необыкновенно живой въ своихъ пріемахъ, часто сміющійся въ избыткі непринужденной веселости и вдругъ неожиданно переходящій къ думъ, возбуждающей участіе.

Въ Пушкинъ уже съ ранняго возраста какъ будто таилось предчувствіе крайности отмежеваннаго ему въка: онъ спъшилъ и жить и создавать, какъ бы угадывая, что ему предназначенъ жребій прославиться, наполнить міръ блескомъ своего имени и вдругъ погибнуть въ полномъ расцвътъ своихъ силъ: крайне щекотливое чувство чести много разъ заставляло его рисковать жизнью и, наконецъ, привело къ роковой развязкъ. Пылкая природа его не знала мфры еще въ годы его воспитанія. Изъ разсказовъ его лицейскихъ товарищей и наставниковъ извъстно, что онъ, сознавъ свой талантъ, въ послъднее время пребыванія въ Лицев съ лихорадочнымъ жаромъ предавался страсти къ поэзіп, день и ночь думаль о стихахъ и даже разъ во сиъ сочинилъ два удачные стиха, включенные имъ потомъ въ одну изъ тогдашнихъ пьесъ его. Слывя въ Лицев повъсою, онъ, однакожъ, никогда не былъ празднымъ, съ удивительною быстротою навсегда усвоиваль себъ все, что, повидимому, бъгдо читалъ или слышалъ. "Ни одно чтеніе, ни одинъ разговоръ, ни одна минута размышленія, - говоритъ Плетневъ, — не пропадали для него на цълую жизнь". Вопреки тому, что мы обыкновенно встржчаемъ даже въ даровитыхъ людяхъ, у Пушкина память была одинаково воспрінмчива и словъ: онъ такъ же легко и прочно для фактовъ и для

¹⁾ В. II. Горчаковъ.

запоминаль историческія событія и анекдоты о знаменитыхь людяхь, какъ и новые звуки и формы иностраннаго языка. Лицейскія стихотворенія Пушкина представляють, между прочимь, одну любопытную черту: въ нихь можно найти слѣды того, что онъ уже тогда самъ понималь неосновательность взгляда, который сквозь оболочку юношеской вѣтренности не замѣчаль въ немъ совсѣмъ другого рода основы. Такъ еще передъ выходомъ изъ Лицея онъ говориль въ своемъ посланін къ гусару Каверину:

Все чередой идеть опредъленной, Всему пора, всему свой мигь; Смьшонь и вътреный старикъ, Смъшонь и юноша степенный...

Здёсь 18-летній поэть обнаруживаеть уже замечательное самосознаніе и исихологическую наблюдательность. О тогдашнемь міре его даеть понятіе читанная имь на выпускномь экзамене пьеса "Безверіе". Во второй половине ея изображено безотрадное состояніе неверующаго. Очень ошибся бы тоть, кто бы нодумаль, что эта пьеса, какъ написанная для случая, не можеть служить вёрнымь отраженіемь действительнаго образа мыслей поэта. Пушкинь никогда не умель притворяться, не умель, особенно въ стихахь, говорить что-нибудь для виду или для угожденія другимь: правдивость и искренность составляли одну изъ господствующихъ сторонь правственнаго существа его; онъ самь называль себя "врагомъ стёснительныхъ условій и оковъ".

По выходъ изъ Лицея поэтъ посреди шумныхъ развлеченій столицы, въ кругу легкомысленныхъ друзей, не переставалъ читать и учиться; развитіе его души и таланта шло съ усиленной быстротой, и въ концъ 1819 года, 20 лътъ отъ роду, онъ уже самъ сознавалъ въ себъ новаго человъка. Это прекрасно выразилось тогда же въ пьескъ, напечатанной только девятью годами позже, подъ заглавіемъ "Возрожденіе", гдъ онъ сравниваетъ себя съ картиной мастера, надъ которой какой-то бездарный живописецъ намалевалъ было новое изо браженіе:

Но краски чуждыя съ лѣтами Спадаютъ ветхой чешуей: Созданье генія предъ нами Выходитъ съ прежней красотой. Такъ исчезаютъ заблужденья Съ измученной души моей, И возникаютъ въ ней видѣнья Первоначальныхъ чистыхъ дией.

Между темъ, однакожъ, своенравный геній поэта увлекалъ его иногда къ созданіямъ, бывшимъ въ рідкомъ противорітчін какъ съ собственными его основными понятіями, такъ н съ общественными условіями, посреди которыхъ онъ жилъ, и надъ головою его собралась грозная туча. Къ счастью, она не сдълалась для него гибельною: удаление его изъ Петербурга было чрезвычайно плодотворно и для поэзіи его и для правственнаго перерожденія. Это событіе, безъ сомивнія, глубоко потрясшее впечатлительную душу юноши, не могло не пробудить въ немъ грустныхъ размышленій, не заставить его задуматься надъ жизнью 'и судьбой человъка, а наглядное знакомство съ живописной природой юга Россіи, съ разнохарактерными племенами ел и съ провинціальнымъ обществомъ должно было дать новый, сильный толчокъ и такъ уже далеко опередившему годы развитію Пушкина. Въ Кишиневъ, несмотря на множество случаевъ къ разсъянной жизни, у пего болье нежели въ столицъ оставалось времени для занятій: это принужденное уединение естественно оживило въ немъ охоту къ умственному труду, и вотъ какъ самъ онъ отдаетъ отчетъ о томъ въ посланіи къ бывшему царскосельскому другу, гусару Чаадаеву:

Оставя шумный кругь безумцевь молодыхь, Въ изгнаніи моемь я не жальль о нихь... Въ уединеніи мой своенравный геній Позналь и тихій трудь и жажду размышленій. Владью днемь монмь, съ порядкомь дружень умь, Учусь удерживать вниманье долгихь думь; Пщу вознаградить въ объятіяхъ свободы Мятежной младостью утраченные годы П въ просвъщеніи стать съ въкомъ наравнъ...

Съ этихъ-то поръ особенно въ Пушкинъ становится замътно сочетание ръдкаго поэтическаго таланта съ любознательностью; онъ глубоко изучаетъ предметъ, котораго коснется; потребность эта скоро приводитъ его къ заимствованию предметовъ для поэзи изъ истории и, наконецъ, обращаетъ его къ чисто историческимъ трудамъ: плодомъ поваго направления

его быль рядь поэмь, гдъ съ каждымъ шагомъ видимо зръетъ и мысль его и художественное пониманіе. Можно сказать, что въ нихъ поэтъ уподобляется сказочному богатырю, растущему не по днямъ, а по часамъ: не удпвительно, что самъ онъ какъ будто ежеминутно замъчалъ полетъ времени надъ собою и на 22 году жизни уже готовъ былъ оплакивать улетввшую юность. "Я перевариваю воспоминанія", писаль онь въ эту пору Дельвигу, "и надъюсь набрать вскоръ новыя: чъмъ намъ н жить, душа моя, подъ старость нашей молодости какъ не воспоминаніями?" Въ 25 лѣтъ Пушкинъ является намъ уже совершенно остепенившимся, трудолюбивымъ, осторожнымъ въ своихъ сужденіяхъ и выводахъ. Изъ писемъ его, относящихся къ этой эпохъ, когда онъ приступаль къ созданию "Бориса Годунова", видно, съ какою трезвостью ума, съ какимъ глубоко-критическимъ смысломъ онъ всматривался въ изучаемыя имъ произведенія отечественной и иностранцой, особенно англійской литературы; уже Байронъ его не удовлетворяетъ, и онъ все свое сочувствіе отдаетъ Шекспиру. Углубляясь въ русскія літописи, онъ такъ опреділяеть ихъ характеръ, воспроизведенной имъ въ лицъ Пимена: "умилительная кротость, младенческое и вмъстъ мудрое простодушіе, набожное усердіе къ власти царя, данной Богомъ, совершенное отсутствіе суетности дышать въ сихъ драгоцівныхъ памятникахъ временъ давно минувшихъ".

Нъть сомнънія, что такое добросовъстное приготовленіе Пушкина къ выполненію его художническихъ задачъ не могло не наложить печати зрълости не только на его таланть, но и на всю вравственную физіономію его. Между прочимъ оно утвердило въ немъ правильный взглядъ на прошлое, на дъятельность нашихъ предшественниковъ, и онъ въ своихъ замъткахъ набросалъ эти слова, которыхъ нельзя довольно повторять въ наше время: "Безкорыстная мысль, что внуки будутъ уважены за имя, нами переданное, не есть ли благороднъйшая надежда нашего сердца?... Только дикость и невъжество не уважають прошедшаго". Когда явился его блестящій разсказъ "Графъ Нулинъ" и журнальная критика обрадовалась случаю пощеголять своимъ цёломудріемъ, то обринение поэта въ безправственности содержания глубоко оскорбило его, какъ видно изъ найденныхъ въ его бумагахъ возраженій, въ которыхъ онъ объясняеть своимъ противникамъ, что такое безправственное сочиненіе, и какая разница между нравственностью и нравоученіемъ.

Рукописи Пушкина, оставиняся послѣ его смерти, служать краснорѣчивыми документами его необыкновеннаго трудолюбія. По безчисленнымъ поправкамъ въ его произведеніяхъ можно судить, какъ не легко онъ удовлетворялся тѣмъ, что выходило изъ подъ пера его, какъ шло къ нему самому названіе взыскательный художникъ, употребленное имъ въ одномъ изъ его сонетовъ, какихъ, наконецъ, усилій стоило ему то совершенство формы, та ровность отдѣлки, которыхъ онъ достигалъ во всѣхъ своихъ стихахъ. И это упорство въ работѣ тѣмъ изумительнѣе, что намъ извѣстно, какою пламенною душою онъ былъ одаренъ, какъ охотно онъ предавался развлеченіямъ общества и наслажденіямъ природою. Въ одной замѣткѣ его о разныхъ родахъ поэзіи наше винманіе невольно останавливается на выраженіи: "Безъ постояннаго труда нѣтъ истинно великаго".

Хотя Пушкинъ никогда ие рисовался своими душевными качествами, но есть много доказательствъ его сердечной доброты и человъколюбія. Его отношенія къ Льву Сергъевичу были истинно братскія, — болье того: будучи 7 годами старше его, онъ питаетъ къ нему ньжную, какъ бы родительскую любовь, выражающуся то въ заботливости о его образованіи, то въ совътахъ житейскаго благоразумія. Сердясь на брата за легкомысліе и нерящество въ исполненіи порученій, онъ при первомъ свиданіи все забываетъ, платитъ долги его и не щадитъ хлопотъ, чтобы выводить его изъ затрудненій, въ которыя тотъ по своей винъ безпрестанно попадаетъ.

Такое же сочувствіе внушаеть намь Пушкинь постоянствомь своей сердечной привязанности кь старой нянь, кь которой онь такь часто возвращается вь стихахь своихь, черты которой вь фантазіи его сливаются сь образомь вдохновляющей его музы, какь видно изъ следующихъ стиховъ, писанныхь еще въ Лицев:

Наперсиица волшебной старины,

Я ждаль тебя. Въ вечерней тишинѣ
Являлась ты веселою старушкой,
И надо мной сидѣла въ шушунѣ,
Въ большихъ очкахъ и съ рѣзвою гремушкой.
Ты, дѣтскую качая колыбель,

Мой юный слухъ напѣвами плѣнила И межъ пеленъ оставила свирѣль, Которую сама заворожила.

Любящее сердце Пушкина просвъчиваетъ и въ житейскихъ его отношеніяхъ и въ дружеской перепискъ, даже въ добродушной шутливости ея. Въ его письмахъ къ Нащокину, относящихся къ счастливымъ годамъ его женптьбы, есть мъста драгоцънныя по своей простотъ и искрепности. Такъ въ 1835 году, обрадованный полученіемъ длиннаго инсьма отъ московскаго друга своего, онъ ему отвъчаетъ:

"Говорять, что несчастіе хорошая школа: можеть быть. Но счастіе есть лучшій университет. Оно довершаеть воспитаніе души, способной къ доброму и прекрасному, какова твоя, мой другь, какова и моя. какъ тебя извъстно!" Вотъ какъ Пушкинъ понималь самого себя, и мы не можемъ не признать этой оцънки върною.

Одну изъ отличительныхъ чертъ его личности составляло благородство, замъчаемое въ поведеніи его въ юности, которую онъ въ одномъ стихотвореніи не даромъ назвалъ гордою. Покойный Плетневъ, бывшій въ весьма частыхъ и близкихъ сношеніяхъ съ Пушкинымъ, свидътельствуетъ: "Въ жизни честь, можно сказать, рыцарская была основаніемъ его поступковъ, и онъ не отступалъ отъ своихъ понятій о ней ни одного разу въ жизни, при всъхъ искушеніяхъ и перемънахъ судьбы своей". Равнымъ образомъ и въ его поззін серіозная и безпристрастная критика пикогда еще не могла отыскать слъдовъ правственнаго униженія.

Въ глубинъ души его смолоду теплилось искреннее религіозное чувство. Уклоненія его въ противоположную сторону были не болье какъ либо мимолетныя сомивнія, либо юношескія шалости, въ которыхъ онъ поздивйшіе годы горько расканвался. Любопытно имъ самимъ переданное замъчаніе въ разговорь съ человькомъ другихъ убъжденій: "Сердце мое склонно къ матеріализму, но умъ отвергаетъ его". Извъстнымъ стихамъ его:

Даръ напрасный, даръ случайный, Жизнь, зачёмъ ты мив дана?

могутъ быть противопоставлены не только его же стансы, написанные въ отвътъ на укоръ митрополита Филарета, но

и другіе гораздо мен'ве распространенные и болье ранніе стихи его:

Ты серлцу иепонятный мракъ,
Пріють отчаянья сліпого,
Ничтожество, пустой призракъ!
Не жажду твоего покрова!
Мечтанья жизни разлюбя,
Счастливыхъ дней не знавъ отъ віка,
Я все не вірую въ тебя.
Ты чуждо мысли человіка,
Тебя страшится гордый умъ!...
Но, улетівь въ міры иные,
Ужели съ ризой гробовой
Всіз чувства брошу я земныя
И чуждъ мніз станеть міръ земной!

Такое настроеніе сопровождалось въ душт Пушкина наклонностью къ суевърію и расположеніемъ объяснять самые простые житейскіе случан тапиственными причинами, что, впрочемъ, составляетъ единственную черту поэтическихъ, одаренныхъ богатою фантазіею, натуръ. Извъстно, напр., какое значеніе онъ придавалъ совпаденію нѣкоторыхъ событій его жизни со днемъ праздника Вознесенія. (Мимоходомъ замѣтимъ, что его собственное показаніе о рожденіи своемъ въ этотъ день подтверждаетъ върность факта, что онъ родился въ четвергъ 26 мая, число, на которое падаль этотъ праздникъ въ 1899 г.). О сочувствін Пушкина къ религіозности свидътельствуетъ, между прочимъ, статья его о Байронъ, въ которой онъ старается оправдать британского поэто отъ упрековъ въ безвърін и замічаеть, что, можеть-быть, скептицизмъ его быль только временнымъ своенравіемъ ума, пногда идущаго противъ внутренняго убъжденія. Съ лътами религіозное чувство Пушкина становилось все теплъе, все явственнъе отражалось въ его поэзін. Въ послъдніе годы жизни однимъ изъ любимыхъ занятій его сдълалось чтеніе евангелія и молитвъ православной церкви; ифкоторыя изъ нихъ, поражавшія его своимъ поэтическимъ достоинствомъ, заучивались имъ наизусть; одна переложена была даже въ стихи.

Приходило къ концу второе десятилътіе самостоятельной жизни поэта со времени его выпуска изъ Лицея. Нельзя безъ изумленія остановиться па томъ фактъ, что все великое, совершонное Пушкинымъ въ литературъ, есть плодъ только

двухъ съ небольшимъ десятильтій дъятельности — отъ 1814 до начала 1837 года. Его нъкогда столь веселая и шаловливая муза принимала все болье задумчивый характеръ. Ничто не выражаетъ этого перехода такъ наглядно, какъ двъ первыя строфы стиховъ, приготовленныхъ имъ къ послъдней при жизни его лицейской годовщинъ, въ 1836 году.

Была пора: нашъ праздникъ молодой Сіяль, шумьль и розами вычался, И съ песнями бокаловъ звонъ мешался II тъсною сидъли мы толпой. Тогда, душой безпечные невъжды, Мы жили всв и легче и смълвй; Мы пили всъ за здравіе надежды II юности и всѣхъ ея затѣй. Теперь не то: разгульный праздникъ нашъ, Съ приходомъ лѣтъ, какъ мы, перебѣсился; Онъ присмирълъ, утихъ, остепенился, Сталь глуше звоиь его заздравныхъ чашъ. Межъ нами рѣчь не такъ приво льется, Просторнъе, грустнъе мы сидимъ, И рѣже смѣхъ средь пѣсенъ раздается И чаще мы вздыхаемъ и молчимъ.

Извъстно, что Пушкинъ, при чтеніи этихъ стиховъ за столомъ, отъ волненія не могъ кончить ихъ, и, пересъвъ на диванъ, закрылъ лицо руками. Уже и за пять лътъ до того стихи, читанные имъ на лицейскомъ праздникъ, отличались такимъ же оттънкомъ грусти: насчитавъ шесть опустъвшихъ мъстъ въ кругу своихъ товарищей, онъ задумчиво говорилъ:

> И мнится, очередь за мною... Зоветь меня мой Дельвигь милый.

Давно уже его преслъдовала мысль о смерти:

День каждый, каждую годину
Привыкъ я думой провождать,
Грядущей смерти годовщину
Межъ нихъ стараясь угадать.
И гдѣ мнѣ смерть пошлетъ судьбина:
Въ бою ли, въ странствіи, въ волналъ...

Своею кончиною Пушкинъ вполив искупилъ тъ страстиме порывы, тъ заблужденія сердца и ума, которые только въ глазахъ неумолимо-строгихъ судей его бурной молодости могутъ омрачить его память. Посреди страшныхъ мукъ на смертномъ

одръ опъ явилъ и изумительную силу духа въ стоическомъ самообладании, и истинио-христіанскую кротость, и трогательную ивжность семьянина. Побъждая нестерпимую боль, онъ удерживался отъ стоновъ, чтобы не смущать жены, и говорилъ, что стыдно было бы пересилить себя такому вздору. Благодарность къ царю, прощеніе враговъ, заботливость объ оставляемой имъ семьъ, полное примиреніе съ самимъ собою, таково было настроеніе, которое наполияло душу Пушкина въ посльднія минуты жизни; такъ разстался онъ съ этимъ міромъ, гдъ пожиравшее его пламя было для него источникомъ и столькихъ наслажденій, гдъ онъ оставилъ столь блестящій и неизгладимый слъдъ своего существованія на радость грядущимъ покольніямъ. Біографъ Пушкина П. В. Анненковъ справедливо называеть его кончину "событіємъ, исполненнымъ драматической силы и глубокой правственной идеи".

Послѣ всего, что далъ Пушкинъ своему народу и человъ-честву, послѣ его труженической жизни, послѣ его мученической смерти у кого еще станетъ духу упрекать за ошибки юности эту почтениую тѣнь, являющуюся намъ въ двойномъ ореолѣ терпѣнія и страданія? Кто не благословитъ съ умилевіемъ память этого великаго писателя, навѣки связавшаго свое имя съ судьбами русскаго искусства?

Гротъ

А. С. Пушкинъ по его письмамъ.

"Жизнь моя сбивалась иногда на эпиграмму, но вообще она была элегіей" (Соч. Пушкина, т. VII, стран. 150).

... Читая однажды біографію Байрона, и видя, какъ искажается великій образъ подъ безцеремоннымъ неромъ его судьи, Пушкинъ совершенно справедливо напалъ на "толпу", дерзающую судить генія, оскорбляющую его святую намять старательнымъ собираніемъ разныхъ "мерзостей" изъ его жизни¹). Дъйствительно, такая "толпа", ликующая по поводу слабостей выдающихся людей, можетъ вызвать негодованіе у всякаго, кому дороги великія имена свъточей цивилизаціи. Вотъ по-

¹⁾ Соч. Пушкина, изд. 1887 г., т. VII, стр. 160.

В. Попровскій. А. С. Пушкияъ.

чему порою такъ непріятно бываеть читать накоторыя "добросовъстныя" біографін, представляющія собою пестрое собраніе всъхъ анекдотовъ, всъхъ сплетень о какомъ-нибудь дъятелъ! Кому приходилось имъть въ рукахъ старыя біографическія статьи, тотъ, конечно, чувствовалъ, какъ подъ ворохомъ мелочей, ненужныхъ никому, искажались и туманились человъческіе образы. Передъ біографомъ нашихъ друзей другія задачи: онъ стремится поиять прежде всего внутреннюю жизнь великаго писателя, онъ пытается уясинть себъ и другимъ нсихологію и физіологію творчества великаго художника, сущпость и уарактерныя черты его духа. Біографъ не можетъ обойтись безъ мемуаровъ, записокъ и переписки великихъ людей, онъ прислушивается иногда и къ анекдоту, и сплетиъ, и, часто, его внимание остановится на томъ, что иногда со всъмъ не занимаетъ добросовъстнаго собирателя разныхъ историческихъ курьезовъ. Онъ не будеть судить великаго человъка, ни, тъмъ не менъе, злорадствовать и ликовать, -- онъ будеть только воскрешать прошлое sine ira et studio, создавать изъ разноцвътныхъ кусочковъ мозаики образъ, цъльный, живой, уясияющій твореніе писателя. Поэзія и жизнь въ такомъ взаимодъйствін между собой, что раздълить ихъ нельзя и понять ихъ отдъльно — нътъ возможности: мы не оцъинмъ по достоинству казовой стороны жизии, если не будемъ знать закулисной, — ся бояться критикъ-біографъ не долженъ, по въ его работъ она не должна закрывать собою все остальное.

О Пушкинт говорилось уже очень много, но, конечно, не мало еще будетъ говориться впредь: нелегко дается пониманіе великаго, и долго еще будетъ онъ загадкой для пытливыхъ умовъ, — лишь "по горсти от общной собираются тт знанія, изъкоторыхъ со временемъ сложится пониманіе великаго человъка. Мы имтемъ большое число разныхъ біографическихъ замтокъ о Пушкинт, въ которыхъ иногда блеснетъ втрио схваченная черта дъйствительно-пушкинскаго образа, но до сихъ поръ не имтемъ мы еще полной характеристики его, какъ человъка, до сихъ поръ не использованы даже его письма —, богатъйшій біографическій матеріалъ.

Попробуемь быстро перелистывать лирическія стихотворепія Пушкина, — пасъ поразить, прежде всего, ихъ страшное разнообразіе. Какой пестрый календоскопъ отдѣльныхъ шедёвровъ всякаго рода! Вотъ — застольная пѣсенка въ честь вина и любви, вотъ — мѣткая эпиграмма, невольно вызывающая улыбку, вотъ — задушевная, теплая элегія, вся дышащая любовью къ людямъ, сейчасъ же за нею осколокъ злой сатиры, за нею возвышенная молитва, страстный вопль, какая-то скабрезность, ласковая шутка, обломокъ какой-то, какъ будто религіозной поэмы, обильно изуродованной цѣломудренными точками, тамъ — дружески-теплое посланіе, опять любовь, опять смѣхъ и слезы, радость и горе, въра и невъріе... Нѣтъ почти ни одного однороднаго стихотворенія, которое по времени стояло бы рядомъ — передъ читателемъ все время сверкаютъ дивнымъ букетомъ разноцвѣтныя искры.

Откуда такое богатство мелодій, разнообразіе настроеній? Какъ это въ одномъ сердцѣ можетъ звучать столько струнъ, что на всякое впечатлѣніе могутъ отзываться онѣ своими звуками?

Не даромъ душу поэта назвали "многогранной", — въ ней, какъ въ хорошемъ алмазъ, не пропадаетъ ни одна искорка свъта, ни одно впечатлъніе красоты. Югъ и съверъ, западъ и востокъ, — отовсюду онъ беретъ свои мелодіи и своихъ героевъ: старушка няня и красавецъ Допъ-Жуанъ, суровый скупецъ-рыцарь и иъжная Татьяна, Годуновъ и Ленскій, Мефистофель и Маша Миронова, — всъ эти пестрые образы тъснятся передъ нами. Какое страшное разнообразіе лицъ, сердецъ, костюмовъ! Откуда это неизсякаемое богатство образовъ, яркихъ, живыхъ, какъ впечатлънія самой жизии?

Жизнь поэта отвътить намъ на этотъ вопросъ. Заглянемъ въ закулисную жизнь великаго человъка; перечитаемъ, хотя бы, его письма и постараемся понять тъ психическія особенности его, которыя объяснять намъ разнообразіе его генія.

Первое, что бросается въ глаза при чтеніи этихъ "писемъ",— это, опять-таки, то же разнообразіе. Оно сказалось и въ выборѣ друзей-корреспондентовъ и въ характерѣ писемъ, къ нимъ отправленныхъ; если сравнить нѣкоторыя изъ нихъ одно съ другимъ, — положительно нельзя повѣрить, что писаны они однимъ лицомъ; стоитъ вчитаться въ нихъ, всмотрѣться, — и мы сможемъ по нимъ писать характеристики тѣхъ, кому они

были отправлены! Какой, напримъръ, прекрасной, серіозной и доброжелательной женщиной рисуется Осинова, окруженная неизмъннымъ уваженіемъ поэта! Какимъ легкомысленнымъ эгопстомъ представляется братъ поэта, "милая пустельга" Левушка... Мелькаетъ тревожный, страстный образъ красавицы Кернъ; въ нѣсколькихъ короткихъ записочкахъ очерчивается "свътлая душа" Жуковскаго, въчнаго заступника поэта; тутъже, недалеко отъ пѣвца Свътланы. обыкновенно отпечатывается жесткій, каменный профиль Бенкендорфа, попутно мелькаютъ разные литераторы, поэты, критики и, наконецъ, все это вытъсняетъ красавица Nathalie, легкомысленная до жестокости, пустая и холодная, вся окруженная нѣжиѣйшей любовью поэта, — роковой образъ, покрытый его поцълуями, облитый его слезами и кровью.

Особенность этихъ писемъ, повторяемъ, заключается въ томъ, что образъ поэта мъняется въ зависимости отъ того, къ кому онъ пишетъ, мъняется до пеузнаваемости, до сліянія съ чуждымъ образомъ: съ литераторомъ — онъ только литераторъ, съ политикомъ онъ — политикъ, съ сплетникомъ сплетникъ, съ гулякой — только гуляка и ничего болве. Какъ хорошій артисть, котораго шикто не узнаеть въ разныхъ роляхъ, еживается Пушкинъ со всякими ролями. О такихъ людяхъ принято говорить, что у нихъ ивтъ личности, ивтъ воли, ивтъ духа; ихъ любятъ немногіе, сумвишіе открыть, что подъ измънчивой уступчивой вившностью кроется духъ ясный, опредъленный, но не легко себя проявляющій. Оттого-то ихъ легкая приспособляемость — не слабость, а чуткость впечатлительного духа, всегда инстинктивно соразмъряющого себя со средой. Невольно припоминаются намъ по этому поводу слова апостола Павла: "Будучи свободенъ отъ всъхъ, я всъмъ поработилъ себя... Для Гудеевъ я былъ, какъ Гудей... Для чуждыхъ закона, какъ чуждый закона... Для немощныхъ быль, какъ немощный... Для всъхъ я сдълался всъмъ!"... Эта "зеркальность" души апостола сдълала его властителемъ сердецъ человъческихъ. Онъ понималъ всъхъ — и всъ понимали его...

"Первый признакъ умнаго человъка — съ перваго взгляда знать, съ къмъ имъешь дъло и не метать бисера передъ Репетиловыми и тому подобными" — пишетъ Пушкинъ, критикуя Чацкаго. Да, онъ не былъ Чацкимъ, потому что обладалъ

способностью заразъ жить интересами и Ренетилова и Чацкаго, искрение любя ихъ сегодия, также искрение презирая завтра. У него быль тесный кругь друзей, съ которыми онъ всегда быль неизмъненъ и ровенъ. Дельвигъ, ки. Вяземскій, Жуковскій, Осппова, — вотъ эти лица, судя по его письмамъ; къ остальному же нестрому міру людей онъ относился такъ же пестро. Когда, напримъръ, друзья упрекали его за то, что онъ вступаетъ въ сношенія съ Булгаринымъ, котораго завъдомо презиралъ, онъ отвъчалъ: "потому что онъ миъ другъ. Есть у меня еще друзья: Сабуровъ Яшка, Мухановъ, Давыдовъ и прочіе. Эти друзья не въ примъръ хуже Булгарина. Опи на дняхъ меня заръжутъ"1). Такая правственная неразборчивость связала его тъсной дружбой съ Нащокинымъ, чедовъкомъ можетъ быть и добродушнымъ, но совершенно пустымъ, безтолковымъ и въ правственномъ отношени невысокимъ. "Домъ его", пишетъ Пушкинъ, — "такая безтолочь и ералашъ, что голова кругомъ пдетъ. Съ утра до вечера у него разные народы: игроки, отставные гусары, студенты, стряпчіе, цыганы, шпіоны, особенно заимодавцы"²)... Надо сознаться, что приблизительно такой же букеть пріятелей быль и у нашего великаго поэта, и, если онъ иногда скучалъз), глядя на эгу галлерею, то порою, оказывается, смъядся "до упаду" 4). Припомнимъ, какъ привязался онъ къ своимъ друзьямъ по обществу "Зеленой Лампы", перечитаемъ его письмо къ Мансурову5), письмо, въ которомъ юноша захдебывается скабрезнымъ духомъ "Зеленой Лампы", — и невольно намъ припомнятся его слова о томъ, какъ поэтъ теряется въ толпъ, дълается "ничтожнъе" многихъ "ничтожныхъ".

Но мгновенье, — и поэтъ воскреснетъ. Да, миновенье пграло въ его поэтической жизни большую роль: почти всѣ его лирическія стихотворенія — отзвуки такого минутнаго настроенія. Именно отъ того въ нихъ столько разнообразія, порой граничащаго съ противорѣчіемъ. Какъ помирить, напримѣръ, представленіе о поэтѣ, какъ священнослужителѣ, жрецѣ, съ тѣми стихами, которые написаны на злобу дня, или посвя-

¹⁾ Соч. Пушкина, т, VII, сгр. 104.

²⁾ Тамъ же, стран. 297.

з) Тамъ же.

⁴⁾ Тамъ же, стран. 306,

⁵⁾ Тамъ же, стран. 5.

щены "выметанію сора" путемъ эпиграммъ и сатиръ. Онъ искренне воспѣваетъ декабристовъ, — стоитъ императору Николаю сдѣлать что-инбудь пришедшееся по вкусу поэту — онъ искрение воспѣваетъ Николая. Онъ самъ признается, что "мгновенье" имѣетъ надъ нимъ большую силу¹), — подъ вліяніемъ минуты онъ можетъ то совершенно пренебречь мнѣніемъ свѣта²), то не въ силахъ удержаться отъ собиранія великосвѣтскихъ сплетень, его касающихся³). Онъ самъ сознаетъ эту слабость, оттого пишетъ Жуковскому, что его поведеніе по отношенію къ правительству будетъ зависѣть "отъ обстоятельствъ, отъ обхожденія" съ нимъ правительства 4).

Эта впечатлительность, жизнь во власти минуты, помъщала Пушкину устойчиво относиться къ людямъ, — отсюда вытекаетъ та двойственность, которая легко изобличается письмами. Вотъ опъ пишетъ поэтессъ А. А. Фуксъ, теплое, сердечное письмо, проникнутое чувствомъ признательности за то гостепріимство, которое она ему оказала: "Съ сердечной благодарностью посылаю вамъ мой адресъ, и надъюсь, что объщаніе ваше прівхать въ Петербургъ не есть одно любезное привътствіе. Примите, милостивая государыня, изъявленіе моей глубокой признательности, и пр. "5). Послушаемъ теперь, что пишеть онь черезь четыре дня своей очаровательной жень, желая се, конечно, разсмъшить: "попаль на вечеръ къ одной blue stockings, сорокальтней, неспосной бабь съ вощеными зубами и съ погтями въ грязи. Она развернула тетрадь и прочла мив стиховъ съ дввети какъ ни въ чемъ не бывало. Баратыпскій написаль ей стихи и съ удивительнымъ безстыдствомъ расхваливалъ ея красоту и геній" 6). "Съ жадиостью прочелъ я прелестныя ваши стихотворенія", пишетъ Пушкинъ той же поэтессъ, "и между ними ваше посланіе ко миъ, недостойному поклоннику вашей музы. Въ обмъпъ вымысловъ, исполненныхъ прелести, ума и чувствительности, надъюсь на дняхъ доставить" и т. д. 7). Таково же двойственное отно-

¹⁾ Тамъ же, стран. 11.

²) Тамъ же.

³⁾ Тамъ же, стран. 111.

^{&#}x27;) Соч. Пушкина, т. VII, стран. 173, 174.

⁵⁾ Тамъ же, стран. 324.

⁶) Тамъ же, стран. 325.

туть служить выдержки изъ записокъ самой Фуксъ. Пушкинъ, добродушный,

шеніе поэта къ Дмитріеву 1), Катенину 2), Хвостову 3). Насколько мы понимаемъ Пушкина, здёсь нельзя говорить о неискренности, фальши поэта въ отношеніяхъ къ людямъ, -папротивъ онъ всегда черезчуръ искрененъ: стоитъ кому-пибудь сказать ему теплое слово, онъ сейчасъ же уступаль его вліянію и отвічаль такимь же теплымь словомь. Но пролетала эта минуга, упосилось это впечатленіе, подвертывался новый собесъдникъ, мелькала какая-инбудь новая мысль, шутка, -и часто, въ глазахъ Пушкина, вся картина освъщалась другимъ свътомъ, — и гостепримная поэтесса обращалась въ смъшную карикатуру. Уважая Плетнева онъ, напримъръ, не въ силахъ удержаться, чтобы не посмфяться надъ нимъ въ инсьмъ къ Вяземскому і); искренне дюбя своего поэта-дядюшку, добродушивищаго Василія Львовича, онъ потвшается надъ нимъ, пристегнувъ заодно и только что скончавшуюся тетушку 5). Въ тридцатыхъ годахъ отношенія его къ правительству были уже вполит ровными, - однако въ веселую минуту онъ не прочь зло пошутить надъ тогдащишить режимомъ. II. II. Дмитріевъ въ его присутствій нашелъ страннымъ сочеганіе словъ: "московскій англійскій клубъ", — Пушкинъ со смьхомъ замътилъ, что есть названіе еще страните, — "императорское человъколюбивое общество 6.

Отличаясь (говоря его же словами) "веселымъ лукавствомъ ума", а потому большой любитель "поповъсничать и въ язычки

милый, сердечный, какъ живой, встаетъ передъ нами, — въ его искреиности сомиваться нельзя. "Я простившись съ нимъ, думала, что его обязательная привътливость была обыкновенно свътскою любезностью, но ошиблась. До самаго конца жизни, гдѣ только было возможно, онъ оказывалъ миѣ особенное расположеніе... Опъ писалъ ко миѣ по нѣскольку разъ въ годъ и всегда собственною своею рукою; познакомилъ меня заочно со всѣми замѣчательнѣйшими русскими литераторами и наговорилъ имъ обо миѣ столько для меня лестнаго, что я, по пріѣздѣ моемъ въ Москву и Петербургъ, была удостоена ихъ посѣщеніемъ" (А. С. Архательскій. А. С. Пушкинъ въ Казани. Казань. 1899). См. также статью Н. П. Затоскина: "Пушкинъ въ Казани" — Историческій Въстникъ, 1899 г., № 5).

¹⁾ Соч. Пушкина, т. VII, стран. 57, 75, 187, 301, 376, 408.

²⁾ Тамъ же, стран. 7, 35, 118, 153, 167, 175.

³⁾ Соч. Пушкина, т. VII, стран. 286, 310.

⁴⁾ Тамъ же, стран. 106.

⁵⁾ Тамъ же, стран. 126, 132, 156.

⁶⁾ Д. И. Савостикост: "Отзывы современниковъ о Пушкинъ" — Историческій Вистинк, 1883 г., т. XIV, стран. 536.

постучать" 1), онъ принадлежаль къ тѣмъ людямъ, что въ минуту смѣшливаго настроенія "ради краснаго словца не пожальють и отца". А такое настроеніе, какъ извѣстно, часто посѣщало его: во многихъ письмахъ слышится его неудержимый хохотъ, тотъ заразительный, всепобѣждающій хохотъ, о которомъ въ своихъ запискахъ писала такъ много Смирнова 2).

Минутное настроеніе 3) иногда заставляло его делать такіе поступки, которые потомъ долго мучали его совъсть. Обласканный Карамзинымъ, принятый въ его семью, какъ родной, слишкомъ впечатлительный юноша, въ минуту обиды, вдругъ сочиняетъ эпиграмму на своего стараго друга 4), — прошло это настроенье, и раскаянье его мучить, и любовь спова возвращается въ его сердце... "Карамзинъ боленъ", пишетъ онъ Плетневу при вести о бользии исторіографа: "милый мой, это хуже многаго -- ради Бога, успокой меня, не то миъ страшно вдвое будеть распечатывать газеты" 5). Обиженный Петербургомъ, поэтъ, узнавъ о наводнении 1825 года, легкомысленно восклицаеть: "Что это у васъ? Потопъ? иншто проклятому Петербургу!" в "Я очень радъ этому потопу, потому что золь!" 7), — но стоило перемъниться настроенію, и онъ говорить иное: "Этотъ потопъ съ ума мив нейдетъ: опъ вовсе не такъ забавенъ, какъ съ перваго взгляда кажется. Если тебъ вздумается помочь какому-нибудь несчастному, помогай изъ опъгинскихъ денегъ. Но прошу, безъ всякаго шума, ни словеснаго, ни письменнаго" 8).

Такое веожиданное заключеніе ликованій по поводу наводненія приводить нась къ основной черть Пушкина, — къ его доброть. Мы понимаеть, почему мпогіе современники, начи-

¹⁾ Соч. Пушкина, т. VII, стран. 67.

²⁾ Тамъ же стран. 182.

³⁾ Насколько впечатлителенъ быль Пушкинъ къ вліяніямъ минуты, видно изъ словъ А. П. Кернъ; "Трудно было съ нимъ вдругъ сблизиться; онъ былъ очень неровенъ въ обращеніи: то шумно веселъ, то грустенъ, то робокъ, то дерзокъ, то нескончаемо любезенъ, то томительно скученъ, и нельзя было угадать, въ какомъ онъ будетъ расположенія духа черезъ минуту" (.Т. Н. Майковъ. Пушкинъ. С.-Пб. 1899, стран. 241).

⁴⁾ Соч. Пушкина, т. VII, стран. 182.

⁵⁾ Тамъ же, стран. 176.

⁶⁾ Тамъ же, стран. 91.

⁷⁾ Тамъ же, стран. 92.

⁵) Тамъ же, стран. 99.

ная съ лицейской скамейки до могилы, непавидѣли поэта 1): его глубокая любовь къ людямъ скрыта была отъ близорукаго взгляда его непостоянствомъ, вътренностью, его высмънваньемъ слабыхъ сторонъ въ глаза и за глаза, - въдь для сухого педанта, человъка "правилъ", — всъ эти недостатки выростали до громадныхъ размъровъ, а за инми мало кто видълъ живое, доброе, отзывчивое сердце поэта. Онъ самъ признается, что "добродушіемъ преисполненъ до глупости, несмотря на опыты жизни" 2). Бороться съ врагами ему не подъ силу, — пройдетъ его настроеніе, — и онъ пишеть: "Ольдеконъ надовлъ. Плюпемъ на него, и квитъ" 3). Послъ различныхъ суровыхъ прижимокъ со стороны правительства, Пушкинъ хотълъ было уйти въ отставку, но ея онъ не получилъ, и кончилось дъло тъмъ, что задоръ у Пушкина прошелъ, и онъ все простилъ: "Долго на него (Ипколая I) сердиться не умью: хотя онъ и иеправъ" 4). Незлобивость его доходитъ до того, что, сосланный на окрайну Россіи, забытый вевми, онъ не только не ожесточается, но даже тона раздраженія не слышится въ его отношеніяхъ къ друзьямъ, не присылающимъ ему въстей. Только иногда тихая жалоба на свою участь прозвучить въ его письмахъ, да легкій упрекъ вырвется, словно противъ воли. "Представь себъ", пишеть онъ брату, "до моей пустыни не доходить ни одинъ дружный голосъ — друзья мои, какъ парочно, ръшились оправдать элегическую мою мизантропію — и это состоніе несносно" 5). "Дельвигъ мит съ годъ уже инчего не пишетъ" жалуется онъ. "Попеняйте ему и обнимите его за меня" 6). "Не могу повърить", пишеть онъ Всеволожскому, "чтобы ты забыль меня, милый Всеволожскій, — ты помнишь Пушкина, проведшаго съ тобою столько веселыхъ часовъ, — Пушкина, котораго ты видалъ и пьянаго, и влюбленнаго" 7). Сердце въсти просить, — а то не смъль затъять переписку съ оставленными

¹⁾ Напримъръ его товарищъ графъ М. А. Корфъ (см. его "Записку" въ кингъ Я. К. Грота: "Пушкинъ, его лицейскіе товарищи и наставники". С.-Пб. 1899; также Записки А. О. Смириовой, ч. І, С.-Пб. 1895, стран. 16, 19, 33, 73, 91, 103).

²) Соч. Пушкина, т. VII, страи. 353.

³) Соч. Пушкина, т. VII, стр. 94.

¹⁾ Тамъ же, стран. 364.

⁵⁾ Тамъ же, стран. 28.

⁶) Тамъ же, стран. 50—51.

⁷⁾ Тамъ же, стран. 82.

товарищами (долго крфпился, но не утерпълъ). Ради Бога, слово живое объ Одессъ" 1). Зато, когда долетаетъ до него въсточка отъ друга, онъ забываетъ упрекнуть его за годовое молчаніе, а радостно восклицаетъ: "Вчера повъяло миъ жизнью лицейской; слава и благодареніе за то тебъ и моему Пущину! "2).

Почти съ лицейской скамейки онъ является ходатаемъ за разныхъ несчастныхъ, пришибленныхъ судьбой³). Кюхельбекеръ, этотъ потфшный "Кюхля", о которомъ Пушкинъ не можетъ говорить безъ смѣха, окруженъ его вѣчными заботами и самой ифжной любовью⁴). Сердиться Пушкинь, по-крайней мъръ, въ письмахъ (мы исключаемъ письма наканунъ дуэли) совершенно не умъетъ. Единственный разъ раздражение зазвучало въ объясиснін съ И. Е. Великопольскимъ, и то оно сейчась же разръщилось шуткой и миромъ. За этимъ исключеніемъ его упреки всегда мягки, скорже напоминають жалобы. Бестужевъ напечаталъ стихи, которыхъ Пушкинъ печатать пе хотълъ. "Я давно уже не сержусь за опечатки", пишетъ онъ по этому случаю Бестужеву, "но въ старину мив случалось забалтываться стихами, и миф грустно видеть, что со мною поступають, какь съ умершимь, не уважая ни моей воли ин бъдной собственности. Это простительно Воейкову, no et tu autem Brute?"5) "Что это со мною дълаютъ журпалисты!" восклицаеть опъ — "Булгаринъ хуже Воейкова. Какъ можно печатать партикулярныя письма — мало-ли что мив приходить на умъ въ дружеской перепискъ, а имъ бы все и печатать — это разбой! "6). Особенно много испытаній долготерпвнію и добротв причиниль поэту его брать Левъ. Въ первыхъ письмахъ А. С. Пушкинъ съ самой теплой любовью относится къ нему⁷): разсказываетъ свою жизнь⁸), даетъ разные совъты житейской мудрости⁹); затъмъ очень скоро неблагодарная роль "вождя по жизни" прівдается Пушкину, и онъ обращается къ Льву съ разными просьбами и поруче-

¹) Тамъ же, стран. 96.

²) Тамъ же, стран. 58.

³) Тамъ же, стр. 4, 96, и др.

⁴⁾ Тамъ же, стр. 109, 169.

⁵⁾ Соч. Пушкина, т. VII, стр. 70.

⁶⁾ Тамъ же, стр. 76.

⁷⁾ Тамъ же, стр. 16.

⁸) Тамъ же, стр. 16.

⁹⁾ Тамъ же, стр. 36, 37, 43-44.

ніями¹). Левушка, по легкомыслію и эгонзму, очень халатно относился къ просьбамъ брата: стихи его, еще не напечатанные, но уже проданные, раздаваль въ спискахъ по всему городу²), писалъ ихъ въ альбомы дамъ³), деньги, вырученныя отъ продажи сочиненій брата, проигрываль4), — въ результать, тонъ писемъ къ нему А. С. Пушкина дълается все суше, и скоро они принимаютъ дъловой характеръ. Не мешве интересна переписка съ женой, - здъсь любовь Пушкина, положительно, неисчернаема; онъ заботится о своей женф, какъ о ребенкъ, въ каждомъ письмъ шлетъ ей прописныя паставленія, умоляеть ее вести себя въ обществъ прилично, не кокетничать, беречь себя, — а она, въ отвътъ на эти отеческія посланія, поддразниваеть его, сообщаеть о своихъ побъдахъ, о своемъ веселомъ, но глупомъ времяпровождении и пр. Въ отвътъ на эти письма поэтъ пишетъ опять ижжныя посланія, выражая изръдка порицаніе укоризненнымъ: "Женка, женка! Но оставимъ это! "5) Или: "Женка, женка! я взжу по большимъ дорогамъ, живу по 3 мъсяца въ степной глуши, останавливаюсь въ пакостной Москвъ, которую ненавижу — для чего? Для тебя, женка: чтобъ ты была спокойна и блистала себъ на здоровье, какъ прилично въ твои лъта и съ твоею красотою. Побереги же и ты меня. Къ хлопотамъ, неразлучнымъ съ жизнію мущины, не прибавляй безпокойствъ семейственныхъ, ревности еtс"6). Когда никакія мольбы не помогають, поэть разрышаеть своей жень "кокетинчать". "Кокетинчать я самъ тебъ позволилъ", пишетъ онъ, "но читать о томъ листъ кругомъ подробнаго описанія вовсе мит не нужно. Побранивъ тебя, беру нъжно тебя за уши и цълую"7). Въ такомъ тонъ всъ письма Пушкина къ женъ: его любовь къ ней выдерживала всв испытанія, она приковала его къ мелкимъ хозяйственнымъ хлопотамъ, къ заботамъ объ экппажахъ, квартирахъ, обстановкахъ, она заставила его страдать отъ разныхъ назойливыхъ поползновеній назойливой жениной родии,

¹⁾ Тамъ же, стр, 91, 92.

²⁾ Тамъ же, стр. 76.

³⁾ Тамъ же, стр, 139.

⁴⁾ Тамъ же, стр. 159.

⁵⁾ Соч. Пушкина, т. VII, стран. 308.

⁶⁾ Тамъ же, стран. 333.

⁷⁾ Тамъ же, стран, 369.

считаться съ разными сплетнями... Эта жизпь медленно отравляда его, — его, свътдая душа котораго была такъ далеко отъ отчаянія: пессимизмъ вообще быль чуждъ его природъ. "Судьба не перестаеть съ тобой проказить", писалъ въ 1826 году онъ Вяземскому. "Не сердись на нее, не въдаетъ бо, что творитъ. Представь себъ ее огромной обезьяной, которой дана полная воля. Кто посадить ее на цепь? Ни ты, ни я, никто. Делать нечего, такъ и говорить нечего!"1). Еще въ 1831 году, когда онъ уже вкусилъ сладостей супружеской жизни, онъ еще не теряль надежды на счастье: любовь къ жент и датямъ освъщала ему жизнь. "Опять хандришь!" — писаль опъ Илетневу: "Эй, смотри: хандра хуже холеры, — одна убиваеть только тъло, другая убиваетъ душу. Дельвигъ умеръ, Молчановъ умеръ, погоди умретъ и Жуковскій, умремъ и мы. Но жизнь все еще богата; мы встрътимъ еще новыхъ знакомцевъ, новые созръють намь друзья, дочь у тебя будеть рости, выростеть невъстой. Мы будемъ старые хрычи, жены наши — старыя хрычевки; а дътки будутъ славные, молодые, веселые ребята; мальчики станутъ повъсничать, а дъвчонки септиментальничать, а намъ то и любо. Вздоръ душа моя: не хандри, холера на-дняхъ пройдетъ; были бы мы живы, будемъ когда-нибудь и веселы"²). Сколько всепрощающей, всепримиряющей любви въ этомъ образъ поэта, много страдавшаго, по не утратившаго въры въ будущее!

Если ко всёмъ этимъ чертамъ мы прибавимъ живость его духа, вёчно ищущаго новыхъ настроеній и впечатльній, мы исчернаемъ главнейшіл черты его души, поскольку отть высказались въ его письмахъ. Последнія слова выразительно подчеркиваемъ, желая указать этимъ, что, конечно, въ своемъ бёгломъ очерке мы далеко пе исчернали всёхъ чертъ пушкинскаго духа, — въ письмахъ своихъ онъ не выразилъ всего себя, такъ какъ между корреспондентами его не было ни одного по плечу ему. Оттого письма помогаютъ понять Пушкина лишь въ обществе его друзей; они объясняютъ намъ, насколько его человеческія черты отразились на его творчестве, но они не даютъ пониманія Пушкина, какъ "певца земли", понявшаго духомъ драматизмъ ея жизни, съ ея ра-

¹⁾ Тамъ же, стран. 180.

²) Соч. Пушкина, т. VII, стран. 283.

достями и горемъ, — передъ нами чисто вившиня черты его облика, черты, однако характерныя и важныя.

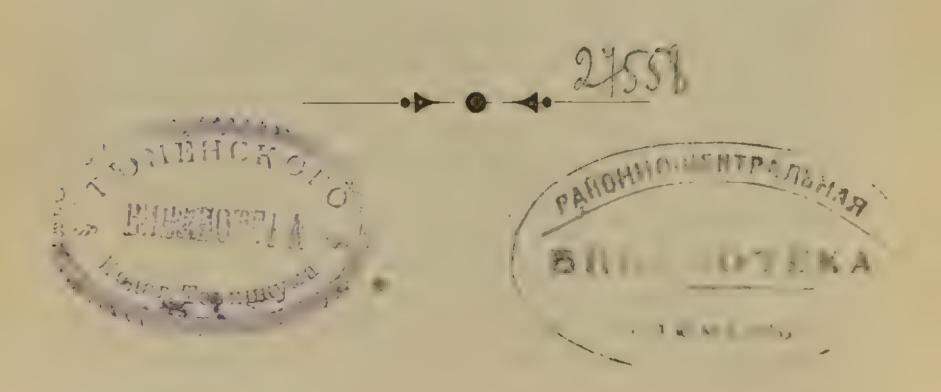
Сравнимъ этотъ образъ съ тъмъ, что просвъчиваеть въ его лирическихъ произведеніяхъ, мы увидимъ полное совпаденіе. И это безконечное разнообразіе мотивовъ, и этотъ всепрощающій свътъ любви, искренность и живость настроенія, отличительныя черты пушкинской лирики, — все это черты поэта, какъ человъка; для пего, не въ примъръ многимъ другимъ поэтамъ, жизнь и поэзія во всякій отдъльный моментъ сливались въ одно!

Разнообразіе героевъ въ его эпическихъ и драматическихъ произведеніяхъ вытекало изъ того же богатства его природы. Мы говорили уже выше, что онъ легко сживался со всякимъ, легко жилъ его думами и чувствами. Всякій эпическій писатель пепремънно проходить въ своемъ творчествъ чрезъ такой процессъ. Нужно сдълаться самому немного Чичиковымъ, Подколесинымъ, чтобы заставить ихъ жить. Истинио художественное творчество (и лирическое, и эпическое) можетъ быть только субъективнымъ, въ большей или меньшей степени: образы, созданные объективно — или не живы, отвлеченны, сухи, или портреты, не болве. Наконецъ, и духъ примпренія, которымъ былъ богатъ Пушкинъ въ жизни, сказался въ его герояхъ: онъ освътнаъ ихъ встхъ свътомъ любви, — въ Пугачевъ мы видимъ мягкія черты благодарности и милосердія, суровый Петръ изображенъ въ моментъ примиренія съ врагами, въ его душъ отмъчено Пушкинымъ мягкое чувство признательности и даже нъжности. Въ Донъ-Жуанъ, жизнерадостномъ, какъ яспый день, беззаботномъ, какъ сама юность, не остается почти ничего суроваго для судьи-моралиста; образъ преступнаго Годунова внушаетъ только глубокое сожалъніе; Скупой Рыцарь и Сальери, несчастные мученики глубокой страсти, у одного къ поэзін золота, у другого — къ божеству музыки, тоже ни въ комъ не пробудять къ себъ злобы.

Заканчивая этимъ нашъ очеркъ, мы не можемъ, въ заключеніе, не указать, что образъ поэта, бъгло очерченный нами, вполнъ сливается съ тъмъ, что встаетъ передъ нами при чтеніи записокъ Смирновой. Странная судьба постигла эти живые, талаптливые мемуары, встръченные такъ сурого нашей критикой! Точно ко всъмъ запискамъ можно примънять одпу и ту же мърку, — одни даютъ факты, имена, устанавливаютъ

хронологію, сохраняють для историка рядь мелкихъ историческихъ данныхъ, -- другіе не даютъ ничего этого, зато рисують живыя лица далекаго прошлаго, а въдь это вовсе не мало! Записки Смирновой принадлежать къ послъдиему роду мемуаровъ — пусть въ нихъ спутана хронологія, пусть невърны факты, пусть они даже подправлялись издательницей, пусть Dichtung превышало порою Wahrheit, зато въ этихъ запискахъ жизнь 20-30 годовъ бьетъ ключомъ, зато передъ нами встаютъ ясныя, характерныя лица, намъ дорогія... ІІ между нимицентральная фигура — Пушкинъ! Стоитъ сравнить письма Пушкина съ воспомпианіями Смирновой, и мы убъдимся, что они — документъ цънный, заслуживающія уваженія и вниманія! Какія стороны своей души Пушкинъ раскрываль передъ друзьями въ письмахъ, тъ же раскрылъ онъ и въ саловъ Смирновой! Оттого записки ея и письма поэта взаимно провъряютъ и дополняють другь друга, - стоить ихъ перечитать вмъстъ и, какъ живой, возстанетъ передъ нами, безконечно добродушный и благожелательный, порою насмъщливый, то грустный, то блестящій и сверкающій "Пскра"-"Сверчокъ" — весь яркое воплощеніе мгновенія, въчно живущій впечатльніемъ минуты, нъжный и дасковый съ одинми, задорный съ другими, съ его веселымъ, раскатистымъ беззаботнымъ смъхомъ, съ его серіозными думами и страданіями, съ его горячими рѣчами...

Сиповскій.



Во всъхъ книжныхъ магазинахъ гг. Москвы, Петербурга, Кіева, Одессы, Варшавы, и друг.

поступили въ продажу новыя изданія книгъ

В. Покровскаго:

СИСТЕМАТИЧЕСКІЙ ДИКТАНТЪ

для среднеучебныхъ заведеній, городскихъ и начальныхъ училищъ.

Часть І. ЭТИМОЛОГІЯ.

Одобрень Учен. Ком. Мин. Нар. Просв. для среднихь учебныхь заведеній, юродскихь и начальныхь училищь, Учебн. Ком. при Свят. Синодь для духовныхь училищь и Учил. Сов. при Свят. Синодь для церковно-приходскихь школь.

Изданіе одиннадцатое, значительно увеличенное.

Москва 1904 г. **Ц**ѣна 50 к., въ переплетѣ 55.

Во второмъ изданіи "Систематическаго диктанта" ч. І полнѣй и раздѣльнѣй изложены сомнительные гласные звуки, введены упражненія на всѣ §§ ороографическихъ правилъ, усвоеніе которыхъ возможно безъ грамматики, и добавлено четыре §§: § 60 (прописныя буквы въ именахъ существительныхъ и прилагательныхъ); § 100 (союзы, также (въ отличіе отъ нарѣчья такъ же), тоже (въ отличіе отъ мѣстоименія то же), же (жъ употреблямый отдѣльно и сдитно); § 101 союзъ: чтобы (въ отличіе отъ мѣстоименія что бы), дабы, бы и § 102 союзъ ли (ль, употребляемый отдѣльно и слитно); 8 связныхъ статей (отъ № 110—117) на упражненія въ правописаніи всѣхъ частей рѣчи.

Въ третьемъ изданіи внесенъ § 10 (з и в, сливающіеся въ ы).

Въ четвертое изданіе вошли слѣдующіе новые §§: § 5 (окончаніе ей въ нарицательныхъ именахъ, отвѣчающихъ на вопросы: кто? что?); § 7 (буква то въ собственныхъ словахъ: Алексѣй, Матвѣй, Елисѣй, Еремѣй...); § 8 (то въ окончаніи словъ: змѣй, ротозѣй и въ именахъ предметовъ, оканчивающихся на дъй, а въ произведенныхъ отъ нихъ на тойка); § 27—31 (буквы: еб, ег, ед, еде, жеде и зде въ словахъ); § 32 (буквы и и послѣ и); § 57 (окончаніе а во множественномъ числѣ существительныхъ ср. р. на о); § 58 (окончаніе а во множественномъ числѣ существительныхъ средн. рода на о); § 61 (окончаніе овъ и евъ въ род. пад. множ. числа); § 138 (употребительнѣйшія иностранныя слова). Кромѣ того, въ этомъ изданіи прибавлено 17 связныхъ статей какъ на отдѣльныя, такъ и на всѣ части рѣчи (№№ 26, 27, 28, 30, 38, 39, 51, 68, 69, 85, 87, 89, 92, 94, 100 и 131).

Пятое изданіе напечатано съ четвертаго безъ перем'вны.

Въ шестомъ изданіи внесены: § 21 (звуки a и o въ словахъ отъ корня pocm); § 33 (сомнительный звукъ u_i); § 34 (скрадывающієся въ произношеніи согласные звуки); § 57 (буква n въ предл. пад. средн. р. им. сущ. съ оконч. be); § 58 (буква u въ дат. и предл. пад. им. сущ. съ основою i); § 59 (окончаніе u и n въ предл. пад. именъ сущ. на ie, be); § 71 (окончаніе enie, nnie въ именахъ существительныхъ); § 72 (окончаніе bisanie, osanie, usanie, esanie въ им. существительныхъ); § 109 (употребленіе удвоеннаго u въ словахъ); § 110 (употребленіе u въ словахъ); § 139 (смягченіе зубныхъ (d, m—ж (жд),ч (щ)); § 140 (смягченіе губныхъ (d, n, e, d, d); § 141 (смѣшанные примѣры на §§ 134—142).

Седьмое изданіе напечатано съ шестого безъ перемѣны.

Въ восьмомъ изданіи внесено употребленіе е послѣ гортанныхъ (г, к, х); и шипящихъ (ж, ч, ш, щ) въ срединѣ рѣчи.

Въ девятомъ изданіи увеличены вдвое упражненія на первоначальныя правила, усвоеніе которыхъ возможно безъ изученія грамматики.

Десятое изданіе напечатано безъ перем'вны съ девятаго.

Въ одиннадцатомъ изданіи на каждый § всьхъ частей рычи внесено по новому упражненію. Увеличено число упражненій и на всь части рычи.

СИСТЕМАТИЧЕСКІЙ ДИКТАНТЪ.

Часть И. СИНТАКСИСЪ.

Одобренъ Учен. Ком. Мин. Нар. Просв. и Учебн. Ком. при Свят. Синодъ. Изданів десятов.

Москва 1904 г. Цтна 60 к., въ переплетт 75 к.

СПРАВОЧНЫЙ ОРӨОГРАФИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ.

Пособіе для учащихся.

Помъщено до двънадцати тысячъ словъ.

Одобрент Учен. Ком. Мин. Нар. Просв. для учениковъ-среднеучебных заведеній, городских и начальных училищь.

Изданіе шестое, исправленное и дополненное.

Москва 1904 г. Цена 25 к.

О справочномъ ореографическомъ словарѣ въ журналѣ Мин. Нар. Просвѣщенія было напечатано слѣдующее:

"Что касается до "Справочнаго ореографическаго словаря", то онъ составленъ довольно полно и по лучшимъ пособіямъ. При собственныхъ именахъ лицъ, указаны, народныя формы; при именахъ существ. нарицательныхъ указаны, гдѣ нужно, падежныя формы; при глаголахъ указаны формы неопредъленнаго наклоненія и 3-го лица множ. числа, а иногда и формы другихъ лицъ; при словахъ сложныхъ изъ предложныхъ префиксовъ и именъ приведены примъры, объясняющіе, когда слѣдуетъ писать отдѣльно предлогъ, когда — вмѣстѣ съ именемъ. Вообще книжка составлена удовлетворительно" (Ж. М. Н. Просв. 1898 г., іюль).





